

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ



Академик М. П. Алексеев. Фотография.

М. П. АЛЕКСЕЕВ

**ПУШКИН
И
МИРОВАЯ
ЛИТЕРАТУРА**



Ответственные редакторы

Г. П. МАКОГОНЕНКО, С. А. ФОМИЧЕВ



**ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1987**

Р е ц е н з е н т ы:

П. Р. ЗАБОРОВ, В. Б. САНДОМИРСКАЯ

Михаил Павлович Алексеев
ПУШКИН И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

*Утверждено к печати
Отделением литературы и языка
Академии наук СССР*

Редактор издательства *Л. М. Романова*

Художник *О. М. Разулевич*

Технический редактор *Н. А. Кругликова*

Корректоры *Л. М. Егорова, И. А. Корзинина и Г. В. Семерикова*

ИБ № 21679

Сдано в набор 20.02.87. Подписано к печати 25.09.87. М-33140. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 38.5. Усл. кр.-от. 38.5. Уч.-изд. л. 43.41. Тираж 12700. Тип. зак. № 1289. Цена 3 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука». Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

А $\frac{4603010101-716}{042(02)-87}$ 357-87-III

© Издательство «Наука», 1987 г.



СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ...»

ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг перукотворный» принадлежит к числу наиболее прославленных лирических произведений Пушкина. Его знает у нас каждый грамотный человек, затверживает наизусть всякий школьник. С особой торжественностью и патетической интонацией звучит оно всякий раз, когда при очередной пушкинской памятной дате говорят о поэте, о величии его исторического дела; знаменитые строки этого стихотворения повторяют тогда всюду, снова и снова, полностью и в отрывках, в перифразах и различных применениях.

Написанное в 1836 г., но увидевшее свет только через четыре года после смерти поэта — в 1841 г., стихотворение «Я памятник себе воздвиг» давно уже считается одним из наиболее значительных в его творческом наследии. Пророческий смысл предречений стихотворения, его программное значение признавали критики всех лагерей и направлений, подходившие к оценке творчества Пушкина с различных и даже противоположных позиций.

Ближайшие современники поэта знали мало это стихотворение, к тому же в поврежденном виде; однако им восхищался Белинский, определивший его как «апофеозу гордого, благородного самосознания гения».¹ В нынешнем веке стихотворению давали не менее ответственные определения, внушенные уже не безотчетным ощущением его поэтической силы, но опытом его долголетних исследований; его называли «последним заветом Пушкина»,² «итогом поэтической деятельности, подведенным Пушкиным в предчувст-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954, т. 5, с. 268.

² Пушкин. [Соч.] / Изд. Брокгауза—Ефрона. СПб., 1910, т. 4, с. 45. (Б-ка великих писателей под ред. С. А. Венгерова).

вии неизбежно близкого конца»,³ «углубленной оценкой творческой жизни»,⁴ произведением, «осмысляющим весь собственный путь, все творческое дело поэта»,⁵ «поэтическим манифестом»,⁶ «поэтическим завещанием»⁷ и т. д. Никогда никто не отрицал, что это стихотворение является надежным ключом к сокровенным глубинам мировоззрения Пушкина, к пониманию того, что он думал о себе самом, о взаимоотношениях своих с современниками, о памяти, которую он оставит потомкам. А. М. Горький еще в 1909 г. назвал «Памятник» одной из «самохарактеристик» Пушкина, поучительных тем, что они раскрывают нам «взгляд поэта на задачи его жизни»,⁸ а тридцатилетие спустя, как бы подводя итог раздумьям пушкиноведов о стихотворении, В. В. Виноградов определил «Памятник» как «одновременно исповедь, самооценку, манифест и завещание великого поэта».⁹

Однако благоговейно повторяя вдохновенные строки — эти давно уже устойчивые словосочетания, вошедшие в обиход нашего разговорного языка,¹⁰ — вдумываясь в очевидный и предполагаемый смысл стихотворения, мы, к сожалению, все еще не можем сказать, что объяснили его до конца, что мы достаточно знаем его во всех отношениях примечательную историю, что мы окончательно разобрались в противоречивых толкованиях, которые оно породило. История создания этого стихотворения и его судьба в русской поэзии известны нам только приблизительно, неполно и неточно; от его многочисленных комментаторов все же ускользнуло еще многое, настоятельно требующее пояснения и дополнительных разысканий.

Задача настоящей книги двойная. С одной стороны, необходимо разобраться в большом количестве исследований и критических статей, посвященных «Памятнику» (как, для краткости, мы будем называть ниже это стихотворение, в подлинной рукописи, как известно, не имеющее заглавия). Все многочисленные отзывы о стихотворении, накопившиеся более чем за столетие, в течение которого оно подвергалось весьма разнообразным и противоречивым истолкованиям, никогда не являлись предметом спе-

³ Гофман М. Л. Посмертные стихотворения Пушкина // Пушкин и его современники. Пб., 1922, вып. 33—35, с. 413.

⁴ Сакулин П. Н. Памятник нерукотворный // Пушкин / Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, сб. 1, с. 75.

⁵ Якубович Д. П. Черновой автограф трех последних строф «Памятника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.: Л., 1937, вып. 3, с. 5.

⁶ Орлов Вл. Радищев и русская литература. М., 1949, с. 95.

⁷ Степанов Н. Л. Лирика Пушкина: Очерки и этюды. М., 1959, с. 39.

⁸ М. Горький о Пушкине / Под ред. С. Д. Балухатого. Л., 1937, с. 5—42; Русские писатели XIX в. о Пушкине / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1938, с. 404—405.

⁹ Виноградов В. В. Язык Пушкина. М., 1941, с. 512.

¹⁰ Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. 2-е изд. М., 1960, с. 697—698.

циального критического рассмотрения, а в некоторой своей части и донныне плохо известны специалистам-пушкиноведам; в особенности это можно сказать относительно зарубежной литературы о «Памятнике», в последнее время быстро пополнявшейся. С другой стороны, опубликованные недавно новые архивные данные о жизни Пушкина в 1836 г. в сочетании с итогами изучения разнообразных проблем, которые ставит перед нами это пушкинское стихотворение, позволяют поставить вопрос о происхождении «Памятника» иначе, чем это делалось до сих пор.

Настоящая книга выросла из доклада «„Памятник“ Пушкина по исследованиям последнего двадцатипятилетия», прочтенного автором на сессии Отделения литературы и языка Академии наук СССР, состоявшейся в Ленинграде 12 февраля 1962 г. по случаю 125-летней годовщины со дня гибели поэта (см.: Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1962, т. 21, вып. 3, с. 282—283). В переработанном и расширенном виде и с подзаголовком «Критические заметки» доклад этот был напечатан в следующем году (1963) в «Ученых записках Горьковского государственного университета» (Сер. ист.-филол., вып. 57, с. 229—301), но в весьма малом количестве экземпляров и, к сожалению, с большим количеством опечаток. В этом виде данная работа сохраняла еще свой первоначальный характер критико-библиографического обзора русских и зарубежных статей о стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг. . .». За два с лишним года, протекших со времени появления в печати указанных «Критических заметок», исследовательская литература о «Памятнике» пополнилась новыми книгами и статьями, и некоторые из них требуют критического разбора и новых возражений, так как в них возрождаются вновь и развиваются ошибочные положения, давно оставленные и зачеркнутые. Это заставило автора заново пересмотреть и расширить обзорную часть данной работы. Кроме того, не стесняемый рамками журнальной статьи, автор счел возможным представить и свои собственные соображения относительно истории возникновения «Памятника», публикуемые здесь впервые.

Некоторые материалы настоящей работы представилось более удобным выделить в «Приложения». В первом из них дается полная транскрипция двух автографов «Памятника» со сводом вариантов к основному тексту. Хотя описания этих автографов давались нередко, в прочтении и транскрипции их (особенно черного текста последних трех строф) остаются еще места, вызывающие различные сомнения и порой неправомерные догадки; кроме того, история этих автографов изложена была недостаточно подробно и нуждается в ряде уточнений библиографического характера. Во втором «Приложении» воспроизведены латинский текст оды Горация «Egegi monumentum» (Carm. III, 30), а также все известные нам русские переводы этой оды и подражения ей, возникшие до пушкинского «Памятника» и после него (от Ломоносова до наших дней). Они оказались довольно многочисленными. В связи с тем что переводы эти рассеяны по различным и

зачастую малодоступным изданиям, представлялось необходимым привести их полностью, но не в основном тексте настоящей книги, в котором они упоминаются, что было бы затруднительно и нецелесообразно, а в особом приложении. Выделение их в приложение позволило снабдить их более подробными комментариями, имеющими в свою очередь значение для проблематики настоящей книги в целом.

В тексте данной работы ссылки к цитатам из произведений Пушкина даются (если источник, по которому они приводятся, не оговорен особо) по изданию: П у ш к и н, Полное собрание сочинений. М.; Л., Изд. АН СССР, 1937—1949, т. I—XVI. Это издание нигде далее полностью не называется; указываются лишь тома (римскими цифрами) и страницы (арабскими цифрами).



Стихотворение «Я памятник себе воздвиг» не в пример многим произведениям Пушкина крайне медленно входило в сознание русских читателей. Его истинный смысл раскрывался постепенно, в течение долгого времени и с особым трудом; в отзывах о нем много лет господствовали сознательные и бессознательные заблуждения, отразившие смену отношений к Пушкину нескольких поколений читателей; в известной степени эти заблуждения объяснялись недостаточным знакомством с подлинным авторским текстом стихотворения. История раскрытия и опубликования этого текста растянулась на целое столетие.

В настоящее время стихотворение известно и печатается в полных собраниях сочинений Пушкина по двум автографическим рукописям: 1) черновой, неполной и 2) перебеленной, полной, с поправками и датой: «1836 авг <уста> 21. Кам <енный> остр <ов>». Долгое время исследователям доступна была только последняя; черновой текст (три последние строфы) опубликован был полностью, с прочтением всех исправленных и зачеркнутых мест, лишь в 1937 г.¹ В сущности только с этих пор на основе тщательного сопоставления обеих рукописей стало возможным более отчетливо представить себе, как складывался и развивался под пером поэта весь этот его поэтический замысел, как возникало стихотворение в его творческом сознании и отливалось в окончательную, законченную форму. Конечно, для более полного понимания этого сложного процесса, в особенности его начальной стадии, сопоставления обеих рукописей, даже если допустить, что других не существовало, было недостаточно: сравнение могло служить лишь надежной отправной точкой для последующих исследований. Но и перебеленный текст, с очень интересными и знаменательными исправлениями, стал известен очень поздно — только в 1881 г., когда его напечатал П. Бартенеv в «Русском архиве», сопроводив небольшой, по содержательной заметкой и приложив к ней факсимиле самого автографа.²

¹ См.: Прилож. I, с. 223—236 («Автографы „Памятника“»).

² Рус. архив, 1881, кн. 1, с. 235; то же в отд. отт.: Бумаги Пушкина. М., 1881, вып. 1, с. 201—202.

До этого времени стихотворение было известно лишь в той редакции, которая опубликована в первый раз в девятом, дополнительном, томе посмертного собрания сочинений Пушкина, вышедшем в начале мая 1841 г. (цензурное разрешение датировано 29 апреля).³ Эта редакция, как известно, принадлежала Жуковскому, который, имея основание предполагать, что подлинный текст стихотворения в полном и неповрежденном виде не будет пропущен цензурой, переделал пушкинские стихи, допустил в них собственные вставки и тем самым исказил их прямой и очевидный смысл.

Искажения Жуковского были очень значительны, потому что они коснулись хотя и нескольких, но важнейших стихов. В таком искаженном виде стихотворение перепечатывалось сотни раз (не только до 1881 г., но и значительно позже), входило в школьные учебники и хрестоматии, заучивалось наизусть, пересказывалось, подвергалось толкованиям и сопоставлениям с другими произведениями поэта. Цитата из стихотворения в той же редакции Жуковского попала на постамент памятника Пушкину работы А. М. Опекушина, открытого в Москве в 1880 г.;⁴ характерно, что подлинный текст восстановлен был на этом памятнике только в 1937 г. по ходатайству Академии наук СССР и Союза советских писателей.⁵

Еще в конце прошлого века А. А. Стахович с сокрушением и досадой рассказывал всю эту историю увековечения непушкинских стихов и замечал: «А что надпись на монументе, взятую из нерукотворного памятника, который воздвиг себе сам великий поэт выше Александрийского столпа, не могли начертать без переделки, поневоле сделанной Жуковским, это узнать и не в столь отдаленном времени». Мемуариста крайне удивляла длительность цензурного запрета, тяготевшего над «опасными» стихами, и это действительно бросается в глаза, если только причиной искажения надписи было не простое невежество. «Неужели цензура, пропустившая в печать эту строфу (без ампутации Жуковского), в 1887 году⁶ наложила снова свое veto, не допустив

³ Богаевская К. П. Пушкин в печати за сто лет: 1837—1937. М., 1938, с. 26 (№ 99); Рыскин Е. И. Библиография текстов. М., 1953, с. 8—10, 12.

⁴ В Ленинграде на улице, посвящей имя поэта, донныне существует так называемый первый петербургский памятник Пушкину работы того же А. М. Опекушина, открытый спустя четыре года после московского (в 1884 г.), на котором также читаются два двустишия из этого стихотворения; четвертый стих приведен здесь в черновом, первоначальном, зачеркнутом самим поэтом варианте, к тому же с искажением последнего слова:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я избрал. . .

(Назарова Л. Н. Памятник Пушкину в Петербурге // Пушкин: Исслед. и матер. М.; Л., 1960, т. 3, с. 467).

⁵ Подробности см. в Прилож. I, с. 223—224.

⁶ А. А. Стахович ошибается — следовало сказать: в 1880 г.

ее начертать на вечную скрижаль подножия памятнику? Не позволили этого почти через двадцать лет по освобождении крестьян, отмены телесного наказания и других великих деяний. . . о которых в свой жестокий век только мечтал Пушкин. Ежели нашли, что нельзя без переделки написать на монументе эти стихи, следовало выбрать для надписи другое стихотворение, а нельзя было позволить себе исказить на памятнике Пушкину его слова о самом себе и об особенностях своего гения».⁷

В историю восприятия стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг» широкими русскими общественными кругами прошлого столетия должен быть включен еще один характерный эпизод, в равной мере относящийся и к истории русского искусства, потому что речь идет о другом, более раннем произведении скульптуры, замысел которого всецело основан был на том же пушкинском стихотворении. Очень вероятно, что этот замысел не был осуществлен из тех же опасений, какие проявились еще при выборе цитаты для московского опекушинского памятника.

В начале 60-х гг. с проектом памятника Пушкину выступил Н. С. Пименов (1812—1864). Интересно, что идея его возникла у скульптора, который однажды в юности встретил Пушкина незадолго до смерти последнего и беседовал с ним о русской школе ваяния. Знакомство Пименова с Пушкиным состоялось в конце сентября 1836 г. в петербургской Академии художеств, на выставке, где всеобщее внимание обратили на себя своей тематикой и трактовкой две скульптуры — «Юноша, играющий в бабки» и «Юноша, играющий в свайку», изваянные молодыми, только что окончившими Академию скульпторами — Пименовым и Логановским. Пименова, автора первой из этих скульптур, представил Пушкину находившийся тут же президент Академии — А. Н. Оленин. Об этой встрече существует рассказ, записанный со слов самого Н. С. Пименова.⁸ Четверть века спустя, после долгих лет пребывания за границей и окончательного возвращения на родину, Пименов задумал свою скульптурную композицию, посвященную поэту, о встрече с которым он любил вспоминать всю жизнь. «Память о Пушкине всегда чтит Н. С. Пименов, — рассказывает

⁷ Стахович А. А. Ключки воспоминаний. М., 1904, с. 103 (первоначально опубл.: Рус. старина, 1896, т. 86). В журнале «Дело» (1887, № 1, отд. 18, с. 18—19) дана была следующая справка: «Только в 1880 г., после открытия памятника поэту, рукописи, которыми пользовался г. Анненков (впрочем, не все), были переданы в Румянцевский музей — к сожалению, уже поздно для памятника, так как на нем отчеканены пушкинские стихи в переделке Жуковского».

⁸ [Петров П.] Николай Степанович Пименов, профессор скульптуры. СПб., 1883, с. 5—6. По этому рассказу Пушкин долго любовался скульптурой Пименова, «вынул записную книжку и тут же написал экспромтом: „Юноша трижды шагнул, наклонился. . .“. Написанный листок вручен самим поэтом художнику, с новым пожатием и приглашением к себе» и т. д. Оба четверостишия Пушкина — на скульптуры Пименова и Логановского — напечатаны были «с обязательного согласия автора» в «Художественной газете» (1836, № 9—10, с. 140—141).

его биограф, — хотя после свидания и знакомства с ним у своего „бабочника“ более не видал. Весть о возможности осуществления общих желаний — почтить первого отечественного поэта достойным его монументом сильно заняла воображение Пименова». ⁹ Модель памятника была закончена в мае 1862 г., но одобрения не получила. Отказ жюри конкурса принять этот проект тяжело подействовал на художника. Существует ряд описаний и воспроизведений этой модели. ¹⁰ Одно из описаний сделано тем же А. А. Стаховичем, который рассказывает в уже цитированных «Клочках воспоминаний»: «В мастерской покойного Пименова видел я модель его памятника Пушкину. Поэт был поставлен на скале, со сложенными на груди руками, в той самой позе, по словам художника, в которой раз стал перед Пименовым при разговоре с ним о своем бюсте или статуе. У ног поэта, на пьедестале, изображен был летящий гений с развернутым полным списком стихотворения:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.

«А внизу — русский крестьянин, в одной рубахе — снятой им армяк лежит на земле, — вычеканивая надпись:

Пушкину — Россия,

высекает последнюю точку». ¹¹

Едва ли подлежит сомнению, что полный текст стихотворения «Я памятник себе воздвиг», предназначенный скульптором для воспроизведения на проектированном им монументальном сооружении, давался бы здесь в традиционной, общепринятой в то время редакции: подлинный текст, как мы уже указывали, еще не был известен в то время; не знал его, конечно, и Пименов, как не мог он знать также, что личная его встреча и беседа с Пушкиным в сентябре 1836 г. состоялась вскоре после того, как стихотворение о памятнике было написано. Тем не менее увлекшая Пименова задача — воплотить в скульптурных образах пушкинские строки, выразить, по его собственным словам, «предвидение поэта как „гения, себя сознающего“» и «представить подтверждение признавательными потомками его о себе предречения» ¹² — кажется для начала 60-х годов и значительной, и довольно смелой. Скульптура Пименова не только подчеркивала автобиографический характер стихотворения Пушкина как его основной, определяющий признак, но как бы утверждала в мраморе и бронзе историческую верность и неизбежность самооценки поэта, которую потомки принимали без колебаний и поправок. Не подозревая о существовании многих подлинных строк стихотворения, например о сво-

⁹ [Петров П.] Николай Степанович Пименов... , с. 17.

¹⁰ Проект памятника Пушкину скульпт. Пименова (рисовал Н. Малышев) // Живописн. обзор., 1880. № 21, с. 389; Шмидт И. Н. С. Пименов. М., 1953, с. 8—9.

¹¹ Стахович А. А. Клочки воспоминаний, с. 104.

¹² [Петров П.] Николай Степанович Пименов... , с. 17.

боде, которую поэт «вослед Радищеву» восславил в свой «жесточкой век», Пименов все же не убоился представить на своем памятнике читающую и признательную Россию в «мужицком» образе, в чем нельзя не усматривать явных воздействий на скульптора веяний эпохи освобождения крестьян и общественных реформ. Нужно думать, что это и погубило его проект в мнении официальных кругов; по-видимому, модель показалась его судьям «крамольной» по своей основной идее. Именно это и выделяет Пименова из ряда вполне заурядных официальных толкователей пушкинского стихотворения того времени.

В 60-е гг. прошлого века пушкинский «Памятник» принято было объяснять прежде всего как подражание стихотворению Державина (по аналогии с которым оно и было Жуковским названо «Памятник») и общему их источнику — оде Горация. Конечно, сам Пушкин дал этому достаточный повод, но для него прямая ссылка на Горация (в эпиграфе) и молчаливое следование Державину, который сам собой приходил на память читателю, были лишь подобием музыкального ключа в нотной рукописи — знаком выбора стилистической тональности в собственной поэтической разработке темы, а частично и маскировкой слишком большой самостоятельности этой трактовки. Комментаторы делали, однако, упор на подражательности стихотворения и ослабляли этим значение заключающихся в нем глубоко личных, сокровенных признаний поэта.

С какими пояснениями и соответствовавшими им интонациями стихотворение заучивалось наизусть и интерпретировалось школьниками в середине прошлого века, об этом можно судить по свидетельству, находящемуся в книге И. Соснецкого «Опыт разбора образцов русской словесности» — весьма типичному образчику тех суррогатов школьных учебников, которые были так распространены в тогдашней средней школе. Вот что говорилось в этой книге о стихотворении Пушкина: «Как „Памятник“ Пушкина, так и „Памятник“ Державина написаны в подражание оде Горация „К Мельпомене“. Будучи сходны в общих частях, они представляют много различия в частности, а особенно в причинах бессмертия. Гораций, сознавая достоинство своих произведений, полагает причину своего бессмертия в том, что он из ничтожества сумел достигнуть высшей степени славы и что песни его похожи на песни греческие. Державин причину своего бессмертия полагает в том, что первый осмелился в забавном слого возгласить о добродетелях Фелицы, беседовал с боге в сердечной простоте и смело говорил правду царям. Пушкин, наконец, причину своего бессмертия полагает в том, что он умел возбуждать добрые чувства, что был полезен живой прелестью стихов и призывал милость к падшим. Он советует музе своей быть послушной велению бога, не страшиться обиды, сносить равнодушно хвалу и клевету и не спорить с глупцами».¹³

¹³ Соснецкий И. Опыт разбора образцов русской словесности, заключающихся в программе желающих поступить в студенты император-

Нет, вероятно, необходимости пространно пояснять, в каком обедненном, приглаженном виде представлено здесь стихотворение Пушкина, какую произвольную комбинацию из пушкинских и непушкинских слов производил школьный комментатор. Делая особое ударение на последней, пятой, строфе — кстати сказать, и в XX в. служившей предметом длительных споров — он намеренно набрасывал тень на первые строфы, хотя уже в 3-м и 4-м стихах Жуковский допустил существенные искажения, затемнившие их смысл.

При первой публикации 1841 г. эти стихи были напечатаны так:

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Сорок лет спустя в заметке, сопровождавшей публикацию текста стихотворения по автографу, Бартенеv обратил внимание на то, как стихи были написаны Пушкиным, и пытался оправдать Жуковского в сознательно им допущенном искажении их: «Что касается до Жуковского, изменившего смысл пушкинских стихов, то винить его невозможно, когда знаешь, что иначе стихотворение могло бы погибнуть, что бумаги Пушкина вслед за его кончиною немедленно были опечатаны чиновником III отделения; что были властные люди, радостно потиравшие себе руки в надежде отыскать в рукописях Пушкина и в его переписке якобы новых улик по делу 14 декабря; что участь, например, князя Вяземского висела на недоразумении; что Булгарин с братиею был свой графу Бенкендорфу и Дубельту, подпись которого и теперь красуется на пушкинских тетрадах, хранящихся в Румянцевском музее, откуда взят прилагаемый список».¹⁴ Тем не менее и Бартенеv не в состоянии был добраться до смысла искаженного Жуковским стиха о «Наполеоновом столпе» до тех пор, пока он сам не заглянул в подлинную рукопись поэта. В предшествующие десятилетия, когда Бартенеv столь деятельно собирал путем распросов сведения для биографии Пушкина, он не смог получить ответа на свой недоуменный вопрос об этом загадочном стихе, обращаясь даже к таким близким друзьям поэта, как П. А. Вя-

ского Московского университета. М., 1867, с. 140—141. Годом раньше вышла книга В. Водовозова, в которой общей характеристике творчества Пушкина уделено свыше ста страниц; тридцать из них занято разбором его лирических стихотворений. Тем не менее пушкинскому «Памятнику» автор посвятил лишь одну следующую фразу: «Ни один из наших поэтов не имел такого права сказать, как Пушкин («Памятник», 1836 года), что он был народу полезен живою прелестью стихов» (Водовозов В. Новая русская литература: От Жуковского до Гоголя включительно. СПб., 1866, с. 131). Таким образом, все стихотворение характеризовано с помощью лишь одной искаженной, непушкинской строки, а об остальных автор предпочел вовсе умолчать. Книга Водовозова читалась долго: ее пятое издание выпущено было в 1886 г., но указанная ошибка не была исправлена ни разу.

¹⁴ Б [а р т е н е в] П. О стихотворении Пушкина «Памятник» // Бумаги Пушкина. М., 1881, вып. 1, с. 201—202.

земский или П. А. Плетнев. Что в этом стихе заключен какой-то таинственный намек, это Бартенев мог заключить из свидетельства Гоголя, но Гоголь окружил свое утверждение таким туманом, что смысл 4-го стиха утрачивался окончательно.

В своей печально-знаменитой книге, вызвавшей горячую отповедь Белинского, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847), в X отрывке, озаглавленном «О лиризме наших поэтов» и представлявшем собою обработку для печати подлинного письма его к Жуковскому, Гоголь напечатал следующие строки: «Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты, но, положим, если бы стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил [бы] доказательством . . . как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество как человека перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость звания своего перед званием венценосца».¹⁵ «Признаюсь, что мы не видим тут доказательства, о котором говорит Гоголь, — с полным основанием замечал по этому поводу Бартенев. — Мы напрасно обращались к П. А. Плетневу и князю П. А. Вяземскому за разъяснением, и только теперь (т. е. в 1881 г. — М. А.) подлинная рукопись Пушкина выясняет, в чем дело».¹⁶

Слова Гоголя действительно крайне неотчетливы; однако, по-видимому, они все же являются непосредственным свидетельством того, что стих с «Александрийским столпом» вместо «Наполеонова», а может быть и все стихотворение в целом, были известны Гоголю в подлинном тексте и что он во всяком случае понимал причину произведенной в нем Жуковским перемены. Несмотря на это, в том же отрывке «Выбранных мест из переписки с друзьями», несколькими страницами ниже и по другому поводу, Гоголь снова цитирует то же стихотворение Пушкина в редакции Жуковского, с непущинским стихом:

Что прелестью живой стихов я был полезен.¹⁷

Следует, впрочем, отметить, что затруднения истолкователей «Памятника» относительно его 4-го стиха (с «Наполеоновым столпом») обнаружались очень поздно, не ранее чем в печать проникли кое-какие известия о рукописях поэта. У критиков и читателей стихотворения, не располагавших возможностью заглянуть в автограф подлинника или воспользоваться устным преданием о некоторых подробностях его текста (вроде только что приведенного свидетельства Гоголя), никаких недоумений относительно «Наполеонова столпа» не возникло. Только тогда, когда критики узнали, что в рукописи Пушкина стояло нечто иное, и появилась у них необходимость уяснить себе, для какой цели Жуковский произвел замену этого стиха. Д. П. Писарева, например, в 1865 г. «Наполеонов столп» сам по себе не удивлял нисколько; зато мысль

¹⁵ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 7, с. 255.

¹⁶ Б [артенев] П. О стихотворении Пушкина «Памятник», с. 201.

¹⁷ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 7, с. 259.

Пушкина, что его памятник «вознесся выше» этого столпа, критик сопроводил издевательской ремаркой: «excusez du peu», т. е. «всего только» или «только-то»; ниже в столь же издевательском и пренебрежительном тоне, характерном для этой статьи, Писарев заметил, что поэт «превознес самого себя выше облака ходячего».¹⁸

Большинство читателей еще в это время несомненно считали, что «Наполеонов столп» в указанном стихе придуман самим Пушкиным. Никто тогда, вероятно, не сомневался и в том, что речь здесь шла о Вандомской колонне в Париже, долго считавшейся одним из самых высоких сооружений этого рода; следовательно, «Наполеонов столп» был с их точки зрения всего лишь метафорой высоты. Читая рукопись данного стихотворения Пушкина и готовя ее к изданию, Жуковский тем естественнее вспомнил эту наполеоновскую колонну, что, конечно, и сам не раз видел ее во время своего полуторамесячного пребывания в Париже,¹⁹ и, вероятно, знал о впечатлении, которое она произвела на К. Н. Батюшкова еще в 1814 г., после занятия Парижа русскими войсками.²⁰ Впоследствии все это забылось, и некоторые современные нам исследователи Пушкина, упрекая Жуковского в переделке указанного стиха, еще больше — и совершенно напрасно — отягощали его вину. Так, Б. П. Городецкий, анализируя «Памятник», писал между прочим о редакторских поправках Жуковского: «Александровский столп был заменен Наполеоновым столпом, что не имело смысла, так как никакого Наполеонова столпа не существовало».²¹ Это ошибка. «Столп» этот не только существовал в действительности, но и достаточно хорошо был известен в России в 30—40-е гг. XIX в. Вот что, например, писали о нем в специальной статье «Вандомская колонна» в петербургском «Энциклопедическом лексиконе», в томе, появившемся в год смерти Пушкина: «Вандомская колонна, или Колонна побед, в Париже на прекрасной Вандомской площади, близ Тюильерийского дворца, воздвигнута по повелению Наполеона в воспоминание побед, одержанных им в кампании 1805 г. Эта колонна, подражание Траяновой колонне в Риме, сделана из металла 425 пушек, взятых у неприятелей». Вершина этого памятника «обнесена галерею, посреди которой на небольшом пьедестале возвышается колоссальная статуя Наполеона. В 1814 г. она была снята по требованию парижан, но в 1833 г., после июльской революции, правительство, удовлетворяя также желанию французов, поставило на Вандомскую колонну новую статую Наполеона, сделанную худож-

¹⁸ Писарев Д. И. Пушкин и Белинский (статья вторая: «Лирика Пушкина») // Соч. М., 1956, т. 3, с. 413 (впервые статья опубликована: Рус. слово, 1865, кн. 6).

¹⁹ Вяземский П. А. Жуковский в Париже // Полн. собр. соч. СПб., 1882, т. 7, с. 470—484.

²⁰ О письме К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу от 27 марта 1814 г. см. ниже, с. 67.

²¹ Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.: Л., 1962, с. 364.

ником Сёром (Seure): Наполеон представлен в известной своей треугольной шляпе, в сюртуке, надетом сверх мундира, с зрительной трубой в правой руке». ²²

Несколько лет спустя, в самый год опубликования пушкинского «Памятника», В. Р. Зотов, только что закончивший обучение в Царскосельском лицее (где он провел 1836—1841 гг.), ²³ издал в Петербурге отдельной брошюрой длинное стихотворение «Две колонны». ²⁴ Хотя это юношеское произведение описательно-медитативного характера не блещет никакими достоинствами, для нас оно представляет известный интерес по своей теме: здесь противопоставлены друг другу две колонны — Александровская в Петербурге и Вандомская в Париже. О первой говорится, что среди других стройных и величавых памятников, «свидетелей побед и русской славы», она в особенности влечет к себе «уроками судьбы»:

То памятник простой: из цельного гранита
Колонна стройная, на ней из горних мест
Божественный жилец — в руках сияет крест,
Символ спасения, таинственный и мирный,
И смотрит в небеса спокойно дух эфирный.
Порой у подножия чудной колонны
Я грустною мыслью стою пораженный
И думаю долго, склоняясь головой,
О двух великанах, о битве святой.

Затем следует описание другой колонны — Вандомской. Претенциозность молодого поэта, недостаточно хорошо владевшего

²² Энциклопедический лексикон. СПб., 1837, т. 8, с. 234.

²³ К о б е к о Д. Императорский Царскосельский лицей: Наставники и питомцы. 1811—1843. СПб., 1911, с. 433.

²⁴ З о т о в В. Две колонны. СПб., 1841 (цензурное разрешение помечено 28 августа 1841 г.; цитируется по экземпляру Пушкинского Дома, ранее принадлежавшему книжному собранию Царскосельского лицея — Лусеала). «Две колонны» были одним из ранних стихотворений В. Р. Зотова (1821—1896), появившихся в печати; до этого он выступал как «лицейский поэт», напечатывавший свои первые стихи в 29-ю годовщину основания Лицея. См.: Ш [у б и н с к и й] С. Пятидесятилетие литературной деятельности В. Р. Зотова // Ист. вестн., 1890, № 11, с. 505, 510. Четыре десятилетия спустя В. Р. Зотов рассказывал народовольцу Н. А. Морозову о личном знакомстве с Пушкиным у своего отца, романиста и начальника репертуара императорских театров, — Р. М. Зотова (запись об этом см.: М о р о з о в Н. А. Повести моей жизни. М., 1947, т. 2, с. 433; см. также в другой, менее «расцветченной» редакции: М о р о з о в Н. А. Несколько слов об архиве «Земли и воли» и «Народной воли» // Там же, с. 545), но справедливость этого утверждения отрицалась с полным основанием (Лит. насл. М., 1955, т. 62, с. 140—141), тем более что сам В. Р. Зотов, разумеется, не упустил бы случая упомянуть об этом в автобиографических заметках, где он рассказывает о начале своей литературной деятельности (З о т о в В. Петербург в сороковых годах // Ист. вестн., 1890, № 1, с. 29—53). Это не исключает, впрочем, что В. Р. Зотов мог видеть Пушкина в Петербурге или в Царском Селе; он во всяком случае хорошо посвящен был в историю лицейской жизни и впоследствии много раз писал о ней (см.: Е г о р о в Б. Ф. В. Р. Зотов, критик и публицист 1850-х гг. // Учен. зап. Тартус. ун-та, 1959, вып. 78, с. 7).

стихом, сказалась и в том, что, говоря о каждом из этих сооружений, он менял стихотворный размер:

Во Франции, в Париже есть другая
Колонна стройная; издалика сверкая
Отлитой, гладкою поверхностью, она
Из пушек волею гиганта создана;
Дни славы и побед сияют на металле, —
И он на сей — гигант с нахмуренным челом,
Под шляпой маленькой и в сюртуке простом!

Поэт вспоминает наполеоновские походы начала века и 1812 год:

Москва обрушилась, пылая,
А вслед за ней погиб и он!
И полный гордости и славы,
Еще при жизни величавый
Воздвиг он памятник себе;
Но скрылась воля, счастье, сила,
Ему победа изменила, —
И покорился он судьбе.
Над другою колонною
Встала славы заря!²⁵

Примечательно, что В. Зотов, написавший и издавший свое стихотворное размышление о двух колоннах через несколько месяцев после опубликования пушкинского «Памятника», — откуда, может быть, и возникли в его стихотворении текстовые отголоски из Пушкина, — придавал особое значение разному происхождению обеих колонн — одна искусственно отлита из неприятельских пушек, другая самородна и первозданна:

Та колонна из металла,
Слита в массу из кусков;
Гордо вылитая стала
Выше храмов и дворцов.
Но не сплочена, не сбита
Наша масса из гранита;
Нашей славою покрыта
Да как слава и тверда!
Перед ней идут года!
Об нее ль не разобьются
В цепки замыслы врагов?
Вкруг нее ли разовьются
Строи вражеских полков?

Много мыслей потомкам внушит тот металл,
Тот громадный гранит первосозданных скал²⁶
и т. д.

Еще в 1834 г. А. И. Герцен, толкуя о журналах, где «быстро один вид заменяется другим», иллюстрировал это таким примером: «колонна Вандомская возле колонны Петербургской».²⁷

²⁵ З о т о в В. Две колонны, с. 3—4.

²⁶ Там же, с. 5—6.

²⁷ Г е р ц е н А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954, т. 1, с. 60.

Как видим, у Жуковского были основания для того, чтобы в четвертой строке пушкинского стихотворения заменить «Александрейский столп» «Наполеоновым»: он сделал это в полном соответствии с фразеологией эпохи и, вероятно, из лучших побуждений, ради устранения опасного в цензурном отношении намека. Но вместе с одиозным стихом утрачивался смысл и всей первой строфы «Памятника», идейная направленность ее становилась неясной, нечеткой, допускавшей различные толкования. В конце концов повод для произведенной замены забылся окончательно. Гоголь весьма неуверенно высказывал догадку о смысле этой строфы «Памятника», когда писал Жуковскому через пять лет после его опубликования: «. . . в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты. . .». Мысль Пушкина, если Гоголь видел рукопись стихотворения или слышал что-либо о ней, представлялась ему столь неотчетливо, что он не в состоянии был ее воспроизвести. Может быть, однако, публикуя это письмо в 1847 г., сам Гоголь опасался высказаться яснее? Как мы видели, ни П. А. Плетнев, ни П. А. Вяземский, к которым обращался П. И. Бартенев со своими недоумениями относительно причин появления «Наполеонова столпа» в «Памятнике», ничего не могли объяснить ему по этому поводу; правда, любознательный и настойчивый пушкинист обращался со своими вопросами к этим старым друзьям Пушкина в поздние годы их жизни, когда многое уже ускользнуло из их памяти. Что же касается Жуковского, то остается неизвестным, откликнулся ли он как-либо на упрек Гоголя, адресованный ему в печати; никаких свидетельств об этом Жуковский не оставил.

Отсюда и возникает естественный вопрос: было ли данное стихотворение известно в литературных кругах в его подлинном тексте до первой его публикации в 1841 г.? Знать это весьма существенно не только для истории его толкования, но и для понимания условий, при которых оно возникло: не забудем, что первыми редакторами произведений Пушкина, оставшихся после его смерти в рукописях, были близкие друзья поэта, знавшие многое о его литературных замыслах от него самого. Однако этот вопрос для удобства последующего анализа необходимо расчленить на два: желательно выяснить, что знали об этом стихотворении Пушкина до и после кончины поэта. К выяснению этих вопросов мы и обратимся.

2

Нам известны сейчас только два достоверных свидетельства о «Памятнике» Пушкина, относящихся к 1836 г., т. е. ко времени его создания. Оба они опубликованы не так давно, не подвергались еще специальной критической экспертизе и не были привлечены в надлежащей мере к решению тех разнообразных задач, которые стихотворение Пушкина ставит перед своими исследователями.

Первое по времени из этих свидетельств стало известно из так называемой тагильской находки 1956 г. Это — письмо Александра Карамзина из Петербурга к его брату Андрею, датированное 31 августа 1836 г., в котором есть следующие строки: «Пушкин показал ему (Н. Муханову. — М. А.) только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна».¹ Что речь здесь идет именно о стихотворении «Я памятник себе воздвиг», в этом не может быть никаких сомнений. Это явствует, в частности, также и из сопоставления дат: в основной, полной рукописи перебеленный его текст помечен 21 августа 1836 г., письмо Карамзина написано девять дней спустя, встреча же Пушкина с Мухановым состоялась 29 августа, т. е. через неделю. Отсюда можно также заключить, что перебеленный и черновой тексты стихотворения не далеки друг от друга по времени написания: Муханов говорит о «только что написанном» стихотворении. Столь же важно в словах Муханова указание на злободневный повод его возникновения, на причины, его породившие; оно согласуется в этом смысле с другими письмами семьи Карамзиных, о чем пойдет речь ниже. Однако далеко не столь ясно, какую именно рукопись показывал Пушкин Муханову — полный ли, перебеленный текст стихотворения или только последние три его строфы, известные нам в черновике (начиная со стиха: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой»), более соответствующие тому впечатлению, какое от показанного ему стихотворения вынес Муханов. Комментаторы нового издания переписки Карамзиных, обращая внимание на указанное место в письме Александра Карамзина, осторожно поясняют, что «Муханову более всего запомнилась пятая, заключительная строфа стихотворения, в которой он уловил отклик поэта на поверхностные, свидетельствующие о непонимании или враждебности отзывы критики и читателей о его творчестве, якобы иссякшем и клонящемся к упадку».² Отсюда напрашивается предположение, что Пушкин показывал Муханову именно черновой текст (последние три строфы без первых двух). Едва ли бы Муханову, который, по собственному его рассказу Александру Карамзину, нашел Пушкина «ужасно упавшим духом . . . вздыхающим по потерянной фаворит публики», поэт стал читать по своей рукописи торжественные, утверждающие, величавые строки: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», тем более что они заключали в себе опасный в то время политический намек. Полный текст стихотворения Пушкин мог показывать только наиболее близким друзьям, к числу которых Николай Муханов все же не принадлежал.

¹ Андроников И. Тагильская находка: Из писем Карамзиных // Нов. мир, 1956, № 1, с. 168; Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. / Под ред. Н. В. Измайлова. М.; Л., 1960, с. 96.

² Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг., с. 359.

Второе, более позднее документальное свидетельство об интересующем нас стихотворении принадлежит одному из таких именно друзей Пушкина — А. И. Тургеневу. Мы имеем в виду запись его дневника, также напечатанную сравнительно недавно и оставшуюся почти незамеченной исследователями. Впервые опубликовал ее П. Е. Щеголев в 1928 г., в третьем издании своей книги «Дуэль и смерть Пушкина», в «Приложении», среди других двадцати восьми упоминаний о Пушкине, извлеченных им из рукописного дневника А. И. Тургенева (за период от 25 ноября 1836 по 28 января 1837 г.). В записи от 15 декабря 1836 г. мы читаем: «Был у Карамзиных» . . . сидел у Аршияка . . . Обедал у Татаркиной, вечер у Пушкиных до полуночи. Дал песню о Полку Игореде для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б. Портрет его в подражание Державину: „весь я не умру!“ . О М. Орлове, о Киселеве, Ермолове и К. Меншикове». Знали и ожидали: „без нас не обойдутся“. Читал письмо к Чаадаеву, не посланное».³

Нечего и говорить о том, насколько важны для нас эти лаконичные строки торопливо начертанные Тургеневым на страницах его дневника в ту же декабрьскую ночь, готчас по возвращении от Пушкина: Тургенев по привычке заносил ежедневно свои заметки в дневниковые тетради, и чем насыщеннее примечательными событиями, встречами, содержательными беседами бывали для него такие дни, тем более скудными, сжатыми, сокращенными почти до иероглифических знаков становились строки, предназначенные удерживать в памяти то, что было им пережито и перечувствовано за этот день. П. Е. Щеголев оставил без пояснений как эту, так и прочие записи, между тем они действительно требуют расшифровки. Трудно, конечно, по цитированным строкам восстановить весь ход искренней, душевной беседы Пушкина с Тургеневым, затянувшейся до полуночи, но кое-что угадать в ней и восстановить все же возможно. Знаменательно прежде всего, что она касалась творчества поэта, его ближайших литературных дел, отношений его к современникам, идейных несогласий с ними. Начавшись со «Слова о полку Игореде», толкования которого сильно занимали Пушкина в то время,⁴ она закончилась чтением «не посланного» письма к П. Я. Чаадаеву, которое так и не было отправлено Пушкиным по назначению и найдено было в его бумагах.⁵ В последний месяц 1836 и в начале 1837 г., живя в Пе-

³ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исслед. и матер. 3-е изд., просмотр. и дополн. М.: „., 1928, с. 278 (восполнение сокращенных слов, отсутствующее в публикации Щеголева, дано мною).

⁴ А. И. Тургенев имел в виду врученный ему Пушкиным второй экземпляр имевшегося в библиотеке поэта «Слова о полку Игореде» в пражском издании В. Ганки 1821 г.; эту книгу А. И. Тургенев должен был переслать брату, Н. И. Тургеневу, а последний в свою очередь — Ф. Г. Эйхгофу. См.: Я с и н с к и й Я. И. Из истории работы Пушкина над лексикой «Слова о полку Игореде» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941, вып. 6, с. 338, 367—368.

⁵ Речь идет о письме Пушкина к П. Я. Чаадаеву на французском языке, написанном 19 октября 1836 г. в ответ на получение от автора оттиска «Фя-

тербурге, А. И. Тургенев нередко виделся с Пушкиным и много беседовал с ним по душам. Об этом свидетельствует сам Тургенев в письме к Е. А. Свербеевой от 21 декабря 1836 г.: «Пушкин мой сосед, он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая прежде была так значительна. Но я не из числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, в сущности не заканчивая, то есть не исчерпывая ее никогда».⁶ Месяц спустя, уже после гибели поэта, А. И. Тургенев писал о нем своему двоюродному брату И. С. Аржевитинову (письмо от 30 января 1837 г.): «. . . последнее время мы часто виделись с ним и очень сблизились, он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие».⁷ А. И. Тургенев знал об этом более всех других, о чем свидетельствуют, в частности, записи его дневника. Едва ли кому-либо другому, кроме Тургенева, Пушкин решился бы показать свое письмо к Чаадаеву накануне громкой цензурной истории и последующих репрессий против автора «Философического письма». В этом неотосланном письме Пушкина к Чаадаеву Тургенев читал, в частности, проникновенные и мудрые строки о современной ему общественной жизни в Петербурге, объясняющие так много в той атмосфере, в которой мог создаться «Памятник». «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно, — писал Пушкин Чаадаеву по прочтении «Философического письма». — Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние» (XVI, 172—173, 393).

Остальные строки приведенной записи дневника А. И. Тургенева свидетельствуют о большой содержательности его беседы

лософического письма», напечатанного в 15-й книге «Телескопа» за 1836 г. Как известно из свидетельства самого Чаадаева, письмо это не было ему отослано, и он долго тщетно добивался получения хотя бы списка его от Жуковского, в руках которого оно оказалось после смерти Пушкина (Рус. старина, 1903, кн. 10, с. 185—186; Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1913, т. 1, с. 238—239, 399). Дм. Шаховской (Два выстрела // 30 дней, 1937, № 2, с. 73—74) предполагает, что в тот же день, когда Пушкин написал это письмо Чаадаеву, он узнал о тучах, собирающихся над головою друга: как он это и предчувствовал в последних строках письма, через несколько дней «последовала высочайшая резолюция о запрещении „Телескопа“ и объявлении Чаадаева сумасшедшим». См. также: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 1, с. 239; Тургенев А. И. Хроника русского: Дневники (1825—1826 гг.) / Изд. подг. М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964, с. 487—488.

⁶ Московский пушкинист / Под ред. М. Цявловского. М., 1927, вып. 1, с. 24—25.

⁷ Рус. архив, 1903, кн. 1, с. 143.

с Пушкиным, которая велась с глазу на глаз, без посторонних.⁸ Речь зашла тогда также о новых стихах — самого Пушкина, а также о стихах Р. и Б. Кого из поэтов Тургенев имел в виду, сокращая их фамилии до начальной буквы? Очевидно, это были знакомые имена, если он не считал пужным раскрывать их в тетради полностью, явно надеясь на то, что легко вспомнит их, когда будет перечитывать свою дневниковую запись. Для того чтобы догадаться, кто скрывался под этими прозрачными для А. И. Тургенева инициалами, необходимо заглянуть в оглавление очередной книги «Современника», составлением которой Пушкин озабочен был в декабре 1836 г., или в предшествующую, уже вышедшую в свет. Пятый том журнала был первым из тех, которые выпускались друзьями Пушкина после его смерти; основу этой книги составили рукописи разных авторов, найденные в столе покойного поэта, которые он сам предназначал для своего журнала.

В V томе «Современника» наше внимание обращают на себя два стихотворения — «Эльбрус и я»⁹ Е. Ростопчиной и «Осень», Е. А. Баратынского.¹⁰ Было бы трудно утверждать с полной уверенностью, что именно об этих двух стихотворениях шла у Пушкина речь с А. И. Тургеневым вечером 15 декабря 1836 г., но мы едва ли ошибемся, если предположим, что как раз имена этих двух поэтов Тургенев обозначил в своем дневнике буквами «Р.» и «Б.». Что касается «Осени», то это стихотворение прислано

⁸ Расшифровку этих записей и комментариев к ним дал также М. И. Гиллельсон в подготовленном им издании: Тургенев А. И. Хроника русского : Дневники, с. 488. Давая свое чтение нескольких неразборчивых строк (например: «О М. Орлове и Киселева, Ермолове и кн. Меншикове. . .») и т. д.; по нашему мнению, возможны и другие варианты восполнения сокращенных слов и пунктуации, как это видно из сравнения с публикацией текста, приведенной на с. 19), М. И. Гиллельсон пытается восстановить ход интересующей нас беседы в следующем виде: «Сначала Пушкин прочел „Памятник“, затем разговор перешел на восстание декабристов и, наконец, Пушкин ознакомил его со своим неотправленным письмом к Чаадаеву. Итак, стихотворение „Памятник“, в котором Пушкин писал, „что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал“, естественно направило разговор в русло декабристского движения. Беседуя с А. И. Тургеневым о декабристах, Пушкин вспомнил о своем письме к Чаадаеву, в котором, как указано выше, он писал об истории России и о ее современном состоянии: тема неотправленного письма от 19 октября 1836 г. органически входила в круг тех острых политических вопросов, которые были предметом обсуждения между Пушкиным и А. И. Тургеневым в этот вечер» (там же, с. 488). Эти выводы слишком категоричны. Я не решился бы утверждать, что данная беседа развивалась именно так, тем более что последовательность, с которой в разговоре назывались отдельные имена, легко могла быть нарушена самим Тургеневым во время записи в дневнике; с другой стороны, содержание беседы безусловно не исчерпывалось обсуждением «острых политических вопросов», она коснулась и литературы, и светских сплетен.

⁹ Современник : Лит. журн. А. С. Пушкина, изданный по смерти его. . . СПб., 1837, т. 5, с. 140—142. Подпись: Г[рафиня] Е[вдокия] Р[остопчина]; через несколько лет перепечатано в се «Стихотворениях» (СПб., 1841, с. 116—117) с пометой: «октябрь, 1836 г.».

¹⁰ Там же, с. 279—286.

было издателям «Современника» уже после смерти Пушкина, хотя начато было задолго перед тем и имеет прямое отношение к поэту, который мог знать об этом замысле Баратынского.¹¹ Однако в предшествующем, 4-м томе «Современника» сам Пушкин напечатал другое стихотворение того же Баратынского («К Вяземскому»), которое, как и многие другие его произведения, могло дать не один повод к обмену мыслями с А. И. Тургеневым. Баратынский писал это стихотворное послание из сельского уединения и высказывал в нем полное удовлетворение, что покинул свет, далек от его горестей и радостей, равнодушен к его злоречию и пересудам, живя мирно и тихо, в отдалении от забот,

Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет,
Где я простил безумству, злобе,
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет.¹²

Здесь высказывались настроения, прямо совпадавшие с тем, о чем тайно мечтал и Пушкин в то самое время, — о вольной жизни среди природы, в полной отрешенности от опостылевших ему тревог, клеветы, суетности большого света. Стихотворение же Ростопчиной, напротив, возвращало читателя в привычную для ее поэзии сферу изысканных чувств великосветской среды, со всеми ее условностями, показным равнодушием, умением маскировать сердечные порывы. В этом стихотворении, которое могло быть известно Пушкину по рукописи, есть, например, следующие строки:

Как пред красавицей надменной
Поклонник страсть свою таит,
Так пред тобой, Эльбрус священный,
Весь мой восторг остался скрыт
и т. д.

Как видим, у Пушкина в тот проведенный им наедине с А. И. Тургеневым вечер 15 декабря, когда он говорил о стихах, своих и чужих, был, вероятно, не один случай перейти в беседе к своим сугубо личным делам, обидам и подозрениям, к тому, что он думал об окружающих его людях и собственной судьбе. Во всяком случае в той или иной связи со стихами Ростопчиной и Баратынского — если исходить из записи дневника А. И. Турге-

¹¹ Элегия Баратынского «Осень», неоднократно сопоставлявшаяся с «Осенью» Пушкина, окончена была лишь в январе 1837 г., что удостоверяется письмом его к П. А. Вяземскому, где говорится: «Препровождаю вам дань мою „Современнику“». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения . . . Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию» (Старина и новизна, 1902, т. 5, с. 54). См. также: Гофман М. Л. Баратынский о Пушкине // Пушкин и его современники. СПб., 1913, вып. 16, с. 143—166.

¹² Современник, 1836, т. 4, с. 216—218.

нева и если она правильно расшифрована нами — Пушкин в тот вечер говорил и о своих новых стихах, все реже появлявшихся на его рабочем столе, и показал Тургеневу стихотворение «Я памятник себе воздвиг», на этот раз несомненно в полном виде, не утаивая ни одной его строки. Запись об этом Тургенева хотя и скупа, и лаконична, но все же очень насыщена: «Портрет его (Пушкина. — М. А.) в подражание Державину: „весь я не умру!“».¹³ Знаменательно здесь определение стихотворения как автопортрета Пушкина, как попытки его представить самого себя грядущим поколениям, предречь бессмертия своей поэзии. Тургеневу, очевидно, особенно запомнилось начало второй строфы:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.

Интересно, что тем же словом «портрет» воспользовался и Гоголь, называя «Я памятник себе воздвиг» в письме к Жуковскому (и в книге «Выбранные места из переписки с друзьями») «душевым портретом» Пушкина.¹⁴ Не к Пушкину ли восходит это определение? Не сам ли он называл так для краткости, но и по существу свое стихотворение? Ведь именно к портрету Жуковского, реальному, а не метафорическому, обращены написанные Пушкиным еще в 1818 г. знаменитые строки, говорившие о бессмертии поэзии, — тонкий «словесный портрет» и вместе с тем

¹³ А. И. Тургенев хорошо помнил и стихотворение Державина, и оду Горация. Вскоре после смерти Пушкина, но еще до того как был напечатан его «Памятник», А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому (4 мая 1837 г.), что в Москве холодно отнеслись к замыслам об увековечении памяти Карамзина, и цитировал по этому поводу Горация и Державина: «Мне обещали доставить и копии с письма Обольянинова, в коем он по-своему доказывает, что Карамзин не заслужил памятника. Не лучше ли бы памятник „aere regeptius“? . . . Обними за меня милое потомство Карамзина и скажи ему и себе, чтобы не мешали, а помогли мне воздвигать другой памятник, коего ни губернатор, ни

Времени полет не могут сокрушить»

(Остафьев. архив. СПб., 1899, т. 4, с. 15; последняя строка — 4-й стих «Памятника» Державина).

¹⁴ «Наши писатели . . . заключали в себе черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвалством, если бы их жизнь не была тому подкреплением. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал. . .

«Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 8, с. 259). В плане «Учебной книги словесности для русского юношества» Гоголь также писал: «Поэзия лирическая есть портрет, отражение и зеркало собственных высших движений души поэта и самонужнейшие заметки, биография его восторговений» (там же, с. 472).

один из ранних вариантов «Памятника», воздвигнутого Пушкиным в честь одного из наставников его поэтической юности («К портрету Жуковского»):

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль ¹⁵
и т. д.
(II, 1, 60)

И не эти ли обращенные к нему стихи вспоминал и сам Жуковский, готовя в 1840 г. к первой публикации пушкинский «Памятник» и переделывая на свой лад четвертую его строфу? —

Что прелестью живой стихов я был пользен.

Не менее существенно для нас и другое указание в записи А. И. Тургенева. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг» названо им «портретом» поэта, созданным в подражание державинскому «Памятнику». Было ли это подчеркнуто Пушкиным в беседе или таково было впечатление самого Тургенева, остается неясным; но это и не столь важно, потому что такое ощущение испытывали все первые читатели пушкинского стихотворения, для которых державинские стихотворные строки оставались еще живыми, звучащими, широко известными, воспринимались как образец, которому следовал Пушкин; это ощущение на долгие годы определило и основную особенность восприятия стихотворения Пушкина, и важнейшее направление в его истолкованиях вплоть до наших дней.

Нет сомнения, что Пушкин придавал особое значение этому своему произведению. А. И. Тургеневу он показывал его почти через четыре месяца после того, как оно было создано; напомним еще раз, что запись дневника Тургенева, в котором оно упомянуто, сделана в ночь на 16 декабря, а полтора месяца спустя (29 января 1837 г.) Пушкин умер. Знал ли его по рукописи еще кто-либо из друзей и знакомых поэта, кроме Н. Муханова, А. И. Тургенева и, вероятно, Карамзиных, неизвестно; никаких сведений об этом не сохранилось или они еще не были обнаружены. Едва ли, однако, круг читателей данного стихотворения при жизни поэта мог быть велик. На опубликование его в ближайшем будущем Пушкин надеяться не мог, да это, разумеется, и не входило в его расчеты: он писал его для себя и для «завистливой дали» веков.

Жуковский свидетельствует, что в день смерти Пушкина, «спустя $\frac{3}{4}$ часа после кончины, после того как бездыханное тело поэта вынесли в соседнюю горницу», он сам по приказанию царя «запечатал кабинет своею печатью». Лишь 7 февраля 1837 г. ка

¹⁵ Такими же «душевными портретами», т. е. характеристиками психологического склада человека, как сказали бы мы сейчас, были «надписи» Пушкина: «К портрету Каверина» (1817), «К портрету Чаадаева» (1817) и т. д.

бинет был распечатан; тогда, по официальному рапорту, «все принадлежавшие поэту бумаги, письма и книги в рукописях собраны, уложены в два сундука и запечатанными перевезены в квартиру д. с. с. Жуковского, где и поставлены в особенной комнате».¹⁶ «В течение 16 дней начальник штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельт при участии Жуковского, игравшего довольно унижительную роль „понятого“, производил сначала предварительный разбор и сортировку рукописей, затем их просмотр: это был в сущности „посмертный обыск“ Пушкина».¹⁷ Едва ли в этот период какие-либо неизданные произведения Пушкина, найденные в его бумагах, могли проикнуть в публику даже через Жуковского: о рукописном наследии поэта до петербургских и московских литераторов доходили тогда самые общие и туманные сведения.¹⁸

А. А. Краевский сообщал М. П. Погодину в Москву из Петербурга 23 мая 1837 г.: «В бумагах Пушкина найдено множество отдельных стихотворений, конченных и неконченных, отрывков в прозе, выписок для истории Петра. Все это сбережено, переписано, перемечено и хранится вместе с подлинниками у Жуковского. Может быть, все будет издано, — говорю может быть, потому что это зависит от высшего разрешения».¹⁹ Лишь несколько произведений было отобрано Жуковским для помещения в ближайших томах «Современника» (правда, среди них оказались такие крупные вещи, как «Медный всадник», «Сцены из рыцарских

¹⁶ Ц я в л о в с к и й М. А. Судьба рукописного наследия Пушкина // Вестн. АН СССР, 1937, № 2—3, с. 110. Вошло в его книгу: Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 276.

¹⁷ Ц я в л о в с к и й М. А.. Статьи о Пушкине, с. 276.

¹⁸ В письме М. П. Погодина к П. А. Вяземскому от 11 марта 1837 г. содержался запрос о ряде произведений Пушкина, которые должны были сохраниться среди его рукописей; в ответ на это, по поручению Вяземского, Погодину отправлен был перечень того, «что до сих пор в бумагах Пушкина отыскано»; названы, впрочем, только крупные произведения и «много мелких стихотворений», не означенных более точно (см.: Ц я в л о в с к и й М. А. Погодин о «посмертных» произведениях Пушкина // Ц я в л о в с к и й М. А. Статьи о Пушкине, с. 403—406). И. И. Дмитриев со своей стороны сообщал П. П. Свиньину из Москвы 23 марта 1837 г.: «Катастроф с Пушкиным отдался в моем сердце, и я же обязан был объявлять о том бедному отцу его! . . . Добрый Жуковский пишет ко мне, что при разборе им бумаг Пушкина найдены им уже в отделке две прекрасные пьесы в стихах: „Медный конь“ и „Каменный гость“ (Дон Жуан) . . . множество отрывков в стихах и прозе. . . Все это будет издано» (Д м и т р е в И. И. Соч. / Ред. и примеч. А. А. Флоридова. СПб., 1895, т. 2, с. 325).

¹⁹ Лит. насл. М., 1934, т. 16—18, с. 723. Тем не менее неизданные стихотворения Пушкина из его рукописного наследия, ревниво оберегавшегося «Опекой над детьми и имуществом» покойного поэта, время от времени становились известными литераторам и даже попадали в печать. Так, стихотворение «Признание» в 1837 г. было опубликовано в «Библиотеке для чтения» без позволения опеки, по поводу чего М. Ю. Виельгорский обращался с письмом к А. А. Краевскому; в следующем году несколько неизвестных ранее стихотворений Пушкина, также без разрешения опеки, напечатал П. А. Плетнев. См.: Л е р н е р Н. Заметки о Пушкине // Рус. старина, 1913, № 12, с. 514—516.

времен», «Русалка», «Египетские ночи», ряд лирических стихотворений), но «Памятника» среди них не было. Вскоре Жуковский уехал за границу и дальнейшая работа по подготовке рукописей Пушкина к печати остановилась до начала 1840 г. Только в первые месяцы этого года, когда Жуковский возобновил свои работы над пушкинскими рукописями и с помощью друзей приступил к осуществлению издания дополнительных томов к посмертному Собранию сочинений Пушкина, сведения о еще не опубликованных его стихотворениях, в том числе и о «Памятнике», стали заново распространяться среди литераторов; ²⁰ тогда же с него могли быть сняты и списки.

Именно в это время «Памятник» через Жуковского должен был стать известным кругу лиц, причастных к выпуску в свет IX тома Собрания сочинений Пушкина, — П. А. Вяземскому, В. Ф. Одоевскому и др., в том числе Е. А. Баратынскому, который, живя в Петербурге в январе—марте 1840 г., часто бывал у Жуковского и вместе с ним просматривал пушкинские рукописи, готовившиеся к изданию. «... Был у Жуковского, — писал Баратынский жене. — Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом, и формой. Все последние пьесы отличаются — чем бы ты думала? — силою и глубиною! Он только что созрел». ²¹ От Баратынского, как и от других лиц, сведения эти распространялись и дальше. ²² Никто из этих лиц указания на существование рукописи «Памятника» не оставил. Интересно, однако, что одно из ранних свидетельств об этом стихотворении до его появления в печати принадлежит Белинскому. Я имею в виду широко известное письмо Белинского к В. П. Боткину из Петербурга от 24 февраля—1 марта 1840 г., много раз напечатанное и не раз цитировавшееся исследователями. По странной случайности ни один из них не обратил внимания на то, что Белин-

²⁰ См.: Г р о т Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники // Гр. Я. К. Грота, СПб., 1901, т. 3, с. 154. А. В. Никитенко записал в своем дневнике 26 января 1840 г., что в этот день Жуковский отдал ему для цензурования «сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам. Этих новых сочинений три тома. Многие стихотворения уже были напечатаны в „Современнике“. Жуковский просит все это просмотреть к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить» (Н и к и т е н к о А. В. Дневник в трех томах. М.; Л., 1955, т. 1, с. 219). См. также данные по истории трех дополнительных томов этого издания и об отношении к нему критики в статье: А н д е р с о н Вл. Первое посмертное издание сочинений Пушкина // Рус. библиофил, 1911, № 5, с. 82—86.

²¹ Пушкин и его современники. СПб., 1913, вып. 16, с. 152.

²² Т. Н. Грановский сообщал Н. В. Станкевичу в письме из Москвы от 20 февраля 1840 г.: «Вчера же получена повесть из Петербурга: скоро выйдут три тома неизданных сочинений Пушкина... Забавен следующий случай. Баратынский приезжает к Жуковскому и застаёт его поправляющим стихи Пушкина. Говорит, что в конце нет смысла. Баратынский прочел, и что же — это пьеса сумасшедшего и бессмыслица окончания была в плане поэта» (Грановский и его переписка. М., 1897, с. 384; речь, очевидно, идет о стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума»).

ский говорит в этом письме о «Памятнике» задолго до его первой публикации: ²³ стихотворение напечатано было только четырнадцать месяцев спустя в IX томе Собрания сочинений Пушкина, вышедшем в начале мая следующего 1841 г. (цензурное разрешение датировано 29 апреля 1841 г.).

Вот что писал Белинский в этом письме: «Владиславлев выпросил у опеки для своего альманаха стихотворение Пушкина. Ты знаешь Державина: „Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный“; это одно из самых могучих проявлений его богатырской силы. Пушкин написал то же: я, говорит он в светлую минуту самосознания, я воздвиг себе памятник, который выше Наполеонова столба—

Народная тропа к нему не зарастет.

«Меня будут знать и узкоглазый калмык, и ленивый финн, и черкес; и пока на земле останется имя хотя одного поэта, мое не умрет. О, как действуют на меня подобные самосознания в таких простых, целостных людях, как Пушкин!». И несколькими строками ниже: «Я вижу нравственную идею только в нерукотворных, явленных образах, которые одни есть абсолютная действительность».²⁴ Очевидно, что Белинский излагал «Памятник» уже с изменениями Жуковского, но неточно, по памяти, не имея перед глазами рукописного списка произведения и воспринимаемая его так же, как и большинство его первых читателей: как прямое подражание «Памятнику» Державина. Свидетельство Белинского о В. А. Владиславлеве, якобы выпросившем для себя у Опеки список стихотворения, хотя и не подтверждается фактически, но все же правдоподобно: в альманахе «Утренняя заря на 1841 год», вышедшем в свет в начале ноября 1840 г. (цензурное разрешение датировано 30 октября), «Памятник» Пушкина не появился, но зато здесь напечатано другое его стихотворение, несомненно полученное из того же фонда пушкинских рукописей, — «Для берегов отчизны дальней» (под заглавием «Разлука»)²⁵. Отсюда можно заключить, что в руках издателя альманаха действительно мог быть и список «Памятника» и что в дальнейшем при печатании книги была произведена замена одного стихотворения Пушкина другим, скорее всего из-за цензурных причин.

²³ Не упомянули об этом в своих статьях ни Н. И. Мордовченко (В. Г. Белинский в работе над текстами Пушкина // Лит. архив, М.; Л., 1938, т. 1, с. 297—301), ни Д. Д. Благой (Белинский и Пушкин // Белинский — историк и теоретик литературы. М., 1949, с. 235—271), ни комментаторы академического издания Полного собрания сочинений Белинского, где письмо это напечатано с пояснениями (М., 1956, т. 11, с. 473—474, 685), и др. Даже в образцовой «Летописи жизни и творчества В. Г. Белинского» (М., 1958, с. 239) при упоминании об этом письме так поясняется соответствующее место: «Белинский восхищен только что опубликованным „Памятником“».

²⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 11, с. 473.

²⁵ Богаевская К. П. Пушкин в печати за сто лет: 1837—1937. М., 1938, с. 25 (№ 91).

Существует, наконец, посвященное памяти Пушкина польское стихотворение 1837 г., в котором пытались усмотреть еще одно свидетельство о знакомстве с неопубликованным «Памятником». Мариан Топоровский в своем литературно-библиографическом очерке «Пушкин в Польше», вышедшем в Кракове в 1950 г., обратил внимание на то, что в 1837 г., вскоре после смерти Пушкина, в львовском сборнике «Славянин», изданном Станиславом Яшовским (1803—1842) («Sławianin, zbrany i wydany przez Stanisława Jaszowskiego», t. I, Lwów, 1837, s. 9), сам редактор поместил свой сонет, озаглавленный «Пушкин», в цикле сонетов, посвященных выдающимся литературным деятелям славянских народов. Заключение стихов этого сонета читается так (привожу их в дословном прозаическом переводе):

Читает тебя в Петрограде салонный джорянчик,
Читает купец, ведущий караваны в Китай,
Башкир, вооруженный луком, и коренастый татарин.

Читает тебя в печальной хижине своей у подножия скал
Камчадал, одетый в собольи меха,
Наполнивший свой котелок рыбьим жиром

и. т. д.²⁶

Польскому исследователю представляется знаменательным совпадение (*dziwna zbieżność*) этих строк с основным мотивом третьей строфы пушкинского «Памятника» («Слух обо мне пройдет. . .»), и он готов заключить отсюда, что стихотворение Пушкина в рукописных списках проникло из России за границу еще в 1837 г.

²⁶ T o p o r o w s k i М. Puszkin w Polsce: Zarys bibliograficzno-literacki, Kraków, 1959, s. 156—157 (№ 390). На с. 143—144 своей книги М. Топоровский указывает на статью «Пушкин», появившуюся в издании «Rozmaitości» — приложении к «Gazecie Lwowskiej» (1824, № 49, 10 дек., с. 390—391) — за подписью «S. J.», и догадывается, что автором этого первого очерка о Пушкине на польском языке был тот же С. Яшовский; во введении к своей книге (с. 15—16) М. Топоровский называет также С. Яшовского (1803—1842) первым критиком, сообщившим о Пушкине польским читателям. В дополнение к этим данным укажем, что С. Яшовский связан был с украинскими и русскими литераторами, группировавшимися вокруг «Украинского вестника», издававшегося в Харькове, например с поэтом Александром Склабовским, как это видно из статьи последнего, помещенной в этом журнале (1825, № 9). Первый перевод пушкинского «Памятника» на польский язык напечатан был в 1887 г., но лишь после того как появился перевод Ю. Тувима (1929) «Памятник» стал одним из известнейших стихотворений Пушкина в Польше (см.: T o p o r o w s k i М. Puszkin w Polsce, s. 67, 92). А. В. Склабовский был довольно приметной фигурой на харьковском поэтическом небосклоне 20-х гг. Он являлся председателем студенческого Общества любителей отечественной словесности; ученик И. Е. Срезневского, сначала студент, а потом преподаватель Харьковского университета, Склабовский являлся автором нескольких поэтических сборников, был избран членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности в Петербурге, был знаком с К. Ф. Рылеевым и О. М. Сомовым. Связи его с польскими поэтами (переводчиком произведений которых он являлся), вероятно, осуществлялись через харьковскую польскую колонию. См. о нем справку Л. Н. Назаровой: Лит. насл. М., 1954, т. 59, с. 305—306.

Эта догадка совершенно неправдоподобна; тем не менее она получила известное распространение как в Польше, так и у нас. Сонет С. Яшовского «Пушкин» перепечатан полностью в «Книге польской поэзии» Ю. Тувима, обработанной Ю. Гомулицким (1954), а в примечаниях к этому стихотворению вновь говорится о большом сходстве (*wielka zbieżność*) его с пушкинскими «Пророком» и «Памятником», в доказательстве чего тут же приводится отрывок из последнего произведения в переводе Ю. Тувима.²⁷ С. С. Ланда в своем очерке о Пушкине в печати Польши в 1949—1954 гг. воспроизвел полностью указанный сонет Яшовского в польском оригинале и русском переводе и сопроводил их следующим замечанием: «Приведенный сонет . . . как легко заметить, заключает в себе явные и прямые отклики на ряд пушкинских стихотворений. В частности, едва ли может вызвать сомнение связь данного сонета с „Пророком“ Пушкина; кроме того, оба трехстишия второй половины сонета кажутся парафразой соответствующих стихов „Памятника“». Правда, С. С. Ланда делает тут же совершенно необходимую оговорку: «Заметим, однако, что напрашивающееся само собой предположение, не был ли известен Яшовскому пушкинский „Памятник“, дошедший до него в том или ином списке или пересказе, наталкивается на серьезные затруднения, так как это стихотворение Пушкина при жизни поэта не распространялось, было известно лишь узкому кругу близких к поэту людей и впервые опубликовано было Жуковским только в 1841 году».²⁸ Чаще, однако, подобные необходимые разъяснения и предупреждения не принимались во внимание и догадки превращались в неопровержимые свидетельства. Так, например, В. В. Мартынов, опираясь на осторожное допущение М. Топоровского, шел дальше польского исследователя, но без всяких на то оснований. «Ясно, — пишет Мартынов, процитировав указанный сонет С. Яшовского, — что подобные строки не могли возникнуть у автора, незнакомого с пушкинским „Памятником“».²⁹ В. В. Мартынов несомненно ошибается, как и все его предшественники: в сонете Яшовского трудно увидеть сколько-нибудь убедительное сходство с третьей строфой пушкинского стихотворения. Характеристика широкой известности, посмертной славы поэта, — у Пушкина предвидимой, у Яшовского уже бесспорной, — подтверждаемой в обоих случаях перечислением его разноплеменных читателей, могла возникнуть у русского и польского поэтов совершенно самостоятельно.³⁰ Предполагать

²⁷ *Księga Wierszy polskich XI. wieku. Ułożył Julian Tuwim, opracował i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomułicki.* Warszawa, 1954, s. 231, 550.

²⁸ Ланда С. С. А. С. Пушкин в печати Польской Народной Республики в 1949—1954 гг. // Пушкин: Исслед. и матер. М., 1956, т. 1, с. 424—425.

²⁹ Мартынов В. В. Пушкин и Мицкевич — поэты-лирики // Пушкин на юге: Тр. пушкинских конф. Кишинева и Одессы. Кишинев, 1958, с. 201.

³⁰ Добавим, что приблизительно в то же время другой польский поэт — П. Дальман (*Piotr Dahlmann*) в напечатанном в 1841 г. в г. Вроцлав стихотворении

здесь заимствование тем более нет никакой необходимости, что этот мотив принадлежит к числу весьма распространенных в мировой литературе: Пушкин вдохновлен был мотивом Горация в интерпретации Державина; тот же гораціанский мотив в бесчисленных репликах и вариациях повторялся многократно в поэзии эпохи Возрождения, в том числе и в польской (например, у Яна Кохановского, о чем еще пойдет речь ниже).

3

Итак, о первоначальной истории «Памятника» мы располагаем немногими достоверными свидетельствами; многое остается в ней темным, неясным, интригующим. Очевидно, современники Пушкина, не исключая его друзей, мало знали это стихотворение, не только до, но и после его публикации, говорили о нем редко, не пытались вдуматься в него, не домогались узнать, как оно возникло, и едва ли в состоянии были вполне оценить его по достоинству.

В критических статьях пачала 40-х гг. лишь один Белинский упомянул его с воодушевлением, в словах, текстуально совпадающих с теми, которые ранее были высказаны им в письме к В. П. Боткину.¹ В конце этого десятилетия о «Памятнике» вновь напомнил Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Несмотря на зловещий колорит этой книги, бросившей отблеск и на понимание им «Памятника», отзыв Гоголя наряду с оценкой Белинского все же остается наиболее интересным из всего, что было сказано об этом произведении в первые годы после того, как оно стало известно читателям по печатному тексту, потому что отклики их обоих внушены были еще живым ощущением личности Пушкина, возможностью объяснить признания поэта не только из стихотворных строк, им написанных, но и из всего того, что они знали о нем как о человеке, о положении его в литературных

творении «К Пушкину» («Do Puszkina») прославлял могучий гений русского поэта, чье «огненное слово» вдохновляло на борьбу миллионы людей «от Немана до Камчатки» («Od Niemna do Kamszatky»). Этот географический горизонт в стихотворении Дальмана — участника польского восстания 1831 г. — возник столь же самостоятельно, как и у Яшовского, без всякого воздействия пушкинского «Памятника», тем более что, по-видимому, стихотворение «К Пушкину» было написано Дальманом в год гибели русского поэта. См.: *G o r o w s k i M. Puszkina w Polsce*, s. 162—163, 280; *Д е р ж а в и н К. Н. Пушкин в славянских литературах // Тр. I и II Всесоюз. пушкинских конф. М.; Л., 1952, с. 236.*

¹ В рецензии на 9—11-й тома Сочинений Пушкина (Отеч. зап., 1841, т. 17, № 8) Белинский писал: «Подобно Державину Пушкин переделал (sic!) „Памятник“ Горация в применении к себе: его „Памятник“ есть поэтическая апофеоза гордого, благородного самосознания гения» — и тут же привел все стихотворение полностью в редакции Жуковского; упомянут «Памятник» также в первой статье Белинского о Пушкине (Отеч. зап., 1844, т. 32, № 2). См.: *Б е л и н с к и й В. Г. Полн. собр. соч.*, т. 5, с. 268, 811; 1955, т. 7, с. 355.

кругах, о его славе, о той атмосфере, которой он дышал и в которой рождалась его поэтическая сила. Гоголь, как мы видели, процитировал четвертую строфу «Памятника» в редакции Жуковского и заключал уже от себя, как очевидец, как близкий свидетель жизни поэта: «Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет! Как весь он оживлялся и вспыхивал, когда дело шло к тому, чтобы облегчить участь какого-нибудь изгнанника или подать руку падшему».² Подобное восприятие «Памятника» как автобиографического документа, раскрывающего человеческого, житейский облик поэта, встречалось изредка и позже, со ссылками на подтверждающие свидетельства ближайших его современников. Так, например, Чернышевский писал в 1856 г.: «Все, что мы знаем о Пушкине как о человеке, заставляет любить его; а великие услуги, оказанные им русской литературе, и поэтические достоинства его произведений, по справедливому замечанию одного из литераторов, писавших о жизни Пушкина, заставляют признаться, что он имел полное право сказать о себе и своих творениях:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный. . .».³

Литератором, «писавшим о жизни Пушкина», на «справедливое замечание» которого сослался здесь Чернышевский, был, конечно, П. В. Анненков, именно цитатой из «Памятника» закончивший свои «Материалы для биографии Пушкина», незадолго перед тем изданные (1855). Но Анненков напоминал читателям только два первых пушкинских стиха,⁴ у Чернышевского же это стихотворение цитировано полностью, с выпуском лишь третьей строфы; вслед за ним помещено было «Приложение» («несколько мелких стихотворений и поэм») — маленькая антология избранных текстов Пушкина, в которой еще раз воспроизведен был «Памятник», уже без всяких сокращений, но, разумеется, в общепринятой тогда редакции Жуковского. Эта небольшая книга Чернышевского имела, как видно из предисловия издателя, прежде всего популяризаторские цели (на авантитуле издания 1856 г. стоял даже заголовок «Чтение для юношества», впоследствии опускавшийся). Очевидно, она удовлетворила запросу, так как издавалась трижды

² Гоголь Н. В. Полн. собр., соч., т. 8, с. 260.

³ [Чернышевский Н. Г.] Александр Сергеевич Пушкин: Его жизнь и сочинения. СПб., 1856, с. 72 и «Приложение», с. 104.

⁴ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. На последней странице этой книги (с. 432) говорится о Пушкине: «Он мог воскликнуть в справедливой гордости:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастет народная тропа.

В третьем томе своего издания Сочинений Пушкина (которому предпосланы были «Материалы») Анненков напечатал и весь «Памятник» (с. 71), но в общепринятой тогда редакции и без всяких пояснений.

(все три раза без имени автора) — в 1856, 1865 и 1885 гг. — без изменений.⁵

Вскоре и Н. А. Добролюбов, по рекомендации того же Чернышевского, написал (в 1856 г.) для «Русского иллюстрированного альманаха» А. Т. Крылова биографическую статью «А. С. Пушкин» (вышла в свет с запозданием, лишь в начале 1858 г.). Пользуясь теми же «Материалами» П. В. Анненкова, Добролюбов писал здесь: «Несмотря на свои понятия об искусстве как цели для себя, Пушкин, умел, однако, понимать и свои обязанности в отношении к обществу. В своем „Памятнике“ он ставит себе в заслугу не художественность, а то,

Что чувства добрые он лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов он был полезен
И милость к падшим призывал».⁶

Переделывая приведенную цитату с тем, чтобы она воспринималась как утверждение от третьего, а не от первого лица («он» вместо «я»), Добролюбов, естественно, не знал — как и все читатели до начала 80-х гг., — что он дает ее в редакции Жуковского; однако Добролюбов не почувствовал еще, что от своего имени Пушкин никогда не мог говорить о «живой прелести» собственных стихов, тем более в ряду самых ответственных самопризнаний, и что именно эта словесная формулировка инородна и чужда всему стихотворению в целом как по своим этическим, так и по стилистическим признакам. Между тем десятилетие спустя (1865) именно эта строка Жуковского дала Д. И. Писареву основание провозгласить Пушкина всего лишь отжившим свой век «искусным версификатором», «самовольно надевшим себе на голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права».⁷ Характерно, что в своих ожесточенных и злобных напад-

⁵ Эти издания имеют незначительные различия, не касающиеся «Памятника». По *первому* изданию (1856 г.) данная работа воспроизведена в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского (М., 1947, т. 3, с. 310—339); по *второму* (1865 г. на обложке, 1864 г. на титульном листе) — в Собрании сочинений Чернышевского (СПб., 1906, т. 10, ч. 2, с. 198—226; оба раза без «Приложения»); *третье* издание (СПб., 1885) ничем не отличается от первых двух, кроме формата; в конце текста (с. 47) и в «Приложении» к нему (с. 66) «Памятник» снова напечатан в редакции Жуковского. Сделанное Чернышевским в четвертой статье его «Очерков гоголевского периода русской литературы» сопоставление «Памятника» Пушкина с одами Горация и Державина (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3, с. 137) А. А. Тахо-Годи сопровождает следующим пояснением, с которым нельзя не согласиться: «Если бы Чернышевский знал подлинный текст автора, значимость „Памятника“ Пушкина выросла бы в его глазах еще больше» (Тахо-Годи А. А. Проблемы античной культуры у Чернышевского // Учен. зап. Моск. обл. нед. ин-та, 1955, т. 34, вып. 2, с. 224).

⁶ Добролюбов Н. А. Собр. соч. М., 1950, т. 1, с. 110, 690—691. Статья была опубликована под псевдонимом «Н. Лайбов».

⁷ Статья «Лирика Пушкина», вторая из статей, объединенных общим заглавием «Пушкин и Белинский», была опубликована Писаревым в «Русском слове» (1865, кн. 6). В журнальном первопечатном тексте все цитаты

ках на Пушкина-лирика, и в частности на его «Памятник», хотя и сделанных из лучших побуждений, но оказавшихся все же «гигантской неправдой о творчестве великого поэта»,⁸ Д. И. Писарев выворачивал наизнанку прежде всего именно не принадлежащие Пушкину строки этого стихотворения, издеваясь, например, над тем, что поэт внезапно обнаруживает «кротость, смирение, равнодушие к той самой славе, в которой он превзошел Наполеона»,⁹ или над тем, что Пушкин (!) «даже произносит слово полезен и соглашается, таким образом, вступить в состязание с печными горшками».

В том же 1855 г., когда появились «Материалы» П. В. Аннекова, Некрасов поместил в последней книжке «Современника», непосредственно вслед за написанными им самим (но опубликованными без подписи) «Заметками о журналах за ноябрь 1855 г.», небольшое произведение А. Н. Майкова. Оно названо здесь «Отрывок из поэмы: Земная комедия» и имеет подзаголовок «Памяти Пушкина».¹⁰ Это — фрагмент большого замысла, который не был осуществлен полностью по цензурным причинам. Отрывки этой поэмы были известны современникам по рукописям и производили на них сильное впечатление.¹¹ Напечатанный Некрасовым «Отрывок» интересен для нас тем, что мы находим в его тексте скрытые цитаты из пушкинского «Памятника» и своего рода воцеление в «дантовских» образах отдельных строк пушкинского стихотворения — о хвале и клевете, о «чувствах добрых», которые поэт пробуждал своей лирой, о праведном и неправедном суде потомства. Слова поэта о том, что он будет «любезен народу», развернуты Майковым в целую картину. Майков представляет

из стихотворений Пушкина, в том числе из «Памятника», намеренно напечатаны в строку, «презренной прозой», что и оговорено автором, безусловно стремившимся подчеркнуть свое презрительное отношение к этим, по его мнению, «непоэтическим» творениям. См.: Писарев Д. И. Соч., т. 3, с. 413.

⁸ Бровман Г. Великий поэт и его критики // Знамя, 1937, № 2, с. 255.

⁹ Характерно, что стих о «Наполеоновом столпе» не только скрыл Писареву важнейший для пушкинского замысла «Александрийский столп», т. е. памятник Александру I, но ослабил даже самое представление о «столпе» — это была несущественная в данном случае для него подробность, в силу чего он и сопроводил этот стих соответственной ремаркой (см. выше, с. 16). Между тем Д. И. Писарев одно из самых ранних своих стихотворений посвятил другому петербургскому памятнику — Николаю I, открытому в 1859 г. См.: Козьмин Б. Стихотворение Д. И. Писарева на открытии памятника Николаю I // Красн. архив. 1928, т. 3 (28), с. 228—231.

¹⁰ Современник, 1855, № 12, отд. 5 (Смесь), с. 284.

¹¹ Поэма «Земная комедия», куда входил отрывок «Памяти Пушкина», была известна под названием «Подражание Данту»; в более полном виде эта поэма читалась в литературных кружках Петербурга. О чтении ее у Некрасова, «где собралось человек пятнадцать литераторов», а потом и у Майковых И. А. Гончаров писал Е. В. Толстой 20 и 25 октября 1855 г. п., в частности, утверждал: «Жаль, что напечатать этого нельзя, но по рукам это стихотворение разойдется быстро» (Голос минувшего, 1913, № 11, с. 228, 232).

себе благодарный народ, свершающий «святую тризну» «над прахом гения», у его свежего надгробного памятника:

Кто холм цветами украсал,
Кто звучные стихи усопшего читал,
Где радовался он и плакал за отчизну,
И было сладко всем. Одним в его стихах
Все новая краса и сила открывалась;
В тех — к родине любовь сильнее разгоралась,
И всякий повторял с слезами на глазах:
«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах».

Внезапно в толпе раздаются вопли бешенства и злобы какого-то неизвестного старика:

Но вдруг, среди толпы, я крик ужасный внемлю.
То на земь кинулся как жердь сухой старик.
Он корчился, кусал и рыл ногтями землю,
И пену ярости точил его язык.

Его никто не знал. Но старшие в народе
Припомнили, что то был старый клеветник,
Из тех, чья ненависть и немощная злоба
Шли следом за певцом, не смолкли и у гроба,
Дерзая самый суд потомства презирать.

Народ, схватив клеветника, готов был расправиться с ним. Но — в полном соответствии с дантовской «Божественной комедией», подражанием которой является поэма Майкова, — здесь есть и свой Вергилий:

Но вождь мой удержал. «Ваш гнев певца обидит», —
Сказал: «Стекайтесь, как прежде, совершать
Поэту память здесь и гроб его венчать,
А сей несчастный — пусть живет и видит».

Заканчивая свои «Заметки о журналах», Некрасов сделал к ним следующее редакционное примечание: «Только что заключили мы эти заметки, а с ними и настоящую книжку „Современника“, как получили от Ап. Ник. Майкова следующее стихотворение, которое и спешим представить нашим читателям, извиняясь перед поэтом, что помещаем стихотворение здесь, так как первый отдел книги уже заключен».¹² Однако это оправдание, вероятно, имело тактический характер и сделано было в большей степени для отвода подозрений цензуры. Впервые публикуя с именем Некрасова его «Заметки о журналах», М. Максимович высказал предположение, что помещение «Отрывка» после «Заметок» было вызвано «соображениями злободневности», так как в «Заметках» говорилось о нападках на Пушкина Ксенофонта Полевого, а в «Отрывке» нетрудно узнать этого старого журналиста в образе кле-

¹² Современник, 1855, № 12, отд. 5, с. 283.

ветника.¹³ Действительно, указанные «Заметки» могут служить реальным комментарием к «Отрывку», а стихотворение Майкова — яркой к ним иллюстрацией в «манере Данта», по словам самого Некрасова.¹⁴

К. А. Полевой, брат Н. А. Полевого, помогавший ему во всех его литературных и издательских предприятиях, был давним, хотя сначала и тайным, недоброжелателем Пушкина. Основа этой вражды была чисто личная — обида на то, что, по его собственным словам, «боярин Пушкин» «видел ум и любезность в полумертвом, ничтожном вельможе и не хотел видеть их в моем брате»; брат же этот, Николай Алексеевич, будто бы испытывал «досаду, а иногда и неудержимое негодование, когда он видел, что Пушкин действует недостойно своего великого призвания».¹⁵ К. А. Полевой свои нападки на Пушкина начал еще в конце 20-х гг. (см. его статью «О сочинениях Пушкина». — Московский телеграф, 1829, ч. 27, № 10). В феврале 1836 г. К. А. Полевой предложил Пушкину стать его комиссионером в Москве по продаже «Современника», на что Пушкин согласился; по этому поводу они обменялись письмами. В 50-е гг. К. А. Полевой сделался откровенно реакционным сотрудником булгаринских изданий. В 1855 г. он поместил в № 255 «Северной пчелы» проникнутую ядом и злобными измышлениями статью о «Материалах для биографии Пушкина» П. В. Анненкова, которые он и в своих мемуарах назвал «хвалебной компиляцией», а также о новом издании сочинений Пушкина, выпущенном Анненковым. Как видим, немногословная характеристика старого клеветника в «Отрывке» А. Н. Майкова вполне точно отображает всю историю отношения К. А. Полевого к Пушкину. Против наветов К. Полевого на Пушкина в «Северной пчеле» и выступил Некрасов в своих «Заметках».

«Автор статейки, г. К. П., недоволен трудом г. Анненкова и как издателя, и как биографа, — писал Некрасов. — По словам г. К. П., г. Анненков „как будто задал себе задачу не договаривать ничего, представлять многое в превратном виде и хвалить Пушкина точно как члена Французской академии“ и прочее. . . Хвалить! а по мнению г-на К. П. следовало делать совершенно противное!». Некрасов приводит довольно обширные выписки из статьи

¹³ Заметки о журналах: Несобранный литературно-критический цикл Некрасова // Лит. насл. М., 1946, т. 49—50, с. 268. Самые «Заметки. . . за ноябрь 1855 г.» со включенным в них «Отрывком» Майкова воспроизведены здесь на с. 258—267; они вошли также в Полное собрание сочинений Некрасова (М., 1950, т. 9, с. 368—369), а в примечании к ним вновь подчеркнута тесная связь «Отрывка» с «Заметками» (с. 762).

¹⁴ Лит. насл., т. 49—50, с. 317, 341.

¹⁵ Полевой Н. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х гг. / Под ред. Вл. Орлова. Л., 1934, с. 407; ср. также с. 459, 461, 485, 494; Полевой К. А. Записки. СПб., 1888, с. 312, 317—318, 320. Добавим, что и Некрасову, и Майкову (они были однолетки — оба родились в 1821 г.) Ксенофонт Полевой действительно должен был казаться стариком, так как он был почти ровесником Пушкина (родился в 1801 г.) и, следовательно, был старше их обоих на целое двадцатилетие.

К. Полевого в «Северной пчеле». Конечно, утверждал К. Полевой, теперь еще нельзя говорить о Пушкине всего, «но через осьмнадцать лет после его кончины, при утвердившейся незыблемо славе его как поэта, можно и должно определить: какого рода был он поэт?». По его словам, необходимо представить «характер и жизнь Пушкина, и нам объяснится все в его сочинениях: и достоинства их, и недостатки, и легкие успехи поэта в первое время его деятельности, и озлобление, которое возбудил он против себя в современниках своею изменчивостью, своим тщеславием, которому готов был жертвовать всем». «Так вот чего не договорил г. Анненков! — с возмущением восклицает Некрасов. — Пушкин отличался изменчивостью!!! Пушкин готов был всем жертвовать тщеславию!!! Но где же факты? Где доказательства? Ни фактов, ни доказательств нет, да и быть не может». Далее Некрасов приводит и другие сходные цитаты из статейки К. Полевого, выделяя курсивом особенно возмущившие его слова, например о том, что хотя в последние годы своей жизни Пушкин чувствовал, «как ничтожно растрачивались его поэтические силы, хотел расширить круг своей деятельности, делал попытки в разных родах, но слабость характера мешала и вредила ему во всем: и в жизни, и в сочинениях, заставляя часто изменять направление». «Все это грустно читать, — замечает Некрасов. — Опровержения тут не нужны, но странно — неужели г. К. П. думает, что кто-нибудь поверит ему на слово в таком деле? От пушкинского периода, прекраснейшего периода нашей литературы, уцелело еще несколько людей, не без пользы и славы проходивших одно с ним поприще, — людей, дорогих каждому русскому благородством характера и всей своей деятельности и за то обремененных доверием общества, — пусть бы еще кто-нибудь из таких людей сказал нам что-нибудь подобное. . . и тогда поверить этому было бы невозможно. . . Но дело в том, что никто из таких людей ничего подобного не скажет, — иначе они не были бы тем, что они есть, не были бы достойными Пушкина современниками, любившими и любящими в нем и друга, и человека, и поэта — гордость и славу своего отечества».

Приведя еще несколько выдержек из статейки К. Полевого, которые должны были «еще более удивить читателя», Некрасов заканчивал свой разбор не столько суровой отповедью клеветнику, сколько славословием Пушкину, незыблемо утвердившемуся бессмертию поэта. Некрасов писал: «Опровержения и тут излишни. Все, что усиливается заподозрить в Пушкине г. К. П., — его глубокая любовь к искусству, серьезная и страстная преданность своему призванию, добросовестное, неутомимое и, так сказать, стыдливое трудолюбие, о котором узнали только спустя много лет после его смерти, его жадное, постоянно им управлявшее стремление к просвещению своей родины, его простодушное преклонение перед всем великим, истинным и славным и возвышенная снисходительность к слабым и падшим, наконец, весь его мужественный, честный, добрый и ясный характер, в котором живость не исключала серьезности и глубины, — все это вечными, неизгла-

димыми черками вписал сам Пушкин в бессмертную книгу своих творений. . . Мы первые знаем, что Пушкин не нуждается в защите, и пишем эти строки только для успокоения нашего личного негодования».¹⁶

Характерно, что в этой умной, открытой и проникновенной защите оклеветанного поэта Некрасов намеренно или неволью цитировал строку из той же самой строфы «Памятника» (отмечая «возвышенную снисходительность» поэта «к слабым и падшим»), начало которой («чувства добрые») вспоминал и А. Н. Майков в своем «Отрывке». Все это красноречивое утверждение Некрасовым истинных заслуг Пушкина в истории русского просвещения и культуры было в то же время и признашем «Памятника» как бесспорной и справедливой самооценки поэта, обращенной к будущему.¹⁷

Некрасов не только хорошо помнил пушкинский «Памятник», пользуясь и позже его стихами для пародий в «Свистке» «Современника»,¹⁸ но и всесторонне и по-повому развивал в своей соб-

¹⁶ Современник, 1855, № 12, с. 278—280; Некрасов Н. А., Полн. собр. соч., т. 9, с. 362—363.

¹⁷ «Отрывок» А. Н. Майкова и комментировавшие его «Заметки» Некрасова помнились долго. Когда в 1859 г. К. А. Полевой напечатал в той же «Северной пчеле» новую клеветническую статью о сочинениях Белинского, которые, по его мнению, «не имеют никакого значения», это вызвало целую бурю в демократическом лагере русских литераторов. В. Курочкин напечатал в «Искре» (1859, № 42, с. 418) сатирическое стихотворение «Бедовый крик»: в нем дается новый портрет «клеветника», в который, однако, вставлены слова из «Отрывка» Майкова:

Уж он ослаб рассудком бедным,
Уж он старик, сухой как жердь,
Небесную копящий твердь. . .

(Курочкин В. Стихотворения, статьи, фельетоны / Ред. И. Ямпольского. М., 1957, с. 36, 621). Отповедь К. Полевому дали тогда и С. С. Дудышкин в статье «Шипящие старички» (Отч. зап., 1859, № 11), и П. Вейнберг в статье «Литераторы с замыслами» (Библ. для чтения, 1859, № 11). Косвенно К. Полевой вновь задевал и Пушкина, которому он, впрочем, в том же году посвятил и новую враждебную статью (Северная пчела, 1859, № 169). См. Полевой Н. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, с. 494.

¹⁸ См. сатирическое стихотворение Некрасова «Первый шаг в Европу» в «Свистке» № 5 «Современника» за 1860 г. и его же сатирическое «Письмо из провинции» в «Свистке» № 6 «Современника» за этот же год, озаглавленное «Г-н Геннади, исправляющий Пушкина» и направленное против неискренних попыток дать транскрипции черновых неизданных текстов Пушкина. Прикрываясь маской наивного провинциала, Некрасов писал: «. . . не надо забывать, что Пушкин писал не для таких читателей, как я, которые хотят наслаждаться и потому находят неприятными разные помарки в книге. Вероятно, в этом смысле он говорил в своем известном стихотворении, что не умрет „весь“. Г. Геннади, становясь теперь в уровень с требованиями своей глубокомысленной науки, хочет, чтобы не умерло не только ни одно слово, но даже ни одно чернильное пятно, которое он встретит в рукописях великого поэта» (см. публикацию «Некрасов — участник „Свистка“». — Лит. насл. М., 1946, т. 49—50, с. 318, 330).

ственной поэзии пушкинскую тему о поэте, «любезном народу».¹⁹ В. В. Гиппиус с полным основанием обнаружил «идейно-художественное единство следования за Пушкиным и полемики с Пушкиным» «в предсмертной лирике Некрасова, в ее мотивах посмертной судьбы поэта, в мотиве „Памятника“» и сделал по этому поводу ряд интересных наблюдений, которые стоит здесь привести. «Некрасов, — говорит В. В. Гиппиус, — не пишет „Памятника“ в прямом смысле слова, но он развивает те именно пушкинские мотивы, в которых утверждалась связь поэта с народом. Строка:

К нему не зарастет народная тропа —

уже у Пушкина звучала как новый мотив, неизвестный предшественникам по теме. Но взгляд свой на народ Пушкин бросает с высоты такого исторического обобщения, в котором социально-конкретные черты народа неразличимы. Народ для Пушкина — русский народ вообще или, как он уточняет дальше, все народы России; народ — понятие прежде всего историческое. Некрасов возвращается к пушкинскому образу „народной тропы“, но классическая традиция „памятников“, завершенная Пушкиным, в его поэзии прервана и возобновлена быть не может. „Поэт“ некрасовской системы не двоится на два лика — на лик живого человека, страдающего всеми противоречиями современности и соотносимости с „детьми ничтожными мира“, с одной стороны, и монументальный лик гения-героя — с другой. Некрасов знает единый, цельный образ человека-поэта». Прав В. В. Гиппиус, когда он утверждает, что в этом смысле Некрасов не только следовал Пушкину, но и вступал с ним в противоречие: «В основах мировоззрения Пушкин и Некрасов не расходились: для них обоих бытие человека кончается его могилой. Но раздвоение образа поэта, возможное для Пушкина, все же опиралось на такие элементы его мировоззрения, которых не было у Некрасова: эстетические ценности Пушкин мог отличать от жизненной эмпирики. Такое отделение невозможно для Некрасова, невозможно тем самым и раздвоение образа человека-поэта, невозможно тем самым и соприкосновение с классической традицией „памятников“ — здесь рубеж, отделяющий Некрасова от Пушкина. Некрасов в своей поэтической системе не знает и не может не знать другого соответствия теме пушкинского „Памятника“, кроме темы народной памяти над реальной могилой человека-поэта; при этом будущая могила может быть и могилой одного из единомышленников, с которыми поэт идейно связан:

Вам же не праздно, друзья благородные,
Жить и в такую могилу сойти,

¹⁹ Евгенийев-Максимов В. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.; Л., 1950, т. 2, с. 283. К сожалению, в этой книге утверждается, что Некрасов «не мог не знать» «Памятник» Пушкина со стихом «Что в мой жестокий век восславил я свободу».

Чтобы широкие лапти народные
К ней протоптали пути

(«Друзьям»)²⁰

В этих стихах трудно уже уследить генетическую связь с пушкинским образом «народной тропы»; исчезает в поэзии самое представление о «Памятнике», живое еще в 50-е гг., в его реальном и переносном смысле — как добрая память о деяниях человека; это представление становится теперь уже чуждым поэтике.

По мере того как ощущение живого Пушкина постепенно утрачивалось, тускнел смысл его автопризнаний, превращавшихся в поэтические декларации и формулы, не наполненные реальным житейским содержанием. Это и открывало возможность читателям и критикам последующих поколений толковать «Памятник» произвольно, по-своему, в меру их собственных сил, в соответствии с их собственными идейными задачами и эстетическими критериями.

До конца XIX в. в критических работах о Пушкине «Памятник» занимал весьма скромное место. О нем говорили в последнюю очередь или не говорили совсем: посвященные ему скупые, мало-вразумительные, немногочисленные строки выстраиваются в однообразный и монотонный хронологический ряд. Причину такой явной незаинтересованности стихотворением пытались усмотреть в том, что оно обращалось среди читателей в приглаженном, обедненном виде, который придал ему Жуковский, изъев из него самые ответственные и смелые строки. Данное наблюдение справедливо только отчасти, потому что и тогда, когда неизвестные строки были напечатаны, это не очень и во всяком случае не сразу усилило внимание к «Памятнику».

²⁰ Г и п п у с В. В. Некрасов в истории русской поэзии XIX в. // Лит. насл. М., 1946, т. 49—50, с. 17—18; перепечатано в кн.: Г и п п у с В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966, с. 244—245. Для полноты обзора отметим еще, что четвертую строфу стихотворения («И долго буду тем народу я любезен») в редакции Жуковского процитировала Н. Соханская (Кохановская) в своей известной статье «Степной цветок на могилу Пушкина» (Рус. беседа, 1859, т. 5. Критика, с. 58—59). Говоря о том, «чем мы обязаны Пушкину», и исчисляя его заслуги перед русским обществом, писательница давала, однако, весьма своеобразное истолкование указанной строфы, написанной «умиленным загробным голосом» поэта: последний стих этой строфы, продолжает писательница, как будто «дышит дыханьем святыни»: «Это голос высшей, благодатной природы человека, который самым тем, что он уже живет меж ними, исполняет закон всеобъемлющей любви и низводит милость к ним, падшим, —

И милость к падшим призывал».

Впрочем, последующие рассуждения Кохановской о том, что до Пушкина «ни в обществе, ни в самом поэте не было ни малейшей тени того сознания, что слова поэта есть его великое дело», потому что не было понятия о служении обществу «вне государственной службы» (с. 60—61), заслуживали полного внимания.

Возможно, что первое известие о рукописи стихотворения, приведенное в речи П. И. Бартевева по случаю открытия опекунского памятника Пушкину в Москве, затерялось в «Русском архиве» 1880 г.²¹ Опубликование в следующем 1881 г. тем же П. И. Бартевым подлинной рукописи с приложенным к пояснительной статье хорошим факсимиле автографа, где явственно читались некоторые ответственные, но отброшенные строки, также прошло малозамеченным, несмотря на то что сам Бартевев, правда очень осторожно, пытался обратить внимание на наиболее интересные разночтения. Так, например, из факсимиле явствовало, что в стихе 15-м ранее стояло: «Что вслед Радищеву восславил я свободу»; хотя колебания поэта в выборе этих строк были тогда же отмечены в печати, но их сочли малозначительными и прошли мимо. В собраниях сочинений Пушкина как этот, так и другие варианты стали отмечать в редких случаях.²² Однако историко-литературное истолкование изменений, произведенных в рукописном тексте «Памятника» самим поэтом, в ту пору еще не начиналось. Свою роль сыграли здесь и цензурные запреты, и общий, крайне низкий уровень знаний о Пушкине, и отсутствие подготовительных текстологических работ, опытом которых можно было бы воспользоваться при конкретном анализе стихотворения. Отдельные строфы «Памятника» произвольно ставились в причинную связь с любыми другими стихотворениями Пушкина на темы о при-

²¹ См. Прилож. I к настоящей книге.

²² Издатель сочинений Пушкина П. О. Морозов обратился с «Письмом в редакцию» газеты «Страна» (1881, № 4, 8 января) с просьбой разъяснить ему, откуда произошли столь значительные разночтения в четвертой строфе «Памятника» в двух публикациях П. И. Бартевева — 1880 и 1881 гг. По одной из них эта строфа читалась в такой версии, сообщенной им «по рукописи»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

В другой раз, и тоже «по подлинной рукописи», Бартевев привел иную версию этой строфы:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милосердие воспел.

«Ввиду этого разночтения, — замечал П. О. Морозов в своем «Письме», — было бы чрезвычайно желательно, чтобы почтенный издатель „Русского архива“ удостоверил, какую же из вышеприведенных версий следует считать за подлинную. Произведения Пушкина так часто и так безбожно искажались, урезывались и переделывались, что пора бы, кажется, хоть в этом отношении честь знать». Тем не менее даже шесть лет спустя в Сочинениях Пушкина, отредактированных тем же П. О. Морозовым (в изд. Литературного фонда), тот же самый вопрос о правильном тексте этой строфы получил слишком краткое и явно неудовлетворительное решение.

звании поэта и поэзии, без всякого учета их хронологической последовательности («Поэт», «Эхо», «Пророк» и т. д.), или с его прозаическими отрывками разных лет.²³

Примечательна удивительная неосведомленность и полное непонимание «Памятника» даже у признанных пушкиноведов тех лет, каким являлся, например, профессор Петербургского университета А. И. Незеленов. Печатаемая книга и статьи о Пушкине многие годы и считаясь одним из авторитетных знатоков творчества великого поэта, Незеленов не удосужился отдать себе отчет в истинном смысле «Памятника», так как он всегда ссылаясь на это стихотворение в редакции Жуковского, ничего не знал о вариантах рукописи и делал отсюда весьма рискованные выводы. Так, например, еще в речи, произнесенной Незеленовым 6 июня 1880 г. в Петербурге, он, изложив «содержание поэзии Пушкина», спрашивал, обращаясь к слушателям: «В чем же ее заслуга?», и отвечал цитатой из «Памятника», особо выделяя в ней непушкинскую строчку «Что прелестью живой стихов я был полезен» и извлекая из нее такой неправомерный вывод, якобы основанный на собственном представлении поэта: «Живая прелесть, живая красота творчества — вот главная характеристическая черта поэзии Пушкина». Несколько лет спустя свою «Речь о Пушкине», произнесенную в Петербургском университете 29 января 1887 г., А. И. Незеленов заключал следующими словами: «Ничем, конечно, лучше не можем мы почтить его память, как изучая, с уважением и любовью, его великие, его бессмертные создания, создания, которые оправдали его вещие слова о себе»; следует та же четвертая строфа «Памятника» с искажениями Жуковского. Эту же цитату — и в той же самой редакции — находим мы еще в статье Незеленова, предпосланной к книге «Избранные сочинения Пушкина для народного чтения» (СПб., 1888). Самое удивительное, однако, то, что все три приведенных выше случая искажения Незеленовым цитаты из «Памятника» остались им незамеченными, так как указанные речи и предисловие перепечатаны им в отдельной книге в 1892 г.²⁴

²³ См., например: Острогорский В. Очерки пушкинской Руси. СПб., 1880, с. 49—50.

²⁴ Незеленов А. И. Шесть статей о Пушкине. СПб., 1892, с. 7, 29, 118. В своей речи 1880 г., напечатанной в этом сборнике, Незеленов давал весьма наивное истолкование 16-му стиху «Памятника» («И милость к падшим призывал»), свидетельствующее о довольно упрощенном понимании им пушкинского текста. Он писал: «Как бы низко человек ни упал, но в душе его почти всегда сохраняется что-нибудь светлое, хоть тень добра. И вот Пушкин показывает нам эти следы нравственной красоты в падших людях и пробуждает в нашей душе доброе чувство сострадания и скорби. В свирепой душе Пугачева (в повести «Капитанская дочка») он сумел подметить человеческое чувство благодарности, гуманный порыв великодушия, недогадание, что смеют обижать сироту. „Скупой рыцарь“, кажется, утратил все человеческое, даже любовь и уважение к себе самому, а между тем поэт видит в нем, как, неожиданно пробужденное, оно потрясает всю душу скупца, — и вместо ненависти и презрения мы чувствуем сострадание к пад-

В ту пору, впрочем, по-прежнему опорной строфой всего стихотворения в целом считалась последняя, пятая строфа («Веленью божию, о Муза, будь послушна. . .»), и ее традиционное истолкование давало не один повод к самым примитивным и ошибочным представлениям о мировоззрении Пушкина, о «Памятнике» как о поэтическом завещании, оставленном им потомкам. Характерно, что еще на рубеже веков могли появляться такие статьи, в которых «Памятник» объявлялся «случайным», нехарактерным для Пушкина стихотворением, написанным под влиянием «минутной злобы» на цензуру (!), в пылу полемики поэта как журналиста.²⁵

Даже юбилейный пушкинский 1899 год не стал вехой в интерпретации «Памятника».²⁶ Правда, в этом году появилась известная,

шему брату. Вот что значит стих: — И милость к падшим призывал» (с. 10). Об А. И. Незеленове как об исследователе пушкинского творчества см. в некрологе его, написанном А. Бороздиным (ЖМНП, 1896, май, «Соврем. летопись», с. 7—8).

²⁵ Такова была, например, статья П. Мизинова «Пушкин — сын века», первоначально прочтенная в качестве публичной лекции в Москве в 1899 г. и затем вошедшая в книгу автора «История и поэзия. Историко-литературные этюды» (М., 1900). По его мнению, «знаменитые слова „Памятника“ были написаны в одну из „минут вспышки“: Пушкин уже был тогда журналистом; у него часто бывали пререкания с цензурой; часто ему приходилось получать урезанные статьи сотрудников. . . И у поэта закипала злоба; „русские писатели, — говорил он в такие минуты, — никогда не были так притеснены, как нынче, даже в последнее пятилетие Александра I“. Эта минутная злоба и отпечаталась в приведенных строках „Памятника“. Пушкину нужно было сорвать злобу на цензуру; вспомнилась ему глава Радищева о цензуре, вспомнилось, что и он, хотя в умеренном тоне (!), требовал свободы печати (в послании к цензору 1824 г.), вспомнились его друзья-декабристы — и в результате вылилась надпись на „Памятник“. Это не оценка поэтом главной его литературной деятельности. . . не итог, подведенный им самому себе, своему любимому делу. Это только страничка из истории русской цензуры в николаевское царствование (!); ею не уничтожается (?) все то, о чем скорбела и болела душа поэта в пору его литературной зрелости» (с. 526). П. Мизинов даже пишет, демонстрируя свою полную неосведомленность в истории создания этого стихотворения и в понимании мировоззрения Пушкина вообще: «Если бы Пушкин писал „Памятник“ в спокойную минуту (?), то вместо свободы и Радищева в знаменитой строфе стихотворения был бы или „Борис Годунов“, или „Полтава“, или другие какие-нибудь соответствующие слова. . .» (с. 526). Несколько слов удивления этой статье П. Мизинова посвятил П. Н. Сакулин в своей работе «Памятник нерукотворный» (в кн.: Пушкин / Под ред. Н. К. Пиксанова, сб. 1, с. 36, примеч.). Впоследствии отповедь Мизинову дал А. М. Куканов в статье «Проблема: Пушкин и Радищев в дореволюционном и советском пушкиноведении» (Учен. зап. Мордов. гос. ун-та. Саранск, 1962, № 21, с. 47—48). Однако статья Куканова написана более в интересах изучающих Радищева, чем Пушкина, не охватывает полностью пушкиноведческие работы и не всегда справедлива в отношении тех исследователей, которых он цитирует.

²⁶ Следует отметить, что в юбилейные пушкинские дни 1899 г., в открывшейся тогда перспективе истекшего столетия, «Памятник» вспоминался значительно чаще, чем раньше, может быть потому, что даже официальными циркулярами по Министерству народного просвещения признавалось желательным цитировать это стихотворение на актах и вечерах в учебных заведениях (конечно, с теми же искажениями, с какими «Памятник» все еще печатался в учебных пособиях). См. статью «Народ и поэт» в кн.: Мейлах Б. С. Вопросы литературы и эстетики: Сб. ст. Л., 1958, с. 347. Во вся-

весьма содержательная и в то же время спорная статья Владимира Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», по «Памятника» автор коснулся в ней лишь мимоходом, в итогах своего этюда, отведя гораздо больше места разбору стихотворений Пушкина начала 30-х гг. в которых, по его словам, отразились взаимоотношения между поэтом, «большим народом» и «маленькой чернью». В этой статье знаменитого философа сформулировано, однако, немало таких положений, дальнейшее развитие которых могло содействовать невольному искажению мировоззрения Пушкина и не обусловленному исторически истолкованию его эстетических взглядов. По мнению Вл. Соловьева, например, сущность «Памятника» представляет собой «достойный и благородный „компромисс“ поэта с будущим народом. Это стихотворение есть не поэтическое, а практическое (в хорошем смысле слова) *credo* Пушкина — непостыдное соглашение его с потомством. Для поэта главное в поэзии — она сама, но он не может отрицать и ее нравственной пользы; для „народа“ главное в поэзии — это нравственная польза, но ведь он ценит и ее прекрасную форму. Значит, нет надобности обращать эти два взгляда острием друг против друга, когда они могут сойтись в одной и той же, хотя неодинаково обоснованной оценке:

Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
К нему не зарастет *народная тропа*.

Тем не менее, по мнению Вл. Соловьева, «в последней строфе, как бы полагая нерушимую печать безупречного благородства на свое соглашение с потомством, поэт опять настаивает на верховности вдохновения и на безусловной самозаконности поэзии».²⁷

ком случае о «Памятнике» неоднократно шла речь в книгах и статьях о Пушкине, в посвященных ему бесцветных стихах третьестепенных стихотворцев. См.: С и п о в с к и й В. В. Пушкинская юбилейная литература: (1899—1900 гг.). (Критико-библиографический обзор). СПб., 1901, с. 255—256; К а л л а ш В. В. Puschkiniana // Матер. и исслед. об А. С. Пушкине. Киев, 1903, т. 2, с. 167—169, 180, 193, 308 и др. В том же 1899 г. «Памятник» неоднократно положен был и на музыку (правда, доморощенными композиторами-дилетантами) и для одного голоса, и для хора — в качестве «Юбилейной песни А. С. Пушкину», с изменением текста (обращение к поэту от лица поющих: «Ты памятник себе воздвиг. . .»); нетрудно догадаться, почему эти официальные песнопения не оставили о себе никаких следов (Б у л и ч С. К. Пушкин и русская музыка. СПб., 1900, с. 54, 85—86). О толкованиях, которые в это время «Памятник» получал в средних школах, дает представление статья: Е л ь н и ц к и й К. В. Объяснение стихотворений А. С. Пушкина, в которых выражен взгляд его на роль поэта и значение поэзии // Рус. филол. вестн., 1899, № 3—4, Педагогический отдел. с. 71—73. Разумеется, в большинстве перепечаток этого года в учебных и так называемых общедоступных изданиях «Памятник» все еще давался в редакции Жуковского. См., например: Юбилейный сборник историко-литературных статей о Пушкине / Изд. Н. Я. Романова. СПб., 1899, с. 78. Эту прискорбную ошибку своевременно отметил П. Н. Сакулин в статье «Популяризация Пушкина в юбилейных изданиях 1899 г.» (Вестн. воспитания, 1900, № 2, отд. 2, с. 15).

²⁷ Вестн. Европы, 1899, № 12; о «Памятнике» — с. 709—710.

Как бы мы ни относились к справедливости этих утверждений, несомненно, что они поднимали значение «Памятника», придавая ему принципиально важный смысл. Недаром строки именно этого *credo* поэта мечтались А. И. Урусову вырезанными на новом памятнике Пушкину в Петербурге: «На пьедестале, в прихотливых линиях которого чувствуется близость XVIII века, я вижу медальоны друзей и сверстников поэта . . . Памятник окружен грапитными столбами; их соединяют массивные черные цепи, перевитые лаврами. На памятнике читаю надпись:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный».²⁸

Стоит впрочем, напомнить известные слова о «Памятнике» А. Г. Горнфельда, сказанные им в юбилейный 1899 год и получившие широкое распространение благодаря тому, что они были позже много раз перепечатаны вместе со статьей, в которую включены. Эти слова как бы подвели итог тем мыслям и ощущениям, какие «Памятник» вызывал в то время в кругах русской либерально-демократической интеллигенции. А. Г. Горнфельд старался представить себе гнетущую идейную атмосферу, в которой поэт жил последнее десятилетие своей жизни и которая привела его к созданию «Памятника», и дал справедливую оценку этому стихотворению и значению, которое оно имеет в истории русской критической мысли о Пушкине. А. Г. Горнфельд писал в этой статье: «Пушкин говорил: „Ты сам свой высший суд“, но ценил и иное суждение: „Я всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал повод. . . Похвалы трогали меня . . . Смеею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего противника“ и т. д. (Критические заметки). В минуты тягостного разочарования он провозглашал:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие создателя,
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт!

«Но чаще он знал и предпочитал иное блаженство — блаженство сочувствия и понимания, блаженство единения с родным народом, блаженство сознания своих заслуг. От оды „Памятник“ во веки веков будет отправляться всякая оценка личности поэта, не говоря о его деятельности, каждая характеристика которой будет наполнять „Памятник“ новой правдой. В этом гордом и пророческом сознании своего бессмертия — ни слова о „звуках сладких“, которые и не нужны были Пушкину:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

²⁸ Урусов А. И. Четыре мысли по поводу чествования Пушкина // В кн.: Кн. А. И. Урусов: Статьи его; Письма его; Воспоминания о нем. М., 1907, т. 2, 3, с. 28—31 (первоначально: Бирж. ведом. 1898, 20 декабря).

«Вот что ставил сам Пушкин себе в заслугу; история прибавила к этому многое другое, и чем яснее будет для нас наше прошлое, тем ярче будет светить в нем фигура Пушкина. Она уже принимает легендарные размеры — и в добрый час; благо народу, в сознании которого героями становятся не только видные политические деятели и храбрые полководцы, но и великие поэты».²⁹

Лишь в первые десятилетия нашего века в связи с обновлением широкого читательского внимания к творчеству Пушкина и началом его углубленного исторического изучения «Памятник» привлек к себе пристальный и долговременный интерес, вызвав целый ряд критических статей и исследований. Эти исследования основаны были теперь и на экспертизе рукописи стихотворения, и на разнообразных литературных и документальных данных, впервые привлеченных тогда к решению задач, возникавших перед его истолкователями. Нет необходимости подробно иллюстрировать этот новый этап в изучении «Памятника» многочисленными примерами, так как это в значительной степени сделано в известной статье П. Н. Сакулина «Памятник нерукотворный», написанной в 1922 г., но опубликованной лишь два года спустя.³⁰ П. Н. Сакулин подвел здесь итоги предшествующим изучениям, представив краткий обзор различных мнений о стихотворении Пушкина, и пришел к выводу, что, «по-видимому, пора бы уже установить определенный взгляд на смысл „Памятника“», для чего, как ему казалось, накопилось уже достаточно материалов и соображений; между тем, констатировал он далее, «полного согласия между исследователями не обнаруживается».

И в самом деле, именно в это время в оценке и толкованиях «Памятника» намечились серьезные расхождения. Напомним лишь

²⁹ Горнфельд А. Г. Муки слова. (Памяти Пушкина): Сб. журнала «Рус. богатство» // Под ред. Н. К. Михайловского и Вл. Г. Короленко. 2-е изд. СПб., 1900, ч. 2, с. 75; см. также отдельное издание статьи «Муки слова», без посвящения Пушкину (СПб., 1906, с. 5), и ряд последующих ее переизданий; всюду цитируемая страница осталась без изменений. В том же сборнике «Русского богатства» о «Памятнике» Пушкина вспоминали также, хотя и мимоходом, авторы других статей о поэте: здесь же П. Ф. Якубович, скрывшийся под псевдонимом «П. Ф. Гриневич» в статье «Пушкин в сознании русской литературы», разбирая взгляды Д. И. Писарева, и в частности его уничтожающую оценку пушкинского «Памятника», замечал: «... думаем, что теперь даже и гимназисты в состоянии понять, в чем заключались ошибки Писарева по отношению к великому поэту» (с. 27). Сходную оценку статьи Писарева о Пушкине получили у А. П. Чехова писавшего в марте 1892 г.: «Ужасно наивно... Пушкин остается целехонек... Воняет от критики назойливым придирчивым прокурором» (Чехов А. П. Собр. писем. М., 1912, т. 4, с. 31).

³⁰ Сакулин П. Н. Памятник нерукотворный, с. 31—76. В основу этой статьи П. Н. Сакулина положен доклад, читанный на открытом заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, состоявшемся 2 апреля 1922 г., под заглавием «Пушкин перед лицом вечности» (прения по этому докладу подробно изложены в том же сборнике на с. 257—261).

несколько наиболее существенных фактов из возникшей по этому поводу полемики. В 1910 г. С. А. Венгеров предпослал воспроизведению «Памятника» в выпускавшемся под его редакцией собрании сочинений Пушкина специальную статью и озаглавил ее «Последний завет Пушкина». С. А. Венгеров представил здесь результат своего внимательного чтения рукописи «Памятника», и в частности свое истолкование переделок, которым сам поэт подверг строки:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Пушкин, писал С. А. Венгеров, «в одну из торжественнейших минут своей духовной жизни превыше всего ценит в литературе учительность. . . Но интерес пушкинской формулировки назначения литературы еще безмерно возрастет, когда мы обратимся к . . . черновику знаменитого стихотворения.³¹ Оказывается, что первоначально Пушкин, совершенно в духе „чистого“ искусства, так определил свое значение:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.

«Твердо и без столь обычных у него помарок, т. е. без колебания, написал Пушкин свое теоретическое литературное credo. Но вот он перечитывает плод непосредственного вдохновения, снова вдумывается в тему и перед лицом вечности открываются новые горизонты. Нет, мало для поэта истинно великого одних эстетических достоинств, только к памятнику того не зарастет „пародная тропа“, кто пробуждает „добрые чувства“, кто был учителем жизни. И зачеркивается формула эстетическая и взамен ее дается учительско-гражданская».³²

Все это рассуждение, основанное на личном домысле исследователя и вполне соответствовавшее его собственным воззрениям на роль и значение литературы в общественной жизни, не было принято безоговорочно ни другими исследователями Пушкина, ни критикой тех лет. Слабость аргументации С. А. Венгерова заключалась в отсутствии в его построении историко-литературной перспективы. Строка о «звуках новых для песен» зачеркнута была Пушкиным, по-видимому, не потому, что ее призвана была заменить другая противостоящая ей формула об общественном назначении поэзии, но прежде всего потому, что она слишком близко воспроизводит архаическую, хотя и имевшую реальный смысл, формулу Горациевой оды — источника «Памятника», на который сам Пушкин с умыслом указал в эпиграфе к стихотворению;

³¹ Речь идет не о черновой, а о так называемой перебеленной рукописи «Памятника».

³² Венгеров С. А. Последний завет Пушкина // Пушкин. [Соч.] / изд. Брокгауза—Ефрона, т. 4, с. 48.

к тому же, как недавно подчеркнул А. Л. Слонимский, вспоминая статью С. А. Венгерова, «общественная формула — о свободе и притом с конкретной ссылкой на Радищева — была и в первоначальной редакции; она совмещалась с исторической формулой о новых звуках».³³

Статья С. А. Венгерова не осталась без реплик и объективных возражений, но десятилетие спустя М. О. Гершензон выступил с новым толкованием «Памятника», в котором он впадал в противоположную крайность.³⁴

Интерпретация «Памятника» М. О. Гершензоном вызвала длительную и острую полемику.³⁵ Именно против нее в основном и была направлена статья П. Н. Сакулина, представившая наиболее веские аргументы против концепции Гершензона и немало способствовавшая прояснению ряда вопросов, связанных с историей стихотворения Пушкина, толкованием Гершензона, казалось, доведенных до полного тупика.

Свою статью Гершензон начинал с изложения общепринятых воззрений на «Памятник», с которыми он вступал в спор: «Стихотворение это написал Пушкиным месяцев за пять до смерти и по содержанию представляет как бы поэтическую исповедь или завещание. О смысле этой исповеди у нас никогда не возникало споров; напротив, все понимают ее одинаково и убеждены, что понимают верно. Пушкин с законной гордостью говорит здесь о завоеванном им бессмертии и тут же перечисляет те заключенные в его поэзии непреходящие ценности, которые дают ему право на это бессмертие. Так он сам определял свое действительное значение и так определял ее значение; и эта завершительная самооценка бросает свет на весь пройденный им путь. „Памятник“ с полной ясностью открывает нам, какие сознательные цели Пушкин ставил себе в своем творчестве. Так искони объясняют „Памятник“ биографы и комментаторы Пушкина».³⁶ Прибавим от себя, что так полагаем и мы в настоящее время. М. О. Гершензону, однако, представлялось, что в четвертой строфе («И долго буду тем любезен я народу») Пушкин якобы говорит не от своего лица, а излагает мнение о себе народа, мнение грубое и ложное. «Никакой самооценки поэта тут нет, — пересказывает Гершензон Сакулин. — Слово „любезен“ употреблено саркастически». Смысл пятой строфы — «смирение перед обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горька обида, но таков роковой закон . . . покорись божьей воле — вот что говорит эта строфа». Оспаривать глупца занятие тщетное и безнадежное. «Бессмертие поэту обеспечено, по такое, что лучше бы его не было. Речь то, что скажут о нем («чувства

³³ Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959, с. 66.

³⁴ Гершензон М. Мудрость Пушкина. М., 1919 (статья уже в 1917 г. была оглашена несколько раз в качестве докладов и лекций).

³⁵ Неполный перечень рецензий и откликов на эту статью см. в кн.: Берман Я. З. М. О. Гершензон: Библиография. Одесса, 1928, с. 42—43.

³⁶ Гершензон М. Мудрость Пушкина, с. 6—7.

добрые» и пр.), это — плоское суждение толпы, клевета глупцов на самого Пушкина, да и на поэзию вообще. Люди откроют в поэзии Пушкина „то, чего в ней вовсе нет, и проглядят ее истинное содержание: они откроют в ней полезность, нравоучительность“. Утешением для поэта, которого ждет столь „пошлая слава“, могут служить лишь два обстоятельства: во-первых, найдутся немногие избранные, преимущественно пииты, которые верно поймут его поэзию (для обозначения этой «подлинной славы» Пушкин и употребляет выражение «славен»), а во-вторых, „пошлая слава“, „слух“ все-таки упрочится не навеки, на что, по-видимому, и указывает слово „долго“. . .».³⁷ Этих цитат вполне достаточно, чтобы представить себе весь ход мыслей Гершензона и всю сугубо идеалистическую и реакционную подоплеку его догадок, меньше всего отвечавших действительному содержанию пушкинского стихотворения. Перечитывая его статью в наши дни, поражаешься не тому, что в ней есть, а тому, какую длительную полемику она вызвала, какие странные и поистине бесплодные допущения она породила, насколько своим ложным мудрствованием она усложнила и запутала естественное понимание «Памятника», в то время как от исследователя требовалось, по мнению самого Гершензона, «всего только разумно прочесть двадцать умных и ясных стихов Пушкина». Но именно эти «ясные стихи» и вызвали сложные и нескончаемые споры.

П. Н. Сакулин в своей статье указал на очевидные противоречия и логические неувязки в толковании Гершензона и заново проанализировал все стихотворение, сопроводив свое исследование очень существенными текстологическими соображениями и литературными комментариями, не оставившими и следа от фантастических домыслов автора «Мудрости Пушкина».³⁸ Тем не менее полемика с Гершензоном по поводу «Памятника», прямая и косвенная, продолжалась до середины 30-х гг., вызвав целую серию новых работ об этом стихотворении, философских, публицистических и эстетических. В 1925 г. с самостоятельным «опытом истолкования» «Памятника», сделанного с позиций, в равной мере противостоявших точкам зрения и Венгерова, и Гершензона, выступил Е. И. Боричевский.³⁹ Статья же В. Вересаева «Пушкин и польза

³⁷ Сакулин П. Н. Памятник нерукотворный, с. 39.

³⁸ Стоит, однако, отметить, что и у Гершензона были предшественники в его истолковании последней, пятой строфы «Памятника». Недоумение вызвала она, например, у А. М. Евлахова (Пушкин как эстетик. Киев, 1909, с. 8—9), рассуждавшего с точки зрения столь же откровенно идеалистических предположений: «Поэт, конечно, справедливо указал свою заслугу. Пророк строго выполнил „велење божіе“. Но вместе с тем разве это не самоотрицание? — Поэт стал на точку зрения „черни“: он гордится пользой своего искусства, а не им самим; он видит в нем средство, а не цель. Такая метаморфоза, если она сознательна, была бы равносильна самоубийству» и т. д. Возражения, представленные Сакулиным Гершензону, в равной мере разбивают также аргументацию А. М. Евлахова, хотя он и не упоминает его брошюру.

³⁹ Боричевский Е. И. Памятник Пушкина: Опыт истолкования // Тр. Белорус. гос. ун-та. Минск, 1925, т. 6—7, с. 43—51.

искусства», напечатанная в том же году, напротив, оказалась подражанием Гершензону и дальнейшим развитием его беспочвенных гипотез. В. Вересаев объявил, что «Памятник» Пушкина — это всего лишь пародия на претившие Пушкину «пышные словословия» «Памятника» Державина, пародия, написанная в привычной для Пушкина манере тонко-иронического воспроизведения осмеиваемого им автора всеми присущими тому стилистическими средствами. «Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его же словами?», — спрашивал себя Вересаев и тотчас же отвечал: «. . . и вдруг встает ошеломляющая мысль — да не пародия ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин „в горделивом сознании своих заслуг“ дает себе должную оценку. . . не пародия ли оно? Ясно выраженная, неприкрытая пародия на „Памятник“ Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина. Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это уменья не хватило: ни к селу ни к городу приплет он и клевету, и равнодушие, и глупца какого-то. . .»⁴⁰ и т. д. Такое и на самом деле поистине «ошеломляющее» наблюдение В. Вересаева, основанное на совершенно неисторическом подходе к действительно существующей стилистической близости двух «Памятников» — Державина и Пушкина, свидетельствующее о его полном бессилии объяснить их генетическую связь, не могло остаться без возражений, как и вдохновившие его домыслы Гершензона, и вскоре попало в ту копилку пушкиноведческих курьезов, которая столь быстро пополнялась в те десятилетия.

Полемика с Гершензоном и Вересаевым продолжалась до середины 30-х гг., постепенно ослабевая, но ее редкие отклики напоминали о той страстности, с какой она некогда велась. Так, о ней упомянул А. В. Луначарский в академической речи 1931 г. о «Гейне-мыслителе». Усматривая историческую аналогию между «Памятником» Пушкина и автобиографическим стихотворением Г. Гейне «Enfant perdu», в котором немецкий поэт давал оценку социальной значимости своей лирики, А. В. Луначарский вспоминал о попытке Гершензона лишить Пушкина прав на подобное же самопризнание: «М. Гершензон пытался доказать, что стихотворение имеет иронический смысл, что Пушкин смеялся над пародом, который воображает, будто поэт боролся за него. Но Пушкин смеялся здесь только над такими людьми, как Гершензон, — это он их называл глупцами».⁴¹

Итоги полемики подводились уже в начале этого десятилетия. И. Л. Фейнберг сделал это в 1933 г. в тонко-иронической манере

⁴⁰ Вересаев В. В двух планах: Статьи о Пушкине. М., 1929, с. 111—121 (первоначально: Печать и революция, 1925, кн. 5—6).

⁴¹ Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957, с. 602—603 (см. ранее: Лит. критик, 1934, № 5).

«воображаемого разговора», в котором принимают участие Ведущий, Гершензон, Вересаев, Сакулин, говорящие цитатами из своих статей, и сам Памятник, выступающий и от себя, и от имени своего создателя.⁴² Эта остроумно составленная беседа на тему «об освоении классиков» подчеркнула лишний раз, как много еще оставалось объяснить в «умных и ясных стихах» пушкинского «Памятника», какую причудливую форму принимали идеи и образы Пушкина, попадая под перо толкователей-потомков, чуждых его интересам, невосприимчивых к реальному идейно-стилистическому строю его созданий, бессильных объяснить историческое явление и находивших в нем только то, что они хотели пайти в соответствии с личными склонностями и пристрастиями.

4

Только в 1937 г., в столетнюю годовщину со дня гибели Пушкина, раскрылось впервые по-настоящему подлинное значение этого пушкинского «завета». Именно теперь «Памятник» возник перед читателями в своей исторической сущности, освобожденный от опутавшей его паутины искажающих толкований и сложных мудрствований, в надлежащей перспективе и освещении, со всеми своими следствиями и породившей их причиной, во всех закономерностях и этапах своей своеобразной судьбы. Начался период более спокойного его изучения, поставивший своей целью разгадать замысел создавшего его поэта, возникший из впечатлений о современной ему действительности, глубже проникнуть в идейный строй самого стихотворения, как в исторически обусловленное произведение мысли и искусства, — строй не воображаемый или предполагаемый, но реальный в полном смысле, раскрываемый и подтверждаемый всеми средствами, доступными историческому и филологическому анализу.

После опубликования чернового автографа «Памятника»¹ дальнейшая его текстологическая экспертиза вставала на твердую, незыблемую почву; совершенствовались методы всестороннего изучения литературного наследия Пушкина; на основе найденных или впервые объясненных исторических и литературных документов неизмеримо шире и глубже, чем раньше, становилась известна и самая эпоха, в которую жил и творил Пушкин, его литературная среда, его соратники, друзья и враги.

После 1937 г. историко-литературное изучение «Памятника» развивалось главным образом в следующих направлениях: 1) путем дальнейшего сравнения (или противопоставления) устанавливались реальные соотношения между стихотворением Пушкина, «Памятником» Державина, общим для них первоисточником —

⁴² Фейнберг И. «Памятник» // Лит. критик, 1933, № 5, с. 85—97.

¹ Яковович Д. П. Черновой автограф трех последних строк «Памятника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 3, с. 5.

одой Горация и другими сходными произведениями русской и мировой литературы; 2) изучалась поэтическая структура «Памятника», особенности его стиля и языка на общем фоне развития стилей русской литературной речи и поэтической лексики; 3) изучалось место, занимаемое «Памятником» в поздней лирике Пушкина, в частности в соотношении с лирическими циклами 1835—1836 гг. и общими идейными тенденциями его творчества. По всем этим направлениям исследования привели к ценным результатам; высказаны были новые соображения, сделаны были свежие наблюдения; обобщены были, после тщательного критического пересмотра, итоги всех ранее произведенных изучений, хотя сводной монографической работы о «Памятнике», к сожалению, не существует и доныне. Стоит отметить, что изучение не только «Памятника», но и большинства других произведений Пушкина, в частности его лирики, сильно затруднялось в последнее время отсутствием новых, достаточно подробно комментированных изданий его произведений — таких, в которых можно было бы найти без самостоятельных разысканий необходимые фактические справки о том или другом стихотворении, свод высказанных о них мнений, систематически распределенных по степени их достоверности, с критикой отброшенных догадок, с поддержкой правдоподобных или предвидимых и т. д. Отсутствие подобных изданий пагубно сказалось не только на многих новейших работах советских пушкиноведов, но и в особенности на зарубежной пушкиниане, где именно с 1937 г. начали появляться довольно многочисленные статьи и исследования о Пушкине, и в частности о его «Памятнике». Такие работы появились в Бельгии, Франции, США и других странах. Не имея возможности опереться на советские комментированные издания, недостаточно, случайно, выборочно зная специальную литературу, зарубежные ученые не раз возрождали к новой жизни давно отброшенные у нас толкования, опирались на осужденные советской филологией недоброкачественные, неисторические работы о Пушкине и широко распространяли неверные домыслы, ненужные догадки. Мы же со своей стороны недостаточно внимательно следили за этими работами, все увеличивающимися в числе, не откликались на них, не выступали с обоснованными возражениями тогда, когда это вызывалось существом дела, и не смогли вовремя воспользоваться такими их наблюдениями и находками, которые безусловно заслуживают нашего внимания.²

Известность поэзии Пушкина за рубежом заметно возросла в последние десятилетия, в особенности после 1937 г., когда мировое ее значение было раскрыто более явственно. Существенную роль сыграло в этом процессе широкое распространение русского

² На интерес для советского пушкиноведения зарубежной исследовательской литературы о Пушкине мне уже приходилось указывать неоднократно. См., например, в кн.: Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур: Матер. дискуссии. М., 1961, с. 362—365.

языка, что позволило читать и изучать Пушкина в подлиннике. Естественно поэтому, что в целой серии работ зарубежных исследователей о творчестве Пушкина оказался ряд статей, специально посвященных «Памятнику». В XIX в. это стихотворение за пределами нашей страны не пользовалось особой популярностью. Правда, существовало несколько весьма посредственных переводов его на западноевропейские языки, сделанных в конце века (преимущественно в юбилейный 1899 год), но оно никогда не привлекало к себе специального внимания, вероятно, прежде всего потому, что считалось одним из бесчисленных подражаний Горацию, столь изобильно представленных во всех литературах Европы; свое значение имело и то, что «Памятнику» в русской критической и исследовательской литературе о Пушкине тех лет уделялось мало внимания. Однако за последние десятилетия интерес к «Памятнику» за рубежом обозначился очень отчетливо.

Один из первых французских переводов «Памятника» сделан был с русского языка профессором классической филологии Анри Грегуаром и включен в его статью «Гораций и Пушкин», опубликованную в Бельгии (в г. Намюре) в специальном журнале «*Les études classiques*». Первое четверостишие пушкинского стихотворения — под пером переводчика, впрочем, превратившееся в пятистишие — читается здесь так:

Mon monument n'est pas l'ouvrage des humains,
Et mon peuple y viendra par un sentier, dont l'herbe
Ne cachera jamais la trace du pèlerin.
Il dépasse en hauteur, de sa tête superbe,
Le Phare des Alexandrins.³

В обратном дословном переводе эти стихи означают следующее:

Мой памятник не сотворен людьми,
И мой народ будет приходить к нему по тропинке,
Трава никогда не скроет на ней след паломника.
Он превосходит высотой, своей гордой главой
Фарос Александрийцев.

На пояснениях А. Грегуара мы остановимся ниже, однако необходимо сразу же подчеркнуть, что с переводом русского текста

³ Grégoire H. Horace et Pouchkine // *Les études classiques*, 1937, vol. 6, N 4, p. 525—535. За три четверти века перед тем французский литератор Ксавье Мармье заключил свою статью о Пушкине «дословным» переводом «горделивой эпитафии, которую русский поэт сочинил сам себе», не предупредив, впрочем, своих читателей, что речь в этих словах идет не о надгробной надписи в собственном смысле, но о стихотворении «Я памятник себе воздвиг». Мармье привел лишь две первые строфы в неточной прозаической передаче (и, разумеется, в единственно известной в то время редакции Жуковского): «Je laisse au sein de mon pays (?) un monument qui n'est point construit par la main d'un architecte, ni recouvert de gazon, mais qui s'élève plus haut que celui de la gloire de Napoléon. Non, je ne mourrai pas. Que mon corps périsse, que mes cendres soient anéanties, mon esprit vivra dans mes chants, aussi longtemps qu'il y aura sur la terre un poète» (Marmier X. Pouchkine et la littérature russe // *Marmier X. Voyages et littérature*. Paris, 1862, p. 363).

он явно не справился; очевидно, даже начальные стихи представили для него непреодолимые затруднения. На допущенных им отклонениях от русского оригинала стоит остановиться особо, так как они и определили своеобразие даваемого им толкования «Памятника» в целом. В первой строфе стихотворения главное препятствие для переводчика составили слова «нерукотворный», «вознесся он главою непокорной», «Александрийский столп»; до смысла их он явно не добрался.

Изучение разноязычных переводов поэтических текстов, интересное и поучительное само по себе, порой может быть применимо не без пользы для критики текстов оригинала: самые привычные для нас слова в хорошо знакомом стихотворении начинают звучать по-новому при простом сопоставлении их с найденными для них переводчиками иноязычными смысловыми соответствиями. Но А. Грегуар не просто переводчик, это переводчик-толкователь, переводчик-ученый, с особой осторожностью и с критически обдуманным намерением выбиравший иноязычные соответствия словам тщательно изучавшегося им пушкинского текста. Он преисполнен уважения к памяти Пушкина и высоко ценит его как поэта; наконец, и «Памятник» вызывает его восхищение не только по своим поэтическим качествам: А. Грегуар осведомлен о том значении, какое это стихотворение имеет в русской поэзии, и даже явно преувеличивает его роль, утверждая, что «сто миллионов человек могут прочесть „Памятник“ от начала до конца без ошибки, подобно тому как мусульмане и христиане могут произнести свой символ веры». Поэтому в предлагаемом им переводе интересно разобратся.

Первую строку стихотворения — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — Грегуар перевел: «Мой памятник не сотворен людьми». И в самом деле, что означает у Пушкина слово «нерукотворный»? Ведь и для современников Пушкина смысл его оставался неясным, зыбким, ускользающим. К нему, например, пробовал придраться даже П. А. Вяземский, заметивший однажды: «А чем же писал он стихи свои, как не рукою?».⁴ И для Белин-

⁴ Как это ни странно, но П. А. Вяземский, очевидно, не понимал значения слова «нерукотворный» в данном стихотворении Пушкина. Если вдуматься в контекст приведенного восклицания Вяземского, более наивного, чем лукавого, то нам станет ясно, что он причислял эпитет «нерукотворный» в «Памяльнике» к обмолвкам (!) Пушкина. Вяземский отметил для памяти в своей «Старой записной книжке»: «Истинный поэт в творчестве своем никогда не собьется с пути; но в стихотворческом ремесле поэт может иногда обмолвиться промахами пера. В эти промахи он незаметно для себя и невольно вовлекается самовластительными требованиями рифмы, стопосложения и других вещественных условий и принадлежностей стиха. Было же когда-то у Пушкина:

Мечты, мечты, где ваша сладость?
Где вечная к вам рифма младость?».

Приведя этот действительный lapsus calami Пушкина, Вяземский, однако, продолжает: «А в превосходном своем exegi monumentum разве не ска-

ского, по-видимому, смысл этого слова открылся не сразу. Высказывая свое первое впечатление от «Памятника», Белинский пояснял слово «нерукотворный» другим, заимствованным из той же, как ему тогда, очевидно, казалось, сферы шеллингианских представлений о вдохновенном певце: «Я вижу нравственную идею только в нерукотворных, явленных образах, которые одни есть абсолютная действительность, а не те, где хитрила человеческая мудрость».⁵ Философский смысл пушкинского эпитета «нерукотворный» пытался вскрыть в своем «Опыте толкования» «Памятника» Е. И. Боричевский.⁶ Неудивительно, что слово это смутило А. Грегуара, не имевшего возможности производить самостоятельные размышления по истории употребления слова «нерукотворный» в русском литературном языке в пушкинское время и искавшего его объяснения в практическом русско-французском словаре и в простейшей его этимологии. Однако А. Грегуар шел дальше и считал необходимым объяснить в своей статье, почему он остановил свой выбор на данном им переводе этого эпитета. Он исходил из того, что вдохновителем Пушкина был Гораций и что в конечном счете «Ода к Мельпомене» римского поэта все же остается первым и основным источником пушкинского «Памятника»; в связи с этим А. Грегуар напоминает, что если Гораций называет свой памятник «аеге регеппиус» — «крепче меди», то Пушкин идет гораздо дальше и Горация, и Державина, сочетая два слова державинского подражания — «чудесный» и «вечный», говорящие о «чуде» происхождения памятника и бесконечности его существования, в одном слове — «нерукотворный», заимствованном из области религиозных представлений и употребляемом для обозначения чудодейственных («явленных») икон, как перевод греческого ἀχειροποίητος.

Для нас ясно сейчас, что эта справка ученого филолога-классика бьет мимо цели и что он оказался на ложном пути. Каждый грамотный человек знает у нас теперь, что слово «нерукотворный», лишь однажды употребленное Пушкиным,⁷ следует пони-

зал он: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный!“ А чем же писал он стихи свои, как не рукою? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта» (В я з е м с к и й П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1883, т. 8, с. 333).

⁵ Б е л и н с к и й В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956, т. 9, с. 474.

⁶ «Художественный процесс есть, по мнению Пушкина, акт высокой сознательности и в то же время нечто . . . в своей эмоциональности стихийное, неподвластное никаким рассудочным нормам и требованиям. В этом смысле явления поэтического творчества столь же нерукотворны, как явления природы . . . Нерукотворные законы природы действуют в художественном творчестве плодотворнее и целесообразнее законов-норм, слишком рассудочных и в своей рассудочности слишком плоских, чтобы их вмешательство могло быть полезно. Этот взгляд не бесспорен. Но это — взгляд Пушкина» и т. д. (Б о р и ч е в с к и й Е. И. «Памятник» Пушкина // Тр. Белорус. гос. ун-та, 1925, т. 6—7, с. 47—48; ср. здесь же на с. 43—44 рассуждения о том, действительно ли создания поэта прочнее памятников пластического художника).

⁷ Словарь языка Пушкина. М., 1957, т. 2, с. 834.

мать в том смысле, в каком оно введено им самим в русский метафорический словарь, что оно означает «благородную память о чьих-либо делах»,⁸ неистребимую память в потомстве и не имеет никакого отношения к лексике православной теологии. Но для А. Греггара это слово освещает центральную идею стихотворения в целом; первый его стих, смыкаясь с семнадцатым («Веленью божию, о Муза, будь послушна»), образует будто бы декларацию поэта о непреходящем значении своего боговдохновенного творчества и является, таким образом, в отличие от оды Горация документом христианской религиозной мысли. Хотя это толкование А. Греггара не осталось без возражений, но оно находило и своих защитников вплоть до недавнего времени.⁹

Между тем в том же 1937 г. Р. Якобсон в статье «Статуя в творчестве Пушкина» предложил другое объяснение слова «нерукотворный»: ¹⁰ оно, по его мнению, заимствовано Пушкиным из стихотворной «надписи» В. Рубана к фальконетовскому «Медному всаднику», в которой оно применено к гранитной скале — постаменту памятника:

Колосс Родийский, свой смири прегордой вид.
И Нильских здания высоких пирамид
Престаньте более казаться чудесами:
Вы смертных бранными содеяны руками!
Нерукотворная здесь Росская гора,
Взяв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров, чрез Невские пучины,
И пала под стопы Великого Петра.

Объяснение это, конечно, правильно. «Надпись» В. Рубана была несомненно в памяти Пушкина, когда он писал свой «Памятник»; ¹¹ в прямой ассоциативной связи с этой «надписью» находится также и пушкинский «Александрийский столп». Справед-

⁸ Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. 2-е изд М., 1960, с. 697—698.

⁹ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik» // Die Welt der Slaven, 1961, Jhg. 6, N. 2, S. 192.

¹⁰ Jacobson R. Socha v dile Puškinově // Slovo a slovesnost. Praga, 1937, гођн. 3, N 1, s. 15—16.

¹¹ Эта стихотворная «Надпись к камню, назначенному для подножия статуи императора Петра Великого» была издана в С.-Петербурге отдельным листом в 1770 г., перепечатана в 1779 г. в книге В. Рубана «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его и с 1703 по 1751 г.» (СПб., 1779, с. 216) и воспроизводилась затем во многих сборниках и хрестоматиях, как образцовая в этом жанре. Державин привел ее в своем «Рассуждении о лирической поэзии» (1811) в примере «правдоподобия»; впрочем, И. И. Хемницер высмеял ее в двух эпиграммах (Сочинения И. И. Хемницера. СПб., 1873, с. 362). См.: Шубинский С. Н. История «Медного всадника» // Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. 5-е изд. СПб., 1908, с. 320; Модзалевский Б. Л. Василий Григорьевич Рубан // Рус. старина, 1897, № 8, с. 413—414. В пушкинское время эта «Надпись» Рубана была перепечатана также в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (СПб., 1821, т. 2, с. 208).

ливости ради необходимо, однако, отметить, что это наблюдение задолго до Р. Якобсона сделано было советскими пушкиноведами, например в 1933 г. И. Л. Фейнбергом; ¹² впоследствии Л. В. Пумпянский широко обосновал это заимствование Пушкина соображениями историко-стилистического характера.¹³ Добавим к этому от себя, что цитированное стихотворение В. Рубана было широко известно у нас в пушкинское время. Об этом свидетельствует, например, Н. И. Греч, утверждавший в своем «Опыте», что из сочинений Рубана «перейдет к потомству одна его „Надпись“». ¹⁴ М. Загоскин, процитировав четыре последние строки этой «надписи», также восклицает: «Кто не знает этих превосходных стихов из надписи к монументу Петра I, по милости которых имя Рубана не совсем еще забыто? Итак, нет сомнения, что человек, не имеющий никакого таланта, может ошибочно сочинить несколько хороших стихов».¹⁵

В особенности посчастливилось в зарубежном литературоведении другой детали переведенного А. Грегуаром «Памятника» — «Александрийскому столпу», превращенному переводчиком в «Фарос Александрийцев». А. Грегуар подробно обосновал мотивы, приведшие его к такому именно истолкованию загадочного стиха. Важнейший из его аргументов — грамматического свойства: прилагательное «Александрийский» происходит от названия города — Александрия, а не от имени — Александр. Конечно, это совершенно справедливо: стоит только вспомнить «Египетские ночи»:

Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.

(VIII, 1, 276)

Напоминая далее, что Гораций в своей оде говорит о пирамидах (они сохранены и в «Памятнике» Державина) и что в древности египетские пирамиды считались одним из семи чудес света, А. Грегуар утверждает, что Пушкин будто бы выбрал для сравнения со своим памятником другое чудо из тех же семи, потому что в наиболее известных перечнях этих чудес пирамиды стоят на первом месте, а Фарос — на последнем.¹⁶

¹² Фейнберг И. «Памятник» // Лит. критик, 1933, кн. 5, с. 92.

¹³ Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 110—111.

¹⁴ Греч Н. И. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822, с. 235. В позднейших своих «Записках» Греч утверждал, что писателей при жизни «судят . . . по самому плохому из их творений, по смерти — по самому лучшему. . . Кто не отдает справедливости единственному четверостишию Рубана?» (Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930, с. 40), т. е. его «надписи» к монументу Петра I.

¹⁵ Загоскин М. Выдержки из памятной книжки // Литературный вечер. М., 1844, с. 146.

¹⁶ В этот перечень, где самые чудеса располагались в различном порядке, входили: 1) Пирамиды в Египте; 2) Фарос в Александрии; 3) Висячие сады

Конечно, эти семь чудес были хорошо известны в пушкинское время каждому образованному человеку, изучавшему античную историю и имевшему дело с реальными словарями греческих и римских древностей. Русская поэзия первых десятилетий XIX в., упоминая их, опиралась на старую традицию предшествующего века, восходящую еще к В. К. Тредиаковскому, когда принято было перечислять эти чудеса гораздо чаще, по всяческим поводам.¹⁷ Знал их и Пушкин. Сошлемся в качестве примера хотя бы на хорошо известную ему пародию на «Изобретение ваяния» Дельвига, вышедшую из стана Булгарина—Греча. Идиллия Дельвига увидела свет в альманахе «Северные цветы на 1830 г.». Сохраняя колорит античной идиллии, который воспроизводил в своем стихотворении Дельвиг, анонимный пародист воспел в своем стихотворении в качестве «восьмого чуда» греческую Музу, облаченную в «душегрейку новейшего уныния», заимствуя это выражение, поднятое на смех, из статьи И. В. Киреевского в «Деннице» за тот же год. По этому поводу пародия перечисляет все предшествующие семь чудес:

Все поспешайте в пещеру ко мне! Там очами узрите
Дивное диво, чудо восьмое! Не Зевс Олимпийский,
Не пирамиды Египта, не храм Исхееры Эфесской,
Не мавзолей Артемизы, не Вавилонские стены,
Не Птоломея маяк, не Колосс Родосский! Нет, чудо
Новое явится вам!¹⁸


Любопытно, что М. П. Погодин, приехавший в Петербург в 1839 г., при первом взгляде на колонну на Дворцовой площади тотчас же вспомнил знаменитые древние сооружения: «В Петер-

в Вавилоне; 4) Храм Артемиды (Дианы) в Эфесе; 5) Статуя Зевса Олимпийского (Юпитера), работы Фидия; 6) Мавзолей, воздвигнутый Артемизией, в Галикарнасе; 7) Колосс родосский.

¹⁷ Остолопов Н. (Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821, ч. 2, с. 171), рассуждая о мадригале, напоминал, что один из первых у нас мадригалов Тредиаковский напечатал в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (СПб., 1735) и что он написал его «в похвалу Аудиенц-зале, или, по его орфографии, Сале». Остолопов приводит этот мадригал, сопровождая ехидным замечанием эти действительно косноязычные стихи, в которых старый пиита сопоставлял «славу» «Аудиенц-залы», построенной для императрицы Анны, со «славою» знаменитых чудес древнего мира:

Пирамиды неж пела та Мемфийски,
Дивного труда стены Ассприйски,
Нежели царя томб высок Мавзола,
От Ефесска честь так же богомола,
Диане, чей храм чудно был приправный,
Про Фарос светящий,
Неж верхом горящий,
Дельск, иль про кумир, что Аммонов славный;
Неж огромность, сверх, Родского ужасну
Колосса, и красну
и т. д.

¹⁸ Чудо в пещере // Сын отеч., 1830, ч. 133, № 17, с. 305.

бурге не был я года с четыре и нашел много нового. На площади перед Зимним дворцом возвышается *Александровская колонна*, памятник двенадцатого года, перед которою все египетские и римские обелиски должны смиренно склонить главы свои». ¹⁹ Тем не менее предположение А. Грегуара, что Пушкин будто бы, имея в памяти все семь чудес, заменил в своем «Памятнике» горацевские пирамиды Фаросом в Александрии, не только искусственно, но и совершенно излишне, если следовать русским источникам и придерживаться общепринятого толкования, что Пушкин под «Александрийским столпом» имел в виду Александровскую колонну, воздвигнутую в честь Александра I на Дворцовой площади Петербурга в 1834 г. Однако догадка А. Грегуара привлекла к себе внимание и вызвала ряд откликов в зарубежной печати, как сочувственных, так и полемических. Статья А. Грегуара, с которой он знакомил интересующихся еще до ее опубликования, по его словам, разделила читателей на два лагеря: на стоявших за его гипотезу — «александрийцев», или «фаросцев», и на отстаивавших традиционное толкование — «александровцев». На первых порах некоторые зарубежные ученые даже приняли его догадку. Так, в 1945 г. ныне покойный американский славист Семуэл Кросс, рецензируя новый перевод пушкинского «Памятника» на английский язык (В. Набокова), отметил, что в стихах: 

Tsar Alexander's column it exceeds
In splendid unsubmitive height, —

содержится ошибка, поскольку «Александрийский столп» значит «of Alexandria» и «не имеет отношения к Александру I и колонне на Дворцовой площади». ²⁰ Впрочем, и сам А. Грегуар, сознавая, очевидно, рискованность своей догадки, предлагал и другое возможное истолкование тех же пушкинских строк: «Помпеева колонна в Александрии». ²¹

В 1954 г. против гипотез А. Грегуара выступил В. Ледницкий в широко аргументированной статье. ²² Он еще раз вернулся к грам-

¹⁹ Погодин М. Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник. М., 1844, ч. 1, с. 4. В «Прибавлениях» к кн. 1-й и 2-й журнала «Благонамеренный» за 1821 г. по поводу сооружения гранитных колонн для портика строившегося Исаакиевского собора приведена справка о месте, какое они будут занимать «между известными нам древними и новыми колоннами, сделанными из одного куска камня»: «Первое место занимает между ними колонна Александрийская, названная Помпеевым столпом», и т. д. (с. 2). Ср. также: Седмичные числа чудес в Риме // Вестн. Европы, 1825, ч. 140, № 5, с. 39—40.

²⁰ American Slavic and East European Review, 1945, vol. 4, N 8—9, p. 218.

²¹ Grégoire H. Horace et Pouchkine, p. 531—532.

²² Lednicki W. Grammatici certant // Harvard Slavic Studies, 1954, Cambridge Mass., vol. 2, p. 241—263; в дополненном виде под заглавием «Pushkin's Monument» статья вошла в книгу В. Ледницкого, напечатанную в Голландии, — «Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgeniev and Sienkiewicz» (The Hague, 1956, p. 87—110).

матическому вопросу о значениях прилагательных «Александрийский» и «Александровский» в русской речевой практике XVIII—XIX вв., чтобы подтвердить возможность понимания слова, употребленного Пушкиным, как производного от имени Александр, и отверг все доводы в пользу гипотезы о египетской столице. Правда, Пушкин хорошо знал Фаросский маяк; последний упоминается в отрывке, связанном с «Египетскими ночами», — «Мы проводили вечер на даче. . .»: «Темная, знойная ночь объемлет Африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовьи спящей красавицы» (VIII, 422). Но именно потому едва ли Пушкину могло прийти в голову назвать «столпом» эту высокую башню, увенчанную горящими огнями маяка.

Меньше внимания уделил В. Ледницкий другому допущению А. Грегуара, что под «Александрийским столпом» Пушкин мог подразумевать так называемую Помпееву колонну, хотя эта догадка представлялась бы более правдоподобной, так как «Помпеева колонна» пользовалась большой известностью и неоднократно упоминалась в русской литературе начала XIX в. — в книгах о Египте, об архитектуре древнего мира и т. д. Так, например, архимандрит Константин уделил «Помпеевой колонне» целую страницу в своей книге «Древняя Александрия». Он именует ее «Помпеев столб» и так характеризует это сооружение: «Огромность, соразмерность и разительная красота монумента сего превосходит все существующие в ордене Коринфском».²³ Еще подробнее описана эта колонна в другой книге о Египте, переведенной с французского, где она именуется «колонна Александрийская» и «столб Александрийский»: «Это прекраснейшая колонна, коей выше на свете не бывало».²⁴ «Помпеева колонна» наряду со многими другими аналогичными памятниками древности неоднократно упоминалась также в русской печати середины 30-х гг. в связи с Александровской колонной, воздвигнутой в Петербурге; естественно поэтому, что она была известна и Пушкину и что «столб Александрийский» мог вспомниться ему по ассоциативному сходству тогда, когда он говорил о петербургском «столпе»: прилагательное «Александрийский» получило как бы двойную смысловую нагрузку и тем самым маскировало его истинные намерения. «Употребив это прилагательное вместо „Александровский“, — разъяснял, например, П. Я. Черных, — поэт хотел замаскировать слишком откровенный характер своего утверждения, что его нерукотворный памятник . . . вознесся своей непокорной главою выше самой Александровской колонны, — утверждения, заключающего открытый вызов царю и его приспешникам».²⁵

²³ К о н с т а н т и н, арх. Древняя Александрия. М., 1803, с. 18.

²⁴ Путешествие господина Сониния в Верхний и Нижний Египет. М., 1809, с. 108—117.

²⁵ Ч е р н ы х П. Я. Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник» // Рус. язык в школе, 1949, № 3, с. 35—36. Ранее Д. П. Яку-

На возможность ассоциативной связи между «Александрийским» и «Александровским» столпами указывает еще один источник, тем более интересный, что речь идет о книге автора, близко известного Пушкину, встречавшегося с ним и находившегося с ним в переписке. В 1834—1835 гг. А. С. Норов совершил путешествие по Египту и собственными глазами увидел прославленный «Помпеев столб» вскоре после того, как сам наблюдал за торжествами открытия Александровской колонны в Петербурге. Оба этих события были невольно сближены им и возбудили разнообразные мысли, которым он посвятил несколько страниц в описании своего «Путешествия». Мы читаем здесь: «Торжественный памятник, носящий имя Помпея, теперь отброшен за город (Александрию) и стоит на краю пустыни и мертвого озера Марестийского. Масса колонны величественна, положение на холме в виду моря живописно; воспоминания оттеняют картину своими красками, но уединение этого памятника очаровывает зрителя. Я невольно сравнил это запустение с тем торжеством, которого я был недавно свидетелем, когда на берегах Невы подобный колосс, но еще более величественный воздвигся в память Александру Благословенному. Этот торжественный день был назначен мною для моего отъезда. Я хотел упиться радостью народной. Коляска моя была запряжена, когда я наслаждался этим величественным зрелищем . . . Запустение колонны Помпеевой вселило в меня ту же меланхолию, как и чтение стихов Горация, который, обращаясь к солнцу, говорил: „Да не узришь ты ничего величественнее Рима!“, или, предрешая бессмертие своим стихам, сказал, что они должны жить до той поры, пока жрец и весталка будут восходить по ступеням Капитолия».²⁶ Все чрезвычайно характерно в этом рассуждении для современника Пушкина вплоть до его лексики («торжественный памятник», «воздвигся в память Александру») и до цитаты из той самой оды Горация «К Мельпомене» (III, 30), на которую сам Пушкин указал как на источник своего стихотворения. Весьма интересно также и то, что А. С. Норов говорит далее о назначении колонны; отвергая различные догадки о ней археологов (и, в частности, принятую ныне гипотезу о том, что она сооружена в честь императора Диоклетиана в IV в. н. э.), А. С. Норов решительно заявляет: «Я согласен с теми, которые полагают колонну памятником основателю Александрии, герою Македонскому . . . Колонна стоит на том месте, где стояла гробница Александрова, и несомненно была его надгробным памятником».

бович в статье «Черновой автограф трех последних строф „Памятника“» (в кн.: Пушкин : Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3) отмечал, то, именуя столп «Александрийским», «Пушкин словно бы отводил читателя к памятникам Египта (Александрия), но, конечно, имел в виду не их, а превышающую их высотой Александровскую колонну» (с. 6).

²⁶ Н о р о в А. С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834—1835 гг. СПб., 1840, ч. 1, с. 46—48. Приношу искреннюю благодарность Г. М. Кока, обратившему мое внимание на эту книгу и другие русские источники о «Помпеевом столбе».

Этот ход мыслей решительно подтверждает возможность понимания «Александрийского столпа» в стихотворении Пушкина современниками как двусмысленной и многозначительной поэтической формулы, на что Пушкин мог и сознательно рассчитывать. «Что-то есть в самом деле пленяющее в этом длинном, благородном, динамичном слове „александрийского“, — заметил недавно С. В. Шервинский, говоря о пушкинском «Памятнике», — недаром Валезий Брюсов целиком повторил этот, видимо, очаровавший его стих в пьесе „Александрийский столп“:

На Невском, как прибой нестройный,
Растет вечерняя толпа,
Но неподвижен сон спокойный
Александрийского столпа».²⁷

Многозначность отдельных слов и выражений, с помощью которых построено стихотворение Пушкина, все же ограничена. Стихотворение не может иметь несколько смыслов, извлекаемых из одного и того же текста, сколькими бы значениями ни обладало каждое составляющее его слово. Допущения такого рода ведут к фантастическим догадкам, извращающим действительный (а не воображаемый) ход мыслей Пушкина. Подобные домыслы находим мы, например, в небольшой работе шведского слависта Гуннара Якобссона, недавно изданной Гётеборгским университетом под заглавием «„Памятник“ Пушкина и Александровская колонна».²⁸ Идя по следам А. Грегуара и особенно В. Ледницкого, Г. Якобссон представил новую попытку истолкования отдельных стихотворных строк пушкинского стихотворения, в особенности же «спорного», по его мнению, значения словосочетания «Александрийский столп».

Г. Якобссон исходит из того, что будто бы именно наличие двух редакций «Памятника» (состоящих из трех и из пяти строф) объясняет нам полисемию многих слов и выражений этого стихотворения и что она была преднамеренной, поскольку поэт не мог высказать свои мысли открыто, в полный голос, без оглядки на цензуру. Сделав объектом своего анализа слова «Александрийский столп», исследователь представил такое искусственное и падающее их объяснение, не имеющее ничего общего с практикой живого русского языка, что отдельные страницы его рассуждений порой кажутся просто пародическими. Так, он полагает, например, что прилагательное «Александрийский» происходит от существительного «Александрия», но на этот раз это существительное имеет особое значение, упущенное из вида пушкиноведами: оно значит «Жизнь, время, деяния Александра» (в данном случае русского царя Александра I), т. е. «Александровщина», как поэт

²⁷ Шервинский С. В. Ритм и смысл: К изучению поэтики Пушкина. М., 1961, с. 122.

²⁸ Jacobsson G. Pusjkins «Monumentet» och Alexanderkolon en. Göteborg. 1965. (Acta Universitatis Gothoburgensis Slavica Gothoburgensia, 2).

мог бы сказать иначе, если бы ему не препятствовали здесь метрические или стилистические основания. Слово «Александрия», объясняет нам Г. Якобссон далее, не только имеет в русском словоупотреблении два значения (географическое наименование и роман об Александре Македонском), но и относится к большой группе русских слов иностранного происхождения с окончанием на «ия», имеющих абстрактное значение.

Еще более искусственным представляется даваемое Г. Якобссоном объяснение слова «столп». Помимо обычного значения — «колонна» слово «столп» в древнерусском языке якобы имело значение не только «башня» и «сторожевая башня», но даже «тюрьма» (?). Очевидно, автор исходит из совершенно произвольного истолкования житийного слова «столпник» (т. е. «затворник», добровольно или по обету «затворивший» себя в «столпе»). Последние приведенные им значения слова «столп», т. е. «башня» и «тюрьма», по мнению Г. Якобссона, стилистически больше подходят к колориту «многозначного» пушкинского стихотворения, чем просто «колонна». Выражения «памятник нерукотворный» и «Александрийский столп» противопоставлены друг другу, и, поскольку оба они как бы опоясывают первую строфу, этим будто бы еще более подчеркивается глубокая идейная противоположность между обоими определениями: в первом стихе этой строфы говорится о действительном, земном, вечном памятнике человеческого творчества, в последнем стихе той же строфы идет речь о непрочном, временном, преходящем значении «башни-тюрьмы времени Александра I» (!). Этого мало: вторая часть составного слова (-творный), по ощущению исследователя, должна вызывать ассоциацию со словом «столпотворение» (ср. библейское «вавилонское столпотворение») и тем самым будто бы утверждать в сознании читателя пушкинского стихотворения представление о жалком исходе, о бесплодности человеческих усилий, о преходящем характере земной власти, покоящейся на создании человеческих рук. Исходя из той же надуманной полисемии «Памятника», Г. Якобссон толкует также полустушие «главою непокорной» как «непокорную», т. е. враждебную по отношению к государю, десятую главу «Евгения Онегина» (!).

5

Центральная часть статьи В. Ледницкого, упомянутая выше, посвящена доказательству того положения, что под «Александрийским столпом» Пушкин имел в виду колонну, воздвигнутую в Петербурге архитектором Монферраном в честь Александра I и в торжественной обстановке открытую 30 августа 1834 г.¹ Доказатель-

¹ Lednicki W. Pushkin's Monument // Lednicki W. Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgeniev and Sienkiewicz. The Hague, 1956.

ства эти основаны на русских документальных источниках и литературе о Пушкине, достаточно полно, хотя и не без пропусков использованных В. Ледницким в его исследовании. Такое утверждение, взятое само по себе, может быть, и не требовало бы столь широко развернутой аргументации, поскольку для русских исследователей Пушкина оно никогда не служило объектом спора, но некоторые подробности торжества открытия колонны, на котором Пушкин намеренно не присутствовал, и в особенности освещение этого события в русской и иностранной печати, проливают свет на условия, при которых был создан «Памятник», а упомянутый в нем «столп» получает дополнительное значение.

Хорошо известна запись в дневнике Пушкина, датированная 28 ноября 1834 г.: «Я ничего не записывал в течение трех месяцев, я был в отсутствии — выехал из Пб. за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, — моими товарищами» (XII, 332).² Но колонна воздвигнута была еще в 1832 г., за два года до ее открытия, и начиная с этого времени в течение нескольких лет литература об этой колонне — специальная, публицистическая и поэтическая — появлялась непрерывно. Так, например, еще в 1832 г., т. е. в год ее поднятия, Ф. Глинка напечатал стихотворение «К гранитному столпу, воздвигаемому во славу Александра I», где между прочим писал:

Не рушат тверди сей ни зуб времен, ни грозы;
Двиль море — и она останется цела.³

Петербургская печать следила за ходом архитектурных и скульптурных работ перед торжественным открытием этой колонны, описывала ее детали, сопоставляла ее с другими сооружениями древнего и нового мира.⁴ Из этой довольно обширной литературы многое, вероятно, было Пушкину известно. С другой стороны, хотя он и не присутствовал на торжестве открытия колонны, зато в течение двух лет должен был видеть все подготовительные работы на Дворцовой площади, — о них много говорили в городе, — не исключая поднятия колонны на монолитный цоколь,

² Дневник А. С. Пушкина. М., 1923, с. 62. (Тр. Гос. Румянц. музея; Вып. 1); Дневник Пушкина 1833—1835 // Под ред. и с объясн. примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Пгр., 1923, с. 21.

³ Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1832, с. 327.

⁴ Важнейшая литература об Александровской колонне перечислена в комментариях к обоим изданиям дневника Пушкина — петроградскому (М.; Пгр., 1923, с. 208) и московскому (М., 1923, с. 478). Укажем дополнительно на книги, изданные ее строителем: Montferrand Aug. de. 1) Description de la colonne monumentale érigée à la mémoire d'Alexandre I. SPb., 1834; 2) Plan et détails du monument consacré à la mémoire de l'Empereur Alexandre I. Paris, 1936 (Folio); см. также основанную на них большую статью «Александровская колонна» в «Энциклопедическом лексиконе», издание А. Плюшара (СПб., 1835, т. 1, с. 480).

для чего установлены были мощные леса.⁵ Из всего этого, однако, вовсе не следует, что в открытии колонны, в литературных откликах на это событие или толках, которые шли по этому поводу, следует искать источник, вдохновивший Пушкина на создание «Памятника». Справедливо возражая А. Грегуару, пытавшемуся истолковать стихотворение Пушкина как своего рода христианскую медитацию на темы из Горация, В. Ледницкий впадает в другую крайность, усматривая в «Памятнике» чуть ли не памфлет против Александра I, безусловно преувеличивая при этом значение «Александрийского столпа» как центрального образа стихотворения. В общей композиции произведения «Александрийский столп» играет, конечно, существенную роль, но, разумеется, не он определил пушкинский замысел в целом.⁶

Ряд самостоятельных наблюдений В. Ледницкого над текстом «Памятника» представляет интерес, но он извлекает из них тенденциозные выводы. Известно, например, что Александровская колонна проектировалась архитектором О. Монферраном по образцам колонны Траяна в Риме, а также воздвигнутой в 1806—1810 гг. в подражание последней Вандомской колонны (в честь Наполеона, на Вандомской площади в Париже), но превышает высотой и ту и другую, что неоднократно отмечалось в русской печати 30-х гг.⁷ Отсюда едва ли, однако, можно извлечь какой-либо вывод, кроме объяснения, почему Жуковский заменил в пушкинском стихе «Александрийский столп» «Наполеоновым»: он имел в виду именно Вандомскую колонну (благодаря этой замене слова поэта о «непокорной» главе теряли свой одиозный по цензурным условиям смысл).⁸ Но для Пушкина сопоставление этих колонн едва ли могло при создании «Памятника» иметь какое-либо значе-

⁵ Пушкинский Петербург // Под ред. Б. В. Томашевского. Л., 1949, с. 288, 313—314. Акварель Г. Г. Гагарина «Постройка Александровской колонны» (1832) воспроизведена в «Литературном наследстве» (М., 1952, т. 58, с. 127). О «прекрасном зрелище „поднятия колонны“ менее чем в два часа» К. Я. Булгаков подробно писал брату в Москву 29 августа 1832 г. Любопытно, что на этой церемонии присутствовал также юноша Лермонтов, приехавший в Петербург как раз в это время для продолжения образования. Зрелище заставило его вспомнить о событиях 1812 г. и, по ассоциации, о высокой колокольне Ивана Великого в Кремле, также связанной с другими великими событиями его родины; так возникло стихотворение Лермонтова «Два великана», написанное в начале сентября 1932 г. (см.: Бродский и Н. Л. «Бородино» М. Ю. Лермонтова и его патриотические традиции. М.; Л., 1948, с. 27).

⁶ Подобный упрощенный подход к «Памятнику» встречается, однако, и в советской литературе. Так, например, Л. А. Медерский (Архитектурный облик пушкинского Петербурга. Л., 1949, с. 34) пишет о Пушкине: «В стихотворении 1836 года поэт противопоставляет свой памятник — литературное наследие, которое он оставляет потомству, — Александровской колонне».

⁷ Александровская колонна была тогда самой высокой в мире (47,5 м); колонна Траяна в Риме имела высоту 44,5 м, Вандомская — 46 м. В статье «Энциклопедического лексикона» исчисления приведены в футах. См. также монографию: Никитин Н. П. Огюст Монферран: Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Л., 1939, с. 243—244.

⁸ См. выше, с. 14 и след.

ние, в особенности в смысле оценки посмертной славы обоих властителей, в честь которых они были установлены. Поэтому для объяснения возникновения «Памятника» совершенно бесполезно искать в творчестве Пушкина следы романтического культа Наполеона и противопоставлять его резко отрицательному отношению поэта к своему «гонителю» — Александру I. Между тем В. Ледницкий допускает, что Пушкин мог знать слова, якобы сказанные Александром I в апреле 1814 г., когда, после занятия Парижа союзными войсками, с Вандомской колонны снята была статуя Наполеона: «Боюсь, что у меня кружилась бы голова, если бы меня поставили так высоко».⁹ В. Ледницкий приводит тут же длинную выдержку из рассуждения К. Н. Батюшкова (в письме к Н. И. Гнедичу от 27 марта 1814 г.), внушенного ему созерцанием Вандомской колонны во время пребывания в Париже (кстати сказать, очень отрицательного к «повергнутому кумиру»), и прибегает к различным сопоставлениям отзывов Пушкина об Александре I разных лет, упоминая даже «спицу», на которой сидел в сказке Золотой петушок, — все для того, чтобы подчеркнуть, что «Памятник» возник под впечатлением открытия Александровской колонны и в силу крайне враждебного отношения поэта к славе покойного императора.

Идя по следам советских исследователей, В. Ледницкий уделил внимание той записи дневника Пушкина (от 28 ноября 1834 г.), в которой почти непосредственно после упоминания о церемонии открытия Александровской колонны рассказано о споре поэта с ямщиками на калужской дороге по поводу другого памятника, открытого 25 июня 1834 г. в с. Тарутине, в 80 верстах от Москвы. «В Тарутине, — пишет Пушкин, — пьяные ямщики чуть меня не убили. — Но я поставил на своем. — Какие мы разбойники? говорили мне они. Нам дана вольность, и поставлен столп нам в честь. Гр. Румянцев вообще не хвалят за его памятник — и уверяют, что церковь была бы приличнее. Я довольно с этим согласен. Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш даже еще не разберет».¹⁰ Комментаторы дневника Пушкина разъяснили, что граф С. П. Румянцев, которому принадлежало село Тарутино, ходатайствовал, чтобы жившие в нем крестьяне были освобождены от крепостной зависимости при условии, если они за свой счет воздвигнут памятник в честь битвы, одержанной здесь Кутузовым над войсками Наполеона в октябре 1812 г., что и было разрешено. Запись Пушкина о Тарутинском памятнике, который он несомненно видел собственными глазами, вступая в спор о нем с тарутинскими ямщиками, показалась Д. П. Якубовичу «подозрительно смежной» со стоящими почти рядом строками об Александровской колонне, и он высказал догадку, что Пушкин будто бы искусно

⁹ Шпльдер Н. К. Император Николай I. СПб., 1903, т. 3, с. 232.

¹⁰ Дневник Пушкина 1833—1835, с. 21, 208.

«маскировал» свое суждение об Александровской колонне, с тайным умыслом рассказывая здесь же свое приключение с ямщиками.¹¹ Эта догадка вызвала критические замечания Б. В. Казанского, с нашей точки зрения, совершенно справедливые. «Неужели Якубович серьезно думает, что Пушкин не решился бы в своем дневнике написать открыто или хотя бы дать понять, что считает более полезным сооружение церкви и школы, чем памятника Александру I? — спрашивал Б. В. Казанский. — Не только в его дневнике, но и в письмах (которые — он знал — часто перлюстрировались) имеются гораздо более резкие и опасные суждения. К тому же полный контекст опять-таки дает совершенно отчетливый и откровенный смысл». По мнению Б. В. Казанского, забавный анекдот с ямщиками «и вызвал рассуждение Пушкина о сравнительной пользе памятника для безграмотных мужиков. Но Пушкин вряд ли принципиально полагал, что и в Петербурге лучше сооружать церкви, чем памятники. Конечно, он не мог сочувствовать сооружению памятника в честь Александра, которого он считал дурным царем и притом своим гонителем, — он выразил это в своем „Памятнике“. Но здесь такого сопоставления фактически нет».¹² Вопреки этим возражениям Б. В. Казанского, вполне разъясняющим ход мыслей Пушкина, В. Ледницкий, однако, поддержал точку зрения Д. П. Якубовича и к его допущениям, отличающимся явными натяжками, добавил собственное наблюдение: ему кажется не случайным, что в своей дневниковой записи Пушкин играет словами «колонна» и «столп»; впоследствии будто бы Пушкин вспомнил свою запись и применил слово «столп» к Александровской колонне.¹³

В такой догадке, однако, нет решительно никакой необходимости. В записи дневника поэта ямщики называют «столпом» Тарутинскую колонну: очевидно, для Пушкина это древнее слово, давно утратившее в общенародном русском языке свою связь с церковно-славянской лексикой, представлялось более уместным в речи ямщика, чем книжный варваризм более пового происхождения («колонна»). С другой стороны, в русском литературном языке в пушкинское время слово «столп» звучало уже как архаическое, риторическое, отзывавшееся одической традицией XVIII в., и его нужно рассматривать в «Памятнике» в общей системе эмоционально приподнятой архаической лексики, с тонким артистическим расчетом примененной поэтом в этом стихотворении; никакого пренебрежительного или иронического оттенка слово «столп» здесь не имеет. Стилистическая многозначность слова «столп» была Пушкину отчетливо известна, и он пользовался сло-

¹¹ Якубович Д. П. Дневник Пушкина // Пушкин : 1834 год / Изд. Пушкинского о-ва. Л., 1934, с. 20—49.

¹² Казанский Б. В. Дневник Пушкина. (По поводу интерпретации Д. П. Якубовича) // Пушкин : Временник Пушкинской комиссии, вып. 1, с. 277.

¹³ Lednicki W. Bits of Table Talk... , p. 91.

вом неоднократно в произведениях разной стилистической структуры.¹⁴ В значении «памятника», «монумента» и в полном соответствии с «высокой» лексикой торжественных од XVIII в. Пушкин употребил его в стихотворении 1814 г. «Воспоминание в Царском Селе», имея в виду памятник в честь Кагульской победы:

Вкруг грозного столпа трикраты обвились
и т. д.
(I, 79)

В стихотворении 1829 г. («Воспоминание в Царском Селе») читаем:

. . . Ее любимые сады
Стоят, населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

И далее:

Сядятся призраки героев
У посвященных им столпов.
(III, 189, 771, 1194)

То же слово, но в значении, близком к общеупотребительному фонетическому его варианту (столб), мы находим в «Евгении Онегине»:

Пошел! Уже столпы заставы
Белеют. Вот уж по Тверской¹⁵
и т. д.
(VII, 38)

Характеризуя русскую одическую поэзию XVIII в., Л. В. Пумпянский подчеркивал, что ее постоянными темами были «дворец,

¹⁴ Например, в стихотворении «Перед гробницею святой» (1831), посвященном герою 1812 г. М. И. Голенищеву-Кутузову:

. . . .одни лампы
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады . . .
(III, 1, 267)

Любопытно, что в «Современнике» (1836, т. 4, с. 247) слово «столпов» напечатано с ошибкой — «столбов»; в автографе же Пушкина ясно читается «столпов». Ср.: Письма Пушкина к Е. М. Хитрову. Л., 1927, с. 26.

¹⁵ П. Я. Черных (Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник» // Рус. яз. в школе, 1949, № 3, с. 35) приводит эту цитату из «Евгения Онегина» в качестве примера употребления Пушкиным слова «столп» «в несколько сниженном» значении; отметим, что не только столбы заставы, но и верстовые столбы вблизи столиц и больших городов по своему архитектурному оформлению походили на памятники: они имели форму обелиска с широким четырехугольным основанием, а иногда увенчивались двуглавым орлом; такую форму они имели, например, между Петербургом и Царским Селом. Другие примеры частого употребления слова «столп» в разных значениях см.: Словарь языка Пушкина. М., 1961, т. 4, с. 378.

здание, столп, памятник, статуя»; обращение Пушкина к этой тематике и широкое пользование «архитектурным и статуарным словарем» Л. В. Пумпянский объяснял воздействием на Пушкина поэтики Державина: «Державин всегда любил архитектурный словарь, но около 1791—1795 гг. пирамиды, обелиски, столпы, чертоги, кумиры становятся положительно сигнатурой его образов. Традиция эта дошла до Пушкина и усвоена им».¹⁶ К этому можно добавить, что при Пушкине еще было живым типичное для русской культуры XVIII в. увлечение «памятными» и «триумфальными» столпами всякого рода,¹⁷ — их продолжали устанавливать всюду; Пушкин несомненно видел множество подобных памятников и хорошо знал связанную с ними традиционную символику, объяснявшуюся в специальных русских печатных книгах еще с начала XVIII столетия.

В книге петровского времени «Символы и Емблемата» (1717) есть несколько гравированных картин, изображающих столпы, с относящимися к ним краткими толкованиями на десяти языках; на одной из них изображена, например, колонна, а на ней корона: «Een kroon op en ruylaag»; русская подпись гласит: «Подперта честью»; в другом варианте на столпе разместилось увенчанное короной сердце.¹⁸ Подобные изображения повторялись в XVIII в. много раз в учебных руководствах по «эмблематическому» языку для художников и поэтов и постепенно утвердили традицию понимания «столпа» как эмблемы самодержавия. В 20-е гг. декабристская традиция переосмыслила этот символ, снизив одическое слово «столп» до просторечного «столб» и сочиняя эпиграммы и пародические надписи к картинкам, подобным вышеуказанным, где «столб» вместо ожидаемого «столпа» становился опорным словом издевки. Так, например, еще в конце 1819 г. в Петербурге была распространена эпиграмма, сочинение которой молва приписывала М. В. Милонову. Записавший ее в своем дневнике В. Н. Каразин отметил, что она «сделана на Сенат или на вывеску гг. сенаторов в комиссии законов»:

Какой тут правды ждать
В святыхище закона!
Закон прибит к столбу,
И на столбе корона.¹⁹

¹⁶ Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 109—110. См. также: Дурыйн С. Отражение архитектуры в поэзии Пушкина // Архитектура СССР, 1937, № 3, с. 33—37.

¹⁷ Одним из ранних сооружений этого рода должен был быть так называемый Триумфальный столп, намечавшийся к сооружению в Петербурге в 1720—1730-х годах в ознаменование славных побед русской армии и флота: в длиндрах колонны предполагалось поместить барельефы с изображением знаменитых батальон, а увенчать колонну должна была скульптура Петра I. Реконструкция этого «столпа» экспонирована в Круглом зале Гос. Эрмитажа в Ленинграде (см.: Государственный Эрмитаж: Русская культура XVIII в. М., 1955, с. 23).

¹⁸ Символы и Емблемата. СПб., 1717, с. 22—23 (№ 65), 158—159 (№ 470).

¹⁹ Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, с. 174.

Известна эпиграмма и в другой редакции, в которой она долго приписывалась Пушкину:

В России нет закона,
В России — столб стоит,
А на столбе корона.²⁰

Пользуясь тонким стилистическим различием между «столпом» и «столбом», современники Пушкина пародически снижали также устойчивое словосочетание «столп отечества». В. Ф. Раевский в сатирическом стихотворении 1817—1820 гг. писал:

И наши знатные отечества столбы
О Марсовых делах с восторгом рассуждают.²¹

«У нас столбы государства ни мало не заботятся о пользе России, а думают об интригах. . . Жаль бедную Россию», — писал А. Закревский П. Киселеву 16 апреля 1829 г.²²

В 30-е гг. сатирическое переосмысление старой символики (монарх—столб) встречалось также во французских политических карикатурах.²³ Еще десятилетие спустя, на допросе петрашевцев, одному из обвинявшихся, Ф. Г. Толю, следственная комиссия предлагала такой вопрос: «Известно по рассказу вашему, что профессор С.-Петербургского университета Порошин, разбирая характеристику памятников, сказал с университетской кафедры про Александровскую колонну, что это столб столба столбу. Сделайте об этом объяснение». Ф. Г. Толю пришлось поневоле уклониться от истолкования этих «дерзких» слов, смысл которых и так был совершенно ясен.²⁴

Возможно, что и до Пушкина доходили подобные откровенные речи о «столпах» вообще и об Александровской колонне в частности,²⁵ но он во всяком случае знал о той подозрительности,

²⁰ Виноградов В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 138.

²¹ Базанов В. Г. В. Ф. Раевский. Л., 1949, с. 156; Пушкинский юбилейный сборник. Ульяновск, 1949 (Ульян. гос. пед. ин-т), с. 283; Избр. соц.-полит. и философ. произв. декабристов. М., 1951, т. 2, с. 356.

²² Дружинин Н. М. Государственные крестьяне в реформе П. Д. Киселева. М.; Л., 1946, т. 1, с. 84.

²³ Калитина Н. М., Политическая карикатура Франции 30-х гг. XIX в. Л., 1955, с. 31.

²⁴ Дело петрашевцев. М.; Л., 1941, т. 2, с. 193.

²⁵ В 1837 г. юный Владимир Философов, пылкий почтатель декабриста А. А. Бестужева, записал в своем дневнике при получении известия о его гибели: «Я верю, что рано или поздно кровь праведника возопиет о мщениии . . . на развалинах самодержавной власти воздвигнется сильное и цветущее здание, и на месте Александровской колонны благодарное потомство воздвигнет памятник Бесгузовым и другим жертвам 14-го числа» (Яценвич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935, с. 161). Характерно, что среди ранних незрелых стихотворных опытов юноши И. С. Тургенева сохранились патристические вирши одического характера, посвященные открытию Александровской колонны и, вероятно, связанные с чтением очерка В. А. Жуков-

с какой в бюрократических и цензурных сферах относились ко всяким проявлениям неуважения или сочувствия к русским и зарубежным памятникам государственного значения и их «эмблематическому» смыслу. В 1832 г. главное управление цензуры запретило статью «Обелиск», предназначенную для журнала «Северный Меркурий», так как в ней говорилось о памятнике, воздвигнутом неизвестно где и по неизвестному поводу: «Может быть, — писал в своем решении цензурный комитет, — сочинитель понимает под оным какой-либо обелиск во Франции, в память последних переворотов; в таком случае подлежит запрещению на том основании, на каком начальство признало непозволительными стихи Казимира Делавиня».²⁶ Пушкину слишком хорошо была известна история с этими непозволительными стихами, так как она близко его коснулась. Речь идет о напечатанном в «Литературной газете» французском четверостишии К. Делавиня, предназначавшемся для памятника, который предполагалось воздвигнуть в Париже в память о жертвах июльской революции. Возникло громкое цензурное дело. Как известно, Дельвигу было запрещено издание «Литературной газеты» и он был вызван к Бенкендорфу для грубого начальственного окрика и угроз. А. И. Дельвиг записал в своих мемуарах, якобы Бенкендорф сказал при этом, что он «троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского — уж упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь»; вся эта история, по Дельвигу, и ускорила гибель поэта.²⁷

Таким образом, предположения, что «Памятник» Пушкина возник из «чувствований», которые поэт питал к Александру I,²⁸

ского «Воспоминания о торжестве 30 августа» (Сев. пчела, 1834, № 202, 8 сентября):

Сей памятник огромный, горделивый
Благословенному поставлен был,
И Николая век счастливый
Собою сам ознаменил.

Из недра скал гранитных преогромных
Рукою мощной он исторгнут был,
Затем, чтоб Александра незабвенных
Он дел позднейшему потомству вспоминал
и т. д.

(Тургенев И. С. Полн. собр. соч. в 28-ми т. М.; Л., 1960, т. 1, с. 321, 594). Однако в конце 40-х гг. И. С. Тургеневу была близка та самая игра значениями слов «столп» и «столб», к которой прибегали петрашевцы. В рассказе «Гамлет Щигровского уезда» герой говорит: «А! вот и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает — чудеса! . . . А, впрочем, на что ему знать дело-то; лишь бы взятки брал, да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян».

²⁶ Рус. старина, 1903, № 2, с. 310.

²⁷ Дельвиг А. И. Полвека русской жизни: Воспоминания. Л., 1930, т. 1, с. 155.

²⁸ Lednicki W. Bits of Table Talk . . . , p. 94—95, 105.

хотя и зашифрованных, что важнейшим поводом для создания стихотворения явилось будто бы его желание противопоставить славу своего имени и творческих деяний, которые он завещает потомкам, официальным славословиям и восхвалениям покойного императора по случаю торжественного открытия колонны в его честь, весьма далеки от истины и отличаются явными преувеличениями.²⁹ В частности, не может быть названа удачной и сколько-

²⁹ Отметим весьма верноподданническое стихотворение В. Романовского «Петербург с Адмиралтейской башни» в «Современнике» (1837, т. 5, с. 287—293) — первой книге журнала, вышедшей после смерти Пушкина, некоторые материалы которой были ему известны в рукописях. В этом стихотворении упомянуты Александровская колонна и Зимний дворец, наблюдаемые с высоты:

Все точно сплюснулось, осело
И как под крышею одной!
Исчезли зданья-исполины,
Чертоги знати, богачей! . .
Лишь царский памятник единый
Да вековой дворец царей
Возносят величаво с ними
Главы к лазурным высотам,
И царствуют над небесами
Одни, — как следует царям
и т. д.

В следующем году в поэтическом сборнике М. Маркова «Мечты и были» (СПб., 1838, ч. 1, с. 11—14) напечатано большое, но нескладное стихотворение «Открытие памятника императору Александру I» (1834). Характерно, что оно обращено к царствующему императору, а не к тому, в честь которого воздвигалась колонна; здесь, в частности, есть следующие стихи:

По-русски брата царь прославил:
Из недр земли он взял скалу
И пред дворцом своим поставил.
Веков губительную мглу
Минет планеты сей обломок!
Я зрю, как поздний мой потомок
Стоит, невольню поражен,
Гиганта взором измеряя, —
И тихо имя Николая
С благоговеньем шепчет он
и т. д.

Отметим еще сонет С. Стромиллова «Александровская колонна», напечатанный в ставшем редкостью стихотворном сборнике этого автора — «XII сонетов» (М., 1837, с. 13—14; цензурное разрешение на выпуск этой брошюры было дано 13 ноября 1835 г.). Начинается он так:

Смотри — вот сверстник мирозданья;
Вот он, чудовищней гранит;
Страны отверженной созданье,
Скал Питерлакских прозелит.

Взгляни, как он своей вершиной
Прорвался к небу на простор
И за туманную пучиной
Отважно грудь его подпер
и т. д.

нибудь убедительной попытка Ледницкого доказать, что скрытые намеки на Александра I могут быть обнаружены не только в первой строфе «Памятника», но и во всех остальных, не исключая и пятой, заключительной: исследователь произвольно и некритически комбинировывает разновременные факты из жизни и творчества Пушкина, создавая из его стихотворных строк искусственные, призрачные построения, не имеющие никакой твердой опоры в действительности.

Таковы, например, представляемые В. Ледницким «новые аргументы» для понимания «скрытого смысла последнего четверостишия» «Памятника», о котором, по его мнению, не догадывались ни современники Пушкина, ни его критики за целое столетие, протекшее со дня смерти поэта.³⁰ Едва ли кто-либо серьезно решится утверждать, что в последнем стихе «Памятника» — «И не оспаривай глупца» — содержится намек на Александра I. Между тем В. Ледницкий его находит и пытается вскрыть путем сопоставления этого стиха с рядом других — пушкинских и непушкинских — стихотворных строк и мемуарных свидетельств. Наиболее близкой параллелью к стиху «Памятника» о глупце В. Ледницкому представляются строки из стихотворного послания Пушкина к Н. И. Гнедичу (при письме из Кишинева от 24 марта 1821 г.), в котором, сопоставляя свою судьбу изгнанника с участью Овидия и прозрачно называя своего гонителя «Октавием» (Августом), Пушкин признается:

Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца.

(II, 170)

Чтобы подтвердить, что в «Памятнике» идет речь не просто о «глупце», но именно о «царственном глупце», В. Ледницкий ссылается даже на лицейскую эпиграмму, если не принадлежащую Пушкину, то ему известную: «Двум А. П.» (Александрам Павловичам), построенную на сопоставлении царя с «лихим Зерновым» — помощником губернатора в Царскосельском лицее, где имеются следующие слова:

Зернов! Хромаешь ты ногой,
Р<оманов> головою.³¹

В. Ледницкому представляется знаменательным даже то обстоятельство, что стих «И не оспаривай глупца», заключающий

(Попутно укажем что XI сонет этого же сборника озаглавлен «Пушкин» и содержит в себе цитату из VII главы «Евгения Онегина» и что юноша Пушкин упомянут еще в сонете III «Царское Село»). О стихотворении В. Р. Зотова «Две колонны» (СПб., 1841) уже упомянуто было выше (с. 17—18).

³⁰ Lednicki W. Bits of Table Talk. . . , p. 105.

³¹ См. статьи Н. В. Измайлова «Политическая эпиграмма лицейской эпохи» (Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пгр., 1923. с. 13—23) и «Новый сборник лицейских стихотворений» (Сборник Пушкинского дома на 1923 г. Пб., 1922, с. 75).

все стихотворение энергичной мужской рифмой, соотносится будто бы с аналогичным по своей метрической модуляции заключительным стихом первой строфы — «Александрийского столпа» («concoars with the metrical cadence of Aleksandrijskogo stolpa») и что, кстати сказать, слово «столп (столб)» на псковском наречии означает «дурак». ³² Все это, конечно, чистая фантастика, как и попутное указание В. Ледницкого, что в стихотворении Пушкина «К Овидию» (1821) находятся мотивы, общие с «Памятником». ³³

Для спасения своей рискованной гипотезы В. Ледницкий пытается поддержать также старую, давно отброшенную догадку П. О. Морозова, утверждавшего, что в стихе «Что чувства добрые я лирой пробуждал» Пушкин вспомнил слова, которые Александр I поручил передать поэту после прочтения его «Деревни», — благодарность «за добрые чувства, внушенные его поэзией» («pour les bons sentiments que ses vers inspirent»). ³⁴ М. А. Цявловский в специальной статье разъяснил происхождение этого анекдота, «изложенного в печати не один раз и несколькими лицами», и установил, между прочим, что ни в одной версии слова государя, сказанные Васильчикову, не являются текстуально близкими к пушкинскому стиху (речь шла не о «добрых чувствах», а о «благородных чувствах» — «nobles sentiments» или о «чувствах вообще» — «tous sentiments»). ³⁵

Сопоставление отдельных строк или даже слов «Памятника» с наудачу выбранными строками из ранней политической лирики Пушкина смещает историческую перспективу и зачеркивает во-

³² Ссылка В. Ледницкого на «Толковый словарь» В. Даля (СПб., 1903, т. 4, с. 544) с мотивировкой, что «Пушкин, который провел столько времени в Михайловском и, как мы знаем, изучал местное народное наречие, безусловно знал псковское столб — дурак», основана на простом недоразумении. В авторском издании «Толкового словаря» этого слова нет; оно внесено в издание 1903 г. его редактором, скорее всего по аналогии со словом «столп» (встречающимся у Пушкина только в форме собственного имени). Во втором издании «Толкового словаря» (1882), «исправленном и значительно умноженном по рукописи автора», приводятся лишь в качестве псковских диалектальных слов «столпень, столпенюк, столпенюга» (т. 4, с. 328), которые имеют столь же малое отношение к «столпу» пушкинского «Памятника», как и «столб».

³³ Lednicki W. Bits of Table Talk. . . , p. 101. Достаточно напомнить, что в этом стихотворении, противопоставляя себя Овидию и говоря о его громкой славе, Пушкин писал, имея в виду свою судьбу:

Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнью, с минутною молвой. . .

(II, 220)

³⁴ Пушкин / Под ред. Н. К. Пиксанова, сб. 1, с. 51, примечание.

³⁵ Цявловский М. А. Представление «Деревни» Пушкина Александру I // Пушкин: Исслед. и матер. М.; Л., 1958, т. 2, с. 382—384 (вошло в его кн.: Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 365—368).

прос об эволюции его политических воззрений. По новейшим исследованиям, нет никакой необходимости связывать строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», поскольку в 1836 г. Пушкин не мог придавать значения своим юношеским нелегальным одам.³⁶

Исторической ошибкой является и всякая попытка усматривать в «Памятнике» якобы искусно скрытые поэтом намеки на Александра I, и только на него одного. «Памятник» создан в условиях, резко отличных от тех, в которых прошла мятежная юность поэта; впечатления от Александра I были заслонены более близкими и гораздо более сложными отношениями поэта с другим «венценосцем», да и сам поэт был другим человеком, умудренным опытом жизни и более зрело прозревающим в будущее. Именно это В. Ледницкий и упустил из виду.

Впрочем, В. Ледницкий делает одну оговорку. «Памятник», говорит он, «сосредоточен вокруг двух тем. Одна из них — это тема Ювенала и Горация: неистребимая слава поэта . . . С этой точки зрения, „Памятник“ относится к пушкинской *ars poetica* — к целому ряду стихотворений, в которых Пушкин выразил свои взгляды на поэта и поэзию».³⁷ Это замечание дает повод еще раз, идя по следам старых русских исследователей и А. Грегуара, пересмотреть вопрос об отношении «Памятника» к его литературным образцам — Горацию и Державину. Необходимо, однако, подчеркнуть, что и в этом вопросе, занимающем подчиненное положение в его общем истолковании произведения Пушкина, В. Ледницкий допустил ненужные гипотезы, отвлекающие читателя от правильного пути, по которому необходимо было следовать; тем не менее некоторые из его догадок нашли сторонников среди зарубежных ученых.

Уже А. Грегуар в упомянутой выше статье о Горации и Пушкине, характеризуя соотношения, в которых находятся между собой стихотворение Пушкина, «Памятник» Державина и «*Ehægi monumentum*» Горация, обращал внимание на то, что Пушкин в ряде стихов ближе следует Горацию, чем Державину, и с полным основанием усматривал в этом свидетельство непосредственного знакомства Пушкина с латинским текстом оды «К Мельпомене». По поводу третьей строфы Пушкина («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой») Грегуар замечал, что хотя она явно навеяна Державиным, но Пушкин перечисляет народы, которые будут повторять его имя, тогда как Державин просто говорит о «народах неисчетных».³⁸ В дополнение к этому замечанию

³⁶ Подробнее см.: Научный ежегодник Саратов. гос. ун-та, Саратов, 1955, с. 154.

³⁷ L e d n i c k i W. Bits of Table Talk. . . , p. 97.

³⁸ G r e g o i r e H. Horace et Pouchkine // Les études classiques, 1937, vol. 6, N 4, p. 528. Не имевший возможности пользоваться транскрипцией рукописей Пушкина, А. Грегуар не знал, что Пушкин написал первоначально «Слух прѣйдет обо мне», как у Державина, но затем изменил это полустилише

бельгийского филолога и следуя давней русской комментаторской традиции, В. Ледницкий напомнил о другой оде Державина — «Лебедь» (1804), также восходящей к Горацию (II, 20), в которой пределы славы поэта обозначены в русской географической номенклатуре и где дается перечень самих народов:

С Курильских островов до Буга,
От Белых до Каспийских вод,
Народы, света с полукруга,
Составившие россос род,
Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь
и т. д.

Это и могло вдохновить Пушкина на аналогичное перечисление, но вместо архаических наименований Державина он перечислил реальные народы, известные в его время, воспользовавшись тем же принципом протяженности их на огромной территории и удаленности друг от друга по географической карте России.³⁹ Что касается «русификации» перечня Горация («litora Bospori Syrtisque . . . Rhodanique potor»), то Державин имел предшественников. Тот же прием, как указывает В. Ледницкий, встречается у польского поэта-гуманиста XVI в. Яна Кохановского, одна из песен которого (XXIV песня 1-й книги; первое издание вышло в Кракове в 1586 г.), созданная в подражание

из-за архаической акцентуации слова «прйдет»; самый же перечень территорий у Державина построен по «гидрографическому» принципу Горация:

Слух прйдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал
и т. д.

Отметим, кстати, что в статье «Пушкин и римская литература» покойный оксфордский исследователь Д. П. Костелло, говоря о сильном воздействии на Пушкина поэзии Овидия, в частности, утверждал, что в стихе 9-м пушкинского «Памятника» («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой») можно было бы усмотреть подражание стиху Овидия из его «Тристий» (IV, IX, 19: «Nostra per immensas ibunt praesonica gentes»), «если бы мы не знали, что на самом деле пушкинская строка была лишь переделкой державинской» (Costello D. P. Pushkin and Roman literature // Oxford Slavonic papers, 1964, vol. 11, p. 55). К этому, впрочем, можно добавить, что сам Овидий испытал влияние Горация и даже подражал его «Exegi monumentum» в одном месте своих «Метаморфоз» (XV, 871 и сл.). Латинский текст этих стихов Овидия, а также русский их перевод (правда, без сопоставления с одой Горация) были приведены в статье об Овидии в московском университетском издании начала XIX в.:

lamque opus exegi, quod nec Jovis ira, nec ignes,
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas,

т. е. «Я привел уже к концу такое дело, которого разрушить ничто не может: ни гнев Юпитера, ни пламя, ни меч, ни едкость всепоглощающего времени». (см.: Минерва : Журн. рос. и иностр. словесн., 1807, ч. 5, № 20, с. 39—40).

³⁹ Lednicki W. Bits of Table Talk. . . , p. 103—104.

той же оде Горация (II, 20), дает аналогичный перечень с модернизованными географическими наименованиями в соответствии с горизонтами того времени. Представляя себя, подобно Горацию, в виде лебедя, в которого он превратится после смерти, парящего над необозримыми просторами, Кохановский пишет:

Я берег навещу шумящего Босфора
.....
Я навещу поля, где власть снегов жива;
Узнают обо мне татары и Москва,
И житель Англии, тот сын иного света,
Испанец плъ тевтон, и люди, что у ног
Своих из Тибра пьют глубоких струй поток
и т. д.⁴⁰

В. Ледницкий не утверждает, что Державин или Пушкин знали эту песню Я. Кохановского, — он не располагает никакими свидетельствами по этому поводу — но все же обращает внимание на существующее якобы сходство между утверждением Державина в его «Памятнике»:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить
и т. д.

и стихами Кохановского из «Вступления» к его «Псалмам Давида» (которое перевел еще Симеон Полоцкий, вдохновлявшийся и самими «Псалмами» Кохановского для своей «Рифмотворной псалтыри»):

Я стал соперничать с известными певцами,
И я достиг скалы прекрасной Каллиопы,
Где польских пришлецов еще не знали тропы.⁴¹

Все эти сопоставления основаны на явном недоразумении, потому что они не учитывают судьбу лирики Горация в европейских литературах XVI—XIX вв., в том числе и в русской, как до, так и после Державина. Широко известно, что именно те оды Горация (II, 20; III, 30), которым подражали и Кохановский, и Державин, отозвались также во множестве других произведений на всех европейских языках. Общим местом поэзии французской, английской, немецкой со времени Возрождения сделался также географический и этнографический перечень народов и стран, о которых объявляет поэт, вдохновенно прорицающий о своей будущей славе. В. Ледницкий в дополнение к Кохановскому в примечании, мимоходом, вспомнил только о Ронсаре с его «Одой по случаю возвращения из Гаскони», где, задумы-

⁴⁰ Там же, с. 104. Цит. по рус. пер. С. Свяцкого в кн.: Кохановский Ян. Избр. произв. / Изд. подг. С. С. Советов. М.; Л., 1960, с. 77. (Сер. «Лит. памятники»).

⁴¹ Lednicki W. Bits of Table Talk... , p. 104; Кохановский Ян. Избр. произв., с. 109.

ваясь о будущих ценителях своих стихов, Ронсар называет Испанию, Италию и те земли, «в которых пьют из Рейна и Темзы».⁴² Но еще более близкие параллели к аналогичному мотиву у Кохановского можно было бы извлечь, оставаясь в пределах той же эпохи Возрождения, из произведений Жоакена дю Белле и других поэтов «Шлеяды».⁴³ Позднее такие же сплавы горацянских мотивов, в которых то ярче, то менее явственно проявляются местные, национальные краски, в изобилии можно найти у французских и немецких поэтов XVII—XVIII вв., притом с устойчивой мотивировкой: «я первый в своей стране. . .» и т. д. (вариации в определении самой заслуги разнообразны, то приближаясь к формуле Горация, то отдаваясь от нее). Поэтому стих Державина «Что первый я дерзнул в забавном русском слоге. . .» опирается на внушительную европейскую поэтическую традицию; это совершенно обесценивает параллельную цитату из «Вступления» к «Псалмам Давида» Кохановского, да и все рассуждение В. Ледницкого о Кохановском как о предшественнике Державина и Пушкина.

Однако апелляция к прославленному польскому поэту оказалась необходимой В. Ледницкому для другой цели. В «Приложении» к своей статье, резюмируя обсуждения, которым подверглась его статья после первой ее публикации в «Harvard Slavic Studies», В. Ледницкий возвратился к основному тезису своей работы — о том определяющем значении, которое имела для Пушкина при создании «Памятника» «Александровская колонна». Еще раз обращая внимание на пушкинские стихи:

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык,

В. Ледницкий пытается глубже вдуматься в этот этнографический перечень. По его мнению, намерение Пушкина при выборе наименований народов для этого перечня заключалось прежде всего в том, чтобы очертить дальние пределы всех четырех климатов, или географических зон, современной ему России — Запад (гордый внук славян), Север (финн), Восток (тунгуз) и Юг (калмык), и, следуя этой схеме, под «гордым внуком славян» следует понимать поляка.⁴⁴

⁴² См.: Stemplinger Ed. Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance. Leipzig, 1906, S. 286—287.

⁴³ Ibid., S. 286. Подробнее см.: Stemplinger Ed. Du Bellay und Horaz // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 1904, Bd 113, S. 80.

⁴⁴ Lednicki W. Bits of Table Talk. . . , p. 107—108. Эта догадка, как указывает Ледницкий, принадлежит П. А. Будбергу, принимавшему участие в обсуждении его статьи.

Было бы чрезвычайно затруднительно привести достаточные основания для подтверждения этой догадки, наталкивающейся на многочисленные противоречия. В. Ледницкому известно лишь одно, весьма правдоподобное предположение, почему в перечень попал эвенк, или «тунгуз», — по тогдашнему словоупотреблению. Ю. Н. Тынянов уже давно указал на то, что это явилось следствием письма, полученного Пушкиным от В. К. Кюхельбекера из Баргузина (в Забайкалье) от 12 февраля 1836 г., в котором Кюхельбекер «много толкует о бурятах и тунгусах, романтически останавливаясь на дикости последних»; но Пушкин, замечает далее Ю. Н. Тынянов, «вносит поправку в первоначальные впечатления Кюхельбекера: он пишет „ныне дикой“ и говорит о будущем развитии». ⁴⁵ Относительно же других народов, стоящих в том же списке, аналогичные догадки не высказывались, да и едва ли могли быть предложены; обследование черновика третьей строфы «Памятника», произведенное Д. П. Якубовичем, подтвердило лишь колебания Пушкина в выборе этих наименований: в вариантах зачеркнутых строк фигурировали первоначально также народы Кавказа, затем исчезнувшие из окончательного текста, скорее всего по соображениям метрическим или эвфоническим. ⁴⁶ Ранее Е. И. Боричевский в своем «опыте толкования» «Памятника» утверждал, что будто бы «в этом перечислении поэт делает особое ударение на народах, не причастных еще к культуре. Он надеется, что в грядущий час своего культурного пробуждения они узнают и произнесут его имя». ⁴⁷ Если принять это обобщение, то из списка придется исключить «гордого внука славян», как бы мы не пытались его истолковать. Напомним, наконец, что «гордый славянин» назван в отрывках из «Путешествия Онегина» при описании Одессы и южной разноплеменной толпы на ее улицах, где все «пестреет разнообразью живой»:

Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдован тяжелый
и т. д.

В этом контексте под «гордым славянином» Пушкин имел в виду, конечно, не поляков, но представителей южного славянства, соотечественников Амалии Ризнич, в географической терминологии поэта, впрочем, относившихся — в соответствии с политической картой того времени — к западной, а не к южной ветви славян (ср. «Песни западных славян»).

⁴⁵ Тынянов Ю. Н. В. К. Кюхельбекер // Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Л., 1939, т. 1, с. LXXIV—LXXV.

⁴⁶ Якубович Д. П. Черновой автограф трех последних строк «Памятника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 3, с. 4—5.

⁴⁷ Боричевский Е. И. «Памятник» Пушкина // Тр. Белорус. гос. ун-та, 1925, т. 6—7, с. 46.

Тайное намерение поэта, которое пытается разгадать В. Ледницкий, представляется нам более простым и естественным. Не забудем, что Пушкин говорит о «всей Руси великой», мечтая о том времени, когда каждый из народов, живущих на относящейся к ней государственной территории («всяк сущий в ней язык»), назовет его имя; было бы поистине странно считать, что, задумываясь о грядущей славе своей на родине, Пушкин мог не упомянуть о русском народе и о своих будущих русских читателях как о таких «просвещенных потомках», которые станут гордиться его именем прежде других, разноплеменных. Едва ли подлежит сомнению, что именно ближайшие поколения русских ценителей своей поэзии Пушкин и имеет в виду, говоря о «гордом внуке славян», стоящем на первом месте в ряду названных им народов. Напрасно было бы искать в этом перечне какую-либо особую таинственную закономерность или скрытый умысел, помимо того явного, какой есть в нем в действительности, — дать краткую, поэтически обобщенную характеристику просторов родной земли, во все дальние концы которой, к многоплеменным народам различного культурного уровня, донесется слух о русском поэте. Современники Пушкина не могли понять его иначе. Этнографизм и широта историко-географических горизонтов составляли приметную особенность не только творчества Пушкина, но и русской литературы его времени: географические и этнографические обозрения нередко делались тогда и в прозе, и в стихах, составляя традиционную тему; закономерность сопоставлений этого рода для поэтов-романтиков пытался обосновать, например, О. Сомов, ссылаясь на особую «живописность» разнообразных национально-этнографических материалов, которые могут быть доступны заинтересованному наблюдателю. «Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляется испытующему взору в одном объеме России совокушной!», — восклицает он. «Не говоря уже о собственно русских», он, следуя по географической карте, называет народы, достойные внимания поэтов: «... окинем взором края России, обитаемые поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями древней Колхиды, потомками переселенцев, видевших изгнание Овидия, остатками походов грозных России татар, многообразными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапонцами и самоедами».⁴⁸ Отсюда естественна мысль, что поэт, увидевший их и

⁴⁸ Сомов О. О романтической поэзии: Опыт в трех статьях. СПб., 1823, с. 86. Подобные «этнографические перечни» были распространены в русской поэзии конца XVIII в.; встречаются они, например, у Державина. Ф. П. Львов в книге «Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице, Е. Н. Львовой, в 1809 году» (эта книга была в библиотеке Пушкина) по поводу оды «Изображение Фелицы» (1789), где перечислены разноплеменные «народы, Россию составившие, которые постепенно под российской державою из кочующих сделались пахарями», замечает, в частности, о стихах «чтоб дика люди, отдаленны» и т. д.: «... сям изобраа-

отразивший их разноплеменную жизнь в своем творчестве, имеет также права на признание их потомками.

Поэтому, с нашей точки зрения, едва ли у В. Ледницкого была необходимость для обоснования сомнительной догадки, что под «гордым внуком славян» Пушкин будто бы имел в виду предка польского народа, возвращаться вновь к Александровской колонне и высказывать еще одну, столь же шаткую гипотезу относительно существующей якобы связи между последними строфами «Памятника» Пушкина и теми барельефами, которые помещены на пьедестале этой колонны.

Основанием для данной гипотезы явилось то обстоятельство, что на этих барельефах между прочим изображены аллегорические фигуры двух «польских» рек — Немана и Вислы. Правда, В. Ледницкий сожалел, что для него остались недоступны описания этих барельефов, принадлежащие О. Монферрану, по рисункам которого они и выполнялись, и что ему пришлось воспользоваться поздними и недостаточно подробными описаниями их, приведенными в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза—Ефрона.⁴⁹ Однако обращение к собственным пояснениям О. Монферрана не улучшает дела, поскольку связь стихов Пушкина с сюжетами этих барельефов остается все же более чем проблематичной.

Всех барельефов четыре, и композиция их состоит из аллегорических фигур и воинских доспехов. На стороне пьедестала, обращенной к Зимнему дворцу, в верхней части барельефа помещены две лежащие женские фигуры; внизу в красивых орнаментальных сочетаниях расположено вперемежку римское и русское оружие; последнее, по свидетельству Монферрана, — «в самых точных снимках с тех образцов, которые хранятся в Оружейной палате»; среди них, например, выделяются шлем Александра

жается созыв всех народов Российской империи, от коих были присланы депутаты, от каждой области по 2 человека, даже из самых отдаленнейших краев Сибири, как-то: камчадалы, тунгузы, калмыки и проч.» (Львов Ф. П. Объяснения на сочинения Державина. . . СПб., 1834, ч. 2, с. 19; речь, таким образом, идет о Комиссии для составления нового Уложения, имевшей значение для роста этнографических знаний в тогдашней России). И. И. Дмитриев в одной из своих воинственных од («Глас патриота на взятие Варшавы», 1794), удивляясь военному могуществу России при Екатерине II («Страшна твоя, царица, власть!»), восклицал:

Речешь — и двинется полсвета!
Различный образ и язык:
Тавридец, чтитель Магомета,
Поклонник идолов калмык,
Башкирец с меткими стрелами,
С булатной саблею черкес,
Ударят с шумом вслед за нами
И прах поднимут до небес! . .

(Дмитриев Ив. Соч. М., 1803, т. 1, с. 28—29).

⁴⁹ Энциклопедический словарь Брокгауза—Ефрона. СПб., 1890, т. 1, с. 381; Lednicki W. Bits of Table Talk. . . , p. 108.

Невского, броня царя Алексея Михайловича, шлем Ермака и даже щит Олега, «прибитый им к стенам Царьграда».⁵⁰ Таким образом, это доспехи русской воинской славы, исторические воспоминания о походах и знаменитых победах русского оружия. «Справа и слева от воинских доспехов полулежат две фигуры: справа — Неман в виде старика-водолея и слева — Висла в изображении молодой женщины, облокотившейся на урну, из которой льется вода».⁵¹ Это — воспоминание недавнего времени о заграничных походах русских армий Александра I 1812—1814 гг., которым, по естественным причинам, уделяется особое внимание в остальных барельефах. Никакого другого аллегорического смысла фигуры Немана и Вислы в себе не заключают, и было бы безнадежным делом ставить их в какую-либо связь с теми или другими стихами пушкинского «Памятника». Между тем В. Ледницкий в заключение цитирует надпись, украшающую колонну: «Александрю I — благодарная Россия», и замечает: «На это поэт ответил: „Слух обо мне пройдет по всей Руси великой“».⁵²

Все эти построения представляются нам искусственными, натянутыми, тенденциозными; тем не менее они привлекли к себе внимание зарубежных исследователей, соглашавшихся с отдельными положениями В. Ледницкого и пытавшихся дополнить его разыскания новыми данными. Так, Р.-Д. Кейль в работе о «Памятнике» сделал ряд пояснительных замечаний о статье В. Ледницкого, и в частности высказал предположение, не имела ли для Пушкина некоторое значение та ода на польском языке, посвященная Александровской колонне, которая издана была в Петербурге в 1834 г.;⁵³ об этой оде известно, что она была приобретена Пушкиным, находилась в его библиотеке, а затем исчезла оттуда;⁵⁴ экземпляра этой оды в настоящее время нет ни в одной крупной библиотеке Западной Европы и США. Мне удалось разыскать эту оду в богатейшем собрании «россии» Государственной публичной библиотеки в Ленинграде.⁵⁵ Она имеет французское заглавие и состоит из 15 страниц параллельного польского (стихотворного) и французского (прозаического) текстов. Содержание оды, однако, не оправдывает возлагавшихся на нее надежд. Это традиционные верноподданнические вирши, полные риторики, патетических возгласов и гипербол. Анонимный польский поэт все время играет на тождестве имен русского импе-

⁵⁰ Н и к и т и н Н. П. Огюст Монферран : Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Л., 1939, с. 254.

⁵¹ Там же, с. 254—255.

⁵² L e d n i c k i W. Bits of Table Talk. . . , p. 108.

⁵³ K e i l R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik» // Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1961, Jhg. 6, H. 2, S. 178—179.

⁵⁴ М о д з а л е в с к и й Л. Библиотека Пушкина : Нов. матер. // Лит. насл., т. 16—18, с. 1017 (№ 165).

⁵⁵ Ode sur la colonne colossale élevée à L'Empereur Alexandre I. St.-Petersburg, Le 30 Aout 1834, Imprimerie de C. Wienhuber (цензурное разрешение датировано 29 августа 1834 г.).

ратора и македонского властителя и на противопоставлении их воинских целей: античному завоевателю противопоставлен русский «освободитель Европы» и «миротворец». Единственная деталь в тексте этой оды, которую, может быть, стоит отметить, находится в ее заключительных стихах: одописец утверждает, что якобы только у славян колонны являются символом великого идеала человечества; поэтому, восклицает он, пусть эта эмблема останется в сердцах как предвестие грядущей счастливой судьбы славянского мира:

Ideał czynów — dla Słowian kolosem —
Kolos niech wstąpi w obudzone dusze —
Niech dni odznacza najświetniejszym losem,
Wielkość niech wstąpi w wielkie genjusze.
Słowiańska ziemiol! górniesz wywyższona
W świetle i sile, bogactwie i sławie —
Tym przewodnikiem z obłoki zetknięta
Przykłady stawisz południu na iawie.⁵⁶

6

Опыт пересмотра ряда проблем, связанных с изучением «Памятника» Пушкина, представил гамбургский исследователь Рольф-Дитрих Кейль.¹ Литература о Пушкине, в том числе и на русском языке, известна ему довольно хорошо, хотя от него и ускользнул ряд советских исследований. Основная задача, которую он поставил перед собой, заключалась в том, чтобы попытаться еще раз, исходя из предшествующих исследований, определить, какое место занимает «Памятник» в системе эстетических воззрений Пушкина, среди других его поэтических деклараций на темы о назначении поэта, о месте и роли поэта в общественной жизни. Характерно, что Кейль не без сочувствия вспомнил о рассуждениях М. О. Гершензона по поводу «Памятника» в «Мудрости Пушкина», не нашедших, по его словам, признания ни у советских пушкиноведов, ни за рубежом² и нуждающихся еще в дальнейшей критической проверке, но тут же высказал свои возражения против истолкования «Памятника» Гершензоном, чтобы подчеркнуть, что он не считает положения последнего бесспорными. По мнению Кейля,

⁵⁶ Приводим этот текст с соблюдением орфографии подлинника, не обновляя ее в соответствии с новыми правилами. Дословный русский перевод. «Гениальное творение — памятник величию славян. Пусть этот колосс навсегда запечатлется в пробужденных душах. Пусть осветит он счастьем их будущее. Величие же пусть сопутствует гениям. О, славянская земля! Просвещение, сила, богатство и слава возвысили тебя. Этот же памятник породнил тебя с облаками и сделал примером для южных народов».

¹ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik» // Die Welt der Slaven, Wiesbaden, 1961, Jhg. 6, H. 2. S. 174—220.

² Интерпретация «Памятника» М. О. Гершензоном, как замечает Кейль, оказалась убедительной лишь одному Д. С. Мирскому (см.: Mirsky D. S. Pushkin. London, 1926, p. 215, 238).

автор «Мудрости Пушкина» исходит из неверного положения, что эстетические взгляды Пушкина не претерпевали никаких существенных изменений в 20—30-е гг.; поэтому сближение «Памятника» с такими программными стихотворениями Пушкина, как например «Поэт и толпа» (1828), представляется ему уязвимым. Оба эти стихотворения выросли из разных намерений, в собственной сфере личных чувствований поэта; отсюда даже одни и те же слова в стихотворениях имеют свой, специфический смысл и не могут быть сближаемы как равнозначные. Так, например, в слово «народ» Пушкин в обоих случаях вкладывает особое содержание: «народ непосвященный», «хладный и надменный», «бессмысленно» внимающий поэту (см. «Поэт и толпа»), ничего не может пояснить нам в стихе

К нему не зарастет народная тропа.

в котором трудно было бы усмотреть оттенок иронии или резиньяции.³

Рискованные гипотезы В. Ледницкого также не получили полного признания у Кейля, хотя он и пытался воспользоваться отдельными наблюдениями этого исследователя и дополнить их собственными.⁴ Наибольшее сочувствие Кейля вызвала статья А. Грегуара «Гораций и Пушкин», некоторые положения которой получили у него дальнейшее развитие. Со многими из его выводов согласиться трудно, в частности с его толкованием «религиозного» смысла основной идеи «Памятника», якобы определяющей всю структуру стихотворения, с догадкой, что «Памятник» будто бы задуман был поэтом как одно из стихотворений цикла «Подражания древним», и т. д. Тем не менее отдельные соображения Кейля заслуживают внимания и могут быть учтены в пушкиноведении после их тщательной критической проверки.

Сильной стороной работы Кейля явился произведенный им чересмотр традиционного вопроса о соотношении между «Памятником» Пушкина, одой Горация (III, 30) и другими подражаниями этой оде в русской и западноевропейской поэзии.

Публикуя результаты своего прочтения черновика трех последних строф «Памятника», Д. П. Якубович писал: «Смысл „Памятника“ Пушкина в целом может быть уяснен до конца только раскрытием пушкинского отношения к сюжету, лучшие осуществления которого великими мастерами-предшественниками на разных исторических этапах Пушкин прекрасно знал. Только на этом фоне может быть попятно великое своеобразие, приданное Пушкиным древней теме, новая ступень, на которую он эту

³ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 175.

⁴ Так, например, Р.-Д. Кейль считает, что в стихах «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа» Пушкин намекает на увенчивающего колонну бронзового ангела, лицу которого скульптор постарался придать черты Александра I (там же, с. 194).

тому поднял, следовательно близкой к нашей эпохе». ⁵ Сам Д. П. Якубович указал (в сноске к цитированному месту), что он предполагал посвятить этому вопросу особую работу, однако она осталась незавершенной и ненапечатанной. В посмертной статье Д. П. Якубовича «Античность в творчестве Пушкина» подробно говорится об отношении Пушкина к Горацию в ранний период его творчества; ⁶ ненаписанными остались, к сожалению, именно те главы, которые должны были содержать анализ антологической лирики 30-х гг., в том числе и «Памятника» в соотношении с его античным образцом. В то же время вопрос этот продолжал обсуждаться в ряде статей, посвященных Горацию, Державину, Пушкину и античности и т. д., но отдельные интересные наблюдения не были сведены в цельную картину. В известной мере ее восполняют данные, собранные и систематизированные Кейлем, справедливо заметившим, что хотя в старой и новой русской литературе о Пушкине сопоставления «Памятника» с одами Горация и Державина делаются постоянно, но при этом имеют в виду главным образом четвертую строфу стихотворения и сближают в указанных произведениях разрозненные мысли, не учитывая их функционального значения в структуре целого каждого из стихотворений. ⁷

Вопрос о непосредственном знакомстве Пушкина с лирикой Горация может считаться выясненным в нашей литературе в значительной мере. Уже Д. П. Якубович подчеркнул, что «из всех поэтов античности Гораций занимает в течение всей жизни Пушкина первое место по количеству обращений к нему. Не может сравниться с ним даже Овидий, хотя он и имел для Пушкина большее значение. Но большинство его обращений к Горацию не свидетельствует о глубине. Только в двух случаях за всю жизнь Пушкин близко соприкоснулся с стихотворной тканью и образами самих стихов Горация. Это перевод оды к Меценату и перевод оды к Помпею Вару. Сюда же относится и обновление темы оды „К Мельпомене“ («Я памятник. . .»). Во всех остальных случаях возможно подозревать только чисто внешнее обращение Пушкина к венецианскому лирику — все это, может быть, только цитаты (вдобавок преимущественно первых или близких к началу стихов) Горациевых од, возможно, просто сохранившихся в памяти от лицейской учебы как наиболее четкие и красочные формулы». ⁸

⁵ Якубович Д. П. Черновой автограф трех последних строф «Памятника» // Пушкин : Временник Пушкинской комиссии, вып. 3, с. 5.

⁶ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Пушкин : Временник Пушкинской комиссии, вып. 6, с. 159.

⁷ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 175—176.

⁸ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина, с. 110. Здесь же названа литература о Пушкине и Горации, которую следует пополнить; см., например: Дергачев Н. Ф. Пушкин и античность // Учен. зап. каф. всеобщ. лит. Моск. гос. пед. ин-та, 1938, вып. 4, с. 5—34 (об отношении Пушкина к Горацию — с. 21—23); Немцовский М. Я. Пушкин и античная поэзия // Изв. Сев.-Кавказ. пед. ин-та. Ростов н/Д,

Добавим, что даже в случаях наибольшего приближения к подлинному тексту Горация Пушкин не проявил себя как знаток латинского текста. Эпиграф, выписанный им из Горация (или, скорее, приведенный по памяти), в «беловом» тексте «Памятника» заключает в себе ошибку — «exigi» вместо «exegi» (*monumentum*); та же цитата в наброске предпоследней строфы второй главы «Евгения Онегина» (1823) дана без этой описки, но неверно акцентирована:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть «о, друзья» —
Exegi monumentum я.
(*вар.*: Воздвигнул памятник <я> я).
(VI, 300)

Подчеркнем, впрочем, в этой связи, что ряд стихотворных строчек и выражений из Горация в латинском подлиннике (в том числе и «*exegi monumentum*») были в то время в России крылатыми и нередко употребляемыми.⁹ Незадолго до указанной латинской цитаты в «Евгении Онегине» Н. Остолопов привел всю эту оду Горация в латинском оригинале (сопровождая его «подражанием» Державина и «переводом» А. Востокова).¹⁰

1937, т. 13, с. 75—93; В а р н е к е Б. В. Пушкин и Гораций // Наук. зап. Одесского держ. пед. ин-ту, 1940, т. 1, с. 7—16; В а н с л о в Вл. А. С. Пушкин о «золотом веке» римской литературы // Учен. зап. Калнин. гос. пед. ин-та, 1963, т. 36, с. 3—47 (о Пушкине и Горации — с. 15—28). Подражание Пушкина оде Горация к Помпею Вару (7-я ода II книги) послужило предметом специального исследования: В и с с е W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 154—164.

⁹ В качестве примера назовем рецензию на книгу «Певец среди русских воинов, возвратившихся в отечество в 1816 г.» (СПб., 1823), опубликованную в журнале «Сын отечества» (1823, ч. 87, № 29, с. 136—140). Цитируя образные поэты к «величественным россам»:

Услышат во струнах
Деяния их громки
И в дальнейших веках
Позднейшие потомки,

рецензент восклицал: «Точь-в-точь Горациево: *Exegi monumentum*» (с. 140).

¹⁰ О с т о л о п о в Н. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821, ч. 2, с. 390—391. В этом же «Словаре» «для примера» приведены две оды Горация в латинском тексте «с прозаическим переводом для удобнейшего сохранения мыслей подлинника» (там же, с. 275—277). Они включены в особую статью «Оды Горация», которая начинается следующими характерными словами: «Из трех латинских лириков один только Гораций сохранился до времен наших; мнение Квинтилиана, утверждающего, что все прочие лирики не заслуживают чтения, много утешает нас в этой потере. Напротив того же приписывает он величайшую похвалу Горацию, и похвала сия подтверждена во все времена и у всех народов» (там же, с. 266). Все это место дословно выписано Остолоповым из русского перевода книги Лагарпа «*Lycée*», см.: Ликей, или Круг словесности древней и новой, ч. 2. Соч. И. Ф. Лагарпа, переведено Петром Соколовым. СПб., 1811, с. 342 (начало

Все это подчеркивает необходимость установить, не имело ли для Пушкина при создании «Памятника» какое-либо посредствующее звено, связывавшее его со стихотворением Горация, большее значение, чем подлинный латинский текст. Таким звеном считается обычно «Памятник» Державина, текстуральная близость которого к стихам Пушкина не подлежит спору, но Кейль, идя по стопам русских исследователей, привлекает к сопоставлению также некоторые другие русские подражания указанной оде Горация, которые могли быть известны Пушкину и запомниться ему.

Р.-Д. Кейль останавливается, например, на одном из первых русских переводов оды «К Мельпомене», сделанном М. В. Ломоносовым:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом
и т. д.

Как известно, Ломоносов включил этот перевод в свою «Риторику», где он помещен в главе III («О расположении по силлогизму», § 268) в качестве примера «неполного силлогизма, или энтимемы».¹¹ Ломоносов допустил некоторые сознательные отклонения от подлинника, ставшие, однако, традиционными в русском восприятии этой оды Горация благодаря широкой и долголетней популярности «Риторики» как учебного пособия.¹² В особенности заметны эти отклонения в последних стихах, где «Муза», заместившая «Мельпомену» Горация, представлена уже не полубогицей, увенчивающей главу поэта за заслуги перед ней, но служит просто символом поэтического творчества:

Взгордися праведной заслугой, Муза,
И увенчай главу дельфийским лавром.¹³

Не подлежит сомнению, что именно этот перевод Ломоносова был в памяти Радищева, когда он писал свое «Слово о Ломоно-

статья Лагарпа «О Горации», помещенной на с. 342—359; здесь приведено несколько од Горация в латинских подлинниках, в русских прозаических переводах и французских стихотворных переводах Ж.-Б. Руссо; однако ода III, 30 отсутствует).

¹¹ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 7, с. 313—315; 1959, т. 8, с. 184.

¹² Берков П. Н. Ранние русские переводчики Горация // Изв. АН СССР, Отд. обществ. наук, 1935, № 10, с. 1039—1056; К о р о в и н Г. М. Библиотека Ломоносова. М.; Л., 1964, с. 328—329.

¹³ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 184. См.: К e i l R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 182—184.

сове», помещенное в конце «Путешествия из Петербурга в Москву». Б. С. Мейлах сделал попытку связать пушкинский «Памятник» именно с этой надгробной похвалой Радищева Ломоносову. «В литературе, посвященной пушкинскому „Памятнику“, — пишет Б. С. Мейлах, — не было отмечено, что все это стихотворение является своеобразным итогом творческого пути Пушкина в свете именно тех критериев, которые были выдвинуты Радищевым».¹⁴ Далее приводятся цитаты из начала «Слова о Ломоносове», но с выпусками, которые мы восполняем ниже, и другими неточностями. Пользуясь этим текстом, Р.-Д. Кейль, вероятно, не знал, что поводом для создания указанной похвалы Радищева Ломоносову явилось посещение Александро-Невской лавры, где над могилой Ломоносова М. И. Воронцовым поставлен был (в 1770 г.) великолепный памятник с надписями на русском и латинском языках.¹⁵

Высказывались предположения, что «Слово о Ломоносове» Радищева (которое он начал писать в 1780 г. и вставил в текст «Путешествия из Петербурга в Москву», после главы «Черная грязь», при последней обработке своей книги для печати) было «полюемично по отношению к утвердившимся взглядам на Ломоносова» и даже к ранее существовавшим описаниям памятника на его могиле.¹⁶ Рамка, в которую вставлено «Слово о Ломоносове», также имеет значение для его правильного уразумения: начало отрывка представляет собой размышления в вечерний час у надгробного памятника и окрашивает все «Слово» в сентиментально-меланхолические тона. У Радищева говорится: «Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей. Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты, я вошел. . . На сем месте вечного молчания, где наитверднейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов; на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могли ли бы, казалось, совместно быть кичение, тщеславие и надменность. Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни, но знаки желаниа его жити вечно. Но се ли вечность, котория человек толико жаждущ?». И только за этой лирической увертюрой следует самая «похвала» Ломоносову, опирающаяся на ряд его поэтических произведений («Вечернее размышление о божием величестве»,

¹⁴ Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 516.

¹⁵ «В память славному мужу Михайлу Ломоносову . . . воздвиг сию гробницу граф Михайло Воронцов, слава отечество с таким гражданином и горестно соболезнуя о его кончине». Полный текст см.: Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938, т. 1, с. 494.

¹⁶ Л. И. Кулакова в статье «А. Н. Радищев о М. В. Ломоносове» (в кн.: Литературное творчество М. В. Ломоносова: Исслед. и матер. М.; Л., 1962, с. 227) обратила внимание на описание памятника.

начало оды 1747 г. «На день восшествия на престол Елисаветы Петровны»), в том числе и на перевод Горациевой оды (III, 30): «Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит в устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обширные России; пускай яростный некий доколеватель истребит даже имя любезного твоего отчества: но заколе слово Российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность? . . . Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. — Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени Российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, по что ты славен».¹⁷

«На первый взгляд сходство действительно существует, но не основано ли оно на общем источнике, именно на Горации?», — с полным основанием спрашивает Кейль.¹⁸ Он обращает внимание также на то, что вся лексика этого радищевского «Слова» близка к державинскому «Памятнику» (т. е. к оде «К Музе», как она первоначально была озаглавлена). Правда, ода Державина появилась впервые в «Приятном и полезном препровождении времени» (1795), после «Путешествия» Радищева, что исключает возможность генетической связи между ними; тем существенней, однако, общность их словаря; и Радищев, и Державин воспользовались — один в прозе, другой в стихах — одними и теми же словами, чтобы воспроизвести всю сумму представлений и образов указанной оды Горация. Конечно, лексическая близость «Слова о Ломоносове» Радищева и пушкинского «Памятника» интересна в особенности потому, что Пушкин перечитывал «Путешествие из Петербурга в Москву» в том же 1836 г., когда создан «Памятник». Однако Кейль напоминает, что именно в статье о Радищеве того же года Пушкин неодобрительно отозвался об этом «Слове» Радищева: «В конце книги своей Радищев поместил Слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым» и. т. д.¹⁹ Все

¹⁷ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 379—380 (в приводимой цитате орфография подновлена).

¹⁸ Кейль R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 178.

¹⁹ Ibid., S. 178. Д. Д. Благой в статье «Диалектика литературной преемственности» (Вопр. лит., 1962, № 2, с. 112) сделал попытку указать в пушкинском «Памятнике» непосредственную реминисценцию из Ломоносова: «Насколько мне помнится, — пишет Д. Д. Благой, — до сих пор еще не было замечено, что в . . . стихах о памятнике одну из самых своих

эти соображения не позволяют Кейлю присоединиться к догадке Б. С. Мейлаха, и он предпочитает более осторожное допущение, что чтение радищевского «Слова» обновило в памяти Пушкина оду Горация, но само по себе не оказало сколько-нибудь заметного воздействия на стихотворение Пушкина. Р.-Д. Кейль напоминает также — для полноты картины — еще один русский перевод этой же оды Горация, принадлежащий В. В. Капнисту и появившийся в его «Лирических стихотворениях» 1806 г. («Я памятник себе воздвигнул долговечный»)²⁰

Произведя подробное сличение этого перевода с латинским подлинником, а также с переводом Ломоносова (1748 г.), Кейль пришел к заключению, что капнистовский едва ли мог иметь какое-либо значение для Пушкина. Переоценивая «филологическую основательность» Капниста как переводчика, Кейль, однако, отметил его стремление к «русификации» текста, что, по его мнению, могло быть учтено Державиным, шедшим по тому же пути.²¹ Р.-Д. Кейль назвал не все русские переводы этой оды Горация,

заветных мыслей, и ранее звучавших в его поэзии, — о свободе и независимости своего творчества, о его высоком бескорыстии — поэт выражает строками, являющимися почти буквальным повторением слов Ломоносова из его поэмы „Петр Великий“. Автор поэмы подчеркивает, что он осуществляет свой труд, не рассчитывая на похвалы и не боясь осуждений:

Ни злости не страшусь, ни требую добра. . .

«И вспомним у Пушкина:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно. . .».

«И это не просто еще одна реминисценция, — заключает Д. Д. Благой, — Здесь перед нами глубоко знаменательная переключка двух русских гениев, в которой громко и слытно звучит единый голос породившего их народа». Оставляя в стороне чисто риторическое значение последнего аргумента, следует признать, что было бы крайней натяжкой усматривать в словах Пушкина «почти буквальное повторение» стихов Ломоносова: вырванные из контекста, отвлеченные от своего конкретного назначения, стихи Ломоносова и Пушкина сходны между собой лишь в самом элементарном смысле, для которого можно легко подобрать сотни аналогий не только в русской, но и во всех прочих литературах.

²⁰ Текст как этого, так и другого (оставшегося при Пушкине неизданным) перевода данной оды В. В. Капнистом см. ниже, в «Приложении II» (с. 245).

²¹ Кейль R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 185—186. А. А. Веселовский в статье «Капнист и Гораций. (Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII—начале XIX в.)» (Изв. ОРЯС, 1910, т. 15, кн. 1, с. 199—232) привел по рукописи Капниста его «Предисловие к переводам и подражаниям Горациевых од», в котором имеется следующее признание: «Не зная латинского языка, должен был я угадывать красоты знаменитого подлинника из чужеземных, большею частью весьма неверных переводов. С величайшим трудом, с неутомимой прилежностью руководствуясь наставлениями и советами знающих латинский язык приятелей моих, принужден был я переводить почти слово в слово оды Горация и потом перелагать оныя в стихи» (с. 211).

появившиеся до пушкинского «Памятника». В особенности следовало упомянуть два перевода — А. Х. Востокова и С. А. Тучкова, так как они должны были быть Пушкину известны.

Перевод А. Востокова возник в начале 1802 г. Он представлен был переводчиком в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств 26 апреля 1802 г., но напечатан только четыре года спустя в книге А. Востокова «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», притом не в основном тексте, но в «примечаниях», в качестве образца «первого асклеиадеического размера».²²

Стихи 6—8 перевода А. Востокова:

Так; я весь не умру — большая часть меня
Избежит похорон: между потомками
Буду славой расти, ввек обновляясь,²³

как отметил еще В. Н. Орлов, имеют текстуальную близость к соответствующим стихам «Памятника» Державина.²⁴ Современники Пушкина ценили этот перевод А. Востокова как своеобразный стихотворческий эксперимент. Так, Н. Остолопов, перепечатывая весь перевод в 1821 г. в своем «Словаре древней и новой поэзии», заметил: «Востоков в переведенной из Горация оде Eхегі monumentum aеge regennius и пр., которая писана асклеиадовыми стихами, сохранил размер подлинника переменою первой стопы, по свойству российского языка, на хорей».²⁵

Более чем вероятно, что Пушкин знал также перевод этой оды, напечатанный С. А. Тучковым (1766—1839).²⁶ Пушкин был еще в Лицее, когда С. А. Тучков, видный генерал и администратор, на досуге занимавшийся стихотворством и переводами, некогда принимавший участие в «Беседующем гражданине», выпустил четыре пухлых тома своих «Сочинений и переводов» (1816—1817). Среди лицейстов ходило несколько не слишком острых эпитаграмм, посвященных стихам Тучкова, которые, вероятно по каким-то причинам, пропагандировал исполняющий должность директора Фролов; в одной из эпитаграмм, где мимоходом затрагивались В. К. Кюхельбекер, В. Л. Пушкин и А. А. Шаховской, между прочим говорилось:

И о тебе различны мнения:
Иные, господин Тучков,
Толкуют: глуп ты от рожденья,
Другие — глуп ты от стихов.²⁷

²² Перевод А. Востокова см. ниже, в Прилож. II (с. 250).

²³ В о с т о к о в А. Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах. СПб., 1806, ч. 2, с. 72.

²⁴ В о с т о к о в А. Стихотворения / Под ред. Вл. Орлова. Л., 1935, с. 253, 411. (Б-ка поэта, Большая сер.).

²⁵ О с т о л о п о в Н. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821, ч. 1, с. 53—54.

²⁶ Перевод С. А. Тучкова см. ниже, в Прилож. II (с. 251—252).

²⁷ И з м а й л о в Н. В. Новый сборник лицейских стихотворений: Сборник Пушкинского Дома на 1923 г. Пгр., 1922, с. 72—73.

Через несколько лет, находясь в Бессарабии, Пушкин встретился с самим С. А. Тучковым в г. Измаиле, где генерал жил в то время. Это было в декабре 1821 г. Не подлежит сомнению, что эта встреча должна была лишней раз засвидетельствовать Пушкину, насколько несправедливы были лицейские острословы в своих мальчишеских нападках на этого почтенного и весьма интересного человека, друга М. М. Сперанского и доброго знакомого А. Н. Радищева.²⁸ И. П. Липранди рассказывает, что когда он вместе с Пушкиным приехал в Измаил из Кишинева, то старик С. А. Тучков, «находившийся тогда еще в сильной опале, неотменно пожелал видеть Пушкина . . . Пушкин был очарован умом и любезностью Сергея Алексеевича Тучкова, который обещал что-то ему показать, и отправился с ним после обеда к нему. Пушкин возвратился только в 10 часов, но видно было, что он был как-то не в духе. После ужина, когда мы вышли к себе, я его спросил о причине его пасмурности; но он мне отвечал неудовлетворительно, заметив, что если бы можно было, то он остался бы здесь на месяц, чтобы просмотреть все то, что ему показывал генерал: „У него все классики и выписки из них“, — сказал мне Пушкин».²⁹ Под «классиками» Пушкин скорее всего разумел римских поэтов, в особенности Овидия и Горация, которыми С. А. Тучков всегда особенно интересовался.

Большую часть первого тома «Сочинений и переводов» Тучкова 1816 г. занимает «Преложение пяти книг од Горация Флакка с приобщением опыта жизни сего стихотворца, мифологических, исторических и географических примечаний». В этом огромном поэтическом труде находится также интересующая нас ода Горация; здесь она, однако, названа не «К Мельпомене», а имеет заглавие «Слава его стихов бессмертна» и хотя и заканчивает третью книгу, но имеет номер не XXX, а XXIV по тогдашнему счету. В предисловии к этому тому, говоря о своих источниках и принципах, которых он придерживался, Тучков писал: «Некоторые из любителей российского стихотворства, ознаменовавшие себя хорошими сочинениями и переводами, подавали мне разные советы касательно преложения од Горациевых. Иные хотели, чтоб перевел я их употребительными наиболее в российском языке стихами с рифмами; другие, напротив, желали, чтоб я оные переложил белыми стихами; но я решился в сем случае последовать удобству и тому, к чему наше стихотворство больше обыкло, и написал большую часть од с рифмами, а белыми стихами только

²⁸ Отметим, что С. А. Тучков занимал почетную должность казначея в кишиневской масонской ложе «Овидий», членом которой являлся также Пушкин. Ю. М. Лотман в статье «Источники сведений Пушкина о Радищеве, 1819—1822» (в кн.: Пушкин и его время / Изд. Гос. Эрмитажа. Л., 1962, с. 63—65) не без оснований говорит о С. А. Тучкове как о лице, от которого Пушкин в период своей южной ссылки мог получить много ценных сведений о Радищеве.

²⁹ Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди // Рус. архив, 1866, вып. 8—9, стб. 1280—1281.

те, в которых множество собственных имен наносит великое затруднение как в стопосложении, так и в рифмах». Исходя из этого, Тучков при переводе интересующей нас оды, состоящей из 16 стихов, писанных асклепиадовой строфой, дал 36 ямбических диметров, притом весьма вольно передающих латинский подлинник.³⁰

Страницы, посвященные Р.-Д. Кейлем сопоставлению «Памятников» Державина и Пушкина, включают в себе мало нового для советских исследователей, тем более что ему осталась неизвестной большая часть новейшей русской исследовательской литературы, посвященной этому вопросу;³¹ все же несколько старых наблюдений, на которые обратил внимание Кейль, могли бы быть в настоящее время дополнены и продолжены.

Мы уже упоминали, что старая русская комментаторская традиция возводит пушкинский «Памятник» не только к державинской оде 1795 г., но также к другому подражанию Горацию у Державина, к его «Лебедю» (1804 г., впервые напечатано в 1808 г.). Здесь та же мысль о бессмертии поэзии, о громкой славе, которая ожидает поэта у благодарных потомков. «Лебедь» Державина восходит к оде Горация (II, 20), но значительно отклоняется от нее.³² Поэт представляет себя в виде Лебеда (образ которого он примет после смерти), пролетающего над необозримыми российскими просторами, на него

Покажут перстом и рекут:
Вот тот летит, что, строя лиру,
Языком сердца говорил
И, проведя мир миру,
Себя всех счастьем веселил³³
и т. д.

Р.-Д. Кейль мимоходом обронил замечание, что в этом стихотворении Державина сплавлены мотивы обеих указанных Горациевых од и что аналогичные смешения нередки в западноевропейских подражаниях Горацию в XVIII в.; в доказательство он ссылается на знаменитую оду Клопштока «Сон» (1782) и на оду Экушара-Лебрена.³⁴ О последней в связи с Пушкиным писал

³⁰ Тучков в С. А. Соч. и переводы. СПб., 1816, ч. 1, с. 217—218. Об этом переводе см. также: В u s c h W. Horaz in Russland, S. 145—147.

³¹ См., например, кроме уже упомянутых выше: П о к р о в с к и й М. М. 1) Пушкин и Гораций // Докл. АН СССР, 1930, № 12, с. 233—238; 2) Пушкин и античность // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, с. 29—56 (о Пушкине, Горации и Державине — с. 44—50); Т о л с т о й И. И. Пушкин и античность // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1938, т. 14, с. 71—85 (о «Памятнике» — с. 83—85); Г у к о в с к и й Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 113—114; З а п а д о в А. В. Мастерство Державина. М., 1958, с. 252—255, и др.

³² «Произведение это совершенно самстоятельное. Из Горация взяты лишь образ поэта-лебедя и мысль о бессмертии; близко к оде начало стихотворения», — подтверждал А. Л. Пинчук в статье «Гораций в творчестве Г. Р. Державина» (Учен. зап. Томск. гос. ун-та. 1955, т. 24, с. 85).

³³ Д е р ж а в и н Г. Р. Соч. . . / С объясн. примеч. Я. К. Грота. СПб., 1865, т. 2, с. 501.

³⁴ K e i l R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 180, 188.

еще Б. В. Томашевский: «Лебрен написал оду на мотивы „Ehgi monumentum“ Горация. И в данном случае можно говорить только о столкновении тем, так как, во-первых, ода Лебрена далеко отходит от Горация (и французские критики утверждали, что она превосходит латинский оригинал), а во-вторых, на русском языке создалась уже до Пушкина традиция подражаний этой латинской оде».³⁵ Самый текст этой оды Лебрена — вероятно, известной Пушкину, — Б. В. Томашевский, однако, не привел. В этой оде действительно немало многословной риторики, но несколько отрывков из нее привести бесполезно для сопоставления:

Grâce à la Muse qui m'inspire,
Il est fini ce monument,
Que jamais ne pourront détruire
Le fer ni le flot écumant.
Le ciel même, armé de foudre
Ne saurait le réduire en poudre
Les siècles l'essaieraient en vain.
Il brave ces tyrans avides,
Plus hardi que les pyramides
Et plus durable que l'airain.³⁶

Далее поэт восклицает, что «весь он не умрет», потому что «слава прокладывает ему светлую тропинку в храм памяти»:

Je ne mourrais point tout entier.
Eh! ne voyez vous pas la gloire
Que, jusqu'au temple de mémoire
Me fraie un lumineux setier?³⁷
etc.

Перечень стихотворений, написанных в подражание двум указанным одам Горация (III, 30 и II, 20) — порознь или вместе взятым, — чрезвычайно велик во всех западноевропейских литературах. О Ронсаре, дю Белле, Я. Кохановском речь шла уже выше; из французских, помимо Экушара-Лебрена, можно назвать Ж. Делиля (переводом которого пользовался В. Капнист), Ж.-Ж. Руссо и многих других;³⁸ из английских — Шекспира, 55-й сонет которого с его противопоставлением бессмертной поэзии

³⁵ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 327.

³⁶ См. прозаический перевод оды: «По милости вдохновляющей меня Музы, он готов, этот памятник, которого никогда не смогут истребить ни железо, ни пенящаяся волна. Даже небо, вооруженное молниями, не могло бы обратить его в прах; не смогли бы это сделать и столетия. Он пренебрегает этими алчными тиранами, более отважный, чем пирамиды, и более прочный, чем бронза».

³⁷ Кейль (K e i l R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 179—180) цитирует три строфы оды Экушара-Лебрена по изданию, где они приведены лишь как отрывок (Oeuvres complètes d'Horace. . . suivies de traductions en vers français et d'imitations par divers poètes français et étrangers. Paris; Lyon, 1834, vol. 2, p. 229); полный текст см.: E c o u c h a r d - L e b r u n P. D. Oeuvres. Paris, 1811, vol. 1, p. 415.

³⁸ S t e m p l i n g e r Ed. Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance. Leipzig, 1906, S. 371—372.

бренности всего материального мира также обычно возводится к Горацию:³⁹

Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall out-live this powerful rhyme
etc.

(Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов,
В которых я твой образ сохранил.
К ним не пристанет пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут).⁴⁰

Широкую известность приобрели — в том числе и в России в допушкинское время — стихи о Шекспире Дж. Мильтона, основанные на той же параллели долговечного памятника, созданного поэтом в своем литературном творчестве, и подверженных разрушению сооружений материального мира. Интересно привести эту стихотворную «надпись», предпосланную так называемому «первому фолио» сочинений Шекспира, в прозаическом переводе С. Н. Глинки, опубликованную еще до того времени, как он мог ознакомиться с «Памятником» Пушкина: «Какая надобность моему Шекспиру для почтенного его праха в взгроможденных камнях целым столетием? Не нужна для него и горделивая пирамида. Любимый сын памяти! Наследник славы! Что тебе до этого ничтожного свидетельства о славе твоей? Тебе, который к чудесному изумлению нашему устроил себе памятник долговечный!».⁴¹ Но еще более популярной сделалась у нас благодаря Карамзину надпись на памятнике Шекспиру в Вестминстерском аббатстве. Эта надпись представляет собою цитату из драмы Шекспира «Буря» (действие IV, сцена 1, строки 152—156):

The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind
etc.

Карамзин перевел эти стихотворные строки и включил их в свое знаменитое стихотворение «Поэзия» (1787), сопроводив их словами, говорящими о бессмертии великого поэта, славы которого не коснется всеразрушающее время:

³⁹ Anders H. R. Shakespeare's Books. Berlin, 1904, S. 32; Stempling Ed. Das Fortleben der Horazischen Lyrik. . . , S. 372.

⁴⁰ Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака. М., 1948, с. 66.

⁴¹ Г л и н к а С. Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова. СПб., 1841, ч. 3, с. 92.

«Все башни, коих верх скрывается от глаз
В тумане облаков; огромные чертоги
И всякой гордой храм исчезнут как мечта
В течение веков и места их не сыщем», —
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен.⁴²

Английская литература XVIII в., так же как немецкая и французская, прочно усвоила мотивы горацевского «Ejegi monumentum» и часто откликнулась на них в стихах, в критической и публицистической прозе.⁴³

Популярными стали обе оды Горация также и в русской литературе конца XVIII—начала XIX в.

Написав свое стихотворение «Лебедь», Державин почувствовал своего рода угрызения совести и желание оправдаться перед читателями. Он писал по этому поводу: «Непростительно было бы так самохвальствовать; но как Гораций и прочие древние поэты присвоили себе сие преимущество, то и автор тем пользуется, не думая быть осужденным за то своими соотечественниками, тем паче что поэзия его — истинная картина природы».⁴⁴ На самом деле современники Державина остались не вовсе равнодушными к его гордым, самоуверенным заявлениям, сделанным даже по следам и подобию римского поэта. В «Журнале российской словесности» (1805, май), издававшемся Н. И. Брусиловым, по всей вероятности сам редактор, скрывшийся под инициалом «Б. . .», поместил эпиграмму, направленную против Державина (он назван здесь Тромпетиним, именем одного из действующих лиц комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки»):

Проходит слава царств, и царства исчезают!
Пальмира гордая, где ты? Увы! Не знают!
И Александров гроб, и город разрушен,
В котором сильный царь земли был погребен.
Героев град забыт, забыт и с их делами —
А ты жить в вечности с великими мужами,
Тромпетин! захотел стихами!

⁴² Карамзин Н. М. Соч. Пгр., 1917, т. 1. Стихотворения, с. 11. Ту же цитату Карамзин привел в главе «Вестминстерское аббатство» в своих «Письмах русского путешественника», но в другом собственном переводе, лексически более близком к различным переводам интересующей нас оды Горация:

Колоссы гордые, веков произведенье,
И храмы славные, и самый шар земной
Со всем, что есть на нем, исчезнет, как творенье
Воздушныя мечты, развалин за собой
В пространствах не оставив.

(Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1801, т. 6, с. 316).

⁴³ Goad S. Horace in the English literature of the eighteenth century. New Haven, 1928 (Yale Studies in English, 58), p. 255, 299, 378, 438, 580 (здесь в изобилии даны по английским источникам XVIII в. цитаты из латинского текста интересующей нас 30-й оды Горация, подражаний ей и упоминаний о ней у Аддисона, Попа, Джонсона, М. Прайора и др.).

⁴⁴ Державин Г. Р. Соч. . . , т. 9, с. 260.

Державин не оставил этот выпад без ответа. Он опубликовал в другом журнале, в «Друге просвещения» (1805, № 9, с. 198), собственную эпигramму, направленную против своего критика, названного им Булавкиным:

О т в е т Т р о м п е т и н а к Б у л а в к и н у

Трубит Тромпетин как в тропеугу,
Трубы звук вторит холм и дол.
Но колет, как Булавкин, в мету,
Кому слышна булавки боль?
Блистали царствы — царств тех нету;
Пиндар в стихах своих живет.
Толпой толпятся мошки к свету,
Но дует ветр — и мошек нет.⁴⁵

Эта полемика весьма занимательна. Едва ли антагонист Державина подвергал сомнению мысль Горация о бессмертии поэзии; поводом для эпигramмы явилось скорее то, что сам Державин определял как «самохвальство»; но ссылки Державина на Горация в своем самооправдании и на Пиндара в ответной эпигramме являлись трудноопровержимыми аргументами. Поэтому ссылка на Горация неоднократно делалась в подобных случаях для самозащиты. Не этими ли мотивами руководствовался и Пушкин, выбирая для своего «Памятника» латинский эпиграф?

В большой статье Н. Надеждина, написанной по поводу «Опыта перевода Горациевых од» В. Орлова, в которой идет речь о самом Горации и о его русских переводчиках, об авторе «Eхegi monumentum» говорилось: «Если он не постиг еще вполне достоинства человеческой своей природы, то по крайней мере умел оценить идеальную высоту своего поэтического служения. Оно возвышало его в собственных глазах его: и мрачная бездна ничтожества, зияющего всюду вокруг него, озлащалась тогда перед ним светлым призраком бессмертия:

Non omnis moriar!

«Сей призрак, неуловимый для воображения, настраивал по крайней мере сердце, им уловленное, к сладкой мечтательности. Певец Августа, хладнокровный к настоящим рукоплесканиям

⁴⁵ Д е р ж а в и н Г. Р. Соч. . . , т. 3, с. 514. О возникновении и последствиях этой полемики Державина см. также: З а п а д о в В. Державин и Пнин // Рус. лит., 1965, № 1, с. 118—119. Хотя фамилия Булавкин (подобно Тромпетину) характеризующая и заключает в себе прозрачный намек на «колющего» критика, но она, вероятно, имела и литературный источник. Н. Иванчин-Писарев (Сочинения и переводы в стихах. М., 1819, с. 209) сопроводил стихи своей басни «Птицы» —

О критика! Могла б и гений охранить,
И остря своих булавок притупить, —

следующей цитатой из Монтескье: «A-t-on de la force de la vie? On vous l'ôte à coup d'épingle».

дружеского потворства и наемной лести, восхищался до исступления мыслью, что некогда римские старцы будут вспоминать с удовольствием время, когда они на заре дней своих воспевали, на вековом празднестве, угодную богам песнь, сложенную сладкозвучным певцом Горацием . . . и под виноградными Тибурскими садами любил мысленно представлять неостывший прах свой, орошаемый слезами верной незабывчивой дружбы». ⁴⁶

Эта статья Н. Надеждина дописывалась вскоре после смерти А. Ф. Мерзлякова, последовавшей 26 июля 1830 г., под свежим впечатлением от этого события (под статьей стоит дата — 12 августа 1830 г., а цензурное разрешение книжки журнала, в которой она напечатана, выдано 21 августа). Надеждин высоко ценил литературную деятельность Мерзлякова, но в особенности восхищался двумя томиками его «Подражаний и переводов из греческих и латинских стихотворцев» (М., 1825—1826), в которых помещены были также и его переводы из Горация. Именно о них Надеждин и говорит в этой статье: «Не менее удачно и гораздо с большей верностью переложены Мерзляковым те песни Горация, в коих провозглашается торжественное чувство поэтического бессмертия, столь присное певцу Везувийскому! Мерзляков и здесь сходилась с Горацием! Не понятый и не оцененный достойно настоящим, он бодро смотрел в будущность и, от избытка веры и упования, смело мог восклицать с ним:

. . . нет! не умру я,
Стиксовой я не умчусь волною! . . .

Уже, быстрейший, чем Дедала дерзкий сын,
Стремлюсь, и вижу скалы Босфора вкруг,
И Сирт, и Рифей, — я далеко-
звучный орган, оглашаю мир весь!
Мой глас услышат Колх и Дакиец, — страх
Таящий в сердце Марса к золотым орлам;
Услышат Гелоны, и умный
Ибер, и чада обильной Роны!».

Приведя эти цитаты из перевода Мерзлякова той самой оды Горация (II, 20), ⁴⁷ которой вдохновлялся Державин в своем «Лебеде», Надеждин восклицал патетически о только что скончавшемся Мерзлякове, поэте и переводчике: «Предчувствия и предречения твои были не тщетны, муж знаменитый! Босфор и Рифей будут оглашаться тобою, доколе стоять будет мир русский; и твой надгробный камень смело может носить сие, общее тебе и великому римскому поэту изречение:

⁴⁶ Надеждин Н. Опыт перевода Горациевых од // Моск. вестн., 1830, ч. 4, с. 270—271.

⁴⁷ Цитаты заимствованы Надеждиным из книги А. Ф. Мерзлякова «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев» (М., 1826, ч. 2, с. 145—146), в которой эта ода Горация озаглавлена «Чувство бессмертия, или Восторг поэта».

К чему печальный сей похорон обряд,
Стенанья, вопли, гроба пустого вслед? . .
Уйми их, спокой их! Что нужды
Духу в частях могилы!⁴⁸

В подобном же сплавленном виде мотивы горадианской лирики встречались тогда во многих других произведениях русских поэтов. «Поэта-лебедя», прославляющего свою возлюбленную за пределами того мира, в котором она живет, мы встречаем, например, в анонимном стихотворении «К ней» в «Литературных листках», где знакомые нам уже горадианские образы приобретают кое-какие местные краски. Сначала поэт напоминает об общем законе жизни и смерти, что

Все в мире зримое теперь перед глазами
Смерть скосит в очередь железными руками
и т. д.

Обращаясь к любимой, он восклицает:

Но ты, как солнечных сияние лучей,
Век будешь жить в сердцах и памяти людей,
А я в лебяжий пух по смерти облечуся,
Как Флакк с пернатыми на воздухе явлюся,
Привыкнув на земле любовью гореть,
В пространствах мириад тебя я стану петь!
Заставлю целый мир тебе одной дивиться,
И песнь из века в век немолчно покатится,
От Норда грозного до Юга берегов
Отдастся звук тобой внушаемых стихов⁴⁹
и т. д.

Как видим, мотивы бессмертия и «географической протяженности» поэтической славы, даже с обязательной ссылкой на Горация («Как Флакк. . .»),⁵⁰ в русской поэзии пушкинского времени являлись своего рода поэтическими клише.

⁴⁸ Моск. вестн., 1830, ч. 4, с. 292.

⁴⁹ *** К ней // Литературные листки: Журн. нравов и словесности, 1824, № 5, с. 173—174. В предшествующем номере того же журнала напечатаны два стихотворения Пушкина — «Элегия» и «Нереида».

⁵⁰ Любопытно, что даже такой универсальный мотив, как прославление возлюбленной в поэтическом творчестве, у нас считался горадианским по преимуществу. И. И. Дмитриев, бывший и сам переводчиком и подражателем Горация, в своей знаменитой сатире «Чужой толк» (1794), поднимая на смех русских стихотворцев-корыстолюбцев, от своих прославительных од ожидавших денежной награды или выгод, противопоставлял им бескорыстие римского поэта:

Гораций, например, восторгом грудь питаю,
Чего желал? О! Он — он брал не с высока:
В веках бессмертия, а в Риме лишь венка
Из лавров иль из мирт, чтоб Делия сказала:
Он славен, чрез него и я бессмертна стала!

(Д м и т р и е в Ив. Соч., т. 1, с. 41).

Приведенные цитаты наглядно свидетельствуют о том, насколько жива была еще в 30-е гг. в русской литературе старая традиция разработки применительно к местным условиям мотивов двух горацевских од — о бессмертии поэзии, о заслугах поэта перед будущими поколениями, о надежде, какую поэт возлагает на своих грядущих ценителей. Ссылка на Горация не только оправдывала такую возможность конкретным примером немеркнувшей поэтической славы римского поэта, но и служила в то же время своего рода маскировкой личных честолюбивых мечтаний или даже поводов к мыслям подобного рода. В истории подражаний этим одам Горация в любой национальной литературе, в том числе в русской, важнее были, однако, не общие черты, связывающие с латинским источником длинные ряды стихотворений, им вызванных, а именно эти личные поводы, способствовавшие их возникновению, то новое, сугубо личное содержание, которое облекалось в традиционную форму; цитаты, старые образы и обороты речи прикрывали сокровенный смысл каждого нового опыта обновления древней поэтической темы. Слабость попыток зарубежных исследователей (А. Грегуара, Р.-Д. Кейля) заключалась именно в том, что они пытались объяснить «Памятник» Пушкина главным образом из Горация или горацианской традиции в предпушкинской русской поэзии и уделяли слишком мало внимания личным поводам, способствовавшим созданию этого стихотворения Пушкина. В. Ледницкий чрезмерно сузил эти поводы, свел их к стремлению Пушкина ретроспективно обозреть в «Памятнике» историю своих взаимоотношений с Александром I, возникшему якобы по случаю открытия Александровской колонны. Р.-Д. Кейль стремился примирить неправдоподобные толкования М. Гершензона с вовсе упущенными последним из виду источниками «Памятника» — одой Горация и русскими ей подражаниями. Никому из этих исследователей не были, однако, в достаточной мере известны те страницы биографии Пушкина, которые относятся к 1836 г.; между тем как раз эти страницы, относящиеся ко времени создания «Памятника», лишь к 60-м гг. пополнились новыми, весьма важными данными.

7

Находка писем семьи Карамзиных, где столь часто говорится о Пушкине, обогатила нас новыми достоверными свидетельствами о том тяжелом душевном состоянии, в котором находился поэт в осенние месяцы 1836 г. Мысль о скорой смерти стала навязчивой, постоянно возвращавшейся в сознание Пушкина; она еще более усугублялась оттого, что и в салонных разговорах, и в печати постоянно шли толки о его смерти как поэта. В письме С. Н. Карамзиной к ее брату Андрею из Царского Села, датированном 24 июля (5 августа) 1836 г., есть такие строки: «Вышел второй номер „Современника“. Говорят, что он бледен и в нем нет

ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее. Тяжко сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!)».¹ Для нас весьма существенно, что в этом написанном по-французски письме целая фраза, от слов «которого разбранил ужасно. . .» и до «. . . светило, в полдень угасшее», написана по-русски: она походит на подлинную цитату. Между тем комментаторы этого письма не смогли указать такой статьи Булгарина, в которой нашлась бы именно эта фраза о Пушкине; вместо того они процитировали то место из булгаринской «Северной пчелы» от 18 июля 1836 г. (№ 162), где среди разнообразных упреков по адресу Пушкина-журналиста, в частности, говорится, что поэт «мечтания и вдохновения свои погасил срочными статьями и журнальной полемикой», и отметили, что слова «светило, в полдень угасшее» «не являются цитатой из какой-либо статьи Булгарина и его подручных, но очень верно выражают отношение „Северной пчелы“ к Пушкину в 30-е годы».²

Указанное письмо С. Н. Карамзиной представляет для нас столь значительный интерес, что к цитированным словам необходимо присмотреться более пристально. Возможно, что на страницах «Северной пчелы» фраза о «погасшем светиле» действительно не встречается и что за булгаринскую С. Н. Карамзина сочла направленную против Пушкина статью П. М.—ского, напечатанную в № 162 «Северной пчелы» 1836 г., в которой говорится, что Пушкин журнальной полемикой «погасил свои вдохновения». Статья эта заслуживает некоторого внимания, хотя она написана не о журнале «Современник», но по поводу перевода Е. П. Гребенкою поэмы «Полтава» на украинский язык; впрочем, этот перевод явился простым предлогом для очередного нападения на поэта. Что касается автора этой статьи, то за псевдонимом «П. М.—ский» или «П. Медведовский» скрывался постоянный сотрудник «Северной пчелы» Петр Ильич Юркевич;³ самая же статья была и наглая, и оскорбительная.

Сожалея, что прошло уже «то незабвенное время нашей литературы, когда играла лира Пушкина, когда имя его вместе со сладостными песнями носилось по России из конца в конец и было

¹ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. М.; Л., 1960, с. 81; французский текст — с. 250—251.

² Там же, с. 352.

³ М а с а н о в И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1957, т. 2, с. 168, 183. Указанная статья Медведовского-Юркевича 1836 г. была не первым его писанием, направленным против Пушкина. Еще в 1834 г., в № 192 той же «Северной пчелы», Медведовский-Юркевич поместил ядовитый, придирчивый обзор «Повестей Белкина». Как видно из позднейших свидетельств П. И. Юркевича в его мемуарах, он был хорошо посвящен в редакционные дела булгаринской газеты, прекрасно осведомлен об отношениях Булгарина и Пушкина, являлся своим человеком на «четвергах» у Греча (Юркевич П. И. Из воспоминаний петербургского старожилы // Ист. вестн., 1882, № 10, с. 156—174). - 3

у всякого на языке», П. Медведовский-Юркевич старался растолковать читателям, почему это могло произойти: «Но отчего муза поэта умолкла? Ужели поэтические дарования стареют так рано, отживают свой век так преждевременно? Ужели все прекрасное так непрочно на земле? Неужто талант поэта облетел так скоро, как листья весеннего цветка, вянет столько (sic) быстро, как вянут розы на щеках красавиц?». На эти вопросы Юркевич дает утвердительный ответ: «Видно, что так, потому что поэт умолк и сделался журналистом»; «поэт переменял золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста; он отдал даром свою свободу. Мечты и вдохновенья свои он погасил срочными статьями и журнальною полемикою; князь мысли стал рабом толпы; орел спустился с облаков для того, чтобы крылом своим ворочать тяжелые колеса мельницы». Причины же, вызвавшие эти печальные перемены, по мнению П. Юркевича, весьма неблагоприятного свойства. Пушкин стал журналистом якобы для того только, «чтобы иметь удовольствие высказать несколько горьких укоров своим врагам, т. е. людям, которые были не согласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола (detrôner) его значительность». В итоге всех этих крайне развязных и оскорбительных умозаключений Юркевич допускал еще большую бестактность: он требовал жалости к поэту, издевательски применяя к нему стихи из романа Л. Мерзлякова «Велизарий» — об опальном и слепом византийском полководце, ходившем с поводырем и просившем подаяния: «Может быть, поэт опочил на лаврах слишком рано, и, вместо того чтобы отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдает толстые тяжелые книжки сухого и скучного журнала, наполненного чужими статьями. Вместо звонких, сильных, прекрасных стихов его лучшего времени читаем его вялую, ленивую прозу, его горькие и печальные жалобы. Пожалейте поэта!

Вот шлем того, который был
Для готфов, вандалов грозую».⁴

П. Н. Столпянский, штудировавший все, что было написано в «Северной пчеле» о Пушкине, считал, что статьи за подписью «П. Медведовский» не только были написаны «в подражание Булгарину», но и отличаются «еще большею ядовитостью и клеветою», чем нападения на поэта самого редактора этой газеты. «Статьи П. М—ского должны были вызывать негодование, но надо думать, что они прошли малозамеченными. . . Если иногда на них делались указания, то статьи П. М—ского приписывались Булгарину».⁵ Едва ли П. Н. Столпянский прав, утверждая, что

⁴ Сев. пчела, 1836, 18 июля, № 162.

⁵ Столпянский П. Н. Пушкин и «Северная пчела» (1825—1837) // Пушкин и его современники. Пгр., 1914, вып. 19—20, с. 160—162.

эти статьи не обращали на себя достаточного внимания читателей. И друзья Пушкина, и сам поэт не оставались к ним равнодушными и обсуждали возможность опубликования достойной отповеди клеветнику; но, действительно, подпись «П. М.—ский» принималась за псевдоним Булгарина. Так, Д. В. Давыдов писал Пушкину 20 июля 1836 г., т. е. через два дня после появления в печати указанной статьи П. М.—ского-Юркевича: «В Пчеле есть ругательство на Современника, по слогу видно — Булгарин машет лаптою; нельзя ли махнуть его ладонью по ланите, как некогда ты махнул его в Литературной газете?» (XVI, 143).⁶

Нельзя не отметить, что метафорическое выражение о «светиле» или «солнце» в применении к литературному деятелю уже тогда отсылалось традиционным штампом, было ходовым, часто употребленным.⁷ Пользовался им и сам Пушкин — правда, в целях

А. Г. Фомин в статье «Пушкин и журнальный триумвират 30-х годов» (Пушкин и н. [Соч.] // Изд. Брокгауза — Ефрона. СПб., 1911, т. 5, с. 476—477) не без основания высказывал мнение, что направленные против Пушкина заметки в «Северной пчеле» (в том числе и в № 162) вызваны были «боязнью конкуренции» со стороны пушкинского «Современника». Ранее к аналогичным выводам приходил К. Кузьминский в книге А. С. Пушкин, его публицистическая и журнальная деятельность» (М., 1901, с. 158—162), довольно подробно остановившийся также на статье в № 162 «Северной пчелы».

⁶ Тем удивительнее догадка, высказанная П. Н. Столпянским (Пушкин и «Северная пчела», с. 119, 179—190), будто бы помещенная в «Северной пчеле» (1836, 17 апреля, № 86) статья «Несколько слов о Современнике» («Что можно сказать о журнале, которого еще нет. . .») написана самим Пушкиным (!) или, во всяком случае, прислана самим поэтом Булгарину для опубликования (!). Между тем П. Н. Столпянский не только считает, что тон этой статьи «вполне подходит к тому настроению, в котором находился Пушкин», но даже угадывает в ней очертания будущего «Памятника»: «Читая со вниманием эту статью, вы уже предугадываете, что идея „Памятника“ («Я памятник себе воздвиг нерукотворный») носилась перед Пушкиным». «В самом деле, — продолжает Столпянский, пытаюсь аргументировать свою догадку, — кроме фразы „Имя Пушкина так известно у нас, что в одном имени его заключается программа журнала, который он намерен издавать“, в статье встречаются и такие места: „Избрать человека (т. е. Пушкина), коего имя, по крайней мере для русского, имеет в себе нечто симпатичное, с любовью и гордостью народною“, „которого (т. е. Пушкина) она (т. е. «Библиотека для чтения») именует поэтическим гением первого разряда“; они уже заставляют предугадывать дивные строки:

К нему не зарастет народная тропа
и т. д.».

(Столпянский П. Н. Пушкин и «Северная пчела», с. 186). Следует, впрочем, отметить, что догадка о принадлежности указанной статьи Пушкину была единодушно отвергнута. См.: Фомин А. Г. Puschkiniana 1911—1917 гг. М.; Л., 1937, с. 89.

⁷ Н. Надеждин в «Вестнике Европы» (1830 г.) назвал Ломоносова «дивным и великим светилом», «коего лучезарным сиянием не налюбоваться в сытость и позднейшему потомству». Н. Полевой смеялся над этим уподоблением и, кстати, над тем, что в своей латинской диссертации (*De poesi romantica. Mosquae, 1830*) тот же Надеждин «произвел и Державина, и Ломоносова в звезды нашего поэтического неба (*sidus splendidum alterum astrum nostri coeli poetici*)». См.: Полевой Н. Очерки русской литературы. СПб., 1839, ч. 2, с. 296. Между тем в собственной статье «Пушкин (пи-

тонкой иронии или пародии. Интересно, что в «Акафисте Екатерине Николаевне Карамзиной» — дочери историка, вписанном в ее альбом 24 ноября 1827 г., она уподоблена «светилу» избранного общества, но этот обветшавший образ искусно вплетен здесь в затейливый светский комплимент:

Так посвящаю с умилением
Простой, увядший мой венец
Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес.

(III, 64)

Через несколько лет в полемической статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831) Пушкин в издевательских, пародических целях говорил о Булгарине и Орлове: «сии два блистательные солнца нашей словесности» (XI, 204). Та же метафора применялась и к самому Пушкину; при этом она исходила не только из болгаринского журнального лагеря, но даже из среды его искренних почитателей и друзей.

Упреки Пушкину вследствие якобы приметного оскудения его творческого дара стали в это время обычными и жестокими. Не кто иной, как Белинский, в восьмой статье своих «Литературных мечтаний», говоря о тяжелом кризисе, в котором поэт, по его мнению, находился в середине 30-х гг., провозглашал: «„Борис Годунов“ был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет, этот вопрос, это гамлетовское быть или не быть скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме „Анжело“ и по другим произведениям, обретающимся в „Новоселье“ и „Библиотеке для чтения“, мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю». И словно желая нейтрализовать этот тяжкий, беспощадный приговор, Белинский писал далее: «Однако же не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших суждениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос . . . Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу

сано в 1837 г., через две недели после смерти его)» Н. Полевой писал о мертвом поэте не без злого умысла: «И сколько звезд погухло оттого, что высоко избрали себе жилище, и не было им живительной, необходимой стихии на высоте, где носятся только бурные тучи» (там же, ч. 1, с. 215). М. П. Погодин, рассказывая о Гоголе в «Письме из Петербурга» (Московский наблюдатель, 1835, № 2, с. 445), восклицал: «О! на горизонте русской словесности восходит новое светило, и я рад поклониться ему в числе первых». Стоит отметить, что С. Н. Карамзина в сходных словах писала о Лермонтове: «Это блестящая звезда, которая восходит на нашем литературном горизонте, таком тусклом в данный момент» (М а й с к и й Ф. Ф. М. Ю. Лермонтов и Карамзины // М. Ю. Лермонтов: Сб. ст. и матер. Ставрополь, 1960, с. 150).

верить тому, что Пушкин мистифирует „Библиотеку для чтения“, чем тому, что его талант погас». ⁸ В четвертой части «Стихотворений» Пушкина 1835 г. Белинский также усматривал «очень мало утешительного»: «Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина; в этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный», — писал он в мартовской книжке «Молвы» (1836, № 3). ⁹ Толки об угасающем даровании Пушкина возникали в той самой «Библиотеке для чтения», на страницах которой незадолго перед тем печатались его последние произведения. Когда в конце 1835 г. Пушкин исключительно в филантропических целях, на свои средства, издал поэму Виланда «Вастола, или Желание», весьма плохо переведенную бедствовавшим Е. П. Люценко, некогда бывшим учителем Царскосельского лицея, О. И. Сенковский тотчас же воспользовался этим поводом, чтобы издевательски поднять на смех Пушкина как автора, а не издателя этой книги (имя переводчика — Е. П. Люценко — на титульном листе отсутствовало, но зато здесь стояло действительно двусмысленное: «издал А. Пушкин»). «Важное событие! — оповещал читателей О. Сенковский в первой книжке своего журнала 1836 г. — Кто не порадуется появлению новой поэмы Пушкина? Истекший год заключился общим восклицанием: *Пушкин воскрес!*» ¹⁰

Очевидно, что интересующая нас метафора «погасшее светило» была в ходу и употреблялась в разных вариантах. Н. В. Станкевич, подобно Белинскому, не в состоянии был понять «Сказки» Пушкина и писал Я. М. Неверову 30 октября 1834 г. по поводу «Конька-горбунка» П. Ершова: «Пушкин избрал этот ложный род, когда начал угасать поэтический огонь в душе его». ¹¹ По своей

⁸ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 1, с. 73.

⁹ Там же, т. 2, с. 82. Лишь после смерти Пушкина в «Литературной хронике» «Московского наблюдателя» 1838 г. Белинский отмежевался от своей прежней характеристики позднего творчества Пушкина как творчества «угасающего» (там же, с. 347). Мы не можем в настоящей работе касаться причин этого всегда вызывавшего удивление, но далеко не случайного отзыва Белинского; нас интересует в данном случае не столько ход рассуждения Белинского, сколько его формулировки, бывшие для того времени очень типичными. В обширной литературе о Белинском и Пушкине можно найти подробный к ним комментарий. Очень справедливо сказал об этих словах Белинского И. Сергиевский в своей статье «Пушкин и Белинский»: «Это не было ни пристрастием, ни идолопоклонством. Это была обоснованная вера в творческое могущество величайшего гения русской национальной культуры — вера, изнутри подтачивавшая все горькие и жестокие выводы, к которым приходил Белинский, не умея найти „ключ“ к пушкинским созданиям последних лет его жизни» (Сергиевский И. Избр. работы: Статьи о русской литературе. М., 1961, с. 305).

¹⁰ Библиотека для чтения, 1836, т. 14, № 1, отд. 6, с. 30 (курсив мой. — М. А.).

¹¹ Современному нам читателю в перифрастическом словосочетании «дневное светило» чудится «нечто более величественное, чем солнце» (см.: П о п о в а Э. В. Элегия А. С. Пушкина «Погасло дневное светило»: Стилистический анализ // Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 89). На самом деле, как показывает справка А. Л. Бема (Бем А. Л. «Дневный» и «днев-

форме это всего лишь реминисценция «Воспоминания» К. Н. Батюшкова:

Я чувствую, мой дар в поэзии погас
И муза пламенник небесный потушила,

может быть, осложненная стихом самого Пушкина «Погасло дневное светило» (1820); впрочем, вспомним также у Пушкина в эпилоге к «Руслану и Людмиле»:

Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой,
Но огонь поэзии угас.

В. В. Гиппиус сопоставил эти стихи с близкими строками у И. И. Дмитриева:

Мой друг, судьба определила,
Чтоб я терзался всякой час;
Душа моя во мне уныла,
И жар к поэзии угас.¹²

ной» у Пушкина // Пушкин и его современники. Пгр., 1917, вып. 28, с. 107), существительное «светило» в сочетании с прилагательным «дневный» было обычным и часто употребляемым в русской поэзии конца XVIII—начала XIX в. самых разнообразных жанров; такое сочетание встречается у Ломоносова, С. Тучкова, В. Майкова («Елисей»), И. Богдановича («Душенька»), Батюшкова, Жуковского, Рыльева. В оде С. С. Боброва «Страшный суд» (Вечерняя заря, 1782, ч. 3, с. 309) говорится:

Светило дневно померкает
И наступает темна ночь
и т. д.

Очень любил слово «светило» В. К. Кюхельбекер; мы многократно встречаем это слово в его стихах и поэмах, в прямом и переносном значениях:

или Я зрел светило ясных дней,
или Светило дня ликует в полдень ясный,
Мое светило из-за туч
Чело вновь подняло

(К ю х е л ь б е к е р В. К. Лирика и поэмы. Л., 1939, т. 1, с. 63, 92, 119, 205, 265, 421, 429 и др.).

В известном вольном переводе М. Милонова элегии Жильбера «Бедный поэт» (Сын отец., 1816, 31, с. 201) находим такие строки:

Как кроется из глаз, предвестник бурна дня,
В туманных облаках померкшее светило.

¹² В. В. Гиппиус в статье «Плащаты Пушкина» (в кн.: Пушкин и его современники. Л., 1930, вып. 38—39, с. 41) комментирует эту параллель как полемику Пушкина с Дмитриевым: «У Дмитриева уныние души — условие, при котором угас жар поэзии. У Пушкина при повторении сходного оборота («душе . . . каждый час») смысл иной: томительная дума должна бы быть естественным условием вдохновения, но природа вдохновения своевольна. Этот пример исключителен для эволюции лирических тем от „карамзинизма“ к романтизму».

И Пушкину, и И. И. Дмитриеву несомненно было хорошо известно стихотворение М. Н. Муравьева «К Музе», в котором встречается та же, характерная для этого учителя К. Н. Батюшкова в поэзии, жалоба на угасающее дарование, сплавленная здесь, кстати, в одно целое с отзвуками горацянских од. Обращаясь к своей Музе, Муравьев писал:

И мне с младенчества ты феею была,
Но, благосклоннее сначала,
Ты утро дней моих прилежней посещала.
Почто ж печальная распространилась мгла
И ясный полдень мой своей покрыла тенью?
Иль лавров по следам твоим не соберу
И в песнях не пройду к другому поколенью?
Или я весь умру?¹³

Не забудем, однако, что метафорическое уподобление «погасшему светилу» чаще употреблялось даже в смысле физической смерти, а не оскудевающего поэтического вдохновения. О рано умершем П. И. Макарове М. А. Дмитриев писал в его биографии: «Светило дней его померкло, не достигнув полудня».¹⁴ Но, в сущности, слишком ли далеко отстояли друг от друга оба этих понятия — поэтической смерти и физического уничтожения? В сознании поэта, сохраняющего веру в свой дар, они были равнозначимы и, разумеется, обостряли до предела мечту о всенародном посмертном признании. Естественно предположить такой ход мыслей и у Пушкина; поэтому совершенно закономерным представляется первое документальное свидетельство о «Памятнике», извлекаемое из тех же писем Карамзиных, которое мы уже приводили в другой связи, — письмо Александра Карамзина от 31 августа 1836 г., через месяц после цитированного письма его сестры. Александр Карамзин описывал брату Андрею, как он провел день своих именин в Царском Селе: «Обедали у нас Мещерский [Сергей Иванович] и Аркадий [А. О. Россет]. После обеда явились Мухановы, друзья сестер¹⁵. . . Они оба ехали в Москву. Старший накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упавшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фаворитке публики». Далее Карамзин, имея в виду Николая Алексеевича Муханова, сообщил: «Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна».¹⁶ Было бы, с нашей точки зрения, неосторожно

¹³ Муравьев М. Н. Полн. собр. соч. СПб., 1819, ч. 1, с. 65.

¹⁴ Макаров П. Соч. и переводы. 2-е изд. М., 1817, т. 1, ч. 1, с. VII.

¹⁵ Речь идет о братьях Мухановых — старшем Николае Алексеевиче (1804—1871) и младшем Владимире Алексеевиче (1805—1876), с которыми Пушкин познакомился зимой 1826/27 г. и с тех пор находился в добрых приятельских отношениях.

¹⁶ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг., с. 96.

придавать этому свидетельству большее значение, чем оно имеет в действительности по своей фактической, документальной значимости.¹⁷ Тем не менее оно необычайно важно для нас и нуждается в пояснениях как письменный документ, единственный в своем роде, до известной степени воскрешающий перед нами тяжелое душевное состояние Пушкина в то время, когда создавался «Памятник», и раскрывающий психологические поводы и основания, способствовавшие его возникновению.

Братья Н. А. и В. А. Мухановы, по словам знавшего их лично П. И. Бартенева, нежно любили друг друга и своего третьего, старшего брата Александра Алексеевича, умершего в 1834 г. Пушкин знал всех троих, и все они были большими его почитателями. Правда, Александра Муханова Пушкин выбрал в критической заметке, напечатанной в «Московском телеграфе» 1825 г., — «О г-не Сталь и г. А. М—ве» (XI, 27), но из записок Пушкина к нему видно, что это не помешало их приятельским отношениям.¹⁸ Николай Муханов жил в Петербурге, вращался в высшем

¹⁷ Так, В. Непомнящий в интересной статье «Двадцать строк (Пушкин в последние годы жизни и стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»)» (Вопросы литературы, 1965, № 4, с. 112) считает, что «мухановский пересказ» является не только первым по времени из известных нам упоминаний о пушкинском «Памятнике», но «есть также первое из известных нам толкований стихотворения», и пишет по этому поводу: «Толкование это в наши дни покажется, пожалуй, странным. Автор „Памятника“ предстает перед нами в непривлекательном, жалко-меркантильном свете: „вдыхая“, „жалуясь“ на „неблагодарную“ публику, напоминая свои заслуги перед ней, он как бы выторговывает у нее право на потерянную „фаворию“. В лучшем случае это толкование показывает, как мало понимали Пушкина его современники и даже знакомые» (с. 112). В. Непомнящий допускает здесь ряд неточностей. «Мухановский пересказ» «Памятника» — это всего лишь передача, и едва ли при этом текстуально точная, того рассказа, который Александр Карамзин слышал от Н. А. Муханова. При этом, как мы уже отмечали (см. выше, с. 20), Пушкин едва ли показывал Муханову полный текст «Памятника», состоящий из пяти строф, да и о напечатании его не могло быть и речи; скорее всего Пушкин показал Муханову редакцию из трех строф, с пожеланием поэта себе самому — «хвалу и клевету приемли равнодушно»; к этому пожеланию и были даны соответственные пояснения: жаловаться на читателей и критиков, не понимавших поэта и наносивших ему тяжелые оскорбления, у Пушкина были все основания; любопытно, что мы знаем об этом, в частности, из письма С. Н. Карамзиной к тому же брату Андрею, к которому обращался и Александр Карамзин (см. выше, с. 102); оба эти свидетельства, заимствуемые из переписки Карамзиных, следует рассматривать одновременно: они, может быть, и объясняют все оттенки в том свидетельстве, которое неосторожно названо «пересказом Муханова». Мы, кстати сказать, не видим в словах Пушкина, переданных через третье лицо, никаких следов не только «жалкой меркантильности», но даже «непривлекательности». Некоторых других спорных положений указанной статьи В. Непомнящего коснулся Д. Д. Благой в своем полемическом отклике «Еще о „Памятнике“ Пушкина (к преподаванию литературы в школе)» (Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1966, т. 25, вып. 2, с. 118—122). На это последовал и ответ В. Непомнящего — «Зачем мы читаем Пушкина: (Ответ на статью проф. Д. Благого)» (Вопр. лит., 1966, № 7, с. 174—181).

¹⁸ Весной 1827 г. А. А. Муханов приехал из Тульчина в Москву и писал оттуда в Петербург брату Николаю 16 марта: «Я часто выдаю Александра Пушкина; он бесподобен, когда не напускает на себя дури» (Щукинский сборник. М., 1905, вып. 6, с. 127).

свете и сделал в столице заметную чиновную карьеру; Владимир Алексеевич жил в Москве, числился среди «архивных юношей» и из всех братьев, вероятно, к Пушкину был ближе. С ним Пушкин был на «ты» и, будучи в Москве (в сентябре—октябре 1826 г.), звал на чтение «Бориса Годунова», приглашал и к себе вместе с А. С. Хомяковым (XIII, 301), человеком скромным и высокообразованным. «Не будучи литератором, он живо интересовался литературой, много и серьезно читал, — характеризует его В. Ф. Саводник. — Письма его к братьям показывают, насколько обширен был круг его литературных интересов. Многие отзывы Муханова о произведениях современной литературы обнаруживают в нем правильный взгляд и тонкий вкус». «В частности, — прибавляет тот же исследователь, — он всегда очень высоко ценил Пушкина: в письмах его неоднократно встречаются отзывы о новых произведениях поэта, с которыми он спешил познакомиться. Литературные интересы Муханова поддерживались также и тем, что среди его знакомых было немало писателей: Баратынский, Хомяков и другие».¹⁹ В 70-х гг. П. И. Бартенев в некрологе Владимира Алексеевича, между прочим, отмечал, что он «был явлением поистине дорогим. Он развивал вокруг себя нравственную тишину и ясность. В нем особенно развито было чувство братства. Всем памятна тесная, напоминавшая собой примеры классической древности дружба, которая соединяла его с покойным его братом Николаем Алексеевичем. Можно сказать, что по внутренней природе своей Муханов был брат по преимуществу».²⁰ Те же черты отличали его и в молодости, что видно, в частности, из его писем и из его дневников, к сожалению, изданных не полностью;²¹ есть основания думать, что более тщательное их прочтение сможет обогатить нас каким-либо не учтенным еще свидетельством его о Пушкине и относительно «Памятника»: то, что знал о Пушкине Николай Алексеевич, знал также и Владимир Алексеевич, этот «брат по преимуществу», и не только знал, но и мог понять и истолковать — может быть, даже глубже и сердечнее.

Все это необходимо иметь в виду, когда мы вчитываемся в письмо А. Н. Карамзина от 31 августа 1836 г., для того чтобы воспользоваться сообщенными в нем новостями о Пушкине. Между прочим, попутные характеристики, которые получают в нем оба Муханова, убийственны по своей язвительности и, пожалуй,

¹⁹ Саводник В. Ф. Московские отголоски дуэли и смерти Пушкина // Московский пушкинист. М., 1927, вып. 1, с. 48.

²⁰ Моск. ведом., 1876, № 309.

²¹ Дневники В. А. Муханова (1836—1861 гг.) напечатаны (с пропусками) в «Русском архиве» 1896, 1897 и 1900 гг.; последующие частичные публикации хотя и восполнили эти пропуски, но не до конца. Характеристику всех рукописных материалов, оставшихся от братьев Мухановых, в том числе и их эпистолярного наследия, см.: К а л а н т ы р с к а я И. С. Обзор фонда Мухановых // Ежегодн. Гос. ист. музея, 1959. М., 1961, с. 136—155 (о дневниках В. А. Муханова — с. 147—148).

даже недоброжелательному тону. Блестящий гвардейский артиллерист, каким был в то время Александр Карамзин, свысока отнесся к Владимиру Муханову — «худенькому», «тихонькому» чиновнику, напомнившему ему домашнего учителя; старший брат, Николай Алексеевич, был более во вкусе Карамзина — «очень разговорчив, весел и communicatif» (общителен), но и для него были найдены слова осуждения. Существенно, что оба Муханова названы в письме «друзьями сестер»: этим обозначением Карамзин подчеркивал свою незаинтересованность этими гостями и как бы отмежевывался от интимной приятельской близости с ними. Трудно поэтому предстать себе, чтобы Карамзин с особым вниманием выслушал рассказ словоохотливого Николая Муханова о посещении им Пушкина 30 августа и тем более, что он с полной точностью воспроизвел эту беседу. Из письма Карамзина следует и другое — что за несколько дней до Муханова он дважды ездил к Пушкиным на дачу на Каменный остров — с В. Н. Карамзиным и А. О. Россетом, но безрезультатно, получив ответ через слугу: «Наталья Николаевна приказали извиниться, они очень нездоровы и не могут принять». «Тогда, — пишет А. Карамзин, — проклятия и заглушенные вопли вырвались из наших мужских грудей. Мы послали к черту всех женщин, живущих на Островах и подверженных несуразным расстройством. Этим и ограничились пока наши посещения». «Не будь этого услужливого недомогания, — прибавляет Карамзин в указанном письме, — Пушкины приехали бы в Царское провести вчерашний и позавчерашний дни», т. е. 29 и 30 августа, и тем самым не состоялась бы встреча Пушкина с Мухановым и содержание данного письма Карамзина было бы совершенно иным.

О неудачных поездках на дачу к Пушкиным 26 августа и «в глухую холодную ночь» 28 августа Карамзин несомненно сообщил и Мухановым, а в ответ он и услышал грустный рассказ Николая Муханова; впечатления обоих были сходными: в доме Пушкиных не все благополучно, поэт «ужасно упал духом», Наталья Николаевна не принимает гостей, ссылаясь на вымышленные недомогания; где уж было ждать их на именинах в Царском Селе 30 августа!

Тем не менее в рассказе Николая Муханова краски не были слишком сгущены, и, воспроизводя сообщенные им новости, Карамзин представлял себе, как дело обстояло в действительности. Со слов Муханова Александр Карамзин сообщил брату в указанном письме три достойных внимания и тесно связанных друг с другом новости о Пушкине: 1) полг раскаивается, что он «написал свой мстительный пасквиль»; 2) он «вздыхает по потерянной фаворитке публики»; 3) он написал «Памятник» («в котором он жалуется на неблагодарную и вечногую публику и напоминает свои заслуги перед ней»), и «эта пьеса прекрасна».

Что касается «мстительного пасквиля», то так названо Мухановым или Карамзиным стихотворение Пушкина «На выздоровле-

ние Лукулла. Подражание латинскому», напечатанное в сентябрьской книжке «Московского наблюдателя» 1835 г. (эта книжка явилась в свет лишь в конце декабря этого года). Читатели тотчас узнали лицо, в которое Пушкин метил. «Пасквилем» называли пушкинскую сатиру и другие его современники. В дневнике А. В. Никитенко мы находим, например, следующую запись под 17 января 1836 г.: «Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения (С. С. Уварова. — М. А.), на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. . . Пасквиль Пушкина называется „Выздоровление Лукулла“». Уваров «как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров, особенно меня, которому не хочет простить за „Анджелю». Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова».²² Еще более интересна для нас запись в том же дневнике Никитенко от 20 января: «Весь город занят „Выздоровлением Лукулла“. Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением немного выиграл в общественном мнении, которым, при всей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор».²³ Если слух об этом «выговоре» на деле не оправдался,²⁴ то характерно, что он все же распространялся; в остальном документальное свидетельство Никитенко близко соответствует, даже стилистически, тому, что об этом стихотворении пишет А. Карамзин. Комментаторы его письма весьма кстати напоминают отклик на стихотворение Пушкина А. И. Тургенева (в его письме к П. А. Вяземскому от 9/21 марта 1836 г.), присланный из Парижа, где из осторожности Пушкин не назван, а упомянут «переводчик с латинского (жаль, что не с греческого!)». «Биографическая строфа, — доверительно пишет А. Тургенев П. Вяземскому, — будет служить эпитафией всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеил его бессмертным поношением. Поделюи вору и вечная мука!».²⁵ Но это мнение было прислано из Парижа и к тому же принадлежало одному из близких друзей Пушкина. Петербургские же литераторы считали опубликование этой сатиры ошибкой

²² Никитенко А. В. Дневник, т. 1, с. 179.

²³ Там же, с. 180.

²⁴ См. комментарий к указанным записям И. Я. Айзенштока (там же, с. 496), в котором сделана ссылка еще на один рассказ об «уваровской истории» в связи с сатирой Пушкина, принадлежащий П. В. Нащокину и записанный Н. Куликовым (Русская старина, 1881, № 8, с. 616—618). Интересно, что в этом же смысле о «бессмертии», ожидающем С. С. Уварова, Пушкин писал Гоголю 13 мая 1834 г. О семантических оттенках понятия «бессмертие» у Пушкина в связи с цитатой из этого письма см.: Боровой Л. Путь слова. 2-е изд. М., 1963, с. 703—705.

²⁵ Лит. насл., т. 58, с. 120.

или непростительной неосторожностью. Так, А. В. Веневитинов упрекал М. П. Погодина: «Но как же вы спроста напечатали На выздоровление Лукулла! Эх! Эх!»,²⁶ а А. А. Краевский писал ему же: «А зачем Наблюдатель напечатал стихи На выздоровление Лукулла? Не хорошо. Я порадовался было, когда Пушкин сказал мне, что получил из Москвы известие об отказе Наблюдателя принять его стихи; а потом через неделю получаю 14-ю книгу Наблюдателя, где стихи уже тиснуты. По-моему, это большая неосторожность. На Пушкина смотреть нечего: он сорви-голова!».²⁷ Последствия этой «неосторожности», которую сразу почувствовал такой ловкий и опытный журналист-делец, как А. А. Краевский, действительно сказывались долго; у Пушкина несомненно были основания сожалеть, что его сатира напечатана более восьми месяцев спустя: отношения его с петербургским высшим светом и тем более с двором и правительственными кругами непрерывно осложнялись, а громкая хула, которая все чаще раздавалась по его адресу со стороны «публики», т. е. широких кругов критиков и читателей, вызвала горечь и раздражение.

Интересное свидетельство оставил нам А. В. Дружинин. В статье 1855 г., посвященной новому изданию сочинений Пушкина, выпущенному П. В. Анненковым, Дружинин вспоминал: «Переносясь мыслью в отдаленные годы нашего детства, совпадавшие с годами лучшей деятельности Пушкина, мы находим себя в необходимости сказать, что великая часть читателей делила заблуждения критиков — врагов Пушкина. Мы помним дилетантов старого времени, входивших в гостиную с книжкой „Современника“ или „Библиотеки для чтения“ и говоривших: „Исписывается бедный Александр Сергеевич: не даются больше стихи Пушкину!“. Память наша ясно представляет нам толстого господина, сидящего в кругу дам и мужчин, за круглым столом, и читающего комическим голосом „Песни западных славян“. Слушатели внимают с выражением некоторой грусти на лицах и все-таки смеются таким странным стихам, стихам, так похожим на простонародную прозу!».²⁸ Заблуждения подобных ценителей несомненно доходили и до немногих истинных друзей Пушкина, и до него самого: надо было что-то предпринимать, тем более что голоса осуждения звучали все громче и назойливее, а непонимание казалось все более возрастающим и всеобщим.

Оскорбительные отзывы журналистов во всяком случае нельзя было оставить без ответа: как никак они задавали тон и в значительной мере управляли суждениями читателей, весьма мало понимавших заслуги поэта и его действительную роль среди них. Об этих заслугах взволнованно и тревожно думали также искренне

²⁶ Лит. насл., т. 16—18, с. 716.

²⁷ Там же.

²⁸ Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1866, т. 7, с. 30—31. Н. И. Иваницкий пишет в своей «Автобиографии» (1843): «Даже и средний класс неблагоприятно уже отзывался о Пушкине; говорили обыкновенно, что Пушкин исписался и т. п.» (Шукинский сборник, М., 1909, вып. 8, с. 262).

расположенные к Пушкину люди, наблюдая за все усиливавшимися в 1836 г. нападками на Пушкина в печати. Так, В. Ф. Одоевский, прочтя указанную выше статью П. Медведовского-Юркевича в «Северной пчеле» от 18 июля 1836 г., пришел в сильное негодование; она представилась ему «сокращением всего того, что „Северная пчела“, „Сын отечества“ и „Библиотека для чтения“ под разными предложениями с некоторого времени стараются втолковать своим читателям». Он решил не оставить ее без ответа и написал яркую, смелую, красноречивую статью, озаглавив ее «О нападениях петербургских журналов на Пушкина». Однако напечатать ее не удалось, несмотря на все его усилия. В бумагах В. Ф. Одоевского она сохранилась в нескольких авторских вариантах. На полях одного из них сделана запись рукою самого В. Ф. Одоевского: «Писано незадолго до кончины Пушкина — ни один из журналистов не решился напечатать, боясь Булгарина и Сенковского». Из других бумаг явствует, что Одоевский обращался с просьбами опубликовать ее и в «Московский наблюдатель», и в «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», но тщетно; в печати она появилась впервые лишь в 1864 г.²⁹

Разоблачая истинные мотивы нападков на Пушкина продажной клики журналистов, этих «литературных диктаторов» и «негодяев», Одоевский разъяснял, на какой неизмеримой высоте стоит Пушкин, «эта радость России, наша народная слава, Пушкин, которого стихи знает наизусть и поет вся Россия, которого всякое произведение есть важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученый в кабинете». Отвечая врагам поэта, лицемерно удивлявшимся тому, что Пушкин сделался журналистом, Одоевский красноречиво доказывал, что никто другой не мог бы быть столь полноправным и авторитетным руководителем общественного мнения: «Если кто-нибудь в нашей литературе имеет право на голос, то это без сомнения Пушкин. Все дает ему это право — и его поэтический талант, и пронзительность его взгляда, и его начитанность, далеко превышающая лексиконные познания большей части из наших журналистов, ибо Пушкин не останавливался на своем пути, господа, как то случается с нашими литераторами; он как Гёте и Шиллер, умеет читать, трудиться и думать; он — поэт в стихах и бенедиктинец в своем кабинете; ни одно из таинств науки им не забыто, и счастливее! он умеет освещать обширную массу познаний своим поэтическим ясновидением! — Ему ли не иметь голоса в нашей литературе!».³⁰

Одоевский не закончил еще свои хлопоты по устройству этой статьи в печать, когда состоялась роковая дуэль и Пушкин был мертв. Горе Одоевского было безгранично. Мы знаем сейчас, что именно ему принадлежали лирические строки, напечатанные в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1837,

²⁹ С а к у л и н П. Н. В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. 1, ч. 2, с. 325—326.

³⁰ Там же, с. 327.

№ 5, с. 48): «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща».³¹ Хорошо известно, что это первое краткое известие о смерти поэта вызвало цензурную бурю и грубые окрики в правительственных кругах, всегда казавшиеся последующим поколениям бессмысленными по своей жестокости и обскурантизму. Редактор «Литературных прибавлений» А. А. Краевский получил от гр. С. С. Уварова, тогдашнего министра народного просвещения (в то время являвшегося начальником Цензурного комитета), строгий выговор через попечителя и за траурную кайму, и за неуместные слова: «К чему эта публикация о Пушкине? Но что за выражения! „Солнце поэзии“! Помилуйте, за что такая честь?».³² Трудно, конечно, с уверенностью сказать, какую роль в этом окрике мстительного министра играли его личные чувства, оскорбленные стихотворением Пушкина «На выздоровление Лукулла»; нужно думать, что затаенная обида сказалась в этом пренебрежительном отзыве не в малой степени. Отметим, однако, что в основе приведенных выше строк Одоевского лежит тот же образ «светила, в полдень угасшего», пущенный в оборот врагами поэта и лицемерно скрывавший резкое его осуждение, которым Одоевский воспользовался для того, чтобы придать ему обратный, трагически-утверждающий смысл. Физическая смерть поэта патетически оправдывала истертую поэтическую формулу, утверждая в сознании читателей Одоевского значение этого мнимо померкшего светила как «солнца русской поэзии», закатившегося по непреложному закону природы, но бессмертного. Тем же поэтическим уподоблением

³¹ Заборова Р. Б. Незаданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // Пушкин: Исслед. и матер. Л., 1956, т. 1, с. 320—321. Авторство В. Ф. Одоевского получило документальное подтверждение в письме С. Н. Карамзиной к ее брату Андрею от 10 февраля 1837 г.: «Одоевский . . . трогателен своею чуткостью и скорбью о Пушкине — он плакал как ребенок, и нет ничего трогательнее тех нескольких строк, которыми он известил о его смерти в своем журнале» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг., с. 176, 337, 396). Любопытно, что В. Ф. Одоевский хлопотал о распространении этого некрологического известия даже за рубежом. «Вы, верно, видите с Толстым, агентом Министерства народного просвещения в Пармже, — писал В. Ф. Одоевский Б. В. Глинке-Маврину 14 мая 1837 г. — К нему вышлетесь весь год „Литературных прибавлений“, из которого он не худо сделает, если переведет строки, написанные о кончине Пушкина. . .» (Рус. старина, 1880, № 8, с. 805). Между тем некоторые читатели приписывали указанные некрологические строки не Одоевскому, но П. А. Плетневу. Н. И. Иванецкий в цитированной выше «Автобиографии» писал: «Всякий, кто знает Плетнева, без сомнения тотчас узнал, чьи это слова!» (Щупкинский сборник, вып. 8, с. 263).

³² Рус. старина, 1880, № 7, с. 536—537. Ср. в воспоминаниях об А. А. Краевском (которому долго приписывались указанные некрологические строки) В. Зогова (Нестор русской журналистики // Ист. вестн., 1889, № 11, с. 363). См. также: Я к у ш к и н В. Е. О Пушкине: Статьи и заметки. М., 1899, с. 95. В начале февраля 1837 г. Краевский писал В. Г. Белинскому: «Да, мы потеряли Пушкина — единственное вдохновение России, редкое и почти случайное!», но очень глухо упомянул о последовавших за смертью поэта «обстоятельствах», которые замедлили его ответное письмо (Белинский и его корреспонденты / Под ред. Н. Бродского. М., 1948, с. 95 и 105).

тотчас же воспользовался и А. В. Кольцов в своем письме к А. А. Краевскому (от 13 марта 1837 г.), этом «стихотворении в прозе» о смерти Пушкина: «Александр Сергеевич Пушкин помер; у нас его уже более нету! . . . Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую землю небес вдохновенным блеском, огня животворной силой, едва огласилась могучая Русь стройной гармонией райских звуков . . . Прострелено солнце . . . Лицо помрачнелось, безобразною глыбой упало на землю».³³ Вскоре образное определение Пушкина как «солнца русской поэзии» вошло в обиход русской речи как устойчивая формула.³⁴

В свете тех данных, которые дают о Пушкине в осенние месяцы 1836 г. письма семьи Карамзиных, история возникновения его «Памятника» представляется совершенно иной, чем она изображалась доньше, освещаясь как бы изнутри, из тех сугубо личных мотивов, которые привели Пушкина к мысли ясно и громко возгласить, что он думает о себе, о своем творчестве и о той справедливой оценке, которую оно получит у потомков. Вне анализа этих мотивов, случайно открывшихся нам из связки старых семейных писем, все дальнейшие толкования «Памятника», как бы ни были остроумны догадки о происхождении его отдельных образов и стихотворных строк, являются бесполезными и ошибочными. Как видим, мы еще далеки от уверенности, что все загадки, которые «Памятник» Пушкина ставит своим исследователям и заинтересованным читателям, разрешены до конца. Находка семейной переписки Карамзиных позволила лишь несколько глубже, чем это удавалось доньше, заглянуть в историю возникновения этого стихотворения, осветила кое-какие, но отнюдь не все частные поводы, способствовавшие его созданию. И все же общая картина развития его замысла в творческом сознании Пушкина и последующего воплощения его в поэтическом слове остается еще во многом неясной, спорной, недостаточно объясненной. Мы знаем теперь, каким реальным содержанием обладали слова поэта об отказе спорить с глупцами, какую пульсирующую кровью раненого сердца наполнялись строки о бесстрашной готовности выслуши-

³³ Кольцов А. В. Полн. собр. соч. / Под ред. А. И. Лященко. СПб., 1911, с. 168.

³⁴ Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. 2-е изд. М., 1960, с. 571. В этой же книге указано, что это поэтическое выражение продолжало длинную традицию, так как оно в сходном виде употреблялось еще в древнерусской письменности, откуда его почерпнул Карамзин. В «Истории государства Российского» (т. 4, гл. 2) он рассказывает, что, «когда в 1263 г. умер Александр Невский, митрополит киевский Кирилл, сведав о кончине великого князя . . . в собрании духовенства воскликнул: „Солнце отечества закатилось“. Никто не понял сей речи. Митрополит долго безмолвствовал, залился слезами и сказал: „Не стало Александра!“ Все оцепенели от ужаса, ибо Невский казался необходимым для государства и по летам своим мог бы жить еще долгое время». Источником Карамзина была «Степенная книга» (XVI в.), в которой указанная фраза читается так: «Уже заиде солнце земля Руськия». Добавим, что и Шишков, рассказывая о смерти Екатерины II, восклицал: «Российское солнце погасло» (Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлин, 1870, т. 1, с. 9).

вать дальнейшие незаслуженные обиды, и понимаем, что это были не абстрактные декларации олимпийца, далекого от жизни, но вынужденная самозащита от злобных нападок недоброжелателей в той ожесточенной литературной и журнальной борьбе, которую Пушкин вел в это время почти в одиночестве, отбиваясь от противников, все возрастающих в числе. Но мы пока не знаем еще, как и почему поэт сделал еще один ответственный шаг — от самозащиты к гордому самоутверждению, от повседневной полемики с привычными врагами к желанию подвести итог своей творческой деятельности; на это должны были быть особые и притом очень веские причины. Между тем мы плохо представляем себе, в каких соотношениях находится «Памятник» с другими стихотворениями Пушкина второй половины 1836 г., почему это стихотворение занимает обособленное положение в его лирике этого времени, — не только тематически, но даже по своим метрическим и стилистическим признакам, имея свою аналогию только в его поэзии лицейского периода. Мы не знаем даже, готовил ли Пушкин свой «Памятник» к изданию или же стихотворение вылилось из-под его пера свободно, естественно, непреднамеренно, только для того, чтобы успокоить сердце, умерить захлестывавшие его через край чувства справедливого негодования, и он беседовал наедине с самим собой или, пытаясь заглянуть в будущее, через головы своих недогадливых и неблагодарных современников, обращался непосредственно к потомкам. . .

Нельзя, впрочем, сказать, что некоторые из перечисленных вопросов не вставали уже перед его исследователями, однако эти недоуменные вопросы пытались ставить и решать по отдельности, не объединяя в один сложный комплекс всех задач, требующих общего решения, которое оказалось бы верным по отношению к каждой из них. Остановимся на некоторых из высказанных догадок и предположений и попытаемся выяснить, насколько они правомерны или справедливы и в какой мере они могут быть пригодны для последующего исследования.

8

Один из первых читателей пушкинского «Памятника», А. И. Тургенев, еще в 1836 г., т. е. задолго до его напечатания, назвал его «подражанием Державину». С тех пор, как мы видели, впечатление о тесной связи, которая существует между двумя этими сходными произведениями — Державина и Пушкина, превратилось в утверждение и оставалось одним из прочных и устойчивых в пушкиноведении, хотя вопрос о том, почему в 1836 г. Пушкину вспомнился именно Державин с его «Памятником», в сущности, даже не ставился. Дело ограничивалось выяснением действительно существующих между обоими стихотворениями стилистических или текстуальных соответствий. Так, например, Н. Н. Страхов, рассуждая о «переимчивости» Пушкина и ссылаясь на вольные или невольные подражания предшествовавшим и совре-

менным ему поэтам, когда он «совершенно входил в их тон», сбивался на их стихи «и звуком и мыслями», приводил в пример и «Памятник» с его «принужденными» «архаизмами и галлицизмами», которые «объясняются едва ли не одним влиянием Державина»: «Нам кажется, что склад Державина отразился, и едва ли выгодно для Пушкина, в следующих стихах „Памятника“», — далее следует текст пушкинского стихотворения, в котором курсивом выделены следующие «державинские», по его мнению, выражения: «душа в заветной лире», «и тленья убежать», «доколь», «пиит», «всяк сущий в ней язык».¹ Между тем Б. В. Томашевский, изучая строфику Пушкина, отметил в качестве существенной особенности этого стихотворения то, что «Пушкин не воспроизвел строфы державинского „Памятника“ и что строфа, им употребленная в данном случае, занимает „несколько уединенное место“».² Действительно, хотя «Памятник» написан шестистопным ямбом, но каждая его строфа состоит из четырех стихов с перекрестными рифмами и заключается четвертым усеченным, четырехстопным, с мужским окончанием. «Не ясно, — отмечает исследователь, — опирался ли здесь Пушкин на русскую традицию. Строфа эта встречается у французских одописцев. . . Однако нет ничего общего между этими произведениями и „Памятником“ кроме принадлежности к общему жанру оды. Впрочем, здесь необходимо учесть, что именно одну из од Горация (*Odi profanum vulgus et arceo*) подобной строфой перевел В. В. Капнист».³ Существенная сама по себе справка, однако, нисколько не проясняет нам, почему Пушкин при создании «Памятника», подражая Державину и текстуально пользуясь несколькими стихами из его оды, не воспользовался также строфой, примененной Державиным; строфа «Памятника» имеет аналогию у Капниста, в его подражании другой оде Горация, тоже знаменитой, но не имевшей ничего общего с темой «Памятника». Существенно и очень интересно для нас также указание Б. В. Томашевского на то, что строфа «Памятника» впервые, но единственный раз применена Пушкиным в двух заключительных четверостишиях его раннего лицейского стихотворения «Наполеон на Эльбе» (1815), конец которого читается так:

Простерлась тишина над бездною седою,
 Мрачатся неба свод, гроза во мгле висит,
 Всё смолкло. . . трепещи! Погибель над тобою
 И жребий твой еще сокрыт!
 (I, 116)

¹ Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888, с. 43.

² Томашевский Б. В. Строфика Пушкина // Пушкин: Исслед. и матер., т. 2, с. 76.

³ Там же, с. 77. Речь идет о 1-й оде III книги Горация, которая в переводе В. В. Капниста под заглавием «Ничтожество богатств» впервые опубликована была в «Трудах Казанского общества любителей отечественной словесности» (1815, ч. 1). См.: Капнист В. В. Собр. соч. / Под ред. Д. С. Бабкина. М.; Л., 1960, т. 2, с. 49, 555.

Предстоит еще, следовательно, определить, чем вызвано было обращение Пушкина к этой строфе только дважды за всю его жизнь — в начале и в конце литературного поприща.

Н. В. Измайлов, со своей стороны, отметил, что в стихотворении «Памятник» «строфичности требовала давняя гораціанско-державинская традиция, которой следовал Пушкин; усечение же последнего стиха каждой строфы, в отличие от Горация и Державина, введено им, очевидно, чтобы подчеркнуть смысловые концовки, столь значительные в этом стихотворении («Александрійского столпа», «И милость к падшим призывал», «И не оспоривай глушца»)). Однако это наблюдение все же не разъясняет нам, почему именно данное стихотворение своей метрической особенностью выделяется среди всех остальных, написанных приблизительно в то же время, хотя, по мнению Н. В. Измайлова, оно должно занять свое место в обособленном лирическом цикле, собранном поэтом в августе или даже «в самом конце августа 1836 г.», до его переезда в начале сентября с дачи на Каменном острове в город.⁴

Вопрос об этом лирическом цикле безусловно заслуживает особого обсуждения независимо от того, включался ли в него «Памятник» или нет; в данном случае мы можем его коснуться только в связи с интересующим нас стихотворением. Представление об этом цикле возникло по той причине, что автографы нескольких стихотворений Пушкина, написанных им летом 1836 г. или окончательно отделанных в это время, имеют римские цифры (II, III, IV, VI), заменяющие или дополняющие их заглавия; при этом трудно установить, когда проставлены эти номера — после перебелки или в то время, когда стихотворение переписывалось поэтом.⁵

В автографических списках указанные номера имеют следующие стихотворения: II — «Отцы пустынноики. . .»; III — «Подражание итальянскому. (Как с дерева сорвался предатель-ученик)»; IV — «Мирская власть»; VI — «Из Пиндемонти». Если перед нами действительно лирический цикл, обладающий какими-то общими признаками, или сюита стихотворений, имеющая определенную последовательность, установленную самим поэтом, то возникает естественная необходимость определить, какие стихотворения должны были быть обозначены пропущенными римскими цифрами I и V, так как такие стихотворения нам пока неизвестны.

⁴ И з м а й л о в Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х гг. // Пушкин: Исслед. и матер., т. 2, с. 30.

⁵ Отсюда возникли разнообразные затруднения, в частности неправильные чтения заглавий. Так, последнее стихотворение, имеющее в автографе это цифровое обозначение, долгое время печаталось под бессмысленным заглавием: «Из VI Пиндемонти» (см.: Б о г а е в с к а я К. П. Пушкин в печати за сто лет: 1837—1937. М., 1938, с. 59, № 357). Цифра VI поставлена была поэтом между двумя словами заглавия (которое менялось) и оказалась П. В. Анненкову и другим издателям сочинений Пушкина неотделимой от этого заглавия или даже его уточняющей.

Н. В. Измайлов, подробно охарактеризовав условия, при которых создавались «стихотворения, отразившие в себе, с разных сторон и в разных формах, настроения и раздумья поэта и объединенные им для будущей публикации в своего рода если не тематический, то смысловой и формально-художественный цикл», пытается указать те стихотворения, которые должны были заполнить два пустующих места в этом цифровом ряду. По его мнению, на первом месте нужно поставить стихотворение «Я памятник себе воздвиг», написанное 21 августа 1836 г. «Это одновременно и утверждение поэтом своего значения в русской исторической и национальной жизни, своего места в настоящем и будущем России (строфы 1—3), и декларация своих прав на бессмертие, т. е. своего взгляда на то, чем должен быть истинный народный поэт, и в последней строфе заявление о своем отношении к временным и мелким явлениям литературного „быта“. Если сообщение А. Н. Карамзина, отмеченное выше, и справедливо по отношению к этой последней строфе, то первые четыре выходят по смыслу далеко за пределы журнальной полемики 1836 г. и представляют широчайшее обобщение, подсказанное поэту не соображениями полемики, но всей общественно-политической и литературной обстановкой 30-х годов. В этом обобщении — значение стихотворения, и оно-то позволяет предположительно включить его в цикл „самораскрытий“ Пушкина, о котором идет речь».⁶ «Пустующее пятое место, — по мнению Н. В. Измайлова, — должно занимать стихотворение „Когда за городом, задумчив, я брожу“, написанное 14 августа. Оно по форме представляет такое же размышление, монолог для себя, как „Из Пиндемонта“, „Мирская власть“, „Отцы пустыньники“. . . В нем, как и в некоторых других, характер размышления, внутреннего монолога, выхваченного из целого потока мыслей и переживаний, подчеркивается обрывом последнего стиха:

Стоит широко дуб над важными гробами,
Колебаясь и шума. . .

«То же — в стихотворении „Из Пиндемонта“, а также в более раннем „Вновь я посетил“».⁷

Эти догадки встретили серьезные возражения: «Включение „Памятника“ в этот цикл стихов мне представляется неправомерным — слишком далеко это стихотворение и по своей теме, и по художественной манере от остальных», — писал Н. Л. Степанов, считая, впрочем «весьма убедительным» предположение, что пятым стихотворением является «Когда за городом, задумчив,

⁶ Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х гг., с. 38.

⁷ Там же, с. 39. Те же догадки о «Памятнике» и «Из Пиндемонта», но в более осторожной форме и с дополнительными оговорками, Н. В. Измайлов высказал при публикации автографа стихотворения «Мирская власть» (Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1954, т. 13, вып. 6, с. 555).

я брожу».⁸ Р.-Д. Кейль в упоминавшемся выше исследовании высказался против обеих этих догадок; в частности, он не обнаружил никакого «тематического родства» между «Памятником» и остальными четырьмя стихотворениями данного гипотетического цикла.⁹ В самом деле, основания для сближения их в известного рода комплекс по тематическому или какому-нибудь другому признаку представляются в значительной мере призрачными и надуманными, поскольку указанными для них общими признаками сходства обладают многие другие стихотворения Пушкина 1835—1836 гг.; это признает и сам автор гипотезы, когда утверждает что стихотворения данного цикла, «имеющие внутреннее, а отчасти и внешнее единство», в то же время многими нитями связаны с другими произведениями медитативной лирики, с раздумьями-монологами, столь характерными для Пушкина 30-х гг.¹⁰ Нельзя не отметить, однако, что истолкование «Памятника», данное самим Р.-Д. Кейлем, в свою очередь вызвало споры и справедливые упреки.¹¹

В особенности энергично, и на этот раз, по нашему мнению, с достаточными основаниями, Р.-Д. Кейль возражал против догадки, что в предполагаемом цикле «Памятник» мог занимать начальное, первое место. В самом деле, цель, которую ставил себе Пушкин, определяя цифровую последовательность известных нам четырех стихотворений, в точности неизвестна. Н. В. Измайлов предполагал, что этот цикл «произведений обобщенно-философского значения» Пушкин мог предназначать для напечатания в «Современнике» 1837 г., но тут же должен был признать, что «сугубо внимательная, подозрительная и придирчивая к „Современнику“ цензура не пропустила бы их, по крайней мере без изменений, и при жизни Пушкина». «Сомневаясь, быть может, в возможности напечатать намеченный цикл целиком», полагает Н. В. Измайлов, Пушкин составил, по-видимому, осенью, в сен-

⁸ Степанов Н. Л. Лирика Пушкина: Очерки и этюды. М., 1959, с. 32.

⁹ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik» // Die Welt der Slaven, 1961, Jhg. 6, N. 2, S. 176—177.

¹⁰ Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х гг., с. 39.

¹¹ Так, А. Шмаус (Schmaus A. Zu Puškins «Pamjatnik» // Studi in onore di E. Lo Gatto e G. Maver. Roma, 1962, p. 570—572) представил основательные возражения против мнения Кейля относительно «внутренней структуры» пушкинского «Памятника», и в частности, против его утверждения будто бы все пять строф стихотворения посвящены различным аспектам только одной темы о «бессмертии творчества» и что «связывает» эти аспекты в одно целое (das verbindende Element) «религиозная атмосфера», якобы отличающая это произведение. Все это явные следы архаических идей о «Памятнике» М. О. Гершензона, еще проявляющихся порой в зарубежных трудах о Пушкине. См., например, истолкование четвертой строфы «Памятника» («И долго буду тем любезен я народу») В. Сечкаревым в духе М. Гершензона (Settschkarreff V. Alexander Puschkin: Sein Leben und sein Werk. Wiesbaden, 1963, S. 62) и справедливый упрек, сделанный ему по этому поводу И. Хольтхузенем (Die Welt der Slaven, 1964, Jhg. 9, N 4, S. 416).

тябре—октябре того же 1836 г., особый список своих еще не напечатанных стихотворений, в который включены «два или три стихотворения из первого цикла», а также «ряд других, взятых из разных годов».¹² Определение стихотворений этого списка, названных здесь Пушкиным неточно, для памяти, наталкивается на известные трудности;¹³ ясно во всяком случае одно, что «Памятника» среди них нет.

Р.-Д. Кейль исходит из того, что в конце 1836 г. по договору с книгопродавцем А. Плюшаром Пушкин готовил издание сборника своих стихотворений: до нас дошли, к сожалению неполностью, рукопись предположенного издания (писарские копии с печатных текстов) и несколько обложек для задуманных отделов сборника с обозначениями их, написанными рукой Пушкина. Остается неизвестным, закончена ли была работа по предварительной подготовке этого сборника к печати или она была прервана в середине; однако Р.-Д. Кейль обратил внимание на отдел «Подражания древним», состав которого сохранился не вполне; тем не менее наличие этого отдела позволило ему высказать догадку, что «Памятник» предназначался Пушкиным либо для того, чтобы заключить этот отдел, либо для того, чтобы закончить весь этот сборник.

Делая это новое предположение, Р.-Д. Кейль исходил из следующих соображений. Пушкин, полагает он, не только знал местоположение «Eхегі monumentum» в «Carmina» Горация (в конце III книги), но знал, вероятно, что это не было случайностью: еще старинные комментаторы Горация обычно сообщали, что, готовя издание всех своих од в трех книгах, римский поэт написал в качестве вступления к этому изданию посвятельную оду «Меценату» и в качестве его заключения — «Eхегі monumentum». Если за три года до создания своего «Памятника», рассуждает Р.-Д. Кейль, Пушкин перевел указанную посвятельную оду Горация («Царей потомок, Меценат», III, 299), то не предполагал ли он закончить «Памятником» собственный сборник стихотворений в одном томе 1836 г.?¹⁴ Предположение, что Пушкин знал назначение горадиевского «Eхегі monumentum» (III, 30) в композиции его «Carmina», не лишено вероятности, но отсюда, разумеется, не следует еще, что своему подражанию этой оде Горация он предназначал такое же место в собственном сборнике стихотворений. Любопытно, впрочем, что редакторы — издатели его сочинений в XIX в. — по собственному почину, без всякой оглядки на пример Горация, отводили стихотворению

¹² И з м а й л о в Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х гг., с. 39.

¹³ См. комментарий к этому списку М. А. Цявловского в книге «Рукою Пушкина» (М.; Л., 1936, с. 285—286) и дополнительные соображения Н. В. Измайлова (там же, с. 40—44). Только два стихотворения интересующего нас цикла можно узнать в этом перечне: «Кладбище» («Когда за городом, задумчив, я брожу») и «Не дорого ценю» («Из Пиндемонта»).

¹⁴ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 176—177.

«Я памятник себе воздвиг» подобное место завершительной концовки. Так, в 1855 г. П. В. Анненков в своем издании закончил «Памятником» отдел «Лирических стихотворений» Пушкина (т. III, с. 69), а пятилетие спустя Г. Н. Геннади дал следующее примечание к «Памятнику» в своем библиографическом «списке стихотворений» Пушкина: «Хотя эта пьеса не может считаться последним произведением Пушкина, но очень кстати помещена П. В. Анненковым в конце других стихотворений этого года, в виде заключения; следуем его примеру».¹⁵

Гипотеза Р.-Д. Кейля, однако, едва ли может быть поддержана какими-либо соображениями. Задуманный Пушкиным, но не осуществленный лирический сборник 1836 г., насколько мы представляем его себе по сохранившимся рукописным материалам, очевидно, должен был состоять исключительно из произведений напечатанных, давно прошедших цензуру и хорошо известных читателям. По-видимому, ни одно неопубликованное стихотворение Пушкина сюда не должно было быть включено; здесь не могло появиться ни одно стихотворение 1836 г. и, следовательно, ни одно из тех, которые занимают реальное или условное место в указанном выше гипотетическом «цикле 1836 г.». Назначение сборника было совсем другое — чисто практическое: стесненный в средствах и обремененный долгами, Пушкин крайне нуждался в авторском гонораре и пошел даже на явно кабальную для него сделку с книгопродавцем А. Плюшаром, чтобы получить нужную ему денежную сумму. В этих условиях включение в новый сборник стихотворений, еще не печатавшихся, было ненужным и даже затруднительным, в особенности из-за отношений Пушкина с цензурным ведомством, подчиненным в то время С. С. Уварову. Можно ли предполагать после высказанных соображений, что Пушкин, подражая Горацию, именно «Памятником» должен был заключить свою книгу 1836 г.? Едва ли.

С уверенностью можно дать отрицательный ответ на этот вопрос, если мы будем исходить не только из фактических данных, но и из психологических оснований, представляя себе Пушкина-поэта, отдающего в печать — в условиях ослабления к себе читательского интереса — указанный сборник с единственным новым стихотворением, в котором он говорит о своих заслугах и будущей посмертной славе. О своей популярности у современников Пушкин чаще всего говорил в шуточных, а не патетических тонах, с удивительной сдержанностью и скромностью, поражавшей близких ему современников, например П. А. Плетнева.

Описывая рисунки Пушкина, в таком изобилии украшающие его рукописи, А. Эфрос обратил внимание на рисунок пером, сохранившийся в начале рабочей тетради поэта конца 20-х гг.¹⁶

¹⁵ Геннади Г. Н. Приложения к сочинениям А. С. Пушкина, изданным Я. А. Исаковым. СПб., 1860, с. 98.

¹⁶ Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом), № 842 (прежний шифр: ЛБ 2373), л. 6.

и незадолго перед тем впервые изданный Н. О. Лернером с пояснениями.¹⁷ На этом рисунке Пушкин изобразил самого себя в профиль, увенчанного лавровым венком; кроме того, нижняя линия рисунка — сделанный быстрым, но уверенным росчерком изгиб под острым углом — создает впечатление, что завершая набросок, Пушкин думал о своем скульптурном изображении. Ниже поместился другой мужской профиль — по-видимому, А. Мицкевича, а внизу, может быть, «кавказский пейзаж» (тополь, конь без седока, горец с копьём в руке — по толкованию публикатора). А. Эфрос писал по поводу этого автопортрета Пушкина: «Рисунок свидетельствует о первом появлении настроений, которые спустя шесть лет получили развернутое, программное высказывание в стихах „Памятника“ 1836 года. Автопортрет в венке тем любопытнее, что даже перед самим собой, в недоступных никому черновиках, Пушкин не сразу решился утверждать, что он „памятник себе воздвиг нерукотворный“; набросав свое увенчанное лаврами изображение, он стал зачеркивать в нем как раз то, что давало портретное сходство, — характерную линию носа, губ, подбородка. Является ли этот автопортрет отголоском чествования Пушкина в Тифлисе во время его поездки в 1829 году, как предполагает Н. Лернер, опираясь на сообщение К. И. Савостьянова о том, что во время этого чествования Пушкина „увенчали венком из цветов?“¹⁸ — спрашивает А. Эфрос и продолжает: — Воз-

¹⁷ Лернер Н. О. Неизданные рисунки Пушкина // Красн. нива, 1929, № 15, 7 апреля, с. 20.

¹⁸ Добавим от себя, что Н. О. Лернер воспользовался незадолго перед тем напечатанным «Рассказом К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 годах» (Пушкин и его современники. Л., 1928, вып. 37, с. 148). В этом рассказе К. И. Савостьянова (1805—1871), записанном по настоянию известного кишиневского знакомого Пушкина и автора воспоминаний о нем — В. П. Горчакова, идет речь о празднике «в европейско-восточном вкусе», который Савостьянов устроил в честь великого поэта неподалеку от Тифлиса — в «одном из прекрасных загородных виноградных садов» (в конце мая или начале июня 1829 г.): «Все ликовало; когда европейский оркестр во время заздравного госта Пушкина заиграл марш из *La Dame blanche*, на русского Торквата надели венок из цветов, посадили в кресло и начали его поднимать на плечах своих при непрерывном ура, заглушавшем гром полного оркестра музыки. Потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякий из нас подходил к нему с заздравным бокалом и выражал ему, как кто умел, свои чувства, свою радость видеть его среди себя и благодаря его от лица просвещенных современников и будущего потомства за бессмертные творения, которыми он украсил русскую литературу». Характерно, что еще в 1828 г. В. С. Филлимонов, посылая Пушкину свою книгу «Дурацкий колпак» (СПб., 1828), надписал на ней следующее четверостишие:

Вы в мире славою гремите;
Поэт! В лавровом вы венке.
Певцу безвестному простите:
Я к вам являюсь в колпаке.

(Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. СПб., 1910, с. 110, № 405).



Автопортрет Пушкина (1829). Пушкинский Дом.

можно, что предположение правильно, однако и в этом случае замечательна трансформация цветочного венка в традиционный, вековой, лавровый. Во втором мужском профиле Н. Лернер верно усматривает Мицкевича». ¹⁹ А. Эфрос придавал особо важное значение тому обстоятельству, что данному автопортрету Пушкина «нет ни повторений, ни подобию во всей обширной группе его разнохарактерных портретов»; это утверждал и Н. О. Лернер, так как действительно никакой аналогии этому автопортрету в венке в то время среди рисунков Пушкина обнаружено не было; еще один, даже более интересный автопортрет поэта того же рода — с лавровым венком на челе — стал известен позже.

Два профиля, Пушкина и Мицкевича, вычерченные пером на полях указанной рукописи почти одновременно, безусловно находятся в ассоциативной связи; было бы весьма интересно дознаться, в какой именно. К соображениям, высказанным А. Эфросом, можно было бы прибавить также и следующее. В мартовской книжке «Московского телеграфа» за 1827 г. под заглавием «К***» появилось стихотворение Баратынского, в котором он убеждает некоего друга-поэта, что ему следует бояться не столько хулений, сколько славословий, и советует ему ждать в награду вместо искусственных цветов венка, сплетенного из благородного лавра. Первые три четверостишия этого стихотворения читаются так:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы, —

Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.²⁰

Таким образом, по мнению Баратынского, следует надеяться на бессмертную славу, но не придавать никакого значения переходящему, минутному успеху. Это стихотворение Баратынский воспроизвел в том же 1827 г. в книжке своих стихотворений с тем же заглавием («К***») и несколько лет спустя (в издании 1835 г.) уже

¹⁹ Э ф р о с А. Рисунки поэта. М., 1930, с. 340—342 (и воспроизведение на с. 167); изд. 2-е. М.; Л., 1933, с. 426 (и воспроизведение на с. 299). Однако из более полного 2-го издания почему-то исключены все указания на помещенные в упомянутой тетради Пушкина выписки из произведений Мицкевича, служащие подтверждением, что именно портрет польского поэта он изобразил здесь в непосредственном соседстве со своим профилем. «Внимание Пушкина к Мицкевичу в 1829 году, — писал А. Эфрос, — естественно еще и потому, что Мицкевич в это именно время уехал за границу, совершив то, о чем долго и напрасно мечтал Пушкин» (с. 341).

²⁰ Моск. телеграф, 1827, ч. 13, № 3, с. 96.

без всякого заглавия, благодаря чему высказанные в нем мысли приобрели некую принципиальную обобщенность. Между тем написано оно было несомненно по конкретному поводу и явно обращалось к реальному лицу. Впоследствии комментаторы поэзии Баратынского затратили немало труда на то, чтобы доискаться, к какому поэту адресовался здесь Баратынский, называя его «наставником» и «пророком». Иные пытались утверждать — без достаточных к тому оснований, — что Баратынский имел в виду Пушкина или даже А. Н. Муравьева; по-видимому, наиболее правдоподобно предположение, что стихотворение относится к А. Мицкевичу, к которому Баратынский относился с восторженным почитанием.²¹

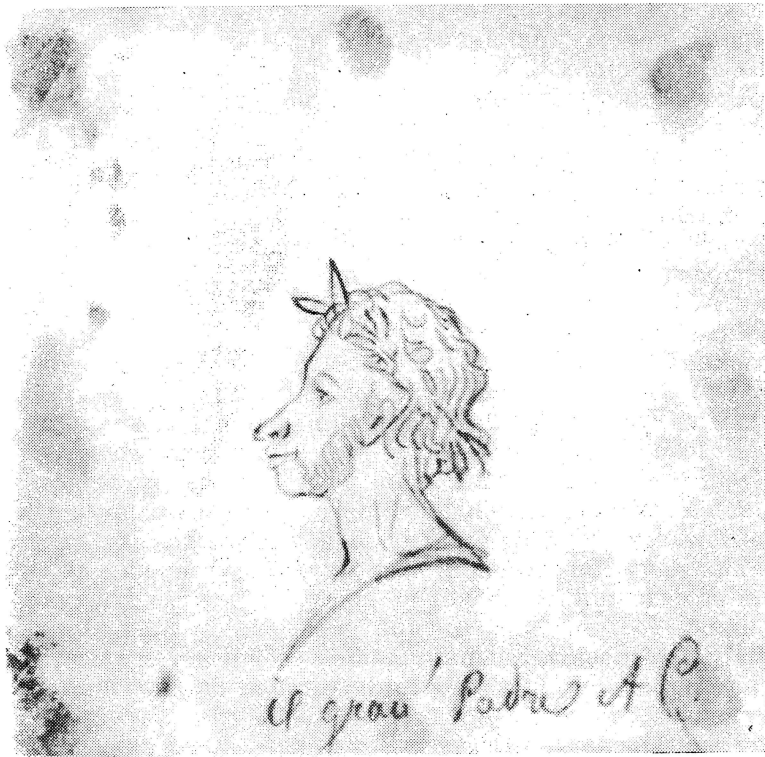
Пушкину, безусловно, было известно это послание Баратынского. Он, вероятно, знал также, к какому поэту, имя которого было замаскировано тремя звездочками, оно обращалось, и разделял в то же время основную, опорную мысль данного стихотворения. Отъезд Мицкевича из России в 1829 г., а с другой стороны, усилившиеся в это время нападки критики на собственные произведения Пушкина должны были обновить в его памяти адресованные Мицкевичу Баратынским стихотворные увещания не бояться «едких осуждений» и спокойно ждать будущего заслуженного признания. То, что Баратынский убежденно желал Мицкевичу, Пушкин мог относить теперь к самому себе и потому мечтательно рисовал профиль Мицкевича рядом со своим автопортретом в лавровом венке. Это было тем естественнее, что именно в 1829 г. и в том же «Московском телеграфе» Баратынский напечатал свою «Историческую эпиграмму», где встречается та же метафора славы — «венец», но на этот раз в применении к самому Пушкину, имя которого названо здесь полностью, без всякой зашифровки. «Историческая эпиграмма», как известно, была направлена против маститого «зоила» — М. Каченовского, как давнего редактора «Вестника Европы». В связи с опубликованными в 1828—1829 гг. в этом журнале статьями Н. И. Надеждина с резкой критикой произведений Пушкина, собственных стихов Баратынского и других поэтов «романтиков» автор «Исторической эпиграммы» вспоминал, что язвительных осуждений и поносительных отзывов, в свое время опубликованных в «Вестнике Европы», не избежали поэты трех поколений, неизменно, долгие годы приводившие в ярость редактора этого журнала своим «счастливым вдохновением». Первым из них был И. И. Дмитриев;

Бесил Жуковский след за ним,
Вот Пушкин бесит...

Таким образом,

Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили...

²¹ Филиппович П. П. Жизнь и деятельность Баратынского. Киев, 1917, с. 127—134.



Шуточный автопортрет Пушкина (1835—1836). Пушкинский Дом.

Эпиграмма потому и получила от автора название «Исторической», что она имеет в виду несколько десятилетий развития русской поэзии, достигшей полного расцвета, от лучших образцов которой суровый, но убогий критик отмахивался с поразительной настойчивостью. Баратынскому оставалось издевательски пожелать Каченовскому долголетия, чтобы этот безвкусный и непонятливый отрицатель с прежним однообразием питал чувства недоверия и неприязни ко всем певцам, достойным удивления и похвал:

Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем,
Другие три тебя бесили.²²

Приведенные примеры во всяком случае показывают, что уже в конце 20-х гг. для Пушкина и поэтов из его окружения весьма злободневными являлись споры о том, как следует относиться к хулениям и осудительной критике, к признанию или непонима-

²² Моск. телеграф, 1829, ч. 26, № 7, апрель, с. 257—258.

нию их творчества современными и будущими читателями, к славе прижизненной и посмертной. Еще острее все эти вопросы ставились в следующее десятилетие.

Вскоре после выхода в свет второго издания книги А. Эфроса «Рисунки поэта» в одном из альбомов Государственного Исторического музея в Москве между заполняющими его рисунками Сен При, «острый карандаш» которого Пушкин вспомнил в «Евгении Онегине», обнаружен был и опубликован без всяких пояснений в «Литературном наследстве» (с подписью «Шуточный автопортрет Пушкина») ²³ крайне интересный карандашный рисунок самого Пушкина с его собственноручной подписью, где изображен профиль поэта, явно шаржированный, как бы скопированный с его воображаемого бюста, с лавровым венком на челе; подпись гласит: «il Gran'Padre A. P.». В настоящее время альбом, в который вклеен этот рисунок, находится в Пушкинском Доме среди других рукописей Пушкина. ²⁴

Вскоре после первого своего появления в печати этот рисунок был воспроизведен снова с пояснительной заметкой к нему Т. Г. Зенгер-Цявловской. ²⁵ «Утрированные черты лица, сбивающиеся на карикатуру, — пишет она в этой заметке, — и надпись говорят за то, что рисунок сделан в шутку. Пушкин называет себя „il Gran'Padre“ (Великий Отец) — так, как он называл великого Данте (в письме к Н. Н. Раевскому от марта—апреля 1827 г.), повторяя вместе с Байроном определение, данное Данту Альфьери в сонете последнего:

O, gi n padre Alighieri, se del ciel mire». ²⁶

«Рисунок, — продолжает Т. Г. Цявловская, — можно отнести к 1835—1836 гг., так как бумага, на которой сделан рисунок, употреблялась Пушкиным в эти годы: она хорошо знакома нам по заметкам к „Слову о полку Игореве“ и по „Table Talk'у“, часть которого написана на тонкой (белой) скрипучей бумаге без водяного знака». ²⁷

Датировка этого второго «автопортрета в лавровом венке» для нас очень существенна: она почти вплотную приближает нас ко времени создания «Памятника». О «Памятнике» в связи с этим новонайденным рисунком вспоминал и А. Эфрос в своей книге

²³ Лит. насл., т. 16—18, с. 469.

²⁴ Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 года. Краткое описание. М.; Л., 1964, с. 85. История этого интересного альбома, к сожалению, мало известна. В 1924 г. он был приобретен Гос. Историческим музеем в Москве у некоего В. В. Сарнова; о предшествующих его владельцах и составителях мы ничего не знаем. В альбоме 93 листа. Рисунок Пушкина находится на л. 60; на многих листах — следы оборванных рисунков.

²⁵ Рукою Пушкина. М.; Л., 1935, с. 693—694.

²⁶ Розанов М. Н. Пушкин и Данте // Пушкин и его современники Л., 1928, вып. 37, с. 18.

²⁷ Рукою Пушкина, с. 694.

«Автопортреты Пушкина». Он отмечал, что последние по времени своего возникновения автопортреты Пушкина (в числе почти шести десятков, им изученных) были порождены «горечью, безысходностью, подавленностью, которой поэт был полон и от которой не избавился до конца». «Только сознание огромности своего исторического места и величавости своего поэтического гения выводили его из этого мучительного ощущения всегдашней жизненной усталости. В эти минуты возникли горделивые строчки „Памятника“. В одну из таких минут должен был появиться и новый, улыбчивый автопортрет в лавровом венке, который Пушкин не исчеркал, не заштриховал, как в 1829 году, а лишь ласково, слегка, чуть-чуть окарикатурил — в тон полусерьезной полусутойливой надписи, которая сделана тут же. . . Несмотря на ироничность автопортрета, Пушкин все же соединил дантовский титул со своим изображением. Нерукотворный памятник, вознесшийся непокорной главой выше Александрийского столпа, получил чуть-чуть сдвинутое, но не изменившее его сущности выражение. Потом опять подвигались будни, и подавленность вступала в свои права».²⁸

Этого автопортрета коснулся также Б. В. Томашевский в своей статье 1936 г., напечатанной после смерти автора. С помощью этого рисунка Б. В. Томашевский попытался — как нам кажется, напрасно — объяснить предшествующий автопортрет в лавровом венке (1829 г.) с зашифрованным профилем. «В нем характерен не только лавровый венок, но и обрез голой шеи, типичный в изображениях на медальонах. Должно быть, — догадывается Б. В. Томашевский далее, — автопортрет этот внушен интересом к Данте, отразившимся в следующем 1830 году в известных терцинах. Вероятно, самую идею увенчанного медальонного изображения Пушкин заимствовал с известных изображений автора „Божественной комедии“. В этом изображении есть некоторая пародическая карикатурность, соответствующая его собственным пародиям на „Ад“ Данте («И дале мы попли. . .»). Еще большая карикатурность, уже ничем не прикрываемая, присутствует в позднейшем автопортрете той же формы, находящемся в альбоме, принадлежавшем неизвестному лицу. Здесь та же медальонность, а сближение с Данте подчеркнуто надписью: *Il Gran'Padre A. P.*».²⁹

Истолковывая автопортрет 1829 г., Б. В. Томашевский, с нашей точки зрения, ошибочно связывает его с мыслью Пушкина о Данте и о «медальонном изображении» итальянского поэта в лавровом венке. Последний не являлся устойчивым атрибутом

²⁸ Эфрос А. Автопортреты Пушкина. М., 1945, с. 152—153.

²⁹ Томашевский Б. В. Автопортреты Пушкина // Пушкин и его время. Л., 1962, вып. 1, с. 331 (эта статья была написана в 1936 г. и предназначалась в качестве введения к специальному изданию автопортретов Пушкина, не вышедшему в свет). В соответствии с указанным мнением Томашевского воспроизведенный в данном издании автопортрет Пушкина 1836 г. получил и неверную датировку (1829 г.).

одного лишь автора «Божественной комедии»; в пушкинское время были не менее распространены портреты увенчанных лаврами Цетрарки или Торквато Тассо. С другой стороны, мы не усматриваем в автопортрете 1829 г. никакой «пародической карикатурности» и тем более соответствия ее «подражаниям» Пушкина Данте. Мысль о Данте бесспорно внушила Пушкину лишь второй и на этот раз действительно «пародический» автопортрет с лавровым венком.

К догадкам о возникновении этого рисунка мы можем со своей стороны прибавить еще одно соображение. В середине сентября 1831 г., получив стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», П. Я. Чаадаев писал ему в Царское Село: «Я только что прочел ваши два стихотворения. Вот вы, наконец; и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание. Не могу достаточно выразить свое удовлетворение. Мы побеседуем об этом в другой раз, обстоятельно. Не знаю, хорошо ли вы понимаете меня. Стихотворение К врагам России особенно замечательно. В нем больше мыслей, чем было высказано и осуществлено в течение целого века в этой стране. Да, друг мой, пишете историю Петра Великого». Несколькими строками ниже Чаадаев говорит: «Мне хочется сказать себе: вот, наконец, явился наш Данте».³⁰ Что следовало за именем Данте в этой ответственной фразе, явно нуждающейся в пояснении, мы, к сожалению, не знаем, потому что как раз в этом месте кусок бумаги, на которой написано письмо, вырван; уцелевшая заключительная строка («. . . это было бы, может быть, слишком поспешно. Подождем») ничего не объясняет в образовавшемся пропуске и не восполняет утраченных слов.

Не подлежит сомнению, что Чаадаев сравнил Пушкина с Данте как с великим поэтом-гражданином Италии, могучая и неукротимая душа которого печалилась о судьбах родной страны: как раз в это время Данте прославляли прежде всего как поэта-патриота, проповедовавшего ненависть к врагам отечества и предателям национальной идеи. Поэтому и к Пушкину Чаадаев обращался со словами: «Вот вы, наконец, и национальный поэт». Это сопоставление не могло исчезнуть из памяти Пушкина. У нас есть все основания предполагать, что если Пушкин в 1836 г. в шутку применил к себе те самые начальные слова посвященного Данте сонета Альфьери (O, gran padre. . .), которые мы находим в письме Пушкина к Н. Н. Раевскому 1827 г., то он мог припомнить также обращение к нему Чаадаева несколько лет спустя (в письме от 18 сентября 1831 г.): «Наш Данте. . .».

³⁰ Подлинник письма на французском языке (XI, 228, 440). В академическом издании Сочинений Пушкина текст интересующей нас строки с именем Данте содержит непонятное для нас искажение: «Voici venir (sic!) notre Dante enfin. . .». Во всех предшествующих изданиях (см., например: Соч. Пушкина. . . Переписка / Под ред. и с примеч. В. И. Сайтова. СПб., 1908, т. 2, с. 328) печаталось «Voici venir».

Воспроизводи карикатурный автопортрет, в котором Пушкин произизировал над самим собой, вообразив в шутку себя в роли Дапте, увековеченным в соответственном бюсте — с таким же лавровым венком, которым увенчан автор «Божественной комедии» в его знаменитом бюсте, столько раз воспроизведенном, Т. Г. Цявловская обратила внимание на то, что этот рисунок Пушкина «оказался пророческим, так как уже весной 1837 г., вскоре после смерти Пушкина, скульптор И. П. Витали сделал для друга покойного поэта — П. В. Нащокина мраморный бюст Пушкина в лавровом венке»;³¹ этот венок служит символом бессмертия и всенародного признания. Здесь же она заметила: «Еще в декабре 1823 года Пушкин высказал, — правда, в брошенном черновике, — ту мысль, которая привела его к такому автопортрету. XXXIX строфа второй главы „Евгения Онегина“ имела в рукописи такие варианты:

И этот юный стих небрежный
 Переживет мой век мятежный.
 Могу ль воскликнуть <о, друзья>,
 Воздвигнул памятник <и> я
 (вар.: Eхegi monumentum я).³²
 (VI, 300)

Ссылку на этот черновой набросок как на первую цитацию Пушкиным оды (III, 30) Горация или на первоначальную идею стихотворения «Я памятник себе воздвиг» мы находим у большинства исследователей «Памятника»: в комментарии Н. О. Лернера к сочинениям Пушкина под редакцией С. А. Венгерова, в статьях П. Н. Сакулина, Д. П. Якубовича, в книге Б. Мейлаха,³³ в работе Р.-Д. Кейля, что уже было отмечено нами выше,³⁴ и т. д. В книге Вл. Ходасевича также помещена особая заметка

³¹ Об этой скульптуре см. в статье: Беляев М., Рейнбот [П. Бюсты Пушкина работы Витали и Гальберга // Пушкин и его современники, вып. 37, с. 200—204. См. также статью Е. В. Ногаевской «Иван Петрович Витали, 1794—1855» (в кн.: Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников / Под ред. А. И. Леонова. М., 1954, с. 369). Л. П. Февчук в статье «Первые скульптурные изображения Пушкина» (в кн.: Пушкин и его время. Л., 1962, вып. 1, с. 399), обращая внимание на то, что бюст Пушкина работы Витали представлен был в двух вариантах — в лавровом венке и без него, установила, что первый вариант бюста 1837 г. известен только в мраморе; в 1948 г. Литературный музей Пушкинского Дома приобрел этот бюст, исполненный в гипсе. По-видимому, именно этот гипсовый экземпляр находился в Москве у П. В. Нащокина.

³² Рукою Пушкина, с. 694.

³³ Пушкин. [Соч.]. / Изд. Брокгауза—Ефрона. Пгр., 1915, т. 6, с. 495; Сакулин П. Н. Памятник нерукотворный // Пушкин / Под ред. Н. К. Пиксанова, сб. 1, с. 56; Якубович Д. П. Черновой автограф трех последних строф «Памятника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, т. 3, с. 3; Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 515.

³⁴ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 176—177.

о том, «как Горациев мотив: Non omnis moriar и т. д. двигался по стихам Пушкина».³⁵

На этой цитации Пушкиным «Eregi monumentum» в 1823 г. необходимо остановиться особо потому, что она, по нашему мнению, не является первой в стихах Пушкина, а также и потому, что, проследивая развитие мысли о «Памятнике» в ее начальных моментах, мы можем лучше понять, как и почему она могла быть воплощена поэтом с такой вдохновенной силой в 1836 г.

Из упомянутых выше исследователей, кажется, один П. Н. Сакулин, отмечая набросок 1823 г. как «прямое указание на идею „Памятника“», обратил внимание на то, что первые следы той же идеи, связанные притом с одой Горация, могут быть обнаружены значительно раньше, еще в лицейской лирике поэта. П. Н. Сакулин напомнил: «Пушкин рано уверовал в то, что „потомков поздних дань поэтам справедлива“ («К другу стихотворцу», 1814)». Еще в «Городке» (1815) поэт выражал надежду:

Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет,
И, мною вдохновенный,
На лире вздохнет.

(I, 95, 359)

Но П. Н. Сакулин ограничился этой цитатой, констатировав лишь, что «мотив потомства уже тогда приходил на мысль Пушкину».³⁶ Для нас, однако, чрезвычайно важно, что, заканчивая в 1823 г. вторую главу «Евгения Онегина» и посвящая две последние строфы размышлениям о смерти поэта и бессмертии поэзии, Пушкин опять вспомнил Лицей, своих друзей-поэтов и свои чтения римских поэтов. Прямая ссылка на «Памятник» Горация в окончательном тексте этих строф (XXXIX и XL) была отброшена, как и заключительная строфа с резким отзывом о тупых и

³⁵ Х о д а с е в и ч Вл. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924, кн. 1, с. 59. К стихам «Памятника» 1836 г. «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит» здесь приведены только две параллели: 1) из «образцов стихов Ленского» (1823):

Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав...

2) из элегии «Андрей Шенье» (1825):

Я скоро весь умру. Но тень мою любя
и т. д.

³⁶ С а к у л и н П. Н. Памятник нерукотворный, с. 55—56. Позже об этом писал также М. М. Покровский в статье «Пушкин и античность» (в кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, с. 44).

безвкусных читателей;³⁷ но и в общеизвестном печатном тексте осталось скрытое для посторонних, хотя и понятное для его сверстников-лицеистов воспоминание о лицейских занятиях античными классиками. В строфе XXXIX поэт признается, что «отдаленные надежды» ему «тревожат сердце иногда»:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
<Живу>, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть одинный звук.

(VI, 299)

Строфа XL интересна для нас в особенности, так как робко выраженная в этом лирическом отступлении от лица автора надежда на будущее признание высказывается здесь в утвердитель-

³⁷ Вопрос о том, почему ранние варианты этих строф, включая сюда приведенную латинскую цитату из «Памятника» Горация и особую заключительную строфу, оказались отброшенными, обсуждался мимоходом и не представляется нам достаточно объясненным. Н. Л. Бродский (Бродский Н. Л. «Евгений Онегин»: Роман Пушкина. 3-е изд. М., 1950, с. 164—165) высказывал по этому поводу следующее предположение: «Первоначальная мысль о невысоком уровне читателей, критики, в разные годы овладевавшая поэтом, сменялась в момент сдачи главы в печать более справедливой оценкой мнения о себе современных читателей и читательниц, которые выучивали наизусть строфы первых глав „Евгения Онегина“. Пушкин не мог этого не знать». Поэтому он якобы и не включил в печатный текст своего романа строфу, в которой речь шла именно о непонимании его читателями, их равнодушии и полном безучастии:

Но может быть — и это даже
Правдоподобнее сто раз,
Изорванный, в пыли и в саже,
Мой <напечатанный> рассказ,
Служанкой изгнан из уборной,
В передней кончит век позорный,
Как Инвалид, иль Календарь.
Или затасканный букварь.

Поэт готов был примириться с такой печальной участью своих стихов, считая ее неизбежной и обобщая свое крайне нелестное мнение о читателях вообще в следующих неотделанных стихах:

Но что ж: в гостиной иль в передней
Равно читатели <черны>.
Над книгой их права равны.
<Не я первой, не я последний>
Их суд услышу над собой,
Ревнивый, строгой и тупой.

(VI, 301)

По нашему мнению, Пушкин отказался от этих стихов и не стал их править по той причине, что они набрасывали тень на его роман, внушали слишком пессимистическую и напрасно обобщенную мысль о том, что его произведение не получит справедливой оценки; Пушкин не стал возводить напраслину на собственное творение.

ном смысле, с уверенностью, позволяющей уже предчувствовать настроения «Памятника» 1836 г., патетика которых здесь еще смягчена иронической и легкой грустью:

И чье-нибудь он сердце тронет;
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда³⁸
На мой прославленный портрет.
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных Аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

(VI, 300)

В последних стихах Пушкин вспомнил своего любимого лицейского учителя А. И. Галича, который временно, вместо заболевшего Н. Ф. Кошанского, был преподавателем русской и латинской словесности в Царскосельском лицее (с мая 1814 по июнь 1815 г.). По словам биографа Галича А. В. Никитенко, Галич нередко говаривал своим воспитанникам после оживленной, далеко не школьной беседы, взяв в руки одного из классиков: «Теперь потрепем старика».³⁹ В. К. Кюхельбекер, находясь в заключении в Свеаборгской крепости, в своем «Дневнике узника» сделал следующую запись под 2 февраля 1832 г.: «Примушь опять за Гомера; пора, как говаривал Галич, потрепать старика».⁴⁰ Таким образом, задумываясь о будущем, мечтая о юноше, который взглянет на его «прославленный портрет» и вспомнит его творения, Пушкин заранее благодарит того,

Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика,

т. е. уподобляет себя самого тем древним классикам, которых изучали лицеисты и чья отстоявшаяся, проверенная временем слава

³⁸ Необходимо отметить, что слово «невежда» употреблено здесь Пушкиным без всякой иронии, не в привычном для нас смысле неосведомленного, малообразованного человека, но в утраченном теперь значении: «неопытный, неиспорченный юноша». Cf. С. Ашукин в своей рецензии на второй том «Словаря языка Пушкина» указывает, что в словаре даны примеры употребления Пушкиным слова «невежда» в этом утраченном значении только в составе фразеологических сочетаний (например, «невежда сердцем, душой»); между тем оно употреблялось поэтом и самостоятельно, как видно из «Евгения Онегина» (в приведенной нами цитате), см.: Вопросы языкознания, 1958, № 4, с. 136—137.

³⁹ Никитенко А. В. А. И. Галич — бывший профессор С.-Петербургского университета. СПб., 1869, с. 22—23.

⁴⁰ Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929, с. 39,

стала бесспорной и общепризнанной. В этом скрытом воспоминании о Галиче, может быть, заключено также воспоминание о «старике» Горации и его «Eхegi monumentum», так как именно его, увенчанного лавровым венком самой Мельпоменой, необходимо было представить себе, читая последние строки его оды:

. . . Sume superbiam
Quesitam meritis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam, —

или в переводе М. В. Ломоносова:

Вагордися праведной заслугой, Муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.

Мы пришли к заключению, что многие важные мысли пушкинского «Памятника» 1836 г. и связанные с ним представления, в том числе и о лавровом венке как символе бессмертия и славы у благодарных потомков, появлялись у Пушкина задолго до того времени, как создано было это стихотворение. Стараясь проследить постепенное развитие этих представлений и первое их поэтическое воплощение, мы последовательно и неоднократно возвращались к лицейским годам жизни Пушкина как к их истоку. Это вполне закономерно. Всю первоначальную концепцию «Памятника» необходимо искать в его лицейском творчестве. Идеино, стилистически и даже метрически «Памятник», по нашему мнению, представляет собою видоизменение или применение одного или нескольких лицейских воспоминаний, сплавившихся вместе и навеянных поэту его навязчивой мыслью о близкой смерти. К доказательству этой догадки мы теперь и обратимся.

9

Р.-Д. Кейль в статье, названной выше, высказал несколько предположений, заслуживающих внимания и обсуждения. Таково, с нашей точки зрения, его предположение, что Пушкин, создавая свое произведение, подобно Горацию, исходил из представления о памятнике как сооружении, воздвигнутом на могиле. Пушкин, догадывается Р.-Д. Кейль, вероятно, не знал, что словами «eхegi» и «situs» Гораций намекал на надгробную надпись; тем не менее, полагает тот же исследователь, Пушкин правильно понял, что слово «monumentum» обозначает у Горация именно «надгробие», и, вероятно, поэтому, создавая «Памятник», имел перед глазами картину кладбища с тропинками между могил, заросшими травой (ср. в «Руслане и Людмиле» о поле битвы: «Зачем же смолкло ты и поросло травой забвенья» — III, 185).

В доказательство того, что «Eхegi monumentum» Горация следует понимать именно так, Р.-Д. Кейль ссылается на новейших

западноевропейских комментаторов Горация,¹ не подозревая, впрочем, что этот вопрос обсуждался также в довольно обширной старой русской «горацiane». Со своей стороны отметим, кстати, что в русских филологических исследованиях, посвященных Горацию и его оде, неоднократно упоминался Пушкин с его «Памятником» и что ряд соображений, высказанных о последнем филологами-классиками, остался совершенно неизвестен пушкиноведам.

Текст данной Горацовой оды издавна считался довольно трудным для понимания и объяснения, а некоторые ее строки даже испорченными рукописным преданием еще в очень раннее время. В особенности спорными и неясными всегда считались начальные строки оды (стихи 1—2):

Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius.

Любопытно, что видные русские знатоки Горация, толкуя эти стихи, не один раз опирались на Пушкина. Так, например, М. Нетушил писал по поводу приведенных стихов римского поэта: «Наше толкование означенного спорного места у Горация основывается, в сущности, на понимании слова monumentum, вопреки немецким комментаторам, в смысле пушкинского „нерукотворного памятника“, под которым мы понимаем тот памятник, который будет создан в памяти благодарного потомства. При таком толковании не только устанавливается тождество мысли у обоих поэтов — римского и русского, что далеко не безразлично с педагогической точки зрения, но получается гармоническое соотношение мысли и в самой оде Горация, так как начальное monumentum, срединное laude (в 8-й строке) и superbiam в конце стихотворения (строка 14) являются тогда вариациями одного и того же мотива, основного для всей оды. От этого несомненно выигрывает цельность стихотворения... Нам кажется, что поэт Пушкин лучше понял поэта Горация, чем комментаторы-филологи». Обсуждая далее вопрос, имеет ли Гораций в виду в слове «monumentum» три первые книги од (для которых данная ода служила заключением) или творчество вообще, «произведения своего духа», М. Нетушил опирается на текст Пушкина, в словах которого о «нерукотворном памятнике» также заключается «прямое и ясное указание на произведения духа поэта. Но только эти произведения не тождественны с „памятником“ — относятся к нему как причина к следствию, так как „памятник“, по мысли обоих поэтов, состоит не в том, что они написали и выпустили в свет произведения своего духа (ведь это же самое делают и плохие сочинители), а в том, что эти произведения обладают такими качествами,

¹ К e i l R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik» // Die Welt der Slaven, 1961, Jhg 6. H. 2, S. 192.

которые позволяют их авторам пережить свою физическую смерть».²

Г. Зенгер со своей стороны утверждал, что слово «*situs*» во втором стихе «не поддается удовлетворительному объяснению», что, кроме того, «решительно неуместно здесь упоминание царственно-высоких пирамид», что «весь второй стих разрушает стройность двух первых строф», но что «и Державин, и Пушкин сочли себя обязанными восстановить ее в своих подражаниях вульгате». Г. Зенгер примыкал к тем исследователям Горация, которые объявляли весь 2-й стих подложным и предлагали вовсе исключить его из текста; в стихе же 12-м он принимал в качестве «восполнения» целый искусственный стих, сочиненный немецким комментатором в XIX в. Любопытно, что все эти довольно сложные текстологические операции Г. Зенгер производил также, опираясь на «Памятник» Пушкина; о последнем стихотворении он высказал попутное суждение, на которое мы еще будем иметь случай сослаться позже. «Пушкин, — писал Г. Зенгер в своем комментарии к Горацию, — устранил трудность с мастерством истинно великого художника... Сопоставляя свой „памятник“ с другой национальной славой, тоже лишь символизированной колонною, он создает однородность в терминах сравнения, а предпослав эпитет „нерукотворный“, он искусно наводит читателя на метафорическое понимание дальнейшего „вознесся выше“ («поэтические подвиги качественно выше военных», как бы *Cedant carminibus reges regumque triumphis*. Ов. А. I, 15, 33).³

По поводу второго стиха Горациевой оды, вызвавшего долгие споры, высказался также И. Холодняк. Подводя итоги оживленной полемике и критически оценивая различные доводы за исключение или сохранение в оде указанного стиха, он писал: «Выяснилось, что наиболее существенными возражениями против его присутствия в тексте являются два аргумента: 1) непригодность обыкновенных значений *situs* для данного места и 2) неуместность упоминания египетских пирамид. Остальные доводы, как несерьезные, могут быть смело опущены. Нам думается, что существует одна точка зрения на эту оду, или мало, или вовсе не подчеркиваемая толкователями, при которой: 1) названный стих существенно необходим в тексте стихотворения и 2) *situs* и пирамиды получают должное объяснение». По мнению И. Холодняка, «„*Exegi monumentum*“ Горация носит довольно ясно выраженный сепулькральный характер, входя в довольно многочисленный (эпиграфически, а отчасти и литературно) класс поэтических эпитафий автобиографического типа».⁴ В другой своей

² Нетушил М. Еще к Горацию III, 30, 1—2 // Филол. обзор. М., 1895, т. 8, кн. 2, с. 141—143.

³ Зенгер Г. Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. 2-е изд. Варшава, 1895, с. 204—209, примеч.

⁴ Холодняк И. Еще раз «*Regalique situ pyramidum altius*» // ЖМНП, 1902, № 4, отд. 5, с. 149—152.

работе И. Холодняк посвятил этому типу метрических надгробий (*elogium autobiographicum*), довольно распространенному в первые три века римской империи, особую главу;⁵ эпитафии, сочиненные от имени умершего, с перечислением или характеристикой его собственных заслуг, иногда с традиционным обращением к прохожему, путнику и т. д., засвидетельствованы как эпиграфикой, на реальных каменных надгробиях,⁶ так и в римской литературе. В качестве одного из ранних литературных примеров И. Холодняк называет метрическую эпитафию древнего римского поэта Энния, сохраненную в «Тускуланских беседах» Цицерона (I, 15; начало: *Adspicite, o cives, sennis Enni imaginis formam...*), которая кончается следующим двуступием:

*Nemo me lacrumis decoret nec funere fletu
Faxit. Cur? Volito vivos per ora virum,*

т. е. «Да не почтит никто меня своими слезами и да не завершит он моих похорон своим плачем. Почему? Потому, что я жив и порхаю по устам».⁷ Впоследствии сходные стихи в стиле эпитафий автобиографического характера написали о себе Проперций (IV, 1, 35 сл., 57 сл.), Овидий (*Metam.* XV, 871—879; ср.: *Amor.* I, 15, 51 и сл.), Марциал (*Epigr.* I, 1: *hic est, quam legis ille...*).

Таким образом, рассуждает И. Холодняк, Гораций следовал довольно древней и еще живой в его время традиции метрических надгробий: если Энний, «написав свое главное произведение — „Летопись“, составляет себе quasi-эпитафию, с кратким итогом своих заслуг», то и Гораций, «считавший себя лириком, заполнившим большой пробел в римской поэзии, которой, по его мне-

⁵ Холодняк И. И. О некоторых типах римских метрических надгробий. СПб., 1899, с. 51—91 (глава III. *Elogium autobiographicum*). Автор долгие годы собирал материалы для обобщающего историко-литературного очерка о стихотворном жанре римских эпитафий, но он остался незавершенным (см. некролог И. И. Холодняка, написанный А. И. Малеиным: ЖМНП, 1913, № 7, отд. 5, с. 67—68).

⁶ Петровский Ф. А. Латинские эпиграфические стихотворения. М., 1962; в этой книге (с. 56—80) приводится ряд подобных метрических эпитафий (биографического и автобиографического характера) в оригиналах и в русских стихотворных переводах.

⁷ О эпитафии Энния и полный ее текст см. в книге И. И. Холодняка (О некоторых типах римских метрических надгробий, с. 31—32). Те же примеры, начиная с Энния, приводит в своем комментарии более ранний русский исследователь и переводчик оды Горация — Н. Фокков в статье «Ода (Lib. III, Carm. XXX) Квинта Горация Флакка» (ЖМНП, 1873, № 12, отд. 5, с. 137—138); мы находим у него дополнительное указание, что стихи, сходные с эпитафией Энния, «Вергилий произнес от собственного лица:

*Tendanda via est, qua me quoque possim
Tollere humo victorique virum volitare per ora,*

т. е. „Следует попытаться [идти] таким путем, чтобы и я мог тоже подняться с земли и в качестве победителя (конечно, разумеется уместное превосходство) жил бы в устах людей“».

нию, лирики именно и не хватало, написав 3 книги од и, конечно, рассчитывая этим и кончить свою лирическую миссию (не верить его биографу нет никаких оснований), пишет себе также quasi-эпитафию и тоже с перечнем и характеристикой своих вкладов в поэтический обиход Рима». ⁸ «Eхegi monumentum» Горация написано совершенно в «кладбищенском» тоне: с первых же слов оды читателю бросается в глаза «несомненно намеренная амфиболия», ⁹ т. е. словесная поэтическая двусмысленность, такого основополагающего для всей оды слова, как «monumentum». Это, во-первых, в широком смысле нечто, «сохраняемое в памяти (passiv.) и напоминающее о чем-нибудь (activ.)», и, во-вторых, памятник надгробный («monumenta» во множественном числе в латинском языке употреблялось для обозначения кладбищ, см.: Petron. 62). При таком объяснении первые два стиха оды Горация означают: я потрудился («ехеги») над возведением себе памятника долговечнее и выше обыкновенных металлических и каменных сооружений. На долговечность указывает металл — медь («aere perennius»). Камень, который здесь имеется в виду, «тоже сепулькральный», потому что Горацию «представлялись как единственно достойные стать в параллель с его monumentum только царские камни, т. е. не мавзолеи даже, а именно пирамиды, синоним высоты и прочности (Plin., Historia Naturalis, 36, 16, 1, 3)». «Да за пирамидами ходить и не надобно было так далеко», — прибавляет И. Холодник, указывая на ту же «Естественную историю» Плиния, где описан «составной из пирамиды памятник, который себе сделал в качестве надгробия царь Этрурии Порсенна; кроме того, мода на пирамиды проникла в Рим еще при жизни Горация: «Он еще мог видеть в Риме Цестиеву пирамиду, воздвигнутую в последние годы его жизни» и, прибавим от себя, существующую еще и по сей день в Риме, рядом с английским кладбищем.

Действительно ли Пушкин догадывался о таком «сепулькральном» смысле оды Горация, какой придают ей комментаторы, и подозревал, что «Eхegi monumentum» есть род эпитафии, сочиненной римским поэтом самому себе? Это очень правдоподобно, потому что для Пушкина, как и для его предшественников и современников, латинское, воспринятое русским языком слово «монумент» и синонимическое ему «памятник» были многозначны и означали не только сооружение, воздвигнутое в честь кого-либо или в память о чьих-либо делах, но и надгробие на могиле умершего;

⁸ Холодник И. Еще раз «Regalique situ pyramidum altius», с. 159.

⁹ Под греческим термином «амфиболия», употреблявшимся в стилистике, Кант, как известно, понимал особую форму «двусмысленности» или «двузначности»: возможность придать какому-нибудь предмету различные по своей природе свойства и способность обсуждать их одинаковым образом. Именно это И. Холодник, очевидно, и имеет в виду, рассуждая об оде Горация и обнаруживая амфиболию не только в слове «monumentum», но и в стихе 2-м (в словах «regalis situs» — «амфиболия между гробницей и заброшенностью») и в стихе 13-м («princeps» рядом с «rotens»).

в особенности слово «монумент» в XVIII и начале XIX в. сохраняло еще свой «кладбищенский» колорит.¹⁰

В литературе русского предромантизма того же периода, в полном соответствии с западноевропейской «готической» поэзией ночных размышлений, кладбищ и развалин, возникшей под сильным воздействием Грея и Юнга, слово «памятник» также нередко означало «надгробие» и упоминалось в смысле «монумента», «мавзолея» или «погребальной урны». Одно из первых произведений юноши Жуковского, «Мысли при гробнице», напечатано в той же книжке журнала «Приятное и полезное препровождение времени» (1797), что и статья его учителя М. Н. Баккаревича «Надгробный памятник».¹¹ Кладбище в ту пору представлялось местом, особенно располагающим к чувствительности и меланхолическим мечтаньям; кладбищенские пейзажи, не столько реальные, сколько стилизованные, с кипарисами, журчащими ручьями и мраморными «памятниками», освещенными луной, были чрезвычайно популярны в литературе; посвященные им стихи и прозаические «прогулки» не сходили со страниц русских журналов последнего десятилетия XVIII в.¹² В это время напечатано было множество русских переводов и переделок, в прозе и в стихах, знаменитой элегии Т. Грея «Сельское кладбище» («Elegy written in a country churchyard», 1750).¹³ На пороге нового века Жуковский, поощряемый Карамзиным, дважды перевел эту элегию (в 1801 и 1802 гг.; третий ее перевод, сделанный Жуковским в гекзаметрах, относится уже к 1839 г.) и посвятил ее печатный вариант своему другу Андрею Ивановичу Тургеневу, одному из учредителей Дружеского литературного общества, только что перед тем основанного. Вторая (печатная) редакция «Сельского кладбища» в переводе Жуковского, в которой заметно усилены сентиментально-меланхолические черты, кончается надгробной надписью умершему юноше-поэту и предпосланным ее тексту традиционным обращением к прохожему:

Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброю слезой благословить
и т. д.

¹⁰ См., например, известие в «Сыне отечества» (1812, ч. 2, с. 224): «Супруга покойного ген.-фельдмаршала кн. Репнина покоилась в особом памятнике в окрестностях Вильны. Наши войска, овладев ныне сим городом, нашли, что монумент кн. Репниной разбит, тело ее выкопано и гроб открыт для похищения перстней». Ср. оду Державина «Монумент милосердию» (1805). Широкой популярностью пользовалась у нас и неоднократно цитировалось изречение Бернарден де Сен-Пьера: «Гробница есть памятник, воздвигнутый на рубеже двух миров». В качестве эпитафии мы находим это изречение в книге В. В. Соколовского «Одла и две, или Любовь поэта» (М., 1834, ч. 4, с. 115).

¹¹ Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906, [вып. 1], с. 131—132.

¹² Там же, с. 137—139, 152—162.

¹³ Перечень русских переводов «Сельского кладбища», напечатанных до появления перевода Жуковского, см. в названном исследовании В. И. Резанова (с. 162—163).

Это «надгробие» — из заключительной части элегии — печаталось у нас и отдельно под заглавием «Эпитафия господина Грея самому себе». Неожиданная смерть Андрея Тургенева наполнила новым содержанием эту эпитафию для всех его друзей по литературному обществу и возбудила среди них мысль о памятнике усопшему. «В сей тихой обители воздвигну памятник тебе, незабвенному», — говорил Жуковский, а Мерзляков писал ему (24 августа 1803 г.): «Памятник другу нашему — прекрасная мысль. На что нам ставить ему на могилу? Будем сами могилами живому, вечно живому духу нашего друга. Памятник этот должен быть лучшим украшением нашего кабинета».¹⁴

В 1803 г. Державин оплакал смерть Н. А. Львова в стихотворении «Память другу». В этом стихотворении он вспоминает о том памятнике, который обещан был ему покойным:

Кто памятник над мной поставит,
Под дубом тот сумрачный свод,
В котором мог меня бы славить,
Играя громами, Эрот?¹⁵

Подобные памятники, мавзолеи, урны, «кенотафии» были в стиле эпохи и составляли характерные и приметные ее признаки; поэтические «надписи» и «кенотафии»¹⁶ заполняли книжки журналов и сборники стихотворений, образуя очень популярный жанр, устойчиво державшийся в русской литературе несколько десятилетий.

И. М. Долгорукий в своем «Журнале путешествия из Москвы в Нижний 1813 года» посвятил целую главу «Мавзолей» описанию имения неподалеку от Пензы, которое ему очень понравилось. «Хозяин любит памятники, — пишет он в этой главе, — жена его также; они оба во времена в разных местах своего сада ставили их друзьям и приятелям. Таким образом увековечиваются если не самые монументы, кои подвержены разрушению, то

¹⁴ Приведа это письмо А. Ф. Мерзлякова к Жуковскому по публикации в «Русском архиве» (1871, № 2, с. 0140—0141), В. И. Резанов (Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пгр., 1916, вып. 2, с. 595—596) отметил, что слова Жуковского о памятнике «не были простой фразой, а выражали серьезное намерение нашего поэта соорудить нечто вроде мавзолея или саркофага Андрею Тургеневу в собственном кабинете. Для этой цели именно, по-видимому, им и была приобретена та урна, о которой идет речь в письме Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу из Белева от 31 августа 1805 г. — только теперь мысль изменена, и урна предназначена была для надгробного памятника в Петербурге».

¹⁵ Державин Г. Р. Соч. . . / С объясн. примеч. Я. К. Грога, т. 2, с. 459—463.

¹⁶ В «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (СПб., 1821, ч. 2, с. 45) дается следующее определение термина «кенотафия»: «Род эпитафии. Разность ее от последней состоит в том, что она пишется для отдаленно умерших или, как должно предполагать, вырезывается на памятниках, в честь их воздвигаемых, или на гробницах пустых, то есть не содержащих в себе тела покойника, но поставленных только для воспоминания». См.: Дмитриев Ив. Соч. М., 1803, ч. 2, с. 106 («Кенотафия»).

по крайней мере преданиями из рода в род доходят до самых поздних потомков сведения о тех людях, коих имена по какому-либо случаю обращали на себя внимание современников.¹⁷ Сколько Сатурн рушил пирамид, статуй, ворот торжественных, но спустя несколько столетий история нам говорила: тут был такой-то памятник; он истлел, но причина его еще громка в потомстве». ¹⁸ Княгиня Зинаида Волконская, поселившись в Риме, превратила аллеи сада при своей вилле «в настоящую „Божью пиву“, или „Campo santo“, обставив все аллеи по обеим сторонам монументами, собранными из античных пьедесталов, капителей, колонн, архитравов и других частей римского сооружения. Только эти монументы не надгробные, воздвигнутые не на прахе покойников, а, так сказать, поминальные, т. е. в воспоминание о незабвенных особах: о родных и друзьях, а также о лицах, дорогих сердцу в этом оригинальном пантеоне... Кн. Волконская снабдила все монументы своей виллы надписями, которые сама сочиняла». ¹⁹ А. И. Тургенев сообщал, что, побывав на этой вилле, он обещал З. А. Волконской описать все эти «памятники по родным и милым ближним, коими населила она римские развалины», и «собирался сделать из этого статью для журнала Пушкина». ²⁰ В «Современнике» Пушкина эта статья А. И. Тургенева не появилась, но вскоре после гибели поэта в «Аллее сувениров» на вилле Волконской прибавился памятник Пушкину, поставленный неподалеку от памятников Карамзину, Д. В. Веневитинову, Гёте, В. Скотту. ²¹ В полном согласии с этой старой традицией в подмосковной Вяземских Остафьево против дома и в парке поставлены были памятники Карамзину, Пушкину, потом Жуковскому и, наконец, самому П. А. Вяземскому. ²²

Слово «памятник» в значении реального надгробия над прахом умершего постоянно употребляли в 30—40-е гг. Повесть Вл. Владиславлева «Бесприютный» (1827), может быть, известная Пушкину, начиналась лирическим размышлением на одном из

¹⁷ Ср.: Дмитриев М. А. Кн. И. М. Долгорукий и его сочинения. М., 1863, с. 68—69 (описание «памятника», воздвигнутого Долгоруким в комнате его квартиры в память жены: «Монумент стоял на самом том месте, где скончалась княгиня»).

¹⁸ Долгорукий И. М. (1764—1823). Изборник. М., 1919, с. 151.

¹⁹ Буслев Ф. И. Римская вилла кн. З. А. Волконской: Из моих воспоминаний // Вестн. Европы, 1896, кн. 1, с. 25, 28—32.

²⁰ Архив бр. Тургеневых. СПб., 1921, т. 6. Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским, с. 124.

²¹ Наиболее полное описание «Аллеи сувениров» и снимки с памятников см.: Полонский Я. Б. Литературный архив и усадьба кн. Зинаиды Волконской в Риме // Временник О-ва друзей русской книги. Париж, 1938, кн. 4, с. 175—179. Одно из ранних в русской печати описаний этих памятников дал М. П. Погодин в книге «Год в чужих краях, 1839. Дорожный дневник» (М., 1844, ч. 2, с. 27—28). См. также: Гаррис М. А., Каллаш М. А. Зинаида Волконская и ее время. М., 1926, с. 110—111.

²² Ашкин Н. С. Пушкинские места в Москве и ее окрестностях. М., 1924, с. 36—38.

петербургских кладбищ; мы находим здесь строки, лексически близкие к нескольким стихам пушкинского стихотворения: «Памятники и надгробные надписи являют обильный источник размышлению. Посмотри, вот памятник герою. Он украшен архитектурой... Вот памятник временщику. Он порос травой; нет к нему тропинки и давно не раздавалась здесь вечная память!... Вот могила доброго. Укромишь памятник сооружен друзьями. Тропинки идут со всех сторон» и т. д.²³ В стихотворении некоего П. Шрк «Могила поэта» также говорится:

Могила свежая была передо мною.
И думал я: великий человек!
Чрез два-три дня здесь памятник прекрасный
Соорудят тебе; признательный наш век
Хвалу здесь выразит рукою беспристрастной
и т. д.

Автор задает себе, однако, вопрос, не имел ли врагов покойный поэт «как человек», и ужасается тому, что

И те придут сюда, и ряд великих дел
Начнут чернить с улыбкою презренья.
Они придут бранить и клеветать
Твой памятник безмолвный и великий.²⁴

О реальном надгробном памятнике, говорил, наконец, и Гоголь в своем «Завещании», напечатанном в предсмертной книге «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе».²⁵

«Словарь языка Пушкина» отмечает несколько случаев употребления поэтом слова «памятник» в значении «надгробного сооружения»: в «Евгении Онегине», в «Путешествии в Арзрум» и в «Каменном госте»;²⁶ в двух случаях из трех указанных эти

²³ Владиславлев Вл. Повести и рассказы. СПб., 1835, ч. 1, с. 171.

²⁴ Шрк П. Могила поэта // Маяк, 1843, т. 11 (гл. 1. Стихотворения), с. 6—7.

²⁵ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 219. Пародию на эти слова Ф. М. Достоевский вложил в уста Фомы Опискина в своем «Селе Степанчикове»: «О, не ставьте мне монумента!.. В сердцах своих воздвигнете мне монумент». Любопытно, что П. И. Бартонов, публикуя впервые описание автографа пушкинского «Памятника», вспомнил приведенные слова Гоголя и заметил по этому поводу: «В светлые минуты свои Пушкин отличался необыкновенно ясным сознанием своих сил и своего значения. Нет, однако, сомнения, что он никогда бы не решился печатно говорить о памятнике самому себе, как это сделал в оглашенном при жизни духовном завещании своем другой великий наш писатель» (Бумаги Пушкина. М., 1881, вып. 1, с. 200).

²⁶ Словарь языка Пушкина. М., 1959, т. 3, с. 270—271.

памятники прямо названы «надгробными». О могиле Дмитрия Ларина, например, говорится («Евгений Онегин», глава вторая, строфа XXXVI):

И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит.

(VI, 47)

В «Путешествии в Арзрум» читаем: «Два, три надгробных памятника стояло при дороге» (VIII, 449). Лишь в «Каменном госте» (сцена I) мы встречаем то же слово в значении надгробия, но без разъясняющего его прилагательного:

Д о н Г у а н

Так здесь похоронили командора?

М о н а х

Здесь; памятник жена ему воздвигла
И приезжает каждый день сюда
За упокой души его молиться
И плакать.

(VII, 141—142)

Этот пример, однако, не единственный.²⁷ Существует одно чрезвычайно любопытное для нас четверостишие в лицейском послании Пушкина к Дельвигу (1816), в котором Пушкин употребляет слово «памятник», имея в виду надгробие над собственной могилой; эти стихи не отмечены в «Словаре языка Пушкина», так как они находятся в черновой редакции послания, впоследствии несколько раз переработанного. В данных стихах Пушкин доверительно сообщает своему другу о вражде и зависти, которые обрекают на жертву его дальнейшее поэтическое творчество, и прибавляет:

И тихо проживу в безвестной тишине;
Потомство грозное не вспомнит обо мне,

²⁷ Для понимания слова «памятник» прежде всего как «надгробия» примерами могут служить следующие цитаты. А. И. Тургенев писал А. И. Нефедовой (Петербург, 30 января 1837 г.) по поводу погребения только что умершего Пушкина, не зная еще, где предадут его земле, — «здесь ли или в псковской деревне»: «Лучше бы здесь . . . Деревня может быть продана, и кто позаботится о памятнике незабвенного поэта?» (Пушкин и его современники. СПб., 1908, вып. 6, с. 57). В некрологической заметке в «Московском наблюдателе» (1837, т. 10, с. 122) о покойном поэте, между прочим, писали: «Для Пушкина настало мн. вшее; настал печальный вопрос, какое место должен занять его памятник в ряду тех русских гробниц, где покоятся владельцы нашей мысли и слова. Н. Полевой в свою очередь писал о Пушкине «через две недели после смерти его»: «Пусть каждый из нас, кто ценит гений Пушкина, будет участником в сооружении ему надгробного памятника. . . И в мраморе или в бронзе станет на могиле Пушкина монумент, свидетель того, что современники умели его ценить . . . И тихо задумается странник, зашедший в верхние стены уединенной святогорской обители, где почует незабвенный прах первого поэта нашей земли» (Полевой Н. Очерки русской литературы. СПб., 1839, ч. 1, с. 229).

И гроб несчастного в пустыне мрачной, дикой
(вар.: И памятник певца в пустыне мрачной, дикой)
Забвещья порастет ползущей повиликой.

(I, 247)

За двадцать лет до создания «Памятника» 1836 г. Пушкин впервые представил себе свой не метафорический, но реальный памятник-надгробие и описал его словами, отзывающимися еще элегией Грея о сельском кладбище в переводе Жуковского. Нам придется ниже еще раз коснуться цитированных стихов из послания Пушкина к Дельвигу, так как, по нашему мнению, связь с ними «Памятника» 1836 г. гораздо важнее и реальнее, чем это может представиться при их сопоставлении с первого взгляда. Отметим здесь предварительно лишь то, что слово «памятник» было для Пушкина действительно многозначным на всем протяжении его творчества и что задолго до создания своих знаменитых двадцати строк 1836 г. он уже неоднократно пользовался тем же словом метафорически в значении «результатов деятельности» исторического лица, в том числе и литературно-творческих. Если в «Полтаве» говорится о Петре I:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе,

(V, 63)

то пять лет спустя, 29 мая 1834 г., Пушкин писал жене по поводу задуманного собственного труда — «Истории» того же героя: «Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку; скопляю материалы — приво ку в порядок — и вдрут вылью медный памятник» (XV, 154). Эта метафора была распространена у нас еще в начале XIX в. и неоднократно встречалась затем в печати в следующие десятилетия.²⁸

²⁸ И. И. Мартынов в примечаниях к своему переводу трактата Псевдо-Лонгина «О высокому» (СПб., 1803), утверждая, что «одно токмо одобрение потомства может утвердить истинное достоинство сочинения», и называя русских писателей «всех веков», например Ломоносова и Державина, замечал, что и «Карамзин не тщится над своим памятником» (с. 103). В надписи к портрету М. И. Кутузова Н. И. Иванчин-Писарев между прочим восклицал:

Ты памятник себе воздвиг не из металлов,

а в большом стихотворении «К Ивану Ивановичу Дмитриеву» говорил о его поэме «Ермак»:

Ты памятник воздвиг забвенному герою

(Иванчин-Писарев Н. Соч. и переводы в стихах. М., 1819, с. 113 и 285). В архаической по замыслу и по исполнению «надписи» А. Коптева «К М. М. Хераскову» читаем:

Царь Кадм, Чесменский бой, Владимир, Россияда,
Вот славный обелиск, вот славный монумент!

Можно напомнить попутно еще целое рассуждение о «Памятнике», включенное в полемическую статью Ю. Венелина в журнале «Галатея» (1829); оно представляет интерес не только развитием своей мысли, в основу которой положена интересующая нас метафора, но и тем, что здесь упомянуты также Пушкин и Гораций. «На всякое сочинение должно смотреть как на памятник, который сооружает себе сочинитель, — пишет Венелин. — Всякий сочинитель сооружает оный по силам и уменью; материалы для сооружения памятников столь же различны, сколь разнообразны и искусства, и роды знаний человеческих. Иной творец сооружает себе *гладкий* памятник, как Овидий или Пушкин; иной остроумный — *острый*, иной высокий, величественный, как Омир, Гораций, Платон; иной — *изящный*, как Цицерон, Демосфен, Карамзин и проч. Форм их есть множество. Но касательно твердости: иной, по неумению, сооружает из глины, другой из дерева, иной из железа, *сребра, золота* и т. д. Вновь воздвигаемые памятники не могут быть тотчас опровержены; их истребляет только дух времени... Но кто соорудил себе памятники твердые, прочные, металлические или мраморные, их не легко повредить может и самое время».²⁹

10

В бумагах Пушкина среди черновых отрывков и незавершенных замыслов последнего года жизни поэта найден был между прочим «план ненаписанного стихотворения»; так во всяком случае в большом академическом издании назван тот небольшой

А пьедестал его — других поем громада.
Херасков! Торжествуй — тебе дивится свет

(К о п т е в А. Стихотворения. СПб., 1834, с. 95). В том же 1834 г. Белинский в рецензии на альманах «Пантеон дружбы», наполненный посредственными стихами безвестных авторов, проницески восклицал: «Это все имена знаменитые; их авторитет крепок как монумент, воздвигнутый себе Горацием и Державиным» (Б е л и н с к и й В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 147).

²⁹ Венелин Ю. О библиографическом искусстве «Телеграфа» и учености издателя оного // Галатея, 1829, ч. 9, № 42, с. 48—49. Для понимания этой метафоры стоит, может быть, напомнить также о широко известном сопоставлении библиотеки и кладбища, которое дал Н. Полевой в статье «Слава, нас учили, дым» (Новый живописец общества и литературы, 1832, ч. 2, с. 160). Описав библиотеку в частном доме, Полевой размышлял далее о книгах: «Уравненные переплетам» шкапами, как будто гробами и могилами, все, все стояли предо мною за стеклами, безмолвные, враг подле врага, рязанец подле парижанина, грузинец подле грека, татарин подле чухонца! Суд читателей поражает их неподвижных, молчаливых... Алфавитный реестр библиотеки показался мне помпальником, библиотека — обширным кладбищем, книги — надгробными камнями, где

Под свежим дерном гробовым
Спит сердце, некогда земным
Смертельным пламенем согрето».

фрагмент, который имеет французское заглавие «Prologue». Его необходимо воспроизвести полностью:

Prologue

Я посетил твою могилу — но там тесно; les morts m'en distrai(е)nt — теперь иду на поклонение в Ц(арское) С(ело) и в Баб(олово).

Ц(арское) С(ело)! . . . (Gray) les jeux du Lycée, nos leçons . . . Delvig et Kuchel(е)cker, la poésie — Баб(олово).¹

Н. О. Лернер впервые опубликовал этот «Пролог» еще в 1930 г.² с ничем не мотивированной датировкой («конец 20-х годов»), очевидно, объяснявшейся тем, что еще в своей хронологической канве для биографии Пушкина, составленной за несколько десятилетий до публикации отрывка, Лернер относил «Пролог» к «Запискам» Пушкина, «сожженным им в конце 20-х годов».³

Последующие текстологические и графические наблюдения над указанной рукописью, а также экспертиза бумаги, на которой написан приведенный текст (голубоватого цвета с водяным знаком фабрики Гончаровых; на такой же бумаге Пушкин написал белой текст своего «Памятника»), подтвердили, что возникновение отрывка должно относиться к более позднему времени — к 1835—1836 гг.; к этому времени относит «Пролог» и академическое издание.

Автобиографический смысл «Пролога» не подлежит сомнению, хотя очертания и колорит этого неосуществленного произведения представляются в общем зыбкими и неясными; трудно даже установить с полной определенностью, стихотворному или прозаическому произведению «Пролог» должен был служить вступлением. Тем не менее вдуматься в детали черновика и попытаться истолковать его указания крайне необходимо, в особенности после того как мы знаем теперь вероятное время написания цитированных строк.

Прежде всего у нас возникает вопрос, у чьей могилы был Пушкин («Я посетил твою могилу, но там тесно»)? Несколько лет назад Р.-Д. Кейль предположил, что речь шла здесь о могиле А. А. Дельвига.⁴ Совершенно независимо от немецкого исследователя, исходя из других оснований, к такому же выводу пришел Л. Черейский.⁵ Это очень правдоподобно. Дельвиг, как известно, умер 14 января 1831 г. и 17 января был похоронен на

¹ III₁, с. 477; III₂, с. 1069 (варианты чернового автографа). Приводим перевод французских фраз, перемежаемых в автографе с русским текстом: «покойники меня от все отвлекают. . . (Грей). Лицейские забавы, наши уроки . . . Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия. . .».

² Собр. соч. Пушкина / изд. «Красной нивы», М., 1930, т. 5, с. 487.

³ Лернер Н. О. Труды и дни Пушкина. 2-е изд. СПб., 1910, с. 451.

⁴ Keil R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik» // Die Welt der Slaven, 1961, Jhg. VI, H. 2, S. 192.

⁵ Черейский Л. Новое о Пушкине // Нева, 1963, № 11, с. 220.

Волковым кладбище;⁶ надо думать, что именно об этом кладбище и идет речь в «Прологе». Существенно, однако, то, что посещение «дорогой могилы» составляло не только начальную, но и опорную тему «Пролога», определяло в то же время основную лирическую окрашенность воспоминаний о днях юности поэта и его лицейских друзьях, о чем речь должна была идти далее. Вспомним в связи с этим стихотворение Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу»; оно тем более интересно для нас, что нам известна точная дата его написания — 14 августа 1836 г.⁷ (за неделю до «Памятника»). Вспомним его начальные строки:

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом
и т. д.
(III, 431)

Нас поражает в этом тексте не только та же «кладбищенская» тема, что и в начале «Пролога», но даже прямое словесное соответствие в суждении об этом «публичном кладбище», на котором находится «дорогая могила». «Но там тесно», «покойники меня от нее отвлекают», — говорится в «Прологе», может быть, о том самом месте успокоения, которое посетил поэт и описал в своем стихотворении, ужасаясь обилию составляющих его могил, «кое-как стесненных рядком».

Стихотворение основано на противопоставлении двух кладбищ — «стесненного» столичного, расположенного за городской чертой, и сельского, пустынного и поэтического; первое наводит «злое уныние» на поэта, второе, наоборот, манит его своим призывом:

Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На месте праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колелясь и шумя.

(III, 431)

⁶ Г а с т ф р е й н д Н. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицей. СПб., 1912, т. 2, с. 355; Вел. кн. Н и к о л а й М и х а й л о в и ч. Петербургский некрополь. СПб., 1912, т. 2, с. 25—26; Д е л ь в и г А. И. Мои воспоминания. Л., 1930, ч. 1, с. 117.

⁷ Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937, с. 92—93, № 233.

Не забудем, что мать поэта, Надежда Осиповна, умерла 29 марта 1836 г. и погребена в святогорской монастырской церкви. Пушкин ездил на похороны в родные края и тогда же присматривал место для могилы себе самому.⁸ Лакопизм русско-французских строк черновика «Пролога» не дает нам возможности установить, как предполагалось развить в нем начальный мотив о посещении «дорогой могилы»; тем не менее стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу» и по своей теме, и по своему настроению может представиться нам одним из возможных вариантов начала «Пролога». Недаром в первых строках этого последнего упомянуто имя Томаса Грея, автора уже упоминавшейся выше элегии «Сельское кладбище» (1750), переведенной В. А. Жуковским; эта элегия была хорошо известна лицеистам. Характерно, что имя Томаса Грея в произведениях Пушкина упоминается только дважды и оба раза в его ранних стихах. В первый раз он назван в лицейском послании к сестре, где поэт спрашивает, как идут ее дни и какие книги занимают ее досуг:

Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
В дол веет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?

(I, 41)

Второе упоминание Грея — в шуточной записке Пушкина Жуковскому (1814), где этот тогда еще молодой поэт и офицер отождествлен с поэтами, которых он переводил; в этом перечне Грей — несомненно как автор «Сельского кладбища»⁹ — стоит на втором месте из четырех:

Штабс-капитану, 1 ете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!

(II, 131)

К Грею и «кладбищенской» теме ведет нас также имя итальянского поэта Ипполита Пиндемонта, вспомнившееся Пушкину летом того же 1836 г. («Не дорого ценю я громкие права»). Пушкин озаглавил свое стихотворение «Из Пиндемонта». Известно, что оно не является переводом, но принадлежит самому Пушкину; именем же веронского поэта, малоизвестного в России, Пушкин, вероятно, воспользовался как прикрытием для отвлечения цензурных подозрений от своего стихотворения, которое он, оче-

⁸ В некрологе Пушкина, напечатанном в 10-й книжке «Современника» за 1838 г., П. А. Плетнев свидетельствовал: «Пушкин за несколько месяцев до смерти своей лишился матери и сам провожал отсюда ее тело в Святогорский монастырь. Как бы предчувствуя близость кончины своей, он назначил подле могилы ее и себе место, сделавши за него вклад в монастырскую кассу» (П л е т н е в П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885, т. 1, с. 385).

видно, готовил к печати (оно известно по двум рукописям). Хотя М. Н. Розанов и пытался установить кое-какие аналогии между произведением Пушкина и стихотворными «Sermoni» Пиндемонте, он все же должен был признать, что «Не дорого ценю я громкие права» — «не текстуальное заимствование и не пассивное подражание», а поэтическая обработка «мотивов и звуков, самостоятельно зародившихся в душе Пушкина и встреченных затем у других поэтов», в первую очередь у Альфреда де Мюссе и Пиндемонте.⁹ Б. В. Томашевский со своей стороны указал, что Пушкин знал этого итальянского поэта еще в 1821 г. по книге Сисмонди «О литературах южной Европы» и что именно из этого источника он почерпнул эпиграф для «Кавказского пленника» и усвоил написание его имени (с «i» на конце: Pindemonti).¹⁰ «Для Пушкина, — пишет Томашевский, — поэзия Пиндемонте, очевидно, определялась характеристикой, какую дал этому поэту Сисмонди: „Кавалер Ипполит Пиндемонтти из Вероны, вероятно первый среди итальянских поэтов, писавший мечтательные и меланхолические стихи. Потеря друга, болезнь, которую он считал смертельной, показали ему ничтожество жизни. Он порвал связь со всем личным, и сердце его обратилось к наслаждениям природы, сельской жизни и одиночества... Многие стихотворения Пиндемонтти связаны со стихами Грея. Странно слышать, как северный поэт говорит на итальянском языке! Непонятно, как мечтательная душа могла развить свои чувства среди празднеств природы в Италии“» и т. д.¹⁰ Прибавим, что все четыре тома книги Сисмонди в 3-м парижском издании 1829 г. находились в библиотеке Пушкина и дошли до нас.¹¹ Трудно отделаться от впечатления, что в 1836 г. Пушкин вспомнил Пиндемонте по ассоциации с Т. Греем или потому, что знал, хотя бы по характеристике Сисмонди, о «кладбищенских» стихотворениях итальянского поэта, навеянных «Сельским кладбищем» Грея¹² и «Ночными думами» Юнга.

В пушкинских стихотворениях 1836 г. действительно есть мотивы, родственные Пиндемонте. Стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу» имеет аналогию в поэме Пиндемонте «I Cimiteri» (1806), начатой под прямым воздействием элегии Грея. Противопоставление бессмертия поэзии и искусства менее долговечной памяти о деятельности на военном или политическом

⁹ Розанов М. Н. Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонтти» // Пушкин / Под ред. Н. П. Баранова. М.; Л., 1930, сб. 2, с. 136—137. Ср.: Вет А. Alfred Mussét a Puškin / Časopis pro Moderni Philologii, 1932, 18, č. 2, s. 174 (в статье «Rusko-francouske literarni styky: Bibliografické poznatky»).

¹⁰ Томашевский Б. Пушкин. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 265.

¹¹ Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 9—10, с. 338 (№ 1391).

¹² Micalè O. Thomas Gray e la sua influenza sulle letteratura italiana. Catania, 1934, p. 193—196; ср.: Торрасса А. I Sepolcri del Pindemonte. — Nuova Antologia, 1884, 1 ottobre.

поприщах, сделанное Пиндемонте в стихотворении «Истинная заслуга» («Il merito vera»), открывает нам параллель с пушкинским «Памятником». В стихотворении «Женевское озеро» («Lago di Ginevra») Пиндемонте говорит о своем будущем надгробном памятнике среди живописной природы; на этом памятнике, как он надеялся, будут начертаны строки, говорящие о том, что более всего он любил в жизни естественные красоты природы и великие создания человеческого искусства. Это действительно напоминает нам пушкинские стихи «Из Пиндемонти», в которых поэт признается, что хотел бы «для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи» и что счастьем для него было бы другое:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданными искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Напомним, наконец, что на том же листе бумаги, на лицевой стороне которого написан черновик трех последних строф стихотворения «Памятник», Пушкин сделал карандашную запись — вольный перевод нескольких стихов (с. 188—195) из X сатиры Ювенала:

«Пошли мне долгу жизнь и многие года!»
Зевеса вот о чем и всюду и всегда
Привыкли вы молить, — но сколькими бедами
Исполнен долг<ой> век!

(III, 429)

Здесь мы снова находим, хотя и недосказанную, навязчивую мысль о смерти и полную горечи насмешку над долголетием.

Возвратимся к «Прологу». Приведенные параллели позволяют предположить, что «кладбищенская» тема в лирике Пушкина 1836 г., связанная с его мыслями о смерти, была одной из возвращающихся, постоянных тем, окрашивающих в пессимистические тона все его замыслы и свершения того года; «Памятник» был тесно связан с этим кругом мыслей. Но кладбище для Пушкина — вопреки тематической традиции, которой он следовал, — не было ни предметом эстетических любований, ни поводом для нежных, меланхолических чувствований, как у его предшественников, русских преромантиков начала XIX в. — Карамзина или Жуковского.

Для Пушкина кладбище было в ту пору прежде всего дорогой в прошлое, открывавшей и воскрешавшей живую жизнь его юности. Одним из подтверждающих это наблюдение примеров может служить именно «Пролог». В тяжелые для него летние и осенние месяцы 1836 г. Пушкин звал себе на помощь «давно знакомый гений — воспоминание». Представило бы интересную задачу показать, как этот «гений», оживлявший былые годы, счастливое детство и юность поэта, возвращался к нему всякий раз, когда жизненные невзгоды ставили его перед новым рубежом,

тяжелым, трудным или загадочным, за которым скрывалась непроглядная мгла. Так было, например, болдинской осенью 1830 г., когда «волею Зевеса» он был заперт карантинном в своей глухой нижегородской деревеньке, оторванный от друзей и от невесты, волнуемый мыслями о предстоящей женитьбе.

В ту осень в Болдине Пушкин не раз возвращался в воспоминаниях и к лицейским годам, и к более ранней, долицейской школе; он написал отрывок «В начале жизни школу помню я», перебил заново главу «Евгения Онегина», открывавшуюся стихами:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал
и т. д.

Тогда же Пушкин вспомнил и Дельвига и посвятил ему стихотворение:

Мы рождены, мой брат названный,
Под одинаковой звездой
и т. д.
(III, 249)

В это же время он создал стихотворение «Безумных лет угасшее веселье», которое с еще большим правом он мог повторить шесть лет спустя:

Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.¹³
(III, 228)

Автобиографические строки «Пролога» имеют то же происхождение. Тем естественнее предположение, что строка «Я посетил твою могилу — но там тесно...» говорит о посещении Пушкиным могилы Дельвига на Волковом кладбище. «Теперь иду на поклонение в Царское Село и в Баболово», — записал Пушкин далее в своем плане, поставил восклицательный знак против названия своего «лицейского отечества» и для памяти — рядом с зачеркнутым именем Грея — набросал имена друзей в последовательности тех его воспоминаний, которые должны были помочь ему при воссоздании картины лицейских лет.

Основанием для догадки, что в «Прологе» Пушкин упоминает о могиле Дельвига, Л. Черейскому послужило обнаруженное им свидетельство о посещениях Пушкиным Лицея в 1835—1836 гг. Это свидетельство принадлежит Н. К. Гирсу (1820—1895), дипломату и министру при Александре III. В своих «Воспоминаниях» Н. К. Гирс посвятил целую главу Царскосельскому лицейу, в котором он учился с 1832 г.; кратко упомянув Пушкина, «бывшего в Царском Селе летом 1835 или 1836 года» («Pushkin...

¹³ Н и к о л и ч Д. Н. «В начале жизни школу помню я» А. С. Пушкина // Учен. зап. Алма-Атин. гос. пед. ин-та, 1958, т. 13, с. 278—287.

was in Tsarskoe Selo in the Summer of either 1835 or 1836...»), Гирс прибавил: Пушкин, «как старый лицеист, иногда посещал нас (he used to visit us occasionally), и мы всегда приветствовали его с энтузиазмом». ¹⁴ Приведя эти слова и напомним начальные строки пушкинского «Пролога», Л. Черейский заметил: «Пушкин посетил, по нашему мнению, „тесное“ петербургское кладбище, где был похоронен его лицейский друг. Посещение Лицея в 1835—1836 гг. оживило дорогие сердцу поэта воспоминания о счастливых днях Лицея, о „самом близком ему на свете“ Дельвиге и томлящемся в Сибири декабристе Кюхельбекере». ¹⁵

Выше уже была речь о том, что догадка о посещении Пушкиным кладбища, на котором похоронен Дельвиг, высказанная также Р.-Д. Кейлем, представляется очень правдоподобной. Отсюда, однако, не следует, что в словах того же «Пролога» («Теперь иду на поклонение...») отражен единичный и вполне конкретный случай пребывания Пушкина в Царском Селе в 1836 г. «Пролог» нельзя рассматривать как «памятные записки», в которые занесены реальные факты или даты; это скорее воображаемое паломничество к местам, связанным с юностью поэта, и рассказ о них должен был открывать повествование задуманного, может быть даже большого, художественного произведения автобиографического характера. В 30-е гг. Пушкин бывал в Царском Селе не раз; напомним приведенное у нас выше свидетельство Александра Кaramзина (в его письме к брату Андрею от 31 августа 1836 г.), что Пушкин с женой должны были провести в Царском Селе в конце августа два дня и что лишь случайно поездка эта расстроилась. ¹⁶ Что касается Лицея, то и его Пушкин неоднократно посещал в 1830-е гг. и всегда встречал здесь восторженный прием воспитанников. ¹⁷ Н. К. Гирс говорит не об одном, а о нескольких приездах Пушкина в Лицей в 1835—1836 гг. Я. К. Грот со своей стороны свидетельствовал, что встречи Пушкина с молодыми лицеистами всегда были дружественными и сердечными. Живя в Царском Селе летом 1831 г., Пушкин, по словам Грота, виделся с лицеистами «как с „старыми знакомыми“: «На каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз видели его гуляющим в царскосельском саду то с женою, то с Жуковским». ¹⁸

¹⁴ The Education of a Russian Statesman. The Memoirs of N. K. Giers / Ed. by Charles and Barbara Jolavitch. Univ. of California Press. Berkeley and Los Angeles, 1962, p. 75.

¹⁵ Черейский Л. Новое о Пушкине, с. 220.

¹⁶ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг., с. 96—97.

¹⁷ Грот К. Я. Пушкин в Лицее летом 1831 года // Пушкин: Исслед. и матер. М.; Л., 1962, т. 4, с. 401—404.

¹⁸ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 2-е изд. СПб., 1899, с. 45.

Конечно, не все строки «Пролога» поддаются расшифровке. Остается неясным, например, что Пушкин имел в виду, говоря: «...иду на поклонение . . . в Баболово», и почему он упоминает Баболово в своем плахе даже дважды. В отдаленной пустынной части царскосельского парка близ деревни Баболово находился названный по ее имени дворец, построенный еще Екатериной II в 1784 г.; лицеисты хорошо знали его, как видно из четверостишия Пушкина («На Баболовский дворец») и пояснения к нему в воспоминаниях М. А. Корфа.¹⁹ В 1831 г. Пушкин жил в Царском Селе на Колпинской улице; отсюда нужно было спуститься по склону холма на «Подкапризную дорогу», соединявшую Екатерининский дворец с баболовскою частью парка, и Пушкин, вероятно, не раз совершал эту прогулку. Неподалеку от баболовской «широкой аллеи» находилось «кладбище со скромной церковью»;²⁰ не туда ли устремлялся в паломничество Пушкин? Неподалеку от Баболова в недостроенной «китайской деревне» с 1816 г. почти каждый год жил Н. М. Карамзин с семьей; о «чаепитии, устроенном госпожой [М. Х.] Шевич в Баболове в июне 1836 г., рассказывала в одном из своих писем С. Н. Карамзина.²¹ Очевидно, с Баболовым были у Пушкина связаны особые воспоминания: их он и должен был воспроизвести в «Прологе» — после рассказа о Дельвиге и Кюхельбекере и совместных с ними занятиях поэзией.

Следует иметь в виду, что Царское Село в годы учения Пушкина в Лицее имело особый облик, впоследствии быстро изменявшийся. Уже в начале 30-х гг., как это можно заметить из статьи Я. Сабурова, многое, что окружало Пушкина в лицейские годы, теперь не существовало. «Екатерина, — рассказывает он, — кажется, желала собрать в свой сад образчики всех стран света или сад хотела превратить в маленький мир, где бы на каждом шагу встречали ее памятники». В особенности бросались в глаза те части парка, где все дышало античным миром — Грецией и Римом. Я. Сабуров описывает, например, «зеленый луг, посредине которого возвышается прислоненный к соснам мраморный обелиск Кагульский. Немного далее, под мрачной сенью берез и елей, мелькает надгробная урна; и щит, и меч висят праздные, и миртовый венок завял. Направо красивый домик, поддерживаемый кариагидами; прежде в нем играли в мячи, теперь в нем живут. Вблизи, окруженный деревьями, стоит храм Аполлонов: у подножия медленно извивается круглый портик и величественный

¹⁹ Там же, с. 268, 276.

²⁰ С а б у р о в Я. Царскосельский сад // Моск. вестн., 1830, ч. 1, № 17—20, с. 148.

²¹ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг., с. 63, 343. И. И. Дмитриев, рассказывая в своих записках о китайских домиках возле Баболова, заметил: «Живущие в домках имеют позволение давать в ней (каменной ротонде посредине домиков) для приятелей и соседей своих обеды, концерты, балы и ужины» (Дмитриев И. И. Соч. / Ред. и примеч. А. А. Флоридова. СПб., 1895, т. 2, с. 164).

купол; вокруг тишина таинственная и все дышит пророчеством. Внутреннее великолепие соответствует наружной красоте: множество мраморных бюстов, и пол — мелкий мозаик. Его строил Гваренги. В соседней роще — привезенные Орловым почтенные останки Афин. Мраморные барельефы, резные архитравы, теперь безглавые статуи, может быть, видели пышность Греции, украшали храмы гордого народа и, отслужив времени, свидетельствуют величие скифов или гипербореев и покоятся в приюте роскоши. Что могли бы нам рассказать эти камни, когда и безмолвные они волнуют душу!».²² Я. Сабуров подробно описывает античные пейзажи царскосельского парка, открывающиеся то там, то здесь: «крытый великолепный мост», «цельные портики, стройные ионические колонны», как будто высеченные из мраморной горы «по рисункам Палладия», «пирамида, окруженная липами и березами», на озере — «остров Каллипсо», у входа — «великолепный портик из разноцветных мраморов, совершенно в римском вкусе, похожий на *Avesso di Tilo* в Риме», обширная поляна, «на которой теперь пасутся стада, а прежде она была усеяна розами и посредине возвышался на 32 столпах мраморный храм» («Не знаю, почему его разрушили», — замечает Сабуров).²³ Все это видели лицеисты во время своих детских игр, своих прогулок по парку; отсюда явствует, что тот условный мир античной красоты, полный откликов из области античной истории, мифологии и искусства, который встречает нас в лицейских стихах Дельвига и Пушкина, не был искусственным созданием школьной практики, но имел также и некое реально-материальное основание. Живя среди античных мраморов, храмов и портиков, в местах, посвященных Аполлону и музам, легко было всецело проникнуться обаянием античной культуры и связать с нею свой повседневный быт.

Эту особенность лицейского воспитания в пушкинские годы хорошо подчеркивает возникшая среди его товарищей и осуществленная ими идея — установить в парке особый памятник, посвященный «гению места» — римскому божеству, не имевшему олицетворенного облика, но требовавшему молчаливого и восторженного поклонения. Лицеисты первого выпуска, перед тем как покинуть Лицей, воздвигли этот памятник (в 1816—1817 гг.), именованный памятник «*genio loci*». Впоследствии бывшие воспитанники Лицея, посещая Царское Село, всегда ходили взглянуть лишний раз на этот памятник, оставшийся от времени их школьных лет; он просуществовал до начала 40-х гг., после смерти Пушкина превращенный легендой в памятник самому поэту, а затем был разрушен. История того, как на глазах у Пушкина был воздвигнут этот памятник, его судьба впоследствии забылись и были восстановлены лишь несколько десятилетий после его полного исчезновения.

²² Сабуров Я. Царскосельский сад, с. 148.

²³ Там же, с. 143—152.

В 1878 г. некто, скрывшийся под инициалами «А. В. Фр.» напечатал в «Русской старине» заметку, в которой просил ответить на следующий вопрос: «В последние годы в обществе довольно живо идет подписка на сооружение памятника великому нашему поэту Пушкину. Поэтому совершенно кстати спросить, кем и когда поставлен был в Царском Селе, в саду бывшего там Лицея, — еще при жизни Пушкина — камень в честь этого поэта. На камне врезана была надпись: *Genio loci* (Гению места). Куда и по чьему распоряжению убран этот камень?»²⁴ Вскоре последовали и разъяснения на этот вопрос. Оказалось, что в начале 40-х гг. из штаба военно-учебных заведений тогдашнему директору Лицея сделан был следующий официальный запрос: «По какому случаю поставлен в Лицейском саду памятник Пушкину и с чьего разрешения?». На это Г. М. Броневский, по воспоминаниям одного из лицейстов тех лет, «имел честь лично объяснить... в кн. Михаилу Павловичу, что находящийся в саду Лицея памятник не есть памятник Пушкину, а что возобновлен только старый, существующий с первого выпуска, поставленный ими местному воображаемому гению, как гласит сама надпись: *Genio loci*. Так запрос этот и кончился».²⁵ Далее мемуарист замечает: «Никогда никакого камня еще при жизни Пушкина в честь этого поэта в саду Лицея поставлено не было, а был устроен еще первым выпуском около церковной ограды дерновый пьедестал, в который была вделана мраморная доска с вырезанными на ней словами: *genio loci*, т. е. место нашему воображаемому „гению“ — покровителю наук, поэзии и искусства, которые в наше время всегда в Лицее процветали. Место это летом украшалось цветами и было предметом особенного нашего почитания и заботливости».²⁶ Были обнародованы и другие подробности об этом памятнике, например о латинской надписи на нем, о реставрации его в 1840 г. и об особом посвященном ему тогда стихотворении.²⁷

²⁴ Русская старина, 1873, № 8, с. 244.

²⁵ Фон дер Ховен И. Р. Лицейский памятник с надписью «*Genius loci*» // Рус. старина, 1873, № 12, с. 1000.

²⁶ Там же, с. 1001.

²⁷ Рассказывая об этой плите с надписью «*Genio loci*», А. Н. Яхонтов (Воспоминания царскосельского лицеиста // Русская старина, 1888, № 10, с. 105) отмечает: «Мы думали сначала, что она положена здесь в память Пушкина, но нам объяснили потом, что надпись говорит о безымянном, таинственном гении места, как бы и зримо веющем над лицейской оградой и нас окружающем. Когда и кем сделана была эта надпись и положена эта плита, осталось невыясненным». П. И. Бартевев, основывавшийся на рассказах бывших лицейстов, также, по-видимому, считал, что памятник этот был водвигнут в честь Пушкина. Он писал в статье «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. Гл. 2. Лицей» (отт. из «Московских ведомостей». 1854, № 117—119, с. 66): «Имя Пушкина доселе особенно дорого и любезно всякому лицеисту. Память его свято хранится в Лицее. Около 1835 г. в Малом лицейском саду лицейсты поставили небольшую мраморную пирамиду, на одной стороне которой было написано «*Genio loci*», а на другой — „*Serptimus cirsus egerit*“ (т. е. «воздвиг седьмой курс»). Однако Дм. Ко

История этой царскосельской плиты, ставшей предметом легенд и паломничества, еще раз подчеркивает тот особенный культ памятников и всевозможных символических знаков и построек, который существовал при жизни Пушкина и присущ был не только его современникам, но и ему самому. Поэтическое и художественное сознание людей той поры и самый их быт были тогда полны представлений о монументах, столпах, мавзолеях и кенотафиях, архитектурных и скульптурных сооружениях различных видов и назначений, являвшихся видимым и осязаемым воплощением памяти о человеке или его деяниях, мифологических преданий, а иногда даже просто материальной реализацией какой-либо абстракции или метафоры. Дух античной Греции и Рима воплощал их в камень или бронзу и витал над ними в залах и парках, вызывая литературные ассоциации и поэтические параллели.²⁸

Памятник «Genio loci» в Царском Селе, идея которого возникла из какого-нибудь компендиума о римских древностях с описанием народных культов местных божеств в Древнем Риме, получил в сознании лицейских воспитанников особое применение. Памятник этот стал символом и воплощением того сложного комплекса

беко в своей книге «Императорский Царскосельский лицей: Наставники и питомцы. 1811—1843» (СПб., 1914, с. 114) утверждает, что в надписи упоминался первый курс (primus cursus egerit); когда же памятник обветшал, то одиннадцатый курс возобновил его и прибавил к надписи слова: «undecimus (id est cursus) renovavit». Это происходило в 1840 г., что, между прочим, явствует из стихотворения лицеиста В. Р. Зотова, написанного по этому случаю 16 сентября 1840 г. под заглавием «Genio loci» и начинавшегося так:

Была пора! Хранителю Лицея
Курс первый памятник смиренно воздвигал,
И добрый дух, Лицей родной лилея,
Его любил, хранил, благословлял.

Далее, после упоминания о том, что памятник этот «заглох» и «устарел в забвеньи», шли строки:

Пришла пора — чрез десять курсов снова
Тот памятник вид новый получил,
Святой залог прекрасного былого
Одиннадцатый курс возобновил.
Возвысился опять в саду Лицея
Дери скромный пирамидою простой,
Украсился цветами зеленея,
С решеткою и мраморной доскою
и т. д.

(К о б е к о Дм. Имп. Царскосельский лицей, с. 426—427).

²⁸ Любопытно, что изображения подобных вещественных символов мы встречаем даже в русских официальных документах той поры. Так, текст диплома на звание члена Общества любителей российской словесности был снабжен двумя гравированными картинками: слева — обветшавший памятник, сложенный из каменных плит в виде узкой пирамиды, справа — очевидно, храм, посвященный Аполлону или музам. Этот печатный диплом (1826 г.) воспроизведен в издании: Общество любителей российской словесности при Московском университете: Ист. зап. и матер. за сто лет. М., 1911 (с. 2—3).

ощущений, связанного с этой местностью, в частности с ее парком, который всегда был свойственен Пушкину и его близким друзьям лицейских лет: в этот комплекс входили воспоминания о лицейской жизни, о «святом братстве», о первых самостоятельных творческих опытах; все это оживало в памяти подобно мелодии «Прощальной песни» на слова Дельвига при одном упоминании Лицея или Царского Села; в этот комплекс входили также «Лицейские годовщины», свято отмечавшиеся каждый год — 19 октября — до самой смерти Пушкина, полные лиризма и меланхолической грусти мысли о прошедшей молодости. Все это и имел в виду Пушкин в своем «Прологе», говоря, что он «идет на поклонение в Царское Село», и ставя многозначительный, очевидно свидетельствующий об эмоциональной насыщенности воспоминаний поэта, восклицательный знак после этого снова повторенного названия местности.

11

Из всех лицейских сверстников и друзей Пушкина одним из самых близких ему был А. А. Дельвиг. «Дружба их была на редкость тесная, основанная на взаимном понимании и уважении, — справедливо отмечает Б. Л. Модзалевский, — их союз, начавшись с момента вступления в Лицей, был больше, чем дружбой, — был братством».¹ Это было братство во имя искусства и поэзии: «Мой брат по Музе, мой Орест», — писал Дельвиг в послании Пушкину с Украины; «Друг Дельвиг, мой парнасский брат», — обращался Пушкин к Дельвигу (23 марта 1821 г.). 16 ноября 1823 г. Пушкин написал Дельвигу из Одессы: «На днях попались мне твои прелестные сонеты. Прочел их с жадностью, восхищением и благодарностью за вдохновенное воспоминание дружбы нашей». Очевидно, Пушкин перечел сонет Дельвига «Н. М. Языкову», в котором есть строки, посвященные и Пушкину, и Баратынскому («певцу „Пиров“»):

Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть, и наслажденье,
И первый я его услышал пенье,
И за себя богов благословил.²

«Вчера повеяло мне жизнью лицейскою, слава и благодарение за то тебе и моему Пушину!», — восклицал Пушкин в том же письме (16 ноября 1823 г.), откликаясь, очевидно, на описание лицейской годовщины (19 октября 1823 г.), отпразднованной в Петербурге, о чем сообщали ему оба его друга. А два года

¹ Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 125.

² Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений / Под ред. Б. В. Томашевского. Л., 1934, с. 157.

спустя в стихотворении «19 октября 1825 г.» Пушкин обратил к Дельвигу следующие строки:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел
и т. д.
(II, 26)

Сведения о близкой дружбе обоих поэтов имеются во всех биографиях Пушкина и Дельвига; современники и последующие критики часто комментировали их стихотворные послания друг другу, историю их встреч, их совместных литературных начинаний и т. д. А. П. Керн в своих мемуарах сохранила воспоминание о встрече друзей, состоявшейся в ее присутствии по возвращении Дельвига в Петербург на его маленькой квартире. Это было 7 или 8 октября 1828 г. Пушкин, свидетельствует А. П. Керн, «узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях».³

В. П. Гаевский в своих статьях о Дельвиге в «Современнике» 1850-х гг. впервые опубликовал многие рукописи его и лицейских его товарищей, записи своих расспросов о нем лицеистов более поздних выпусков, извлек новые данные из мемуаров и писем той поры. Вслед за В. П. Гаевским в этом большом фактическом материале, накопленном к тому времени и затем еще более умноженном, пытались разобраться и многие другие исследователи и Пушкина, и Дельвига. Тем не менее даже в фактической истории их дружбы осталось много неясностей и хронологической путаницы; что же касается их обмена стихотворными посланиями, то они были прокомментированы совершенно недостаточно и нуждаются в пояснениях, сделанных совершенно заново.

Отметим прежде всего существенный для нас факт, что мысль о Дельвиге не покидала Пушкина до конца его жизни. После смерти Дельвига Пушкин долго думал об увековечении его памяти и об устройстве его личных дел. «Вот первая смерть, мною оплаканная, — писал Пушкин П. А. Плетневу 21 января 1831 г. — Никто на свете не был мне ближе Дельвига».⁴ О том же свидетельствовал П. А. Вяземский, писавший: «Дельвига знал я мало. Более знал я его по Пушкину, который нежно любил его и уважал. Едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая и постоянная привязанность его. П посмотришь на них: мало было в них общего, за исключением школьного товарищества и

³ Керн А. П. Воспоминания. Л., 1929, с. 274.

⁴ Приведенные слова Пушкина о Дельвиге П. А. Плетнев впервые опубликовал в «Современнике» в 1838 г., в статье «А. С. Пушкин». См.: П л е т н е в П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885, т. 1, с. 382.

любви к поэзии. Пушкин неизменно веровал в глубокое поэтическое чувство Дельвига». ⁵

Весь 1831 год Пушкин обдумывал проект обнародования различных материалов для биографии Дельвига, продолжения издания «Северных цветов» как своего рода «поминок» о покойном. В письме Пушкина к П. А. Плетневу из Москвы в Петербург (31 января 1831 г.) есть следующие знаменательные строки: «Баратынский собирается написать жизнь Дельвига. Мы все поможем ему нашими воспоминаниями. Не правда ли? Я знал его в Лицее — был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души и таланта, которому еще не отдали имя должной справедливости. С ним читал я Державина и Жуковского — с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит. Я хорошо знаю, одним словом, его первую молодость; но ты и Баратынский знаете лучше его раннюю зрелость. Вы были свидетелями возмужалости его души. Напишем же втроем жизнь нашего друга, жизнь, богатую не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым и чистым разумом и надеждами» (XIV, 148—149). Замысел этот остался неосуществленным; в письмах Пушкина того же 1831 г. то и дело мелькают различные связанные с этим проектом мысли и подробности. «Если бы ты собрался да написал что-нибудь о Дельвиге! то-то было б хорошо!» (XIV, 189), — писал, например, Пушкин Плетневу из Царского Села летом 1831 г. (11 июля), а через неделю — М. Л. Яковлеву (19 июля): «На днях пересмотрел я у себя письма Дельвига; может быть, со временем это напечатаем»; тут же просил он осведомиться у вдовы покойного друга — С. М. Дельвиг: «Нет ли у ней моих к нему писем? Мы бы их соединили» (XIV, 193—194). Самый этот проект — публикации дружеской переписки — представляется фактом исключительным и почти беспрецедентным для той поры. ⁶ А поздней осенью того же 1831 г. в стихотворении, написанном для очередной лицейской годовщины («Чем чаще празднует Лицей. . .»), Пушкин с особой проникновенной грустью вспоминал «шесть упраздненных мест» в товарищеском кругу и писал о любимейшем из своих друзей:

И, мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг мпльй,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас утекший гений.

(III, 278)

⁵ Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 8, с. 442.

⁶ Отметим, впрочем, что еще в «Северных цветах» на 1826 год сам Дельвиг напечатал отрывок из письма к нему Пушкина о Тавриде и что при жизни Пушкина он перепечатывался несколько раз (Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати 1814—1837. 2-е изд. М., 1938, с. 254, 699, 971а).

Шли годы, а скорбь по поводу этой утраты не уменьшалась. В 1834 г. Пушкин написал статью о Дельвиге, которая, впрочем, осталась незавершенной и ненапечатанной при жизни поэта (XI, 273—274). Статья эта, догадывался Б. Л. Модзалевский, описывая ее автограф, «очевидно, имела самостоятельное значение и предназначалась, быть может, для помещения при сборнике стихотворений Дельвига»; «по крайней мере, — замечает тот же исследователь, — рукописи Дельвига носят на себе следы помет Пушкина — помет редакционного характера, свидетельствуют о работе над ними как редактора».⁷ Это издание также не состоялось, но материалы для биографии Дельвига Пушкин продолжал копить; найденные после его смерти среди его рукописей заметки и анекдоты о Дельвиге («Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина», «Дельвиг не любил поэзии мистической» — XII, 159) напечатаны были в восьмом томе «Современника» за 1837 г.

Воспоминания о Дельвиге не оставляли Пушкина нигде. В стихотворении «Художнику», помеченному 25 марта 1836 г., говоря о посещении мастерской ваятеля, Пушкин пишет:

...в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник
и т. д.,

и далее он обращается к скульптору с мыслью о покойном друге:

Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой! **■**

(III, 416)

Возможно, что Пушкин вспоминал здесь идиллию Дельвига «Изобретение ваяния». А. Эфрос замечает, что Пушкин любил вместе с Дельвигом посещать мастерские художников «и тот был ему поводырем и пояснителем».⁹ Укажем, что у нас сохранился след одной статьи или заметки о Дельвиге, которую Пушкин писал еще позже в том же 1836 г. Этот отрывок найден был на одном

⁷ Модзалевский Б. Новинки пушкинского текста по рукописям Пушкинского Дома // Сборник Пушкинского Дома на 1923 г. Пб., 1922, с. 8—9 (ср. также «Отрывок из воспоминаний о Дельвиге» — XII, 338, 439).

⁸ В. П. Гаевский в своей четвертой статье о Дельвиге (Современник, 1855, т. 47, отд. 3, с. 58—59), упоминая это стихотворение Пушкина, высказывал мысль, что скульптором, которого Пушкин имел в виду, являлся профессор Академии художеств С. И. Гальберг; он основывался, в частности, на том, что Гальберг сделал мраморный бюст Дельвига и что заметка об этом была помещена в «Литературной газете» (1831, № 34, с. 278). Впоследствии Ф. Витберг в заметке «Кому посвящено Пушкиным стихотворение „Художник“» (Нов. время, 1899, № 8340, с. 3) обосновывал другую догадку, что Пушкин адресовал его Б. И. Орловскому. Однако и доныне неизвестно с документальной точностью, о мастерской какого ваятеля идет речь (ср.: Пушкин об искусстве / Сост. Г. М. Кока. Л., 1962, с. 192—193).

⁹ Эфрос А. Рисулки поэта. М.; Л., 1933, с. 58.

из клочков разорванного на мелкие части письма Пушкина к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г., написанного по-французски. Тщательный анализ отрывка, произведенный Б. В. Казанским, не оставляет сомнений о том, что о Дельвиге Пушкин вспоминал до последних дней своей жизни, то ли все еще думая об издании биографии своего друга, то ли подбирая рукописные материалы о нем для другого замысла.¹⁰

Вспомним еще раз черновые наброски плана «Пролога» 1836 г., приведенные выше. Пушкин записывал для памяти: «Лицейские забавы, наши уроки. Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия». Упоминание здесь рядом обоих школьных друзей Пушкина не только в связи с их забавами и учением, но и с занятиями поэзией кажется очень знаменательным. Не собирался ли Пушкин дать в «Прологе» своего рода вступление в повествование о своей литературной жизни? Или это должна была быть история трех поэтических судеб? Ведь истоки творческих судеб этих трех побратимов-поэтов, включая сюда Пушкина и обоих лицейских его товарищей, — судеб, столь не похожих одна на другую, были едины: лицейская семья, совместные чтения и споры, первые состязания в поэтическом творчестве. Было бы, разумеется, весьма затруднительно, а может быть, и вовсе невозможно раскрыть полно и подробно, что именно Пушкин собирался вспомнить в «Прологе» из своей лицейской жизни и какие эпизоды из истории тогдашнего служения музам, своего и своих друзей, хотел он рассказать в этом автобиографическом произведении. Нет, однако, никакого сомнения в том, что весь «Пролог» посвящен Лицею по преимуществу и что, набрасывая его план, Пушкин переживал заново многое из своих школьных лет.

В 1836 г. воспоминания юности всецело овладели Пушкиным. Он думал о былом то и дело по разным поводам. Стихотворение «Полководец» (1835), посвященное Барклаю де Толли и галерее 1812 г. в Зимнем дворце, было напечатано в 3-м томе «Современника» 1836 г. и вызвало известную полемику, на которую Пушкин отвечал «Объяснением», опубликованным в 4-м томе его журнала, вышедшем в свет в конце ноября или начале декабря того же года.¹¹ В этом «Объяснении» Пушкин выступал как современник

¹⁰ К а з а н с к и й Б. В. Загадочный отрывок Пушкина // Звенья, М.: Л., 1936, т. 6, с. 96—100. Ср.: П у ш к и н. Полн. собр. соч., справочн. том. М.: Л., Изд. АН СССР, 1959, с. 67. В этом отрывке Пушкин имел в виду привести цитату из письма Дельвига к нему и обрисовать обстановку, в которой это письмо написано. «Любопытно отметить, — пишет Казанский, — что, когда Пушкин написал три странички чернового письма Бенкендорфу в ноябре 1836 года и, перевернув листок, нашел последнюю страничку занятой почти целиком нашим русским отрывком, он подчеркнул его дугой во всю ширину и воспользовался только оставшимся пустым местом, а затем предпочел возвратиться к первой страничке, уже исписанной. чтобы дописать письмо на ней». «Очевидно, — догадывается Б. В. Казанский, — он хотел сберечь этот отрывок русского текста».

¹¹ М а н у й л о в В. А., М о д з а л е в с к и й Л. Б. «Полководец» Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, с. 125—164.

и свидетель двенадцатого года, что и дало Ю. Н. Тынянову основание для предположения, будто бы Пушкин запомнил ту «резкую апологию Барклай» в письме к В. К. Кюхельбекеру его матери, полученном в Лицее в 1812 г., которая была известна многим лицеистам, и именно она и явилась зерном, из которого четверть века спустя выросло стихотворение «Полководец».¹²

Если даже роль этого письма для Пушкина-лицеиста преувеличена, наше утверждение не теряет силы: в 1836 г. Пушкин действительно настойчиво возвращался к различным воспоминаниям своих лицейских лет. В уже цитированном стихотворении «Художнику» есть строка:

Здесь зачинатель Барклай а здесь совершитель Кутузов.
(III, 416)

В том же году, посылая свою «Историю Пугачева» поэту-партизану Д. В. Давыдову, Пушкин писал певцу-герою, именуя себя «наездником смирного Пегаса»:

Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне
и т. д.
(III, 415)

Это было отчетливое воспоминание о юношеских мечтах Пушкина поступить на военную службу после императорского указа, предоставлявшего лицеистом право по окончании курса определяться прямо в гвардию офицерами; намерения стать военным или даже соединить это поприще с занятиями поэзией оставили следы во многих стихотворениях Пушкина лицейских лет — «К Галичу» (1815 г., «Пускай угрюмый рифмотор»), в «философской оде» «Усы» (1816), «Наездники» (1816), «В. Л. Пушкину» (1817); в последнем говорится даже:

И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
(II, 29)

Об основании Лицея и «грозе двенадцатого года» снова шла речь в стихотворении, написанном к лицейской годовщине 19 октября 1836 г. — последней, на которой Пушкин присутствовал. В этих стихах («Была пора — наш праздник молодой») Пушкин недаром дал краткую историю России с 1811 г.: в 1836 г. как раз исполнялось 25-летие со дня основания Лицея и лицеисты по инициативе бывшего директора Е. А. Энгельгардта обсуждали его предложение — «не устроить ли по этому случаю обычный празд-

¹² Тынянов Ю. Н. Пушкин и Кюхельбекер // Лит. насл., т. 16—18, с. 323.

ник каким-нибудь особенным образом?». «У нас было с некоторыми из наших совещание, — писал Пушкину М. Л. Яковлев 9 октября этого года, — и решительно положено: праздновать по прежним примерам одному первому выпуску». Пушкин согласился с этим и писал в свою очередь: «Нечего для 25-летнего юбилея изменять старинные обычаи Лицея: это было бы худое предзнаменование. Сказано, что и последний лицеист один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить».¹³ Мнение Пушкина восторжествовало, и 19 октября в доме у М. Л. Яковлева состоялось собрание лицеистов; первые пункты протокола этого собрания написаны также Пушкиным. В этих пунктах, между прочим, отмечено, что собравшиеся «читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей»,¹⁴ «читали старинные протоколы, песни и прочие бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева», «поминали лицейскую старину». А в последнем, седьмом, пункте протокола рукою М. Л. Яковлева отмечено: «Пушкин начал читать стихи на 25-летие Лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу». К этому документальному материалу лицейские мемуаристы добавили следующее известие: «Пушкин, как рассказывают, извинившись перед товарищами в том, что прочтет стихотворение неоконченное, едва произнес первые строки, как вдруг голос его оборвался, слезы градом покатались из глаз и он бросился на диван».¹⁵

Вероятно, Пушкин хотел дать друзьям, собравшимся в «Лицея день заветный», в своем стихотворении всю историю четверти века, очевидцами которой они стали:

Припомните, о други, с той поры,
 Когда наш круг судьбы соединили,
 Чему, чему свидетели мы были!
 Игралища таинственной игры,
 Метались смущенные народы;
 И высились и падали цари,
 И кровь людей то славы, то свободы,
 То гордости багрила алтари

и т. д.
 (III, 431)

¹³ См.: Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 2-е изд. СПб., 1899, с. 83.

¹⁴ Трудно сказать, письма Кюхельбекера каких лет читались в тот вечер, несомненно самим Пушкиным; скорее всего — лицейских лет. Не исключено, впрочем, что Пушкин мог огласить также письмо Кюхельбекера из Баргузина от 3 августа 1836 г.; что касается следующего и последнего письма Кюхельбекера со стихами на лицейскую годовщину, то оно было написано 18 октября 1836 г.

¹⁵ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, с. 84—86; Грот К. Я. 1) Пушкинский лицей (1811—1817). СПб., 1911, с. 349—351 (снимки с протокола); 2) Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 13, с. 38—59.

Но его элегия прервалась на воцарении Николая I (последний из сохранившихся стихов остался недописанным):

И над землей сошлись новы тучи
И ураган их...

Зато яркими, свежими и наглядными были оживленные картины всех лицейских лет, от самого основания Лицея, когда

...гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.¹⁶

(III, 431)

За этим следовала та пора, которую так живо изобразил И. И. Пущин в своих «Записках о Пушкине», рассказывая, как жизнь лицейская сливалась с «политической эпохой народной жизни русской»: «Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми».¹⁷ В элегии 1836 г. Пушкин напоминал друзьям тех лет:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались...
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

(III, 431)

Более двадцати лет тому назад в стихах на возвращение Александра I из Парижа (1815) Пушкин тоже вспоминал:

Сыны Бородина, о, кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил

и т. д.

(I, 145)

¹⁶ Текстуальную связь стихотворения «Была пора» с зашифрованной десятой главой «Евгения Онегина» тонко подметил С. В. Обручев (см. кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 507—508), видевший в стихотворении «своего рода цензурную переработку первых десяти строф десятой главы»; совершенно иначе отнесся к ним Н. Лернер (Пушкин. [Соч.] / Изд. Брокгауза—Ефрона. Пгр., 1916, т. 6, с. 497—498), тем не менее также подчеркнувший их родство с лицейскими одами.

¹⁷ Пущин И. И. Записки о Пушкине; Письма. М., 1956, с. 52.

И об этом возвращении как об историческом моменте в жизни царскосельских лицейстов идет речь в той же элегии 1836 г.:

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался

Вы помните — как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг
и т. д.

(III, 431)

Стихотворение потому и не было окончено, что история лет, которых нужно было коснуться, казалась слишком близкой и небезопасной для истолкования, но в особенности потому, что слишком яркими, заслонившими все остальное были в ту пору для Пушкина воспоминания о «лицейском братстве», о начале поприща, о счастливых годах и первых невзгодах юных сердец. А о том, что случилось с бывшими лицейстами при воцарении нового императора, о друзьях самого поэта, им утраченных, — об этом не стоило упоминать. «Брат Кюхельбекер», как видно из протокола лицейской годовщины, был помянут чтением писем его к Пушкину; Дельвиг, разумеется, также не был забыт во время чтения старых песен и поминанья лицейской старины. В это время Пушкин сам, безусловно, перечитывал лицейские стихотворения Дельвига; какие-то анекдоты и обрывки воспоминаний о нем Пушкин, как мы видели, записывал еще в поябре.

Отсюда возникает предположение, что и в «Прологе», и в других произведениях Пушкина того же года следует искать еще не замеченных соответствий с его собственными лицейскими стихами и стихами его друзей. Мы полагаем, в частности, что идея «Памятника» возникла у Пушкина в то время, когда он перечитывал свою стихотворную переписку с Дельвигом, думая о самом начале своей литературной деятельности и о своей славе, предсказанной ему его покойным другом. Отсюда возник также весь гораціанско-державинский строй «Памятника», его словесные (стилистические и лексические) соответствия одической лирике лицейских друзей-поэтов. Очень возможно, что это же Пушкин имел в виду, записывая в «Прологе» в качестве особой темы занятия поэзией в Лицее — свои, Дельвига и Кюхельбекера.

В осенние месяцы 1836 г., вспоминая свою молодость и различные случаи из лицейской жизни, Пушкин не мог не обновить в памяти несколько эпизодов связанных с самым началом его литературной деятельности. Ровно за двадцать лет перед тем, в 1816 г., юноша Пушкин, как это было установлено М. А. Цявловским, испытал первую горечь литературной обиды, что и выразил в стихах, обращенных в Дельвигу, преувеличив нанесенное ему оскорбление и сделав из этого для себя неожиданные и неправомерные выводы. Это стихотворное послание Пушкина к Дельвигу («Блажен, кто с юных лет») известно давно, но рас-

крыть его конкретный смысл и поводы, его вызвавшие, долго не удавалось..

Начало литературной деятельности Пушкина было, как известно, блестящим. Его стихи появились в столичных журналах в то время, когда сам поэт еще сидел на школьной скамье. Первое его стихотворение («К другу-стихотворцу») появилось в печати в июне 1814 г. (Вестник Европы, ч. 76, № 13); в том же году на страницах этого журнала, который тогда временно редактировал В. В. Измайлов, напечатано было еще четыре стихотворения. Но в конце 1814 г. В. В. Измайлов покинул «Вестник Европы» и основал в Москве другой журнал — «Российский музей, или Журнал европейских новостей», который и выходил под его редакцией в течение всего 1815 г. И Пушкин, и Дельвиг были постоянными сотрудниками «Российского музея», начиная с январской его книжки; здесь напечатано много стихотворений обоих друзей, в частности знаменитое стихотворение Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», в особенности примечательное тем, что оно было первым стихотворением, напечатанным за его полной подписью: «Александр Пушкин».¹⁸

Если в 1815 г. в одном «Российском музее» увидели свет 18 стихотворений Пушкина, то в следующем 1816 г. ни в одном из тогдашних изданий не было напечатано ни одного стихотворения поэта. Почему? «Этот факт до сих пор оставался необъяснимым, — замечает М. А. Цявловский, — так как известно, что поэт в этом году написал более тридцати стихотворений, не говоря уже о том, что у него немало оставалось ненапечатанных стихотворений 1814 и 1815 гг.»¹⁹ Отгадку этого непонятого факта М. А. Цявловский нашел в напечатанном незадолго перед тем письме однокурсника Пушкина по Лицею, А. М. Горчакова, к родным от 10 июля 1816 г.; содержащееся в этом письме свидетельство, по мнению М. А. Цявловского, вполне объясняет «причину отсутствия стихотворений Пушкина в печати в этом году».²⁰

В письмах А. М. Горчакова к родственнику его А. Н. Пещурову за 1816 г. много лицейских новостей, и прежде всего литературных. А. М. Горчаков всякий раз делится впечатлениями о поэтических опытах своих лицейских товарищей — А. Илличевского, Дельвига и Пушкина. «Так как мы уже заговорили о поэзии, то скажу вам, что ваши знакомцы по журналам, т. е. наши домашние

¹⁸ Максимов А. Г. «Российский музей, или Журнал европейских новостей» 1815 года // Sertum bibliologicum в честь... проф. А. И. Малеина. Пб., 1922, с. 75. Дельвиг и Пушкин навсегда сохранили благодарность к В. В. Измайлову, этому старому литератору-карамзинисту, сумевшему оценить их первые литературные опыты. Этим можно объяснить появление довольно обстоятельной статьи о В. В. Измайлове в «Литературной газете» (1830, т. 2, № 66, с. 242), автором которой был Н. И. П. (т. е. Н. Иванович-Писарев).

¹⁹ Цявловский М. А. Пушкин и Каченовский (в 1816 г.) // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 359.

²⁰ Там же.

поэты, что-то умолкли, — [сообщал А. М. Горчаков А. Н. Пешурову 10 июля, — сам Пушкин заленился; верно, и на него действует погода. Очень часто ходит он к Карамзину, к нему очень хорошо расположен; не худо было бы, если бы там, в Храме вкуса и познаний, он бы почерпнул что-нибудь новое и прекрасное и ознакомил бы на досуге в прекрасных стихах; на нынешнее лето, кажется, надежды мало, да и вообще оно не очень плодородно в Лицее. Все наши поэты дремлют до радостного утра». За этим следует фраза, которую М. А. Цявловский взял за основу своих дальнейших рассуждений: «Пушкина пьесы с три должны быть на этих днях напечатаны в „Вестнике Европы“; он уже давно их отправил. В числе трех — „Гроб Анакреона“, который, я думаю, вам понравится».²¹

«Итак, — догадывается М. А. Цявловский, — надо полагать, что еще весной 1816 г. Пушкин послал в редакцию „Вестника Европы“ три стихотворения». Он, очевидно, надеялся, что М. Каченовский, вступивший в обязанности редактора журнала, примет во внимание, что уже в 1814 г., во время редакторства В. В. Измайлова, Пушкин печатал свои стихи в «Вестнике Европы». «Не получив никакого сообщения от Каченовского в ответ на посланные ему стихотворения, — пишет М. А. Цявловский далее, — Пушкин, вероятно, спрашивал редактора о причине его молчания, но и на это письмо не получил ответа». В июльском номере «Вестника Европы» за 1816 г. Пушкин должен был прочесть заметку «От редактора», объясняющую это молчание, в которой, в частности, М. Каченовский объявил своим сотрудникам, что, «не имея времени переписываться» «по причине разных обязанностей своих и занятий», он не может отвечать на письма «вопросные, требовательные и даже понудительные» «касательно их пьес, особливо же стихотворений». «Юный поэт понял, — заключает Цявловский, — что его стихи напечатаны не будут. Это была первая литературная обида, причиненная Пушкину. Впервые оскорбленный как поэт, он излил свое горькое чувство в послании, обращенном к ближайшему другу Дельвигу».²²

Послание Пушкина к Дельвигу 1816 г. («Блажен, кто с юных лет») было мало известно исследователям в том виде, в каком оно непосредственно вылилось из-под пера оскорбленного поэта. До указанной статьи М. А. Цявловского, в которой он привел самую раннюю редакцию этого стихотворения, данная редакция полностью не печаталась;²³ известны были лишь более поздние и

²¹ Лицейские письма А. М. Горчакова 1814—1818 гг. // Красн. архив, 1936, кн. 6 (79), с. 191.

²² Цявловский М. А. Пушкин и Каченовский (в 1816 г.), с. 360.

²³ В большом академическом издании эта редакция напечатана лишь в виде варпантов (I, 412, 477—478). Стихотворение «К Дельвигу» подверглось первой обработке через несколько месяцев после своего возникновения, так как, вероятно, предназначалось для задуманного в то время сборника стихов. Позднее Пушкин перерабатывал это послание в 1819 и 1825 гг. (I, 246 — вторая редакция; II, 28 — третья редакция, начинающаяся словами «Любовью, дружеством и ленью»).

довольно многочисленные сокращения и переработки стихотворения, которым Пушкин подвергал его много лет подряд, пока оно не увидело свет в первый раз в 1826 г. в его «Стихотворениях» — ровно десять лет после создания. В последней (четвертой) своей редакции это стихотворение было уже столь сильно переработано и в нем так искусно оказались затушеванными первоначальные поводы к его созданию, что о них мог вспомнить только тот, кто знал его в изначальном виде и к кому оно было обращено — А. А. Дельвиг.

В этом послании Пушкин обращался к своему другу доверительно, с самыми интимными признаниями, которые самолюбивый юноша-поэт скрывал от других. Вступление развивает тему о предназначении поэтов; затем Пушкин обращается непосредственно к своему другу, чтобы противопоставить ему, счастливому певцу, свою горькую участь:

Воспяганный в тиши, не зная грозных бед,
С любовью, дружеством и ленью
В уединении ты счастлив, — ты поэт!
Но для меня прошли, увяли наслажденья!

Напомнив другу о счастливом начале своей поэтической деятельности, о том, что и его «смиранный путь» «в цветах украсила богиня песнопенья», Пушкин, однако, говорит о неожиданно охватившем его сильном чувстве разочарования:

Но всё прошло — и скрылись в темну даль
Свобода, радость, восхищенье
и т. д.
(I, 242)

Далее обиженный поэт прямо говорит о вражде, зависти и клевете, которые настигли его тогда, когда он меньше всего ждал их — «на утре вешних лет». Явно сгущая краски, баловень славы, уже узнавший восторженное признание и самые искренние похвалы, он решает теперь бросить свою литературную деятельность, оставить лиру навсегда и провести жизнь в полной безвестности, не спрашивая одобрений своему творчеству ни у современников, ни у потомков. Конец стихотворения настолько интересен для нас проникающими его элегическими настроениями и связанной с ними системой образов, что его необходимо привести целиком:

Так рано зависти увидеть зрак кровавый
И низкой клеветы во мгле сокрытый яд.
Нет, нет! ни счастьем, ни славой
Не буду ослеплен. Пускай они манят
На край погибели любимцев оболщенных.
Исчез души священный жар!
Забвенью сладких песен дар
И голос струн одушевленных!
Во прах и лиру и венец!
Пускай не будут знать, что некогда певец,
Враждою, завистью на жертву обреченный,

Погиб на утре вешних лет,
Как ранний на поляне цвет,
Косой безвременно сраженный.
И тихо проживу в безвестной тишине;
Потомство грозное не вспомнит обо мне,
И гроб несчастного в пустыне мрачной, дикой
Забвенья порастет ползущей повиликой.

(I, 247, 412)

М. А. Цявловский так комментировал приведенные стихи: «В словах о „зраке кровавом зависти“, о „во мгле сокрытом яде низкой клеветы“ можно было видеть лишь обычные в лицейской лирике Пушкина гиперболы сентиментальной поэтики русских и французских элегий того времени. Теперь оказывается, что эти выражения разумели реальный факт отказа Каченовского напечатать стихотворения юного поэта. Три стихотворения Пушкина не увидят света, и ему уже кажется, что он „погиб на утре вешних лет, как ранний на поляне цвет, косой безвременно сраженный“ что он „проживет в безвестной тишине“ и „потомство грозное не вспомнит“ о нем».²⁴ М. А. Цявловский, конечно, прав, догадавшись о поводах, вызвавших это послание Пушкина, и о том, что юный поэт в обычной для начала века сентиментальной манере изобразил свои чувства, сильно преувеличив нанесенную ему обиду. Однако, с нашей точки зрения, это был немаловажный для Пушкина эпизод; несмотря на допущенные поэтом преувеличения, он все же высказывал первые и очень искренние сомнения в своей поэтической судьбе. На заключительные строки — о забытом памятнике-надгробии — мы уже ссылались выше в другой связи. Укажем теперь, что, с нашей точки зрения, именно это свое послание к Дельвигу 1816 г. Пушкин обновил в памяти в 1836 г., двадцать лет спустя; из этого именно воспоминания и могла родиться идея «Памятника», с той же обидой на зависть, хвалу и клевету, с тем же горацианским образом памятника-надгробия, но на этот раз с горделивым утверждением своих заслуг и характеристикой всего, что реально сделал поэт за протекшие двадцать лет. Пушкинский «Памятник» должен занять свое место среди «юбилейных» стихотворений 1836 г.

Из ряда стихотворений Пушкина того же 1816 г. явствует, что внезапно овладевшие в то время поэтом сомнения в собственном даровании и разочарование в творческой деятельности были чувствами довольно глубокими, хотя и не очень длительными. В различных вариантах и обрамлениях подобные мысли мелькают во многих произведениях, написанных им в этом году. В стихотворении «Любовь одна — веселье жизни холодной» юный поэт, например, восклицает с огорчением:

К чему мне петь? Под кленом полевым
Оставил я пустыночу Зефиру
Уж навсегда покинутую лиру,
И слабый дар как легкий скрылся дым.

(I, 214)

²⁴ Цявловский М. А. Пушкин и Каченовский (в 1816 г.), с. 362.

То же настроение отчужденности, отверженности, вызвавшее вынужденное бездействие, запечатлено в стихотворении «Сон»:

Мне страшен свет, проходит век мой темный
В безвестности, заглохшею тропой.

(I, 184)

В «Послании к кн. Горчакову», в стихах 59—62, мы находим признания или, скорее, вопрошания того же рода:

Чего мне ждать? В рядах забытый воин,
Среди толпы затерянный певец,
Каких наград я в будущем достоин
И счастья какой возьму венец?

(II, 114)

В послании «Ш. . .ву» (т. е. А. А. Шишкову, племяннику адмирала и главы «Беседы любителей русского слова», также начинающему поэту, только пробовавшему свои силы на литературном поприще), опубликованном самим Пушкиным с датой «1816 г.» (в «Стихотворениях», изданных в 1826 г.), снова запечатлены те же чувствования, лишь несколько более конкретизированные, поскольку они обращены к собрату по перу.²⁵ Пушкин свидетельствует, что он мечтал стать поэтом, тешил себя надеждами о славе, но отрезвление наступило неожиданно:

Не вечно нежиться в приятном ослеплении:
Докучной истины я поздний вижу свет.

А произошло вот что:

По доброте души я верил в упоеньи
Мечте, шепнувшей: ты поэт,
И, презирая мудрые угрозы и советы,
С небрежной ясностью нанизывал куплеты,
Игрушкою себя невинной веселил

Но долго ли меня лелеял Аполлон?
Не долго снились мне мечтанья Муз и Славы:
Уснув меж розами, на тернах я проснулся

и т. д.

(I, 232, 402, 474)

Еще более откровенно, с прямым указанием на истинного виновника своих душевных терзаний, Пушкин говорит о том же в послании «К Жуковскому» («Благослови, поэт! . .» — I, 194), написанном осенью 1816 г.; под именем Мевия здесь явно разумеется тот же Каченовский:

²⁵ О знакомстве и встречах Пушкина в 1816—1817 гг. с А. А. Шишковым, в то время офицером Кексгольмского полка, расквартированного в Царском Селе, см.: Ш а д у р и В. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951, с. 52—53.

Уж Мевий на меня нахмурился ужасно,
И смертный приговор талантам возгремел,
Гонения терпеть ужель и мой удел?

(I, 197)

Но приговор беспощадного критика теперь не принимается всерьез; поэт более не хочет бросить лиру и не считает себя побежденным. Молодым задором и уверенностью в своих силах звучат теперь следующие, обращенные к Жуковскому строки:

Что нужды? Смело в даль дорогою прямою,
Ученью руку дав, поддержанный тобою,
Их злобы не страшусь: мне твердый Карамзин,
Мне ты пример. Что кряк безумных сих дружин?

(I, 197)

Своего рода кризис миновал, и на поэтическом алтаре вновь засиял ровный и сильный огонь вдохновения. Как совершилось это новое пробуждение творческих сил поэта? У нас есть все основания думать, что в переломе настроений Пушкина в 1816 г. от разочарования к горделивому самоутверждению решающую роль сыграли стихи, обращенные к нему Дельвигом, и те устные дружеские увещания, которыми тот подкреплял свои стихотворные послания. Справедливость своего истолкования вышеприведенного послания Пушкина к Дельвигу, а также причин, вызвавших его написание, М. А. Цявловский подтверждал ссылкой еще на одно стихотворение Дельвига к Пушкину, которое, очевидно, служило ответом на его послание «К Дельвигу».²⁶

Послание Дельвига «К Пушкину» впервые напечатано было В. П. Гаевским в рецензии на первый том Сочинений Пушкина в издании П. В. Анненкова.²⁷ Правильно связав оба послания, которыми обменялись лицейские друзья, Гаевский, однако, еще не мог объяснить поводы, их вызвавшие. Ему казалось даже, что жалобы Пушкина на злобу и клевету «совсем неизъяснимы, да, может быть, и тогда не имели основания»; тем не менее он заметил, что сомнения, тревожившие молодого Пушкина, «определительнее высказаны» и как бы подтверждены в найденном им в бумагах Дельвига послании:

К А. С. П у ш к и н у

Как? Житель гордых Альп, над бурями парящий,
Кто кроет солнца лик развернутым крылом,
Услыша под скалой ехидны свист шипящий,
Раздвинул когти врозь и оставляет гром?

Тебе ль, молодой вещун, любимец Аполлона,
На лиру звучную потоком слезы лить,
Дрожать пред завистью и под косою Крона
Склоняся — дар небес в безвестности укрыть?

Нет, Пушкин, рок певцов — бессмертье, не забвень
и т. д.²⁸

²⁶ Ц я в л о в с к и й М. А. Пушкин и Каченовский (в 1816 г.), с. 362.

²⁷ Отеч. зап., 1855, кн. 6 (июнь), отд. 3, с. 47—48.

²⁸ До появления указанной статьи М. А. Цявловского это послание Дельвига лишь предположительно относили к лицейскому периоду, не ис-

«Вообще Дельвиг, как доказывают его напечатанные стихотворения, прежде других открыл и оценил дарование Пушкина и предсказал своему другу ожидавшую его славу», — справедливо заметил В. П. Гаевский, публикуя указанное послание «К А. С. Пушкину» и кстати вспоминая также другие поэтические обращения Дельвига к лучшему из его лицейских друзей.²⁹

Действительно, приведенное ответное стихотворение Дельвига не было первым, адресованным им Пушкину. Как известно, ему предшествовало другое, также стихотворное послание, еще более замечательное тем, что оно было опубликовано в конце 1815 г. Послание 1816 г. («Как? Житель гордых Альп») осталось в бумагах обоих друзей и увидело свет через много лет после их смерти; предшествующее же послание 1815 г. явилось, как это отметил еще Л. Н. Майков, «первым печатным приветствием Пушкину и вместе с тем предсказанием его великой будущности».³⁰

Речь идет об известном стихотворении Дельвига «А. С. Пушкину» («Кто, как лебедь цветущей Авзонии»), впервые напечатанном в том же журнале «Российский музеум» 1815 г., где печатались и Пушкин, и все другие лицейские поэты.³¹ Данная в этом стихотворении Дельвига панегирическая характеристика юноши-поэта с его полным именем, начертанная пером школьного друга, могла бы показаться тем более неуместной, что сам Пушкин до тех пор не выступал в печати под своим именем (пользуясь лишь криптограммой или псевдонимом в виде цифрового обозначения). К этому времени лишь одно произведение Пушкина было опубликовано с его именем — получившее известность стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Отсюда, вероятно, и возникла догадка, что Дельвиг сочинил свой панегирик Пушкину «под живым впечатлением блестящего успеха „Воспоминаний в Царском

ключая, впрочем, возможности, что оно относится к концу 1820 г. и вызвано нападками на «Руслана и Людмилу» на страницах «Вестника Европы». В таком случае, — замечал Б. В. Томашевский, — Арменийс — Каченовский» (см.: Дельвиг. Полн. собр. стихотворений / Под ред. Б. В. Томашевского. с. 470, 519). М. А. Цявловский неопровержимо доказал, что «Армениус» — это действительно А. Каченовский и что послание Дельвига может относиться только к 1816 г. Точная дата возникновения этого стихотворения остается неопределенной. М. А. Цявловский в своей «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» (М., 1951, с. 104) указывает лишь пределы того длительного периода, в течение которого оно могло быть написано: «октябрь (?) 1816—апрель 1817».

²⁹ Ранее, в «первой статье» о Дельвиге, В. П. Гаевский также писал: «Дельвиг отвечал Пушкину за его дружбу не только самую горячею привязанностью, но каким-то восторженным удивлением и первый предсказал пятнадцатилетнему поэту ожидавшую его славу» (Современник, 1853, т. 37, отд. III, с. 81—82).

³⁰ Пушкин. Полн. собр. соч. / Под ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1900, т. 1, примеч. на с. 107.

³¹ Рос. музеум, 1815, ч. 3, сентябрь, № 9, с. 260 (за подписью Д.). В этой же книжке журнала стихотворению Дельвига предшествовали стихотворение самого Пушкина «Мечтатель» (подписанное: 1... 14—17) и стихотворное обращение В. А. Жуковского к П. А. Вяземскому.

Селе“, читанных Пушкиным на публичном лицейском экзамене в январе 1815 г. в присутствии Державина». ³² Стихотворение Дельвига и напечатано было в том же «Российском музее» 1815 г., где незадолго перед тем появились и пушкинские «Воспоминания в Царском Селе». С. А. Венгеров находил, что «неуклюжее и местами не совсем понятное» стихотворение Дельвига «любопытно как яркое проявление того восторга, который возбуждал Пушкин с первых шагов своих на литературном поприще. И не столько, конечно, характерно, что его осыпал похвалами однолеток-товарищ, а то, что с прописанием полного имени панегирик был напечатан в первой стихотворительной журнале». ³³ Не менее существенно для нас то, что хотя это стихотворение действительно не принадлежит к лучшим произведениям Дельвига, но сам автор им, очевидно, очень дорожил: при его жизни и с его ведома оно было опубликовано три раза — в 1815, 1819 и 1829 гг. ³⁴ Это послание Дельвига настолько важно для последующего изложения, что его необходимо воспроизвести здесь полностью.

Пушкину

Кто, как лебедь цветущей Авзонии,
Осененный и миртом и лаврами,
Майской ночью при хоре порхающих
В сладких грезах отвился от матери:

Тот в советах не мудрствует; вá стены
Побежденных знамена не вешает;
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым;

Флот, с несчетным богатством Америки,
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукратно экватора
Для него кораблями бегущими.

Но с младенчества он обучается
Воспевать красоты поднебесные,
И ланиты его от приветствия
Удивленной толпы горят пламенем.

И Паллада туманное облако
Рассеивает от взоров, — и в юности
Он уж видит священную истину
И порок, исподлбья взирающий.

³² Основание для такого предположения Л. Н. Майков усматривал в последних стихах IV строфы («И ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем») и в строфе V (см.: Пушкин. Полн. собр. соч. / Под ред. Л. Н. Майкова, т. 1, с. 107).

³³ Пушкин. [Соч.] / Изд. Брокгауза—Ефрона. СПб., 1907, т. 1, с. 218.

³⁴ Через пять лет после опубликования в «Российском музее» стихотворения Дельвига перепечатано было в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1819, ч. 8, № 12, с. 103—104; на этот раз подпись автора сокращена была до инициала «Д.»); затем оно вошло в издание стихотворений Дельвига 1829 г. (с. 136—137).

Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пеннем,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

При перепечатке этого послания в 1819 г. первоначальное заглавие «Пушкину» — несомненно во избежание недоразумений — было уточнено прибавлением инициалов поэта («К А. С. Пушкину»). Кроме того, здесь появился также и подзаголовок, в «Российском музее» отсутствовавший, — «Горацианская ода»; для нас он имеет особое значение, так как дает больше чем только жанровое определение.

Знаменательно, что именно от Пушкина знаем мы о ранних увлечениях Дельвига поэзией Горация. В набросках своей неоконченной статьи о Дельвиге (писавшейся в середине 30-х гг.) Пушкин утверждает, что Горация Дельвиг изучил в классе под руководством Н. Ф. Кошанского и что именно подражания Горацию были «первыми его опытами в стихотворстве» (XI, 273).³⁵ К интересующей нас «Горацианской оде» — «К А. С. Пушкину» давно уже приводились параллели из римского лирика. Еще Вал. Майков пытался усмотреть в ней «весьма вольное и далекое от подлинника подражание известной оде Горация: *Integer vitae scelerisque purus* (I, 22)». ³⁶ А. Д. Галахов со своей стороны с большим, по нашему мнению, основанием указал, что в этом стихотворении Дельвига сказываются «античные образы и метр Горациевой оды: *Quem tu Melpomene semel* (IV, 3)». ³⁷

В самом деле, указанная ода Горация построена на той самой мысли, которую, как бы вдохновленный ею, защищает и развивает Дельвиг в своем послании к Пушкину, применяясь, конечно, к со-

³⁵ О предпочтении Дельвигом из классических поэтов Горация мы имеем и другое свидетельство — в письме его лицейского одноклассника А. Илличевского к А. А. Фуссу от 28 февраля 1816 г. (приведено в кн.: Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1811—1817). СПб., 1911, с. 63). Хотя Дельвиг не перевел ни одного стихотворения Горация, но отзвуки горацианских мотивов в его поэзии весьма многочисленны и приглушеннее звучат лишь с середины 20-х гг. Следы весьма внимательного чтения Горация явственно различимы как раз в тех стихотворениях Дельвига, которые названы Пушкиным в указанной статье о нем (см. у Пушкина: «Оды: К Диону, К Лилете, Дориде писаны им на пятнадцатом году и напечатаны в собрании его сочинений безо всякой перемены. В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял» — XI, 273, 517, 563). Начальные стихи оды «К Диону» (1814) напоминают оду Горация «К Помпею Вару» (впоследствии переведенную Пушкиным) и ряд других его «*Carmina*»; стихотворение «К Лилете» (1814) заимствует мысли и образы из ряда од Горация (I, 3, 3—4; I, 9, 9—11) и т. д. См.: *B u s c h W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 166—168.*

³⁶ Сочинения бар. Дельвига с приложением биографического очерка, составленного Вал. В. Майковым. СПб., 1893, с. 114. «Начало послания Пушкину («Кто, как лебедь цветущей Авзонии») напоминает известную оду Горация («*Integer vitae...*»), — отмечает также В. С. Рыбинский в статье «Барон А. А. Дельвиг, его жизнь и литературная деятельность» (Филол. зап., 1896, вып. 1, с. 12).

³⁷ Г а л а х о в А. Д. Полная русская хрестоматия. 5-е изд. СПб., 1852, ч. 3, с. 186.

бытиям и обстоятельствам жизни своего времени, но следуя образам и фразеологии того же античного стиля. Есть два пути, ведущие к известности и славе, рассуждает в этой оде Гораций, по один исключает другой: человек, коему музы предназначили поэтическое служение, не станет ни воином, ни победителем на играх; если ему суждено быть любимым поэтом, заслужившим признание подлинных знатоков искусства, то он всегда будет далек от ратных дел и радостей, какие дает полководцу колесница триумфатора. В оригинале эта ода (IV, 3), которую несомненно переводили и толковали лицеисты, начинается так:

Quem tu, Melpomene, semel
Nascentem placido lumine videris,
Illum non labor Isthmius
Clarabit pugilem, non equus impiger

Curru ducet Achaico
Victorem, neque res bellica Deliis
Ornatum foliis ducem,
Quod regum tumidas contuderit minas,

Ostendet Capitolio:
Saed quae Tibur atque fertile praefluunt
Et spissae nemorum comae
Fingent Aeolio carmine nobilem
etc.

В русской литературе эта ода переводилась в начале XIX в., например В. В. Капнистом и А. В. Волковым.³⁸ Последний перевод, сделанный, по указанию самого переводчика, «размером подлинника», перепечатывался несколько раз в первой четверти XIX в., вызвал восторженный отзыв А. Х. Востокова и поэтому мог быть известен лицеистам.³⁹

Мельпомена бессмертная!
В час рожденья кому ты улыбалася,
Тот не славится доблестью,
На Истмийском бою, гордо с ристалища
Не течет победителем,
Ниже громко в Триумф, лавром увенчанный
По блистательным подвигам,
Укротивши царей грозы кичливые,

³⁸ Busch W. Horaz in Russland, S. 102, 121.

³⁹ Перевод А. В. Волкова был напечатан в альманахе Вольного общества любителей словесности, наук и художеств «Свиток муз» (1803, кн. 2). А. Х. Востоков писал (24 мая 1802 г.) об этом переводе: «Сия Горациева ода, асклеиадическим размером писанная, переведена весьма удачно... Я спрошу у всякого любителя поэзии, в каких ямбах можно течь так естественно и плавно, так легко порхать и так игриво звенеть? И нужны ли еще к таким стихам рифмы?» (ЖМНП, 1900, № 3, с. 65). См. также «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах» А. Востокова (СПб., 1806, ч. 2, с. 73), где цитирован этот перевод А. В. Волкова: полностью он перепечатан также в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (СПб., 1821, ч. 1, с. 55) в качестве образца «асклеиадейского» размера (см.: Поэты-радищевцы / Под ред. Вл. Орлова. Л., 1935, с. 318—319, 793).

В Капитолию шествует;
Но при шуме ключей злачного Тибура
В сенолиственных рощах
Вдохновенно поет песни Лезбийские.

Вторая половина этой оды представляет собой горделивое самоутверждение: Гораций признается, что теперь когда он удостоился признания и стал любимым поэтом в Риме его уже «меньше язвит зуб зависти» («Et iam dente minus mordeor invido»); однако не только свой поэтический дар, но и свою известность считает он благостным даром всевластной Мельпомены, которая, если захочет, может даже рыбу превратить в поющего лебедя («quoque piscibus donatura cysni, si libeat, sonum»)! В названном переводе А. В. Волкова эта завершающая часть оды читается так:

Рим державный почтил меня,
В лик священный певцов принял торжественно.
И ехидны зависти
Уж не столько теперь жало язвит меня.
О, богиня! вливающа
В струны лиры златой песни божественны,
Не властна ль и в безгласных рыб
По желанию вселить глас лебединый ты?
По твоей благосклонности,
Указуя перстом мимоходящих, я
Песнопевец лирической,
И при жизни еще правлюсь, всеильная!⁴⁰

⁴⁰ Поэты-радищевцы / Под ред. Вл. Орлова. Л., 1935, с. 139. Подражанием этой же оде Горация является собственное стихотворение А. В. Волкова «К музам», напечатанное в первой книге «Свитка муз» (1803, кн. 1, с. 73). Поэт уверяет, что его сердцу милы «тениста роща», «злачный луч» и что его не прельщают воинские лавры:

Блестя храбрости лучом,
Пускай в веки поздны
Отворит пламенным мечом
Герой, любимец Марса грозный;
Желая славы гром простерть,
Пусть грады в крах преобразает
И Этны огонь в груди питает,
Колетля сушу, море, твердь.

Подобная деятельность, однако, не по нем; он мечтает о тихой славе другого рода:

Но ваш приверженец — пиит,
Сей славы, музы! не желает,
Огнем чистейшим он горит
И сердце нежных согревает.

(Поэты-радищевцы, с. 310). В горадианской по теме оде, написанной еще в 1756 г. учеником Ломоносова Н. Поповским, усерднейшим русским переводчиком Горация в XVIII в., есть сильные стихи, в которых мы находим самостоятельное развитие тех же мыслей, но в типичной просветительской редакции — без всякого налета сентиментального стиля, свойственного Волкову, — и с весьма реалистическими подробностями, внушенными опытом военной эпохи:

Нетрудно заметить, сколь понятным и близким мог казаться круг этих мыслей и ощущений лицеистам в тот период, когда они готовились к выпуску из Лицея, мечтая о лучшем выборе своего будущего поприща. В особенности злободневными являлись эти мысли для тех лицеистов, которые колебались в выборе пути, не зная, какую деятельность предпочесть прочим, в частности для юноши Пушкина. Мы уже упоминали выше о намерении Пушкина — еще за два года до выхода из Лицея — стать военным и распрощаться с занятиями поэзией. В послании к А. И. Галичу (1815) он прямо предупреждал сверстников, что «близок грозный час», когда он покинет свою келью и скажет:

Простите, девственные музы,
Прости, прият младых отрад!
Надену узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я — питомец важных муз,
В числе воюющих корнетов!

(I, 121)

Эти перспективы были столь завлекательны, сулили так много неизведанных радостей, а путь, который готовился избрать себе Пушкин, был столь привычным и естественным для дворянских юношей тех лет, что мысли об эполетах и шпорах долго его не покидали. К 1817 г. относят послание его к дядюшке-поэту («В. Л. Пушкин»); здесь обсуждается тот же вопрос о будущем, которое ждет юношу по выходе из Лицея. Но так как Василий Львович, принимавший участие в семейных совещаниях на эти темы, высказывался против военной карьеры племянника, то лицеист-поэт naïвно вопрошал дядю, почему же, собственно, нельзя сделаться офицером, оставаясь поэтом? В первой редакции послания (начинавшейся стихом: «Скажи, парнасский мой отец») вопрос ставился прямо:

Неужто верных муз любовник
Не может нежный быть певец
И вместе гвардии полковник?

(I, XVIII, 14)

За этим следовали в качестве иллюстраций и, очевидно, неопровержимых аргументов ссылки на таких поэтов и военных по

Различны, Меценат! к бессмертию дороги:
Иной, повергнув тьму людей себе под ноги,
Чрез раны, через кровь, чрез кучи бледных тел,
Развалины градов, сквозь дым сожженных сел
Отверз себе мечом путь к вечности кровавой
И с пагубой других достиг бессмертной славы
и т. д.

(Модзалевский Л. Б. Ломоносов и его ученик Поповский // XVIII век. М.; Л., 1958, сб. 3, с. 164).

профессии, какими были «Денис храбрец», лихой рубака и весельчак (т. е. Денис Давыдов), или «русский Буфлер» (т. е. К. Н. Батюшков), или даже «Глинка-офицер» (т. е. автор «Писем русского офицера» — Ф. Н. Глинка). Во второй, написанной заново, более сжатой редакции этого же послания («Что восхитительней, живей»), в которой, однако, намеренно усилены краски и хвала военному быту, Пушкин устранил эти примеры, но не без зависти упомянул «не слишком мудрых усачей, но сердцем истинных гусаров», которые

...живут в своих шатрах,
Вдали забав, и нег. и граций,
Как жил бессмертный трус Горацій
В тибурских сумрачных лесах.

(I, 250, 478)

Имя римского лирика, заместившее в этом стихотворении имена соотечественников Пушкина, появилось здесь не только ради рифмы, заимствованной у того же Батюшкова и потом столько раз повторенной, что она воспринималась в конце концов пародически, как истертый трафарет:⁴¹ Пушкин снабдил имя Горация лапидарным определением,⁴² тем самым напоминая, весьма кстати, что Горацій и сам был, хотя и недолгое время, военным трибуном и что он, по его собственному признанию, бежал с поля сражения при Филиппах. Заключительные стихи второй редакции этого послания содержат в себе уже не вопрошания и не систему доказательств, но утверждение, дающее собственное решение занимавшего в то время юношу Пушкина вопроса, и противопоставления. По его мнению, поэтов и воинов следует уравнивать в правах на признание и славу у современников и потомства:

Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной саблей и седла!

(I, 250)

⁴¹ См. стихотворение Пушкина «Городок» (1814), где впервые встречается рифма «граций—Горацій», заимствованная из «Пенатов» Батюшкова. В конце этого десятилетия данная рифма получила широкое распространение. См., например, послание Баратынского «К Дельвигу» (1819), начинавшееся стихом «Так, любезный мой Горацій», на которое Дельвиг отвечал посланием «К Евгению» («За то ль, Евгений, я Горацій»), или послание П. А. Вяземского Д. Давыдову — «Наставник счастья, Горацій». В журнале «Благонамеренный» (1822, ч. 9, № 38) появилось пасквильное стихотворение «Союз поэтов», в котором высмеиваются дружеские послания и под прозрачными псевдонимами выведены поэты из круга друзей Пушкина; здесь рифма «Горацій—граций» стала уже объектом пародии.

⁴² Об этом определении см.: Покровский М. М. Пушкин и античность // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, с. 45, 49—50.

Владевшее некоторое время Пушкиным желание сменить мундир лицеиста на военную форму несомненно было известно Дельвигу лучше других, во всех подробностях, но он явно этому не сочувствовал. Мы имеем об этом одно косвенное свидетельство. В конце апреля—начале мая 1825 г. Дельвиг, прогостивший у Пушкина несколько дней в Михайловском и вместе с ним бывавший в соседнем Тригорском, написал в альбом одной из дочерей П. А. Осиповой, Анне Николаевне Вульф, стихи, которые потом сам же напечатал в «Северных цветах на 1827 год». Это альбомное стихотворение Дельвига начинается следующими строками:

В судьбу я верю с юных лет.
Ее внушениям покорной,
Не выбрал я стези придворной,
Не полюбил я эполет
(Наряда юности задорной),
Но увлечен был мыслью вздорной,
Мне объявившей: ты поэт.⁴³

За десять лет перед тем Дельвиг не только думал то же самое, но и горячо убеждал в этом своего друга — Пушкина-лицеиста.

В послании к своему другу «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», основанном на том же самом противопоставлении различных жизненных судеб, государственного или военного поприща поэтическому, Дельвиг горячо и убежденно советовал Пушкину не отклоняться от ранее избранного им пути. Пример Горация у Дельвига был рассчитан на то, чтобы казаться неопровержимым и убеждающим; и все явно гораціанское построение послания, и прямое заимствование мыслей, образов, сравнений из его оды (IV, 3) на этот раз должны были служить аргументами очевидной истины, что тот, кто рожден поэтом, кого предназначили к творчеству сами музы, не должен свертывать с этого пути, ведущего к громкой славе.

Приведенные выше сближения и параллели до известной степени проясняют нам кое-какие намеки интересующего нас послания Дельвига; однако они явно недостаточны, если мы хотим как следует понять это действительно «темное» стихотворение. Следует, например, иметь в виду не только то, что Дельвиг пользуется метафорическим языком и мифологическими уподоблениями из ряда Горациевых од, а не из одной лишь упомянутой 3-й оды IV книги, но и то, что Пушкин прежде всего прямо сопоставлен здесь с самим Горацием, хотя имя римского поэта отсутствует и о нем говорится лишь перифрастически. Гораций назван в первом стихе «Лебедем цветущей Авзонии»; так он нередко именовался у западноевропейских поэтов нового времени благодаря той его оде (II, 20), в которой он изобразил свое превращение в лебедя, например у немецкого его переводчика Фосса («Ausonen-

⁴³ Д е л ь в и г. В альбом А. Н. В—ф // Северные цветы на 1827 год / Изд. бар. Дельвигом. СПб., 1827, с. 329.

schwan»);⁴⁴ «Авзонией» же, как поэтическим названием Италии (от имени древнейшего населения ее западной области), пользовались в России многие поэты, в том числе многократно и сам Пушкин.⁴⁵ Поэтическое уподобление Горация лебедю имело и другое основание: сам Гораций называл любимого им греческого поэта Пиндара «Диркейским лебедем» (по источнику близ Фив). Это уподобление находится в знаменитой оде Горация (IV, 2), обращенной к претору Антонию, который и сам был поэтом и обращался к Горацию с предложением написать оду в стиле Пиндара; ответом на это предложение и явилась 2-я ода IV книги Горация, так же как и соседняя с ней, явно отозвавшаяся в послании Дельвига. В заключении этой оды Гораций описывает могучий полет «Диркейского лебедя» — Пиндара, парящего под облаками; себя же, «бедного дарованиями», Гораций уподобляет лишь пчеле, пьющей отрадную влагу в роще Тибура. Эта ода Горация в свою очередь была широко известна в русской литературе в переводах и подражаниях и входила в обязательный круг тех его «Carmina», которые изучались в школах; образы ее, а среди них и «парящий лебедь», мелькают в русской поэзии: и в подражании этой оде В. В. Капниста, озаглавленном «Ломоносов» («Кто Росску Пиндару желает в восторгах пылких подражать»),⁴⁶ и в применении к тому же Ломо-

⁴⁴ Stemplinger E. Fortleben horazischen Lyrik. Leipzig, 1906, S. 289. Н. Надеждин в статье о русских переводах Горация неоднократно называет римского поэта «Авзонийским певцом» (Моск. вестн., 1830, кн. 4, с. 256, 260, 281).

⁴⁵ И. И. Дмитриев пишет А. И. Тургеневу 19 мая 1819 г.: «Как счастлив Батюшков под голубым небом Авзонии!» — и ему же 12 января 1820 г.: «Весело мне слышать, что Батюшков здоров и живет под Авзонским небом» (Дмитриев И. И. Соч. / Ред. и примеч. А. А. Флоридова, т. 2, с. 247 и 256). В элегии П. А. Плетнева «Батюшков из Рима» (Сын отеч., 1821, № 8, с. 35) читаем:

Напрасно по лугам брожу
Авзонии прелестной.

В стихотворении Е. А. Баратынского на отъезд в Италию княгини З. А. Волконской (1829) говорится:

Она спешит на юг прекрасный
Под Авзонийский небосклон.

(Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза. Л., 1951, с. 241). «Сынов Авзонии счастливой» Пушкин упомянул в «Странствовании Онегина» (строфа XXVII), а также в стихотворении «Кто знает край», где под именем Людмилы воспета графиня М. А. Мусина-Пушкина:

Людмила северной красой,
Всё вместе — томной и живой,
Сынов Авзонии пленяет.

(III, 97)

⁴⁶ Н. Остолопов в своем «Словаре древней и новой поэзии» (СПб., 1821, ч. 2, с. 268—271) приводит: 1) латинский подлинник этой оды Горация (по старому счету это 1-я ода IV книги); 2) дословный прозаический ее перевод; 3) подражание В. Капниста.

носову у К. Н. Батюшкова («Наш лебедь величавый» в стихотворении «Мои Пенаты»).⁴⁷ Интересно, что в вариантах «Воспоминаний в Царском Селе» (1814) Пушкина тот же образ применен к Державину:

Как древних лет певец, как лебедь стран Еллины.

(I, 356)

Таким образом, смысл первого четверостишия послания Дельвига — сравнение с Горацием молодого поэта, «осененного и миртом и лаврами», рано почувствовавшего свое призвание и уверенного в своей будущей поэтической славе. Правда, в том же начальном четверостишии остаются для нас неясные строки, аллюзии, смысл которых был, конечно, понятен Пушкину, но для нас утрачен (таковы, например, указания на «майскую ночь» — может быть, время рождения, «хор порхающих», «отвился от матери. . .» и т. д.). Возможно, что в этих стихах, помимо сопоставления Пушкина с «лебедом-Горацием», есть какой-то неизвестный для нас реальный подтекст, скорее всего связанный с культом лебедей в Царском Селе в конце XVIII и начале XIX в. Когда Пушкин вспоминал, что Муза стала являться ему «веспой, при кликах лебединых»,⁴⁸ то он имел в виду не только символических лебедей античной поэзии и русских ей подражаний, но и реальных лебедей царскосельского парка. «Станицу гордую спокойных лебедей», плывущую «среди блещущих зыбей» тихого озера, Пушкин вспоминал и тогда, когда по окончании Лицея он посещал эти места в поисках следов своего прошлого. Вспомним в связи с этим следующий анекдотический случай, приведенный в печати еще при жизни Пушкина Я. Сабуровым в его статье о царскосельском парке: «Лебеди пользовались у всех народов особенным почтением; им греки и римляне приписывали сверхъестественные свойства. Здешние (царскосельские) не отстали вдохновением от почтенных предков своих: недавно один, завидев на берегу толпу лицейских учеников, отделился с криком и воплем, как будто объятый духом пророчества, от стаи, плывшей по озеру, и трепещущий безмолвный, пал к ногам Пушкина».⁴⁹

В. В. Каллаш, напомнивший этот рассказ в своей заметке «Пушкин и царскосельский лебедь», не придавал ему никакого значения, кроме разве того обстоятельства, что этим легендарным известием, по его мнению, «могли бы воспользоваться современные наши поэты». Однако он недоумевал, кто имеется в виду под «толпой лицейских учеников» — «бывшие ли лиценсты, навестившие свою *alma mater*», или же «рассказ относится ко времени пребывания

⁴⁷ В и н о г р а д о в В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 124.

⁴⁸ Н. Д. Чечулин в статье «О стихотворениях Державина» (Известия отделения русского языка и словесности Российской академии наук (1919), Пб., 1922, т. 24, кн. 1, с. 103) возводит эту строчку Пушкина к стихотворению Державина «Прогулка в Царском Селе» (1791), в котором упомянуто катанье на лодке по озеру «в прекрасный майский день», «при гласе лебедей».

⁴⁹ С а б у р о в Я. Царскосельский сад // Моск. вестн., 1830, ч. 5, № 17—20, с. 149—150.

Пушкина в Лицее?».⁵⁰ С нашей точки зрения, этот вопрос существует для оценки свидетельства; ответ могут дать биографические сведения и даты об авторе цитируемой статьи — Я. Сабурове. К сожалению, они извлекаются из источников не без затруднений. Хотя в произведениях и письмах Пушкина разных лет имя Сабурова встречается неоднократно, но эти упоминания относятся к разным лицам; это и послужило поводом к путанице, существующей и доныне в большинстве наиболее авторитетных трудов о Пушкине.⁵¹

Как установил еще Б. Л. Модзалевский,⁵² автором статьи о царскосельском саде в «Московском вестнике» 1830 г. был Яков Иванович Сабуров (1798—1856), служивший в лейб-гвардии гусарском полку в Царском Селе с 10 апреля 1816 г. по 14 октября 1819 г. и хорошо знавший Пушкина в его лицейские годы. Выйдя из полка по домашним обстоятельствам поручиком, Я. И. Сабуров служил в Кишиневе (при Инзове) одновременно с Пушкиным, а затем, во второй половине 20-х гг., в Одессе (при М. С. Воронцове). Современники согласно говорят о его уме и образованности. «Он малый умный, добрый и благородный», — свидетельствовал о нем П. А. Вяземский в письме В. А. Жуковскому,⁵³ а Б. Н. Чичерин, описывая круг знакомых Н. И. Кравцова, рассказывал о Я. И. Сабурове, что это был человек «весьма неглупый, образованный, ште читавший, с разнообразными сведениями, хотя несколько шаткими мыслями и характером», и что он имел знакомства

⁵⁰ К а л л а ш В. В. Заметки о Пушкине // Рус. архив, 1901, т. 2, вып. 6, с. 247.

⁵¹ М. А. Цявловский в «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» (Л., 1951, т. 1, с. 85, 118) ссылается только на одного Сабурова — Якова Васильевича, лейб-гусара, квартировавшего с полком в Царском Селе, знакомого Пушкина, посещавшего его в Лицее. К этому же Сабурову М. А. Цявловский относит также известные стихи Пушкина 1824 г. — «Сабуров, ты оклеветал мой гусарские затыл», упоминание в письме Пушкина к брату 1825 г. (там же, с. 526, 594) и др. Здесь, однако, спутаны разные лица, носившие ту же фамилию. Историк Лицея Д. Ф. Кобеко в заметке о «Молитве лейб-гусарских офицеров» привел точные сведения о двух лейб-гусарах Сабуровых — родных братьях Якове и Андрее Ивановичах (Пушкин и его современники, 1913, вып. 17, с. 9—12). Между тем, по сведениям историка этого полка, в нем одновременно служили четверо Сабуровых, из них два Якова (Яков Васильевич и Яков Иванович), см.: М а н з е й К. История лейб-гвардии гусарского полка. СПб., 1859, ч. 3, с. 82—84, 95—96. Отсюда и возникли недоразумения большинства исследователей Пушкина; мы находим неточности о различных Сабуровых и в примечаниях В. И. Саитова к 3-му тому «Остафьевского архива» (СПб., 1899, с. 446) и к венгерскому изданию Сочинений Пушкина (СПб., 1908, т. 2, с. 261, 531—532; СПб., 1909, т. 3, с. 554), и даже в публикации «Литературного наследства» (1952, т. 58, с. 38). См. также заметку «Онегинский Сабуров» в «Пушкинологических этюдах» Н. О. Лернера (Звенья, М., 1935, с. 94—100), в которой автор пытается разобраться во всей этой путанице. По его мнению, в «Евгений Онегин» говорится об Андрее Ивановиче Сабурове.

⁵² П у ш к и н. Письма / Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926, т. 1, с. 361.

⁵³ Рус. архив, 1900, № 2, с. 193.

в литературном мире.⁵⁴ Я. И. Сабуров и сам изредка печатал свои статьи в журналах: в 1830 г. в «Литературной газете» Дельвига (№ 30, с. 237—240) он опубликовал статью «Праздник в Величке» (отрывок из дорожных заметок), в том же году в «Московском вестнике» — статью «Земледелие, промышленность и торговля в Бессарабии в 1826 г.», отдельный оттиск которой сохранился в библиотеке Пушкина,⁵⁵ присланный ему самим автором, и статью «Царскосельский сад», из которой выше приведены извлечения; в 1835 г. в «Московском наблюдателе» Я. И. Сабуров напечатал статью «Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ».

Все эти литературные работы Я. И. Сабурова были несомненно хорошо известны Пушкину; немислимо было бы предполагать, что статья «Царскосельский сад» — с анекдотом о лебедь, упоминанием о поэте и цитатой из его «Воспоминаний в Царском Селе» — ускользнула от него, хотя никаких данных о знакомстве с ней в собственных писаниях Пушкина мы не имеем. С другой стороны, едва ли подлежит сомнению, что рассказ о лебедь стал Я. И. Сабурову известен из первоисточника — от лицеистов, в то время, когда он сам жил в Царском Селе вместе с гусарским полком, и, вероятно, вскоре после того, как произошел записанный им случай. Статья Я. И. Сабурова о царскосельском парке представляет собой значительный интерес, так как она дает историческое описание всех достопримечательностей парка в том виде, в каком наблюдал их юноша Пушкин в последний год своего пребывания в Лицее. Отсюда становится вполне возможным (оговоримся, впрочем, что тут мы вступаем уже в область предположений), что именно этот или сходный анекдот из лицейской жизни Пушкина мог внушить Дельвигу кое-какие образы его послания «Кто, как лебедь цветущей Авзонии».⁵⁶

⁵⁴ Там же, № 4, с. 514.

⁵⁵ П у ш к и н. Письма, т. 1, с. 361. Б. Л. Модзалевский отметил особо, что при описании этой брошюры в каталоге пушкинской библиотеки (Пушкин и его современники, вып. 9—10, с. 91) он ошибочно назвал ее автором Якова Васильевича, а не Якова Ивановича Сабурова.

⁵⁶ После «Лебедя» Державина (впервые напечатан в 1808 г.) образ «поэта-лебедя» стал очень распространенным в русской поэзии. Второстепенный поэт А. Склабовский, помещая в своих «Опытах в стихах» (Харьков, 1819, с. 130—135) большое стихотворение на эту тему — «Умирающий лебедь», указывал, что оно является «подражанием Гердеру»; однако Гердер в свою очередь вдохновлялся той же одой Горация, которая оказала воздействие на стихотворение Державина. Тот же образ внушил Д. В. Веневитинову в послании «К Пушкину» (написано в сентябре—октябре 1826 г.) стихи о Гёте, который, как он надеялся, услышит голос русского певца:

И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновленный,
Ответно лебедь запоег, —
И к небу с песнью прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного молчанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

Достаточно темной и требующей специальных пояснений является вся вторая строфа интересующего нас послания Дельвига. Начало 5-го стиха в тексте «Российского музеума» 1815 г. и в рукописи Дельвига 1819 г. читалось иначе, чем в последующих перепечатках: «в конгрессах не мудрствует» было изменено на «в советах не мудрствует», чем затушевывался слишком прозрачный намек. Первопечатный текст 5-го стиха имел в виду не только Венский конгресс (1814—1815 гг.), но и непосредственно Александра I как одного из важнейших его участников. Не может быть сомнений и в том, что в первых двух строфах послания, уже в слегка прикровенном, но все же достаточно прозрачном виде, сделано противопоставление двух судеб — *поэта и государственного деятеля*, центральное для всего стихотворения в целом. Дельвиг рассуждает о том, что молодому поэту, «осененному миртом и лаврами», т. е. уже добившемуся признания и славы, предстоит в будущем его собственный жребий; он не будет держать речи на конгрессах европейских правителей, как это делал русский государь, одержавший крупные военные победы и закрепивший их своими разглагольствованиями; тот, кто «отвился от матери», т. е. стал самостоятельным певцом, —

Тот в конгрессах не мудрствует, на́ стены
Побежденных знамена не вешает;
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым.

Заметим, впрочем, что совершенно неясно, какой реальный пейзаж — царскосельский или петербургский — Дельвиг имел в виду в приведенных стихах. Скорее всего они могли относиться к Чесменской колонне, воздвигнутой в 1778 г. на царскосельском озере в честь Орлова-Чесменского и украшенной рострами; значение последних разъяснено, и римский образец этой колонны описан в руководстве Эшенбурга, дополненном и изданном Н. Ф. Кошанским в 1816 г.⁵⁷ Я. П. Сабуров в цитированной статье так

(Венежитинов Д. В. Стихотворения / Под ред. В. Л. Комаровича. Л., 1940, с. 56). Через несколько лет П. Г. Ободовский в стихотворении «На кончину Венежитинова» сопоставил с лебедем самого покойного поэта. К 30-м гг. относится стихотворение «Лебедь» Ф. И. Тютчева. О «чистом, стройном лебеде поэзии» — Жуковском — писал П. А. Вяземский, упоминающая царскосельские предания о Пушкине — «отроке, но уже поэте» и о том реальном «лебеде екатерининских времен», которому Жуковский посвятил свое предсмертное стихотворение (Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1882, т. 7, с. 147). Кстати, об этом лебеде, которого хорошо знали лицеисты, писал Я. И. Сабуров в упомянутой статье о царскосельском парке: «Еще жив лебедь Екатерины; он до того одичал, что не только людей, даже птиц к себе не подпускает и живет одиноком на маленьком островку» (Моск. вестн., 1830, ч. 5, № 17—20, с. 149).

⁵⁷ См.: Эшенбург. Ручная книга древней классической словесности. . . умноженная Крамером и дополненная Н. Кошанским. СПб., 1816, т. 1 (предисловие переводчика помечено «декабря 7, 1816, Царское Село»). На с. 102 (§ 111), говоря о римских надписях, «исторгнутых из-под разва-

описывает ее, воздвигнутую посреди озера, неподалеку от «острова Калипсы»: «Колонна Чесменская, вся в волнах, на гранитном подножии желтого мрамора, с бронзовыми барельефами, а на вершине орел с распростертыми крыльями».

Шумя вокруг, валы седые
В блестящей пене улеглись, —

цитирует Я. И. Сабуров далее пушкинские «Воспоминания в Царском Селе» (1814), сопровождая эту цитату инициалами поэта «А. П.» и своим скептическим замечанием: «Жаль только, что они никогда не шумели».⁵⁸ Если 7-й и 8-й стихи послания Дельвига имеют в виду именно Чесменскую колонну, украшенную рострами, то под «храмом Ареевым», т. е. храмом бога войны Марса, Дельвиг мог подразумевать царскосельское Адмиралтейство на берегу озера, где хранились военные трофеи, или же царскосельские казармы. Впрочем, Дельвиг мог писать также и о ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова: в этом случае под «храмом Ареевым» он подразумевал здание, выстроенное Тома де Томоном (позднее — Биржа) против этих колонн. В любом случае смысл указанных стихов не может быть истолкован иначе, как противопоставление военной и поэтической судеб.

Третья строфа заключает в себе намеки на какие-то события из истории русских мореплаваний, реальный смысл которых в настоящее время от нас ускользает; тем не менее очевидно, что в этой строфе продолжается развитие того же представления о жизненной судьбе государственного деятеля — завоевателя чужих территорий, или, точнее, императора Александра I, которое было дано уже в предшествующей строфе, но здесь с еще более очевидным осуждением:

Флот, исполнен богатством Америки,⁵⁹
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукратно экватора,
Для него кораблями бегущими.

О каких кораблях и о каком золоте, «купленном кровию», идет здесь речь, судить можно только предположительно.⁶⁰

лих древности», автор описывает «надпись на подножии памятника *Columnae rostratae*, который воздвигнут в честь консулу Дуилию после победы, одержанной им на море, в 494 году от основ. Рима, над Карфагенцами». Описание этой колонны Н. Ф. Кощанский дополнил следующей собственной справкой: «Подобная ростральная колонна воздвигнута Великою Екатериною в Царском Селе, среди воды, в честь Орлову-Чесменскому. Достойны примечания надписи и превосходная на бронзовых досках обронная работа, представляющая три морские сражения с натуры. Сидящий на верху колонны Орел напоминает имя героя, а удивление зрителей — славу и вкус Екатерины».

⁵⁸ С а б у р о в Я. Царскосельский сад, с. 148.

⁵⁹ В печатной редакции 1819 г. этот стих имеет вариант: «Флот с несчетным богатством Америки».

⁶⁰ Скорее всего речь идет о кораблях российского флота «Надежда» и «Нева», совершивших кругосветное путешествие в 1803—1806 гг. В начале

Последующие строфы послания Дельвига возвращают нас к за- видной доле молодого поэта, который с младенческих лет при- учается к искусству распознавать красоты природы, отличать «свя- щенную истину» от порока и с первых самостоятельных шагов на творческом пути удостоивается одобрения «удивленной толпы». В заключительной строфе Дельвиг прямо называет Пушкина и предрекает ему бессмертие:

Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Едва ли может быть сомнение в том, что Пушкин узнал это обращенное к нему стихотворение Дельвига от самого автора еще до того, как оно увидело свет в «Российском музее» 1815 г. Тогда же Пушкин написал ответное послание своему другу; дати- ровано оно им самим ноябрем 1815 г., но свет увидело только после смерти поэта, напечатанное Жуковским в 9 томе посмерт- ного издания.⁶¹ В настоящее время известно, что это послание Пушкина к Дельвигу имело четыре редакции (последняя, 1818 — 1819 гг., не была завершена), сохранившиеся у нескольких авто-

второго десятилетия появилось как раз несколько книг, из которых можно было почерпнуть сведения о целях и направлениях этих плаваний. В 1809— 1812 гг. в С.-Петербурге вышло в свет в трех томах известное описание Крузенштерна («Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах по повелению имп. Александра I на кораблях „Надежде“ и „Неве“ под начальством капитан-лейтенанта г. Крузенштерна»); след за ним появилось и другое описание — Ю. Лисянского («Путешествие вокруг света в 1803— 1806 годах по повелению . . . Александра Первого на корабле „Неве“ под начальством флота капитан-лейтенанта Юрия Лисянского». СПб., 1812, ч. 1, 2). По словам последнего сочинения, оба корабля отправлены были из Кронштадта по просьбе Российской Американской компании, «управляв- шей всеми заведенными в Америке российскими селениями», единственным в то время возможным путем — из Балтийского моря около мыса Горна или Доброй Надежды к северо-западному берегу Америки» (ч. 1, с. I—II). Можно указать еще на книгу Г. И. Давыдова «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим послед- ным» (СПб., 1810, с. 1, 2). Автор этой книги, также имевший отношение к русским кругосветным путешествиям, рассказывает, что русские корабли, возвращавшиеся из Ситхи (в Америке) в Охотск, по представлению даже местных жителей должны были быть «наполнены золотом и великими богат- ствами»; хотя это представление не соответствовало действительности, оно все же было причиной корыстолюбивых замыслов начальника охотского порта, за это смещенного (Д а в ы д о в Г. И. Двукратное путешествие в Америку..., ч. 1, с. XXVI, XXX). Известно также, что русский корвет «Суворов» под начальством М. П. Лазарева пришел в перуанский порт Кальяно 25 ноября 1815 г. и вернулся в Россию с золотыми вещами древних инков, подаренными Александру I перуанским вице-королем; но «Суворов» вернулся в Кронштадт 15 июля 1816 г., т. е. уже после того, как послание Дельвига напечатано было в «Российском музее» (см.: З у б о в Н. Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. М., 1954, с. 158—160).

⁶¹ П у ш к и н. Собр. соч. СПб., 1841, т. 9, с. 352—354.

графах и рукописных копиях (одна из них — рукою Дельвига, см.: I, 368); наличие этих редакций позволяет думать, что Пушкин не оставлял намерений увидеть это стихотворение в печати и потому несколько раз принимался за его переделку. С. М. Бонди, пытавшийся разобраться во всех этих редакциях, писал по поводу первоначального текста послания: «Если вспомнить, что к этому времени имя „А. С. Пушкин“ было почти вовсе неизвестно читателям, что он напечатал в журналах всего двадцать стихотворений, из них со своею подписью только одно, то можно себе представить, что панегирик Дельвига должен был произвести довольно смешное впечатление и самому Пушкину было несколько неловко от этих дружеских похвал. Этими обстоятельствами и вызван „Ответ“ Пушкина (таков рукописный подзаголовок разбираемого стихотворения)». ⁶² Пушкин действительно принял позу смущенного похвалами поэта, но в его дружеских упреках и опровержениях была немалая доля напускного скептицизма, скрывавшего явное юношеское самоудолетворение. Отвечая Дельвигу, Пушкин взял совершенно другой тон, чем Дельвиг, пытаясь отделаться от торжественных прорицаний своего друга легкой шуткой, остротой или насмешкой над любимцами муз вообще. Называя Дельвига «лукавым духовником невинных муз», Пушкин все время пытается заменить одическую выпренность послания Дельвига житейскими бытовыми признаниями. Если Дельвиг, например, говорит о «лебедином паренье», о высоком предназначении юного певца, то Пушкин, оправдываясь, утверждает, что он стал поэтом из пустого подражания, случайно, попросту соблазненный на эту деятельность своим «дядюшкой» (или, в позднейшей переделке, Жуковским):

И я главой поник
Пред милою мечтою;
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал.

(I, 142)

И превращение это совершилось не благодаря вмешательству Афины Паллады или Аполлона, а самым житейским образом; даже творческий акт созидания представлен здесь в сугубо прозаическом виде:

Сначала я шалил,
Шутя стихи кроил,
А там их напечатал, —
И вот теперь я брат
Бестолкову пустому,
Тому, сему, другому,
Да я ж и виноват!

(I, 142)

⁶² Бонди С. М. Три заметки о Пушкине // Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пгр., 1922, с. 43—44.

И похож он не на лебедя, парящего под облаками, а скорее на античного Икара, взлеты которого на крыльях, скрепленных воском, кончились гибелью:

Да ты же мне в досаду —
(Что скажет белый свет?)
Стихами до насаду
(вар.: Любви моей в награду)
Жужжишь Икару вслед:
(вар.: Кричишь Икару вслед)
«Смотрите, вот поэт!».

(I, 368)

В позднейших редакциях послания Пушкин писал, что он опасается прослыть метроманом Графоном (нарицательное имя, родственное «Бестолкову», поставленное вместо «Рифматова» в раннем беловике), замененным позднее реальным именем французского поэта, антагониста Расина, — Прадона, прославленного насмешками и эпиграммами его современников. В ранней редакции послания наше внимание в особенности обращает на себя имя Икара, вероятнее всего основанное на тех же одах Горация, которыми вдохновлялся Дельвиг. Во 2-й оде IV книги, явные следы которой мы усмотрели в послании Дельвига, Икар упоминается в первых же двух стихах: Гораций утверждает, что всякий, дерзающий состязаться с Пиндаром, печальной своей долей уподобится Икару, упавшему в воду при перелете через Эгейское море; «сын Дедалов» сопоставляется с парящим под облаками лебедем в известной оде (II, 20), которой подражал Державин; упоминается Икар также в одах III, 7, 22 (ср.: I, 3, 34). Еще одним свидетельством того, что Пушкин хорошо знал те оды Горация, которыми вдохновлялся Дельвиг, и что, следовательно, он во всех мелочах понимал обращенное к нему послание «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», могут служить его стихи, обращенные к Батюшкову в том же 1815 г.:

И, с дерзостным Икаром
Страшась летать не даром,
Бреду своим путем:
Будь всякой при своем.

(I, 115)

В. Брюсов, комментировавший «Ответ» Пушкина Дельвигу, правильно почувствовал в дружеских упреках и самооправданиях юного поэта своего рода кокетство юноши, избалованного успехом: «В первой, начальной редакции стихотворения, — писал В. Брюсов, — Пушкин с преувеличенной скромностью отрицал достоинства своей поэзии, называл себя Икаром и ставил себя как поэта ниже Дельвига. Это, разумеется не было истинным убеждением будущего автора „Памятника“. Несколько месяцев спустя в стихотворении „Мечтатель“ он признавался с гордостью: „Дана мне лира от богов“, а в послании к Батюшкову: „Поэтом я возрос“. Позднее, составляя программу своих воспоминаний о годах детства

и отрочества, Пушкин пометил под 1815 годом: „Мое гщеславие“. Вероятно, почувствовав вскоре ложь взятого тона, Пушкин в том же 1815 году переделал свое послание, вычеркнув стихи, исполненные лицемерной скромностью, и прибавил 14 других (перед последним четверостишием), изменявших основную мысль стихотворения». ⁶³

Подчеркнем еще одну немаловажную для нас деталь. Стихотворение Дельвига «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», построенное на противопоставлении поэта государственному человеку и на сравнительной характеристике значения их деятельности в сознании последующих поколений, имело немецкий эпитаф, сохранившийся в автографе, находящемся в тетради 1819 г.:

Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.

G(oethe)

Это цитата из элегии Гёте «Евфросина» («Euphrosyne», 1797—1798):

Только лишь Муза дает смерти какую-то жизнь.

Хотя эта элегия, впервые увидевшая свет в «Musenalmanach» Шиллера 1799 г., и не принадлежит к числу особо известных про. изведений Гёте, но лицейские друзья-поэты знали ее хорошо. Очень ценил эту элегию и надолго запомнил ее В. К. Кюхельбекер. Через несколько лет по окончании Лицея в критической статье, напечатанной в альманахе «Мнемозина», Кюхельбекер отметил: «Элегия Гетева Euphrosyne исполнена высоких лирических красот и местами становится истинно одою». ⁶⁴ Возможно, что знакомством с этой элегией Дельвиг обязан именно Кюхельбекеру и что благодаря им обоим ее знал также и Пушкин. Какой смысл вкладывали лицейские друзья-поэты в этот эпитаф? Какую мысль подчеркивала или выделяла эта стихотворная строка в послании, которому она была предпослана?

И в первой публикации, и в ранних собраниях стихотворений Гёте элегия «Евфросина» имела подзаголовок, впоследствии иногда опускавшийся, — «Элегия в память молодой, талантливой, преждевременно умершей актрисы в Веймаре, госпожи Беккер, урожденной Нейманн». Как директор Веймарского театра, Гёте весьма ценил эту молодую актрису и очень оплакивал ее раннюю смерть. Евфросина — имя одной из граций в опере, ставившейся в Веймаре; роль Евфросины была последней ролью Христины Нейманн-Беккер, в которой Гёте видел свою любимицу.

Элегия рассказывает о призраке Евфросины, явившемся путнику, в образе которого Гёте изобразил самого себя. Евфросина — Христина произносит большой монолог о жизни и смерти, пол-

⁶³ П у ш к и н. [Соч.] / Изд. Брокгауза—Ефрона. СПб., 1907, т. 1, с. 217.

⁶⁴ К ю х е л ь б е к е р В. К. Разговор с Ф. В. Булгариным // Мнемозина, М., 1824, т. 3, с. 160. О той же «Euphrosyne» Кюхельбекер вспомнил в записи своего дневника, сделанной 7 января 1833 г. (Дневник В. К. Кюхельбекера. М., 1929, с. 87).

ный воспоминаний о своей кратковременной артистической деятельности, и заключает его следующей просьбой к путнику-поэту:

<120> Einen Wunsch nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn:
Laß nicht ungerühmt mich den Schatten hinabgehn!
Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.
Den gestaltlos schweben umher in Persephoneia's
Reiche, massenweis', Schatten von Namen getrennt,
Wenn der Dichter aber gerühmt, der Wandelt gestaltet
Einzeln, gesellet dem Chor aller Herzen sich zu.⁶⁵

Высказанная здесь мысль в высшей степени знаменательна; выбранная отсюда Дельвигом (или Кюхельбекером) строка для эпиграфа панегирику Пушкину естественно вплетается в общий контекст стихотворения: поэзия настолько могущественна, что она может дать жизнь и бессмертие даже безликой тени после смерти человека. Эта мысль родственна «Ehexi monumentum» Горация и всем русским подражаниям этой оде. Гёте в «Евфросине», отвечая на центральный обсуждаемый им вопрос о том, что может обеспечить память о человеке от полного забвения, утверждает: искусство, внушенное музами, поэзия. И напоминанием об этой мысли, сжатой в эпиграфе, лицейские друзья поэта сопровождают свои стихотворные размышления на тему о выборе поприща для своей будущей деятельности,

Еще до того как написано было второе послание Дельвига к Пушкину («Как? Житель гордых Альп»), с дружескими утешениями, полными нежности и преданности, с призывами забыть обиды сурового критика и с увещаниями не отказываться от поэтического творчества, произошло событие, заставившее Дельвига опять взяться за перо, чтобы вновь обратиться к Пушкину со стихотворными строками, полными тревожных раздумий о его будущем, о смерти и бессмертии.

Повод на этот раз был истинно поэтический. 8 июля 1816 г. в своем новгородском поместье умер Г. Р. Державин. Смерть прославленного престарелого русского поэта произвела сильное впечатление и на русских литераторов, и на поэтов-лицеистов, в частности на Дельвига, относившегося к нему с восторгом и бла-

⁶⁵ Goethe's Sämtliche Werke. Stuttgart und Tübingen, 1840, Bd 1, S. 259. В новейшем переводе С. Соловьева эти стихи звучат так:

Только желание одно выслушай дружески ты:
Пусть непрославленной я не сойду к теням преисподней!
Только лишь Муза дает смерти какою-то жизнь.
Ведь безликой толпой парят в Персефонином царстве
Тени тех, что ушли, не оставляя имен.
Если ж кого прославил поэт, он с собственным ликом
Бродит, и он приобщен сонму героев тогда.
Я с ликованьем войду, твоей прославлена песнью,
Взор богини ко мне ласково будет склонен. . .

(Гёте. Собр. соч.: В 13 т. М., 1932, т. 1, с. 280).

говоением. Уже в первом печатном произведении Дельвига «На взятие Парижа»⁶⁶ есть такие строки о Державине:

О, вдохновенный певец,
Пиндар российский, Державин!
Дай мне парящий восторг!
Дай, и во веки прославлюсь,
И моя громкая лира
Знаема будет везде!⁶⁷

В стихотворении «К поэту-математику» Дельвиг характеризует Державина в перспективе истории мировой поэзии:

Пиндара, Флакка победитель,
Небесных песней похититель,
Державин россов восхищал!⁶⁸

Под свежим впечатлением от смерти великого поэта, вызвавшей много откликов в русской печати, Дельвиг написал стихотворение «На смерть Державина», датируемое обычно второй половиной июля 1816 г.⁶⁹ Это стихотворение долго оставалось непечатанным, хотя было известно в списках и, очевидно, распространялось среди лицеистов. В. П. Гаевский знал по рукописи эту оду, написанную белыми стихами, на его вкус «напыщенную, длинную и неуклюжую»; поэтому он не считал нужным ее опубликовать и отметил лишь, что она «оканчивается обращением к Пушкину, в котором Дельвиг первый предсказал великого поэта», считая его «законным преемником Державина».⁷⁰ Впервые это стихотворение Дельвига было опубликовано лишь в 1883 г. Я. К. Гротом в 9-м томе изданного им Собрания сочинений Державина,⁷¹ и оно долго ускользало от исследователей Пушкина. Много десятилетий спустя М. Л. Гофман вновь напечатал это стихотворение по автографу Дельвига, среди других малоизвестных или вовсе не печа-

⁶⁶ Опубликовано в «Вестнике Европы» (1814, № 12, июль, с. 280).

⁶⁷ Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений / Ред. и примеч. Б. В. Томашевского. с. 225.

⁶⁸ Там же, с. 233. Целый трактат Филомафитского «Сравнение Державина с Горацием» опубликовано был в «Украинском вестнике» (1816, ч. 8—9).

⁶⁹ Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений, с. 111—112; Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина. Л., 1951, с. 101. Тогда же, очевидно, еще один лицейский поэт — А. Илличевский — написал бледное и невыразительное стихотворение «На кончину Державина». Оно вошло в изданный им десятилетие спустя сборник «Опыты в антологическом роде» (СПб., 1827, с. 14) без точной даты издания. В романе Н. Греча «Черная женщина» (СПб., 1834, ч. 3, с. 87—89) есть довольно характерная сцена, изображающая, как различно восприняли смерть Державина подлинные ценители русской поэзии и петербургские чиновники, для которых покойный оставался лишь «бывшим министром юстиции и действительным тайным советником».

⁷⁰ Гаевский В. Пушкин в Лице и лицейские его стихотворения // Современник. 1863, № 8. с. 371.

⁷¹ Державин Г. Р. Соч. . . / С объяснит. примеч. Я. К. Грота. СПб., 1883, т. 9, с. 550. Здесь же неполный список стихотворных откликов на смерть Державина.

тавшихся его стихотворений. Но в отличие от В. П. Гаевского Гофман счел «На смерть Державина» чрезвычайно интересным литературным документом. По его мнению, произведение Дельвига «замечательно и полнотой характеристики всего творчества Державина, всей его поэтики, образов и сюжетов (античная и русская мифология), его пиндарических и гораціанских ладов, и еще более чутким предчувствием того, что преемником Державина может быть только „атлет молодой“ — 17-летний Пушкин, и пониманием, что во всей русской поэзии нет более крупных имен, чем два имени — Державина и Пушкина».⁷² Для оценки и восприятия Державина Дельвигом данное его стихотворение в сопоставлении с другими упоминаниями знаменитого певца в стихотворениях того же Дельвига, собственно говоря, дает не так много нового: Державин, например, и на этот раз сопоставлен с Пиндаром и Горацием («И Пиндар узнал себе равного, Флак — филозофа брата»). Гораздо интереснее для нас место, которое отводится в стихотворении Пушкину.

Пушкин упомянут в первом же стихе этой надгробной элегии:

Державин умер! Чуть факел погасший дымится, о Пушкин!
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают!

Эти стихи как лейтмотив похоронного причитания повторяются в стихотворении трижды, в последний раз как переход к вопрошанию:

Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто, Пушкин?

Имя молодого друга и собрата Дельвигом названо здесь не даром: для Дельвига нет сомнения, что у лиры покойного есть лишь один наследник и преемник на российском Парнасе. Дельвигу это представляется настолько очевидным и бесспорным, что в заключительных строках, где боги и музы призываются беречь и любить юного певца, Пушкина даже больше не называется по имени: и так ясно, что речь идет именно о нем. Пушкин увенчает свежим венком замолкшую лиру, счастливец, избранный Зевсом для поприща славы еще в колыбели:

Молись Каменам! И я за друга молю вас, Камены!
Любите младого певца, охраняйте невинное сердце,

⁷² Д е л ь в и г. Неизданные стихотворения / Под ред. М. Л. Гофмана. Пб., 1922, с. 135—136. Отметим, однако, что об этом самом стихотворении, но глухо, упомянул еще П. А. Плетнев в некрологе Дельвига, напечатанном в «Литературной газете» 1831 г. Говоря здесь, что «поэтический талант барона Дельвига раскрылся, можно сказать, вдруг и довольно рано», П. А. Плетнев между прочим, засвидетельствовал: «Заметно только, что муза Горация была первую вдохновительницею молодого поэта. Движения собственного его вкуса более ознаменовались в эту эпоху два раза: при известии о смерти Державина (1816) и при окончании курса учения лицейских его товарищей» (П л е т н е в П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885, т. 1, с. 213—214, 575).

Зажгите возвышенный ум, окрыляйте юные персты!
Но и в старости грустной пускай он приятно на лире,
Гремящей сперва, ударяя — уснет с исчезающим звоном!⁷³

Таким образом, говоря о покойном Державине, Дельвиг все время думал о Пушкине, по аналогии даже предрекая и ему «грустную», но спокойную и тихую старость, какую провел и «Пиндар российский», не выпускавший лиру из рук до последних дней своей жизни. Хотя элегия Дельвига не увидела света ни при жизни Дельвига, ни при жизни Пушкина, но она получила распространение в рукописных копиях, при этом в первую очередь среди лицеистов, вероятно потому, что связывалась с Пушкиным.⁷⁴

У нас нет документальных данных о том, как к этой элегии и в особенности к сопоставлению Пушкина с Державиным, на что смело рискнул Дельвиг, отнесся сам Пушкин, однако мы можем составить себе об этом достаточно ясное представление, прежде всего на основании того обмена посланиями между обоими друзьями, который продолжался до самого конца 1816 или даже до весны следующего года (1817), перед выпуском. Осенью или зимою 1816 г. Пушкин обратился к Дельвигу с весьма меланхолическими стихами («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою»), уже цитированными выше, служившими ответом, как мы видели, на стихотворение Дельвига «Как? Житель гордых Альп». Дельвиг убеждал, пророчествовал, настаивал на том, что он угадал предназначение своего друга; Пушкин отнекивался, отмалчивался, слабо защищая свое право на поэтическую лень, на временное ослабление своих творческих сил, пытался вместо себя возвеличить Дельвига как поэта, но между тем постепенно перерабатывал свои ответные послания к нему и, устраняя из текста слишком личные мотивы и реальные подробности, готовил их к печати.

Поэзией Державина Пушкин в это время, по всем свидетельствам, восхищался, но не безоговорочно и безотчетно, как Дельвиг.⁷⁵ Тем не менее тому юному «тщеславику», в котором признается

⁷³ Д е л ь в и г А. А. Полн. собр. стихотворений, с. 253—254.

⁷⁴ Характерно, что в лицейской тетради, опубликованной М. О. Гершензоном (Русские пропилеи, М., 1919, т. 6, с. 65—66), стихотворение Дельвига «На смерть Державина» по ошибке переписчика подписано «Пушкин», как в тексте, так и в оглавлении. Это можно объяснить тем, что переписчик, встретив имя Пушкина 7 раз в тексте этого стихотворения, подписал его затем автоматически. В предисловии к изданию этой рукописи М. О. Гершензон отметил: «Ошибка эта тем более странна, что в самом стихотворении содержится обращение к Пушкину. Но то же стихотворение дважды помещено в сборнике не напечатанных произведений Пушкина, предназначенных для посмертного издания его сочинений, — сборнике, выправленном рукой Жуковского (Я к у ш к и н В. Е. Рукописи А. С. Пушкина // Рус. старина, 1884, № 12, с. 576)» (Рус. пропилеи, 1919, т. 6, с. 3).

⁷⁵ В черновых заметках для биографии Пушкина П. В. Анненкова найдена была запись, сделанная им со слов Я. И. Сабурова, о том, что «Пушкин, восхищавшийся Державиным», получил от Чаадаева указание на «неточность изображения», допущенную Державиным в стихотворении «Путник». См.: М о д з а л е в с к и й Б. Л. Пушкин, с. 337.

сам Пушкин, должны были быть приятны сравнение его с Державиным и предвещения великой будущности. И может быть, за эти неизменные пророчества (мы знаем три стихотворных послания Дельвига к Пушкину, в которых есть эти предсказания, а они, естественно, сопровождались также и устными беседами о поэтическом призвании), пророчества, в которые юноша Пушкин тайно верил и которые во всяком случае обновляли и укрепляли его поэтические силы, он и прозвал Дельвига «вещим поэтом» или «вещуном Пермесских дев». Слово «вещий» употреблено здесь в том самом значении этого слова — «обладающий даром предвидения», — какое Пушкин употреблял в молодые годы под воздействием «Слова о полку Игореве» (в «Руслане и Людмиле» говорится о «голосе вещего Баяна» и о «вещем Финне»). «Вещуном Пермесских дев», т. е. «муз» (так нередко именовались они на распространенном в Лицее и в русской поэзии тех лет перифрастическом языке, щеголявшем изошренной игрой античными мифологическими названиями),⁷⁶ Пушкин назвал Дельвига в стихотворении «19 октября» (1825). «Вещим поэтом» он назван также в пропущенной строфе четвертой главы «Евгения Онегина».⁷⁷ Едва ли случайностью можно, наконец, объяснить тот факт, что «вещуном» Дельвига именуется и

⁷⁶ Пермесс — река в античной Греции, текшая с горы Геликон в озеро, которое считалось обиталищем муз и вдохновителем поэтов; оттого и И. И. Дмитриев в стихотворении «К Маше» (1803) утверждал, что он «воспоен Пермесским током» и «от Аполлона быть пророком с издетства право получил», а А. А. Бестужев в стихотворении «К некоторым поэтам» (1819) именовал их «жилцами Пермесской колыбели». Отметим, что «младым вещуном» и сам Дельвиг назвал Пушкина в обращенном к нему стихотворении «Как? Житель гордых Альп. . .» (стих 5-й). Как видно из русского синонимического словаря, пополнявшего толкования, дававшиеся «Словарем Академии Российской», слово «вещун» было обиходным в русской речи пушкинской поры в значении «угадчик, предсказатель, прорицатель». Толкуя синонимы «вещун, гадатель, предсказатель», «Словарь русских синонимов или сословов, составленный редакцією нравственных сочинений» (СПб., 1840, ч. 1, с. 495—496) указывал: «Ясновидение того, что скрыто, свойственно всем этим лицам. Но вещун (вещий) есть речение самое общее и употребительнейшее; гадатель, предсказатель — содержится к нему, как виды к роду, потому что вещун проразумевает (sic!) тайны настоящего и будущего» и т. д.

⁷⁷ В строфе четвертой главы «Евгения Онегина» (не включенной в печатные издания романа, но напечатанной в «Московском вестнике» 1827 г. под заглавием «Женщины. Отрывок из Евгения Онегина») долгое время загадочными являлись следующие строки:

Словами вещего поэта
Сказать и мне позволено:
Темпра, Дафна и Лилета,
Как сон, забыты мной давно!

(VI, 592; XIII, 338)

Загадка открылась, когда найдено было эротическое стихотворение Дельвига лицейских лет «Фани. Горацянская ода», из которого явствует, что Пушкин цитировал стихи именно отсюда, а «вещим поэтом» называл их автора. Но здесь это определение имело и особое, более частное применение.

П. А. Плетнев в том письме к Пушкину (от 3 марта 1825 г.), в котором выражалась надежда, что автор «Евгения Онегина» уже обнял Дельвига в селе Михайловском (XIII, 147—148).

Пушкин долго ждал своего друга к себе в деревню. Наконец, Дельвиг все же приехал к нему в двадцатых числах апреля 1825 г. и прогостил в Михайловском у «изгнанника» несколько дней. Пушкин мог сказать Дельвигу то, что он говорил, обращаясь к И. И. Пущину, первому лицейскому другу, еще в январе того же года посетившему «поэта дом опальный» в Михайловском:

Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

(II, 424)

В известном смысле встреча Пушкина с Дельвигом была даже более радостной, так как это была не только встреча друзей, но и соратников, лицейских друзей-поэтов. Вышеприведенные цитаты позволяют объяснить, почему в 1825 г. Пушкин столь последовательно присоединял к имени Дельвига понравившийся ему эпитет «вещун»: это было воспоминание о годах, совместно прожитых с Дельвигом в Лицее.

В. П. Гаевский рассказывает, что Дельвиг застал Пушкина за приготовлением к изданию своих стихотворений и что, «по свидетельству знавших того и другого, Пушкин советовался в настоящем случае с Дельвигом, дорожа его мнением и вполне доверяя его вкусу. В этих литературных беседах, чтениях и спорах проходило все утро».⁷⁸ Друзья перечитывали старые стихи, обсуждали, какие из них заслуживают печати, вспоминали свои давние литературные беседы; известно даже, что Дельвиг увез с собой в Петербург из Михайловского какую-то черновую тетрадь Пушкина с его стихами и вторую главу «Евгения Онегина», переписанную для П. А. Вяземского.⁷⁹ Еще важнее было то, что Дельвиг пытался, как мог, утешить «изгнанника», друга, паходившегося в беде, «гонимого судьбой», и снова, как в былые

Во второй строфе оды «Фани», которую Пушкин имел в виду, Дельвиг писал:

Темира, Дафна и Лилета
Давно, как сон, забыты мной,
И их для памяти поэта
Хранит лишь > стих удачный мой.

Таким образом, слова о «памяти поэта» оказались пророческими и исполнились в действительности — стихотворение «Фани» в первый раз напечатано было по рукописи М. Л. Гофманом в альманахе Пушкинского Дома «Радуга» (Пб., 1922, с. 29—30, 38—40; см. также: Д е л ь в и г. Неизданные стихотворения, с. 50, 123—124).

⁷⁸ Отеч. зап., 1854, т. 47, отд. 3, с. 2; П у ш к и н. Письма / Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. 1, с. 432.

⁷⁹ Ц я в л о в с к и й М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 954.

годы, возбуждал в нем как бы усыпленное в одиночестве вдохновение. Осенью того же года, вспоминая своих лицейских друзей по случаю очередной лицейской годовщины, Пушкин обратился к Дельвигу со словами благодарности за недавний к нему приезд, за дружескую встречу, за бодрость и уверенность в себе, которые придали ему увещания и просьбы друга; здесь снова мелькнуло в памяти многозначительное лицейское прозвание, которое Пушкин дал Дельвигу в ответ на его вдохновенные предсказания:

Когда постиг меня судьбины гнев, —
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурю главою поник я томной
И ждал тебя, вешун Пермесских дев.
И ты пришел, сын лени вдохновенной,
О, Дельвиг мой! Твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил

и т. д.

(II, 424, 968, 1168)

Эти стихи, написанные от чистого сердца, заключили в своих тесненных поэтических строках целое множество воспоминаний бесед с другом-поэтом в уединенной деревне на темы о призвании и творческих итогах за годы разлуки с ним, живую признательность ему за слова утешения, сказанные в ту пору, когда он, «для всех чужой», особенно в них нуждался.⁸⁰ Не может быть сомнений в том, что Дельвиг и на этот раз сыграл роль, очень близкую к той, которую он взял на себя за десятилетие перед тем — в 1816 г., побуждая Пушкина забыть обиды критики и снова предаться вдохновенному творческому труду. Слова Пушкина, обращенные к Дельвигу: «Твой голос пробудил сердечный жар», означают именно то, что последний восстановил его дремавшие поэтические силы, дал ему новый творческий импульс.

«Дельвиг был для Пушкина тем же, чем для Карамзина — А. А. Петров, для Жуковского — Андрей Ив. Тургенев, для Батюшкова — И. А. Петин», — справедливо заметил в свое время П. И. Бартенев и прибавил: «Любя Дельвига со всем пристрастием горячей дружбы, Пушкин думал видеть в нем те достоинства, которые желал самому себе».⁸¹ Этим объяснял П. И. Бартенев для себя те якобы «преувеличенные похвалы», которые Пушкин обращал к Дельвигу. На самом деле и похвалы эти вовсе не были преувеличенными: Дельвига как поэта оценили лишь позднее; но главное было даже не в этом — Дельвиг был для Пушкина не

⁸⁰ Поездка к «опальному поэту» в Михайловское не прошла без последствий и для самого Дельвига. Ю. Н. Верховский высказал правдоподобное предположение, что, несмотря на свою кратковременность, она повлекла за собой увольнение Дельвига со службы в Публичной библиотеке в Петербурге (29 мая 1825 г.). См.: Верховский Ю. Н. Барон Дельвиг: Матер. биограф. и литературные. Пб., 1922, с. 10—11, 39—41.

⁸¹ Бартенев П. И. А. С. Пушкин: Матер. для его биографии. Ч. 2. Лицей (отд. отт. из «Московских ведомостей», 1855, № 117—118, с. 58).

только преданный, доверенный друг-советчик, друг-ценитель, друг-судья, но и нечто большее — друг-предсказатель, пророк, вещун, не раз исцелявший поэта в его молодые годы в минуты воображаемого уныния и реальной скорби от временного ослабления творческой деятельности и благословлявший его на дальнейший путь.

И любопытно, что следующая же строфа цитированного стихотворения «19 октября [1825]», также обращенная к Дельвигу, давала как бы историю их дружбы, их раннего совместного поэтического служения. Пушкин не без основания, как это можно признать после приведенных нами выше наблюдений, именует здесь Дельвига «гордым» певцом, не изменившим своему призванию; оставаться им, верным только музам, не увлекаясь легким успехом и не свертывая с раз избранного пути, Пушкина учил именно Дельвиг. Следует напомнить еще раз эту строфу, хотя она выше уже привлекалась нами для другой цели:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали,
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукопесканья, —
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

(II, 424)

Особенно интересно отметить, что среди многих бесед о поэтах и поэзии, о хороших и плохих стихах, как старых, так и новых, которые вели между собою лицейские друзья, отдававшиеся юношеским воспоминаниям на свободе деревенского приволья, шли также споры о Державине. Подтверждение этому мы имеем в чрезвычайно интересном письме Пушкина к Дельвигу, писанном в начале июня 1825 г., через месяц с небольшим после возвращения последнего из Михайловского. Пушкин излагал в этом письме свое «окончательное» мнение о Державине и значении его творчества в истории русской поэзии, так как, очевидно, хотел закончить беседу или, скорее, спор, который он вел с Дельвигом у себя в деревне и который остался незавершенным. На основании энергичных приговоров и весьма острых критических суждений, высказанных Пушкиным в этом известном письме, можно догадаться, что он еще раз отстаивал здесь свою прежнюю позицию по отношению к Державину, с которой Дельвиг не соглашался; вероятно, это был давний спор, возобновленный, но безрезультатный. Пушкин писал Дельвигу: «По твоём отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка — (вот почему он и ниже Ломоносова) — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бестить всякое разборчивое ухо» (XIII, 182) и т. д. Конечно, этот

довольно беспощадный приговор не был безоговорочным: несмотря на свою полемическую горячность и задор, усиливший аргументацию, которыми полны строки этого незаконченного спора, Пушкин все же отдавал Державину должное и допускал кое-какие исключения. «Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы», — пишет Пушкин далее в том же письме, но добавляет в скобках: «исключая чего знаешь». К сожалению, трудно дознаться, какие именно безупречные державинские строфы Пушкин мог иметь в виду. Но более чем вероятно, что среди них были и те, каким подражал он и сам в лицейские годы. Хорошо известно, что Пушкин любил свои ранние «державинские» стихи, дорожа ими так же, как и воспоминаниями о школьных годах. Весною того же 1825 г., задумывая издание книжки «Стихотворений» и перечитывая для этой цели свои лицейские опыты, Пушкин запрашивал брата (письмо от 27 марта 1825 г.): «Не напечатать ли в конце Воспоминания в Царском Селе с Нотой (sic!), что они писаны мною 14 лет и с выпискою из моих записок (о Державине), ась?» (слова эти зачеркнуты и под ними написано: «нет») (XIII, 159).⁸²

Так как эти «Записки» были уничтожены поэтом после восстания декабристов, то нельзя с уверенностью считать, является ли дошедший до нас рассказ Пушкина о Державине (вошедший в его «Table Talk») новой редакцией (1833) уничтоженной страницы или она уцелела в том же виде, в каком существовала в 1829 г. (XII, 158).⁸³ Суть этого рассказа осталась во всяком случае прежней: Пушкин утверждает, что Державина он видел «только однажды в жизни» — на лицейском экзамене в январе 1815 г., читая в его присутствии свои «Воспоминания в Царском Селе»

⁸² В примечании к тексту этого стихотворения в Собрании сочинений Пушкина, изданном Гос. издательством художественной литературы (М., 1959, т. 1, с. 555), Т. Г. Цявловская обратила внимание на то, что Пушкин еще в 1819 г. собирался включить его в сборник своих стихотворений и переработал текст, «освободив его от похвал Александру I как спасителю Европы», но в этом виде стихотворение не появилось, так как не состоялось и задуманное издание. В 1825 г. «Воспоминания в Царском Селе» были снова включены в рукопись сборника, но в «Стихотворениях» 1826 г. не появились. «Возможно, — догадывается по этому поводу Т. Г. Цявловская, — цензор обратил внимание на отсутствие строфы, посвященной царю; стихотворение было хорошо известно в первоначальном виде, так как именно в этой первой редакции печаталось в „Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах 1817 и 1823 гг.“» (с. 555). Это предположение представляется мне неправдоподобным: никакой цензор не мог и не должен был иметь в своей памяти все строфы большого юношеского произведения Пушкина. Из приведенных слов письма Пушкина к брату и из поместы на автографе, которую цитирует Б. Л. Модзалевский в его издании «Писем» Пушкина (т. 1, с. 126), видно, что у самого поэта были колебания, следует ли включать «Воспоминания в Царском Селе» в сборник в той или иной редакции, и что в конце концов он сам от этого отказался.

⁸³ Б. Л. Модзалевский (Пушкин. Письма. т. 1, с. 423) считает этот рассказ восстановленным через семь лет после сожжения «Записок»: И. Фейнберг, напротив, относит его к «упрежденным отрывкам» (Фейнберг И. Незавершенные работы Пушкина. 2-е изд. М., 1958, с. 314—316).

(нельзя не подчеркнуть, что в этом же отрывке упоминают и Дельвиг — в качестве пламенного поклонника Державина). Эту единственную, но тем более памятную встречу Пушкин не забывал никогда: он говорил о ней в «Послании к Жуковскому» (1817), в начале восьмой главы «Евгения Онегина». В так называемой «Программе автобиографии» Пушкина, написание которой относят к осени 1830 г., также находятся строки, потом зачеркнутые: «Экзамен (Галич), Державин — стихотворство — смерть» (XII, 429). Имя Галича (вписанное сверху и затем также зачеркнутое) появилось здесь недаром; в своем дневнике 1834 г. Пушкин написал о том же А. И. Галиче: «Я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором, ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 г. мои Воспоминания о Царском Селе» (XII, 322). Даже более двадцати лет спустя после этого события Пушкин не мог забыть тех поощрений на избранном им поприще, т. е. независимом поприще поэта, от кого бы они в то время ни исходили и в какой бы форме ни делались: ласковое слово, ободрительный отзыв, восторженное признание с одинаковой свежестью хранились в памяти; крупный поэт, доживавший свои последние годы, благожелательный наставник, лицейский друг вспоминались вместе на общем лицейском фоне, освещаясь в мыслях о них чувством искренней благодарности, полным лиризмом.

Спор Пушкина с Дельвигом о значении Державина в истории русской поэзии, состоявшийся в Михайловском и продолжавшийся затем в письмах, также вероятно, связан был с этими воспоминаниями и с мыслями и беседами о собственных творческих путях друзей-поэтов. Перечитывая в это время «все» Державина, Пушкин естественно обращал особое внимание на те его стихи, в которых Державин определяет свои гражданские и литературные заслуги.⁸⁴ Тем интереснее, что еще пять лет спустя, в своей, цитиро-

⁸⁴ Приблизительно в то же время, когда Пушкин в письме к Дельвигу сообщал свое «окончательное» мнение о наследии Державина, он писал также А. А. Бестужеву (конец мая—начало июня 1825 г.): «Кумир Державина (полу)-¹/₄золотой (полу)³/₄свинцовой донны еще не оценен» (XII, 179). Очень возможно, что под «Кумиром» Пушкин подразумевал большое стихотворение Державина «Мой истукан» (1794), начинающееся стихом: «Готов кумир, желанный мною». Здесь идет речь о бюсте Державина, по поводу которого поэт, вопрошая себя:

Но мне какую честью льститься
В бессмертном истукане сем?
Без славных дел гремящих в мире,
Ничто и царь в своем кумире,

размышляет на тему о различии между славой «доброй и худой», о добродетелях военных и гражданских, о деятельности общественной, о поэтическом творчестве, о том, наконец, что из содеянного им заслужит признание потомства:

Постой, пиит, восторга полный!
.....
Потомство -- грозный судия:
Оно рассматривает лиры;

ванной выше, «Программе автобиографии», Пушкин задумывал рассказать не только о собственном поэтическом творчестве после лицейского экзамена и встречи с Державиным, но и о смерти престарелого поэта (XII, 429), а эта смерть должна была быть памятна Пушкину по многим причинам, и прежде всего потому, что она вызвала у ближайших к нему друзей-поэтов призывы заменить Державина на «российском Парнасе».

Как на смерть Державина откликнулся Дельвиг, мы уже видели выше. Из лицейских поэтов кроме Илличевского весьма патетически отозвался на это событие Кюхельбекер, также не раз впоследствии сопоставлявший с Державиным Пушкина. В своем известном стихотворении «Поэты», впервые напечатанном в 1820 г.,⁸⁵ Кюхельбекер вспоминал многих «певцов и смелых и священных, пророков истин возвышенных», среди которых назван и «дивный исполин Державин»:

Ты пройдешь мглу веков несметных,
В народах будешь жить несчетных —
И твой питомец, славянин
Тебя похитит у забвенья!

Стихотворение обращено к Дельвигу (которого Кюхельбекер призывает не обращать внимание на невзгоды и гоненья, потому что «бессмертие равно удел и смелых, вдохновенных дел, и сладостного песнопенья»), но адресуется также к Баратынскому, а заключительные стихи посвящены Пушкину («И ты, наш юный корифей, — певец любви, певец Руслана!»), которого Кюхельбекер заклинает:

Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен!

«О, други», — восклицает поэт в конце своего длинного стихотворения, стараясь убедить всех троих, что им уготован счастли-

Услышит глас и твоея,
И пальмы взвесит и перуны,
Кому твои гремели струны,
Увы! легко случиться может,
Поставят и тебя льстецом:
Кого днесь тайно злоба гложет
Тот будет завтра въявь врагом. . .

(Державин Г. Р. Соч. . . /С объяснит. примеч. Я. К. Грота, т. 1, с. 167—168). Это — своеобразный вариант или предвосхищение «Памятника», написанного в следующем году (1795), неуверенные попытки разобраться в итогах собственной деятельности. Пушкину не могли не запомниться некоторые стихи отсюда; недаром он считал стихотворение «золотым» на одну четверть (если эта оценка не относится ко всему поэтическому наследию Державина в целом; слово «кумп», употребленное Пушкиным вместо заглавия, допускает и такое истолкование).

⁸⁵ Соревнователь просвещения и благотворения, 1820, № 4, с. 76—78.

вый жребий у потомков, если даже современники будут к ним несправедливы:

Песнь простого чувства
Дойдет до будущих племен, —
Весь век наш будет посвящен
Труду и радостям искусства;
И что ж? Пусть презрит нас толпа:
Она безумна и слепа!⁸⁶

Этот мотив будущего признания, вопреки злосчастной судьбе, стал еще настойчивее звучать в поэзии Кюхельбекера после 14 декабря — в крепостях, в ссылке; он даже создал свой вариант «Памятника» с явственными отголосками той же Горациевой оды — может быть, через посредство державинского ее пересоздания. В этом стихотворении (послании к матери от 15 декабря 1832 г.; оно внесено в его дневник; впервые опубликовано лишь в 1860 г.) мы читаем следующие строки:

И да вещаю ныне с дерзновеньем:
Я верую, я знаю: не умрут
Крылатые души моей созданья.
Так! чувствую: на мне печать избранья,
Пусть светится с лица земли мой прах,
Не весь истлею я:⁸⁷ с очей потомства
Спадет покров мгновенной слепоты —
И стихнет гуд вражды и вероломства,
Умолкнет злоба черной клеветы —
Забудут заблужденья человека;
Но воспомянут чистый глас певца,
И ^тотзовутся на него сердца
И дев и юношей иного века.⁸⁸

⁸⁶ К ю х е л ь б е к е р В. К. Лирика и поэмы / Под ред. Ю. Тынянова. Л., 1939, т. 1, с. 42—47.

⁸⁷ Это воспоминание о стихе Горация «*non omnis moriar. . .*» дано здесь в форме, близкой к знаменитому стиху «Памятника» Державина: «Так, весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить». Обратив внимание на то, что и в переводе А. Востокова этот стих звучит близко к державинскому («Так, весь я не умру — большая часть меня избежит похорон»), В. Н. Орлов с полным основанием отметил, что данный стих стал у нас «ходячим выражением идеп бессмертия поэта» (В о с т о к о в А. Стихотворения. Л., 1935, с. 412). Подчеркнем также, что этот стих несомненно утвердился в памяти Кюхельбекера еще в лицейские годы, в период дружбы с Дельвигом (об их отношениях см.: К ю х е л ь б е к е р В. К. Дневник. Л., 1929, с. 334—336). В элгии Кюхельбекера, посвященной Дельвигу и напечатанной в «Сыне отечества» 1817 г., также можно усмотреть воспоминание об этом стихе: «Весь еще я не лишен лучшая части себя — святых, благодатных мечтаний» (К ю х е л ь б е к е р В. К. Лирика и поэмы, т. 1, с. 6). Пишет к Державину не угас у Кюхельбекера и в сибирские годы. Узнав о смерти Пушкина, он написал весьма прочувствованное стихотворение («Тени Пушкина», 1837), в заключении которого, не зная еще о существовании пушкинского «Памятника», утверждал:

Гордись! Никто тебе не равен,
Никто из сверстников певцов:
Не смеркнешь ты во мгле веков, —
Во всех тебе клевет Державин

(там же, с. 177).

⁸⁸ К ю х е л ь б е к е р В. К. Лирика и поэмы, т. 1, с. 133—134.

В этом стихотворении та же «дерзновенная» мысль о бренности человеческих дел и о бессмертии созданий искусства, которая была присуща также Дельвигу и заимствована ими обоими из Горация и его подражателей. Однако у Кюхельбекера мы находим уже и нечто иное — представление о высоком общественном назначении поэзии и о певце как передовом деятеле гражданственности, глашатае общественно-полезных нравственных истин. Эта мысль сильнее подчеркнута в стихах о Пушкине Кюхельбекера, будущего поэта-декабриста, чем у его друга Дельвига; недаром цитированное выше стихотворение Кюхельбекера «Поэты» вызвало политический донос В. Н. Каразина министру внутренних дел графу В. П. Кочубею,⁸⁹ сразу почувствовавшему в нем крамолу, а в журнале «Благонамеренный» (1822) тотчас же появилась (уже упомянутая выше) пародия, принадлежавшая, по-видимому, перу известного охранителя и доносчика Б. М. Федорова. Отсюда, может быть, из этого высокого представления Кюхельбекера о поэте как о пророке и общественном деятеле, который пишет для современников, а оценен будет потомками, проистекало непризнание им в 20-е гг., или, вернее, отказ от прежнего признания и оценки Горация, что было воспринято современниками как неприличная выходка или чудачество, осужденные и Пушкиным;⁹⁰ отсюда же проистекала явная идеализация Кюхельбекером Державина как поэта гражданских доблестей, которой Пушкин в свои зрелые годы также не мог сочувствовать.

Такую идеализацию, как известно, начал еще К. Ф. Рылеев, напечатавший в 1822 г. в «Сыне отечества» свою думу «Державин».

⁸⁹ Рус. старина, 1899, № 5, с. 277—279; Б а з а н о в В. Ученая республика. М.: Л., 1964, с. 141—142.

⁹⁰ Во второй части альманаха «Мпсмоспа» (1824) Кюхельбекер напечатал свою статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», в которой высказаны весьма смелые суждения о многих русских и зарубежных поэтах, в том числе и о Горации. Кюхельбекер считал, что нельзя ставить на одну доску «исполина между исполинами Гомера и ученика его Вергилия, роскошного и громкого Пиндара и прозаического стихотворителя Горация» и т. д. Хотя эпитет «прозаический» дан был Горацию еще в «Эстетике» Бутервека (1808), изучавшейся в Лицее, но приведенное суждение и вся цепь парадоксов Кюхельбекера вызвали негодование многих русских либретторов (см.: Остафьев. архив, т. 3, с. 69). Ю. Н. Тынянов (Архаисты и повторы. Л., 1929, с. 133) приводит отрицательное суждение о Горации П. А. Катенина (1830) и утверждает, что Кюхельбекер и Катенин стремились поколебать авторитет Горация якобы потому, что он был «высок у карамзинистов». Этот вывод не представляется мне ни ясным, ни убедительным. Что касается Пушкина, то к оценке Горация Кюхельбекером в указанной статье он отнесся отрицательно и несколько раз вспоминал ее, набрасывая свои возражения. Особенно интересно, что много лет спустя в заметке, написанной между июнем и августом 1836 г., т. е. вероятно, незадолго до создания «Памятника», Пушкин высказал следующую мысль: «Есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выпременной. Есть люди, которые находят в Горации прозаическим (спокойным, умным, рассудительным? Так ли?). Пусть так. Но жаль было бы, если б не существовали прелестные оды, которым подражал и наш Державин» (XII, 93, 378).

В полном противоречии с существовавшей в те годы традицией Рылеев изобразил в этой думе не реально жившего в Петербурге и умершего под Новгородом поэта и не громоподобного «певца Фелицы», но такого поэта, черты которого рисовались ему в воображаемом образе певца-гражданина, гонителя неправды и борца с общественным злом:

О, так, нет выше ничего
Предназначения поэта:
Святая правда — долг его;
Предмет — полезным быть для света.

Такой поэт делом обязан оправдать свой сан, быть подвижником и ратоборцем, с презрением взирать на смерть и зажигать доблесть в молодых сердцах. . . Все это, по мнению Рылеева, относится и к Державину («Таков наш бард Державин был»); поэтому заключительные стихи этой думы имеют откровенно панегирический характер:

О, как удел певца высок!
Кто в мире с ним судьбою равен?
Откажет ли и самый рок
Тебе в бессмертии, Державин?

Но так как тема бессмертия в поэзии была темой державинской, восходившей к Горацию, то и в думу Рылеева вкраплены стихи из «Памятника» Державина:

Ты прав, певец, ты будешь жить;
Ты памятник воздвигнул вечный:
Его не могут сокрушить
Ни гром, ни вихорь быстротечный.⁹¹

«Думы Рылеева и целят, а все невпопад», — писал Пушкин В. А. Жуковскому из Михайловского в апреле 1825 г., т. е. незадолго до того времени, когда он перечел «всего» Державина и сообщал «окончательное» мнение о нем Дельвигу. А. А. Бестужеву Пушкин тогда же напоминал, что «с Державиным умолкнул голос лесть» и что ему «покровительствовали три царя».⁹² Трудно было бы предположить, что дума Рылеева «Державин» не вызвала особых возражений Пушкина, поскольку она отождествляла Державина-поэта и Державина-человека, а именно о последнем, о его нравственных достоинствах Пушкин составил себе отрицательное

⁹¹ Рылеев К. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934, с. 171. В примечании к стихам, перефразировавшим Державинские строки, Рылеев напомнил начало Горациевой оды, которой Державин подражал в «Памятнике» («Eхegi monumentum aere perennius. . .»). См. об этой оде статью П. П. Филипповича «Рылеев и Державин» в кн.: Декабристы на Україні. Киев, 1926, с. 124—125.

⁹² Все названные письма Пушкина не имеют даты, но они, кроме письма к Жуковскому (относительно к апрелю), относятся к концу мая—началу июня 1825 г. (XIII, 167, 179).

мнение, не раз высказывавшееся им друзьям.⁹³ Тем не менее прочтенная им в этой рылеевской думе цитата из державинского «Памятника», сопровождавшаяся напоминанием первого латинского стиха из оды Горация, лишняя раз обновила в его памяти все старые мысли и ощущения, связанные с той же гораццианско-державинской идеей бессмертия поэзии, которую он оживленно обсуждал с Дельвигом и Кюхельбекером в их лицейские годы и тогда же претворял в поэтические строки.

В заключение можно сослаться еще на один случай, относящийся уже к 30-м гг., по-видимому позволивший Пушкину встретиться в поэзии с тем же кругом мыслей, но опять-таки в связи с оценкой наследия Державина провинциальными архаистами тех лет. Проезжая через Казань в сентябре 1833 г., Пушкин был в гостях у местной поэтессы А. А. Фукс, откликнувшейся на это событие стихами, ему посвященными, в журнале «Заволжский муравей» (1834).⁹⁴ Мимолетной была тогда же встреча Пушкина с Г. Н. Городчаниновым, профессором Казанского университета и председателем Казанского общества любителей отечественной словесности.⁹⁵ Старик Городчанинов был большим любителем сочинять стихи, но не имел к тому никаких способностей; почитатель не только Державина и Хераскова, но даже Хвостова, он слагал архаические вирши, которые ничем не выделялись бы и в XVIII в. По рассказу очевидцев, находясь в гостях у К. Ф. и А. А. Фуксов, Пушкин перелистал книжку стихов Городчанинова и отозвался о них весьма пренебрежительно. Одним из удачнейших творений Городчанинова (кстати, читанном также на одном из вечеров у А. А. Фукс) казанские литераторы считали его оду, озаглавленную «Бессмертие пиита (в память Державина)». Этот поэтический анахронизм как один из зрелых плодов творческих усилий автора коллега Городчанинова по Казанскому университету, профессор Ф. И. Эрдман, переложил на латинские стихи под заглавием «Poeta immortalis». И подлинник, и перевод Городчанинов воспроизвел в вышедшем в 1836 г. в Казани издании своих трудов — «Сочинения и переводы в стихах». Это длинное и непоэтическое произведение, состоящее из одних общих мест, интересно, однако, именно своей типичностью; оно представляет собой риторическое

⁹³ В конце мая—начале июня 1825 г. Пушкин писал из Михайловского А. А. Бестужеву: «С Державиным умолкнул голос лести — а как он льстил?» (XII, 179), и тогда же Дельвигу: «. . . мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем (не говоря уж о его Министерстве). . .» (XII, 182). П. В. Нащокин свидетельствовал: «Поэта Державина Пушкин не любил как человека, точно так, как он не уважал нравственных достоинств в Крылове. Пушкин рассказывал, что знаменитый лирик в пугачевщину сподличал, струсил и предал на жертву одного коменданта крепости, изображенного в „Капитанской дочке“ под именем Мирнова. Разумеется, он ставил высоко талант Державина. . .». См.: Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеповым / Под ред. М. А. Цявловского. М., 1925, с. 48, 123.

⁹⁴ Л е р н е р Н. О. Труды и дни Пушкина, с. 287—288.

⁹⁵ Л и х а ч е в Н. Григорий Николаевич Городчанинов и его сочинения. Казань, 1886, с. 13—14.

и многословное рассуждение на тему о бессмертии поэзии и бренности всех остальных человеческих деяний, не исключая даже воздвигнутых в честь и славу последних чудес архитектуры. Современное Пушкину, но написанное в классическом стиле XVIII в., это произведение Городчанинова, хотя и созданное в «память Державина» и по следам его «Памятника», называет также Горация рядом с Омиром и Вергилием. Начинается оно свидетельством, что время «непритупляемой косой» «все в дольном сокрушает свете»:

И горды Вавилонски стены,
И Родосский колосс надменный,
И славный во Ефесе храм
Его печальной стали жертвой
и т. д.

«Все пало под косой Сатурна, — в ужасе восклицает пиит, — и светлый трон, и мрачна урна»; лишь одна поэзия осталась нетленной:

Где грозный повелитель мира?
Но Флакка сладостная лира
Звучит из глубины веков.
Пиит, родясь, не умирает
И нам бессмертье доставляет.

Отсюда само собой вытекает и заключение о бессмертии поэтического наследия Державина, коим не перестанут восторгаться читатели отдаленнейших поколений будущего:

Доколь Феб будет озарять
Наук, художеств нас лучами,
Дотоль бессмертными стихами
Державин будет восхищать
Потомства позднего державы
Из века в век, на крыльях славы
и т. д.⁹⁶

Из всех вышеприведенных данных неопровержимо явствует, что традиционная мысль о бессмертии поэтического творчества в образах, популяризированных в России в подражаниях одам Горация как Державина, так и других поэтов и переводчиков XVIII и начала XIX в., стала особенно распространенной в России в применении к самому Державину в связи с оценкой творческого наследия поэта после его смерти. И в 1816 г., и в ближайшие за этим два десятилетия относившиеся к этой идее поэтические формулы, генетически связанные с подражаниями Державина Горацию, и прежде всего с его «Памятником», были еще живыми и применяемыми в русской литературе. Взгляд на Пушкина как на естественного наследника Державина, высказанный впервые Дельвигом именно после получения известия о кончине Державина, позволял теперь шире применять те же поэтические фор-

⁹⁶ Б о б р о в Е. А. А. А. Фукс и казачские литераторы 30—40-х гг. // Рус. старина, 1904, № 7, с. 12—14.

мулы бессмертия к самому Пушкину. Следует при этом иметь в виду, что сравнения Пушкина с Державиным, делавшиеся как в поэзии, так и в критике, не прекращались в 30-е гг. и в своей большей части были Пушкину хорошо известны. Так, на необходимости сближения этих имен для лучшего исторического понимания роли обоих поэтов в русской литературе постоянно настаивал Н. Полевой. В статье 1831 г. о сочинениях Державина, написанной по случаю выхода в свет четырехтомного собрания его сочинений, Н. Полевой утверждал, что «если бы Державин был более знаком с русскою стариною . . . может быть, ему суждено было начать период истинно национальной поэзии нашей. Теперь — этот долг за Пушкиным. При Державине не настаивало еще время литературной самобытности». ⁹⁷ В статье о «Балладах и повестях В. А. Жуковского» (1831) Полевой также мимоходом замечал, что Жуковский не является «гением самобытным, подобно Державину (или надежде будущего — Пушкину)». ⁹⁸ В статье 1833 г. о «Борисе Годунове» та же параллель представлена Полевым наиболее подробно: «Сколько найдем точек, на коих Державин и Пушкин сходятся совершенно! . . . Если Державин был полный представитель русского духа своего времени, то Пушкин доныне был полным представителем духа нашего времени. Успеет ли Пушкин явиться в столь же самобытном развитии созданий, как явился Державин? Пойдет ли он дальше того, на чем Державин остановился?». ⁹⁹ Даже в более поздней статье 1837 г., писанной через две недели после смерти поэта, Н. Полевой восклицал: «Пушкин был поэт — великий лирический поэт и полный представитель своего современного отечества. Только два таких поэта было у нас доныне — Державин и Пушкин». ¹⁰⁰

Для напечатания в «Северных цветах» Дельвига 1830 г. предназначалась, но была запрещена цензурой статья графа Д. Н. Толстого-Знаменского «О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина»; очень вероятно, что эту статью в рукописи знал не только Дельвиг, но и Пушкин. ¹⁰¹ Несколько цитат из этой в свое время необнародованной статьи могут объяснить нам задачи, которые

⁹⁷ Цит. по перепечатке в кн.: П о л е в о й Н. Очерки русской литературы, ч. 1, с. 78.

⁹⁸ Там же, с. 99.

⁹⁹ Там же, с. 158—159.

¹⁰⁰ Там же, с. 225.

¹⁰¹ Граф Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский (1806—1884) известен выпущенным им в 1836 г. в Петербурге изданием сочинений Кантемира со вступительной статьей о жизни и трудах сатирика (см.: Я з ы к о в Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. СПб., 1888, вып. 4, с. 93—94). Подлинник названной его статьи «О поэзии. . .», бывшей одним из его ранних литературных опытов, находится в Пушкинском Доме (оп. 16, № 55), откуда мы и заимствуем нижеследующие цитаты (ср.: Временник Пушкинского Дома на 1914 год. Пгр., 1914, с. 43, № 38). Возможно, что Д. Н. Толстой встречался с Пушкиным (Рус. архив, 1885, кн. 2, с. 29); о смерти Пушкина он оставил интересное письмо, опубликованное Л. Б. Модзалевским в журнале «Огонек» (1929, № 6, 10 февраля).

ставил перед собой автор, а также и то, почему она подверглась запрещению. «Поэзия служит отпечатком века, знанием народного духа и чувствований, — утверждает Д. Н. Толстой в начале своей статьи. — Это одно значение не похитили у ней ни сила времени, ни перемены обстоятельств и вкуса людей, ибо она заключается в ее сущности. Поэт есть представитель своего народа и своего века: все современные чувства, все страсти народа, скажу более — даже любимые его привычки должны отразиться в его творениях. Но такое значение певца еще славнее и деятельнее там, где народ весь участвует в делах нации; где каждая выгода, каждое обстоятельство, имеющее влияние на государство, не чуждо каждому гражданину, как непосредственному члену общества, как части того целого, к которому он принадлежит. Так некогда в Греции поэзия была достоянием народным и певцы, беседуя с целою нациею, имели влияние на ее образованность, на направление ее характера».¹⁰² Создав представление о высоком общественном и даже государственном значении поэзии, автор переходит к характеристике особой роли, которую поэзия играла в истории русского просвещения; он дает сначала обобщенную характеристику Ломоносова, затем переходит к Державину: «После Ломоносова является гений высокий, самобытный, влияние коего отразилось на всей последующей словесности и чье имя в лучезарном сиянии славы перейдет в позднейшее потомство: это державный царь поэтов — Державин»¹⁰³ и т. д. Наконец, автор переходит к Пушкину, предваряя свою характеристику рассуждением о том, каким должен быть национальный поэт и почему «общественное мнение не есть для него закон; оно только сообразно с его понятиями, с его ощущениями»; выражением общественного мнения «служат Правительство и Литература, т. е. гражданская и интеллектуальная жизнь народа. Поэт, увенчанный общественным мнением, без сомнения велик, ибо это служит доказательством, что он отвечает сему мнению, отвечает направлению народного духа и идет наравне с веком. Вот право его на любовь народа или, говоря сообразно с обстоятельствами нашими, на любовь публики. Таков А. Пушкин из современных поэтов наших. Напрасно старались бы сорвать с него заслуженный венец: за него и миллион людей признал его представителем своих чувств и мнений. Определить характер поэзии Пушкина было бы тем любопытнее, что посредством сего определился бы и самый характер современной публики, и направление общественного духа» и т. д.¹⁰⁴

Это были весьма ответственные слова, скрывавшие за собой, быть может, и некоторые намеки, впрочем, прозрачные для современников, например на то, что напрасными были бы поползнове-

¹⁰² Толстой Дм. О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина. См.: Р. о. ИРЛИ (Пушкинского Дома), оп. 16, № 55, л. 3.

¹⁰³ Там же, л. 4 об.

¹⁰⁴ Там же, л. 6 об.—7 (рукопись подписана и датирована автором: «7 сентября 1830 г. СПб.»).

ния «сорвать с него заслуженный венец». В заключительном абзаце статьи высказывалась уверенность, что только у Пушкина с достаточной силой проявилось «свободное развитие мышления, необходимое условие для образования народного характера». Можно представить себе, с каким интересом читал эту статью Дельвиг, тщетно добивавшийся включения ее в свой альманах. Возможно, что и для Пушкина она была лишним поводом задуматься над этим очередным сопоставлением себя с Державиным.

Над поэзией Державина Пушкин размышлял в течение всей своей жизни.¹⁰⁶ Вероятно, одним из последних отзывов его о Державине были слова, сказанные в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности». Напечатанная в 3-м томе «Современника» 1836 г., статья эта была написана до сентября этого года (XII, 446); здесь говорится: «Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного» (XII, 72). Последние слова этой фразы в особенности знаменательны. Очевидно, незадолго до своей смерти, задумываясь о своей житейской судьбе и об итогах своего творческого труда, Пушкин сознательно возвращался к образам своего предшественника, создателя «Паятника».

12

Мы подошли к конечной цели нашего исследования. Небесполезно теперь заново окинуть взором пройденный путь, вспомнить сделанные выше наблюдения и выводы, чтобы привести их к общему итогу.

История дружбы Пушкина и Дельвига в лицейские годы и их обмена посланиями в 1814—1816 гг. свидетельствует, что Дельвиг по крайней мере трижды в течение этих двух лет произносил стихотворные пророчества о высоком поэтическом призвании и будущей бессмертной славе своего «названного брата» и соратника на литературном поприще. Пушкин принимал эти прорицания со смешанным, противоречивым чувством юношеского самодовольствия и подавляемых шуткой действительных опасений относительно справедливости дружеских похвал и предсказаний о его будущем признании. В 1816 г. у Пушкина имелись и реальные поводы для огорчений, как например полученный им отказ печатать его стихи в «Вестнике Европы». Преувеличивая свою обиду и якобы возникшие к нему чувства вражды и зависти со стороны литераторов старшего поколения, самолюбивый юноша

¹⁰⁶ Данилов Н. М. Пушкин о Державине: К столетнему юбилею со дня кончины Г. Р. Державина. Казань, 1916. Этот полезный свод «многочисленных замечаний, отзывов и простых упоминаний о Державине, рассыпанных на всем пространстве пушкинских творений», в настоящее время нуждается в существенном пополнении. Автор не учел, в частности, отзывы Пушкина о Державине, приведенных его современниками, например Гоголем (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 229—230).

уже в том же 1816 г. собирался бросить свои занятия поэзией, не думать о славе, готовясь «прожить в безвестной тишине», и даже представлял в своем воображении забытую будущими поколениями свою уединенную могилу:

Потомство грозное не вспомнит обо мне,
И памятник певца в пустыне мрачной, дикой
Забывший — порастет ползущей повиликой.

Это был первый вариант возникшего в воображении юноши Пушкина памятника с заглохшей к нему тропой — реального надгробия «безвестного певца», вариант, образно связанный с «Сельским кладбищем» Т. Грея в переводе Жуковского.

Сомнения в собственном даровании, внезапно возникшая неуверенность в своих творческих силах были тем более горькими, что Пушкин сначала глубоко и сильно сознавал свое призвание как поэта. «Его восхищала мысль об этом призвании», — свидетельствовал еще Белинский, хотя и не обладавший достаточными сведениями о лицейском периоде жизни Пушкина. «Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтического бессмертия казалась ему лучшею целью бытия».¹ Об этом он прямо говорит в стихотворении к своему однокашнику А. Илличевскому, также считавшему себя поэтом, но в противоположность Пушкину несколько не сомневавшемуся в своем даровании. Илличевский отнюдь не оправдал надежд, возлагавшихся на него в Лицее, и должен был в конце концов забросить свои вялые, бессодержательные и бесталанные стихотворческие упражнения. Были, однако, годы, когда Илличевский считался одним из первых лицейских поэтов; именно ему в 1817 г., перед выпуском, Пушкин написал в альбом искреннее признание, полное тайной грусти («В альбом Илличевскому»):

Мой друг, не славный я поэт
И песни Музы своенравной,
Забавы резвых, юных лет,
Погибнут смертью забавной,
И нас не тронет здешний свет!

И своему приятелю — более счастливому, как ему казалось, и более уверенному в себе — Пушкин доверительно сообщал о своей заветной мечте, как он думал тогда — неосуществимой:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

(I, 258)

¹ Соч. Пушкина, изд. имп. Акад. наук / Под ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1899, т. 1, с. 272.

Несмотря на изредка посещавшие его сомнения, Пушкин даже в ранних стихах весьма ревниво оберегал свое право идти непроторенным, самостоятельным путем, действуя вопреки увещаниям сверстников или советам более опытных старших друзей-поэтов (см., например, его послание «Батюшкову»). Это было не столько упрямство, сколько ясное сознание свое правоты: представление Пушкина о том, каким должен быть поэт, начало слагаться в его сознании очень рано; поэтому правы были те критики, которые усматривали известные аналогии между его лицейскими стихами на тему о поэте и поэтическом творчестве и поздней его лирикой, включая «Памятник».²

С другой стороны, мы должны признать огромное значение, которое имели для Пушкина стихотворные послания Дельвига. Дельвиг не только первый предсказал Пушкину бессмертную славу, но и постоянно укреплял его в мысли, что ему суждено быть поэтом, заклиная в то же время не избирать никакого другого поприща. Проанализированные выше послания Дельвига показывают, что он неизменно ободрял Пушкина, в особенности тогда, когда юноша-поэт вступал в полосу разочарований и грозил вовсе перестать думать о своей поэтической лире. Дельвиг настойчиво, с необычайной силой убеждения доказывал Пушкину, к какой деятельности его призвали музы, и, опираясь на оды Горация (в особенности на 3-ю оду IV книги), разъяснял ему, что хотя существуют разные пути к славе, но они взаимно исключают друг друга. Дельвиг боялся, как бы Пушкин не избрал воинское поприще, к чему действительно имелись вполне реальные основания. Обращенное к Пушкину стихотворение «Кто, как лебедь цветущей Авзонии» построено на противопоставлении судеб, путей жизни «двух Александров» — поэта и царя; это послание нельзя понять иначе, несмотря на густо зашифровывающие эту мысль метафоры и мифологические уподобления, придающие ему гораціанский колорит. Написанное в ответственный период жизни лицейских друзей, когда перед ними поставлен был вопрос о выборе поприща, о том, кем станут они по выходе из школы, это стихотворение Дельвига красноречиво убеждало Пушкина — в понятных для него поэтических формулах — в необходимости оставаться только поэтом, не вступать на государственную службу, заботиться о своем редком поэтическом даровании, не увлекаясь ничем другим.

² Еще В. Стоюнин в своей монографии о Пушкине (Исторические сочинения. СПб., 1881, т. 2, с. 39) по поводу его послания «Батюшкову» заметил: «Интересно видеть, как в фантазии Пушкина еще в первых его опытах складывался образ самого поэта, который впоследствии выразился в таком художественном совершенстве». Л. Поливанов в своем издании Сочинений Пушкина утверждал, что это стихотворение «представляет один из тех первоначальных набросков, в которых Пушкин пытался определить свой поэтический дар и которые связываются с позднейшими стихотворениями того же содержания, каковы „Муза“ (1821) и, наконец, „Памятник“» (Соч. А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики, изд. Льва Поливанова. М., 1887, т. 1, с. 27).

Нет сомнения, что этот круг мыслей почерпнут был Дельвигом не только из 3-й оды IV книги Горация, но что те же аргументы он усматривал и в других одах, в частности в интересующей нас 30-й оде III книги римского поэта. Толкование их Пушкиным совпадало с дельвиговским, вероятно традиционным в школах того времени.

Конечно, мысль о важной, даже исключительной роли, какую поэт играет в исторической жизни любого народа, заимствованная Дельвигом из античной литературы, и прежде всего из Горация, не была новой в то время, когда Дельвиг создавал свои стихотворные послания к Пушкину. Рост значения литературы в русской общественной жизни, сопровождавшийся декларациями об этом самих писателей, легко проследить по памятникам литературы, в частности поэзии, всего XVIII в. Ломоносов, первый переводчик на русский язык «*Exegi monumentum*» Горация, помимо этой оды целым рядом других примеров подтверждал высоту того пьедестала, на который он ставил поэзию в иерархии творческих деяний человека. В «Разговоре с Анакреоном» и во многих других своих произведениях, например в «Предисловии о пользе книг церковных в Российском языке», Ломоносов доказывал, что «без искусных писателей», «затмится слава всего народа», что поэт один удерживает ее в исторической памяти. В данном «Предисловии» Ломоносов, ссылаясь именно на Горация, приводил в подтверждение следующие стихи из его оды (IV, 9) в собственном переводе:

Герои были до Атрюда,
Но древность скрыла их от нас,
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас.³

Далее Ломоносов писал: «Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев, которых люблением и покровительством одобрены были превозносить их купно с отечеством. Последовавшие поздние потомки, великою древностию и расстоянием мест отдаленные, внимают им с таким же движением сердца, как бы их современные односемцы . . . Возможно ли внимать Горациевой лире, не склоняясь духом к Меценату, равно как бы он нынешним наукам был покровитель?»⁴ В своей «Историке» (§ 109) Ломоносов приводит также фрагмент из речи Цицерона «За Архия стихотворца» (*Pro Archia*), в которой снова утверждается великое значение

³ «Предисловие о пользе книг церковных. . .» опубликовано было в первой книге «Собрания разных сочинений в стихах и прозе. . . Михаила Ломоносова» (М., 1757). Цит. по изд.: Полн. собр. соч. М. В. Ломоносова. М.; Л., 1952, т. 7, с. 591. Ср.: Пахов И. М. Ломоносов и античность // *Вопр. классич. филол.* М., 1965, т. 1, с. 29.

⁴ Полн. собр. соч. М. В. Ломоносова, т. 7, с. 592.

поэта в общественной и государственной жизни: «Стихотворцы от натуры силою ума бодры и аки бы некоторым божественным духом вдохновенны бывают . . . И так почитайте вы, судии, вы, люди учтивейшие, имя стихотворца свято, которого никогда и варвары не озлобляли. Камни и пустыни гласу их отвечают, свирепые звери часто пением склоняются и удержаны бывают, то нам ли, наученным добрым правам, не почувствовать гласа стихотворцев?».⁵

Ближайшие ученики и соратники Ломоносова, ссылаясь на пример Горация или подражая ему в русских стихах, в свою очередь утверждали, что нет ничего выше призвания поэта, в особенности тогда, когда он действует во славу своего народа. Мысли о просветительской миссии поэта, а также сопоставление ее с пагубными путями, ведущими к бессмертию, снова навеянные Горацием, но примененные к обстоятельствам своего времени, мы находим у Н. Поповского в 50-х гг. XVIII в. Он много переводил из Горация, и его переводы благодаря переизданию (1801) были еще живыми и читаемыми в начале XIX в. Н. Поповский писал, например:

Различны, Мecenат! к бессмертию дороги:
Иной, повергнув тьмы людей себе под ноги,
Чрез раны, через кровь, чрез кучи бледных тел,
Развалины градов, сквозь дым сожженных сел
Отверз себе мечом путь к вечности кровавой
И с пагубой других достиг бессмертной славы.

Другой, подняв верхи ужасных пирамид
Превыше туч, где ветер и буря не шумит,
Потомству по себе мнит память тем оставить
И имя чудными громадами прославить
и т. д.⁶

Привлекательной задачей было бы проследить, как развивалось представление о поэте и его общественной роли в русской литературе XVIII—начала XIX в., в период между классицизмом и романтизмом. Развитие такого представления было параллельным в различных европейских литературах, например в английской и немецкой: противопоставляемый сначала, в соответствии с классическими образцами, триумфаторам на любом другом поле человеческой деятельности, образ поэта постепенно усложнялся сперва библейским представлением о пророке, прорицателе и провидце, а затем и возрожденными кельтскими преданиями о бардах, распространенными оссианизмом.⁷ Мы не можем здесь иллюстрировать этот процесс дальнейшими примерами. Скажем лишь, что

⁵ Там же, с. 178.

⁶ Модзалевский Л. Б. Ломоносов и его ученик Поповский // XVIII век. М.; Л., 1958, сб. 3, с. 164.

⁷ Фганк К. Anschauung von Wesen und Beruf des Dichters im Zeitalter der englischen Klassizismus. Erlangen, 1930; Meisner P. Der Gedanke der dichterischen Sendung in der englischer Literaturkritik // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur und Geistesgeschichte, 1936, Bd 14, S. 31—59; В а m

представление об исключительном значении поэта в жизни общества и о бессмертии, ожидающем его творения, было чрезвычайно распространенным в эпоху и Карамзина, и И. И. Дмитриева. Выше уже приводились, хотя и в другой связи (см. с. 97), цитаты, свидетельствующие об этом, из таких произведений Карамзина, как его «Поэзия» (1787); добавим указание на его стихотворение «Дарования» (1796), хорошо известное Пушкину, в котором, в частности, говорится:

А вы, питомцы муз священных,
В своих творениях нетленных
Вкушайте вечности залог!

Правда, в представлении Карамзина — как видно из того же стихотворения — образ поэта уже несколько изменился, снизился: поэт становится прежде всего утешителем нежных сердец, пробудителем сентиментальных чувств любви и дружбы («Прекрасно жить в веках позднейших и быть любовью душ нежнейших»). По его мнению, вражда к поэту «невежды и глупца» должна быть скорее радостной для него, чем губительной:

Везде, во всех странах вы чтимы,
Душами добрыми любимы.
Блеск вашей славы умножает
Вражда невежды и глупца.⁸

Близкий к Карамзину И. И. Дмитриев, кстати также оставивший след в истории русской поэзии как переводчик Горация, в своем подражании его 16-ой оде II книги признавался, что фортуна и природа, давшие ему «таланта искру к пенопению», внушили ему также

...равнодушие к суждению
Толпы воилов и глупцов.⁹

Уже было отмечено, что указанные строчки из «Подражания Горацию» И. И. Дмитриева находят себе близкую параллель в заключительных стихах пушкинского «Памятника».¹⁰ К Гора-

berger K. Die Figur des Propheten in der englischen Literatur (von den ältesten Zeiten bis zum Ausgang den 18 Jahrhunderts): Eine Typologische Untersuchung. Würzburg, [1934—1935].

⁸ Карамзин. Соч. Т. 1. Стихотворения, с. 211.

⁹ Дмитриев И. И. Соч. / Ред. и примеч. А. А. Флоридова, т. 1, с. 249—250. Под заглавием «Подражание Горацию» стихотворение печаталось в 1806, 1814 и 1821 гг.

¹⁰ В u s c h W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 148. Напомним, что последний стих «Памятника» («И не оспаривай глупца») обычно сопоставляют со строкой из «Альбома Онегина», которую Пушкин объявляет мыслью «Горана» («Чти правду и не спорь с глупцом»). Ср. стихотворение В. Кюхельбекера «Поэты» (1820):

О Дельвиг, Дельвиг, что награда
И дел высоких и стихов?

цию же восходит у Дмитриева мысль о превосходстве поэта среди современников и об ожидающем его бессмертии, хотя, как мы видели, на рубеже XVIII—XIX вв. эта мысль становилась уже общим местом. В 1798 г. в «Аонидах» Дмитриев поучал:

Герой, вельможа, судия!
Не презирайте днесь певцами,

потому что

Падут надменны пирамиды
С размаху Кроновой руки;
Сотрутся обелисков виды,
Исчезнут Ксерксовы полки
И царства, ими покорены;
Но дарования нетленны!¹¹

Вопрос о традиции в русской поэзии, к которой примыкает пушкинский «Памятник», можно считать достаточно проясненным.

Более отчетливо можно представить себе теперь, особенно после обнародования переписки Карамзиных и некоторых других документов (см. выше, с. 104), то угнетенное состояние духа, в котором Пушкин находился с конца лета 1836 г., в частности в те дни, когда он набрасывал строфы своего стихотворения. И литературные, и домашние дела поэта находились в полном беспорядке. Отзывы современных ему литераторов о его новейших трудах свидетельствовали, что былая слава поэта находится на ущербе; «колеблемый треножник» готов был и вовсе быть низвергнутым во прах; зоилы и завистники — журналисты не только не понимали его творений, но и распространяли о нем клевету, пуская, например, в оборот литературных салонов и светских гостиных сравнение поэта с «угасшим светилом»; материальные его дела были близки к полному краху; тревоги и подозрения пришли в его собственную семью.

Едва ли мы погрешим против истины, если предположим, что стихотворение «Я памятник себе воздвиг» мыслилось поэтом как предсмертное, как своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины, потому что и самое слово «памятник» вызывало прежде всего представление о надгробии. «Кладбищенская» тема в лирике Пушкина последнего года его жизни была темой навязчивой, постоянно возвращавшейся в его сознание; подводя итог своей литературной деятельности, он тем охотнее вспоминал и о ее начале, о первых своих поэтических опытах и об оценке их ближайшими друзьями лицейских лет. Как изменилась жизнь за прошедшие четверть века! Сколь многое стало иным и в отношении к нему самому!

Таланту где и что отрада
Среди злодеев и глупцов?

(К ю х е л ь б е к е р В. К. Лирика и поэмы, т. 1, с. 42).

¹¹ Д м и т р и е в И. И. Соч. . . ., т. 1, с. 200.

На основании представленных выше данных мы предполагаем, что замысел «Памятника» вызван мыслью Пушкина о самом близком и бескорыстнейшем из его друзей — А. А. Дельвиге. Именно Дельвиг первым предсказал ему бессмертную славу, именно он был утешителем юного поэта во всех его истинных и воображаемых несчастьях, неустанным и верным защитником от критики, провозвестником его будущей блистательной поэтической судьбы. Больше того: Дельвиг уберет Пушкина от увлечений другими путями жизни, которые открывались перед обоими юношами при выходе из Лицея, заклиная его не пренебрегать своим поэтическим даром, считать себя поэтом по преимуществу.

О Дельвиге Пушкин думал до последних дней своей жизни, он надеялся издать свою переписку с ним, записывал воспоминания о покойном друге, перечитывал его стихи, в том числе и обращенные к нему послания; может быть, его могилу посетил поэт, прежде чем начал набрасывать план автобиографического произведения («Prologue»), в котором немаловажную роль должны были играть воспоминания о лицейских друзьях-поэтах — Дельвиге и Кюхельбекере, об их общих увлечениях поэзией, перемежаемых играми и школьными занятиями. О Дельвиге Пушкин думал даже после создания «Памятника» как о человеке, рожденном с ним «под одной звездой», как о доверенном друге, от которого он никогда ничего не скрывал. В стихотворении 1831 г., вспоминая ушедших друзей, Пушкин, писал:

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой.

(I I, 278)

Теперь, пятилетие спустя, Пушкин мог с еще большим основанием думать то же самое. Кому, как не Дельвигу, раскрывал он свои литературные планы? С кем, как не с Дельвигом, делился он своими удачами? К кому, как не к тени покойного друга, могла быть обращена теперь его исповедь?

Гордое самоутверждение, которое встречаем мы в «Памятнике», настолько не соответствует лирической настроенности всех окружающих его стихотворений Пушкина той же поры, что его трудно было бы объяснить иначе. Только с мыслью о все понимавшем и оправдывавшем друге Пушкин и мог набрасывать строфы о своих заслугах на той поприще, которое они избрали оба. Только ему он осмелился бы сказать, что противопоставляет свою славу славе царя, деяния которого увековечены особой, недавно воздвигнутой колонной. Ведь по существу «Памятник» был ответом на призывы Дельвига, обращенные к Пушкину в его стихотворении «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», напечатанном в «Российском музее» 1815 г. и также, как мы видели, основанном на противопоставлении судеб «двух Александров» — поэта и царя. Предчувствуя кончину, прощаясь с жизнью

и творческой деятельностью, Пушкин, вспоминая Дельвига и мысленно прощаясь с ним, как бы перед ним, живым, утверждал, что пророчества друга сбудутся непременно, вопреки злонамеренным невеждам и глупцам, которые губят поэта так, как погубили за пять лет перед тем его лучшего друга и брата «по музе и судьбам».

Только настойчивой мыслью о Дельвиге и лицейских годах и можно объяснить, наконец, горацианско-державинские черты «Памятника» Пушкина, вступающие в явное стилистическое противоречие с другими его стихотворениями того же 1836 г. Пушкин возвращается к Горацию и Державину, двум любимым поэтам Дельвига лицейских лет; их имена и строй их поэзии чаще всего ощущаются в лицейских посланиях Дельвига к Пушкину. На тот же лад настроена лира Пушкина и в исследуемом нами его стихотворении.

В «Памятнике» Пушкина не только фразеологические сочетания, но каждое отдельное слово влечет за собой целый круг ассоциаций и образов, теснейшим образом связанных с той стилистической традицией, которая была привычной для поэтов-лицеистов. Даже метрика стихотворения свидетельствует о том же: строфа «Памятника» впервые, но единственный раз была применена Пушкиным в его лицейском стихотворении 1815 г. («Наполеон на Эльбе», последнее четверостишие). Отражения в пушкинском «Памятнике» произведений Горация и Державина в исторически сложившейся и ставшей традиционной форме автопризнаний о собственных поэтических заслугах давно уже объяснены текстологическими параллелями и специальными комментариями сравнительного характера, восходящими к Белинскому. В итоге указанных сопоставлений выяснилось, что Пушкин дал в своем «Памятнике» своеобразную, «глубоко реалистическую трансформацию горацианского стиля»;¹² державинский образец привел Пушкина в данном случае не столько к внешней и поверхностной формальной стилизации, сколько к удивительному по мастерству и глубоко интимному по существу воспроизведению той стилистической сферы, в пределах которой он вращался в своих писаниях юных лет. Хотя в пушкинском «Памятнике» многое ведет прежде всего к Державину, но его поэзия лицейской поры являлась не единственным объектом притяжения поэта. Одним из сознательно избранных прототипов стилистики Пушкина в «Памятнике» являлась также поэзия Карамзина, к которой Пушкин тяготел в равной мере в те же юные годы, а частично и поэзия Жуковского. Стихи 7—8 второй строфы «Памятника» —

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит —

представляются карамзинскими по всем своим компонентам, начиная от относительного наречия «доколь», весьма характерного

¹² В и н о г р а д о в В. Язык Пушкина. М., 1941, с. 512.

для этого поэта.¹³ Карамзин же, по-видимому, является изобретателем выражения «подлунный» (мир). В стихотворном цикле Карамзина, озаглавленном «Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста» (1796), говорится:

Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет век;
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек
и т. д.¹⁴

Еще Н. С. Тихонравов указал, что «Опытная Соломонова мудрость» Карамзина есть просто перевод «Précis de l'Ecclésiaste» (1759) Вольтера, но что Карамзин, переводя Вольтера и даже сохраняя размер подлинника, кое-что переделал в нем на свой лад.¹⁵ То же произведение Вольтера ранее переведено у нас было М. М. Херасковым: «Почерпнутые мысли из Экклезиаста» (1765). Любопытно, что у Хераскова, как и у Вольтера, говорится о «подсолнечном», а не о «подлунном» мире:

В подсолнечной премены нет,
И был и будет тот же свет.¹⁶

¹³ См., например, в известном стихотворении Карамзина «Поэзия» (1787):

Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес,
Поэзия, для душ чистейших благом будет;

и далее

Доколе я дышу, дотоле буду петь,
Поэзию хвалить и ею утешаться

(Карамзин Н. М. Соч. Т. 1. Стихотворения, с. 13).

¹⁴ Карамзин Н. М. Соч. Т. 1. Стихотворения, с. 180, 444. Слово «подлунный» встречается у Карамзина и ранее (там же, с. 25, 103, 105, 201). В стихотворении «Господину Д** на болезнь его» (1789) говорится: «В стране подлунной все томится»; в «Послании к А. А. Плещееву» (1794) читаем:

Престанем льстить себя мечтою,
Искать блаженства под луною!
.....
Каков ни есть подлунный свет,
Хотя блаженства в оном нет.

В стихотворении «Деревня» (1796) также говорится о «всех подлунных существах». Н. Чечулин в статье «О стихотворениях Карамзина» (Старина и новизна, Пгр., 1917, кн. 22, с. 94), цитируя строчку из его перевода вольтеровского перевода Экклезиаста «Ничто не ново под луною», замечает, что «хотя, пожалуй, не легко выразить эту мысль другими словами, но все же можно отметить, что авторство тут принадлежит Карамзину».

¹⁵ Тихонравов Н. С. Соч. М., 1898, т. 3, ч. 2, с. 341.

¹⁶ Херасков М. Творения, вновь исправленные и дополненные. М., 1807, ч. 7, с. 4. У Вольтера: «Rien de nouveau sous le soleil».

Только о «подсолнечной» земле или вселенной говорили также более ранние русские поэты, например А. П. Сумароков.¹⁷

Цитируя фразу Карамзина «суета всего подлунного» из его повести «Сьерра-Морена», П. Бранг заметил, что замена Карамзинным словосочетания «подсолнечный свет» или «подсолнечная» (см. его «Илью Муромца») субстантивированным прилагательным «подлунное» (царство), «подлунный» (мир) может служить показателем «растущего интереса к ночным сторонам бытия».¹⁸ Слово «подлунный» благодаря Карамзину становится модным в России в эпоху предромантизма и затем входит в обиходную русскую речь. А. Д. Григорьева, говоря о словах и сочетаниях русского языка, связанных в поэзии конца XVIII—начала XIX в. со словами «солнце» и «луна», в свою очередь отмечает, что слово «подсолнечная» зафиксировано в первом издании «Словаря Академии Российской» (с примером из Ломоносова: «Доколе Россы не престанут греметь в подсолнечной концы»), тогда как поэтическое употребление слов «подлунная» и «подлунный» (мир) «было явлением относительно новым».¹⁹

Таким образом, прилагательное «подлунный», редкое у Пушкина, в особенности в сочетании с архаическим начертанием слова «поэт» («пиит»), заставляет нас вспомнить характерные образцы русской поэзии конца XVIII—начала XIX в., где оно было привычным и часто встречающимся. По свидетельству «Словаря языка Пушкина», слово «подлунный» поэт употребил дважды в конце своей жизни;²⁰ правда, к тому же кругу представлений следует отнести стих из его ранней «философской оды» «Усы» (1816):

¹⁷ См. у Сумарокова («Прибежище добродетели», ч. 2):

Когда подсолнечна была почти пуста,
Благословенные природою места,
Вы были и тогда народом населенны,

или:

В тебе великая подсолнечна нова

(Сумароков А. П. Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. . . / Собр. и изд. Н. Новиковым. М., 1781, ч. 4). И. И. Дмитриев, у которого мы также встречаем слово «подлунный» («пожелаем ему погостить еще в подлунном мире» — в письме 1832 г.), вспоминает в своих записках об одном из лучших, по его мнению, стихотворений В. Петрова к жене, где есть такие стихи:

. . . ты вечно для меня
Одна в подсолнечной красавица, Прелеста

(Дмитриев И. И. Соч., т. 2, с. 41, 314).

¹⁸ Brang P. Studien zu Theorie und Praxis der russischen Erzählung. 1770—1811. Wiesbaden, 1960, S. 165.

¹⁹ Григорьева А. Д. Поэтическая фразеология конца XVIII—начала XIX в. // Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху. М., 1964, с. 63—64.

²⁰ Словарь языка Пушкина, т. 3, с. 432.

Гусар! Все тленно под луною;
Как волны следом за волною
Проходят царства и века.

(I, 178)²¹

Затем слово встречается в «Анджело» и в «Памятнике» — оба раза в скептически-пессимистическом значении библейского изречения. В «Анджело» (V, 119—120) «согбенный старостью» монах «доказывал страдальцу молодому» Клавдио,

Что смерть и бытие равны одно другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа,
И что подлунный мир не стоит ни гроша.

Это слово, с которым у Пушкина соединялся целый комплекс представлений о тщете и суете, он встречал у Карамзина, Жуковского²² и многих других поэтов начала века. Отметим еще, что в «Памятнике» сознательно употреблены даже некоторые архаические конструкции (например, в стихе: «душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит»), также восходящие к стилистической практике карамзинистов начала XIX в.²³

Сто лет тому назад хулители и подражатели Пушкина, плохо знавшие его жизнь и мало представлявшие себе обстоятельства, которые вели его к неминуемой гибели, читая «Памятник», обвинили поэта в тщеславии, которому он будто бы «готов был жерт-

²¹ Отметим кстати, что М. В. Юзефович, рассказывая о своей встрече с Пушкиным в 1829 г., упоминает о подаренном поэтом белом автографе «Кавказского пленника», в котором в стихах:

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире, —

вместо «в пустынном» (стих 84) будто бы стояло «в подлунном» (Рус. архив, 1880, т. 1, № 3, с. 440). Однако указавшая Юзефовичем рукопись затерялась, а в дошедших до нас автографических текстах поэмы этот вариант отсутствует (IV, 95; 298, 354).

²² Пушкин хорошо знал стихотворение Жуковского (1822—1824):

Я музу юную бывало
Встречал в подлунной стороне

(Жуковский В. А. Стихотворения / Под ред. Н. В. Измайлова. Л., 1956, с. 255). Отдельные строчки этого стихотворения Пушкин помнил наизусть и употреблял как устойчивые поэтические формулы, как и всегда в подобных случаях сраставшиеся с представлением об их авторе. Например, заключительную строчку этого стихотворения («Былое сбудется опять») Пушкин процитировал в письме к П. А. Плетневу (от 12—14 апреля 1831 г.), а стих, взятый отсюда же («О, гений чистой красоты»), сознательно или бессознательно вставлен Пушкиным в его стихотворение «К А. П. Керн» (1825). Ср.: Виноградов В. В. Язык Пушкина, с. 379.

²³ Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в. М., 1964, с. 206.

Вовать всем», в самообольщении и «неосновательных самовосхвалениях». Даже Гоголь, один из первых читателей этого стихотворения, искренне преданный поэту, находил, что Пушкин «был слишком горд и независимостью своих мнений, и своим личным достоинством», потому что «никто не сказал так о себе, как он» в своем «Памятнике», в словах, которые «отозвались бы самохвальством», если бы самая жизнь поэта не была для них подкреплением.²⁴ Между тем другие его современники, например П. А. Плетнев, не раз подчеркивали, что Пушкин был скуп на самопризнания, молчалив, когда их ждали от него, и даже застенчив; рассказывая о своей встрече с поэтом, А. Н. Муравьев также утверждал, что Пушкин «хотя и чувствовал всю высоту своего гения, но был чрезвычайно скромнен в его заявлениях».²⁵ Известно было, что в минуту тягостного разочарования Пушкин провозглашал:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья,
Блажен, кто молча был поэт
и т. д.

И, вероятно, находились люди, воспринимавшие эту декларацию как высокомерное обособление и пренебрежение окружающим. Но Пушкин не был мизантропом. Понадобилось более столетия, чтобы мы могли провести мостик от этих стихов к гордым самоутверждающим строкам его «Памятника», представить себе, почему могло быть создано это стихотворение и как следует его понимать. Теперь нам все это кажется вполне объяснимым, и в строках, которые когда-то для невнимательных и нечутких читателей отзывались самохвальством и непомерной гордостью, мы явственно различаем ныне сквозящую в них предсмертную тоску и безысходную скорбь поэта накануне его гибели. Советский поэт Николай Доризо в своем стихотворении «Пушкин» подвел недавно справедливый итог изучению и переосмыслению «Памятника». Цитируя строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», Н. Доризо спрашивал себя:

Как мог при жизни
Он сказать такое?
А он сказал
Такое о себе —
В блаженный час
Счастливого покоя,
А может быть,
в застольной похвальбе?

И не была ли эта уверенность в себе самодовольством от читательских похвал?

²⁴ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 255, 259.

²⁵ Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885, т. 3, с. 240—243, 741—743; Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 11.

Нет!
 Эти строки
 С дерзостью крамольной,
 Как перед казнью узник,
 Он писал!
 В предчувствии
 Кровавой речки Черной,
 Печален и тревожно одинок —
 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный. . .»
 Так мог сказать
 И мученик,
 И бог!²⁶

ПРИЛОЖЕНИЕ I

АВТОГРАФЫ «ПАМЯТНИКА»

Ниже мы воспроизводим два известных в настоящее время автографа стихотворения Пушкина: 1) перебеленный текст основной общеизвестной редакции с вариантами; 2) черновой автограф трех последних строф. Оба автографа находятся ныне в Рукописном отделении Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в Ленинграде (шифры: 846 и 239). Ради удобства пользования приводимым описанием их и для сверки с их транскрипцией приложены факсимиле автографов.

Текстологическая история обеих рукописей довольно запутана. Чтение отдельных слов (в особенности зачеркнутых) вызывает споры; неясности остаются и при попытках определить последовательные этапы работы поэта над рукописями; весь процесс их создания воспроизводится лишь приблизительно.

Как указывалось выше, в основном тексте настоящей работы, стихотворение «Я памятник себе воздвиг» впервые опубликовано было в IX томе (1841) первого посмертного издания сочинений Пушкина под заглавием «Памятник» (в рукописи отсутствующим), на с. 121—122. Из цензурных соображений В. А. Жуковский внес несколько изменений в ясно читавшиеся в подлинной рукописи строки Пушкина. Так, 3-й и 4-й стихи напечатаны в этом издании (курсивом выделены поправки и изменения, внесенные в текст Жуковским) в следующем виде:

⟨3⟩ Вознесся выше он главою непокорной
 ⟨4⟩ Наполеонова столпа.

Четвертая строфа напечатана так:

⟨13⟩ И долго буду тем народу я любезен,
 ⟨14⟩ Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 ⟨15⟩ Что прелестью живой стихов я был полезен
 ⟨16⟩ И милость к падшим призывал.

В редакции Жуковского стихи 13-й и 14-й попали и на постамент памятника Пушкину в Москве, торжественно открытого 6 июня 1880 г., а также распространялись на литографированных портретах Пушкина, изготов-

²⁶ Д о р н о Н. Пушкин // Лит. газета, 1965, № 138, 20 ноября.

ленных к пушкинским дням.¹ Решение о замене на постаменте искаженного двустипшия подлинным четверостишием Пушкина принято было только в 1937 г. по случаю 100-летия со дня гибели поэта.² Небольшие поправки сделаны были и в последующих стихах. Стих 18-й напечатан был в таком виде:

Обиды не *страшишь*, не *требуи* и венца.

Стих 20-й:

И не *оспаривай* глупца.

Во всех комментированных изданиях сочинений Пушкина и во многих других источниках с давних пор обычно указывается, что подлинный рукописный текст стихотворения «Я памятник себе воздвиг» стал известен лишь с 1881 г., когда его напечатал П. И. Бартечев в «Русском архиве» и затем перепечатал в отдельном издании публикаций текстов Пушкина из этого журнала.³

Это утверждение неточно. Первое краткое известие о недавно обнаруженной рукописи этого стихотворения сообщено было тем же П. И. Бартечевым годом ранее в том же «Русском архиве»; при этом Бартечев привел всю четвертую строфу «Памятника» в черновой редакции. Это известие, однако, не обратило на себя внимания. Из комментаторов Пушкина на публикацию Бартечева сослался лишь П. А. Ефремов в 1905 г., но он сделал это в такой неясной форме, которая почти исключала возможность проверки сообщенного им известия. Указывая, что цитата из текста стихотворения с исправлениями В. А. Жуковского была «отлита на памятнике Пушкину в Москве», П. А. Ефремов заметил: «Уже после постановки памятника стихотворение было напечатано в „Русском архиве“ (1881, кн. 1), но г. Бартечев без всяких указаний напечатал 4-ю строфу не по исправленному, а по черновому тексту и только впоследствии приложил автографический снимок, по которому и пришлось вновь перепечатать стихотворение в издании 1880 г., откуда оно перешло со всеми поправками в издание 1882 г.»⁴ Неясность и стилистическая небрежность этой справки бросается в глаза: как можно было в издании 1880 г. (которое редактировал сам Ефремов) печатать текст стихотворения по «Русскому архиву» следующего 1881 г., сверяя текст с факсимиле автографа, изготовленным еще позже? Примечание, которым П. А. Ефремов снабдил «Памятник» в своем издании 1880 г., несколько проясняет допущенную им неточность, но не вполне; он пишет по поводу стиха,

¹ См., например, портрет Пушкина (большого формата), литографированный и изданный Пашковым в 1880 г. в Москве: М е ж о в В. И. Puschki-piana. СПб., 1886, с. 251, № 3719.

² В хроникальной заметке в газ. «Правда» (М., 1937, № 8, 9 января) «Реставрация исторических памятников» указано, что по решению Всесоюзного Пушкинского (юбилейного) комитета «искаженный текст стихотворения, написанный на пьедестале памятника, замещается подлинным». Некоторые подробности о технике замены на памятнике двустипшия четверостишием сообщены также в заметке «Подлинная надпись на пьедестале» в газ. «Вечерняя Москва» (1937, № 6, 8 января).

³ Б о г а е в с к а я К. П. Пушкин в печати за сто лет: 1837—1937 М., 1937, с. 26 (№ 99); Р ы с к и н Е. И. Блблпография текстов. М., 1953, с. 8—10, 12.

⁴ П у ш к и н А. С. Соч. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1905, т. 8, с. 375.

переделанного Жуковским: «Бартенев в своей речи по поводу открытия памятника Пушкину этого стиха не указал, но зато привел по подлинной рукописи 4-ю строфу, которая оказывается несравненно выше переделки, до сих пор печатавшейся».⁵ Таким образом, очевидно, что речь шла не о публикациях Бартенева в «Русском архиве» 1881 г., но о его речи, произнесенной в 1880 г. и напечатанной в том же году.

Прежде чем привести относящуюся к «Памятнику» цитату из этой речи П. И. Бартенева, напомним, что в 70-е гг. основная масса рукописей Пушкина, в частности его тетради, находились у старшего сына поэта А. А. Пушкина, который владел ими более двадцати лет (вероятно, со второй половины 50-х гг.), «никому из редакторов и биографов их не показывая», как справедливо отметил М. А. Цявловский. «Только в 1880 г. тетради поэта были доставлены А. А. Пушкиным на выставку, устроенную Обществом любителей российской словесности в Румянцевском музее».⁶ Близкое участие в устройстве этой выставки приняли Бартенев и тогдашний хранитель отделения рукописей Румянцевского музея А. Е. Викторов. Оба они в конце концов убедили А. А. Пушкина передать драгоценные рукописи его отца в государственное книгохранилище. Бартенев, по его собственному сообщению, ездил за этими рукописями в г. Козлов Тамбовской губернии; тогда же он «приобрел у наследников Пушкина право напечатать то, что найдет в них нового, и по окончании своей работы, вместе с покойным А. Е. Викторовым, ходатайствовал, чтобы эти рукописи сделались для всех доступными».⁷ В пушкинские дни 1880 г. Общество любителей российской словесности устроило два публичных заседания по поводу открытия памятника Пушкину в Москве (7 и 8 июня). На втором из них среди других ораторов выступил также с небольшим словом П. И. Бартенев. Это было заседание, на котором, вслед за выступлением Н. А. Чаева, произнес свою знаменитую речь Ф. М. Достоевский, имевший неслыханный успех. Именно это обстоятельство и явилось, вероятно, причиной того, что краткая и неспешная официальный характер речь Бартенева не обратила на себя никакого внимания. В издании Ф. Булгакова «Венок на памятник Пушкину» при описании второго торжественного пушкинского заседания Общества любителей российской словесности 8 июня о речи Бартенева сказано только: «П. И. Бартенев говорил об отношении Пушкина к имп. Николаю Павловичу».⁸ Вскоре эта речь была напечатана в «Русском архиве» за тот же год.⁹

⁵ Пушкин А. С. Соч. 3-е изд., испр. и дополн. / Под ред. П. А. Ефремова, изд. книгопродавца Я. И. Исакова. СПб., 1880, т. 3, с. 455.

⁶ Цявловский М. А. Судьба рукописного наследия Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 273, 333.

⁷ Рус. архив, 1884, кн. 2, с. 474.

⁸ Булгаков Ф. Венок на памятник Пушкину: Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции. . СПб., 1880, с. 63. В разделе той же книги «Речи и чтения», где воспроизведены все речи, читанные на обоих заседаниях Общества любителей российской словесности, речь П. Бартенева также отсутствует. Странно, что она не названа даже в протоколе этого заседания (343-го публичного заседания Общества), опубликованном в «Приложении» к книге «Общество любителей российской словесности при Московском университете. Историческая записка и материалы за сто лет» (М., 1911, с. 142—143).

⁹ Рус. архив, 1880, кн. 2, с. 485—487. В заглавии этой статьи допущена ошибка в дате: «Речи в заседании Общества любителей российской словесности 7-го (1) июня 1880 г.».

По-видимому, немногие читатели заметили в этой речи слова, относящиеся к стихотворению «Я памятник себе воздвиг». Между тем они свидетельствуют, что П. И. Барте́нев уже в это время знал подлинную рукопись стихотворения, списал из нее разночтения с общеизвестным текстом и отметил также ее авторскую дату. «Вообще, — говорил Барте́нев — главною струною в душе Пушкина всегда и до конца было чувство свободы, живая потребность независимости личной, народной и государственной, и к концу жизни своей (21 августа 1836 года), так сказать обозревая пройденное поприще, он мог сказать про себя в подлинном наброске стихотворения „Памятник“:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милосердие воспел».¹⁰

Именно это место в речи Барте́нева, как указано выше, П. А. Фре́мов и имел в виду.

Пользуясь разрешением на публикацию новых материалов из тетрадей Пушкина, Барте́нев начал печатать их в своем журнале (начиная с 3-й книги 1880 г.). Вскоре особая статья была им посвящена рукописи «Памятника»; описание ее сопровождалось «снимком подлинника».¹¹ В том же 1881 г. ряд опубликованных Барте́невым пушкинских материалов воспроизведен был им в особой книжке; статья о «Памятнике» вошла сюда без перемен и также сопровождалась факсимиле.¹²

Наличие хорошо выполненного литографическим способом воспроизведения автографа стихотворения фактически сделало доступным его изучение; тем не менее публикация и истолкование его вариантов подвигались чрезвычайно медленно. Е. И. Ры́ский в своей брошюре «Библиография текстов», перечисляя эти попытки, почему-то выделил «публикацию 1887 г.», о которой писал: «В этом году П. О. Морозов опубликовал в редактировавшемся им издании сочинений Пушкина вариант, исключительно важный для изучения творчества Пушкина. Вместо строки

Что в мой жестокий век восславил я свободу

Пушкин первоначально написал:

Что вслед Радищеву восславил я свободу.

¹⁰ Там же, с. 486.

¹¹ О стихотворении Пушкина «Памятник» // Рус. архив, 1881, кн. 1, с. 233—237.

¹² Бумаги Пушкина. М., 1881, вып. 1, с. 200—204 (А. С. Пушкин. Новонайденные его сочинения. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его сочинения). Статья Барте́нева (в сокращении) под заглавием «Подлинный текст стихотворения „Памятник“» напечатана также в газ. «Страна» в № 3 за 1881 г.; в следующем номере той же газеты появилось «Письмо в редакцию» П. О. Морозова, обращавшего внимание на разночтения в тексте «Памятника», напечатанном П. А. Фре́мовым и П. И. Барте́невым.

«Этот вариант интересен тем, что показывает, как высоко ценил Пушкин Радищева, ставя себе в заслугу продолжение радищевских традиций в литературе».¹³ Наблюдение это, однако, ошибочно, так как указанная строка в составе всей строфы была напечатана уже на пять лет раньше — в 1882 г. — тем же П. А. Ефремовым в его издании сочинений Пушкина этого года.

«Четвертая строфа была написана первоначально так, — писал в этом издании Ефремов:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.

«Потом Пушкин поправил последние три стиха таким образом, как напечатано у нас в тексте, но прежде они печатались с поправкой Жуковского».¹⁴ В целях восстановления справедливости стоит к этому добавить, что, в сущности, обо всем этом, хотя и в более туманной форме, сказал П. И. Бартенева еще в 1881 г., писавший в своей упомянутой выше статье: «Читатели обратят внимание на четвертую строфу стихотворения „Памятник“. Любопытно, что сначала Пушкину пришел в голову Радищев, которым он перед тем занимался, обрабатывая статью о нем для своего „Современника“. Пушкин зачеркнул это имя, но видно, что свое мнение о Радищеве он долго менял и не знал, как отнестись к нему окончательно».¹⁵ В издании же Сочинений Пушкина 1887 г. редактор П. О. Морозов воспроизвел всю опубликованную Ефремовым в 1882 г. строфу, не добавив к ней никаких собственных пояснений.¹⁶

Благодаря заботам хранителя рукописного отделения Румянцевского музея А. Е. Викторова и с разрешения жертвователя А. А. Пушкина рукописи поэта с осени 1882 г. стали доступны для общего пользования. А. Е. Викторов дал тетрадам Пушкина те инвентарные номера, под которыми они были известны долгое время (до своего поступления в Пушкинский Дом), и составил их краткую опись; эта опись уже после смерти Викторова (1883 г.) была вновь просмотрена Д. П. Лебедевым и опубликована в «Отчете Московского публичного Румянцевского музея за 1879—1882 гг.» (М., 1884). Тогда же к более подробному и тщательному описанию этих рукописей приступил В. Е. Якушкин, опубликовавший его в «Русской старине» за 1884 г. В предисловии к этой работе В. Е. Якушкин очень резко отозвался о «монополии» на пушкинские рукописи П. И. Бартенева и о приемах его публикаций пушкинских текстов.¹⁷ Но в своем описании тетради (по инвентарю Румянцевского музея № 2384), в которой на л. 57 об. находится перебеленный текст стихотворения «Я памятник себе воздвиг», В. Е. Якушкин ограничился ссылкой на издание его Бартенева, допустив при этом ошибку в дате его появления в печати.

¹³ Рыский Е. И. Библиография текстов. М., 1953, с. 9.

¹⁴ Сочинения А. С. Пушкина. Изд. осьмое, испр. и доп. / Под ред. П. А. Ефремова. М., 1882, т. 3, с. 471.

¹⁵ Бумаги Пушкина, вып. 1, с. 202.

¹⁶ Сочинения Пушкина, изд. Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым под ред. П. О. Морозова. СПб., 1887, т. 2, с. 190.

¹⁷ Якушкин В. Е. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве // Рус. старина, 1884, № 2, с. 417—418. См. также П. И. Бартенева см.: Рус. архив, 1884, кн. 2, с. 473—474.

Указав на то, что половина указанной тетради занята черновиком статьи о Ра-
дщеве и что из этой тетради Бартенев привел только «разговор с англича-
нином», Якушкин от собственного описания автографического текста «Памят-
ника», однако, отказался. Мы находим у него лишь следующую справку:
«57₂. Памятник. Факсимиле этой страницы приложено к „Русскому
архиву“ 1880 г. (sic! надо: 1881 г. — М. А.) и к отдельному изданию г. Барте-
нева — А. С. Пушкин, 1. 57₁ — *ненаписанная страница*».¹⁸

На этом, в сущности, изучение интересующей нас рукописи остановилось
надолго. Факсимиле ее, которое неоднократно заменяло исследователям под-
линник, воспроизводилось множество раз, в особенности в юбилейные пуш-
кинские годы.¹⁹ Подробное описание этой рукописи опубликовал впоследствии
М. Л. Гофман в статье «Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг.»²⁰
но некоторые из предложенных им поправок к тексту и чтений первоначальных
вариантов не были приняты исследователями. П. Н. Сакулин, также на-
печатавший «точный текст автографа», который изучался им «и по руко-
писи, и по факсимиле», заметил, что новейшие издатели сочинений Пуш-
кина «(не исключая С. А. Венгерова и В. Я. Брюсова) допускают кое-какие
неточности при воспроизведении текста» и что с чтением М. Л. Гофмана
«не во всем можно согласиться».²¹ Еще раз по подлиннику стихотворение
прочел и напечатал (со сводом вариантов) в своей публикации чернового
текста последних трех строф по другой рукописи Д. П. Якубович.²² Вслед
за тем оно было опубликовано в академическом Полном собрании сочинений
Пушкина.²³ Все прочие многочисленные издания сочинений Пушкина, в ко-
торых стихотворение воспроизводилось, самостоятельного текстологического
значения не имели.

Ниже воспроизводится полный текст стихотворения по перебеленному
списку с поправкой (Рукописный отдел ИРЛИ, № 846, л. 57 об., по красноче-
рной пагинации — л. 59 об.) со сводом вариантов. При составлении
их в основу положена транскрипция, данная в академическом издании, но
также приняты во внимание и все более ранние публикации, названные выше.

¹⁸ Якушкин В. Е. Рукописи А. С. Пушкина . . . // Рус. старина, 1884, № 12, с. 528.

¹⁹ См., например: П у ш к и н [Соч.] / Изд. Брокгауза—Ефрона. СПб., 1910, т. 4, с. 47; П у ш к и н. Полн. собр. соч.: В 6 т., т. 2, с. 208—209; М е й л а х Б. Пушкин и русский романтизм. М.; Л., 1937, с. 186—187; Г о л л е р б а х Э. Ф. Пушкин в портретах и иллюстрациях. М.; Л., 1937, с. 94; Даты жизни и творчества А. С. Пушкина: Альбом. М., 1937, с. 271; А. С. Пушкин. 1837—1937: Сб. статей. М., 1937, с. 189 (в уменьшенном виде); Вестн. АН СССР, 1937, № 2—3, фронтиспис; Пушкин в портретах и иллюстрациях. Л., 1951, с. 269, и т. д. Так как большинство этих воспроизведений делалось не с подлинника и даже не с фотоснимков оригинала, а с предшествующих иллюстраций, выполненных в типографии, они нередко испорчены ретушью и не могут поэтому быть надежным источником при изучении автографа.

²⁰ Гофман М. Л. Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг. / Пушкин и его современники. Пб., 1922, вып. 33—35, с. 411—414.

²¹ Сакулин П. Н. Памятник веруковторный // Пушкин / Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, сб. 1, с. 49—50.

²² Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3, с. 4—5.

²³ III₁, 424; III₂, 1034—1035.

Транскрипция дается по новой орфографии и с принятой в настоящее время пунктуацией.

Exegi monumentum

- <1> Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
- <5> Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
- Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
<10> И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и Фин, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей Калмык.
- И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
<15> Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
- Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
<20> Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

1836

авг<уста> 21

Кам<енный> остр<ов>

В тексте латинского эпитафия (вписанного позднее) допущена ошибка, которую мы в транскрипции не воспроизводим: написано «Exigi» вместо «Exegi».

- <3> *Начато:* О <?> и <?>
- <5> Нет, весь я не умру — душа в бессмертной лире
- <6> Меня переживет и тленья убежит —
- <9> слух пройдет об мне по всей Руси великой
(перестановка обозначена сверху цифрами 2 и 1)
- <12> Тунгуз и сын степей Калмык.
- <14—15> Что звуки новые для песен я обрел
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел
- <14> Что звуки новые для песен [на <?>] я обрел
- <17> Призванью своему, о муза, будь послушна
- <18> Обиды не страшись, не требуя венца;
- <19> Хвалы и клевету приемли [приемля — *описка?*] равнодушно.

По поводу двух последних стихов (19 и 20) М. Л. Гофман сделал следующее замечание: «Вся последняя строфа в целом до сих пор печатается не исправно вследствие ошибок в чтении предпоследнего стиха. Достаточно внимательно взглядеться в рукопись Пушкина, чтобы убедиться в том, что в рукописи стоит „приемля“, а не „приемли“. Эта ошибка чтения значительно

меняет синтаксическое и художественное строение строфы. Предлагаем сравнить два строя строфы — принятого:

Веленью божию, о Муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца —

и подлинно пушкинскую:

Веленью божию, о Муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемля равнодушно,
И не оспаривай глупца». ²⁴

«Поправка касается лишь одной буквы (в стихе 19-м: «приемля» вместо «приемли». — М. А.), — возразил М. Л. Гофману Е. И. Боричевский, — но совершенно меняет синтаксическое построение и тон строфы. При обычном чтении соотношение частей более гармонично, стих движется плавно и величественно. При поправке Гофмана заключительный стих звучит подчеркнуто резко. Более соответствующим стилю „Памятника“ кажется прежнее чтение». ²⁵ Поправка, предложенная М. Л. Гофманом, в обиход не вошла. В этой же публикации М. Л. Гофман — на этот раз с полным основанием — отметил, что последний стих следует читать: «И не оспаривай глупца» (как его печатал П. О. Морозов), и писал в заключение: «Мы остановились на исправлении текста одной строфы, потому что эта строфа принадлежит к пьесе, в которой существенно важна каждая малейшая деталь: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный“ должен печататься совершенно безукоризненно». ²⁶

Среди рукописей Пушкина, хранящихся в Пушкинском Доме, находится (№ 239) полулист синеватой бумаги с водяным знаком «[18]34», поступивший сюда из собрания Д. Н. Майкова. На одной стороне его записан черновой текст последних трех строф стихотворения «Я памятник себе воздвиг; на обо-

²⁴ Гофман М. Л. Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг., с. 414.

²⁵ Боричевский Е. И. «Памятник» Пушкина: Опыт истолкования // Тр. Белорус. гос. ун-та, 1925, т. 6—7, с. 49.

²⁶ Гофман М. Л. Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг., с. 414. Что касается формы «не оспаривай» (вместо более употребительного ныне «оспаривай»), то грамматисты и лексикографы давно уже подчеркнули, что в старом русском языке было немного начальных образований на «-ивать», «-ивать» с корневым гласным «а» вместо «о»; в настоящее время «произошло расширение этой категории за счет глаголов, сохранивших о» (Обнорский С. П. Культура русского языка. М., 1948, с. 28—29; Черных П. Я. Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник» // Рус. яз. в школе, 1949, кн. 3, с. 34). В большом обобщающем академическом труде «Грамматика русского языка» (М., 1960, т. 1, с. 438) также констатируется: «Образование несовершенного вида с а от исходных глаголов с корневым ударяемым о в течение XIX и XX вв. все более укрепляется, что создает варианты форм с корневыми о и а». Первым примером, подкрепляющим это наблюдение, служит здесь (с. 439) указанный стих из пушкинского «Памятника». Характерно также, что в «Словаре языка Пушкина» (М., 1959, т. 3, с. 161) на десять примеров употребления глагола «оспаривать» приходится лишь один случай употребления его с ударяемым «а» (в прозаической полемической заметке 1835 г.).

роте — черновик начала перевода из X сатиры Ювенала («Пошли мне долгу жизнь и многие года») с жандармской красной цифрой 50 середине листа.

Несмотря на то что В. И. Срезневский кратко описал этот автограф еще в 1906 г.,²⁷ он был впервые исследован и опубликован Д. П. Якубовичем лишь в 1937 г. в статье «Черновой автограф последних трех строф „Памятника“»²⁸ (приложено факсимиле). Интерес представляет сделанная в этой статье попытка вдуматься в творческие изменения, которые претерпели под рукою поэта строфы III и IV (названные Якубовичем «формулой национальной славы» и «формулой заслуг»), хотя последовательность вписания или зачеркивания отдельных слов в процессе создания этих строф определяется только предположительно. Так, Д. П. Якубович отметил по поводу выражения «всяк сущий в ней язык»: «Традиция надписей на памятниках упоминала маленькие народы обыкновенно лишь для вящего прославления их покорителей. У Пушкина впервые в высоком жанре оды названы по именам, отнюдь не как „местные краски“, а как народы равные, рядом с „гордым внуком славян“ и „фин, и ныне дикой тунгуз, и друг степей калмык“ . . . Вместо „Руси великой“ он думал сказать проще:

Слух обо мне дойдет во все концы России,
Узнает всяк живущий в ней язык. . .

«И конкретизируя эту мысль, рядом с „финном“ и „могущим“ внуком славян, Пушкин в черновике писал:

И фин, и внук славян, грузинец ныне дикой
Тунгуз жестокий и калмык —

и позже видоизменил:

Могущий внук славян и фин, грузинец ныне дикой,
Черкес, киргизец и калмык».

«Четвертая строфа (формула заслуг), — отмечает Д. П. Якубович далее, — обрабатывалась, как обнаруживает черновик, также с особой тщательностью, так как в ней отчеканивалось самое важное — то, за что поэт будет „любезен народу“». Последовательность возникновения в творческом сознании поэта различных вариантов стихов 13—15 пытался восстановить еще С. А. Венгеров. Д. П. Якубович приводит их в таком порядке:

Что в русском языке музыку я обрел
Что звуки новые обрел я в языке
Что звуки новые для песни я обрел.

²⁷ Срезневский В. И. Пушкинская коллекция, принесенная в дар Библиотеке Академии наук А. А. Майковой // Пушкин и его современники. СПб., 1906, вып. 4, с. 19 (№ 79). Ср.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский, Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937, с. 93, № 239.

²⁸ Якубович Д. П. Черновой автограф трех последних строф «Памятника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, т. 3, с. 3—8. Предварительную, частичную публикацию см.: Лит. Ленинград, 1936, № 52 (197); первоначально, неполностью, опубликовано: Изв. ЦИК, 1937, № 3, 4 января.

Как и Венгеров, он отмечает, что Пушкин «в первом же черновике» «взамен эстетической формулы дал формулу гражданскую, насыщенную конкретным содержанием:

Вослед Радищеву восславил я свободу».

«Кажется, — пишет здесь же Якубович, — первоначально Пушкин думал сказать: „Во след Радищеву воспел и я свободу“». Как показывает сверка с подлинником, эта догадка возможна, но недоказуема; следующее же предположение того же исследователя кажется нам еще менее удачным и, естественно, столь же недоказуемым. «Следующий четырехстопный стих Пушкин начал было так:

И про

Едва ли здесь не имелось в виду продолжение:

И просвещение воспел», —

догадывается Д. П. Якубович, считая в то же время «замечательным» даже то, что «Пушкин остановился на полуслове». Прежде чем принимать на веру эту напрасную догадку, следовало бы, конечно, определить, как Пушкин понимал это слово в 1836 г., поскольку объем и значение понятия «просвещение» претерпели в его употреблении весьма значительную эволюцию; кроме того, едва ли бы оно могло стоять в указанном стихе — как недостаточно конкретное и расплывчатое — без дополнительных определений.²⁹

Между тем В. Б. Шкловский принял эту догадку без оговорок и опубликовал данный искусственно восполненный стих в качестве одного из якобы существующих вариантов чернового автографа стихотворения.³⁰ Более важным для понимания всей строфы было стоявшее в стихе 18-м и написанное без сокращения многозначительное слово «изгнание», скрывавшее сложный ассоциативный ход мысли поэта. На это уже обратил внимание И. Л. Фейнберг, писавший: «В черновике „Памятника“, в том месте, где поэт потом, обращаясь к музе, сказал:

Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно. . .

²⁹ На многозначность слова «просвещение в эпоху Пушкина давно обратили внимание его биографы. Так, еще В. Стоюнин (Исторические соч. СПб., 1881, ч. 2. Пушкин, с. 298—299) отметил — правда, по другому поводу: «Употребляя слово „просвещение“, Пушкин, конечно, не предполагал, что у царедворцев с ним соединяется совсем другое понятие: не просвещение ума и сердца, не нравственный подъем человека, а что-то другое, с чем можно соединять эпитеты: неопытный, безнравственный, бесполезный».

³⁰ Анализируя последовательные этапы создания «Памятника» и в соответствии с ними «изменение и обострение» того «спора», который поэт вел с современниками, Виктор Шкловский в книге «Заметки о прозе русских классиков» (изд. 2-е. М., 1955, с. 23) в качестве «двух вариантов» строфы, в которой Пушкин обосновывал свое право на славу, между прочим приводит параллельно следующие строки:

И милость к падшим призывал
(И милосердие воспел)

Вослед Радищеву восславил я свободу
И просвещение воспел.

сначала было: „Издания не страшись“ . . . Дело шло уже к роковой дуэли, Пушкину снова грозило изгнание, и поэт не страшился его. Этот вариант „Памятника“, обнародованный лишь в наше время, заслуживает глубокого внимания, так же как прославленный стих, в котором великий поэт сказал, что он восславил свободу „вослед Радищеву“. Ведь и этот стих тоже является вариантом, оставшимся в рукописи поэта». ³¹

Приводим возможное чтение этого черновика (стихи 9—20) в соответствии с транскрипцией, данной в академическом издании (III₂, с. 1034):

- <9> Слух обо мне [пройдет] по всей Руси великой
- <10> И назовет меня всяк сущий в ней язык —
- <11> И [внук Славян], и Фин и ныне полу<?>дикой
[Тунгуз] [Киргизец] и Калмык —
- <13> И долго буду тем любезен я народу
- <14> Что звуки новые для песен я обрел
- <15> Что в след Радищеву восславил я свободу
[И про <?>]
- <17> Призванью своему о Муза, — будь послушна
- <18> Обиды не страшась, не требуя венца
- <19> Толпы хвалы [и брань] приемля равнодушно
- <20> И не оспоривай глупца

Приводим варианты:

- <9> Слух обо мне [пройдет] дойдет во все концы России
 - <10> а. Узнает живущий в ней язык
б. Узнает всяк живущий в ней язык —
 - <11> *Начато:* а. И [гор<?><дый>] зор<?><кой><?>
б. И Фин, и внук Славян,
в. И гордый внук Славян, и Фин,
г. Могущий внук Славян, и Фин и
д. И и Фин, [Грузинец], Кир[гизец]
е. И и Фин, Грузинец, ныне дпкой
Черкес и
 - <12> Тунгуз жестокой и Калмык —
 - <13> *Начто:* а. И тем б. И буду тем
 - <14> *Начато:* а. Что по <?> < . . . >
б. Что в русском языке музыку я обрел
в. Что звуки новые обрел я в языке
- (При окончательном исправлении форма обрел я осталась без изменения)
- <15> *Начато:* а. Вослед б. Что в след Радищеву восп<ел> <?>
 - <16> а. О Муза, — приемля равнодушно
Хвалу и
 - <17> б. *Начато:* О Муза, — примк<п> <?> ³²
в. Святому жребью о Муза будь послушна
 - <18> Изгнанья не страшась, не требуя венца

³¹ Фейнберг И. Л. О новых страницах Пушкина : (К выходу академического издания сочинений поэта) // Вестн. АН СССР, 1950, кн. 4, с. 65. Ряд тонких наблюдений над языковыми особенностями пушкинского «Памятника» представил Богдан Терзич в статье «Лезик и стил Пушкиновог „Споменика“» (журн. «Живи језици. Часопис за стране езики и књижевности», 1964, кн. 6, бр. 1—4, с. 5—15), кстати, напомнивший также интересные пояснения к стихотворению, сделанные Рад. Коштутичем (Руски примери. 1. Текстови. 3-е изд. Београд, 1926).

³² Первоначально Д. П. Якубович читал: [прими] <моп>.

- <19> а. Хвалу и брань [глушца] толпы приеми равнодушно
 б. Хвалу то<лпы> приеми равнодушно
 в. Хвалы и брань толпы приеми равнодушно
Начато: Не внемля.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ ОДЫ ГОРАЦИЯ «EXEGI MONUMENTUM»

На нижеследующих страницах воспроизведены все известные нам русские стихотворные переводы оды Горация (III, 30), а также некоторые подражания ей, возникшие как до, так и после пушкинского «Памятника». Все эти произведения, как это уже несколько раз отмечалось выше (в основном тексте настоящей работы), могут представить интересные данные для различных сопоставлений, в том числе стилистического характера, а также для истории создания текста стихотворения Пушкина, для истолкования его или изучения того воздействия, которое оказало оно на русскую поэзию. О желательности сравнительного изучения всех русских переводов указанной оды Горация исследователи Пушкина писали не один раз. Так, Д. П. Якубович полагал, что «смысл „Памятника“ Пушкина в целом может быть уяснен до конца только раскрытием пушкинского отношения к сюжету, лучшие осуществления которого великими мастерами-предшественниками на разных исторических этапах Пушкин прекрасно знал. Только на этом фоне может быть понято великое своеобразие, приданное Пушкиным древней теме, новая ступень, на которую он тему поднял, сделав ее близкой к нашей эпохе».¹ В. В. Виноградов, говоря о «трансформации горацианского стиля» в пушкинском «Памятнике», справедливо заметил: «Острота пушкинского стихотворения, представляющего одновременно исповедь, самооценку, манифест и завещание великого поэта, углубляется тем, что Горациева ода, за которой следовал Пушкин, имела длинную вековую традицию подражаний. Смысл пушкинского „Памятника“ может быть уяснен до конца лишь на фоне всей этой отвергаемой и преобразуемой русским гением традиции».²

Со времени В. Г. Белинского, еще в 1841 г. заметившего, что, «подобно Державину, Пушкин переделал „Памятник“ Горация в применении к себе»,³ стихотворение «Я памятник себе воздвиг» чаще всего сравнивалось с одой Горация и подражанием ей Державина. Но Пушкину несомненно были известны и многие другие ее переводы: Ломоносова, В. В. Капниста, А. Х. Востокова, С. А. Тучкова. Все эти переводы то вспоминались в критической литературе, посвященной Горацию или Пушкину, то забывались вновь; в хронологии их возникновения или появления в печати существуют

¹ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941, вып. 6, с. 159.

² Виноградов В. Язык Пушкина. М., 1941, с. 512.

³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954, т. 5, с. 268.

некоторые неясности; послепушкинские русские переводы указанной оды Горация известны еще менее и характеризованы неполно, вне связи с установившейся русской традицией в ее истолковании. Добавим, что разыскание всех этих переводов и перепевов из Горация представляет известные трудности, так как они рассеяны по многим, нередко малодоступным изданиям и еще не были собраны или перечислены полностью.⁴

В 1830 г. В. И. Орлов (1792—1860), по профессии военный врач, издал отдельной книгой свой «Опыт перевода Горациевых од». В предисловии к этой книге В. Орлов писал: «Все просвещенные государства имеют по несколько переводов Горация, из которых первоначальные, естественно, слабее последующих. И так моему опыту, как почти первоначальному, читатели, конечно, простят некоторые отступления, неточности и другие недостатки».⁵ Это издание, где опубликовано 38 од (среди них, однако, перевод «Eхegi monumentum» отсутствует), вызвало рецензию А. А. Дельвига, в которой дается ретроспективный обзор русских переводов с конца XVIII в. Рецензия Дельвига напечатана им без подписи в «Литературной газете» и представляет для нас тем больший интерес, что по ней можно судить также о знакомстве

⁴ Наиболее полный, но все же не исчерпывающий список их дает книга: Busch W. Horaz in Russland: Studien und Materialien. München, 1964, S. 271 (Forum Slavicum, hrsg. von D. Tschizewskij, Bd 2). Тот же автор издал небольшую хрестоматию текстов Горация в русских переводах с краткими пояснениями на немецком языке: Russische Horaz-Übersetzungen, hrsg. von W. Busch. Wiesbaden, 1964 (Heidelberger Slavische Texte, H. 9, 51 S). Оде «Eхegi monumentum» отведены здесь с. 42—44 (воспроизведены лишь стихотворения А. Х. Востокова, А. С. Пушкина, Н. Ф. Фоккова и В. Я. Брюсова; из них пушкинский «Памятник», разумеется не может быть отнесен к переводам). О том, как недостаточно были известны у нас все существующие русские переводы указанной оды, могут дать представление несколько наудачу выбранных примеров. П. Ф. Порфинов в своем издании «Од» Горация, говоря о своих предшественниках, привел полностью перевод Ломоносова, напомнил о подражаниях Державина и Пушкина и прибавил: «В русской литературе существуют, кроме того, два прекрасных перевода, а именно Капниста и, в позднейшее время, Фета» (Лирические стихотворения Горация. Изд. 2-е. СПб., 1902, с. 11—13, 90). «Перевод знаменитого „Памятника“ на русский язык сделан, как известно, пятью крупнейшими русскими поэтами (переводы Ломоносова, Фета и Брюсова, подражания Державина и Пушкина), — замечает Б. Горнунг (Юбилейное издание Горация // Книга и пролетарская революция, 1936, кн. 5, с. 113—116). В книге «Избранная лирика» Горация (1936) А. П. Семенов-Тянь-Шанский (см. о нем ниже) сообщил наиболее подробный перечень русских переводов «Памятника» Горация и стихотворений, им навеянных; здесь же он воспроизвел переводы Ломоносова, Фета, Никольского и Брюсова, а также «подражания» Державина и Пушкина (с. 174—177); перечень этот, однако, неполон, а дата перевода Брюсова ошибочна. «Памятник» Горация был переведен на русский язык многими поэтами, из которых Пушкину могли быть известны только произведения Ломоносова и Державина, так как остальные многочисленные переводы и вариации горацианской темы появились уже после смерти Пушкина, — ошибочно утверждает в свою очередь В. Ванслов (Ванслов В. А. С. Пушкин о «золотом веке» римской литературы // Учен. зап. Калуж. гос. пед. ин-та, 1963, т. 36, с. 22—23); приводимый им ниже перечень также неполон и несвободен от неточностей: перевод В. Брюсова опубликован в 1913 г., а не в 1918 г., перевод А. П. Семенова-Тянь-Шанского — в 1916 г., а не в 1936 г. Все эти примеры лишь один раз оправдывают нижеследующую новую подборку стихотворных переводов указанной оды Горация.

⁵ Орлов В. И. Опыт перевода Горациевых од. СПб., 1830, с. 1.

Пушкина с русскими переводами од Горация; вероятно, Пушкин знал все те переводы, лаконическую характеристику которых дал в своей статье Дельвиг. «Многие лирические поэты наши подражали Горацию, некоторые переводили его, — писал Дельвиг. — Державин и Капнист лучше всех постигли философическую поэзию певца Августа и Мецената. Они заставили его русским преподавать свои легкие правила жить и наслаждаться жизнью так же хорошо, как прежде преподавал их римлянам. Словом, они брали только основу од его и писали прекрасные, оригинальные стихотворения. И. И. Дмитриев и В. А. Жуковский более их держались подлинника и подарили нас двумя-тремя его одами, ознаменованными преимущественно печатью их гения. Поповский и Тучков издали по переводу почти все лирические стихотворения Горация. Волков, Востоков, Мерзляков, Милонов, Филимонов, Вердеревской и другие в разные времена и с разными успехами печатали свои переводы из Горация в повременных русских изданиях. Три первые ближе держались к оригиналу: несколько од их еще долго останутся у нас образчиками верных и хороших переводов; прочие, выдавая мысли своего поэта, не заботились об удержании образа, в котором они у него одушевлялись. Таков и объявляемый нами перевод. Мы видим талант поэтический в опытах г-на Орлова, но, читая его хорошие, гладкие стихи, не получаем ясного понятия о Горации. Желательно было бы иметь или подобный том собственных произведений г-на Орлова, или перевод Горация, столь возможно близкий, при чтении которого забывали бы о переводчике».⁶

Как видно из цитированной рецензии А. А. Дельвига, в конце XVIII и первой четверти XIX в. Горация переводили у нас много и охотно; ⁷ не уменьшилось количество переводов из Горация, а также книг и статей о нем и в более позднее время. На пороге следующего века И. Ф. Анненский, выдающийся поэт и тонкий знаток классических языков и литератур, заметил об этих многочисленных переводах: «Древний лирик вообще мало поддается переводам; от добросовестного перевода чаще всего пахнет пылью . . . Но при этом эллины нам все же ближе римлян . . . Но из римских лириков менее всего поддается переводу на русский язык, несомненно, Гораций, и особенно его

⁶ Лит. газета, 1830, т. 1, № 26, с. 210. С этой статьей интересно сравнить справку о русских переводчиках Горация, приведенную в кн.: Ручная книга древней словесности. . . , собранная Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Е. Кошанским. СПб., 1816, т. 1, с. 419—421 (о Горации), с. 421—422 (о его русских переводчиках).

⁷ Множество переводов из Горация находится в русских журналах этого времени, хрестоматиях, например в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов» (СПб., 1815—1817), «Новом собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (СПб., 1824) и др. Новые переводы из Горация читали чуть ли не в каждом заседании Общества любителей российской словесности с самого его основания до 30-х гг. См.: Общество любителей российской словесности при Московском университете. Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911, приложение, с. 62, 64, 66, 72, 73, 78—82, 87, 88 и др. Путеводителями по этой литературе кроме изданий, названных выше, могут служить следующие справочники: Нагуевский Д. И. Библиография по истории римской литературы в России с 1709 по 1889 г. Казань, 1889, с. 22—24; Неустроев А. Н. Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. и к историческому разысканию о них. СПб., 1898, с. 151; Воронков А. И. Древняя Греция и Древний Рим: Библиографический указатель изданий, вышедших в СССР: (1895—1955). М., 1961, с. 180—184.

оды».⁸ Несмотря на такое пессимистическое заключение, которое Анненский пытался обосновать, оды Горация продолжали у нас появляться в новых переводах, авторы которых добивались все более полного и близкого воспроизведения оригинала. В общей сложности мы насчитали и воспроизводим 14 переводов оды «Eхegi monumentum» (не считая повторных опытов и вариантов, принадлежащих тем же переводчикам).

Мы сознательно не ввели в нижеследующую маленькую антологию лишь несколько текстов, имеющих прямую связь с интересующей нас одой Горация. Таково, например, стихотворение К. Н. Батюшкова (условно называемое «Подражением Горацию»), поскольку оно в большей степени может служить материалом для медико-психологических экспериментов, чем для истории русской поэзии. Это стихотворение было написано Батюшковым уже во время его душевной болезни. Первую его запись мы находим в письме поэта к А. Г. Гревенс от 8 июня 1826 г.; здесь же Батюшков сделал и прозаический перевод этого стихотворения на французский язык.⁹ Впервые оно опубликовано в статье «Стихи, заметки и письма К. Н. Батюшкова в сумасшествии», сопровождаемой следующим замечанием издателя: «Приведенных образчиков вполне достаточно, чтобы судить о том беспросветном сумраке, в котором находился мозг некогда столь талантливого и просвещенного русского поэта. Мгла эта заволакивала его душевные силы тридцать три года, вплоть до самой кончины».¹⁰ Остается непонятным, почему исследователь русских переводов из Горация В. Буш усмотрел в этом бессвязном наборе слов «пародический характер» и решил, что стихотворение создано безумным поэтом в минуту просветления.¹¹ Не зная о времени его написания (1826), В. Буш высказал также совершенно напрасное предположение, что стихотворение Батюшкова, «возникло, вероятно, помимо знакомства автора с пушкинским „Памятником“».¹² На самом деле более половины составляющих его строк представляют собой воспроизведение или, лучше сказать, искажение не «Eхegi monumentum» Горация, но державинского «Памятника». Эту оду Батюшков хорошо знал и еще 25 сентября 1816 г. в одном из писем к П. И. Гнедичу пародировал оттуда один стих («Я истину ослам с улыбкой говорил»).¹³ Тем не менее представляется поразительным, что, впервые записав свою переделку державинской оды в 1826 г., Батюшков буквально повторил ее четверть века спустя — в 1852 г. — «по просьбе своей племянницы на голубом золотообрезном листочке».¹⁴

Ранее В. Буша батюшковскому тексту целую страницу своего исследования о пушкинском «Памятнике» посвятил В. Ледницкий. По его мнению, текст Батюшкова представляет любопытное сочетание мотивов, заимствованных из Горация и Державина, с собственными оппозиционными (!) настроениями

⁸ Анненский И. Ф. Разбор стихотворного перевода лирических стихотворений Горация П. Ф. Порфирыча (отд. отт. из Отчета о XV присужденных пушкинских премий). СПб., 1904, с. 3.

⁹ Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений / Гед. Н. В. Фридмана. М.; Л., 1964, с. 323. Автограф этого письма находится в ИРЛИ (Пушкинский Дом) в Ленинграде.

¹⁰ Рус. старина, 1883, № 9, с. 551.

¹¹ Busch W. Horaz in Russland, S. 35.

¹² Ibid., S. 165—166.

¹³ Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1886, т. 3, с. 401.

¹⁴ Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений, с. 323.

поэта; в этом типическом образчике творчества психически ненормального человека В. Ледницкий ошибочно усмотрел даже «близкое к пушкинскому противопоставление поэта и царя».¹⁵ В совершенной бесполезности допущений такого рода легко убедиться, ознакомившись с текстом этого «Подражания Горацию», как оно именуется во всех публикациях:

Я памятник воздвиг огромный и чудесный,
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш, и добрый, и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон),
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От глена убежав, в печати будут жить;
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которую могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям громами возгласить;
Царицы царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте, цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты, моя сестрица,
А Кесарь мой — святой косарь.

Не включено в нижеследующую подборку также небольшое стихотворение А. Мицкевича «*Exegi munimentum (sic!) aere perennius. . . Z Horacjusza*», имеющееся в нескольких русских переводах, хотя это произведение действительно трагификует интересующую нас горациевскую оду. Однако эта своеобразная самооценка Мицкевича написана им в Париже 12 марта 1833 г., т. е. уже после его отъезда из России, и до Пушкина, вероятно, не дошла: последнее собрание сочинений Мицкевича, в четырех томах, присланное Пушкину С. Соболевским (Paryż; Genewa, 1828—1832),¹⁶ вышло в свет ранее, чем было написано это подражание «*Z Horacjusza*».¹⁷ Мицкевич в свою очередь едва ли знал пушкинский «Памятник». Никаких данных об этом мы не имеем.

Следует упомянуть, кстати, еще о нескольких «Памятниках», возникших в славянских литературах во второй половине XIX в. и находящихся в той

¹⁵ L e d n i c k i W. Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkewicz. The Hague, 1956, p. 109—110 (ранее: Harvard Slavic Studies. Cambridge, Mass., 1954, vol. 2, p. 263).

¹⁶ М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 9—10, с. 288—289. (№ 1167).

¹⁷ M i c k i e w i c z A. Dzieła. Warszawa, 1955, t. 1, s. 379. Это пародическое стихотворение названо автором в рукописи «*Exegi munimentum*» (вместо *monumentum*, от *munire* — «укрепление», «защита», «прикрытие»); печаталось оно под заглавием «*Wiersze natchnione wizyta Fran. Grzymały*» («Стихи по поводу посещения Францишка Гжималы»). Начинается оно следующими стихами:

Swieci się pomnik moj, nad szklany Puław dach
Przetrwa Kósciuszki grób i Paców w Wilnie gmach,
Ni go łotr Württemberg bombami mocen zbić
Ani zwinia Austryjak niemecką szluką zryć
и т. д.

или иной связи с пушкинским. Одно из таких стихотворений — исповедей и самопризнаний — в конце 90-х гг. написал выдающийся словацкий поэт П. Гвездослав-Орсаг (1849—1921). Оно обратило на себя внимание словацкого ученого и критика Йозефа Шкультеты, напечатавшего статью «Ода Горация Ehexi monumentum у Державина, Пушкина и Гвездослава», в которой полностью приведены тексты латинского, трех русских и двух словацких «Памятников».¹⁸ Подобно своим русским и словацким предшественникам, Гвездослав на основе оды Горация создал стихотворение на ту же тему о будущей судьбе своего поэтического наследия; однако стихотворение полно горьких мыслей и мрачных зловещих предсказаний, поскольку ко времени его создания грядущая доля словацкого народа представлялась поэту тяжелой, безрадостной. Он считал, что и его надгробный памятник заглохнет так же, как завяли нерасцветшие надежды:

Moj pomnik hrobovy iste nepotrva
 Nad kov: nie, ani len tej hlini pevnotu

 Nemoz aj byt ináč. Ved' moje nadeje
 Až bujne, nedošly k rozkvetu, zaškrely;
 Klesnul vystreleny šip d'aleko ciela;

 Nuz somrem cele, ach!

Правда, предчувствия поэта не оправдались, а его просьба к Мельпомее о сожалении — в заключительном стихе — приобрела в конце концов обратный смысл, т. е. такой же, как и у Горация: Гвездославу удалось дожить до народного величания его национальным поэтом словаков.¹⁹ Очень вероятно,

В переводе В. Цвилева:

Блестит мой памятник над замками господ
 И прах Костюшки он в веках переживает:
 Его ни Вюртемберг не поразит ядром,
 Ни подлый австриак не обречет на слом
 и т. д.

(М и ц к е в и ч А. Собр. соч. / Под. ред. М. Ф. Рильского, М. Живова, Б. А. Турганова. М., 1948, т. 1, с. 197). Первым русским переводчиком этого стихотворения был Д. Минаев («Ни с чем мой памятник по блеску не сравнится», 1881), последним — С. Кирсанов («Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом», 1955). См.: Адам Мицкевич в русской печати 1825—1955: Библ. матер. М.; Л., 1957, с. 78, 91, 515.

¹⁸ Š k u l t e t y J. Horacová oda «Ehexi monumentum» u Derzavina, Puškina a Hviezdoslava // Slovensky Pohl'ady: Casopis zabavno-poučny, 1897, ročn. 17, s. 706—709. Мы находим здесь латинский текст оды Горация, ее первый перевод на словацкий язык, выполненный современником Пушкина Яном Голлым (Holly, ум. в 1849 г.), затем «подражания» Державина, Пушкина и Гвездослава; при этом И. Шкультеты допустил досадную оплошность, опубликовав рядом с «подражанием» Державина также якобы им же сделанный перевод «Ehexi monumentum» — «Воздвиг я памятник вечнее меди прочной» (с. 706). На самом деле это перевод А. А. Фета в первой редакции 1856 г. Ошибку Шкультеты повторил и В. А. Францев в 1856 г. в книге «Державин у славян: Из истории русско-славянских взаимоотношений в XIX столетии» (Прага, 1924, с. 46—47).

¹⁹ К и ш к и н Л. С. Патриотическая лирика Гвездослава // Литература славянских народов. М., 1960, вып. 5, с. 124—153.

что обращение Гвездослава к оде Горация как к теме для самостоятельной разработки было подсказано ему русской литературой, и в частности Пушкиным, переводами которого он был занят в это же время.²⁰ Пушкинское стихотворение «Я памятник себе воздвиг» вызвало подражания и отзвуки у других словацких поэтов, как например у Гурбана Ваянского, и к концу XIX в. пользовалось известностью во всем славянском мире.

1. Квинт Гораций Флакк

Ниже приводится для удобства сравнения с русскими переводами латинский оригинал 30-й оды III книги Горация в том тексте, в каком эта ода была известна и Пушкину, и его предшественникам по различным учебным изданиям конца XVIII и начала XIX в. Полностью латинский оригинал этой оды напечатан, например, в книге Николая Остолопова «Словарь древней и новой поэзии» (СПб., 1821, ч. 2, с. 390—391). Лицейский однокашник Пушкина М. А. Корф утверждал, что «Пушкин впоследствии читал по крайней мере Овидия и Горация в подлиннике» (Г р о т Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899, с. 248). Кака-то книга «Квинта Горация Флакка», может быть даже рукописная, находилась среди книг, которыми пользовался Пушкин из библиотеки Полотняного завода в 1830 или в 1834 г. (Пушкин : Временник Пушкинской комиссии. Л., 1937, вып. 3, с. 359, 369). Знал Пушкин также оды Горация в латинском подлиннике, изданные Ф. Булгариным, но в этом издании интересующая нас ода III, 30 отсутствовала, как и третья, и четвертая книги в целом (см.: Избр. оды Горация / С комм., изд. Ф. Булгариным. СПб., 1821; всего 20 од из I книги и 12 из II книги). Расчет Булгарина заключался в том, что его издание станет учебным пособием и принесет ему хорошие барыши; однако замысел этот не оправдался, и книга получила недобрую славу. Еще в «Сыне отечества» (1821, ч. 71, № 32, с. 287—288) Булгарин поместил объявление рекламного характера о своем будущем издании, где между прочим писал: «В труде моем руководствовался я изданием польским, весьма почитаемым знатоками древних языков» и т. д. Все издание предполагалось в двух частях, однако в свет вышла только первая. В предисловии «От издателя» Булгарин писал: «Предлагаю любителям древней словесности избранные оды Горация, при издании коих я следовал Брауншвейгскому изданию Кеспена, принятому во всех изданиях просвещенной Европы. . . Что же касается до истолкования текста, то вся слава принадлежит Ванденбургу и Мичерлиху, отличнейшим в наше время филологам, и

²⁰ B r t á ň R. Puškin v slovenskej literatúre. Turc. sv. Martin, 1947 Studie Maticе Slovenskej, svazok 2). Автор указывает на ряд стихотворений Гурбана Ваянского, например «Exegi», «Otcovi», «Ruskym spěvcom», которые навеяны пушкинским «Памятником» или заимствуют из него стихи для эпиграфов (с. 56—57); особая глава этого исследования посвящена «Гвездославу и Пушкину» (с. 77—81). См. также в русском, очень кратком варианте этой работы: Б р т а н ь Р. Пушкин в Словакии / Славяне, 1949, № 3, с. 48. См. еще антологию, составленную Пл. Кулаковским: Стихотворения Пушкина в славянских переводах. Юбилейный сборник. Варшава, 1899; здесь (на с. 18—19) воспроизведены переводы пушкинского «Памятника» на словацкий (Л. Подъяворинская) и польский языки (Ю. Солтык-Романьский, 1888).

Иосифу Ежовскому, объяснившему Горацевы оды на польском языке: мне принадлежат только труд и желание быть полезным» (с. 1). Историю этой книги рассказал Н. И. Греч. Он утверждает, что «Булгарин вздумал издать оды Горация с комментариями Ежовского и других критиков, но сам знал по-латыни очень плохо. . . Ежовский и некоторые другие лингвисты жаловались на заимствование их примечаний, но Булгарин оправдался тем, что упомянул об этих заимствованиях в предисловии. В то время втерся он к Магницкому и Руничу и старался при их помощи ввести эту книгу в училища, но обещания их ограничились словами. Книга не раскупалась, и Булгарин решился пожертвовать ее в пользу училищ» (Греч Н. И. Записки о моей жизни. СПб., 1886, с. 449). Ловкая проделка Булгарина была хорошо известна в литературных кругах. В «Московском телеграфе» (1826, ч. 12, отд. II) в защиту И. Ежовского, друга Мицкевича, выступил Н. Полевой, обвинивший Булгарина в плагиате; над тем же иронизировал Н. И. Надеждин в «Телескопе» (1831, ч. 1, № 16, с. 155). В 1831 г. Пушкин писал в своей полемической статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов»: «. . . доказано, что Фаддей Венедиктович (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает по-латыни; но ужели сему незнанию обязан он своей бессмертной славою?» (XI, 204). Еще в 1846 г. в запрещенной цензурой статье Белинский упоминал «Избранные оды» Горация, «которые с чужими примечаниями, без всякого намека на заимствование, издал г. Булгарин» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 9, с. 616, 632).

Так как булгаринское издание являлось довольно редким, о нем зачастую сообщались неверные сведения. Ю. Н. Тынянов, например, ошибочно писал о «переводах Булгарина из Горация» (в кн.: Пушкин в мировой литературе. Л., 1926, с. 392; Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 198).

Приводимый нами ниже латинский текст оды Горация дается в том окончательном виде, в каком он публиковался в течение последнего столетия.

C A R M. III, 30

1 Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis

5 Annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar, multaque pars mei
Vitabit Libitinam: usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium

Scandet cum tacita virgine pontifex.
10 Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
Et qua pauper aquae Daunus agrestium
Regnavit populorum, ex humili potens

Princeps Aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos. Sume superbiam
15 Quaesitam meritis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam.

Первым русским переводом интересующей нас оды Горация, вероятно, был перевод Ломоносова, сделанным им в конце 40-х гг. и опубликованный в его «Кратком руководстве к красноречию», первое издание которого вышло в свет в Петербурге в 1748 г. Эта книга, при жизни Ломоносова переиздававшаяся не менее трех раз, оставалась популярной в течение всего XVIII в. Перевод 30-й оды Горация включен Ломоносовым в первую книгу «Краткого руководства» («... в которой содержится риторика, показывающая общие правила общего красноречия, то есть оратории и поэзии, § 268) и служит здесь примером «неполного силлогизма, или энтимемы», в которой «полагается одна посылка, потом присовокупляется причина», а «все заключается следствием». В соответствии с этим служебным назначением перевода он в «Риторике» разбит на три части. «Расположение» оды Горация, по словам Ломоносова, «состоит в следующей энтимеме: Я поставил знак бессмертный своей славы затем, что первый сочинял в Италии оды, как и писал Алцей Еольский, стихотворец, того ради должна моя муза себя лавровым венком увенчать». Печатавая свой перевод, Ломоносов снабдил каждую из трех частей оды особым заглавием: «Посылка» (стихи 1—8), «Причина» (стихи 9—14) и «Следствие» (стихи 15—16).

В статье «Ранние русские переводчики Горация» (Изв. АН СССР. Отд-ие обществ. наук, 1935, № 10, с. 1049) П. Н. Берков обратил внимание на «автобиографический смысл этого перевода»: «Ломоносов, как и Гораций, вменял себе в заслугу, что ему „беззатный род“ препятствием не был, чтоб внести на свою родину новое, до того неизвестное стихосложение». Особенности метра данного латинского подлинника Ломоносова не интересовали или он еще не считал возможным усвоение такого метра русским языком (хотя и открыл русский гекзаметр): ода переведена им четырехстопным ямбом. Первые опыты передачи 1-й асклеиадовой строфы при переводе той же оды Горация сделаны были лишь полвека спустя А. Х. Востоковым. Сопоставление этого перевода Ломоносова с латинским оригиналом и характеристика некоторых отступлений от него даны в комментариях к новому академическому Полному собранию сочинений Ломоносова, где ода «Я знак бессмертия себе воздвигнул» напечатана дважды с вариантами по рукописям и после сверки с корректурой, правленной самим переводчиком (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 7, с. 314—315, 931; 1959, т. 8, с. 184); эти варианты мы здесь не воспроизводим по их малозначительности для нашей цели. Более подробные сличения перевода Ломоносова с подлинником приводятся в статье Р.-Д. Кейля (K e i l R.-D. Zur Deutung von Puškins «Pamiatnik» // Die Welt der Slaven, 1961, Jhg. 6, H. 2, S. 184) и в монографии Буша (B u s c h W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 54—56). Об отношении Ломоносова к Горацию см. также: И. М. Н а х о в. Ломоносов и античность // Вопросы классической филологии / Изд. Моск. унив., 1965, вып. 1, с. 16—19.

1 Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.

5 Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.

Где быстрыми шумит струями Авфид,
10 Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззатной род препятством не был,

Чтоб внести в Италию стихи Больски
И первому звенеть Алцейской лирой.
15 Взгордися праведной заслугой, Муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.

3. Г. Р. Державин

Стихотворение Державина «Памятник» впервые появилось в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» в 1795 г. (ч. 7, с. 147) под заглавием «К Музе. Подражание Горацию», а затем вошло в изданные им самим собрания его сочинений 1798 и 1808 гг.; в обоих изданиях именно этой одой кончается том (см.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864, т. 1, с. 785—788). Стихотворение Державина трудно назвать в точном смысле переводом оды Горация — это скореевольное подражание или переделка последней. И. И. Мартынов в своем издании трактата Псевдо-Лонгина «О высоком», в большом примечании к главе XIII, где идет речь о «соревновании и подражании», говорит следующее: «Вместо всех правил подражания, которые читать можно во всякой риторике, приведем в пример подражание Г. Державина Горациевой оде: „Exegi monumentum aere perennius“. . .». Цитируя далее полностью две первых строфы, кончая стихом 8-м:

Доколь славянов род вселенна будет чтить,

И. И. Мартынов замечает: «До сего места это можно назвать самым близким и удачным переводом, включая применение, сделанное г. Державным к себе как к россиянину, в слове: *славянов*. Но следующие куплеты суть щастливое российское Горация латинскому подражание» (см.: [М а р т ы н о в И. И.]. О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина / Пер. с греч. с примеч. переводчика. СПб., 1803, с. 95—97).

Последующая критика высоко оценивала это стихотворение Державина, несмотря на допущенные им отклонения от оригинала. Когда П. Васильев в статье, опубликованной в журнале «Благонамеренный» (1821, ч. 14, с. 259—263) под заглавием «Замечания на перевод XV Горациевой оды, напечатанной в 42 № „Сына отечества“ 1820 года», высказал мнение, что «шестистопные ямбы неприличны лирической поэзии, особливо оде, выражающей чувство восторженного поэта», издатель журнала поместил здесь же следующую свою реплику: «Сомнительно! — Две исполненные настоящего поэтического восторга оды: Петрова на разбитие и сожжение турецкого флота и Державина „Памятник“ — нисколько, кажется, не теряют от того, что написаны шестистопными ямбическими стихами». Подробное сличение латинского подлинника с подражанием Державина в связи с общей характеристикой его знакомства с произведениями римского поэта см. в статье: П и н ч у к А. Л. Гораций в творчестве Г. Р. Державина // Учен. зап. Томск. гос. ун-та, 1955, № 24, с. 71—86. Я. К. Грот, комментируя «Памятник» в изданных им Сочинениях Державина, приводит несколько критических отзывов о стихотворении, ко-

торое с ранних пор соотносилось не только с одой Горация, но и с «Памятником» Пушкина. «Любопытно, — говорит Галахов, — сличить три стихотворения: Горация, Державина и Пушкина, чтобы видеть, что именно каждый поэт признавал в своей деятельности заслуживающим бессмертия. Прибавим, что Пушкин подражал уже не Горацию, а прямо Державину». Далее приведены замечания Белинского, полагавшего, что «Державин выразил мысль Горация в такой оригинальной форме, так хорошо применил ее к себе, что часть этой мысли так же принадлежит ему, как и Горацию». Вслед за сравнением трех «Памятников» — Горация, Державина и Пушкина, сделанным Белинским, Я. К. Грот приводит также аналогичное сравнение, принадлежащее Н. Г. Чернышевскому в «Очерках гоголевского периода» (Соч. Державина / С объясн. примеч. Я. Грота, т. 1, с. 788; ср.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 137). См. также: Гукровский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 113—114; Запатов А. Мастерство Державина. М., 1958, с. 252—255.

ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух мой идет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал.

Что первый я дерзнул в забавном русском слого
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,
И, презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой,
Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795.

4. В. В. Капнист

Автор комедии «Ябеда», лирический поэт Василий Васильевич Капнист (1757—1823) получил от современников титул «русского Горация» прежде всего за то, что он действительно был почитателем и весьма усердным переводчиком римского поэта. Над переводами его од Капнист трудился с небольшими перерывами и в течение двух последних десятилетий своей жизни, но завершить их для издания отдельной книгой не успел. Уже в книге «Лирические сочинения Василия Капниста» (СПб., 1806) были напечатаны его пе-

реводы двух од Горация («Памятник» и «Призвание Венеры») и шестнадцать подражаний другим одам; все они были выполнены между 1801 и 1805 гг. Снова за переводы од Горация Капнист припался в 10-е и 20-е гг. В бумагах его сохранился проект предисловия к задуманному изданию, в котором Капнист между прочим писал: «Не зная латинского языка, должен был я угадывать красоты знаменитого подлинника из чужеземных, большею частью весьма неверных переводов. С величайшим трудом, с неутомимой прилежностью, руководствуясь наставлениями знающих латинский язык приятелей моих, принужден был я переводить почти слово в слово оды Горация и потом перелагать оные в стихи» (см.: Веселовский А. А. Капнист и Гораций: Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII—начале XIX в. // Изв. АН СССР. ОРЯС, 1910, т. 15, кн. 1, с. 214). Книга «Од» Горация, над которой трудился Капнист, должна была состоять из 1) стихотворного перевода, 2) прозаического перевода и 3) примечаний к ним. Много из этого сохранилось, но напечатано более столетия спустя. Прозаические переводы (среди которых есть и перевод «Ехегі monumentum») не опубликованы в новейшем Собрании сочинений Капниста (М.; Л., 1960, т. 2, с. 554) на том основании, что, как видно из признания переводчика, он руководствовался на первой стадии перевода «наставлениями. . . приятелей» и поэтому указанные «подстрочники» едва ли принадлежат ему самому. Правда, не зная латинского языка, Капнист изучал французские и немецкие переводы Горация (Баттё, Битобе, Фосса и др.). Существенным оказался для Капниста совет Г. Р. Державина в письме к нему (5 сентября 1815 г.) как нужно работать переводчику: «Мне кажется, напрасно и тщетно прилагать усилия переводить в точности Горация и прилагать для вернейшего соображения подлинник в печати с переводом. Видим из иностранных, например из Фосса, каков его перевод: когда он прилагал усилие сохранить и меру, и род стихов, и мысли автора, вышло не что иное, как изуродованное творение, а всего лучше, держась издали плана и мысли, подражать только духу творца, приноравливая чувства свои к нему. Вот вам мой совет, дабы труд ваш не пропал напрасно, пбо поэзия на другой язык с такой же красотой переслать не можно, а особливо Горация» (Капнист В. В. Избр. соч. / Ред. Б. И. Коплан. Л., 1941, с. XIV).

Как видно из того же указанного выше проекта предисловия к неосуществленному изданию, Капнист сознательно допускал в своих переводах известную русификацию, заменял порой имена героев и местностей древнего мира современными ему (см.: Веселовский А. А. Капнист и Гораций, с. 231—232), но, несмотря на это, он тщательно работал над своими текстами, добиваясь полного устранения из них «всех несплавностей, неясностей», и большинство его переводов имеет несколько редакций, сделанных на протяжении ряда лет. Своими переводами Капнист хотел «подвигнуть искуснейших пиитов» своего времени — Карамзин: Мерзлякова, Жуковского — «к желанную удачную познакомить любителей словесности нашей с любимым Августа и Мецената лириком». В известной мере это ему удалось. А. П. Плетнев в «Письме к гр. С. И. Сологуб о русских поэтах» (1824), опубликованном в «Северных цветах на 1825 г.», писал о переводах Капниста, что «он главные чувства Горация облакал в свои формы, наводил на них краски и оживлял их национальной местностью». А. А. Дельвиг в своей краткой, но очень содержательной истории русских переводов из Горация (в его отзыве о переводах

В. Орлова), объединяя в своем понимании переводческие принципы Державина и Капниста, заявлял в свою очередь, что именно эти русские писатели лучше всех постигли дух произведений римского поэта (см. выше).

Ниже мы воспроизводим два перевода «Eхegi monumentum», сделанных В. В. Капнистом: первый («Я памятник себе воздвигнул долговечной») сделан им в начале века и опубликован в «Лирических сочинениях» (СПб., 1805); второй был найден в бумагах Державина (ГПБ) и, может быть, относится к еще более раннему времени (В u s c h W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 101); по рукописи он впервые напечатан Б. И. Копланом в его издании «Избранных сочинений Капниста» (Л., 1941, с. 290).

1

ПАМЯТНИК ГОРАЦИЯ

Я памятник себе воздвигнул долговечной;
Превыше пирамид, и крепче меди он.
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
Ни цепь несметных лет, ни время быстроечно —
Не сокрушит его. — Не весь умру я, нет: —
Большая часть меня от строгих Парк уйдет;
В потопстве возрасту я славой справедливой:
И в гордый Капитол с Весталкой молчаливой,
Доколе будет жрец торжественно всходить,
Не перестанет всем молва о мне твердить,
Что тамо, где Авфид стремится ревуши воды,
И в дебрях, где простым народом Давн владел,
Я первый, вознесясь от низкия породы,
В латинские стихи зольску меру ввел.
Гордись блистательным отличьем, Мельпомена!
Гордись, права тебе достоинства дало.
Из лавра Дельфского, в честь Фебу посвященна,
Венок бессмертный свпв, укрась мое чело.

[1801—1805]

2

Се памятник воздвигнут мною
Превыше парских пирамид,
И меди с твердостью большою
Он вековечнее стоит:
Ни едкий дождь, ни ветр шумящий,
Ни времени полет грозящий
Его не сильны низложить.

Не весь я тленностью возьмуся,
Но часть не малая меня
Уйдет, — и я тогда явлюся
Опять в сияньи новом дня;
Хвалою поздною воскресну
И буду цвесть, — пока небесну
Рим будет жертву приносить.

Где волны Авфиды клубятся,
Где царство Давн свое имел,
В устах всех будет повторяться,
Что подлый Флакк предать умел
Зольский стих латинской лире, —
Гордись, гордись сим, Муза, в мире
И лавром увенчай меня.

Александр Христофорович Востоков (1781—1864) был не только выдающимся ученым-филологом, но и поэтом. В 1801 г. Востоков вступил в члены только что основанного Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, начавшего свою деятельность в годы заметного оживления русской общественной мысли, и в течение нескольких лет (1801—1805) даже являлся его секретарем (см.: Орлов Вл. Русские просветители 1790—1800-х гг. 2-е изд. М., 1953, с. 246). В своих ранних стихотворениях Востоков отразил те просветительские настроения, которые были характерны для поэтов, группировавшихся вокруг этого общества и получивших наименование радищевцев. Однако в смелых поэтических экспериментах Востокова уже в те годы чувствовался будущий замечательный филолог, давший впоследствии одно из ранних в русской науке и глубоких теоретических обоснований русского тонического стихосложения (1817).

В 1805—1806 гг. Востоков издал в двух частях свои «Опыты лирические и другие сочинения в стихах»; в этой книге были собраны, помимо его оригинальных произведений, также переводы, в частности из классических поэтов. Из Горация Востоков перевел десять од; две из них переведены вольно (I, 31; III, 29), остальные — с максимальным приближением к античным метрическим схемам. И. И. Дмитриев писал А. Х. Востокову 23 декабря 1806 г.: «Вы предупредили мое желание, показав нам опыты с разных размеров греческих и римских. Мне давно хотелось, чтобы поэты наши пели не одним только ямбом и хореем; чем более перемен в музыке, тем более удовольствия для слушателя. Все показанные вами размеры приятны и в нашей поэзии, кроме горацианского, употребленного вами в пьесе: К Борсю», и т. д. (см.: Переписка А. Х. Востокова с объяснительными примечаниями И. Срезневского: Сб. статей, читанных в ОРЯС имп. Акад. наук. СПб., 1873, т. 5, вып. 2, с. XXIV). В. Кюхельбекер в своей статье «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности» (Вестн. Европы, 1817, ч. 95, № 17—18, с. 154—157; ранее: *Conservateur impartial*, 1817, № 77) напомнил, что изданием своих «Опытов» Востоков «изумил, можно даже сказать привел в смущение публику; в сей книге увидели многие оды Горациевы, переведенные мерою подлинных стихов латинских. Он показал образцы стихов Сафического. Алцейского, Елегического и говорил с восторгом о произведениях германской словесности, доколе неизвестных или неуважаемых». Метрические эксперименты Востокова заимствовались надолго; в числе его предшественников в этом отношении можно назвать только А. Н. Радищева. На это указывал еще и Пушкин, писавший («Путешествие из Москвы в Петербург»): «Радищев, будучи нововодителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. . . Он первый у нас писал древними лирическими размерами» (XI, 243). Ср.: Busch W. 1) Zu A. Chr. Vostokovs Nachbildungen antiken Versmaße // Slavistische Studien zum V Internationalen Slavistenkongreß in Sofia. Göttingen, 1963, S. 383, 388; 2) Horaz in Russland. München, 1964, S. 116—121.

Среди од Горация, переведенных А. Х. Востоковым, была и ода III, 30 (озаглавленная переводчиком «К Мельпомене»). Сделан был этот перевод еще в 1802 г. (известно, что 26 апреля этого года Востоков представил его Вольному обществу). Перевод этот увидел свет в «Опытах» Востокова, но он напечатан здесь не в основном тексте, а в «Примечаниях» второй части (ч. 2, с. 72)

в качестве образца «первого асклепиадского размера». Воспроизводя этот перевод полностью в «Словаре древней и новой поэзии» (ч. 1, с. 53—54), Н. Остолопов отметил, что «Востоков в переведенной им Горация оде „Egegi monumentum aere peregrinius“ и пр., которая писана асклепиадовыми стихами, сохранил размер подлинника с переменою первой стопы, по свойству русского языка, на хорей». Этот перевод, который мы помещаем ниже, воспроизводился несколько раз в новейших изданиях «Стихотворений» А. Востокова под ред. В. Н. Орлова (сер.: Библиотека поэта. Л., 1935, с. 235, 411, 412; малая сер.: Л., 1936 и 1939, с. 88; см. ред. С. Васильева [И. В. Сергиевского] «Стихотворения А. Востокова» // Лит. критик, 1935, № 10, с. 199—201).

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Крепче меди себе создал я памятник;
Взял над царскими верх он пирамидами,
Дождь не смоет его, вихрем не сломится,
Цельный выдержит он годы бесчисленные,
Не почует следов быстрого времени.
Так; я весь не умру — большая часть меня
Избежит похорон: между потомками
Буду славой расти, век обновляясь,
Зрят безмолвный пока ход в Капитолию
Дев Весталей, во след Первосвященнику.
Там, где Авфид крутит волны шумящие,
В весях скудных водой Давнус где царствовал,
Будет слышно, что я — рода беззнатного
Отрасль — первый дерзнул в Римском диалекте
Эолийской сложить меры поэзию.
Сми гордиться позволь мне по достоинству,
Муза! сми увенчай лавром главу мою.

6. С. А. Тучков

Сергей Александрович Тучков (1766—1839), военный деятель и администратор, автор известных мемуаров (Записки С. А. Тучкова / Под ред. К. А. Военского. СПб., 1908), был участником войн со Швецией, Турцией, сражений в Польше и на Кавказе, сотрудничал в журнале «Беседующий гражданин», лично знал А. Н. Радищева и многих других выдающихся деятелей конца XVIII—начала XIX в. В Кишиневе (в 1821 г.) Тучков был казначеем той самой масонской ложи «Овидий», в которой состоял также и Пушкин. О знакомстве Пушкина с Тучковым в г. Измаиле в декабре 1821 г. подробнее см. в основном тексте настоящей работы (с. 92—94); там же приведены данные о «Сочинениях и переводах» Тучкова (СПб., 1816). Ббльшую часть первого тома составляют его стихотворные переводы од и эподов Горация, переводам предшествует большое предисловие, где Тучков объясняет принципы, которыми он руководствовался.

К тому, что уже сказано об этом переводе выше (с. 93), добавим здесь то, что Тучков писал в предисловии о своих источниках после характеристики Горация и его од, которые «наполнены превосходнейшим красноречием, прекрасными вымыслами, оживлены восхитительными выражениями, тонкими оборотами ума и содержат наилучшие нравоучительные мысли»: «Щастливым почту себя, если хотя одно из сих достоинств перенесено будет мною в отечественный мой язык. Немецкие писатели, а наиболее французские, неоднократно

переводили творения Горация стихами и прозой. . . Что принадлежит до французского перевода, изданного Г. Ботто, и другого неизвестного, под названием „Oeuvres choisies d'Horace“. Избранные творения Горация, оные от всех знатоков почитаются наилучшими. Вспомоществуем ими, а также советами и переводом г-на Шиповского, предпринял я сей труд» (Тучков С. А. Соч. и переводы, СПб., 1816, ч. 1; «От трудившегося в преложении» — без нумерации страниц). В. Буш (V u s h W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 164) допустил ошибку, указывая, что речь идет об одном французском переводе — «Oeuvres choisies . . . G. Botteau», а не о двух; кроме того, Тучков несомненно имеет в виду знаменитый перевод Горация, сделанный аббатом Гарлем Баттё (Batteux, 1713—1780), называя последнего, однако, «Господин» Батто». Перевод Ш. Баттё впервые издан был в 1750 г. и неоднократно переиздавался; тому же Баттё принадлежит «Cours des belles lettres» (Paris, 1747—1750), изданный и в русском переводе (М., 1807). Напомним еще раз, что в переводе С. А. Тучкова ода III, 30 («Egegi monumentum») имеет другой номер (ода XXIV) и озаглавлена «Слава его стихов бессмертна»; перевод этот состоит из 36 ямбических диметров. Текст перевода мы заимствуем из 1-й книги «Сочинений и переводов» Тучкова, где он напечатан на с. 217—218.

СЛАВА ЕГО СТИХОВ БЕССМЕРТНА

Я памятник себе поставил
Превыше Нильских пирамид,
Я имя тем свое прославил.
Его великолепный вид,
Которой тверже меди зрится,
Времен грызенья не страшится.

Ни едка древность, ни Борей
Ни дождь, ни бурный Аквилон.
Ни лютость браней, ни злодей,
Ни гром небес, ни вихрей стон,
Ни за брега текущи реки
Его не сокрушат во веки.

Умру, но строга смерть, не сыта,
Меня не может истребить,
Ни имя блеском дел покрыто,
Я с ним в потомстве буду жить. —
Разруша смертные уставы,
Расти при звуке буду славы!

Доколе будет жрец священный
В Капитолийский храм вступать,
Доколь весталок сонм почтенный
В нем будет жертвы возжигать,
Хвалы о мне не прекратятся
И в те места они промчатся,

Ауфид где с шумом протекает,
Где Давн народами владел.
Меня там поздний род узнает
И скажет: первой он гремел
Латинской лирой Аполлона
По строю Эолиса тона.

Мольбам, о муза, вознесенным
Моям к тебе теперь внимай,
Дельфическим венцом зеленым
Мое чело ты увенчай! —
Во веки лавр мой зелен будет,
Меня потомство не забудет.

7. А. А. Фет

Крупнейший русский лирик второй половины XIX в. А. А. Фет известен был также как усердный переводчик римских классиков. В течение нескольких десятилетий Фет дал русской литературе в своих переводах всего Горация, стихотворения Катулла, Тибулла, Проперция, сатиры Ювенала, «Метаморфозы» и «Скорби» Овидия, «Энеиду» Вергилия, даже одну комедию Плавта — «Кубышка» («Aulularia») (см.: Петропавловский М. Э. Римские поэты в переводе А. Фета // Филол. зап., 1886, вып. 4, с. 7 и след.; Менделеев Н. М. Письма Ф. Е. Корша к А. А. Фету // Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. М., 1928, сб. 1, с. 35—52).

Оды Горация Фет начал переводить еще в школьные годы; несколько этих переводов из первой книги од опубликовано было уже в «Москвитянине» 1844 г.; последующие переводы из книг II—IV Фет печатал в различных журналах («Отечественные записки», «Современник», «Русский вестник»). О первых переводах Фета из Горация с похвалой отозвался С. П. Шевырев («Москвитянин», 1844, ч. 1, с. 27—38). Десятилетие спустя заметка в «Смеси» журнала «Современник» (1854, т. 43, отд. V, с. 103) извещала, что Фет закончил перевод всех четырех книг «Од» Горация и готовит их к печати. Через два года книга вышла в свет (Оды Квинта Горация Флакка в 4 книгах / Пер. с лат. А. Фета. СПб., 1856). В этой книге увидел свет и перевод 30-й оды III книги Горация, т. е. «Egegi monumentum» (с. 107).

Издание «Од» Горация 1856 г. вызвало несколько рецензий и откликов в русской печати. С. Шестаков напечатал две критические статьи об этой книге, в которых указывал на многие погрешности, допущенные переводчиком в интерпретации латинского текста, а также в русском языке, см.: Шестаков С. 1) Оды Горация в переводе г. Фета // Рус. вестник, 1856, т. 1, № 1, февраль, кн. 1, с. 562—578; 2) Еще несколько слов о русском переводе Горациевых од. Там же, 1856, т. 6, декабрь, № 24, кн. 2, с. 620—646. Свой ответ на первую статью С. Шестакова А. Фет поместил в «Отечественных записках» (1856, т. 106, отд. 2, с. 27—44). В первой книжке «Современника» за следующий год (1857, № 1, отд. IV, с. 7—9) появилась рецензия Н. Г. Чернышевского на «Оды» Горация в переводе Фета (см. также: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 4, с. 507—509; Троицкий Ю. Н. Гораций в оценке русских революционеров-демократов // Учен. зап. Тульск. гос. пед. ин-та. Тула, 1952, вып. 3, с. 173—190).

Воздавая должное труду Фета, Чернышевский, однако, отмечает в своем отзыве, что данный перевод од Горация «сделан не для большинства, а только для избранных читателей». В полемике, возникшей вокруг издания 1856 г., перевод «Egegi monumentum» не затрагивался. Сам переводчик утверждал, что мысль перевести все произведения Горация подал ему И. С. Тургенев (см.: Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890, с. 387). Замысел этот получил

осуществление почти три десятилетия спустя, см.: Гораций в переводе с объяснениями А. Фета. М., 1883 (рец. И. Помяловского: ЖМНП, 1884, № 12, с. 68—82; более подробный разбор этого издания, принадлежащий тому же И. В. Помяловскому, см.: Отчеты о присуждении пушкинских премий в 1884 г. СПб., 1884, с. 2—62). Перевод «Eхegi monumentum», напечатанный Фетом в издании «Од» 1856 г., впоследствии воспроизводился много раз; исправлению подверглись лишь стихи 9—11, отличавшиеся неточностью; кроме того, стих 9-й напоминал пушкинский:

Слух обо мне пройдет на берег говорливый
Ауфида быстро и до безводных стран,
Где с трона судит Давн народ трудолюбивый.

Мы воспроизводим текст с исправлением по изд.: Гораций Флакк К. / В пер. и с объясн. А. Фета. 2-е изд. СПб., 1898, с. 123—124. Несколько реальных примечаний к этому переводу мы опускаем как не представляющие для нас интереса. Отметим в заключение, что Фет был решительным противником переводов римских поэтов размерами подлинников. Там, писал он, где в подлиннике размер, которого у нас нет, «которому мы не только не в силах подражать, но даже спорим о законах движения этого стиха», там, по его мнению, спасает дело рифма, «внося то движение, которое бы окончательно утратилось при попытке перевода невозможным у нас размером». Критики Фета как переводчика отмечали также, что в тех случаях, когда Фету предстоял выбор между внешним совершенством русского языка и буквальной верностью подлиннику, он ни минуты не колебался в пользу последней, благодаря чему порой впадал в тяжелый и неудобопонятный буквализм. Тем не менее он «старался удержать каждый стих на соответствующем подлиннику месте, чтобы нумерация стихов и перевода совпадала».

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Воздвиг я памятник вечнее меди прочной
И зданий царственных превыше пирамид;
Его ни едкий дождь, ни Аквипон полночный,
Ни ряд бесчисленный годов не истребит.

Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей
Избегну похорон, и славный мой венец
Все будет зеленеть, доколе в Капитолий
С безмолвной девою верховный входит жрец.

И скажут, что рожден, где Ауфид говорливый
Стремительно бежит где среди безводных стран
С престола Давн судил народ трудолюбивый;
Что из ничтожества был славой я избран

За то, что первый я на голос эолийский
Свел песнь Италии. О, Мельпомена! sweй
Заслуге гордой в честь сама венец дельфийский
И лавром увенчай руно моих кудрей.

Перевод Н. Ф. Фоккова (1839—1903), озаглавленный «К Мельпомене», увидел свет в «Журнале Министерства народного просвещения» (1873, т. 170, № 12, отд. 5, с. 137—142). Автор перевода был филологом-классиком, преподавателем высших учебных заведений С.-Петербурга, Киева и Нежина (см.: Историко-филологический институт кн. Безбородко в Нежине, 1875—1900. Нежин, 1900, с. 66; см. также некролог его, написанный А. И. Садовым: Филологические записки, 1910, № 3, с. 367—374). Перевод Фоккова, помещенный в научном журнале, предназначался для специалистов и снабжен был вступительной статьей историко-литературного характера и комментариями переводчика. В статье, в которой характеризованы предшественники и последователи Горация в английской литературе и дается разбор самой оды, переводчик так раскрывает ее основную мысль: «Гораций выражает убеждение, впоследствии вполне оправдавшееся, что он своими творениями заслужит себе бессмертное имя, так как истинно поэтическое творчество и счастливые умственные дарования доставляют человеку, совершенно независимо от его социального положения (ex humili potens), повсеместную и неуязвимую славу». Заканчивая статью. Н. Фокков отметил, что из римских поэтов «очень близко подражали» этой оде Горация Проперций (III, 1, 35), Овидий (Met. XV, 871 и след.) и Марциал (V, 2, 7 и след.), а «из наших русских поэтов Державин и Пушкин словами же этой оды заявляли о своих правах на признательность потомства». «В рассматриваемой нами оде Горация нет неосновательного самовосхваления и ложного самообольщения, — писал Фокков далее; — здесь высказывается только с полным достоинством и с сознательной уверенностью истинное понимание общечеловеческих произведений и литературных заслуг». Подробный построчный комментарий — реального и лингвистического характера — дает много полезных для лучшего понимания текста толкований отдельных слов, грамматических форм, параллельных цитат из других авторов и т. д.

Перевод Фоккова, по его собственному указанию, исполнен «размером подлинника» — «меньшей асклепиадической системой».

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Я воздвиг монумент, бронз вековечнее,
Выше зданий царей — царственных пирамид.
Ни пронзительный дождь, ни лютый Аквилон,
Не разрушит его и бесконечная

Вереница годов, ни полет всех времен.
Нет, не весь я умру, большая часть меня
Избежит похорон; буду в потомстве я
Возрастать похвалой; буду все нов, пока

В Капитолий идет с девой безмолвной жрец.
Будет речь обо мне, где бурлит злой Ауфид
И где бедный водой Давн полудикими
Правил подданными; славен я из простых:

Ведь я первый возвел песнь итальянскую
В эолийский лад. Так возгордись же ты,
Сколь заслугам должно; мне же дельфическим,
Мельпомена, молюсь, лавром обвей чело!

Перевод напечатан первоначально в кн.: Н и к о л ь с к и й Б. В. Сборник стихотворений. СПб., 1899, с. 291—292. Борис Владимирович Никольский (1875—1919), окончивший училище правоведения, был профессором римского права Петербургского университета, автором ряда ученых исследований в этой области (в частности, монографии «Сводный текст отрывков XII таблиц, со свидетельствами древних и указателями», вышедшей в свет в Петербурге в 1897 г.), но получил известность также как критик п. поэт. Являясь почитателем и знатоком Пушкина, Б. В. Никольский напечатал о нем несколько работ: «Поэт и читатель у Пушкина», «Дуэль Пушкина» и др. Занятия поэзией он соединял также с деятельностью переводчика, трудясь между прочим над стихотворными переводами из Катулла (см.: ЖМНП, 1901, № 10, отд. 5, с. 104—115) и Горация. О знании им классических и западноевропейских языков и о его литературных интересах см.: С а м о й л о в и ч А. В. Пушкинист Б. В. Никольский: (По личным воспоминаниям) // Парфенон, СПб., 1922, сб. 1, с. 40—60.

Перевод 30-й оды III книги Горация, вероятно, сделан был Никольским в связи с его занятиями творчеством Пушкина в год, когда отмечалось столетие со дня рождения великого русского поэта. Поместив этот перевод в книге своих «Стихотворений», Б. В. Никольский снабдил его пояснительной заметкой, напечатанной в той же книге («К переводу из Горация», с. 313—314). Эта заметка написана им «во избежание затруднений со стороны филологов в оценке перевода последних двух строф» подлинника. По мнению переводчика, в 11-м и 12-м стихах латинского оригинала слова «ex humili potens» «с легкой руки древних комментаторов объясняются как намек Горация на его низкое происхождение (от вольноотпущенника), — объяснение крайне натянутое; да притом и фраза так темна и оборот так насильственно отрывист и неловок грамматически, что его нельзя не признать искажением, хотя и очень древним». По мнению Б. В. Никольского, слова «ex humili potens» «являются вырождением первоначального рукописного „extumuli potens“, т. е. „Qua Daunus regnavit, potens extumuli agrestium populorum“. Помимо полной естественности, эта догадка впервые объясняет родительный падеж „populorum agrestium“, который до сих пор, опять-таки по нелепой догадке древних грамматиков, считают зависимым от „regnavit“, как единственный в своем роде грецизм» (с. 314). Благодаря этой своей конъектуре Б. В. Никольский передал 11-й и 12-й стихи иначе, чем все его предшественники:

Там, где, беден водой, Давн повелителем
 Был из сельских племен крайнего племени.

Но эта догадка едва ли может быть названа удачной; во всяком случае внимания она на себя не обратила. В соответствии с исправляемыми словами иное толкование у Б. В. Никольского получили и следующие стихи, о которых он пишет: «В предлагаемом переводе устранено и ходячее до сих пор обвинение Горация в хвастливости, так как-де он имел блестящих предшественников в переложении эолийских напевов на итальянские лады, а говорит так, как будто ему принадлежит заслуга безусловного первенства. Это ошибочное обвинение основывалось на приведении в связь *disca* и *qua*, т. е. „обо мне скажут там то, что я“ и т. д. На самом деле же Гораций говорит совсем другое: „обо мне скажут, что я не первый там-то и там-то переложил“

п т. д., т. е. qua стопт в связи с deduxisse. В земле, где царствовал Давн, я первый переложил п т. д. — вот чем он гордится; и вполне естественна такая гордость. Напротив, при старом взгляде географические указания казались несколько странными п неуместными; почему важно, что его заслуги признают на месте его рождения (и это еще после стихов 7—8-го!)? Разве там ему особенно отказывали в признании? Ничуть не бывало» (с. 14). В стремлении передать оду возможно ближе к своему пониманию Б. В. Никольский допустил буквализм, неблагозвучные или недостаточно ясные грамматические конструкции п даже (как в стихе 14-м) неуместные повторения слов. Тем не менее перевод его пользовался некоторой известностью; он перепечатан в комментариях к книге «Избранная лирика» Квинта Горация Флакка (Пер. и коммент. А. П. Семенова-Тян-Шанского. М.; Л., 1936, с. 176—177), но без указания на то, где помещен впервые.

Долговечный воздвиг меди я памятник
И громад пирамид царственных выпрenneй.
Едкий дождь, Аквилон ярый, бесчисленный
Ряд годов и полет вечного времени,

Всем не в мочь сокрушить, всем вам мой памятник.
Нет, не весь я умру; дань Либитине я
Частью только своей. Цвeсть мне и в правнуках
Свежей славой, доколь в храм Капитолия

Будет жрец восходить с девой безмолвною.
Скажут: там, где ревет Ауфид неистовый,
Там, где, беден водой, Давн повелителем
Был из сельских племен крайнего племени, —

Первый там я в лады ввел Итальяские
Песнь Эолии. Льстись гордостью, гордостью,
Муза, мздою заслуг и благосклонно мне
Свей на кудри в венец лавры дельфийские.

1899.

10. П. Ф. Порфилов

Перевод, принадлежавший перу рано умершего поэта Петра Федоровича Порфилова (1870—1903), автора лирических стихотворений и поэмы «Первая любовь», был впервые напечатан в 1902 г. В конце века Порфилов предпринял перевод всех произведений Горация. В С.-Петербурге в 1898 г. вышли «Оды Горация. Перевод в стихах П. Порфилова», книги первая и вторая. За ними последовало издание «Горация оды, книги третья и четвертая. . .» (СПб., 1902) и, наконец, публикация всех од Горация в одном томе — «Лирические стихотворения Квинта Горация Флакка. Перевод П. Ф. Порфилова» (изд. 2-е, исправленное. СПб., 1902), из которой и воспроизводится ниже следующий перевод (с. 172). «До настоящего времени, — говорит переводчик в предисловии к этому последнему изданию, — лирические стихотворения Горация переведены полностью только Фетом, который первый познакомил нас со всеми произведениями своего римского собрата. Несмотря на большие достоинства работы Фета, попытки новых переводов Горация весьма желательны, а для изучения истории русской литературы прямо необходимы»

В числе особенностей издания переводчик отмечает замену названия «Оды» наименованием «Лирические стихотворения», «так как слово „оды“ вызывает, как я наблюдал, ложное представление у лиц, незнакомых еще с Горацием». С другой стороны, примечания Порфирова, напечатанные в этом издании, немногочисленны: «. . .указаны самые необходимые, так как, по моему мнению, нет ничего тягостнее бесконечных пояснений. Я всегда имел в виду, что мои переводы — не критическое издание».

Перевод 30-й оды III книги снабжен Порфиром лишь двумя небольшими пояснениями. Утверждая, что эта ода написана до выхода трех книг од Горация, П. Ф. Порфирова делает следующее указание (к заглавию «К Мельпомене»): «Первоначально Гораций предполагал ограничиться изданием этих книг, причем настоящее стихотворение являлось заключительным аккордом его песен. Как бы прощаясь с лирической поэзией, Гораций в гордом сознании великого значения своего труда восклицает: *Exegi monumentum aere perennius*. «*Exegi*, — толкует Порфирова далее, — тут не безразличное „воздвиг“, как переводили все наши поэты, а именно „докончил, окончил“ (Акрон, Орелли). Под „*aere*“ поэт предполагает медные статуи, воздвигаемые в честь знаменитых мужей». Второе примечание сделано к 7-му стиху («Избегу смертной тьмы»): «Иными словами, — говорит переводчик, — мои творения не умрут вместе с телом; нет, они вечно будут живы, как вечно (по мнению поэта) живы Рим, Капитолий и неугасимый огонь в храме Весты». Самостоятельного филологического значения перевод Порфирова не имеет; он основывался преимущественно на немецких критических изданиях латинского текста Горация, выполненных Л. Мюллером, и дополнительных справок в новейших трудах по текстологии Горация не производил. Сочувственный в общем отзыв о переводе в целом, как о потребовавшем больших усилий и полезном труде, данный И. Ф. Анненским (Разбор стихотворного перевода лирических стихотворений Горация П. Ф. Порфирова. См. отдельный оттиск из «Отчета о XV присуждении Пушкинских премий». СПб., 1904), отмечает, однако, недостаточное знакомство автора со специальной научной литературой о Горации, поэтические промахи, метрическое однообразие (преимущественно александрийский стих). См. также: *В u s h W. Horaz in Russland*. München, 1964, S. 215—217. Ни в одном из этих отзывов, однако, разбор перевода интересующей нас оды не дается.

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Кончен памятник мой, — медных статуй прочней,
Пирамид величавее царственных он.
Ни снедающий ливень, ни сам Аквилон
Не разрушит его в тщетной злобе своей,

Ни несчетные годы в стремленье веков.
Нет, не весь я умру, частью лучшей я
Избегу смертной тьмы: будет слава моя
Цвесть, доколе восходит владыка жрецов

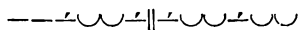
В Капитолий и дева безмолвная с ним.
Низкий родом, из мест, где гремит в берегах
Ауфид яростный, где — в маловодных краях —
Правил Дафн земледельцев народом простым,

Буду славим, что первый латинским стихом
Песнь Эолии пел. О, заслугой своей,
Мельпомена, гордись и мне кудри увей
Благосклонно дельфийским лавровым венком.

11. В. Я. Брюсов

Выдающийся лирический поэт В. Я. Брюсов (1870—1924) был в то же время замечательным и плодовитым переводчиком. Среди многочисленных разноязычных образцов мировой поэзии, переведенных им на русский язык, находились также произведения античных поэтов, в частности римских — Вергилия, Горация и др. В статье «В. Я. Брюсов и античный мир» (Изв. ЛГУ, 1930, т. 2, с. 184—193), говоря об интересе Брюсова к римским писателям, А. И. Малеин вспоминал: «Горацием В. Я. Брюсов занимался менее. Сообщая мне (письмо от 5 апреля 1914 г.) пришедшее ему в голову толкование эпитета *auges* в *Satm.* I, 5, 9 . . . он продолжал: „Сам я, по пристрастию библиофила, читаю Горация обычно в почтенном издании Бентли (*R. Bentley*, 1826), так что новейших комментариев не знаю“. «Это не мешало ему, однако, усердно переводить в „Гермесе“ различные оды Венузийского певца, включая и его знаменитый „Памятник“, — замечает А. И. Малеин далее (с. 187—188). Действительно, в петербургском журнале «Гермес», редактором которого был А. И. Малеин, Брюсов поместил несколько своих стихотворных переводов Горациевых од (I, 8; I, 11; II, 20); в этом же журнале Брюсов напечатал и первый свой перевод «*Exegi monumentum*» (Гермес, 1913, № 8, с. 221 — 222): «Памятник я воздвиг меди нетленнее. . .».

Пять лет спустя в своей книге «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам (стихи 1912—1918)» (М., 1918, с. 65) В. Я. Брюсов напечатал другой перевод той же оды Горация («Вековечней воздвиг меди я памятник. . .»), служащий здесь примером «1-го асклеиадова стиха Горация». К этому второму переводу «*Exegi monumentum*» В. Я. Брюсов сделал следующее пояснение (с. 180): «Античные метрики строили 1-й асклеиадов стих из двух полустушии, как сложный метр, по схеме:



На русском языке этому вполне соответствует сложный метр из двух анапестов, за которыми следуют два дактиля. Очень вероятно, что особый интерес В. Я. Брюсова к этой оде, вызвавший ее двукратный перевод, с попытками как можно ближе передать на русском языке латинский подлинник, связан был с усиленным изучением Пушкина, чем Брюсов занят был в течение всей своей жизни (ср.: *С т е п а н о в* Н. Л. В. Я. Брюсов в работе над Пушкиным // Лит. архив. М.; Л., 1938, с. 302—351). Еще в 1912 г. Брюсов написал собственный «Памятник» («Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. . .») — несомненно в подражание пушкинскому и с эпиграфом из Горация (напечатан в кн.: *Б р ю с о в* В. Семь цветов радуги : Стихи 1912—1915 гг. М., 1916, с. 13—14). Это стихотворение вызвало неодобрительные и полемические отзывы печати; может быть, под их воздействием Брюсов и обратился к новому воссозданию на русском языке древней оды Горация — отдаленного первообраза и пушкинского, и своего стихотворений.

В 1916 г., вскоре после того как было опубликовано стихотворение Брюсова и о нем шел спор, Г. Шенгели написал специальную работу о «Памятни-

ках» Пушкина и Брюсова; эта работа увидела свет лишь через два года в виде маленькой брошюры, ныне чрезвычайно редкой, так как она вышла малым тиражом в Феодосии, хотя на ее титульном листе и обозначен в качестве места издания Петроград; см.: Шенгели Г. Два «Памятника»: Сравнит. разбор стихотв. Пушкина и Брюсова. Пгр., 1918. «Воскресает обыкновение классических поэтов подводить итог своему творчеству, — писал Г. Шенгели в начале своей брошюры. — Валерий Брюсов, центральная фигура современной русской поэзии, в последней книге своей „Семь цветов радуги“ дал новый образец „Памятника“. Свыше трех четвертей века прошло со дня написания последнего „Памятника“ — пушкинского, и крайне интересным представляется произвести параллельный обзор обоих произведений, в чем полагают величие свое поэт прошлого века и поэт современный и как говорят об этом они» (с. 3). Работа Г. Шенгели дает, впрочем, преимущественно стиховедческий анализ обоих «Памятников» — Пушкина и Брюсова. Сначала автор устанавливает черты сходства в этих произведениях, которые сближают «Памятники» не столько тематически, сколько по внешним особенностям их построения: «Оба стихотворения написаны четырехстрочными строфами (у Пушкина — 5 строф, у Брюсова — 6) с двусложными и односложными рифмами (считаю более удобными эти обозначения, чем сумбурные: мужские, женские. . .), чередующимися во всех строфах по схеме: абаб. Метр обоих стихотворений — ямба, шестистопный в первых трех строках и четырехстопный в четвертой строке каждой строфы» (с. 5). Г. Шенгели (с. 8) усматривал в обоих «Памятниках» даже оказавшийся общим для них «редкий ритмический ход — хориямба». У Пушкина он отмечал его в 9-м стихе:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

у Брюсова — в 22-м стихе:

Что клевета друзей? — презрение хулам!

Производя подробные метрические сличения, Г. Шенгели попутно отмечал и вытекающие из них следствия, например и такое, оказавшееся не безразличным для сравнительной оценки произведений: «Пиррихические стопы, убыстряя течение стиха, характеризуют проникнутые эмоциональными биениями стороны содержания, а строфы спондеические, замедленные способствуют подчеркиванию в них размещенных слов» (с. 8). Чем дальше подвигался построчный и детализованный метрический сопоставительный анализ двух «Памятников», тем яснее становилось исследователю, что вопреки очевидным аналогиям, которые открывают наблюдателю структуре их особенности, «стройность Пушкина и беспорядочность Брюсова усматриваются во всем» (с. 23). Свою работу Шенгели кончал следующими словами, должествовавшими еще раз провозгласить обособленность в русской поэзии и неповторимость по своему высокому мастерству и поэтическому совершенству «Памятника» Пушкина и «вторичный», подражательный и рассудочный характер «Памятника» Брюсова: «И чем более стихотворение является созданным в результате подлинного воодушевления, тем оно более стройно и логично, ибо внутренние законы психической жизни не знают погрешностей. Рассудок же неминуемо вносит дисгармонию в строй стихотворения, ибо чужд „духу музыки“, рождающему напевные строки» (с. 23). О глубоких разли-

чиях стихотворного стиля Пушкина и Брюсова, благодаря чему Брюсов, хотя и являвшийся хранителем и истолкователем пушкинского наследия, как его исследователь и комментатор, не мог быть назван поэтом «пушкинской школы», писал также В. М. Жирмунский в своей книге «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» (Пб., 1922, с. 53, 85—86), исходивший, впрочем, из других оснований: «Памятники» Брюсова и Пушкина в этой книге не сопоставляются.

Ниже мы приводим «Памятник» В. Я. Брюсова 1912 г. (1) по его книге «Семь цветов радуги» (М., 1916, с. 13—14), а вслед за ним оба его перевода «Eхegi monumentum» в той последовательности, в какой они возникли: 2) «Памятник я воздвиг меди нетленнее. . .» (1913) и 3) «Вековечней воздвиг меди я памятник. . .» (1918), по изданиям, указанным выше. Оба перевода неоднократно перепечатывались, последний, в частности, в «Избранной лирике» Горация с комментариями А. П. Семенова-Тян-Шанского (см. с. 177), а также в учебных хрестоматиях по античной литературе. Подробное сличение указанных переводов Брюсова с латинским оригиналом см. в кн.: В u s c h W. Horaz in Russland. München, 1964, S. 212—213.

1

ПАМЯТНИК

Sume superbiam. . .

Horatius.

Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен.
Кричите, буйствуйте, его вам не свалить!
Распад певучих слов в грядущем невозможен, —
Я емь и должен быть.

И станов всех бойцы, и люди разных вкусов,
В каморке бедняка, и во дворце царя,
Ликуя, назовут меня — Валерий Брюсов,
О друге с дружбой говорю.

В сады Украйны, в шум и яркий сон столицы,
К преддверьям Индии, на берег Иртыша —
Повсюду долетят горящие страницы,
В которых спит моя душа.

За многих думал я, за всех знал муки страсти,
Но станет ясно всем, что эта песнь — о них,
И у далеких грез в непобедимой власти
Прославят гордо каждый стих.

И, в новых звуках, зов проникнет за пределы
Печальной родины, и немец, и француз
Покорно повторят мой стих осиротелый,
Подарок благосклонных муз.

Что слава наших дней? — случайная забава!
Что клевета друзей? — презрение хулам!
Венчай мое чело, иных столетий Слава,
Вводя меня в всемирный храм.

Июль, 1912.

Памятник я воздвиг меди нетленисе,
Царственных пирамид выше строения,
Что ни едкость дождя, ни Аквилон пустой
Не разрушат вовек и ни бесчисленных

Ряд идущих годов или бег времени.
Нет, не весь я умру: большая часть меня
Либитины уйдет, и я посмертною
Славой снова возрасту, сколь в Капитолии

Жрец верховный идет с девою безмолвною.
Буду назван, где мчит Авфид неистовый
И где бедный водой Давн над пастушеским
Племенем был царем: из ничего могущ.

Первый я преклонил песни эольские
К италийским ладам. Гордость заслуженно,
Мельпомена, прими и мне дельфийскими
Благостно увенчай голову лаврами.

3

Вековечней воздвиг меди я памятник,
Выше он пирамид царских строения,
Ни снедающий дождь, как и бессильный ветр,
Не разрушат его ввек, ни бесчисленных

Ряд идущих годов или бег времени.
Нет, не весь я умру, большая часть меня
Либитины уйдет; славой посмертною
Возрастать мне, пока по Капитолию

Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Буду назван, где мчит Авфид неистовый
И где бедный водой Давн был над сельскими
Племенами царем, из ничего могущ.

Первым я перевел песни Эолли
На италийский лад. Гордость заслуженно
Утверди и мою голову Дельфийским
Благосклонно венчай лавром, Мельпомена.

12. В. Н. Крачковский

Владимир Николаевич Крачковский — поэт и переводчик начала XX в., литературные опыты которого (рассказы, стихи, переводы и т. д.) печатались в журналах и альманахах первого десятилетия XX в. В 1913 г. в Петербурге Крачковский выпустил книгу «Стихотворения», в которой наряду с оригинальными стихотворениями (среди них отметим, в частности, на с. 47—50 «Опыт окончания „Русалки“ Пушкина») помещено много его переводов (Петрарка, Байрон, Мицкевич, Словацкий, Бодлер, с арабского, японские миниатюры и т. д.), в том числе 25 од Горация. Среди последних находится и перевод «Egei monumentum» (на с. 177—178), сопровождаемый также «вариантом перевода» (с. 179—180) и несколькими примечаниями. Мы воспроизводим ниже из указанной книги В. Н. Крачковского

оба перевода этой оды, но опускаем реальные комментарии к ним, не имеющие самостоятельного значения. В ломаных скобках даны заглавия, под которыми переводы папечатаны автором.

〈К МУЗЕ〉

Воздвиг я памятник могучий!
Вознесся, царственный, он выше пирамид!
Твердее меди он! Его не сокрушит
Ни едкий дождь, ни Аквилон летучий!

Не весь умру я! Часть моя большая
Спасется славою! И буду жить,
Доколе дева будет восходить
В Капитолийский храм, жреца сопровождая!

И скажут обо мне, где Давн суровый жил,
Где мчится Ауфид, бушуя, многоводный,
Что стих наш трудный я переложил
На Эолийский, дивный и свободный.

О, Муза, гордость должную имей
И лавром голову Дельфийским мне обвей!

〈ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА〉

Я мавзолей себе сооружил чудесный!
Он фараоновых превыше пирамид!
Твердее меди он! Его не сокрушит
Ни едкий дождь, ни ураган небесный!

Не весь умру я! Часть меня большая
Спасется! Буду вечно — юный жить,
Доколе дева будет восходить
В Капитолийский храм, жреца сопровождая!

И скажут обо мне, где проложил
Путь бурный Ауфид, где Давн царил безводный,
Что лиры Эолийской звук свободный
Я в песни Италийския вложил.

О, Муза, гордость должную имей
И лавром голову Дельфийским мне обвей!

13. А. П. Семенов-Тянь-Шанский

Андрей Петрович Семенов-Тянь-Шанский (1866—1942) не был филологом по специальности. Сын известного географа П. П. Семенова (за свои открытия в Средней Азии получившего приставку к своей фамилии — Тянь-Шанский), Андрей Петрович также стал натуралистом, энтомологом; однако, получив классическое образование и сохранив любовь к языкам и поэзии, он посвящал свои досуги переводческой деятельности и созданию лирических стихотворений. Особенно много труда вложил он в переводы своего любимого поэта — Горация.

Сделанные им переводы отдельных од Горация первоначально публиковались в периодических изданиях. Так, воспроизводимый ниже его перевод

«Egegi monumentum» впервые был напечатан в журнале «Русская мысль» (1916, № 10, с. 4) без всяких пояснений. Всего А. П. Семенов-Тян-Шанский перевел 44 оды и 4 эпода Горация, собранные в книжке, изданной в 1936 г. с латинским текстом en regard (Г о р а ц и й Ф л а к к К в и н т. Избранная лирика / Пер. и коммент. А. П. Семенова-Тян-Шанского. М.; Л. Изд. «Academia», 1936). В послесловии к этой книге («От переводчика») Семенов-Тян-Шанский писал, что он «задался целью передать Горация по-русски с возможно полным соблюдением его стиля и формы», поскольку его предшественники, за единичными исключениями, переводили произведения римского поэта «нашими обиходными тоническимп размерамп и притом стихами большею частью рифмованными», что придавало «совершенно чуждый им облик, — несвойственный им стиль, часто превращая их как бы в самостоятельные русские стихотворения, написанные только на темы Горация». «Задача моя была тем более трудной, — признается переводчик, — что применение античной метрики в русском стихосложении, за исключением одного лишь гекзаметра и элегического дистиха, успеха не имело. . .». Тем не менее он не бросил принятой на себя задачи, а переводы его, появлявшиеся время от времени в журналах, получали поощрение специалистов по античной литературе, поэтов и критиков (среди них он называет, в частности, В. Я. Брюсова — «большого знатока поэтической формы и техники стихосложения»). Далее в том же послесловии переводчик писал: «Мои переводы из Горация можно назвать силлабо-тоническим претворением метрических схем античности. В своих переводах лирических пьес Горация я старался, избегая рабства в переводе, возможно ближе подойти к подлиннику в разных отношениях: точной передачи мысли, образности, пзобразительной пластики, логической интерпункции, евфоникп» (с. 155—157).

В этой книге воспроизведен и перевод «Egegi monumentum» (с. 118—119), а в комментариях перепечатаны переводы и подражания этой оде (с. 174—177) Ломоносова, Державина, Пушкина, Фета, Б. В. Никольского и В. Я. Брюсова (второй перевод 1918 г.). В том же году этот перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского был опубликован в кн.: Г о р а ц и й Ф л а к к К в и н т. Полн. собр. соч. / Пер. под ред. и с примеч. Ф. А. Петровского. М.; Л., изд. «Academia», 1936, с. 138. Об А. П. Семенове-Тян-Шанском как переводчике Горация и поэте см.: П а в л о в с к и й Е. Н. Поэзия, наука и ученые. М.; Л., 1958, с. 102—109 (здесь же дан и его портрет). В качестве удачного примера его переводов Е. Н. Павловский воспроизводит перевод «Egegi monumentum» и для сопоставления печатает рядом перевод Ломоносова (с. 104—105); здесь же приведено и несколько оригинальных лирических стихотворений переводчика. О переводах его из Горация см. также: В u s c h W. Horaz in Russland. München, 1965, S. 214—215.

ПАМЯТНИК

Создан памятник мной. Он вековечнее
 Меди и пирамид выше он царственных;
 Не разрушит его дождь разьедающий,
 Ни жестокий Борей, ни бесконечная

Цепь грядущих годов, в даль убегающих.
 Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя
 Избежит похорон: буду я славиться
 До тех пор, пока жрец с двовой безмолвною

Всходит по ступеням в храм Капитолия.
Будет ведомо всем, что возвелчился
Сын страны, где шумит Ауфид стремительный,
Где безводный удел Давна — Апулия, —

Эолийский напев в песнь италийскую
Перелив. Возгордись этою памятной
Ты заслугой моей и, благосклонная
Мельпомена, увей лавром чело мое!

14. Н. И. Шатерников

Нижеследующий перевод впервые напечатан в кн.: Гораций Флакк Квинт. Оды / Пер. размерами подлинника Н. И. Шатерников. М., 1935, с. 125—126 (ср.: Горнунг Б. В. Юбилейное издание Горация. // Книга и пролет. револ., 1936, кн. 5, с. 113—116). Ряд од Горация в переводе Шатерникова, в том числе и перевод «Ехеги monumentum», был воспроизведен в изд.: Античная литература под ред. А. В. Мишулина и Л. Д. Тарасова. М., 1939, с. 201 (в разделе, составленном К. П. Кондратьевым, — «Римская литература в избранных переводах», где напечатаны также и другие переводы Н. И. Шатерникова из римских поэтов — Проперция, Овидия, Марциала и др.).

Создал памятник я, меди нетленнее,
Пирамидных высот царственных выше он.
Едкий дождь или ветр, яростно рвущийся,
Век не сломит его, или бесчеленный

Ряд кругов годовых, или бег времени.
Нет! не весь я умру — часть меня лучшая
Избежит похороп; славою вечною
Буду я возрастать, в храм Капитолия

Жрец восходит пока с девою безмолвною.
Речь пойдет обо мне, где низвергается
Ауфид ярый, где Давн людом пастушеским
Правил, бедный водой, — мощный из низкого

Первый я проложил песню Эолни
В италийских ладах. Гордость заслуженно,
Мельпомена, яви, — мне ж, благосклонная,
Кудри лавром обвей, ветвью дельфийскою.

15. Я. Э. Голосовкер

Последний по времени из известных нам переводов «Ехеги monumentum» напечатан в кн.: Поэты-лирики древней Эллады и Рима в переводах Я. Голосовкера. М., 1955, с. 170.

ПАМЯТНИК

Создал памятник я меди победнее,
Он взнесет пирамид выше и царственней.
Не обрушит его бурь псобуздапность,
Едкий дождь не разьест, ни во опад времени —

Бег и звенья годов неисчислимы. . .
Нет, не весь я умру. Высшая жизни часть
От забвенья уйдет. Буду в веках расти,
Возрождаясь, пока в высь Капитолия

Всходит жрец, и за ним дева-молчальница.
Скажут: с гор, где Ауфид бешено пенится,
Где в безводном краю над деревенщиной
Давн когда-то царил, родом ничтожный смөг

Первой песнь передать вольной Эолии
Итальяским стихом. С благоволением,
Мельпомена, прими гордую славу дел
И дельфийской листвою мне увенчай главу.





ПУШКИН И ЗАПАД¹

1

Вопрос об исторической роли Пушкина в мировой культуре нуждается в полном пересмотре. Дореволюционное пушкиноведение явно преуменьшало значение великого поэта в отдельных литературах Западной Европы; вопрос о значении Пушкина во многих «малых» литературах мира и вовсе не ставился; мы почти не знаем о том, как к Пушкину относились западные писатели, критики, читатели.

Между тем материал для решения этой проблемы накопился большой и давно уже ждет своего исследователя: существующие обзоры иностранной пушкинианы страдают неполнотой и явно ошибочными утверждениями или же сводятся к некритическому перечню переводов из Пушкина на различные языки, сумбурным статистическим исчислениям и библиографическим сводкам.² Вся

¹ Из разысканий в области иностранной пушкинианы, известной нам до 1937 г.

² Первые библиографические опыты иностранной пушкинианы сделаны были еще в конце 50-х гг. XIX в.: Г е н н а д и Г. Н. Переводы сочинений Пушкина // Библиогр. зап., 1859, т. 2, № 2—4 (и отд. отт. — М., 1859. 32 с.); дополнения — в том же журнале, 1859, № 8, с. 253—254; № 9, с. 272—273; см. также: Приложения к сочинениям А. С. Пушкина / Изд. Я. А. Исаковым. СПб., 1860. Существенную помощь оказывает исследователю старый, неполный, но не замененный и по сей день труд В. И. Межова «Puschkiniana» (СПб., 1886), в пятом разделе которого (с. 201—237) напечатан не только список переводов Пушкина на иностранные языки, значительно пополненный сравнительно с Г. П. Геннади, но также и перечень «биографических, критических и библиографических статей о Пушкине и его сочинениях на иностранных языках». Юбилейные статьи П. Драганова (Кто впервые принял переводить Пушкина и прототипы переводов его на 50 языков и наречий мира // Ист. вестн., 1899, май; Пятидесятиязычный Пушкин. СПб., 1899) в значительной степени основаны еще на труде Межова (см.: К а л а ш В. В. Драганов и Пушкиниана Межова // Рус. мысль, 1900, № 7). Попытки критически изучить литературу о Пушкине на отдельных языках предприняты были уже давно; назовем, например, работу В. Шульца (А. С. Пушкин в переводе французских писателей // Древн. и нов. Россия, 1880, т. 18, № 6, отд. отт. — СПб., 1880); из ряда аналогичных работ, вы-

эта огромная работа, неосильная для единичных усилий, во многих своих разделах должна быть проведена заново. Необходимо продолжение библиографических разысканий как для начального периода, так и для последнего тридцатилетия, в которое иностранная пушкиниана значительно возросла; необходимо и критическое изучение огромного материала о Пушкине, разбросанного во множестве малодоступных изданий на самых разнообразных языках. Настоящая статья, естественно, не может претендовать на то, чтобы дать исчерпывающий ответ на указанную тему; она стремится лишь к тому, чтобы ввести в оборот некоторые забытые или малоизвестные источники и попутно поставить ряд вопросов, подлежащих более углубленному исследованию.³

2

В бумагах Пушкина нашлась заметка, переписанная его рукой, из французского журнала «Revue Encyclopédique» за 1821 г., заключающая в себе одно из самых ранних известий о нем в европейской литературе. Пушкин заботливо ее сохранил, но подчеркнул одну вкрадшуюся в нее опечатку. «Недавно изданное в нашем городе произведение, — говорится здесь, — привлекло внимание всех друзей словесности; это романтическая поэма в десяти песнях следовало сказать: в шести», озаглавленная: Руслан и Людмила. Автору ее, Пушкину, бывшему воспитаннику Царскосельского лицея, ныне состоящему при генерал-губернаторе Бессарабии, всего 22 года. Эта поэма составлена из народных сказок времени великого князя Владимира. Она полна первостепенных красот; язык ее, то энергический, то грациозный, но всегда изящный и ясный, заставляет возлагать большие надежды

шедших или предпринятых в юбилейные годы, выделяются работы о Пушкине и славянстве, например: А. С. Пушкин в южнославянских литературах: Сб. библиогр. и лит.-крит. статей / Под ред. И. В. Ягича // Сб. ОРЯС. СПб., т. 70, № 2, 1901; Ф р а н ц е в В. А. Пушкин в чешской литературе // Сб. ОРЯС, 1898, т. 66; ср.: Puškiniana: Katalog di la Puškinova a práci o něm. Praha, 1932, s. 53—63. Отдельные попытки осветить роль Пушкина в литературах французской (Н а u m a n t Е. Pouchkine. Paris, 1901, — с хорошей библиографией переводов 1823—1899 гг. на с. 219—227; J u s s e r a n d o t J. Pouchkine en France // Le Monde Slave, N 1918), немецкой (М а р к о в А. Германская литература о Пушкине // Пушкинский сборник. СПб., 1899, с. 639 и след.; В е н е в и н о в М. Немцы о Пушкине в 1899 г. СПб., 1900, и др.), шведской (J e n s e n А. Puškin in der schwedischen Literatur // Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin, 1908, S. 71—80), к которым в последние годы прибавились аналогичные обзоры для литературы румынской (S t e f a n e s c u М. Puškin despre Romani // Archiva Annul, 1928, t. 35, № 3—4, p. 269—290) и английской (O s b o r n e Е. Early Translations from the Russian. II. Pushkin and his contemporaries // The Bookman. London, 1932, vol. 82, p. 264—268), страдают либо неполнотой, либо, как это имеет место с зарубежными работами последних лет, слабым знакомством с русскими источниками. Подробнее литература указана ниже.

³ Эта статья представляет собою фрагменты из книги, подготовленной к печати, на ту же тему.

на молодого автора».⁴ Эта заметка, написанная расположенным к Пушкину лицом, быть может из числа его петербургских знакомых, должна была польстить авторскому самолюбию поэта, тем более что он был в это время «ссылочным невольником» (выписка датируется весной 1822 г.) и особенно ценил всяческое участие к себе и дружеское внимание. Кто был ее автором, мы не знаем, и вопрос этот решается не так просто; ⁵ нам неизвестно также, регулярно ли доходили до Пушкина и последующие книжки того же журнала, в которых автору «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника» уделялось некоторое внимание. Можно, однако, предположить, что еще в Кшипилове Пушкину должен был быть доставлен тот номер «Revue Encyclopédique» за 1822 г., в котором шла речь о причинах его высылки из Петербурга; эта заметка, вероятно, не столь обрадовала поэта, и по понятным причинам копия ее отсутствует в его бумагах. Этой заметке, и на этот раз анонимной, не придана форма корреспонденции из Петербурга, но содержание ее выдает, что и она писана лицом, хорошо осведомленным в литературных делах столицы и, в частности, во всем, что относилось к Пушкину. Автор ее нам также неизвестен, но его, видимо, не нужно отождествлять с автором корреспонденции, указанной выше; напротив, у нас есть все основания думать, что заметка 1822 г. писана другим лицом; последняя создавалась как бы в опровержение первой или с целью внести в нее существенные поправки, словно первое известие о Пушкине, помещенное во французском журнале (на которое, кстати, сделана и ссылка), показалось неполным и односторонним; на этот раз о Пушкине говорится не как об авторе «романтической поэмы» на сюжет из баснословных времен русской истории, а как о политическом поэте, затронувшем в своих стихах важнейшие вопросы русской общественно-политической жизни; наконец, пребывание Пушкина при Бессарабском генерал-губернаторе, на что указывала первая заметка, получает во второй новое объяснение: это — ссылка, результат преследования поэта русской властью за его свободолюбивые стихи. «Александр Пушкин, юный питомец Аполлона, — говорится здесь, — является автором поэмы „Руслан и Людмила“ (см. т. IX, с. 382), оды „К свободе“ (Ode sur la Liberté), полной одушевления, поэзии и возвышенных

⁴ См.: *Revue Encyclopédique*, 1821, février, t. 9, p. 382; выписка сделана Пушкиным в тетради № 2366, л. 1; см.: Рус. старина, 1884, июнь, с. 325; Рукою Пушкина. М.; Л., 1936, с. 185—186.

⁵ Вопреки мнению Н. К. Козмина (Пушкин : Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 2, с. 420) автор этой заметки не раскрывает ни «Table Décennale de la Revue Encyclopédique ou Répertoire Général des matières contenues dans les quarante premiers volumes de ce recueil» (Paris, 1831), ни доступное нам обследование деятельности Edme Joachim Héreau (1791—1836), этого активного сотрудника журнала, а в 1824—1825 гг. даже секретаря его редакции (ср.: Остафьев. архив. СПб., 1899, т. 3, примеч., с. 512); что касается указанных Н. К. Козминым его русских сотрудников как возможных авторов интересующей нас заметки, то ни один из них не подходит к данному случаю, так как все они стали причастны к журналу лишь после 1823 г.

идей, а также прелестного стихотворения под заглавием „Деревня“, в котором, дав восхитительную и верную картину красот природы и сельских забав, поэт скорбит о печальных следствиях рабства и варварства, высказывая в стихах, полных силы и энергии, светлую надежду (*douce espérance*) на зарю свободы, которая воссияет для его родины. Два этих произведения, оставшиеся неизданными, были причиной преследования правительством молодого поэта, высланного в Бессарабию.⁶ Нетрудно объяснить себе понятное волнение Пушкина при чтении этой заметки; конечно, и «Вольность», и «Деревня» в рукописных списках получили широкую известность как в Петербурге, так и на юге, а большинство современников поэта знали о действительных причинах его удаления из столицы; но печатное известие об этом, помещенное в очень влиятельном и распространенном парижском журнале, означало все же закрепление за ним репутации «опасного» поэта, открыто поддерживать которую в официальных кругах не имело смысла. Поэтому Пушкин не напрасно опасался болтливости своих друзей. Когда Пушкин узнал об отъезде В. К. Кюхельбекера в Париж, он писал о нем А. А. Дельвигу (письмо от 23 марта 1821 г.): «Об духе любви я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, о празднословии молчу — дальний друг не может быть излишне болтлив» (XIII, 25). На деле бывало иначе, и как знать, не Кюхельбекеру ли именно Пушкин и был обязан приведенной заметкой из «Энциклопедического обозрения»? Известно, что, будучи в Париже в 1821 г., Кюхельбекер прочел в парижском «Атене» несколько таких вольнолюбивых лекций о русской литературе и славянских языках, что немедленно был выслан из Франции на родину русским посольством в Париже; стихотворное послание Кюхельбекера с описанием его заграничной поездки Пушкин получил еще в Кишиневе.⁷ Впрочем, «Энциклопедическое обозрение» вскоре приобрело других сотрудников и корреспондентов: в 1823 г. уехал в Париж Я. Н. Толстой, с 1824 г. в «Revue Encyclopédique» стали появляться подписанные заметки другого приятеля Пушкина, С. Д. Полторацкого. Как ни любопытен вопрос об авторах анонимных статей о Пушкине в этом журнале 20-х гг., но для нас в настоящее время важно подчеркнуть другое — что борьба за правильное истолкование Пушкина несомненно начата была в западноевропейской литературе его ближайшими друзьями и что эта борьба на страницах европейских газет и журналов шла во многих отношениях свободнее и оживленнее, чем в русской периодической печати.

⁶ *Revue Encyclopédique*, 1822, t. 16, p. 119—120.

⁷ См. письмо Пушкина к Дельвигу от 23 марта 1821 г. (XIII, 25) и Рус. архив, 1871, № 2, с. 0171—0173. Кюхельбекер приехал в Париж в марте 1821 г. и уехал отсюда осенью того же года; о сотрудничестве Кюхельбекера во французской прессе мы знаем от него самого. В свое собрание сочинений, которое ему так и не разрешили издать, Кюхельбекер думал включить «с десяток критик, напечатанных в *Conservateur Impartial*». См.: *Дневник В. К. Кюхельбекера* / Ред., введ. и примеч. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929, с. 9, 313.

Огромный интерес прижизненных критических статей о Пушкине в европейской прессе — донныне, к сожалению, не собранных и не объясненных — заключается именно в том, что они допускали суждения о таких вещах, о каких в России могли говорить только воплголоса. Мало того: как неоднократно придется подчеркивать ниже, именно европейские отзывы о Пушкине, прекрасно известные русскому правительству, все время поддерживали в правящих кругах Петербурга представление о нем как об очень опасном поэте, немало содействовали решительному отказу отпустить его в заграничное путешествие и вообще доставили поэту много забот и тревог.

С переездом из Кишинева в Одессу, в этот, по словам самого поэта, «город европейской», в котором русских книг почти «не водится» (письмо к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г. (XIII, 74), Пушкину быстрее и с большей полнотой становились известны европейские отзывы и о нем самом, и об его творчестве, все увеличивавшиеся в числе; впрочем, в этом отношении, как и раньше, на помощь Пушкину, вероятно, приходили его друзья. Так, несомненно, что еще в Одессе Пушкин должен был познакомиться с «Русской антологией» Эмиля Бенуа де Сен Мора (Paris, 1823) и с рядом откликов на нее в европейской и русской печати; в этой книге напечатан был во французском переводе эпизод из первой песни «Руслана и Людмилы», сопровождаемый краткими биографическими данными о Пушкине и разбором двух его поэм.⁸ Тогда же Пушкин, вероятно, видел и немецкую антологию русской поэзии Карла Фридриха Борга,⁹ а через посредство А. А. Дельвига получил «Кавказский пленник» в немецком переводе, изданный в Петербурге А. Е. Вульффертом.¹⁰ Именно об этой книге Пушкин писал А. А. Дельвигу 16 ноября 1823 г.: «Вели прислать мне немецкого *Пленника*» (XIII, 75).

Первые исследователи иностранной Пушкинианы не раз уже отмечали, что наиболее ранние переводы произведений Пушкина на иностранные языки — французский и немецкий — сделаны и напечатаны были в России, но принимали это за доказательство непопулярности Пушкина за рубежом в 20-е гг.; на самом деле эти изданные в Петербурге и Москве (позднее в Одессе) переводы и критические статьи проникали на Запад, читались здесь, вызывали новые критические отклики. Последние нам почти неизвестны, а между тем они существовали и были известны и Пушкину, и его современникам. «Мало-помалу Европа сквозь тусклые переводы начинает распознавать нашу словесность, — писал А. А. Бестужев в книжке «Полярной звезды» на 1824 г. — В прошлом году почти

⁸ Anthologie Russe. Paris, 1823, p. 80—90; о пей см.: Остафьев. архив, т. 3, с. 370—371.

⁹ B o r g K. Fr. v. Poetische Erzeugnisse d. Russen. Riga; Dorpat, 1823. См. о Борге: Сын отеч., 1825, ч. 103, № 17, с. 68—83 (статья принадлежит В. К. Кюхельбекеру); Языковский архив. СПб., 1913, вып. 1, с. 12—16, 21—28, 445—447; Дневник В. К. Кюхельбекера, с. 341, 356.

¹⁰ См.: М е ж о в В. И. Puschkiniana. СПб., 1886, № 3178.

все повести из „Полярной Звезды“ были переданы на немецкий язык в журнале г. Ольдекопа и повторились в других зарубежных журналах. Г. Линде перевел на польский все статьи, до истории русской литературы касающиеся, и приложил при переводе книги о том же предмете г. Греча. . .». Действительно, роль иностранных изданий, выходящих в России, в деле популяризации русской литературы на Западе очень велика и не всегда принимается во внимание исследователями; однако самое обилие этих изданий и частое упоминание в них имени Пушкина говорит само за себя.

Вскоре, однако, поэту пришлось убедиться в том, сколь неприятными по своим последствиям, а иногда даже и прямо опасными могли быть — в его положении ссыльного и опального поэта — подобные свидетельства его возрастающей известности. Немецкий перевод «Кавказского пленника» в 1824 г. перепечатал Ольдекоп вместе с русским подлинником, нарушив авторские права Пушкина и лишив его возможности осуществить подготовлявшееся новое издание поэмы; ¹¹ эта контрафакция вызвала несколько отзывов в иностранной печати, Пушкина очень интересовавших. Брату в первой половине ноября 1824 г. (т. е. уже из Михайловского) Пушкин писал: «. . . ты мне пришлешь немецкую критику Кавк. Пл.?» (XIII, 120). Под «немецкой критикой» обычноразумеют упоминание об этой поэме в антологии К. Ф. Борга ¹² («Poetische Erzeugnisse der Russen», 1823); гораздо вероятнее, однако, что речь идет о рецензии на ольдекоповское издание в его же петербургской немецкой газете или в каком-нибудь иностранном журнале: недаром Бестужев в своем «Взгляде» («Полярная звезда» на 1825 г.), говоря об иностранных журналах, замечал, что «немцы уже давно живут только переводами из журнала г. Ольдекопа»; обсуждение первых пушкинских поэм продолжалось в Германии еще в 1825 г., а вместе с ним появлялись и новые переводы: так, д-р Фридрих Отто, автор ряда статей о русской литературе в «Neue Breslauer Zeitung» 1825—1826 гг., поместил здесь и свой перевод «Черкесской песни» Пушкина (17 сентября 1825 г.), а вскоре подробно изложил содержание «Бахчисарайского фонтана» (1825, № 231—240).

Французские и английские журналы второй половины 20-х и начала 30-х гг., впрочем, представляли для Пушкина гораздо больший интерес, чем немецкие; это были именно те издания, которые и в России имели большое распространение, по образцу которых строились и русские периодические издания и откуда нередко почерпались различные материалы и русскими журналистами. Из французских журналов для Пушкина, как и для многих русских читателей, наибольший интерес представляло, конечно, парижское «Энциклопедическое обозрение»; здесь по-преж-

¹¹ Гессен С. Я. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930, с. 42—49; Городецкий Б. П. К истории издания «Кавказского пленника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 2, с. 290—293.

¹² Пушкин. Письма / Ред. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926, т. 1, с. 96, 393.

нему много и охотно говорили о нем и об его произведениях, обнаруживая прекрасную осведомленность даже в личных делах поэта; так, например, журнал известил своих читателей о новой поэме Пушкина «Цыганы», которая еще находилась в рукописи, но уже возбуждала «восторг любителей русской литературы», согласно свидетельствовавших о ее «несравненных красотах»;¹³ одна из заметок «Энциклопедического обозрения» сообщала вполне точное известие о большом гонораре, полученном Пушкиным за «Бахчисарайский Фонтан» (300 р., по 5 р. за стих), прибавляя при этом, что «во Франции какой-нибудь Казимир Делавинь или Ламартин не извлекают большей выгоды из своих поэтических произведений».¹⁴ Выход «Стихотворений А. Пушкина» 1826 г. тотчас же был анонсирован в журнале со следующим любопытным примечанием редакции: «Наш корреспондент отмечает здесь лишь выход из печати этого собрания стихотворений, которое любители литературы ожидали с большим нетерпением и разбор которого мы будем иметь удовольствие предложить нашим читателям. Мы просим издателя доставить нам эту книгу».¹⁵ Кем книга была послана в Париж, нам неизвестно, но несомненно, что редакция «Обозрения» получила ее довольно скоро и тотчас же могла выполнить свое обещание — дать ее подробный критический разбор. Он появился в т. 34 за 1827 г. (с. 149—150) и представляет большой интерес. По мнению рецензента, скрывшегося под буквою V, прекрасная книга Пушкина при всех своих поэтических достоинствах имеет один недостаток: она не полна, в ней собраны не все лучшие произведения Пушкина: «Нужно пожалеть, что здесь не помещены многие из тех стихотворений, которые мы имели в руках во время нашего пребывания в России *lors de notre séjour. . .*», и особенно те, которые стоили Пушкину многолетней ссылки, мы хотим сказать его „Оды к свободе“, „Деревья“ и нескольких посланий. Тем не менее русская цензура, которую испугало бы самое заглавие „Оды к свободе“, разрешила напечатать в этом собрании несколько таких стихотворений, в которых мы чувствуем склонность поэта к благородной независимости. Назовем для примера послание „Лицинию“; в нем находятся такие места, которые осмрительная цензура *«в подлиннике просто: méticuleuse»* могла бы назвать соблазнительными; таков конец пьесы: „свободой Рим возрос, а рабством погублен“. Могли бы придаться к Пушкину даже за такие стихотворения, как „Птичка“ и „Андрей Шенья“; в первом поэт дарует свободу птичке при наступлении весны и восклицает радостно: „За что на бога мне роптать *«во франц. пер.: je suis content de mon sort: я доволен своим жребием»*, когда хоть

¹³ Revue Encyclopédique, 1825, t. 26, p. 898.

¹⁴ Ibid., 1827, t. 34, с. 535. Это известие основывалось, вероятно, на печатном источнике; оно взято из статьи Вяземского, напечатанной анонимно в «Новостях литературы» (1824, № 8); ср.: Остафьев. архив, т. 3 (примеч.), с. 392—393.

¹⁵ Revue Encyclopédique, 1826, t. 31, p. 406.

одному творению я мог свободу даровать“ — явный намек на освобождение рабов. Во втором он заставляет Андрея Шенье с мужественной силой говорить против деспотизма; на самом деле эти стихи направлены против режима террора, но цензоры подозрительны, а применить стихи легко. . .». Ирония этого отзыва по отношению к русской цензуре не менее замечательна, чем осведомленность его автора; дело в том, что все названные здесь стихотворения Пушкина действительно имели свою цензурную историю, притом не только до своего первого появления в печати; так, стихотворение «Птичка» (1823), уже упомянутое и в «Revue Encyclopédique» (1824, vol. 22, p. 651), вскоре после того как оно опубликовано было в «Литературных листках» Булгарина («На выпуск птички»), действительно вызвало сомнения и подозрительность цензоров,¹⁶ а элегия «Андрей Шенье» (1825) возбудила целое дело, следствие по которому еще далеко не было закончено к моменту выхода в свет французского журнала: как известно, оно прекращено было в Государственном совете лишь в июле 1828 г. постановлением учредить за Пушкиным секретный надзор.¹⁷

Трудно сказать, какую роль в отношениях к Пушкину Николая I и жандармских властей сыграли отзывы о нем в иностранных журналах и книгах, аналогичные только что приведенному: думается, однако, что роль эта была немалой. Несомненно здесь, что иностранцы-путешественники, побывавшие в России, — французы и англичане, — печатая рассказы о Пушкине в своих путевых воспоминаниях, нисколько не стеснялись в разоблачении истинных отношений Пушкина к русскому правительству и тем самым достаточно повредили Пушкину во мнении двора и аппарата власти. Приведем лишь несколько относящихся сюда примеров. Англичанин Э. Мортон, побывавший в России в 1827—1829 гг. и слышавший здесь о Пушкине, упоминает о нем прежде всего как об авторе «Оды к свободе», за которую поэт будто бы даже был сослан в Сибирь;¹⁸ отзыв другого англичанина, Гренвиля, сдержаннее и достовернее, но и здесь говорится о неудовольствии, которое поэт возбудил у царя своими пламенными революционными стихами. Приведем этот отзыв, так как он еще не отмечался в пушкинской литературе: «Имя Александра Пушкина, русского Байрона, вероятно, хорошо известно большинству английских читателей.»¹⁹

¹⁶ См. об этом: Литературные портфели. Пгр., 1923, т. 1, с. 56—57.

¹⁷ Щеголев П. Е. Пушкин: Очерки. СПб., 1912, с. 301 и след.

¹⁸ Morton E. Travels in Russia and a residence at St.-Petersburg and Odessa. London, 1830, p. 68—69.

¹⁹ Эти слова нуждаются в ограничении; в конце 20-х гг. Пушкин был еще мало известен в Англии. Одна из ранних заметок о нем, сделанная на основании статьи А. А. Бестужева в первой книге «Полярной звезды» на 1823 г., помещена в «Westminster Review», 1824, № 1; более обширные сведения о Пушкине даны в статье «Russian Literature», написанной по по. оду французской антологии Дюпре де Сен Мора (The Foreign Quarterly Review, 1827, vol. 1, p. 595—628); эту статью мог иметь в виду и Гренвиль, так как одно из приведенных им известий, притом ошибочное, о якобы переведенном Пушкиным «Короле Лире» совпадает с известием «Quarterly Review» (p. 624—

Свою литературную деятельность он начал четырнадцати лет, будучи тогда студентом императорского лицея, а в возрасте девятнадцати лет он написал свою прославленную поэму „Руслан и Людмила“, по своей красоте превосходящую все, что до того времени напечатано было в России. С тех пор он написал много других произведений, несмотря на свои двадцать девять лет. Мои читатели, без сомнения, знакомы с тем временным неудовольствием, которое этот юный и пылкий поэт возбудил в высшем свете до вступления на престол имп. Николая своей „Одой к свободе“». ²⁰

Из всех отзывов этого рода в особенности один должен был вызвать серьезную тревогу Пушкина. В 1826 г. в Россию приехал французский журналист Ансло. Пушкин, своевременно предупрежденный о том, что заезжему гостю готовится торжественная встреча в Петербурге, просил П. А. Вяземского: «Овладей этим Lancelot (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам Отчественной Словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. . .» (XIII, 279). Пушкину становится досадно, что иностранные путешественники зачастую являются в России свидетелями унижительных явлений тогдашней действительности — рабства и барского самодурства в первую очередь: «Русской барин кричит: Мальчик! забавляй Гекторку (датского кобеля). Мы хотим и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. Все это попадает в его журнал и печатается в Европе — это мерзко. Я, конечно, презираю отечество сое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет с мною это чувство» (XIII, 280 — письмо от 27 мая 1826 г.). Слова эти в высокой степени знаменательны: они объясняют нам причины обостренного интереса Пушкина к иностранным отзывам о России, в частности и о русской литературе. «Овладесть» Ансло, по совету Пушкина, Вяземскому не удалось. Легкомысленный и поверхностный наблюдатель, Ансло сделал ряд слишком поспешных выводов и многое в русской жизни понял превратно; тем не менее благодаря услужливости или доверчивости окружавших Ансло русских знакомцев французскому литератору удалось узнать многое такое, что ему, по мнению Пушкина, вероятно, не должно было знать. Он верно схватил многие противоречия русской жизни той эпохи, правильно подметил многие стороны действительности и, между прочим, дал оценку русской литературе. Все это было изложено им в книге «Шесть месяцев в России», выпущенной в 1827 г. В легком очерке русской литературы сочувственно был здесь упомянут и Пушкин; в другом месте книги Ансло высказал сожаление, что на обеде, данном в его честь петербургскими литераторами, он не видел Пушкина, которого «тяжкие промахи» были причиной

625); здесь сказано даже, что Пушкин будто бы «начал свою литературную деятельность» этим переводом («Pushkin. . . began his literary career by a translation of Shakespeare's King Lear»). Впрочем, далее говорится о поэме «Людмила» (his poem of Ludmila) и «Кавказском пленнике».

²⁰ Granville A. B. St.-Petersburg: A journal of travels, to and from that capital. London, 1828, vol. 2, p. 244—245.

изгнания этого «молодого и талантливое поэта» в глубь отдаленной губернии; в качестве же образца стихотворений Пушкина Ансло не задумался поместить прозаический персвод «Кинжала», сопроводив его указанием, что ему не без труда удалось раздобыть себе список этого ненапечатанного стихотворения, которое отличается «республиканским фанатизмом» и может служить примером тех идей, которые бродят в умах русской молодежи. Эти идеи, по словам Ансло, «могли бы привести к преступлению целое поколение», если бы не «мудрость монарха», установленная которым правительственная система умеряет общественную экзальтацию²¹. Легко представить себе, как взволновали Пушкина эти строки! Быть может, за счет этой тревоги нужно отнести известный отзыв его о книге Ансло в «Северных цветах на 1828 г.», где Пушкин пишет: «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра и еще не игранный и не напечатанный . . . Забавная словесность!» (XI, 54). В этих словах сквозит и действительное сожаление о бедности русской литературы, подмеченной иностранцем наблюдателем, но в то же время и замаскированный упрек иностранцу за опубликование перевода не напечатанного в России стихотворения Пушкина. Другая форма возражения Ансло со стороны Пушкина едва ли была ему удобна. Известно, впрочем, что Пушкин не смог обойти вниманием книгу «купеческого консула Фонтанье» «Путешествия на восток, предпринятые по поручению французского правительства» (1829),²² в которой содержится ироническое упоминание о Пушкине и о «сюжете не поэмы, а сатиры», который Пушкин будто бы нашел во время своего пребывания в действующей армии на Кавказе. Вполне прав Ю. Н. Тынянов, когда он полагает, что «в значительной мере и самое создание и опубликование» «Путешествия в Арзрум», а также напечатание предисловия к этому произведению вызваны появлением книги Виктора Фонтанье.²³ От других «залетных путешественников», чем-либо заслуживших его неудовольствие, Пушкин иногда отделялся иначе — стихом,²⁴ острым словом;

²¹ Anselot J. A. Six mois en Russie. Paris, 1827, p. 306—307. Книга была в библиотеке Пушкина. Французский текст указанного места полностью приведен у Б. Л. Модзалевского: Пушкин. Письма, т. 2, с. 160—161; здесь и литература об Ансло.

²² Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 9—10, № 919.

²³ Тынянов Ю. Н. О «Путешествии в Арзрум» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 2, с. 63—64. См. также статью Б. Казанского «Разговор с англичанином» (там же, с. 302—314), обратившего внимание на книгу Френкленда «Narrative of a visit to the courts of Russia and Sweden» (London, 1832; см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина, № 980), в которой есть рассказ о трех встречах автора с Пушкиным в Москве в мае 1831 г.

²⁴ «Евгений Онегин», гл. VIII. С. Глинка (Англичанин о Пушкине зимою 1829—1830 г. // Пушкин и его современники. Л., 1927, вып. 31—32, с. 105—

но к началу 30-х гг. европейская литература о Пушкине настолько выросла, что следить за ней становилось трудно, а тем более отвечать на «неприличные» выходы или нескромные разоблачения европейских журналистов; обезопасить себя от них Пушкин не мог, а вступать в печатную полемику — тем более. Так год за годом распространялась в западной литературе молва о нем как о мятежном поэте, антиправительственные стихи которого для иностранцев представляли нередко гораздо больший интерес, чем его прочие произведения. А между тем все сильнее и сильнее обострялись его отношения с III отделением, шеф которого, нужно думать, был прекрасно осведомлен относительно того, что думали о Пушкине его западные современники. Даже стихи «На взятие Варшавы» и «Клеветникам России», вызвавшие огромный резонанс в полнофильской литературе Европы, скорее ухудшили, чем улучшили его отношения с Бенкендорфом и лишней раз способствовали укреплению его устойчивой репутации мятежника: вспомним историю с Лелевелем, приписавшим Пушкину в одной из своих речей революционные строфы, что тотчас же вызвало отклик во французской прессе.²⁵ Укажем еще, что появление «Полтавы» вызвало большую английскую статью 1832 г. под заглавием «Пушкин и Рылеев», много раз повторенным в заголовках страниц; в этой статье дано сопоставление «Полтавы» с «Войнаровским».²⁶

Таким образом, различные причины вызвали у Пушкина большое любопытство к иностранным отзывам об его творчестве; это любопытство определяла надежда на справедливую и заслуженную оценку творчества крупнейших русских писателей, не только его самого (вспомним его статью о предисловии Лемонте к переводу басен Крылова на французский и итальянский языки или слова в письме к А. А. Бестужеву от начала июня 1825 г.: «Иностранцы нам изумляются — они отдают нам полную справедливость. . .» (XIII, 179)). В этом любопытстве известную роль должны были сыграть интерес к европейскому суждению, не стесненному «чопорной дурой» — российской цензурой, огромное внимание к европейской литературе и критике вообще. Однако Пушкину еще и потому необходимо было знать отзывы о себе европейской печати,

110) бездоказательно, по нашему мнению, относят эту строфу к английскому путешественнику Томасу Рейксу, описавшему встречу с Пушкиным в своих воспоминаниях о поездке в Петербург (R a i k e s T. A visit to St.-Petersburg in the winter of 1829—1830. London, 1838). Известный лондонский денди и знакомец Байрона (W u r o n. Poetry / Ed. Coleridge, vol. 1, p. 476, 563), Томас Рейкс должен был представлять для Пушкина гораздо больший интерес. См. о нем: Dictionary of National Biography. London, 1896, vol. 47, p. 170; Я ц е в и ч А. Г. Пушкинский Петербург. Л., 1935, с. 412—413.

²⁵ П у ш к и н. Дневник. М., 1923, с. 399—401.

²⁶ Pushkin and Rylaeev: The Foreign Quarterly Review. London, 1832, vol. 9, p. 398—418. К этой любопытной статье, не замеченной библиографами, я предполагаю вернуться в особой работе (несколько подробнее об этой статье говорится в монографии: А л е к с е е в М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII—первая половина XIX в.) // Лит. насл., 1982, т. 91, с. 228, 229. — *Ред.*).

что иные из них затрагивали его личные интересы, вторгались в слишком интимные стороны его жизни или же грозили осложнениями отношений к нему русской власти. Вспомним характерные слова Пушкина в письме к П. А. Плетневу о «Борисе Годунове» тотчас по выходе его в свет (7 января 1831 г.): «Жду переводов и суда немцев, а о французях не забочусь. Они будут искать в Борисе политических применений к Варшавскому бунту, и скажут мне как наши: „Помилуйте-с. . .“» (XIV, 142). На деле, однако, порою очень и очень приходилось «заботиться» об этих критических отзывах, ибо они разглашали то, о чем знали лишь близкие друзья поэта и о чем он вовсе не намерен был доводить до сведения правительства. Быть может, именно иностранные статьи и имел в виду Жуковский, когда он хотел оправдать уже мертвого Пушкина от возводимых на него обвинений и писал Бенкендорфу: «По старому, один раз навсегда укоренившемуся предубеждению, говоря о Пушкине, все указывают на Оду ко свободе, на Кинжал, написанные им в 1820 г. . .».²⁷ Европейская критика 20—30-х гг., в первую очередь французская, уделяла внимание русской литературе не ради нее самой, но как выражению сложной общественной борьбы, происходившей в России. Это Пушкин также понимал лучше многих своих современников.

3

О том, что Пушкин интересовался европейскими суждениями о себе как о поэте и человеке, свидетельствует нам и его библиотека. Помимо уже указанных выше книг Ансло, Фонтанье, Френкленда здесь находилось немало других изданий, в которых упоминалось его имя; так, например, на полках этой библиотеки стоял «Энциклопедический лексикон» лейпцигского издания Брокгауза (1830), в 8-м томе которого была помещена довольно обстоятельная, но со многими ошибками биография «графа Александра Пушкина», «гениального русского поэта».²⁸ Был здесь итальянский перевод «Кавказского Пленника», сделанный неким Антонио Роккиджани в неаполитанском издании 1834 г.,²⁹ книга английского писателя Джорджа Борро (George Borrow, 1803—1881) «Таргум» (1835), содержащая в себе первые английские переводы «Черной шали» и «Песни» из «Цыган»;³⁰ последняя, впрочем, хотя и написана ан-

²⁷ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 2-е изд. Л., 1928, с. 116.

²⁸ Allgemeine deutsche Real-Encyclopedie für Gebildeten Stände: (Conversations-Lexikon). Leipzig, Bd 8, S. 937; Пушкину же посвящено несколько строк на с. 492 9-го тома того же издания, в очерке русской литературы (Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина, № 535).

²⁹ Il prigioniero del Caucaso: Poematto Russo di Alessandro Pouschkine / Trad. in ital. du Antonio Rocchigiani. Napoli, 1834 (Библиотека Пушкина, № 1282).

³⁰ Targum, or Metrical Translations from thirty Languages etc. SPb., 1835. Описавший эту книгу Б. Л. Модзалевский (№ 666) не заметил, что

гличанином, около двух лет прожившим в России (1833—1835) и, вероятно, лично знакомым с Пушкиным, но издана в Петербурге. Большинство переводов на различные языки своих произведений, изданных в пределах современной ему России, Пушкину были несомненно известны, хотя далеко не все из них находятся в настоящее время в его библиотеке. Следить за европейской литературой о себе было много труднее, но в разыскании всех этих разнообразных источников Пушкину должны были оказывать существенную помощь его близкие друзья — П. А. Вяземский, С. А. Соболевский, в особенности же А. И. Тургенев, этот неутомимый странствователь по Европе, лично знавший и Гете, и Вальтер Скотта, и Ламартина, и многих других знаменитостей европейского литературного, научного, политического мира. О том, как увеличилась европейская известность Пушкина, ему лишний раз напоминал П. Я. Чаадаев в письме из Москвы в 1829 г.: «Последнее время везде стали читать по-русски: вы знаете, что и Булгарин переведен и поставлен рядом с Жуи; что касается вас, то нет ни одной книжки, в которой бы не шла о вас речь. . .».³¹

Любопытно, что от многих друзей Пушкина или от его русских почитателей исходят и многие попытки познакомить с ним западно-европейских читателей. С одной стороны, это были переводчики — профессионалы или дилетанты, бравшиеся за трудное дело перевода из лучших побуждений, но не всегда с ним справлявшиеся. Имена их известны: назовем здесь хотя бы Е. Ф. Розена, переведшего «Бориса Годунова» на немецкий язык «с рукописи» в 1831 г. и, по его собственным словам, заслужившего «восторженную благодарность автора» и «хвалу Жуковского»,³² кн. Н. Б. Голицына, переведшего «Клеветникам России»; в 1836 г. дружеским письмом, светски учтивым, Пушкин благодарил переводчика за «несравненный» перевод этого его стихотворения, но тут же прибавлял, что, по его мнению, «ничего нет труднее перевода русских стихов на французские» (XVI, 184).³³ В числе великосветских знакомых

в том же переплете находится отдельная брошюра (того же автора, но без имени переводчика): *The Talisman: From the Russian of Alexander Pushkin. With other pieces.* Spb., 1835. Здесь помещены в английский стихотворный переводе «Талисман» Пушкина (р. 3—4) и его же баллада «Русалка» (р. 5—7).

³¹ Соч. Пушкина. Переписка: (1827—1832) / Под ред. и с примеч. В. И. Саитова. СПб., Изд. Акад. наук, 1908, т. 2, с. 91.

³² Рус. архив, 1878, № 5, с. 47. Об этом переводе сообщалось и в заметке «Литературной газеты» от 26 мая 1831 г., № 30, однако перевод этот не был напечатан; возможно, что Е. Ф. Розеном переведена была даже не вся трагедия (т. IV, с. 164). Несколько стихотворений Пушкина в немецком переводе того же Розена были им помещены в одной из ревельских газет.

³³ Соч. Пушкина. Переписка: (1833—1837) / Под ред. и с примеч. В. И. Саитова СПб., Изд. Акад. наук, 1911, т. 3, с. 406. Впоследствии Н. Б. Голицын перевел стихами «Бахчисарайский фонтан». «В этом переводе легкий пушкинский ямб заменен вольными стихами, но многие красоты подлинника переданы чрезвычайно верно», — писали в «Библиотеке для чтения» (1839, т. 24. Лит. летопись, с. 2). О Н. Б. Голицыне и его отношениях к Пушкину см. в моей статье «Русские встречи и связи Бетховена» (Русская книга о Бетховене. М., 1927, с. 92—107).

Пушкина было, вообще говоря, много лиц, занимавшихся переводами его произведений; многие из этих переводов не увидели света,³⁴ другие, напротив того, оказались на Западе, распространялись здесь в списках, сообщались заинтересованным лицам и попадали в журналы. Напомним переводческую деятельность «франко-русского поэта» кн. Элима Петровича Мещерского (1808—1844),³⁵ более позднюю поэтическую деятельность кн. Анны Давыдовны Абаменек (1814—1889), в замужестве Баратынской (в альбом которой Пушкин написал стихотворение «Когда-то помню с умиленьем»), на склоне лет напечатавшей прекрасные английские переводы ряда стихотворений Пушкина,³⁶ и мн. др.³⁷

Рядом с переводчиками шли русские истолкователи и критики Пушкина, чаще всего анонимно выступавшие со статьями о нем в европейских журналах. Мы уже упоминали о русских сотрудниках «Энциклопедического обозрения», о статьях В. К. Кюхельбекера в «*Conservateur Impartial*»; любопытны многократные попытки кн. П. А. Вяземского выступить со статьями о текущей русской литературе и Пушкине во французских журналах; к сожалению, эти его статьи, несомненно анонимные, если они существовали, до сих пор еще не разысканы и не определены;³⁸ изредка выступал со своими статьями в европейских журналах также А. И. Тургенев. Э. Мещерский начал свою критическую деятельность во Франции в начале 30-х гг.; он сотрудничал во многих французских столичных и провинциальных изданиях (например,

³⁴ «Мы слышали от одной дамы, коротко знакомой с кн. Прасковьей Андреевной Голицыной, что она, любя поэзию, перевела несколько глав „Евгения Онегина“ на французский язык. Говорят, что Пушкин высоко ценил этот поэтический перевод, который, однако же, по смерти княгини остался в рукописи» (Иллюстрация, 1846, т. 2, № 4, с. 57—58). См. еще статью П. Е. Щеголева «Два перевода „Клеветникам России“» в его книге «Из жизни и творчества Пушкина» (Л., 1931, с. 354—356); Пушкин. Письма / Под ред. Л. Б. Модзалевского, т. 3, с. 429—430.

³⁵ Межов В. И. Puschkiniana, № 3247, 3278, 3284, 3289; Остафьев. архив, т. 3, с. 695—698; Лит. насл., 1932, № 4—6, с. 232—236.

³⁶ См. о ней: Рукою Пушкина. М.; Л., 1935, с. 660; ей принадлежат: *Translations from Russian and German Poets by a Russian lady*. Baden-Baden, 1875 (2-е изд. — 1882).

³⁷ Список переводчиков может быть пополнен на основании кн.: G h e n p a d y G. *Les écrivains franco-russes*. Dresden, 1974, — а также работ В. К. Шульца, В. И. Межова и т. д.

³⁸ При основании в Париже «*Revue Française*» (1828—1830) Гизо заботился о доставлении в журнал статей по русской литературе и, как сообщает А. И. Тургенев брату Николаю Ивановичу, «спросил назвать ему журнал, из коего бы мог он брать известия о русских книгах. Я ничего не мог назвать ему, кроме „*Le Journal de St. Petersburg*“, где изредка бывают литературные статьи, но более суждения, коих Гизо не хочет. Мне пришел на мысль Вяземский, и я обещал ему, что он будет доставлять для *Revue* именно такие статьи, каких Гизо желает, ибо и сам Вяземский точно о том же просит меня и Толстого» (Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, с. 376—377). Кажется, впрочем, сотрудничество Вяземского в «*Revue Française*» не состоялось, и вместо того Тургенев хлопотал о статьях Вяземского в «*Bibliothèque Universelle*»; очень вероятно сотрудничество Вяземского также и в «*Revue Encyclopédique*» в конце 20-х гг. (там же. с. 321; Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским. Пгр., 1921, с. 186—187).

в журнале «Le Panorama Littéraire de l'Europe»); в 1830 г. он издал книгу о русской литературе, несомненно известную и Пушкину,³⁹ а в июне 1836 г. Мещерский приезжал из Парижа в Петербург, встречался с Пушкиным, ссужал его книгами⁴⁰ и, вероятно, передавал ему отзывы об его творчестве и своих французских литературных друзей.

В женевском журнале «Bibliothèque Universelle» за 1832 г. появилась, подписанная буквой А, статья под заглавием «Александр Пушкин».⁴¹ Исследователи давно обратили на нее внимание, так как он содержит ряд указаний, о которых могли знать лишь достаточно близкие к поэту лица; высказывались даже предположения, что автор этой статьи стоял «более или менее близко к московскому венеитиновскому кружку».⁴² Мы можем в настоящее время раскрыть аноним: автором статьи является гр. Анастасия Семеновна Сиркур, урожденная Хлюстина, которая в сотрудничестве со своим мужем написала несколько статей о русской литературе; ей же принадлежит более поздняя статья о драме Пушкина «Борис Годунов»;⁴³ по уверению французского биографа Хлюстиной-Сиркур эти статьи ее обратили на себя внимание многих французских журналов. Впрочем, отзывы об этих статьях русских читателей довольно сдержанны; посылая их П. А. Вяземскому, А. И. Тургенев писал, что по ним нельзя судить об особой выскательности французских журналистов, но тут же предлагал своему другу заменить эти опыты «ученой четы» статьями самого Вяземского о русской словесности, которые в том же женевском журнале будут приняты с еще большей готовностью.⁴⁴

Уезжавшие из России иностранцы увозили с собой то личные воспоминания о поэте, то рассказы о нем, слышанные в Петербурге

³⁹ De la Littérature russe. Marseille, 1830; ср. написанный О. М. Сомовым «Разбор речи о российской словесности, читанной в Марсельском Атенею кв. Элимом Мещерским» (СПб., 1831, с. I—IV и 5—67; первоначально в «Лит. газете», 1831, № 6 и 7). Мещерскому принадлежит также изданная анонимом книга «Lettres d'un Russe adressées à M. M. les rédacteurs de la Revue Européenne, ci devant du Correspondant» (Nice, 1832), в которой много говорится о Пушкине.

⁴⁰ Рукою Пушкина. М.; Л., 1935, с. 718—719.

⁴¹ Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles Lettres et Arts / Redigée à Genève, 1832, t. 49, Avril, p. 429—435.

⁴² Розов В. А. Пушкин и Гете. Киев, 1908, с. 429—435.

⁴³ Revue Française et Etrangère, 1837, t. 2, p. 352—393. А. С. Хлюстина-Сиркур была сестрой Семена Семеновича Хлюстина (о соре которого с Пушкиным см.: Бартнев П. И. А. С. Пушкин: Новонайденные его сочинения. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Биографические и критические статьи о нем. М., 1885, вып. 2, с. 73—84. В опубликованной записке к С. С. Хлюстину Пушкин писал 25 мая 1836 г.: «Veuillez de grâce m'envoyer l'adresse de Monsieur de Circourt» (XVI, 28) (Летописи Гос. лит. музея. М., 1936, кн. 1, с. 336—337); муж ее, французский публицист Адольф де Сиркур, был близок к П. Я. Чаадаеву; см. о нем: G h e n n a d y G. Les écrivains franco-russes. Dresden, 1874, p. 8; H u b e r t - S a l a d i n. Le comte Circourt, son temps, ses écrits, son salon, ses correspondances. Paris, 1881; Остафьев. архив, т. 3, с. 635—636.

⁴⁴ Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским, т. 1, с. 135, 186, 467.

и Москве; русские путешественники в Европе разносили по всем странам устные легенды о его поэтической славе. В бумагах В. А. Жуковского, хранящихся в Пушкинском Доме и перешедших сюда из парижского музея А. Ф. Онегина, находится связка писем к Жуковскому Антона Дитриха 1829—1835 гг. Врач-психиатр по профессии, Дитрих был бескорыстным любителем поэзии и искусства, поэтом и переводчиком. Случайно попавший в Россию в качестве врача поэта К. Н. Батюшкова, Дитрих выучился здесь русскому языку, приобрел многих друзей и познакомился с виднейшими представителями русской литературы — Пушкиным, П. А. Вяземским, Жуковским.⁴⁵ По возвращении в Германию долгие годы своей уединенной и сосредоточенной жизни Дитрих много трудился над переводами русских поэтов и поддерживал связи с немецкими литераторами. В большом и содержательном письме Дитриха к Жуковскому из г. Пирны (близ Дрездена) от 15 ноября 1830 г. сообщается много любопытных сведений о пребывании его в Петербурге перед отъездом за границу, о приглашении Вяземского, собиравшегося его познакомить с Крыловым, затем говорится о посещении Дитрихом Гете в Веймаре и беседе с ним о Жуковском; далее Дитрих пишет, что он собирается заниматься переводами русских стихотворений, чтобы не забыть русский язык, и прибавляет: «Пушкин был, к сожалению, слишком занят в Москве мыслями о женитбе и поэтому не исполнил своего обещания послать мне свои стихотворения; для покупки же их у бедного немца не было денег»;⁴⁶ очень вероятно, что Дитрих вспоминал о Пушкине и в беседах своих с Гете, Якобом Гриммом (написавшим предисловие к «Russische Volksmärchen», 1831, Антона Дитриха), Л. Тиком, Уландом и другими своими немецкими знакомцами.

Многие из близких друзей Пушкина несомненно старались сделать известным его имя в Европе: при встречах своих со многими западноевропейскими писателями они не только называли его имя, но и рассказывали о его поэтической славе в России, заботились о возможно более точных переводах его произведений. Мы имеем ряд достоверных свидетельств, что через посредство русских путешественников Пушкиным еще при его жизни интересовались многие крупнейшие писатели Германии, Франции, Италии. По рассказам П. В. Нащокина, записанным со слов его друзей П. И. Бартеневым, «великий Гете, разговорившись с одним

⁴⁵ См.: Соч. К. Н. Батюшкова / Ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1887, с. 303.

⁴⁶ Письмо это не издано; привожу подлинный текст по автографу Пушкинского Дома: «Puschkin war in Moskau leider zu sehr mit Heirathsgedanken beschäftigt und erfüllte darum sein Versprechen nicht mir seine Gedichte zu schicken, und sie kaufen hatte der arme Deutsche nicht Geld genug». Речь идет о книге «Стихотворения А. Пушкина» 1829 г., которая вышла вскоре после отъезда Дитриха из Москвы и продавалась по 10 руб. за том (см.: Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати. М., 1914, с. 71, 75); (см. также: Алексеев М. П. Несколько новых данных о Пушкине и Батюшкове // Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1949, т. 8, вып. 4, с. 369—372. — Ред.).

путешественником о России и слыша о Пушкине, сказал: „Передайте моему собрату вот это мое перо“. Пером этим он только что писал. Гусиное перо великого поэта было доставлено Пушкину. Он сделал для него красный сафьяновый футляр, на котором было <надписано> напечатано: перо Гете, и дорожил им». ⁴⁷ Долгое время достоверность этой легенды оспаривалась, однако сейчас вопрос можно считать решенным в положительном смысле; мы можем назвать и того русского путешественника, который вел с Гете беседу о Пушкине, и точно определить дату этой беседы. Она произошла в сентябре 1827 г.; собеседником Гете был В. А. Жуковский, который и привез Пушкину то перо, о котором рассказывает П. В. Нащокин. Все это удостоверяется письмом пианистки Марии Шимановской к канцлеру фон-Мюллеру, в отрывках напечатанному в одном из томов веймарского издания Гете (1910). Шимановская, хорошо знавшая и Пушкина, и Гете, пишет в этом письме: «Жуковский привез Пушкину, русскому поэту, в подарок перо, которым писал Гете». Гораздо труднее решить, знал ли Гете какие-либо произведения Пушкина. Немецкие переводы из Пушкина к 1827 г. были еще очень малочисленны. По воспоминаниям С. П. Шевырева, относящимся к 1829 г., невестка Гете Оттилия уже знала в это время «Кавказского Пленника» в переводе А. Вульфберта; мог эту книгу знать и великий создатель «Фауста»; достоверно известно, однако, то, что Гете читал изданную в Марселе на французском языке книжечку Э. Мещерского «О русской литературе» (1830), в которой Пушкину уделено было значительное место. Конечно, о Пушкине Гете мог слышать и от многих своих русских гостей. ⁴⁸

С. П. Шевырев сделал Пушкина известным одному из видных итальянских писателей первого тридцатилетия XIX в. Алессандро Манцони (1784—1873). Пушкин интересовался этим писателем; роман Манцони «Обрученные» (1827) он читал во французском переводе около 1830 г. и очень им восхищался; любопытно, что предисловие к «Обрученным» в переводе Павлицева (мужа сестры Пушкина) напечатано было в «Литературной газете» 1830 г. Два года спустя, будучи в Италии, С. П. Шевырев свел знакомство с Манцони и беседовал с ним о Пушкине, о чем и писал С. А. Соболевскому из Милана 20 февраля 1832 г.: «Вчера познакомился с Манцони. Желает узнать кое-что о русской литературе, называл мне Пушкина и Козлова»; ⁴⁹ некоторые произведения

⁴⁷ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым / Вступ. ст. и примеч. М. Цявловского. М., 1925, с. 43.

⁴⁸ Д у р ы л и н С. Н. Русские писатели у Гете в Веймаре // Лит. насл., 1932, № 4—6, с. 350—351. См. также заметку Вейнберга А. Л. «Перо Гете у Пушкина» (Звенья. М.; Л., 1933, сб. 2, с. 67—71); И з м а й л о в Н. Записки Шимановской (Летопись Гос. лит. музея. М., 1936, т. 1, с. 327—332).

⁴⁹ Соболевский — друг Пушкина // Парфенон, 1922, с. 39. В 1835 г. Манцони познакомился с П. А. Вяземским (Полиг. собр. соч. князя П. А. Вяземского. СПб., 1886, т. 10, с. 102), а в 1838 г. — с Жуковским.

этих писателей к этому времени были уже переведены на итальянский язык.⁵⁰

Любопытное известие находим мы также в письме А. И. Тургенева П. А. Вяземскому из Парижа 29 февраля 1836 г.: «Вчера провел я первый вечер у Ламартина. Он просит у меня стихов Пушкина в прозе; стихов переводных не хочет. Я заказал сегодня графу Шувалову перевести, но еще не остановился на выборе пьесы».⁵¹ Не может быть сомнения в том, что это был не первый и не последний случай, когда А. И. Тургенев, столь хорошо известный в литературных кругах Европы, содействовал ознакомлению с Пушкиным своих многочисленных западных друзей.

4

Н. А. Мельгунов писал С. П. Шевыреву из Франкфурта-на-Майне в марте 1837 г.: «Ты обещаешь мне подробное известие о смерти Пушкина. Это происшествие произвело здесь сильное впечатление, и в течение двух или трех недель все газеты, немецкие и французские, были им полны, так что иное я, может быть, знаю обстоятельнее, чем вы».⁵² Эти слова справедливы: действительно, если в русской периодической печати смерть Пушкина не нашла сколько-нибудь значительного отклика, то в иностранных газетах и журналах истории дуэли и смерти Пушкина уделено было довольно значительное внимание. Правда, западная пресса интересовалась этим событием прежде всего как крупным великосветским скандалом, но во многих статьях и корреспонденциях не случайно давалась высокая оценка трагически погибшего русского поэта, да и разоблачение направленной против Пушкина великосветской интриги представляло большое значение. Ряд этих статей сочувственно встречен был и в России, — в кругах, близких к Пушкину. А. С. Хомяков, например, писал Н. М. Языкову в июне 1837 г.: «Какова жалкая судьба Пушкина! Убит дрянью, и дрянью Полевой в дрянной Библиотеке вызывает на какую-то дрянную подписку в честь покойника. . . Говорят, что иностранные газеты писали о Пушкине хорошо и много; не знаю, правда ли, а это было бы утешительно».⁵³ Впрочем, тут же Хомяков прибав-

⁵⁰ Итальянец граф Риччи, женатый на русской, живший некоторое время в Москве, занимался переводами русских поэтов на итальянский язык; об его переводе «Пророка» Пушкина с похвалой отозвался С. П. Шевырев в «Московском вестнике» (1828, 10, № 13, с. 6). Ср.: Остафьев. архив, т. 3, с. 388. О переводах из Пушкина Чезаре Бочелла см. у П. Е. Щеголева (Из жизни и творчества Пушкина. Л., 1931, с. 162—163). Не забудем также о роли «Римской виллы» Зинаиды Волконской.

⁵¹ Остафьев. архив, т. 3, с. 301. Уже месяцем раньше Вяземский послал Тургеневу из Петербурга стихотворение Кольцова, которое просил перевести и передать Ламартину «в ожидании стихов Пушкина» (там же, с. 289).

⁵² Рус. старина, 1898, ноябрь, с. 321.

⁵³ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. СПб., 1904, т. 8, с. 88.

лял, что «Франкфуртский журнал говорил об нем скверно, и это весело, как ругательства Булгарина и Библиотеки». Речь, вероятно, идет о небольшом некрологе Пушкина из «Journal de Francfort» 1837 г., выписка из которого сохранилась, между прочим, в бумагах С. Л. Пушкина — отца поэта.⁵⁴ Здесь говорится о «сенсации», которую в Петербурге произвела смерть «знаменитого русского поэта Пушкина», упоминается, что он сделался «неизбежной» жертвой тех «несчастных предрассудков относительно чести», которые господствуют в обществе; далее в весьма почтительных выражениях говорится о заботах императора относительно семьи поэта. Все это, однако, нисколько не объясняет нам злобного «веселья» Хомякова и его язвительной ссылки на Булгарина; разгадку их следует, по-видимому, искать в том, что «Journal de Francfort» служил в руках русского правительства средством воздействия на европейское общественное мнение и помещал на своих страницах статьи и сообщения, продиктованные из Петербурга или же прямо написанные русскими чиновниками;⁵⁵ знал, вероятно, об этом и Хомяков. Напомним, что еще в 1834 г. Пушкин был сильно взволнован листком этой самой газеты, присланным гр. Г. А. Строгановым, в котором помещена была статья — нужно думать, именно внушенная из Петербурга, — представляющая собою резкую и бестактную защиту Пушкина против «выдумки» польского патриота и историка И. Лелевеля, приписавшего ему какие-то антиправительственные строфы; как известно, Пушкин не только это отметил в своем дневнике (11 апреля 1834 г.), но и переписал тут же взволновавшую его статью. На этот раз франкфуртский журнал в некрологической заметке о Пушкине говорил больше о «милостях» Николая, чем о самом поэте, и это, конечно, не случайно; другие известия, помещенные в иностранной прессе, больше останавливались на причинах дуэли и определеннее называли истинных виновников гибели Пушкина.⁵⁶

⁵⁴ Модзалевский Б. Л. Из бумаг С. Л. Пушкина. СПб., 1908, с. 83—85. Своей рукой С. Л. Пушкин сделал выписку также из другой немецкой газеты — «Preussische Staats-Zeitung» (1837, № 79).

⁵⁵ Дневник Пушкина. М.; Пгр., 1923, с. 400—401.

⁵⁶ О Пушкине много писали во французских, английских и немецких газетах — в первых, насколько мы можем судить, обстоятельнее, чем в последних. Между тем более или менее полно обследована именно немецкая пресса, в которой, правда, оказалось довольно много перепечаток (Веневитинов М. Некрологи Пушкина в немецких газетах 1837 г. // Рус. старина, 1900, № 1, с. 67—95 и отд. отт.). П. Е. Щеголев, выражая справедливое сожаление, что до сих пор еще не существует «не только обзора, но и простого перечня» всех этих статей и сообщений, перепечатал в дополнение к материалам, собранным у М. Веневитинова, два интересных некролога Пушкина — из французской газеты «Journal des Débats» и английской «The Morning Chronicle» (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 2-е изд. Л., 1928, с. 410—417); Иностранные газеты 1837 г. о смерти Пушкина). В свою очередь укажем на следующие не отмеченные ранее заметки о Пушкине, которые удалось разыскать (с помощью Т. П. Соколовой) в ГИБ: Chronique de Paris: Journal politique et littéraire, 1837, t. 4, N 10, p. 159; Le Moniteur Universel, 1837, N 70, Samedi, 17 mars, p. 532; Gazette de France 1837, 5 mars, p. 3; 6 mars, p. 3; 17 mars, p. 3.

Любопытно, что в числе европейских литераторов, откликнувшихся на смерть Пушкина, было несколько лиц, лично его знавших. Так, в парижской газете «Время» («Temps») за подписью «G. Lam. . .» появилась статья, автор которой знаком был с Пушкиным в Кишеневе и в Одессе;⁵⁷ в парижском «Journal des Débats» за первые месяцы 1837 г. среди четырех фельетонов, посвященных Пушкину, один принадлежит Леве-Веймару (1801—1854), который близко познакомился с поэтом при своем посещении Петербурга в июне—июле 1836 г.;⁵⁸ как известно, именно для этого французского писателя Пушкин незадолго до своей смерти перевел на французский язык несколько русских народных песен.⁵⁹

Фельетон Леве-Веймара, написанный в теплых лирических тонах, обратил на себя внимание друзей Пушкина; так, он понравился В. Ф. Одоевскому, который нашел его «довольно справедливым»;⁶⁰ по-видимому, статью эту хотели перевести на русский язык и напечатать в одном из журналов, но к этому встретились затруднения; по крайней мере П. А. Вяземский в письме к А. О. Смирновой горько жаловался на запрет русским писать о Пушкине и вспоминал о фельетоне Леве-Веймара: «С Пушкиным точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению. Статья в „Журнале Дебатов“ Леве-Веймара не пропущена, хотя она довольно справедлива и писана с доброжелательством, а клеветы пропускаются».⁶¹

Смерть Пушкина нашла отклик и в ежемесячных «толстых» журналах. Так, в парижском «Revue des Deux Mondes» (1837, t. 11, aout, p. 345—372) появилась обширная неподписанная статья «Пушкин» (автором ее является Шарль Бодье),⁶² где русский поэт сопоставляется с крупнейшими писателями Запада, с Байроном в первую очередь; Пушкин, говорится здесь, принадлежал к числу тех людей, которые напоминают «могучие дубы, возросшие на горных высотах; они ищут бури, для того чтобы показать нам, как глубоки их корни и как непоколебимы их вершины»; многое в Пушкине — человеке и поэте — восхищает французского критика, и он, не обинуясь, предсказывает бессмертие пушкинским стихам.

Вскоре в Париже в журнале «Глобус» («Le Globe», от 25 мая 1837 г.) за подписью «Друг Пушкина» появилась статья о нем

⁵⁷ Этот некролог, по указанию М. Веневитинова (см. примеч. 56, с. 84—85), послужил источником двух немецких статей о Пушкине 1837 г. в «Blätter für literarische Unterhaltung» (N 92) и в журнале «Дидакалия». Автора статьи в «Temps» следует искать среди французских путешественников по России, однако соображения Веневитинова, будто под псевдонимом G. Lam. . . скрывался одесский знакомец Пушкина — Фурнье, неубедительны.

⁵⁸ П. Е. Щеголев в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина» (с. 415—417) перепечатал его полностью.

⁵⁹ Рукою Пушкина, с. 611—624.

⁶⁰ Рус. старина, 1880, август, с. 804.

⁶¹ Рус. архив, 1888, N 2, с. 303.

⁶² Авторство Ш. Бодье (Ch. Baudier) раскрыто в «Table générale» «Revue des Deux Mondes».

Адама Мицкевича, полная искреннего горя, восхищения и преклонения перед величайшим из русских поэтов; здесь Мицкевич, между прочим, пишет, что «если бы не существовало произведений Байрона, то Пушкин был бы провозглашен первым поэтом своего времени». ⁶³ Мы знаем сейчас, что, говоря так, Мицкевич выражал не только свое личное мнение; в донесениях европейских дипломатов из России, в письмах западных писателей 1837 г. то и дело мелькают такие отзывы о Пушкине, в которых он приравнивается к крупнейшим писателям своего века.

Английский писатель и переводчик Пушкина Джордж Борро, о котором мы уже упоминали, узнав в Лондоне о смерти Пушкина, вскоре после своего возвращения из Испании пишет своему петербургскому другу датчанину Джону Гасфельду (20 ноября 1838 г.): «С печалью услышал я о смерти Пушкина: поистине это потеря не только для России, но и для всего мира» («I was grieved to hear of the death of Pushkin. Truly he was not only a loss of Russia but to the entire world»); еще три года спустя Борро напоминает тому же корреспонденту (18 июля 1841 г.): «Когда будете мне писать, не забудьте о положении литературы в России; нашелся ли кто-нибудь, чтобы заменить бедного Пушкина? Думаю, что нет; такие люди не появляются в каждом году! . . .» («When you write to me forget not to mention the state of literature in Russia; have you found any one to replace poor Pushkin? I suppose not; such men do not arise every year! . . .»). ⁶⁴

⁶³ См. перепечатку этой статьи с комментариями в кн.: *Mélanges posthumes d'Adam Mickiewicz / Publ. avec introd., préf. et notes par Ladislas Mickiewicz. 1-ère série. Paris, 1872, p. 295—332; А. К. Виноградов (Мериме в письмах к С. А. Соболевскому. М., 1928, с. 256)* полагает, что эта статья Мицкевича явилась результатом встречи поэта с С. А. Соболевским в Париже в апреле 1837 г.: «Соболевский и здесь, как в статье Мериме, посвященной Пушкину, оказался не только источником сведений, но источником энтузиазма в отношении к Пушкину». Не отрицая первого предположения (об источнике некоторых сведений Мицкевича о последних годах жизни Пушкина), позволительно усомниться во втором. Впрочем, в лекциях о славянских литературах, читанных Мицкевичем в Париже в 1840—1844 гг., в эпоху его «товьянизма» и религиозной экзальтации, сквозит уже иное отношение к Пушкину польского поэта.

⁶⁴ Из интереснейших писем Борро к Джону Гасфельду 1836—1846 гг. цитаты приводятся мною по подлинникам, хранящимся в ГПБ в Ленинграде (собр. П. Н. Тиханова, № 606). В одном из этих писем, присланном Гасфельду в Петербург из Мадрида (23 мая 1836 г.), Борро, между прочим, пишет: «Вот уже несколько дней, как я получил от вас два письма с автографами Пушкина и Жуковского («Your two letters containing the autographs of Pushkin and Dziukorhsku»); сердечно благодарю вас за беспокойство, которое вы себе причинили, добывая их для меня; я немедленно удовлетворил бы Вашу просьбу, сообщив вам об их получении, но мне не представлялось случая переслать письмо через Англию, а писать прямо в Россию <из Испании> я опасался, так как оно могло бы затеряться; поэтому очень прошу вас простить меня; не приписывайте мое молчание забывчивости или невниманию». Оказывается, таким образом, что автографы Пушкина и Жуковского пересланы были Гасфельдом на имя Борро в Испанию. Из Петербурга они должны были быть отправлены не ранее начала 1836 г., так как Борро в Испанию приехал лишь в конце 1835 г., вскоре по отъезде своем из Петербурга.

Укажем еще на один пример восторженного отношения к Пушкину европейского дипломата. Саксонский посланник при русском дворе барон Карл-Теодор Лютцероде, бывший в Петербурге в момент дуэли Пушкина, хорошо знавший русский язык, любивший русскую литературу и сам Пушкина переводивший (Лютцероде, между прочим, перевел «Капитанскую дочку»), пишет в донесениях саксонскому правительству в Дрезден, что после смерти Гете и Байрона Пушкину принадлежало первое место в мировой литературе⁶⁵ Число подобных отзывов можно было бы значительно увеличить.

Смерть Пушкина очень усилила внимание к нему европейских читателей. Вскоре на Западе начали появляться более цельные, продуманные и подробные характеристики русского поэта, на первых порах значительно обязанные русским его почитателям, путешественникам, общавшимся с представителями литературы в Европе. Н. А. Мельгунов рассказывает в своей брошюре «История одной книги»: «В начале 1837 г. я жил по болезни в Ганау, небольшом городке близ Франкфурта-на-Майне. В числе навещавших меня знакомых был также и г. Кениг, известный немецкий литератор.⁶⁷ Смерть Пушкина, случившаяся в это время, сильно

Петербургский корреспондент Борро, которому он был обязан получением этих автографов, — датчанин Джон (или Иван Петрович, как его называли в России) Гасфельд, занимавшийся в Петербурге преподаванием английского языка; он был близок к Н. И. Гречу. См. о нем: Греч Н. И. Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии. СПб., 1847, с. 7, 17; СПб. ведом., 1840, № 212, с. 970 и № 242, с. 1102; Б < у р н а ш е в > Б. Из воспоминаний петербургского старожила. // Заря, 1871, апрель, с. 9, 12 (о Борро, Гасфельде и текстах автографов — записок Пушкина и Жуковского — см. в кн.: Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи // Лит. насл. М., 1982, т. 91, гл. VII. — *Ред.*).

⁶⁵ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, с. 232 и след.; Остафьев. архив, т. 3, с. 610. В Германии Лютцероде слыл знатоком русского языка; см.: Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense. Leipzig, 1862, Bd 4, S. 107; Рус. старина, 1878, т. 23, с. 147. См. также приводимый у Щеголева (указ. соч., с. 236) отзыв о Пушкине Зеебаха (Albin Leo), переводчика русских писателей на немецкий начала 40-х гг. О нем см.: Греч Н. И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб., 1839, т. 1, с. 5—6.

⁶⁶ Мельгунов Н. А. История одной книги. М., 1839 (Прилож. к т. 3 «Отечественных записок» за 1839 г.), с. 5—6.

⁶⁷ Генрих Кениг (1790—1869), писатель и критик, был в ту пору известен главным образом как исторический романист; он принимал участие в освободительном движении и был депутатом оппозиции в Гессенском ландтаге. В России 30-х гг. он пользовался некоторой популярностью благодаря пропагандировавшему его «Московскому наблюдателю». Здесь появился ряд его статей о текущей немецкой литературе, в том числе и те, которые специально были написаны им для русского журнала (О теперешнем состоянии немецкой литературы // Моск. наблюдатель, 1836, ч. 7, с. 465—501, с воспроизведением подписи Кенига *по-русски*, стоявшей на оригинале его статьи; ср.: там же, 1837, ноябрь, кн. 2, с. 146—179 и др.). Характеристику Кенига см. также у С. П. Шевырева (Отеч. зап., 1839, т. 3, с. 110). Для характеристики отношения Кенига к Мельгунову и русским писателям важны также его воспоминания: Aus dem Leben. Stuttgart, 1840, 2, S. 155—232 («Die Russen in Deutschland»).

настроила немцев на литературу русскую. Г. Кениг желал узнать некоторые подробности о жизни и сочинениях Пушкина. Отметив на бумаге слышанное от меня и дополнив изустные известия печатными из немецких и французских журналов, он составил впоследствии статью, которая была помещена им в одном периодическом издании». Вскоре эта статья, в обработанном виде, составила центральную главу книги Кенига «Русские литературные очерки» («Literarische Bilder aus Russland»), вышедшей в Штуттгарте в том же 1837 г. и украшенной портретом Пушкина. Кениг дает здесь биографию Пушкина, действительно основанную частично на газетных известиях 1837 г. (ср. его фразу: «Обстоятельства дуэли и смерти Пушкина, описанные в газетах, еще у всех свежи в памяти»), довольно подробно останавливается на южных поэмах, «Борисе Годунове», «Полтаве» и т. д., сопровождая их пересказ критическими замечаниями, но говорит и о таких произведениях, о которых он мог слышать только от своего русского собеседника, например о «Гавриилиаде». Кениг дает особенно высокую оценку «Борису Годунову», очень хвалит также и «Полтаву», и прозу Пушкина — «томик повестей, в которых сюжеты, заимствованные из современной русской жизни, представлены с поразительной ясностью и истиной, в высшей степени увлекательно», и приходит к заключению, что Пушкин с большой проницательностью постиг и особенности национального языка, и, «главное, глубже своих предшественников заглянул в русскую жизнь». С поэтическим тактом изучив сказки, песни, обычаи и поговорки своей страны, он своей фантазией созидал не какие-нибудь воздушные существа, идеализировал не общие отвлеченные понятия; нет, он искал образов в истории и в текущей жизни народной». Пушкин, по мнению Кенига, подобно Гете в Германии, «первый стал на твердую почву поэзии и творил не субъективные, а объективно-истинные образы, заимствуя их из прошедшего и настоящего».

Книга Кенига имела большой успех и в России, и на Западе; в России, впрочем, поднялись о ней споры и полемика, но последняя лишь отчасти вызвана была характеристикой Пушкина и в большей степени обязана разоблачению Ф. Булгарина и его журнальной клики. Друзей Пушкина книга Кенига, во всяком случае, удовлетворила. П. А. Плетнев находил, что «Русские литературные очерки» «изумили наших читателей отчетливостью в исследовании и верностью обрисовки. Эта книга не только в Германии сделалась руководством для суждений о литературе, у них еще для многих новой, но и переведена была на другие европейские языки».⁶⁸ В самом деле, вскоре по своем выходе в свет «Русские литературные очерки» переведены были на французский, чешский и голландский языки.⁶⁹ С. П. Шевырев свидетельствует

⁶⁸ Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885, т. 2, с. 355—356.

⁶⁹ О. М. Бодянский, извещая в «Журнале Министерства народного просвещения» (1838, июль, с. 200) о готовящемся чешском переводе книги Кенига, замечает, что она «столько наделала шуму в Германии, что почти

в своих дорожных очерках о Германии: «. . . во всех городах, через которые случалось мне проезжать, ее знают и отзываются о ней с единогласною похвалою. Многие писатели Германии с тех пор принялись за русский язык — и Фарнгагена в Берлине я застал за тремя томами нового издания Пушкина. Книга Кенига переведена на голландский язык: я видел этот перевод в книжных лавках Гааги, Лейдена, Гарлема и Амстердама. Скоро и в Германии она должна выйти вторым изданием».⁷⁰ Известие о том, что Фарнгаген фон Энзе в значительной степени под влиянием книги Кенига принялся за изучение русского языка и Пушкина, повторяет также и Н. А. Мельгунов;⁷¹ вскоре Фарнгаген действительно свободно читал Пушкина в подлиннике и опубликовал свою известную статью о нем (1838). В этой статье Фарнгаген упоминает и о сочинении Кенига: «Здесь в первый раз, — пишет он, — представилось нашим взорам богатство повейшей русской литературы. . . Количество и разнообразие ее поразили нас. Пробудился шум, пробудилось общее участие. . . Нашлись любители, даже между дамами, особенно в Берлине, которые тогда же принялись за изучение русского языка, а внук Гете пишет оперу из поэмы Пушкина „Цыганы“».

Значение книги Кенига для правильной оценки русской литературной борьбы вокруг Пушкина и для истолкования самого поэта неоспоримо. Другие источники вроде «Учебной книги о русской литературе» Фридриха Отто,⁷² представляющей собой почти сплошной перевод полуофициального русского руководства Н. И. Греча «Опыт русской литературы» (1822), были очень недостаточны и, что еще важнее, совершенно неправильно ориентировали европейских читателей относительно шедших в России общественно-литературных боев. В этом смысле о книге Кенига высказывались и русские читатели. В. Ф. Одоевский, например, просил Я. М. Неверова лично поблагодарить Кенига «за русскую литературу, о которой до сих пор знали в Европе только по Выжигину <роман Булгарина> с компаниею. Эта компания взбесилась, узнавши, что ее вывели на свежую воду, несмотря на все ее штуки и интриги, и печатают об этой книге черт знает что.

во всех лучших немецких журналах появились на нее огромные рецензии»; о французском переводе Сиркура см.: К и р п и ч н и к о в А. И. Очерки по истории новой русской литературы. 2-е изд. М., 1903, т. 2, с. 178—179; М е ж о в В. И. Puschkiniana, N 3246.

⁷⁰ Ш е в ы р е в С. П. Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин // Отеч. зап., 1839, т. 3, с. 110—111.

⁷¹ «Принявшись вскоре после появления Кениговой книги за изучение русского языка, он <Фарнгаген> с помощью одного молодого нашего ученого через 6 месяцев достиг того, что свободно стал понимать Пушкина. В июле 1838 г. мой знакомый <С. П. Шевырев?> писал мне из Берлина следующее: „Фарнгагена я застал за чтением Пушкина: он изумил меня. Пушкина понимает он очень свободно и читает его с наслаждением“» (М е л ь г у н о в Н. А. История одной книги, с. 8).

⁷² Lehrbuch der russischen Literatur. Leipzig; Riga, 1837. На с. 259—261 находится краткая биография Пушкина, доведенная до 1826 г.

К сожалению, книги Кенига нет в России и, вероятно, не будет, потому что, как я слышал, в ней есть вещи касательно Пушкина и Булгарина (какое соединение!), которые не могут быть позволены в России». ⁷³ Предчувствие Одоевского оправдалось: в переводе на русский язык «Очерки русской литературы» Кенига смогли появиться только 25 лет спустя, в 1862 г. в Санкт-Петербурге.

Характерно, что до появления книги Кенига среди либеральных немецких литераторов 30-х гг. имя Пушкина пользовалось в общем дурной славой. Его знали здесь главным образом по немецким переводам стихотворения «Клеветникам России». В том самом Ганау близ Франкфурта, где Н. А. Мельгунов в 1837 г. раскрывал Кенигу подлинный облик Пушкина, за пять лет перед тем появилась анонимная книга, снабженная эпитафией из Г. Гейне: «Письма из Берлина» («Briefe aus Berlin : Geschrieben im Jahr 1832». Hanau, 1832; Th. 2). Здесь (Bd 1, S. 104—107) помещено было гневное послание к Пушкину, называвшее его апологетом русского самодержавия. Начиналось оно так:

A n R u s s l a n d s A p o l o g e t e n

Erwiederung an Puschkin

Was schilst du so in dem Gedichte?

Woher der Groll gen menschliches Gefühl?

Weil in den Adern langsam schleicht und kühl

Dein Russenblut. O glaub: die Weltgeschichte

Schreibt unauslöslich in Granit den Kampf.

Es war der Menschheit Fehd' und Todeskampf. . .

Автор спрашивает Пушкина, неужели он думает, что «войско русских рабов» (Russlands Knutensklaven-Heer) в состоянии наводнить Европу и что в Европе не найдется той силы, которая смогла бы остановить эти «дикие волны холопства» (wilden Knechtschaftsfluten). На дело восставшей против российского самодержавия Польши автор смотрит как на дело общеевропейское, дело человеколюбия, свободы. Перед нами яркий образчик полонифильских стихов, столь распространенных тогда в кругах немецкой либеральной интеллигенции. Автором этого ответа на стихотворение «Клеветникам России» является Фридрих Арнольд Штейнман, ⁷⁴ писатель и публицист, близкий друг Генриха Гейне и автор воспоминаний о нем, будущий автор «Истории революции в Пруссии» (1849). Любопытно, что до Пушкина, вероятно, дошли эти обращенные к нему стихи; книга Штейнмана была в руках А. И. Тургенева, который писал П. А. Вяземскому из Франкфурта (27 июня 1932 г.): «. . .сейчас прочел книжку одного немецкого

⁷³ Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. 1, ч. 2, с. 416—417.

⁷⁴ R a s s m a n E. Nachrichten von dem Leben und den Schriften Münsterländischer Schriftsteller des XVIII u. XIX Jahrh. Münster, 1866, S. 325—327.

якобинца: Briefe aus Berlin, 1832, послание к Пушкину: An Russlands Apologeten, Erwiederung an Puschkin, — он называет стихи его: „Ein Product wahrer Dichterbegeisterung“ <плодом истинного вдохновения>, но книга и стихи его богомерзкие.⁷⁵ Отношение к Пушкину «младогерманцев» — тема, еще не затронутая изучением. «Ответ» Штейнмана — лишь начальный ее эпизод. Об отношении к Пушкину Г. Гейне⁷⁶ и его соратников мы знаем еще очень мало. Тем интереснее подчеркнуть роль книги Кенига в деле оправдания Пушкина от обвинений, которые возводили на него немецкие полонофилы, в том числе и из кружка тех же «младогерманцев», и обвинений, быть может, в какой-то мере основывавшихся и на продиктованных из России статьях «Франкфуртской газеты». Правда, и Кениг в своей книге с неудовольствием вспоминал о стихах Пушкина на взятие Варшавы и об оде «Клеветникам России», полагая, что эти произведения «повредили Пушкину в общественном мнении частью своим содержанием, а еще более разительной переменной в образе мыслей поэта, в них высказывавшейся». Но он же первый в немецкой литературе подробно говорил об «Истории Пугачевского бунта», сделав по этому случаю даже слишком обширный, по условиям места, экскурс в область русской истории. Быть может, отчасти под влиянием этого экскурса Кенига один из вождей «Молодой Германии» и неустанный борец с прусской реакцией Карл Гутцков (1811—1878) по следам Пушкина написал свою драму «Пугачев» (1844); известно, что главным источником Гутцкова был вышедший в Штуттгарте (1840) немецкий перевод пушкинской «Истории Пугачевского бунта» А. Брандейса.⁷⁷

Сильно сокращенный А. Брандейсом перевод пушкинского труда, конечно, не мог доставить Гутцкову все необходимые исторические данные о русском крестьянском движении 1772—1774 гг.,

⁷⁵ Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским / Под ред. и с примеч. Н. К. Кульмана. Пг., 1921, т. 1, с. 100; здесь же (с. 456—458) полностью перепечатано длинное стихотворение Штейнмана. Л. Б. Модзалевский (Пушкин). Письма, т. 3, с. 430) ошибочно считает стихотворение Штейнмана переводом «Клеветникам России»; отпадает, таким образом, и его предположение, что копия именно «этого перевода сохранилась в архиве бр. Тургеневых»; существовало несколько немецких переводов «Клеветникам России» (Щегелев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Л., 1931, с. 357—360), один из них печатный, 1831 г., принадлежавший, по правдоподобной догадке Л. Б. Модзалевского, А. Е. Вульфурту (там же, с. 430; Межов В. И. Puschkiniana, № 3214); именно этот перевод цитирует Штейнман в предисловии своего «Ответа Пушкину».

⁷⁶ О Пушкине Г. Гейне должен был слышать от Ф. И. Тютчева, с которым, по словам Штротдмана, он находился «в самых задушевных сношениях» в конце 20-х—нач. 30-х гг. (Рус. архив, 1875, 1, с. 128), позднее — и от Лёве-Веймара (Heines sämtliche Werke. Tempel-Verlag, Bd 9, S. 193—198). Весьма кратко и с полным равнодушием говорит о Пушкине также один из теоретиков «младогерманского движения» Теодор Мундт в его «Allgemeine Literaturgeschichte» (Berlin, 1846, Bd 3), притом основываясь преимущественно на «Handbuch» Вахлера.

⁷⁷ Metis E. Karl Gutzkow als Dramatiker. Stuttgart, 1915, S. 66—67. (Breslauer Beiträge zur Litteraturgeschichte. N. F., H. 48).

и он, отчасти следуя Пушкину в этом отношении, сосредоточил все свое внимание на личной судьбе Пугачева. Другим источником его пьесы были многочисленные немецкие драмы о Дмитрие Самозванце, выросшие из шиллеровского фрагмента и отчасти из пушкинского же «Бориса Годунова», к началу 40-х гг. уже давно известного в Германии. На помощь Гутцкову мог прийти здесь и Кениг, который в своей книге по поводу пугачевского бунта делает целое перечисление «политических обманщиков в русской истории» начиная от Лжедмитрия и называет Пугачева «последним из самозванцев», впрочем, оговариваясь, что Пугачев «не был простым разбойником» и что «в политическом отношении он есть явление замечательное». В своем дневнике ⁷⁸ Гутцков, порицая «Бориса Годунова» Раупаха, говорит, что Самозванец драматичен только в конце пьесы, когда разъясняются причины его искательства; в Пугачеве же пьеса начинается с подобного «объяснения» самозванчества, и это, конечно, не случайно: в пьесе имя Петра III достается Пугачеву по жребию, в ту минуту, когда для угнетенного и закрепощенного народа все равно, кто бы ни был этот царь, лишь бы им было лицо, под знаменем которого можно было бы начать восстание; таким образом, у Гутцкова Пугачев совершенно сознательно идет на обман для спасения народа. Однако, объявив себя царем и заявляя свои виды на престол, узурпированный Екатериной, Пугачев Гутцкова должен перестать быть самим собою, забыть свою жепу и детей и даже, по требованию казаков, жениться на другой женщине, которую когда-то любил, а теперь ненавидит. Это раздвоение и приводит его к гибели; но Пугачев представлен здесь «благородным энтузиастом свободы; он готовится пожертвовать собою ради народного блага, но эта жертва оказывается выше его сил: он не в состоянии переродиться в царя». ⁷⁹ Драма Гутцкова не имела успеха, однако Гутцков чувствовал к ней особое пристрастие: в письме своем к Адольфу Штару, в ответ на неодобрительный отзыв последнего о пьесе в одной из газет, Гутцков протестует против слишком поспешного осуждения своего произведения, в котором, по его мнению, есть и значительный политический смысл, и эстетические достоинства. ⁸⁰

О том, как высоко стояло имя Пушкина в кругах немецкой либеральной интеллигенции, можно судить из следующего эпизода, который рассказывает один из биографов ⁸¹ Адальберта Шамиссо (1781—1838). В 1838 г. в «Альманах муз», который редактировал Шамиссо, известный впоследствии политический поэт Гоффман фон Фаллерслебен прислал стихотворение «Убитый

⁷⁸ Tagebuch aus Berlin, 1840 (см.: G u t z k o w K. Vermischte Schriften. Leipzig, 1842, Bd 1, S. 166).

⁷⁹ Г у т ц к о в К. Пугачев / Пер. с нем. П. Морозова. Пгр., 1918, с. I—VIII.

⁸⁰ Aus Adolf Stahrs Nachlass / Hrsg. v. Ludvig Geiger. Oldenburg, 1903, S. 96.

⁸¹ T a r d e Н. Studien zur Lyrik Chamisso's. Bremen, 1901, S. 21—22.

рыцарь» («Der Erschlagene Ritter»), по сюжету своему очень близкое к пушкинской балладе «Два ворона»; источник стихотворения автором не был указан; предполагая, что Фаллерслебен просто перевел Пушкина, но скрыл его имя, Шамиссо был искренне возмущен. Он немедленно обратился тогда к Фарнгагену фон Энае, как раз изучавшему Пушкина, с просьбой доставить ему подстрочный прозаический перевод пушкинской баллады. «Может ли слабая трость не быть лишь только тенью пушкинской могучей зелени, если она произросла от одного с ним корня?» — спрашивал при этом Шамиссо.⁸² Перевод этот вскоре был ему доставлен, и уже 6 августа 1838 г. Шамиссо мог послать Фарнгагену свою стихотворную обработку этого перевода, которая печатается в полном собрании его сочинений с подзаголовком «Из Пушкина» и которая по своим достоинствам значительно превосходит другие немецкие переводы этого пушкинского стихотворения.⁸³ Мы знаем, что Шамиссо хотел поместить свой перевод в «Альманахе муз» рядом со стихотворением Фаллерслебена и тем самым уязвить последнего указанием на свой источник. Смерть Шамиссо помешала исполнению этого намерения; его собственный перевод был напечатан в «Альманахе муз» на 1839 год, стихотворение Фаллерслебена — в другом месте.⁸⁴ Фаллерслебен, однако, молчал и после того, как опубликована была переписка об «Убитом рыцаре» между Шамиссо и Фарнгагеном; лишь в 1854 г. в журнале К. Гедеке «Deutsche Wochenschrift» редакционная заметка, написанная со слов Фаллерслебена и, вероятно, по его полномочию, разъяснила читателям, что стихотворение «Убитый рыцарь» написано было в 1837 г. «на сюжет русской народной песни, переданной ему одним из его русских знакомых», и что о «настоящем источнике» (т. е. о Пушкине) он узнал лишь впоследствии от Шамиссо.⁸⁵ Любопытнее всего то, что никто из споривших ни разу не упомянул, что баллада Пушкина довольно близко передает шотландскую балладу в записи В. Скотта и что перевод этого источника Пушкина был уже давно известен в немецкой литературе.⁸⁶

Впрочем, далеко не все немецкие литераторы конца 30-х гг. разделяли с Шамиссо восхищение Пушкиным: критики реакционного лагеря, ведшие борьбу с либеральными и революционными идеями молодого поколения, топившие увлечение английским и французским «политическим» романтизмом, порою мимоходом задевали и Пушкина. Так, например, Герман Марграф (1809—

⁸² Fulda K. Chamisso und seine Zeit. 1881, S. 238.

⁸³ То же стихотворение Пушкина известно в немецких переводах Р. Липперта (Puschkins Dichtungen. Leipzig, 1840, Bd 1, S. 310), Ф. Боденшtedта (Puschkin's Poetische Werke. Berlin, 1854, Bd 1, S. 147), Hart Julius (Orient und Occident, 1885, S. 408).

⁸⁴ Под заглавием «Die Treulose» стихотворение Фаллерслебена печатается в собрании его сочинений: Hoffmann von Fallersleben A. H. Ausgewählte Werke. In 4 Bd. Leipzig, 1905, Bd 2, S. 81.

⁸⁵ Deutsche Wochenschrift, 1854, S. 60—63, 266—268.

⁸⁶ Tardol H. Zum Volkslied von den «Zwei Raben» // Studien z. Vergleich. Litt.-Gesch. 1905, Bd 5, S. 127—128.

1864), книги которого хорошо были известны в кружке Н. В. Станкевича, в одной из своих критических работ 1839 г., говоря о «предшественниках и пророках» периода увлечения политическими и социальными идеями в литературе, упоминает Пушкина в одном ряду с Байроном, Шелли, Граббе, вместе со многими другими, по его словам, «циническими, скептическими и карикатурными поэтами» Европы. «Судорожное распутство, — пишет Марграф, — разочарование, уныние, раздробленность, принужденность собственного бытия, заставляющая беситься в поэтических карикатурах, составляли неслыханное счастье для молодого поколения. Благодаря именно этим качествам, более, чем благодаря своим произведениям, Пушкин, этот русский Байрон, получил европейскую славу. Циник, развратный поэт, актер, оппозиционер, одно время находившийся в ссылке, исчерпавший себя в наслаждениях всякого рода, — вот каков этот человек, к которому с радостной дрожью стараются обратить всеобщие взоры!».⁸⁷

Таким образом, в отношении к Пушкину немецких писателей конца 30-х гг. наметилось несколько линий, ряд точек зрения, порою исключавших друг друга, но характерно отражавших ту сложную общественную борьбу, которая шла в эти годы в Германии. Во всех этих разпоречивых толках, которые шли по поводу Пушкина, не хватало, однако, знания самого Пушкина, искаженного и в немногочисленных и скверных немецких переводах, и в оценке бойких журналистов, налету схватывавших газетные сплетни о нем и по-своему их интерпретировавших. Задачу истолковать Пушкина на основании изучения подлинного русского текста взял на себя Фарнгаген фон Энзе, побужденный к этому выходом первых трех томов посмертного полного собрания сочинений Пушкина. Фарнгаген фон Энзе (1785—1858) был хорошо известен и в России в конце 30-х гг., отчасти благодаря кружку Н. В. Станкевича, к которому он был довольно близок.⁸⁸ Особенно подку-

⁸⁷ M a r g g r a f f Н. Deutschland's jüngste Literatur und Culturepoche Charakteristiken. Leipzig, 1839, S. 203—204.

⁸⁸ Участник наполеоновских войн, доставивших Фарнгагену чин капитана русской службы (1813), позднее поступивший на дипломатическую службу в Пруссии (1814), но недолго на ней остававшийся, Фарнгаген рано занялся литературной деятельностью, еще в 1803 г. предприняв вместе с Шамиссо издание «Альманаха муз». Отстранение от дипломатической службы доставило ему большой досуг, и он превратился в тонкого наблюдателя окружающей жизни, имевшего огромный круг знакомств и корреспондентов. Опубликованные дневники Фарнгагена и ненапечатанное обширное рукописное его наследие свидетельствуют о разнообразных сношениях его с русскими путешественниками, посещавшими Берлин и немецкие курорты. Помощью в работах своих над Пушкиным Фарнгаген был обязан и Н. А. Мельгунову, и С. П. Шевыреву, и, вероятно, молодому И. С. Тургеневу (см.: Рус. старина, 1904, № 9; Летопись марксизма, 1927, № 4, с. 70—73), но в особенности супругам Е. Н. и Н. Г. Фроловым (Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914, с. 168, 560). Сам Станкевич аналогичную роль сыграл по отношению к известному гегелианцу, философу и поэту Карлу Вердеру (1806—1893). Получив от Т. Н. Грановского томик Пушкина, Станкевич пишет ему из Ахена (1838): «Переведу Вердеру „Зимнюю дорогу“ прозою и прочту стихи

пило учившихся в Германии молодых русских друзей Фарнгагена его глубокое уважение к Пушкину, превратившее его в настоящего пушкинофила; вероятно, впрочем, что и сами они немало содействовали выработке у Фарнгагена энтузиастического отношения к русскому поэту.

Большая статья о Пушкине Фарнгагена фон Энзе появилась в журнале, основанном Гегелем, — «Ежегоднике научной критики»⁸⁹ — и восторженно встречена была в России, а на Западе произвела большое впечатление; перевод ее появился в двух русских журналах 1839 г.⁹⁰ и усиленно обсуждался и в Петербурге, и в Москве. В западной литературе эта статья действительно представляла собой замечательное явление. В сравнении с очерком Кенига она давала неизмеримо больше и по глубине понимания Пушкина, и по полноте его характеристики. Фарнгаген остановился почти на всех произведениях Пушкина, напечатанных в трех томах посмертного издания («Евгений Онегин», «Борис Годунов», Драматические сцены, южные поэмы, «Граф Нулин», «Полтава», «Домик в Коломне», «Анжело» и др.). По его мнению, творчество Пушкина содержит главные черты его величайших европейских современников, но в соответственной обработке, исключая всякие обвинения в подражании западным образцам. Всякий крупный поэт служит своего рода посредником между «природной поэзией народа» и «международным успехом» данной национальной литературы: «... такая поэзия явилась в новейшее время в России: чистейшее и сильнейшее ее выражение находим мы в Пушкине. Сколь ни были бы многочисленны и разнообразны его предшественники и последователи, толпящиеся вокруг него, но он возвышается, как глава, над всеми, и все, так сказать, соединяются в нем». Фарнгаген утверждает, что всякий, занимающийся Пушкиным, испытывает особую «воодушевляющую и живительную силу». Фарнгаген считает Пушкина самым национальным из русских поэтов по всеобъемлющему размаху его творчества: «Ему все одинаково известно: Юг и Север, Европа и Азия, дикость и утонченность, древность и современность; изображая разнороднейшее, изображает он тем отечественное». Статья Фарнгагена хорошо известна в русской литературе:⁹¹ это изъав-

по-русски. Тут такая тонкость чувства, грустного, истинного, русского, удалого! У Гете есть несколько таких стихотворений» (там же, с. 472).

⁸⁹ Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1838, October; перепечатано в его «Dankwürdigkeiten und vermischte Schriften» (Leipzig, 1843, Bd 5, S. 592—635).

⁹⁰ С некоторым сокращением и в очень неряшливом переводе статья напечатана в «Сыне отечества» (1839, т. 7, отд. IV, с. 1—37), отсюда ее перепечатал Зелинский (Русская критическая литература о произведениях Пушкина. 2-е изд. М., 1902, ч. 6, с. 105—126); в переводе и с предисловием М. Н. Каткова под заглавием «Отзыв иностранца о Пушкине» напечатана также в «Отечественных записках», 1839, т. 3, кн. 5, Прилож., с. 1—36 (перепеч. в кн.: Катков М. Н. О Пушкине. М., 1900, с. 1—16); та же статья должна была появиться и в «Московском наблюдателе», но была запрещена цензурой (см.: Белицкий В. Г. Письма. СПб., 1914, т. 1, с. 362).

⁹¹ См. о ней: Г с л ь д и н Н. Пушкин в отзывах западной критики

ляет нас от необходимости останавливаться на ней более подробно. Статья Фарнгагена увлекает; в ней есть философские горизонты, в ней чувствуется искреннее, а не надуманное восхищение. Многих людей Запада она захватила своими волнением и энтузиазмом. В их числе был Карлейль. В письме от 19 декабря 1842 г. великий английский мыслитель пишет Фарнгагену: «Мы должны быть вам благодарны, я в первую очередь, за то, что вы дали нам в первый раз представление о дикой поэтической душе Пушкина; я должен был себе сказать: да, это гениальный русский; в первый раз постигаю я русских людей».⁹² Занятия Фарнгагена Пушкиным, начавшиеся в 1838 г., продолжались до самой его смерти; он следил за русской литературой о Пушкине и собирал его произведения. А. И. Тургенев в 1839 г. слушал в Киссингене чтение Фарнгагеном Пушкина и признавался в письме к П. А. Вяземскому, что Фарнгаген познакомил его с новыми для него пушкинскими стихами. Любопытно, что в архиве Фарнгагена донныне сохранилась целая пушкинская коллекция:⁹³ два автографа поэта — письмо к Булгарину 1827 г. и черновой набросок к 7-й главе «Евгения Онегина», на лоскутке бумаги с рисунками человеческих лиц,⁹⁴ два гравированных портрета Пушкина работы Н. Уткина, письмо 1837 г. отца к Пушкину — в копии, ряд скопированных стихотворений и, наконец, немецкий перевод стихотворения «К морю».

К началу 40-х гг. относятся занятия Пушкиным и многих других немецких поэтов. В 1840 г. уехал из Харькова, где он долго жил, в Гамбург, поэт Иоганн Август Метлеркамп; здесь он познакомился с Гутцковым, Геббелем, Дингельшедтом, Горном и Тетфером и стал помещать переводные и оригинальные стихотворения в немецких журналах. Так, в Гамбургском журнале Георга Лотца «Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit: Kunst, Laune und Phantasie» за 1840 год был напечатан его полный перевод «Модарта и Сальери»; несколько мелких стихотворений Пушкина вошли позже в сборник Метлеркампа «Песни-ласточки» (Liederschwalben, Braunschweig, 1846).⁹⁵ К тому же времени относится

40—50-х гг. // Харьков. унив. сб. в память Пушкина. Харьков, 1900, с. 428—429; Марков А. Германская литература о Пушкине. СПб., 1899, с. 639 и след., и др.

⁹² Briefe Thomas Carlyle's an Varnhagen von Ense von den Jahren 1837—1857 / Hrsb. R. Preuss. Berlin, 1892, S. 38. Английский текст опубликован в кн.: Last Words of Thomas Carlyle. London, 1892, p. 193 и след.

⁹³ Stern J. Die Varnhagen von Ensesche Sammlung in der Königl. Bibliothek zu Berlin. Berlin, 1911, S. 632.

⁹⁴ Оба автографа опубликованы И. А. Шляпкиным в статье «Берлинские материалы для истории новой русской литературы» (Рус. старина, 1893, т. 77, с. 222—224). Происхождение автографов неизвестно; они могли попасть к Фарнгагену и от Жуковского (Stern J. Die Varnhagen. . . , S. 632), и от П. А. Вяземского, который состоял с Фарнгагеном в переписке в 1833—1844 гг. и, по словам Штерна (там же, с. 854), особенно содействовал пополнению его собрания русскими рукописями.

⁹⁵ Ирмер Г. Ю. Иоганн Август Метлеркамп как лирик // Сб. ст. в честь В. П. Бузескула. Харьков, 1914, с. 254—276.

переводческая деятельность Р. Липперта, вращавшегося некогда в кругу петербургских литераторов и лиц, близких к Пушкину.⁹⁶ По книге Липперта знакомится с Пушкиным Виктор Ген (1813—1890), тогда еще не знавший русского языка, будущий историк литературы и исследователь Гете. Т. Шиман опубликовал из «Берлинского дневника» Гена (ноябрь 1840 г.) его большой этюд о Пушкине, навеянный чтением «Евгения Онегина». Этот этюд, по словам Шимана, дает целую программу будущих работ Гена — эстетических, философских и культурно-исторических.⁹⁷ По липпертовским же переводам впервые знакомятся с Пушкиным и за пределами Германии, в странах, где распространена немецкая речь. Именно в этих переводах читал Пушкина знаменитый финно-шведский поэт, национальный поэт Финляндии и родоначальник реалистического направления в шведской литературе Иоганн Людвиг Рунеберг (1804—1877); переводы были доставлены Рунебергу его гельсингфорским знакомцем — Я. К. Гротом.⁹⁸ П. А. Плетнева Грот спрашивал в письме от 22 января 1841 г.: «Есть ли в Петербурге сделанный в Германии немецкий перевод некоторых стихотворений Пушкина? Я бы хотел подарить их Рунебергу». П. А. Плетнев в ответ прислал перевод Липперта,⁹⁹ который и был Гротом торжественно вручен Рунебергу. «Я вручил ему Пушкина, — рассказывает сам Я. К. Грот, — уже переплетенного и с моею надписью. Это до-

⁹⁶ A. Puschkin's Dichtungen. Aus dem russischen übersetzt von Dr. R. Lippert. Leipzig, 1840, Bd 2. П. А. Плетнев рассказывает о встрече с Липпертом в апреле 1841 г. на вечеру у гр. В. Соллогуба; среди гостей была также А. Д. Абамелек-Баратынская (см.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. 1, с. 313); вскоре Липперт посетил самого Плетнева и получил от него в подарок «Современник» (там же, с. 356).

⁹⁷ Schiemann Th. Victor Hehn: Ein Lebensbild. Stuttgart, 1890, S. 98—105. Что Ген читал «Евгения Онегина» не в русском подлиннике, а в переводе Р. Липперта, доказывается тем, что в его этюде, как и у Липперта, пушкинская Татьяна называется Johanna; ср.: Lupus A. Einige Worte über A. S. Puschkin, seine deutschen Übersetzer und deutschen Kritiker. 2 Aufl. Leipzig; SPb., 1899, S. 26—27. Отзыв Грота о «Евгении Онегине» довольно отрицателен. Ген усматривает в нем главным образом подражание байроновскому «Дон Жуану», поражающее близостью к своему образцу. Впоследствии Ген долго жил в России, хорошо усвоил русскую речь и имел возможность читать «Онегина» в подлиннике; отношение его к Пушкину, впрочем, мало изменилось. В его заметках 1868 г. находятся записи впечатлений при чтении «Повестей Белкина» и «Дубровского». Последний в особенности не понравился ему; безусловное восхищение Гена вызвала лишь «Летопись села Горюхина», которую он называет «превосходной». См.: Hehn V. De moribus Ruthenorum: Zur Charakteristik der russischen Volksseele // Tagebuchblätter aus d. Jahren 1857—1873, S. 156—159.

⁹⁸ Грот Я. Знакомство с Рунебергом // Современник, 1839, ч. 3.

⁹⁹ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 1, с. 212, 236. С липпертовскими переводами Пушкина познакомил гельсингфорский приятель Грота, поэт и будущий биограф Рунеберга Цигнеус (Cygnaeus). «Он читает присланного вам Пушкина, — писал Грот. — Ему в переводе не нравится „Онегин“. И неудивительно: как это перевести? Он перевел пьеску „Ворон к ворону летит“, но от двойного превращения она много потеряла» (там же, с. 240).

ставило ему много удовольствия. Потом я велел подать пуншу. . .»¹⁰⁰ Стихотворная «надпись» Грота («При посылке Рунебергу стихотворений Пушкина в немецком переводе») в переводе со шведского самого автора известна: она была напечатана дважды.¹⁰¹

Вскоре начались работы над Пушкиным Фридриха Боденштедта (1819—1887). Как известно, по приглашению кн. М. Голицына Боденштедт приехал в Москву в 1841 г. и провел здесь около трех лет. Первые переводы из Пушкина изданы были им в Лейпциге в 1843 г.¹⁰² По отзыву самого автора, книга эта была малоудовлетворительна; впоследствии он сам ее тщательно разгоскивал, скупал и уничтожал: «Между тем, — пишет он, — несмотря на многочисленные искажения, книга эта встретила большой успех, нежели я мог ожидать. Ее не только расхвалили в немецких газетах, но и А. И. Герцен отозвался о ней в таком тоне, как будто переводы мои были образцовые».¹⁰³ Пушкина Боденштедт не покидал и в годы своих странствований. Наконец, в 1853—1855 гг. он выпустил свои переводы Пушкина в трех томах. Это издание вызвало много откликов в немецкой, русской и даже английской печати,¹⁰⁴ но расходилось гораздо медленнее, чем его первая неудовлетворительная книжка 1843 г.: разделяющее их десятилетие было периодом ослабления интереса к русской литературе в Германии. Однако интерес самого Боденштедта к Пушкину несколько не уменьшился. Живя в Мюнхене, Боденштедт написал свою трагедию «Димитрий» (Berlin, 1856), навеянную «Борисом Годуновым» Пушкина. Любопытен и повод для ее возникновения: король баварский Максимилиан II хотел поставить пушкинского «Бориса» на своем придворном театре в Мюнхене и обратился за помощью в этом деле к Боденштедту; последний нашел пушкинскую драму неспеничной и написал своего «Димит-

¹⁰⁰ Там же, т. 1, с. 263—264.

¹⁰¹ Несколько данных к биографии и характеристике Я. К. Грота. СПб., 1895, с. 263. В 1844 г. Грот перевел на шведский язык для Борговской газеты статью Пушкина «Русская изба» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2, с. 280). Отметим, кстати, что о Пушкине в шведской литературе имеется специальная работа: Jensen A. Puškin in der Schwedischen Literatur // Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin, 1908, S. 71—80. Автор подчеркивает значение немецких переводов из Пушкина начала 40-х гг. для первых скандинавских работ о русском поэте. Так, Karl Julius Lenström, поместивший краткую характеристику Пушкина в своей «Handbok i Poesiens historia» (Örebro, 1841), является также автором небольшой книжки (Alex. Puschkin. Rysslands Byron. Ett Skaldeporträtt. Stockholm, 1841). Источниками ее являются именно два тома Р. Липперта на небольшой датский этюд Р. Л. Мølera в «Brage og Idun», 1830, Bd 1, H. 1. В 1841 г. на шведский язык переведена была «Капитанская дочка». См. также новейшую датскую работу о Пушкине: Stender-Petersen A. Russiske silhouetter fra Puškin til Tolstoy. Aarhus, 1932.

¹⁰² K o z l o w. Puschkin, Lermontow: Eine Sammlung aus ihren Gedichten. Leipzig, 1843.

¹⁰³ Воспоминания Ф. Боденштедта о пребывании в России. — Рус. старина, 1887, май, с. 438—439.

¹⁰⁴ М е ж о в В. И. Puschkiniana, № 3314—3334, с. 216—217.

рия» по следам Пушкина, но согласно собственному пониманию сценической пригодности этого сюжета. В 1887 г. М. И. Семевский, навестивший Боденштедта в Висбадене, видел у него множество изданий Пушкина. «В настоящее время, — пишет он, — т. е. более сорока лет спустя после возвращения из России, Боденштедт декламирует по-русски на память отдельные строфы из „Евгения Онегина“, свободно читает по-русски, но уже не ведет бесед и не пишет на русском языке».¹⁰⁵

Английский журналист Джеймс Бейкер, видевший Боденштедта в то же время, рассказывает, что их беседа шла главным образом о Пушкине. Боденштедт вспоминал о своей жизни в России, цитировал наизусть длинные куски произведений Пушкина, Байрона и Шекспира и, наконец, подробно рассказал ему историю дуэли Пушкина, как она была передана ему Данзасом.¹⁰⁶

Следить за дальнейшей историей усвоения Пушкина в немецких землях в XIX в. не входит в нашу задачу, тем более что это уже частично сделано.¹⁰⁷ Это усвоение шло непрерывно, то ослабляясь, то усиливаясь в юбилейные годы.¹⁰⁸ Пушкину оставались верны лишь немногие подлинные друзья его музы.¹⁰⁹ Новый подъем интереса к Пушкину в Германии произошел лишь в XX в. Тем интереснее для нас внимание к Пушкину Маркса и Энгельса. Ф. Энгельс читал по-русски, и «Евгений Онегин» был книгой, по которой он и Маркс учились русскому языку. В частности, им обоим очень понравилась та строфа «Евгения Онегина», где Пушкин говорит об Адаме Смите. К. Маркс привел цитату из этой строфы в одном из примечаний своего труда «К критике политической экономии».¹¹⁰ Экономическую прозорливость Пушкина Энгельс подчеркнул, сославшись на ту же цитату, в своем письме к Даниельсону (29 октября 1891 г.). Цитаты из Пушкина попадают также и в хранящихся в Институте Маркса—Энгельса—Ленина в Москве тетрадях, записях и письмах Маркса.¹¹¹

¹⁰⁵ Рус. старина, 1887, май, с. 420.

¹⁰⁶ В а к е р J. Bodenstedt and Pushkin // The Anglo-Russian Literary Society Proceedings, 1901, № 32, p. 5—15. Автор приводит подробную запись этого рассказа, замечая при этом: «And it is from his lips <Данзаса> that Bodenstedt had the story of this tragedy, and as I heard it from the lips of Bodenstedt». Не лишен интереса и записанный здесь же рассказ Боденштедта о знакомстве его в Вене у баварского посланника, графа Брея, с бароном Геккереном, которому Боденштедт был представлен как переводчик Пушкина (p. 12—13).

¹⁰⁷ М а р к о в А. Германская литература о Пушкине // Пушкинский сборник. СПб., 1899, с. 639 и след.

¹⁰⁸ В е н е в и т и н о в М. А. Немцы о Пушкине с 1899 г. СПб., 1900 (ранее см.: Рус. старина, 1900, № 5, с. 369—412; № 7, с. 83—111).

¹⁰⁹ Пушкинофил А. А. Вольф // Лит. вестн., 1901, т. 1, кн. 1, с. 118—119.

¹¹⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 158.

¹¹¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 38, с. 171; Ш е г о л е в П. Пушкин-экономист // Изв. ЦИКа СССР, 1930, № 17; Ш и л е р Ф. П. Энгельс как литературный критик. М.; Л., 1933, с. 196 (см. статью М. П. Алексеева «Словарные записи Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“» // Пушкин: Исслед. и матер. Тр. III всесоюзн. Пушк. конгр. АН СССР. М.; Л., 1953, с. 9—161. — *Ред.*).

Изучение Пушкина во Франции началось несколько позже, чем в Германии. На это имелись, конечно, особые причины; здесь сыграли свою роль русофобские настроения, ярко расцветшие во Франции между двумя революциями в связи с полонофильством французской либеральной интеллигенции и той ненавистью к русскому самодержавию, которое, казалось, во Франции все возрастало вплоть до самой Крымской войны.¹¹² В 30-х и 40-х гг. русская литература не пользовалась во Франции большой популярностью; русских авторов переводили и интерпретировали здесь главным образом для доказательства определенных политических истин, с целью дискредитации самодержавного николаевского режима; в этом смысле интерпретировался и Пушкин. История его трагической гибели была удобным поводом поговорить об отношении русского правительства к русской литературе; быть может, отсюда именно тот повышенный интерес, который во Франции обнаружили к дуэли Пушкина и к великосветской интриге, против него направленной. Но дуэль скоро забылась, а интерес к творчеству Пушкина понемногу ослабевал. В начале 40-х гг. не редкостью являются более чем сдержанные отзывы о Пушкине или прямые признания в том, что его творчество не представляет интереса для французских читателей. Маркиз Кюстин в своей наделавшей столько шума книге «Россия в 1839 г.» довольно подробно излагает официальную версию о гибели Пушкина, но с иронией отзывается о произведениях этого, по его словам, «первого русского поэта, чье имя завоевало внимание даже Европы!». «Я перечел несколько переводов из Пушкина, — пишет маркиз Кюстин далее. — Они подтвердили мое мнение о нем, составившееся после первого знакомства с его музой. Он заимствовал свои краски у новой европейской школы. Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом».¹¹³ В следующем, 1840 г. приезжал в Россию Анри Мериме, прожил некоторое время в Петербурге и в Москве и по возвращении во Францию напечатал сначала в «Revue de Paris», а затем и отдельной книгой «Письма» о своем путешествии в Россию. Пушкину посвящено здесь несколько страниц.¹¹⁴ Анри Мериме отмечает «огромную популярность» Пушкина в России, но полагает, что Европе этот русский поэт вполне чужд; его здесь не знают: «Слава его не распространилась далее той пули, которая его сразила». Для Франции начала 40-х гг. это было почти верно. Инициатива в деле ознакомления с Пушкиным французских читателей в эти годы при-

¹¹² Т а р л е Е. В. Самодержавие Николая I и французское общественное мнение // Тарле Е. В. Запад и Россия. Пгр., 1918.

¹¹³ C u s t i n e М. de. La Russie en 1839. Paris, 1843. Цитирую по рус. изд.: Маркиз К ю с т и н де. Николаевская Россия. М., 1930, с. 169—170.

¹¹⁴ M e r i m é e Н. Une Année en Russie : Lettres à M. Saint-Marc-Girardin. Paris, 1847, p. 47—77; в конце книги помета : Moscou, août, 1840.

надлежала во Франции русским или французам, долгое время прожившим в России. Продолжалась поэтическая деятельность Элима Мещерского, в переводах которого два стихотворения Пушкина мог однажды процитировать Сент-Бев,¹¹⁵ антология графа Жюльвекура под странным заглавием «Балалайка» (1837),¹¹⁶ заключающая в себе много стихотворений Пушкина, вызвала во Франции единодушное осуждение благодаря высказанным переводчиком в предисловии симпатиям к русскому самодержавию и своеобразным для французского того времени «славянофильским» взглядам;¹¹⁷ далее о Пушкине писали Шопен (*De la littérature des russes, considérée dans ses rapports avec leur civilisation // Revue Indépendante*, 1843, t. 8, p. 226—230),¹¹⁸ Сен-Жюльен (*Pouchkine et le mouvement littéraire en Russie depuis 40 ans // Revue de deux mondes*, 1847, octobre, p. 42—79), состоявший с 1835 по 1846 г. лектором французского языка в Петербургском университете, имевший, вообще говоря, слабое касательство к литературе как русской, так и французской.¹¹⁹ Интереснее других суждения о Пушкине Ксавье Мармье, посетившего Россию еще в 1842 г. и много писавшего о ней вплоть до 60-х гг. В книгу Мармье «*Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne*» (Paris, 1843), представляющую собою результат дорожных заметок и бесед времени его пребывания в России, занесен, между прочим, рассказ «поэта Пушкина» из практики барского произвола в России, который Н. О. Лернер находит даже возможным считать неосуществленным литературным замыслом Пушкина,¹²⁰ впрочем, и Мармье к углубленным занятиям Пушкиным обратился много позднее, в 50-х гг., когда им переведены были «Бахчисарайский Фонтан» и «Выстрел». Напечатанная им в «*Revue Britannique*» 1859 г. (t. 2, mars, № 3, p. 111—134) статья «*Pouchkine et la littérature russe*» вошла затем в его книгу «*Voyages et littérature*» (Paris, 1862, p. 329—363) и отмечена сильным влиянием Герцена, которого он много раз в ней цитирует. Эти работы Мармье, впрочем, относятся уже к тому времени, когда началась пропаганда Пушкина во Франции Проспером Мериме.

В «Дневнике писателя» Д. В. Аверкиева за 1886 г. записан следующий любопытный «анекдот о Ламартине» с пометой: «слышано

¹¹⁵ Шульц В. К. Пушкин в переводе французских писателей. СПб., 1880, с. 32; Сент-Бев говорит о стихотворениях Пушкина «Зима» и «Калмычке».

¹¹⁶ Межов В. И. Puschkiniana, № 3230—3231.

¹¹⁷ Граф Paul de Julvecourt, женатый на Л. П. Кожинной, урожд. Всеволожской, умер в Москве в 1854 г.; см. о нем: Остафьев. архив, т. 3, с. 699, 680; интересный рассказ о нем см.: *Journal de Victor de Balabine, secrétaire de l'Ambassade de Russie*. Paris, 1914, p. 82.

¹¹⁸ Межов В. И. Puschkiniana, № 3305, 3306, 3444; J. N. Chopin'a не следует смешивать с J. M. Chopin'ом, переводчиком Пушкина в 20-х гг. (см. о нем там же, № 3181—3183; Остафьев. архив, т. 3, с. 390).

¹¹⁹ Григорьев В. В. С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870, с. 140.

¹²⁰ Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1930, с. 125—131.

от Ф. М. Достоевского): «Мериме, известный знаток русской поэзии, обедал у Ламартина. Хозяин обратился к нему с таким вопросом: Вы знаток иностранных литератур. Скажите же, знаете ли вы современного поэта, достойного стать рядом с великими гениями прошлых веков в Пантеоне искусства?». „Знаю“, — без запинки отвечал Мериме. Гости насторожились, ожидая комплимента хозяину. „Кто же это?“ — с поощрительной улыбкой спросил хозяин. „Русский: Пушкин“, — отвечал Мериме. „Не знаю!“ — проговорил Ламартин, резко отворачиваясь от неучтливой гостя». ¹²¹ Источники этого анекдота и его истинный смысл могут быть в настоящее время раскрыты довольно подробно. Действительное событие послужило поводом к его сложению. Что Ламартин ничего не знал о Пушкине — это неверно. Выше приведено уже было письмо А. И. Тургенева 1836 г., вполне опровергающее такое утверждение. Однако обед, о котором рассказывается в анекдоте, действительно имел место, и мы знаем даже его дату — 25 февраля 1849 г. Это был обед у Биксио, председателя комиссии по охране культурно-исторических памятников в Париже; здесь присутствовали Ламартин и Мериме, а также художник Э. Делакруа, популярный драматург Э. Скриб и композитор Мейербер. ¹²² Речь в самом деле шла о Пушкине. Из дневника Делакруа следует, однако, что Ламартин утверждал не то, что ему приписывает анекдот, а именно что он читал Пушкина несмотря на то, что его поэзия не была переведена на французский язык; ¹²³ Мериме же, естественно, должен был усомниться в этих словах не только потому, что знал об уже давно существовавших французских переводах Пушкина, но и в особенности потому, что сам трудился тогда над переводом «Пиковой дамы», вскоре же напечатанном во французском журнале («Revue des Deux Mondes», 1849). ¹²⁴

Быть может, под влиянием разговора на обеде у Биксио Э. Скриб, этот ловкий поставщик французской сцены, «извлек либретто» для композитора Галеви из «Пиковой дамы», петербургской повести «русского поэта Пушкина». О первом представлении этой пьесы (22 декабря 1850 г.) сохранился фельетон выдающегося современника события Теофиля Готье (газета «La Presse», 27 декабря 1850 г.). Хотя Скриб и заявлял, что содержание пьесы заимствовано у Пушкина, но из сюжета пушкинской повести он удержал лишь тайну трех карт; все остальное — сплошная отсебятина; забавно, например, что второе действие происходит на сибирском руднике, куда сослан молодой сержант (sous-officier) Constantin Nelidoff, герой пьесы. Если Германн в пьесе Скриба

¹²¹ Дневник писателя: Ежемес. изд. Д. В. Аверкпева. 1886, январь, с. 37.

¹²² Ch a m b o n F. Notes sur Prosper Merimée. Paris, 1902, p. 256.

¹²³ Journal de Eugène Delacroix. Paris, 1893, vol. 1, p. 346.

¹²⁴ Между прочим это был не первый французский перевод «Пиковой дамы»; Жюльзекур напечатал свой перевод этой повести в Париже уже в 1843 г. (с.т.: Ме ж о в В. И. Puschkiniana, № 3272).

превратился в Нелидова, то старуха графиня превратилась в молодую *princesse Poloska*, в которую влюблен Нелидов и которая отвечает ему взаимностью. Благодаря карточному секрету, общенному ему Полоской (в свою очередь узнавшей его от самой Екатерины II), Нелидов выигрывает у своего соперника, полковника Цицианова, крупную сумму, выплачивает этими деньгами долг отца и получает свободу, а вместе с тем и руку княгини Полоской. Т. Готье, по-видимому, принял на веру сенсационную транскрипцию либреттиста, удостоившегося вместе с композитором, декораторами и режиссером спектакля бурного одобрения парижской публики.¹²⁵

Другой участник обеда у Биксио, Эжен Делакруа, один из крупнейших художников Франции, также заинтересовался русской литературой, и в первую очередь Пушкиным. Запись его дневника от 28 октября 1853 г. гласит, что в этот день Делакруа читал томик «Русских повестей», в котором его внимание обратили на себя «Фаталист» <Лермонтова> и «Дубровский», «заставившие меня пережить восхитительные минуты».¹²⁶ Анализируя свои впечатления, Делакруа сделал несколько любопытных признаний и сопоставлений. Повести Пушкина, по его мнению, имеют «удивительный реалистический аромат»; ему кажется, что он читает новеллы Мериме, так много сходного в манере двух писателей. Тонкое чутье помогло Делакруа высказать очень верное суждение. Повествовательное мастерство Мериме с его отсутствием лиризма, сюжетной четкостью и замечательной чеканностью стиля действительно напоминает прозу Пушкина. Вероятно, в этой близости их дарований и лежит секрет того увлечения, с которым Мериме до конца своей жизни относился к Пушкину. Чтобы читать Пушкина в подлиннике, Мериме выучил русский язык, который дался ему не без труда, и в своих критических статьях, письмах и беседах с французскими писателями неустанно славил Пушкина как величайшего писателя XIX в. Имя Пушкина было для Мериме знаменем борьбы за художественный реализм и преодоление романтических традиций.¹²⁷

¹²⁵ *Thyss Peregrinus*. «Пиковая дама» до Чайковского // Муз. современник, 1915, № 2, с. 72—74; Булич С. К. Пушкин и русская музыка. СПб., 1900, с. 93—94.

¹²⁶ *Journal de Eugène Delacroix / Notes et éclaircissements par M. M. P. Flat et R. Piot*. Paris, 1893, t. 2, p. 263—264. Издатели объясняют нам, что будто бы «*Nouvelles russes*», в которых Делакруа читал повести «*Le Fataliste*» и «*Dombrowski*» <sic!> — это «*Nouvelles russes de Nicolas Gogol*» в переводе Л. Вяздо; это очевидная ошибка: в сборнике, о котором идет речь (*Choix de nouvelles russes*. Paris, 1853), объединены переводы «Дубровского» Пушкина и повестей Лермонтова; переводчиком является Шопен (см.: Шульц В. К. Пушкин в переводе французских писателей, с. 88; Мержов В. И. *Puschkiniana*, № 3305).

¹²⁷ Литература о Пушкине и Мериме очень велика и достаточно известна; ограничимся поэтому ссылкой на новейшие работы, которые подводят итог предшествующим разысканиям: *Monpault H. Merimée et Pouchkine // Le Monde Slave*, 1930, novembre; эта статья в переработанном и дополненном

Увлечение Мериме русской литературой началось еще в 30-е гг. благодаря ряду его русских знакомств и встреч, завязавшихся в Париже; особую роль сыграла в этом отношении многолетняя и близкая дружба с приятелем Пушкина С. А. Соболевским. Регулярно русским языком Мериме стал заниматься с половины 40-х гг.; одним из его наставников была Варвара Ивановна Дубенская (в замужестве Лагрене), но и С. А. Соболевский, в своих приездах в Париж, помогал ей в этом; в одном из своих писем 1848 г. Мериме пишет, что Соболевский «посадил его за чтение и изучение прозы Пушкина». Уроки не прошли даром. В 1849 г. появляется перевод Мериме «Пиковой дамы», затем он переводит прозой «Цыган», «Гусара» (1852), «Выстрел» (1856). Существует мнение, высказанное еще Г. Брандесом, а недавно подтвержденное и французским биографом Мериме, что одна из популярнейших повестей Мериме «Кармен» написана под заметным влиянием пушкинской поэмы «Цыганы»;¹²⁸ действительно, и образы Карменситы и Земфиры, и простая, но захватывающая сюжетная линия обоих произведений — о торжествующей и разрушительной стихии ничего не щадящей страсти — открывают нам слишком много едва ли случайных совпадений.

В 1868 г. Мериме напечатал свою статью «Александр Пушкин», которая подвела итог многолетним раздумьям его над текстами Пушкина.¹²⁹ Статья начинается сопоставлением Пушкина и Байрона: «Как тот, так и другой имели доминирующее значение в литературе своей родины. Несмотря на некоторый вред, принесенный им подражателями, следующие за ними поколения подтвердили суждение современников; слава обоих прочно установлена, и ни один критик не осмелился бы стереть их имена, занесенные на скрижали истории с именем величайших поэтов». Сразу чувствуется, что сопоставление Пушкина с Байроном, столь обычное для предшествующей европейской критики, равно как и многие

виде вошла в редактированное тем же исследователем новое издание статей Мериме о русской литературе (Paris, 1935); ничего нового не сообщает статья: F r i e d m a n n W. P. Merimée und die russische Literatur // Festschrift / Ed. Wechsler. Jena; Leipzig, 1929, S. 30—32.

¹²⁸ См. статью Георга Брандеса в написанном им по-немецки сборнике статей «Menschen und Werke. Essays» (Frankfurt a. M., 1894, S. 299); Б о б р о в Е. А. Русские писатели перед судом иноземной критики // Риж. вестн., 1895, № 42; Т r a h a r d. Biographie de Merimée. Paris, 1928, t. 3; «Цыганы» Пушкина пользовались вообще особенной популярностью на Западе; едва ли можно отрицать, что эта поэма имела также большое значение в жизни и творчестве Джорджа Борро; уехав из Петербурга в 1835 г., Борро странствовал с цыганами по Испании; изданные Борро впоследствии два автобиографических романа — «Lavengro» (London, 1851) и «Цыганский парень» — (Romanu Rye, 1857) заключают в себе отголоски чтения русского Пушкина и прежде всего его «Цыган».

¹²⁹ Le Moniteur, 1868, N 20, 27 janvier. Русский перевод этой статьи см. в кн.: М е р и м е П. Избр. произв. М., 1930, с. 478—502; изложение ее см. также в статье: Ч е б ы ш е в А. Проспер Мериме: К его знакомству с Пушкиным и русской литературой // Пушкин и его современники. Пгр., 1916, вып. 23—24, с. 293—296.

из последующих параллелей, данных Мериме в этой статье, посвящен совершенно попутный характер. Мериме говорит не столько об их внутреннем родстве или различиях, сколько о равноценности обоих поэтов перед судом истории. Весь замысел статьи и состоит прежде всего в том, чтобы поставить имя Пушкина в ряды величайших художников слова XIX в. Мериме рассказывает жизнь Пушкина,¹³⁰ излагает его отдельные произведения, сопровождая их тонкими замечаниями и наблюдениями, и его похвалы достигают здесь предельной силы, на которую только способен был этот сдержанный и несколько холодный писатель, дававший всегда трезвую и четкую формулировку. Мериме, например, говорит о гениальном лаконизме Пушкина; из ряда примеров особенно типичен один — Мериме рассказывает содержание «Анчара»: «Рамка этого стихотворения узка, но картина вполне закончена и кажется мне полной изумительной величавости»; приведен полный перевод, но Мериме недоволен им; по его мнению, единственно на латинском языке можно было бы более или менее точно передать выразительную сжатость этих пушкинских стихов:

Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом;
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

— «At vir virum misit ad antchar superbo vultu. . .» и т. д.

Лаконизм, скупость художественных средств вместе с огромной силой мысли — таковы признаки того мастерства, которое Мериме особенно ценил у Пушкина и к которому он неустанно и сам стремился в своем творчестве. Характеристика Пушкина становится здесь вместе с тем и литературной программой Мериме, из которой легко извлечь все его обвинительные пункты против наследия французского романтизма. На основании своих многократных дружеских бесед с Мериме и с его слов эти обвинения удачно формулировал И. С. Тургенев в своей речи о Пушкине в Москве (1880): «,Ваша поэзия, — сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он не обинуясь называл величайшим поэтом своей эпохи чуть ли не в присутствии самого Гюго, — ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они

¹³⁰ Биографическими сведениями о Пушкине Мериме был обязан самым авторитетным в этом вопросе людям, в особенности С. А. Соболевскому, который показывал ему многие рукописи Пушкина и списки тех из них, которые не были напечатаны (например «Гаврилладу»), впоследствии — И. С. Тургеневу; в 1851 г. Мериме познакомился с братом поэта Львом Сергеевичем Пушкиным, приехавшим для лечения в Париж (см.: В и п о г р а д о в А. К. Мериме в письмах к С. А. Соболевскому. М., 1928).

и это, пожалуй, возьмут в придачу. . . „У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы“. Тот же Мериме постоянно применял к Пушкину известное изречение „Proprie communia dicere“, признавая это умение самобытно говорить общеизвестное за самую сущность поэзии, той поэзии, в которой примиряются идеальное и реальность. Он также сравнивал Пушкина с древними греками по равномерности формы и содержанию образа и предмета, по отсутствию всяких толкований и моральных выводов. Помнится, прочтя однажды „Анчар“, он после конечного четверостишия заметил: „Всякий новейший поэт не удержался бы тут от комментариев“. Мериме также восхищался способностью Пушкина вступать немедленно „in medias res“, „брать быка за рога“, как говорят французы, и указывал на его „Дон Жуана“ как на пример такого мастерства.¹³¹

Большую роль в деле популяризации Пушкина играл И. С. Тургенев. Он принимал близкое участие в переводах Луи Виардо; так, например, Тургенев участвовал в издании Л. Виардо «Драматические поэмы Александра Пушкина» (Париж, 1862), куда вошли «Борис Годунов», «Русалка» и все «маленькие трагедии», кроме «Пира во время чумы». Через год Тургенев опубликовал сделанный им совместно с тем же лицом прозаический перевод «Евгения Онегина» («Revue Nationale», 1863);¹³² самым популярным из всех этих переводов Тургенева и Виардо явился, однако, их перевод «Капитанской дочки», выдержавший с 1854 по 1879 г. семь изданий.¹³³ Когда в 1880 г. П. И. Бартенев опубликовал в «Русском архиве» вновь найденные страницы этого пушкинского романа, Тургенев тотчас же позаботился о немедленном переводе их на французский язык и напечатал их с собственным предисловием.¹³⁴ Своим французским друзьям Тургенев постоянно говорил о Пушкине, истолковывая им его отдельные произведения и призывая их в свидетели своего восторга и преклонения перед Пушкиным. Кто только из французских писателей не был вовлечен Тургеневым в круг этих бесед о Пушкине! В «Дневнике» братьев Гонкур есть такая запись о Тургеневе (22 марта 1873 г.): «Он говорит, что когда он грустен, плохо настроен — ему довольно двадцати стихов Пушкина, чтобы вывести его из уныния, ободрить и возбудить; они внушают ему то восторженное умиление, которого он не испытывает ни от каких великих или великодушных дел».¹³⁵ Трудно предположить, чтобы авторы дневника не попытались на себе проверить впечатление столь любимого ими Тургенева.

¹³¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. . . М.; Л., 1968, Письма, т. 15, с. 70.

¹³² Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909, с. 562.

¹³³ Тургенев И. С. Соч. М., 1933, т. 12, с. 613.

¹³⁴ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. . . Письма, т. 15, с. 123.

¹³⁵ Дневник братьев Гонкур. СПб., 1898, с. 128.

Роман, написанный Эдмоном Гонкуром уже после смерти его брата «Les frères Zemganno» (1879), убеждает в этом еще более. В начальных главах этого романа, как известно, дается образ цыганки Степаниды Рудак, которую в цирковой труппе Томмазо Бескапе «звали русским уменьшительным Степа». Томмазо в странствованиях своих по Европе и Азии увлекся ею в Севастополе и увез ее из России. Характеристика Стеши-Этьеннеты, которую дает ей Гонкур, несомненно выросла из пушкинской Земфиры: «Цыганке чужды были взгляды, склонности, навыки ума, самый дух и вся внутренняя жизнь ее сожителей; она сама держалась в стороне, мечтательно углубляясь в самое себя, уходя мыслью в прошлое, благоговейно оберегая привычки, вкусы, верования, перешедшие к ней от ее таинственных далеких предков. . .». «Джанни платился за то, что был зачат в первые дни брачной жизни, когда мечта молодой женщины безраздельно стремилась к юноше собственного племени и когда с уст супруги Томмазо Бескапе то и дело срывалась эта песнь ее страны:

Старый муж, грозный муж,
Режь меня! Жги меня!

.
Ненавижу тебя!
Презираю тебя!
Я другого люблю,
Умираю любя».

Едва ли не И. С. Тургеневым была сообщена Гонкуру эта цитата из «Цыган».

Эмиль Золя, если верить Исааку Павловскому, дважды рассказывал ему, что он видел Тургенева у Гюстава Флобера, много вечеров подряд трудившегося над переводом нескольких стихотворений Пушкина. Флобер подправил эти переводы, окончательно отделал их, и они были напечатаны в одном из журналов¹³⁶ («La République des Lettres», 1877, № 1); автографы этих переводов до сих пор хранятся в парижской части архива Тургенева.¹³⁷

Пушкиным же заинтересовывал Тургенев и Ги де Мопассана, рекомендуя ему в письме от 15 ноября 1880 г. по поводу намерения Мопассана написать для «Gaulois» серию статей о великих иностранных писателях (это намерение осталось невыполненным): «Начните, например, в России с Пушкина или Гоголя, в Англии с Диккенса, в Германии с Гете».¹³⁸ Знаменательно, что и письмо

¹³⁶ P a v l o v s k y I. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887; здесь же перепечатаны и самые переводы стихотворений «Пророк», «Опричник», «Бесовница», «Поэту» (р. 154—261).

¹³⁷ M a z o n A. Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguéneff. Paris, 1930, р. 97.

¹³⁸ Т у р г е н е в И. С. Полн. собр. соч. и писем. . . Письма, т. 12, кн. 2, с. 327, 396. См. также (с. VII) воспоминание о Тургеневе польско-французского писателя Эдмонда Шарля (Charles Edmond; он же Chojecki Edmond; род. 1822): «Тургенев удивлялся Пушкину и восторгался Мицкевичем».

Эмиля Золя от 7 июня 1899 г., адресованное русским писателям в дни пушкинского юбилея, вспоминает также о Тургеневе. «Я счастлив и горжусь тем, — писал в этом письме Золя, — что могу мысленно и от всего моего писательского сердца присоединиться к вам в день, когда вы чувствуете гений вашего знаменитого Пушкина, отца современной русской литературы. Я узнал его в особенности через посредство моего великого друга Тургенева, который часто говорил мне о славе Пушкина, о том, какой это был универсальный человек, какой превосходный поэт, глубокий и жизненный романист, друг свободы и прогресса, какой это был безупречный образец для ваших детей в искусстве писать и мыслить. И я полюбил его, как нужно любить все великие умы, национальное творчество которых составляет часть сокровища всего человечества».¹³⁹

Вопрос о роли Пушкина в истории французской литературы нуждается в особом исследовании; изучение влияния, которое он мог оказать на французских писателей, хотя бы и через посредство Мериме и Тургенева, явно стоит на очереди. В ожидании такого исследования следует воздержаться от категорических выводов, но нельзя не признать, что они обещают быть и очень важными, и очень неожиданными. Можно предвидеть, что это влияние придется главным образом на последнюю четверть XIX в., эпоху сильнейшего влияния новой русской литературы во Франции — Тургенева, Достоевского, Толстого — и франко-русского (альбанса). Один из родоначальников этого «русского течения» во французской литературе, Э. М. де Вогюэ, не забывал и Пушкина, посвятив ему несколько статей и не раз возвращаясь к его идейной глубине и повествовательному мастерству в книге «Le roman russe» (1886).¹⁴⁰

В этот период, захвативший и юбилейный 1899 год, Пушкина узнали, им заинтересовались, испытали на себе его влияние едва ли не все наиболее крупные французские поэты, прозаики, критики и публицисты. Иные из них изучали его прозу, размышляли над переводами его стихов. Любопытно подчеркнуть, что среди повестей Пушкина, как и во времена Мериме, продолжала привлекать к себе внимание «Пиковая дама». Марсель Прево высказал однажды догадку, что Мопассан не остался без влияния автора «Пиковой дамы»; Л. П. Гроссман в одной из своих статей указал на возможный случай конкретного влияния этого шедевра пушкинской прозы во французской литературе; по его правдоподобной догадке «Пиковая дама» пленила одного из тонких стилистов французской литературы XIX в. Анри де Ренье; в одной из новелл Ренье «Тайна графини Варвары» несмотря на то, что она перене-

¹³⁹ S e m e n o f f E. Emile Zola en Russie // Supplément Littéraire de l'indépendance Belge. . . 1902, 26 octobre; Z o l a E. Correspondance 1872—1902 / Notes et comm. de M. Le Blond. Paris, [s. a.], p. 843.

¹⁴⁰ Д е В о г ю э о П у ш к и н е // Нов. время, 1886, № 3679, 28 мая; V o g u é E. [M. de Pouchkine // Revue des études russes, 1899, p. 41—48.

сена в венецианскую обстановку XVIII в., «отчетливо проступают линии пушкинского сюжета». Повесть Пушкина «упрощена у Ренье, итальянизирована подобно большинству его новелл и романов», и тем не менее «все элементы пушкинского сюжета здесь сохранены лишь с незначительными изменениями. Герой, скудные средства которого не отвечают его положению и вождельниям, решает овладеть тайной чудесного обогащения, открытой старой графине знаменитым авантюристом XVIII в., по-видимому, ее возлюбленным. В тот момент, когда он, прибегнув к угрозе револьвером, уже готов овладеть соблазнительной тайной, изображение старой графини оживает, чтоб поразить навсегда умственные способности страстного золотоискателя».¹⁴¹

Подтверждением большого интереса к Пушкину во Франции в конце XIX и начале XX в. может служить большое количество откликов на пушкинский юбилей в 1899 г. В Россию к столетию со дня рождения Пушкина прислали приветствия Жюль Верн, Е. М. де Вогюз, Марсель Прево, Жюльетта Адап (Ламбер), писательница и публицистка, столь деятельно содействовавшая укреплению «франко-русской дружбы»: «Я фанатически люблю Пушкина потому, что он — полнейшее выражение гения, — говорила она в своем письме. — Его плодovitость гениальна. В его форме — все гениально: оригинальность и верность наблюдения, блистательная ясность образов, чистая красота стиля. . .». Франсуа Коппе писал в свою очередь: «Генрих Гейне остроумно заметил, что переводная поэзия — это лунный свет в тумане. Но по отношению к великим поэтам это неверно, например, по отношению к нему самому. Гений Пушкина из тех, которых не может затмить перевод. Франция знает и любит этого мощного лирика, русского Байрона».¹⁴²

Несколько надуманным, но все же не лишенным изящества явилось приветствие, посланное в Россию маститым поэтом Сюлли Прюдомом. «Твоей насильственной и преждевременной смертью, Пушкин, а еще больше свежестью твоего зиждительного гения ты нам напоминаешь нашего Андре Шенье, — писал он. — Но твоя миссия поэта совершилась при условиях более благоприятных, чем его. Он не ведал своей славы при жизни своей. Ты же родился с именем уже знаменитым <?> среди молодого еще народа, избранные интеллигентные круги которого, отдавшись мирным занятиям, могли всецело, ничем не отвлекаясь, внимать твоим чудным звукам, в которых русский народный дух нашел свое

¹⁴¹ Гроссман Л. П. От Пушкина до Блока. М., 1926, с. 67—72. Интерес к «Пиковой даме» во Франции не ослабел до последних дней; о новом переводе этой повести (1923) в связи с недостатками перевода Мериме см.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 1, с. 384—386.

¹⁴² Все эти приветствия вместе с письмами о Пушкине английского поэта-лауреата Дж. Остина, публициста М. Уоллеса, итальянского романиста Антонио Фогаццаро из Виченцы напечатаны факсимильно в газете «Новости дня» (1899, № 5745: «Привет Пушкину от писателей Запада»).

глубочайшее выражение. О, позволь нам, великий русский, не забывать, что твоему первому чтению наших писателей ты, может быть, обязан первоначальным развитием твоего литературного вкуса. Мы благодаря этому чувствуем отрадное личное побуждение присоединиться к празднованию столетия твоего рождения; мы в этом находим новую связь между нашим отечеством и твоим». ¹⁴³

Рост интереса к Пушкину в немецкой литературе с конца XIX в. также не подлежит никакому сомнению. В немецкой Пушкиниане этого периода мы находим и довольно большое количество переводов, с переменным успехом передающих пушкинские стихотворные и прозаические тексты, находим и довольно обильную критическую литературу от ученых работ «геллертерского» типа до легковесных критических набросков в периодической печати. Библиографически вся эта литература в основном известна, ¹⁴⁴ но изучение ее еще стоит на очереди. Любопытнее всего то, что в первое десятилетие XX в. в немецкой лирике и драме мы можем найти определенные следы пушкинского влияния. В пример можно сослаться на Райнера Мария Рильке с его «Часословом», многие нити которого ведут к Пушкину, на «неоклассиков» типа Пауля Эрнста, своеобразно пересоздававшего и перетолковывавшего пушкинского «Бориса Годунова», наконец, на поэтов из школы Стефана Георге, среди которых Генри Хейзелер может быть назван не только восторженным пушкинофилом, но, вероятно, и одним из лучших его немецких переводчиков. ¹⁴⁵

Принято думать, и не без основания, что лишь в Англии, если говорить о важнейших литературах Европы, Пушкин оставался наиболее малоизвестен и чужд. И. С. Тургенев однажды рассказывал Я. П. Полонскому, что Мериме читал ему по-русски стихи Пушкина, а вот для англичан они были совершенно недоступны. В один из своих приездов в Англию И. С. Тургенев был у Теккерея, великого создателя «Ярмарки тщеславия». «Раз Теккерей упросил меня прочесть ему что-нибудь по-русски, — рассказывал Тургенев Я. П. Полонскому. — Я стал наизусть читать ему одно из самых музыкальных по стиху произведений Пушкина, и что же? Не успел я и десятка стихов прочесть, как Теккерей покотился от неудержимого смеха. Так стал хохотать, что сконфузил дочерей своих. Звуки чуждого языка были для него смешны». ¹⁴⁶

¹⁴³ См.: Ренодо Т. Сюлли Прюдом о Пушкине // Одес. новости, 1899, № 4636, 30 мая.

¹⁴⁴ Марков А. Германская литература о Пушкине // Пушкинский сборник. СПб., 1899, с. 639 и след.; Веневитинов М. Немцы о Пушкине в 1899 г. СПб., 1900 (из «Рус. старины», 1900, № 5, 7); ср.: Книжки недели, 1900, кн. 6, с. 232—233; Веневитинов М. Коллекция немецких переводов Пушкина // Ист. вестн., 1900, кн. 4, с. 299—302 и др.

¹⁴⁵ См. мою статью в настоящей книге: Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме, с. 362—401.

¹⁴⁶ Полонский Я. П. Тургенев у себя в его последний проезд на родину // Нива, 1884, № 4, с. 90—91.

Этот пример нетипичен. Русский язык, действительно, не пользовался в Англии этого времени большим распространением, но среди англичан были тогда хотя и малочисленные, но настоящие его ценители (Рольстон) и знатоки, довольно верно переведшие даже Кольцова и Крылова. Тот же Тургенев в письме к П. В. Анненкову 22 ноября (4 декабря) 1881 г. рассказывал, что ему однажды в Англии показывали перевод «Онегина», сделанный английскими рифмованными стихами, — «верности невероятной, изумительной, но, — прибавляет Тургенев, — и такой же изумительной дубинности».¹⁴⁷

Качество английских переводов Пушкина в XIX в. было действительно невысоким, но тем не менее его здесь переводили и критика отдавала ему должное. В самом деле: первые английские переводы из Пушкина, включенные в статью о нем, относятся еще к 1827 г.;¹⁴⁸ в 1835 г. со своими переводами из Пушкина выступает Джордж Борро; в 1845 г. большую статью о Пушкине помещает в журнале Томас Шоу; эта статья написана в Петербурге, содержит в себе точные биографические данные о поэте, прекрасные стихотворные переводы, а в приложении к ней дан полный текст записки Жуковского к С. Л. Пушкину о последних днях жизни поэта — служба Томаса Шоу в Царскосельском лицее не прошла даром.¹⁴⁹ Э. Осборн в своей статье о первых английских переводах из Пушкина¹⁵⁰ называет около 15 переводов, вышедших на английском языке до 1900 г.; на самом деле их было много больше;¹⁵¹ забыты многочисленные журнальные публикации, антологии русской поэзии, книги и статьи, вышедшие за пределами Англии и США, и т. д. Критическая литература о Пушкине на английском также не так уж бедна, как это может показаться с первого взгляда: не забудем, что одним из ранних английских почитателей Пушкина был Карлейль. В 1880 г. официальным письмом на имя И. С. Тургенева на пушкинский праздник в Москве откликнулся Альфред Теннисон.¹⁵² В журнальной английской литературе, особенно во второй половине

¹⁴⁷ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. . . Письма, т. 13, кн. 1, с. 149. Об этом переводе, принадлежавшем Spalding'у (1881) см.: Мержов В. И. Puschkiniana, № 3530—3532, в ст.: Morfill W. R. Alexander Pushkin // Westminster Review, 1883, vol. 63, april, p. 443—444.

¹⁴⁸ Foreign Quarterly Review, 1827, vol. 1.

¹⁴⁹ Thomas B. Shaw. Pushkin, the Russian Poet // Blackwood's Edinburgh Magazine, 1845, vol. 57, p. 657—672. Об авторе этой статьи см.: Григорьев В. С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870, с. 145; Боденштедт Ф. Воспоминания // Рус. старина, 1887, № 5, с. 436—437.

¹⁵⁰ The Bookman. London, 1932, vol. 82, p. 264—268.

¹⁵¹ Ср. в указателе: Griswold W. M. A Description List of Novels and Tales dealing with Life in Russia. Cambridge, Mass., 1892. Любопытно, кстати, отметить, что молодой Р. Киплинг с интересом читал произведения «московских авторов» — Пушкина и Лермонтова (см.: Hopkins R. Thurston, R. Kipling: A Character Study. London, 1924, p. 225).

¹⁵² Рус. ведом., 1880, 8 июля, № 147. На имя Тургенева тогда же прислали свои приветствия В. Гюго и Ауэрбах.

XIX в., высказано немало любопытных критических замечаний о Пушкине и русской литературе его времени. Все это должно составить предмет особого исследования.¹⁵³

Отметим несколько наудачу выбранных фактов, которые позволяют подкрепить убеждение относительно того, что Пушкин далеко не так мало известен был на западе Европы, как принято думать.

«Русской литературы до Достоевского, Тургенева и Толстого для испанцев почти что не существует», — писал В. В. Рахманов, пытаясь определить репертуар русской литературы, известный испанскому читателю, не владеющему русским языком. Свое наблюдение исследователь подкреплял именно ссылкой на Пушкина. Переводы Пушкина на испанский язык носили случайный характер: «Так, переведен „Уединенный домик на Васильевском острове“ (La Casita Solitaria en la isla Basilio, transchita por Tit Cosmokratof) и в то же время нам ничего не известно о каких бы то ни было переводах „Евгения Онегина“. „Дубровский“ удостоился чести даже двух переводов, равно как и некоторые из повестей Белкина; последние появились в двух известных нам сборниках. . . Кроме того, отдельным изданием вышла „Капитанская дочка“. Вот и все, что нам известно об испанских переводах Пушкина».¹⁵⁴

Этот обзор должен быть дополнен; так, например, кроме нового перевода «Капитанской дочки» (G. Portnoff), цитируемого в указанной работе, существует и старый — 1879 г.;¹⁵⁵ «Выстрел» вышел в Мадриде годом раньше;¹⁵⁶ существуют, вероятно пока не отмеченные в пушкинской библиографии, журнальные публикации его переводов на испанском языке. Мало того, в Испании существует уже с начала 70-х гг. собственная критическая литература о Пушкине. Так, Эмилио Кастеляр (Emilio Castelar, 1832—1899), знаменитейший из испанских либералов второй половины XIX в., государственный деятель и публицист (им основан журнал «La Democrasia»), историк и поэт, своими статьями и речами о Пушкине вызвал настолько большой интерес, что они даже удостоились перевода в отрывках на итальянский язык.¹⁵⁷ В этих статьях он писал и об «Евгении Онегине» в самых востор-

¹⁵³ К этому вопросу я предполагаю вернуться в особом этюде (см.: А л е к с е е в М. П. Русско-английские литературные связи: XVIII — первая половина XIX в. // Лит. насл. М., 1982, т. 91. — *Ред.*).

¹⁵⁴ Рахманов В. В. Русская литература в Испании // Яз. и лит. Л., 1930, т. 5, с. 333 (полнее см.: А л е к с е е в М. П. Русская культура и романский мир. Л., 1985, с. 116—168. — *Ред.*).

¹⁵⁵ La hija del capitán: Novela rusa de Alejandro Poushkin / Trad. por V. S. Madrid, 1879 (М е ж о в В. И. Puschkiniana, № 3498).

¹⁵⁶ P o u s h k i n e A. Un tiro; El constructor de autades; La Nevada: Novelas rusas. Madrid, 1878 (М е ж о в В. И. Puschkiniana, № 3488). Оба перевода, вероятно, сделаны с французского языка.

¹⁵⁷ Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Sr. Emilio Castelar. Madrid, 1880. О Пушкине — с. 55, 86—87, 273; итальянский перевод см.: P r o v e n z a l A. Pushkin giudicato da Castelar.

женных выражениях. В 1887 г. в Мадридском «Атенео» другая писательница, Э. Пардо Басан, читала лекции о русской литературе; в этих чтениях немало внимания уделено было и Пушкину, Пардо Басан говорит, что она может причислить великого русского поэта к числу виднейших писателей Европы и сопоставляет его с Байроном, Мюссе и Хосе Эспросседой; эти чтения испанской писательницы в английском переводе вышли и в Америке.¹⁵⁸

Диапазон пушкинского влияния очень велик. Мы знаем сейчас, какую роль творчество Пушкина играло в литературах румынской,¹⁵⁹ южно- и западнославянских, например в чешской, где, начиная с переводов Ф. Л. Челяковского (1832—1837 гг.), тянется длинная цепь переводов, перепевов и подражаний Пушкину (вроде, например, стихотворного романа Г. Пфлегера-Моравского «Pan Vyšioský», образцом которому служил «Евгений Онегин»);¹⁶⁰ в работах В. И. Ягича, Ив. Приятеля, И. Д. Шишманова, И. Грунева и т. д.¹⁶¹ можно найти немало убедительных примеров влияния Пушкина в литературах хорватской (Станко Враз, Д. Деметер), болгарской (Ив. Вазов), словенской и т. д.

Дальнейшая, возможно более полная регистрация всех этих переводов, отзвуков и подражаний Пушкину, всей громадной литературы, ему посвященной, составляет неотложную задачу советского и западноевропейского пушкиноведения. Однако уже и сейчас, в ожидании завершения такой работы, мы можем и должны предвидеть ее важнейший вывод, что роль и значение Пушкина в литературах Запада склонны были преуменьшать. Виднейшие писатели XIX в. давно уже признали в нем не только крупнейшего мастера русского художественного слова, но и встретили его как равного в своем европейском Пантеоне. В такой оценке Пушкина сошлись Гете и Гюго, Ламартин и Манцони, Мериме и Гонкур, Карлейль и Теннисон, несмотря на все различия их творческих сил и вкусов, идеологических и стилистических тенденций.

Firenze, 1874. Эта статья ливорнского журналиста нашла отклик и в русской печати. См.: Б. А. П. Кастеляр и Леже о Пушкине // СПб. ведом., 1875, № 38.

¹⁵⁸ Pardo Bazan E. La revolución y la novela en Rusia. Madrid, 1887. О Пушкине: р. 243—254; ГПБ располагает двумя (из трех) испанскими изданиями этой книги 1887, 1898 гг. и переводом: Russia, its People and its Literature / Transl. from the Spanish by F. Gardiner. Chicago, 1890.

¹⁵⁹ M. Puškin despre Romani // Archiva, 1928, anul 35, N 3—4, p. 269—290.

¹⁶⁰ Францев В. А. Пушкин в чешской литературе // Сб. ОЯС. СПб., 1900, т. 66, № 4, с. 1—22.

¹⁶¹ А. С. Пушкин в южнославянских литературах: Сб. библиогр. и литературно-критических ст. // Сб. ОЯС. СПб., 1902, т. 70, № 2, с. 1—406.



ПУШКИН И КИТАЙ

I

История европейской культуры знает пору острого и напряженного увлечения Китаем. Это XVII и особенно XVIII век. В эту эпоху пересеклись столь далекие друг от друга, и прежде и позднее, пути развития двух цивилизаций — Запада и Дальнего Востока. Но как различен был для них результат этой первой встречи в области мысли и искусства, к которой западный мир и Китай долгие века шли совершенно обособленно и независимо друг от друга! Допустив к себе католических миссионеров и оставшись равнодушным к их вероисповеданию, Китай ненадолго заинтересовался было занесенной ими европейской наукой, не без любопытства поучаясь у иезуитов, этих «варваров Запада», как надменно называли в Китае всех пришельцев из западных стран, астрономии, математике, географии и медицине, но вскоре ограничил сферу и их деятельности. Первая мирная попытка подчинить Китай европейскому культурному влиянию не удалась: из европейской премудрости Китай не усвоил почти ничего. Да и могли ли быть в сущности посредниками в этом деле католические монахи, явившиеся в Китай для того, чтобы проповедовать не преимущества западной цивилизации XVII в., но суровую христианскую мораль Европы варварских времен? И вместо ожидаемого сближения сгущалась атмосфера недоверия и непонимания; дальнейшее отчуждение Китая от западного мира было неизбежно: ему сопутствовали надоедливые торговые домогательства европейских купцов. Представители маньчжурской династии Небесной империи ради забавы могли брать у иезуитов уроки европейской философии, но в то же время простирали руку и на Тибет, и на Восточный Туркестан словно для того, чтобы отгородиться от всего остального мира еще сильнее, чем Великой каменной стеной, непроходимыми пустынями и ордами кочевников.

Совсем иначе отнеслась Европа к открытой миссионерами китайской культуре. Уезжая в Китай, иезуиты предполагали, что они попадут в страну варваров-язычников и сумеют доказать

им свое европейское превосходство, но этого не случилось; по приезде туда они вскоре должны были признать силу ее древней цивилизации, изящество и совершенство ее искусства, тонкость и глубину ее философской мысли. Сделанные ими в различных ракурсах сопоставления Китая с западным миром оказались во многом невыгодными для последнего. Их просветительная миссия поневоле поэтому пошла по обратному пути. Долгие годы их проповеди и культурная деятельность в Китае были бесплодны, но у себя на родине своими писаниями они сильно способствовали пробуждению увлечения китайским искусством и философией; их объемистые «Lettres édifiantes»¹ сделали одним из источников моды на все китайское, которая больше чем на столетие глубоко захватила в Европе все течения умственной жизни.

Разнообразные причины вызвали столь противоположные результаты этого «первого обмена» достижениями двух далеких друг от друга цивилизаций. Для европейского Запада XVIII век был веком цветения торговой и промышленной деятельности. Старая Европа становилась слишком тесным рынком; на очереди стояла колониальная проблема. В далекие страны Востока — Индию и Китай — уже издавна влеклись торговые надежды; так и теперь ради китайских товаров и завоевания нового рынка сбыта в течение двух столетий не прекращались поиски кратчайших путей в Китай из Европы. В Европе были уверены, что Китай станет охотно сбывать свои богатства и драгоценности за продукты европейского производства. Между тем Китай равнодушно отказывал в своем покровительстве купцам всех наций. Европейцы истощали все средства для того, чтобы утвердить свои фактории на китайской земле, и наперебой оспаривали друг у друга те незначительные преимущества, какие были им дарованы в результате хлопот, унижений и просьб. XVIII век в истории сношений Китая с Европой — это цепь непрерывных поражений европейской дипломатии и торговых притязаний европейских негодян. Ворота Небесной империи оставались наглухо закрытыми для европейцев до 1840 г., когда они открыли их наконец вооруженной силой. Таков фон, на котором благодаря исследованиям последних десятилетий все ярче вырисовывается своеобразнейшая страница европейской культурной истории — картина эстетического увлечения Китаем в Европе в XVIII в.

II

В исследовательской литературе² достаточно полно раскрыта эта картина во всем ее многообразии и увлекательной сложности.

¹ Часть этого многотомного труда была переведена и на русский язык: Записки, касающиеся до истории наук, художеств, нравов, обычаев и проч. китайцев, сочиненные проповедниками веры христианской в Пекине (М., 1786).

² E t i e m b l e R. L'Orient philosophique au XVIII-e siècle. Paris, 1957 («Les cours de Sorbonne»); L i n Ch. Chinoiserie et japonisme in French litera-

Мы узнаем о распространении «китайского вкуса» в XVIII в. во Франции, Англии, Голландии и Германии и о тех заметных следах, какие оставил он во многих течениях европейской мысли и искусства. Для нашей цели нам необходимо остановиться только на некоторых, важнейших итогах этих исследований.

Предметы китайского искусства, завезенные в Европу на португальских и голландских кораблях, вызвали постоянный культ всего китайского во Франции уже в XVII в. С этих пор преимущественно приморские европейские страны стали наводнять фарфор (производство которого в Китае как раз достигло своего расцвета), лаковые работы, безделушки, шелковая и лаковая мебель. Увлечение «китайщиной» проявилось особенно ярко во Франции в эпоху господства стиля рококо, и родство этого стиля с искусством Восточной Азии не подлежит никакому сомнению.

Наряду со страстью к собиранию отдельных китайских вещей возникает мода на целые «китайские комнаты», для которых Ватто и Буше пишут свои условно китайские декоративные панно с театрализованными ландшафтами и блеклыми красками; новая мода сказывается и в архитектуре — в парках и местах увеселений все чаще возводятся теперь китайские башенки, храмы и домики; им подражает и дворцовая архитектура, где изысканная линия тонет в обильной орнаментике и асимметрия становится законом. Одновременно и китайский сад делается предметом восторга и подражания. Классической геометричности французского парка противопоставляют теперь «подражание природе во всех ее затейливых причудах»; своеобразное садовое искусство китайцев видят в их умении замыкать на небольшом пространстве бесчисленное разнообразие сельских видов: мы видим здесь долины, ущелья, водоемы и озера, то встречают нас поля, огороды и лужайки; маленькие беседки у прудов, где плавают лебеди, а в перспективе, на фоне огородов, окруженных плетнями, и зеленых лугов дома небольшой деревеньки, отделанные чисто и просто соломой, тростником и бамбуковыми листьями. В настоящей сфере рококо — великосветском салоне, переполненном китайскими шелками и безделушками, — все чаще пытаются воссоздавать Китай в пестроте маскарадных празднеств или на подмостках домашнего театра: обилие оперетт из китайской жизни, появившихся в ту эпоху, далеко не случайно.

ture. Diss. Univ. of Michigan, 1966; Dawson R. The Chinese Chameleon : An Analysis of European Conception of Chinese Civilization. London; New York, 1967; Catalogue de l'exposition «La Chine découverte par les Européens, début XVII-e siècle—début XIX-e siècle», organisée à la Bibliothèque de la ville de Lyon. Lyon, 1972; Bauer W. Goethe und China : Verständnis und Mißverständnis // Goethe und die Tradition / Hg. von H. Reiss. Frankfurt a. M., 1972; Kobayashi S. Problèmes de traduction lors des premières rencontres sino-européennes // Études de Langue et Littérature françaises. Tokyo, 1972, t. 20; Actes du Colloque international de sinologie : La mission française de Pékin au 17-e et 18-e siècles. Paris, 1976, p. 87.

Одновременно и в литературе, и в философии проявляется то же увлечение. Китай, в представлении европейцев, становится в эту эпоху страной мечтаний и пленительной сказки, куда несутся помыслы и поэтические восторги; литература Европы полна картин «воображаемого Китая», страны идеально-декоративной жизни; Китай все чаще привлекают в качестве контраста к изображению современной действительности. «Китайские письма» маркиза д'Аржана (1741) и их английская аналогия «Гражданин мира» Голдсмита (1762) по форме своей напоминают «Персидские письма» Монтескье; это сатирические картинки европейской жизни с точки зрения идеального китайского наблюдателя — тоже своеобразное проявление духа рококо, его стремления к капризной игре сатирического ума, к форме скептического эссе, которое ввел в моду Пьер Бейль — родоначальник стиля рококо в сфере философской мысли. Характерно, что в эту же пору Европа знакомится с философией старого мыслителя Лао-цзы, мистическое учение которого говорит так много в атмосфере цветных шелков Южного Китая, нежной игры фарфора, лаковых кабинетов и безделушек. Китай не перестал привлекать к себе сильного внимания французского общества, когда на смену капризной причуде мысли пришла эпоха конструктивного мышления растущей буржуазии. Скептицизм сменялся материализмом; начиналась эпоха Просвещения. Но Китай не потерял интереса ни для философов, ни для художников новой эпохи. Вместо Лао-цзы сделался героем Конфуций; его призвала в советники материалистическая философия и искала в нем точку опоры. Вольтер в ряде своих сочинений восторгается красотами китайской морали и прославляет китайский институт мандарината, столь подходивший к его теориям просвещенного абсолютизма. И характерно, что китайский сюжет нередко служит ему для целей острой философской полемики. Драма Вольтера «Китайский сирота», как известно, направлена против главного тезиса Руссо о том, что искусство и наука развращают нравы: Вольтер заставляет в ней одержать победу китайской цивилизации над воинственной дикостью Чингис-хана. Мы находим здесь определенную философскую целеустремленность, тогда как лирические оперетты на китайские сюжеты в эпоху рококо не преследовали никаких философских задач. По словам Вольтера, его «Китайский сирота» — «мораль Конфуция, развернутая в пяти актах». Наиболее полно Вольтер высказался о Китае в «Опыте о нравах», в «Философском словаре», в «Бумагах Жана Неслье», наконец, в статье об «Изгнании иезуитов» — всюду сквозит самый восторженный, панегирический тон. Бросая упрек Боссюэ в том, что последний в своей «Discours sur l'histoire universelle» ни словом не обмолвился о Востоке, Вольтер замечает, что, если философ хочет говорить о событиях земного пара, он должен сначала бросить взоры на Восток — «колыбель всех искусств, которой всецело обязан Запад». Вот почему и его «Опыт о нравах» открывается длинной главой о Китае. Именно этот «Опыт» открыл собою целую серию восторженных отзывов

о Китае. «Энциклопедия» заимствовала у Вольтера его характеристику китайской философии; очень сочувственные строки посвятили ей и Гельвеций («Об уме»), и Пуавр («Путешествие философа»)³ Многие думали тогда, что спасение Франции — в своеобразном проникновении в «дух Китая»; еще Гримм смеется над этой «китаеманией» французских мыслителей своего времени.⁴

Физиократы также опирались на воображаемые картины «идеальных государств» — страны инков и особенно Китая, которые они противопоставляли тяжелобольному народнохозяйственному организму Франции: их идеализация аграрного капитализма и учение о том, что земледелие является единственным источником богатства, а также их защита «легального деспотизма» в равной мере основаны были на китайских источниках. Основатель школы физиократов Кенэ своим трактатом «О деспотизме в Китае» (1767) недаром заслужил кличку «Конфуция Европы»; о его главных положениях — установлении и применении конфуцианских принципов — писали его ученик маркиз Мирабо и Монтодуэн. Это поголовное увлечение Китаем во Франции дожило до революции; последние отзвуки его слышатся еще во французском романтизме. Философы и экономисты, поэты и художники отдали ему дань. То же увлечение «китайщиной» в XVIII в. находим и в других европейских литературах — немецкой, английской, итальянской. Метастазιο пишет текст и музыку своей оперы «Китайский герой» (1752); в Германии тот же сюжет обработан в драме Фридрихса «Китаец, или справедливость судьбы» (1774) и у Виланда в «Золотом зеркале»; Шиллер перелбывает «Принцессу Турандот» Гоцци, Гете в 1781 г. создает своего «Эльпенора», основанного, как отмечают исследователи, на заме, чательном проникновении в самый дух китайской словесности, известной ему лишь по несовершенным немецким переводам.⁵

III

Многочисленные и крепкие нити связывают творчество Пушкина с французской литературой и искусством XVIII в. Можно считать прочно установленным, что в детстве и юности он впитал в себя все наиболее значительное из того, что создала французская поэзия этой поры. Естествен вопрос: мог ли он пройти мимо той «китаемании», которой так сильно захвачены были многие из властителей его дум? Достаточно вспомнить здесь хотя бы Вольтера. О возможности отзвуков у Пушкина «Китайского сироты»

³ R o i v r e P. Voyages d'un Philosophe. Yverdon, 1768.

⁴ Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister. Paris, 1877—1882 (16 томов). Гримм — ноябрь 1785 г.

⁵ B a l k e D. Orient und orientalische Literaturen // Realexicon der deutschen Literaturgeschichte. 2 Bd, Lfg. 9/10. Berlin, 1965, S. 858—866; B a u e r W. Goethe und China.

мы скажем несколько позднее, сейчас же подчеркнем, что впечатления от этого офранцузенного Китая должны были, несомненно, усилиться у Пушкина в обстановке «китайщины» Царского Села в эпоху его лицейской жизни.

Русская «китайщина» екатерининских времен была сколком с французской. У нас, как и в Европе, собирали фарфор, фаянсовую посуду и лаковые безделушки, позднее отделявали дворцовые комнаты в китайском стиле, увлекались садовым искусством. «Китайский дворец» в Ораниенбауме (1762—1768, архитектор Ринальди), особенно же китайские постройки Царского Села (китайский театр, два моста, беседки и др.) являлись показательными образцами этого условного, офранцузенного Китая.⁶ Екатерина II подавала пример этому увлечению. В письмах к Вольтеру и Гримму она часто говорит о Китае. Еще интереснее в этом отношении ее переписка с принцем де Линем, этим блестящим и типичнейшим представителем «ancien régime»: то с тонкой иронией она рассуждает с ним о красотах китайского языка, то сообщает выписку из пекинской газеты о «китайском императоре», «моем милом и церемонном соседе с маленькими глазами», сочиняет забавный стишок:

Le roi de la Chi-i-i-i-ne
Quand il a bien bu-u-u-u
Fait une plaisante mi-i-i-i-ne

Китайский император,
Когда он хорошо выпил,
Строит забавную гримасу. . .

то, наконец, делится со своим собеседником китайским афоризмом, нужно сказать, совершенно уайльдовского стиля: «Лучшее средство избежать искушения — это поддаться ему». ⁷ В «Сказке о Февее», как известно, рассказывается о том, что у какого-то сибирского народа на Иртыше был царь китайского происхождения по имени Тао-ау, а супруга его ездила на золоторогих оленях, на которых красовались горностаевые хомуты с яхонтовыми пряжками. Ловкий авантюрист Леклерк знал, как понравиться императрице, и написал для наследника, будущего императора Павла, «китайскую повесть» — «Yu le Grand et Confucius. Histoire chinoise» (Soissons, 1769). И словно в подражание императрице в русской журналистике екатерининской поры развернулась целая серия переводных и оригинальных статей о Китае.⁸

⁶ Дахнович А. С. Путеводитель по Ораниенбауму. Петергоф, 1930; Иконников А. И. Китайский театр и «китайщина» в Детском Селе. М.; Л., 1931, с. 15; Згура В. В. Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе. М., 1929; Каверин В. А. Барон Брамбеус. М., 1966.

⁷ Сб. имп. Рус. ист. о-ва. СПб., т. 17, с. 188—463; т. 13, с. 349—350, 125.

⁸ Сумароков еще в 1759 г. переводит с немецкого «Монолог из китайской трагедии, называемой „Сирота“» (Трудолюбивая пчела, 1759, сентябрь,

Объем и размах русского увлечения Китаем был тогда весьма значителен. В то время как Радищев в Сибири сочинял «Письмо о торге китайском», Державин переложил в стихи воинственные слова императрицы:

Допустим мира мы срединны,
С Гангеса злато соберем,
Гордыню усмирим Китая,
Как кедр наш корень утверждая. . .

Мог ли Пушкин не знать посвященной Китаю русской литературы XVIII в.? Могли ли ему не попасться на глаза хотя бы некоторые из только что перечисленных книг? Кантемир, который упоминает «странный китайский ум», Радищев, Державин, во всяком случае, были ему хорошо известны. Отдельные китайские образы, хотя бы державинских стихов, могли засть ему в память, оставить в ней некоторый след. Однако заметил ли тогда Пушкин своеобразную и глухую борьбу с западной традицией, которая намечалась в течениях русской литературной ориенталистики уже в XVIII в., — это «Поверение Вольтеровых о Китае примечаний», собранных на месте, это утверждения Радищева о преимуществах торговли России с Китаем перед ее западными соседями, эти признания российских меценатов и собирателей, что Европа не может обладать такими сокровищами китайского

с. 570). В «Пустомеле» сотрудничает близкий к Новикову один из первых русских синологов — А. Леонтьев. Журналы второй половины XVIII в. полны известий «о торговле европейцев в Китае», характеристиками китайского купечества, описанием фарфоровых фабрик и шелковых заводов. В ярославских «Ежемесячных сочинениях» печатают «Выписку из китайской книги, называемой Примеры добродетели для потомков, хранящейся в приказе нравоправителей в Пекине». В. Г. Рубан выпускает книгу «Китайский мудрец, или Паука жить благополучно в обществе» (2-е изд. СПб., 1777), к которой прилагает дополнение из «L'esprit de Rousseau» — «для сходства Азиатских рассуждений с европейскими». В. Нечаев переводит стихами «Китайского сироту» Вольтера (СПб., 1788, 1795); появляется в переводе с французского «Тшуанг-Тзе и Тиепа, или Открытая неверность, повесть китайская» (СПб., 1785). Монтескье и Голдсмиту подражает Сушкова, помещая в «Собеседнике любителей российского слова» (1783, ч. 5) «Письмо китаец к татарскому мурзе, живущему по делам своим в Петербурге». Дубровский переводит из Вольтера «О славе. Разговор с китайцем» в «Прохладных часах» (1793, ч. 2). «Подлинно ли, что китайцы 4000 лет в законе своем, правах, обычаях, в языке и одеждах без перемен состоят? Правда ли, что астрономия у китайцев за 2155 до Р. Хр. состояла; действительно ли, что прежде Конфуцуса от некоторого Лаукума заведен был у китайцев сект суеверия и что оной отвергнут за 5000 лет до Р. Хр.» — таковы вопросы, которые занимали русских читателей (Осведомление, или Некоторое поверение Вольтеровых о Китае примечаний, собранное в краткую Братшцева бытность в Пекине // Опыт тр. Вольт. рос. собр. при Моск. ун-те, 1783, ч. 6). Несколько приведенных здесь указаний далеко не исчерпывают вопроса. См. также: Межов В. И. Библиография Азии. СПб., 1910, т. 1; Неустров А. Н. Указатель к русским повременным изданиям за 1703—1802 гг. СПб., 1898. В настоящее время литература о Китае на русском языке пополнилась превосходными книгами П. Е. Скачкова «Библиография Китая» (М., 1960), «Очерки истории русского Китаеведения» (М., 1977).

искусства, как Россия, благодаря территориальной близости обоих государств? Едва ли «китайщина» на русской почве не должна была иметь отличные от французской «китайщины» черты, ведь русско-китайская торговля через Сибирь тогда во много раз превосходила кантонскую торговлю англичан, португальцев и французов, а первые русские переводчики с китайского языка появились у нас едва ли не раньше, чем во Франции и Англии.⁹ Но Пушкин-юноша знал прежде всего французский Восток, французский Китай.

В царскосельских парках его встречал Китай, возвращенный Екатериной. Имевшаяся в библиотеке Пушкина «История Села Царского» Ильи Яковкина (СПб., 1831, с. 238—239, 285—287) рассказывает, что китайский дом и театр (архитектор В. И. Нелов) начат постройкой в 1777 г., а в 1784—1788 гг. по планам Камерона выросла здесь целая «китайская деревенька», все 19 домиков которой повелено было «выштукатурить, выкрасить альфреско различными цветами, по вкусу китайскому, к чему подряжен лучший такого художества мастер — Рудольф». Вокруг деревни раскинулись столько раз воспетые Пушкиным аллеи, лужайки и озера китайского парка. . . «Как китайский климат весьма жарок, то употребляют они много воды в садах своих, — объясняет нам У. Чеймберс в книге «О китайских садах» (СПб., 1771), — повсюду мы зрим обширные озера, реки и каналы. Берега озер их так расцвечены, подражая в том природе, то песчаны, то круты и каменисты. Берега обыкновенно обсажены деревьями и составляют ветвями покрытые аллеи, под которыми проходят лодки. . . В прохладной тени здесь плавают лебеди. . . Оные аллеи обыкновенно ведут к некоторому весьма знатному предмету, а именно к какому-нибудь строению, к построенной посреди озера беседке, к каскаде и гроту». Не в «безмолвии» ли этих садов «весной, при кликах лебединых» явилась муза Пушкину-юноше? Не по этим ли садам ходил он с книжкой Вольтера в руках?

К 20-м гг. эти затейные сады заросли и заустели. Еще Державин в стихотворении «Развалины» (1797) воспел китайский уголок Царского Села:

Здесь был театр, а тут — качели,
Тут — азиатских домик нег. . .

Но от них все еще веяло жарким и свежим ароматом XVIII в. В литографиях В. Лангера (1820), учившегося в Лицее вместе с Пушкиным, мы видим еще крепкими и яркими эти беседки и

⁹ Fourmont E. Linguae Sinarum mandarinicae hieroglyphicae grammatica duplex, latine et cum characteribus sinensium. Paris, 1742; Kobayashi S. Problèmes de traduction lors des premières rencontres sino-européennes // Études de Langue et Littérature françaises. Tokyo, 1972, t. 20.

домики, каскады, серебряные пруды и китайские павильоны.¹⁰ «Не отсюда ли, не из этих ли садов, так много говоривших сердцу впечатлительного юноши, идут те величавые образы, которые так бесконечно разнообразны в его поэзии?» — спрашивает И. Анненский,¹¹ не без основания полагая, что великолепие царско-сельских дворцов и садов отразилось на соответствующих картинах «Руслана и Людмилы».

В песни второй, описывая сад волшебника, Пушкин говорит, что здесь

С прохладой вьется ветер майский
Средь очарованных полей,
И свищет соловей китайский
Во мраке трепетных ветвей. . .

(IV, 31)

Случаен ли этот «китайский соловей»? Не ведет ли он нас к «китайщине» Царского Села? Другие случайные намеки в ранних стихотворениях Пушкина могут убедить нас в том, что какие-то следы «китайщины» остались у него в памяти от лицейского времени. В послании «К Наталье» (1813) читаем:

Не владетель я Сераля,
Не арап, не турок я.
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя. . .

(I, 71)

Речь здесь идет, вероятно, о театральных пьесах, в которых подвизалась Наталья, крепостная актриса домашнего царско-сельского театра В. В. Толстого. Вспомним еще стихотворение «Надпись к беседке» (до 1817 г.), в котором, вероятно, идет речь о царско-сельской «Нееловской беседке» (1775), возобновленной Кваренги: «Восемь колонн розового мрамора, поддерживающих восьмигранную кровлю с загнутыми вверх, „по-китайски“, углами».¹²

¹⁰ Двенадцать видов Царского Села, 1820; воспроизведены: Старые годы, 1912, № 1.

¹¹ Анненский И. Ф. Пушкин и Царское Село. СПб., 1899.

¹² Иконников А. И. Китайский театр и «китайщина» в Детском Селе. 1931, с. 38. Пушкину, несомненно, известно было небольшое произведение Е. И. Кострова «Стихи к Китайскому домику» (Полн. собр. всех соч. в пер. в стихах. СПб., 1802, ч. 1), восхваляющее русскую садовую затею XVIII в.:

Ты внемлешь в рощах сих согласных птичек глас,
Твой вид, твой стройный вид увеселяет нас.

.....
Картины, столики, ковры и весь убор
Входящих внутрь тебя влекут плененный взор. . .

Мода на «китайщину» в русской архитектуре держалась долго. В позднем «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин, рассуждая о «невинных странностях москвичей», писал, что они «жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы» (XI, 246). В качестве позднего отклика на китайские забавы русских строителей можно вспомнить строки Д. Глебова в его очерке о Екатерингофе — любимом месте загородных прогулок жителей Петербурга в 20-е гг. XIX в.: «Как очарователен китайский киоск с своею круглой лестницей и своими украшениями в восточном вкусе. Он переселяет нас воображением в страну Пекина и своею новостью становится еще увлекательнее».¹³

Три года, проведенные Пушкиным после окончания Лицея (1817) в Петербурге, насыщены были театральными впечатлениями. «Волшебный край» — так называл он русский театр времен своей юности в XVIII строфе гл. I «Евгения Онегина»:

Там, там под сению кулис
Младые дни моп неслись.

Как свидетельствует статья «Мои замечания об русском театре», написанная Пушкиным в Петербурге перед ссылкой, он был в курсе всех театральных жанров и в немалой степени увлечен был музыкальным театром — оперой и в особенности балетом. «Там и Дидло венчался славой», — говорится о театре в той же строфе «Евгения Онегина», а в примечании 5 к своему роману в стихах Пушкин особо подчеркнул: «Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более Поэзии, нежели во всей французской литературе»; из черновика этого примечания явствует, что под «романтическим писателем» Пушкин имел в виду самого себя («Сам Пушкин говаривал», «А. П. находит»).¹⁴ Нас не должно поэтому удивлять, что упоминания отдельных балетов Дидло в различных писаниях Пушкина довольно многочисленны. Они подвергнуты уже тщательному изучению. Для нас особый интерес представляет то упоминание одного из лучших балетов Дидло, которое оказалось скрытым и затушеванным в вариантах к XXI—XXII строфам первой главы «Евгения Онегина». Его весьма тонко обнаружил и объяснил Ю. Слонимский.¹⁵

¹³ Г л е б о в Д. Екатерингоф // Новости лит., 1825, № 13.

¹⁴ Г р о м б а х С. М. Примечания Пушкина к «Евгению Онегину» // Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1974, т. 33, № 3, с. 223.

¹⁵ С л о н и м с к и й Ю. И. Балетные строки Пушкина. Л., 1974, с. 79—80.

В конце XXI строфы Пушкин описал ощущения своего разочарованного, рассеянного и скептического героя Онегина в театральных креслах на представлении балета Дидло и вложил ему в уста фразу:

Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел.

Именно к последнему стиху этой строфы Пушкин и поместил примечание 5, цитированное нами выше, как бы спеша отмежеваться от хулы на Дидло.

Из следующей XXII строфы выясняется, что Онегин покинул театр до окончания балетного спектакля:

Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
.
А уж Онегин вышел вон:
Домой одеться едет он
(VI, 14).

Ю. Слонимский обратил внимание на то, что в вариантах этой строфы есть загадочные строки, в конце концов выброшенные из текста (или замененные) поэтом:

Еще китайцы, боги, змеи
(VI, 231).

Или:

Еще китайцы, черти, змеи
(VI, 548).

В набросках, где фигурируют китайцы (или медведи), боги (или черти) и змеи, есть еще строка:

В четвертом действии шумят
(VI, 231).

Все эти переделанные стихотворные строки привели Ю. Слонимского к заключению, что Пушкин имел в виду вполне определенный балет Дидло, который поэт и сам видел осенью 1819 г. в Петербурге. «Оказывается, — пишет Слонимский, — китайский балет, сочиненный Дидло, существовал. Пушкин даже помнил дату его рождения, проявив точность летописца. Упоминание об этом балете в первой главе „Онегина“, действие которого разворачивается в конце 1819 г., совершенно правильно. 30 августа состоялась премьера единственного в первой трети века балета, где китайцы являлись главными действующими лицами и выступали бок о бок с амурами и змеями. Мало того, они объединялись — все заключалось большим празднеством, украшенным выступлениями, в частности, Истоминой. Именно в четвертом действии,

как это фиксировал Пушкин в черновой строке „Онегина“. Мало того, в этом балете герой принимал обличье свирепого зверя, напоминающего медведя. Реальные сценические образы всплыли из глубин памяти зрелого поэта. . .»¹⁶

Это были образы балета Ш. Дидло «Хензи и Тао, или Красавица и чудовище. Большой китайский балет в 4-х действиях, сочиненный г-ном Дидло», как гласили афиши и отдельно изданное либретто (СПб., 1819), на музыку Антонолини, с декорациями Каноппи, Тозелли и Кондратьева, машинами Бюрге и костюмами Бабини.

Пушкин, утверждает Ю. Слонимский далее, «присутствовал на премьере „Хензи и Тао“ и даже якобы присутствовал на спектакле не раз. То ли верный привычке посещать театр часто. То ли привлеченный чем-то, ему одному известным, питавшим поэтическое воображение».¹⁷ Это неточно. Достоверно мы знаем лишь об одном посещении Пушкиным театра во время представления «Хензи и Тао» и его дату.¹⁸ Тем не менее собранные Ю. Слонимским данные об этом балете и даты его постановок вполне подтверждают правильность догадки Ю. Слонимского, что начало XXII строфы первой главы «Онегина» выросло из воспоминаний Пушкина о «Хензи и Тао». В своей первой редакции этот балет был поставлен Дидло в период его театральной деятельности в Англии в Королевском театре в Лондоне (на музыку Федеричи; 14 мая 1801 г.).¹⁹ Восемнадцать лет спустя, в Петербурге, этот балет был поставлен в совершенно обновленном и переделанном виде. В предисловии к петербургскому изданию либретто «Хензи и Тао» (1819) сам Дидло признавался, что в основу сюжета своей хореографической композиции он положил несколько произведений, сплавив их сюжетные мотивы в одно целое: это были знаменитая сказка французской писательницы Лепренс де Бомон «Красавица и чудовище» («La Belle et la Bête»),²⁰ хорошо известная у нас по ее позднейшему пересказу в «Аленьком цветочке» С. Аксакова; моралистическая повесть Мармонтеля «Земира и

¹⁶ Там же, с. 83.

¹⁷ Там же, с. 81.

¹⁸ М. А. Цявловский (Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 193), основываясь на рассказе Н. А. Маркевича в его «Записках» о том, почему Пушкин запоздал в театр на балет Дидло в китайском роде — «Хензи и Тао», сообщает, что этот балет попал до ссылки Пушкина на юг три раза в 1819 г.; из указываемых им трех дат этих постановок две отпадают полностью по достаточным основаниям; «единственной возможной датой считается 30 октября 1819 г.» (с. 749).

¹⁹ С л о н и м с к и й Ю. И. Дидло. Л.; М., 1958, с. 224.

²⁰ Сказка Лепренс де Бомон (Leprience de Beaumont, 1711—1780), сестры известного французского художника, впервые напечатана в книге «Magazin des enfants ou Dialogues d'une sage gouvernante avec ses élèves. . .» (1747) и в свою очередь является пересказом проповедения писательницы Барбо де Вильнев (Suzanne-Gabrielle de Villeneuve, 1615—1755). См.: H a z a r d P. Les livres, les enfants et les hommes. Paris, 1949, p. 24.

Азор» («Zémire et Azor»), действие которой сосредоточено в условной Персии, и одноименная опера А. Гретри (1771). «Станным, может быть, покажется, — замечает Дидло, — что я переменил название столь известного сюжета, когда увидаю на сцене то же, что изображено в „Земире и Азоре“». Однако, оправдываясь Дидло, он избрал для своего балета «род китайский», дабы «более разнообразить эффекты декораций и костюмов, чтобы не всегда представлять публике одни и те же лица, одни и те же виды». Впрочем, в своем главном преобразовании в сюжетной канве петербургской редакции «Хензи и Тао» он умолчал, и, вероятно, неспроста. О существенных отличиях двух редакций балета знали или догадывались ближайшие сотрудники автора. А. П. Глушковский засвидетельствовал, например, что лондонский хотя и имел то же название, но «по содержанию и обстановке был совершенно отличный от того, который он поставил в Петербурге».²¹

Сопоставив обе редакции «Хензи и Тао», насколько это представлялось возможным по дошедшим до нас данным, Ю. Слонимский пришел к выводу, что отличия их заключались не в народоописательном приурочении сюжета о девушке и чудовище (балет и в лондонской редакции имел условно китайский колорит), а в его существенном сюжетном преобразовании в первом действии балета.

Петербургский балет изображал деспотического богдыхана (в либретто — султана) Тао, от произвола которого стонет все его царство, условно называемое Китаем, изображенное хотя и живописными, но произвольными красками. Жестокий Тао привык, чтобы всякая его прихоть исполнялась немедленно. Когда ему приглянулась кроткая и милая девушка Хензи, живущая с отцом, которого она любит беспредельно, Тао потребовал ее к себе в качестве наложницы. Хензи решительно отвергает домогательства китайского императора. Тогда Тао велит силой привести ее к себе, а ее отца отправить на плаху. Но преступление не совершается: в тот момент, когда в присутствии Тао над головой старика, отца Хензи, палач возносит свой меч, чтобы отрубить ему голову, а сама Хензи, защищая отца, готова принести себя в жертву вместо него, некая волшебница превращает тирана в подобное медведю чудовище. Так кончается первый акт балета. «Нетрудно понять его смысл, — пишет Ю. Слонимский. — Человек стал чудовищем потому, что относился к окружающим как к предметам для удовлетворения своей необузданной прихоти, а к женщинам — как к своим рабням».²² Это как бы увертюра к дальнейшим событиям, которые разворачиваются в последующих актах в соответствии с основным сюжетом французской сказки: благодаря новому чувству чудовища к кроткой, но героической

²¹ Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. Л.; М., 1940, с. 189.

²² Слонимский Ю. И. Дидло, с. 123.

Хензи — подлинной любви — Тао возвращается человеческий облик; та, которую он хотел погубить, становится его избавительницей. Ю. Слонимский справедливо подчеркивает, что в основной идее балета и в трактовке главного образа героини русские современники Дидло, вероятно, усматривали злободневные черты, способствовавшие успеху балета «Хензи и Тао»: «Подобная трактовка, в духе передовых идей того времени, сближалась с декабристскими взглядами на тиранию, с их антикрепостническим отношением к любви, к женщине. Замысел проведен через спектакль не всегда последовательно. Порой он сплетался с чуждыми и даже враждебными ему интересами зрелищности и развлекательности. Музыка лишь покорно служила действию. Танец далеко не всегда вскрывал внутреннюю жизнь героев, передоверяя порой эту функцию иллюстративной пантомиме. И все же прочтение Дидло озаряло глубоким и ярким смыслом знакомый сюжет. Становится понятно, почему Дидло перенес события в Китай — страну, которая наряду с Испанией еще во времена французских просветителей аллегорично использовалась для подцензурного разговора о своей собственной стране. А слово „султан“ в декабристских кружках имело определенный смысл, ассоциируясь с российским деспотом».²³

Балет «Хензи и Тао» помнился долго. Еще в 1832 г. по случаю постановленного тогда в Петербурге нового балета в «китайском вкусе», «Киа-Кинг», весьма пышного и обстановочного, рецензент «Северной пчелы» противопоставил ему старый китайский балет Дидло, дававший более пищи для сердца и ума: «Глаза утомлены пестротой, а сердца, так сказать, ничего не шевелит. Тем, кому узнать угодно, чего можно ожидать от балета в китайском роде, укажем на балет Дидло „Хензи и Тао“. В этом произведении одна сцена (не говоря о других), когда Хензи, чтобы спасти отца своего, кидается под секиру палача, занесенную над главою старца, может пошевелить сердце, разумеется не черствое. . .».²⁴ Оба балета в пользу «Хензи и Тао» сопоставлял в своих воспоминаниях и А. П. Глушковский.²⁵ Пушкин также, по-видимому, вспомнил «Хензи и Тао» дважды: в 1823—1824 гг., когда писал первую главу «Евгения Онегина», и в 1834—1835 гг., когда набрасывал план балетной повести (оставшейся ненаписанной) и условно называемой по первым словам черновика «Две танцовщицы».²⁶

Что касается «пантомимного балета» в пяти действиях «Киа-Кинг», сочиненного балетмейстером Берлинского Королевского театра Титюсом и в первый раз представленного в Петербурге 15 мая 1832 г., то в летописях русского балета эта постановка осталась памятной прежде всего по роскоши своих костюмов и

²³ Слонимский Ю. И. Балетные строки Пушкина, с. 85—86.

²⁴ Сев. пчела, 1832, № 120.

²⁵ Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера, с. 189.

²⁶ Слонимский Ю. И. Балетные строки Пушкина, с. 148.

декораций, выполненных Масонески, «достойным преемником Гонзаго и Корсини», как отмечала та же «Северная пчела», в особенности удостоившая похвалы изображавшийся в первом действии «сад китайского губернатора» и «иллюминированный дворец» в пятом действии. «Великолепные костюмы, в которых мы видели не только первые сюжеты балета, но фигурантов, фигуранток, даже статистов. Более двухсот человек на сцене одеты были так, как едва ли одеваются в торжественные дни при дворе китайского императора».²⁷ Особые аплодисменты зрителей вызвали танцы с колокольчиками, зонтиками и разноцветными «бумажными фонариками», впервые в таком количестве появившимися на русских театральных подмостках. «Декорация с китайской иллюминацией в последнем балете имела величайший успех. По всей России распространилась мода на китайские фонарики. Всякий домашний и общественный праздник не обходился без них», — вспоминал В. Р. Зотов (Театральные воспоминания. СПб., 1859, с. 90). Тем не менее сюжет этого балета не был новинкой для России. По другим источникам — книжным и журнальным — он был уже известен русским читателям с конца XVIII в.²⁸

IV

Ссылка на юг привела Пушкина к соприкосновению с Ближним Востоком. Кавказ, Крым, потом Кишинев и Одесса дали резкий толчок возникновению его поэтического увлечения вос-

²⁷ Сев. пчела, 1832, № 120.

²⁸ Балет «Киа-Кинг» написан на сюжет, который известен был из книги Дюгальда «Описание Китая» (Париж, 1735), переведенной в России, и по той повести, которая послужила оригиналом для «Китайского сироты» Вольтера. Содержание «Киа-Кинга» рассказано в «Северной пчеле» следующим образом: «Киа-Кинг, сын китайского императора, лишённого престола и умерщвленного тираном Хан-цу, живет в садовниках у одного губернатора, не зная о своем происхождении. Его мать, скрывающаяся в одной деревне от гонения тирана, открывает Киа-Кингу тайну его рождения. Поводом к сему открытию была любовь его к губернаторской дочери. Киа-Кинг вооружает крестьян, убивает хищника престола Хан-цу и принимает жезл правления. Народ, вооруженный <sic!> фонарями, в саду, освещенном сотнями разноцветных фонарей, празднует сие счастливое событие» (Сев. пчела, 1832, № 20). Известен перевод с французского, выполненный С. И. Титовой, под заглавием «Хао Канг» (Приятн. и полезн. времяпрепровождение, 1798, ч. 17). В предисловии к этому «отрывку из китайской истории» сама переводчица объясняет, что здесь рассказывается о матери, которая «умела хранить свою тайну почти сорок лет», что изображенный здесь же «законный наследник пространной империи соединял в себе храбрость геройскую и благоумие мудрого человека и что, пятнадцать лет будучи заключен в пустыне, учился царствовать, забывши, как казалось, трон. . . наконец, что его единственный поверенный, к государю одушевленный привязанностью, с неутомимой ревностью и вместе с какой-то осторожной медлительностью и благоумным терпением приготовлял и довершал все дело». Об этом китайском сюжете напомнил в статье об Е. И. Титовой «Дамский журнал» (1830, ч. 30, № 19). Об этом сюжете и об отношении к нему Пушкина см. в разд. VII настоящей статьи.

точным миром. Турция, Аравия, магометанский мир памятниками своей философско-поэтической литературы стали оказывать на него все более крепнувшее влияние. Это был уже не тот Восток, который существовал в представлении искусства XVIII в. — «Восток гаремов и величавых пятиактных трагедий при султанском дворе». Это был Восток «Подражаний Корану», Восток Саади Ширазского и подлинных воссозданий турецких песен. 20—30-е годы XIX в. — знаменательный момент в истории русской ориенталистики. Недаром и увлечение Пушкина Востоком падает именно на эти годы. «Война России с народами мусульманского мира, греческое восстание, влияние Байрона, основание Азиатского музея Академии наук (1818), научная деятельность акад. Френа и преподавательская наших ориенталистов А. Болдырева в Москве (1811—1836), Сенковского в Петербурге, Ковалевского в Казани сыграли в нашей литературе немаловажную роль». Дальний Восток как бы отошел на некоторое время на второй план: Грибоедов, Сенковский, Ознобишин ввели в моду арабов, персов и турок в русской поэзии. Проблема столкновения Востока и Запада остро стояла тогда в исканиях не одного только Пушкина.²⁹ Впечатления жизни только усилили у него остроту этой проблемы.

От одесских времен идет у Пушкина мечта о далеких странствованиях, принимавшая самые причудливые образы и очертания. Он сам не мог определить, куда направить свой путь, — то он стремится в Италию, и чудятся ему итальянские пейзажи, то видится ему перспектива парижских улиц, то хочется ему «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь», то жаждет он «покинуть скучный брег» «неприятной стихии» и «среди полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России». В кишиневской тетради есть отрывок, со страстной силой запечатлевший эту мечту о дальних краях. Пушкин хотел начать «вольный бег по вольному распутию моря»:

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг —
[И вновь тебя зовут заманчивые волны].
[Дай руку — в нас сердца единой страстью полны!]
(II, 290).

Отсюда — огромный интерес Пушкина к рассказам бывалых людей, к этим «корсарам в отставке» и мореходцам одесского порта, где толпились корабли всех наций. . . И как знать, не увлекла ли Пушкина уже тогда мечта о Дальнем Востоке, куда он так стре-

²⁹ Э бер м а н В. Арабы и персы в русской поэзии // Восток, 1923, № 3, с. 108—125; С в и р и н Н. Пушкин и Восток // Знамя, 1935, № 4, с. 204—229.

мился позднее? Ведь уже тогда Пушкин, вероятно, следил за впечатлениями своего лицейского товарища Ф. Ф. Матюшкина, совершавшего полярную экспедицию с Врангелем в поисках северного пути в Китай,³⁰ того самого Матюшкина, которому в стихотворении «19 октября» (1825) посвящены эти теплые, интимно-лирические строки:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?

(II, 425).

В Кишиневе и Одессе Пушкин любил беседовать с человеком, который мог ему сообщить кое-что и о Китае. Это был Ф. Ф. Вигель. В 1805 г. Вигель отправился с посольством Головкина в Китай.³¹ Как известно, посольство это не достигло цели и не было допущено в Пекин: посол вследствие многих совершенных им ошибок был отправлен китайским ваном из Урги обратно в Россию, но тем не менее Вигелю, добравшемуся только до Кяхты, было что рассказать об этом путешествии, и он нередко вспоминал о нем в беседах с друзьями. Недаром в «Записках» Вигеля этому эпизоду его юности посвящено свыше полутора ста страниц второго тома! Он рассказывает здесь о своих поездках в Маймачин — пограничный китайский городок против Кяхты — единственный, который ему удалось увидеть, о его грязных улицах, «о которых могут иметь понятие только те, кои зимой в дождливое время ездили по одесским улицам», о его низеньких домах с нависшими крышами: «Над крытым местом всегда возвышается деревянная башня, в два или три яруса, расцветенная, с драконами, колокольчиками, какие мы видели на картинках или в садах. Это давало Маймачину красивый вид. . . На другом конце города пустили меня в китайскую божницу, посвященную богу брани; он находится в особом месте, или приделе, и, стоя, держит за узду бешеного коня. . . В главном же храме видел я колоссального Конфуция, богато разодетого, высоко на троне сидящего, и массивную, пудов в двадцать, железную полированную лампаду, день и ночь перед ним горящую». Вигель описывает далее

³⁰ Директор Царскосельского лицея Энгельгардт напечатал письма Ф. Матюшкина из этой экспедиции с очень ценными в этнографическом отношении сведениями о туземных жителях берегов Сибири и Дальнего Востока (Engelhardt G. Russische Miscellen zur genauern Kenntniss Russlands und seiner Bewohner. SPb., 1829—1832, 4 Bd.). Уже в альманахе «Мнемозина» (1824, № 1, с. 172—176), столь хорошо известном Пушкину, было помещено «Извлечение из письма к Е. А. Э. . . у <т. е. Энгельгардту, автору вышеуказанной книги> Ф. М. <Матюшкина>».

³¹ Записки Ф. Ф. Вигеля. М., 1891, ч. 1, с. 178—179, 182—183. Ср.: Б а с и н В. Н. О посольстве в Китай графа Головкина // ЧОДР, 1875, № 4, с. 1—103.

обед в Маймачине у богатого китайского торговца. . . Какой это был прекрасный материал для застольных бесед в одесском ресторане Оттона! Слышал ли эти рассказы Пушкин? Этого мы не знаем. Любопытно, однако, что в 1829 г. Пушкин просился в Китай, как это сделал Вигель в 1805 г.

По странной случайности в черновиках первой главы «Евгения Онегина», писанных в Одессе не позже июня 1823 г., мы находим след каких-то раздумий Пушкина о Китае. Книгами Вольтера или рассказами Вигеля внушены эти загадочные строки?

В тетради ПД № 834, в левом углу 6-го листа, в черновиках VI строфы, есть несколько зачеркнутых стихов, которые читаются так:

[Конфуций] мудрец Китая
Нас учит юность уважать —
[От заблуждений охраняя]
[Не торопиться осуждать]
[Она одна дает надежды]
[Надежду может]

(VI, 219—220).

Эти зачеркнутые стихи еще не обращали на себя внимания исследователей. Транскрипции их не дал Якушкин в описании тетради № 2369.³² В изданиях Пушкина П. А. Ефремова, П. Морозова, Поливанова, Венгерова мы также не встречаем никаких указаний на них. Первый раз, насколько знаем, напечатал их М. Л. Гофман в своем издании «Евгения Онегина» (1919, с. 260) с выпуском одного стиха, труднее остальных поддающегося чтению, и с неверным указанием, что настоящее место находится в «Набросках к V строфе I главы „Онегина“» (следовало сказать: к VI).³³ Знал эти стихи также В. Брюсов, отметивший в своей статье «Пушкин — мастер» (Собр. соч. М., 1975, т. 7), что у Пушкина есть отголосок и Дальнего Востока в отрывке «Мудрец Китая», однако без всякого указания на то, где этот отрывок находится и напечатан он или нет. Попробуем вдуматься в него глубже. Несомненно, что VI строфа I главы романа посвящена характеристике полученного Онегиным исторического образования:

Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней мпнувших анекдоты
От Родула до наших дней
Хранил он в памяти своей

(VI, 7—8).

³² Рус. старина, 1884 (2-е пзд.), т. 42, № 9, с. 555.

³³ По странной случайности и интересующие нас строки не попали в издание М. Л. Гофманом «Пропущенные строфы „Евгения Онегина“» (Пушкин и его современники, 1922, вып. 33—35).

Сбоку против черновика указанных стихов и помещен интересный нас отрывок. Какая связь между ними?

Несомненно, что VI строфа трудно далась поэту: каждый стих перечеркнут по нескольку раз. Как ни трудно восстановить логическую ассоциативную последовательность работы творческой мысли Пушкина над этими брешьями, все же хочется прежде всего думать, что мысль о Китае возникла у него по связи с другими, случайными образами из истории древнейших цивилизаций: вместо Ромула стояло первоначально, впоследствии зачеркнутое, имя Кира, а имя Конфуций, впоследствии переделанное на «мудрец Китая», написано рядом с недававшимися словами: [времен] хронологической пыли, дней минувших анекдоты [времен минувших анекдоты]. В желании установить объем исторических познаний Онегина Пушкин словно колебался — дать ли ему поверхностное знание древней истории от греко-персидских войн или только от римских времен; не должен ли был, однако, Онегин знать и о древнейшей цивилизации мира? Любопытно было бы проследить, к какому источнику восходит это зачеркнутое упоминание Конфуция. Однако мысль Пушкина не досказана: она оборвалась на полуслове и затем окончательно была выброшена из текста; нам так, вероятно, и не удастся узнать, как в сознании поэта связались воедино мысли о воспитании Онегина и мнение о воспитании китайского мудреца. Вспомнил ли он здесь восторженные отзывы о Конфуции Вольтера? Но в частых цитатах и ссылках Вольтера на Конфуция, например в «Опыте и нравах», в «Философском словаре» и во всех других его сочинениях, нет такого места, которое можно было бы поставить в параллель со стихами Пушкина. Знал ли Пушкин о Конфуции из других источников?³⁴ Китайский философ часто упоминался и в русской печати.

V

С каждым годом интерес к Китаю должен был у Пушкина возрастать. Содействие в этом оказывала ему и русская литература. В 1824 г. вышло трехтомное «Путешествие в Китай через Монголию. . .» Егора Тимковского,³⁵ приветливо встреченное печатью. Это издание Пушкин мог видеть еще в Одессе. С 1825 г. немалое внимание Китаю, Маньчжурии и соседним странам стал уделять «Московский телеграф», еще ранее «Сибирский вестник» Григория Спасского,³⁶ переименованный в 1825 г. в «Азиатский вестник».

³⁴ Комментаторы Пушкина обычно ссылаются на роман Леклерка, который популярен был в России.

³⁵ Тимковский Е. Ф. Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг. СПб., 1824, ч. 2.

³⁶ Сиб. вестн., 1818, ч. 2; 1820, ч. 10—12; 1823, ч. 1—3. В «Сибирском Вестнике» мы находим довольно много материалов о Китае. Здесь есть и

В апреле 1825 г. из Михайловского Пушкин среди прочих книг неожиданно заказывает брату «„Сибирский вестник“ весь». Он был прислан Пушкину и сохранялся в его библиотеке за время с 1818 по 1824 г. с пропусками отдельных книг. В ближайшие за этим годы напряженные исторические занятия, ссылка декабристов с Сибирь, из которых иные, как В. К. Кюхельбекер, Цик. Бестужев, попали в места, непосредственно близкие к монгольской и китайской границам, также не смогли не сыграть известной роли в деле непрерывного оживления интереса Пушкина к Дальнему Востоку.³⁷

В истории ознакомления Пушкина с Китаем первостепенную роль сыграл знаменитый Н. Я. Бичурин (Иакинф).³⁸ Знакомство и дружба с ним Пушкина начались около 1828 г. и с перерывами продолжались несколько лет. Бичурин (1777—1853) был, быть может, одной из наиболее своеобразных фигур тогдашнего Петербурга. Бывший ректором Иркутской, потом Тобольской духовной семинарии, монах с 1800 г., в качестве начальника православной духовной миссии он прожил в Китае 14 лет (1807—1821), откуда вернулся в Петербург в январе 1822 г. с громадным сундуком редкостей и рукописей и замечательным знанием китайского языка. Однако миссия была принята очень холодно, и над ней вскоре последовал суд. Обстоятельства, его вызвавшие, представляются в общем еще достаточно темными. Возможные причины суда — заклад некоторых оброчных статей, небрежное обращение с церковной утварью, допущение открытия игорного дома в здании, принадлежавшем миссии и отдававшемся внаем. По другим данным, причиной обвинения отца Иакинфа были слухи о безнравственной жизни его в Китае. Как бы там ни было, Синод лишил его сана архимандрита и заточил в Валаамский монастырь, где он под строгой епитимьей должен был прожить пять лет (по

старинные русские путешествия в Китай, например Сибирского казака Ив. Пеглина (Сиб. вестн., 1818, ч. 2), и «журнал» Спафария (1823, ч. 3); здесь помещены китайские политические известия («Известие о кончине китайского богдыхана Цзя-Цина», 1823, ч. 1; «Сун, китайский министр и военачальник»), переводы сочинений европейских сиологов (например, «Письма г. Ремюза о китайских ученых и о влиянии их на государственное правление», 1823, ч. 2; «Письмо Ремюза об успехах китайской словесности в Европе», 1823, ч. 3) и т. д.

³⁷ Любопытно, что в библиотеке села Тригорского, которой Пушкин пользовался, оказалось довольно много русских книг о Китае; здесь, например, были: Букварь китайской / пер. А. Леонтьев. СПб., 1779; Житие Кун-Тсеа, или Конфуциуса, наиславнейшего философа китайского, восстановителя древней учености / Пер. М. Веревкин. СПб., 1710; Джун-Юн, т. е. Закон непреложный: Из преданий китайского философа Кун-Дзы. 1780; Сышу-Ген, т. е. Четыре книги с толкованиями. СПб., 1780—1784. Каталог библиотеки села Тригорского см. у Б. Л. Модзалевского (Поездка в с. Тригорское // Пушкин и его современники. СПб., 1903, вып. 1, с. 1—90, № 273, 289, 293, 335, 336, 346).

³⁸ См.: Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение : (К 200-летию со дня рождения) // Матер. конф. М., 1977, ч. 1—2.

1826 г.). В судьбе его произошел резкий перелом только после того, как в нем принял участие чиновник Министерства иностранных дел барон П. Л. Шиллинг фон Канштадт, дилетантски, но ревностно занятый востокведением.³⁹ В 1826 г. Шиллинг предложил Иакинфа Азиатскому департаменту в переводчики с китайского языка и сам хлопотал за него, где следовало. В результате Иакинф был вызван в Петербург, помещен на жительство в Александро-Невскую лавру и причислен к Министерству иностранных дел. Вскоре он стал появляться в высшем свете Петербурга в своем оригинальном полумонашеском костюме, со своей образцовой французской и английской речью и незаурядными познаниями по истории Дальнего Востока. Его заметили здесь и оказали ему покровительство и поддержку; недаром его первая книга — «Описание Тибета» — посвящена княгине Зинаиде Волконской. В то же время он сделался желанным сотрудником многих журналов — «Московского телеграфа», «Московского вестника» и др. Пушкин не мог не обратить на него внимание. Они познакомились, и между ними установились весьма дружественные отношения. Н. Л. Моллер вспоминала о Бичурине со слов своей матери: «Высокая худощавая фигура отца Иакинфа с бледным, выразительным лицом, живыми, умными глазами, над которыми чернели густые брови, черными с проседью волосами и длинной седой бородой привлекала к себе всеобщее любопытство. Чего только не говорили о нем: „Бедовый он был в свое время, в молодые годы, и в Китае немало чего натворил. Надурит, бывало, что-нибудь, попадетя, а все не исправится, за историю в Китае пришлось поплатиться немало — на покаянии, на Валааме высидел не один год, а все впрок не пошло, все такой же остался. Да и что за монах, сама видишь; не постится, в церковь не ходит, даже лба путем не перекрестит, а монашеское все просто ненавидит. Зато ученый вышел из него известный. Смотри, каким он пользуется уважением в ученом мире; у всех известных литераторов принят как свой. С Пушкиным был знаком, бывал у него; что анекдотов дедушка про него знает. Пораспроси-ка его, может быть, и расскажет“». По вслед за этим простодушная внучка чистосердечно признается: «Как ни любила я бывать с ним, слушая его рассказы не только о Китае, но и о Пушкине, Жуковском, Крылове и др., я оставаться с ним долго не могла. Мне становилось с ним скучно и хотелось уйти».⁴⁰

Интереснейшие страницы об Иакинфе оставил в своем латинском дневнике Николай Малиновский; по его словам, этот светский монах, отправленный в Валаамский монастырь по жалобе митрополита Серафима, был настоящим атеистом: «Он ставил

³⁹ См. о нем: Пушкин П. Письма / Ред. Б. Л. Модзалевского, т. 2, с. 291—292, и ПСС, т. XVII; О изображениях китайских писем и любопытных изданиях бар. Шиллинга // Азиат. вестн., 1825, № 4.

⁴⁰ Моллер Н. С. Иакинф Бичурин в далеких воспоминаниях его внучки // Рус. старина, 1888, т. 42, № 9, с. 535.

Христа не выше Конфуция» и сомневался в бессмертии души.⁴¹ Неистовый поклонник китайской культуры, он бранил Европу и Запад. Светские щеголи любили его болтовню, потому что он знал нескончаемое число скандальных историй и скабрзных анекдотов о китайских женщинах; любители искусств любили его суждения, а еще более его восточные редкости, которыми он заставил свой кабинет и любил удивлять к нему приходящих».⁴² Что беседа с ним могла быть занимательной, в этом убеждают нас его современники. Ю. Венелин, будучи в Петербурге, посетил Иакинфа и писал Погодину: «Я рассыпался в вежливостях; он был очень доволен, вежлив, affable <приветлив. — М. А.> и приятен до чрезвычайности. Единственный в своем роде из всех петропольских ученых. Мы проговорили около 2 часов о Монголии, Китае, Чжунгарии». Вскоре и М. П. Погодин записал в своем дневнике: «К Иакинфу. Отыскал, и приятных два часа».⁴³ Около того же времени сочинениями и личностью Иакинфа увлекся и В. Ф. Одоевский, получивший от него интерес к Китаю; след этого знакомства остался в незаконченной утопии Одоевского «4338 год. Петербургские письма» (отрывок напечатан в «Московском наблюдателе» 1835 г.), в которой изображена Россия отдаленного будущего в письмах путешествующего китайца своему другу в Пекин; многое навеяно здесь сочинениями Иакинфа;⁴⁴ у Сенковского, всю жизнь, с начала 20-х гг., интересовавшегося Китаем, сочинения Иакинфа оставили также немалый след; высмеивая увлечение Китаем, введенное у нас в моду Иакинфом, Сенковский по своему обыкновению пародировал его в «Совершеннейшей из женщин».⁴⁵ Полемика Иакинфа с Полевым по поводу замечаний на «Историю русского народа» в «Молве» должна была привлечь внимание Пушкина, который интересовался этим трудом.⁴⁶

Знакомство Пушкина с Иакинфом состоялось, по-видимому, около 1828 г., в то время, когда начинался период напряженной

⁴¹ Prace Komisji do badań nad historią literatury i oświaty. Warszawa, 1914, t. 1, s. 38, 144—145, 163—166, 175.

⁴² Отеч. зап., 1839, т. 7, с. 33.

⁴³ Барсуков Н. Жизнь и труды Погодина. СПб., 1897, т. 10, с. 386 (2-е изд.: СПб., 1911, т. 3, с. 131—133); см. также биографию Иакинфа, написанную М. Погодиным (Беседы в О-ве любителей российской словесности, 1871, т. 3, с. 62—68).

⁴⁴ Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. М., 1913.

⁴⁵ Каверин В. А. Барон Брамбеус. Л., 1929, с. 201—203, 236.

⁴⁶ Моск. телеграф, 1834, ч. 55, с. 128—165, 237—318. В русских журналах 30-х гг. XIX в. было немало статей о Китае, так или иначе навеянных Бичуриним или им редактированных; интересовались тогда и китайской литературой. О. М. Сомов писал М. А. Максимовичу 4 января 1832 г.: «У меня есть целый китайский роман, переведенный с китайского; отрывок из него помещен в „Северных цветах“. Жду отца Иакинфа Бичурина, чтобы роман сей пересмотреть вместе, проверить с ним (ибо у бар. Шиллинга есть китайский и маньчжурский списки оного), и тогда выпущу в свет вполне» (Рус. архив, 1908, № 3, с. 268). Отметим, кстати, что в 20-х гг. большую популярность

литературной деятельности Иакинфа и он входил в моду в Петербурге. По словам его биографа, Иакинф быстро перерабатывал заготовленные им в Пекине переводы и писал новые сочинения, так что цензоры не успевали заканчивать одно произведение, как он им представлял следующее. Мы не знаем подробностей их встреч и содержания их бесед, но можем догадаться, что они шли о Дальнем Востоке. Иакинф дарил Пушкину свои книги и давал ему на прочтение свои рукописи.

В библиотеке Пушкина находилось «Описание Тибета в нынешнем его состоянии с картою дороги из Чен-Ду до Лхассы. Перевод с китайского» (СПб., 1829)⁴⁷ с надписью на чистом после переплета листке: «Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения. Апрель 26 дня 1828 г.». Это была первая книга Бичурина, если не считать небольшой малозначащей брошюрки «Ответы на вопросы о Китае» (СПб., 1827); она представляет собой перевод сочинения одного китайского чиновника, бывшего в Тибете в 1786 г.

В библиотеке Пушкина в настоящее время не находятся (но, может быть, находились) книги, которые Иакинф выпустил вслед за «Описанием Тибета»: двухтомный труд «Записки о Монголии», вышедший в том же, 1828 г., «Описания Чжунгарии и Восточного Туркестана в древнейшем и нынешнем его состоянии» (две части, СПб., 1829); нет здесь также ни «Описания Пекина» (СПб., 1829), ни «Истории первых четырех ханов из дома Чингисова» (СПб., 1829). Все это были капитальные произведения, возбуждавшие интерес не только у нас, но и за границей; переведенные частью на французский и немецкий языки, они вызвали обсуждения в ученых обществах, например Азиатском в Париже.

Но уже в 1829 г. Бичурин, как свидетельствует его собственноручная карандашная надпись («Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика»), подарил Пушкину свою седьмую по счету книгу под заглавием: «Сань-Цзы-Цзинь, или Троеслово с литографированным китайским текстом. Переведено с китайского монахом Иакинфом» (СПб., 1829).⁴⁸

Это издание привлекливо встречено было русской печатью. Очень сочувственно отозвалась о книге «Литературная газета» в первом своем номере за 1830 г., придавая специальное значение ее типографическим особенностям и особо отмечая непререкаемый научный авторитет ее автора. «„Сань-Цзы-Цзинь“, — пишет анонимный рецензент, — в собственном смысле значит „священная книга из трех иероглифов“, ибо каждый ее стих состоит из

ность приобрел другой «китайский роман» — «Ю Кнао-ли, или Двоюродные сестры», который на французский язык перевел Абель Ремюза, а на русский (в отрывках) — Н. Рожалин в «Московском вестнике» (ч. 3, № 9, с. 121—148).

⁴⁷ Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 9—10, № 267.

⁴⁸ Там же, № 34.

трех иероглифов или слов. Она сочинена в XIII столетии. Вот что сказано о ней в предисловии китайском: „Сан-Цзы-Цзынь есть краткая детская энциклопедия, сочиненная Ван-бо-хэу, жившим в конце династии Сун. . . Начав изъяснением пяти стихий и четырех годовых времен в обращении неба, он далее говорит о трех связях и пяти добродетелях в поступках человеческих. . . Слог в ней краток, но смысл полон, выражения просты, но мысли глубоки. . . Книгу сию о. Иакинф перевел и издал с той целью, чтобы она могла служить для русских руководством к чтению переводов с китайского языка, ибо в ней изложены все философские умствования китайцев с разъяснением понятий и выражений, незнакомых европейцам и могущих затруднить их при чтении других китайских книг“. Критик «Литературной газеты» (1830, № 1) начинает свою рецензию с характеристик Бичурина, которая проникнута уважением к нему как к ученому и литератору: «Ученый наш ориенталист, отец Иакинф Бичурин, нашел лучший способ отвечать заграничным своим критикам; он напечатал свое переложение Троесловия («Китайская энциклопедия для детей») вместе с китайским текстом этой книги. Таким образом, все истинные и мнимые знатоки языка китайского могут сличить перевод с подлинником и говорить уже не наобум, не по догадкам, но основываясь на самой сущности дела и на явных, неоспоримых доказательствах, т. е. с обоими текстами в руках».

Автор цитируемой рецензии привел также несколько цитат из «Сань-Цзы-Цзынь», чтобы дать полное представление об издании, которое он рекомендовал читателям «Литературной газеты». Выписываем из нее три первых четверостишия, коими начинается Троесловие:

Люди рождаются на свет,
Собственно, с доброй природой.
По природе взаимно близки,
По навыкам взаимно удаляются.

Если не научить,
То природа не изменяется.
Способ же научения
Требует всей тщательности.

В древности мать [философа] Мын Цзы
Избирала жилища по соседям.
Сын перестал учиться —
Мать перерезала основу. . .

Последнее из выписанных четверостиший довольно пространно объяснено Бичуриным, так как оно действительно может остаться непонятым; в комментарии говорится о философе Мын Цзы и его матери, которая воспитала своего сына в соответствии с пословицей: «Для обращения — выбирай друга, для житья — соседа». Высказываются предположения, что автором цитируемой рецензии является Пушкин.⁴⁹ Такая догадка, несомненно, имеет право

⁴⁹ Б л и н о в а Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина: 1830—1831 : Указатель содержания. М., 1966, с. 49, 139—141.

на существование, но она требует еще дополнительных разысканий.⁵⁰ Во всяком случае Пушкин, если он даже не был ее автором, ознакомился с цитированной рецензией еще до ее опубликования, так как первый номер «Литературной газеты» был составлен и отредактирован им в отсутствие официального редактора издания А. А. Дельвига.

Ранней весной 1830 г. Бичурин вместе с пригласившим его с собой П. Л. Шиллингом уехал в экспедицию, снаряженную Министерством иностранных дел для обследования бурят и собирания сведений о торговле у северных и западных границ Китая.⁵¹ Экспедиция эта продолжалась более полутора лет, в течение которых Пушкин не виделся ни с П. Л. Шиллингом, ни с Бичуриным. Тем не менее и в этот период поэт продолжал внимательно следить за литературной деятельностью знаменитого русского синолога и знал о нем от общих знакомых и друзей. В связи с этим отметим, что в № 6 «Литературной газеты» от 26 января 1830 г. напечатаны были «Критические замечания» Бичурина, скрывшегося под буквой И. (г. е. Иакинф), на 1-й том книги Ю. Венелина «Древние и нынешние болгары в отношении к россиянам», в которой речь шла, в частности, о происхождении гуннов.⁵² Пушкин, естественно, хорошо знал, кто является автором этой рецензии, столь начитанным в редких дальневосточных источниках.

Позже, в № 28 той же «Литературной газеты» (от 16 мая 1830 г.) помещены (с полным именем автора) «Выписки из письма о. Иакинфа Бичурина к И. В. С.» от 5 апреля из Иркутска с описанием приезда упомянутой выше экспедиции Шиллинга,⁵³ а в № 60 за тот же год (от 23 октября) опубликован очерк «Кяхтинский пир (Письмо из Восточно-Азиатской России)» за подписью Н. Б., где дано довольно подробное описание встречи с китайскими и монгольскими властями отправляющейся в Пекин новой духовной миссии.⁵⁴

⁵⁰ Прибавим, что в рецензии встречается слово «преложение» в смысле «перевод» (с одного языка на другой), нередко употреблявшееся Пушкиным. См. «Словарь языка Пушкина» (М., 1959, т. 3): «Крив был Гнедич поэт, предложитель слепого Гомера»; «Российских авторов нелегкое встревожит, кто английский роман с французского предложит»; «И спотыкнулся мой Державин Апокалипсис предложить».

⁵¹ Об экспедиции П. Л. Шиллинга в Сибирь см.: Я р о ц к и й А. В. О деятельности П. Л. Шиллинга как востоковеда // Очерки по истории рус. востоковед. М., 1963, вып. 6. Сохранилась «Записка» Бичурина, побудившая его ехать в Кяхту с П. Л. Шиллингом, в которой изложена программа намеченных им для исполнения и в значительной степени осуществленных работ; см. кн.: Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение: (К 200-летию со дня рождения): Матер. конф. М., 1977; Б е л к и н Д. И. Славянский номер «Литературной газеты» А. С. Пушкина и его друзей // Сов. славяноведение, 1974, № 3.

⁵² Б л и н о в а Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина, с. 53.

⁵³ Там же, с. 72.

⁵⁴ По поводу автора этой статьи Е. М. Блинова поясняет, что хотя под криптонимом «Н. Б.» свои статьи подписывал иногда Н. Бичурин, он не мог

В следующем номере «Литературной газеты» (от 28 октября 1830 г.), в отделе «Смесь», мы снова находим, на этот раз без всякой подписи, «Отрывок из письма, полученного из Кяхты от 6 сентября».⁵⁵ В этом письме, занимающем целую страницу, Бичурин пространно рассуждает о китайском и русском языках, взаимоотношения которых он наблюдал в Кяхте; кому бы письмо ни было адресовано (Пушкину или О. Сомову), появление его на страницах газеты, несомненно, было следствием распоряжения самого Пушкина. Поэтому письмо это стоит процитировать как документ, вызвавший интерес поэта и заслуживший, с его точки зрения, опубликования.

«Целую неделю я потерял на любопытство, наблюдая китайцев. Все, что я ни читал об них в описаниях путешественников, старался проверить собственными глазами, и это в Кяхте не затруднительно, потому что китайцы, остающиеся здесь на лето (до 700 человек), от праздности и скуки ежедневно ходят к нашим купцам. Они изъясняются с ними на испорченном русском наречии, в котором я, по новости, понимаю не более десятого слова. Удивительно для меня было, что русские и китайцы, препроводя по несколько десятков лет для торговли, не могут изъясняться правильно, ни русские по-китайски, ни китайцы на русском языке. Я хотел узнать истинную причину этому, и вот что сказали мне: затруднение состоит в грамматической противоположности сих языков между собой. Для россиянина непонятно, каким образом в слове „люблю“ без изменения можно подразумевать многочисленные изменения по залогам, наклонениям, временам, лицам

быть автором «Кяхтинского пира», «так как в письме сообщается, что Бичурин переводил речи китайских и монгольских властей на угощении по случаю отправлявшейся в Пекин духовной миссии» (с. 95, 183). Очевидно, статья эта принадлежит декабристу Николаю Бестужеву, который не только был лично знаком с Н. Я. Бичуриным, но даже написал его акварельный портрет, поныне хранящийся в Троицкосавском музее; воспроизведение этого портрета дано в книге «Пушкин и Сибирь» (Иркутск, 1937). Во время пребывания своего за Байкалом Н. Я. Бичурин вошел в близкое сношение с декабристами. Что касается российской духовной миссии, о которой идет речь в статье «Кяхтинский пир», то к ней принадлежал Ладыженский. М. П. Погодин писал о нем С. П. Шевыреву (8 марта 1830 г.): «Ладыженский, мой старый товарищ, едет в Пекин — вот где корреспондент для „Московского вестника“! Иакинф поехал тоже в Китай для некоторых справок и поверок (между прочим) своего большого описания Китая» (Рус. архив, 1882, № 9).

⁵⁵ Не знаю, на каком основании в указателе Е. М. Блиновой (с. 97) отмечено, что данный «Отрывок из письма» сопровождается подписью автора («Отец Иакинф»). В экземпляре газеты, бывшем в моих руках, никакой подписи не имеется. Кроме того, статья не кончена, и после нее стоит редакционное сообщение: «Продолжение обещано». На самом деле оно не появлялось, может быть, потому, что именно эта страница, закончившаяся четверостишием Казимира Делавина, по доносу Булгарина вскоре послужила поводом для закрытия «Литературной газеты». Как известно, Бенкендорф заявил, что он «троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского уж упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь» (Блинова Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина, с. 4—5). Последующие номера «Литературной газеты» вышли под редакцией О. М. Сомова.

и числам. Китаец, напротив, удивляется, для чего русские не говорят: ты люблю, он люблю, как они действительно говорят на своем языке. Впрочем, китайцы, живущие в Кяхте для торговли, за необходимое поставляют обучаться русскому языку и потому они все, хотя и худо, но изъясняются на русском языке. . .». ⁵⁶ Конечно, эти наблюдения не лишены занимательности; Бичурин слегка коснулся здесь еще нового для языкознания той поры, но в последующие десятилетия столь популярного среди европейских лингвистов вопроса «о смешанных» пограничных диалектах (типа Pidgin English), искажавших морфологический и фонетический облик слов и фраз.

Пристальный интерес Пушкина к экспедиции П. Л. Шиллинга, который частично можно проследить и по комплекту «Литературной газеты» за 1830 г., может служить лишним подтверждением той давно уже высказывавшейся догадки, что именно Шиллингу или Бичурину Пушкин был обязан мыслью самому проситься принять участие в этом путешествии. С Шиллингом перед самой его поездкой Пушкин находился в постоянных личных сношениях.⁵⁷ Известно также, что в сибирской экспедиции Шиллинга непосредственное участие принял еще один старый знакомый Пушкина по Москве и Петербургу — В. Д. Соломирский.⁵⁸ Тем более горьким и досадным явился для Пушкина отказ в разрешении на эту поездку, и тем внимательнее поэт следил за ее последующим ходом и результатами.

VI

7 января 1830 г. Пушкин писал Бенкендорфу: «Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с от-

⁵⁶ Этот «Отрывок из письма» Бичурина следует сопоставить с последним, шестым параграфом той его «Записки» о причинах его поездки в Кяхту, на которую уже было указано выше. В «Записке» говорится, что он «по желанию кяхтинских комиссионеров» собирался заняться преподаванием сочиненных им «Основных правил китайской грамматики», «через что мало-помалу устраняются затруднения, которые препятствовали им приступить к изучению языка, столь нужного для ежедневных торговых сношений с Китаем». (см.: Я р о ц к и й А. В. О деятельности П. Л. Шиллинга как востоковеда // Очерки по истории рус. востоковедения. М., 1963, вып. 6, с. 227).

⁵⁷ А л е к с е е в М. П. Пушкин: Сравн.-ист. исслед. Л., 1985, с. 72, 75, 79.

⁵⁸ В 1831 г. он писал из Троицкосавска, что был «не без дела»: «. . . написал обозрение торговли России с Китаем, составил проект новых правил, коими наше купечество должно впредь руководствоваться. . . сверх того, написал свои путевые записки» (Шукинский сборник. М., 1907, вып. 6, с. 421). 17 июля 1835 г. В. Д. Соломирский написал Пушкину дружеское письмо из Тобольска, сообщая ему отзыв о поэте историка Сибири П. А. Словцова (Рус. архив, 1894, № 3, с. 455—456).

правляющимся туда посольством» (XIV, 56, 398). Ответ Бенкендорфа с отказом на просьбу был получен Пушкиным через 10 дней — 17 января: «. . . его императорское величество не соизволил удовлетворить вашу просьбу о разрешении поехать в чужие края, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того, отвлечет Вас от Ваших занятий. Желание ваше сопровождать наше посольство в Китай также не может быть осуществлено, потому что все входящие в него лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора» (там же).

Почти одновременно с прошением (23 декабря 1829 г.) Пушкин написал стихотворение, обращенное к «друзьям», под которыми здесь следует понимать в первую очередь П. Л. Шиллинга и Н. Я. Бичурину:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи.

(III, 191)

Об этом замысле поэта есть свидетельство в «Записной книжке» Е. В. Пугача: «Пушкин просился за границу, его не пустили. Он собирался даже с бар. Шиллингом в Сибирь, на границу Китая. Не знаю, почему не сбылось это намерение, но следы его остались в стихотворении „Поедем, я готов“». ⁵⁹

Этот известный эпизод биографии Пушкина обычно толкуют в том смысле, что замысел отъезда его в Китай был совершенно случаен. Отсюда — разнообразие вариантов задуманного им путешествия: Париж ли, ⁶⁰ Венеция ли, Неаполь с Геркуланумом и Помпеей на склонах Везувия либо Китай — Пушкину было все равно, куда ехать, лишь бы вырваться из России; Китай был лишь соломинкой, за которую хватался утопающий поэт, огорченный отказом «надменной девы» Н. Н. Гончаровой, к которой сватался в то время, на что намекают последующие строки того же стихотворения «Поедем, я готов. . .»:

Повсюду я готов. Поедем. . . но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную деву,
Или к ее ногам, ее младому гневу,
Как дань привычную, любовь я принесу?

⁵⁹ Рус. архив, 1899, с. 35, 73, 155—156; Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 59.

В конце февраля 1830 г. Иакинф уехал в экспедицию. В автобиографической записке Бичурин пишет о том, что годы 1830 и 1831, а также 1835—1837 он провел в Монголии и Сибири «по возложенным от правительства на него поручениям». ⁶⁰ В эти годы отношения Пушкина с Бичуриным прервались, но Пушкин несомненно продолжал внимательно следить за литературной деятельностью русского синолога и знал о нем от общих знакомых и друзей. ⁶¹

В гл. 1 «Истории Пугачева», рассказывая о мятеже яицких казаков, Пушкин коснулся также предшествовавших этому мятежу и способствовавших его возникновению кровавых событий 1771—1772 гг. — бегства приволжских калмыков-торгоутов на границу с Китаем, погони за ними, организованной русскими властями, в которой приняли участие и казахи, и «кэргизы» (киргизы); все это, как известно, привело к трагической развязке, о которой рассказывается и у Пушкина. Решительные удары были нанесены беглецам на самой русско-китайской границе; остатки торгоутов были разоружены китайскими пограничными отрядами и приняли китайское подданство. По поводу всего этого эпизода Пушкин отметил: «Самым достоверным и беспристрастным известием о победе калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из не изданной еще его книги о калмыках» (IX, 95). Следует обширная выписка из книги Н. Я. Бичурина «Историческое обозрение Ойратов или Калмыков с XV столетия до настоящего времени, сочинено монахом Иакинфом» (СПб., 1834). ⁶²

⁶⁰ Учен. зап. имп. Акад. наук по I и III отд.-ям. СПб., 1855, т. 3, с. 670—671.

⁶¹ В библиотеке Пушкина, между прочим, находилась книга замечательного английского лингвиста, писателя и поэта Джорджа Борро «Таргум, или стихотворные переводы с тридцати языков и наречий» (В о г г о w G. H. Targum. SPb., 1835). Отметим здесь одно давнее недоразумение. В Архиве внешней политики России (АВПР), хранящемся в Москве, находится дело «О дозволении агенту Британского библейского общества г. Барроу напечатать писания Нового завета на маньчжурском языке» (ф. 347, II.26, оп. 71, 1833—1936 гг., л. 1—14). Кратко излагая это дело, П. Е. Скачков (Очерки истории русского китаеведения. М., 1977, с. 133) допустил ошибку, видимо, основанную на архивной описи, спутав Джорджа Борро (Воггоу, 1803—1881), жившего в Петербурге около двух лет и учившегося здесь у Н. Я. Бичурина, с английским путешественником Джоном Барроу (Ваггоу, 1764—1848), сопровождавшим в Китай английское посольство Макартнея в 1792—1794 гг. На с. 247 своей книги П. Е. Скачков говорит, будто бы «имеются не вполне достоверные сведения, что Дж. Борро брал у Бичурина уроки китайского языка». Однако эти сведения вполне достоверны, так как писатель Джордж Борро вспоминает об этом не раз в письмах к своим русским друзьям. См. мою публикацию: Письмо Пушкина к Джорджу Борро // Вестн. ЛГУ, 1949, № 6. Борро и Барроу спутаны также в статье: Ч у г о в с к и й А. И. К истории издания восточных текстов в России в первой четверти XIX в. // Страны и народы Востока. М., 1971, вып. 11. Я пользуюсь транскрипцией имени *Борро*, поскольку он сам писал его так в русских письмах и документах.

⁶² М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека Пушкина, № 167, с. 46.

Это была большая книга, представлявшая, по словам самого автора, «сочинение, основанное на фактах, которые заимствованы из книг и рукописей русских и китайских»; в 1835 г. она была удостоена Петербургской Академией наук полной Демидовской премии.⁶³ Книга была цензурована А. Крыловым и разрешена к печати 19 сентября 1834 г.; вышла же она в свет, по-видимому, не ранее начала 1835 г.; что касается книги Пушкина «История Пугачева», то она появилась около 28 декабря 1834 г.,⁶⁴ т. е. значительно раньше. Приведенные выше слова Пушкина, что цитированный им отрывок о бегстве калмыков сообщен ему самим Бичуриным «из не изданной еще его книги», получили в настоящее время достаточно полное разъяснение. Дело в том, что этот капитальный труд Бичурина до своего издания в форме книги был опубликован в «Журнале Министерства иностранных дел» за 1833 г. Интересующий нас отрывок, привлечший внимание Пушкина, был помещен в № 8 (с. 423—434). Цензурное разрешение этого номера помечено 4 ноября 1833 г. Эти даты позволяют установить, что Пушкин познакомился с этим отрывком, когда рукопись его труда о Пугачеве уже была подготовлена к печати; поэтому Пушкин мог поместить заинтересовавший его рассказ о бегстве калмыков лишь в примечании к своему труду, а не в основном тексте, приложив к своей рукописи соответствующие страницы журнального оттиска, предварив их словами, цитированными нами выше, и сделав специальное указание для наборщика: «Следует выписка из журнала Мин. Вн. Дел».⁶⁵

При изложении эпизода о бегстве калмыков Пушкин пользовался также многими другими источниками, и большинство их он читал до того, как Бичурин прислал ему журнальные оттиски своей будущей книги. Так, начало этого эпизода было изложено у Пушкина на основании данных, почерпнутых из французской книги Феррана 1820 г. и ряда других авторов,⁶⁶ что и позволило

⁶³ Учен. зап. имп. Акад. наук по I и III отд-ям, т. 3, с. 670.

⁶⁴ Си н я в с к и й Н., Ц я в л о в с к и й М. Пушкин в печати. М., 1914, с. 133.

⁶⁵ На эту помету в рукописи Пушкина (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1139, л. 72) обратил внимание Л. А. Шейман в своей книге «Пушкин и киргизы» (Фрунзе, 1963, с. 57—58, в гл. IV: «А. С. Пушкин и Н. Я. Бичурин»); здесь же на с. 59 дается и воспроизведение одной страницы указанной журнальной статьи Бичурина, отмечнутой Пушкиным карандашом для перепечатки в «Истории Пугачевского бунта».

⁶⁶ Последовательность чтений Пушкина по этому поводу отмечена в кн.: Б л о к Г. П. Пушкин в работ над историческими источниками. М.; Л., 1949, с. 133, а также в ст.: П е т р у н и н а Н. Н. История Пугачева. От замысла к воплощению. — Рус. лит., 1974, № 3, с. 194—195. Попутно Н. Н. Петрунина указала еще на один источник рассказа Пушкина о бегстве калмыков, предполагая, что этот источник «не был учтен до сих пор». Это бывшая в библиотеке Пушкина статья «О переходе тургутов в Россию и обратном их удалении в Зюнгерию (Сочинение китайского князя Ци-шиня, переведенное с китайского подлинника надворным советником С. П. Липовцевым)» (Сиб. вестн., 1820, кн. 10—12). На самом деле эта статья как один из источников «Истории Пугачевского бунта» была уже давно указана в ст.: Б е л к и н Д. И. Пушкин и китайская культура // Учен. зап. Горьк. гос. ун-та. Сер. филол. 1958, вып. 48, с. 8.

ему считать рассказ у Бичурина «самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков».

Заинтересовавшись «побегом кочующего народа», Пушкин, как казалось некоторым исследователям, «может быть, даже преувеличил его значение», поскольку нашел нужным в примечании к своему труду поместить «относящееся сюда подробное сообщение ученого востоковеда, в общем мало имеющее отношение к главному предмету сочинения».⁶⁷ Упрек, сделанный Пушкину в преувеличении исторического значения этого побега в общей цепи событий, приведших к восстанию Пугачева, явно несправедлив. Пушкин был тонким историком-аналитиком и, разумеется, не зря изложил этот эпизод в начальной главе своего труда. Подчеркнем, однако, что сопоставление известных ему источников с трудом Бичурина позволило Пушкину лишний раз высоко оценить знания и литературный талант этого знаменитого русского синолога.

Вероятно, именно Иакинфу, ехавшему в 1830 г. с экспедицией Шиллинга в Кяхту, Пушкин обязан был мыслью самому проситься в Китай. Известный эпизод биографии Пушкина о прошении примкнуть к Бичурину и Шиллингу обычно толкуют в том смысле, что замысел отъезда его в Китай был совершенно случаен. Думается, что это не совсем так.

Замысел путешествия в Китай был серьезен и продуман. Зная о трудностях пути хотя бы от Ф. Вигеля, Пушкин не мог проситься туда очертя голову, не думая о последствиях или даже о количестве потребного на это времени. В Китай с одесских времен неслись мечты поэта. Книги и беседы с Иакинфом только подсказали внезапное решение. Если это было бы не так, то Пушкин мог бы вскоре позабыть о своей неудаче. А между тем пришел отказ от Бенкендорфа, ярко разгоревшийся было план потускнел и расплылся в новых впечатлениях жизни, и тем не менее Пушкин не перестал интересоваться Китаем.

Во второй половине мая 1830 г. Пушкин посетил имение Гончаровых «Полотняный завод» около Калуги и пробыл тут до конца месяца.⁶⁸ У нас немного сведений о пребывании его здесь, но невольно обращает на себя внимание тот документ, который в 1900 г. видел в музее Калужской архивной комиссии Ив. Щеглов, — список книг, которыми пользовался Пушкин во время пребывания своего на «Полотняном заводе». «Как вы думаете, что стоит на первом месте? — спрашивает Щеглов. — Книги о Китае; Описание Китайской империи, ч. I; Описание Китайской империи, ч. II, и далее еще третья книга „О градах китайских“. Положительно знаменательная черта, — прибавляет Щеглов, — очевидно, Пушкин семьдесят лет назад проникновенно интересовался и волновался теми вопросами, которыми интересуемся и волнуемся мы,

⁶⁷ Преображенский П. Пушкин в самарских краях // Бюл. О-ва археол., ист., этногр. при Самар. гос. ун-те, 1925, № 3, с. 18.

⁶⁸ Анненский И. Ф. Пушкин и Царское Село. СПб., 1899, с. 213.

грешные, только теперь. Как известно, почти одновременно с мечтой о женитьбе Пушкин лелеял мечту о путешествии в Китай. И события, увы, показали, что осуществление второго мечтания за счет первого послужило бы к вящей славе нашего любезного отечества. Впрочем, Грибоедов недаром сказал: „Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко?“. И вместо вещей книги о Китае, которая, почем знать, изменила бы ход современных событий, мы имеем гениальные сцены „Каменного гостя“, напророчившие смерть их автору». ⁶⁹ И. В. Щеглов не объясняет, что за книги читал Пушкин. Две части «Описания Китайской империи» — это знаменитый сборник известий о Китае Дюгальда, из четырех томов которого только два первых были переведены на русский язык в 1774—1777 гг.; вторая часть этого труда именно в русском переводе сохранилась в личной библиотеке Пушкина. ⁷⁰ Книги «О градах китайских», сколько знаю, не существует; нужно думать, что это книга английского архитектора У. Чеймберса «О китайских садах» (СПб., 1771), из которой выдержка уже была приведена выше. Зачем Пушкину понадобились эти книги спустя полгода после того, как он получил отказ о прикомандировании его к русскому посольству в Китай? Что он искал в них?

Запертый в Болдине, осенью 1830 г. Пушкин пишет Гончаровой: «Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к Вам через Кяхту или через Архангельск?» (XIV, 116). А в черновике «Осени» китайские богдыханы упомянуты поэтом среди «знакомцев давних», которых привыкла лелеять его мечта:

Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жида, богатыри

(III, 916).

Это указание дало даже повод Н. И. Черняеву думать, что Пушкин «обдумывал в Болдине какое-то поэтическое произведение, в котором должны были играть роль богдыханы, и что мысль об этом произведении явилась у него задолго до осени 1830 года». ⁷¹

⁶⁹ Щеглов Ив. Три дня в Калуге // Нов. время, 1900, № 8830, от 26 сент.; перепечатано в его книге «Подвижник слова» (СПб., 1909, с. 36—37). Мнение Щеглова подтвердил в маленькой статье некто З. (Действительно ли Пушкин интересовался Китаем // Нов. время, 1900, № 8832, от 28 сент.), сославшийся на упоминание «богдыханов» в стихотворении «Осень» и на «Записки» А. О. Смирновой. См. еще: И н ф о л и о. Пушкин и Китай // Нов. время, 1900, № 8845.

⁷⁰ Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина, № 139.

⁷¹ Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900, с. 493—494. Автор цитированной выше заметки в «Новом времени», № 8832, также считает «вполне основательным заключение, что великий поэт не случайно читал книги о Китае, а интересовался ими, имея серьезные намерения сделать страну богдыханов темой художественного произведения».

Я не решился бы утверждать этого, но для меня совершенно ясно, что 1830-й и ближайший за ним год были порой напряженных дум Пушкина о Китае. Характерна деталь: в вариантах стихотворения «Поедем, я готов. . .» весьма знаменательны колебания Пушкина в выборе эпитета для Китая: в рукописи — «спокойного Китая»; в «Московском вестнике» 1830 г., где произведение впервые увидело свет, — «недвижного Китая»; этот вариант находит себе соответствие в 40-м стихе «Клеветникам России» — «До стен недвижного Китая»; и тем не менее в издании стихотворения Пушкина 1832 г. эпитет вновь изменен. Там стоит: «К подножию ль стены далекого Китая». В этих колебаниях программа ненаписанного трактата Пушкина о Китае: здесь та же острая и волнующая проблема Запада и Востока, которую он ставил себе десять лет назад, которая возникла сама собой в спорах его с Чаадаевым и которая им еще не была разрешена. Во втором «Философском письме» Чаадаева (1829) Пушкин читал: «Из зрелища, представляемого Индией и Китаем, можно почерпнуть важные назидания. Благодаря этим странам мы являемся современниками мира, от которого вокруг нас остается только прах. По их судьбе мы можем узнать, что случилось бы с человечеством без того нового толчка, который был дан ему всемогущею рукою в другом месте. Заметьте, что Китай с незапамятных времен обладал тремя великими орудиями, которые, как говорят, всего более ускорили у нас процесс человеческого ума: компасом, книгопечатанием и пороком. Между тем к чему они послужили ему? Совершили ли китайцы кругосветное путешествие, открыли ли они новую часть света? Обладают ли они более обширной литературой, чем какую обладали мы до изобретения книгопечатания? В пагубном искусстве убивать были ли у них, как у нас, свои Фридрихи и Бонапарты?»⁷² Итак, с точки зрения Чаадаева, Восток — неподвижность и застой, Запад — движение и энергия. Куда же стремиться?

К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец. . .

Китай только далек, как гласит последняя редакция, но все не спокоен и не неподвижен, как гласили первоначальные варианты. . . Вместо качественной оценки дана лишь его территориальная характеристика. «Люди Европы странно ошибаются на наш счет, — пишет Чаадаев в другом месте. — Вот, к примеру, Жоффруа сообщает нам, что наше предназначение цивилизовать Азию. Прекрасно, но спросите его, пожалуйста: где те народы Азии, которые были цивилизованы нами? Разве что мастодонты и остальное ископаемое население Сибири. Насколько мне известно, это единственный род существ, выведенный нами из мрака,

⁷² Чаадаев П. Я. Соч. и письма / Под ред. М. Гершензона. М., 1914, т. 2, с. 140.

да и то благодаря Палласам и Фишерам. Они упорно уступают нам Восток. По какому инстинкту европейской национальности они оттесняют нас на Восток, чтобы не встречать нас больше на Западе? Нам не следует попадаться на их невольную хитрость, постараемся сами открыть наше будущее. . .».⁷³

Этот круг идей был близок Пушкину в те же годы, но он шел к иному решению проблемы. В «Дневнике» Пушкина (запись от 30 ноября 1833 г.) отмечен разговор с английским поверенным в делах в Петербурге Блаем на балу у Бутурлина: «Долго ли Вам распространяться? (мы смотрели карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным). Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг цивилизации» (XII, 315). И Пушкин все чаще и чаще обращается на Восток: его интересуют калмыцкие степи, Сибирь, Камчатка, Китай. «Китай, конечно, нагнал бы на Пушкина одну хандру, — замечает С. Шашков в статье о нем 1873 г., — но Европа, по всей вероятности, повлияла бы совершенно иначе».⁷⁴ Не так посмотрел на дело Н. М. Ядринцев. В письме к Г. Н. Потанину от 12 августа 1873 г. он писал: «Недавно вычитал из биографии Пушкина (в «Деле» Серафимовича), что Пушкин просился в Китайскую миссию. Автор биографии думает, что для развития Пушкина это, конечно, ничего бы не принесло. Но мне пришли другие мысли в голову. Наши поэты, как Пушкин и Лермонтов, изъездили Крым и Кавказ, природа которых дала им повод много раз вдохновляться. Даже немец Боденштедт, и тот под влиянием Кавказа был в объятиях восточной музыки. Но ни один русский поэт не посетил настоящего Востока, Дальнего Востока, хочу я сказать. . . Почему бы тут не вдохновиться самому Пушкину? История Востока, его будущее разве не возвышенная тема и для размышления, неужели на все смотреть с точки зрения рутинного либерализма?»⁷⁵ Ядринцев был прав. Пушкина влекло на Восток не по капризной прихоти воображения. Проблема Востока была для него в то же время и проблемой русской культуры; вот почему в предсмертные минуты он набрасывал так и не дописанные страницы по истории Камчатки. . .

VII

Есть еще один вопрос, на который мне в заключение хотелось бы обратить внимание. В старой пушкинской литературе, как только заходила речь о предполагавшейся поездке Пушкина в Китай, неизменно цитировался отрывок из «Записок» А. О. Смирновой:⁷⁶

⁷³ Там же, с. 210.

⁷⁴ Ш а ш к о в С. Пушкин и Лермонтов // Дело, 1873, № 7.

⁷⁵ Я д р и н ц е в Н. М. Письма к Г. Н. Потанину. Красноярск, 1918, с. 64.

⁷⁶ С м и р н о в а А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма : (Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой). М., 1929, ч. 1, с. 45 и 387.

«Я спросила его: неужели для его счастья необходимо видеть фанфаровую башню и великую стену? Что за идея посмотреть китайских божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочел „Китайского сироту“, в котором нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени Вольтера» (с. 45). Источник этот, как известно, уже издавна пользовался дурной славой; работа Л. В. Крестовой убедительно разрешила вопрос о подложности этих записок. Пора было бы сдать в архив и эту запись беседы с Пушкиным о Китае, приписанную А. О. Смирновой ее дочерью. Попутно Л. В. Крестова замечает, что источником воображаемых слов Пушкина были «Материалы» П. В. Анненкова, где О. Н. Смирнова «почерпнула данные о желании Пушкина уехать в Китай» (с. 387); остальное же она дополнила собственным воображением. Характерно, что, по наблюдению Н. Александрова, «на всем протяжении „Записок“ Смирновой Пушкин говорит о Вольтере в духе какого-то личного нерасположения, почти систематически издевается над ним»;⁷⁷ отсюда же, из той же ненависти к французской философии, которую должна была иметь фрейлина двора Николая I. вытекают и слова, приписанные Пушкину, о желании «досадить тени Вольтера», которые едва ли бы он мог произнести даже в конце своей жизни, когда он далеко отошел от юношеского слепого преклонения перед Вольтером. И тем не менее следует признать, что «Китайский сирота» был той вольтеровской драмой, которая действительно привлекла к себе очень позднее внимание Пушкина.

В библиотеке Пушкина сохранилась (№ 1426) книга французского сиолога С. Жюльена «Tchao-chi-kou-eul, ou L'Orphelin de la Chine. Drame en prose et en vers, accompagné des pièces historiques qui en ont fourni le sujet, de nouvelles et de poésies chinoises» (Paris, 1834). Книга эта разрезана на три четверти (352 с.). Что привлекло к ней Пушкина?

В предисловии (с. VII—VIII) С. Жюльен говорит, что драма, которую он предлагает читателям, озаглавлена по-китайски «Tchao-chi-kou-eul-ta-rao-tchheou», т. е. «Маленький сиротка из семьи Чао, блестяще за себя отмщающий». Она заимствована из сорокатомного собрания под заглавием «Youen-jin-petchong», или «Князья из рода Чингисхана, царствовавшие в Китае с 1260 по 1341 г.». Эта пьеса уже была в сокращении переведена в 1731 г. аббатом Премаром, жившим в Пекине, который в течение тридцати лет изучал там китайский язык. Он сообщил свою рукопись своим двум друзьям, которые отправлялись в Европу. Они отдали ее отцу Дюгальду, который и напечатал ее в III томе своего «Описания Китая» (1735). Весь мир знает, что Вольтер заимствовал из этой драмы сюжет своего «Китайского сироты», но при этом обыкновенно забывают, что перевод отца Премара дает лишь превратное представление о китайском оригинале. В этой драме, как

⁷⁷ Александров Н. А. О. Смирнова // Ист.-лит. сб. : Посвящ. Вс. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 310.

и во всех других пьесах того же собрания, диалог перемешан с большим количеством песенок в стихах, которые исполняются под аккомпанемент музыки и зачастую полны пафоса. «Если бы у Вольтера, — продолжает С. Жюльен, — был полный перевод этой китайской драмы, особенно если бы он имел перед глазами исторические данные, которые мы публикуем вслед за ней, возможно, он заимствовал бы новые вдохновения». Вслед за предисловием следуют «Pièces historiques sur L'Orphelin de la Chine» (они не были разрезаны Пушкиным), а затем и текст самой драмы (с. 1—132).

Известно, впрочем, что перевод Премара дал Вольтеру немного. Тема китайской драмы — преступление и поздняя месть, требование единства времени делали затруднительным использование сюжета в классической драме: родившийся в первом акте ребенок, вырастая, мстит за убитого отца. При этом невольно вспоминается «Гамлет», который не остался без влияния на разработку того же китайского сюжета у Метастазиио. Знакомясь с подлинной китайской драмой, Пушкин должен был заметить те значительные отступления, которые позволил себе Вольтер, и вместе с тем близость ее сюжета ко многим произведениям мировой литературы: семья истреблена до последнего человека, лишь один сын спасен верным вассалом, который для этого жертвует собственным сыном. Спасенный мальчик вырастает и мстит за обиду, нанесенную его роду. Пушкин тем охотнее мог заинтересоваться этим сюжетом, что он открывает некоторую аналогию истории Лжедмитрия.

Можно думать, что книга С. Жюльена не случайно попала в библиотеку Пушкина. Вероятно, он прочел и приложенную к этой китайской драме небольшую антологию китайской лирики. Никаких отзывов об этой книге в рукописях Пушкина не сохранилось. Не следует ли, однако, думать, что к каким-то разговорам Пушкина о подлинном «Китайском сироте», удержанном в какой-либо до нас не дошедшей записи А. О. Смирновой, относится фальсифицированный ее дочерью рассказ о замысле Пушкина написать «китайскую драму», чтобы «досадить тени Вольтера»? Вольтеровский «Китайский сирота», отозвавшийся у Пушкина и в «Борисе Годунове», и в «Евгении Онегине» (ср. слова Идаме Чингисхану в 4-й сцене IV акта с последними словами Татьяны к Онегину), должен был вызвать его серьезное любопытство к китайской драме, изданной С. Жюльеном. Китайской литературой начинала интересоваться и русская литература. Разговоры Пушкина на эту тему (даже в отсутствие Иакинфа) могли запомниться и в высшем свете.

Однако О. Н. Смирнова, развивая диалог своей матери с Пушкиным о Китае, не поняла, что в 30-х гг. Пушкин поехал бы в Китай не за тем, чтобы смотреть фарфоровые башни и китайские безделушки. От пряной экзотики XVIII в. он поднялся тогда до подлинного постижения Востока, преодолел уже то понимание его, которое шло к нему из западной литературы.

Через сто лет Китай ответил Пушкину пробудившимся интересом к его творчеству. «В Китае XIX в., — как замечает авторитетный синолог,⁷⁸ — мало знали русскую литературу. Переводы с русского шли в последнюю очередь и до позднейшего времени едва ли даже существовали или, если делались, то не с оригинала, а с английских переводов». Неожиданный перелом наступил в XX в. В 1920 г. в журнале «Синь-Чжунго» («Новый Китай») было объявлено о выходе в свет сборника переводов ряда произведений русских писателей, начиная от Пушкина, или Пу-сидзинь, как это имя звучит в пекинском произношении. В переводе Шэнь Ина вышли «Станционный смотритель» и «Снег-сват», в котором нетрудно угадать «Метель».⁷⁹

⁷⁸ Алексеев В. М. Русские писатели в китайских переводах // Восток, 1922, кн. 1—2, с. 75.

⁷⁹ Там же.





РАЗНОЯЗЫЧНЫЙ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Сопоставительный анализ ряда переводов классических памятников мировой литературы на разные языки давно уже служит предметом исследований во многих странах мира. О способе и качествах, трудностях и удачах многоязычной передачи текста таких шедевров, как например «Божественная комедия» Данте, трагедии и сонеты Шекспира или «Фауст» Гете, написаны сотни трудов (в том числе и на русском языке), представляющих немало весьма существенных данных как для истории, так и для теории переводческого искусства. Дальнейшие работы в том же направлении, расширяющие круг изучаемых памятников и совершенствующие методику сопоставлений их многочисленных разноязычных пересозданий, желательны и необходимы, так как они смогут прояснить множество проблем, связанных и с мастерством их иноязычного воспроизведения, и с восприятием этих памятников читателями, говорящими на разных языках. Но в особенности желательны подобные исследования для классических произведений русской литературы: они крайне немногочисленны и случайны, несмотря на то что в них все явственнее ощущается острая нужда. Такие работы затрагивают весьма сложные проблемы, имеющие теоретическое значение для истории международных литературных связей, подчеркивают мировое значение русского языка и литературы, раскрывают основные этапы и направления в истории их воздействия за рубежом, наконец, совершенствуют наше собственное понимание важнейших памятников русской классической литературы во всех тончайших и специфических особенностях их мысли, языка, стилистической структуры. С крайним сожалением приходится отметить, что у нас еще почти отсутствуют работы о разноязычной передаче стихотворных текстов Пушкина, что они еще не вышли из стадии библиографической регистрации переводов его произведений, составляющих ныне огромную, во многих отношениях недоступную для исследования библиотечку, и что мимо нас проходят, не вызывая к себе настоящего внимания, первые аналитические работы этого рода, предпринятые за рубежом.

Л. Н. Толстой признался однажды, что все удивительное совершенство пушкинских «Цыган» открылось ему тогда, когда он прочел поэму во французском переводе: сопоставление оказалось в данном случае причиной неожиданного открытия новых эстетических качеств в тексте хорошо знакомого подлинника. Это тонкое наблюдение могло бы быть положено в основу целой программы исследований, касающихся русского текста стихотворных произведений Пушкина, в дополнение к тем, в настоящее время уже довольно многочисленным рассуждениям о «мастерстве Пушкина», которые обходятся без подобных сопоставлений. Однако за первое столетие, протекшее со времени гибели поэта, такие задачи почти не возникали ни у русских читателей Пушкина, ни у его зарубежных переводчиков и критиков из числа тех, которые знали русский язык. Их тревожило другое: может ли быть поэтический текст Пушкина переведен так, чтобы он стал понятным и близким читателям, не знающим русского языка? Речь шла при этом о простейшем, элементарном понимании текста, о примитивных в сущности средствах его передачи иноземным словом, для чего нередко приносилось в жертву многое из того, что и составляет неповторимую оригинальность русского подлинника, например его стихотворная форма. Практические опыты решения этой задачи безусловно интересны с исторической точки зрения и подлежат тщательному анализу, но большого литературного значения они не имели даже в тех случаях, когда за дело брались тонкие ценители и знатоки Пушкина — русские или иностранные. Характерным примером может служить И. С. Тургенев — свидетель и непосредственный участник опытов передачи пушкинского текста на французском языке. В течение нескольких десятилетий Тургенев переводил и печатал произведения Пушкина — его драмы, стихотворения, неутомимо трудясь над каждым словом поэта, подыскивая ему французский эквивалент и привлекая в помощь своим усилиям своих друзей, не только Луи Виардо, но и Гюстава Флобера,¹ — тем не менее его прозаические переводы не достигли цели: они не обратили на себя внимания и были прочно забыты, что с немалым огорчением вынужден был признать и сам Тургенев.

Интересно, что среди этих переводов Тургенева был и тот, который стоил ему особого труда: первый полный на французском языке прозаический перевод «Евгения Онегина», напечатанный в 1863 г. (за полными подписями И. Тургенева и Луи Виардо)

¹ В небольшой книге французского исследователя Пушкина Андре Меньё приведен интересный сопоставительный анализ переводов двух стихотворений Пушкина, сделанных Тургеневым в 1876 г. и тогда же правленных Г. Флобером, по рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке в Париже, а также более ранних переводов тех же стихотворений, принадлежащих перу П. Мериме (см.: М е у н и е у х А. Trois stylistes, traducteurs de Pouchkine : Mérimée—Tourguénev—Flaubert : Essai de traduction comparée. Paris, 1962).

в парижском журнале «Revue Nationale». Этот перевод никогда не перепечатывался, ни разу не сопоставлялся ни с подлинником, ни с другими французскими переводами романа Пушкина, не служил еще предметом специального изучения; между тем сам Тургенев считал его удачным и очень точным, а в истории иноземных истолкований пушкинского текста этот перевод должен занять почетное место. Вспоминая о нем в конце жизни в одном из писем к П. В. Анненкову (20 января 1882 г.), Тургенев приходил к заключению, что главной причиной неудачи было то, что он сделан прозой. «Совершенно справедливо, что Пушкина надо переводить стихами; на прозаический перевод никто не обращает внимания, — писал он, — ибо существует *необычайно верный* прозаический перевод Онегина на французский язык. — именно перевод, сделанный мною и Виардо и помещенный в „Revue Nationale“ лет двадцать тому назад». Однако он «до того остался незамеченным», что «не помешал появиться» пять лет спустя другому переводу «Евгения Онегина» (тоже прозаическому) Поля Бэсона (Beeson, Париж, 1868), поистине «безобразному» по оценке Тургенева; «но зато и нужно, — прибавлял он, — чтобы перевод в стихах был бы сделан тоже поэтом». Когда же незадолго перед тем Тургеневу была прислана на отзыв рукопись стихотворного перевода «Евгения Онегина», выполненного В. М. Михайловым (перевод этот издан был в 1884 г.), он пришел в сильное негодование и писал тому же Анненкову в 1881 г.: «Есть на свете храбрые люди!!! Михайлов переводит *французскими* стихами „Евгения Онегина“, про которого мне Мериме сказал, что он не знает „aucun versificateur, qui oserait le tenter“ (ни одного стихотворца, который отважился бы его переводить, — М. А.). Впрочем, во время моей последней поездки в Англию мне давали читать один перевод Онегина, сделанный английскими рифмованными стихами каким-то полковником в отставке, верности невероятной, изумительной — и такой же изумительной дубинности».² Что касается немецкого «Евгения Онегина» в стихотворном переводе Ф. Боденштедта (1854), то и он, несмотря на общие похвалы, по-видимому, не вызывал особых восторгов Тургенева: взыскательный, требовательный судья, он не слишком жаловал своего немецкого приятеля как переводчика Пушкина.

Приведенные цитаты из писем Тургенева дают представление о круге неразрешенных проблем и противоречий, над которыми бились читатели Пушкина и его переводчики во второй половине XIX в., безуспешно стараясь ответить на вопрос, останется ли Пушкин «пленником русского языка», им самим доведенного

² Тургенев П. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М., Л., 1968, т. 131, с. 149. Речь идет о переводе Споддингса (Lieut.-Col. Spalding), изданном в Лондоне в 1881 г., который при своей относительной «точности» действительно отличается весьма малыми поэтическими достоинствами: это своевременно отмечено было как английскими (В. Морфилл), так и русскими его рецензентами (см., например: Загран. вестн., 1881, № 1, с. 70—71).

до такой степени совершенства, что в его собственных лучших созданиях он стал вовсе неперево́димым.

Относительная нераспространенность русского языка в XIX в. среди зарубежных литераторов приводила к тому, что ранними и все же наиболее успешными переводчиками стихотворных произведений Пушкина были русские писатели, журналисты, путешественники, владевшие иностранными языками, — от Каролины Павловой до А. Д. Абаменек-Баратынской и таких посредственных версификаторов, какими были упомянутый выше В. М. Михайлов (издавший стихотворные переводы «Евгения Онегина» и «Полтавы») или Н. Н. Семенов. В их стихотворной передаче пушкинского текста, неискusной и беспомощной на вкус иностранных читателей, Пушкин лишался той прелести, того очарования, какое, может быть, безотчетно чувствовали они сами и ради которого, собственно, и предпринимали свои нелегкие труды; прозаическая же передача пушкинского стихотворного текста заранее обречена на неполноценность, поскольку переводчики отказывались от воспроизведения большей части тех же качеств подлинника и пытались возместить их утрату «точностью» в переводе отдельных слов, в которых, однако, еще по наблюдению Гоголя, была «бездна пространства» и глубины, слов многосмысленных и неисчерпаемых, терявших свой цвет и вкус, когда их извлекали из той атмосферы словесных сочетаний, где они дышали своей особенной полнокровной жизнью.

Немногие крупные зарубежные литераторы, рискующие взяться за подлинный пушкинский текст, либо не владели стихотворной техникой родного языка, либо недостаточно знали русский, не вдумываясь в особенности пушкинской поэтической речи, не в состоянии были соотносить ее с предшествующим или последующим развитием поэтических средств или с тем специфическим ее выражением, какое получила она в различных произведениях Пушкина: «Евгений Онегин» переводился тем же языком, что и «Борис Годунов» или «Медный всадник», — однообразным, серым, маловыразительным, извлеченным из универсального русскоязычного лексикона. Заурядные же иностранные переводчики Пушкина в лучшем случае достигали тех же результатов, что и русские: той «изумительной дубинности», какую Тургенев отметил в английском переводе «Евгения Онегина», принадлежащем Сполдингу. Все это и создавало представление о «непереводимости» Пушкина — по крайней мере, его поэзии — и действительные препятствия к широкому распространению его поэтической славы за рубежом.

В особенности все сказанное относится, конечно, к «Евгению Онегину» — одному из совершеннейших и своеобразнейших созданий Пушкина и, безусловно, одному из труднейших для передачи на любом иностранном языке. Речь идет не только о смысловой сложности его словесной партитуры, требующей и утонченного понимания ее стилистических ходов, и высокого искусства их полноценного воспроизведения. Это

как сам поэт определял свое создание в посвящении, и на самом деле представляет особые трудности для самого виртуозного переводчика-стихотворца. Он должен считаться со всеми специфическими качествами «онегинской строфы» во всем неповторимом своеобразии ее структуры — метрической и стилистической, с бесконечными вариациями строфических окончаний, то отточенных метких афоризмов, то эффектных иронических арабесок, с системой рифмовки, мелодикой стиха, лирическими партиями, сознательной и искусно переплетенными с естественным звучанием разговорных интонаций во всех регистрах человеческих голосов. . . Речь идет даже об особых трудностях понимания лексики романа Пушкина (для русских читателей первый вспомогательный толковый словарь к «Евгению Онегину» издан был в 1877 г.!), о его скрытых цитатах, «пастишах» и переосмыслениях и обо многом другом, что только в наши дни постепенно открывается читателю «Евгения Онегина», спустя столетие после начала его вдумчивого истолкования.

Все эти трудности, вероятно, вставали перед первыми переводчиками «Евгения Онегина», но еще в форме неясной, туманной, не допускавшей принятия конкретных решений. Более или менее удовлетворительные переводы «Евгения Онегина», дающие известное представление о подлиннике, появились лишь в последнюю четверть века, после многих повторных опытов и явных неудач. Тем не менее ранние переводы никак не могут быть исключены не только из общего сводного их библиографического перечня, но и из общей программы сравнительного исследования разноязычных «Онегиных»; более того, их типичные ошибки, заблуждения, сознательные и бессознательные безвкусицы могут быть учтены не без пользы для истории переводческой техники; степень глухоты или близорукости переводчиков представляется не только знаменательной, но и подлежащей историческому объяснению.

Вся история переводов «Евгения Онегина» начиная от 1840 г., когда появился первый его перевод на немецкий язык (в котором даже Татьяна получила имя Иоганны), должна быть тщательно изучена, так как она может дать ценные наблюдения общего характера, существенные и для переводчиков наших дней. Отдельные эпизоды из этой истории были рассказаны в разных целях — библиографических или культурно-исторических, но большую часть не в том освещении, какое представляло бы интерес для истории или теории переводческого искусства; поэтому многие естественно возникающие вопросы, которые эта история ставит исследователю, остаются еще без ответа.

Примечательно, например, случаи специального изучения русского языка ради «Евгения Онегина»: уже сто лет тому назад стало очевидной истиной, что переложить его на другие языки

с помощью какого-либо иноязычного перевода невозможно и бесцельно. В 60-х гг. прошлого века венгерский переводчик Карол Берци, не удовлетворенный немецким переводом «Онегина» (Ф. Боденштедта), с которого он попытался было сначала делать венгерский, бросил начатую работу, основательно изучил русский язык, тщательно проштудировал пушкинский текст и тогда только заново приступил к своему труду. Перевод К. Берци был опубликован, встречен общими похвалами и переиздавался в Венгрии 23 раза. Вероятно, это и дало повод Алдару Комлошу в 1946 г. написать следующие ответственные строки, едва ли не основанные на некотором преувеличении: «Переведенному с иностранного языка произведению редко выпадает счастье стать общеизвестным. Но это произошло у нас с „Онегиным“. Каждый венгерец знает это гениальное творение». Несмотря на это, и после классического перевода К. Берци появлялись новые венгерские пересоздания «Онегина» (например, Гедона Месёй), и сопоставительное изучение всех этих переводческих трудов, начатое в Венгрии в прошлом веке, продолжается и в настоящее время.³

Чешский «Евгений Онегин» имеет судьбу, сходную с венгерским. И на чешской земле опыты стихотворного перевода пушкинского романа начались в 60-е гг., и там им предшествовали немецкие образцы, на которые чешские переводчики ревниво огляды-

³ Стоит отметить, что за последние годы в одном из лучших венгерских филологических журналов («*Filológiai Közlöny*») появились три статьи (Акоша Косога, Михалы Петера и Ференца Паппа), посвященные анализу венгерских переводов «Письма Татьяны» в «Евгении Онегине». Последняя из них, Ф. Паппа, кратко изложенная и на русском языке, озаглавлена «Количественный анализ словарной структуры письма Татьяны к Онегину и двух его венгерских переводов». Автор ее, лингвист, произвел интересные статистические исследования, рассматривая соотношения «словарных единиц (лексем)», содержащихся в «Письме», и всех слов текста. Сделанные им вычисления (результаты которых представлены также на графиках и таблицах) показали, что письмо Татьяны содержит в себе очень небольшое количество «лексем» по сравнению с другими русскими текстами и что «такие простые обиходные слова встречаются только в разговоре». «С рассматриваемой точки зрения, письмо Татьяны в самом деле не что иное, как „безумный сердца разговор“». Что же касается двух венгерских переводов «Письма», то исследователю необходимо было учесть различия грамматической структуры венгерского и русского языков (так, например, «некоторые словарные единицы и соответствующие слова венгерского языка соответствуют в русском морфемам, т. е. не словам (артикле, отделяющиеся приставки), и наоборот: русским предложениям соответствуют венгерские окончания, т. е. не слова; существенное различие обнаруживается также в местоимениях, которых в русском гораздо больше, чем в венгерском»). Полученные при сопоставлении результаты наглядно продемонстрировали, что оригинал «Письма» проще, чем оба венгерских перевода: «. . . в переводах больше словарных единиц, и они выбрасываются из более редких слоев венгерской лексики, чем соответствующие им русские словарные единицы из русской лексики» (см.: *Philologica* : Suppl. de *Filológiai Közlöny* // *Revue de l'Académie des sciences de Hongrie*. Budapest, 1962, t. 7, p. 29—30). Это исследование может служить весьма наглядной иллюстрацией того известного положения, что языковые различия ставят значительные препятствия даже самым искусным переводчикам.

вались. Первый чешский перевод «Евгения Онегина» Вацлава Бендла (1860) жил более двух десятилетий, хотя он был неумелым и беспомощным, вопреки лучшим намерениям автора, знавшего и любившего русский язык и литературу. Более удачен был перевод В. А. Юнга, начатый еще в 80-е гг., но отдельным изданием вышедший в 1892 г. Этот перевод тотчас же объявлен был «образцовым» и переиздавался много раз (1914, 1919, 1924, 1926, 1937).⁴ Однако и в нем обнаружались существенные недочеты, долгое время остававшиеся незамеченными. В конце концов его заменил новый перевод Иосифа Гора (1937, 1945), обладавший неизмеримо большими литературными достоинствами.

Иначе сложилась судьба «Евгения Онегина» в Польше: довольно многочисленные попытки воспроизведения на польском языке отрывков романа, делавшиеся в XIX в., не привели ни к каким ощутительным результатам; они завершились первым полным переводом Лео Бельмонта, изданным в 1902 г.⁵ (переработка выпущена в 1925 г.). Бельмонт (как и В. Юнг в Чехии) перевел «Евгения Онегина» тоническим стихом с соблюдением мужских и женских рифм, что для польского стихосложения представлялось непривычным и чрезвычайно трудным экспериментом. Может быть, это и было причиной его непопулярности. Новые замыслы и опыты передачи «Евгения Онегина» польскими стихами возобновились только полвека спустя. Задуманный Ю. Тувимом полный стихотворный перевод остался незавершенным. С середины 40-х гг. в польской печати начали появляться отрывки из перевода Адама Важика, новаторские и своеобразные. Полный перевод вышел в свет лишь в 1952 г., но встречен был как похвалами, так и опасениями. В самом деле, переводчик ставил себе задачу показать пушкинский роман польскому читателю в таком виде, чтобы перевод по мере возможности «функционально» соответствовал польским поэтическим традициям и стихотворной технике времени Мицкевича. Исходя из этого, А. Важик обосновывал необходимость особой «польской строфы», которая ближе всего соответствовала бы «онегинской», но сохраняла бы при этом и польский колорит; в переводе А. Важика и применена такая изобретенная им аналогия «онегинской строфе»: четырнадцатистрочная строфа, состоящая из типичных сочетаний польского девятисложника, сохраняющая лишь две из восьми мужских рифм. Интересный опыт А. Важика вызвал довольно широкое обсуждение в польской печати, которое затронуло много вопросов, имеющих общий теоретический интерес.⁶

⁴ О переводе В. Юнга см. заметку «Иллюстрированный „Евгений Онегин“ на чешском языке» (Аполлон, 1914, кн. 6—7, с. 124—125).

⁵ N a k o n i e c z n y W. Die neueste Übersetzung von Puschkins «Eugenij Onjegin» ins Polnische // Archiv für slavische Philologie, 1905 Bd 27, S. 433—440.

⁶ См. например: P o l l a k S e w e r y n. Nad nowym przekładem «Eugeniusza Oniegina» // Nowa kultura, 1952, N 50.

В Германии раньше, чем в других странах, начали переводить «Евгения Онегина», и здесь, может быть, более, чем где-либо в другом месте, учтен был долголетний опыт разнокачественных переводов из Пушкина. Характерно, однако, что ни в самой Германии, ни за ее рубежами немецкие переводы «Евгения Онегина», существующие во множестве изданий, не способствовали широкой известности этого произведения. О причинах этого стоит дознаться: важно определить, следует ли искать их в качествах немецких переводов «Онегина», которых известно до десяти. Характерно во всяком случае, что ни в одном из них не соблюдена «онегинская строфа», что даже в лучших встречаются досадные смысловые ошибки, что ради близости к подлиннику в них употребляются тяжеловесные синтаксические конструкции, многоязычные цитаты подлинника даны в дословных немецких переводах и т. д. Все эти досадные упущения в особенности наглядно обнаружилось в пушкинский юбилейный 1949 год, когда призванная к новой исторической жизни демократическая Германия приняла широкое участие в пушкинских торжествах и действительно заинтересована была в широкой популяризации творческого наследия великого русского поэта. С тех пор и начались серьезные и многочисленные сопоставительные анализы немецких переводов ряда произведений Пушкина, в частности и «Евгения Онегина».

Любопытно, что и здесь предметом наиболее тщательных слушаний и экспериментов оказалось то же письмо Татьяны к Онегину, которое почему-то всегда, на всех языках предшествовало полному переводу романа или его пониманию в целом.⁷ Журнал «Die Neue Gesellschaft» (1949) воспроизвел «Письмо Татьяны» в трех немецких переводах разных лет (Боденштедта, Зейберта и Коммихау), в следующем номере дал их критическое сравнительное исследование и пришел к заключению, что ни один из них не дает полного или сколько-нибудь отчетливого представления о русском подлиннике. Вслед за этим в Берлине объявлен был специальный конкурс на лучший новый немецкий перевод этого «Письма», поскольку, как отмечалось в оповещении об этом конкурсе, существующие переводы «не достигают крылатой легкости

⁷ Причины особой популярности «Письма Татьяны» в мировой литературе подлежат, очевидно, специальному анализу. Нельзя не припомнить здесь в этой связи широко известную у нас историю перевода отрывка из «Евгения Онегина» на казахский язык Абаем Куанбаевым (1889), из которых один — именно «Письмо Татьяны» — наряду с составленным переводчиком из пушкинских строк «Ответом Онегина Татьяне» — приобрел необычайно широкую популярность в Казахстане в самой широкой среде. Абай Куанбаев придат своему переводу форму, близкую к «айтысу» — поэтическому объяснению между любящими, — и «Письмо Татьяны» стало казахской народной песней. Русский путешественник по Казахстану слышал ее исполнение в одном из тургайских аулов нынешней Кустанайской области еще в 1914 г. «Онегинская строфа» была заменена четверостишиями с перекрестной рифмой (см.: К а н а ф п е в а К. Из истории художественного перевода в Казахстане // Тр. каф. рус. и зарубежн. лит. Казах. гос. ун-та. Алма-Ата, 1961, вып. 3, с. 112—113).

пушкинского стиха, звучности оригинала, своеобразия его ритма, необычайной образной силы, выразительной меткости». Однако итог этого интересного конкурса был поистине печальным: жюри рассмотрело 241 представленный перевод, но не сочло возможным удостоить первой премии ни один из них. «Надежда путем объявления конкурса получить удовлетворяющий всем литературным требованиям немецкий перевод произведения Пушкина не осуществилась», — констатировалось в печатном сообщении жюри конкурса о его результатах.

В Англии и США, напротив, достигнуты были некоторые успехи в попытках передачи «Евгения Онегина» в полном его объеме на английском языке; наиболее заметные из них, впрочем, относятся к недавнему времени; не привились и не имели распространения не только переводы XIX в., но и более поздние, например перевод О. Элтона (1937), получивший незаслуженно высокую оценку в русской печати юбилейного пушкинского года,⁸ слабый перевод Бабетты Дэйтч; высокими поэтическими качествами отличается изданный в 1955 г. перевод Реджинальда Хьюитта, но он успел перевести лишь пятнадцать строф из шестидесяти первой главы «Евгения Онегина», т. е. лишь одну ее четверть;⁹ отличный перевод В. Набокова (1959) заслуживал бы, однако, особого рассмотрения.

Очень удачным переводом «Евгения Онегина» на итальянский язык, как это давно было у нас отмечено, явился перевод Э. Ло Гатто, изданный в 1925 г. и вновь — в 1950 г.¹⁰

По-своему сложилась история переводов «Евгения Онегина» во многих других странах Европы, Америки и Дальнего Востока; она изобилует интересными эпизодами и весьма неожиданными результатами. Их дают, например, литературы Румынии или Югославии: неудивительно, что «Евгений Онегин» имеется в прекрасных новых переводах на сербский или словенский язык,¹¹

⁸ Нейштадт Вл. Пушкин в переводе О. Элтона // За рубежом, 1937, № 6.

⁹ Hewitt Reginald Mainwaring (1887—1948). A Selection from his literary remains / Ed. by Vivian de Sola Pinto. Oxford, 1955, p. 120—125. Первоначально этот перевод был опубликован в «The Gong», студенческом журнале университетского колледжа в Ноттингеме. В русской печати на этот, к сожалению, малоизвестный у нас перевод обратил внимание К. И. Чуковский в статье «Хорошо» (Лит. Россия, 1964, № 3 (55), с. 18), писавший, что Р. Хьюитт «оказался замечательным мастером. Он отлично воспроизвел на своем языке и глубокую диакцию подлинника, и стальную упругость его словесной фактуры, и его богатый разнообразными оттенками стиль».

¹⁰ Боброва Е. Итальянская пушкиниана // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.: Л., 1936, вып. 2, с. 446; интересные наблюдения дает недавняя статья: Ласорса К. Заметки о переводе «Евгения Онегина» на итальянский язык Этторе Ло Гатто // Рус. лит., 1964, № 4, с. 170—174.

¹¹ Словенский перевод «Евгения Онегина» П. Приятелли (Любляна. 1909) вызвал весьма интересную рецензию такого тонкого русского филолога, как был академик Ф. Корш (Korsch F. Evgenij Onegin: Slovenische Übersetzung von J. Priatelj // Archiv für slavische Philologie, 1911. Bd 27, S. 587—593).

но достойно особого внимания, что молодая македонская литература, лишь недавно вступившая в период своего «книжного», «письменного» существования, имеет уже у себя мастерский полный стихотворный перевод «Евгения Онегина» на македонский язык (Георги Сталева, 1956), перевод, прививающий новейшей македонской поэзии особую метрическую систему, созданную в нем для передачи русского подлинника.¹²

История переводов «Евгения Онегина» длинна и сложна, потому что, по приблизительным подсчетам, он переведен в настоящее время на 33 языка, в том числе полностью на такие языки, как болгарский, греческий, голландский, итальянский, китайский, финский, японский и т. д., на многие из них — по нескольку раз.

Приведенные выше примеры из истории переводов «Евгения Онегина» выбраны наудачу: они не только не исчерпывают наиболее примечательные этапы такой истории во всех многообразных ее проявлениях, но, вероятно, смогут быть пополнены или заменены другими, более характерными, когда она будет дописана до конца. Тем не менее и приведенные, кажется, дают некоторый материал для первоначальных размышлений и недоуменных вопросов. Вот некоторые из них.

Существовала ли какая-нибудь хронологическая преемственность между всеми этими переводами, помимо того естественного ритма, который сообщали их появлению пушкинские юбилейные даты? Чем объяснить, что в одних странах на каком-либо языке эти переводы появлялись чаще, чем на другом? Почему даже в соседних странах, находившихся в постоянном культурном взаимодействии, переводы «Евгения Онегина» появлялись в разное время (шведский перевод, Иенсена, вышел в 1889 г.; датский, Розенберга, в 1930-м)? Играли ли при этом преимущественную роль взаимосвязи литератур, национальные литературные традиции, переводческая культура и выработанность ее техники или свойства каждого отдельного языка по сравнению с русским? Чем вызывались повторные переводы и в каком соотношении находятся они к росту поэтической славы Пушкина и к распространению русского языка? Как следует объяснить, что наибольшее количество переводов приходится на те страны, в которых наибольшее количество читателей в состоянии было обращаться непосредственно к русскому подлиннику?

Количество подобных вопросов неисчислимо: они возникают естественно, длинной чередой. Но за ними встают и другие, более профессионально-технические по своему характеру, хотя и непосредственно связанные с предшествующими: возможно ли вос-

¹² О переводе Г. Сталева см.: Т у д о р о в с к и Г. Пушкин на македонском языке // Пушкин : Исслед. и матер. М.: Л., 1958, т. 2, с. 447—449. В этом же томе приведен ряд сведений о новейших переводах «Евгения Онегина» на чешский, болгарский, французский, немецкий и другие языки.

создание в переводе «онегинской строфы», мелодики пушкинской речи, игры слов, всей суммы его стилистических приемов без ощутительных потерь? Или же повторные усилия переводчиков приблизиться к пушкинскому тексту должны иметь в виду постоянное, методически возобновляемое намерение воспитать в иностранном читателе Пушкина возможность восприятия самого подлинника, для чего переводы служат только преддверием, вспомогательным средством, искусством, обещающим в грядущем более радостные эстетические ощущения?





БОРИС ГОДУНОВ И ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ДРАМЕ

I

События Смутного времени на Руси вызвали к себе огромный интерес в Западной Европе. Участие, которое в них приняла Польша, а за нею косвенно и все центры католического мира, возбудило корыстные надежды многих европейских политиков: на Западе тотчас же учли тяжелое положение, в котором оказалось Московское государство, и стали искать способов употребить его слабость в свою пользу. Один за другим возникали и получали широкую огласку матримониальные и династические планы: смелые экономические расчеты сменялись фантастическими проектами территориальных захватов. В Риме, Париже и Лондоне, Копенгагене и Мадриде шла оживленная дипломатическая переписка по поводу московских дел; из Кракова и Варшавы отправлялись сенсационные донесения во все концы европейского материка. Австрийский двор замыслил вступить в родство с повелителем обширного северного царства; римская курия и иезуиты надеялись вдохновить молодого царя на крестовый поход против турок и мечтали о водворении в Московии католической веры; флорентийским купцам грезились привилегии в торговых сношениях с Москвой;¹ у англичан, давно уже и прочнее других иноземцев утвердившихся на московском рынке, в конце концов возник даже смелый замысел полного подчинения России английской короне путем захвата важнейших торговых путей между Архангельском и Астраханью. Именно потому, что все эти проекты шли навстречу колониальной экспансии европейского торгового капитала и отвечали активности и «авантюрным» устремлениям купечества передовых капитализующихся европейских стран, напряженный интерес Европы ко всему тому, что творилось в Московском государстве в первое десятилетие XVII в., вовсе не являлся

¹ См.: П и р л и н г П. Из Смутного времени. СПб., 1902, с. 206 и след.

уделом лишь высшей политики, предметом дипломатической игры придворных и правительственных канцелярий: московские события вызвали к себе любопытство самых широких кругов европейского городского населения. В России находилось тогда много иностранцев: купцов, ратных людей, ремесленников, судьба которых в период гражданской войны заботила их заграничных родственников и друзей; иноземные войска, сражавшиеся в России то на одной, то на другой стороне, возвращаясь на родину, разносили известия о событиях, очевидцами которых они были. Заменявшие в ту пору газеты летучие листки пестрели известиями о Лжедмитрии, о тяжелой и кровопролитной войне за московский престол; в Италии, Франции, Англии и даже отдаленной Испании выходили брошюры и книги, отвечавшие злободневному спросу: в них рассказывалась политическая история России со времен Ивана Грозного, давалась характеристика царствований Федора и Бориса Годунова, разбирался вопрос о личности Самозванца, наконец, приводились личные воспоминания о пережитом на обьятой пламенем восстаний территории. И осведомленность многих из авторов этих сочинений настолько очевидна, что она превращает весь этот поток европейских известий о воцарении Лжедмитрия в важнейшие исторические источники, без пользования которыми не может обойтись и современный историк.

Конечно, не все одинаково ценно в историческом смысле в европейских печатных реляциях о Смутном времени; документы, извлеченные впоследствии из тайных архивов разных государств, дали много больше; печатные же источники несколько однообразны: иные из них являются пересказами других, более достоверных, и в целях повышения занимательности изложения припешивают к последним явные вымыслы; избобилуют переводы и контрафакции; зато всюду отчетливо проступают недвусмысленные политические тенденции составителей и стремления обработать общественное мнение в желательном для них духе: так, в реляциях, вышедших из-под пера иезуитов, сказывается желание убедить читателей в подлинности «царевича» Дмитрия, севшего на «законный» отцовский престол. Интересно подчеркнуть, что большинство этих книг и брошюр отвечало не только злобе дня, но и чисто литературным целям и потому охотно переиздавалось: необычная по своей увлекательности цепь событий, которые сами собой складывались в авантурную фабулу, конечно, увеличивалась благодаря свидетельствам подлинности и строгой достоверности всего описанного, но читатели этой эпохи, падкого на всякие занимательные повествования, история воцарения Лжедмитрия должна была заинтересовать не только как очередная политическая сенсация: он зачитывался этими брошюрами как беллетристской развлекательного типа. Книгопродавцы это поняли очень быстро. Заглавие одной из таких брошюр 1606 г., обобщенной в переводах почти всю Европу, носит заманчивое название: «Повествование о замечательном, почти чудесном завоевании отцовской империи, совершенном яспейшим юношею Дмитрием»;

другие печатные издания эпохи имеют не менее интригующие заголовки: «Московская трагедия», «Рассказ о кровавых московских убийствах», «Московская кровавая свадьба» и т. д. Неудивительно, что на них накидывались тогда, как на занимательное чтение.

Экзотическая обстановка действия, мрачный колорит событий, огромное количество действующих лиц, массовые народные движения и кровавые расправы, шум битв, среди которого порой слышалась иностранная команда, дворцовые интриги и тайная игра политических партий — все это были прекрасные материалы для литературной обработки. Отдельные мотивы этой сложной сюжетной цепи уже хорошо знакомы были европейской литературе; кроме того, московиты, еще столь чуждые западному миру, все еще «варвары» в представлении масс европейского населения, в лице главных героев повествования появлялись здесь едва ли не впервые с «общевропейскими» склонностями и общественными страстями; и, напротив, московитское варварство, дикость многолюдной толпы, служившей фоном их политическим комбинациям или культурным стремлениям, делали их еще более стихийными, первобытными, следовательно, тем более интересными для психологического освещения. Неудивительно, что и художественная литература Европы — как современная событиям, так и последующих времен — должна была с большим интересом отнестись ко всем этим печатным и устным известиям и воспользоваться ими в своих целях: готовый эффектный сюжет, открывавший большие и неожиданные возможности, сам давался писателям в руки; оставалось подчинить единому художественному замыслу пестрые и разрозненные звенья отдельных исторических эпизодов, организовать расплывающийся и зачастую противоречивый злободневный материал в стройное литературное целое, стеснив происшествия в рамки повествования или в границы драматической формы, произведя при этом отбор действующих лиц и пересоздав их на основе личного толкования мотивов их поведения, столкновений, борьбы. . . И такой работой мотивов действительно вскоре же занялись писатели разных стран.

Что уже ближайшие западные современники Бориса Годунова и Самозванца находили их историю достойной литературной обработки, подтверждает любопытное свидетельство английской книги, вышедшей в Лондоне в 1605 г.: «Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России». Здесь рассказывается о приезде в Москву английского посла накануне воцарения Лжедмитрия. Автор этой книги неизвестен, однако высказано было предположение, что составителем ее является Джордж Уилкинс, второстепенный драматург, публицист и повествователь эпохи. Пользуясь характеристике важнейших происшествий в политической жизни Москвы, невольным свидетелем которых был английский посол: смерть Бориса застала Томаса Смита еще на русской территории. «Теперь, — говорит Уилкинс в конце своей книги, — намерен

я рассказать о появлении как бы воскресшего царевича, считавшегося умершим в течение восемнадцати лет, об отравлении государя, который без этого мог бы прожить два раза столько же лет, — так что как будто происходит судебный осмотр мертвых тел в какой-нибудь театральной пьесе, где одно и то же лицо умирает и оживает в один и тот же день», и прибавляет: «и в самом деле, все это стоило бы быть представленным на сцене. . .». Описав далее смерть Бориса, первые триумфы Самозванца, измену Басманова, Уилкинс говорит о молодом царевиче Федоре Годунове, внезапно сделавшемся царем: «Федор Годунов тем не менее мог легко видеть, что почва уходит у него из-под ног, и вполне ясно понимать (хотя его юность и душевная чистота, быть может, и мешали полноте такого сознания), что солнце клонится к закату или облекается тучами в самый полдень, что законный преемник его уже объявился. . . что далее власть и правление его родителя подобно театральной пьесе, заканчивающейся катастрофой, завершается ныне ужасной и жалостной трагедией, достойной стоять в одном ряду с Гамлетом, и что, наконец, справедливое возмездие наступило, извлекая свой меч, направленный против него, его царственной матери и возлюбленной сестры».² Как характерно для английского восприятия русских событий начала XVII в. это неожиданное сопоставление исторических Бориса и Федора Годуновых с героями елизаветинских драм, Дмитрия Самозванца с шекспировским Гамлетом — трагедия о датском принце незадолго перед тем впервые играна была в Лондоне (1603)! Уилкинс остро почувствовал, какие заманчивые драматургические перспективы могла открыть эта параллель писателям его эпохи. В самом деле, история Годунова и тема об узурпаторе, овладевшем властью путем преступления, которой касался Шекспир в «Макбете» и «Генрихе IV»; Лжедмитрий и гамлетовская тема отмщения за убийство и погранные законные права — это были не только совпадения сюжетных ситуаций; не забудем при этом, что это сопоставление сделано до воцарения Лжедмитрия, чисто сценический эффект которого несомненно возбудил бы Уилкинса на новые сближения. И словно для того, чтобы его критические параллели не показались слишком случайными, Уилкинс еще раз настойчиво подчеркивает замечательную сценическую пригодность рекомендуемых им для литературной обработки происшествий: описав трагическое положение «беззаконного рода» Годуновых с их приверженцами и доверенными лицами, он прибавляет: «Да, их положение заслуживает быть оплаканным каким-нибудь знаменитым писателем! Но если бы кто пожелал подробно представить все относящиеся сюда обстоятельства с естественной живостью или же в поэтической форме, то он должен был бы посвятить в них читателя посредством поэтического вдохновения, как

² Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России / Пер., введ. и примеч. И. М. Болдакова. СПб., 1893, с. 67, 71, 72—74.

это возмоз бы сделать умевший придать жизнь самому безжизненному царь поэтов Сидней. . . Или же это должно было быть выполнено скорбящей над миром, блещущей глубокими мыслями и полной восторга трагедией, какие создает благородный Фолк-Гревиль. . . Все это мог бы дать, если бы пожелал, и столь выработанный во всем наш английский Гораций (вероятно, Бен Джонсон). . . Во всяком случае указанная тема вполне достойна столь редкого превосходного гения». Филипп Сидней (уже умерший), Шекспир, Бен Джонсон — это были наиболее блестящие имена в тогдашней английской литературе. Уилкинс не хотел бы, чтобы за разработку сюжета взялись рядовые литераторы: тема требует особого творческого дара, вдохновенного напряжения творческих сил, а ему самому с нею не справиться: «Что же касается меня, то я не только не могу назваться ни Аполлоном, ни Апеллесом, но я даже отнюдь не преемник муз, а разве принадлежу к младшим братьям. . .».

Это был настоящий вызов, брошенный Уилкинсом английским драматургам XVII в. К сожалению, он остался без ответа. До нас не дошло такой английской пьесы, о которой он мечтал. Это кажется прямо удивительным, особенно если принять во внимание то, как часто и охотно говорят о москвичах и московских делах Шекспир и его современники. На москвитов в английской литературе конца XVI и начала XVII в. была настоящая мода; собитиями русской смуты в Англии интересовались нисколько не меньше, чем в других странах, не было недостатка и в посвященных ей печатных изданиях; ³ кроме того, известно, как быстро английская сцена откликалась на злобу дня. С тех пор как Марло в своих «Парижских убийствах» (1589) изобразил Варфоломеевскую почь, драматурги то и дело пользовались сюжетами из современной им жизни не только Англии, но и континентальных стран; ⁴ естественно было ожидать, что они откликнутся и на московские события. Между тем в драматической литературе эпохи можно назвать лишь одну английскую пьесу, отразившую их лишь косвенно: это пьеса Джона Флетчера «Верноподданный» («The Loyal Subject»): хотя она посвящена и не Годунову, и не Лжедмитрию, но многое в ее сюжете и бытовых подробностях восходит именно к Смутному времени. Действие происходит в Москве, имя одного из главных действующих лиц — Burris, Борис, а его сценический облик — фактического правителя России при малолетнем и неспособном великом князе — прямо выдает его родство с историческим Борисом Годуновым; кроме того, в данном в пьесе описании возбужденной толпы на московских улицах, солдатских отрядов, вступающих за своих вождей, суровых и неправых властителей, окруженных толпою льстецов и авантюристов, в ха-

³ См.: Howe S. E. The false Dmitri : A Russian Romance and Tragedy. London, 1916, p. 63 sq.

⁴ Creizenach W. Geschichte d. neuer Dramas. Halle, 1909, Bd 4, S. 220.

рактистике, наконец, внутренней политической борьбы, утихающей перед угрозой иноземного нашествия, слышатся явные отголоски слухов и печатных известий о московском «шатании» XVII в. Судьба Лжедмитрия была обойдена английской драмой XVII в. В середине столетия пуритане уничтожили английский театр, а его новый расцвет был связан с отрицанием старых драматургических традиций; переняв французскую классическую трагедию, английские драматурги усвоили от французов и тяготение к античным сюжетам; современной истории на сцене больше не было места. Лишь в 1701 г. в Лондоне появилась первая английская пьеса о Дмитрии Самозванце: трагедия М. Пикс «Царь Московский» (Р i x М. The Czar of Moscow), малоинтересная с формальной и идейной стороны.

II

Английскую сцену опередила испанская, где за обработку русского сюжета взялся Лопе де Вега (1562—1638). Его драму «Великий князь Московский, преследуемый император» («El gran Duque di Moscovia y Emperador perseguido») нужно считать первой нам известной попыткой сделать Дмитрия героем театральной пьесы. К сожалению, время ее написания определяется только приблизительно: напечатана она была еще при жизни автора, в седьмом томе его «Comedias», вышедшем в Мадриде и Барселоне в 1617 г., но написана могла быть значительно раньше. Что вызвало интерес к ее сюжету со стороны величайшего испанского драматурга, мы уже знаем: в Испании через посредство иезуитов в 1606 г. проникла весть о Самозванце, притом в специфическом освещении. Однако вопрос о том, какие именно материалы положил Лопе в основу своей пьесы, недостаточно ясен. Испанский исследователь Менендес-и-Пелайо в предисловии к своему изданию «Великого князя Московского» высказывал предположение, что Лопе де Вега пользовался устными рассказами о лицах и событиях в России, которые он мог слышать от какого-нибудь польского иезуита или испанца, учившегося в польской коллегии; на эту догадку навели Менендеса-и-Пелайо те погрешности против русской истории, которые встречаются в пьесе Лопе,⁵ хотя именно

⁵ Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Académiа Española. Madrid, 1896, t. 6 (Observaciones preliminares). Н. И. Балашов обследовал рукописи этой пьесы Лопе де Веги, хранящиеся в Национальной библиотеке в Мадриде. Изучая беловую рукопись пьесы, сделанную по автографу Лопе де Веги переписчиком и приготовленную для издания у мадридского книгопродавца Антонио Ногеры, исследователь пришел к заключению, что эта рукопись была написана летом 1606 г., т. е. еще до того времени, когда известие о смерти Лжедмитрия дошло до Испании. Такой вывод можно сделать на основании заключительных слов пьесы, отсутствующих в печатной редакции 1617 г.; обследованная рукопись представляет собой особую редакцию пьесы и имеет другое заглавие: «Comedia compuesta de los nuevos successos de Gran

расспросы лиц, бывших в Московии или по соседству с нею, казалось бы, должны были в гораздо большей степени, чем печатные источники, содействовать устранению из текста всяческих ошибок. Нет спора, что последние довольно значительны; однако от испанского драматурга XVII в. неосторожно было бы и требовать более точных данных и более правдоподобных бытовых красок в изображении современной ему русской жизни: ведь о сношениях между Москвой и Испанией, да и то в очень скромной и условной форме, можно говорить не раньше последних лет царствования Ивана Грозного,⁶ и эти сношения не сделались более оживленными и к началу XVII в. Приходится скорее удивляться осведомленности Лопе де Веги в русских делах и простить ему многие забавные с нашей точки зрения промахи пьесы;⁷ современные автору читатели и зрители, конечно, не должны были их заметить. То обстоятельство, например, что он царя Ивана Васильевича называет в то же время и Василием, что жене Бориса Годунова он дает фантастическое имя Орофризы, а мать Дмитрия называет Христиной, помещает при московском дворе немецкого рыцаря Ламберта, боярина — убийцу двойника Дмитрия именует Родульфо, а в верные дядьки настоящему царевичу дает испанца Руфино, свидетельствует только о том, что о некоторых подробностях он был информирован плохо и часто принужден был догадываться и изобретать сам. При всем этом общая схема событий в Московском царстве первых лет смуты передана им довольно верно, а целый ряд характерных деталей пьесы прямо говорит о том, что источники его информации были достаточно осведомленными: так, Лопе де Вега знает и про похотливые наклонности Грозного, и

Duque de Moscovia compuesta por Lope de Vega Carpio» (см.: Балашов Н. И. Рукописи испанских драм и гуманистическая традиция литературы Испании XVII в. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1964, т. 23, вып. 1, с. 18—39). Уточнение даты создания «Великого князя Московского» представляет интерес также и потому, что делает правдоподобной гипотезу о том, что Лопе де Вега пользовался устными рассказами о событиях в Московском государстве братьев Марины Мнишек, приехавших в Вальядолид 25—26 мая 1606 г. Это предположение было сделано в статье: P o e h l G. von. La fuente de El Gran Duque de Moscovia de Lope de Vega // Rev. de Filol. Española, 1932, t. 19, p. 50; см. также: Балашов Н. И. Лопе де Вега и проблематика испанской драмы XVII в. на восточнославянские темы // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1963, т. 23, вып. 1, с. 7.

⁶ Ш м у р л о Е. Россия и Испания в последнюю четверть XVI в. // Россия и Италия. Пгр., 1915, т. 3, вып. 2, с. 301—302.

⁷ В а р п е к е Б. В. Трагедия Лопе де Веги «Дмитрий Самозванец» // Театр и искусство, 1903, № 19, с. 383—385. До статьи Б. Варнеке о пьесе Лопе де Веги писал А. Н. Федоров в статье «Лжедмитрий в испанской драме XVII в.» (см.: Нов. журн. иностр. лит., искусства и науки, 1898, № 8). Русская литература об этой пьесе подробно перечислена в ценном справочнике: П л а в с к и н З. И., Х о л ь ц е в а В. Г., Ш у р !. А. Библиография Лопе де Веги. М., 1962 (Всесоюзная книжная палата). Стоит отметить, что, по разысканиям Н. И. Балашова (см. ст.: Пушкин и испанская драма XVII в. на славянские темы // Русско-европейские литературные связи. Л., 1966, с. 27—38), драма Лопе «Великий князь Московский» была известна Пушкину до создания им «Бориса Годунова».

про убийство им своего сына Ивана, которого он любил и на которого возлагал большие надежды; знает он также и про неспособность к управлению государством другого его сына — Федора — и дает исключительный по своей психологической тонкости сценический образ этого лица, всецело предвосхищающий то толкование, которое почти 250 лет спустя дал ему во второй части своей трилогии А. К. Толстой: человека, наделенного от природы самыми высокими душевными качествами при недостаточной остроте ума и при совершенном отсутствии воли, — фигуру трагическую и в то же время несколько смешную.

Откуда взял Лопе де Вега сведения этого рода? Русские исследователи⁸ в противоположность испанским настаивают на том, что едва ли не единственным источником его была брошюра Бареццо Барецци (за именем которого скрылся иезуит Антонио Поссевино, сам бывший в Москве при царе Иване, сносившийся и с Лжедмитрием, а для данного труда использовавший также письма Н. Чижевского и А. Левицкого, двух иезуитов польского отряда Лжедмитрия) «Повествование о замечательном, почти чудесном завоевании отцовской империи, совершенное ясным юношею Дмитрием».⁹ Поссевино был горячим поборником претендента на московский престол — писал письма, подавал докладные записки, посылал Лжедмитрию книги и советы, и его отношение к Самозванцу, на которого он, подобно другим братьям своего ордена, возлагал большие надежды, отразилось на освещении событий в указанной брошюре. «Повествование» было тотчас же по выходе в свет в Венеции переведено на испанский язык иезуитом Хуаном Москерой и напечатано в Вальядолиде в 1606 г.: редчайший экземпляр этого издания хранится в Ленинградской публичной библиотеке;¹⁰ через три года в Мадриде вышел и его латинский

⁸ См. работу С. Г. Ковалевской «Драма Лопе де Вега „Великий князь Московский“» (отт. из кн.: *Минерва*. Киев, 1913, вып. 1, с. 87—138). Нужно признать совершенно несостоятельной гипотезу Н. И. Школаева («О так называемом Первом Лжедмитрии в истории и драме» в сборнике его статей «Эфемериды», Киев, 1912, с. 467—469) о том, что источником Лопе была «История Московии» (?) иезуита Алессандро Чиплли, с 1594 по 1615 г. состоявшего при капелле польского короля Сигизмунда: книга Чиплли вышла в Пистойе в 1627 г., и таким образом необходимо было бы допустить, что заключенные в ней известия о Самозванце опять-таки дошли до Лопе устным путем; кроме того, совпадения между этой итальянской книгой и испанской драмой совершенно незначительны.

⁹ Русский перевод помещен в «Чтениях О-ва истории и древностей», (1848, т. 5) и в сборнике К. Оболенского «Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России» (М., 1848, вып. 4). Об авторе этой брошюры см. статью П. Пирлинга «Бареццо Барецци или Поссевино» (Из Смутного времени, с. 205—220).

¹⁰ *Relación de la señalada y como milagrosa conquista del paterno Imperio, conseguida del Serenissimo Principe Juan Demetrio, Gran Duque de Moscovia, en el anno de 1605. . . Traducido de lengua italiana en nuestro vulgar castellano, por Juan Mosquera. . . En Valladolid, MDCVI (шпфр: XVI. 5.20).* В издании J. Mosquera Дмитрий назван «Príncipe Juan Demetrio», что та же исследовательница Gertrud von Poehl в особой заметке «Mosquera — Varese

перевод (1609). Зависимость Лопе де Веги от этой брошюры, действительно, не является случайной. В обоих произведениях — «Повествовании» и драме — совершенно одинакова история Бориса, посылающего убийцу к юному царевичу Дмитрию, которого спасает пемец-воспитатель, подменив его другим мальчиком сходной паружности; вполне тождествен и рассказ о Дмитрие, который по совету наставника поступает в монастырь, потом бежит в Литву, открывается там Вишневецкому и через тестя его, воеводу сандомирского, добивается аудиенции у короля Сигизмунда; не случайны совпадения о количестве войск Дмитрия, рассказ о его первоначальном поражении, за которым следует неожиданная победа; известие брошюры о битве при Крамах и об измене Басманова находит себе полную аналогию в рассказе Лопе о Родульфо, который из покорного слуги Бориса становится ревностным приверженцем Дмитрия и возвращает бегущих ратников громким признанием законных прав царевича.¹¹

И все же свести весь запас данных, какими располагал Лопе, к заимствованию из брошюры Бареццо—Поссевино едва ли удастся. Несомненно, что Лопе де Вега внес в свою драму немало личного изобретения, но мог иметь под руками и другие источники. Так, например, у Поссевино он ничего не мог найти для создания образа царя Федора; кроме того, Дмитрий изображен у Лопе не сыном, а внуком Грозного; эта подробность могла быть основана и на устном известии: в Польше одно время распространялся слух, что Дмитрий был сыном убитого Грозным царевича Ивана.

Но каковы бы ни были источники испанской пьесы, ее нужно считать произведением замечательным для своего времени: она построена рукой уверенного мастера и несомненно должна была иметь большой сценический успех. Этому способствовали не только злободневность и занимательность сюжета, но и ее внешние литературные достоинства, яркий и образный язык, изощренное стихосложение.¹² Действие пьесы начинается в царских палатах московского Кремля. Зритель знакомится с Иваном Грозным и его сыном Федором; вторая картина первого акта ведет его в Углич, куда рыцарь Ламберто привозит Дмитрия; в третьей — перед ним появляется Борис, замышляющий убийство. Фон и завязка интриги даны; в следующих актах автор развертывает чудесную историю завоевания спасенным Дмитрием узурпированного Борисом престола. Между первым и вторым действиями проходит десять

Varezzi» (см.: Zeitschr. für Osteuropäische Geschichte, 1932) остроумно объясняет как неудачную интерпретацию испанским переводчиком слова «giovine» (юноша) в итальянском тексте, спутанного им с именем Giovanni (см. также о Москере в кн.: А л е к с е в М. П. Русская культура и романский мир. Л., 1985, с. 13—14, 512. — *Ред.*).

¹¹ К о в а л е в с к а я С. Драма Лопе де Веги «Велкий князь Московский», с. 12—19.

¹² Большая часть сцен написана четырехстрочными redondillas, но в них в патетических местах врываются и белые стихи, и сонеты (один из монологов Дмитрия), и терцины (жалоба Бориса польскому королю, переданная Родульфо).

лет. Во втором акте перед зрителями разворачиваются и сцены в Лифляндии, куда в крестьянскую семью приходят искать работы два жнеца (в них нетрудно узнать Дмитрия и его верного ядьку Руфино), и сцена в монастыре, куда является Борис, для того чтобы выяснить причину уже распространяющихся по всему государству слухов, что Дмитрий жив. Третье действие ведет в Польшу ко двору короля Сигизмунда. Удачным расположением параллельных сцен драматург обеспечил неослабевающий интерес, с которым зритель должен был следить за развитием интриги: чем явственнее были успехи Дмитрия, чем воинственнее становились его мечты о Москве, тем тревожнее было на душе у Бориса; но Лопе де Вега не ограничивается противопоставлением психологического состояния двух антагонистов; он непрерывно вводит в действие новых лиц, рассчитывает всевозможные эффекты: к Дмитрию, например, является подосланный к нему Борисом убийца — рыцарь Элиано, но обещанная последнему в жены в качестве награды Финея открывает Дмитрию предательство постылого ей жениха; не забыта и любовная интрига самого Дмитрия с Маргаритой, т. е. Мариной. Блестящие приемы во дворце, полные высокого напряжения сцены с Дмитрием, которому судьба все время дает в руки легко и свободно развязывать клубки тех сложнейших интриг, которыми оплетает его энергичный Борис, сменяются наконец сценами на поле битвы. Встрешенный известиями об успехах Дмитрия, Борис вместе с женой и детьми спешит к «холодным берегам Днепра», чтобы, наконец, самому померяться силами с врагом: он испробовал все тайные средства самозащиты — остается открытый бой не на жизнь, а на смерть. Во время сражения положение Дмитрия сначала становится критическим: его люди бегут, не слушая его призывов и увещаний. Но последним напряжением воли он снова бросается в битву и одерживает победу: внезапно столкнувшийся с ним Борис на его глазах лишает себя жизни. Пьеса оканчивается всеобщим ликованием. Дмитрий с Маргаритой спешат к Москве.

Этот краткий пересказ, далеко не охватывающий всего содержания сложной и весьма обстановочной драмы, все же дает некоторое представление о том, в какую сторону были направлены усилия Лопе де Веги. Задачей драматурга было представить в наиболее выгодном свете увлекшую его личность Дмитрия. Царевич храбр и великодушен, смиренен и набожен; он — живое воплощение испанского кодекса рыцарской чести: недаром же его воспитал испанец! Покровительствовать слабым и наказывать злых, бороться с преступлениями на всех дорогах человеческой жизни и великодушно прощать раскаявшихся — таково его призвание. Не честолюбие движет его по пути к престолу, но лишь идея нравственной справедливости; ему даже чуждо чувство мести: он простил бы и самого Бориса, если бы тот не поспешил покончить с собой; сожалея об этом, Дмитрий, однако, тут же прощает убийцу своего двойника — Родульфо, от которого и сам перенес немало зла. Сам он никогда не рискнул бы прибегнуть к низким средствам

и действиям из-за угла: ему нужна честная, открытая борьба. Провозглашенный царем, он в порыве благодарности за оказанную ему помощь предлагает все свое государство польскому королю, а сам уже готов отправиться в поход против врага Сигизмунда — Карла Шведского. . . Этот идеальный образ — естественное следствие чтения брошюры Поссевино: Лопе де Вега взглянул на Дмитрия глазами иезуитов. И это не могло быть иначе. Благочестие Лопе де Веги, несмотря на его бесчисленные падения, всегда было пламенным, а с 1609 г. он был даже близок к инквизиции; верный сын католической церкви, он должен был разделять те надежды, которые в Риме возлагались на Лжедмитрия. Характерно, что пьеса заканчивается сценой битвы под Кромами: потому ли, что и в брошюре Поссевино Лопе де Вега не нашел известий о дальнейшей судьбе Самозванца, потому ли, что пьеса его написана была до расправы над Лжедмитрием в Москве, — эти вопросы остаются обычно без ответа. У нас нет никаких данных, чтобы судить о том, знал ли Лопе историческую судьбу своего героя.

Представляется маловероятным, чтобы до Испании не дошла весть о кровавой расправе в Москве. В то же время можно думать, что если Лопе де Вега и знал об этом (отрицание чего служит иногда поводом для датировки пьесы началом 1606 г.), то он все же сознательно не воспользовался этим «эффектом трагического конца», так как смерть Дмитрия была бы абсурдным отрицанием всего идейного замысла его пьесы; нужно помнить также, что Лопе писал не историческую драму и точное воспроизведение событий вовсе не входило в его задачу.¹³

III

Если Лопе де Вега действительно убежден был в законности притязаний исторического Лжедмитрия, то для него, следовательно, неведома была еще тема «самозванства» как один из основных двигателей интересующего нас сюжета. Между тем неожиданная развязка кратковременного царствования несомненно должна была прибавить новый интерес к этому сюжету, так как она освещала его совсем с другой стороны. Идеальный образ «яснейшего юноши», какой Дмитрию дан был пером иезуитов, осложнился теперь труднейшим для объяснения психологическим мотивом «самозванства» — все равно, добровольного или навязанного ему судьбой, случайным ли стечением обстоятельств, честолюбивыми замыслами или происками какой-либо политической партии. Всенародно объявленный лжецом и обманщиком, он сам превращался теперь в актера, блестяще сыгравшего свою роль на исто-

¹³ А. А. Чебышев (ЖМНП, 1898, № 7, с. 51) ошибочно, с нашей точки зрения, полагал, что Лопе де Вега, «поставленный в известность о кровавой народной расправе над Самозванцем, едва ли не внес бы ее в свою драму хотя бы ради одного сценического эффекта».

рической сцене; лицо его скрыла театральная маска, перед которой уже современники стали в тупик.

«До сих пор для нас, по крайней мере, неясно, — писали в анонимной брошюре о нем, изданной в г. Кельне в 1608 г., — был ли Дмитрий действительно сын Ивана или подставной. . . Я знаю, правда, — прибавляет современник, — что в истории существует несколько примеров людей, которые подобным образом и ложью стремились к царству и престолу. Еще недавно не один самозванец выдавал себя за Севастьяна, короля Португалии (того, который во время африканского похода погиб на глазах наших отцов) < . . . > Какие смуты не возбудили, чего не предпринял тот Петр Варбек, который, поддерживаемый Марией Бургундской, осмеливался выдавать себя за потомка английских королей: он произвел такое впечатление на шотландского короля, что тот, обручив с ним прекраснейшую девицу из королевского дома, предпринял ради него опаснейшую войну против англичан». Конечно, это были очень сходные примеры, но в судьбе Лжедмитрия и других самозванцев, имена которых приходили на память, было одно весьма существенное различие: «эти и еще другие, прежде чем достигнуть царства, были казнены по раскрытии обмана»,¹⁴ он же погиб, уже овладев престолом, облеченный полной властью. Идея возмездия Борису, которая могла быть в основе пьес типа Лопе де Веги, осложнилась теперь идеей возмездия самому Самозванцу; одна ли таинственная рука жребия и «божественного предопределения» покാരала этих обоих незваных избранников на московский престол? Такой ход мыслей, естественный для людей XVII в., суеверно решавших вопрос о происхождении власти и праве на насилие, обеспечивал сюжету интерес долго спустя после самых событий, к которым он был прикреплен: они постепенно отодвигались в прошлое, а сюжет несколько не утрачивал привлекательности для писателей; скорее наоборот: загадочность многих обстоятельств воцарения Лжедмитрия, в которых путались современники и которых не могла объяснить и последующая историческая критика, все время увеличивала к ним интерес, вызывая художественную мысль на соревнование с исследовательской логикой; творческое воссоздание понадобилось там, где в конце концов очевидным сделался недостаток достоверных фактических данных. Образы действующих лиц, уплотняясь в историческом сознании под напором времени, приобретали большую законченность и цельность, а с другой стороны, допускали и большую свободу в художественном истолковании.

Во всяком случае уже с половины XVII в. в западноевропейской литературе друг за другом потянулись драмы, поэмы и романы, освещавшие этот эпизод русской истории. Итальянские, французские и немецкие произведения охотно рассказывали

¹⁴ Московская трагедия, или Рассказ о жизни и смерти Дмитрия / Пер. А. Браудо и Росциуса. СПб., 1904, с. 69.

о Борисе Годунове, Лжедмитрии, выводили на сцену их политических друзей и врагов, воссоздавали обстановку, в которой развернулись события их частной и государственной жизни. Интерес к этому сюжету стал ослабевать лишь во второй половине XIX в., но, как увидим, не исчез и донныне.

Любопытно подчеркнуть при этом преобладание драматических обработок сюжета над новеллистическими; очевидно, эту традицию обусловили некоторые особенности подлежащего обработке материала: интересные в драматургическом отношении образы действующих лиц, высокая драматичность происшествий, допускающих воссоздание в стесненных границах сценической формы. Проблема возможно более удачного разрешения всех тех задач, какие ставил этот сюжет драматургу, являлась одним из импульсов к его периодическому обновлению. Но речь здесь шла, конечно, не только о поэтическом соревновании ради осуществления некоторых формальных принципов искусства, как предстали бы дело некоторые западные исследователи, отвечая на вопрос о том, что было причиной напряженного внимания к сюжету в течение столь продолжительного времени; здесь можно говорить не только о своего рода состязании драматургов на материале, ставшем традиционным, окаменевшие части которого открывали возможности лишь для его архитектурной перепланировки. История литературы, в частности драматической, знает много примеров такого предрасположения писателей и публики к известным сюжетам, когда они творятся заново из обломков старых, но на основе новых требований общественной мысли: они вновь и вновь выдвигаются в литературе, потому что отвечают новому общественному спросу. Дело вовсе не в том, что более изощренная литературная техника якобы подсказывает более удачные формы их пересоздания, но в том, что эти формы стоят в прямой зависимости от тех идеологических требований, какие диктуют писателю его среда и эпоха. Весь вопрос в том, насколько рамки такого сюжета допускают наполнение его новым идейным содержанием в соответствии с очередными запросами читателей и театрального зрителя.

Интересующий нас сюжет о Дмитрие Самозванце и Борисе Годунове по своему международному распространению и обилию вызванных им драматических обработок принадлежит именно к таким периодически обновлявшимся сюжетам, интерес к которым не мог быть исчерпанным до конца, потому что сюжет этот постоянно воскресал в новой оболочке, а идейную жизнь давали ей многообразные поводы западноевропейской общественной и интеллектуальной борьбы между XVII и XX вв. По его популярности и неизменной притягательности для писателей различных времен сюжет этот недаром приравнивали к сюжету о «Фаусте» и «Нибелунгах».¹⁵ Действительно, в перечне относящихся к нему произведе-

¹⁵ Flex W. Die Entwicklung des tragischen Problems in den deutschen Demetrius-Dramen. Eisenach, 1912, S. 7.

дений значится свыше сотни трагедий, мелодрам и даже «арлекинада», а вместе с новеллами, историческими романами, поэмами и «романизованными» историческими очерками общее число их вырастает больше чем вдвое; тем не менее весь этот примечательный литературный ряд лишен возможных в таких случаях однообразия и монотонности и включает в себя немало первоклассных произведений искусства. Изучение всех обработок сюжета в хронологической последовательности, на основе высказанных выше положений, представляет собою увлекательную задачу, лишь частично осуществленную в целом ряде исследований западноевропейских и русских;¹⁶ вопрос далеко не исчерпан даже в подготовительной библиографической стадии его изучения: существующие перечни обработок сюжета очевидно неполны; не прихо-

¹⁶ G r u p p e O. F. Demetrius : Schillers Fragment für die Bühne bearbeitet und fortgesetzt nebst einer litterar-historische Abhandlung. Berlin, 1861 (статья «Schiller's Demetrius und seine Fortsetzung», S. 123—228); R u d o l p h L. Ueber Schiller's Demetrius // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, hrsg. L. Herrig, 1865, Bd 38, S. 169—182; В — б — ь П. (Вейнберг П.). Дмитрий Самозванец во французской драме // СПб. ведом., 1873, № 252; В о х б е р г е р R. Ueber Schiller's Demetrius // Zeitschr. für vergleichende Litteraturgeschichte. N. F., 1892, Bd 5, S. 52—61; G o t t s c h a l R. Studien zur neueren deutschen Litteratur. Berlin, 1892. (Dramaturgische Parallelen // — Die Demetrius-Dramen, S. 95—133); Л ю т е р А. Ф. Лебедная песнь Шиллера // Под знаменем науки : Юбил. сб. в честь Н. И. Стороженко. М., 1902, с. 335—366; D o l e w H. Pushkin's «Boris Godunof» // Poet-Lore, 1891, May—November; S t e i n A. Schillers Demetriusfragment und seine Fortsetzungen, 1, 2. Mühlhausen in Els., Progr. 1891, 1894; Р о р е к А. Der falsche Demetrius in der Dichtung, Progr., Linz. 1895; H e n z e n W. Die Demetriusdramen // Leipziger Tageblatt, 1900, N 248, 254; Ч е б ы ш е в А. А. Трагедия Шиллера из русской истории (Demetrius) // ЖМНП, 1898, № 7, с. 49—95; В а р н е к е Б. В. Трагедия Лопе де Веги «Дмитрий Самозванец» // Театр и искусство, 1903, № 19, с. 383—385; В u l l o g h E d w. Bibliographisches zu Schiller's Demetrius // Studien zur vergleichende Litteraturgeschichte, 1905, Bd 5, S. 290—293; Z i r p e l A. Schiller's Entwurf zum Demetrius // Zeitschr. für deutschen Unterricht, 1905, Bd 19, S. 12; Л у к ь я н е н к о А. М. Шиллер, Пушкин и Островский в изображении Смутного времени // Еранос: Сб. статей по лит. и ист. в честь проф. Н. П. Дашкевича. Киев, 1906, с. 166—212; Ш м у р л о Е. Дмитрий : Библиотека великих писателей / Под ред. С. А. Венгерова // Собр. соч. Шиллера, т. 3, с. 262—278; H o r d o r f f A r t h. Die Entstehungsgeschichte des Schillerschen «Demetrius»: Ein Versuch zur kritischen Lichtung der Fragmente. Diss. Leipzig, 1909; Е р м о л ы н с к и й Н. Н. Иллюстрация к русской истории : Указатель драм. соч., ист. и бытовых. СПб., 1910 (Дм. Самозванцу здесь посвящены № 170—209 на с. 25—30); F l e x W. Die Entwicklung des tragischen Problems in den deutschen Demetrius-Dramen von Schiller bis zu Gegenwart. Diss. Göttingen, 1912; Н и к о л а е в Н. И. О так называемом первом Лжедмитрии в истории п драме // Н и к о л а е в Н. И. Эфемериды : Сб. статей. Киев, 1912, с. 442—486; В е с е л о в с к и й А. Н. Последние драмы Шиллера // История зап. лит. 1800—1910 / Под ред. Ф. Д. Батюшкова. М., 1912, т. 1 (с. 204—206: «Demetrius» Шиллера); W o s z w a k J. Zwei Demetrius : Fragmente. Versuch einer Parallele. Programm, Lemberg, 1913; К о в а л е в с к а я С. Г. Драма Лопе де Веги «Великий князь Московский», с. 87—138; E r l e r O. Marfa—Demetrius. Eine Studie. Leipzig, 1930 (О пьесах Шиллера и Гёббеля); P e t e r s e n J. Schiller's Demetrius // Zeitschr. für deutsche Bildung, 1931, Bd 7, S. 1.

дится говорить и о других, более сложных проблемах такого исследования, выводы которого скорее могут быть предвидимы, чем подтверждены. Нижеследующие страницы поэтому не ставят себе непосильной задачи ответить на все вопросы, которые может поставить хронологический обзор данного типа: это потребовало бы более обширных масштабов исследования и гораздо более сложной его документации. Основные вехи, однако, все же могут быть намечены.

Следя за развитием сюжета в исторической перспективе, мы можем заметить, что его обновление не сразу пошло по пути углубления психологической мотивировки отдельных ситуаций или усложнения характеров действующих лиц; рядовые писатели еще долго пользовались готовой эффектной схемой и, оставаясь в пределах традиционных представлений, старались внести некоторое разнообразие в ее внешнее построение, не повышая ее динамики путем усложнения трагических конфликтов. Такова прежде всего итальянская драматургическая традиция XVII в. До нас дошло несколько итальянских драматических произведений о Лжедмитрии; характерно, что почти все они избегают вопроса о «самозванстве», именуя Дмитрия законным претендентом и неизменно противопоставляя его узурпатору московского трона — Борису Годунову. Последний, однако, вообще пока еще мало интересует драматургов и чаще всего появляется в прологе в виде театральной «тени», произносящей патетический монолог, переполненный страшными признаниями о совершенных им в жизни злодеяниях. Эти признания — в том числе, конечно, стоящий на первом месте рассказ о злоумышлении против царевича Дмитрия — дают завязку пьесе и сразу окрашивают ее в мрачный трагический колорит; дальнейшее действие сконцентрировано вокруг Дмитрия, идущего к власти или уже достигшего ее, вокруг его отношений к Марине; катастрофу составляет непризнание его народом московским, причем мотивами конфликта является дикость московской толпы, не понявшей реформаторских (в том числе и вероисповедных) замыслов молодого царя. Такая постановка темы ведет прежде всего к идеализации образа Дмитрия и к резкому осуждению всего его окружения, за исключением, конечно, иноземцев, на которых автор чаще всего густо накладывает светлые краски. Источник этого освещения тот же, что и у Лопе де Веги: римская, точнее, католическая, версия о событиях Смутного времени на Руси.

В начале XVII в. Италия была одним из наиболее осведомленных в русских делах государством;¹⁷ роль иезуитов в этом отношении, деятельно работавших для приобщения России к «благочестию» и внимательно присматривавшихся к русской жизни, уже была подчеркнута. Итальянские драматурги второй половины

¹⁷ Pierling P. 1) Rome et Demetrius. Paris, 1878; 2) Dmitri dit le faux et les Jesuites. Paris, 1912 (Publ. de la Bibl. Savante de Bruxelles).

этого столетия, нуждаясь в исторических материалах и этнографических красках для своих драм о Дмитрии, наталкивались прежде всего на иезуитские реляции, имевшие все признаки достоверности, на ту же, например, венецианскую брошюру Баренцо—Поссевино в ее разнообразных изданиях, на книгу Алессандро Чилли (*Historia delle sollevationi notabili segnite in Polonia etc. Pistoia, 1627*) и т. д. Естественно, что разнообразия в трактовке событий и усложнения их благодаря каким-либо историческим сомнениям не получилось. Допустимо при этом и некоторое воздействие драмы Лопе де Веги, славное имя которого гремело в Италии столь же, как и в Испании: смерть этого «чуда природы» вызвала поэтические сетования пятидесяти итальянских писателей, объединенные в Венецианском сборнике 1636 г.

Уже в 1639 г. в Венеции вышла книга графа Майолино Бизачьоли (1582—1663), историографа и плодовитого новеллиста, посетившего многие европейские земли и одно время служившего в Молдавии; «Дмитрий. Трагическая повесть»; однако фактических прибавок к уже прежде известной в итальянской литературе истории Дмитрия эта повесть не дает. Вслед за прозаиками к этой истории обратились и драматурги. Так, в 1645 г. в г. Лукке появилась трагедия второстепенного писателя эпохи Бьянко Бьянки под заглавием «Дмитрий» («*Demetrio*»).¹⁸ Интересно, что она посвящена знаменитому художнику Сальватору Розе; самое произведение его не представляет, однако, ничего замечательного.

В прологе к пьесе появляется «тень Бориса» (*ombra di Boritio*), среди действующих лиц — «царица-мать» (*regina Madre*), назвать которую драматург уклонился, очевидно по недостатку исторических данных, старик Ламберто, *Valdemiro*, кормилица *Timoclea*, бароны *Ruteno* и *Silao*, некто Ансельмо, наконец, польский посланник. Декламативная и риторическая трагедия Бьянко Бьянки не включает в себе почти ничего исторического, кроме общей схемы событий, отдаленно напоминающих действительные, но характерно искаженных в согласии с итальянской традицией.

Шесть лет спустя за тот же сюжет взялся другой итальянский драматург — Джузеппе Теодоли: в 1651 г. он выпустил пятиактную трагедию о «Дмитрии Московском» («*Il Demetrio Moscovita*», *In Cesena, 1651*), в следующем же году вышедшую вторым изданием,¹⁹ что как будто свидетельствует о ее успехе. Теодоли осведомленнее своего предшественника, но о знании исторических условий русской жизни и своеобразном понимании им тех событий, которые он воссоздает, говорить не приходится и здесь. Как и у Бьянки, в трагедии Теодоли действие начинается с момента восшествия Дмитрия на престол; вновь появляется у него Борисова

¹⁸ Согласно Mazzuchelli («*Scrittori d'Italia*»), этому писателю кроме «Дмитрия» принадлежат еще две драмы, изданные в Лукке около того же времени: «*La Constanza, drame spirituale*» и «*Il Martirio di S. Agnese*», самые заглавия которых выдают их католическую тенденцию.

¹⁹ См.: Отчет Публ. библиотеки за 1856 г., с. 71.

ть (ombra di Boride Tiranno); мать Дмитрия пазвана Teresilla, а наставник его — Astero; фигурирует в пьесе и некий Альконте, «президент московского сената» (Presidente del Senato di Mosca), под которым, вероятно, нужно разуместь думного боярина; но в пьесе выступает, однако, и Basmano, главный советник Борисов, и Марианна с нянькой своей Ормондой и отцом Альтамиро, сандомирским магнатом (Palatino di Sendemira Polacco). . . Сюжет нравился итальянцам; зарождавшаяся в Италии во второй половине XVII в. опера поспешила приспособить его для музыки: так, в Венеции в 1666 г. представлена была опера «Дмитрий» Паллавичино (С. Pallavicino, «Demetrio»),²⁰ а к концу века относиться и арлекинада Боккабодатти, получившая некоторую известность и за пределами Италии: она известна нам во французском переводе или переделке 1717 года.

В этой пьесе наилучшим образом сказались стремления итальянских драматургов внести некоторое разнообразие в обработку сюжета лишь с чисто внешней его стороны, прибавив к основной схеме новые обстановочные сцены, но не изменив почти ничего в его внутренней структуре.²¹ И у Боккабодатти Дмитрий — подлинный царевич, но ради эффекта драматург дублировал этот образ, даже не один, а два раза, потому что в пьесе наряду с Дмитрием есть два Лжедмитрия. Этот мотив, служивший обычно поводом для трагических конфликтов, дал здесь материал для блестящей буффонады; пьеса называется «Arlequin Demetrius» и подчинена условным формам итальянского комедийного спектакля; в ее сюжетном построении есть родственные мотивы «комедии ошибок», где смешение действующих лиц (одного принимают за другого) ведет к забавным положениям и веселости явно абсурдных допущений. Впрочем, веселость данной пьесы относительна, а подчас носит и довольно зловещий оттенок. Чтобы хоть скольконибудь предохранить настоящего сына царя Ивана — царевича Дмитрия — от посягательств на его жизнь Бориса Годунова в пьесе воспитывают вместе с Дмитрием двух «холопских» детей сходного возраста и очень похожих на него по внешности. В отличие от царевича их метят особым знаком на теле. Подосланный Годуновым убийца по ошибке убивает Лжедмитрия: остаются в живых два Дмитрия. подлинный и ложный — Арлекин. Когда исторические события устрашают для первого все опасности и зовут его к престолу, Лжедмитрий-Арлекин, с детства привыкший к своей роли царевича, не так-то легко расстается с нею и позволяет себя разоблачить не без труда: он первым является на зов

²⁰ Clément F., Larousse P. Dictionnaire Lyrique ou l'Histoire des Opéras, из которого мы берем этот факт, указывают еще одну пьесу с музыкальным сопровождением о Дмитрии, хотя, видимо, не «оперного» типа: это поздняя латинская «школьная драма» — «Demetrius Moscoviae solio restitutus», с музыкой И. Эберлина, представленная учащимися бенедиктинского монастыря в г. Зальцбурге в сентябре 1755 г.

²¹ Gottschal R. Dramaturgische Parallelen: Die Demetriusdramen // Studien z. neuen deutschen Litteratur. Berlin, 1892, S. 99—100.

той политической партии, которая в свое время старалась сохранить жизнь подлинному царевичу, он стремится к скорейшему осуществлению своих планов, вступает в битвы, словом, на всех поприщах опережает своего соперника. Но судьба смеется над ним: глупый, неуклюжий, неловкий, он хотя и ускользает от ударов, но всей своей нескладной фигурой и поведением всячески оправдывает свое, правда невольное, внушенное ему с детства, «самозванство». При всех случаях жизни он играет трусливую и смешную роль. Однако параллельно с этим фарсом разворачивается и трагедия: подлинный царевич искусно и тонко ведет свою интригу против Бориса и неуклонно добивается цели. В последней сцене перед зрителями открывается весьма эффектное зрелище: борьба диких зверей на арене, во время которой происходит несчастье — рушится амфитеатр, и в непредвиденной борьбе со зверем погибает Лжедмитрий-Арлекин; подлинный же царевич вступает на московский трон.

Тенденция этой пьесы совершенно ясна: перед нами прежнее возвеличение Дмитрия, которому служат здесь новые сюжетные мотивы. Основной из них — противопоставление подлинного царевича его вульгарному двойнику — «холопскому сыну» Арлекину. Очевидно, автор задался целью показать, что воспитание и внушение не могут все же заменить благородства происхождения; такая откровенно аристократическая точка зрения, по-видимому, и была поводом для пересадки пьесы из Италии на французскую сцену, много занимавшуюся той же темой; противопоставление аристократа «грубому мужику», «породу» которого не исправят ни условия жизни, ни соответствующее воспитание, отвечала идейным заданиям французской аристократической литературы.

К сожалению, мы ничего не знаем о том, какую форму принял сюжет о Дмитрии под пером того французского писателя, пьеса которого шла в «Comédie Française» задолго до того, как Париж увидел переведенную с итальянского арлекинаду Боккабодатти. Пьеса некоего Обри де Каррьеера (Aubry de Carrières, ум. в 1690 г.), по профессии парижского «мостовщика» (видимо, зажиточного подрядчика мостовых работ и театра-любителя), не дошла до нас и никогда не была напечатана. О его «Дмитрии» есть лишь несколько глухих и противоречивых показаний. «Dictionnaire des Théâtres de Paris» говорит, что эта пьеса поставлена была в «Théâtre Français» в 1689 г. и приписывает тому же автору еще одну пьесу — «Агафокл» (1690 г.). В «Anecdotes Dramatiques» 1775 г. о «Дмитрии» сказано, что эта была первая новая пьеса, шедшая в «Comédie Française», и что, вероятно, это обстоятельство и было причиной ее сценического успеха.

Если из указанного литературного ряда исключить неизвестную нам пьесу Обри де Каррьеера, то все перечисленные драмы, испанская и итальянские, которыми, видимо, исчерпывается последнее по этому сюжету, оставшееся от XVII в., обнаружат между собой известное сходство. Подлинный царевич Дмитрий является

их центральным действующим лицом; тема «самозванства» еще не использована, по крайней мере в трагическом плане; историческая правдоподобность всех этих произведений более чем приближительна; специфический московский колорит действия мало заботит авторов, пользующихся «экзотическим» сюжетом не столько во имя исторической правды, сколько ради прокламации собственных идейных замыслов. Вслед за тем сюжет был забыт почти на целое столетие.

IV

Дальнейшее свое развитие сюжет о Дмитрие и Борисе получил главным образом под пером немецких писателей. Одной из первых немецких пьес на эту тему была драма плодовитейшего писателя своего времени Августа Коцебу (1761—1819), в конце XVIII и начале XIX в. пользовавшегося исключительной популярностью во всей Европе и в России. Драма Коцебу называлась «Дмитрий Иванович, царь московский» («Demetrius Ivanovitch, Czar von Moskau», ein Russisches Original-Trauerspiel in 5 Acten, von einem Lebhaber des Theaters, 1782) и принадлежала к его ранним литературным опытам: в момент постановки ее на сцене Коцебу было только двадцать с небольшим лет.

К этому времени в русской литературе уже имелась трагедия Сумарокова («Дмитрий Самозванец», 1771),²² и очень возможно, что знакомство с нею до известной степени определило интерес Коцебу к главному герою его собственного произведения. Коцебу жил тогда в Петербурге, был личным секретарем генерал-губернатора и несомненно интересовался русской литературой. Однако, в отличие от сумароковской, пьеса его изображала Дмитрия не самозванцем, но, как бы в согласии с предшествующей европейской драматургической традицией, подлинным сыном Грозного. Некоторые исследователи в таком уклонении от сумароковской концепции увидели проявление самостоятельности молодого драматурга и даже «большой смелости мысли».²³ С этим трудно согласиться.

²² Отметим, кстати, старое недоразумение, введенное в европейскую литературу кембриджским ученым E. Bulloch (Bibliographisches zu Schiller's Demetrius // Studien z. vergleich. Litteraturgeschichte, 1905, 5, S. 291), который с удивлением отмечает, что «уже в 1664 г., следовательно, за восемь лет до того, как в Москве был основан первый театр, в Новгороде появилась анонимная трагедия в десяти актах о Лжедмитрии». Источник, из которого взято это фантастическое известие, не указан, но совершенно ясно, что оно основано на опечатке: можно догадаться, что речь идет о пьесе неизвестного автора: «Лжедмитрий I. Трагедия в десяти былинах. Новгород, 1664», отпечатанной в типографии новгородского губернского правления ровно двести лет спустя; не способствовала ли такой опечатке и неудачная замена обозначения действий — «былинами»?

²³ Например, E. A. Ляцкий (Slavia, 1932, Bd 11, 1, с. 198) в рецензии на статью: Coleman A. P. Kotzebue and Russia // The Germanic Review, Bd 5, N 4, oct. 1930. Интересно, что за три четверти века до А. Коцебу гам-

Пусть официальная русская правительственная точка зрения, впоследствии закреплённая Карамзиным, и в XVIII в. не допускала никаких сомнений в том, что Дмитрий был «обманщик»; однако, идя вразрез с нею, Коцебу мог найти единомышленников в тогдашнем Петербурге, притом из своих же соотечественников; так, по свидетельствам современников, в «подлинности» Дмитрия убежден был историограф и петербургский академик Г. Ф. Миллер.²⁴

Следовательно, и тогда находились люди, готовые оспаривать официальную версию о происхождении Дмитрия. Однако в драматургическом отношении замена Лжедмитрия подлинным царевичем была несомненным шагом назад, возвращением к архаическим и уже достаточно использованным формам сюжета; такая замена вновь отвлекала от идеи самозванства как основного трагического мотива пьесы и снова упрощала образ Дмитрия, идеального и прекраснородушного юноши, личностью которого всецело распоряжается благоволящая к нему судьба. Характерно, что такой образ чрезвычайно типичен для всего последующего драматического творчества Коцебу, и это заставляет предполагать, что вовсе не смелая догадка, основанная на оригинальном комбинировании известных фактов, и не самостоятельное изучение исторических источников (для чего Коцебу был еще прежде всего слишком молод) внушили ему мысль объявить Дмитрия сыном Грозного. Выше уже было показано, как такое допущение могло ответить некоторым личным и общественным идейным течениям эпохи. Подобный же случай перед нами и здесь. У Коцебу Дмитрий — сын Грозного вовсе не потому, что так охотно изображали его предшествующие драматурги; пьес их он, конечно, не знал, иезуитскими реляциями о Смутном времени, вероятно, интересовался всего менее; его герой — подлинный царевич потому, что это позволило осветить весь сюжет с новой точки зрения, осмыслить его социально и философски в полном согласии с мировоззрением той общественной группы, для которой он писал и эту, и последующие свои пьесы.

Театр Коцебу, выросший из немецкой «мещанской драмы» XVIII в., но, в конце концов, противопоставивший себя «штюр-

бургский композитор Johann Mattheson в 1710 г. сочинил оперу «Boris Godunov» (sic!), которая, впрочем, осталась неопубликованной; рукопись ее сохранилась во время последней войны. См. статью об этом произведении: Tschischewski J. D. Eine Oper «Boris Godunow» aus den 18 Jahrhundert // Zeitschr. für slavische Philologie, 1962, Bd 30, H. 2, S. 237—242, в которой автор воспользовался сведениями о погибшей рукописи и выписками из нее, приведенными в книге: Wolff H. Ch. Die Barockoper in Hamburg: (1678—1738) // Wolfenbüttel, 1957, Bd 1, S. 290—292.

²⁴ Английский путешественник Кокс передает свой разговор в Петербурге с Миллером, который, между прочим, заявил ему «о полнейшем убеждении, что на московском престоле царствовал настоящий Дмитрий, но он не мог высказать печатно своего настоящего мнения о России, так как тут замешана религия» (Рус. старина, 1877, 2).

мерской» драматургии Шиллера и Гете крайним развитием мелодраматических элементов, расцвел в эпоху европейского сентиментализма. Зрители плакали умиленными и радостными слезами над тем противопоставлением аристократического порока и буржуазной добродетели, несложные конфликты которых в бесконечных вариациях, но с неизменно счастливой и поучительной развязкой, изображал Коцебу во многих десятках своих пьес. Из добродетельных, достойных и честных людей никто не гибнет, никто не делается несчастным, учил Коцебу, но, если даже кто-нибудь из них впадет в нужду и его постигнет незаслуженное горе — все равно, в конце концов, обстоятельства сами повернутся в его пользу; и это совершается тем скорее, чем незаметнее и непритязательнее человек, обойденный счастьем. Возвращение потерянного, награда за испытанные беды — излюбленные темы Коцебу. Это весьма существенно и для понимания его «Дмитрия».

Идея «самозванства», т. е. сознательной лжи из мести или честолюбивых побуждений, должна была быть органически чуждой Коцебу; человечество в его представлении упрощенно делилось на злодеев и добродетельных людей; последние в свою очередь состояли из награжденных или обойденных удачей; счастье, однако, когда-нибудь улыбнется и им, если они его заслужили: если в пьесе «Ложный стыд» героиня, потеряв дочь, в конце концов находит ее в доме у своего родного брата, где ее призрели в качестве безвестной сироты; если в другой пьесе, «Бланко де Монфоков», некий пустынный, человек благородного происхождения, но впавший в нужду, по стечению обстоятельств получает в последнем действии несправедливо отнятые у него замок и землю, то подобно этим героям и Дмитрий, в пьесе, предшествующей указанным по времени создания, обретает утраченные права, но обретает только за добродетель, в качестве награды за чисто человеческие и благородные порывы, которых не заглушили в нем нужда, горе, безвестность и людская злоба. Так, думается, намечается возможный путь превращения сценического Дмитрия из злодея классической трагедии в идеального героя сентиментальной мелодрамы. Герой пьесы Коцебу еще не дошел до законченности такого типа: пьеса написана в 1782 г., в эпоху расцвета штюрмерской драмы, всего лишь через год после того, как сцену увидели «Разбойники» Шиллера; мировоззрение юноши Коцебу тоже не отлилось еще в спокойные по своей безнадежной ограниченности убеждения его зрелых лет. Наконец, и самый сюжет исторически противится благополучной развязке, которая была бы естественной при таком истолковании его центрального образа, если бы не необходимость следовать хотя бы минимальной исторической правде; поэтому и Дмитрий все же становится у Коцебу трагической фигурой, над злосчастной судьбой которой можно поплакать, воздав ему должное.

Любопытно, что, устраняя конфликт в душе самого Дмитрия, Коцебу тем самым обрек себя на конфликт с русской властью. При постановке пьесы на петербургской немецкой сцене пьеса

вызвала вмешательство полиции, по требованию которой из заголовка исключены были слова «царь московский»; отчасти, вероятно, по той же причине пьеса при жизни автора напечатана не была и рукопись ее долго считалась утраченной; она найдена была лишь недавно Кинцлем, который и сделал ее подробное описание;²⁵ единственным источником для суждения о пьесе до этих пор оставались две современные газетные рецензии по поводу ее постановки в Петербурге: в «Гамбургской газете» (10 июля 1782 г.) и в «Берлинской литературной и театральной газете» (2 ноября 1782 г.); первая предсказывает автору «будущую» известность на драматургическом поприще, вторая — хвалит сценические достоинства пьесы: хороший диалог, удачное построение характеров, стройность композиции; особенно понравился критику образ «кроткой царевны Иоанновны», в котором автору, по его мнению, удалось схватить и передать ту «нежность», которая так свойственна «русскому национальному характеру»; в качестве же особенно «чувствительных мест» приведены отрывки из беседы Басманова с Мстиславским и монологов самого Дмитрия. Не лишено интереса указание, что в целях повышения исторической правдоподобности представления многие костюмы для актеров были выданы из кладовых царского дворца.²⁶

В конце века, независимо от Коцебу, образом Дмитрия заинтересовался английский драматург Рич. Комберлэнд. Среди его многочисленных пьес находится историческая драма о Дмитрии, напечатанная во II томе его «Посмертных драматических сочинений» (1813); она не закончена (пятое действие обрывается на 2-й сцене) и, вероятно, не до конца обработана; поэтому мысль автора не вполне ясна, а текст включает в себе некоторые противоречия. «В начале Дмитрий является у него в качестве дьякона Чудовского монастыря Отреньева (Otrenieff: Комберлэнд смешал русское «п» и английское «n»), — замечает об этой пьесе напомнимший о ней А. Чебышев, — и надо заметить, что до той поры, пока он не скинул монашеского одеяния, пока бывшая няня царевича Дмитрия, жена его убийцы Петра Боссовича, на смертном одре не признаёт героя пьесы за истинного царевича, до той поры он представляется нам человеком весьма несимпатичным, грубым, циничным, легкомысленно относящимся к религии. С этих пор он становится совсем иным человеком и на наших глазах превращается в просвещенного, гуманного монарха, который намерен посвятить себя целиком на служение своему народу».²⁷ Таким образом, как будто перед нами у нас не подлинный царевич, а Самозванец, попытка драматургически проследить ту эволюцию,

²⁵ Deutsche Rundschau, 1919, Bd 171.

²⁶ Gottschal R. Dramaturgische Parallelen, S. 99; Gruppe O. Schillers Demetrius. Berlin, 1861, S. 209.

²⁷ ЖМНП, 1898, № 7, с. 52—53. Отметим, кстати, возможное влияние на пьесу Комберлэнда трагедии Сумарокова: последняя как раз в эти годы появилась в английском переводе: Demetrius the Impostor, a tragedy by A. Sumarokov, transl. from the Russian. London, 1806.

которую прошел он от монастырской кельи до царского трона; однако попытка эта еще слаба, психологическая мотивировка его поведения неубедительна. Понадобился мощный творческий гений Шиллера, чтобы обновить этот старый сюжет, пересоздать заново центральный образ пьесы и вызвать большое количество продолжений и окончаний и на этот раз недовершенного замысла.

V

10 марта 1804 г. Фридрих Шиллер занес в свою записную книжку, что он решил приступить к своему «Дмитрию». Через неделю шел в первый раз «Вильгельм Телль», смелый по своему сюжету и оригинальный по своей драматической форме, но тот замысел, который теперь прочно завладел воображением поэта, на первых порах казался ему самому совсем «безумным» («ein toller Sujet. . .»). Тем сильнее он увлек его. По свидетельству Каролины Вольцоген, «еще при окончании „Вильгельма Телля“ Шиллер носил в голове образ своего Дмитрия. Поэт часто говорил о нем и набрасывал план всей пьесы и отдельные сцены». Мы знаем, действительно, что над пьесой «Дмитрий или Московская кровавая свадьба» Шиллер работал упорно и долго до конца своей жизни: смерть прервала эту работу на середине. Пьеса осталась неоконченной: обработаны были лишь два первых акта, во втором недостает нескольких сцен, а иные подверглись бы, видимо, перепланировке и переработке. Обилие черновых набросков, выписок, фрагментов начатых и брошенных сцен говорит за то, с каким напряжением и любовью отдавался Шиллер этому труду. После смерти его на его письменном столе найден был монолог из 2-го акта «Дмитрия», а по свидетельству лиц, окружавших поэта в последние дни жизни, в предсмертном бреду он цитировал отдельные стихи своей пьесы.

Что заставило Шиллера заинтересоваться этим сюжетом, что было ближайшим поводом к его обновлению? Почему непосредственно вслед за «Вильгельмом Теллем», этой «народной освободительной трагедией», он захотел «перенестись в глубь апархии русского Смутного времени, снова двинуть племенные массы, антагонизм народов и культур, борьбу властолюбия, преступности, коварства, разнузданных страстей и среди кромешной тьмы событий поставить трагическую участь таинственного, неразгаданного мимолетного властителя обширного царства»?²⁸

Об этом были высказаны разнообразные предположения. С одной стороны, не без основания указывали на то, что уже в 1799 г. Шиллер интересовался весьма сходным драматическим сюжетом — историей английского самозванца Петра Варбека,

²⁸ Веселовский А. Н. Последние драмы Шиллера // История зап. лит. / Под ред. Ф. Д. Батюшкова. М., 1912, т. 1, с. 204.

выдававшего себя за одного из сыновей Эдуарда IV, умерщвленных Ричардом III (см. выше, с. 373), и что оба его сценических плана, «Варбека» и «Дмитрия», были настолько внутренне родственны, что позволяли переносить из одного в другой «не только мелкие отдельные части, но, с некоторыми изменениями, и цельные характеры и положения»,²⁹ с другой стороны — указывали на специальный интерес Шиллера к русской истории, вызывавшийся современной ему политической обстановкой, который в свою очередь должен был в какой-то мере сообщить привлекательность работе над русскими историческими источниками. Еще в ту эпоху его жизни, когда постановка «Разбойников», по собственным словам Шиллера, стоила ему «семьи и родины», бегство его из Штутгарта облегчено было благодаря посещению этого города русским великим князем Павлом Петровичем — будущим императором Павлом I и его женой — вюртембергской принцессой. Убийство Павла I в 1801 г., в результате заговора, в котором принимали участие и члены императорской семьи, привлекло внимание Шиллера между прочим и потому, что оно сильно напоминало аналогичное убийство короля Альбрехта Габсбургского его племянником Иоганном Швабским; это сходство было столь разительно, что, когда дочь Павла I вышла замуж за последнего веймарского принца, Шиллер принужден был, во избежание нежелательных толков, несколько изменить пятый акт своего «Вильгельма Телля», где речь шла о цареубийстве.³⁰ Веймарско-русское сближение эпохи жизни Шиллера в этом городе, злободневные исторические воспоминания о недавнем русском дворцовом перевороте — все это естественным образом повлияло на выбор Шиллером сюжета о Дмитрие. Однако тема об узурпаторе, овладевшем властью путем преступления, была в первые десятилетия XIX в. особенно жизненной, так как выдвигалась политическими событиями одновременно на разных концах Европы; не являлся ли, например, таким узурпатором в представлении многих современником сам Наполеон, которого считали убийцей герцога Анжуйского?

За обработку сюжета о Дмитрие Самозванце Шиллер горячо принялся уже в 1804 г. Европейская наука еще не могла тогда предоставить в его распоряжение вполне достаточный материал по заинтересовавшему его эпизоду русской истории. Книги Dupont de Tertre «Histoire des conjurations, conspirations et révolutions célèbres», рассказы о Годунове и Лжедмитрии французского же историка Де Ту, очерк Архенгольца в «Neue Literatur und Völkerkunde» (1789) — наряду с общеисторическими трудами

²⁹ Ч е б ы ш е в А. А. Трагедия Шиллера из русской истории // ЖМНП, 1898, № 7, с. 55.

³⁰ В о х б е р г е r R. Über Schiller's Demetrius // Zeitschr. für vergleich. Littgesch., 1892, 5, S. 56. Русским отношениям Шиллера посвящена работа: Petersen O. P. Schiller in Russland. New York, 1934; специальный анализ «Demetrius'а» обещаю, однако, в готовящемся к печати втором томе этого интересного, хотя во многом и спорного исследования.

Герберштейна,³¹ Олсария и др. — естественно, не могли удовлетворить Шиллера, привыкшего и в своих исторических занятиях, и в своем художественном творчестве орудовать материалом более подробным и полным. Неудивительно, что за помощью он обратился к своему зятю Вольцогену, бывшему тогда в Петербурге, который должен был в России сделать выписки, приобрести некоторые издания и навести справки. Вольцоген выполнил это поручение: из сохранившихся писем его к Шиллеру видно, что он обещал ему привезти русскую трагедию Сумарокова, книгу Щербатова «Краткая повесть о бывших в России Самозванцах» (СПб., 1774), ту самую, которой, по мнению И. Жданова, пользовался и Пушкин для своего «Бориса Годунова», и вообще сделал для него довольно много. Особенно интересно подчеркнуть здесь одно обстоятельство, лишь недавно обнаруженное: Вольцоген был в приятельских отношениях с Н. М. Карамзиным, встречался с ним, будучи в Петербурге, а позднее состоял с ним в переписке и едва ли обошелся без его советов в выборе тех источников, которые нужны были немецкому поэту.³²

Так или иначе, к работе над своей драмой Шиллер приступил достаточно подготовленный изучением важнейших исторических источников. Из тех материалов, справок и выписок, которые доставили ему Вольцоген и его собственные поиски в немецких библиотеках, вставала эпоха, отгадывались люди давнего русского прошлого, складывались постепенно события будущей трагедии. Строгий к себе, Шиллер, однако, безжалостно уничтожал уже написанное, несколько раз менял расположение сцен, вводил новых действующих лиц, переделывал не удовлетворявшие его фрагменты пьесы. Закончить эту работу, как уже было указано, ему не удалось, и отсюда то впечатление интригующей незавершенности трагедии, которое было причиной столь многих опытов ее переделок и окончаний.

Инстинкт художника подсказал Шиллеру то толкование центрального образа пьесы, которое много десятилетий спустя заявлено было и в исторической науке. Шиллеровский Дмитрий — не сын Ивана Грозного, но он глубоко верует в свое царственное происхождение, в правоту своих стремлений; притязания Дмитрия вполне искренни до того момента, пока встреча его со злодеем, который по повелению Годунова должен был убить царевича, не раскрывает ему истинного положения вещей. Из царского сына Дмитрий превращается теперь в монастырского послушника Отрепьева; его гордая и привыкшая к героическим мечтаньям

³¹ Вольцоген, между прочим, рекомендовал Шиллеру, наряду с сочинением Олсария, книгу Hebenstreit'a. В противоположность А. А. Чебышеву (указ. соч., с. 63), предполагающему, что Вольцоген несуществующего Гербенштрейта спутал с Heydenstein'ом, я думаю, что речь идет здесь об известных «Записках о московских делах» Герберштейна (1549 г.).

³² Neumann E. W. Karamzin's Verhältniss zu Schiller // Zeitschr. für Slavische Philologie, 1932, Bd 9, 3—4, S. 359—361.

душа не выдержала бы такого крушения надежд и ничтожества, в которое повергли его разоблачения одного из агентов Бориса, но отступление уже невозможно: опасная международная авантюра влечет его на борьбу с Борисом, которого он привык считать своим врагом и к которому ненависть Дмитрия только усиливается, после того как он узнает о своем происхождении.

Однако, отравленный недоверием и ожесточением, он резко изменит своим исконным влечениям, а его мечты перенести на Русь «свободу сладкую», которые лелеял он в Польше после помолвки с Марипой, его желание превратить рабов в счастливых людей («aus Sklaven frohe Menschen machen») столкнутся с тиранническими проявлениями властолюбия, истинные поводы которых известны лишь его приближенным. Он до конца сыграет свою трагическую роль, удержавшись на высоте царского трона лишь напряжением своей воли и сохранив благородство даже в предчувствии неминуемой гибели. Такова была драматическая программа Шиллера; осветить сложную и противоречивую жизнь этого героя на фоне людской толпы, то поднимающей его на высоту, то ему угрожающей, разъяснить его загадочную личность тем трагическим конфликтом, который возник у Дмитрия вследствие беседы со своим мнимым убийцей, поставить его в отношении к мнимой матери его — Марфе — вот ближайшие цели, которые ставил себе Шиллер. И если сам драматург не успел развить свой замысел до конца, то в оставшихся от него фрагментах так много свежих идей, неиспользованных драматических ситуаций, потенциальных возможностей столь напряженного сценического движения, что вовсе не приходится удивляться тому огромному интересу, который всегда вызывал к себе шиллеровский «Дмитрий» с того момента, как Кернер напечатал его в журнале «Morgenblatt» 1815 г.

Европейская критика XIX в. объявила близкое родство этой пьесы с такими совершенными созданиями Шиллера, как «Заговор Фиеско», «Валленштейн» и «Орлеанская дева»; Геттнер высказал даже убеждение, что «по своему драматизму „Дмитрий“ является одним из величайших произведений всех времен и народов». В русской литературе еще Н. Полевой³³ писал про «Дмитрия», что здесь «поэт угадал основную идею событий», что «подробности его поэтически полны, стройны, разительны, великолепны, и заканчивал свою характеристику указанием, что шиллеровская трагедия могла бы даже стать выше пушкинского «Бориса»: «Рассматривая этот план, согласимся, что как поэт драматический Шиллер хотел создать нечто великое и превосходное, что он умел дать деятельную жизнь своему созданию. Его Дмитрий Самозванец стал бы выше Бориса Годунова, созданного нашим поэтом».

³³ Полевой Н. Очерки русской литературы. СПб., 1839, ч. 1, с. 205—208. Первый русский перевод тех фрагментов пьесы, которые напечатал Кернер, сделан был в 1841 г. Каролиной Павловой.

Через два года после напечатания Кернером пьесы, очень неполно отражающего действительный процесс работы Шиллера над этим сюжетом, одна за другой, в течение всего XIX в., стали появляться окончания, продолжения и переработки «Дмитрия». Наибольшее количество их, естественно, возникло в немецкой литературе. Уже Гете, еще при жизни Шиллера с интересом следивший за ходом создания пьесы, задумал было окончить ее: «Пьеса эта была мне так же ясна и близка, как и ему, — замечает Гете в своих «Анналах» 1805 г., — и вот я возгорелся желанием продолжить на зло смерти наши беседы, сохранить все до единой его мысли, взгляды, намерения и показать здесь в последний раз, до какой высокой степени может достигнуть совместная работа». К сожалению, этот замысел Гете остался неосуществленным, но его идею подхватили другие. Следует прежде всего назвать здесь продолжения и окончания шиллеровского фрагмента, для чего в некоторых случаях принимались во внимание и его черновики; задача подобного рода окончаний заключалась в возможно более точном следовании замыслу Шиллера, в раскрытии недосказанных им мыслей, в заполнении случайных пустот. Первой в этом ряду произведений стоит попытка Франца Мальтица (Карлсруэ, 1817; сильно измененная редакция напечатана в 1835 г.); далее идут обработки Густава Кюне (Дрезден, 1860; представлена в первый раз в Лейпциге в 1857 г.), Генриха Лаубе (Лейпциг, 1872; впервые поставлена на сцене там же в 1869 г.), Генриха Циммермана (Прага, 1885), Отто Сиверса (Брауншвейг, 1888; представлена в Лейпциге в том же году), А. Веймар (псевдоним писательницы Августы Гёце; Дрезден и Лейпциг, 1897; представлена в веймарском театре в 1893 г.), Франца Кайбеля (Дрезден, 1905), Карла Эмиля Шааршмидта (1909) и Мартина Грейфа (Лейпциг, без обозначения года).³⁴

Не все из этих обработок одинаково сочувственно встречены были критикой. Некоторые авторы произвольно отклонились от шиллеровской концепции сюжета, другие же допустили случайные или сознательные его искажения. Уже Готшаль, анализируя в своих «Драматических параллелях» продолжения шиллеровской пьесы, заметил, что «зерно трагедии» лежит в мотивировке превращения героя из «бессознательного обманщика в сознательного» и «в трагических последствиях, которые вытекают из такого превращения»; «от того, как первое обосновано и каким образом последние приведены, зависят характер и значение всех пьес

³⁴ Сюда же можно присоединить и издавную в Петербурге безвкусную попытку Н. Львова объединить в *одну пьесу* шиллеровского «Дмитрия» и пушкинского «Бориса Годунова», связав их вместе весьма посредственными немецкими стихами: L w o f f N. Zar Dmitri. Historisches Trauerspiel in 5 Aufzügen. Mit freier Benutzung von Fr. Schiller's «Demetrius» und A. S. Puschkin's «Boris Godunof». СПб., 1896 (с пометкой издателя: Geschrieben nach dem Petersburger Gastspiel von Joseph Kainz und Gustav Kober, im April 1891).

о „Дмитрии“». Это замечание вполне справедливо, так как усилия авторов всех перечисленных драм заключались именно в том, чтобы наиболее удачно и психологически наиболее правдоподобно мотивировать поведение Дмитрия с того момента, когда он узнает, что он вовсе не является сыном царя Ивана. Иные из авторов, обрабатывая шиллеровские отрывки, придавали разоблачениям, которые Дмитрий слышит из уст доверенного лица, слишком решающее значение (Кюне); отсюда растерянность Дмитрия, припадок отчаяния и безнадежности, которые охватывают его еще до свидания с его предполагаемой матерью и которые несомненно противоречат образу сильного и упрямого человека, какой чудился Шиллеру в загадочной личности исторического Лжедмитрия; другие авторы впадают в противоположную крайность, не придавая сцене первого разоблачения почти никакой роли в дальнейшем разворачивании событий; так, в обработке О. Группе Дмитрий убивает «за наглость и ложь» того человека, от которого он в первый раз слышит правду, так как сам не в силах ей верить; притом это убийство происходит под самый конец пьесы (в III акте). Генрих Лаубе, некогда бывший соратником К. Гуцкова по кружку «Молодой Германии», а в период работы над шиллеровской пьесой ставший благонамеренным директором театра, ловко усвоившим требования и вкусы рядового театрального зрителя начала 70-х гг., еще более явно отклонился от Шиллера, переставив сцены разоблачения и свидания Дмитрия с матерью (последняя у Лаубе предшествует первой) и превратив Самозванца в неврастенического, но благородного героя, который, узнав о том, что он не царевич, не только не хочет — наперекор всему, как у Шиллера, — добиваться престола, но даже признает себя достойным смерти. . . В пьесе брауншвейгского профессора Сиверса, признанной одной из наиболее удачных обработок шиллеровских фрагментов, напротив, Дмитрий, узнав правду, всеми силами старается скрыть ее от окружающих и делает это для того, чтобы «облагородить обман»: он становится сознательным лжецом из гуманных и альтруистических побуждений. «Если кровь, которая течет в моих жилах, — говорит он, — и не кровь истинного царевича, то поступки мои будут истинно-царскими». . . «Приидите ко мне все усталые, отягощенные горем. . . крепостные, мои братья, я поведу вас к свету и свободе!». . . Последующие обработки — Франца Кайбеля, вышедшая к столетию со смерти Шиллера (1905), и Карла Эмиля Шааршмидта, предназначенная к 150-летию со дня его рождения (1909), — сохраняют типичный для юбилейных дней пиетет к «неприкосновенному» тексту чествуемого писателя. Поэтому обработки эти имеют скромные названия «дополнений» к основному корпусу Шиллера. Эти дополнения, впрочем, не всегда удачны и не всегда внутренне обоснованны.

Особую группу в длинном ряду немецких пьес XIX в. о Дмитрие Самозванце составляют самостоятельные обработки сюжета, лишь косвенно связанные с шиллеровской трагедией, сценическая и литературная судьба которой несомненно способствовала популярности этого сюжета в немецкой литературе вообще. Здесь должны быть названы драмы: Германа Гримма («Demetrius». Leipzig, 1854), Фридриха Боденштедта («Demetrius. Historische Tragödie in 5 Aufzügen». Berlin, 1856), Фридриха Геббеля («Demetrius». Fragment. Als nachgelassenes Werk veröffentlicht, 1864), Карла Хардта («Demetrius». Hamburg, 1869), Адольфа Вильгельми («Dmitri Ivanovitsch». Leipzig, 1869), С. Мозенталя («Марина». Histor. Drama, Leipzig, 1871), Пауля Эрнста («Demetrios. Inselverlag, 1905, представлена впервые в веймарском театре в 1909 г.), Вальтера Флекса («Demetrius». Ein Trauerspiel. Berlin, 1909, первое представление в г. Эйзенахе в том же году); список немецких драм включает пьеса Гейзелера «Дети Годунова» 1923 г.

Один из перечисленных драматургов и автор специальной монографии о «трагической проблеме» в немецких пьесах о Дмитрие, Вальтер Флекс справедливо замечает, что по этим пьесам можно проследить всю эволюцию немецкого театра в XIX и XX столетиях, смену его стилей, борьбу драматургических тенденций, развитие театральной техники и сценического мастерства.³⁵ И действительно, кто только не пробовал свои драматические силы на этом сюжете, начиная от эпигонов немецкого романтизма, натуралистов и импрессионистов, вплоть до писателей, близких в школе экспрессионистов Германии послевоенных лет! Естественно, что трактовка его за этот период сильно видоизменялась в соответствии с изменениями социальных отношений и общественной психологии, наконец, индивидуальных вкусов и творческой манеры отдельных драматургов. В ряду тех драм, которые представляли собою «дополнения» к шиллеровскому тексту, последний всегда, естественно, должен был сдерживать личные творческие устремления продолжателей; характерно, что в числе авторов продолжений мы находим ученых профессоров (Группе, Сиверс и т. д.), предпринимавших свою работу драматургического воссоздания шиллеровского недописанного текста учеными методами, начиная его кропотливым филологическим текстуальным анализом и продолжая изысканием логических доводов для установления того, как шла бы работа над пьесой самого Шиллера, живи он дольше. . . Выше уже было отмечено, что всем этим авторам не удалось освободить свои труды от субъективных и произвольных толкований вдохновившего их шиллеровского текста, что даже они, исходя из лучших побуждений, все-таки все время навязывали ему элементы, порожденные другой средой и другим исто-

³⁵ Flex W. Die Entwicklung des tragischen Problems. . . , S. 7—8.

рическим моментом. Тем более это должно было сказаться на пьесах о Дмитрие Самозванце тех драматургов, которые не связаны были задачей угадать, что хотел Шиллер сказать в своей пьесе. Каждый по-своему «преодолевал» его, намеренно отстраняясь от произвольных толкований или вероятных историко-литературных догадок.

Такова прежде всего пьеса Фридриха Геббеля (1813—1863), крупнейшего немецкого драматурга середины XIX в., которому лишь историческая среда и непреодоленное им самим противоречивое мировоззрение немецкой буржуазной интеллигенции после 1848 г. помешали достигнуть почти шекспировской высоты драматической выразительности. Для Геббеля характерно как раз шекспировское пристрастие к старым, использованным сюжетам. Для него «сюжет является в драме моментом подчиненным; наоборот, трактовка характеров представляет наивеличайшую важность». Поэтому Геббель любил «по-своему» осветить общеизвестную тему, заново пересоздать традиционных действующих лиц, иначе, чем прежде, мотивировать их речи и поступки. Таковы его «Юдифь», «Мария Магдалина», «Ирод и Мариамна» и т. д. Таков и его «Дмитрий». Уже первая из геббелевских трагедий выросла из неудовлетворенности «Орлеанской девой» Шиллера и стремления обработать тот же сюжет о Жанне д'Арк на основе новых драматургических требований. Уже в первый период своей деятельности Геббель охотно противопоставлял драматургическую попытку Клейста шиллеровской, и его дальнейший творческий путь есть путь постепенного преодоления шиллеровских традиций, условных и статических элементов его драматического стиля. Если для Шиллера трагедия была «художественным подражанием связанному ряду событий, которое показывает нам человека в состоянии страдания и имеет целью возбудить наше сострадание», то для Геббеля было ясно, что драма не должна лишь воспроизводить жизнь, но должна «показать развивающийся процесс, должна полагать в основу мысль, идею, связующую частное явление с общим ходом жизни». «Мы, — говорил он, — хотим видеть пункт, из которого оно исходит, и точку, где оно, как единичная волна, теряется в великом море бесконечного действования». «Если Шиллер хочет показать человека в *состоянии* страдания, то Геббель видит задачу драматурга в том, чтобы показать, *как характер стал тем, что он есть*». «В том упорном стремлении преодолеть Шиллера, которое наблюдается в это время не у одного Геббеля, сказывается подъем немецкой буржуазии, которая уже не довольствуется бессильными декламациями и пассивной чувствительностью своих предков XVIII века, а идет к активной борьбе за свои интересы».³¹

Сказанное вполне объясняет, почему геббелевский «Дмитрий» должен был мало напоминать героя шиллеровской пьесы. К сожа-

³¹ А д р и а п о в С. Фридрих Геббель и его трагедии // Г е б б е л ь Ф. Трагедии. «Academia», 1934, с. 33—37, 41—42.

лению, и на этот раз трагедия о Дмитрие Самозванце осталась неоконченной. Подобно Шиллеру Геббель также работал над этой пьесой в последние годы своей жизни, но смерть не дала ему довести эту работу до конца. Изданные по черновику в 1864 г. фрагменты геббелевской трагедии также вызвали попытки ее продолжения; так, в 1869 г. вышел в свет конец пьесы, написанный другом Геббеля—Людвигом Гольдманом.³⁷ Другое продолжение ее принадлежит Отто Гарнаку (Friedrich Hebbels «Demetrius», vollendet von Otto Harnack, Stuttgart und Berlin, 1910). Однако наличие этих работ, при явной незавершенности геббелевской пьесы, не устраняет все же многих затруднений при ее анализе.³⁸

Перенеся в своей трагедии центр тяжести с чисто внешних сюжетных ситуаций на изображение процесса внутреннего развития характера, предъявляя к трактовке действия требования психологического реализма и одновременно ведя борьбу с многословными речами шиллеровского героя, зачастую отражавшими не историческую действительность, но заявления и убежденные верования самого автора, — Геббель сильно изменил традиционный план этого драматического сюжета. События русской смуты отступили на второй план; политическая интрига, выдвинувшая личность самого Дмитрия, сделалась как бы второстепенной подробностью, деталью исторического фона, причем Геббель понял эту интригу как борьбу русского православия с навязанным Польшей католицизмом. Центральным по-прежнему остался образ Дмитрия, но тот момент его истории, который для Шиллера определил сущность его трагедийного замысла и весь ход сценического действия, а именно внезапное разоблачение Дмитрия и обвинение его в обмане, — в трагедии Геббеля должен был составить ее заключительный момент. Дело в том, что у Геббеля Дмитрий действительно сын Грозного, спасенный иезуитом по приказанию папского легата и в раннем детстве переправленный в Польшу. Это понадобилось Геббелю для того, чтобы подробнее охарактеризовать развитие его личности, ставшей, благодаря воспитанию, органически чуждой той Москве, которая в конце концов его и погубила. Хотя Геббель в своем письме к Юлиусу Глазеру (от 4 авг. 1858 г.) и признавался, что весь план его трагедии для него

³⁷ Долгое время считали, что автором этого продолжения является Э. Ку; эта ошибка встречается еще у Friedmann'a (Das Deutsche Drama. Leipzig, 1910, Bd 1). Разыскания В. Флекса окончательно решили этот вопрос: не назвавший себя в издании 1869 г. продолжатель Геббеля — несомненно, Л. Гольдман.

³⁸ Отто Гарнак прямо заявляет, что состоящие рукописи Геббеля не позволяют решить, как была бы закончена его пьеса: «Tatsächlich steht es 30, dass an dem Punkt, da Hebbel von der Arbeit hat ablassen müssen, durchaus noch nicht sichtbar geworden ist, durch welche ferneren Phasen der Handlung oder gar der äusseren Szenenfolge das Endziel erreicht werden sollte. . .» (H a r n a c k O. Op. cit., S. 4).

настолько же ясен, как «ярко освещенный горный ландшафт»,³⁹ но сохранившаяся часть его пьесы далеко не отразила всех намерений автора, и она остается прекрасным торсом незавершенного скульптурного целого; раскрытию замысла Геббеля недостаточно служит и любопытное указание одного из его друзей,⁴⁰ что важнейшими историческими источниками, которые изучал Геббель в процессе своей работы, были немецкий перевод «Истории Государства Российского» Карамзина и этюд о Самозванце Проспера Мериме (1856), т. е. как раз те сочинения, в которых личности Самозванца придано освещение, совершенно противоположное геббелевскому.

Другие немецкие пьесы о Дмитрие тех же 50-х—60-х гг. являются более слабыми и значительно менее самостоятельными, чем геббелевская. Фридриху Боденштедту, переводчику Пушкина и Лермонтова на немецкий язык, хорошо знавшему русский язык, тем самым значительно облегчено было пользование русскими источниками. Естественно, что он при этом не избежал влияния русских обработок сюжета. Но в его драме, написанной для Мюнхенского театра в 1856 г., многое уводит нас также и к Шиллеру. В берлинской пьесе Германа Гримма 1853 г. возрождаются очень старые, почти комедийные формы этого сюжета: Дмитрий, сын Грозного, спасен его матерью, которая подменяет его другим ребенком на случай возможного покушения на его жизнь; последний, однако, также остается жив, и вот перед нами опять два Дмитрия — настоящий и ложный и т. д. Весьма посредственные пьесы Хардта, Вильгельми и Мозенталя; последний, впрочем, центральным образом пьесы делает Марину Мнишек.

VII

Напряженный интерес немецкой драматургии XIX в. к сюжету о Дмитрие Самозванце отозвался и в других европейских литературах; собственные драмы о Дмитрие появились во Франции, Англии, даже в Голландии, Швеции и Чехии. Внимательный обзор этих обработок, уместный в специальном исследовании, представляется в данном случае излишним, поскольку все эти пьесы лишены большого литературного значения. Не преследуя целей библиографической полноты, мы все же вкратце остановимся на некоторых из них, чтобы дополнить впечатление сделанного исторического обзора, — впечатление того прихотливого разнообразия, какое оказывается возможным в стесненных пределах многократно использованной сюжетной схемы, как бы часто к ней ни возвращались. Естественный вывод, который получается в результате сравнительного обозрения всех перечисленных драм, —

³⁹ Erl er O. Maria—Demetrius: Eine Studie. Leipzig, 1930, S. 19.

⁴⁰ Ibid., S. 8.

признание почти неограниченных возможностей пересозданий, перемонтировок, переделок и перетолкований, какое в процессе своего исторического развития допускает любая простейшая сюжетная формула.

Впрочем здесь возможны и перемены, и возвращение к уже пройденному пути. Весьма типичным примером может служить несколько французских обработок интересующего нас сюжета. Пятиактная трагедия Леона Алеви (Leon Halevy, «Czar Demetrius»), шедшая на парижской сцене в августе 1829 г. и выдержавшая три издания между 1829 и 1831 гг., несомненно, обязана своим успехом тому обстоятельству, что она составляет явное подражание Шиллеру. В этой пьесе Борис Годунов призывает во дворец монахиню Марфу, вдову Ивана Грозного, чтобы из ее уст удостовериться в том, что Дмитрий царевич действительно мертв; из мести Борису она отваживается на сознательную ложь; мы предчувствуем сразу, что в Лжедмитрии она признает своего сына. Во втором акте Лжедмитрий на поле битвы, окруженный офицерами, совершенно так же, как у Шиллера, рассказывает им чудесную историю своего спасения. Далее некий Василий открывает Самозванцу тайну его происхождения; следуют попытки Дмитрия опровергнуть это разоблачение, но в катастрофический момент он не встречает поддержки у Марфы и т. д. Парижской театральной публике начала 30-х гг. эта пьеса очень понравилась. Рецензент «Энциклопедического обозрения» хвалит ее гладкие стихи, знание автором сцены, но все же упрекает его за некоторые психологические неправдоподобности, особенно в обрисовке Дмитрия и Василия.⁴¹ Пьеса Алеви представляется в общем очень типичной переделкой шиллеровской пьесы, приспособленной к типу французской романтической драмы 30-х гг.

Десятилетие спустя Элим Мещерский, составивший себе во Франции имя как переводчик русских поэтов, написал драматическую сцену «Агония Самозванца», вошедшую впоследствии в его сборник стихов «Черные розы». Сцена Мещерского представляет собою драматизованный монолог Самозванца в последние минуты его жизни. Дело происходит в Кремле в тот момент, когда за окнами уже бушует толпа и слышатся негодующие возгласы будущих убийц Самозванца. Последний, однако, успевает произнести довольно длинный монолог, дважды прерванный появлениями призраков, — тенью св. Сергия, по авторской ремарке, «наиболее чтимого из русских святых... чудесные появления которого сопровождают все выдающиеся моменты русской истории», а затем и тенью царевича Дмитрия. Обоим Самозванец исповедуется в своем обмане и своих преступлениях, а затем погибает «под ударами ворвавшихся к нему убийц».⁴²

⁴¹ Revue Encyclopédique, 1829, t. 43, p. 520—522.

⁴² M e s t c h e r s k i E. Les roses noires. Paris, 1845, p. 185—196 (L'Agonie du Faux-Dmitri: Tableau-scène).

В 50-х гг. много интересовался Лжедмитрием Проспер Мериме, написавший целую книгу о нем, основанную на довольно тщательном изучении исторических источников и потому приветливо встреченную даже в русской печати.⁴³ В 70-х гг. в Париже была издана новая драматическая обработка сюжета — драма некоего Жюля Ф*** под заглавием «Минута всемогущества» («Un moment de toute-puissance». Paris, 1873). В печать проскользнуло известие, что автором пьесы был польский эмигрант,⁴⁴ и это объясняет ее весьма недвусмысленную политическую тенденцию. Мысль автора заключается в том, что польско-русский антагонизм является историческим недоразумением, которое и может и должно быть преодолено. По его мнению, судьба умышленно выбрала Польшу первым местопребыванием Самозванца, потому что только «среди такого великодушного, образованного и свободного народа мог он приготовиться к совершению своего великого призвания — уничтожить страшные следы, оставленные в России двухвековым татарским игом, и возродить ее к свободе, цивилизации и нравственной жизни». Дмитрий в этой пьесе — не обманщик, он искренно верит в свое мнимое царственное происхождение; обман разоблачается перед ним после свидания с царицей Марфой. В отчаянии, усматривая перед собою перспективу такого же узурпаторства, в котором он обвиняет Бориса, Самозванец в одной из первых же битв с войсками Годунова подставляет свою голову под неприятельские пули; но смерть не берет его; Марфа, подстрекаемая другими, признает его своим сыном; судьба, орудием которой является этот человек, неумолимо влечет его к престолу, и он восклицает: «Судьба, ты одержала победу! Крутая, неодолимая, ты толкаешь меня на этот путь лжи, от которого я сперва отвернулся с таким ужасом! Что ж! Пусть будет так! Я возьму в свои руки этот окровавленный скипетр, чтобы показать миру, что может сделать человек с умом и сердцем, когда он облечен неограниченной властью!». Нетрудно узнать во всем этом знакомую шиллеровскую схему. Пьеса Жюля Ф*** повторяет многие ее подробности; быть может, только гениальная догадка Шиллера о том, что Самозванец не был сознательным обманщиком, еще более укрепила у автора благодаря русским историческим трудам Соловьева и Костомарова, придерживавшимся той же точки зрения. Шиллеровские контуры этого сценического замысла не спасли «Минуту всемогущества» от очень больших недостатков. В художественном смысле пьеса эта слаба; действующие лица очерчены поверхностно и резонерствуют некстати; есть и досадные исторические промахи: Грановитая палата переводится — Salle de granit, а мужики ходят в сарафанах. Самозванец резонерствует больше всех: со своим мефистофельским видом, вечно скрещен-

⁴³ Зернин Л. А. О самозванцах // Библ. для чтения, 1858, № 1.

⁴⁴ Вейнберг П. Дмитрий Самозванец во французской драме // СПб., 1873, № 252.

ными на груди руками и «сухим смехом» (*rire sec*) он временами даже комичен. Основные недостатки пьесы, однако, заключаются в том, что исторический сюжет прямо приспособлен здесь для декларации определенной и слишком грубо навязанной ему политической тенденции. Когда Самозванец умирает, Марина обращается к убийцам со следующим восклицанием: «А знаете ли вы его имя, — вы, которые называете его обманщиком? Его имя — справедливость. Его имя — свет. Его имя — свобода. . . Вы убили его тело, но бессмертный дух его переживет века и, неодолимо могущественный, возвратится для довершения начатого им дела!». Речь здесь, естественно, идет о грядущем «братском единении» русского и польского народа.

Если к указанной пьесе прибавить еще оперу Викторьена Жонсьера на либретто Анри Борнье и Армана Сильвестра «Dimitri» (1876), то этим исчерпано будет все то наиболее существенное, что этому сюжету дала французская драматургия. В том же году появилась английская драма Александра (Alexander G. G. «Dimitri». A dramatic sketch from Russian History. London, 1827), не в меру расхваленная английской критикой, подчеркивавшей, что автор начал свою пьесу «с того самого момента, где свою драму окончил Пушкин»: ⁴⁵ первая сцена у Александра — свидание Дмитрия с Басмановым после вступления Дмитрия на престол. Интересно, во всяком случае, то, что автор довольно внимательно отнесся к изучению исторических источников, и в особенности то, что он, вероятно, проштудировал пушкинскую драму. Однако уже и до обработки Александра пушкинский «Борис Годунов» оказал весьма сильное влияние на европейскую драму, преимущественно немецкую; это признают и многие европейские исследователи. В заключение сделанного обзора западноевропейских драм на сюжет о Дмитрии Самозванце нам остается вкратце остановиться именно на этом вопросе, — попытаться выяснить, в каком отношении произведение Пушкина оказалось важным для европейской драматургии и почему оно вошло как неотъемлемая часть в историю западных обработок этого сюжета.

VIII

Были ли Пушкину к моменту работы его над «Борисом Годуновым» известны какие-либо из перечисленных выше драм от Лопе де Веги до Шиллера? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Лопе де Вега («Лопец», как его имя однажды написал Пушкин) интересовал его как реформатор театрального искусства. В этом смысле имя испанского драматурга несколько раз встречается в заметках Пушкина 1825—1834 гг.: однажды он упоминает даже о той замечательной легкости, с какой Лопе

⁴⁵ Англичане о русских // Нов. слово, 1894, 4, с. 279—284.

де Вега и Кальдерон в своих пьесах «поминутно переносят во все части света», но с произведениями автора «Великого князя Московского», и в частности с этой его пьесой Пушкин не был знаком.⁴⁶ Тем менее могли быть ему известны последующие западноевропейские обработки того же сюжета. Даже о шиллеровской он мог знать, вероятно, только понаслышке, скорее всего от В. А. Жуковского, который еще в 1816—1817 гг. мечтал перевести «Дмитрия» «теми же стихами, как и в оригинале, ямбами без рифм». Подлинник шиллеровской драмы был Пушкину недоступен по его слабому знанию немецкого языка; перевод Жуковского остался неосуществленным,⁴⁷ во всяком случае в нашем распоряжении нет никаких данных, которые подтверждали бы знакомство Пушкина с этой пьесой Шиллера.⁴⁸ Зато драма самого Пушкина довольно рано стала известна в западноевропейской литературе.

Еще при жизни Пушкина, вскоре после появления русского издания пьесы, «Борис Годунов» переведен был на немецкий язык и напечатан во втором выпуске ревельского журнала Кнорринга (*Russische Bibliothek für Deutsche*, 1831); кроме того, сцену «Ограда монастырская» в переводе с рукописи автора напечатал в журнале «*Dopater Jahrbücher*» (1833) Е. Ф. Розен, чем заслужил, по его собственным словам, «восторженную благодарность Пушкина» и «хвалу Жуковского».⁴⁹ Второй полный немецкий перевод «Бориса Годунова» Р. Липперта появился в Лейпциге в 1840 г., но уже в 1837 г. Кениг называл это произведение «шедевром» Пушкина, а Фарнгаген фон Энзе тогда же считал, что в сценах Марины с Лжедмитрием Пушкин достиг высоты «величайших писателей мира». Далеко не случайным кажется тот факт, что в те самые годы, когда немецкие драматурги столь охотно пробовали свои силы в продолжениях и окончаниях шиллеровского фрагмента, «Борис Годунов» Пушкина привлекал к себе на Западе, особенно в немецких землях, все больше и больше внимания.

⁴⁶ В августе 1825 г. Пушкин писал А. Н. Раевскому: «Я не читал ни Кальдерона, ни [Лопе де] Веги» (IX, с. 23, 26, 222); по-видимому, обоих этих испанских писателей Пушкин знал из вторых рук, скорее всего из книги Сисмонди «*De la littérature du Midi de l'Europe*», которую он просил брата прислать ему еще в начале 1825 г. и которая сохранилась в его библиотеке в 3-м издании 1829 г.; пьесу Лопе де Веги на русский сюжет Сисмонди, однако, не упоминает.

⁴⁷ В бумагах Жуковского (изд. Бычкова, с. 80—81) сохранилось лишь начало этого перевода.

⁴⁸ По этому поводу, впрочем, высказывались различные предположения. Некоторые исследователи, основываясь на сходстве отдельных сцен у Пушкина и Шиллера (сцена на русской границе у Шиллера и «Граница Литовская» у Пушкина), готовы были допустить знакомство Пушкина с «*Demetrius*»-ом. Особенно настаивал на этом В. А. Розов (Пушкин и Гете. Киев, 1908, с. 62—72). Гораздо более осторожны неуверенные допущения А. Лукьяненко и А. Чебышева, объясняющего «несомненное» сходство «пограничных» сцен и других подробностей обеих пьес «либо совпадением, либо общностью источников».

⁴⁹ Подробности см.: т. IV, с. 163—169.

Переводы Ф. Боденштедта, Ф. Лева, Филиппеуса, Фидлера и др., критические споры, разгоравшиеся вокруг этого произведения, по вопросу, например, о том, имеет ли «Борис Годунов» конец или нет, пригодна ли пьеса для театра, достаточно ли в ней выдержано драматическое единство⁵⁰ и т. д., — все это доказывает, что Пушкин прочно входил в сознание немецкого читателя и неминуемо должен был оказать воздействие на самостоятельные немецкие драматургические искания в пределах того же сюжета; к этому присоединилось также влияние рано переведенных на немецкий язык двух последних частей трилогии А. К. Толстого. Это отмечают и немецкие исследователи. Так, например, В. Флекс, автор цитированного выше исследования о драматургических обработках сюжета о Дмитрие в немецкой литературе и в то же время автор одной из драм на этот сюжет, в свой библиографический перечень немецких пьес о Дмитрие вводит и немецкий перевод пушкинского «Бориса Годунова», на том основании, что Пушкин «имел заметное влияние на немецкие драмы о Дмитрие Самозванце».⁵¹ К сожалению, этот вопрос затронут им слишком бегло. Дав анализ «Бориса Годунова», которого немецкий критик считает трагедией глубочайшей по своему пессимизму, В. Флекс подробно останавливается только на одном, позднем, но очень характерном случае пушкинского влияния — на трагедии веймарского «неоклассика» Пауля Эрнста «Demetrios» (1905), впервые шедшей в веймарском театре в 1910 г.

На первый взгляд может показаться, что пьеса Пауля Эрнста вовсе не относится к ряду интересующих нас драматических произведений, так как действие в ней перенесено в Спарту и происходит ок. 200 г. нашей эры. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что автор лишь переделал в греческие одежды героев русского Смутного времени; несмотря на греческие имена и самостоятельность в трактовке характеров, пьеса в каждой фазе своего развития очень точно соответствует пьесам о Дмитрие, — то шиллеровской, то геббелевской. Особенно же сильно в ней, по наблюдению Флекса, влияние пушкинского «Бориса Годунова».

Один из главных героев трагедии Эрнста — правитель Набис (Nabis) — соответствует историческому Борису; Набис организует убийство Дмитрия, сына царя Ореста (= Федора Ивановича), последнего представителя угасающей династии. Происки политической партии выдвигают Самозванца, который находит себе

⁵⁰ См.: Марков А. Германская литература о Пушкине // Пушкинский сборник. СПб., 1899, с. 644; В е н е в и т и н о в М. Немцы о Пушкине в 1899 г. // Рус. старина, № 7, с. 99—105. Любопытно, что в 1882 г. «Борис Годунов» полностью переведен был А. Ранталером на латинский язык (М е ж о в В. И. Puschkiniana. СПб., 1886, № 3542).

⁵¹ F l e x W. Die Entwicklung der tragischen Problems. . . , S. 10—11; о драме Пушкина — S. 92—93. О «Demetrius» Флекса и его творческой деятельности после 1914 г. см.: К л e i n Joh. Walter Flex ein Deuter des Weltkrieges // Beiträge z. deutsch. Literaturwissenschaft, hrsg. E. Elster. Marburg, 1932, Н. 33.

принят в доме знатного спартанца Лпзандра (=Мпшпек). Второй акт открывается в храме Аполлона (=русский монастырь), где живет вдова царя Ореста (Думе — Марфа), лелея в душе план мести Набису, и т. д. Зачем писателю понадобилась такая антиквизация сюжета? Стесняла ли его русская обстановка своей археологической экзотикой и он предпочел воспользоваться античной археологией, которую знал лучше? Можно думать, что отвлечение сюжета от русской бытовой обстановки и перенесение действия на девятнадцать веков назад показалось Эрнсту удобным главным образом для того, чтобы сильнее оттенить основную трагическую идею пьесы и в то же время снять с себя всякую ответственность за возможные отклонения от исторической правды. Автору нужны были не бытовые или исторические фигуры, но трагические маски. Кроме того, как догадывается Флекс, автор недаром перенес действие в эпоху политического заката дряхлеющей Спарты, государства, находившегося в состоянии безнадежного упадка; это нужно было главным образом для того, чтобы придать пессимистический колорит всему действию, тогда как русское Смутное время такой возможности не представляло: вместо дворцовых переворотов и временного хаоса — болезней еще молодого русского государственного организма — автор, в целях устранения каких-либо возможностей оптимистического истолкования событий, перенес действие из Москвы XVII в. в Спарту времен ее полнейшей национальной дегенерации.⁵²

В безнадежной историософии Пауля Эрнста отчетливо проступают контуры философии Шопенгауэра, но наряду с ними и «пессимистические», с немецкой точки зрения, утверждения Пушкина. Понимая пушкинского «Бориса Годунова», как произведение глубокопесимистическое по преимуществу, Флекс именно с этой стороны и усматривает особенное влияние пушкинской трагедии на пьесу Пауля Эрнста. Эрнст заимствовал у Пушкина знаменитую ремарку «народ безмолвствует», и она дала немецкому писателю чрезвычайно сильную и впечатляющую концовку третьего акта. В чем же, по немецкой пьесе, смысл событий? Чего добился Набис, устранив подлинного претендента на трон? Чего добился Самозванец? Что несет его собственная смерть? Оба они пробудили мятежные народные силы, бессмысленную разногласность народных мнений, толпу, лишенную разума. После расправы над Самозванцем в толпе спартанцев раздаются беспорядочные крики: «Да здравствует Ликорт, тирапоубийца! Да здравствует Демод! Царь Демод! Комата, царица! Да здравствует царь Каалликрат! Царь Ликорт!». Эта разногласица «безумной толпы» заключает пьесу Эрнста. Пьеса должна внушить отвращение и презрение ко всему, что прежде казалось возвышенным и достойным надежд. Типичная для того идеологического тупика, в котором находилась немецкая буржуазная интеллигенция перед

⁵² F l e x W. Die Entwicklung des tragischen Problems . . ., S. 125—138.

империалистической войной 1914 г., пьеса Эрнста, конечно, очень своеобразно воспользовалась идеями пушкинского «Бориса», перетолковав их на свой лад. Резонерствующее, мертвое, безжизненное произведение, пьеса Эрнста, однако, столь же далека от полноты пушкинского восприятия жизни, насколько в конструкции своей она отошла от шиллеровской и геббелевской обработки того же сюжета. Но интерес к Пушкину, и в частности именно к «Борису Годунову», у Эрнста далеко не случаен; не забудем, что уже до него и гораздо глубже над Пушкиным много думал крупнейший немецкий лирик этой поры — Райнер Мария Рильке; недаром ведь в образе инока, данном Рильке в его «Часослове» («Das Stundenbuch», 1901), немецкая критика видела вариацию пушкинского Пимена.⁵³ И этот интерес к Пушкину, а вместе с ним и к Достоевскому, как известно, не ослабел в немецкой литературе до последних дней.

Среди немецких писателей первой четверти XX в. можно указать еще одного поэта, творчество которого тесно связано с русской историей и литературой и которому принадлежит последняя по времени драматическая обработка сюжета о Борисе Годунове в западноевропейской литературе. Это Генри Хейзелер (Henry v. Heiseler, 1875—1928), прошедший школу немецкого символизма, друг Стефана Георге и сотрудник «Blätter für die Kunst». Родившийся и долго живший в России, Хейзелер известен как автор ряда драм, пропитанных влиянием Пушкина и Достоевского. Его изумительные по точности и совершенству передачи переводы из Пушкина, — к сожалению, у нас совершенно неизвестные, — являют в нем не только крупного мастера стиха, но и восторженного пушкинофила.⁵⁴ В 1923 г. Хейзелер написал последнюю из своих больших трагедий — «Дети Годунова» («Die Kinder Godunfs»), впервые поставленную в Регенсбурге в 1930 г. Характерно прежде всего, что на первом плане этой пьесы не Дмитрий Самозванец, а Борис Годунов. В этом можно усматривать пушкинское влияние.

Недалеко еще было то время, когда немецкие критики, все еще находившиеся под обаянием шиллеровской концепции сюжета, упрекали Пушкина за то, что он «обессмертил татарина, который похитил царский престол и ввел на Руси крепостное право». У Хейзелера Самозванец отошел на второй план. Вместо пестро сменяющихся сцен исторической драмы перед нами типичная «Seelentragedie» огромного психологического напряжения. Немец-

⁵³ Летопись, 1917, кн. 7—8, с. 303.


⁵⁴ Сколько знаем, эти переводы до сих пор еще не собраны, но появлялись во многих журналах. Так, в журнале «Борозда» (Die Furche, 1931, Jhg. 17, 1, 22—30) помещен был замечательный перевод «Пира во время чумы»; в числе посмертных сочинений Хейзелера оказались фрагменты комедийного пересоздания «Барышни-крестьянки» («Anjutkas Verkleidung»); см.: Heiseler H. v. Aus dem Nachlass. Chemnitz, 1929; E n d r e s F. Biographisches Jahrbuch, 1928; L u t h e r A. Russland in Schaffen Henry v. Heiseler // Germanoslavica, 1935, 1—2, S. 128—134.

кая критика подчеркивает, что, кроме Пушкина, для Хейзелера была важна и последняя часть трилогии А. К. Толстого («Царь Борис»), но то, что здесь составляло лишь случайный эпизод, сделалось у Хейзелера основным центром трагедии.

Дети Годунова Ксения и Федор, считавшие отца благороднейшим и лучшим из людей, внезапно узнают о том, что он убийца. Эту тайну раскрывают слухи о появлении Самозванца. Одна из лучших сцен пьесы — ночная беседа царя Бориса с убийцей Дмитрия, который искупает свой грех в монастыре: царь позвал его для того, чтобы еще раз удостовериться в том, что царевич мертв. Но в этот момент Борис еще верит в свои силы. Катастрофа наступает лишь тогда, когда от него отрывается его собственный сын; опорой Борису была его семья, любовь к сыну и дочери: Самозванец, сам того не зная, лишает Бориса этой опоры, и тогда гибель цареубийцы становится неизбежной. Среди неоконченных фрагментов литературного наследия Хейзелера оказались еще две небольшие сцены из его «Лжедмитрия».

Наш обзор закончен. Возможны ли еще обновления сюжета о Дмитрии и Борисе — покажет будущее. Но уже теперь следует признать, что этот сюжет за свои трехвековые страствования по мировой литературе дал немало крупнейших драматических произведений огромного литературного значения. Вариации его были многочисленны и разнообразны — от обстановочных исторических драм с занимательной интригой к трагедиям большого философского смысла. В эволюции сюжета отчетливо наметились определенные периоды: каждая из пьес, взятая в отдельности, в свою очередь сохранила на себе печать своей эпохи и той среды, которую она была порождена. Но в этом длинном ряду, в который свои посильные вклады делали почти все европейские литературы, все же одиноко возвышается непревзойденный по своей глубине и творческой силе пушкинский «Борис Годунов».





НЕЗАМЕЧЕННЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ МОТИВ В ЧЕРНОВОМ НАБРОСКЕ ПУШКИНА

1

В одном из писем графа Александра Петровича Толстого к Александру Алексеевичу Муханову находится заслуживающее внимания свидетельство о Пушкине; сколько знаем, оно еще не подвергалось истолкованию, хотя опубликовано было уже давно, в 1901 г. В указанном письме, датированном 12 июля 1833 г., А. П. Толстой, всячески добивавшийся от своего приятеля и корреспондента присылки новых произведений Пушкина (изданных и неизданных), между прочим писал ему: «Песнь Онегина испрашиваю всенижайше и убедительно. Еще слава идет о каких-то стихах Пушкина, где смерть играет в карты с дьяволом. Не знаешь ли про них?»¹

В подобной просьбе не было ничего необычного; в переписке людей, даже не принадлежавших к литературным кругам, такие просьбы в то время высказывались неоднократно. Как известно, среди русских читателей 20—30-х гг. XIX в. обращалось довольно большое количество списков произведений Пушкина самого различного происхождения и назначения. Среди них имелись списки, восходившие к автографическим рукописям поэта или бесконечно далекие от них; были здесь и простые копии с печатных изданий, так как последние были дороги и не всегда доступны для приобретения. Во многочисленных списках, ходивших по рукам и распространявшихся во всех общественных слоях грамотного населения, можно было встретить и копии подлинных произведений Пушкина, «презревших печать» (вроде «Кинжала», «Гавриилиады» или «Андрея Шенье»), и стихотворений, самим поэтом не предназначавшихся к опубликованию (вроде интимных дружеских посланий или эпиграмм), и тексты, списанные с печатных страниц, но в искаженном виде и с произвольными загла-

¹ Сборник старших бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. М., 1901, ч. 9, с. 192.

виями. Немалую долю этих списков составляли, наконец, произведения, приписанные Пушкину, но ему не принадлежащие. Кстати сказать, уже давно поставленная перед исследователями задача — изучить с достаточной полнотой и тщательностью всю эту огромную массу разнородного рукописного материала, находившегося в руках читателей с именем поэта еще при его жизни, до сих пор остается невыполненной и едва ли не первоочередной в отечественном пушкиноведении.

Подлежат также специальному изучению — после регистрации и экспертизы — сохранившиеся письменные свидетельства о существовавших некогда рукописных списках произведений Пушкина, вне зависимости от авторитетности скопированного текста или общественной роли их первых владельцев. Естественно, впрочем, что значение и правдоподобность каждого свидетельства такого рода повышаются, если мы можем установить степень осведомленности лиц, от которых исходили известия о тех или иных произведениях поэта.

Приведенная выше цитата из письма А. П. Толстого к Муханову примечательна тем, что оба корреспондента довольно близко знали Пушкина, особо интересовались его произведениями и собирали их.

Кем же был автор цитированного нами запроса о Пушкине и почему он мог ожидать скорого ответа? Граф Александр Петрович Толстой (1801—1873) был сыном Петра Александровича Толстого (1769—1844) — видного военного деятеля нескольких царствований, деятельного участника войн с Наполеоном; в конце 20-х гг. генерал П. А. Толстой, близкий ко двору, занимал должность главнокомандующего в Петербурге и Кронштадте.² Он лично знал Пушкина, но встречался с ним в крайне неблагоприятных для поэта обстоятельствах: являясь одним из членов комиссии по делу о «Гавриилиаде», П. А. Толстой несколько раз вызывал Пушкина для дачи показаний, обращаясь к нему от имени императора и объявляя ему высочайшую волю.³

² Биографическую справку о П. А. Толстом см.: Остафьев. архив. СПб., 1899, т. 1, с. 572—573. О знакомстве его с Пушкиным см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 414—415.

³ Обо всех подробностях этого дела, продолжавшегося с весны до конца 1828 г., см.: Рукою Пушкина: Несобр. и неопубл. тексты. М.; Л., 1935, с. 317, 319; Старина и новизна, 1916, кн. 15, с. 207. О личных встречах Пушкина с П. А. Толстым сохранилась запись поэта от 16 октября, а заключительная резолюция Николая I по этому делу датируется 31 декабря 1828 г. Подробности хода следствия были известны немногим и скоро забылись. Примечательно поэтому, что П. И. Барг записал всю эту историю со слов П. В. Нащокина, довольно точно изложившего события (насколько они известны в настоящее время по подлинным документам), отметив при этом: «Эти обстоятельства Нащокин слышал не от самого Пушкина (который не любил вспоминать «Гавриилиаду»), а от некоего Муханова, который был адъютантом губернатора» (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Баргевых в 1851—1860 гг. М., 1925, с. 42, 109—110). Речь идет о Николае Алексеевиче Муханове, близком знакомом сына П. А. Толстого, Александра Петровича, и родном брате А. А. Муханова, цитата из письма к которому нами приведена

Сына П. А. Толстого — Александра Петровича, автора интересующего нас письма, в семье готовили по отцовским стопам к военной службе, хотя, по-видимому, особого к ней призвания он не чувствовал. С восемнадцати лет, когда «Толстой 3-й» (как он обычно именовался в приказах) был зачислен юнкером в лейб-гвардейскую артиллерийскую бригаду (1817), он служил в различных военных частях и формированиях. В 1821 г. он был переведен в кавалергардский полк, а затем, быстро повышаясь в чинах, он получил назначение к начальнику штаба первой армии — И. Дибичу. В 1825—1826 гг. Толстой принимал участие в военной экспедиции для топографической съемки берегов Каспийского и Аральского морей. Так как эта экспедиция сильно расстроила его здоровье, он просил об увольнении со службы, жил некоторое время за границей, в Париже и Константинополе. Во время начавшейся войны с Турцией Толстой вновь вступил в армию ротмистром кавалерийского полка, а по ее окончании уехал в Грецию секретарем русской дипломатической миссии в Афинах (до 1831 г.), затем вернулся в Петербург, где вскоре был назначен директором хозяйственного департамента Министерства внутренних дел и управлял им до назначения его тверским губернатором (в 1834 г.).⁴

Дальнейших событий его пестрой и суетной жизни, заполненной переездами и сменой впечатлений, мы касаться не будем. Впрочем, стоит упомянуть, что во вторую половину своей жизни он сильно изменился: в 40-х гг. он являлся обер-прокурором Синода, переехал в Москву, отошел от общественных дел, стал нелюдим, впал в мистицизм и религиозную экзальтацию. Как известно, в этот период его жизни у него поселился вернувшийся из-за границы Н. В. Гоголь; в квартире А. П. Толстого Гоголь и умер. С. Т. Аксаков, рассказывая в своих воспоминаниях о Гоголе о близости автора «Мертвых душ» к А. П. Толстому в эти годы, заметил: «Я считаю это знакомство решительно губительным для Гоголя»;⁵ об этом явно свидетельствует также зловещий отсвет мистических и реакционных идей графа на последней книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

В свои юные годы А. П. Толстой мало чем напоминал того человека, каким он стал в старости: он имел преданных и доверенных

выше. Пушкин сохранял к П. А. Толстому до конца жизни недоброжелательность, сквозившую в иронических отзывах о нем; так, 10 мая 1836 г. А. Я. Булгаков писал своей дочери из Москвы: «Граф Толстой приехал. Рассказывают, что поэт (auteur) Пушкин, находящийся здесь, спросил кого-то: что нового? — Приехал граф Петр Александрович. — Да, ответил тот, пребывая, приехал граф П. А., только не Румянцев-Задунайский, а Толстой» (Рус. архив, 1906, кн. 3, № 11, с. 435).

⁴ См.: Селывапов А. Граф Александр Петрович Толстой 3-й // Сб. биографий кавалергардов (1801—1828). СПб., 1906, с. 356—361; Черейский Л. А. Пушкин и его окружение, с. 414.

⁵ См.: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952, с. 206—207; Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Л., 1952, т. 12, с. 653; Некрасова Е. С. Н. В. Гоголь: Его отношения к гр. А. П. Толстому // В память С. А. Юрьева: Сб., изд. друзьями покойного. М., 1891, с. 239—267.

товарищей, исповедовал культ дружбы, отличался прекраснo-душием; как и многие его современники из среды военной молодежи предкеабриетской поры он увлечен был поэзией и всеми искусствами. Один из его сослуживцев по Аральской экспедиции, А. О. Дюгамель, вспоминает, что он подружился с А. П. Толстым по окончании изысканий, когда прикомандированные к экспедиции солдаты и казаки были отпущены, начальство отправилось со своим штабом и несколькими офицерами в Оренбург, где они оставались до половины лета 1826 г. «Направление его ума, — рассказывает А. О. Дюгамель об А. П. Толстом, — во многом сходилось с моим. Будучи молоды, мы в часы досуга наслаждались поэзией. Я читал ему наизусть некоторые стихотворения Шиллера, а он в свою очередь знакомил меня со стихотворениями Пушкина и научил ценить их».⁶

Очень вероятно, что несколько лет спустя оказавшийся в Петербурге А. П. Толстой, столь же увлеченно интересовавшийся произведениями Пушкина и ревностно собиравший их, мог узнать от своего отца кое-что из истории «Гавриилиады» и что он был довольно хорошо осведомлен относительно многих других произведений Пушкина, распространявшихся в рукописных списках. Внимание, уделявшееся А. П. Толстым творчеству Пушкина, особенно усилилось благодаря его дружеской близости к братьям Мухановым, постоянно общавшимся с поэтом, и, наконец, благодаря личному знакомству А. П. Толстого с Пушкиным, о чем мы, кстати сказать, знаем от тех же Мухановых.

Три родных брата — Александр, Николай и Владимир Мухановы — были хорошо известны в русских литературных кругах в 30-е гг. Старшим из них был Александр Алексеевич (1800—1834); именно к нему обращено цитированное выше письмо А. П. Толстого. А. А. Муханов был литератором и сотрудничал в русских журналах. В 1825 г. он напечатал в «Московском телеграфе» свои замечания о книге Ж. де Сталь «Десять лет изгнания», вызвавшие досаду и критический отклик Пушкина, опубликованный в том же журнале (XI, 27; XIII, 227). Впрочем, эта литературная полемика не разладила приятельских отношений поэта с А. А. Мухановым, и встречи их продолжались. Весною 1827 г. А. А. Муханов приехал из Тульчина и писал брату Николаю (16 марта этого года): «Я часто выдаю Александра Пушкина; он бесподобен, когда не напускает на себя дури». Весною того же года (точная дата этой записки неизвестна) Пушкин писал Муханову: «Сегодня вечером буду у тебя» (XIII, 304). О встречах и беседах с Пушкиным идет речь во многих более поздних письмах Александра Алексеевича к брату Николаю (братья нежно любили друг друга и, разлучаясь, вели оживленную переписку). В письме от 24 августа 1827 г. Александр Алексеевич просит брата передать Пушкину привет, а в письмах от 4 июня и 30 сентября востор-

⁶ Автобиография А. О. Дюгамеля // Рус. архив, 1885, кн. 1—3, с. 187.

женно отзывается о «Полтаве» и о стихотворении «Клеветникам России».⁷

С А. П. Толстым А. А. Муханов был знаком давно и также находился с ним в дружеской переписке. Сохранилось (и опубликовано) письмо к нему А. П. Толстого от 8 октября 1832 г. из Петербурга, в котором, между прочим, есть следующие слова: «Ты и письма твои как-то меня переносят и погружают в прошедшее — и как надежда, что с годами не совсем мы еще остыли и отжили, и остается, может быть, нам еще несколько весен, и когда-нибудь толки и прения без свидетелей, и мечты и надежды не всегда сбыточные, но живительные, и на закуску завывание также живительных пушкинских стихов etc, etc».⁸

Близок был А. П. Толстой также к Николаю Алексеевичу Муханову (1802—1871), о встречах которого с Пушкиным известно нам еще лучше, чем о встречах с ним его братьев; это объясняется главным образом тем, что бумаги его сохранились в большем количестве, а среди них и его ценнейший дневник. Н. А. Муханов также был военным (адъютантом петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова), но в 1830 г. он вышел в отставку, а в 1832 г. с помощью П. А. Вяземского и его влиятельных друзей по «Арзамасу» был определен чиновником особых поручений Министерства внутренних дел. Н. А. Муханов был широко известен в литературных кругах обеих столиц; с Пушкиным и его друзьями он состоял в приятельских отношениях.⁹ Д. В. Давыдов писал Н. А. Муханову 3 января 1831 г., когда оба они находились в Москве: «Завтра с Пушкиным мы едем к Вяземскому [в Остафьево] ровно в 10 часов утра. Не хочешь ли и ты также завтра туда же пуститься?».¹⁰ Из записи Вяземского явствует, что вместе с Пушкиным и другими гостями 4 января 1832 г. в Остафьево был и Н. А. Муханов.¹¹ В период между 1828 и 1836 гг. в дневниках и письмах Н. А. Муханова содержится большое количество упоминаний о Пушкине и рассказов о нем, свидетельствующих, что он был в курсе многих служебных и литературных дел поэта, знал ненапечатанные его произведения и посвящен был в некоторые его замыслы. Рассказ о назначении Пушкину жалованья, записанный в дневнике Н. А. Муханова (29 июня 1829 г.) со слов Д. Н. Блудова (который слышал его на квартире у Вяземского, где в тот день был и Пушкин), интересен в особенности потому, что сообщенные сведения, естественно, не могли быть

⁷ С и в е р с А. А. Материалы к родословию Мухановых. СПб., 1909, с. 93—98; Ч е р е й с к и й Л. А. Пушкин и его окружение, с. 260; П у ш к и н. Письма / Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1928, т. 2, с. 515—516.

⁸ Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, ч. 9, с. 189.

⁹ Ч е р е й с к и й Л. А. Пушкин и его окружение, с. 260—262.

¹⁰ Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, ч. 9, с. 319.

¹¹ П у ш к и н. Письма, т. 2, с. 131.

отражены в официальных бумагах.¹² Из очень содержательных записей того же дневника от 4, 5 и 7 июля 1832 г. видно, что в эти дни у разных лиц в присутствии самого Пушкина происходили оживленные дебаты о газете, издание которой было задумано поэтом. Так, 4 июля Муханов пишет: «Приехал к Пушкину. Видел у него Плетнева <...> Мысли его самые здравые, антилиберальные, анти-полевые, ненавидит дух журналов наших. Обещал быть ко мне на другой день. Он очень созрел». Запись дневника Муханова от 5 июля гласит: «Написал <А. П.> Толстому, что Пушкин должен быть ко мне для свидания с ним <...> Пришел Алек<сандр> Пушкин. Говорили долго о газете его <...> О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный, аигл, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу. О презрении его к русским журналам, о Андросове и статье Погодина о нем. <А. П.> Толстой говорил, что Андросов презирает Россию, унижает, о несчастном уничтожении, с которым писатели наши говорят об отечестве, что в них не оппозиция правительству, а оппозиция отечеству. Пушкин очень сие апробовал и говорит, что надо об этом сделать статью журнальную. Пушкин говорил долго. Квасной патриот<изм> и совершенно согласно мыслями с Толстым, все в его духе <...> Наконец, расстались очень довольные друг другом. Я много ожидаю добра от сего журнала».¹³

Приведенная запись в данном случае интересна для нас не по существу изложенного здесь долгого спора, тем более что в нем, по-видимому, Н. А. Муханов кое-что не дослушал; в частности, замеченное им будто бы полное единство взглядов Пушкина и А. П. Толстого по важнейшим общественно-политическим вопросам, которые должны были найти освещение в будущей газете, не представляется нам ни достаточно правдоподобным, ни убедительным. Тем не менее запись эта кажется нам весьма примечательной прежде всего по названным в ней участникам спора; разговор шел не только острый и полемический, но и откровенный; очевидно, что все три собеседника испытывали полное доверие друг к другу и высказывали свои мнения свободно и открыто.

Эта важная и очень принципиальная беседа Пушкина с А. П. Толстым состоялась на квартире у Н. А. Муханова 5 июля 1832 г., т. е. ровно за год до того, как А. П. Толстой послал свой письменный запрос о произведениях Пушкина к брату Н. А. Муханова — Александру Алексеевичу, цитированный нами выше.¹⁴

¹² Рус. архив, 1897, кн. 1, с. 655. Пушкин, Письма / Под ред. Л. Б. Модзалевского. М.; Л., 1935, т. 3, с. 484.

¹³ Рус. архив, 1897, кн. 1, с. 657; Пушкин, Письма, т. 3, с. 493—494.

¹⁴ Отметим в связи с этим, что Н. А. Муханов до конца жизни Пушкина сохранял с ним самые приятные отношения и продолжал интересоваться всем, что выходило из-под его пера. Известно, что Н. А. Муханов был одним из немногих знакомых Пушкина, кому поэт в 1836 г. прочел свое стихотворение «Я памятник себе воздвиг. . .» по неопубликованной рукописи. Поэтому очень правдоподобной представляется догадка, что именно о Пушкине идет речь в том недатированном письме А. П. Толстого к Н. А. Муханову, которое написано было, по-видимому, вскоре после смерти поэта: «Слухи носят, что

Мы с намерением привели — может быть, даже излишне подробные — сведения об А. П. Толстом, о братьях Мухановых, об их отношениях друг к другу и к Пушкину: это было необходимо для того, чтобы удостовериться в их осведомленности, а главное, в том, что их свидетельства о поэте заслуживают полного доверия; все они знали о Пушкине довольно много, дорожили всяким известием о нем, делились между собой любой свежей новостью о его сочинениях, полученных чаще всего из самых достоверных источников.

О чем же просил А. П. Толстой А. А. Муханова в письме от 12 июля 1833 г.? Сначала речь шла об «Евгении Онегине» («Песнь Онегина испрашиваю всенижайше и убедительно»). Можно было бы предположить, что здесь имеется в виду первое полное издание всех восьми глав «Евгения Онегина», вышедшее в свет отдельной книгой около 23 марта 1833 г.¹⁵ Однако А. П. Толстой называл «Песнь Онегина» (в единственном числе), а не все «песни» (т. е. главы), собранные воедино; с другой стороны, особая настойчивость просьбы заставляет думать, что Толстой говорит не о печатной новинке, которую в июле 1833 г. еще можно было купить в книжном магазине, а о чем-то другом, что раздобыть было значительно труднее, может быть лишь с помощью доверенного лица. Конечно, остается еще возможность высказать догадку, что Толстой просил раздобыть для него так называемую «Последнюю главу Онегина» (восьмую), напечатанную П. А. Плетневым небольшим тиражом в отдельном издании; но эта брошюра вышла в свет в самом начале 1832 г. (до 22 января),¹⁶ т. е. за полтора года до того, как Толстой обращался со своею просьбой к А. А. Муханову. Однако едва ли такой усердный собиратель произведений Пушкина, каким являлся А. П. Толстой в эти годы, зорко следивший за всем, что появлялось из-под пера Пушкина, мог с таким упорством добиваться плетневского издания «Последней главы» Онегина, когда эта глава вошла в состав полного издания романа, еще продававшегося в книжных лавках. Нам представляется более правдоподобным, что А. П. Толстой видел или имел в своем распоряжении указанное издание «Последней главы» 1832 г. и что именно оно и было причиной возникшей у него просьбы, когда он прочел следующие слова в предисловии к нему, написанные Пушкиным: «Пропущенные строфы подавали неодно-

у тебя множество хороших стихов покойника. Сделай дружбу, пришли на короткое время с подателем и, сверх того, скажи, можно ли застать тебя сего дня от 6 до 9 вечера? Весь твой А. П. Толстой» (В а ц у р о В. Э., Г и л л е л ь с о н М. И. Незданный автограф Пушкина. М.; Л., 1968, с. 96).

¹⁵ С и н я в с к и й Н., Ц я в л о в с к и й М. Пушкин в печати 1814—1837 гг. 2-е пзд. М., 1938, с. 103 (№ 936).

¹⁶ Там же, с. 97 (№ 847). Подробное описание этого издания с воспроизведением обложки см. в кн.: С м и р н о в - С о к о л ь с к и й Н. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 280—288.

кратный повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифром <sic!>; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина, и пожертвовать одною из окончательных строф». ¹⁷ В упомянутом выше первом полном издании «Евгения Онегина», в особой небольшой вводной заметке к напечатанным здесь «Отрывкам из Путешествия Онегина», Пушкин снова упомянул, что он решился опустить «осьмую главу по причинам, важным для него, а не для публики» (VI, 197). ¹⁸

Разумеется, любой читатель пушкинского стихотворного романа в ту пору в состоянии был догадаться, что выброшена была эта глава из целого текста не по случайной прихоти автора, а по другим, более весомым основаниям, и это особо усиливало и обостряло любопытство к пропущенным строфам. Напомним в связи с этим, что когда П. В. Анненков в 1853 г. обратился за разъяснениями по поводу загадочных слов Пушкина к П. А. Катенину, то последний незадолго до своей смерти успел разъяснить Анненкову, что Пушкин имел в виду: «Об осьмой главе Онегина слышал я от покойного Пушкина, что сверх нижегородской ярмонки и одесской пристани Евгений видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы похудевшую». ¹⁹

Все это утверждает нас в предположении, что «всенижайшая и убедительная просьба» А. П. Толстого к А. А. Муханову имела в виду именно эту исчезнувшую из печатного текста главу, или «песнь», как ее определяет А. П. Толстой. Ближайшие современники Пушкина долго помнили о ней и пытались ее раздобыть в том или ином виде. Недаром М. П. Погодин вскоре после смерти Пушкина запрашивал П. В. Вяземского, не нашлась ли она среди неопубликованных рукописей поэта, на что Вяземский тотчас же ответил Погодину (с помощью другого лица, так как страдал в это время болезнью глаз): «. . . стихов Пророк, Островский (т. е. «Дубровский». — М. А.), 8 главы „Онегина“, о которых вы пи-

¹⁷ Евгений Онегин: Роман в стихах. Соч. Александра Пушкина. СПб., 1832, с. V. На обложке обозначено: «Последняя глава Евгения Онегина».

¹⁸ Евгений Онегин: Роман в стихах. Соч. Александра Пушкина. СПб., 1833, с. 273—274 (предисловие к «Отрывкам из Путешествия Онегина»).

¹⁹ Это письмо П. А. Катенина впервые опубликовано было в 1940 г. в статье: П о п о в П. А. Новые материалы о жизни и творчестве Пушкина // Лит. критик, 1940, № 7—8, с. 231; ср.: Дьяков И. О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина» // Рус. лит., 1963, № 3, с. 37—61.

жете < . . . > не отыскано и князь просит написать об них подробнее, что вы знаете».²⁰

Другая просьба А. П. Толстого к А. А. Муханову была еще более деликатной и основывалась лишь на слухах, передававшихся из уст в уста («слава идет»); поэтому он излагал ее с осторожностью в виде вопроса. Что же он имел в виду, говоря о «каких-то стихах Пушкина, где смерть играет в карты с дьяволом»? Принимая во внимание подчеркнутую выше особую осведомленность обоих корреспондентов в литературных делах и замыслах Пушкина, мы с достаточной уверенностью можем допустить, что дошедшая до них молва имела реальные основания.

Среди рукописей Пушкина, дошедших до нас, хранятся черновые наброски, которые у ранних публикаторов и исследователей получили условное название «адской поэмы», задуманной поэтом, но затем им оставленной. Первым об этих набросках сообщил П. В. Анненков, натолкнувшийся на них в тех черновых бумагах, которые были получены им от вдовы Пушкина — Н. Н. Ланской для подготовки к печати нового собрания его сочинений. Рукописи Пушкина, полученные Анненковым в двух сундуках, находились в самом хаотическом состоянии, и разбор их потребовал от него большого труда.²¹

Долголетних усилий стоила предпринятая им первая попытка расшифровать, хотя и отчасти, трудно читаемые брульоны «адской поэмы». Лишь в 1857 г., в VII, дополнительном томе выпущенного им издания сочинений Пушкина, Анненков решился продать гласности один небольшой черновой набросок из этого цикла; тема избранного им для печати отрывка позже самим Анненковым определена была следующим образом: «Смерть, обыгрывающая посетителя (?) в карты».²² Приводим этот текст в том виде, как он напечатан в транскрипции Анненкова в указанном издании:

«Что козырь?» — Черви — «Мне ходить».
— Я бью — «Нельзя ли погодить?»
— Беру — «Кругом нас обыграла».
Эй, смерть, ты право сплutowала».
— Молчи! Ты глуп и молоденек;
Уж не тебе меня ловить;
Ведь мы играем не для денег,
А только вечность проводить!»²³

К этому фрагменту, впервые извлеченному из рукописи, но опубликованному неполно и неточно, П. В. Анненков дал следующее примечание: «Представляет один несколько связный отрывок

²⁰ Цявловский М. Погодин о «посмертных» произведениях Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 404.

²¹ Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине // Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 285.

²² Вестн. Европы, 1874, № 1, с. 26.

²³ Соч. Пушкина/Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1857, т. 7, дополнительный, с. 88.

Фрагмент черновика («Что козырь? — Черви. . .») из рабочей тетради Пушкина. Пушкинский Дом.

из сатирической поэмы, какую задумал Пушкин в Кишиневе и бросил после нескольких стихов. Действие поэмы должно было происходить при дворе сатаны, а действующими назначались люди, события, понятия той эпохи, с приличной обстановкой, но он был еще молод для большой насмешки, да и сатира не лежала никогда в свойстве его таланта».²⁴

Приведенный черновой фрагмент долгое время не обращал на себя внимание читателей. Много лет спустя его упомянул П. В. Анненков в своей большой работе «А. С. Пушкин в александровскую эпоху», напечатанной в «Вестнике Европы» (1874), а затем выпущенной отдельной книгой. Вспомнив здесь указанный черновой отрывок, П. В. Анненков связал его с другими рукописными фрагментами, извлеченными из тех же некогда бывших у него под руками рукописей Пушкина. В V главе своей книги («На юге России») он попытался определить время (1820—1824), когда эти фрагменты Пушкин набрасывал на бумагу, и охарактеризовал предшествующие им рисунки поэта демонологического характера, густо покрывшие собою листы той же тетради. Эти рисунки, по его словам, «были предтечами и, так сказать, живописной пробой серьезного литературного замысла —

²⁴ Там же, с. 89.

именно большой политической и общественной сатиры, которая и начинается в среде их, как в своем источнике».²⁵

Дальнейшие попытки П. В. Анненкова проникнуть в суть замысла, возникавшего в творческом сознании Пушкина, догадаться, как именно должна была развернуться «адская поэма», так и оставшаяся в загадочных и трудно читаемых черновиках, наталкиваясь, однако, на непреодолимые затруднения. Действие поэмы, по-видимому, «должно было происходить тоже в аду, при дворе сатаны», писал Анненков далее, и начиналась поэма «довольно торжественно», «если судить по нескольким стихам или, лучше сказать, по нескольким обломкам стихов, вырванных нами из хаоса (и то с великим усилием) ее перемаранных строчек». Приведа несколько разобранных фрагментов в качестве образцов и вчитываясь в следующие за ними неоконченные и неотделанные строки, Анненков обращал внимание на то, что первоначально спокойное эпическое повествование внезапно уступает нервному, фрагментарному, все более острому, доходящему до дерзости сатирическому изложению, в которое врываются диалоги каких-то действующих лиц, непонятно каких, прерываемые еще менее поддающимися истолкованию намеками на быстро меняющееся место действия. У П. В. Анненкова создавалось даже впечатление, будто Пушкин несколько раз возобновлял свои попытки приняться за написание этого произведения, что он как бы пробовал свои силы, начиная разработку отдельных, еще не связанных друг с другом эпизодов, в разных стилистических манерах, но всегда бросал свою работу в самом ее начале.

«Уже в отрывках, добытых нами из второго приступа Пушкина к своей поэме, они сменяются иронией и шуткой, обнаруживая гораздо большую развязность кисти, чем прежде», — продолжал П. В. Анненков и снова предупреждал: «Считаю нужным еще раз повторить, что стихи, которые мы приводим, никак не могут считаться стихами, и о том, что бы вышло из них у Пушкина, не дают ни малейшего понятия». Такой вывод заранее ограничивал или даже обрекал на неудачу возможность любых предположений о дальнейшем развитии данного замысла поэта. Поэтому, приводя еще несколько фрагментов из рукописи, Анненков был очень осторожен и немногословен в своих пояснениях к ним, допустив лишь одно гипотетическое раскрытие какого-то имени, как бы случайно мелькнувшего в рукописи и сокращенного здесь до одной начальной буквы — Ф.²⁶

²⁵ Вестн. Европы, 1874, № 1, с. 24.

²⁶ Приведа по рукописи отрывок диалога, в известной мере характеризующий место действия, Анненков еще не мог представить себе говорящих:

Так вот детей земных изгнанье!
Какой порядок и молчанье!
Какой огромный сводов ряд! .
Но где же грешников варят? .
— Там, гораздо дале.
— Где мы теперь? — «В парадной зале!»

«Итак, вот осколки какого-то литературного замысла», — заключил Анненков свой разбор неосуществленной поэмы Пушкина, получившей условное наименование «адской». «По отсутствию программы, на этот раз совершенно недостающей, сатирической поэмы Пушкина всякие догадки о ее содержании, конечно, невозможны, но, однако же, позволительно, думаем, сделать предположение, что в числе грешников, ворящихся в аду, в сонме гостей, созданных на праздник геешны, явились бы у Пушкина некоторые лица городского кишиневского общества и наиболее знаменитые политические имена тогдашней России, прием которых в подземном царстве соответствовал бы, разумеется, представлению автора об их бывшей или текущей земной деятельности».²⁷

Приведенные П. В. Анненковым отрывки из черновых записей Пушкина, сопровождаемые первыми догадками публикатора о так называемой «адской поэме», долгое время не привлекали к себе внимания исследователей прежде всего потому, что рукописи поэта, предоставленные Анненкову для изучения, были возвращены наследникам и в течение ряда лет оставались недоступными для изучения. То обстоятельство, что отдельные фрагменты этих рукописей были прочтены и транскрибированы Анненковым не полностью, условно, дополнены по первой догадке и составлены в произвольно комбинированные ряды стихотворных строк, может быть различного назначения, выяснилось только тогда, когда рукописи Пушкина, которыми он пользовался, сделались общественным достоянием и стали доступными для интересующихся ими.

Хотя, как мы видели, сам П. В. Анненков не был доволен результатами своего первого прочтения указанных рукописей и довольно безнадежно смотрел на возможность дальнейшего проникновения в брошенный замысел Пушкина, сделаны были кое-какие попытки воспользоваться итогами его текстологических изысканий, минуя его оговорки и не считаясь с его опасениями. Уже в 1876 г. на страницах своего «Русского архива» П. И. Бартенев напечатал составленную Н. В. Гербелем хрестоматийную подборку под заглавием «Для будущего полного собрания сочинений Пушкина», в которой ставил своей задачей «собрать все не вошедшее в последнее издание сочинений нашего великого поэта, но могущее быть напечатанным в будущем новом издании пол-

«Кто этот ответчик, — мы не знаем», — писал Анненков об этих стихах, в которых, по его словам, идет «разговор между посетителем ада и его руководителем, неизвестным Вергилием поэмы», и ссылался на последующие строки рукописи, в которых упоминают первый гость, явившийся на праздник в преисподнюю («Кто там? — Привел я гостя. — Ах, создатель. — Вот доктор Ф. наш приятель»). Однако и на этот раз совершенно неясно, между кем происходит разговор, и безгласный посетитель ада все еще назван инициалом Ф., относительно которого Анненков высказал догадку: «Не Фрикен ли? Известный кишиневский врач того времени?».

²⁷ Вестн. Европы, 1874, № 1, с. 26.

ного собрания его сочинений». ²⁸ В первом отделе этой компиляции, составленной без надлежащей осторожности и критического анализа, Гербель поместил со ссылкой на журнальный вариант статьи Анненкова в «Вестнике Европы» 1874 г. опубликованные там черновые наброски из «адской поэмы» и озаглавил их: «Наброски из политической и общественной сатиры, начатой, но не оконченной Пушкиным во время его пребывания в Кишиневе». ²⁹

Переписав все тексты набросков в транскрипции Анненкова и перенумеровав их (№ 1—5), Н. В. Гербель воспроизвел их в том порядке, в каком они были опубликованы в «Вестнике Европы», предполагая, очевидно, что именно в этой последовательности они размещены были в рукописях поэта. Однако, не заметив ссылки Анненкова на то, что еще в 1857 г. он уже опубликовал фрагмент, относящийся к этому же циклу, — о Смерти, играющей в карты с посетителем ада, Н. В. Гербель не воспроизвел этот фрагмент и не ввел его в общую нумерацию отрывков; кроме того, под всеми фрагментами, в полном соответствии с данным для них заглавием, он уверенно проставил дату их написания — 1821 г. (также воспользовавшись ошибочной датировкой Анненкова). Наконец, ряд догадок Анненкова он превратил в утверждения и внес их в пушкинский текст. Так, в отрывке № 5 стих «Вот доктор Ф. наш приятель» в соответствии с предположением Анненкова («Не Фрикен ли?») Гербель напечатал этот стих с раскрытым инициалом, но уже без вопросительного знака. ³⁰

Несколько лет спустя по случаю Пушкинского праздника в Москве (1880) старший сын поэта А. А. Пушкин, уступив настойчивым уговорам П. И. Бартенева, передал значительную часть рукописей отца в Московский Румянцевский музей, однако на условии, что «доступ к ним будет предоставлен сначала и исключительно П. И. Бартеневу» и лишь после окончания его занятий доступ к рукописям станет свободным. ³¹ Известно, что, хотя Бартенев тотчас же приступил к работе над этими рукописями и к публикации сделанных им выписок из них, результаты этих текстологических разысканий себя не оправдали: Бартенев выписывал из рукописей не столько то, что еще не было опубликовано Анненковым, а главным образом то, что ему удалось разобрать («приводим, что возможно»). Никаких новинок в фрагментах «адской поэмы» Бартенев в своей публикации не привел, за исключением указаний на те листы рукописи, где помещены отдельные отрывки, допустив при этом пропуски и ошибки. ³²

²⁸ Рус. архив, 1876, кн. 3, № 10, с. 206.

²⁹ Там же, с. 214—215.

³⁰ Отметим, кстати, что поиски мои каких-либо сведений о докторе Фрикене, бывшем якобы, по указанию Анненкова, известным в Кишиневе врачом во время пребывания там Пушкина, оказались безуспешными.

³¹ Ця в л о в с к и й М. А. Статьи о Пушкине, с. 273—274.

³² [Бартенев П.]. Рукописи Пушкина. III. Из кишиневских тетрадей // Рус. архив, 1881, кн. 1, с. 219. Я пользовался экземпляром этого журнала, находящимся в Пушкинском Доме и принадлежавшим некогда П. А. Еф-

Первое, достаточно полное (хотя все же с пропусками) постраничное описание всего фонда рукописей Пушкина, поступивших в Румянцевский музей в 1880 г., опубликовал В. Е. Якушкин в «Русской старине» 1884 г. В июльской книжке журнала на двух страницах дается обстоятельное и последовательное описание тех рукописей поэта, в которых находятся интересующие нас черновые фрагменты. Собственное чтение их Якушкин сопровождает ссылками на издание Анненкова, внося в его транскрипции свои дополнения и поправки. Так, приведя набросок на л. 54 об. («Что козырь? — Черви — Мне ходить»), Якушкин пишет о той же рукописи: «Далее другой набросок, который был сообщен Анненковым, но не весь < . . . »:

Кто там? — Здорово, господа!
— Зачем пожаловал сюда?
— Привел я гостя. — Ах, создатель!
Вот доктор Ф[рикен], наш приятель!
.
Вы знаете, всегда [ведь] другу
Я рада оказать услугу.

Потом набросаны два стиха, опять из карточной игры:

Я дамой. . . — Крой — Я бью тузом:
Позвольте, козырь. — Ну пойдем». ³³

Давая свою транскрипцию черновиков и выверяя чтение Анненкова, Якушкин все же принужден был оставить густо зачеркнутые поэтом строки, как не поддающиеся истолкованию, в квадратных скобках сообщал предполагаемые или недописанные

ремову. На полях этой книги интересующая нас публикация П. Бартевева (с. 217—332) буквально испещрена карандашными записями, в которых указаны различные оплошности и ошибки Бартевева в чтении рукописи сравнительно с ранней публикацией П. В. Анненкова; при этом Ефремов ссылается на свое издание тех же текстов, которое не принято Бартевевым во внимание, но где нет ошибок последнего. См.: Соч. Пушкина. 3-е изд. СПб., 1880, т. 1, с. 375—376; здесь под заглавием «Наброски из неоконченной сатиры» опубликованы черновые отрывки из «адской поэмы» со ссылкой на публикацию Анненкова в 1857 и 1874 гг. и со следующим указанием: «Эта сатира была оставлена поэтом и, по словам почтенного г. Анненкова, уступила другой, программа которой появляется между этими набросками» (с. 566—567). П. А. Ефремов основывался на следующих словах Анненкова: «Пушкин не мог долго выдержать, несмотря на все искусственные возбуждения духа, чисто сатирического настроения. Вот почему сатанинская поэма, задуманная им, была брошена после нескольких приемов и уступила место другой, не менее сатанинской, но более чувственной и страстной поэме. Эту поэму он и кончил, сообщив ей, между прочим, изумительную отделку. Поэма нажила ему много хлопот впоследствии, а что всего важнее, составила для него предмет неумолкающих угрызений совести и вечного раскаяния — до конца жизни» (Анненков П. А. С. Пушкин в александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 179). Здесь идет речь о «Гавриилладе», назвать которую Анненков еще не мог.

³³ Якушкин В. Е. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее // Рус. старина, 1884, июль, с. 28—29. Якушкин ссылается на книгу П. В. Анненкова «А. С. Пушкин в александровскую эпоху» (с. 177), где приведенные Якушкиным фрагменты напечатаны менее полно.

слова для придания стихам большей законченности, и т. д., но во всяком случае не пытался связать все фрагменты в нечто целое, не вникая в рождавшийся замысел поэта. Поэтому существенного значения для истории изучения «адской поэмы» его публикация не имела.

3

В новую фазу истолкование «адской поэмы» вступило после того, как к ней обратился П. О. Морозов, готовя текст всех составляющих ее черновых отрывков к переизданию в IV томе академического издания Пушкина (СПб., 1916). Текст этот был П. О. Морозову известен давно: он напечатал его еще в 1903 г. в первом томе «Сочинений и писем А. С. Пушкина», выпущенных издательством «Просвещение»; здесь эти наброски были объединены заглавием «Из неоконченной сатиры», но опубликованы в редакции П. В. Анпенкова, с учетом нескольких дополнений и исправлений В. Е. Якушкина.³⁴ Десятилетие спустя, готовя новое их переиздание, П. О. Морозов обнаружил еще один небольшой черновой фрагмент, по-видимому, относящийся к тому же замыслу поэта, но оторвавшийся от тех рукописей, в которых разместились основные фрагменты того же произведения, опубликованные П. В. Анпенковым; под заглавием «Новые стихи Пушкина» этот фрагмент был напечатан в газете «Русское слово».³⁵

Новый отрывок, изданный П. О. Морозовым, написан Пушкиным на листе грубой серой бумаги с жандармской пометой («8»); этот автограф принадлежал собранию Л. Н. Майкова и был ранее известен лишь из краткого описания.³⁶ На этом листке после наброска первых шести стихов перевода из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью...») идет черновой текст следующих стихов:

Вот Коцит, вот Ахерон
Вот горящий Флегетон.
Доктор Ф., ну, смелее,
Там нам будет веселее.
— Где же мост? Какой тут мост!
На вот, — сядь ко мне на хвост.

В том же 1916 г. П. О. Морозов перепечатал эти стихи в IV томе академического издания и снабдил их довольно пространном комментарием, в котором, с нашей точки зрения, этому фрагменту придается слишком большое значение, как своего рода

³⁴ П у ш к и н А. С. Соч. п письма / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1903, т. 1, с. 310—311 (тексты — напечатаны 5 отрывков: 1 — «В Геене праздник»; 2 — «Так вот детей земных изгнанье»; 3 — «Сегодня бал у Сатаны»; 4 — «Кто там? Здорово, господа»; 5 — «Что козырь? — Черви»), с. 619—620 (примечания и варианты).

³⁵ Рус. слово, 1916, 18 апреля, № 83.

³⁶ Пушкин и его современники. СПб., 1906, вып. 4, с. 2 (№ 22).

ключу, открывающему замысел Пушкина с новой стороны, не замеченной ранее. «Набросок, — пишет П. О. Морозов об отрывке «Вот Коцит, вот Ахерон...», — является, по-видимому, одним из обломков стихотворного рассказа о посещении ада доктором Фаустом в сопровождении дьявола. Другие обломки этого рассказа мы видим в следующих черновых отрывках, которые находятся в рукописи Румянцевского музея № 2370 и прежними издателями относятся к 1821 г., чему противоречит их расположение в указанной рукописи».³⁷ Действительно, изучение указанной тетради, находящейся в ИРЛИ (Пушкинский Дом), привело ее исследователей к заключению, что она заполнялась поэтом не в 1821, а в 1825 г. (предположительно между январем и июлем этого года), т. е. не в Кишиневе, а в Михайловском.³⁸ Транскрипция ее черновых фрагментов, данная П. О. Морозовым, была более совершенной, чем все предшествующие: в густой сетке исправлений и зачеркиваний ему и на самом деле удалось прочесть, или лучше сказать, угадать, кое-какие стихотворные строки, казавшиеся прежде непонятными и не поддающимися истолкованию. Но основное предположение П. О. Морозова — о сюжетной связи между отдельными набросками данной рукописи, — кажется мне ошибочным, во всяком случае слишком поспешным, неправдоподобным и недосказанным. По сравнению с выводами, к которым приходил за полвека перед тем П. В. Анненков, впервые читавший эти черновики, П. О. Морозов своей догадкой не только не помог расшифровке загадочных текстов, но даже сделал несколько шагов назад.

Расположив эти «обломки» приблизительно так, как они стоят друг за другом в авторской рукописи, и освободив их от находившихся рядом случайных записей, росчерков и пр. или не поддающихся прочтению слов, П. О. Морозов слишком поспешно пытался склеить «обломки» в одно целое, скрепляя их с помощью якобы, наконец, угаданного имени героя задуманной Пушкиным поэмы, о чем не догадывались предшествующие публикаторы фрагментов. «Анненков, — пишет по этому поводу П. О. Морозов, — высказал предположение, что под буквою Ф., может быть, разумеется Фрикен — известный кишиневский врач того времени, но при нашей датировке отрывка это предположение, конечно, отпадает». Нисколько не настаивая на том, что под инициалом Ф. стоящим в пушкинском черновике, следует понимать доктора Фрикена, лицо для нас таинственное и неизвестное, мы, однако, не понимаем логики этого догадательства: почему Пушкин не мог упомянуть Фрикена или любого другого кишиневского жителя, если его рукопись датируется не 1821, а 1825 г.? С нашей точки зрения, Пушкин мог назвать в своем произведении любое лицо, знакомое ему в 1821 г. или ранее, а также в любом последующем году, если этому, конечно, способствовала соответствующая

³⁷ Пушкин. Соч. СПб. Изд. Акад. наук, 1916, т. 4, с. 277.

³⁸ ИРЛИ, ф. 244, № 766 («Вот Коцит. . .»).

побуждения и обстоятельства. Какие побуждения содействовали в данном случае выбору Пушкиным главного героя набросков «адской поэмы», П. О. Морозов не объясняет, но что под инициалом Ф. имеется в виду Фауст, о чем не догадывались прежние истолкователи интересующих нас черновики, он считает само собой разумеющимся. Как мы уже отмечали выше, ни в одном из фрагментов рукописи имя Фауста ни разу не названо; его можно читать так лишь приблизительно, после основательного самовнушения и только в отрывке «Вот Коцит, вот Ахерон». Как и во многих других случаях, в черновике условно можно разобрать лишь две первые буквы, а следующие три дополнить лишь по догадке: «Фауст», но и это чтение не обязательное. Так, В. М. Жирмунский в первом варианте своей известной работы «Гете в русской литературе» («Гете в русской поэзии», 1932), читал эти стихи иначе, чем П. О. Морозов, на которого он, однако, ссылается:

Вот Коцит, вот Ахерон,
Вот горящий Флегетон;
Доктор, сразу, ну, смелее
Сядь ко мне на хвост!³⁹

Угадав, как ему казалось, имя главного действующего лица фрагмента и расшифровав тем самым и другой его стих, где имя Фауста было сокращено до инициала Ф., П. О. Морозов так излагал сюжетный ход неосуществленной поэмы Пушкина: «Фауст вместе с чертом является в ад. Там в это время шла игра в карты. Смерть играет с Грехом (?) и еще с кем-то. Черт рекомендует Фауста <...> Смерть немножко недовольна тем, что черт привел своего приятеля без ее разрешения, но черт возражает, что об этом „думают двояко“, и она успокаивается и продолжает прерванную игру. Фауст осматривается кругом и спрашивает путеводаителя, где варят грешников. Черт объясняет, что они находятся сейчас в парадной зале, и указывает на приготовление к балу по случаю именин Сатаны. Затем он ведет Фауста дальше и на своем хвосте переносит через горящий Флегетон туда, где находится адская поварня, о которой раньше осведомлялся доктор. У входа в поварню их, по-видимому, останавливает часовой («Кто идет!»), но черт отвечает словами, указывающими на высокий чин посетителя. Шутка не получила дальнейшего развития».

Все неправдоподобно в этом крайне искусственном построении. Увлеченный своей догадкой, П. О. Морозов не заметил того, что было ясно уже П. В. Анненкову: отдельные фрагменты столь отличались друг от друга и по своему стилю, и по своей поэтической лексике, что взятые вместе они не могли иметь общего героя и связываться друг с другом в нечто целое. Анненкову было

³⁹ Ж и р м у н с к и й В. Гете в русской поэзии // Лит. насл. М., 1932, т. 4—6, с. 560—561. В позднем варианте этой статьи, вошедшей в книгу «Гете в русской литературе» (Л., 1937, с. 639), последний стих транскрибирован иначе: «Доктор Фауст, посмелее».

неясно ни имя этого Ф., ни того сопровождающего его по адским владениям существа, которое Морозов называет чертом: кто еще мог спуститься с Фаустом в преисподнюю? Анненков называл их «посетителем» ада и его «путеводителем». Имя гетевского Мефистофеля во фрагментах не указано ни разу, да, конечно, и мысли о нем в данном случае не было. Да и какой хвост мог быть у Мефистофеля? В фрагментах Пушкина действует не всемогущий и всезнающий скептик, а обыкновенный, ловкий, но глуповатый и попадающий впросак бес народной русской демонологии. Соотношение между чертом и д-ром Ф. у Пушкина совершенно противоположное, чем между гетевскими героями — Фаустом и Мефистофелем.

Следующие специалисты, следуя П. О. Морозову, весьма усилили неправдоподобность высказанных им догадок, дописывая за него то, что он еще не рисковал утверждать. Так, например, А. Г. Горнфельд в статье о Гете в «Путеводителе по Пушкину» (1931) отнес «вереницу черновых отрывков под названием <sic!> „Адская поэма“» к пушкинским «опытам восполнения мотивов и образов „Фауста“ Гете» и связал их с наиболее законченным Пушкиным «опытом» этого рода — «Сценой из Фауста». А. Г. Горнфельд писал об этих отрывках: «Долго комментаторы принимали „д-ра Ф.“, к которому обращены реплики отрывков, за кишиневского д-ра Фрикена, но совершенно ясно, что речь идет о д-ре Фаусте и отрывки в части представляют собой диалог между ним и Мефистофелем <sic!> при посещении преисподней. Мефистофель, называя адские реки Ахерон, Коцит, Флегетон, предлагает д-ру Ф. смело перебраться через них, тот ищет место <sic!>, тогда Мефистофель предлагает свой хвост вместо моста, и т. д. Так же объясняются стихи отрывка: „Вот доктор Ф(ауст), наш приятель! — Живой? Он жив, да наш давно. — Сегодня ль, завтра ль, все равно“. Т. е. дьяволы удивлены, что Мефистофель привел в ад живого человека, но Мефистофель так уверен в конечной победе над опутанным им Фаустом, что считает себя вправе заявить: „Он жив, да наш давно“. Шуточные отрывки, являясь отголоском того чтения Гете, которому предавался П<ушкин> на юге, к сожалению, не отличились в законченное создание. Но к мысли как-то восполнить своим воображением „Фауста“ П<ушкин> все-таки вернулся через несколько лет».⁴⁰

Д. Д. Благой в статье «Фауст в аду», цитируя начало приведенных строк, по непонятной для нас причине не только считает, что автором догадки о «докторе Ф.», под которым нужно понимать Фауста, был А. Г. Горнфельд, но подчеркивает, что этот «тонкий критик и историк литературы < . . . > не был специалистом-пушкиноведом и потому дальнейших выводов из своего попутного

⁴⁰ П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. в 6-ти т. М., 1931, т. 6. Путеводитель по Пушкину, с. 96.

замечания он не сделал».⁴¹ Нам представляется, однако, что А. Г. Горнфельд, бывший на самом деле хорошим знатоком как Гете, так и Пушкина.⁴² сделал не только все возможные, но и все невозможные выводы из своего «попутного замечания», оставив позади себя П. О. Морозова, задолго до Горнфельда изложившего интересующий нас замысел Пушкина гораздо точнее и осторожнее. Так, Горнфельд без всяких оговорок называет собеседника д-ра Ф. в аду Мефистофелем, приписывает ему все реплики в указанных черновиках Пушкина (тогда как их несомненно произносят различные участники беседы в преисподней), но самого доктора оставляет безгласным; наконец, Горнфельд прямо утверждает, что все черновые фрагменты, нас интересующие, в которых Пушкин будто бы производил опыты «восполнения мотивов и образов Фауста», были основаны на долговременных и постоянных чтениях трагедии Гете (чему Пушкин «предавался на юге») и несколько лет спустя получили законченное осуществление в пушкинской «Сцене из Фауста». Конечно, все это очевидные преувеличения, покоящиеся на произвольных домыслах, что не было столь заметно при тогдашнем состоянии пушкиноведения.

Правда, в указанной статье А. Г. Горнфельда, где в сжатой, но обобщающей форме, обязательной для справочного пособия, в котором она была помещена, автор должен был отобразить весь комплекс вопросов о Пушкине и Гете, он, говоря об «адской поэме», принужден был быть более кратким, чем его предшественник П. О. Морозов. Так, в статье А. Г. Горнфельда нет никакой ссылки на таких персонажей пушкинского замысла, воображаемых или действительных, как Грех или Смерть, тогда как у П. О. Морозова они упомянуты, хотя и вызывали разноречивые толки и сомнения.

П. О. Морозов догадывался, как мы видели, что у Пушкина «Смерть играет с Грехом (?) и еще с кем-то». Вопросительный знак, поставленный комментатором после слова «Грех», означает его неуверенность в том, что именно так следовало бы читать густо зачеркнутое поэтом слово, что допускал еще В. Е. Якушкин в своем описании рукописей Пушкина. Нам эта догадка не представляется удачной: введение «Греха» в текст поэмы в качестве некоего аллегорического персонажа кажется произвольным и себя не оправдывающим; едва ли подобный абстрактный образ мог появиться в произведении, где намечались персонажи, имеющие сочную сатирическую окраску, и которое проникнуто яркой атеистической тендецией.⁴³ Тем не менее в некоторых изданиях

⁴¹ Б л а г о й Д. Фауст в аду: (Об одном непзученном замысле Пушкина) // Исслед. в чест на акад. Михаил Арнаудов. София, 1970, с. 266.

⁴² Аркадию Георгиевичу Горнфельду (1867—1941) принадлежит статья о Пушкине и Гете в III томе «Сочинений» Пушкина под редакцией С. А. Венгерова (СПб., 1909), статья «Моцарт и Сальери» в его книге «О русских писателях» (СПб., 1912, т. 1. Минувший век), а также ряд других работ о Гете.

⁴³ Олицетворение Греха (в смысле деяния, нарушающего определенную систему религиозно-нравственных предписаний) по сиварке, которую дает

сочинений Пушкина сравнительно недавнего времени «Грех» — как обозначение действующего лица, беседующего со Смертью, — введен в текст интересующих нас отрывков «адской поэмы».⁴⁴

Что касается Смерти, то она и на самом деле названа в качестве действующего лица фрагментов, притом несомненно не эпизодического, а одного из очень существенных в общей композиции задуманного произведения. Если бы из всех рукописных отрывков, относящихся к этому замыслу, были бы выбраны все строки о карточной игре, было бы нетрудно заметить, что в целом они занимают в рукописи важное место и что главным связующим лицом во всех этих эпизодах является именно Смерть, вступающая в разговор то с одним, то с другим собеседником. Кто они, эти собеседники, и о чем между ними ведется беседа, комментаторы черновых строк Пушкина не уяснили и отделялись весьма общими или неопределенными формулировками. Уже первый опубликованный П. В. Анненковым фрагмент, относящийся к интересующему нас замыслу («Что козырь? — Черви. — Мне ходить. . .»), не оставлял сомнений в том, что игра шла в аду и что игроки не походили на земных картежников; это была игра без счета времени, игра, которой не будет конца:

Ведь мы играем не для денег,
А только [б] вечность проводить. . .⁴⁵

«Словарь языка Пушкина» (М., 1956, т. 2, с. 545), встречается в основных печатных текстах поэта лишь однажды, в таком контексте, где оно представляется типичным библизмом («Грех алчный гонится за мною по пятам», в позднем стихотворении «Напрасно я бегу к Сионским высотам», 1836).

⁴⁴ См.: например, текст черновых набросков «адской поэмы» в следующих изданиях: П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 9-ти т. М.; Л., «Academia», 1935, т. 2, с. 508; П у ш к и н. Стихотворения / Под общ. ред. А. Л. Слонимского. Л., 1940, т. 1 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 271. «Грех», как обозначение говорящего, вставлен здесь в текст после трудно читаемых стихов:

Вы знаете, всегда ли [ведь?] другу
Я рада́ оказать услугу. . .

Тем самым эти стихи определяются как произносимые Смертью.

⁴⁵ Эти строки приводит Т. Г. Цявловская в статье «Влюбленный бес. (Неосуществленный замысел Пушкина)» (Пушкин: Исслед. и матер. М.; Л., 1960, т. 3, с. 107—108), сопоставляя их с записью дневника М. П. Погодина от 16 октября 1822 г. о Пушкине. Однако, по нашему мнению, это сопоставление основано на недоразумении, да и вся эта статья маститой исследовательницы заключает в себе множество недоказуемых догадок, нуждающихся в подтверждении или полном пересмотре «Думается, — пишет Т. Г. Цявловская, — что именно о поэме, посвященной аду <. . .> рассказывал Денис Давыдов, вернувшись из Киева, где он в начале 1821 года встретился с Пушкиным <. . .> Можно предположить, что поэт говорил Давыдову о своем замысле, может быть показывал ему отрывки. На это наводит запись М. П. Погодина со слов Давыдова: „Пишет стихи записест, однако марает много. — Который час, спрашивают адских теней — вечность“. М. П. Погодину, предполагает Цявловская, Давыдов «говорил о писательской манере Пушкина, которую он, значит, имел случай близко видеть <?>». „Который час, спрашивают адских теней — вечность“, — записал далее Погодин, очевидно приводя в передаче Дениса Давыдова какую-то цитату из Пушкина <?>. Не думал ли Пушкин

Но в игре принимает участие несколько лиц, подающих реплики профессиональных игроков:

... Кругом нас обыграла:
Эй, Смерть! Ты право сплутовала. . .

К кому же тогда относятся ответные слова Смерти:

— Молчи! ты глуп и молодец.
Уж не тебе меня ловить —

не к «посетителю» ли ада, как его осторожно называл П. В. Анненков? Подобные вопросы остаются пока без ответа, хотя во всех фрагментах Смерть рисуется за тем же самым занятием. Но как она попала в ад? Легко заметить также, что Смерть в отрывках жалуется, собственно, не на то, что некий посетитель явился в ад с чертом без ее разрешения (как это представлял себе П. О. Морозов), ведь она не «хозяйка» преисподней, не Прозерпина (Персефона) античной мифологии, не грозная повелительница теней, владычествующая совместно с Плутоном над душами умерших и стерегущими их чудовищами, которую иногда выводили и в русских «разговорах мертвых». Смерть — постороннее для преисподней лицо. Посетителем, которого ей представляют, она недовольна за то, что тот еще живой. По-видимому, с ним одним или за него ведется карточный поединок у настоящего хозяина преисподней — Сатаны или Плутона, который и устраивает праздник, куда Смерть звана как гостя и где она к своему удивлению встречает живого человека.

Возвратимся, однако, к гипотезе П. О. Морозова о Фаусте как главном действующем лице пушкинских рукописных фрагментов. Эта гипотеза была, по-видимому, принята всеми (или подавляющим большинством) исследователями Пушкина. В юбилейный для Гете 1932 г. (столетие со дня его смерти) появился ряд статей, в которых гипотеза о «Фаусте в аду» — как о задуманной, но не написанной поэме Пушкина — излагалась неоднократно, без всяких сомнений, но со всевозможными произвольными прибавками, сомнительными допущениями и ни на чем не основанными утверждениями. Так, например, в ценной статье «Пушкин и Гете» Гл. Глебов, рассуждая о «фаустовской теме» в творчестве Пушкина, утверждал, в частности, что Пушкин дважды производил

кин ввести этот образ бесконечности в свою поэму об адском мире?» (там же, с. 108). Далее Т. Г. Цявловская с полным основанием замечает, что «образ этот довольно распространен в литературе», и приводит ряд примеров. Примеры эти могли бы быть легко умножены, однако ни в одном из них не идет речь о карточных игроках. К тому же запись Погодина дана в таком контексте и с таким характерным для его дневника лаконизмом, что пользоваться ею как документальным свидетельством о данном произведении Пушкина едва ли целесообразно. См.: Ц я в л о в с к и й М. А. Пушкин по документам Погодинского архива // Пушкин и его современники. СПб., 1914, вып. 19—20, с. 68.

опыт «восполнения» гетевской трагедии: в «Новой сцене из Фауста» и в незавершенных черновых отрывках, условно именуемых «адской поэмой». Содержание последней Гл. Глебов излагает следующим образом: «К началу другой сцены пушкинского „Фауста“ — „Фауст в аду“ — относятся написанные в том же 1825 г. два отрывка — „Вот Коцит, вот Ахерон“ и „Что козырь? — Черви“. В первом отрывке Фауст на хвосте дьявола <?> спускается в ад. В аду происходит знаменательный разговор между ним и бесом поварен <?>. На вопрос о том, что кипит в котле, бес говорит: „Погляди — цари!“. На это Фауст отвечает: „О, вари, вари!“». Последняя реплика «Фауста» сопровождается замечанием комментатора: «Эти слова хорошо характеризуют умонастроение Пушкина в год декабристского восстания». Такое наблюдение, конечно, правдоподобно, но абсолютно неправдоподобны все предшествующие догадки. Даже русификация зрелища, открывшегося перед вопрошателем — будто бы пушкинским Фаустом — и вызвавшего его восхищение («цари» вместо «короли»), казалось бы неуместной в данном случае, при международной популярности этого персонажа. Пушкин, с удивительной чуткостью улавливавший любой исторический и локальный колорит, едва ли мог бы допустить здесь такую хронологическую нелепицу и безвкусицу. Представить себе в лицах воображаемую беседу Фауста с неким «бесом поварен», выдуманным комментатором, столь же затруднительно, как и заподозрить, что у пушкинского Мефистофеля был хвост, сидя на котором, Фауст якобы мог удобно осматривать различные участки преисподней.

Между тем исследователь фантазировал и далее: «Во втором отрывке Смерть играет в карты с Грехом и, по-видимому, с душами, томящимися в аду <?>. Они играют „не для денег, а только б вечность проводить“. Эта черта говорит о том, что в аду Фауст найдет все ту же бессмыслицу <?>. Появляется <?> в сопровождении дьявола (Мефистофеля?) Фауст. Он зван на праздник к Сатане. Смерть удивляется, что Фауст находится в аду живым. На это дьявол (Мефистофель) отвечает: „Он жив, да наш давно, — сегодня ль, завтра — все равно“. Судьба Фауста кажется предержавной. Фауст испытал мир. Теперь он хочет испытать ад <?>. Он совершает путь, намеченный в трагедии Гете: с небес через землю в ад <?>». ⁴⁶

Нетрудно заметить, с какой легкостью и свободой извлечена исследователем эта произвольная композиция из трудно читаемых черновиков Пушкина. Гл. Глебов пошел еще дальше, чем П. О. Морозов и Горнфельд: одна догадка нагромождается у него на другую для того, чтобы воссоздаваемому ходу действия поэмы можно было

⁴⁶ Г л е б о в Гл. Пушкин и Гете // Звенья, М., 1933, т. 2, с. 45—46. К последней цитированной нами фразе автор добавил ссылки на сцену из «Фауста» Гете («Пролог в театре») и на разговор Гете с Эккерманом (от 6 мая 1827 г.), но эти указания не только не разрушают, но даже запутывают загадку, невольно внушая ошибочное представление, что Пушкин следовал творению Гете.

придать хотя бы условное правдоподобие. Однако при первом же сопоставлении с подлинным пушкинским — несвязным — текстом все цитированное построение разваливается, как карточный домик. Оно ничем не подтверждено и никак не оправдано — ни текстологическими, ни хронологическими соображениями.

Нет необходимости приводить дальнейшие справки и цитаты, поскольку все последующие издатели и комментаторы Пушкина согласились с упомянутыми выше догадками П. О. Морозова и сторонниками его гипотезы, неизменно связывая большинство интересующих нас черновых фрагментов поэта с темой о Фаусте. Некоторые робкие сомнения, возникавшие иногда по этому поводу, подавлялись авторитетом новейших академических изданий сочинений Пушкина, где эти фрагменты публиковались уже без сопровождавших их некогда вопросительных знаков, как якобы расшифрованные окончательно и больше не вызывающие споров. Так, например, во II томе «большого» шестнадцатитомного академического издания (1937) они напечатаны под общим заглавием «Наброски к замыслу о Фаусте» (II, 380, 928, 1157). В начале 1970-х гг. Д. Д. Благой дважды напечатал уже упоминавшееся нами выше исследование — «Фауст в аду. (Об одном неизученном замысле Пушкина)», в котором он еще раз попытался утвердить представление о том, что в задуманных Пушкиным сценах должно было быть представлено «посещение Фаустом ада и то, что он там увидел».⁴⁷

Правда, первые сомнения по поводу гипотезы П. О. Морозова высказаны были еще в 1932 г. В. М. Жирмунским в раннем журнальном варианте его известного труда «Гете в русской литературе». Изложив вкратце «адскую поэму» Пушкина по изданию П. О. Морозова и приведя несколько цитат из ее черновиков, В. М. Жирмунский, тонкий знаток великого творения Гете, несомненно почувствовал, как далеки все цитированные им фрагменты текста Пушкина от «Фауста» Гете. «Впрочем, — писал исследователь, — Фауст в аду не является темой, близкой замыслу Гете. Если праздник в аду мог бы иметь точки соприкосновения с Вальпургиевой ночью, то обозрение адских мук скорее напоминает Дантов „Ад“. Во всяком случае тревоживший воображение Пушкина образ доктора Фауста связан лишь сюжетной ситуацией с Фаустом Гете».⁴⁸ Последнее утверждение, однако, с моей точки зрения, также является лишь преувеличением или

⁴⁷ См. в сборнике, опубликованном Болгарской Академией наук, — «Исслед. в честь на акад. Мухамед Арнаудов: Юбилеен сборник» (София, 1970, с. 263—275), а также в кн.: Б л а г о й Д. Д. От Кантемира до наших дней. М., 1972, т. 1, с. 256—303.

⁴⁸ Лит. насл., т. 4—6, с. 561; ср.: Ж и р м у н с к и й В. Гете в русской литературе. Л., 1937, с. 137—138. Отметим также, что В. М. Жирмунский возража: Д. Д. Благому, читавшему доклад о пушкинской сцене «Фауст в аду» на XX Пушкинской конференции 4 июня 1969 г. В отчете об этой конференции Р. В. Лезунтова сообщает: «В. М. Жирмунский оспаривает выдвинутую

уступкой гипнотизирующей гипотезе Морозова: в «сложетной ситуации» у Пушкина и у Гете я не усматриваю никакого сходства, как, впрочем, и в самых образах двух центральных действующих лиц у обоих поэтов. Да и все специфические у Пушкина интонации народно-разговорного стиля набросков «адской поэмы» едва ли восходят к какому-либо иностранному литературному произведению. Между тем именно в иностранном источнике искали основу данного пушкинского замысла.

Эти попытки были, однако, безуспешны. Указывали, в частности, на одну из многих имеющихся обработок старой, сложившейся еще в XVI в., легенды о Фаусте, принадлежащую перу Фридриха Клингера, друга Гете и одного из типичнейших представителей Sturm und Drang'a. В 1791 г. Клингер выпустил в свет на немецком языке свой роман «Жизнь, деяния и гибель Фауста», в котором, между прочим, идет речь о празднике в аду, устроенном в честь Фауста. Но сам Фауст у Клингера в аду не появляется, и его только чествуют здесь как «великого грешника».⁴⁹

Сделана была также попытка — столь же, с моей точки зрения, неудачная — возвести замысел Пушкина к английской трагедии К. Марло «Трагическая история доктора Фауста», представленной на лондонской сцене в 1594 г. и впервые напечатанной в 1604 г. В цитированной нами выше статье Гл. Глебова «Пушкин и Гете» по этому поводу говорится следующее: «Возможно, что на мысль написать посещение ада Фаустом навело его (Пушкина. — М. А.) то место трагедии Марло, где Фауст выражает желание увидеть ад и вновь вернуться на землю, а Люцифер ему это обещает. Такого рода сцены нет в „Фаусте“ Гете. Нет посещения Фаустом ада и у самого Марло — обещание Люцифера осталось невыполненным. Тем больше интереса для Пушкина мог представить этот эпизод».⁵⁰ Признаюсь откровенно, что логика последнего умозаключения («тем больше интереса. . .») для меня остается совершенно непонятной, в особенности потому, что знакомство Пушкина с текстом указанной сцены Марло немыслимо и никак доказано быть не может.

Мы пришли к заключению, что в «Фаусте» Гете нельзя найти никакой аналогии сценам пушкинских набросков — их образам, месту их действия, авторскому стилю или интонациям говорящих. В них все чуждо гетевскому творению и не может быть истолковано

в докладе Благого гипотезу о возможном знакомстве Пушкина с народной книгой о Фаусте, которая была настолько редким изданием, что ее не знал сам Гете. Содержание пушкинских фрагментов на темы из Фауста заставляет искать каких-то новых источников и литературных традиций. Так, по мнению В. М. Жирмунского, можно говорить о воздействии на замысел Пушкина «Божественной Комедии» Данте» (Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1970, т. 29, вып. 5, с. 468).

⁴⁹ К вопросу о знакомстве Пушкина с произведениями Ф. Клингера я предполагаю вернуться в особой статье (см. с. 502—541. — *Ред.*).

⁵⁰ Г л е б о в Гл. Пушкин и Гете, с. 45, примеч. 3.

как отзвук трагедии Гете или как полемика с ним. У Пушкина есть лишь одна «Сцена из Фауста», а о другой или даже о других сценах, аналогичных по происхождению, мы не имеем никаких сведений. Во всяком случае искать их в набросках так называемой «адской поэмы» явно не приходится. Смешно было бы представлять себе в данном случае и гетевских героев в роли пушкинских персонажей. Немыслимо было бы вообразить себе Мефистофеля, играющего в карты; образ Смерти, занимающий, как мы видели, одно из центральных мест в пушкинском замысле, в «Фаусте» Гете не играет никакой роли и к тому же совершенно отличен от пушкинского по естественной причине: в немецком языке Смерть — мужского рода (Der Tod). Смерть появляется в одной из последних сцен второй части гетевского «Фауста» как случайное эпизодическое лицо. Русский переводчик «Фауста» Н. Холодковский при переводе этой сцены принужден был считаться с немецким представлением. Аллегорические персонажи, введенные Гете в заключительную сцену «Фауста» (под ремаркой «Дворец. Роскошный сад, прорезанный ровно выведенным каналом»), — Порок, Грех и Нужда — говорят о Смерти как о своем «брате»:

Пронесятся тучи по тверди широкой
Смотрите, смотрите! Далеко, далеко
Не брат ли, не Смерть ли (Bruder Tod) виднеется там?⁵¹

4

В XVIII в. во всех литературах Европы, в частности также и в русской, изображение ада, тартара, преисподней (как бы мы его ни называли) в качестве места действия в литературных произведениях разных жанров было положительно в моде. Эта мода в немалой степени являлась следствием сложных переплетающихся воздействий, какие продолжали оказывать на литературы многих стран величественные и мощные по своим творческим импульсам создания предшествующих столетий — «Божественная Комедия» Данте и «Потерянный рай» Мильтона. В течение всего указанного времени во всех важнейших литературах Европы шел процесс их усвоения, адаптации и переработки применительно к местным условиям и эстетическим традициям, и всюду этот процесс принимал особые формы, сталкиваясь с возрожденной приверженцами классицизма античной мифологией и рационалистической философией просветительского века. Вот почему везде «адские» сюжеты в новых переводах, обработках и приспособлениях постепенно теряли свой устрашающий пафос, принимали пластические формы, заимствованные из античных литератур, проникались иронией, которая, расширяясь, иногда вела авторов и дальше — к пародии, трагедии или сатире.

⁵¹ Гете И. В. Фауст / Пер. Н. А. Холодковского. М.; Л., 1936, ч. 2, с. 290.

В русской литературе XVIII в. указанные явления принимали особо усложненные формы, так как здесь скрещивались одновременно сходные воздействия нескольких зарубежных литератур, а кроме того, сильнее, чем в других странах, оказывали влияние на текущую светскую литературу древнерусская письменность и устное народное творчество.

Все сказанное нетрудно проследить и на отдельных примерах. В XVIII в. состоялось первое знакомство русских читателей, не знавших иностранных языков, с творениями Данте и Мильтона.⁵² Уже в середине этого столетия появляются произведения русской литературы, в которых можно проследить воздействия этих великих эпопей. Так, во второй части книги М. Д. Чулкова «Пересмешник, или Славянские сказки» (1-е изд. — 1766 г.; дальнейшие издания — 1783—1785, 1789 гг.) помещена повесть о царевне Силославе из времен мифической древнеславянской старины; в поисках своей суженой Прелепы царевич со своим «поводырем» Свидой спускается в ад. В. В. Сиповский уже давно указал, что эта часть повести занимает среднее место между первой песнью «Божественной Комедии» Данте и русскими апокрифическими сказаниями о хождении богородицы по мукам.⁵³ Подчеркнем также, что, согласно одному из древнейших представлений русских книжников, большая огненная река отделяла тьму от света, отграничивая царства живых и умерших.⁵⁴ Огненная река и область вечного льда как места посмертного наказания присутствовали, без сомнения, еще в дохристианских представлениях народов Европы и Востока о царстве мертвых, чем и объясняется прежде всего сходство в описаниях этого рода в различных апокрифических текстах. Широко разработанные в сказаниях и литературных памятниках раннего и позднего средневековья, представления эти долго удерживались в произведениях русского народного творчества. В русских духовных стихах, записанных в XIX в., поется, что

.. грешные, беззаконные рабы
Останутся за рекою за огненною.

По представлениям народных исполнителей духовных стихов, ад находится в пропастях земляных — «зима там несогреянна, злые мразы лютые»:

⁵² См.: Алексеев М. П. Первое знакомство с Данте в России // В кн.: От классицизма к романтизму: Из ист. междунар. связей рус. лит. Л., 1970, с. 22—30.

⁵³ Сиповский В. В. Очерки по истории русского романа. СПб., 1910, т. 5, вып. 2, с. 134.

⁵⁴ Н. С. Тихонравов (Соч. М., 1898, т. 1, с. 178) отмечает, что «одним из самых исконных и существенных верований» Древней Руси «было то, что огромная река отделяет здешний мир от царства умерших». Ср.: Клейн П. Донец и Стикс // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976, с. 64—69.

Иным будет грешникам — огни негасимые,
Иным будет грешникам — зима зла студеная. . .⁵⁵

Не забудем также, что в русской повести о Савве Грудцыне XVII в., этом «русском Фаусте», как ее не раз называли исследователи нашего времени, рассказано о том, как бес сначала ведет Савву на некий холм и показывает ему владения своего отца, а затем спускается с ним в ад, где Савва вручает самому Сатане «рукописание», т. е. договор, заключенный с ним бесом. Вернувшись из царства Сатаны, Савва продолжает свою беспутную жизнь.⁵⁶

Во второй половине XVIII в. в русских переводах с английского, французского и немецкого языков появились все сколько-нибудь заметные западноевропейские повести на адские и демонологические темы. В 1766 г. стало известно у нас остросатирическое произведение Генри Филдингга «Путешествие в другой свет» («A Journey from this World to the Next», 1743);⁵⁷ в конце века увидела свет в русском переводе известная фантастическая повесть в ориентальном вкусе Уильяма Бекфорда «Ватек. Арабская сказка» (СПб., 1792), в которой герой спускается в магометанскую преисподнюю.⁵⁸ Появлялись и оригинальные русские произведения того же рода. Так, еще в 1769 г. Ф. А. Эмин начал издавать ежемесячный журнал «Адская почта, или Переписка хромоногого беса с кривым», к каждой книжке которого в качестве приложения давались «Адские ведомости»; в 1788 г. этот журнал был дважды переиздан под разными заглавиями; одно из них было «Курьер из ада с письмами».⁵⁹ В 1792 г. в Москве была издана сатирическая и юмористическая «Переписка двух адских вельмож, Алгабека и Алгамека <...> Перевод с арапо-еврейского языка греко-японским переводчиком в 1 791 000 году» (3 части. М., 1792).⁶⁰

⁵⁵ Тихоново Н. С. Соч., т. 1, с. 207; Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1916, с. 119—120.

⁵⁶ Ржига В. Ф. Повесть о Савве Грудцыне: (по старейшему датированному тексту) // Исслед. и матер. по древнерусской литературе. М., 1961, с. 313—315; ТОДРЛ. М., 1935, т. 2, с. 181—214; 1936, т. 3, с. 99—159.

⁵⁷ Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. М., 1966, т. 3, с. 301.

⁵⁸ Там же. М., 1962, т. 1, с. 85.

⁵⁹ Неустров А. Н. Исторические разыскания о русских повременных изданиях. СПб., 1874, с. 154—159; Сопиков В. С. Опыт российской библиографии / Под ред. В. Н. Рогожина. СПб., 1904, ч. 3, № 3772, с. 11—12. Едва ли подлежит сомнению, что облик «Хромоногого беса» в журнале Ф. Эмина восходит к стяжавшему в России большую популярность сатирическому роману А. Лесажа «Le Diable boiteux» (1707), известному под заглавием «Повесть о хромоногом бесе» во множестве изданий XVIII—начала XIX в. (1763, 1775, 1785, 1791, 1816); см.: Сопиков В. С. Опыт российской библиографии, ч. 3, № 5943—5945; Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. (1725—1800). М., 1964, т. 2, с. 149. Французский роман А. Лесажа в свою очередь опирался на роман испанского писателя Луиса Гевары «El diablo cojeado ó Novela de la otra vida» (Madrid, 1641).

⁶⁰ Полное заглавие этого произведения дано у В. С. Сопикова (Опыт российской библиографии, ч. 4, № 8105), а также в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII в.» (т. 2, с. 414), где имеется замечание составителей: «В. С. Сопиков называет автором „Переписки“ Александра

Все подобные произведения нравились русским читателям и получили широкое распространение в переизданиях и даже рукописных списках. Сатирическая традиция жанра «адской» корреспонденции не угасала в России в народной среде в течение всего XIX в. Уже в первой половине этого столетия стали получать распространение в рукописных списках так называемые «адские газеты»; они обращались в грамотной крестьянской и мещанской среде, известны были солдатам, списывались также в старообрядческих слоях.⁶¹

Писарева (р. 1752), но В. В. Спировский, перечисляя ряд особенностей, указывающих на французское происхождение романа, сомневается в том, что это оригинальное русское произведение.

⁶¹ На «Адские газеты» впервые обратил внимание в русской печати А. Н. Афанасьев в маленькой заметке, опубликованной в журнале «Библиографические записки» (1858, т. 1, с. 53—55), где он использовал два находившихся у него в руках списка этого произведения (московский и белорусский), тексты которых, впрочем, приведены им лишь в выдержках. Другие списки и в более полном виде позже печатались несколько раз. Так, В. И. Лествицын напечатал один из них в статье «Крестьянская газета из ада. Народная сатира» (Рус. старина, 1875, т. 14, с. 213—216). Другие редакции этой же сатиры по различным рукописям напечатаны: П. А. Шилковым (по списку, найденному на Урале) в «Этнографическом обозрении» (1891, № 3, с. 235—237); А. И. Яцимирским в статье «Мелкие тексты и заметки по старинной славянской и русской литературе» (Изв. ОРЯС, 1906, кн. 2, с. 315—318) по рукописи 1833—1834 гг., принадлежавшей мещанину г. Арзамаса и озаглавленной «Адские газеты в пятюк сырныи недели»; Н. Н. Оглоблиным по рукописи, хранившейся в библиотеке Киевского Софийского собора, как народное произведение, записанное в Смоленской губернии (Из бытовой истории XIX в. // Чт. в имп. О-ве ист. и древн. рос., 1909, т. 232, с. 27—30). П. А. Россиев в статье «1812 год в анекдотах» (Нов. слово, 1912, № 7, с. 30) без указания на источник приводит несколько иную редакцию того же произведения, будто бы сочиненного «каким-то москвичом», и относит его к 1812 г. Ряд редакций этого произведения возник в старообрядческой среде, где оно было очень популярно и подвергалось переработке. На некоторые из них указал Ф. В. Ливанов (Ливанов Ф. В. Раскольники и острожники. СПб., 1873, с. 161—162); другие объединены в кн.: Рождественский Т. С. Памятники старообрядческой поэзии // Зап. Моск. археол. ин-та, 1910, т. 6, с. 93—96. Эта народная сатира имеет характер гневно-обличения социального неравенства и пороков общественной жизни. В списках, опубликованных Оглоблиным и Яцимирским, «Адская газета» начинается так:

На сих днях выехал курьер из ада,
Привез он почту страшных газет,
Какая будет грешным награда,
Кои в несчастья пойдут на тот свет. . .

Далее в списках дается весьма пессимистическая картина действительности с точки зрения адского правосудия. «Нынешний век: зри всяк человек: грех скончался, истина охромела, любовь простудю больна, честность и верность в отставку вышли» и т. д. Эта часть «Страшных газет» в разных списках варьировалась на разные лады; судя по тому, что во главе грешников всюду ставятся здесь представители духовенства, можно было предположить, что сатира возникла среди старообрядцев, однако в ряде списков среди грешников находятся и «раскольники». Демократические тенденции сатиры в особенности ясно проявляются в особых симпатиях к «япщим», которых Сатана гонит из ада прямо в рай, потому что в аду пехватает места «пемилосердным

Устойчивой популярностью в течение всего XVIII в. в русской литературе, как и в литературах других стран Европы (Франции, Германии, Англии), пользовался жанр так называемых «разговоров в царстве мертвых», восходивший к своему образцу — возрожденным в XVI в. некогда широко известным в античном мире диалогам Лукиана Самосатского: это были сатиры и памфлеты в форме загробной беседы.⁶² Традиционным местом действия подобных диалогов являлась пограничная река между живыми и мертвыми; нередко разговоры шли между давно умершими, обретающимися в царстве теней, и перевозимыми через Стикс душами только что умерших, несущими в загробный мир земные черты и причуды. Подобные произведения, во множестве выходившие в то время на разных языках, прежде всего были сатирическими, нередко с подчеркнутой современной политической направленностью; однако в различных литературах и под пером писателей разного склада и времени подобные разговоры могли принимать всевозможную окраску, в том числе сугубо философскую, памфлетно-сатирическую, скептически-ироническую и т. д.; известное значение при этом имел и выбор теней, вступающих между собою в беседу или спор. Внешняя форма и обстановка таких диалогов долгое время оставались неподвижными, но бесконечное разнообразие предоставляла возможность вывести перед читателем и столкнуть в споре о живых кого угодно из мертвецов, независимо от того, когда они жили и к какой общественной среде принадлежали. Стоит подчеркнуть, что в годы юности Пушкина жанр «разговоров в царстве мертвых» продолжал бытовать в России, и сатирические разговоры в этом жанре, зарубежные и переводные, печатные и рукописные, распространялись достаточно широко. Пушкин несомненно хорошо знал ряд произведений этого рода, и они могли получить отражение в его собственном творчестве.

В журнале М. Д. Чулкова «И то и сё» 1769 г. появился один из разговоров в этом жанре, в котором редактор устами Харона осыпал ругательствами Ф. А. Эмина в образе «злозязычника».⁶³ Воз-

боярам», откушникам. «Ступайте в геенну! Горите огнем», — говорит он грешникам, —

А ниццм вскричал: «Бегите прочь, убогие тварь,
Здесь заняты места вельможами да дворянами!».
Ниццета, пройдя все мытарства,
Подхвата свой кошель,
Побрела в райские края!

Цитированные строки напоминают сказочный мотив о солдате в аду, о котором пойдет речь ниже.

⁶² Egilsrud J. S. Les «Dialogues des Morts» dans la littérature française, allemande et anglaise (1646—1789). Paris, 1934. В приложении к этому исследованию приводятся расположенные в хронологическом порядке библиографические перечни «диалогов мертвых» во французской, немецкой и английской литературах (с. 201—213).

⁶³ Запатов А. В. Журнал Чулкова «И то и сё» // XVIII век. М.; Л., 1941, сб. 2, с. 121—139.

можно, что перу того же Чулкова принадлежит и другой памфлет в том же жанре, и на этот раз метивший в реальное лицо (купца-старообрядца А. В. Чупятова). В первый раз этот памфлет вышел в свет анонимной брошюрой под заглавием «Жизнь некоторого мужа и перевоз курioзной души его через Стикс-реку» (СПб., 1780). Уже в следующем 1781 г. он был переиздан, а затем под различными заглавиями перепечатывался еще несколько раз (1788, 1791, 1802, 1835). Догадки об авторе этого памфлета также неоднократно высказывались в печати, но обсуждение этого вопроса, по-видимому, еще не привело к согласному решению. Сочинение памфлета приписывали (кроме Чулкова) С. П. Колосову, А. В. Олсуфьеву, Д. И. Фонвизину;⁶⁴ последнее мнение разделял Пушкин, интересовавшийся «Жизнью некоторого мужа» и знакомившийся с текстом этого произведения по одному из его печатных изданий, как об этом свидетельствует П. А. Вяземский в своей книге о Фонвизине.⁶⁵

Действующими лицами этого сатирического произведения являются Харон, перевозящий «курioзную душу» купца-старовера, «улыбающуюся, бородатую и усатую», с кульком книг в руках, судья Минос и Меркурий. Все властители преисподней приходят в ужас от этой души, прибывающей в их края, и стараются избавиться от нее. Заключается их разговор определением наказания «курioзной душе», которое она заслужила при жизни покойного и которое изрекает Минос: «Возьми, Меркурий, отдай Пизифоне⁶⁶ и сестрам ее; вели на него французский кафтан надеть, волосы завязать и напудрить сколько можно более; шляпу вели загнуть по-французски и заткнуть в нее (душу. — М. А.) предолгую курительную трубку, и водить ее таким образом по царству сему. А как скоро он (купец-старовер. — М. А.) скажет, позвольте мне вымолвить, и будет просить, чтоб на него не гневались, то давайте ему тотчас кофе и заставьте играть в кости < . . . > Пойди,

⁶⁴ Светлов Л. М. Д. Чулков — автор памфлета «Жизнь некоторого мужа и перевоз курioзной души его через Стикс-реку» // Рус. лит., 1963, № 2, с. 188—197 (здесь же указаны и все последующие издания этого памфлета и литература о нем). В вышедшем годом позже «Сводном каталоге русской книги гражданского печатания XVIII века» (М., 1964, т. 2, с. 53) «Жизнь некоторого мужа» уверенно приписывается не Чулкову, а С. П. Колосову на том основании, что на обнаруженной в 1893 г. рукописи этого произведения с несколькими измененным заглавием («Житие господина Н., которое служит введением в историю его в царстве мертвых») была сделана следующая надпись: «Здесь описан Ржевы Володимировой купец Василий Анисимов сын Чупятов, который после совершенно с ума сошел, покойным сенатским протоколистом Стефаном Прокофьевичем Колосовым в 1766 г.». Тем не менее, с нашей точки зрения, приведенная надпись вопроса об авторе памфлета не решает.

⁶⁵ Вяземский П. А. Фон-Визин. СПб., 1848, с. 283—284 («Пушкин говорил мне о каком-то феолиграфическом памфлете, писанном будто бы Фон-Визиным < . . . > Сочинение же сие приписано Фон-Визину потому, что оно было напечатано по крайней мере вторым изданием < СПб., 1788 > вместе с „Посланием к слугам моим“ < Фонвизина >»).

⁶⁶ Несомненно, это типографская ошибка; судя по упоминанию «сестер», речь идет о Тисифоне, одной из Эрний, богинь мщения, живших в Аиде.

душа велеречивая, и прими достойную часть по заслугам твоим в геенне огненной, где будет от меня приказано определить тебя не последнюю. . .».⁶⁷

Во множестве подобных произведений русской литературы XVIII—начала XIX в. в жанре «разговоров мертвых» — прозаических и поэтических — на все лады видоизменялись выводившиеся здесь облики людей, ставших адскими тенями и заслуживших осмеяние или осуждение; среди них были правители и военные, откупщики и торговцы, чиновники и начальники, философы и представители духовенства и т. д. Стоит отметить, что особую и довольно многочисленную группу составляли такие «разговоры», в которых действующими лицами являлись писатели и поэты, находившиеся в аду и вступавшие между собою в беседу на злободневные литературные темы. В напряженной и острой литературной борьбе той поры подобные произведения, имевшие сатирический характер, пользовались популярностью и сыграли некоторую роль в литературных спорах.

Напомним здесь, например, написанные в 80-х гг. XVIII в. юмористические оды Н. П. Николева (1758—1815), пародировавшие поэтическое косноязычие творений В. К. Тредиаковского. Поводом для создания этих пародий явились события русско-турецких войн, в частности взятие штурмом крепости Очаков (6 декабря 1788 г.). Николев стремился представить читателю, как откликнулся бы на это автор «Телемахиды», постоянно служивший предметом насмешек как раз в это время. В одной из этих од, озаглавленной «Ода к премудрой Фелице от старого русского пииты из царства мертвых», Николев надевает на себя личину Тредиаковского, подражая его стилистической манере, воспроизводя его искусственно архаическую лексику и странно и забавно звучащие обороты речи:

Буди преклонна внимаем, Фелица!
Древний пиита из ада поет.
Нудит взять лиру твоя мя десница,
Кая блаженства полсвету дает.

Бледная зависть тобой разъярена,
Вестн приносит и в ад о тебе.

Я ж, многогрешный, во тартаре тая
В казнь необычной охоте к стихам,
Слышал до слова, что зависть презлая
Плачно вещала поднорным <sic> богам.

Весть пресловута, как солнце с востока,
Дух мне, пиите, согрела тотчас,
Вдруг позабылись все лютости рока,
Перышко в руки — и шмыг на Парнас!
и т. д.

⁶⁷ «Жизнь некоторого мужа» цитируется здесь по изданию 1791 г., полностью перепечатанному с вводной статьей Л. Б. Свеглова «Русский антиклерикальный памфлет XVIII в.» (в кн.: Вопросы религии и атеизма: Сб. статей. М., 1963, вып. 11, с. 373—382).

Это длинное стихотворное пастиччо, порой достигающее намеренной бессмыслицы, кончается еще одной ссылкой на то, что послание исходит от покойного поэта, тень коего пребывает в аду:

Взглянь милосердо на сердце пиита,
Кое подносит (за скудностью жертв)
Оду вельствову. . . ей буди защита!
Вспомни богиня, что я уже мертв.

Другая ода Николева метит в того же злосчастливого Тредиаковского и озаглавлена «Ода российским солдатам на взятие крепости Очакова сего 1788 года декабря 6 дня, сочиненная от лица некоего древнего российского пииты». Неясно, из каких побуждений Николев решился дублировать свою тему: скорее всего повторение первого опыта в новой оде вызвано было желанием Николева еще раз испробовать свои силы как пересмешника и пародиста; кое в чем эта вторая пародия на безвкусное, натужное одописание Тредиаковского звучит удачнее и острее. Свою роль сыграло здесь и то, что обе пародические оды Николева появились в самый разгар второй русско-турецкой войны (1787—1791); к тому же поэт не мог не знать об отрицательном отношении к Тредиаковскому самой императрицы. Вторую из названных од Николева современники считали удачной пародией на Тредиаковского; списки ее ходили по рукам и выдавались за творение самого «древнего пииты».

В этой оде Николев — от имени Тредиаковского — призывает к живым с прославлениями на своей «лирке» побед российского воинства:

Аз чудопевец, строгий пиита,
Красного слога борзый писец,
Сиречь чья стошно мысль грановита:
Что же бы в рифму? . . . Русский творец.

Тут же «пиита» упоминает, что он находится в мрачном жилище преисподней уже двадцать лет, и это может служить указанием на время написания пародии — в 1789 г. исполнилось два десятилетия со дня смерти Тредиаковского:

Ну ж, о Муза! Вспрянь из-под бездны,
Где ты гнездисься двадцать лет;
Пой громогласно песни любезны,
Нуди к России быстрый полет.

Лпшь проглаголит — дух оперился,
Стража бесовска. . . рысь от меня!
Русс-филологус сим приобдрился:
Вот уж Пегаса шпорит коня!
и т. д.⁶⁸

⁶⁸ Обе эти оды напечатаны в «Творениях Н. П. Николева» (М., 1798, с. 1—11); перепечатаны в книге «Мнимая поэзия. Материалы по истории пародии XVIII и XIX вв.» (Под ред. Ю. Н. Тынянова. М.; Л., 1931); перепечатка сопровождалась следующим примечанием: «Пародия на стилистиче-

Хотя издания этих од при жизни Николева были анонимными, но они пользовались популярностью. Это подтверждает в своих «Литературных и театральных воспоминаниях» С. Т. Аксаков. Описывая свое посещение Николева в 1812 г., к которому его привел Н. М. Шатров, Аксаков рассказывает, что Николев по просьбе присутствующих читал им некоторые из сатирических стихотворений: «Ничего из слышанного мною не сохранилось в моей памяти; помню только, что Николев прочел всем известную тогда пародию на Тредиаковского, которую я знал наизусть еще в Петербурге:

Аз, Тредьяковский, строгий пиита,
Красного слога борзый писец.

Только тут я узнал, что она принадлежала Николеву». ⁶⁹

Отметим, кстати, что Николеву принадлежала еще одна ода на взятие Очакова, своеобразие которой заключалось в намеренной сниженности ее «гудошного» стиля: «Русские солдаты. Гудошная песня на случай взятия Очакова».

Строй, кто хочет, громку лиру,
Чтоб казаться в высоке;
Я налажу песню миру
По-солдатски на гудке, —

воскликает Николев в начале своей оды. Продолжая ее, он сознательно отказывается от обычных одических штампов, как бы стилизуя под солдатский фольклор:

Что мне нужды до Парнаса?
Без крылатого Пегаса
Я доеду до скамьи.
Вот гора моя Парнаска,
Вот мой Пинд и Геликон!
Если песнь моя не сказка,
И гудок покажет тон.

Даже вдохновительница Муза представляется ему в простонародном одеянии:

Будь мне Муза девка красна
Иль солдатская жена.
Лишь была бы беспристрастна,
Право, Муза и она!
Ну же, душенька, смелее!
К сердцу ближе — помилее!

скую систему Тредиаковского. Оды любопытны как образец широты пародийных приемов XVIII в. и важны для установления пародической личности Тредиаковского». Ср.: Остолопов Н. П. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821, ч. 2, с. 336.

⁶⁹ Аксаков С. Разные сочинения. М., 1858, с. 20—21.

Правдой всюю поверни,
Пой не греческих героев,
Пой победы русских строев:
Цель — солдаты нам одни.⁷⁰

Демократические тенденции этой «гудошной песни» сделали ее популярной в довольно широких кругах, и она перепечатывалась в XVIII в. несколько раз, в частности под прозрачным псевдонимом «Отставной служивый Моисей Слепцов» (Николев, как известно, был слепым, о чем упоминается и в тексте этой оды: «У меня свой толк и вера, Не смотрю я на Гомера. Он ведь был, как я же, слеп»).

В первые десятилетия XIX в. произведения в жанре «разговоров мертвых», с выводившимися в них тенями писателей в качестве собеседников, все еще охотно сочинялись разными авторами, в частности, благодаря тому, что привычная условная форма подобных произведений и их традиционный «адский» фон представляли очевидные удобства для самых острых инвектив или полемики. В это время происходило как раз размежевание писательских кружков на враждебные лагеря, обострялась борьба между староверами и приверженцами новизны в вопросах языка и стиля и складывались те принципы, которые определяли позиции в этих вопросах будущего арзамасского братства. В этом дружеском литературном сообществе стали особенно популярными стихотворные сатиры, действие которых разыгрывалось на адском фоне с участием мифологических персонажей и с соответствующей бутафорией. В начале 1810-х гг. подобные стихотворные сатиры сочиняли многие будущие арзамасцы, в первую очередь К. Н. Батюшков и П. А. Вяземский; был среди них и юный Пушкин.

Начало целой серии подобных сатирических стихотворных опытов положило «Видение на берегах Леты» К. Н. Батюшкова, написанное не позднее октября 1809 г. Впервые в печати оно появилось очень поздно (1841), но получило известность вскоре же после своего создания, широко распространившись в многочисленных рукописных списках. Из писем Батюшкова к друзьям явствует, что поэт, долго и старательно исправлявший и дополнявший свое «Видение» и сам деятельно способствовавший его популярности в литературных кругах, в конце концов стал преувеличивать его достоинства и значение для текущей словесности. «Произведение довольно оригинальное, ибо ни на что не похоже», —

⁷⁰ Напечатано в «Новых ежемесячных сочинениях» (1789, № 4, с. 51). Отдельное издание, вместе с «Одой российским солдатам на взятие крепости Очакова. . .»; см.: Две оды на взятие победоносным российским войском г. Очакова. . . сочиненные: первая г. Т. . . м в царстве мертвых, вторая — отставным солдатом Моисеем Слепцовым. СПб., 1789. Два года спустя вторая из од, под заглавием «Русские солдаты. Гудошная песня. . . сочинена в Москве отставным служивым Моисеем Слепцовым» перепечатана в кн.: Комаров М. Разные письменные материи. М., 1791, с. 180; см.: Поэты XVIII в. 2-е изд. М., 1972, т. 2 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 43, 52, 496.

не без самодовольства писал он о «Видении» Н. И. Гнедичу,⁷¹ и позже в другом письме ему же (1 апреля 1810 г.): «Что же касается до твоего суждения о Лете, к которой ты относился с восхищением несколько раз, а теперь называешь только приятным вздором, то я тебе скажу свое мнение: она останется, переживет „Петриду“ Сладковского и „лирики“ Шихматова, не так, как какая-нибудь вещь совершенная, но как творение оригинальное и забавное, как творение, в котором человек, несмотря ни на какие личности, отдал справедливость таланту и вздору. Здесь (в Москве. — М. А.) оно из рук в руки ходит, и все из Питера».⁷² Лишь позже, узнав о разноречивых толках, которые «Видение» возбудило в публике, и о «гневе хилых наездников славенского Пегаса», Батюшкова испугался надвигавшейся на него из Петербурга грозы и с тех пор наотрез отказывался опубликовать его.

Напомним, что «Видение» Батюшкова начинается рассказом о том, как однажды он уснул, «Бобровым утомленный», и видел сон:

Как будто светлый Аполлон,
За что, не знаю, прогневленный,
Поэтам нашим смерть изрек,
Изрек — и все упали мертвы, }

И вот

Везде пирует алчна Смерть,
Косою острой быстро машет,
Богаду ниву аду пашет,
И губит Фебовых детей,
Как ветр осенний злак полей!

Батюшкову снится, что сначала души умерших поэтов попадают в Элизий (Елисейские поля), где их встречают «собратья по перу — Ломоносов, Херасков, Сумароков, Княжнин, Тредиаковский. Затем покойные поэты бредут «на берег тихой Леты» — той реки, из которой души умерших, по представлениям позднего античного мира, пьют забвение своей прожитой земной жизни.

Они в реке сей погрузят
Себя и вместе юных чад.
Здесь опыт будет правосудный:
Стихи и проза безрассудны
Потонут вмиг: Так Феб судил!
Сказал Эрмий — и силой крыл
От ада к небу воспарил.⁷³

Эрмий — это Гермес (греч. Ἑρμῆς), или Меркурий, вестник богов, гонец, исполнитель их воли. В дальнейших стихах «Видения» подробно повествуется о том, как исполнено было возвещен-

⁷¹ Б а т ю ш к о в К. Н. Соч. СПб., 1886, т. 3, с. 61.

⁷² Там же, с. 86.

⁷³ Б а т ю ш к о в К. Н. Полн. собр. стихотворений / Ред. Н. В. Фридман. Л., 1964, с. 94—96.

ное Эрмием веление Феба (Аполлона). Характерно замечание, которое Батюшков влагает в уста Фонвизину, тень которого присутствует при начале адского суда над покойными поэтами; его вершит Минос «певцам на страх, старик угрюмый и курносый»:

Ага! — Фонвизин молвил братьям, —
Здесь будет встреча не по платьям,
Но по заслугам и уму. . .⁷⁴

Будущие арзамасцы высоко оценили сатирическое «Видение» Батюшкова и неоднократно вспоминали это произведение, в котором поэт произвел нелицеприятный суд над русскими литераторами своего поколения. Очень понравилась оно П. А. Вяземскому, только что познакомившемуся с Батюшковым в Москве; в конце декабря 1809 или в начале 1810 г. в ответ на похвалы Вяземского «Видению» Батюшков прислал ему стихотворное послание «Лысец моей ленивой музы», где упрекал Вяземского за то, что тот

смеяся, мне, поэту,
Так кадилом накадил,
Что я в сладком упоеньи,
Позабыв стихотвореньи,
Задремал и видел сон:
Будто светлый Аполлон
И меня, шалун мой милый,
На берег реки унылой
Со стихами потащил
И в забвеньи потопил.⁷⁵

В свою очередь Вяземский написал Гнедичу (в конце апреля 1811 г.), что «Видение на берегах Леты» «смешнее» собственных сатирических стихов Вяземского, которые, по мнению Батюшкова, «очень остры и забавны».⁷⁶

Характерно, что ряд сатирических произведений Вяземского также создавался в том же жанре «разговоров мертвых». Так, в 1810 г. после смерти поэта С. С. Боброва (умершего в Петербурге 22 марта этого года) П. А. Вяземский вывел покойного в стихотворении под прозрачным именем Бибриса, называя его «певцом ночей» (очевидно, намекая на его поэму «Рассвет полночи», 1804). Действие в этом стихотворении происходит также в аду, куда тень Боброва является, чтобы укрыться от непогоды и погреться у адского огня; однако владыка ада гонит его, так как здесь никто никогда не слышал его имени:

Быль в преисподней
— Кто там стучится в дверь? —
Воскликнул Сатана. — Мне недосуг теперь.
— Се я, певец ночей, шахматно-пегий гений
Бибрис! Меня занес к вам ветр осенний,

⁷⁴ Там же, с. 96.

⁷⁵ Там же, с. 245—246.

⁷⁶ Там же, с. 327.

Погреться дайте мне, слезит дождь в уши мне!
— Что врешь ты за сумбур? Кто ты? Тебя не знают!
— Ага! Здесь, видно, так, как и на той стране, —
Покойник говорит, — меня не знают! ⁷⁷

Это стихотворение Вяземского напечатано было в ноябрьской книжке «Вестника Европы» 1810 г., а несколько месяцев спустя в том же журнале (1811, № 4, февраль) появилась «русская баллада» Жуковского «Громобой», из которой позже заимствовано было арзамасское прозвище Вяземского — Асмодей;⁷⁸ это имя в балладе имеет бес-искуситель, один из помощников адского владыки. Вяземский получил это прозвище, вероятно, по своему пристрастию к адской тематике, к которой он охотно прибегал несколько лет в своей литературной деятельности и даже в бытовых шалостях. Так, например, в середине 1810-х гг. П. А. Вяземский забавлялся сочинением шуточных писем «Из того света» для великосветских развлечений. Два таких письма под этим заголовком и с обозначением места, где они будто бы написаны (Елисейские поля), внесены самим Вяземским в его «Записную книжку». По-видимому, эти послания читались им на масленичном маскараде, данном в Москве П. Ю. Кологривовой в 1815 г. Первое было написано от лица основателя Москвы кн. Юрия Долгорукого и адресовано присутствовавшему на бале московскому главнокомандующему А. П. Тормасову, деятельно занимавшемуся восстановлением Москвы после пожара 1812 г. Второе шуточное послание «с того света» сочинено было Вяземским от имени И. И. Хемницера (1745—1784) и обращено к И. И. Дмитриеву, также, вероятно, присутствовавшему на том же московском бал-маскараде. Это письмо содержит в себе упрек покойного баснописца Хемницера, обращенный к И. И. Дмитриеву за то, что тот, став министром юстиции (между 1810—1814 гг.), прене-

⁷⁷ Вяземский П. А. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1958 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 53.

⁷⁸ Хотя «Громобой» Жуковского (первая баллада из «Двенадцати спящих дев») сюжетно восходит к роману немецкого писателя Хр. Шписа, в котором обработаны и русифицированы средневековые легенды о человеке, продавшем душу дьяволу, имя беса-искусителя Асмодей заимствовано из романов Гевары и Лесажа; этот библейский демон — персонафикация плотской любви и вожделения. В балладе Жуковского, действие которой сосредоточено в Древней Руси, Асмодей убеждает Громобоя продать ему душу:

— Ханжи-причудники твердят:
Лукавый бес опасен.
— Не верь им — бредни; весел ад;
Лишь в сказках он ужасен.
Мы жизнь приятную ведем,
Наш ад не хуже рая.
Ты скажешь сам, лжуя в нем,
Хоть в аде жизнь прямая. . .

(Жуковский В. А. Стихотворения. Изд. 2-е Л., 1956 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 349).

брегал своими литературными занятиями. В этом письме, в частности, говорилось: «Именем Лафонтена и всей шайки избранных писателей, отпущенных на покой, делаю вам строгие укоризны за то, что вы покинули наше ремесло, которое поддерживалось вами в России. Когда важнейшие занятия оспаривали право на ваше время и отечество требовало от вас иных услуг — мы молчали. Но теперь, когда отдых заменил деятельную и полезную жизнь, с горем и негодованием видим в вас неверного брата. Удовлетворите скорее справедливому требованию нашему и примите жезл владычества, похищенный в междуцарствии лжецарями». Письмо заключает следующая подпись псевдо-Хемницера: «По старшинству лет ваш учитель, а по старшинству дарований ученик Хемницер».⁷⁹

В начале 1816 г. Вяземский стал одним из деятельнейших членов арзамасского братства, на заседаниях которого, как мы уже упоминали, весьма культивировался жанр «разговоров мертвых» и сочлены кружка не раз могли вспоминать стихотворение Батюшкова «Мои пенаты» (Послание к Жуковскому и Вяземскому, 1811—1812), в особенности следующие стихи (166 и след.):

Пускай веселы тенп
Любимых мне певцов,
Оставя тайны сени
Стигийских берегов
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетят на голос лирный
Беседовать со мной!
И мертвые с живыми
Вступили в хор един!⁸⁰

Эти стихи представляют собою напоминание о «Видении на берегах Леты» и как бы продолжают или завершают его. Мысль поэта обращается снова к «реке забвения» не для беспристрастного суда над поэтами; он призывает любимых «жрецов Феба», которым Хариты плетут «бессмертные венки», оставить берега рек подземного мира и слететься к нему «веселой толпой», в его скромное жилище для беседы. Это призыв к мертвым «пиитам-наставникам» объединиться с живыми. Это один из постоянных мотивов арзамасской поэзии, где он нередко звучит, прорываясь сквозь шутки и буффонады пародических стихов. «Поэтический ад Арзамаса» упоминается в юмористических и сатирических протоколах братства,⁸¹ и нисхождение в ад и возвращение теней на землю

⁷⁹ Вяземский П. А. 1) Полн. собр. соч. СПб., 1884, т. 9, с. 3—5; 2) Записные книжки. 1833—1848 / Изд. подг. В. С. Нечаевой. М., 1963, с. 10—11.

⁸⁰ Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений, с. 138.

⁸¹ Напомним здесь еще одно эпиграмматическое стихотворение Батюшкова, посланное в письме к редактору «Цветника» А. Е. Измайлову и напечатанное в этом журнале под заглавием «На перевод Генриады, или Превращенный Вольтер» (Цветник, 1810, № 2, с. 229—230). В стихотворении этом

из преисподней постоянно повторяются как поэтические мотивы, пригодные для создания произведений в различных родах, в частности замысловатых метафор арзамасского поэтического стиля.⁸²

Все это мы находим также в литературных опытах юного Пушкина, которому были хорошо известны все произведения, упомянутые нами выше, в лицейский период его жизни. В стихотворении «Городок» (1815) Пушкин упоминает «потаенну сафьянову тетрадь», в которую он переписал батюшковское «Видение на берегах Леты»:

И ты, насмешник смелый,
В ней место получил,
Чей в аде свист веселый
Поэтов раздражил,
Как в юношески леты
В волнах туманой Леты
Их гуртом потопил. . .

В позднейшем отзыве о «Видении на берегах Леты» Батюшкова Пушкин также хвалил эту его сатиру: «умно и смешно» (XII, 276). А в том же году, когда написан «Городок», создано Пушкиным и собственное сатирическое стихотворение «Тень Фонвизина»

осмеян петербургский переводчик, наказанный в аду в традиционной обстановке за плохой перевод вольтеровской эпической поэмы:

Что это! — говорил Плутон. —
Остановился Флегетон,
Мегера, фурии и Цербер онемели,
Внимая пенью твоему,
Певец бессмертной Габриелли?
Умолкни! Но сему
Безбожнику в награду
Поищем страшных мук, ужасных даже аду.

(ср.: Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер: XVIII—первая треть XIX в. Л., 1978, с. 137—138). Возможно, в сочинении этой эпиграммы принял участие также А. Е. Измайлов, и сам не брезговавший сочинением в жанре «разговоров мертвых».

⁸² В. С. Краснокутский в статье «О своеобразии арзамасского наречия» (в кн.: Замысел, труд, воплощение. М., 1979, с. 30) пишет: «Загробное царство изображается Батюшковым бытовым, сниженным и, как весь остальной мир, осмысляется весело и свободно». Лета и прочие адские реки постоянно упоминаются в арзамасских бумагах. Д. П. Северин в шуточной речи, обращенной к М. Ф. Орлову, имевшему в «Арзамасе» прозвище «Рейн», намеренно прибегал к забавной игре «водяными» метафорами, говоря то о «реке забвения» Лете, то о вдохновляющих «Кастальских струях» (см.: Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 213). В. А. Жуковский, посвящая в члены братства В. Л. Пушкина, проводил параллель между певцом Буянова и «предком» его Данте, уподобляя «Опасного соседа» «Божественной Комедии» (там же, с. 143—144; ср. в кн.: От классицизма к романтизму. Л., 1970, с. 51—54). В подготовленной для чтения в «Арзамасе» речи будущего декабриста Н. И. Тургенева (1817) также развит мотив о погружении в воду бездарных сочинений членов «Беседы», Лета превращается в Неву, куда «мертвецы» «Беседы» бросают «кипы непереплетенных печатных листов», чтобы по ним перейти на другой берег реки и попасть в Росийскую академию; см.: Дневники и письма Н. И. Тургенева. Пг., 1921, т. 3, с. 32.

(1815). На фоне приведенных нами цитат это большое произведение лицейских лет, никогда им самим не печатавшееся, представляется вполне органически выросшим из его чтений 1810-х гг. и обязанным в первую очередь Батюшкову с его «Видением» и посланием к П. А. Вяземскому и стихотворением «Мои пенаты». Это уже давно отмечено было исследователями. «„Видение“ Батюшкова, — справедливо утверждает Н. В. Фридман, — увлекло раннего Пушкина прежде всего потому, что оно поддерживало в нем решимость строго „пересмотреть“ и оценить творчество как старых, так и новых поэтов. В поэзии раннего Пушкина на все лады повторялся батюшковский образ реки забвения, в которую должны погрузиться вещи плохих стихотворцев. Идейную схему „Видения“ Пушкин положил в основу своей „Тени Фонвизина“ < . . . > Вся художественная ткань „Тени Фонвизина“ пронизана батюшковскими мотивами».⁸³ Не забудем, однако, что, как уже указывалось нами выше, Пушкин приписывал именно Фонвизину памфлет «Жизнь некоего мужа и перевоз курioзной души его через Стикс-реку» и в «Видении» Батюшкова не мог не обратить внимание на тень Фонвизина — самую умную и беспристрастную из всех писательских душ, выведенных здесь сатириком: Фонвизин — единственный из всех писателей понимает, что суд над ними будет нелицеприятным. Пушкин помещает его в Элизий и так начинает свою сатиру:

В раю, за грустным Ахероном,
Зевая, в рощице густой,
Творец, любимый Аполлоном,
Увидеть вздумал мир земной.
То был писатель знаменитый,
Известный русский весельчак,
Насмешник, лаврами повитый,
Денис, невежде бич и страх.
«Позволь на время удалиться, —
Владыке ада молвил он, —
Постыл мне мрачный Флегетон
И к людям хочется явиться».
— «Ступай» — в ответ ему Плутон. . .

(I, 156, 458)

Лета, а также другие подземные реки античной мифологии — Ахерон, Флегетон, Стикс — многократно и по разным поводам упоминаются Пушкиными и его литературными друзьями в их поэтических произведениях второго десятилетия XIX в. В это время названия «адских» рек превратились уже в своего рода поэтические штампы и являлись для поэтов как бы воображаемыми передвижными декорациями, служившими фоном для тех или иных ситуаций в повествованиях или поэтических характеристик настроений или психологических состояний. Так, Лету мы встре-

⁸³ Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971, с. 341—342; см. также: Модзалевский Л. Тень Фонвизина: Неизд. сатирич. поэма Пушкина // Лит. наслед. М., 1934, т. 16—18, с. 815—824.

чаем в послании к Кривцову («Не пугай нас, милый друг, гроба близким новосельем», 1817), где поэт высказывает свою заветную мысль о смерти в пору цветущей юности, среди пиров и радостей жизни. «Смертный миг наш будет светел», — утверждает Пушкин, отвечая «безбожнику» Н. Кривцову; полны оптимизма и жизнелюбия мечты поэта о том, как друзья сядут каждый на порог своей гробницы:

Круговой нальем сосуд —
И толпою наши тени
К тихой Лете убегут. . .
(II, 50)

«Тихая Лета» превращается у Пушкина в «томную Лету» в более позднем стихотворении с «адской» тематикой — «Прозерпина» («Плещут волны Флегетона», 1824), проникнутом тонким, полным изящества эротизмом: «Ада гордая царица», обняв смертного возлюбленного, мчится с ним в свои подземные владения,

. . . и колесница
Уж к аиду их несет:
Мчатся, облаком одеты;
Видят вечные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега. . .
(II, 319)

Как известно, «Прозерпина» представляет собой очень вольный перевод 27-й картины (Tableau XXVII) поэтического цикла Э. Парни «Переодевания Венеры» («Les deguisements de Vénus»), но Пушкин превзошел подлинник, приблизив свое стихотворение к античным образцам; он устранил из него некоторые мелкие детали и ввел в его текст привычные для собственной стихотворческой практики античные имена и названия. Так, вместо термина «les enfers», употребленного Парни, у Пушкина мы находим отсутствующие у французского поэта Лету, Элизий, Флегетон, нимф Пеллиона;⁸⁴ все эти слова у Пушкина полны ассоциаций и эмоционально окрашены. Добавим к этому, что мифы о Прозерпине Пушкин знал с отроческих лет: лицеистам Царского Села была хорошо известна скульптурная группа «Плутон и Прозерпина»,⁸⁵ а позднее он узнал их из учебных пособий и по произведениям Овидия и Вергилия.

⁸⁴ Я к у б о в и ч Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941, вып. 6, с. 147.

⁸⁵ Там же, с. 117. Добавим, что автором героини-комической поэмы «Похищение Прозерпины» (1795) был Ефим Петрович Люценко (1776—1859), в 1811—1813 гг. занимавший должность секретаря хозяйственного правления Царскоевельского лицея; в это время и состоялось его знакомство с Пушкиным; немало неприятностей доставило Пушкину в конце жизни издание поэмы Люценко «Вастола, или Желания» (СПб., 1836). Ср.: Модзалевский Б. Л. Пушкин и Е. П. Люценко // Рус. старина, 1898, т. 94, апрель, с. 73—88.

Лета упоминается Пушкиным еще несколько раз, всегда с новым эпитетом, приспособленным к общему стилю текста, в который включалось ее название, при сохранении основного мифологического значения. Так, Лета дважды встречается в «Евгении Онегине», один раз — сообщая еще более печальный, погребальный колорит сентиментально-романтической элегии Ленского:

А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня. . .

(Глава шестая, строфа XXII)

а также ранее, в авторском отступлении:

И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной,

(Глава вторая, строфа XL)

где Лета — простая метафора слова «забвение» (как и в эпиграмматической «Истории стихотворца», написанной между 1817 и апрелем 1820 г.; см. II, 120).

Знаменательнее упоминание Леты в стихотворении Пушкина «Люблю ваш сумрак неизвестный» (1822) — философском размышлении поэта об ожидающей человека смерти. Несомненно, что Пушкин любил это стихотворение, имевшее ряд авторских редакций. Пушкин включил его в перечень произведений, предназначенных для издания в своей книге 1829 г., и дал ему заглавие по пятой строке — может быть потому, что этот стих («Вы нас уверили, поэты») оставался в его памяти как наиболее существенный для первой половины стихотворения:⁸⁶

Вы нас уверили, поэты,
Что тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.
Они уныло навещают
Места, где было все милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертие вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей. . .

(II, 753—754)

Кто те поэты, которых Пушкин имел в виду? В первую очередь здесь подразумевался, конечно, Батюшков с его «Видением» и

⁸⁶ См.: Морозов П. О. Из заметок о Пушкине // Пушкин и его современники. СПб., 1913, вып. 16, с. 115; Рукою Пушкина, с. 240.

особенно стихотворением «Мои пенаты. Послание к Жуковскому и Вяземскому», что могло послужить причиной множественного числа в слове «поэты» у Пушкина («Вы нас уверили, поэты. . .»); но к Батюшкову Пушкин мог бы в данном случае причислить и самого себя как автора «Тени Фонвизина», где, как мы видели, идет речь о посещении здравствующих русских писателей тенью их старого собрата, которому наскучил Элизий.⁸⁷ Различие между этими произведениями — выдержанным в лирическом тоне пушкинским стихотворением «Вы нас уверили, поэты» и проникнутыми сатирико-юмористической интонацией «Видением» Батюшкова и «Тенью Фонвизина» самого Пушкина — возобновляет вопрос об их источниках.

Исследователи Батюшкова и Пушкина уже с давних пор ссылались на «Энеиду» Вергилия как на несомненный и важнейший источник русских поэм о нисхождении в ад живых писателей и о беседах с мертвыми на литературные темы на земле и в подземном мире. В «Видении на берегах Леты» сам Батюшков указал на этот источник, откуда он заимствовал поэтическое сравнение толпы теней у берегов Леты с осенними листьями, развеянными порывами ветра. Имелась в виду VI песнь «Энеиды»,⁸⁸ где описано сошествие в ад Энея и Сивиллы. Однако отношение к Вергилию, в частности как автору «Энеиды», у Батюшкова и Пушкина было различным и пережило значительную эволюцию. Известно, что, гуляя по берегам царсколеских озер с томиком Вергилия в руках («с моим Мароном»), Пушкин, вероятно, пользовался не только переводами — французскими или русскими, но и латинским оригиналом; в памяти Пушкина от школьных лет сохранилось лишь несколько латинских цитат, удержанных и в собственных поэтических текстах или эпиграфах. Так, латинский эпиграф к стихотворению «Поэт и толпа»: «Procul este, profani» («Отойдите, непосвященные») — представляет собою слова Сивиллы при входе с Энеем в подземное царство («Энеида», VI песнь, стих 258). Тем не менее Пушкин отказывался следовать совету Батюшкова проститься с Апраксоном, «петь войну и спешить за Мароном», а в послании к Давыдову (1824) Пушкин не случайно назвал Вергилия «чачотчным отцом немного тощей Энеиды». В «Сцене из Фауста» пушкинский Мефистофель говорит Фаусту:

Скажи, когда ты не скучал?
Подумай, поищи. Тогда ли,
Как пад Вергилием дремал,
А розги ум твой возбуждали?
(II, 435)

⁸⁷ Еще И. Н. Розанов в книге «Русская лирика» (М., 1914. с. 255—256) справедливо отметил, что представляющая Батюшкова об античном Элизии, усвоенные и Пушкиным, описываются картинами христианского рая; см. также: Фридрих Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971, с. 76, 103, 105.

⁸⁸ Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1887, т. 1, кн. 2 с. 78—79, 326. «Сделавшая автором в примечании к . . . ссылка на VI песнь „Энеиды“ имеет в виду напомнить находящееся в этой песне описание сошествия Энея в ад, причем на берегах Ахерона Элей видит толпу мятущихся теней: *Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat* (стих 305)».

К этим словам существует любопытная параллель — черновой вариант к известным стихам начала восьмой главы «Евгения Онегина»: «читал украдкой Апулея, а над Вергилием зевал»; несомненно, что здесь в обоих случаях шла речь о преподавании Вергилия в классах Лицея.⁸⁹

Отметим, кстати, что в лицейские годы Пушкин встречался с поэтическими опытами однокашников, которые пользовались популярной формой «разговоров мертвых», создававшихся под перекрестным воздействием «адской» VI песни «Энеиды» и восторженных отзывов о Вергилии Вольтера. Так, в № 3 рукописного журнала лицейстов первого курса «Лицейский мудрец» (1815) была помещена юмористическая «сказка» под заглавием «Деяния Мартына в аду», осмеивающая, очевидно, губернатора-инспектора Лицея Мартына Степановича Пилецкого. Эта сатира начиналась следующими стихами:

Уже все верили Христу,
Лишь были идолы в аду.
Тогда Мартын, с тоской,
С иконою святой,
В ужасную сию страну пошел.
Уже он счастливо Коциту перешел
И Стикс уж переходит,
Как Цербер страшный вдруг к нему приходит.

Когда Мартыну удастся укротить чудище преисподней своим красноречием, Цербер допускает его к своему владыке — Плутону:

К царю уж он достиг,
И вмиг
Крестить его он стал.
Плутон, собрав весь ад,
Мартына стал катать,
Мартына по щекам;
Мартына по зубам;
Мартын кричит, ревет,
Из ада не идет.
Но, наконец, Мартын убрался, —
И окрестить Плутона отказался.⁹⁰

Жанровое родство этой лицейской сатиры с «разговорами мертвых» не подлежит сомнению; характерно, однако, что эта застывшая форма здесь уже преобразована: в ад является не тень умершего, несущая на себе все приметы, которые умерший имел при жизни, как в «Жизни некоего муромца», но живой человек, который получает изрядную встрепку и которого оттуда прогоняют все

⁸⁹ Об изучении Вергилия Пушкиным подробнее см.: Покровский и М. М. Пушкин и античность // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 37—38; Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Там же, вып. 6, с. 110—111.

⁹⁰ Цит. по: Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1814—1817): Бумаги I курса, собранные академиком Я. К. Гротом. СПб., 1911, с. 281—282

властители во главе с самим Плутоном. Отметим, с другой стороны, что в этой лицейской «сказке» многое напоминает уже приведенные выше отрывки пушкинского замысла «адской поэмы»: с ними сходствует в лицейской «сказке» и общий сатирический тон, проникнутый духом атеистической вольности, и даже «адская» топография, отзывающаяся школьными уроками мифологии, — Коцит и Стикс имеют те же самые источники, что и Ахерон и «горящий Флегетон»⁹¹ пушкинских фрагментов «адской поэмы».⁹² Впрочем, «Энеида» Вергилия отнюдь не являлась у нас единственным источником сведений о «закоцитном» мире, как называл подземное царство мертвых Дельвиг,⁹³ в полном соответствии с ан-

⁹¹ Впрочем, вся топография античного «Гартара», или «Аида», в то время была хорошо известна любому русскому стихотворцу. Важным пособием для этого служила VI песнь «Энеиды» Вергилия, где ад и преддверие к нему были описаны во всех подробностях; упомянуты здесь волны Ахерона, Флегетон, Коцит и места «ночного безмолвия» (стихи 265, 295, 297). Широко была известна также статья «Einfeg» в различных редакциях и модификациях «Философского словаря» Вольтера. В поэме Ф. П. Дмитриева-Мамонова (1727—1801) «Любовь» (1771), в последней, VII песни, дается подробное описание ада — «жилища спл подземных», — где есть следующие стихи:

Ад сводами покрыт над множеством пещер.
Пещеры темны все, и все суть розных мер.
Но в тех, что столь вдали стоят от адска трона,
Тем ощупом идут, идя до Флегетона.
Река сия горит от серных сил своих;
Четыре там реки несчастных таковых.
Там горький Ахерон, Коцит есть полн слезами,
Стикс с ужасом есть чтим и самыми богами
и т. д.

В этой же песне «дворянина-философа» идет речь о том, что истинно любящие преодолевали различные преграды, чтобы видеть своих возлюбленных; здесь упомянуты спускавшиеся в ад мифологические персонажи — Геркулес, Орфей и т. д.; см.: Поэты XVIII в. 2-е изд. Л., 1972, т. 1 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 439—441.

⁹² Другую аналогию этим фрагментам дает тот же лицейский журнал «Лицейский мудрец». Здесь помещен диалог «Демон Метромании и стихотворец Гезель», где демон, обращаясь к доморощенному поэту, говорит ему: «Я привез на хвосту тебе письмо». Что под «стихотворцем» в этом сатирическом диалоге имелся в виду В. К. Кюхельбекер, заметно и из приложенного к тексту диалога рисунку; демон изображен здесь весьма карикатурно, в виде тщедушного бесенка (см.: Г р о т К. Я. Пушкинский лицей, с. 293). Хвост и для Пушкина, очевидно, являлся устойчивой приметой беса. Напомним, что десятилетием позже своей «адской поэмы», в написанной по-французски программе Пушкина к «Сценам из рыцарских времен» (1835), этот бесовский хвост упомянут еще раз, но в связи с Фаустом: пьеса должна была заканчиваться «рассуждением и появлением Фауста на хвосте дьявола». Впрочем, из контекста явствует, что этот Фауст не имел никакого отношения к творению Гете, как, естественно, и этот Бес — к Мефистофелю. См.: П у ш к и н. Полн. собр. соч. Л., 1935, т. 7. Драматические произведения, с. 339.

⁹³ А. А. Дельвигу принадлежит небольшое стихотворение «Н. И. Гнедичу» (1820), напечатанное в альманахе «Северные цветы на 1825 г.» (с. 55) и начинающееся стихами:

Муза вчера мне, певец, принесла закоцитную новость;
В темный недавно Айдес тень славяница пришла. . .

тичной мифологической окраской представлений об этом мире лицейстов и группы молодых русских поэтов начала XIX в. У Батюшкова адский пейзаж с упоминанием Ахерона встречается в подражании элегии другого римского поэта — Тибулла.⁹⁴ Для всех довольно многочисленных у нас сатирико-юмористических описаний адских территорий поэма Вергилия не могла служить наилучшим образцом: она слишком была полна пафоса и торжественности во всех описаниях и подробностях. Существовала, однако, еще одна группа поэм шуточного, юмористического стиля, которую стоило бы принимать во внимание для всех русских поэтических произведений того времени о нисхождениях в ад. Это бурлескные поэмы, и в первую очередь трагестированные «Энеиды», которые Пушкин хорошо знал.

В 1781 г. поэт и переводчик Николай Петрович Осипов (1751—1799) начал печатать свою перелицованную «Энеиду», которую он написал, взяв за образцы героико-комическую поэму французского писателя Поля Скаррона «Le Virgile travesti en vers burlesques» (1648)⁹⁵ и поэму немецкого поэта Блюмауэра «Virgil's Aeneis oder Abenteuer des frommen Helden Aeneas» (1784—1788). Творение Осипова «Виргилиева Энеида, вывороченная наизнанку» имело большой успех. Вслед за двумя первыми частями этой поэмы, вышедшими вместе в 1791 г., Осипов в 1794 г. выпустил 3-ю часть и в 1796 г. — 4-ю. Второе издание четырех частей вышло в свет в 1800 г. Закончил все это произведение А. Котельницкий (5-я часть появилась в 1802 г., 6-я — в 1808 г.).

Шестая песнь «Энеиды, вывороченной наизнанку» Осипова находится в 3-й части его сочинения (1794). Центральным эпизодом данной части здесь, как и у Вергилия и его новейших западноевропейских перелицовщиков, является подробный и длинный рас-

⁹⁴ Стихотворение Батюшкова «Тибуллова элегия» напечатано в журнале «Вестник Европы» (1809, № 23, с. 198—199). Это очень вольный перевод третьей элегии III книги (Eleg., III, 3) римского поэта, строго говоря даже не перевод, а лишь подражание, порой весьма далеко отходящее от латинского оригинала. Заключительные стихи элегии у Батюшкова читаются так:

Пускай теперь сойду во области Плутона,
Где блата топки и воды Ахерона
Широкой щезию вокруг ада облежат,
Где беспробудным спом печальны тени спят. . .

В латинском тексте нет ни «вод Ахерона», ни Плутона; Неера превращена в Делию и т. д. Подробное сопоставление текстов элегий Тибулла и Батюшкова см. в кн.: K a z o k n i e k s M. Studien zur Rezeption der Antike bei russischen Dichtern zu Beginn des XIX Jahrh. // Slavistische Beiträge, 1968, Bd 35, München, S. 92—103. Исследовательница, в частности, отмечает, что немецкий переводчик Тибулла И. Фосс еще в 1785 г. высказывал сомнения относительно принадлежности Тибуллу всей III книги «Элегий», и эти сомнения не устранены донныне. См. кн.: S c h a n z M., H o s i u s G. Geschichte der römischen Literatur, 1935, Teil 2. S. 186.

⁹⁵ Эта книга Скаррона была в библиотеке Пушкина в лионском издании 1728 г. См.: М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека Пушкина. СПб., 1910, с. 330, № 1354.

сказ о нисхождении Энея в ад.⁹⁶ В этой части Осипов отличается чрезмерной болтливостью; отступления его от образцов довольно обширны, а юмористика порою тяжеловесна и поэтический текст походит на черновую импровизацию; не подвергнувшись достаточной литературной обработке. Но собственные вставки и амплификации Осипова все же очень характерны для его стилистической манеры. В начале песни автор восклицает:

О вы, глубоких стран и темных
Бурмистры, старосты, писцы,
Которые в щелях подземных
Владеете во все концы!
Хотя вы все и молчаливы,
Но будьте для меня столь чивы,
И помогите описать
Жизлица ваши пояснее,
Неужто Марона умнее
Никто не может написать? ⁹⁷

Обращает на себя внимание, что в начале этой песни Осипов делает вставку о троянских солдатах, прибывших вместе с ним на кораблях к берегу Кум. Пока Эней посещает храм Аполлона и сводит знакомство с местной Сивиллой, с чьей помощью он надеется добиться у богов дозволения на посещение ада для свидания с тенью своего отца Анхиза, троянские солдаты развлекаются так как умеет: «иные, жаждой утомяся, искали, где бы им подпить»; другие на площади играли в кости, иные

. . . с горя и печали
Зашед в укромные места,
С досады крупко козыряли
В Хлюст, в Едну, в Горку, в Три листа,
Воспоминная о певзгоде.
В троянском балагурном роде
Манао, Ломбер, Вист, Бостон
В то время были неизвестны
И меж солдат совсем невместны;
Простой там был картежный звон.⁹⁸

⁹⁶ См.: Ирон-комическая поэма / Ред. и примеч. Б. Томашевского. Л., 1933, с. 338. Стихотворному тексту предшествует следующее изложение содержания VI песни: «Каким образом храбрый витязь Еней узнал от Кумской Сивиллы будущую свою судьбину и пустился путешествовать во ад.

⁹⁷ Там же, с. 360.

⁹⁸ Там же, с. 339—340. В приведенной цитате противопоставлены карточные игры, бывшие популярными в русской мещанской и дворянской среде (названия их выделены курсивом). От названия «Хлюст» происходит словечко «хлюзда», со значением «шлут, обманщик, мошенник, шулер», отмеченное в словаре В. И. Даля (Д а л ь В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, СПб., 1882, т. 4, с. 553). «Форкп есть одна из известнейших картежных игр, в настоящее время в России употребляемых, и, несмотря на то что состав игры сей, основанной совершенно на счастье, столь завлекателен, что при малейшей горячности, а особливо во случае проигрыша, можно проиграть в нее в несколько часов весьма большую сумму. она имеет множество приверженцев, а особливо между людьми среднего состояния». — говорится в книге «Новейший русский карточный игрок» (1809; цитировано Б. В. Томашевским в кн.: Ирон-комическая поэма, с. 761).

Преддверие ада, описанное Осиповым, как и у Вергилия, напоминает по планировке типичный римский богатый дом: с улицы входили на просторную площадь перед дверями самого жилища, где приходящие ожидали доступа в приемную. В толпе ожидающих, куда входит Эней, он видит сначала Дремоту, которая «их приняла весьма учтиво», а затем Смерть собственной персоною:

Потом им Смерть своей косою
Отбрякнула по-свойски честь,
Ведя толпами за собою
Все, что у ней в команде есть:
Войну, Дуели, Голод, Муку,
Раздор, Бражду, Мор, Зависть, Скуку.⁹⁹

Далее при описании собственно адских владений мы встречаем в «Энеиде» Осипова знакомый, выдержанный в мрачных красках пейзаж с адскими реками и перевозчиком Хароном, но очень сниженный по стилю:

Потом в дальнейший путь пустились,
К столице адской чтоб дойти;
И тут препятствия появились
На самом лучшем их пути.
Дошли до речки Ахерона,
Котора в аде у Плутона
Главнейшею течет межой
В поганом будто бы корыте
И во болотистом Коците
Вонючий бег кончает свой.¹⁰⁰

Когда же Эней достигает цели и встречает тень своего отца:

Тогда случились в аде святки,
И все играли ворожкой;
Анхиз же был не без догадки,
То вздумал взять его с собой
В святочну бабью вечеринку,
Чтобы троянского детинку
Повеселее угостить:
Дабы ему в стране Плутона
В веселостях быть без урона,
И время все шутя прожить.

Следующее затем описание святочных увеселений в аду и обрядовых игр и гаданий отзывается русским фольклором:

Святочные во аде ночи
Текли в гульбах все и ппрах;
Гуляли все, что было мочи,
Шумя на разных голосах;
Девичьи шайки многолюдны
Причали песенки подблюдны,
Загадывая меж собой;

⁹⁹ Прон-компьеская поэма, с. 361.

¹⁰⁰ Там же, с. 367—368.

Борису свадебку играли;
Жгутом Игумна прогоняли,
Резвились в фанты, Шемелой.

Зажегли спичку иль лучинку,
Передавали ту вокруг,
Играя оною в курилку,
Покамест не погаснет вдруг;
С разбега на снежок сложились;
Мужчин прохожих торопились
Об имени скорей спросить;
Сбирали разные игрищи;
Ходили в баню, на кладбищи,
В кокошню, в курник ворожить.¹⁰¹

Эта картина невольно приводит на память соответствующие строфы о гадании Татьяны в «Евгении Онегине» (VI, 100—101).

Пушкин, несомненно, хорошо знал русские шутливые и трагестированные поэмы XVIII в. — В. И. Майкова, И. П. Осипова, А. Котельницкого, Е. Люценко и т. д., интересуясь языковыми экспериментами этих поэтов, их поисками и находками в обширной области народно-разговорной речи, используемыми в обработках, адресованных русскому третьесословному читателю. В этих произведениях Пушкин безусловно наталкивался также на отзвуки русского фольклора разных жанров.¹⁰²

¹⁰¹ Там же, с. 400—401.

¹⁰² К приведенной нами выше аналогии между описанными Осиповым в VI песни его «Энеиды» праздничными увеселениями в адском дворце Плутона и святочными гаданиями Татьяны в «Евгении Онегине» можно прибавить еще один «пример возможного отзвука осиповской Энеиды в сказке Пушкина», на который указывает В. А. Десницкий в статье «О задачах изучения русской литературы XVIII века». Он приводит цитаты из обращения Кумской Сивиллы к Энею перед их сошествием в ад; Сивилла советует сорвать золотую ветвь с волшебного дерева и принести ее в подарок Прозерпине:

В лесу густом, непроходимом,
На дереве одном любимом
Мертвеческой земли богам
Растут отменно наливные
Садовы яблоки большие;
Увидишь, подивисься сам.
Знай, те деревья не простые,
Какие в наших здесь садах;
На них все ветки золотые,
Растут на гладеньких сучках
и т. д.

(Ирои-комическая поэма, с. 49—50, 349—350).

Ср. в речи поварихи в «Сказке о царе Салтане» Пушкина:

Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд
и т. д.

Первые части «Энеиды» Осипова вызвали противоречивую оценку Карамзина. «По справедливости можно сказать, что в нашей вывороченной наизнанку Энеиде есть много хороших и даже в своем роде прекрасных мест», — писал Карамзин в 1792 г. в своем журнале; приведя несколько примеров, он продолжал: «Если бы вся Энеида была так травестирована, то я поздравил бы русскую литературу с хорошим и весьма хорошим комическим произведением; но, к сожалению, много и слабого, растянутого, слишком низкого; много также нечистых или противных ушам стихов».¹⁰³ Если бы Карамзин давал свой отзыв о творении Осипова после издания последующих частей «Энеиды», то он, вероятно, осудил бы резко проявлявшиеся в них черты религиозного вольномыслия (частично объясненные немецкой «Энеиде» Блюмауера, явно направленной против католического духовенства), что в свою очередь должно было привлекать в ней юного вольтеррианца Пушкина. «Известно всякому, с какою благодарностью принята была публикою Энеида Осипова; превосходное в своем роде творение, какого только ожидать было можно», — писали Е. Люценко и А. Котельницкий в предисловии к написанной им шуточной поэме «Похищение Прозерпины» (1795; 2-е изд. — 1805).¹⁰⁴ Это мнение сохранилось и позже: в 1823 г. в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России», опубликованной в первой книжке «Полярной звезды», А. А. Бестужев противопоставил Осипова Майкову: «В шутовском роде (burlesque) известны у нас Майков и Осипов. Первый < . . . > оскорбил образованный вкус поэмою *Елисей*. Второй в *Энеиде наизнанку* довольно забавен и оригинален».¹⁰⁵ Как известно, это противопоставление вызвало осудительное замечание Пушкина, вероятно, усмотревшего здесь противоречие, в которое впадал Бестужев в статье, отстаивавшей значение принципа народности для русской литературы. В письме к Бестужеву от 13 июня 1823 г. Пушкин спрашивал его: «Зачем хвалить холодного, однообразного (в черновике было сначала «неестественного», потом зачеркнуто. — М. А.) Осипова, а обижать Майкова. — Елисей истинно смешон» (XIII, 64). Приведя в качестве иллюстрации несколько примеров из поэмы Майкова, Пушкин сопроводил их своими замечаниями: «Ничего не знаю забавнее. . .», «все это уморительно»; в том же письме, предлагая Бестужеву для очередной книжки альманаха отрывок из «Братьев разбойников», Пушкин, имея в виду то же осуждение критиком Майкова, писал: «. . . если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Полярной Звезды, то напечатай его» (XIII, 35). Не забудем, что это написано еще до того, как в черновых тетрадах Пушкина появились первые наброски задуманной поэтом «адской поэмы».

¹⁰³ Моск. журн., 1792, май, ч. 6, с. 205—208.

¹⁰⁴ Ироп-комическая поэма, с. 574.

¹⁰⁵ Полярная звезда / Изд. Бестужевым и Рылсевым. М.; Л., 1960, с. 17 и 959. См. также: Г у д з и й Н. К. «Энеида» И. П. Котляревского и русская травестированная поэма XVIII в. // Вестн. Моск. унив., 1950, № 7, с. 133.

Если Пушкин так хорошо помнил старинную поэму Майкова «Елисей, или Раздраженный Вах» (1771), то он, конечно, знал и более ранние и менее известные его произведения.¹⁰⁶ Среди последних была известна «шутливая» поэма «Игрок ломбера», выдержавшая в XVIII в. три издания (1763, 1765, 1774); она была посвящена карточной игре в ломбер, получившей в те годы в России очень широкое распространение. В третьей песне поэмы Леандр, отчаянный карточный игрок, прибегавший и к шулерским приемам, уснув после крупного проигрыша, видит себя попавшим вместе с другими игроками в царство Плутона:

По трем ступеням вниз их лестница вела,
Неплодоносная долина где была.
Засохши деревья вокруг ее стояли
И скуку вечную собою представляли,
Где зрелась пропасть быть, сводящая во ад,
Из косяк исходил огонь, пепел, дым и смрад.

Но только лишь Леандр в жилище тьмы вошел,
Он множество духов и теней там узрел.
Там множество ему *санпрандеров* встречалось,
И *каска*, *поляков* и *воля* ему мечталось.
Мутился тамо Стикс, и Флегетон пылал:
Слезами игроков Коцит там протекал.
Когда ж они к брегам Стигийским приближались,
На мрачных берегах тьмы теней им казались,
Которые сидя к себе Харона ждут.
Узнал он множество себе знакомых тут. .¹⁰⁷

Характерно, что, рассеяв по своей поэме множество терминов карточной игры в ломбер и оставив их без всякого пояснения, как общеизвестные (см. в приведенной цитате термины, выделенные нами курсивом: «санпрандер», «каска», «поляк», «воля»), Майков снабдил примечаниями под текстом все имена и названия адского мира. Души знакомых игроков, обступив толпой, спрашивали Леандра:

Давно ли ты, Леандр, исшел от жития?
И как вселилася во ад к нам тень твоя?
Но не успел Леандр ответить ни слова,
Уж ладия была Харонова готова.

Переправленный адским перевозчиком на другой берег, герой вновь увидел, что тот заполнен игроками:

Потом они едва коснулись только суши,
Увидели тут всех игравших в ломбер души,
Которые идут со ужасом пред трон,
Где председательство имеет Радамон
И судит всех дела с Миноем и Еаком.

¹⁰⁶ В библиотеке Пушкина, по описанию Б. Л. Модзалевского, сохранились Сочинения В. И. Майкова в петербургском издании 1809 г. (М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека Пушкина, с. 60, № 223).

¹⁰⁷ Ироп-комическая поэма, с. 112.

В сноске автор поясняет: «По баснословию, когда души войдут во ад, то надлежало им дать отчет в делах своих трем адским судьям — Миною (т. е. Миносу), Радаманту и Еаку, у которых в руках смертоносная урна: и по их определению отправляются души в поля Елисейские или на муки».¹⁰⁸ Это и описано в заключительных строках поэмы.

5

Мы достигли кульминационной точки в наших разысканиях. Целью всех предшествующих страниц (которые, на первый взгляд, могли показаться лишними или уведящими в сторону от основной темы предпринятого нами исследования) было доказать, что мотив нисхождения в преисподнюю задуманного Пушкиным героя его сатирической или юмористической «адской поэмы» мог возникнуть в творческом сознании поэта без всякой ассоциации с Фаустом трагедии Гете, более того — не мог иметь с ним ничего общего. Не было особой необходимости в поисках такого произведения, которое могло бы подсказать Пушкину мысль о том, чтобы заставить путешествовать по аду именно Фауста, а не другого героя, или изобразить подземный мир в сатирически-юмористической окраске, например в виде пародии на первую песнь поэмы Данте. Для Пушкина, как мы старались показать, мотив «нисхождения в ад» был в первую очередь связан с древней традицией отечественной литературы, восходящей к истокам народного творчества; с этой же традицией, отразившейся в ряде произведений русской литературы второй половины XVIII в., связано было у Пушкина и юмористическое освещение этой темы, также предполагавшее знакомство с разными жанрами русского фольклора.¹⁰⁹

Рассматривая произведения русской литературы XVIII и начала XIX в. — пародические оды, присланные якобы из ада тенями покойных поэтов, «разговоры мертвых» в их различных

¹⁰⁸ Там же, с. 113.

¹⁰⁹ В связи с этим стоит обратить внимание на то, что уже в первой поэме Пушкина «Монах» (1813), из которой известны в настоящее время три песни и которую юноша Пушкин бросил писать по совету своего лицейского товарища А. М. Горчакова, исследователи обнаружили знакомство поэта с древнерусскими источниками (житие архиепископа новгородского Иоанна, мотивы которого известны также в форме устного анекдота); реминисценции из последних очень искусно сплавлены неспытным поэтом с мотивами, взятыми из «Девственницы» Вольтера, что придало всей поэме антицерковную направленность, сочетаемую с эротикой (см.: Щеголев П. Е. Поэма Пушкина «Монах» // Красн. архив, 1928, т. 31, с. 160—175). Те же элементы несомненно присущи были и некоторым ранним, не дошедшим до нас произведениям Пушкина, среди которых В. Раевский на основании лицейских преданий отметил «басню о душе, которая вследствие излишнего усердия заботившихся о ней пошла по рукам всех чертей» (Современник, 1863, № 7, с. 152; Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд., М.; Л., 1931, с. 30—31, примеч.).

модификациях и применениях, полемические, полные злободневных намеков путешествия на берега Леты, созданные поэтами, близкими к группе арзамасцев, наконец бурлескные поэмы во главе с «Энеидой наизнанку» Осипова, мы постоянно наталкивались на встречающиеся в этих произведениях (хотя и в разрозненном виде) те мотивы, которые отразились или могли отразиться в брошенных Пушкиным фрагментах «адской поэмы».

Но кто же должен был стать ее героем, одним из главных действующих лиц, если мы отводим от этой роли Фауста, прочно утвердившегося в таком качестве в нашем пушкиноведении?

Мы решаемся высказать предположение, что этим героем должен был быть русский солдат и что до Пушкина мог дойти в устном изложении очень известный сказочный сюжет, определяемый в указателях сказочных сюжетов как «Солдат и Смерть».

В различных изданиях сочинений Пушкина, в традиционных публикациях «Набросков к замыслу о Фаусте» (II, 380—382), а также в исследовательских трудах о Пушкине среди этих черновых фрагментов печатаются и следующие строки:

☞

- Кто идет? Солдат.
- Это что? — Парад.
- Вот обер-капрал,
- Унтер-генерал.¹¹⁰

Остается необъясненным донныне ни то, какое отношение приведенные строки могут иметь к «Наброскам к замыслу о Фаусте», ни то, между кем и как происходит приведенный диалог или разговор, ни то, почему здесь называются пародийные наименования военных чинов (обер-капрал, унтер-генерал). Между тем приведенная цитата может являться одним из ключей к нашей догадке и объяснить, хотя бы частично, возможный смысл задаваемых в приведенных строках вопросов и получаемых на них ответов.

В фольклоре всех западноевропейских народов был широко распространен сказочный сюжет о карточном игроке, бражнике, мельнике и т. д., но чаще всего о солдате, который играет в карты с чертями или со Смертью, попадает в ад, благодаря своей храбрости и природной смекалке не только благополучно возвращается оттуда, но даже выводит с собой и помещает в рай множество грешных душ, выигранных им в карты в аду у чертей или у самого

¹¹⁰ В статье Д. Д. Благого «Фауст в аду. (Об одном неизученном замысле Пушкина)», на которую мы уже ссылались выше, все фрагменты интересующей нас поэмы Пушкина воспроизведены дважды (см. с. 264—265 и 270—271), второй раз «для большей наглядности», «в более упорядоченной композиционной последовательности». Приведенный нами стиховой набросок («Кто идет? — Солдат. . .») во втором его воспроизведении переставлен исследователем на другое место (под № 6 на с. 271) сравнительно с академическим изданием, между набросками «Где мы теперь? — В парадной зале» (№ 5) и «Что горит во мгле» (№ 7); с нашей точки зрения, перестановка отрывков не увеличила смысловые связи между ними.

дьявола. В ряде вариантов вместо дьявола выступает Смерть, которую солдат не только обыгрывает, но и заставляет залезть в мешок, из которого нельзя выбраться, или взобраться на дерево, с которого нельзя сойти. Во французском фольклоре мы встречаем игру на души в фэбль «Св. Петр и жонглер» («Saint-Pierre et le jongleur»); в немецких сказках весь цикл сказок об удачной игре в карты со Смертью известен под названием сказок о Шпильганзеле (Spielhansel) и исследован еще братьями Гримм в их своде (III, 131—143); в Италии этот же сюжет стал очень популярен благодаря новелле Проспера Мериме «Федериго», представляющей собою, по словам автора, обработку неаполитанской сказки.¹¹¹

Сказки о солдате и Смерти получили широкое распространение у восточнославянских народов и у их соседей. В русском, украинском, белорусском фольклоре уже с давних пор делались записи сказок этого цикла, однако первые собиратели и исследователи этих сказок в России в прошлом веке не смогли издать все сделанные ими записи, так как наталкивались на серьезные затруднения цензурного характера. Как публикация текстов сказок этого типа, так и сравнительное их изучение в научных целях большею частью запрещались в то время цензурными инстанциями, усмат-

¹¹¹ Скептическая и антиклерикальная новелла Проспера Мериме «Федериго» впервые напечатана была в ноябрьском номере парижского журнала «Revue de Paris» за 1828 г., а затем была включена в его сборник «Mosaïque» (1833). Следовательно, она могла попасть в поле зрения Пушкина только после того, как он оставил работу над «адской поэмой». Публикуя свою новеллу, Мериме уведомил читателей, что она является обработкой сказки: «Сказка эта широко известна в неаполитанском королевстве <...> В ней можно заметить, как и во многих других рассказах местного происхождения, странное смешение греческой мифологии и христианских верований. Возникла она, по-видимому, в конце средневековья». Это смешение античной и христианской мифологии Мериме полностью сохранил в своей новелле, что помогло ему придать отдельным эпизодам повествования еще более иронический характер и сообщить ему сатирический оттенок (кстати сказать, именно это было причиной запрещения новеллы дореволюционной русской цензурой; первый перевод «Федериго» на русский язык мог появиться только в 1922 г. (журн. «Петербург», 1922, № 2, с. 10—13); см.: П а е в с к а я А. В., Д а н ч е н к о В. Т. Проспер Мериме: Библиогр. рус. переводов и критич. лит. на рус. яз. М., 1968, с. 284). В новелле страстный игрок Федериго, проигравшись в пух и прах, на последние гроши угощает Христа и апостола Петра, странствующих по земле; когда он узнает, кто они, то просит их дать ему беспроигрышные карты, а также сделать так, чтобы тот, кто залезет на дерево у него в саду или сядет на скамейку, не мог бы сойти без его разрешения. Получив все это, Федериго отправляется в Сицилию, сквозь жерло Этны спускается в ад, чтобы освободить находящихся там жертв его карточной игры или погибнуть вместе с ними. Когда он попадает в ад, его приводят к самому Плутону. «Кто ты?», — спрашивает его Плутон. — «Игрок Федериго». — «Какого черта ты сюда пришел?». Федериго объясняет, что он — первый игрок в мире и готов играть и с самой владыкой преисподней, с условием получить право за каждую выигранную им партию увести с собой одну из находящихся в аду душ. Плутону надоело проигрывать, и Федериго, набрав дюжину душ, уносит их с собою в мешке. Дома Смерть несколько раз приходит за ними, но Федериго сажает ее на апельсиновое дерево, и т. д. Все мотивы новеллы известны и в славянском фольклоре.

ривавшими в них двойную крамолу: не только присущее сказкам о солдате и Смерти юмористически-сатирическое освещение персонажей христианской мифологии и вообще антиклерикальные тенденции, но и возвеличение простого солдата, сделанное с явной целью осуждения высших военных чинов и непомерных тягот армейского быта.

В середине прошлого века в печати появилось замечательное собрание А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» (это издание выходило выпусками в 1855—1864 гг.). Здесь было опубликовано несколько вариантов сказочных мотивов интересующего нас цикла. Однако следует отметить, что они либо выбраны явно неудачно, с оглядкой на слишком суровые цензурные требования, либо на самом деле подверглись цензурным изъятиям; варианты эти мало занимательны и не дают полного представления об особенностях всего цикла.¹¹² Быть может, это объясняется тем, что наиболее полные записи в лучших редакциях сказок о солдате и Смерти были объединены Афанасьевым в другой его книге — «Народные русские легенды» (1859), где слово «легенды» несомненно избрано было с умыслом служить более «пристойным», с точки зрения цензуры, заглавием для собрания тех же сказок, в которых, впрочем, христианские демонологические и житийные

¹¹² См.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. 6-е изд. М., 1957, т. 1, с. 341—344, № 153—154. В двух сказках этого цикла, как это можно судить даже по их названиям — «Солдат избавляет царевну» и «Беглый солдат и черт», — мы находим лишь мотив о карточной игре солдата с чертями, находящийся в случайном сочетании с другими сказочными мотивами, совершенно искажающими его смысл. Кроме того, это рассказано вяло и без всякого юмора. Во второй сказке (№ 154), в варианте из Пермской области, например, об этой игре рассказывается так: «Пришел черт, стал с солдатом в карты играть: кто кого обыграет, чтобы дурака ударить раз: дьявол обыграл солдата и ударил так шибко, что чуть с ног не свалил. Потом солдат обыграл дьявола» (с. 498). Этот мотив очень древний. Мы находим его уже в сборнике Кирши Данилова «Древние российские стихотворения» (1818), в скоморошеском «сказе» о дураке, все делающим невпопад. Гуляя по Руси, дурак набрел на пустую избу, в подполье которой увидел играющих в карты чертей:

В подполье черти
Востроголовы,
Глаза что часы,
Усы что вилы,
Руки что грабли,
В карты играют. . .

Дурак молвил: «Бог вам в помощь добрым людям!», за что черти схватили его и жестоко пзбили (см.: Древние российские стихотворения / Собр. Киршею Даниловым. М., 1977, с. 202—203). Издание 1818 г. сохранилось в библиотеке Пушкина; он очень интересовался этим и вторым изданием данного памятника и многие тексты его знал наизусть (см. об этом в кн.: Ж е л а н с к и й А. Сказки Пушкина в народном стиле. М., 1936, с. 33, 148—149). О цензурном вмешательстве в тексты сказок Афанасьева см. специальную статью В. И. Чернышева «Цензурные изъятия из „Народных русских сказок“ А. Н. Афанасьева» (Сов. фольклор, 1936, № 2—3, с. 307—315), а также публикацию З. И. Власовой «Письма А. Н. Афанасьева к П. П. Пекарскому» (в кн.: Из истории русской фольклористики. Л., 1978, с. 7—8).

мотивы представлены отнюдь не в правоверном церковном освещении. Однако «Народные русские легенды» были запрещены русской цензурой и смогли быть перепечатаны заново лишь в 1914 г., т. е. больше чем полвека спустя.¹¹³

Сказка «Солдат и Смерть» опубликована в переиздании «Народных русских легенд» Афанасьева в 1914 г. под редакцией С. К. Шамбинаго; здесь же приведены и многие другие записи и варианты того же сюжета. Редактор в сопроводжающем издании послесловии особо отметил в тексте этой сказки (как и в рассказе того же сборника, где черт учится у солдата «маршировать и выдвигать ружьем всякие штуки») присутий ей юмористический колорит. «В легенде „Солдат и Смерть“, — пишет он, — в ярких чертах выступает народный юмор, что, по нашему мнению, придает < . . . > особенно живой интерес. Вообще следует заметить, что в большей части народных русских сказок, в которых выводится на сцену нечистый дух, преобладает шутливо-сатирический тон. Черт здесь не столько страшный губитель христианских душ, сколько жалкая жертва обманов и лукавства сказочных героев: то больно достается ему от злой жены, то бьет его солдат прикладом; то попадает он под кузнечные молоты, то обмеривает его мужик на целые груды золота».¹¹⁴ То же отмечали другие исследователи относительно иных редакций этого сюжета, появившихся в печати независимо от изданий Афанасьева. Так, ссылаясь на украинскую сказку о солдате, попавшем в ад, в записи И. Рудченко («Москаль у пекли») и возводя все славянские сказки этого цикла к переводному сборнику средневековых легенд — «Великое зеркало», соответственно переосмысленных в передаче, исходящей из народных уст, О. А. Державина замечает: «Эта тема обрабатывается народом в ином плане, чем это делается в средневековом сборнике. Если здесь это по преимуществу образы устрашающие, выполняющие обычно роль мстителей за совершенные человеком на земле прегрешения и очень редко приобретающие комические черты, то столкновение человека с нечистой силой в сказке кончается победой человека, а бесовская сила выставляется при этом в смешном виде».¹¹⁵

¹¹³ О запрещении «Народных русских легенд» см. предписание цензурного ведомства от 20 апреля 1861 г. (Д о б р о в о л ь с к и й Л. М. Запрещенная книга в России 1825—1904: Архивно-библиографические разыскания. М., 1962, с. 50—51, № 27).

¹¹⁴ А ф а н а с ь е в А. Н. Народные русские легенды. М., 1914, с. 309—310.

¹¹⁵ Д е р ж а в и н а О. А. «Великое зеркало» и его судьба на русской почве. М., 1975, с. 136. В цитируемой здесь сказке в записи И. Рудченко (Народные южнорусские сказки, вып. 1. Киев, 1869, № 38) солдат, попавший в ад, радуется, что здесь тепло, и располагается как дома, а потом хитростью выгоняет из ада чертей и запирает за ними дверь. Черты плачут, не зная, как им вернуться домой и выжить бесцеремонного гостя. Им помогает старушка, научившая их сделать из собачьей кожи барабан. Услышав барабанную дробь, солдат решил, что надо идти в поход, и вышел из пекла». «Здесь особенно ясно чувствуется тот юмористический подход к теме о нечистой силе, который характерен для народной сказки», — замечает исследовательница по этому поводу.

И. Н. Жданов в своем известном исследовании «К литературной истории русской былевой поэзии», анализируя такие произведения русской словесности, как «Прение Живота со Смертью», стих об Анике-воине и былины о Самсоне и Святогоре, именно в этой сюжетной традиции искал истоки того сказочного цикла, типичной представительницей которого может служить сказка «Солдат и Смерть». Исследователь пересказывает вкратце эту сказку по «Народным русским легендам» Афанасьева (№ 16), сопровождая ссылками и на другие, сходные сюжетные записи, известные в печати.¹¹⁶

В редакциях, помещенных в сборнике А. Н. Афанасьева, собраны лучшие и наиболее ранние записи сказок о солдате и Смерти. В них рассказывается о некоем солдате, который зажился на свете. Смерть давно на него зубы точила; пришла она к богу и получила у него разрешение умерить солдата. Слетела тогда Смерть с небес и постучалась у избушки солдата, «„Кто тут?“ — Я. — „Кто ты?“ — Смерть. — „А! Зачем пожаловала? Я умирать-то не хочу“. Смерть рассказала солдату все как следует. „А! — отвечивал он, — если уж бог велел, так другое дело! Против воли божьей нельзя идти. Тащи гроб! Солдат на казенный счет всегда умирает. Ну, поворачивайся, беззубая!“». Тогда Смерть приносит гроб, но солдат не хочет ложиться в него, прежде чем она сама не покажет, как это делается: «Я без артикула ничего не привык делать». Не успела Смерть как следует расположиться в гробу, как солдат захлопнул крышку, завязал веревкой и бросил в море. И долго носилась Смерть по волнам, пока буря не разбила гроб, в котором она лежала. И снова явилась Смерть к солдату, но и во второй раз он смог обмануть ее. Наконец, когда в третий раз явилась она к нему по его душу, то нечем было солдату отговориться, и он пошел в ад. «Пришел и видит, что народу многое множество. Он то толчком, то бочком, а где и ружье наперевес, и добрался до самого сатаны. Посмотрел на сатану и побрел искать в аду уголка, где бы ему расположиться. Вот и нашел: тотчас наколотил в стену гвоздей, развесил амуницию и закурил трубку. Не стало в аду прохода от солдатика; не пускает никого мимо своего добра: „Не ходить! вишь, казенные вещи лежат; а ты, может, на руку нечист. Здесь всякого народу много!“

¹¹⁶ Жданов И. Н. Соч., СПб., 1904, т. 1, с. 602—605. К перечню текстов этих сказок, приведенному здесь, впоследствии сделаны были существенные дополнения; например, в варианте Д. Н. Садовникова (Сказки Самарского края. СПб., 1884, с. 228) путешествие в рай и в ад совершает не солдат, а «купцов сын». Подробную библиографию сюжета дал Ю. А. Яворский в примечании к публикуемому им варианту, см.: Памятники галицко-русской народной словесности. Киев, 1915, вып. 1, с. 277—278. В этом перечне Ю. А. Яворский называет свыше тридцати сказочных сборников и публикаций (преимущественно славянских), в которых напечатаны различные переказы сюжета о солдате и Смерти. К этому перечню можно было бы сделать и позднейшие добавления; см., например: Сказы и сказки Беломорья и Пинежья / Запись текстов, вступ. ст. и ком. Н. И. Рождественской. Архангельск, 1941, с. 81—84 («Солдат и Смерть»).

Велят ему черти воду носить, а солдат говорит: „Я двадцать пять лет богу и великому государю служил, да воды не носил; а вы с чего это вздумали < . . . > Убирайтесь-ка к своему дедушке!“¹¹⁷ В этой редакции дальнейший сказ близко соответствует записи И. Рудченко: «Не стало чертям житья от солдата: хоть бы выжить его из ада, так нейдет: „Мне, говорит, и здесь хорошо!“. Вот черти и придумали штуку: натянули свиначую кожу, и только улегся солдат спать — как забили тревогу. Солдат вскочил да бежать; а черти сейчас за ним двери и притворили, да так себе обрадовались, что надули солдата! . . . И с той поры таскался солдат из города в город, и долго еще жил на белом свете».¹¹⁸

Однако не во всех записях обманутым оказывается солдат; в большинстве записей, наоборот, конечная победа остается за ним, и получает он ее с помощью волшебных беспроегрышных карт и торбы, в которую попадают все, кого он захочет туда посадить; получил же он эти волшебные предметы от самого Христа и святого Петра, которых он пожалел и накормил, когда они ходили по земле под видом убогих странников. В одном из вариантов той же сказки, приведенных в книге Афанасьева, об этом рассказывается следующим образом. Когда Смерть в третий раз была обманута солдатом и сидела в его торбе, солдат начал думать, что надо бы отпустить ее на волю: «Уж пускай уморит меня. . . И без того на мне грехов много; так лучше теперь, пока еще силен, отмучаюсь на том свете, а как сделаюсь крепко-стар, тогда хуже будет мучиться». Выпустил солдат Смерть на волю и просит ее, чтобы она поскорее уморила его. «А она бегом за двери, давай бог ноги: „Пушай, — кричит, — тебя черти уморят, а я тебя морить не стану!“».

«Остался солдат жив и здоров и вздумал: „Пойду-ка я прямо в пекло; пушай меня черти бросят в кипучую смолу и варят до тех пор, покуда на мне грехов не будет“. Шел он близко ли — далеко, низко ли — высоко, мелко ли — глубоко, и пришел таки в преисподнюю. Смотрит, а кругом пекла стоят часовые. Только он к воротам, а черт спрашивает: „Кто идет?“. — Грешная душа к вам на мучение. — „А это что у тебя?“. — Торба. — Заорал черт во все горло, ударили тревогу, сбежалась вся нечистая сила, давай запирать все двери и окна крепкими запорами. Ходит солдат вокруг пекла и кричит князю пекельному: „Пусти, пожалуйста, меня в пекло, я пришел к вам за свои грехи мучиться“. — Нет, не пушай! Ступай, куда знаешь; здесь тебе места нету. — „Ну, коли не пушаешь меня мучиться, то дай мне двести грешных душ; я поведу их к богу — может, господь и простит меня за это!“. Князь пекельный отвечает: „Я тебе еще от себя прибавлю душ пятьдесят“. И он приказал вывести их в задние ворота».¹¹⁹

¹¹⁷ Афанасьев А. Н. Народные русские легенды, с. 145.

¹¹⁸ Там же, с. 145—146.

¹¹⁹ Там же, с. 158—160.

В другом варианте: «Посадили солдата в ад, увидел он у черта два больших ключа и спрашивает: „Что это за ключи?“. — Один от котла, другой от холодной горницы. — „А там что?“. — В котле кипят грешные души, а в холодной горнице мерзнут. . . — „Давай играть в карты на эти ключи!“. — Давай! — Солдат выиграл ключи и выпускал на волю все грешные души. Пришел черт: „Служивой! куда девал ты грешные души?“. Солдат показывает себе на грудь и говорит: „Вот она, грешная душа!“. — Побежал черт к своим товарищам: „Ну, братцы! солдат все грешные души поел! пожалуй, и до нас доберется“. И тут же выгнали его из пекла. Собрал солдат всех выпущенных из котла и холодной горницы грешников и повел в царство небесное».¹²⁰ Карты играют роль еще в одном из вариантов сюжета, напечатанном в той же книге Афанасьева, где рассказывается, что, когда ангелы взяли солдатскую душу и понесли ее по мытарствам, они спросили у бога, куда прикажет эту душу — в рай или в ад? „Посадите ее в муку вечную, — сказал господь, — она сама отказалась от царства небесного!“. Посадили солдата в муку вековую. Вот он осмотрелся и видит: висят кругом котлы с горячею смолою, а в котлах грешные души мучатся, плачут и скрежещут зубами. Обступили солдата черти: „Ну, служивой, пора и тебе в котел отправляться!“. — Вы меня котлом не стращайте, а давайте-ка лучше играть в карты. — „Нет, брат, полно! мы с тобой играть не станем“. — А вот же врете; станете играть, только торбу вам показать. — „Ништо она с тобою?“. — Со мною. — Перепугались черти: „Давай, служивой, карты!“.¹²¹

Такова сказка «Солдат и Смерть» и ее варианты, которые мы знаем из публикации А. Н. Афанасьева. Мы привели цитаты из его книги, чтобы убедиться в близости многих составляющих их мотивов к тому, что дают разобранные нами выше фрагменты пушкинского чернового замысла. В этих фрагментах упоминаются и солдат, и кипящие адские котлы, где варятся грешники, а также Смерть, которую солдат ловко обманывает трижды и которая в конце концов отказывается уморить его, и черти в аду, с которыми солдат играет в карты и у которых он выигрывает и освобождает грешные души.

Остается сделать попытку установить, что замеченное нами сходство пушкинских фрагментов и разрозненных и гораздо более поздних записей различных вариантов сказочного сюжета о солдате и Смерти, оказавшихся в распоряжении А. Н. Афанасьева, не является случайным, иными словами — когда и каким образом этот сюжет мог дойти до Пушкина?

Сказки о солдате и Смерти были известны также у народов неславянских, живших в пределах России или в соседстве с русским государством, и печатались они легче на иностранных языках, чем на русском, так как не всегда подлежали разрешению

¹²⁰ Там же, с. 155.

¹²¹ Там же, с. 154.

двух цензурных инстанций — светской и духовной. Среди сказочных сборников подобного рода внимание фольклористов обратила на себя книга Мите М. Кремниц (Mite Kremnitz) «Румынские сказки» (Rumänische Märchen. Leipzig, 1882). Под № IX этого сборника напечатан немецкий перевод румынской сказки «Иван с ранцем» («Iwan mit dem Ränzel», S. 96—118), представляющий близкую параллель к напечатанной Афанасьевым сказке о солдате и Смерти. На этот сказочный текст обратил внимание А. Н. Веселовский в своей рецензии на книгу М. Кремниц. Для него не было сомнений в том, что эта сказка русского происхождения: героем ее является русский солдат Иван («так и в испанской — Juan Soldado, в сицилианской — Giugannuni и т. д.», — замечает попутно Веселовский); этот Иван угощает чертей «русскими или московитскими ударами» и кричит им: «Пошел в ранец» («Paschol, hinein in das Ränzel!»). Считая эту сказку русской по происхождению, Веселовский указал также на параллель к ней в литовской сказке, опубликованной на немецком языке Лескином и Бругманом (Leskien und Brugmann, Litauische Märchen, N 17, S. 561).¹²² Единственно, чего не знал А. Н. Веселовский, это кто автор текста румынской сказки. В предисловии к своему сборнику переводчица Мите Кремниц указала, что некоторые тексты переведены ею с румынских оригиналов, опубликованных в журнале «Convorbiri Literare» (т. е. «Литературные беседы»); три сказки, переведенные из этого журнала и напечатанные ею под № IV, IX и XIX, принадлежат перу Иона Крянге (J. Creangă). Имя это еще ничего не говорило Веселовскому, и он не обратил внимания на то, что на немецкий язык оказалась переведенной не запись фольклорного сюжета, но его литературная обработка.¹²³ Мы знаем теперь, что Ион Крянге — это псевдоним, избранный видным румынско-молдавским писателем Ионике Чуботару (в качестве псевдонима он взял имя и фамилию своего деда). Хотя Ион Крянге (1837—1889) родился в год смерти Пушкина, но его литературное творчество своими корнями тесно связано с румынско-молдавским фольклором более старого времени — народные сказки, легенды, песни питали его воображение в детские и юношеские годы.

Литература о творчестве И. Крянге достаточно велика и многоязычна; в многочисленных исследовательских трудах, ему посвященных, естественно, не мог быть обойден вопрос о фольклорных (в частности, русских или украинских фольклорных) источниках

¹²² См.: Веселовский А. П. Румынские сказки // ЖМНП, 1883, январь, с. 222.

¹²³ Не знал имени И. Крянге также П. П. Андреев, снабдивший своими примечаниями вышеуказанную статью Веселовского, перепечатанную в XVI томе его Собрания сочинений (М.; Л., 1938). В своих комментариях к статье Веселовского (с. 319—321) П. П. Андреев дал обширную библиографию литературы о румынских сказках, но обошел вниманием тонкое наблюдение Веселовского о близости сказки, напечатанное М. Кремниц, с русскими сказками о солдате и Смерти.

его творчества, однако исследователям долго не удавалось набрести на славянские источники сказки И. Крянге о русском солдате Иване, и подобранные ими материалы оказывались случайными и малоубедительными. В конце концов высказано было предположение, что анекдотические рассказы о солдате времен суворовских войн могли дойти до юного И. Крянге через русских и украинских монахов, бежавших вследствие русско-турецких войн 1768—1774 гг. из Буковины вместе со своим игуменом Паисием Величковским и осевших в монастырях Секу и Нямц, расположенных в родных местах писателя (родившегося в Нямецком уезде). Эти монахи могли принимать участие в «посиделках» («шезетоаре») с местными жителями и сообщить им сказки, которые они вывезли со своей родины.¹²⁴ Отсюда можно заключить, что эти анекдотические устные рассказы, пронизанные мотивами волшебных сказок, могли дойти и до Пушкина устным путем, очень интересовавшегося молдавским фольклором, как это видно из рассказа о его жизни в Бессарабии, в частности, из воспоминаний А. Вельмана.¹²⁵ Однако недавно открылись совершенно новые и более вероятные пути для решения этого вопроса в связи с находками, сделанными в архиве В. И. Даля.

Сказка И. Крянге хорошо известна в настоящее время в русском переводе с румынского оригинала и имеет заглавие «Иван Турбинка».¹²⁶ Это освобождает нас от необходимости давать ее подробный пересказ; мы напомним ее лишь вкратце, в частности для того, чтобы можно было более ясно увидеть ее несомненное стилистическое родство с русскими сказками о солдате и Смерти в сборнике А. Н. Афанасьева. Герой сказки Крянге — бывалый русский солдат, который запросто является в рай, где непринужденно беседует с богом, Христом и апостолом Петром, а затем отправляется в ад. Он храбр и независим, предпочитает жизнь

¹²⁴ См.: Попович К. Ф. Русские и украинские фольклорные сюжеты и элементы в сказках Иона Крянге // Попович К. Страницы литературного братства (По матер. молдавской, русской и украинской литератур). Кишинев, 1978, с. 125. Ссылаясь на работы К. Турку и В. Чобану, высказавших вышеприведенную гипотезу, К. Ф. Попович дополняет ее обильными параллелями к сказке И. Крянге из славянского фольклора. «Сказка о русском солдате, воюющем с чертями и со смертью, была очень популярна в прошлом столетии, — подчеркивает К. Ф. Попович. — Это подтверждается и тем усиленным вниманием, каким она пользовалась не только у писателей, но и у художников (с. 141—142). Ср. также: Повести о споре Жизни и Смерти / Исслед. и подг. текстов Р. П. Дмитриевой. М.; Л., 1964, с. 70—71.

¹²⁵ См. в «Бессарабских воспоминаниях о Пушкине» А. Ф. Вельмана рассказ о том, как он читал Пушкину отрывки из своей юмористической поэмы в стихах «Янко Чабан», основанной на молдавских сказках, и Пушкин воспользовался будто бы ее отдельными мотивами (например, о заключении в бочку, бросаемую в море). Ср.: Я ц и м и р с к и й А. И. Румынские параллели и отрывки в некоторых произведениях Пушкина. Варшава, 1901, с. 19—20; А з а д о в с к и й М. К. Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 1, с. 138. Кстати, мотив о бочке встречается и в сказках о солдате и Смерти: солдат заточает Смерть в бочку и бросает ее в море.

¹²⁶ К р я н г е Ион. Воспоминания детства: Сказки. М., 1966, с. 250—269.

в преисподней скучному существованию в раю, переругивается с чертями всех рангов, обманывает их, и они, устав от пререканий с ним, пытаются выжить его из ада. Наконец солдат побеждает самую Смерть, перехитрив ее, и она в конце концов отказывается его уморить. Все это близко соответствует вариантам «Солдата и Смерти» в «Народных русских легендах» Афанасьева.

О стиле пересказа этого сюжета у Крянге — веселом, остроумном, полном иронии и скептицизма — может дать представление начало «Ивана Турбинки»: «Жил-был на свете русский человек по имени Иван. И случилось ему с малых лет находиться при войске. Отслужил он несколько сроков и состарился. И так как он за все время ни разу не погрешил против своего воинского долга, то командиры отпустили солдата на все четыре стороны, оставив ему оружие и амуницию («турбинку», т. е. торбу, ранец за плечами. — М. А.), да еще два серебряных рубля подарили. И с песней отправился солдат в путь». Встретив Христа и св. Петра, он принимает их за нищих, а когда они открываются ему, просит их благословить его турбинку, «чтобы он мог засадить в нее кого пожелает, а тот не сумел бы вылезти без его позволения». Сперва он сажает в турбинку чертей, освобождая дом помещика, которому они досаждали, затем оказывается в раю, который быстро покидает и спускается в ад, и т. д. Мы узнаем во всем этом знакомые сказочные мотивы, но они обработаны, скомбинированы в одно целое, слажены друг с другом, хотя отдельными подробностями выдают свое происхождение от устных рассказов, которые, вероятно, довелось Крянге слышать: так, в турбинку солдат у него сажает чертей со «Скараоским, главным над чертями» — Вселовский толкует это наименование как искажение имени Иуды Искариотского. Конечно, немалую роль играет в сказке Крянге Смерть, которую перехитрил простой русский солдат.

Русские читатели только из позднего издания «Народных русских легенд» узнали, что все тексты книги взяты из собрания В. И. Даля. Это позволяет датировать их тексты началом 30-х гг. В 1832 г. В. И. Даль издал свои «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту переложенные, к быту житейскому приуроченные и поговорками ходячими разукрашенные казакон Владимиром Луганским. Пяток первый» (СПб., 1832). Здесь помещено было пять сказок. Это издание восторженно встретили многие русские писатели. По свидетельству П. И. Мельникова-Печерского, «особенно Пушкин был от них в восхищении». Далее Мельников вспоминает, что под влиянием «первого пятка» этих сказок Пушкин написал учшую свою сказку «О рыбаке и рыбке» и подарил Далию в рукописи с надписью: «Твоя от твоих, Сказочнику казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин». Известно также, что позднее Пушкин сообщил Далию сказку «О Георгии Храбром и о волке», которую Даль напечатал в альманахе «Новоселье» 1833 г., указав в примечании: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугачева

во время осады Оренбурга).¹²⁷ Эта совместная поездка Пушкина и Даля для сбора материалов о Пугачеве состоялась 18 и 19 сентября 1833 г., когда между ними установились близкие дружеские отношения. В конце 1836 г. Даль вернулся в Петербург; с тех пор их личные встречи продолжались и не прекращались до самых последних дней жизни Пушкина.¹²⁸

Однако «первый пяток» «Русских сказок» Даля получил у нас далеко не всеобщее признание. Первую и последнюю из вошедших сюда сказок (т. е. сказки «О Иване, молодом сержанте, удалой голове» и «О похождениях черта-послушника Сидора Поликарповича») Ф. В. Булгарин нашел «грязными, неприличными» и, по словам П. И. Мельникова, «свое усердие о приличиях простер за приличную черту».¹²⁹ В правительственных верхах переполошились, когда до III отделения дошел болгаринский донос. В первой сказке «некоторые выражения были перетолкованы в дурную сторону». В сказке о похождениях черта автору вменялось в вину, во-первых, то, что он назвал черта «именем православного христианина», а во-вторых, то, что в его изображении «военная и морская служба оказалась для самого черта столь тягостною, что он бежал». П. И. Мельников вспоминает, что Даль говаривал об этих наветах Булгарина: «Обиделись пяташные головы, обиделись и алтынные, оскорбились и такие головы, которым цена была целая гривна без вычета < . . . > В военно-сухопутный госпиталь, где трудился Даль, явились жандармы, взяли его и отвезли к статс-секретарю А. Н. Мордвинову, управлявшему тогда третьим отделением. Тот встретил его самыми обидными, самыми оскорбительными площадными словами, оборвал, что называется, и посадил под арест, объявив, что это делает он по высочайшему повелению».¹³⁰ Из заключения Даль был освобожден только по ходатайству Жуковского и дерптского профессора Паррота. Это неприятное происшествие стало широко известно в литературных кругах Петербурга и не могло остаться неизвестным Пушкину.

Нельзя не согласиться с И. П. Лупановой, посвятившей сказкам Даля 1833 г. несколько страниц своего исследования, где она подчеркивает, что «правительство и реакционная общественность были безусловно правы, забив тревогу, ибо сочинения, вызвавшие особое смятение < . . . > могут считаться образцом литературной сказки-сатиры с острыми политическими намеками». Не столь бесспорны другие утверждения исследовательницы, в частности

¹²⁷ См.: Мельников П. И. Воспоминания о Дале // Рус. вестн., 1873, № 3, с. 14; Майков Л. Н. Пушкин и Даль // Там же, 1890, № 10; Модестов Н. Н. Даль в Оренбурге. Оренбург, 1913; Азадовский М. К. Сказка, рассказанная Далю Пушкиным // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, с. 488—490.

¹²⁸ Сводку фактических данных о знакомстве и встречах Пушкина с Далем см. в кн.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 122—123.

¹²⁹ Мельников П. И. Воспоминания о Дале, с. 298.

¹³⁰ Там же, с. 298—299.

относительно фольклорных источников напечатанных Далем сказок. «Сказки „О черте-послушнике“ и „О Иване, молодом сержанте“ различны в отношении использованного фольклорного материала, — пишет И. П. Лупанова. — В первой от народно-поэтического творчества идет лишь общая трактовка „нечистой силы“ как ничуть не страшной и всегда пасующей перед человеком. Что же касается сюжета, конкретных образов — черта-послушника, его хозяина сатаны Стопоклепа Живдираговича и пр. — все это плод остроумного авторского вымысла, и, надо сказать, плод достаточно ядовитый».¹³¹ С нашей точки зрения, этот вопрос решается не столь просто; необходимо было бы произвести предварительное сопоставление упомянутых выше сказок Даля из «первого пятка» и тех записей сказок из народных уст, которые попали из собрания Даля к А. Н. Афанасьеву и опубликованы последним.

Конечно, пародические имена персонажей, пестрый язык, перенасыщенный поговорками и пословицами, раздражающее современное читателя балагурство, стремление всякое слово вымолвить с ужимкой — все это несколько затемняет подлинную фольклорную основу этих сказок, прорисовывающуюся сквозь авторские выдумки и словесную болтовню. Однако фольклорные мотивы явственно видны и в «Сказке о похождениях черта-послушника», например в той ее части, в которой действие происходит в преисподней, в сцене, столь возмутившей Булгарина. «Сатана, — рассказывает здесь Даль, — не самый старший, всегда лично в первопрестольном граде своем царствующий, а один из приспешников и нахлебников его, один из чертей-послушников, праздновал именины свои; а звали того черта Сидором, и Сидором Поликарповичем».¹³² Трудно удержаться от того, чтобы не напомнить здесь из фрагментов замысла Пушкина тот набросок, где говорится:

— Сегодня бал у сатаны.
На именины мы званы
и т. д.

В. И. Даль пишет: «На пирушке этой было народу много, все веселились честно и добропорядочно; плясали пляски народные и общественные, не как у нас, на ногах, а скромно и чинно на голове; играли в карты и выезжали все на поддельных очках; расплачивались, по курсу, фальшивыми ассигнациями. . .» и т. д. «Вдруг входит человек, в изорванном форменном сертучишке — кто говорил, что это хорунжий, составленный три раза за пьян-

¹³¹ Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959, с. 361. В другом месте своей книги И. П. Лупанова утверждает еще более категорически: «Превосходное знание русского сказочного фольклора являлось той базой, на которой создавались далевские сказки. Во всех них, кроме рассказа о черте-послушнике, использованы фольклорные сюжеты» (там же, с. 337).

¹³² Русские сказки казака Луганского. СПб., 1832, 1-й пяток, с. 163.

ство и буйство; кто говорил, что это небольшой классный чиновник; а кто уверял, что это отставной клерк унтер-баталер, а может быть и подхипер». Тут началась между ними потасовка, но вдруг «раздался трезвон в семь колоколов с перезвоном, на языке горько и кисло стало < . . . » Гости расползлись по домам, по вертепам своим, и храбрый воитель и победитель наш остался пировать один, как тетерев на току».¹³³

Недавно среди бумаг Даля была найдена его неопубликованная рукопись — сказка «Сила Калиныч, душа горемычная, или Русский солдат ни в аду, ни в раю»,¹³⁴ представляющая собою литературную обработку известного нам сюжета «Солдат и Смерть», очень близко напоминающая тот его русский вариант, который от Даля поступил к Афанасьеву, а последний опубликовал в «Народных русских легендах». Открытие этой неизвестной ранее сказки Даля не прошло и мимо исследователей сказки Иона Крянге «Иван Турбинка»: сходство их велико, аналогии обнаруживаются в самых незначительных подробностях обоих произведений — Даля и Крянге, и это трудно объяснить случайными совпадениями; писатели должны были иметь общий источник в фольклоре.¹³⁵ Мы не можем вдаваться в детали этого сходства: они увели бы нас в сторону от главной цели настоящих разысканий. Но прежде чем возвратиться к Пушкину, подчеркнем, что наличие в литературах русской и румынской литературных произведений, выросших на фольклорной основе, с главной темой «Солдат и Смерть» может быть лишним аргументом для утверждения, что замысел «адской поэмы» Пушкина в свою очередь представлял очевидные параллели к той же фольклорной комбинации сказочных мотивов — о солдате в аду и карточной игре с чертями и Смертью. Такие литературные произведения возникали и позже. Вольный английский пересказ сказки, напечатанной у Афанасьева, представляет произведение английского писателя А. Ренсома (Arthur M. Ransom. *The Soldier and the Death*);¹³⁶ создавая свою поэму «Игра в аду» (1912), В. Хлебников вдохновлялся набросками «адской поэмы» Пушкина, опубликованными С. А. Венгеровым во II томе издания сочинений Пушкина (1908);¹³⁷ можно вспомнить здесь

¹³³ Там же, с. 163—165.

¹³⁴ См.: Бессараб М. Владимир Даль. 2-е изд. М., 1972, Прилож., с. 173—287.

¹³⁵ Цуркану В. Афинтоць («Сила Калиныч» де В. Дал ши «Иван Турбинка» де Ион Крянге) // *Култура*, 1977, 26 февраля, № 9. Так как сказка написана Далем в 1832 г., т. е. после русско-турецкой войны 1828—1829 гг., в которой он принимал участие в качестве военного врача, В. Цуркану высказывает предположение, что Даль услышал ее либо на Балканах, либо во время пребывания в Бухаресте и Яссах, а затем поверг литературной обработке. За любезное указание этой статьи и предоставление мне журнала, где она опубликована, выражаю искреннюю благодарность Г. Ф. Богачу.

¹³⁶ Parrott F., Pollok K. *Übersetzungen Russischen Volksmärchen aus der Sammlung A. N. Afanasiev* // *Slavische Studien zum VI Internationalen Slavisten-Kongress in Prag. München*, 1968, S. 591, Anm. 1.

¹³⁷ Якобсон Р. О. *Игра в аду у Пушкина и Хлебникова* // *Сравнительное изучение литератур*. Л., 1976, с. 35—37.

также поэму А. Т. Твардовского «Теркин на том свете»¹³⁸ и главу «Смерть и воин» в «Василии Теркине».

Если высказанные нами догадки справедливы, необходимо вернуться к началу разысканий и заново спросить себя, что имел в виду А. П. Толстой, запрашивая А. А. Муханова в письме от 12 июля 1833 г.: «. . . слава идег о каких-то стихах Пушкина, где смерть играет в карты с дьяволом. Не знаешь ли про них?». Обратим внимание на дату этого письма. К 1833 г. относятся различные события в жизни Пушкина, о которых у нас шла речь выше: знакомство с В. И. Далем, совместная поездка в окрестности Оренбурга за материалами о Пугачеве, выход в свет сказок Даля, обмен фольклорными материалами двух писателей (от «сказочника» к «сказочнику»), наконец, цензурная история сказок «качака» Луганского; все это, а также оставшаяся неопубликованной записка Даля о «Силе Калиныче», в которой так много общего фрагментами «адской поэмы» Пушкина, может дать ответ на вопрос, задававшийся в том же году А. П. Толстым А. А. Муханову. Общаясь с Далем, обмениваясь с ним сказочными сюжетами, Пушкин мог не только узнать сюжет о солдате и Смерти, но и рассказать Дально о своем замысле, брошенном им еще в 1825 г., и через общих знакомых молва об этом замысле Пушкина могла дойти до А. П. Толстого именно в 1833 г., когда он о нем вспомнил и сообщил Дально. Совпадение этих дат едва ли случайно; между эречисленными выше фактами существовали генетические связи или точки соприкосновения, которые мы попытались приоткрыть.

Почему Пушкин бросил свой замысел «адской поэмы» и оставил его неосуществленным, несмотря на множество набросков, стихотворные строки которых блистают сквозь густую сетку вычерков и отмененных слов? Очень возможно, что ответ на этот вопрос дал сам Пушкин, в своем отзыве о стихотворении Батюшкова «Мои пенаты» (1812). Пушкину когда-то очень нравилось это послание к Жуковскому и Вяземскому, но в конце 20-х гг. он уже осуждал его за ощущаемый в нем стилистический разноречивый, за совмещение реальных бытовых подробностей действительной жизни со сложной, но условной системой античных мифологических наименований, образов и понятий. «Главный порок в сем прелестном послании, — писал Пушкин, — есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но норы и кельи, где лары расставлены, переносят нас греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед каминном суворовского солдата с двуструнной балалайкой. — Это все друг другу слишком уж противоречит» (XII, 272—274). Подобные противоречия были свойственны и творчеству Пушкина лицейских лет; есть такое смешение и во фрагментах «адской поэмы». Но к середине 20-х гг. Пушкин уже считает невозможным сочета-

¹³⁸ Твардовский А. Т. Теркин на том свете. М., 1963.

ние таких слов и образов, которые разрушают единство художественной действительности. Это и явилось одной из главных причин того, что начатая сатирическая и юмористическая поэма была брошена им навсегда. Нельзя не вспомнить также, что о напечатании поэмы нечего было и думать из цензурных соображений. Знаменательно в отзыве Пушкина упоминание «суворовского солдата» в стихотворении Батюшкова; образ солдата, подсказанный военной действительностью, Пушкин встречал в произведениях лицейских друзей (например, в русской идиллии Дельвига «Отставной солдат»); этот образ появился мельком и в стихотворениях его самого (например, в «Городке», в эпизоде встречи поэта с соседом семидесяти лет, отставным майором, «с очаковой медалью на раненой груди»). Но «суворовского солдата» в новом качестве и освещении, с точки зрения самой демократической солдатской массы, Пушкин обрел в сказках Даля. Не потому ли Пушкин так восхищался ими и, даря Далию рукопись своей сказки, подписал на ней «твоя от твоих»?

В начале 30-х гг. в русской литературе фольклорный мотив игры в карты с чертями и нисхождение в ад был довольно популярен; мы находим его в повести В. Олина «Кумова постеля», оказавшей воздействие на ранние повести Гоголя;¹³⁹ в очерке Н. А. Полевого «Воспоминание на святках» (1832), представляющем очень своеобразный вариант того же сюжета об игре в карты с семью чертями и некоей «старушкой» (Смертью) на души, с уплатой «годами» вместо денег,¹⁴⁰ в повести В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском», представляющей, как известно, запись устного рассказа Пушкина. Все это лишний раз говорит о том, как долго Пушкин сохранял интерес к этому фольклорному мотиву, и объясняет нам также, какие основания были у А. П. Толстого запрашивать у А. А. Муханова о якобы написанной Пушкиным поэме на эту тему.

¹³⁹ В. Олин рассказывает, в частности, о нисхождении в ад работника («Кума Вельзевула») для уничтожения «рукописания» о продаже души черту (Олин В. Кумова постеля // Карманная книжка для любителей русской старины и словесности. СПб., 1829, с. 289—297). В. Гиппиус видит здесь источник сюжета о путешествии в ад и приключениях деда с чертями в «Пропавшей грамоте» Гоголя (Гиппиус В. Гоголь. Л., 1924, с. 29). Н. П. Андреев игру деда в карты с ведьмой возводит к фольклорным источникам, ссылаясь на тексты сказок, опубликованные А. Н. Афанасьевым (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., т. 1, с. 535).

¹⁴⁰ Воспоминание на святках. Новый живописец общества и литературы, составленный Н. Полевым. М., 1832, ч. 5, с. 139—159. Провинциальный анекдот о карточной игре с чертями, представившийся во сне страстной любительнице игры в карты, рассказан еще П. Вистепгофом в прощеском стиле (Вистепгоф П. Последние партнеры. Нравоучительная баллада в прозе // Раут. М. 1854, кн. 3, с. 54—57).





К «СЦЕНЕ ИЗ ФАУСТА» ПУШКИНА

Г. П. Макогоненко назвал «Сцену из Фауста» «одним из малоизученных произведений Пушкина», утверждая при этом, что у нас доныне будто бы «нет ясного представления ни о жанре „Сцены“, ни о ее соотношении с трагедией Гете „Фауст“, нет и убедительного раскрытия содержания и смысла „Сцены“, объяснения причин, побудивших Пушкина написать ее в 1825 г., места ее в ряду других сочинений поэта». Отмечая противоречивость истолкования «Сцены» и взаимоисключающий характер оценок, которые она получала у критиков и исследователей, Г. П. Макогоненко заявляет, что «все это делает ее загадочной», но тут же прибегает к оговорке, сводящей на нет только что сделанное им наблюдение: «В действительности „Сцена из Фауста“ лишена какой-либо загадочности или неопределенности — и то и другое появилось в результате столетнего ее изучения».¹

Конечно, в истории истолкования «Сцены из Фауста» Пушкина было немало увлечений и крайностей, недостаточно аргументированных суждений и предвзятых оценок, но взятые в целом, они обеспечивали движение исследовательской мысли вперед, направляли возникавшие споры, требовали своевременного устранения явных ошибок и недоразумений. В качестве справедливости защищаемого нами положения сошлемся хотя бы лишь на один пример такого недоразумения, которое не было вскрыто своевременно и по этой причине панесло немалый ущерб последующим исследователям той же проблемы.

В числе работ на тему «Пушкин и Гете», известных русской гетее, но не попавших в поле зрения пушкиноведов, может быть названа книга чешского германиста Пауля Реймана, вышедшая в свет в 1956 г. на немецком языке, — «Основные течения в немецкой литературе. 1750—1848».² Хотя это общая история немецкой

¹ Макогоненко Г. П. Пушкин и Гете: (К истории истолкования пушкинской «Сцены из Фауста») // XVIII век. Л., 1975, сб. 10, с. 284—291.

² Reimann P. Hauptströmungen der deutschen Literatur 1750—1848: Beiträge zu ihre Geschichte und Kritik. Berlin, 1956.

литературы начиная с деятельности Лессинга и кончая революционным периодом 1848—1849 гг., но книга отличается одной примечательной особенностью: Рейман очень интересовался проблемой взаимосвязей между немецкой и славянскими литературами, имеющей богатую традицию, но никогда не рассматривавшейся в систематическом изложении, тем более в книге, предназначенной для учебных целей. Раздел пятый в 44-й главе книги Реймана озаглавлен «Гете и Пушкин». Здесь кратко, но на основании довольно широко привлеченного к изложению фактического материала говорится о творческих связях обоих поэтов, немецкого и русского, и о посредниках между ними, также немецких и русских. Говоря об отношении Пушкина к «Фаусту» Гете, Рейман, к сожалению, ставит во главу угла отзыв о «Фаусте», якобы высказанный Пушкиным в разговоре с Жуковским и приведенный в «Записках А. О. Смирновой»: «Фауст стоит совсем особо. Это последнее слово немецкой литературы, это особый мир, как „Божественная комедия“, это в изящной форме альфа и омега человеческой мысли со времен христианства» и т. д.³ Хотя эта цитата в свое время приводилась в различных русских специальных трудах, но «Записки А. О. Смирновой» давно разоблачены как явная, безвкусная и грубая фальсификация ее дочери. Между тем книга Реймана переведена была на русский язык и рекомендована в качестве учебного пособия «для студентов литературных и филологических факультетов педагогических институтов и университетов»;⁴ приведенная выше цитата — псевдоотзыв о «Фаусте» Пушкина — оставлена в русском тексте перевода книги Реймана без каких-либо замечаний или оговорок.⁵

Пожалуй, приведенный случай может служить подтверждением того, что в процессе изучения любой вопрос может быть искусственно (хотя и непреднамеренно) усложнен и запутан несведущими или недостаточно внимательными исследователями. Но отсюда далеко до признания необходимости изучать этот вопрос с непредвзятой точки зрения, без всякой оглядки на предшеству-

³ Записки А. О. Смирновой: (Из записных книжек 1826—1845 гг.) СПб., 1895, с. 155.

⁴ Рейман П. Основные течения в немецкой литературе 1750—1848 / Пер. с нем. О. Н. Михеевой, под ред. и с предисл. А. С. Дмитриева. М., 1959, с. 371—378 (раздел 5 главы 44: «Гете и Пушкин»).

⁵ В рецензии Г. Слободкина на эту книгу, озаглавленную «Исследование по немецкой литературе» (Вопр. лит., 1958, № 4, с. 239—242), сделаны некоторые замечания по поводу освещения Рейманом мифа о «золотых днях» Веймара, но сочиненные от имени А. О. Смирновой отзывы Пушкина о «Фаусте» остались незамеченными. Оправданием Рейману служит то, что эти цитаты в качестве подлинных записей слов Пушкина приводились — до разоблачения «Записок А. О. Смирновой» — и пушкиноведами (см., например: Розов В. А. Пушкин и Гете. Киев, 1908, с. 144). Литература о фальсификации «Записок» в настоящее время довольно велика. См., например, статьи Н. Александрова (Историко-литературный сборник. Л., 1924, с. 297—334), Л. В. Крестовой (Смирнова А. О. Дневник; Воспоминания; Письма, М., 1929, с. 335—393), Б. Смирнского (Перо и меч. М., 1967, с. 85—87) и др.

ющие усилия; мы полагаем, что для успеха дела надо ясно представлять себе, что сделано предшественниками, и быть в курсе всего, что было напечатано по этому поводу или введено в оборот без достаточной аргументации.

Библиографические справки, приведенные Г. П. Макогоненко в указанной выше работе для подтверждения слабой изученности «Сцены из Фауста» Пушкина, неполно освещают современное состояние этого вопроса, который, впрочем, действительно нуждается в дальнейшем прояснении, хотя посвященные ему исследования и эту тему довольно многочисленны. В частности, новейшая литература о Пушкине и Гете значительно богаче и разнообразнее, чем это может показаться на первый взгляд, а ряд работ, относящихся к этой теме, к сожалению, основательно забыт или не был своевременно учтен исследователями пушкинской «Сцены».

Бросив общий взгляд на литературу, указанную в статье Г. П. Макогоненко, можно условно разделить ее, как это делает и сам автор, на две группы: первую из них составляют работы, рассматривающие «Сцену» в генетической связи с «Фаустом» Гете; вторую — вне этой связи, как произведение Пушкина автобиографического характера, возникшее под пером поэта независимо от каких-либо книжных влияний. Большинство новейших работ относится к этой последней группе.⁶ Сам Г. П. Макогоненко считает, что «Сцена из Фауста» — «это маленькая трагедия, стоящая в ряду со многими другими европейскими произведениями о Фаусте, но сознательно соотношенная Пушкиным с самым крупным и гениальным сочинением о Фаусте — трагедией Гете. Следует подчеркнуть при этом, что образ Фауста, его философия жизни, его идеалы и нравственные представления носили не только общечеловеческий характер, но и были одновременно выражением немецкого самосознания». Напоминая далее известное высказывание Белинского, что каждый народ имеет своего представителя в литературе, в частности «немцы — Фауста», Г. П. Макогоненко утверждает, что «Сцена из Фауста» Пушкина — «произведение общечеловеческое, но от характера решения трагедии Фауста, от понимания им смысла жизни, от трактовки его судьбы и эволюции его убеждений веет русским духом. Впервые в истории мировой литературы Фауст был раскрыт Пушкиным реалистически».⁷

Для того чтобы лучше пояснить собственное истолкование пушкинской «Сцены», Г. П. Макогоненко делает еще одно методическое указание, которым, по его мнению, не следует пренебрегать

⁶ Макогоненко Г. П. Пушкин и Гете, с. 284—285. Мы не называем здесь не указанных автором работ, которые стоило бы иметь в виду исследователям пушкинской «Сцены из Фауста», так как важнейшие из них будут названы нами ниже; что касается работ на русском языке, то их легко найти в прекрасно составленной книге З. В. Житомирской, см.: Ж и т о м и р с к а я З. В. Иоганн Вольфганг Гете: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке: 1780—1971. М., 1972 (по указателю, с. 602—603, под словом «Пушкин»).

⁷ Макогоненко Г. П. Пушкин и Гете, с. 286.

при сопоставлении обоих произведений — Пушкина и Гете: «Нельзя сопоставлять „Сцену“ Пушкина с трагедией Гете, философский смысл которой извлекается из второй части, неизвестной Пушкину < . . . > Об этом приходится говорить, ибо существует устойчивая традиция рассматривать „Фауста“ Гете как произведение, окончательно сложившееся в 1831 г. в своей нынешней цельности».⁸

¹ Здесь как раз и уместно напомнить, что пушкиноведы, изучавшие «Сцену из Фауста», упустили из виду несколько исследований — советских и зарубежных, авторы которых стремились доказать возможность воздействия пушкинской «Сцены» на заключительный V акт второй части «Фауста» Гете. Как ни неожиданна на первый взгляд такая догадка, по она существует; при этом она высказана несколькими исследователями совершенно независимо друг от друга и аргументация каждого из них привлекает особые ряды фактов, отсутствующие у другого исследователя. Во всяком случае две работы — русского и французского германистов, Б. Я. Геймана и А. Менье (Meynieux), о которых речь пойдет ниже, — должны быть учтены наукой о Пушкине.

Мы остановимся прежде всего на статье Б. Я. Геймана «Петербург в „Фаусте“ Гете», опубликованной в 1950 г.⁹ В этом исследовании, богатом фактами и наблюдениями, автор собрал ряд данных, позволяющих, по его словам, «углубить и сделать более ясным понимание одного из главных опорных звеньев сюжета „Фауста“, именно развязки драмы, ее оптимистического, мажорного финала». Ему представляется, что в свете приводимых им данных «становится вполне понятным значение „подвига“, которым Фауст заканчивает свою жизнь, которым просветлены и оправданы предшествующие „похождения“ Фауста».¹⁰

Как известно, последние сцены трагедии Гете и донныне еще являются предметом затяжных и взволнованных споров. Ряд зарубежных исследователей (Б. Визе, Г. А. Корф) развивают, например, утверждение, что Фауст в финальных сценах будто бы представлен как человек, «совершенно одинокий в своем презрении к людям и самовластности, как герой, оторванный от общества, идейно побежденный и лишенный важнейших, присущих ему, „фаустовских“ черт». Это, естественно, вызвало справедливые возражения советских гетеведов, указывавших, в частности, на то, что сам Гете (в своей беседе с Эккерманом 6 июня 1831 г.) рассматривал Фауста последних сцен своей трагедии «отнюдь не как

⁸ Там же.

⁹ Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете: (К творческой истории 2-й части «Фауста») // Докл и сообщ. Филол. ин-та ЛГУ. Л., 1950, вып. 2, с. 64—96. Мне неизвестно, на каком основании в указанном выше библиографическом указателе Э. В. Житомирской о Гете эта статья Б. С. Геймана снабжена пометой: «Сокращенный текст»; насколько мы знаем, более полный текст этой работы в печати не появлялся, равно как и критические отзывы о ней.

¹⁰ Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете, с. 65.

уединенного от общества и замкнутого в себе пустого мечтателя, идейно побежденного героя, а как человека деятельного, вечно стремящегося вперед, человека, приблизившегося к осуществлению своих идеалов».¹¹ С другой стороны, у нас сделана была попытка, неудачная с нашей точки зрения, доказать, что Пушкин «уже в первой части трагедии Гете усмотрел нечто такое, что было созвучно его свобододобивым настроениям», и что «нужно было поистине обладать пушкинской гениальностью, чтобы сразу же так верно почувствовать то, о чем осторожный Гете впоследствии говорил во второй части своей трагедии осторожными полунамеками, став предельно откровенным лишь в финале трагедии». Эти неосторожные допущения привели автора не только к искажениям, но и к ненужным преувеличениям: «Вообще, насколько мы знаем, — заключает отсюда А. Л. Яценко, — А. С. Пушкин первый во всей мировой литературе поднял вопрос об антиклерикальной и антимонархической направленности „Фауста“ < . . . > Эта пушкинская точка зрения оказала заметное влияние на всю последующую интерпретацию идей гетевского „Фауста“ в России».¹² Отсюда представляется необходимым подробнее познакомиться с гипотезой Б. Я. Геймана, так как она основана не на произвольных домыслах, а на солидной аргументации. Исследователь обращает внимание на то, что в начале IV акта 2-й части «Фауста» очень неожиданно для читателя, без всякой подготовки, Фауст раскрывает Мефистофелю внезапно возникший у него замысел борьбы с морем:

«У моря я стоял. Вода росла,
Прилив готовя, грозно пред очамп
Остановилась — и, встряхнув волнамп,
На плоский берег приступом пошла.
Тогда меня досада обуяла:

¹¹ Chawlassi G. Auseinandersetzung mit Benno v. Wiese's «Faust»-Interpretation // Weimarer Beiträge, 1966, Н. 2. S. 337—351; Хавтасп Г. Г. Об одной интерпретации финальных сцен гетевского «Фауста» // Филол. науки, 1974, № 4 (82), с. 10—13.

¹² Яценко А. Л. «Фауст» Гете: Ранние отклики в России (В. А. Жуковский и А. С. Пушкин) // Учен. зап. Горьк. гос. ун-в. Сер. ист.-филол., 1964, вып. 65, с. 195. Весьма категорические и ничем не подкрепленные догадки А. Л. Яценко имели весьма зыбкую основу — публикацию в десяти-томном академическом издании Пушкина черновых отрывков, известных со времен П. В. Анпенкова под названием «адской поэмы», которым в академических изданиях, по нашему мнению, незаконно присвоено заглавие «Наброски к замыслу о Фаусте». Находясь под гипнотизирующим влиянием этого заглавия в авторитетном издании, А. Л. Яценко мог писать в своей работе: «Никаких сомнений в том, что „Фауст“ воспринимался Пушкиным как произведение мятежно, тираноборческое, не оставляют наброски А. С. Пушкина, которые, по-видимому, были эскизами задуманной им драмы о Фаусте — своеобразного и оригинального произведения, в котором великий поэт хотел дать литературную интерпретацию <sic!> гетевского Фауста. Судя по этим отрывкам, Фауст и Мефистофель (?) совершают путешествие в ад» (там же, с. 194). На самом деле в этих отрывках имя Мефистофеля не упоминается, да и имя Фауста расщифровывается только предположительно и едва ли с достаточным основанием.

Свободный дух, ценящий все права,
Противник страстный грубого начала
Не терпит дикой силы торжества. . .

И далее:

В отчаянье и страх меня привел
Слепой стихии дикой произвол,
Но сам себя дух превзойти стремится:
Здесь побороть, здесь торжества добиться!
И можно это. . .

И Фауст излагает Мефистофелю свой план — положить предел бушующей волне, самому вторгнуться в море, используя естественный закон прилива и отлива. Так вводится мотив развязки всей драмы.¹³

В другом месте своего исследования Б. Я. Гейман справедливо подчеркивает, что развязка «Фауста» «держится на двух темах, которые тесно связаны между собой, переходят одна в другую, но тем не менее представляют собою отдельные темы, с особыми звучаниями. Это темы: а) грандиозного материального строительства, покорения моря, создания новых пространств жизни, тема героической созидательной деятельности, пафоса труда и борьбы со стихией, превращения героя в героя-созидателя; б) тема построения нового общества, новой счастливой жизни для миллионов свободных тружеников, тема социального строительства. Идеей первая тема подчинена второй, как средство подчинено цели < . . . > Но дело как раз в том, что мотивы социальной программы Фауста разработаны в развязке „Фауста“ чрезвычайно суммарно, общно, остаются неясными, бледными. Гете явно не успел до конца обработать развязку „Фауста“ (см. запись в дневнике Гете от 24 января 1832 г.: «Новый импульс к „Фаусту“. Желание подробнее разработать основные мотивы, которые я, спешив закончить произведение, дал слишком лаконично»). Видимо, что для самого Гете программа социальная оставалась не вполне ясной. Поэтому мотивы материального строительства Фауста, его преемников по борьбе с морской стихией звучат к развязке „Фауста“ громче, они художественно убедительнее, чем мотивы утопии».

С полным основанием Б. Я. Гейман подчеркивает также «утопический» характер развязки «Фауста» («Новая счастливая жизнь строится Фаустом не в борьбе со старым обществом, а в борьбе со стихиями природы») и предостерегает исследователей против недооценки ими пафоса материального строительства Фауста — построения плотины, гавани, работ по осушке заболоченной местности и т. д. — поскольку такая недооценка является искажением идейного замысла драмы. Она приводит к обесцвеченному восприятию земной развязки драмы и играет на руку идеалистическим ин-

¹³ Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете, с. 65—66.

терпретаторам «Фауста», утверждавшим, что развязка драмы дана отнюдь не на земле, а якобы только в загробных сценах финала «Фауста». Припоминая на следующих страницах ход творческой работы Гете над этим произведением, а также прежде указанные возможные источники заключительных сцен «Фауста», Б. Я. Гейман приходит к следующему выводу: «Достаточно внимательно ознакомиться с дневниками Гете периода работы над 2-й частью „Фауста“ (1825—1831), с сохранившимися его высказываниями и произведениями этой поры, чтобы стало ясным, какое глубокое впечатление произвело на Гете известие о петербургском наводнении 1824 г. На протяжении всех лет работы Гете над второй частью своего произведения он постоянно возвращается мысленно к этому событию. Это-то и позволяет утверждать, что конкретное содержание подвига Фауста было найдено Гете в ходе тех многообразных, сложных и длительных размышлений, которые были разбужены в его сознании известиями о петербургском наводнении 1824 г. Огромное впечатление от этого события не только подсказало Гете тему развязки, но и содействовало возобновлению интереса к «Фаусту», которого он оставил много лет тому назад. Не будь Гете так потрясен известием о катастрофе в Петербурге, 2 часть „Фауста“, возможно, осталась бы ненаписанной. В этом именно смысле можно ставить тему Петербурга в „Фаусте“ Гете».¹⁴

Значительную часть своей работы Б. Я. Гейман посвятил выяснению истории отношений Гете к Петру I и к Петербургу, хотя это только частично могло входить в поставленные им себе задачи. «Трудно сказать, когда возник у Гете интерес к Петру и Петербургу. Он несомненно усиливался с годами, — пишет Б. Я. Гейман, — однако, судя по тому, что все высказывания Гете о Петре носят очень категорический характер, что Гете всегда говорит о Петре как о личности, всем известной, естественно предположить, что Гете не пришлось „открывать“ для себя Петра в сознательные годы своей жизни. Скорее образ Петра вошел в сознание Гете в детские его или ранние юношеские годы во Франкфурте, вошел и закрепился в его памяти. В зрелые годы и в старости Гете любил читать книги о Петре, беседовал о нем с Эккерманом и др.». Далее автор подробно говорит о том, что Гете близок к оценке Вольтера, данной Петру в «Истории Российской империи», что «для Гете Петр — один из гениальнейших людей XVIII в. и что в этом смысле взгляд Гете близок к воззрению Гердера, видевшего в Петре замечательный и редкий пример патристической деятельности государя (см. гердеровскую статью «Кто был самым великим героем?» в 3-м томе его «Адрастее»)».¹⁵ Вероятно, стоило бы в будущем подвергнуть этот вопрос новому и систематическому обозрению, так как у Б. Я. Геймана приведены не все данные, которые уместно было бы вспомнить по данному случаю.

¹⁴ Там же, с. 67—68.

¹⁵ Там же, с. 73.

Мам представляется, в частности,¹⁶ что стоило бы напомнить здесь об отношении к Петру и основанному им Петербургу Иоганна Генриха Мерка (1741—1791), одного из преданнейших друзей Гете и предполагаемого прототипа образа Мефистофеля в «Фаусте» Гете. Мы говорим о двух статьях Мерка, посвященных памятнику Петра I, воздвигнутому в Петербурге скульптором Э. М. Фальконе. По странной случайности эти статьи о «Медном всаднике» выпали из внимания как русской литературы об этой знаменитой конной статуе, так и литературы немецкой. Историки Петербурга давно уже отметили, что если в первой половине XVIII в. центральной темой было строительство города, то во второй половине века, особенно в 70—80-е годы, основной темой, связанной с прославлением русской северной столицы, сделалось творение Фальконе — конная статуя Петра, торжественно открытая в 1782 г., т. е. в то время, когда еще многие помнили о наводнении 1777 г. Анализируя русские оды этого времени, Л. В. Пумпянский предположил, что именно тогда сложилась устная легенда, закрепленная в русской поэзии, якобы «Медный всадник» «оберегает город от наводнения; его рука, „простертая к пучине“, запрещает волнам вздыматься и колебать Бельт. Вероятно, память о наводнении 1777 г. была в 1782 г. еще настолько свежа, что оба события объединены были в общем статуарном мифе».¹⁶

Две статьи И. Мерка о Петербурге и «Медном всаднике» имеют отношение к петербургским событиям 70-х и начала 80-х гг. и к рассказам, ходившим по городу в это время. Сам И. Мерк был в России в 70-е гг.; в его письмах сохранились отзывы о Петербурге и окрестностях, о его архитектуре и сокровищах искусства. По предположению его новейших биографов, Мерк жил в Петербурге одновременно с Дидро, состоявшим в близкой дружбе с Фальконе. Мерк познакомился с Дидро в Петербурге и, вероятно, беседовал с ним на темы, которыми интересовался всего более, — на темы об искусстве; конечно, собеседники не могли при этом обойти «Медного всадника» Фальконе, знакомство с которым Мерка также становится вполне вероятным.¹⁷

Обе статьи Мерка, которые мы имеем в виду, напечатаны в знаменитом журнале «*Teutscher Merkur. Kritische Anzeigen*», который в Веймаре издавал Х. М. Виланд. Хотя обе эти статьи напечатаны в журнале без подписи, но Гете знал, чьему перу они принадлежат, и несомненно читал их.

¹⁶ Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5. с. 111.

¹⁷ См.: *Diderot et Falconet. Le pour et le contre. Correspondance polémique / Introd. et notes de I. Benot.* Paris, 1958. Ср. отрывки из воспоминаний А. Николаи и встречах с Дидро и с Фальконе в Петербурге в журнале «Искусство» (1965, № 4).

В первой статье ¹⁸ говорится о Фальконе как о скульпторе, теоретике искусства, писателе и переводчике (в частности, упомянуты его перевод Плиния и написанный в Петербурге эстетический трактат «Наблюдения над статуей Марка Аврелия»), но центральное место в его деятельности отводится еще не законченной работе над монументом Петру I. Автор рассказывает о спорах вокруг модели памятника, выставленной для всеобщего обозрения, о постаменте, уже доставленном на площадь, где должен стоять будущий памятник.

Вторая статья Мерка ¹⁹ появилась в том же веймарском журнале за месяц до открытия памятника (оно состоялось 7 августа 1782 г.): торжество было приурочено, как известно, к столетию со дня вступления Петра I на престол. Закончились работы по созданию монумента, продолжавшиеся почти шестнадцать лет: последние стадии создания памятника, в связи с готовящимся праздником в Петербурге и предстоящей юбилейной датой, и отражает статья Мерка, который называет свою статью о «Медном всаднике» материалом для «правдивой истории одного из знаменитейших произведений искусства нового времени» («die wahre Geschichte eines des berühmtesten Werke der Kunst neuerer Zeit»). Несомненно, что будущий исследователь отношений Гете к Петру I и русскому государству XVIII в., идя по стопам Б. Я. Геймана, не должен будет обойти вниманием всю — случайно упущенную им — историю дружбы Гете с Иоганном Мерком, который, вероятно, одним из первых внушил Гете продолжавшийся столь долгое время интерес и к русской столице, и к случавшимся в ней опустошительным наводнениям.

Естественно, особо подчеркнуты Б. Я. Гейманом династические связи между Веймарским герцогством и русским двором, расширявшие и укреплявшие интерес великого немецкого поэта к истории Петербурга. «Достаточно напомнить, — пишет Б. Я. Гейман, — что женой наследника веймарского престола, а с 1828 г. женой великого герцога была воспитанная в Петербурге родная сестра русского императора Александра I — Мария Павловна, в окружении которой всегда находились какие-либо гости из русской столицы. Связь между петербургским и веймарским дворами поддерживалась непрерывно. Более того, как подчеркнул С. Дурыйлин (Русские писатели у Гете в Веймаре / Лит. наследство, 1932, № 4—6, с. 81—504), веймарский двор, и в особенности культурные учреждения герцогства, непосредственно находившиеся в ведении Гете, субсидировались русскими деньгами. Среди многочисленных заезжих посетителей Гете было много и петербуржцев. Из

¹⁸ Wraxalls Reisen nach Norden // Teutscher Merkur : Kritische Anzeigen, 1776, Juni, S. 291—292. Поводом для статьи явился немецкий перевод книги английского путешественника Роксолла, посетившего Петербург.

¹⁹ Einige nähere wahre Umstände, den Guß der Statue Peters des Großen betreffend // Teutscher Merkur: Kritische Anzeigen, 1782, Juli, S. 63—73.

бесед с ними Гете не мог не составить себе довольно обширного представления о Петербурге».²⁰

Существенны также приведенные далее в статье Б. Я. Геймана выдержки из переписки Гете с музыкантом К. Цельтером (Karl Friedrich Zelter, 1758—1832) о привезенной в Берлин из России (в марте 1827 г., т. е. в разгар работы над второй частью «Фауста») огромной и очень искусно выполненной модели города Петербурга, которую возили на 12 больших четырехтонных телегах по всей Европе. К. Цельтер подробно описал Гете эту модель, виденную им в Берлине, и возбудил у поэта живейшее любопытство: на этой модели были изображены «главная река, каналы, набережные, церкви» и были заметны даже отдельные фигуры и группы людей, находящихся на улицах; Цельтер жалел лишь, что к модели не было приложено ее подробное описание или хотя бы объяснительный план города, который Гете хотел иметь перед собою.²¹

Несколько месяцев спустя после переписки с К. Цельтером по поводу выставленной в Берлине модели Петербурга Гете принял у себя в доме (2 января 1828 г.) в Веймаре известного врача Августа Гренвилля (Auguste Granville, 1783—1872), возвращавшегося в Англию из России и только побывавшего в Петербурге. «В течение этого свидания, которое длилось более часа,— рассказывает Гренвилль,— Гете проявил огромный интерес <...> также и к Петербургу. В Петербурге, основываясь на мнении многих авторитетных путешественников, с которыми он встречался и беседовал на эту тему, он видел город, быстро поднимающийся до значения первой столицы на континенте».²² Эта запись путешественника, которую приводит Б. Я. Гейман в подтверждение повышенного внимания Гете к Петербургу после наводнения 1824 г., осо-

²⁰ Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете, с. 74.

²¹ Там же, с. 75.

²² Granville A. B. St.-Petersburgh: A Journal of Travels to and from that capital. London, 1828, 2 vols (о встрече с Гете в Веймаре см.: т. 2, с. 628). О визите к нему Гренвилля Гете упоминает также в своем дневнике; беседы с ним путешественника были очень разнообразны. Гренвилль подарил Гете на память с подписью от автора свой «Опыт о египетских мумиях», изданный им в Лондоне в 1825 г. на английском языке (см.: Goethes Bibliothek: Katalog. Bearbeiter der Ausgabe Hans Rupert. Weimar, 1958, S. 295, N 2045). Б. Я. Гейман, указавший на запись Гренвилля о Гете, не обратил внимания на то, что в первом томе сочинения Гренвилля о России есть также отзыв о Пушкине — как о поэте, имя которого, «вероятно, известно большинству английских читателей»: «Свою литературную деятельность он начал четырнадцать лет, будучи тогда воспитанником императорского Лицея, а в возрасте девятнадцати лет он написал свою прославленную поэму „Руслан и Людмила“. С тех пор он написал много других произведений, несмотря на свои двадцать девять лет. Мои читатели, без сомнения, знакомы с тем временным неудовольствием, которое этот юный и пылкий поэт возбудил в высшем свете до вступления имп. Николая своей *Одой к свободе*» (Granville A. B. St.-Petersburgh. . ., vol. 1, p. 244—245). Хронологические даты, приведенные в указанной записи Гренвилля, свидетельствуют, что он был довольно хорошо осведомлен о биографии Пушкина; вполне вероятно, что и Гете мог расспрашивать Гренвилля о русском поэте. О Гренвилле см.: Ариштейн Л. М. Одесский собеседник Пушкина // Временник Пушкинской комиссии: 1975. Л., 1979, с. 63—64.

бенно в тот период, когда он работал над второй частью «Фауста» (1825—1831), представляется действительно весьма убедительной, и прежде всего потому, что Гренвилль недаром ссылается на многих других «авторитетных» путешественников, у которых Гете подробно расспрашивал о Петербурге.²³

В заключение характеристики статьи Б. Я. Геймана, столь же интересной, по нашему мнению, для гетеведения, как и для пушкиноведения, отметим, что в основной части своей работы он подробно рассматривает подобранные им факты о чрезвычайном интересе Гете к петербургскому наводнению, начиная от свидетельства И. П. Эккермана (от 9 декабря 1824 г.): «Под вечер я отправился к Гете < . . . > Берлинские газеты лежали перед ним, и он рассказал мне о большом наводнении в Петербурге. Он дал мне газету, чтобы я прочитал об этом. Он говорил потом о плохом местоположении Петербурга и сочувственно посмеялся над изречением Руссо, который сказал, что землетрясение не предотвратит тем, что рядом с огнедышащей горой будет выстроен город ²⁴ < . . . > Мы упомянули потом о больших бурях, которые бушевали у всех берегов, так же как и о других грозных явлениях природы < . . . > Явился главный директор сооружений Кудрэ и с ним вместе профессор Ример. Они присоединились к нам, и разговор снова сосредоточился на обсуждении петербургского наводнения».²⁵ Приводит Б. Я. Гейман также цитаты из переписки Гете с Цельтером в феврале—марте 1827 г. Отвечая своему корреспонденту на замечание о «страхе», возникающем при мысли о том, что такое широкое, столь великолепно застроенное пространство, как Петербург, ежечасно может быть поглощено водой, Гете пишет следующие знаменательные слова: «С тех пор как великое бедствие сделало особенно очевидным плохое местоположение этого громаднейшего города, я не могу не вспомнить об этой местности всякий раз, когда барометр падает низко, особенно по ночам, когда сильный ветер бушует в моих соснах».²⁶

По мнению исследователя, это непрерывное обращение мысли Гете к Петербургу в то время, когда обдумывался оптимистический конец второй части его трагедии, и внушило ему новый замысел развязки «Фауста», в основе которой лежит мотив борьбы с водной стихией, грозящей разрушить плоды человеческого труда и угрожающей самой жизни человека.

С полным основанием Б. Я. Гейман проводит параллель между Вольтером как автором поэмы «О разрушении Лиссабона» (1756), для которого «несчастье, постигшее португальскую столицу, вы-

²³ Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете, с. 75.

²⁴ Слова о городе, выстроенном рядом с огнедышащей горой, относятся к португальской столице — Лиссабону и находятся в полемическом письме Руссо к Вольтеру (от 18 августа 1756 г.), написанном после появления вольтеровской поэмы «О разрушении Лиссабона».

²⁵ Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете, с. 80—81.

²⁶ Там же, с. 85; ср.: Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1934, с. 255.

теснило или затемнило известия о многочисленных других землетрясениях, которые произошли одновременно с лиссабонской катастрофой во многих местностях южной части Пиренейского полуострова, а также в Северной Африке»,²⁷ и Гете, как автором второй части «Фауста», для которого воспоминания о петербургском наводнении 1824 г. главенствовали над многими известными ему в последнее десятилетие его жизни свидетельствами о стихийных бедствиях, обрушивавшихся на города современной ему Европы. Размышления Гете о причинах и следствиях наводнения в Петербурге не прекращались и не забывались поэтом вплоть до завершения им второй части «Фауста»; именно они подсказали поэту оптимистическую концовку для долго писавшейся трагедии о человеке, искавшем смысл существования и нашедшем его в подлинной, а не в иллюзорной деятельности на общее благо. Поэтому Б. Я. Гейман в итоге своего исследования и смог утверждать, что «не будь Гете так потрясен известием о петербургском наводнении, 2-я часть „Фауста“, возможно, осталась бы ненаписанной», или, добавим мы, была бы закончена совершенно иначе.²⁸

Статья Б. Я. Геймана, напечатанная в малораспространенном специальном издании, осталась малоизвестной специалистам-германистам и у нас, и за рубежом. Не называет ее и А. Менье в своей статье, о которой пойдет речь ниже, хотя работа Геймана о Петербурге в «Фаусте» могла служить фундаментальной основой для смелых гипотез, высказанных французским ученым — перво-

²⁷ Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете, с. 84.

²⁸ Б. Я. Гейман не знал, на чем основывался Л. В. Пумпянский, когда писал: «Нам теперь точно известно, что и Гете, создавая символ осушаемого морского дна, думал и об основании Петербурга, замечательнейшем для Гете примере организованной борьбы человека с природой» (П у м п я н с к и й Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в., с. 92). Действительно, Л. В. Пумпянский не дал никаких объяснений по этому поводу; можно, однако, предположить, что он имел в виду либо указанные нами выше статьи Мерка о «Медном всаднике» Фальконе, либо один из многочисленных отзывов Гете о цивилизаторской деятельности Петра I при основании Петербурга. В статье Л. В. Пумпянского, из которой Гейман привел цитату, дается более развернутая мысль о типологическом сходстве между концом второй части «Фауста» и «Медным всадником» Пушкина (как известно, эта поэма увидела свет лишь после смерти Гете): «Петр в „Медном всаднике“ — вождь-цивилизатор, — писал Пумпянский. — С этой стороны конфликт между ним и Евгением находит разительную параллель в почти одновременно (1831) написанном эпизоде „Филемон и Бавкида“ в 5 акте второго „Фауста“: цивилизаторская деятельность Фауста упичтожает идиллическое счастье старческой четы. Гете имел в виду темную сторону промышленного переворота, но ведь и Пушкин решает в своей повести не узко исторический вопрос о событии 1703 г., а в высшей степени современный вопрос о ряде общественных противоречий XIX в.» (с. 92). Возможно, что эта типологическая параллель была подсказана Л. В. Пумпянскому статьей Альфреда Куреллы (переведенной с немецкой рукописи), в которой дается анализ эпизода о Филемоне и Бавкиде у Гете с точки зрения отразившегося здесь глубокого понимания поэтом движущих сил истории, утверждающей силы человеческого прогресса, нового, действенного, создающего духа, в чем Гете противостоял большинству своих современников — немецких писателей-романтиков (см.: Курелла А. Проблемы немецкого романтизма // Интерпац. лит., 1938, № 9, с. 183).

начально филологом-германистом, ставшим затем видным французским исследователем-славистом и одним из лучших знатоков Пушкина.

Работа А. Менье, которую мы имеем в виду, озаглавлена «Пушкин и окончание второго Фауста»; она представляет собой доклад, предназначенный для прочтения и обсуждения на VI Международном съезде славистов, собравшемся в Праге (Чехословакия) в августе 1968 г.²⁹ Этот доклад, как и все предшествующие многочисленные работы А. Менье о Пушкине, был основан на тщательном изучении первоисточников и предлагал новые и весьма неожиданные догадки по поводу старой проблемы о соотношениях между «Фаустом» Гете и «Сценой из Фауста» Пушкина. Эта работа была последним исследованием А. Менье о Пушкине. Приехав в Прагу, он по состоянию здоровья не смог прочесть свой доклад, предварительно розданный участникам съезда; обсуждение его не состоялось, а два месяца спустя А. Менье скончался.³⁰ Брошюра его, затерянная в многочисленных печатных материалах пражского съезда, не дошла до тех, к кому он обращался, — к исследователям Пушкина и русско-немецких отношений в начале XIX в., и в итоге была основательно забыта: мне неизвестна ни одна рецензия на нее, ни какой-либо печатный отклик о ней. А между тем, с моей точки зрения, она безусловно заслуживает внимания как новое слово о пушкинской «Сцене из Фауста» и должна быть упомянута в советской пушкиниане.

Одним из оснований для гипотез А. Менье, по-видимому, послужило то обстоятельство, что как у Пушкина в его «Сцене», так и у Гете в заключительных сценах у акта второй части «Фауста» действие происходит поблизости от моря. Попытка найти аналогию к месту действия пушкинской «Сцены» в первой части гетевского «Фауста», как хорошо известно, успехом не увенчалась. Но не могло ли здесь произойти обратное воздействие — от Пушкина к Гете, а не наоборот? — рассуждал А. Менье. Нет ничего неправдоподобного в том, что Гете мог знать пушкинскую сцену по устному пересказу от кого-либо из русских путешественников, столь часто бывавших у него во второй половине 20-х гг., или из какого-либо письменного (или даже печатного — французского или английского) известия о ней: ведь эта сцена появилась в печати на русском языке в 1828 г.,³¹ т. е. как раз в тот период, когда Гете обдумывал и завершал развязку второй части «Фауста».

²⁹ Meunieux A. Puškin et la conclusion du second Faust // Revue des études slaves. Paris, 1967, p. 48—108; то же в виде отд. отр.: VI Congrès International des Slavistes. Communications de la délégation française et de la délégation suisse. Paris, 1968, 14 p.

³⁰ См. некролог Андре Менье и перечень его работ о Пушкине, опубликованных на французском и русском языках в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1967—1968. Л., 1970, с. 126—135.

³¹ Первоначально «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем» была напечатана в журнале «Московский вестник» (1828, ч. 9, № 9, с. 3—8). Под заглавием «Сцена из Фауста» перепечатана в «Стихотворениях Александра Пушкина» (СПб., 1829, с. 60—63).

Напомним, что у Пушкина его «Сцене» предшествует ремарка: «Берег моря, Фауст и Мефистофиль» — и что включает ее диалог, в котором Фауст с раздражением и досадой прогоняет от себя слишком услужливого Мефистофеля:

Фауст

Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!

Мефистофиль

Изволь. Задай лишь мне задачу:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я —
Я даром времени не трачу.

Фауст

Что там белеет? говори.

Мефистофиль

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем меравцев сотни три,
Две обезьяны, бочки золота,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.

Фауст

Все утопить.

Мефистофиль

Сей час.

(Исчезает)

(II, 437—438)

У Гете — в одной из последних сцен V акта второй части «Фауста» и одной из важнейших в общем замысле трагедии — мы находим очень сходную ситуацию: между Фаустом и Мефистофелем на берегу моря, в виду большого парусника, приближающегося к берегу, происходит острый и полный раздражения спор о позорной роли колониализма в истории современной европейской цивилизации. Сцена эта озаглавлена «Дворец», и ее тексту предшествует следующая авторская ремарка: «Роскошный сад, прорезанный большим, ровно выведенным каналом. Фауст, в глубокой старости, задумчиво прогуливается по саду». До него доносятся ужаснувшие его слова, которые Линцей (Глашатай), стоящий на башне дворца, говорит в рупор:

Линцей

Садится солнце, подплывая,
Бегут последние суда.
Вот барка в порт вошла большая
И к нам в канал идет сюда.

На ней игриво вьются флаги
И мачты крепкие стоят,
И полный счастья и отваги
Тебя восславить боцман рад.³²

Но у Фауста этот корабль, возвращающийся из далеких заморских краев с награбленными колониальными товарами, вызывает глубокое отвращение: ему ненавистен и самый вид этого парусника, и все богатства, которые он ему везет. «О, если б прочь отсель уйти!» — восклицает Фауст, видя, что корабль быстро приближается к берегу. Линцей продолжает вещать с высокой дворцовой башни:

С вечерним ветром мчится барка
На парусах, нагружена
Пестро, блистательно и ярко,
Мешков и ящиков полна. . .³³

Следующая за этим авторская ремарка гласит: «Подходит великолепная барка, богато нагруженная произведениями чужих краев». Появляются Мефистофель и с ним «Трое сильных», которые привезли Фаусту на барке богатства и ожидают от него награды как от своего владыки.

По остроумной догадке А. Менье, эта «барка» внушена Гете тем «трехмачтовым испанским кораблем», который в «Сцене» Пушкина Фауст велит «утопить» Мефистофелю. Для такого сопоставления на самом деле существуют достаточные основания: оба корабля, о которых говорится у Пушкина и у Гете, — типичные «пиратские» корабли, возвращающиеся в Европу с награбленной добычей. У Пушкина эта добыча, вывезенная из тропических регионов Африки или Южной Америки, исчислена совершенно точно: названы не только вещи и предметы, но и живые существа; у Гете она несколько обобщена в соответствии со стилистическими особенностями второй части «Фауста» — ощутительно проявляющими себя наклонностями автора к символике и аллегоризму.³⁴ В пушкинской «Сцене» именно Мефистофель перечисляет, что везет большой («трехмачтовый») корабль; Менье догадывается, что изображаемая Гете «барка» нагружена тем же самым товаром.

Гораздо существеннее указанного сходства тот спор, который в трагедии Гете завязывается между Фаустом и Мефистофелем при виде разгружаемой «барки» — он как бы продолжает тот диалог между ними, который обрывается у Пушкина. Некоторые исследователи не сумели оценить многозначительность неожиданной развязки пушкинской «Сцены»; А. Менье ссылается, в частности, на

³² Пользуясь лучшим и наиболее точным из русских переводов: Гете И.-В. Фауст / Пер. Н. А. Холодковского. М.; Л., «Academia», 1936, ч. 2, с. 280. В статье А. Менье «Пушкин и окончание второго Фауста» цитаты из «Фауста» приведены во французском переводе или немецком оригинале.

³³ Гете И.-В. Фауст, ч. 2, с. 280.

³⁴ См.: E m r i c h W. Die Symbolik von Faust II. Sinn und Vorformen. Frankfurt a. M.; Bonn, 1964.

своего предшественника и соотечественника, французского сла-
виста Жюль Легра, сопоставлявшего «Сцену из Фауста» Пушкина
с творением Гете и отказавшегося признать какой-либо интерес
в пушкинской концовке.³⁵ Для А. Менье, напротив, лаконичное
приказание Фауста («Все утопить») полно смысла и значения для
истолкования всей сцены в целом. Это не столько нигилизм или
человеконенавистничество, сколько безоговорочное осуждение
колониального грабежа. А. Менье убежден, что именно так от-
несся бы к этой концовке и Гете, даже в том случае, если бы он
знал пушкинскую сцену только в устном пересказе. Недаром
Гете вкладывает в уста Мефистофелю откровенную апологию пират-
ства и колониальных захватов и заставляет Фауста осуждать та-
кую практику с гневом и досадой. Это принципиальный спор между
владыкой и слишком расторопным слугой о пороках и язвах со-
временной жизни; этот спор представляется очень важным в тра-
гедии не только потому, что он является последним в жизни Фау-
ста, но и потому, что он имеет характер итога всего им пережитого
и перечувствованного.

Слова Мефистофеля у Гете, похваляющегося перед Фаустом
привезенным грузом, полны не только жестокой правды, но и про-
никнуты сарказмом и горькой усмешкой: он славит «свободное
море», которое освобождает мысль и поглощает всяческое преступ-
ление; это лучшее поприще для ненаказуемого разбоя и наиболее
легкий способ для обогащения. Он говорит о разгружаемом ко-
рабле:

Nur mit zwei Schiffen ging es fort
Mit zwanzig sind wir nun im Port.
Was grosse Dinge wir getan
Das sieht man unserer Ladung an.
Das freie Meer betfreit den Geist,
Fer weisst da, was Besinnen heisst!
etc.

(Акт V, стихи 1173—1178)

См. эти стихи в переводе Н. А. Холодковского:

Мы вышли с парой кораблей,
Теперь же в гавани твоей
Их двадцать: много было нам
Хлопот: их плод ты видишь сам.
В свободном мире дух всегда
Свободен: медлить, разбирать
Не станешь: надо смело брать!
То рыбу ловишь, то суда,
Уж скоро три я их имел,
Потом чегыре; там, забрав
Еще корабль, — пятью владел.
Имеешь силу, так и прав!
Лишь был бы наш карман набит.
Кто спросит, как наш груз добыт?

³⁵ L e g r a s J. Pouchkine et Goethe, la scène tirée de Faust // Revue de Litt. comp., 1937, vol. 18, N 65, p. 117—128.

Разбой, торговля и война —
Не все ль равно? Их цель одна.³⁶

Эти слова Фауст слышит от Мефистофеля в присутствии корабельщиков, которые замечают явное недовольство ими Фауста и его полное безучастие к привезенному для него богатству:

Т р о е с и л ь н ы х

Привета нет,
И нет наград,
Как будто дрянь
У нас, не клад!
На нас глядит
И царский дар
Ему претит.³⁷

Исследователям и комментаторам второй части «Фауста» оставалось недостаточно ясным, как Гете удалось найти развязку трагедии, и трудно было представить себе логический ход творческой мысли автора в столь, казалось бы, резких и внезапных переходах его героя от эгоистического самоудовлетворения к упадочному, скептическому сомнению и, наконец, к мощному духовному взлету перед самой его гибелью — к утверждению общеполозной деятельности как высшей цели жизни. Гипотезы Б. Я. Геймана и А. Менье, если они верны, могут бросить, каждая на свой лад, некоторый свет на конечное просветление Фауста в заключительных сценах трагедии. Размышления Фауста о море как о враждебной человеку стихии, искажающей его нравственный облик, когда он всецело доверяется ей, и грозящей ему физическим истреблением, когда он пытается призвать ее себе на помощь, — таков мог быть тот клубок мыслей, который получил художественное претворение и воплощение в финале «Фауста», творческими импульсами которого служили для Гете постоянно тревожившие его мысли о наводнениях в Петербурге и хотя бы мимолетное знакомство со «Сценой из Фауста» Пушкина.

Напомним, что после сцены с приходом корабля и спора с Мефистофелем развязка трагедии наступает быстро. Короткие сцены следуют одна за другой. Послав проклятие корабельщикам за морской разбой и «дикую силу» и упрекая Мефистофеля за то, что он слишком быстро выполнил его приказ, погубив в огне Филемона и Бавкиду в их мирном патриархальном жилище («И слиш-

³⁶ Гете И.-В. Фауст, ч. 2, с. 282. Приводим заключительные стихи цитаты (стихи 11186—11188) в оригинале, так как они заключают в себе очень существенную мысль, облеченную в отточенную афористическую форму:

Ich müsste keine Schiffahrt kennen:
Krieg, Handel und Piraterie,
Dreienig sind sie nicht zu trennen,

т. е. «Война, торговля и пиратство труппины и неразлучны».

³⁷ Гете И.-В. Фауст, ч. 2, с. 282.

ком скоро все свершилось. . . Я тому виной!»), Фауст остается один. В полночь появляются перед ним «четыре седые женщины» — Порок, Грех, Забота и Пужда,³³ которым он неподвластен. И только тогда, когда его, умирающего, ослепляет Забота, он как бы прозревает духовно, охваченный жаждой созидательного труда, и даже в бреду принимает стук могильных лопат за шум от воздвигаемой плотины. «Фауст, — гласит ремарка, — говорит, выходя из дворца, ощупью, у дверных косяков»:

Как звон лопат ласкает ухо мне!
Здесь вся толпа мой замысл исполняет,
Она кладет предел морской волне,
С собою землю примиряет,
Грань строгую для моря создает. . .³⁹

Гипотезы А. Менье о вдохновляющей роли, которую могло сыграть для Гете при окончании им второй части «Фауста» знакомство со «Сценой из Фауста» Пушкина, очень заманчивы, хотя еще не доказаны полностью и требуют, вероятно, дополнительных изысканий. Свою статью А. Менье начинал с установления возможности знакомства Гете с интересующей нас «Сценой» Пушкина. Хронологически такая возможность неопровержима (вторую часть «Фауста» Гете заканчивал в 1831 г.);⁴⁰ фактическое же знакомство Гете предполагалось Менье на довольно шатких основаниях (через Жуковского, приезжавшего в Веймар в 1827 г. и даже, по старой легенде, привезшего Пушкину подарок от Гете в виде пера и сопровождавшего его стихотворного послания). Хотя достоверность этой легенды была давно под подозрением и уделивший ей особое внимание С. Дурьлин отрицал не только ее возможность, но сомневался и в более позднем знакомстве Гете с произведениями Пушкина, все же даже этот внимательный и авторитетный исследователь писал, что «слышать от Жуковского о Пушкине Гете, конечно, мог: обидная краткость дневника Жуковского, где целое посещение великого веймарского поэта объясняется иной раз одним словом «Гете», допускает полную вероятность того, что такой разговор о Пушкине не удостоился отметки».⁴¹

Доказательность указанной гипотезы в известной степени ослабляется тем, что в ней идет речь о возможном воздействии на Гете в 1827 г. русского поэтического произведения, напечатанного

³⁸ В оригинале: «Mangel, Schuld, Sorge, Not».

³⁹ Гете И.-В. Фауст, ч. 2, с. 295—296.

⁴⁰ М е у н и е у х А. Puskin et la conclusion du second Faust, p. 99—100. Менье ссылается на указанную выше работу В. Эмриха и статью К. Эро (A u r a u l t K. La structure du V acte dans la deuxième partie de Faust // Études germaniques, 1951, juillet—décembre, p. 231—239). Менье указывает на тематическую близость Пушкина к мотивам IV акта второй части трагедии Гете и особенно к начальным и заключительным сценам V акта. И это позволяет допустить возможность того, что «в творческом сознании старого Гете легко могло созреть зерно, брошенное в него молодым русским».

⁴¹ Д у р ь л и н С. Русские писатели у Гете в Веймаре // Лит. насл. М., 1932, т. 4—6, с. 351—352.

лишь год спустя и, следовательно, известного вероятному передатчику его лишь в рукописи. Не забудем, однако, что таким посредником мог быть в данном случае не один Жуковский.⁴² за эти и последующие годы у Гете побывало в Веймаре множество русских путешественников и среди них немало литераторов и переводчиков. После известных работ С. А. Дурылина и В. М. Жирмунского, в которых подвергнуты были анализу контакты Гете с русскими литераторами, появился ряд работ, в которых опубликованы новые данные об этом и высказаны свежие соображения.⁴³ Существенно, что «Сцена» Пушкина, как уже было указано выше, напечатана впервые в журнале «любоумров» — «Московском вестнике» в 1828 г., где и ранее печатались критические статьи о Гете и переводы его произведений; именно в этом году Гете получил первое представление о русском журнале от своего московского почитателя Николая Борхардта, который прислал в Веймар сделанный им русский перевод критической статьи С. П. Шевырева, посвященной образу Елены в «Фаусте». Как известно, эта статья вызвала ответное благодарственное письмо Гете к Борхардту (от 1 мая 1828 г., из Веймара), вскоре получившее известность в России через тот же «Московский вестник» (1828, ч. IX, с. 326). Хотя переписка Гете и Борхардта давно опубликована, русским исследователям Гете не была до недавнего времени известна литературная деятельность Борхардта как переводчика и популяризатора русской литературы среди живших в России немцев, печатавшегося в ревельском журнале «*Esthona*».⁴⁴ Здесь можно вспомнить и еще один пример. Молодой русский литератор Н. М. Рожалин, член редакции «Московского вестника», лично знавший Пушкина и состоявший с поэтом в переписке по поводу участия его в этом журнале, побывал в Веймаре, был представлен Гете и писал после этой встречи своим родителям 4 июля 1829 г.: «Гете интересуется всем, что касается до России, читал все какие есть французские, немецкие, английские и итальянские переводы наших стихотворений, расспрашивал меня, что переведено на русский с английского и немецкого, звал на другой день опять к себе».⁴⁵ Прежние выводы того же С. Дурылина о малом зна-

⁴² В качестве «близкого друга» Жуковского канцлер Мюллер 4 мая 1829 г. представил Гете захватившего в Веймар А. И. Тургенева, возвращавшегося в Россию из Шотландии (см.: *K a n z l e r v o n M ü l l e r. U n t e r h a l t u n g e n m i t G o e t h e. K r i t i s c h e A u s g a b e v. E r n s t G r u m a c h. W e i m a r, 1956, S. 355—356*; переписка Мюллера с Жуковским, сколько знаем, обследована еще не полностью).

⁴³ См., например: *P r o p p e r M., v o n. G o e t h e u n d P u s c h k i n — W a h r h e i t u n d L e g e n d e // G o e t h e : N e u e F o l g e d e s J a h r b u c h e s d e r G o e t h e - G e s e l l s c h a f t, B d 12. 1950. S. 226; W a h l H. R u s s i s c h e W e i s h e i t s f r e u n d e b e i G o e t h e u n d i m G o e t h e s h a u s (1829 u n d 1838) // G o e t h e: V i e r t e i l j a h r e s s c h r i f t d e r G o e t h e - G e s e l l s c h a f t, B d 2, S. 185; R a b H. D i e L y r i k P u ŝ k i n s i n D e u t s c h l a n d. B e r l i n, 1964.*


⁴⁴ См.: *Z i e g e n g e i s t G. B o r c h a r d t — e i n f r ü h e r P r o p a g a n d i s t P u s c h k i n s u n d d e r r u s s i s c h e n L i t e r a t u r // Z e i t s c h r. f ü r S l a w i s t i k, 1963, B d 8, H. 1, S. 10—19.*

⁴⁵ Рус. архив, 1909, кн. 2, с. 565.

комстве Гете с произведениями Пушкина требуют в настоящее время значительных исправлений, в результате которых можно будет с большей уверенностью утверждать, когда и при каких обстоятельствах Гете стала известна и пушкинская «Сцена из Фауста».

Мы имеем все основания предположить, что весьма забытые нашими пушкиноведами разыскания Б. Я. Геймана и А. Менье — о новых аспектах проблемы взаимоотношений Пушкина и Гете — непременно должны будут привлечь их заинтересованное внимание для лучшего истолкования как Пушкина, так и Гете.





ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКАЯ НАРОДНАЯ КНИГА О ФАУСТЕ

В статье 1974 г. «Читал ли Пушкин „Фауста“ Гете?»¹ Д. Д. Благой еще раз вернулся к своей более ранней работе, дважды напечатанной под заглавием «Фауст в аду»,² в которой была сделана попытка окончательно утвердить в пушкиноведении ранее высказанную догадку о том, что сохранившиеся в черновых рукописях Пушкина фрагменты, печатавшиеся под различными заглавиями, но более известные под заглавием «адской поэмы», имеют непосредственное отношение к «Фаусту» Гете; такую попытку оправдывало заглавие, присвоенное указанным фрагментам в академическом 16-томном Полном собрании сочинений Пушкина: «Наброски к замыслу о Фаусте» (II, 380—382).³

В названной выше статье 1974 г., содержащей свод всех дошедших до нас данных о знакомстве Пушкина с творением Гете, Д. Д. Благой писал: «В набросках Пушкина Фауст в сопровождении Мефистофиля <?> предпринимает добровольно путешествие в ад, еще будучи живым, с целью узнать, что там творится <?>. Такого эпизода во всей фаустовиане нет, за исключением как раз той самой народной книги, из которой Пушкин заимствовал <?> свое написание „отрицающего духа“ — Мефистофиля — и в которой подобный эпизод имеется (главка 24 «Как доктор Фауст совершил путешествие в ад»); причем совершает он его также по

¹ Благой Д. Д. Читал ли Пушкин «Фауста» Гете? // Ист.-филол. исслед. Сб. статей пам. акад. Н. И. Конрада. М., 1974, с. 104—111.

² См.: Благой Д. Д. Фауст в аду: (Об одном неизученном замысле Пушкина) // Исслед. в чест на акад. Михаил Арнаудов. София, 1970, с. 263—275. Позднее статья вошла в кн.: Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней. М., 1972, т. 1, с. 286—303.

³ Текст этих фрагментов напечатан также в статье Д. Д. Благого «Фауст в аду», даже дважды (с. 263—268 и 270—272), первый раз — в обычной редакции академического издания, второй раз — в собственной, в которой исследователь, по его словам, «попытался придать большую композиционную стройность» этим фрагментам; в таком виде они были напечатаны еще раз в многотиражном издании, вышедшем под его редакцией, см.: Пушкин А. С. Собр. соч. в 6-ти т. М., 1969, т. 3, с. 468—470. (Б-ка ж. «Огонек»).

собственному желанию и требованию, по черти его обманывают, и на самом деле все, что там с ним происходит, он видит во сне. Наличие уже двух совпадений делает версию знакомства Пушкина с народной книгой еще более вероятной < . . . > Как и в каком виде книга Шписа могла стать известной Пушкину, требует дальнейшего изучения. Но сам этот факт не включает в себе ничего невероятного».⁴

Вопросительные знаки в приведенной цитате проставлены мною; поясню, что они стоят в тех местах, где заключающиеся в них утверждения, с моей точки зрения, не соответствуют истине или вызывают желание видеть дополнительную аргументацию для утверждений подобного рода. Так, например, в рукописных «набросках» Пушкина, о которых идет речь, ни разу нигде не упоминается Мефистофель; не встречается здесь также имя Фауста: лишь в одной строке это имя предполагается читаемым или угадываемым из неразборчивого сочетания букв «Фау» (которое некоторые текстологи раскрывают не как собственное имя, а как наречие «сразу»), а в другом фрагменте фигурирует в виде инициала — «доктор Ф.»; эта буква лишь в 1916 г. была раскрыта как возможный инициал имени Фауста по догадке П. О. Морозова, а затем это имя стало печататься в раскрытом виде, без всяких оговорок, во всех изданиях сочинений Пушкина, вплоть до большого академического.⁵ Что касается немецкой народной книги о Фаусте, изданной книгопродавцем Иоганном Шписом во Франкфурте-на-Майне в 1587 г., то категорическое утверждение Д. Д. Благой, что Пушкин именно отсюда якобы «заимствовал» свое написание Мефистофеля с «и» в конечном слоге («Мефистофиль»), как увидим ниже, не только неосторожно и неправдоподобно, но и ошибочно. Тем не менее можно вполне согласиться с тем предположением, которого придерживается Д. Д. Благой, что факт знакомства Пушкина с этой народной книгой «не включает в себе ничего невероятного» и что «требует дальнейшего изучения» лишь то, «как и в каком виде книга Шписа могла стать известной Пушкину».

Беспорный факт знакомства Пушкина с книгой Шписа — правда, в поздней и сокращенной французской переделке — был уже давно установлен в советском пушкиноведении, хотя, как это ни странно, основательно забыт. Беспорным я называю этот

⁴ Благой Д. Д. Читал ли Пушкин «Фауста» Гете?, с. 111—112.

⁵ В статье «Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброске Пушкина» я сделал попытку дать более или менее подробную характеристику текстологического изучения всех этих фрагментов. В 1950-е гг. Б. В. Томашевский в работе, опубликованной посмертно, вкратце коснулся фрагментов «адской поэмы» — по его словам, «не то поэмы, не то драмы „из адской жизни“, где упоминается и имя Фауста». «Наброски эти настолько отрывочны, — писал исследователь, — что по ним трудно восстановить сюжет задуманного произведения. Видно только, что в нем присутствовали элементы сильной политической сатиры < . . . > Однако связь между этими отрывками неясна. Возможно, впрочем, что „Сцена из Фауста“ не имеет отношения к сюжету этих отрывков» (Т о м а ш е в с к и й Б. Пушкин. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 92).

факт потому, что речь идет о неопровержимом вещественном свидетельстве — о книге, принадлежавшей личной библиотеке Пушкина и ныне сохраняющейся в ее составе; о том, что она была в руках Пушкина, свидетельствует несколько закладок, собственно-ручно вложенных поэтом в эту книгу.

Книга эта входила в большую серию книг под общим заглавием «Всеобщая библиотека романов» («Bibliothèque Universelle des Romans»), которая выходила в Париже периодически, небольшими томиками (в 12-ю долю листа, в среднем по шестнадцати томиков в год), в течение довольно долгого времени (1775—1789); всего за это время вышло в свет 224 тома серии, а с дополнительными томами полная их коллекция состоит более чем из 300 книг. В библиотеке Пушкина, как видно из описания ее, выполненного Б. Л. Модзалевским, вся серия «Всеобщей библиотеки» сохранилась не полностью; но и дошедшая до нас часть все же довольно значительна, так как в ней числится свыше двухсот томов.⁶

История этого очень популярного в свое время периодического издания ныне хорошо изучена.⁷ Нам известно сейчас, что в первые два года существования «Всеобщей библиотеки романов» ее редакторами-издателями являлись Ж.-Ф. Бастид, маркиз де Польми д'Арженсон и граф де Трессан. Все опубликованные ими здесь произведения беллетристического характера в переводе на французский язык (или извлечения из них), сопровождавшиеся пояснениями или специальными критическими статьями, разделены были составителями на восемь разделов (classes), с нашей точки зрения, очень условных, зыбких и нечетких, что, вероятно, объясняется еще существовавшей в то время неясностью понятия и обозначения «roman». В смысле литературного рода или жанра термин «роман» утвердился во Франции лишь в XIX в. В предшествующем столетии заглавие «Библиотека романов» означало нечто более широкое: собрание произведений художественной литературы, беллетристики (belles lettres), потому что в интересующем нас издании помещались произведения не только повествовательно-прозаические, но и стихотворные и порою даже драматические. Все они распределялись в издании по следующим восьми рубрикам: 1) романы греческие и латинские (античного мира); 2) романы рыцарские (сюда вошли «романы круглого стола» с «Тристаном», адаптированным Трессаном, романы из

⁶ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 9—10, с. 166—172 (№ 640—654). Содержание сохранившихся томов Б. Л. Модзалевский не описывает, но ссылается на указатель по всей серии «Bibliothèque», помещенный в IV томе за 1789 г.: «Table alphabétique des extraits contenus dans la Bibliothèque des Romans. Depuis son origine au mois de Juillet 1775 jusqu'au mois Juin 1789 inclusivement» (с. 172).

⁷ См.: Martin H. Histoire de la Bibliothèque de l'Arsenal. Paris. 1899, p. 38—41; Jacobon. Le comte de Tressan. Paris, 1923, p. 178—179, 188, 249.

BIBLIOTHÈQUE

UNIVERSELLE

DES ROMANS,

OUVRAGE PÉRIODIQUE,

DANS lequel on donne l'analyse raisonnée des Romans anciens & modernes, François ou traduits dans notre langue; avec des Anecdotes & des Notices historiques & critiques concernant les Auteurs ou leurs Ouvrages; ainsi que les mœurs, les usages du temps, les circonstances particulières & relatives, & les personnages connus, déguisés ou emblématiques.

DECEMBRE, 1776.



A PARIS,

AV BUREAU, rue du Four S. Honoré, près S.

Eustache, pour Paris & pour la Province.

Et chez DEMONVILLE, Imprimeur - Libraire,

rue Saint Severin

Avec Approbation & Privilège du Roi

Титульный лист журнала «Всеобщая библиотека романов» (1776)
из библиотеки Пушкина. Пушкинский Дом.

SIXIÈME CLASSE.

ROMANS SATYRIQUES, COMIQUES
ET BOURGEOIS.

*Histoire prodigieuse & lamentable de
Jean Fauste, grand & horrible En-
chanteur, avec sa mort épouvanta-
ble, &c.*

CE ROMAN, qui est véritablement de la Classe dans laquelle nous le plaçons, est aussi certainement Allemand, puisqu'il a été originairement composé & imprimé dans cette langue dès le seizième siècle, & qu'il eut alors un succès prodigieux en Allemagne. On mit ce sujet en Tragédie, & cette Pièce a été longtemps suivie sur le Théâtre Allemand, avant que ce Théâtre eût été perfectionné & épuré. La grande quantité de machines, de métamorphoses, de prodiges dont elle étoit ornée, attiroit l'admiration du peuple.

Cette Histoire a été traduite en beaucoup de langues, entre-autres, en François; mais elle est devenue rare dans notre langue, & la Bi-

цикла о Карле Великом, «Амадис Галльский», и др.); 3) романы исторические; 4) романы любовные; 5) романы нравственно-философско-политические (romans moraux: spiritualité, morale et politique); 6) романы комические и сатирические; 7) новеллы и сказки; 8) романы о волшебстве (romans merveilleux), сказки о феях, воображаемые путешествия.

Современники «Всеобщей библиотеки романов» очень ценили это большое собрание литературных текстов, с одной стороны, за то, что в нем они всегда могли найти хорошо составленные извлечения из произведений, которые не стоило читать целиком или ставить на полки своих личных библиотек, и, с другой стороны, — за сопровождавшие эти тексты вводные заметки об авторах, о месте и времени возникновения их произведений и нечто вроде исторического и реального к ним комментария.

В 1778 г. между маркизом де Польми д'Арженсоном и Ж.-Ф. Бастидом, бывшим фактическим издателем «Библиотеки», возникли разногласия и ссора, повлекшие за собой отказ первого из них от участия в издании «Библиотеки» и вызвавшие некоторые структурные изменения в серии.⁸ Но издание ее продолжалось еще многие годы, и это многотомное собрание книг на самом деле превратилось в огромную библиотеку, дававшую читателям довольно полное представление об истории развития многих разноязычных литератур Европы и характеристику важнейших литературных произведений древнего и нового мира за несколько веков.⁹ Хотя в первые годы издания «Библиотека» была содержательнее, чем в последующие, когда печаталось много второстепенных произведений, малоинтересных и бесцветных, вся серия пользовалась долголетней популярностью как во Франции, так и в других странах. В России она попадала в различные библиотеки, сельские и городские, читалась, а многие произведения, в ней помещенные, переводились на русский язык и печатались отдельно и в русских журналах.¹⁰

Публикация сокращенного изложения французского перевода народной книги о Фаусте относится к первому, лучшему периоду издания «Всеобщей библиотеки романов» — к 1776 г. Оно опубли-

⁸ Ж.-Ф. Бастид (Jean-François Bastide, 1724—1798) был плодовитым писателем и компилятором, на имя которого была выдана лицензия на выпуск всей серии. Пользуясь библиотекой маркиза де Польми (Paulmy d'Argenson, 1722—1798), дипломата и писателя, бывшего также страстным библиофилом и имевшего одну из крупнейших в то время личных библиотек, Бастид издал в «Библиотеке» целый ряд редких и забытых произведений мировой литературы. Поссорившись с маркизом, Бастид, вероятно, лишился также возможности пользоваться его библиотекой, в которой было до ста тысяч книг, в том числе многие редкие издания. Эта знаменитая библиотека в конце концов была завещана парижскому Арсеналу.

⁹ Между 1775 и 1789 г. вышло 224 части «Bibliothèque des Romans»; впоследствии, после перерыва, серия продолжилась под измененным названием «Nouvelle Bibliothèque des Romans»; в 1798—1803 гг. вышло 112 частей этого издания в 56 томах.

¹⁰ См.: С и п о в с к и й В. В. Очерки из истории русского романа. СПб., 1910, т. 1, вып. 2, с. 22, 86—88, 108, 137, 158 и др.

ковано под заглавием «Необычайная и жалостная история Жана Фоста (Фауста), великого и страшного волшебника, а также его ужасающей смерти» («Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, grand et horrible Enchanteur avec sa mort épouvantable»).¹¹ Характерно, что эта небольшая повесть напечатана в «разделе шестом» «Библиотеки», предназначенном для публикации «романов комических, сатирических и мещанских», что не вполне согласуется с содержанием немецкого оригинала. «Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste» — это краткое изложение первой французской адаптации немецкой народной книги о Фаусте, вышедшей в 1587 г.; немецкая книга была переведена на французский язык и издана через два года после немецкого оригинала, в 1589 г., Пьером-Виктором Кайе (Pierre-Victor Cayet, 1525—1610); его перевод содержит в себе ряд самостоятельных дополнений и переиздавался 15 раз.¹² Насколько можно судить, в адаптации этой книги, опубликованной во «Всеобщей библиотеке романов», сделаны значительные сокращения переводного текста, отсутствует разбивка на главы и новый текст сбивается на пересказ; ему предшествует небольшое редакционное предисловие, которое стоит привести здесь целиком.

«Этот роман (le roman) действительно относится к разделу, в котором мы его помещаем, и имеет немецкое происхождение, так как он написан и напечатан на немецком языке в конце XVI столетия и имел в Германии огромный успех. Он дал сюжет для немецкой трагедии, которая долго давалась в Немецком театре еще до того, как этот театр был облагорожен и усовершенствован. Большое количество машин, которыми он был снабжен, и совершаемых в нем чудесных превращений привлекали к нему восхищение народа.

Эта история (cette histoire) переведена на множество языков, в частности на французский; но на нашем языке она стала редкой, и библиография Дебюра относит ее к числу книг наиболее разыскиваемых. Стоило бы написать длинное рассуждение, чтобы представить в нем человека, которого автор имел в виду, сочиняя эту историю. Некоторые считают, что это был Иоганн Фуст или Фауст (Jean Fust ou Faust) из Майнца, один из первых изобретателей книгопечатания;¹³ другие считают, что эта книга — произве-

¹¹ Bibliothèque Universelle des Romans: Ouvrage périodique, Paris, 1776, Décembre, t. 8, p. 69—83.

¹² В. М. Жирмунский (Жирмонский В. М. История легенды о Фаусте // Легенда о докторе Фаусте. М.; Л., 1958 (сер. «Лит. памятники»), с. 419—420) отмечает, что народная книга о Фаусте «имела широкий международный успех. Вскоре последовал ряд переводов на другие языки, в основе которых лежат различные печатные редакции, сперва самого Шписа, а в XVII—XVIII вв. — его продолжателей» (см. здесь же о переводе Ж. Кайе). Ср.: D é d é u a n Ch. Le thème de Faust dans la littérature européenne. Paris 1954, t. 1 Humanisme et classicisme, XVI, XVII et XVIII siècles, p. 98.

¹³ Bibliothèque Universelle des Romans, t. 8, p. 70. В книге Дж. Смйда (S m e e d J. W. Faust in Literature. Oxford University Press, 1975) имеется особая глава (ch. 5 — «Faust and Fust», p. 99—109), в которой приведено

депие некоего католика, пожелавшего очернить Лютера, представив его эмблематически в виде волшебника; иные, наконец, считают, что доктор Фауст существовал в действительности, что он имел беседы с императором Карлом V и показывал ему удивительные штуки. Ключзус (написавший по-латыни «Annales de Sonate»), а также некоторые другие историки Германии упоминают об этом. Как бы там ни было, к предполагаемой сатирической цели автор прибавил еще свою мораль, заключающуюся в том, что никогда не стоит верить демону, что если в течение некоторого времени он может доставлять нам большие преимущества, то затем он заставит нас за них расплатиться достойным сожаления концом. Эта прекрасная мораль подчеркнута в предварительных размышлениях к книге и в последней речи доктора Фауста к студентам Виттембергского университета. Однако, относясь к этой книге с другой точки зрения, мы выберем для наших читателей из примеров его обманов (les tours de passe-passe) особенно необычные и, кроме того, такие, по которым можно судить о вкусе немецких писателей XVI в., независимо от того, претендовали ли они на написание правдивых историй или тогда, когда они хотели представить лишь нравственные аллегории.¹⁴

Таким образом, статья, напечатанная во «Всеобщей библиотеке романов», представляет собою лишь небольшое сокращение из книги Шписа по французскому переводу П.-В. Кайе. Среди избранных из этого перевода страниц для адаптации «Библиотеки» мы находим извлечение из рассказа о путешествии Фауста в ад (соответствующее 24-й главе немецкого подлинника). В адаптации путешествие Фауста в ад является одним из первых эпизодов его жизни после заключения договора с дьяволом: он еще молод и неопытен, умерен в своих желаниях и не умеет пользоваться преимуществом своего положения, неожиданно приобретенным благодаря договору с дьяволом, заключенному на двадцать пять лет. По этому договору Фауст получает беса в качестве слуги или лакея (по имени *Metastophiles*), к которому причислены также в качестве помощников-исполнителей еще около десятка чертей, имеющих каждый свою специальность — для удовлетворения всех прихотей хозяина, приказания которого они обязаны выполнять беспрекословно и мгновенно.

Сначала слуга Фауста занимается тем, что таскает для своего хозяина лучшие куски из яств со столов наиболее богатых жителей Германии, но это были слишком легкие колдовские проказы, а Фауст желал большего. Потом Фауст задумал жениться, но этот пункт был отклонен его слугой, так как он прямо противоречил

большое количество данных, заимствованных из печатных источников XVI—XVIII вв., о смешении доктора Фауста с типографщиком Фустом; указание на «Bibliothèques des Romans» здесь, однако, отсутствует; Дж. Смед, впрочем, отмечает, что популярности этой ошибки в конце XVIII в. в немалой степени способствовал Ф. М. Клингер со своим романом «Faust's Leben, Thaten und Höllenfahrt» (1791).

¹⁴ Bibliothèque Universelle des Romans, t. 8, p. 69—71.

договору. Тогда Фауст начал составлять «альманахи» (т. е. предсказатели будущего) и имел успех во многих знатных домах, но слуга предупредил Фауста, что эти «альманахи» могут стать пригодными для предсказания и его собственного будущего, и отклонил дальнейшие занятия Фауста этим отнюдь не веселым развлечением. Затем у него возникла новая идея: «Доктору хотелось узнать, как устроен ад. Его бесы (*ses diables*) сопровождали его туда. Он видел (но на этот раз мимоходом) это ужасное место и не без горести задумался о том, что однажды он вступит в это жилище, чтобы никогда больше не выйти оттуда. Чтобы немного утешить его, дьявол заставил совершить путешествие в воздушном пространстве между планетами и звездами. Когда, возвращаясь, он приближался к земле, его внимание обратили на главные страны и важнейшие города Европы. После этих больших путешествий, во время которых он получил столь прекрасные наставления (*il avait reçu si belles instructions*), Фауст становился более ловким (*habile*)».¹⁵

Так кончается в этой статье изложение интересующего нас эпизода о путешествии Фауста в преисподнюю. Как видим, извлечь из него что-либо или вдохновиться им для пересоздания или полного переосмысления было довольно затруднительно. Литературным источником для Пушкина текст, опубликованный во «Всеобщей библиотеке романов», служить не мог, а возможности познакомиться с книгой Шписа в переводе Кайе — в одном из изданий XVII в. — предположить трудно: все эти издания были редкими и для французских читателей того времени. Единственно, что, может быть, стоило бы учесть — сведения о Фаусте во вступительной заметке к указанной публикации и среди них указание на то, что некоторые писатели считали его историческим лицом и одним из «изобретателей книгопечатания». Об этом писал и Пушкин в написанной им по-французски программе к драматическому произведению о «папессе Иоанне».

Что касается «бесовского слуги» и «злого духа» Фауста, который упоминается во французском тексте — *Metastophiles* (Метастофилес), то это, несомненно, небольшое искажение того имени, которое ему присвоено в немецкой народной книге о Фаусте (*Mephistophiles*) и которое встречается и в других книгах, гравюрах и картинках XVI—XVII вв. В упомянутых выше статьях о Фаусте в творчестве Пушкина Д. Д. Благой, придавая важное значение одной особенности написания этого имени у Пушкина, писал: «у Гете он зовется *Mephistopheles*. Однако в „Сцене из Фауста“ Пушкин это имя систематически (все девять раз, когда оно встречается) пишет в последнем слоге через *и*: Мефистофиль. То же написание в более позднем (1828) пушкинском стихотворении, обращенном к художнику Доу (*Dawe*): „Зачем твой дивный карандаш // Рисует мой арабский профиль? // Хоть ты векам его предашь, // Его освищет Мефистофиль“ < . . . > в некоторых изданиях пушкин-

¹⁵ Ibid., p. 72—73.

ское написание сохранено лишь в стихотворении 1828 г. — по-видимому, чтобы не ослаблять рифмы: профиль — Мефистофиль. Между тем пушкинское написание через *и* не является ни ошибкой, ни случайной оплошностью. Именно так назван черт в народной книге о Фаусте, которая была издана Шписом в 1587 г.». Заканчивая свое рассуждение, Д. Д. Благой признается, что на данном примере он убедился лишней раз, «сколь необходимо возможно менее модернизировать письменную речь Пушкина, что, как видно из данного случая, не всегда соблюдается даже виднейшими текстологами-пушкинистами. В слове «Мефистофиль» дело идет об одной букве, а какой существенной эта одна-единственная буква оказывается для исследователей!».

В результате исследователь пришел к удивительному выводу: по его мнению, «в своем усвоении гетевского „Фауста“ поэт не только не ограничился „книгой де Сталь“ (обращался и к французским переводам и, что особенно важно, к немецкому подлиннику), но пошел еще далее: в соответствии с первоисточником всей литературной фаустовианы вообще своим написанием имени Мефистофиль, восходящим к самым истокам ее, „поправил“ в этой, пусть небольшой, но характерной детали самого Гете».¹⁶

К сожалению, это странное, ничем не оправданное умозаключение основано на недоразумении и прямой ошибке: в «первоисточнике» фаустовианы — книге Шписа, а также в других ранних изложениях легенды о Фаусте нигде не встречается то написание имени Мефистофеля, какое мы находим у Пушкина и которому невозможно придать какое-либо значение. Написание с *и* в последнем слове встречается только у Пушкина. Полагаем, что это свидетельствует не о близком знакомстве Пушкина с подлинными немецкими текстами трагедии Гете или народной книги о Фаусте, а скорее наоборот — о малом, недостаточном знакомстве с ними, особенно с книгой Шписа. По нашему мнению, это очевидный результат усвоения имени Мефистофель на слух, не в печатной, а в устной форме: гласные в конечном неудараемом слове, особенно при плохой артикуляции говорящего, путаются легко при произнесении вслух слова, состоящего из двух или трех слогов; при этом замена *e* на *и* не имеет никакого смыслового значения.¹⁷ Если Пушкин внимательно всматривался в написание с *и* в конечном слове

¹⁶ Благой Д. Д. Читал ли Пушкин «Фауста» Гете?, с. 110—112. Отметим, кстати, что под «Мефистофилем», упомянутым Пушкиным в стихотворении, обращенном к художнику Доу, подразумевается не персонаж Гете, а прозвище сотрудника «Московского вестника», приятеля Погодина — И. С. Мальцева (см.: Старина и новизна, 1907, т. 7, с. 161).

¹⁷ Этимология имени Мефистофель посвящена большая специальная литература, в которой приводится много разнообразных, более или менее фантастических догадок. Некоторые из них пролипли и в русскую литературу. Н. Г. Чернышевский в приготовленных для 10-й книжки «Современника» 1856 г., но не появившихся в журнале «Примечаниях к переводу Фауста» говорит по этому поводу: «Происхождение этого имени темно. Обыкновенно производят его от Mephitis (Моровое поветрие). Если такое производство справедливо, вторую половину этого слова легко объяснить греческим словом

имени Мефистофиль, то он должен был заметить также, что в «первоисточнике» легенды о Фаусте, в книге Шписа 1587 г., это имя всегда пишется иначе: Мефостофиль (Mephostophiles), т. е. произведена замена гласной не только в последнем слове (*и* вместо *е*), но и во втором (*о* вместо *и*)!

Книга Шписа существует в полном и точном русском переводе, помещенном в исследовании В. М. Жирмунского «Легенда о докторе Фаусте», на которое ссылается и Д. Д. Благой; в этом издании имя Мефистофель упоминается много раз, но не в том написании, которое Д. Д. Благой рекомендует для воспроизведения даже в собраниях сочинений Пушкина: в русском переводе книги Шписа везде печатается Мефостофиль.¹⁸ То же написание (Mephostophiles) можно увидеть на голландской гравюре И. Сихема (XVII в.) «Фауст и Мефостофиль в одежде монаха», где над фигурой монаха сделана отчетливая надпись: «Mephostofiles».¹⁹

Следует сослаться еще на статью К. Мармье «Предания о Фаусте», напечатанную в надеждинском журнале «Телескоп» (из «Revue de Paris»). Здесь упоминается французский перевод книги Шписа, сделанный П. В. Кайе (по изданию: Руан, 1604). Имя Мефистофеля имеет здесь то же написание (за исключением еще одной измененной гласной в предпоследнем слове): Мефостофолис. Публикуя эту статью в своем журнале, Н. И. Надеждин снабдил ее следующим редакционным примечанием: «Статья сия принадлежит Ксаверию Мармье, одному из ревностнейших любителей и лучших знатоков немецкой литературы во Франции. Мы помещаем ее как материал к изучению знаменитого „Фауста“ Гете».²⁰ Статья Мармье могла быть известна Пушкину: «Телескоп» он читал систематически. Указанная статья о Фаусте могла заинтересовать нашего поэта; Мармье привел в ней много любопытных исторических и историко-литературных данных о Фаусте, свидетельства о нем немецких историков и хронистов, указав, кстати, на «некоторых писателей», которые смешивают Фауста с книгопечат-

drhelein (быть приятному). В таком случае Мефистофель значил бы „тот, кому приятно убивать людей“» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 783, 866—867). По другим толкованиям, форма Mephostophiles может быть производима от латинского *merphitis* и греческого *philos* (в совокупности — «любящий адский серный запах»); существует также гипотеза, по которой имя Мефистофель получилось от слияния двух еврейских причастий: *merphiz* («разрушитель») и *tophel* («лжец»). Нам неизвестна, однако, такая этимология имен злого всеотрицающего начала, согласно которой придалось бы какое-либо значение написанию его с «п» в конечном слове. Кроме того, заметим, что имя Мефистофель в еврейской литературе чаще всего употребляется в сокращенной форме — «Мефисто» (Mephisto).

¹⁸ См.: Легенда о докторе Фаусте / Изд. подг. В. М. Жирмунский. М.; Л., 1958, с. 52 (гл. 4 — «Второе пришествие Фауста с духом, называемым Мефостофильем»), 57 («... отвечал дух, что зовется оп Мефостофильем»), 60, 61, 63, 66, 81, 83, 86—87 и др.

¹⁹ Гравюра и схема воспроизведены в книге В. М. Жирмунского «Легенда о докторе Фаусте» на вклейке между с. 56—57.

²⁰ [Мармье К.] Предания о Фаусте, знаменитом чернокнижнике и колдуне // Телескоп, 1834, ч. 21, с. 385—411.

ником Фустом (с. 388), но в особенности подробно остановился на франкфуртской книге о Фаусте 1587 г., т. е. книге, изданной Иоганном Шписом. Мармье приводит полное длинное заглавие этой повести, сообщая: «Книга сия ныне весьма редка; даже в самой Германии весьма трудно добыть ее» (с. 390), и дает ей следующую характеристику: «Впрочем, не ожидайте, что вы в сей книге найдете повествование о приключениях действительно странных и историю в самом деле такую трагическую, как по заглавию книги можно бы было заключить. Фауст нередко представляется в ней добрым, разгульным малым, коего веселость весьма сходствует с простодушной национальной веселостью немцев, как она описана в известном Зеркале Сов (Eulenspiegel), не носит на себе никаких признаков дьявольской злобы. В Германии нет ни одного бойкого студента, который не мог бы с ним состязаться в некоторых из главнейших примеров его молодечества и безнравственности, нет ни одного фокусника, который не перещеголял бы его в волшебстве. Бедный Фауст отличается иногда таким смирением, бывает в таком замешательстве, что заслуживает истинную жалость. Вместо того чтобы своим помыкать как угодно Мефистофелисом, он боится его; все, получаемое им от дьявола, так мало важно, что весьма немного наберется людей, которые захотели бы за такую цену продать себя дьяволу».²¹

Мы не имеем точных данных, была ли статья К. Мармье, появившаяся в русском переводе в «Телескопе», знакома Пушкину, хотя это достаточно правдоподобно. Но французский оригинал этой статьи был Пушкину известен безусловно, даже в несколько расширенном виде; вся эта статья, первоначально опубликованная в парижском журнале «Revue de Paris» в 1832 г., вскоре вошла в большую книгу К. Мармье «Этюды о Гете» в качестве отдельной главы, дополненной более обширными фактическими сведениями и библиографическими указаниями; книга эта была в личной библиотеке поэта и несомненно читана им именно в той ее части, которая касается преданий о Фаусте и их традиций в различных литературах Западной Европы.²²

Сколько знаем, указанная книга К. Мармье исследователями Пушкина к изучению истории освоения им «фаустовской темы» не привлекалась, хотя она давно известна в русской библиографической фаустовиане. Напротив, статья о народной книге о Фаусте

²¹ Там же, с. 392—393.

²² *Études sur Goethe* / Par. X. Marmier. Paris, 1835. Б. Л. Модзалевский, описавший экземпляр этой книги, принадлежавший Пушкину, сопроводил описание следующим указанием: «Разрезано; заметок нет, кроме отметки погтем на поле на стр. 465. . .» (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910, с. 282, № 1135; отметка сделана против фразы об интересе Гете к литературам Востока, сербской, персидской и др.). Оригинал статьи, появившейся в «Телескопе», включен в «Этюды о Гете», в главу «Faust» (*La chronique*) (с. 67—101; все эти главы напечатаны на с. 53—101). «Фаусту» Гете в этой книге посвящены две последующие главы (с. 158—216 и 217—246).

1776 г. в «Bibliothèque Universelle des Romans» пушкиноведам давно и хорошо известна; экземпляр ее (с закладками) в составе личной библиотеки Пушкина хранится в Пушкинском Доме в Ленинграде, а подробное указание на нее можно найти в VII томе академического Полного собрания сочинений Пушкина, в комментарии к неосуществленным замыслам его «маленьких трагедий».²³

²³ П у ш к и н Полн. собр. соч. Л., Изд-во АН СССР, 1935, т. 7. Драматические произведения, с. 699.





ПУШКИН И ПОВЕСТЬ Ф. М. КЛИНГЕРА «ИСТОРИЯ О ЗОЛОТОМ ПЕТУХЕ»

1

В истории изучения «Сказки о золотом петушке» Пушкина, как известно, очень заметную роль сыграла небольшая статья А. А. Ахматовой «Последняя сказка Пушкина», в которой она сообщала, что ей удалось обнаружить источник сюжета этого произведения поэта в новелле Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете» (другой вариант перевода заглавия новеллы — «Легенда об арабском астрологе»). Эта новелла помещена в книге американского писателя «Альгамбра» («The Alhambra») и безусловно была известна Пушкину по ее французскому переводу, вышедшему в Париже в 1832 г. и сохранившемуся в личной библиотеке поэта.¹

Статья А. Ахматовой вызвала оживленный обмен мнений: споры защитников и противников высказанной ею догадки длились в печати довольно продолжительное время; впрочем, они были весьма бесплодны и во всяком случае слишком однообразны. Важнейшие результаты литературной полемики по этому поводу были изложены И. М. Ковальницкой,² но сделанный ею критический

¹ См.: Ахматова А. А. Последняя сказка Пушкина // Звезда, 1933, № 1, с. 161—176. В 1977 г. эта статья была перепечатана в сборнике статей и заметок А. А. Ахматовой о Пушкине по тексту, хранящемуся в части ее архива в ГПБ, — верстке многослойной авторской правкой различных лет (см.: Ахматова А. А. О Пушкине: Статьи и заметки. Л., 1977, с. 8—38; здесь же перепечатана и другая статья Ахматовой «Сказка о золотом петушке» и «Царь увидел пред собой...»: Комментарий» (с. 39—49), первоначально опубликованная в кн.: Рукописи Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. / Под ред. С. М. Бонди. М., 1939, с. 23—26). Как указывает Э. Г. Герштейн, перепечатавшая обе статьи Ахматовой в сборнике 1977 г., авторская правка экземпляра верстки обеих статей свидетельствует, что А. А. Ахматова в 50-х гг. вернулась к ним и намеревалась либо отказаться от их переиздания, либо печатать эти статьи в переработанном виде (см. с. 239). Замысел этот, однако, остался неосуществленным. Поэтому мы цитируем эти статьи не по переизданию в сборнике, а по первоначальному тексту, опубликованному в журнале «Звезда» в 1933 г.

² См. коллективную монографию: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966, с. 437—442.

обзор суждений об источниках «Сказки о золотом петушке» слишком краток, весьма неполон, вовсе не принимает во внимание мнений зарубежных исследователей Пушкина и не возбуждает желания пересмотреть этот вопрос заново. Напомним здесь, что большинство исследователей, не имея возможности отрицать действительное сюжетное сходство пушкинской сказки с новеллой В. Ирвинга, либо принимало полностью гипотезу Ахматовой, либо пыталось ослабить ее соображениями о более важной, по их мнению, стилистической и жанровой близости «Сказки о золотом петушке» к русскому сказочному фольклору. Так, например, М. К. Азадовский полностью соглашался с догадкой А. А. Ахматовой, хотя и указывал также на некоторые отклонения Пушкина от сюжетной схемы новеллы об арабском звездочете и справедливо подчеркивал, что Пушкин стремился передать заимствованные им из зарубежной литературы сюжеты таким образом, чтобы они получали подлинно национально-русское звучание.³ Близкой была точка зрения Ю. М. Соколова,⁴ И. П. Лупановой,⁵ Л. Желанского⁶ и др. И тем не менее Р. М. Волков в своей работе о народных источниках творчества Пушкина⁷ упрямо отрицал значение гипотезы Ахматовой. Он, между прочим, писал: «Утверждение М. Азадовского, что „Пушкин сохраняет в основном всю сюжетную схему Ирвинга“, не может быть принято. Да и сам М. Азадовский указывает на наличие существенных различий между новеллой Ирвинга и сказкой Пушкина < . . . > Отмеченные М. Азадовским „отклонения“ говорят о существенном отличии пушкинской сказки от новеллы Ирвинга, отличии, показывающем, что сказку Пушкина ни в коем случае нельзя возводить к новелле В. Ирвинга как первоисточнику, хотя Пушкин, безусловно, и знал эту новеллу, частично использовав из нее некоторые ситуации в своей сказке».⁸

Тем не менее в советской науке о Пушкине в последнее время, по-видимому, возобладало все же противоположное мнение. Так, например, в последнем издании «Альгамбры» на русском языке новелла Вашингтона Ирвинга снабжена следующим примечанием комментатора: «Сюжет Ирвинга послужил источником Пушкину для его „Сказки о золотом петушке“, как доказала впервые А. А. Ахматова в своей работе „Последняя сказка Пушкина“».⁹

³ Азадовский М. К. Пушкин и фольклор // Азадовский М. К. Литература и фольклор. Л., 1938, с. 85—88.

⁴ Соколов Ю. М. Пушкин и народное творчество // Лит. критик, 1937, № 1, с. 134—135.

⁵ Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX в. Петрозаводск, 1959, с. 177.

⁶ Желанский Л. Сказки Пушкина в народном стиле. М., 1936, с. 66.

⁷ Волков Р. М. Народные истоки творчества Пушкина: (Баллады и сказки) // Учен. зап. Чернов. гос. ун-в. Сер. филол. Черновцы, 1960, т. 44; вып. 13, с. 190—218.

⁸ Волков Р. М. Народные истоки творчества Пушкина, с. 197—198.

⁹ Ирвинг В. Альгамбра. М., 1979, с. 342 (примеч. А. Б. Грибанова).

Публикуя первые результаты своего открытия о сходстве сказки Пушкина с новеллой Ирвинга, А. А. Ахматова отмечала, что именно «отсутствие фабулы сказки о золотом петушке в русском и иностранном фольклорах» привело ее к мысли, что «эта сказка имеет литературный источник», и попутно сообщала — правда, с чужих слов, — что источниками «Альгамбры» Ирвинга «в Испании никто не занимался».¹⁰

Десятилетие спустя на вопрос об источниках новеллы Ирвинга попытался ответить Константин Николаевич Державин (1903—1956), еще молодой в то время, но уже составивший себе имя знатока испанской литературы от ее истоков. Ученик создателей испанистической школы в русской филологии — Д. К. Петрова и В. Ф. Шишмарева — К. Н. Державин много занимался как испанской, так и арабской литературами Испании.¹¹ В 1944 г. от имени Пермского государственного педагогического института К. Н. Державин издал отдельной брошюрой в Перми свой доклад, читанный им в июне—августе 1943 г. на заседаниях Уральской научной конференции и Отделения литературы и языка Академии наук СССР. Эта брошюра имеет заглавие «Виргилий и Пермская сказка» и очень неожиданна по приведенным в ней средневековым книжным и фольклорным материалам Запада и Востока, а также по своим гипотетическим умозаключениям. По странной случайности эта интересная работа осталась неизвестной ни испанистам, ни востоковедам, ни специалистам-пушкиноведам, изучавшим сказки Пушкина.¹² Сколько знаем, она была упомянута лишь однажды — мимоходом, без раскрытия ее содержания — А. Л. Слонимским в его книге «Мастерство Пушкина»,¹³ но и это глухое указание на нее осталось незамеченным.

«Источники ирвинговской легенды, насколько нам известно, не определены, — писал К. Н. Державин, ссылаясь на статью А. А. Ахматовой. — Сказочный дворец мавританских правителей в Альгамбре овеян богатейшей легендарной традицией, восходящей и ко временам владычества мавров в Испании, и к временам позднейшей испанской письменности и фольклора. Ирвинг, видимо, не предполагал, что, создавая свой легендарный рассказ об арабском звездочете, он облакает в новую форму не только местное, связанное с Альгамброй, предание, но и повествователь-

¹⁰ Звезда, 1933, № 1, с. 164, примеч 1 и 3.

¹¹ П л а в с к и н Э. И., С м и р н о в А. А. К. Н. Державин // Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1957, т. 16, вып. 2, с. 187—192.

¹² См.: Д е р ж а в и н К. Н. Виргилий и Пермская сказка. Пермь, 1944 (далее: Д е р ж а в и н). Малая известность этого издания, по-видимому, объясняется тем, что оно принадлежит к числу библиографических редкостей, так как вышло в свет лишь в количестве 150 экземпляров (11 стр. 12°) и отсутствует во многих крупнейших библиотеках нашей страны. Брошюра К. Н. Державина осталась неизвестной также А. К. Бойко, автору новейшей работы об источниках новеллы Ирвинга (см.: Б о й к о А. К. Об арабском источнике мотива о золотом петушке в сказке Пушкина // Временник Пушкинской комиссии: 1976. Л., 1979, с. 113—119).

¹³ С л о н и м с к и й А. Л. Мастерство Пушкина М., 1969, с. 26.

LE COQ D'OR;
FRAGMENT HISTORIQUE;

*Pour servir de Supplément à l'Histoire
Ecclesiastique.*

TRADUIT DE L'ALLEMAND.

*Nemo enim sine malis fides,
Nemo iniquitate de corpore
Sine dolo exiit.*

TACITUS.



M. DCC. LXXXIX.

Титульный лист французского издания повести Ф. М. Клин-
гера «История о золотом петухе»,

ный мотив, известный уже раннему европейскому средневековью. В европейской традиции предание это связано с образом великого римского поэта Вергилия, за которым народное мнение упрочило, как известно, славу колдуна и чародея». ¹⁴

Отправным пунктом для разысканий и гипотез К. Н. Державина в средневековых литературах Запада и Востока послужила обнаруженная им среди материалов фольклорного архива В. Н. Сербренникова (1881—1942) запись сказки, сделанная этим пермским краеведом в Оханском уезде Пермской губернии около 1902 г. Приводим эту запись.

«Был один Верзило царь и все он золото собирал. Набрал он его полны амбары, сидит и думает, как ему это золото лучше от воров да от врагов уберечь. Жил в селе плотник. Царь зовет его и велит: „Построй мне крепость“. Плотник построил. Потом царь опять велит: „Сруби мне идола“. Плотник срубил, да такого страшного, что и не сказать. Взял царь идола, в крепость поставил и в руку ему железную стрелу приладил. Теперь — откуда вору идут или враги собираются, идол как завопит и стрелю туда тычет, Верзило сейчас посылает солдат. Они воров ловят, врагов побеждают и в плен берут. Так свое золото царь уберет». ¹⁵ «Эта записанная в лесах Прикамья сказка, — рассуждал далее К. Н. Державин, — невольно вызывает сопоставление с «Золотым петушком» Пушкина. И здесь, и там владения сказочного царя охраняются от вражеских посягательств чудесным стражем, который предупреждает царя о грозящей опасности. У Пушкина это — золотой петушок, преподнесенный царю Додону хитроумным звездочетом, в пермской сказке — деревянный идол, срубленный сельским плотником». По остроумному предположению исследователя, сохранявшееся в фольклорной пермской записи имя сказочного царя «Верзило царь» есть русская народная этимология имени римского поэта Вергилия, о котором сложилось в средневековых литературах Европы множество преданий как о маге и волшебнике. Для того чтобы объяснить сходство между преданиями о волшебнике Вергилии и русской сказкой, К. Н. Державин широко пользуется известным итальянским трудом «Вергилий в средние века» Д. Компаретти (Comparetti D. Virgilio nel Medio Evo. Livorno, 1872), но литература об этих преданиях на всех европейских языках очень велика и некоторые редакции, не учтенные итальянским ученым, ближе к русской сказке, чем те, на которые ссылается К. Н. Державин. Принимая во внимание малую известность его брошюры, мы позволим себе привести из нее ряд цитат, дополняя их собственными разысканиями по этому же поводу.

Вероятно, первую по времени из известных нам литературных записей интересующего нас предания о Вергилии мы находим

¹⁴ Державин, с. 6. Мы сохраняем здесь, по необходимости, ту употребляемую автором форму написания имени римского поэта Вергилия Марона, которая чаще встречается в западноевропейских источниках (Вергилий вместо более привычного для нас написания: Вергилий).

¹⁵ Державин, с. 1.

в энциклопедическом сочинении английского латиниста и профессора логики в парижской Сорбонне Александра Неккема (1150—ок. 1227) «О свойствах вещей». Рассказывая о различных колдовских деяниях и волшебствах Вергилия, Неккем между прочим упоминает, что Вергилий «построил в Риме пышный дворец, в котором были установлены статуи всех областей, каждая с деревянным колоколом в руках. Как только какая-либо область или страна затевала козни против римского владычества, тотчас же статуя, ее изображавшая, начинала звонить в колокольчик. Тогда же медный воин на медном коне на верхушке дворца, потрясая копьём, обращался в ту сторону, откуда грозила опасность. Немедленно собиралась римская молодежь и по повелению сенаторов шла на врага, дабы не только разрушить готовившиеся вероломства, но и покарать зачинщиков смуты».¹⁶

«Легенда о Вергилии — создателе чудесных статуй стражей Рима — получила широкое хождение в литературе средневековой Европы. Она встречается у Беда Достопочтенного, в одном путеводителе по Риму и его достопримечательностям XII в., в «Золотой легенде» Якопо де Ворагине (XII в.) и, наконец, в ряде версий и редакций „Повести о семи мудрецах“ и „Деяний римлян“, этих популярнейших памятников средневекового назидательного рассказа (XIII—XIV вв.)», — отмечает К. Н. Державин, указывая вместе с тем на тот источник, который лежал в основе пермской сказки, так как некоторые из указанных им компиляций были известны и в русских переводах.

Можно сопоставить, например, ту редакцию предания о волшебнике Вергилии, которая находится в одном из списков латинского трактата «Деяний римлян» по изданию Ёстерлея, с прямой ссылкой на первоисточник предания — трактат Александра Неккема, с той редакцией легенды, которая находится в русском переводе притчи из «Семи мудрецов»: «Повествует Александр, философ природы вещей, что Вергилий в городе Риме воздвиг пышный дворец, в середине коего поставил статую, называвшуюся богиней Рима. Держала она в руке золотое яблоко. Вокруг дворца стояли статуи каждой области, подвластной римскому владычеству, и каждая из них имела в руках деревянный колокол. Как только какая-либо из областей стремилась затеять козни против Рима, тотчас статуя этой области звонила в свой колокол и на верхушке дворца появлялся всадник на медном коне, потрясая копьём и взвывая в сторону указанной области. Немедленно же римляне, видя это, брались за оружие и убеждали ту область».¹⁷

По мнению К. Н. Державина, деревянный идол и железная стрела пермской сказки ведут прямо к притчам «Семи мудрецов» и «Деяний римлян», тексты которых в русских переводах известны

¹⁶ Державин, с. 6, со ссылкой на издание: *Rerum Britanniae Scriptores* (I. 31); *Necquam A. De naturis rerum* / Ed. Th. Wright. London, 1863.

¹⁷ Державин, с. 9, со ссылкой на изд.: *Gesta Romanorum* / Ed. H. Oesterley. Berlin, 1872, S. 590—591.

были в XVII—XVIII вв. Таков, например, сборник «Сказание дивно и славно о притчах седми мудрецов», в котором приведено то же предание по рукописи (XVII в.), принадлежавшей уральскому краеведу В. А. Волегову:

«Бысть некий мудрец в Риме Цысарь ему же имя Актювианус, любяше злато, зело собираше его много множество. Многие же краљства повоеваш рымляни и воевавшии бяху рымляни ото всех земель, понеже не возмогоша пропититися. Бе же у них в то время мудрец, ему же имя Виргилиус; приидоша же к нему римляне и рекоша ему дабы им учшил своею мудростию оборонь. Он же сотвори им на некоем месте велию башну и на ней сотвори многое множество окон великих и во всяком окне сотвори по человеку во образ и во имя старых рыцарей и королей и поднися им имена и владыке им всякому человеку по колокольчику в руке и по яблоку златому. И егда Кий царь или король своя страна помыслит войною на Рим, в той башне человек той станет звонити в свой колокольчик потому же и вестник. Римляне на ту украину войско отпустят против их и побежаху их и не можаху их окольные цысари и крали воевати против их стояти и все к Риму приложипася и аще кая земля мало помыслит восхоцет от Рима отложитися и той образ начнет на башне звопши в колокольчик и дондеже та земля добьет челом Риму».¹⁸

Приводя различные западноевропейские средневековые варианты легенды о колдовствах Виргилия и, в частности, о «стражах Рима» и прослеживая их миграцию через Италию и балканские страны в Византию,¹⁹ К. Н. Державин указал также и на то, что

¹⁸ Державин, с. 10, со ссылкой на «Историческую хрестоматию церковнославянского и древнерусского языков» Ф. Буслаева (М., 1861, стлб. 1393—1394). Добавим, что рассказ о Виргилии и страже — спасителе Рима, находящийся в древнейшей немецкой редакции сборника о семи мудрецах («Die sieben weisen Meister») и особенно близкий к русской редакции, приводит F. W. Genthe, впервые сопоставивший немецкую редакцию со сказкой о сорока визириях из сборника сказок «Тысячи и одной ночи», см.: Genthe F. W. Leben und Fortleben des Publius Virgilius Maro als Dichter und Zauberer. Magdeburg; Leipzig, 1857. 2. Aufl., S. 74—76. Указанная легенда о Виргилии в ее многочисленных вариантах отмечалась многократно в обширной литературе о Виргилии как о волшебнике. См., например: Roth K. L. Über den Zauberer Virgilius // Germania, Vierteljahrsschrift für deutsche Altertumskunde, Bd 8 (1863); Vaudouir-Lainé O. Virgile, ses transformations et sa légende au moyen âge. Paris, 1863; Schwioger P. Der Zauberer Virgil. Berlin, 1897, и др.

¹⁹ «Своеобразно сохранила имя великого поэта пермская сказка. Царь, называемый „верзилой“, это, конечно, Виргилий, перешедший из ранга строителя дворца и чудесных статуй в ранг обладателя золота, возбуждающего зависть соседей и воров. В тексте пермской сказки и в сознании ее сказителя слово „верзило“ воспринималось, видимо, не как имя собственное, а как эпитет царя. В русском просторечии слово это означает, как известно, непомерно высокого долговязого человека. Не является ли верзила пермской сказки народным эквивалентом и осмысленным именем Виргилия?» — спрашивает К. Н. Державин и ссылается, кстати, на то, что в средневековых латинских текстах и в живом произношении различных романских диалектов мы встречаем переход Virgilius в Virzilius. Здесь же мы встречаем ссылку на толкование И. Ягичем и А. Н. Веселовским в болгарских отреченных книгах выражения «Верзилово коло» (см. с. 8 и 10—11).

это предание проникло и дальше на Восток. Он пишет: «В несколько измененном виде мы встречаем его в арабско-египетской литературе конца VII в. в баснословной истории Египта, составленной Ибрахимом бен Васыф шахом Аль-Мисри, под заглавием „Драгоценные камни морей, события, дела и чудеса старинных повествований о египетской земле“ (Ibrahim ben Waṣāf schah. Die Edelsteine der Meere, Ereignisse, Dinge und Wunder der Zeiten in der Geschichte der Aegyptischen Lande). „Здесь повествуется о некоем правителе Египта Саркафе (Sarcaf), который повелел воздвигнуть в своей столице колонну из зеленого мрамора, увенчанную медной фигуркой утки. Когда к воротам города приближался иноземец, утка начинала хлопать крыльями и громко кричать. Тогда горожане задерживали иноземца, и никто из чужих людей не мог проникнуть за стены египетской столицы“.²⁰

Через арабско-египетскую литературу и устное предание рассказ этот, видимо, проник в арабско-мавританскую Испанию и послужил одним из формирующих моментов в создании местной легенды об Альгамбре, которая легла в основу новеллы-сказки Ирвинга. Можно с уверенностью предположить, что в огромной арабско-испанской исторической письменности, включавшей в себя большое количество местных преданий и легенд, с течением времени обнаружится рассказ, связующий арабско-египетское предание с повестью о звездочете Ирвинга. Впрочем, легенда о чудесной охране дворца Альгамбры могла возникнуть и на основе контаминаций арабского предания с преданием европейского средневековья».²¹

2

Столь же мало известными исследователям пушкинской «Сказки о золотом петушке» остались также некоторые зарубежные отклики на гипотезу А. А. Ахматовой о Пушкине и «Легенде» В. Ирвинга. Так, например, известный французский славист академик Андре Мазон опубликовал в Париже еще в 1939 г. статью под заглавием «„Сказка о золотом петушке“: Пушкин, Клингер и Ирвинг».²² На этот содержательный этюд мне уже приходилось указывать в некрологе А. А. Ахматовой;²³ однако и это маленькое попутное

²⁰ По уточненным нами данным, К. Н. Державин цитирует здесь издание: Wüstenfeld Ferdinand, Die älteste Ägyptische Geschichte nach den Zauber- und Wundererzählungen der Araber. — Orient und Occident, insbesondere in ihren gegenseitigen Beziehungen. Forschungen und Mitteilungen. Eine Vierteljahrsschrift. Hrsg. von Theodor Benfey. Göttingen, 1872, Bd 1, S. 321, 334.

²¹ Державин, с. 9.

²² Mazon A. Le conte du Coq d'or: Pouchkine, Klinger et Irving // Mélanges en l'honneur de Jules Legras : (Travaux publiés par l'Institut d'études slaves, t. 17). Paris, 1939, p. 207—214; см. также отд. отт., по которому мы ниже и цитируем эту статью (далее: Mazon).

²³ См.: Алексеев М. П. А. А. Ахматова // Временник Пушкинской комиссии: 1964. Л., 1967, с. 70.

указание на работу французского ученого не обратило на себя внимание пушкинистов. В этой статье А. Мазон основной тезис работы А. А. Ахматовой, собственно, не оспаривал, вполне соглашаясь с ним и с мнением тех русских исследователей пушкинской сказки, которые разделяли высказанную ею точку зрения. Но, по мнению французского ученого, в этой сказке было много таких мотивов (помимо мотивов русского фольклора), которые также должны были бы быть названы среди вероятных источников этого произведения Пушкина. Таков, например, в «Сказке о золотом петушке» мотив о двух братьях, сыновьях царя Дадона, которые погибают одновременно вместе с ратью, посланною Дадоном против врагов, аналогию которым А. Мазон находит в многочисленных эпизодах в южнославянском эпосе; в новелле Ирвинга этот мотив братьев, идущих на войну по отцовскому приказанию, отсутствует. А. Мазон напоминает также ряд эпизодов из «La Guzla» П. Мериме — книги, столь хорошо известной Пушкину, в которой также можно найти ряд аналогий к пушкинской сказке.²⁴ А. Мазон напоминает и мотивы арабского фольклора, которые Пушкин в свою очередь мог вспоминать, создавая свою сказку, например «Историю Нуреддина и рабыни Мириам», помещенную в книге «Неизданные сказки из Тысячи и одной ночи», составленной из арабских источников, переведенных на французский язык, и изданной в 1828 г. Гаммером и Требутьеном; книга эта сохранилась в библиотеке Пушкина.²⁵

Не подозревая о существовании упомянутой нами выше брошюры К. Н. Державина, А. Мазон тем не менее также упоминал в своей статье (хотя и по другим источникам) о наличии в арабских народных преданиях сходных со сказкой Пушкина мотивов о «талисманах», обладавших магической силой и предупреждавших о готовящихся нападениях врагов. «Я хорошо знаю, — пишет А. Мазон далее, — что сказка из сборника „Альгамбра“ со своим истуканом-талисманом прямо ведет нас к арабской традиции и что солдаты и всадники из дерева или металла, с высоты своей башни или колокольни предупреждающие город о приближении врагов, засвидетельствованы многочисленными авторами, создававшими свои произведения в этой самой традиции».²⁶ «Я охотно допускаю, — продолжает он, — что Пушкин, великий знаток народной поэтической словесности (*grand connaisseur de la tradition populaire*), мог знать, что статуи и птицы-предвестники появляются

²⁴ [Merimé P.] *La Guzla, ou choix de poésies illyrique recueillis dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine*. Paris, 1827, p. 360; Mazon, p. 4.

²⁵ *Contes inédits des Mille et une Nuits, extraits de l'original arabe par M. J. de Hammer / Trad. en français par M. G.-S. Trébutien*. Paris, 1928, t. 2, p. 415—416. Ср.: М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910, с. 211 (№ 818—819).

²⁶ Mazon, p. 5, со ссылкой на кн: Chaurvin. *Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes*, vol. 3, p. 3; vol. 5, p. 30 (note 1), 265.

в восточных литературах как варианты этих талисманов,²⁷ в то же время птица-мститель во всех странах является одним из многочисленных воплощений благодарных человеку животных».²⁸

Все приведенные соображения А. Мазон предпосылает анализу основного тезиса своего исследования, утверждая, что знакомство Пушкина с Ирвингом несколько не воспрепятствовало поэту воспользоваться в его сказке кое-какими реминисценциями из произведений немецкого писателя Ф. М. Клингера «История о Золотом Петухе». Следует, впрочем, иметь в виду, что А. Мазон не впервые упомянул имя Клингера в связи со «Сказкой о золотом петушке».

В начале нашего века В. В. Сиповский в периодическом издании «Пушкин и его современники» в статье о «Руслане и Людмиле» мимоходом сделал краткое указание: «„Сказка о золотом петушке“ некоторыми деталями напоминает сказку Клингера: „Le Coq d'or“».²⁹ В следующем году он повторил эти наблюдения в своей большой монографии «Пушкин. Жизнь и творчество».³⁰ Об этом указании, помещенном в авторитетной монографии, помнили некоторое время, хотя ни тогда, ни позже не нашлось никого, кто бы им заинтересовался и захотел подвергнуть его специальной проверке. Тем не менее А. А. Ахматова в своей статье 1933 г. «Последняя сказка Пушкина», начиная ее с утверждения, что эта сказка «сравнительно мало привлекала внимание исследователей», сделала к этой фразе примечание, звучащее очень категорически: «Указание В. В. Сиповского на сказку Клингера „Le Coq d'or“ как на источник сказки о „Золотом петушке“ совершенно неосновательно».³¹

А. Мазон — как мы уже указывали выше, написавший свою статью по поводу статьи А. А. Ахматовой, — дал относительно ее только что приведенной фразы и свою реплику: как бы оправдывая В. В. Сиповского, А. Мазон высказывал свое предположение, что русский ученый сказку Клингера, «кажется, не читал». Однако сам А. Мазон такую задачу выполнил: он тщательно проштудировал французский перевод «Истории о Золотом Петухе» Ф. М. Клингера и сделал ряд существенных наблюдений об этом произведении в связи с пушкинской сказкой.³²

Очевидно, уже ранние исследователи сказки Пушкина (в частности, В. В. Сиповский) в первую очередь обратили внимание на

²⁷ М а з о н, р. 5, со ссылкой на кн.: *L'abrégé des merveilles / Trad. de l'arabe par le baron Carr de Vaux. Paris 1898*, р. 176, 193, 209, 238, 245, 267, 273—274, 276, 278, 307.

²⁸ В качестве примера А. Мазон ссылается на сказку г-жи д'Онуа (*m-me d'Aulnoy*) «Златовласая красавица» (*La belle aux cheveux d'or*), в которой благодарный ворон ослепляет злодея Галифрона.

²⁹ С и п о в с к и й В. В. «Руслан и Людмила»: К литературной истории поэмы // Пушкин и его современники. СПб., 1906, вып. 4, с. 82.

³⁰ С и п о в с к и й В. В. Пушкин. Жизнь и творчество. СПб., 1907, с. 354.

³¹ Звезда, 1933, № 1, с. 162.

³² М а з о н, р. 6.

сходство ее заглавия с заглавием «сказки» (хотя она нигде не названа так) Ф. М. Клингера. Это не удивительно, поскольку фольклористы, изучавшие «Сказку о золотом петушке», не могли найти ни по ее заглавию, ни по ее основному образу сколько-нибудь убедительных аналогий в русской народной словесности. Обращали внимание, в частности, на то, что «золотые звери» иногда встречались в русских сказках — таковы, например, конь («Златогрив»), свинка или котик («Свинка, золотая щетинка», «Коток, золотой лобок») и т. д., но «золотой петушок» как сказочный персонаж у нас нигде не встречается (за исключением детской песенки: «Петушок, петушок, золотой гребешок. . .»). Но если в сказке Пушкина оказалась «золотая рыбка», то здесь мог оказаться и «золотой петушок» того же происхождения, догадывались иные русские исследователи, но подтверждения не получали. «В отличие от других произведений Пушкина в сказочном роде, — замечала И. П. Лупанова, — «Золотой петушок» не только не имеет прототипа в пушкинских записях, но и не напоминает своей сюжетной схемой ни одной русской сказки. Поэтому мысль о захожем происхождении этого произведения высказывалась довольно упорно уже в XIX в.»³³ М. К. Азадовский допускал возможность знакомства Пушкина с существующими в русском фольклоре сказками типа «Петух и жерновцы».³⁴ Д. Н. Модриш в статье «Слово и событие в русской волшебной сказке» указал, в частности, на начало одной северной русской сказки в записи И. В. Карнауховой, заметив по этому поводу, что «в какой-то мере сказка эта перекликается с „Золотым петушком“ Пушкина»; однако приведенная им цитата из этой сказки малоубедительна.³⁵ Недавно А. Д. Русинов пытался связать «Сказку о золотом петушке» с местным угличским преданием о «Петуховом камне» — большом валуне, получившем свое название по сохранявшемуся на нем знаку, похожему на след петушиной лапы. Отсюда якобы происходит и название местности в юго-восточной части г. Углича — Петухова слобода (XVII в.). Легенда о «Петуховом камне» рассказывает, что «в стародавние времена, когда угличанам грозила какая-либо беда, прилетал и садился на свой камень огромный петух и троекратным кукареканьем предупреждал об опасности < . . . > Поскольку разные беды действительно часто наваливались на угличан < . . . > то, по легенде, и вещей петух садился на облюбванный камень так часто, что на нем остался глубокий

³³ Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX в., с. 177.

³⁴ См. об этих сказках в кн.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979, с. 180 (№ 715А).

³⁵ См.: Русский фольклор. Л., 1974, с. 720. Цитата (о царе, захотевшем жениться и пришедшем к петушку просить «золотые сапожки») приводится здесь по кн.: Сказки и предания Северного края / Запись, вступительная статья и комментарий И. В. Карнауховой. М.; Л., 1934, № 105. С нашей точки зрения, эта запись не имеет ничего общего с «Золотым петушком» Пушкина.

след одной из петушиных лап».³⁶ Н. Д. Русинов, опубликовавший это угличское предание, допускает явно натянутое и малоправдоподобное сопоставление его с пушкинской сказкой, предполагая, что Пушкин мог знать угличскую легенду со времени своих занятий многочисленными источниками русской истории в период создания «Бориса Годунова»; характерно, однако, что он не называет ни одного письменного памятника, из которого поэт мог бы узнать о вещем угличском петухе; неизвестно вообще, существуют ли таковые. Тем не менее автор приходит в конце своей статьи к следующему, очень наивному с нашей точки зрения, умозаключению: «Правда, в среде литературоведов бытует мнение, что Сказка о золотом петушке написана под влиянием Вашингтона Ирвинга (Сказки Альгамбры). Вероятно, это мнение не лишено оснований. Но и угличскую легенду нельзя не принимать во внимание». С последним утверждением автора, однако, в настоящее время согласиться трудно.

Таким образом, у А. Мазона, а вслед за ним у некоторых других зарубежных исследователей сказки Пушкина³⁷ были достаточные основания для того, чтобы обратиться к проверке утверждений ученых старого времени, полагавших, что к изучению «Сказки о золотом петушке» стоит привлечь основательно забытое всеми произведение Ф. М. Клингера. Становилось вполне ясно, что «Легенда об арабском звездочете» может объяснить не все в сложной структуре пушкинской сказки.

3

Повесть Клингера «История о Золотом Петухе» — и в самом деле произведение, давно и основательно забытое. То обстоятельство, что оно плохо известно сейчас даже специалистам по немецкой литературе XVIII в., отчасти обусловлено тем, что все три издания этой повести — два на немецком языке и одно на французском — давно уже стали большими библиографическими раритетами и не находят даже в крупнейших библиотеках Европы. Кроме того — и это особенно важно здесь подчеркнуть — все три указанных издания повести существенно и заметно отличаются друг от друга по своим текстам, а немецкие — даже и по своим заглавиям. Благодаря малой доступности этих редких книг теперь их никто не подвергал сличению, что создавало затруднения для

³⁶ Русинов Н. Д. Угличское Петухово и «Сказка о золотом петушке» // Рус. речь, 1981, № 2, с. 132—134.

³⁷ В последние годы сказка Пушкина неоднократно привлекала к себе внимание зарубежных ученых. Кроме тех работ, которые цитируются ниже, назовем здесь: Коджак А. Сказка Пушкина «Золотой петушок» // American contributions to the 8th International Congress of Slavists (Zagreb; Ljubljana, 1978), vol. 2. Literature. Columbus (Ohio), 1978, p. 332—374; Pauli Ruth. Das russische Versmärchen von Puschkin bis Zwetajewa: Zur Geschichte und Analyse des Genres. Wien, 1978.

их исследователей, поскольку приводившиеся ими цитаты из «Истории о Золотом Петухе» зачастую не совпадали; некоторые эпизоды повести находились в одном издании, но исчезали из других по непонятным причинам, которые никто не пытался объяснить. Отсюда следует, что прежде чем привести здесь сопоставление повести Клингера со сказкой Пушкина, нам необходимо предварительно остановиться на некоторых вопросах, не получивших еще надлежащего решения ни в исследованиях о Клингере, ни в литературе о Пушкине; необходимо попытаться в первую очередь установить, как возникла повесть Клингера и с каким из ее трех текстов и когда мог ознакомиться Пушкин.

Фридрих Максимилиан (или Федор Иванович, как его обычно называли в России) Клингер (1752—1831) — видный немецкий писатель последней четверти XVIII в. Ранний друг Гете, близко знавший также многих других писателей своего времени, немецких и швейцарских, Клингер прожил долгую жизнь, большую часть которой он провел вне родины; благодаря этому многие события и перемены в его судьбе оставили зловещий и трагический отблеск и на его личности и на литературном творчестве, особенно зрелой поры. Клингер много странствовал по немецким землям; живший во Франкфурте-на-Майне, Страсбурге, Берлине, Веймаре и других городах, везде имевший широкие связи и знакомства с литераторами и деятелями искусства, Клингер рано выдвинулся в немецкой литературе как драматург и романист (напомним, в частности, что он является автором драмы «Sturm und Drang» — «Буря и натиск», заглавие которой стало общепринятым обозначением важного периода в истории немецкой литературы). Клингер был автором многочисленных произведений в различных жанрах, и среди них есть немало таких, которые заняли прочное место среди классических произведений немецкой литературы.³⁸

В Россию Клингер приехал в конце сентября 1780 г.³⁹ и остался здесь навсегда, покидая ее редко и на самое короткое время. Он прожил в России несколько десятилетий, умер в Петербурге и здесь же похоронен.⁴⁰ Хотя жизнь Клингера известна теперь

³⁸ Наиболее полный перечень литературы о Ф. М. Клингере приведен в известном указателе: G o e d e k e K. Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen. 3. Aufl., bearb. von Edmund Goetze, Bd 4, 1. Abt., S. 804—811; дополнения в кн. Геринга: H e r i n g Ch. Friedrich Maximilian Klinger. Ein Weltmann als Dichter. Berlin, 1966, S. 377—381 (далее: H e r i n g). Наиболее полной и документированной монографией о Клингере является труд Ригера: R i e g e r M. F. M. Klinger. Darmstadt, 1880—1896 (каждый из составляющих его трех томов известен также под своим особым заглавием: Bd I. Klinger in der Sturm- und Drang-periode; Bd II. Klinger in seiner Reife; Bd 3. Briefbuch. — Далее: R i e g e r I, II, III).

³⁹ См.: R i e g e r II, S. 1—2.

⁴⁰ См. статью «Клингер Федор Иванович» // Русский биографический словарь, ч. 3 (от Ибак до Ключарев). СПб., 1817, с. 738—740. Существенные дополнения к ней на основании книжных и архивных разысканий представила статья: С м о л я н О. Клингер в России // Учен. зап. ЛГПИ им. Герцена. Л., 1958, т. 32, вып. 2, с. 31—77 (далее: С м о л я н). К сожалению, в этом ценном и во многих отношениях новаторском исследовании немало

довольно полно и подробно, а основные ее события проверены по документальным источникам, но в ее истории до сих пор существует множество загадок и неточностей, настоятельно требующих разъяснения. К их числу безусловно относится начальный период его пребывания в России, при дворе наследника русского престола, сына Екатерины II, цесаревича Павла Петровича.

Известно, что Клингера послал в Петербург принц Фридрих Евгений Вюртембергский (1732—1797); он направил Клингера в свиту к своей старшей дочери, принцессе Софии Доротее (1759—1828), приходившейся внучкой прусскому королю Фридриху II. В 1776 г. принцесса София вступила в брак с Павлом Петровичем и после принятия православия приобрела в России новый титул и имя — великой княгини Марии Федоровны. У себя на родине она получила хорошее образование и продолжала свои занятия в России. Вокруг нее сложился небольшой кружок, в котором и очутился Клиндгер, вскоре получивший должность чтеца царственной четы, а затем библиотекаря Павла Петровича. Они жили в новом дворце на участке, который находился в нескольких верстах от Царского Села и назывался первоначально Паулуслуст, а затем стал именоваться Павловском. Здесь, в отдалении от императорского двора, шла их собственная жизнь среди сельской тишины и цветников вновь разбитого парка. По многочисленным свидетельствам современников, идиллическая жизнь, которую вели Павел и его супруга, ничем не напоминала и не предвещала тот период, когда, после смерти матери, Павел стал императором-тираном. Они много читали в новой прекрасной дворцовой библиотеке, которой заведовал Клиндгер, охотно внимали его рассказам, чтением вслух и декламациям. Мария Федоровна усердно изучала русский язык и историю русского государства, которыми она интересовалась еще до своего замужества, слушала лекции по географии и статистике, которые читал ей С. И. Плещеев, моряк и бывалый путешественник, долго служивший в английском флоте, один из образованнейших русских людей своего времени и друг кн. Д. В. Дашковой, когда в период своей опалы она жила за границей.

Между сентябрем 1781 и декабрем следующего, 1782 г. в свите великокняжеской четы Клиндгер совершил большое путешествие по Западной Европе. Он сопровождал «графа и графиню Северных» (von Norden), как официально именовались Павел и его супруга, хотя это прозрачное инкогнито ни в какой стране и ни для кого, с кем они встречались, не являлось загадкой; в этом инкогнито, однако, было и свое удобство: приемы великокняжеской четы были менее официальные и не исключали встреч высоких гостей, ставших более доступными, с писателями, артистами, художниками, простыми людьми.

фактических ошибок, неточностей и досадных опечаток, механически воспроизведенных и в немецком, расширенном варианте этой работы.

Путешественники выехали за границу из Петербурга, следуя через Псков и Могилев, Чернигов и Киев,⁴¹ сначала в Польшу и Австрию, а затем в Италию, Францию и Голландские штаты, вернулись же обратно через немецкие земли. Это длительное путешествие, задуманное Екатериной II с тайными целями отдаления своего сына от петербургского императорского двора и неотступного наблюдения за поведением Павла, в особенности при встречах и беседах его с правителями тех государств, которые он проезжал со своими многочисленными спутниками, известно нам довольно хорошо из официальных и неофициальных источников: оно описано много раз на разных языках историками и мемуаристами; позже оно стало известно также из подробных донесений тайных агентов Екатерины II, прикомандированных ею к путешественникам, о чем Павел долгое время догадывался, не стесняя себя ни во встречах с разными людьми, ни в откровенных с ними разговорах.⁴² К сожалению, из многих и разнообразных источников о заграничном путешествии «графа и графини Северных» всего труднее узнать о Клингере и о том, что извлек он из своих странствований с ними. Тем не менее кое-какие прямые и косвенные данные об этой его поездке сохранились; хотя они не очень многочисленны, но представляют несомненный интерес для воссоздания творческой истории тех произведений Клингера, которые были написаны им вскоре после возвращения его в Россию.

⁴¹ См.: Ш и л ь д е р Н. К. Император Павел I. СПб., 1901, с. 165. Подробнее о заграничном путешествии «графа и графини Северных» см. в кн.: К о б е к о Д. Цесаревич Павел Петрович (1754—1796): Историческое исследование. 2-е изд. СПб., 1883, с. 199—242.

⁴² Высокие путешественники из России не только появлялись на праздниках, которые давались в их честь в королевских дворцах и аристократических салонах, но сами посещали академии, ученые общества, музеи, библиотеки, благотворительные учреждения, даже больницы; ученые, писатели, художники постоянно бывали у них и вели с ними весьма откровенные беседы. Так, например, будучи во Франции, они не раз приглашали к себе Лагарпа, бывшего ранее литературным корреспондентом Павла Петровича, а однажды по настоянию Марии Федоровны и несмотря на сопротивление Лагарпа к ним на вечер был приглашен Бомарше, читавший им по рукописи еще не напечатанную и не игранную на сцене «Свадьбу Фигаро» (см.: L o t e n i e. Beaumarchais et son temps. Paris, 1856, t. 2, p. 300). Баронесса Оберкирх, близкая приятельница Марии Федоровны с юных лет, сопровождавшая великую княгиню во время пребывания ее во Франции, подробно рассказывает о посещении Бомарше «графа и графини Северных» и о других встречах с ним — в театре, при первой постановке на сцене «Свадьбы Фигаро», разрешенной к представлению едва ли не по ходатайству Марии Федоровны и с помощью находившегося в ее свите во время путешествия кн. Н. Б. Юсупова, бывшего приятелем Бомарше еще в предшествующий приезд в Париж. Об их дружбе нам известно из стихотворения Пушкина, но подробные свидетельства баронессы Оберкирх о знакомстве Бомарше с русской великокняжеской четой весною 1782 г. и чтении им «Свадьбы Фигаро» в литературе о Пушкине, если не ошибаемся, еще не приводились (о встречах с Бомарше см.: Mémoires de la baronne d'Oberkirch. Paris, 1853, t. 1, p. 222—223; t. 2, p. 47—49; 316—317, 380). Неизвестно, познакомился ли в это время с Бомарше Клингер благодаря своей покровительнице Марии Федоровне, однако мы имеем сведения о встречах Клингера с Дидро.

Путешествия в то время были долгими и трудными. Совершая путь в каретах, со сменой лошадей, с остановками в пути на огдых и ночлег в придорожных трактирах, Клинггер впервые увидел подлинную Россию с ее провинциальным и сельским населением вместо того узкого аристократического кружка, в котором он был замкнут до тех пор. Известно также, что на отдельных этапах многомесячной дороги длинный кортеж карет путешественников иногда менял свой порядок и представители свиты «графов Северных» то отставали от них, то их обгоняли. Это случалось и с Клинггером, чем он и пользовался охотно в собственных целях, пытаясь, в частности, обновить свои литературные и артистические знакомства. Так, например, если весь кортеж с главными путешественниками прибыл в Вену 21 ноября 1781 г., то Клинггер приехал туда на несколько недель раньше. Здесь он возобновил свое знакомство со Шредером (F. L. Schröder; 1744—1816), который имел близкое отношение к администрации венского «Придворного и национального театра». Клинггер виделся с Шредером ежедневно, часто по вечерам посещал этот театр, а однажды вручил Шредеру рукопись своей пьесы «Игроки-обманщики» («Die falschen Spieler»), написанной им во время пребывания в Праге.⁴³ Тогда же, живя в Вене, Клинггер испытал сильное любовное увлечение, окончившееся драматически, но кто была женщина, вызвавшая его страстное чувство, этого мы не знаем;⁴⁴ 4 января 1782 г. Клинггер отбыл из Вены в Венецию.

В том же году, находясь в Риме, Клинггер встретился со своим старым приятелем Вильгельмом Гейнзе, писателем, близким к нему своим «штюрмерским» духом; Гейнзе, общаясь с Клинггером, открыл для него античный мир, научил увлеченности им, римскими писателями, совершенством итальянских живописцев; Клинггер же в свою очередь, наблюдая за житейской неустроенностью и трудностями быта своего друга, настойчиво предлагал ему перебраться в Петербург и обещал содействовать ему в получении должности библиотекаря великого князя. Однако свободолюбивый Гейнзе с негодованием отказался от этого совета, предпологая, что от «штюрмерства» самого изобретателя этого термина не осталось и следа, когда он получил место придворного, обесчестившее ему спокойную, безмятежную жизнь филистера, против которой он и сам бурно восставал раньше. Вот ответ Гейнзе, воспроизведенный им в письме к Якоби (16 марта 1782 г.): «Я предпочел бы на одном из островов архипелага нянчить детей какого-нибудь турка, чем, живя в Петербурге, восемь месяцев видеть вокруг себя зиму и деревья без листвы и три месяца дрожать от ноябрьской и мартовской стужи. А главное, кто даже свободным входит в дом деспота, остается там рабом: вдали от двора —

⁴³ См.: Rieger II, S. 10; Hering, S. 167—171.

⁴⁴ См.: Rieger II, S. 19.

вдали от ада».⁴⁵ Насчет перемен в мировоззрении Клингера, будто бы совершившихся в его сознании благодаря достигнутой им обеспеченности, Гейнзе явно ошибался: литературные работы были столь ничтожны, что жить на них было невозможно; большинство литераторов мечтало о том, чтобы получить должность «гофмейстера» или, в крайнем случае, учителя в каком-нибудь богатом доме или при мелком княжеском дворе. Предложение, сделанное Клингером Вильгельму Гейнзе, напоминает об аналогичных его хлопотах о другом собрате — немецком поэте того же «штюрмерского» направления, жившем в России и находившемся в нужде, — Якобе Ленце;⁴⁶ они были бескорыстны и не свидетельствовали о том, что Клингер примирился с действительностью и перестал бороться с социальным злом и неравенством сословий. Скорее напротив: еще до воцарения Павла I Клингер насмотрелся на царившие в его доме порядки, нравы и заслушался рассказов и сплетен о российском императорском дворе, которые получали соответствующую окраску в кругах, приближенных к будущему императору. Идиллическое отношение к семье великого князя, которое он прежде испытывал как соотечественник и доверенное лицо будущей государыни Марии Федоровны, также быстро изменилось, а сам цесаревич все ярче обретал черты будущего тирана. Все это переполняло сердце Клингера горечью и злостью, отразившимися в его литературных произведениях и творческих замыслах этой поры.

Мы почти ничего не знаем о том, как сложилась жизнь Клингера между 1783 и 1785 гг., после возвращения его из заграничного путешествия, и почему он оставил свою должность при великокняжеском дворе. Все биографы Клингера отмечают, что по случаю ожидавшейся в то время войны с Турцией он получил назначение в действующую армию. Хотя эта справка никак не объясняет нам, почему при подготовке России к войне с Турцией на передовых позициях русской армии внезапно появился Клингер — библиотекарь великокняжеской четы (притом в пехотном полку,

⁴⁵ См.: Петровский М. «Ардингелло» и его автор // Гейнзе В. Ардингелло. М.; Л., 1935, с. 36.

⁴⁶ От биографов Клингера ускользнули интересные страницы, написанные на основе рукописных архивных источников М. Н. Розановым в его известной монографии «Поэт периода „бурных стремлений“ Якоб Ленц. Его жизнь и произведения» (М., 1901, с. 453—456), где идет речь о знакомстве Клингера с Я. Ленцем в Петербурге, в доме немецкого литератора Л. Г. Николаи (Nicolau), в то время занимавшего должность секретаря и библиотекаря вел. кн. Павла Петровича. В начале ноября 1780 г. Николаи писал в Берлин одному из своих тамошних друзей, что он принимал у себя одного за другом двух немецких писателей, до того между собой не знакомых, сначала Ленца из Дерпта, а затем Клингера из Франкфурта. «Юность и модное направление сбивали их немного с истинного пути, однако в сущности оба они кажутся мне очень хорошими, честными и добросовестными немцами». Первым Николаи удалось пристроить Клингера, но Ленцу не повезло: его не удалось определить на государственную службу, несмотря на его славословия Екатерине II и наследнику престола и на хлопоты по этому поводу того же Клингера.

тогда как за три года перед тем, впервые оказавшись в Петербурге, он был зачислен во флот), по факт остается фактом: существуют неоспоримые доказательства того, что в мае 1783 г. Клинггер находился в русском военном лагере на южной границе страны.⁴⁷ Находясь здесь, в этом лагере на границе с Молдавией, Клинггер в свободное от военных маневров и экзерциций время и написал «Историю о Золотом Петухе»; это был один из его первых опытов в повествовательной художественной прозе.

В предисловии к первому немецкому изданию сделана следующая помета: «В августе, в лагере у Б***» («Im August im Lager bei B***»). Из этого указания следует, что этот лагерь находился на берегу реки Западный Буг; из более позднего письма Клинггера (от 20 декабря 1795 г.) можно извлечь свидетельство, что в этом лагере Клинггер находился в 1783 г. Два года спустя вышло в свет первое издание этого небольшого произведения, принадлежащее к числу раритетов немецкой книжности, — «Die Geschichte vom goldnen Hahn. Ein Beitrag zur Kirchen-Historie» (малая 8°, XIV+176 страниц) — без имен автора и издателя и без места издания, т. е. «История о Золотом Петухе. Добавление к истории церкви».

Историки немецкой литературы дознались, что книга была издана в 1785 г. Турнайзеном в Базеле.⁴⁸

⁴⁷ См.: Смолян, с. 32—33.

⁴⁸ См.: Rieger II, S. 61. Геринг (Herling, S. 61, 249), однако, утверждает, что книга Клинггера вышла у издателя Эттингера в г. Готе. Вопрос о том, где именно выпускались издания произведений Клинггера и как следует понимать обозначенные на их титульных листах города, например Tiflis, Bagdad, St.-Petersburg и т. д., давно уже затрагивался библиографами. А. А. Морозов в статье «Западные писатели в царской цензуре» (Западный сборник. Л., 1937, с. 321), называя Клинггера «одним из самых гордых и независимых умов в Европе», с полным основанием утверждал: «Независимость в политических и религиозных суждениях, близость к идеям французской революции, владение им, делали большинство его книг совершенно недопустимыми в России и не во всем дозволительными в Германии». Это заставляло Клинггера тщательно маскировать свои издания, чтобы запутать поиски их издателей и печатавших эти книги типографий. На титульных листах некоторых книг был указан Иоганн Христпан Криль (в некоторых: Иоган Фридрих Криле) как якобы петербургский издатель; на самом деле эти книги были изданы в Лейпциге, а имя издателя вымышлено; А. А. Морозов ссылается на справочник, в котором эта фикция была раскрыта: Bibliographie der Originalausgaben der deutschen Dichtung im Zeitalter Goethes. München; Leipzig, 1913, Bd 1, S. 196—197. В русской литературе заблуждение о многих издатели и вымышленных местах выпуска сочинений Клинггера было очень распространено и встречается еще и поныне, несмотря на предупреждение об этом в работах А. Морозова и О. Смолян. Приведем здесь один характерный пример. До начала 1790-х гг. некоторые произведения Клинггера (в частности, драматические) печатались с именем автора, но после этого он прибегал к различным уловкам, чтобы обмануть цензурные или таможенные инстанции. Так, его известный и не раз цитировавшийся у нас в связи с Пушкиным роман о Фаусте («Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt») ошибочно считали изданным в Петербурге в 1791 г., придавая этому даже особое значение и пытаясь объяснить популярность его среди русских читателей. Такую ошибку мы находим, например, в статье: Г л е б о в Гл. Пушкин и Гете // Звенья. М.; Л., 1933, т. 2, с. 52. Это же утверждают П. Загорский (Пушкин

Эта небольшая книжка, неизвестно кем написанная, кем и где напечатанная, вероятно, благодаря своему интригующему подзаголовку — «Добавление к истории церкви» — сразу после выхода ее в свет привлекла к себе настороженное и даже осудительное внимание критики, спешившей заранее предупредить легковверных читателей, что вопреки своему титульному листу книга отнюдь не имеет богословского характера, а, напротив, является ярким антицерковным, атеистическим памфлетом.

В журнале «Allgemeine deutsche Bibliothek» (Bd 66, S. 90) появилась рецензия на «Историю о Золотом Петухе» некоего гессенского профессора Jaур, в которой он отзывался об этом сочинении как о книге возмутительной и преступной. Критик даже высказывал подозрение, не является ли она переводом с французского и не соблазнился ли переводчик творением какого-либо нескладного подражателя, Вольтеровой обезьяны (irgend eines Affen von Voltaire)? Рецензент другого немецкого журнала («Tübinger gelehrte Anzeigen», 1785, S. 400) в свою очередь отзывался об «Истории о Золотом Петухе» как о «кометообразном явлении на церковном небосклоне» и утверждал, что автор этой «Истории» «проповедует в самом языческом стиле» и подражает манере Креббийона-сына. «Как могла пропустить такое произведение цензура?» — удивлялся критик в заключении своей статьи.⁴⁹

Приведенные отзывы подтверждают, что Клиндгер недаром прибегал ко всевозможным способам маскировки в своих произведениях. Многие из его книг, имевшие бесспорно вызывающий сатирический колорит, явно в такой маскировке нуждались. В противном случае автору, находившемуся на российской государственной службе, грозили бы немалые неприятности. Клиндгер хорошо понимал, что он не может выступать перед читателями с открытым забралом; поэтому различные приемы сокрытия авторства и даже истинных намерений повествователя стали для Клиндгера привычной и постоянной практикой; формы же, которые принимала для Клиндгера возможность говорить эзоповским языком, были очень разнообразны и постоянно варьировались.⁵⁰

и театр. М.; Л., 1940, с. 204) и многие другие. Романы Клиндгера «Путешествие перед потопом» (1798) и «Фауст восточных стран» обозначаются как вышедшие в Багдаде, «Захир, первенец Евы» (1798) — в Тифлисе; на самом деле эти книги были изданы Харткнохом в Риге. В письмах Клиндгера, отмечает А. Смолян, много раз звучит тревога по поводу того, что станет известно его авторство. То он писал издателю: «Я должен поставить условием, чтобы ни один город России не был указан как место издания», — то просил Шлейермахера не называть его имени, когда тот будет писать об его новой книге. «Инкогнито при этом лучше, чтобы ввести в заблуждение тех господ, которые тотчас вынюхивают автора», — таково было его мнение.

⁴⁹ См.: Rieger II, S. 60.

⁵⁰ В 1790 г. Клиндгер анонимно выпустил в свет трагедию «Ориент» («Orientes». Eine Tragödie. Frankfurt; Leipzig). Свое авторство он тщательно скрывал даже от наиболее близких своих друзей. При жизни Клиндгера она не перепечатывалась и не вошла ни в одно собрание его сочинений. Авторство Клиндгера было окончательно установлено только после того, как этой трагедии была посвящена диссертация французского германиста

Ставшую запретной для немецких читателей «Историю о Золотом Петухе» спасла от полного забвения французская революция 1789 г., когда эта книга, осужденная суровыми приговорами немецких протестантских критиков, не без оснований считавших, что она порождена французской просветительской беллетристкой предреволюционной поры, и конкретно возводивших «сказку» Клингера к философским повестям Вольтера и Кребийона-сына, неожиданно обрела популярность и новую жизнь у революционных публицистов и переводчиков Франции. В 1789 г. «История о Золотом Петухе» вышла в свет во французском переводе: «Le Coq d'or, fragment historique pour servir de supplement à l'histoire ecclesiastique, traduit de l'Allemand, MDCCLXXXIX» (8°, 296 страниц). Это издание принадлежит к числу таких же библиографических редкостей, как и вышеупомянутое немецкое.⁵¹

Стоит подчеркнуть, что этот полный по тексту и хорошо сделанный французский перевод также не содержит в себе никаких указаний на автора немецкого оригинала и в свою очередь не сообщает, где, кем и в каком месте он выпущен в свет. Это издание проникло в Германию, что отмечено было и в немецкой периодической печати. Характерно, однако, что на этот раз о французском издании «Истории о Золотом Петухе» отзывались здесь в совершенно противоположном смысле, чем за пять лет перед тем. Так, в частности, рецензент «Готских ученых ведомостей» писал о книге с явной похвалой. «Хотя „История о Золотом Петухе“ и не слишком правоверное произведение, — писал анонимный критик, — но оно написано с такой живостью и силой воображения, с таким остроумием и с таким лукавством, что оно, конечно, во Франции найдет для себя много читателей».⁵² Так оно, по-видимому, и произошло. В литературе, во всяком случае, чаще всего встречаются ссылки на это, а не на немецкое издание повести,

Л. Брёна (B r u n L. «L'Orientes» de Klinger. Diss. Paris, 1964). В приложении к этому исследованию полностью перепечатана трагедия (с. 83 след.). Л. Брён установил, что трагедия Клингера посвящена истории суда Петра I над царевичем Алексеем и что основными источниками для пьесы были сочинения Вольтера («История Карла XII»), трактаты Руссо и устные рассказы, слышанные Клингером при дворе молодого Павла I. Трагедия поднимала волновавшие Клингера проблемы пределов царской власти, но чтобы скрыть от читателей, что он касается в своей пьесе тайн русской династии, запретных для обсуждения, Клингер перенес действие пьесы в античную Фракию и назвал своих действующих лиц именами, заимствованными из «Истории» Геродота. «Ориент» Клингера обнаруживает его широкую осведомленность в русской истории XVIII в. не только по книжным источникам, но и по сплетням и рассказам, слышанным им в придворных кругах. Русским историкам «Ориент» неизвестен до сих пор.

⁵¹ А. Мазон в упомянутой выше статье указал, что он пользовался экземпляром «Le Coq d'or», хранящимся в Национальной библиотеке в Париже (шифр: Z. 34.913). Я пользовался этим же изданием, принадлежащим Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде; здесь же имеется и немецкий оригинал. Кем выполнен французский перевод, остается неизвестным.

⁵² Gothische gelehrte Anzeigen, 1790: (Ausländische Literatur, S. 155). Цитируется, как и приведенные у нас выше отзывы немецкой печати, по кн.: R i e g e r II, S. 61—62.

распространение получило оно и за пределами революционной Франции. Забегая несколько вперед, укажем также, что именно это французское издание повести Клингера было и в руках Пушкина.

«История о Золотом Петухе» была издана на немецком языке еще один раз — в X томе собрания сочинений Клингера (Werke, Bd I—XII. Königsberg, 1809—1816). На этот раз Клингер решился открыть свое авторство только потому, что он коренным образом переработал свою повесть, изъял из нее наиболее «опасные» в цензурном отношении эпизоды, резко изменил ее идейную направленность, изъял ее подзаголовок, так как повесть перестала служить «Добавлением к истории церкви» и лишилась каких-либо намеков на атеистический образ мыслей. После этих переделок повесть получила и новое заглавие — «Захир, первенец Евы в раю» («Sahir, Evas Erstgeborener im Paradiese»); из текста исчезло и символическое главное действующее лицо первой редакции повести — Золотой Петух. В этом виде повесть перестала вызывать к себе внимание читателей.⁵³ Поэтому в нижеследующем изложении мы будем ссылаться на два первых ее издания, указанных выше, — немецкое (1785) и французское (1789).

4

Историки немецкой литературы XVIII в. и биографы Клингера были очень разноречивы в своих попытках определить тот литературный жанр, к которому следует относить «Историю о Золотом Петухе» и ряд других прозаических произведений Клингера, написанных в ту же пору. Некоторые исследователи называли их сказками (contes), другие относили к романам. Ригер считает «Историю о Золотом Петухе» сказкой или фантастико-сатирическим романом,⁵⁴ Геринг — новеллистической обработкой пародийной сказки.⁵⁵ В последнее время всю беллетристическую прозу Клингера, несмотря на существенные различия отдельных произведений, выстраивающихся в длинный ряд, отчетливо демонстрирующий эволюцию его манеры и стиля, принято относить просто к романам.⁵⁶ Нельзя, однако, забывать, что в XVIII в. термин «роман» понимался гораздо уже, чем в последующее столетие,

⁵³ См.: Rieger II, S. 379—386; Hering, S. 319—327. Основная переработка «Истории о Золотом Петухе» для издания, по-видимому, выполнена была Клингером уже в 1798 г. В новой редакции этого произведения, откуда удалены остросатирические инвективы против церкви и церковников, господствует добродушно-иронический тон, текст разделен на главы и принял более архаичский вид, но действие по-прежнему локализовано в условной Черкесии; Петуха, заколдованного принца, заместил другой персонаж — абстрактный образ Духа Просвещения (Geist der Aufklärung).

⁵⁴ См.: Rieger II, S. 50.

⁵⁵ См.: Hering, S. 240.

⁵⁶ Рейман П. Романы Клингера // Рейман П. Основные течения в немецкой литературе: 1756—1848. М., 1959, с. 231—243.

и даже противопоставлялся «конту» (conte), сказочному жанру, более насыщенному в идейно-философском смысле и более типичному для эпохи Просвещения.⁵⁷ На этом основании мы в данной статье отказались от наименования «Истории о Золотом Петухе» романом и предпочли называть ее сатирико-философской повестью в том же смысле, в каком у нас так называют произведения Вольтера или Дидро.

Два первых издания «Истории о Золотом Петухе» — немецкое (1785) и французское (1789) — в основном соответствуют друг другу; если они имеют незначительные различия в тех случаях, когда переводчик затрудняется при переводе отдельных слов или фраз, то это им оговаривается особо. Некоторые текстовые различия имеются лишь в «Предупреждении» к повести (Vorrede; Avertissement), что, впрочем, и естественно, поскольку каждый раз предисловие обращалось к другой читательской аудитории и предупреждало, что следовало искать в книге.⁵⁸

На титульных листах обоих изданий красуется тот же латинский эпиграф, существенный для понимания задачи, которую поставил перед собою Клиггер, создавая эту свою фантастическую повесть. Эпиграф гласит:

Nemo enim ibbic vitia ridet,
Nec corrumpere et corrumpi
Seculum vocatur.
T a c i t u s .

⁵⁷ В вопросах размежевания и определения терминов «роман» и «конт» (conte) неоднократно пытались разобраться историки литературы XVIII в. Ср.: Д е м е н т ь е в Э. Г. Роман Великой французской революции. Владивосток, 1969, с. 6—7. Пытаясь разобраться в данном запутанном терминологическом вопросе, автор этого исторического обзора французской беллетристики 90-х гг. XVIII в. пишет: «Идейная насыщенность „конта“ была значительно выше, чем романа, который зачастую служил только для развлечения. В руках просветителей „конт“ стал специфическим просветительским жанром, тесно связанным с рационалистическим мировоззрением и соответствующими литературными традициями. Беллинский назвал его „истинным романом XVIII в.“» (с. 7).

⁵⁸ «Предупреждение» к «Истории о Золотом Петухе» играет роль «обрамления» повествования и своего рода посвящения его некоей Аспазии. Ей пишет автор свою повесть, о которой он узнал из «арабской рукописи, написанной золотыми буквами» по повелению короля Оранси после событий, случившихся при нем в Черкесии. Хотя литературный мотив — находки и публикации некоей рукописи — не был нов и во времена Клиггера, как и письмо, адресованное воображаемому лицу, — в данном случае к Аспазии, полное нежных воспоминаний о совместных прогулках с нею по Италии, — биографы Клиггера не без оснований усматривают здесь подражание Клиггера повести его друга В. Гейнзе «Лайдиона, или Элевсинские таинства» («Laidion oder die Eleusinischen Geheimnisse», 1774). В этой повести Гейнзе греческая гетера Лайдиона (уменьшительное от Лайды — Lais) в письме из загробного мира к еще живому другу, Аристишу Киренскому, рассказывает, как она умерла, достигла Елисейских Полей и как предстала перед судом Орфея, Солона и Аспазии и поведала им о своей земной жизни. Клиггер воспользовался также некоторыми эротическими мотивами «Лайдионы» Гейнзе, восходящими в свою очередь к переведенному Гейнзе на немецкий язык «Сатирикону» Петрония.

(Перевод: Ибо пороки там ни для кого не смешны, и соблазнять и быть соблазняемой не называется у них идти в ногу с веком. Тацит).

Эта цитата заимствована Клинггером из XIX главы трактата римского историка Корнелия Тацита о Германии⁵⁹ и имеет касательство к проблеме соотношений и конфликтов двух цивилизаций, различных по своему уровню, о которых рассказывается в повести о Золотом Петухе. Знаменательно, что сочинения Тацита Клинггер хорошо знал, тщательно изучал и постоянно перечитывал, живя в России, не раз размышлял при этом о себе самом и о своем отношении к России той поры. Тацит, бывший римским сенатором, описывал современных ему германцев с чувством превосходства над полудикими варварами, одетыми в звериные шкуры и еще не знающими городов. Тем не менее Тацит, в других своих сочинениях выступавший как обличитель императорского абсолютизма, находил у варваров-германцев то же стремление к свободе, которое было, по его мнению, присуще древним римлянам, изгнавшим своих царей и установившим республику. Отсюда несколько парадоксальная для Тацита некоторая идеализация народов, живущих родовым бытом, в данном случае древних германцев, в частности их семейного быта; чистота германцев здесь прямо противопоставлена развращенности римлян.⁶⁰ К этому следует прибавить, что в период написания «Истории о Золотом Петухе» Клинггер несомненно находился под воздействием идей Руссо о нравственном превосходстве патриархального быта над развитой европейской цивилизацией.

Действие «Истории о Золотом Петухе» происходит в Черкесии, во владениях короля Орансии (Orancia). Но Черкесия (Circassie) повести — не реальная кавказская территория, а страна сказочная, условная, фангастическая. Клинггер прибегал к вымыслу с явным намерением скрыть от своих читателей, что некоторые события, о которых он повествует, случились не в этом небывалом

⁵⁹ T a c i t u s. De origine et situ Germanorum (О происхождении германцев и местоположении Германии, 98 г. н. э.).

⁶⁰ Ссылки на Тацита и цитаты из его сочинений постоянно встречаются и в более поздних произведениях Клинггера; они подтверждают, что, читая римского историка, он все время сопоставлял его повествования с примерами, которые Клинггеру предоставляла современная ему русская действительность. Так, в своих «Мыслях и замечаниях о различных явлениях жизни и литературы» (Gedanken und Betrachtungen über verschiedene Gegenstände der Welt und Literatur, 1803—1805, Bd 1—3), изданных уже после пережитого им дикого пропозвола и тирании царствования Павла I, Клинггер писал: «Раньше я подозревал Тацита в том, что он несколько преувеличивает из чувства ненависти к некоторым вещам, что очень легко могло случиться с умом, подобным его уму, и, конечно, было бы простительно. Но с тех пор как стали происходить в лицах живые комментарии к его произведениям, мне судьба устроила так, что перед моими глазами его мрачные краски временами кажутся даже еще недостаточно мрачными. Счастлив тот, кто только читает об этих вещах и комментирует римлянина как филолог и антикварий» (§ 591). Десятилетие спустя о том же Клинггер писал Гете (26 мая 1814 г.): «Я стал очевидцем вещей, по поводу которых раньше не хотел и не мог поверить Тациту» (цит. по кн.: См о л я н, с. 33, 35).

и несуществующем королевстве, а в другой стране, которую он не смел назвать, — в России времен Екатерины II, хотя описанные происшествия в повести преобразены и очень приукрашены фантазией автора.

Такой прием был обычным и очень популярным для «философских повестей» XVIII в., в частности той их разновидности, которая именуется «восточными сказками» или «восточными повестями» и которая была распространена тогда во всех литературах: французской, английской, немецкой, а также и русской.⁶¹ При этом везде, во всех странах псевдоэкзотический колорит, с помощью которого скрывалась какая-либо конкретная приуроченность сюжетной ситуации или схемы, никак не был связан с географическими или этнографическими приметами. Выше мы уже приводили примеры того, как условным псевдоэкзотическим (в том числе и кавказским) покровом Клиндер в своих драматических произведениях учился отвлекать внимание читателей от сюжетов, имевших непосредственное отношение к русской истории. Тем же приемом воспользовался Клиндер в данном случае.

О короле Орансии в повести рассказывается, что своей Черкесией он правил бездумно и лениво и что во всех случаях жизни, вплоть до очень драматических, главным его заботам была любимая игра в шахматы с его пажом, которой он предавался с утра до вечера (что не раз заставляет нас вспомнить стих пушкинской сказки о Дадоне «царствуй, лежа на боку!» и намерение поэта ввести игру в шахматы в текст своей сказки); королевством же

⁶¹ О сатирических тенденциях во французских псевдоориентальных повестях конца XVIII в. см.: D u f r a e n o u M. L. L'Orient romanesque. Montréal, 1946; P i k e C o n a n t M. The oriental tale in England in the eighteenth century. New York, 1908. Из немецкой литературы того же времени можно напомнить здесь в качестве аналогии изданную Я. Ленцом пьесу «Новый Меноза, или История кумбанского принца Тенди» (1774). Герой ее был «принцем Кумбы», страны, которую, по словам самого автора, «не отыщешь ни на одной географической карте»; в тексте этого произведения он именуется то принцем «индейским», то даже «калмыцким» (см.: Р о з а н о в М. Н. Указ. соч., с. 240—241). Напомним, однако, что Клиндер создавал свою повесть о событиях в Черкесии, находясь на юге тогдашней России в ожидании русско-турецкой войны и, естественно, думая о Черном море и о народах, живущих на его берегах; но эти народы были еще плохо описаны путешественниками, а кроме того, известны Клиндеру преимущественно из греко-римских источников. Позднее Клиндер создал пьесу о героине античных преданий Медее («Medea auf dem Kaukasus», 1791). Действие пьесы происходит «где-то на вершинах Кавказских гор». О фантастических представлениях о Кавказе см. в кн.: О р л о в с к а я Н. К. Грузия в литературах Западной Европы в XVII—XVIII вв. Тбилиси, 1965 (из произведений Клиндера здесь названа лишь упомянутая пьеса). Что касается «Черкесии», то о популярности этого географического названия можно судить по той справке, которая дается о нем во второй половине XIX в. (!) в широко распространенном энциклопедическом словаре П. Ларусса, где читаем: «Черкесия — местность в европейской России, расположенная на северном склоне Кавказа, между Черным морем на востоке и Каспийским на западе < . . . > Название ее происходит от Черкесов (Tcherkesses ou Circassiens), наиболее значительном (important) народе, здесь обитающем» (L a r o u s s e P. Dictionnaire universel du XIX siècle, t. 4, p. 321).

собственно управляли придворные — интриганы и сплетники, среди них и дамы-фрейлины во главе с королевой, требовательной и властной, являвшейся фактической правительницей страны (во второй редакции этой повести Клингера она сохранена как действующее лицо, но именуется «султаншей» Тифлиса).

Однако Черкесия процветала, так как имела своего символического защитника — Золотого Петуха. О нем было известно, что фея Моргана, покровительница этого государства, в незапамятные времена отдала эту птицу в собственность одному из ранних владельцев страны и предупредила: «До тех пор пока эта птица останется невредимой и никто ее не тронет, покой и благоденствие короля и всего его государства останутся нерушимыми». В повести дано и довольно подробное описание птицы, давшей заглавие этому произведению. «Петух, — говорится здесь, — был самой красивой в мире птицей (*bête*): перья его были золотые, гребешок красный, лапки маленькие, пепельно-серебряные. Он не принимал никакой пищи, погруженный в свои грустные философские мысли и любовные мечтания, но все же (*du reste*) он пел в привычное время как обычный петух. Лишь один недостаток уродовал миловидную птичку, к огорчению всех, кто ее видел. Противное перо мышинного цвета спускалось с гребешка на самый клюв, подобно бараньему рогу; оно было огромного размера; с трудом можно было разглядеть петуха. Оно покрывало всю птицу и сжимало всю его голову. Было заметно, что в его глазах отражалась вся скорбь мрачной меланхолии. И от этого-то пера зависело все благополучие Черкесии».⁶²

Таким образом, Золотой Петух — реальная птица, для которой в королевском дворце Черкесии отведены особые покои, охраняемые стражами, не допускающими появления в этих дворцовых комнатах никого из посторонних, прежде всего женщин. Вместе с тем Петух — это и символ государства, талисман династии, которого никто не видит, но о котором все знают, в который все жители верят как в покровителя, поручителя спокойствия и мира страны, защитника государства от внешних и внутренних врагов, именем которого клянутся и сам король Черкесии и все его подданные («клянусь Петухом моих предков» — *par le Coq de mes pères*). Поэтому, с нашей точки зрения, А. Мазон был вполне прав, догадываясь, что в данном случае Петух как талисман и символ династии является своего рода пародией на российский государственный герб — двуглавый орел как символ могущества и власти империи.⁶³

Между тем блаженная Черкесия, счастливые обитатели которой жили беззаботно и весело, в чистоте и невинности, ничего не зная о пороках жителей соседних стран, находилась накануне катастрофы, некогда пророчески предсказанной ее покровительницей, феей Морганой. И это несчастье в конце концов разразилось вне-

⁶² Le Coq d'or, p. 6.

⁶³ М а з о н, p. 7.

запно, когда его никто не ожидал. Дочь Орансии, юная принцесса Роза, и влюбленный в нее паж Фанно, не предчувствуя беды и не думая о последствиях своего поступка, проникают в заветные покои Золотого Петуха и похищают его перо мышиноного цвета, т. е. совершают именно то, чего фея Моргана, заботясь о благоденствии Черкесии, требовала остерегаться предков Орансии. Как и следовало ожидать, это преступление не остается безнаказанным: согласно предсказанию, оно открывает дорогу в Черкесию иноземным завоевателям во главе с воинствующими фанатиками — христианскими церковниками. Под их непосредственным воздействием в Черкесии происходит полное и всеобщее повреждение нравов. Наивная и доверчивая Черкесия, соприкоснувшись с неизвестными ей до тех пор уродливыми признаками и явлениями иноземных западных цивилизаций, подпадает под их влияние и становится развращенной сверху донизу, чему дурной пример подает сама королева. Объясняется и загадка Золотого Петуха: оказывается, что под его золотыми перьями скрывался заколдованный в стародавние времена «принц всех рогоносцев», объявляющий себя отцом. . . Иисуса Христа!

Заключительные происшествия, о которых идет речь на последних страницах повести Клингера, А. Мазон в упомянутой выше статье пересказывает слишком кратко, в обобщенном виде и редко сверяясь с подлинным текстом,⁶⁴ предполагая, по-видимому, что слишком подробное изложение повести в этой ее части не столь существенно для цели его исследования — сопоставления повести Клингера со сказкой Пушкина. «Не будем ожидать большого от сделанного нами сближения», — пишет А. Мазон в конце своей статьи и прибавляет: «Сказка Клингера развивается далее в совершенно другом направлении, чем сказка Пушкина».⁶⁵ Безусловно, исследователь был прав в том отношении, что конец повести, где рассказывается история Золотого Петуха и его предыстория, мало напоминает сказку Пушкина. «Конечно, Пушкин не мог следовать за своим образцом таким рискованным путем и должен был остановиться во-время, благодаря присущему ему чувству меры, а также из-за двух цензурных инстанций (политической и церковной). Достаточно было и того, что он удержал в своей памяти заглавие и основную мысль „Золотого Петуха“ Клингера».⁶⁶

Таким образом, по мнению А. Мазона, в творческом сознании Пушкина — читателя новеллы Ирвинга и повести Клингера — воздействия, шедшие к русскому поэту с двух сторон (со страниц этих произведений, читанных им, конечно, в разное время), должны были сплетаться вместе и образовать некое целостное единство: «Птица-талисман должна была слиться с ирвинговским всадником-предвестником, для того чтобы заместить его и придать

⁶⁴ Le Coq d'or, p. 265—273; M a z o n, p. 6—7.

⁶⁵ M a z o n, p. 7.

⁶⁶ Ibid.

повествованию ту сатирическую остроту, которая это повествование обновляет и трансформирует». ⁶⁷

С нашей точки зрения, с данным утверждением французского ученого можно согласиться только отчасти. Бесспорно в нем лишь то, что обнаружение воздействия одного из двух указанных им произведений на сказку Пушкина не исключает другого воздействия, а как бы одно наслаивается на другое. Однако из сопоставлений, сделанных А. Мазоном, как будто бы следует, что в хронологии обсуждаемых им данных воздействий на Пушкина на первом месте стоит новелла Ирвинга, а за нею следует повесть Клингера. Нам представляется более правдоподобным их обратное соотношение: первоначально Пушкин познакомился с повестью Клингера, а лишь более десятилетия спустя — с новеллой Ирвинга. Именно поэтому на заключительную часть «Истории о Золотом Петухе» стоило обратить большее внимание комментаторов Пушкина. Ведь эта часть оправдывает подзаголовок повести Клингера «Добавление к истории церкви», являясь как бы идейным центром повести в целом. Именно она подала повод реакционной критике обвинить Клингера в якобинизме и пропаганде атеистических идей. Автобиографическая исповедь расколдованного Золотого Петуха являлась в повести главной сенсационной приманкой для читателя в пушкинскую пору. Если Пушкин действительно ознакомился с «Историей о Золотом Петухе» до того времени, как у него возникла творческая мысль о создании собственной сказки со сходным заглавием, то повесть Клингера могла оказать воздействие и на другие, более ранние произведения Пушкина. Во всяком случае, указанная выше статья А. Мазона поставленную им проблему решает не до конца.

Напомним, что расколдованный Золотой Петух, как рассказывается в повести, является во дворец короля Орансии и обращается к нему со словами: «Милосердный и великодушный монарх! Я — принц рогоносцев, скрытый некогда под перьями Золотого Петуха, которого вы стерегли столь усердно и заботливо! Я воздаю должное прекрасному пажу Фанно, которому обязан своим освобождением. Несколько столетий томился я, чтобы дожидаться освобождения от своего зловещего превращения. Без влияния прекрасной принцессы, вашей дочери, на отважное сердце лучшего из молодых людей я бы страдал еще сегодня под подавляющим бременем пера мышьиного цвета!». ⁶⁸

Изумленный этим признанием, король Орансия, естественно, спрашивает «принца рогоносцев», как и почему совершилась с ним пагубная метаморфоза. На это «принц рогоносцев» отвечает длинным рассказом, заставляющим читателя вспомнить многие подробности античной мифологии. «Отец мой — нежный и могущественный бог любви, одушевляющий и дающий жизнь всему, что его окружает», — рассказывает принц. По его словам, люди жили

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Le Coq d'or, p. 263.

счастливого, пока находились под властью бога любви и пока они не ограничили ее, теснее связав себя с богом брака Гименеем, родившимся от злого гения. Дальнейшие признания принца многословны и растянуты. Они были понятны первым читателям повести Клингера, сколько-нибудь знакомым с античной мифологией. Речь шла об Эроте греческой мифологии (или Амуре — римской) и боге брака Гименее, об их вражде. Клингер сам ссылается на свой источник — картину ученика Рафаэля Джулио Романо «Скованный Амур» («Der gefesselte Amor»), на которой итальянский художник изобразил тот момент мифологического предания, когда Гименей связывает Амура, уснувшего на ложе из роз, и, похитив его колчан, сжигает находящиеся в нем стрелы. Этот сюжет был очень популярен в западноевропейской поэзии и искусстве XVI—XVIII вв. — в живописных копиях и гравюрах были известны картины и гравированные изображения Гвидо Рени («Гименей, связывающий Амура и сжигающий его стрелы»), Буше, Ванлоо и др. Но, может быть, наиболее примечательно то, что в «Истории о Золотом Петухе» этот рассказ точно воспроизводит тот его текст, который находился уже в одной из ранних комедий Клингера.⁶⁹ Далее принц рассказывает, что он был воспитан отцом и соблазненной им нимфой, «самой веселой, самой увлекающейся и лукавой нимфой Греции», в духе ненависти к Гименее и что родители постепенно приготавливали его к мести обидчику. И мать, и отец учили его всем «уловкам любви» и радовались, когда он назвал Гименее научился наставлять рога мужьям королей и пастушек, «возвращая их всех под могущественную власть моего божественного отца. Одним словом, где только я ни показывался, там опрометчивость приводила к отчаянию».

«Тут принц рогоносцев остановился, — читаем мы далее. — На его лице появились знаки глубокой скорби. Он вздохнул. . . Добрый король Орансия также вздохнул вместе с ним и наконец спросил его о причинах этой внезапной печали.

— Увы! — ответил тот. — Никогда не смогу я думать об этом без ужаса. . . Однажды, усталый от побед, которые я одерживал над королевами и принцессами, я шел по отвратительному местечку, следуя за молодой крестьянкой, которая мнила себя счастливой в узах Гименей, как и под властью моего отца.

Случай привел меня к дверям дома старого плотника, огрубевшего на своей работе, у которого была молодая прелестная жена. Это была свеженькая и очаровательная брюнетка, а ее супруг — человек очень хмурый, прескучный и самый глухой во всем округе. Недостаток счастья молодая женщина возмещала тем, что доставляет любовь, отдаваясь ей со своего рода благоговейным восторгом, и это приносило мне удовольствие. Женщина эта очень содействовала моему торжеству. Я приветствовал ее как святую. Она же находилась тогда в состоянии пророческого опьянения

⁶⁹ См.: Hering, S. 175.

(ivresse prophétique). Я воспользовался восторженностью (exaltation) ее души, чтобы воспламенить ее сердце. В таком фанатическом настроении (disposition fanatique) мы дали жизнь молодому человеку, который, направляемый благочестивыми мечтаниями своей матери и собственными наклонностями, объявил себя целителем всех людей, образовал новую секту с помощью некоторых фанатиков и был осужден всем народом за неблагоразумие, являвшееся результатом неуместного тщеславия. Именно это учение собираются проповедовать у вас иностранцы. Вы находитесь во власти сына рогносца (fils d'un cocu), жена которого была достаточно хитрой (assez rusée), чтобы заставить своего старого супруга поверить, что боги разделили с нею ее ложе». ⁷⁰

В цитированной исповеди принца перед черкесским королем находится, конечно, главный идейный центр клингеровской «Истории о Золотом Петухе» в целом, давший автору основание для подзаголовка повести — «Добавление к истории церкви». Мы уже отмечали негодование, с каким повесть эта была встречена в поэтических кругах Германии, и, напротив, сочувственное внимание со стороны французских атеистов 1789 г. Истинный смысл этой сатирической профанации христианской легенды никого не мог ввести в заблуждение: она лишь слегка завуалирована ссылками и намеками на античную мифологию вперемежку с мотивами из западноевропейского фольклора (сказки о феях), но в основном представляет собою прозрачный антихристианский памфлет, что и обеспечило Клингеру репутацию безбожника и якобинца, от которой он не избавился до конца своей жизни. Уже в 1789 г., как мы видели, Клингер принялся за полную переработку повести, уничтожив не только подзаголовок, но и заголовок; выброшенной оказалась и вся приведенная исповедь «принца рогносцев», поскольку действие относится не к ранним временам христианства, а к жизни Адама и Евы в раю. Исследователи Клингера указывают на вероятный источник рассказа «принца рогносцев» в многочисленных упоминаниях у Вольтера древних легенд ⁷¹ или в анекдотах, восходящих к писаниям гностиков первых веков христианства либо иудействующих евианитов, в особенности же в анекдотах древнееврейского происхождения («Sopher Toldos Jeschu»), изданных в латинском переводе в 1681 г. К этому можно прибавить, что эротические мотивы повести Клингера в значительной мере внушены ему хорошим знакомством с романом Кребийона-сына. Пародия Клингера на евангельскую притчу включена в сатирическую повесть, направленную на разоблачение не воображаемой «Черкесии», а России Екатерины II и воинствующих православных церковников и миссионеров, которых она рьяно поддерживала. Но, конечно, самым для нас примечательным в рассказе «принца рогносцев» является то, что в этом повествовании мы можем видеть один из возможных источ-

⁷⁰ Le Coq d'or, p. 269—271.

⁷¹ Rieger II, S. 59.

ников «Гавриилиады» Пушкина.⁷² Если бы это удалось доказать, то подобное утверждение подтвердило бы факт раннего знакомства Пушкина с повестью Клингера — в период южной ссылки поэта, в Кишиневе или в Одессе.

Развязка «Истории о Золотом Петухе» искусственна, плохо мотивирована и представляет для нас малый интерес. Клингер пытается еще раз связать окончание своего произведения с действующими лицами и мотивами сказок о феях, но делает это второпях, кратко, как бы только для того, чтобы завершить затянувшееся повествование. На последних страницах повести можно отметить лишь несколько аллюзий и сатирических намеков, не лишенных интереса для оценки общих ее тенденций. Свою исповедь принц кончает рассказом о том, как его сын, наделенный «в значительной мере надменностью и самолюбием», став фанатиком, возбудил против себя общие враждебные чувства: «Вся природа была воодушевлена против меня и моего сына. Однажды один из могущественных Гениев, которые тяжело трудятся в необъятных мастерских Вселенной, схватил меня, а его слепая ненависть ко мне дошла до того, что, обращая ко мне ужасные проклятия, он превратил меня в Золотого Петуха с роковым пером мышиного цвета. После этого он подарил меня фее, своей сестре; она пожалела меня, но, не умея разрушить тяготевшие надо мною чары, отдала меня одному из ваших славных предков на условиях, известных всем черкесам». Теперь, когда месть его оскорбителю Гименею совершилась и он свободен, находя многочисленных подражателей, он намерен «учредить свой трон в столице Франции. Мое владычество простирается с одного конца Европы до другого, и я наполняю рогоносцами дворцы и хижины до такой степени, что их неисчислимое множество привлекает ко мне все знамена. Это восстанавливает любовь ко мне моего отца, раздраженного моим длительным бездействием».⁷³

В эпилоге «Истории о Золотом Петухе» автор не забыл уделить несколько весьма ядовитых строк судьбе супруги короля черкесов: «Королева бросилась в объятия монахов, потом перешла к французскому кавалеру, оставшемуся в Черкесии, но, не будучи в силах превозмочь свою склонность к принцам-рогоносцам, она, в конце концов, убежала со своим кавалером в столицу Франции на поиски принцев».⁷⁴

5

Статья А. Мазона о Пушкине, Клингере и Ирвинге, цитированная нами выше, вызвала еще одну реплику в зарубежной печати; однако она осталась столь же неизвестной исследователям пуш-

⁷² См.: Алексеев М. П. К источникам «Гавриилиады» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравн.-ист. исслед. Л., 1985, с. 329. Среди других источников повесть Клингера здесь, однако, не указана.

⁷³ Le Coq d'or, p. 272—273.

⁷⁴ Ibid., p. 293—294.

кинской⁷⁵ «Сказки о золотом петушке», как и статья А. Мазона, и о ней ни разу не упоминалось в литературе о Пушкине. Я имею в виду статью профессора Гамбургского университета Дитриха Герхардта, посвященную малоизученному вопросу национального своеобразия междометий, опубликованную еще в 1968 г.

В этой статье изобильно цитируется также русский материал, в частности междометия в текстах Пушкина; на нескольких страницах этой прекрасной работы идет речь и о сказке Пушкина.⁷⁶

Сославшись на исследование А. Мазона и считая его доводы о зависимости пушкинской сказки от повестей Ирвинга и Клингера вполне убедительными, Д. Герхардт пытается установить текстологическую зависимость нескольких строк «Сказки о золотом петушке» от одного диалога повести Клингера. По мнению Герхардта, замеченное им сходство указанных текстов «может подтвердить зависимость Пушкина от Клингера». Речь идет о той беседе, которую королева Черкесии (Д. Герхардт пользовался немецким текстом второй редакции повести, где она именуется Тифлисской султаншей) ведет с испанским монахом доном Педро, ловким и хитрым пройдохой и совратителем женщин, о только что похищенном Золотом Петухе. Цитата, приводимая Д. Герхардтом, в немецком тексте второй редакции звучит так:

Don Pedro. Madam! Madam! In Hahn... Hahnreye!

Sultanin. In Hahnreye, mein Herr.

Don Pedro. Ha! Ha! Ha! Das gute, einfältige Volk.

Sultanin. Hi! Hi! Hi! — Aber ich bitte Sie, warum lachen Sie und machen, daß ich wider Willen mitlachen muß? ⁷⁶

В этой цитате Д. Герхардта интересует прежде всего необычная форма восклицательного междометия смеющегося человека «Хи! Хи! Хи!» (Hi! Hi! Hi!), относительно которой он утверждает, что в русской печати она впервые употреблена Пушкиным. В связи с этим он обращает внимание на заметку Пушкина, написанную в сентябре—октябре 1830 г.: «Вот истинный анекдот: в Лицее один из младших наших товарищей, и, не тем будь помянут, добрый мальчик, но довольно простой и во всех классах последний, сочинил однажды два стихика, известные всему Лицею:

Ха ха ха, хи хи хи
Де<льви> пишет стихи!

Каково же было нам, Де<льви> и мне, в прошлом 1830 году в первой книжке В.<естника> Евр.<опы> найти следующую шутку: Альманах С.<еверные> Ц.<веты> разделяется на прозу и стихи — хи, хи! Вообразите себе, как обрадовались мы старой нашей знакомке!» (XI, 150; впервые опубликовано в 1841 г.).

⁷⁵ Gerhardt D. Ei, Ei, Ei! (Über die Nationalität einer Interjektion). In: L'Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves, Bruxelles, 1968, t. 48 (1966—1967), p. 139—170.

⁷⁶ Ibid., S. 150—151.

С этими строками Пушкина Д. Герхардт сопоставляет стихи из заключительной сцены «Сказки о золотом петушке», где говорится о гибели звездочета после спора с Дадоном:

Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вои. — Вся столица
Содрогнулась, а девица —
Хи, хи, хи! да ха, ха, ха!
Не боится, знать, греха.

Сопоставив два этих пушкинских текста — прозаический и поэтический, — близких по времени своего возникновения, Д. Герхардт пытается доказать, что Пушкину текст повести Клингера был известен еще в Лицее. С этой целью Д. Герхардт приводит в своей статье десятки цитат из русско-иноязычных словарей и русских литературных текстов XVIII—XX вв. для подтверждения своего наблюдения, будто бы восклицание «хи-хи-хи!» (с двухчленным или трехчленным повторением того же звукоподражательного слога), отличное от общеупотребительного «ха-ха-ха!», введено в оборот в русском языке именно Пушкиным, к тому же в подражание Клингеру, так как в русской печати не встречается ранее. Между тем, судя по материалам, приведенным Д. Герхардтом, *после* Пушкина восклицание «хи-хи-хи!» (иногда в противопоставлении к «ха-ха-ха!») встречается в изобилии с приданным ему особым экспрессивным оттенком.⁷⁷ Впрочем, с моей точки

⁷⁷ Форма «хи-хи-хи» становится у нас распространенной со второй половины 1830-х и начала 1840 гг. Возможно, что под влиянием Пушкина Лермонтов в 1841 г. вписал в альбом С. Н. Карамзиной свой шуточный экспромт «Любил и я в былые годы. . .», заканчивающийся строфой:

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха! и хи-хи-хи!
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи. . .

Д. Г. Гинзбург (О русском стихосложении: Опыт исследования ритмического строя стихотворения Лермонтова. Пг., 1915, с. 63) дает такой комментарий к этому экспромту: «Особенно интересен второй стих: раскаты широкого, звонкого, непринужденного смеха слышатся в „ха-ха-ха“ с расстановкой в начале и до яркой вспышки в конце, между тем как „хи-хи-хи“ отлично передает невольный переход ясной улыбки в еле слышное хихиканье». Такое толкование указанных стихов явно субъективно и необедительно. Между тем в новейших толковых словарях русского языка трехчленное междометие «хи-хи-хи» (нередко сопровождаемое единственным примером из сказки Пушкина) получает следующее истолкование: «обозначает тихий, сдержанный смех»; производное от него существительное «хихиканье» и глагол «хихикать» объясняются так: «подсмеиваться, смеяться тихо или исподтишка и со злорадством» (см. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1940, т. 4, с. 1148). Добавим к этому, что междометие «хи-хи» почти во всех славянских языках (кроме русского) является единственной формой данного восклицания: украинском, болгарском, сербохорватском (хи хи), словенском (hi hi), чешском и польском (chu chu). См.: Ф а с м е р М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973, т. 4, с. 240.

зрения, все эти утверждения не могут считаться доказанными: у нас нет никаких документальных данных о распространении среди лицейстов произведений Клингера, тем более сугубо нецензурных; с другой стороны, невозможно предположить, что Пушкин знакомился с повестью Клингера по немецкому оригиналу.

Необходимо также отметить, что цитированный Д. Герхардтом немецкий текст несколько отличается от текста французского перевода повести Клингера 1789 г.; кроме того, в обоих имеются трудности для перевода на русский язык благодаря содержащейся в них лишь приблизительно передаваемой игре слов. Приводим интересующее нас место диалога в русском переводе с французского:

Д о н П е д р о. Осмелюсь ли спросить ваше величество, что такое Золотой Петух?

К о р о л е в а. Как? Вы ничего не знаете о Золотом Петухе, этой чудесной птице? Клянусь солнцем! Мы тоже ничего не знаем об этом. Наши мужья всегда берегли его как зеницу ока и постоянно скрывали его от нас <...> Наши мужья опасаются, что может что-то случиться после его пропажи. Это должно оказывать у нас чрезвычайное влияние на браки. . . Беседой об этом Петухе я могла бы занять вас в течение целого дня.

Д о н П е д р о. Но какво могло бы быть его влияние?

К о р о л е в а. Мой супруг король сказал мне однажды, что если Петух не найдется, все черкесские мужья будут превращены в страшные чудовища, станут роконосцами (en monstres affreux сосус. . .).

Д о н П е д р о. Ха! Ха! Ха!

К о р о л е в а. Ха! Ха! Ха!

Д о н П е д р о. Хи! Хи! Хи!

К о р о л е в а. Хи! Хи! Хи! Однако почему вы смеетесь, скажите мне пожалуйста!

Д о н П е д р о. И Петух еще не найден?

К о р о л е в а. Нет еще. . . ⁷⁸

Таким образом, первым злорадно хихикает здесь испанский монах, а не королева черкесов («султанша» — во второй редакции повести), что и понятно в данной ситуации, но противоречит той, в которой зловещее восклицание «хи-хи!» произносит у Пушкина шамаханская царица! У Клингера королева представлена далеко не в идеальном свете, но в этой цепи она является еще наивной простушкой, не понимающей метафорического значения слова «роконосец» и воспринимающей его в буквальном смысле; к тому же не она изображена здесь как представительница inferнальных сил, а скорее ее соблазнитель — монах. Все это значительно

⁷⁸ Французский перевод повести Клингера не передает игры слов в немецком оригинале, где слово *Nahnrey* (соврем. *Nahnrei*) — роконосец — производное от слова *Nahn* — петух, а во французском языке слова *соф петух* и *соси роконосец* имеют различные корни, что могло быть известно и Пушкину. По мнению В. И. Даля, русские слова «рог» и «рогач» в значении неверности, измены жены взяты с Запада, «а у нас рога всегда означали <...> моготу или гордыню, киченье, упорство». Слово же «роконосец» возникло позднее (см.: Д а л ь В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 4, с. 99—100). Характерно, что Пушкин употреблял обе формы: «рогач» и «роконосец» (см.: Словарь языка Пушкина. М., 1959, т. 3, с. 1028).

ослабляет доказательность выводов Д. Герхардта о текстуальном сходстве приведенных им параллельных цитат из Клингера и Пушкина.

Тем не менее исследователь был вполне прав, считая необходимым допустить, что знакомство Пушкина с «Историей о Золотом Петухе» предшествовало его знакомству с новеллой Ирвинга. Прав был Д. Герхардт и тогда, когда он возразил немецким исследователям, не догадывавшимся, что воображаемая Черкесия клингеровской повести названа лишь для отвода глаз и маскировки: писатель безусловно имеет в виду Россию начала 80-х гг. XVIII в., изображая в приспособленном для сатирических целей виде какие-либо события при дворе Екатерины II или, вернее, при дворе наследника российского престола, будущего императора Павла I. Это — очерченная сатирическим пером картина русской придворной жизни последней четверти XVIII в. в условиях обращения протестантских принцесс в православную веру и т. д. Все это Клингер хорошо знал из многих впечатлений и от ближайших к нему лиц из той же окружавшей его дворцовой среды, которую он вскоре несколько изменил, возглавив кадетский и пажеский корпуса в Петербурге, а затем став попечителем Дерптского университета.⁷⁹

В 1808 г., уже в Петербурге, Клингера посетил Этьен Дюмон — женевец, долго живший в Англии и близкий к кругу И. Бентама. Дюмон пишет в своем дневнике: «Вчера я посетил в кадетском корпусе генерала Клингера. Это немец, человек умный, известный в Германии некоторыми сочинениями о Фаусте. В философии он близок к Дидро, направления несколько антирелигиозного. Он славится как человек честный и пользуется милостью императора (речь идет об Александре I, только что восшедшем на престол. — М. А.)». Характерно, что Дюмон, мало известный биографам Клингера, среди всех описавших его жизнь мемуаристов откровеннее и подробнее других рассказал о воззрениях Клингера и на религию, и на православных церковников. Вот что писал Дюмон по этому поводу: «По мнению Клингера, отличительной чертой русской истории является то, что

⁷⁹ Все аллюзии Клингера на современную ему русскую действительность стоило бы изучить особо; однако, не будем отвлекать читателя этой статьи от ее главной цели. Попутно укажем здесь на то, что в 1790 г. Клингер женился на Елизавете (Григорьевне) Алексеевой (1769—1847), официально — дочери полковника Алексея, на самом же деле — побочной дочери графа Г. Г. Орлова и сестры графа Ф. Ф. Букегевдена и, следовательно, принадлежавшей к высшему кругу петербургской знати. Она пережила мужа на 13 лет и умерла в Петербурге, неукоснительно выполнив требование покойного мужа — полностью сожгла все оставшиеся от него бумаги; см.: Dalton Hermann Johannes Muralt. Eine Pädagogen- und Pastorengestalt der Schweiz und Rußlands aus der ersten Hälfte des XIX Jahrh. Wiesbaden, 1876, S. 205; К о б е к о Дм. Цесаревич Павел Петрович. 2-е изд. СПб., 1883, с. 162. Круг знакомых Клингера в период его жизни в России до сих пор очерчен плохо его биографами; существует множество данных, выпавших из поля зрения О. Смолян, автора не раз цитированной выше новейшей русской монографии о Клингере, нуждающейся в поправках и дополнениях.

в ней нет ни религиозных войн, ни борьбы из-за политических идей. Религия лишена созерцательных догматов, русские не имеют о том никакого понятия. Все ограничивается почитанием иконы святой и крестным знаменем. Священники не имеют никакого имущества, но пользуются влиянием. Народ их чтит, общество их презирает. Им целуют руку, но сажают за стол в людских. Нужно исключать тех, которые занимают первые места. Есть, однако, секта, о которой следует собрать более подробные сведения. Павел их преследовал; это — раскольники».⁸⁰

Приведенное свидетельство интересно для нас не по существу. Конечно, Клингер ничего не понимал в делах православной церкви ни XVIII в., ни тем более всех предшествующих эпох, он не имел никаких сведений ни о реформах Никона, ни о тяжелой и яростной борьбе различных общественных слоев допетровской эпохи именно по проблемам догматики, вызывавшей и литературные диспуты с католиками и протестантами, и церковные соборы. Да ему и неоткуда было знать об этом, ибо он вращался в узкой придворной полуиноземной среде, состоявшей преимущественно из иноверцев. Слова Дюмона ценны для нас прежде всего потому, что принадлежат компетентному собеседнику Клингера, сумевшему запечатлеть в немногих словах своего интимного дневника то, что думал о русской религии Клингер в годы своей творческой литературной активности в конце XVIII в. Пытаясь отчетливее понять круг представлений Клингера о русских церковниках этого времени, мы яснее пойдем замысел его повести о Золотом Петухе и, в частности, значение ее подзаголовка.

Заявление же Дюмона о том, что «убеждения Клингера, клонившиеся в пользу французской революции, были очень известны», подтверждается множеством документальных свидетельств. Граф Ланжерон, знавший его еще до восшествия Павла I на престол, например, утверждал, что «генерал-лейтенант Клингер, директор пажеского корпуса < . . . > отличался опасными принципами для воспитания подданных неограниченной монархии. Он был наглый порицатель правительства и заклятый якобинец».⁸¹ В начале 1811 г. попечитель Московского учебного округа П. И. Голенищев-Кутузов представил министру просвещения графу Разумовскому клеветнический донос, что «в Дерпте профессеры явно проповедают безбожие, и пока Клингер будет там попечителем, не будет никакой доверенности к университету, ибо Клингера вся Лифляндия ненавидит яко человека дурных правил, злобного и безбожного».⁸² В том же духе были написаны «всеподданнейшие письма» М. Л. Магницкого, этого «неутомимого поборника обскурантизма и ревностного гонителя всякой свободы мысли и слова в нашем отечестве», как его справедливо характеризует его био-

⁸⁰ Дневник Этьена Дюмона // Голос минувшего, 1913, № 3, с. 82—83.

⁸¹ Русская старина, 1895, № 4, с. 171.

⁸² Цит по кн.: С м о л я н, с. 34.

граф Е. Феокистов. Магницкий назвал Клингера — уже после его смерти — в своих мемуарах как «одного из важнейших и самых известных безбожностью своих сочинений умов, вроде Вольтера».

6

Знал ли Пушкин действительно произведения Ф. М. Клингера? Этот вопрос интересовал многих исследователей, хотя большинство из них считало его бесспорным. Гл. Глебов еще в 1933 г. в упоминавшейся выше статье писал: «Трудно допустить, что Пушкин не знал этого выдающегося писателя, жившего в России с 1770 г. (следовало сказать: с 1780 г. — М. А.) по 1831 г.»,⁸³ и напоминал, что у нас хорошо знали его «Фауста». О нем пишет, например, А. О. Смирнова.⁸⁴ Добавим, что экземпляр этого романа Клингера сохранился в библиотеке П. Я. Чаадаева⁸⁵ и что его высоко ценил Н. М. Языков.⁸⁶ Д. Герхардт в указанной статье полагает, что «История о Золотом Петухе» была известна Пушкину уже в Лицее, но о личном знакомстве с Клингером одного из лицейских друзей, Кюхельбекера, известно лишь из альманаха «Мнемосина» (1824), где Кюхельбекер сообщает, что в 1820 г. он «привез в Веймар письмо от Клингера к Гете».⁸⁷

О личном знакомстве и встречах с Клингером старших друзей Пушкина существуют многочисленные свидетельства. С Клингером неоднократно встречались Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский и, несомненно, многие другие.⁸⁸ Однако и приведенные данные свидетельствуют о том, что было бы почти невероятно, если бы стало известно, что Пушкин ничего не знал о Клингере и что он не читал ни одного из его про-

⁸³ Глебов Гл. Пушкин и Гете // Звенья. М.: Л., 1933, т. 2, с. 52.

⁸⁴ Смирнова - Россет А. О. Автобиография: (Неизданные материалы). М., 1931, с. 15.

⁸⁵ См.: Государственная библиотека СССР им. Ленина. М., 1980, с. 72, № 386 (изд.: K l i n g e r. Werke. Königsberg, 1819, Bd 3).

⁸⁶ См.: Языков. архив. СПб., 1913, вып. 1, с. 373, 493 (письма Н. М. Языкова, 1828 г.).

⁸⁷ См.: К ю х е л ь б е к е р В. Путешествия; Дневники; Статьи. Л., 1979, с. 27 и 655.

⁸⁸ Н. М. Карамзин писал И. И. Дмитриеву 27 июня 1816 г. о встрече с Клингером в Павловске: «Тут мы сошлись с Клингером. Он расспрашивал о тебе». В другом письме к Дмитриеву Карамзин писал: «Отныне кураторами будут люди известного благочестия. Клингер уволен: мне сказывали, что он считается вольномыслящим. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 190, 204). Весьма расположен был к Клингеру В. А. Жуковский, бывавший у него дома в 1820-х гг. и находившийся с ним в переписке. См.: Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 190; Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, с. 105; Остафьев. архив, СПб., 1899, т. 1, с. 123, 128 (переписка о Клингере П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, 1818 г.); Веселовский А. Н. В. А. Жуковский и А. И. Тургенев в литературных кружках Дрездена 1826—1829 гг. / ЖМНП, 1905, № 5, с. 169—180, п др.

изведений. С нашей точки зрения, о непосредственном знакомстве Пушкина с «Историей о Золотом Петухе» Клингера, скорее всего во французском переводе 1789 г., помимо указанных выше данных наглядно свидетельствует отчетливо запомнившийся поэту образ зловещей птицы, оставивший след во многих произведениях Пушкина задолго до создания им «Сказки о золотом петушке». Эти реминисценции встречаются в творчестве Пушкина в различные годы в произведениях разных жанров и еще недостаточно проанализированы исследователями. Так, например, с большой дозой вероятия можно предположить, что образ чудовищного петуха inferнального происхождения упомянут в описаниях сна Татьяны в «Евгении Онегине» (в пятой главе, написанной в 1826 г.):

Спят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой. . .

В вариантах «Сказки о рыбаке и рыбке» (1831) мы снова находим хотя и не петуха, но зловещую птицу мифологического происхождения, притом находится она в том же положении, что и золотой петушок: когда старик возвращается к своей старухе, пожелавшей быть «римскою папой», он застаёт ее в непривычном виде, предвещающем конечную катастрофу ее дерзостных требований:

Перед ним вавилонская башня
На самой на верхней на макушке
Сидит его старая старуха.
На старухе *сорочинская* шапка
На шапке венец латынский
На венце тонкая <?> спица
На спице Строфилус <?> птица

(III, 1087—1088)

На такой именно спице изображен петушок на известном рисунке Пушкина — проекте титульного листа к «Сказке о золотом петушке». ⁸⁹ Весь этот вариант сказки, посвященный желанию

⁸⁹ Этот рисунок воспроизводился неоднократно, в последний раз в посмертном издании труда Т. Г. Цявловской «Рисунки Пушкина» (М., 1980, с. 111), в котором дается следующее описание этого графического титульного листа: «Голова Дадона и комическая голова скопца, щит с копьём и кольчуга с племом, крепость со сторожевой вышкой и корабль на воде, а в центре в большем масштабе — фигура золотого петушка [на спице], объединяющая лист» (с. 110). В изданном Ю. И. Левиной альбаме «Болдинские рисунки Пушкина 1830 г.» (Горький, 1976, с. 30—31) воспроизведены рисунки, изображающие, в частности, кошку и петуха, обычных обитателей деревенского жилья, «сделанные с достоверностью, идущей от живого и непосредственного наблюдения». Однако эти рисунки расположены на той же странице бумаги, где ниже можно прочесть строки стихотворного текста не оконченной Пушкиным «Сказки о медведихе»; имеют ли указанные два рисунка какое-либо отношение друг к другу, неясно; заметим, однако, что рисунки петуха здесь и на проекте титульного листа «Сказки о золотом петушке» очень похожи и сделаны в сходной графической манере.

старухи стать «римскою папой», имеет источник в зарубежной книжной или лубочной литературе.⁹⁰

Р. Якобсон в своей книге «Пушкин и его скульптурный миф» сопоставляет «Сказку о золотом петушке» с рядом других произведений поэта, в которых действуют оживающие и мстящие статуи, в частности с «Медным всадником», «Каменным гостем» и др., и в связи с этим довольно подробно анализирует отношение Пушкина к скульптурным памятникам и изображениям.⁹¹ Все указанные наблюдения и установленные исследователем соотношения между произведениями Пушкина безусловно заслуживают внимания и дальнейшего объяснения. Нам представляется, однако, что в установленный ряд «оживающих и мстящих статуй» наряду с «золотым петушком» может быть включен оживающий расколдованный Петух из повести Клингера: он также мститель, хотя и особого рода. Зловещий и мистический петух, имеющий глубокие корни в мусульманской и древнерусской литературах, был довольно популярным образом в романтических литературах. Люсьенна Портье в своей интересной работе о теме «дикого петуха»

90 Об этом подробнее идет речь в статье А. Мазона «Le livre populaire et la tradition populaire d'après un conte en vers de Pouchkine» в книге «Mélanges dédiés à la mémoire de Prokop M. Naškovec» (Brno, 1936). В этой статье французский ученый высказал правдоподобную гипотезу, что стих о старухе, желающей быть «римскою папой», имеет прямое отношение к преданию о «папессе Иоанне». Эта статья А. Мазона требует особого разбора, так как она также мало известна советским пушкинистам. То обстоятельство, что петух и птица Строфилус в обеих сказках помещены на спицах, могло быть внушено обычаем помещать петухов на крышах иноземных церквей, что Пушкин мог неоднократно наблюдать и сам. Ср. ст.: Стефанович А. Петух на готическом соборе // Средневековый быт. Л., 1925, с. 273—275. Что же касается птицы Строфилуса, которую упоминает Пушкин, то она давно объяснена комментаторами. «Голубиная книга» называет ее «всем птицам мати» и дает ей такую характеристику:

Она
Живет посреди моря,
Она ест и пьет на самом море,
Она плод плодит на синем море. . .

Когда она

. . . вострепенется,
Океан море всколыхнется;
Топит она корабли гостинцы
Со товарами драгоценны
И т. д.

Ср.: Мочульский М. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887, с. 140 след. Ср. также: Кирпичникова К. К вопросу о птице Страфиль // ЖМНП, 1890, № 7, с. 98—108. В этой работе помимо указания на греческое название страуса исследователь называет ряд аналогий удивительной птице в античной и средневековых литературах Европы и Азии. Вещий характер названной Пушкиным птицы был для него несомненно вполне ясен и бесспорен.

⁹¹ См.: Jacobson R. Puškin and his sculptural myth. The Hague; Paris, 1975, p. 9—10.

у Леопарди привела большое количество цитат о петухе из мировой литературы XIII—XIX вв. — между Данте и Джакомо Леопарди.⁹² Последний в 1822 г. написал свою «Песнь дикого петуха» («Cantico del gallo silvestre») — нечто вроде стихотворения в прозе. «Песнь» Леопарди, вошедшая позднее в его «Opere moralì», начинается следующими строками: «Некоторые древнееврейские ученые и писатели утверждают, что между небом и землей, или лучше сказать наполовину там, наполовину здесь, живет некий дикий петух; ночами он стоит на земле, гребешком же и клювом касается неба. Этот гигантский петух помимо различных особенностей, о которых можно прочитать у вышеназванных авторов, владеет разумом, или, может быть, как попугай, был выучен неизвестно кем говорить словами наподобие людей. Так как найден древний пергамент (написанный еврейским алфавитом на языке не то халдейском, не то арамейском), в котором приводится „Утренняя песнь дикого петуха“, то я, не без больших затруднений, с помощью многих еврейских раввинов, каббалистов, теологов, юрисконсультов и философов пришел, наконец, к пониманию манускрипта и перевел его на итальянский разговорный язык». Далее Леопарди приводит самую «Песнь», которая начинается следующими «человеческими» словами петуха: «Смертные, проснитесь! День рождается вновь. Правда возвращается на землю, исчезают образы суетности. Встаньте! Возьмите заново бремя жизни! . . .». Так взывает к людям гигантский петух, обращающийся к солнцу, к его всепроникающим лучам, которые не дают счастья людям. «Проснитесь, пока вы живы! — кричит петух людям. — Ведь наступит день, когда солнца не станет, и покой и тишина засвидетельствуют всеобщую смерть и гибель».⁹³ Это произведение итальянского поэта-пессимиста становится аналогией стихотворений современных ему поэтов — английского (Байрон, «Тьма») и русского (Баратынский «Последний поэт»). Об этом стихотворении в прозе Леопарди не раз упоминали в западноевропейской прессе, и, может быть, о нем знал и Пушкин, хотя оно было ему чуждо по своей философской направленности; зато образ гигантского дикого петуха, обладающего человеческой речью и прощеским даром, запомнился, сливаясь с образами других петухов в мировой литературе.

О возможном внимании Пушкина к изображенному Клинггером Петуху как к пародическому символу династии в добавление к сказанному выше следует заметить: удержанию этого образа в творческой памяти поэта могло содействовать и то, что «Галльский петух» (Coq gaulois или просто Coq) был одной из нацио-

⁹² См.: Portier L. Le thème du Coq sauvage et son aboutissement à Leopardi // Cahiers algériens de littérature comparée, 1967, N 2, p. 102—120. Источником «Песни дикого петуха» Леопарди, как установила Л. Портье (р. 115), была книга: Buxtorff J. Lexicon haldaicum, talmudicum et rabbinicum (1639).

⁹³ Opere di Giacomo Leopardi. Firenze, 1889, vol. 2, p. 20—25 (цпкл «Opere moralì»).

нальных эмблем революционной Франции, о чем Пушкин не мог не знать.⁹⁴ Не меньший интерес для него мог иметь и титул «принца рогоносцев», который носит Петух у Клингера. Очень вероятно, что «Историю о Золотом Петухе» Пушкин знал от Александра Раевского, не только поощрявшего в поэте богохульство, к которому оба были склонны, в период их близости в Каменке, Кишиневе и Одессе, но и бывшего его «демоном» и предателем и искусно, со злостью создававшего такие ситуации в их отношениях с замужними женщинами, когда они становились соперниками в наставлении рогов мужьям этих женщин (вспомним хотя бы К. А. Собаньскую или Е. К. Воронцову).⁹⁵ Слово «соси» было у Раевского и Пушкина популярным и безусловно являлось предметом обсуждения, горечи и душевных мучений.

⁹⁴ Петух изображался на знаменах восставших во время французской революции 1789 г. Во время июльской революции 1830 г. петух появился вновь в качестве эмблемы на знаменах нации, где он заменил прежнюю королевскую лилию (*fleur de lis*) и где сохранялся до 1852 г., замененный затем гербом с императорским орлом. См.: *L a r o u s s e P. Grand dictionnaire universel*, t. 5, p. 75. В этом же справочнике (p. 77) дается подробный перечень гербов французских городов и территорий, а также медалей, на которых часто изображен золотой петух на лазоревом поле.

⁹⁵ См.: Л а к ш и н В. «Спутник странный»: (Александр Раевский в судьбе Пушкина и роман «Евгений Онегин» // Л а к ш и н В. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979, с. 72—223. Напомним также, что строки о «рогоносце величавом» из XII строфы первой главы «Евгения Онегина» имеют в виду одного из владельцев Каменки — А. Л. Давыдова. См.: Ч е р е й с к и й Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 118.



К СТАТЬЕ ПУШКИНА «ДЖОН ТЕННЕР»

В третьем томе своего журнала «Современник», вышедшем в свет в начале октября 1836 г.,¹ Пушкин напечатал свою статью «Джон Теннер» за подписью «The Reviewer». Ни для кого не было тайной, кто скрылся под этим псевдонимом: статья была перепечатана уже в первом посмертном издании сочинений Пушкина (СПб., 1838, т. 8, с. 250—307), а затем и в издании П. В. Анненкова (СПб., 1855, т. 5, с. 571—604). Пушкин, как видно из его письма к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г., придавал известное значение своей статье и был несомненно прав, так как, по словам Анненкова, она «отличается превосходным изложением» и «не потеряла занимательности своей до сего дня» (там же, с. 636).

В настоящее время статья эта воспроизводится во всех полных собраниях сочинений Пушкина (см.: Акад., XII, 104—132) и хорошо известна не только специалистам. Тем не менее она «мало изучена и прокомментирована», как справедливо отметил Б. Марьянов, обративший внимание на то, что «даже примечания к этой статье в собраниях сочинений Пушкина до сих пор содержат разнообразные ошибки, не говоря уже о том, что они неоправданно кратки, касаются далеко не всех мест, вызывающих вопросы у читателя и требующих пояснения».²

За последние годы литература как о самом Джоне Теннере, так и о посвященной ему статье Пушкина обогатилась несколькими публикациями, однако большинство их напечатано в различных труднодоступных изданиях. Отсюда возникает необходимость представить хотя бы в кратком обзоре важнейшие итоги этих публикаций, дающие некоторые новые данные для будущего комментария к указанной статье.

Отметим прежде всего, что книга Теннера за последнее время переиздавалась несколько раз на различных языках. Первое изда-

¹ Рыскин Е. И. Журнал А. С. Пушкина «Современник» 1836—1837: Указатель содержания. М., 1967, с. 50.

² Марьянов Б. Об одном примечании к статье А. С. Пушкина «Джон Теннер» // Рус. лит., 1962, № 1, с. 64—67.

ние ее вышло в свет в Нью-Йорке в 1830 г.: *A Narrative of the Captivity and Adventures of John Tanner During Thirty Years Residence Among the Indians. . . Prepared for the Press by Edwin James, M. D., Editor of the Major Long's Expedition from Pittsburg to the Rocky Mountains.* New York, 1830. Книга была переиздана в 1956 г. в Миннеаполисе с большой вводной статьей, написанной Ноэлем Лумисом (Noel M. Loomis). Еще ранее появился немецкий ее перевод: *Tanner J. Dreißig Jahre unter den Indianern. Aus dem Amerikanischen übersetzt, mit Anmerkungen und einigen Nachwort versehen von Dr. Eva Lips.* Weimar, 1953. Десятилетие спустя напечатан был и русский перевод: *Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера (переводчика на службе США в Со-Сент-Мари) в течение тридцатилетнего пребывания среди индейцев в глубине Северной Америки.* Подготовлено к печати Эдвином Джемсом, издателем отчета об экспедиции майора Лонга от Питтсбурга до Скалистых гор / Пер. с англ. Ю. Я. Ретеюма; ред. и предисл. Ю. П. Аверкиевой. М., 1963.

В рецензии на русское издание В. В. Владимиров весьма благоприятно отозвался о нем, подчеркнув, что в русский текст «Рассказа» «бережно включены отрывки, переведенные А. С. Пушкиным» и что книге предпослано также «полное гнева к колонизаторам и сострадания к гонимым индейским племенам введение Эдвина Джемса, записавшего со слов Теннера печальную повесть его жизни».³ Укажем, однако, со своей стороны, что введение в новый русский перевод отрывков, переведенных Пушкиным в 1836 г., едва ли может быть оправдано полностью, так как Пушкин осуществил свой перевод этих отрывков с французского перевода Блоссвилля, а не с английского оригинала. Несмотря на то, что данные для сличения пушкинских отрывков с текстом французского перевода, находившегося в библиотеке Пушкина (*Mémoires de John Tanner, ou trente années dans les déserts de l'Amérique du Nord, traduits sur l'édition originale, publiée à New York, par M. Ernest de Blosseville, auteur de l'histoire des Colonies pénales de l'Angleterre dans l'Australie, vols. I, II. Paris, 1835*),⁴ были уже представлены Н. К. Козминым,⁵ это обстоятельство было забыто столь прочно, что Ю. П. Аверкиева в своем предисловии к указанному выше отдельному русскому изданию «Рассказа» Теннера могла заметить: «Хотя Пушкин и не упоминает фамилии Джемса в своей рецензии на книгу Теннера, это введение не могло не произвести глубокого впечатления на поэта. Несомненно, именно сообщенные Джемсом факты вызвали главные обвинения Пушкина в адрес правящих кругов США» (с. 9). Это досадная и грубая ошибка: Пушкин вовсе не читал этого введения, так как он пользовался французским изданием «Записок» Теннера, в котором

³ Нов. мир, 1964, № 6, с. 286.

⁴ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 9—10, с. 346, № 1423.

⁵ Пушкин А. С. Соч. Л., 1929, т. 9, ч. 2, с. 822—823.

введение Джемса отсутствовало, замененное вступительной статьей самого переводчика — Э. Блоссвилля, где, впрочем, о бедственной участи индейских племен также имеется весьма красноречивая страница (vol. 1, p. XVI—XVII).

Характерно, что Пушкин в своей статье говорит о «Записках» Теннера, что вполне соответствует заглавию французского перевода («Mémoires»), тогда как в оригинальном американском издании книга названа была «Повествованиями» или, точнее, «Рассказом» Теннера («Narrative»). Дж. Т. Шоу в статье об очерке Пушкина⁶ обратил внимание на то обстоятельство, что подпись, поставленная под очерком в «Современнике» («The Reviewer»), также, по-видимому, была ввучена поэту введением Блоссвилля, дважды упомянувшего это английское слово (vol. 1, p. III, XXVII), как не имевшее еще французского соответствия: „Reviewer“ — человек, составляющий журнал. Это обозначение, не имеющее еще французского эквивалента, на языке двух Англий применяется в особенности к авторам статей критического отдела в журналах» (там же, p. XXVII).⁷

Наиболее интересное с литературной точки зрения место в статье Пушкина, которым он несомненно обязан введению Блоссвилля, читается так: «Нравы североамериканских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. „Дикари, выставленные в романах, — пишет Вашингтон Ирвинг, — так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных“. Это самое подозревали читатели; и недоверчивость к словам заманчивых повествователей уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями» (XII, с. 105). Источник этого абзаца — следующие слова у Блоссвилля, данные Пушкиным не в точном переводе, но в вольном пересказе: «Autant que je puis en juger, dit Washington Irving, l'Indien des fictions poétiques est, comme le berger du roman pastoral, une pure personnification d'attributs imaginaires» (I, p. XI).

⁶ S h a w J. Th. Puškin in America: his «John Tanner» // Orbis Scriptus: Dm. Tschizevskij zum 70 Geburtstag. München, 1966, pp. 739—756.

⁷ Дж. Т. Шоу обратил внимание также на то, что Э. Блоссвилль в своем введении уделит внимание трудностям перевода «Записок» Джона Теннера в связи с особенностями американского диалекта английского языка и многими заключающимися в них местными идиоматическими выражениями (p. 745). Упоминание Блоссвиллем «американизмов», вероятно, внушило Пушкину мысль воспользоваться одним из них — «янки», о котором он, впрочем, заметил: «Прозвище, данное американцам; смысл его нам неизвестен» (XII, 132). Подпись-псевдоним Пушкина «The Reviewer», стоящую под статьей о Джоне Теннере, Б. Л. Модзалевский в свое время принял за название журнала, якобы послужившего поэту источником, из которого был почерпнут материал для этой статьи. При описании пушкинского экземпляра книги Теннера в переводе Блоссвилля Б. Л. Модзалевский заметил: «О Джоне Теннере и его записках см. пространную статью Пушкина, заимствованную из „The Reviewer“ в „Современнике 1836 г.“» (М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 346, № 1423).

Поиски этой цитаты в произведениях В. Ирвинга долгое время были безрезультатными. Дж. Т. Шоу указал на очерк Ирвинга «Черты характера индейцев» («Traits of Indian Character») из его «Sketch-Book», в котором действительно идет речь о поэтических фантазиях об индейцах писателей-романтиков,⁸ но текстуального сходства указанного места в данном очерке с интересующей нас цитатой, приведенной Блоссвиллем, не обнаруживается. Действительный источник ее был обнаружен Б. Марьяновым в очерке В. Ирвинга «Поездка в прерии» («A Tour on the Prairie», 1835): «As far as I can judge, the Indian of poetical fiction is like the shepherd of pastoral romance; a mere personification of imaginary attributes». «Как видим, — замечает Б. Марьянов, — Блоссвилль в точности воспроизвел на французском языке это высказывание Ирвинга, очень подходившее для предисловия к „Запискам“ Джона Теннера, Пушкин в вольном переводе перенес его в свою статью как весьма точно соответствующее ее направленности и духу».⁹ С обнаружением источника цитаты Блоссвилля и Пушкина сами собой отпали все прежние догадки и домыслы, высказывавшиеся по этому поводу. Не лишено интереса и то, что Блоссвилль в указанном месте упоминает два романтических произведения о североамериканских индейцах — «Начезы» Шатобриана и «Последний из могикан» Дж. Ф. Купера; именно эти произведения, вслед за Блоссвиллем, несомненно имеет в виду и Пушкин, когда говорит, что «Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны».¹⁰ При этом, как справедливо заметил Дж. Т. Шоу, Пушкин более последователен, чем Блоссвилль, потому что он гораздо энергичнее подчеркивает прикрашенность картины быта, характерную для Шатобриана и Купера, тогда как французский переводчик ссылается на них лишь для доказательства правдивости изображения, даваемого Джоном Теннером.

К введению Блоссвилля в значительной мере восходит тот абзац в статье Пушкина, который посвящен положению в Соединенных Штатах американских индейцев и их вероятной, достойной сожаления, будущей судьбе. Пушкин пишет: «Отношения Штатов к индейским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского конгресса осуждены с негодованием: так или иначе, чрез меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными. но дикость должна исчезнуть

⁸ Shaw J. Th. Puškin on America: his «John Tanner», p. 745.

⁹ Марьянов Б. Об одном примечании к статье А. С. Пушкина «Джон Теннер», с. 64—67.

¹⁰ В известной хрестоматии Н. В. Богословского «Пушкин-критик» (М., 1950, с. 667) к упоминанию Шатобриана и Купера в статье о Джоне Теннере сделано следующее ошибочное примечание: «Пушкин имеет в виду роман „Атала“ (1801) Шатобриана, написанный им после поездки в Америку, и многочисленные романы североамериканского писателя Ф. Купера из быта индейцев».

при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся. . .» (XII, 104). Блоссвилль же довольно много рассуждает об этом и прямо говорит о медленном вымирании индейцев под действием: рома, сопоставляя последствия этого с массовым истреблением огнем и мечом местного населения, начатым испанскими завоевателями: «Mieux vaut mourir lentement par les effets du rhum que d'être exterminé en masse par le fer et le feu de la conquête espagnole. . .» (I, XXIV).¹¹

Однако введение Блоссвилля, со своей стороны, обязано первым двум томам той самой книги А. Токвилля «О демократии в Америке» («De la Démocratie en Amérique». Paris, 1835, vol. 1), которую Пушкин в своей статье назвал «славной книгой» (XII, 105) и которая, может быть, оказалась даже одной из причин его интереса к «Запискам» Джона Теннера.

В библиотеке Пушкина было четвертое издание книги Токвилля 1836 г.¹² Интерес к этой книге возник у поэта несомненно благодаря А. И. Тургеневу, который в этом же 1836 г. (21 марта) лично познакомился с Токвиллем в Париже, в салоне г-жи Рекамье, и писал в своей «Хронике русского», напечатанной в первом томе пушкинского «Современника»: «. . . провел вечер в чтении Токвилля о демократии (в Америке). Талейран называет его книгу умнейшей и примечательнейшею книгою нашего времени. . .».¹³ Черновик неотправленного письма Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г., набросанного по горячим следам чтения книги Токвилля, свидетельствует о том, что она произвела на поэта очень сильное впечатление. «Читали <ли Вы> Токвилля? . . Я еще под горячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею», — пишет он (XVI, 261, 424). В этом письме есть ряд мест, несомненно восходящих непосредственно к этой книге и открывающих любопытные аналогии со статьей о Джоне Теннере.¹⁴

Зарубежные исследователи Пушкина обращали внимание на то, что в библиотеке Пушкина находилась еще одна француз-

¹¹ Shaw J. Th. Puškin on America: his «John Tanner», p. 746.

¹² Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 350, № 1440.

¹³ Тургенев А. И. Хропика русского: Дневники (1825—1826 гг.) / Изд. подг. М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964, с. 73, 86. Отметим, что А. И. Тургенев послал в Россию (Остафьев. архив, 1824—1836. СПб., 1899, т. 3. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, с. 298—299) именно то двухтомное издание книги Токвилля 1836 г., которое находилось в библиотеке Пушкина. Уже после смерти поэта в очередном письме той же серии «Хроника русского» в «Современнике» (1839, т. 15) он писал: «Наблюдатель Америки и демократизма, Токевиль скоро издает новую книгу; как догадывается М. И. Гиллельсон, речь, вероятно, идет здесь о полном издании труда «De la Démocratie en Amérique» (Тургенев А. И. Хроника русского, с. 182, 522).

¹⁴ Подробнее в кн.: Shaw J. Th. Puškin on America: his «John Tanner», p. 748—751; см. также: Voden D. Das Amerikabild im russischen Schrifttum bis zum Ende des 19 Jahrhunderts. Hamburg, 1968, S. 122—123, где Токвиллю и восприятию его книги в России посвящена целая глава, в особом отделе которой идет речь о статье Пушкина «Джон Теннер» (S. 120—124).

ская книга, которой он несомненно заинтересовался одновременно с сочинениями Токвилля и Теннера. Это была повесть Г. Бомона «Мария, или Рабство в Соединенных Штатах. Картина американских нравов». ¹⁵ Г. Бомон сопровождал Токвилля в девятимесячной поездке по США в 1831—1832 гг., предпринятой для изучения местного уголовного законодательства и тюремной системы. ¹⁶ Результатом полученных впечатлений и была эта повесть Бомона, которую иногда называют предшественницей более знаменитой впоследствии «Хижины дяди Тома» Бичер-Стоу. ¹⁷ Отметим, кстати, что Бомон вместе с Токвиллем видел Джона Теннера: об этом (говоря о Токвилле) упомянул и Пушкин в своей статье.

Новейшие исследователи с полным основанием указывают также на то, что в библиотеке Пушкина было еще несколько книг об Америке, французских и английских, изданных в середине 1830-х гг. и, вероятно, приобретенных поэтом приблизительно тогда же, когда он заинтересовался сочинением Токвилля и «Записками» Теннера. Таковы, например, «Дневник Вест-Индского собственника» Мэтью Грегори Льюиса (Пушкину, несомненно, хорошо было известно имя этого автора «готического» романа «Монах»), ¹⁸ а также книга полковника Гамильтона «Люди и нравы в Соединенных Штатах Америки». ¹⁹ Очень возможно, что эти книги, в особенности последняя, еще более расширили сведения Пушкина о заинтересовавшей его стране и содействовали выработке у него собственного мнения о Соединенных Штатах и их общественном укладе, которое так отчетливо высказано в его статье о Джоне Теннере. Тем не менее вопрос о действительных источниках этой статьи в советском пушкиноведении затронут еще слишком слабо, ²⁰ чтобы мы могли отделить в ней свое от чу-

¹⁵ Beaumont G. Marie ou l'Esclavage aux Etats-Unis. Tableau de Moeurs Américains. Paris, 1836 (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина, с. 155, № 589). Любопытно, что те же книги Токвилля и Бомона определили интерес к запискам Теннера А. де Вигни (см.: Girard J. Toujours les sources de Vigny // Revue d'Hist. litt. de la France, 1914, t. 21, p. 1—24).

¹⁶ Pierson G. Wilson. Tocqueville and Beaumont in America. New York, 1938.

¹⁷ Bode n D. Das Amerikabild im russischen, S. 122.

¹⁸ Lewis M.-G. Journal of a West-India Proprietor, kept during a Residence in the Island of Jamaica. London, 1834 (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина, с. 274, № 1099).

¹⁹ Hamilton Colonel. Les hommes et les moeurs aux Etats-Unis d'Amérique. . . Paris, 1834 (там же, с. 245, № 968).

²⁰ Справедливое суждение Б. Марьянова по этому поводу цитировалось выше. Кое-какие попутные замечания о статье Пушкина «Джон Теннер» см. в работах: Степанов Н. Н. Пушкин и Север // Вестн. ЛГУ, 1949, № 6, с. 38—59 («Записки» Теннера и «Описание земли Камчатки» Крашенинникова); Соколова В. К. Пушкин и народное творчество // Сов. этнография, 1949, № 3, с. 10—11 (статья Пушкина — образец использования им этнографических материалов для борьбы против рабства и колониального угнетения); Городецк ий Б. П. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина // Пушкин: Исслед. и матер. М.; Л., 1960, т. 3, с. 226 (характеристика американского общества в русской печати 1830-х гг. XIX в.);

жого, а реальный комментарий к ней в надлежащем виде еще не составлен и является делом будущего. В связи с этой предстоящей задачей отметим еще несколько наблюдений Дж. Т. Шоу и Д. Бодена, заслуживающих упоминаний в будущем комментарии к статье Пушкина и подтверждающих, что ее следует изучать в тесной связи с введением Блоссвилля к французскому переводу «Записок» Теннера, книгой Токвилля и повестью Бомона «Мария, или Рабство в Соединенных Штатах».

Известие о том, что Токвилль, будучи в Соединенных Штатах, видел Джона Теннера и «от него самого» купил его книгу (XII, 105), Пушкин заимствовал из первого тома сочинений Токвилля,²¹ но свидетельство поэта, что «ныне Джон Теннер живет между образованными своими соотечественниками», представляет собой его собственный домысел; не оправдалась также и полуироническая надежда Пушкина на то, что Теннер «со временем делается настоящим уапкее»: Теннер до конца своих дней не стал горожанином.²² Догадкой Пушкина, по-видимому, является также его утверждение, что Теннер будто бы «очень выгодно продал свои любопытные „Записки“» (об этом ничего не говорится в источниках, которыми он пользовался), зато основания для предположения, что Теннер вскоре «будет, вероятно, членом Общества воздержности», Пушкин нашел в читанных им книгах Токвилля и Бомона. Токвилль говорит об «Обществах воздержности» («Les sociétés de tempérance») во втором томе своей книги и поясняет, что они представляют собою «ассоциации членов, связанных друг с другом обещанием воздерживаться от употребления крепких напитков».²³ В примечании Пушкина об «Обществе воздержности» также говорится: «Общество, коего цель — истребление пьянства. Члены обязываются не употреблять и не покупать никаких крепких напитков» (XII, 132). «Общество воздержности» («The Temperance Society») упомянуто и в повести Бомона: в него вступает отец невесты героя.


Е р е м и н М. Пушкин-публицист. М., 1963, с. 278 и др. Неисторические разглагольствования В. М. Тамахина в статье «Пушкин о записках Джона Теннера» в «Пушкинском сборнике» (Ставрополь, 1949, с. 47—51) никакого значения для истолкования пушкинской статьи не имеют.

²¹ «Я сам встретил Теннера в конце Верхнего Озера. Он показался мне более похожим на дикого, чем на культурного человека» (см.: Т о с с е в и л л е А. De la Démocratie en Amérique, vol. 1, p. 384).

²² S h a w J. Th. Puškin on America: His «John Tanner», p. 755—756.

²³ Т о с с е в и л л е А. De la Démocratie en Amérique, vol. 11, p. 147; S h a w J. Th. Puškin on America... p. 755.





ПУШКИН И БРАЗИЛЬСКИЙ ПОЭТ

П. В. Анненков впервые извлек из бумаг Пушкина и напечатал в своих «Материалах. . .» (1855)¹ не вполне законченное и отделанное поэтом стихотворение, начинающееся следующими стихами:

Там звезда зари взошла
Пышно роза процвела!
Это время нас, бывало,
Друг ко другу призывало.
и т. д.

С тех пор стихотворение это печатается во всех собраниях сочинений Пушкина под заголовком: «С португальского», иногда и с дополнительным обозначением, взятым с собственноручной пометы Пушкина на его рукописи (в так называемой тетради ПД № 836, л. 1): «Gonzago» <sic!>.

История возникновения этого стихотворения и дата его написания пока еще мало разъяснены. В заметке: «Пушкин и португальский поэт»² Н. О. Лернер привел полностью стихотворение на португальском языке Томаша-Антониу Гонзаги («Recordações»), послужившее Пушкину оригиналом для указанного его перевода или, точнее, пересоздания, но не сообщил никаких соображений о том, чем вызван был интерес Пушкина и к Гонзаге, и к данному его стихотворению, кроме следующего, весьма туманного предположения: «Пьеса написана Пушкиным в 20-х гг. и никак не ранее возвращения его из Одессы, где поэт легко мог встречаться с португальцами или левантинцами, говорившими по-португальски». Остается совершенно непонятным, почему стихотворение «Там звезда зари взошла» создано Пушкиным не ранее о з в р а щ е н и я из Одессы, если именно в этом городе, по предположению Н. О. Лернера, поэт «легко» мог встречаться с лицами, говорившими по-португальски, т. е. с теми, кто, оче-

¹ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина // Пушкин. Соч. СПб., 1855, т. 1.

² Рус. библиофил, 1916, № 4, с. 75—77.

видно, в состоянии был предложить свою помощь Пушкину при переводе им стихотворения с португальского на русский язык. С другой стороны, впрочем, на то, что Пушкин действительно, по-видимому, записывал свой перевод в черновую тетрадь *ч е р а н е е* 1825 г., указывают различные соображения, в частности предполагаемая датировка этой тетради в целом. Ранее Н. О. Лернера П. О. Морозов в комментариях к этому стихотворению в Сочинениях Пушкина,³ приведя несколько кратких и неточных сведений о Гонзаге, высказал предположение, что Пушкин не обращался к португальскому оригиналу: стихотворения Гонзаги, пишет он, издавались много раз и были переведены на французский язык в «Collection des chefs d'oeuvres classiques» (Paris, 1825). Этим-то переводом, по всей вероятности, и пользовался Пушкин. Никаких соображений, которые могли бы подтвердить эту догадку, П. О. Морозов, однако, не приводит, поэтому она не представлялась доньше сколько-нибудь обязательной и не исключала возможности других предположений по этому поводу. Выдвигалась, например, гипотеза о посредничестве С. А. Соболевского между португальским оригиналом стихотворения Гонзаги и переводом Пушкина; мы находим ее, по-видимому, в качестве правдоподобной и заслуживающей внимания в одноименнике Пушкина под редакцией Б. В. Томашевского,⁴ где, между прочим, интересующее нас стихотворение напечатано в разделе «неизвестные годы» (с. 462), но условно помечено также «1825 г.?» (с. 960). Однако у нас нет никаких данных о том, знаком ли был Соболевский со стихотворениями Гонзаги, в равной мере также и о том, он ли указал Пушкину стихотворение «Recordações» и помог при переводе, чего, заметим кстати, было бы все же недостаточно для того, чтобы мы могли удовлетворительно объяснить возникновение творческого замысла Пушкина. Мы знаем лишь, что Соболевский, действительно, еще в 20-е гг. интересовался португальским языком и литературой. В «Московском вестнике» (1827, ч. IV, с. 63—70), скрывшись под буквою С., он напечатал «Выписку о португальской словесности»; в этой краткой статье идет речь о португальском языке и о древнейшей истории португальской поэзии до Камоэнса включительно. О том, что Соболевский интересовался также и более поздними периодами португальской литературы, мы знаем из его собственных свидетельств, сделанных, впрочем, лишь на склоне его жизни.⁵

³ Соч. и письма А. С. Пушкина / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1903, т. 2, с. 389.

⁴ Пушкин А. С. Соч. Л., 1936, с. 898.

⁵ Принадлежность своему перу указанной статьи в «Московском вестнике» 1827 г. С. А. Соболевский раскрыл в интересной заметке, посвящей весьма курьезное заглавие, благодаря чему она не обращала на себя внимания: «О влиянии Смоленского бульвара (в Москве) на португальский парламент (в Лиссабоне)» (Рус. архив, 1868, стб. 330—334). Называя себя «давним любителем» португальского языка, Соболевский рассказывает, что в 1858 г. Da Silva начал выпускать в Лиссабоне «полный и подробный био-библиогра-

Остается указать лишь на так называемую «Запись о Гонзаге»,⁶ извлеченную из л. 66 в тетради ПД № 834. Напечатавший ее впервые В. Е. Якушкин⁷ воздержался от каких-либо ее истолкований; М. А. Цявловский предположил ее связь с именем Гонзаги. Запись Пушкина крайне лаконична: «14 Juillet 1826 Gon». «Может быть, — догадывается М. А. Цявловский, — „Gon“ означает Gonzaga (или Gonzago, как писал Пушкин), фамилию португальско-бразильского поэта, стихотворение которого («Там звезда зари взошла») перевел Пушкин».⁸ Легко видеть, что и это предположение не может быть ни принято, ни отвергнуто исследователями при полном отсутствии данных, его подтверждающих или отклоняющих.

Попробуем подойти к решению всех перечисленных выше вопросов с другой стороны. Следует отметить, что в пушкинской литературе сведения о Гонзаге даются неполно и односторонне; между тем прежде чем говорить о том, каким путем Пушкин мог узнать о бразильском поэте, следует уяснить себе, что в нем могло заинтересовать Пушкина. Более близкое знакомство с автором «Дирсевой Марии» и с историей распространения его лирики в европейской литературе может пролить некоторый свет на интересующие нас вопросы.

Томаш-Антониу Гонзага (1744—1810),⁹ известный также под своим буколическим псевдонимом Dirseo (принятым им в обществе бразильских поэтов «Заатлантической Аркадии») или «певца Марии», в ранних критических статьях о нем назывался также то «португальским Анакреоном», то «бразильским Петраркой». При его жизни Португалия и Бразилия представляли еще одно политическое целое; поэтому обе эти страны одинаково претен-

фический словарь на португальском языке — труд, замечательный по изысканиям автора и по тщательности и добросовестности». Когда в 1861 г. издание этого «*Diccionario bibliographico portuguez*» приостановилось по недостатку средств, Соболевский выразил об этом сожаление в письме к автору: «Изложив в общих словах мое мнение о важности его труда для португальцев и бразильцев, я изъявлял удивление о холодности и правительств и палат этих двух одноязычных стран к такому предприятию». I. F. da Silva показал письма Соболевского Тешейра де Вашконселуш (Teixeira de Vasconcellos), и тот напечатал выдержки из них в португальской газете «Сентябрьская революция» «*Revolução de Setembro*», 1861, № 5895 от 29 дек.), выразив надежду, что правительство соберет необходимую сумму для продолжения издания «Словаря» и тем избавит себя от стыда, вызываемого справедливыми упреками просвещенного москвитя. Действительно, через несколько месяцев нижняя палата Лиссабонского парламента обсудила этот вопрос по предложению Торреса Алмейды; необходимые средства были найдены, и через несколько лет издание было завершено; и это произошло, замечает Соболевский, «от толчка, данного этому делу со Смоленского бульвара! На западников, гордящихся исстари своим просвещением, подействовал упрек, сделанный варваром-москвитом».

⁶ Рукою Пушкина. М.; Л., 1935, с. 305.

⁷ Рус. старина, 1884, с. 353.

⁸ Рукою Пушкина, с. 305.

⁹ В «*Portuguese Literature / by Aubrey F. G. Bell*» (Oxford, 1922) дата смерти Гонзаги другая: 1807?

довали на то, чтобы считать его своим поэтом, хотя в конце концов спор этот решен был в пользу Бразилии: хотя Гонзага и родился в Португалии (в Опорто), отец его был родом из Бразилии, и большая часть его жизни прошла именно в этой стране.

Отец Гонзаги был королевским судьей в Анголе, в Cabo Verde и Pernambuco; в момент рождения сына он лишь недолгое время занимал должность ouvidor'a, советника судебного трибунала в Опорто, а затем получил новое назначение в Баию, в Бразилии, и вернулся на родину. Здесь и прошло детство Томаша. Когда Томаш пошел, отец послал его в Португалию, в Коимбрский университет, который он и окончил по факультету права в 1768 г. со степенью бакалавра. Вернувшись в Бразилию, Гонзага занимал здесь судейские должности в различных городах. В г. Villa Rica Гонзага близко сошелся с поэтом Claudio Manoel da Costa и другими литераторами и познакомился с Mario Joaquina Dorothea de Seixas, которая была воспета им под именем Марилии (Marilya). Казалось, жизнь ему улыбалась: он готовился к свадьбе, стал известным поэтом, как вдруг был раскрыт республиканский заговор, известный в истории Португалии под именем «минашской измены» (Inconfidencia das Minas), и это резко изменило его судьбу.

Минас Жерайс, или просто Минас, — одна из провинций Восточного бразильского плато, получившая свое название от сосредоточенных здесь рудников и алмазных россыпей (Minas Geraes значит «главные копи»), — была одной из богатейших и наиболее развитых в промышленном и культурном отношениях частей Бразилии. В 80-х гг. XVIII в., под сильным воздействием североамериканской революции и провозглашения независимости Соединенных Штатов, осложненным веяниями, шедшими в Бразилию из предреволюционной Франции, в Минас Жерайс возникло оппозиционное антиправительственное движение, которое можно рассматривать как один из первых шагов, приведших в конце концов Бразилию к политической самостоятельности. В центре этого движения находился кружок бразильских поэтов, известный под именем «минашской школы», являющимся, таким образом, не только территориальным, географическим обозначением, но и термином, имеющим в виду их идейную близость. Томаш Антониу Гонзага оказался в их числе. Заговор открыт был в 1789 г. Вместе с Гонзагой были арестованы и препровождены в Рио-де-Жанейро его друзья, поэты Claudio Manoel da Costa, Alvarengo Peixoto, Domingo Vidal Barbosa и др. Назначен был судебный процесс, для ведения которого присланы были в Рио из Лиссабона верховные судьи короны; среди судей был также университетский товарищ Гонзаги и один из виднейших поэтов Португалии конца XVIII в. — Antonio Diniz da Cruz e Silva (1731—1799), состоявший судьей в Рио с 1776 г. Приговор всем участникам заговора, оглашенный 18 апреля 1792 г., был суров: одиннадцать подсудимых были приговорены к смертной казни, пять — к вечному изгнанию, остальные — к ссылке на различные сроки в глухие углы колониальных владений Португалии. Правда, вскоре

приговор этот был несколько смягчен, но близкий друг Гонзаги, поэт Клаудио Мануэль да Кошта не дождался окончания суда и покончил с собою в тюрьме. Казнец был лишь один участник заговора — Silva Xavier, незначительный офицер в Вилла-Рике, обвиненный в том, что на собраниях дружеского кружка он провозглашал лозунги независимости Минас Жерайс и Бразилии. Хотя впоследствии Silva Xavier и объявлен был «первомучеником» бразильской свободы, но, конечно, не он был главным вдохновителем политических мечтаний в этом дружеском поэтическом обществе. Любопытно, например, что среди «мишашских заговорщиков» был некий Jose Alves Naciel, незадолго перед тем прибывший из революционного Парижа, встречавшийся там с Джефферсоном и воодушевленный передовыми революционными идеями. Что касается Гонзаги, то первоначально он присужден был к пожизненному изгнанию в Pedras de Angoche, хотя суд и не мог доказать иного его преступления, кроме его дружеской связи со всеми «заговорщиками» и его предполагаемого знакомства с целями и планами восстания, что, впрочем, Гонзага, отрицал. При общем смягчении приговора пожизненное изгнание заменено было ему десятилетней ссылкой в Мозамбик, португальскую колонию в Юго-Восточной Африке. Гонзага отправлен был туда в мае 1792 г. и прожил там до 1809 г. в состоянии непрерывно возрастающей психической депрессии, усугубленной также тлетворным действием тропической лихорадки; здесь в состоянии почти полного сумасшествия он и окончил свою жизнь.

Поэтическую славу Томашу Гонзаге составил сборник его стихотворений «Дирсеева Марилия», изданный уже в пору его ссылки (1800) под инициалами T. A. G. и впоследствии много раз перепечатывавшийся как в Бразилии, так и в Португалии. Уподобляясь Петрарке, он прославляет в «Lugas» свою возлюбленную Марилию, с которой его разлучила судьба. Подобно Петрарке, он также делит свой стихотворный сборник на две части: в первой сосредоточены прославления Марилии до его заключения, во второй — жалобы из темницы и воспоминания об утраченном счастье. Впрочем, это и не «петраркистские», и не «анакреонтические» стихотворения: с большим основанием исследователи подчеркивают в них народнопесенные элементы и сближают их со старогалисийскими «Serganilhas» средневековой португальской поэзии.¹⁰

Ко второй части сборника Гонзаги относится и то стихотворение, которое переведено было Пупкиным. В заключительных строфах перевода читаем:

«Девы, радости моей,
Нет! на свете нет миле i!
Кто посмеет под луною
Спорить в счастье со мною?»

¹⁰ См.: C. Michaelis de Vasconceilos und Th Braga, Gröber's Grundr. Abt., Strassburg, 1897, Bd 2, S, 365.

Не завидую царям,
Не завидую богам,
Как увижу очи томны,
Стройный стан и косы темны».

Так я пел, бывало, ей,
И красавицы моей
Сердце пснно любовалось;
Но блаженство миновалось!
Где ж красавица моя?
Одинокий плачу я —
Заменили песни нежны
Стон и слезы безнадежны.

Н. О. Лернер в указанной выше статье справедливо подчеркнул, что Пушкин «выступает здесь со своими обычными чертами вдохновенного перелagateля, подчиняющегося чужим образам и настроениям лишь постольку, поскольку они соответствуют его эстетическому вкусу и изощренному чувству меры, и сплошь да рядом превосходящего первоначального автора», но совершенно не объясняет нам, что вызвало со стороны Пушкина и допущенные им отклонения от подлинника и самый интерес его к этой «милой, наивной песке < . . . > так удавшейся нашему поэту в тоне сентиментализма».¹¹ Мы со своей стороны полагаем, что внимание Пушкина привлечено было не столько поэтическими качествами оригинала, сколько его биографической подкладкой, которую Лернер вовсе упустил из виду. Пушкина заинтересовала ситуация: осужденный, ссыльный поэт вспоминает о своей возлюбленной, с которой он насильно разлучен. Иначе трудно объяснить замысел этого перевода Пушкина в цикле его лирических стихов 20-х гг., из которых оно полностью выпадает по своему тону и стилю, если мы не предположим здесь его знакомство с биографией бразильского поэта. В последнем случае, напротив, смысл обращения Пушкина к поэзии Гонзаги становится объяснимым, так как нетрудно предположить, что необычная судьба бразильского лирика могла и у русского опального поэта вызвать аналогии и с ним самим, времен одесской ссылки, и, в особенности, с судьбой его друзей, поэтов-декабристов. Неудавшееся восстание, в которое оказалась замешанной целая плеяда поэтов, африканская ссылка одного из них (не забудем, что Пушкин в одесский период вспоминал о «небе Африки своей»), обвиненного не столько в соучастии планам «заговора», сколько в дружеской близости к участникам «конспиративного» кружка, — все это не могло не представить интереса для Пушкина в тот период, когда он напряженно думал об участии друзей-декабристов и о своих связях с ними. Лугас бразильского поэта невольно вызывали к себе внимание и, задумав перевод одного из них, Пушкин мог сказать то же, что он сказал в элегии «Андрей Шень» (1825):

¹¹ Лернер Н. О. Пушкин и португальский поэт // Рус. библиофил, 1916, № 3.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира.

Из каких же источников и когда мог Пушкин узнать биографию Гонзаги? Откуда взято переведенное им стихотворение бразильского поэта? Ссылки исследователей на «португальцев и левантинцев» объясняют в данном случае так же мало, как и указания на посредничество С. А. Соболевского. В окружении Пушкина можно было бы указать и на других людей, интересовавшихся португальским языком и словесностью; таков был, например, П. А. Катенин.

Напомним прежде всего, что политическая независимость Бразилии объявлена была актом принца-регента дона Педру 7 сентября 1822 г., но что отделение ее от Португалии подготавливалось непрерывно около двух десятилетий. Оккупация Португалии войсками Наполеона вызвала переселение в Бразилию в начале 1808 г. португальского короля Жуана VI со всем двором и многими должностными лицами. Сделавшись фактическим правителем колонии вместо метрополии, король рядом своих мероприятий (например, отменой прежних торговых привилегий Португалии или предоставлением свободы бразильским портам) усилил в Бразилии сепаратистские тенденции. В 1815 г. Бразилия возведена была в ранг королевства на равных правах с Португалией. Здесь находили свой отзвук также восстания ряда южноамериканских областей против испанского владычества. Восстание в Пернамбуко (1817), революция в Португалии (1820), восстание в Рио-де-Жанейро (1821) были последними событиями португальско-бразильской истории, способствовавшими легализации независимости Бразилии, но фактически она существовала уже и ранее. Все это вызвало значительный и непрерывно возрастающий интерес к Бразилии прежде всего в тех странах Европы, которые стремились подчинить ее рынки своему коммерческому влиянию, — в Англии и Франции. Здесь изучают историю Бразилии, интересуются ее государственными деятелями, писателями и поэтами.

В 1817 г. в Лондоне «Историю Бразилии» выпускает Роберт Соуги; он интересуется также португальским языком и португальско-бразильскими поэтами колониального периода.¹² Во Франции аналогичную роль популяризатора Бразилии играет Ф. Дени (F. Denis, 1798—1890); после своего возвращения из этой страны в 1816 г., в которой он побывал в качестве советника французского посольства, он издает в Париже свою первую книгу, написанную в сотрудничестве с Таунау, своим спутником по путешествию: «Le Brésil ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume», и это только начало его публикаций: в 1824 г.

¹² Walter F. La littérature portugaise en Angleterre à l'époque romantique. Paris, 1927, p. 100.

выходит в свет его книга: «Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie», сочувственно отмеченная в фельетоне Сент-Бева (вошел в первый том «Premiers lundis»); за нею следует «Résumé de l'histoire littéraire du Portugal et de Brésil» (Paris, 1826). Труд Ф. Дени по истории Бразилии, вышедший в Париже двумя изданиями в первой половине 20-х гг., открывается указанием на то, что среди всех государств Южной Америки, положение которых меняется со столь значительной быстротой, Бразилия является той страной, которая привлекает к себе с некоторых пор особое внимание.¹³ Все эти книги находят себе во Франции многочисленных читателей, сам Дени пользуется значительным авторитетом среди поэтов романтического лагеря.¹⁴

Литературные связи между Францией и Бразилией в начале 20-х гг. устанавливаются, вообще говоря, довольно крепкие; французский поэт Эме де-Луа в 1819 г. бежит в Бразилию, пишет здесь португальские стихи, издает газету «A Estrella Brasileira» и прививает в Бразилии вкус к французской литературе.¹⁵ С другой стороны, группа бразильских литераторов обосновывается на некоторое время в Париже и даже издает здесь впоследствии (1836) литературный журнал на португальском языке (Baldensperger F. Un romantique français au Brésil. Aimé de Loy), помещающий статьи по истории бразильской литературы.¹⁶

Посредником между бразильскими и французскими литераторами был также в 20-е гг. плодовитый журналист Eugène Garay de Monglave (псевдоним Maurice Dufresne), известный в эти годы и своей «Историей Испании» и своими — разоблаченными лишь впоследствии — подделками баскских эпических песен¹⁷ и в особенности своими переводами с португальского. Одной из ранних в этой серии была книжечка переводов из Томаша Антонио Гонзаги, снабженная биографическим очерком поэта: Marilie, chants élégiaques de Gonzaga / Trad. du portugais par E. de Monglave et P. Chalas; éd. C.-L. F. Pancoucke. Paris, 1825+in 32° XXVI+192 pp.). Мы вправе высказать предположение, что именно этим изданием воспользовался для своего перевода и Пушкин и что именно отсюда мог он узнать и основные события из жизни несчастного бразильского поэта. Этот французский перевод стихотворений Гонзаги был его первым переводом на иностранный язык: лишь много позднее появились испанский перевод того же сборника — Vedia и затем итальянский, сделанный (1860) итальянским публицистом Ruscalla (V. Vegezzi). Вслед за тем Монглав издал еще ряд

¹³ Denis F. Résumé de l'histoire du Brésil. 2-me éd. Paris, 1825 (Préface).

¹⁴ Moreau P. Ferdinand Denis et les romantiques / Revue d'Hist. Litt. de la France, 1926, 530—564; Monglond A. Sénancour / Revue de Litt. Comp., 1931, p. 85—116.

¹⁵ Baldensperger F. Un romantique français au Brésil: Aimé de Loy // Revue de Litt. Comp., 1931, p. 78—80.

¹⁶ Nazard P. De l'ancien au nouveau monde: les origines du romantisme au Brésil // Revue de Litt. Comp., 1927, p. 111—128

¹⁷ Paris G. Légendes du moyen âge. Paris, 1903, p. 33—34; Badier J. Les légendes épiques. Paris, 1912, t. 3, p. 232—235.

книг о Бразилии: «Переписку» первого короля Бразилии Педру I (1827), «героическую поэму-роман» бразильского поэта José Rota Duro «Caramuru ou la découverte de Bahta» (1829) и др. Эти издания Монглава несомненно обратили на себя внимание и в России; так, последнее вызвало целую статью в «Сыне отечества» 1829 г. под названием «Бразильская литература».¹⁸ «Благодаря стараниям г. Монглава, — говорилось здесь между прочим, — бразильские и португальские романисты составят теперь новое звено в большой цепи всеобщей литературы».

Однако в России в 20-е гг., совершенно независимо от Франции или Англии, возник и самостоятельный интерес к Бразилии. Еще в 1812 г. русским консулом в Бразилию назначен был экстраординарный петербургский академик Григорий Иванович Лангсдорф. В 1821 г. он приехал в Петербург и через год вновь уехал в Бразилию во главе ученой экспедиции, снаряженной в эту страну Александром I.¹⁹ В 20-е гг. в Бразилии побывали также многие русские морские офицеры, и некоторые из них оставили об этом и свои мемуары.²⁰ Не лишне отметить здесь также тот факт, что первым русским посланником в Бразилии, после объявления ее королевством в 1815 г., был П. Ф. Балк-Полев (1777—1849), впоследствии близкий приятель Жуковского, И. И. Козлова, Булгаковых, Вяземского, гр. Лаваль и несомненно знакомый и Пушкину. Одно из неизданных писем Балк-Полева к И. И. Козлову, хранящихся в Пушкинском Доме в Ленинграде, от 17 июля 1838 г., содержит упоминание о начатых Балк-Полевым записках о его многолетних странствованиях («Souvenirs sur 17 années de voyage»), с эпиграфом: *miltorum hominum vidit et urbes*. Вероятно, в этих записках, местонахождение коих нам неизвестно, шла речь и о Бразилии. Возможно, что их знал или слышал устные рассказы их автора И. И. Козлов, так как в своем послании «К П. Ф. Балк-Полеву» (конец 30-х гг.?) он адресовал к нему следующие стихи:

Еще люблю мечтать, как, путь оконча трудный,
Пленился ты красой Бразильи изумрудной,
Где вечной радугой играет свод небес,
И блеском дивных птиц пестреет темный лес,
Огнистый ананас в открытом поле рдеет
И пальма над волной, как радость зеленеет:
Из дерева ее корабль сооружен,
Из листьев паруса, и в путь он нагружен
Ее же сладкими, душистыми плодами. . .

Эти стихи могли бы считаться первым русским поэтическим отголоском тех рассказов о Бразилии, которые распространялись

¹⁸ Сын отеч., 1829, т. 5, ч. 127, отд. 13, с. 248—252.

¹⁹ Ш п р и н ц и Н. Г. Экспедиция акад. Г. И. Лангсдорфа в Бразилию в первой четверти XIX в. // Сов. этногр., 1936, № 1, с. 108 и след.

²⁰ См.: З а в а л и ш и Н. Пребывание в Рпо де Жанейро: Из путевых записок морского офицера 1826 и 1827 гг. // Сын отеч., 1829, т. 3, отд. 3, с. 281—293; о литературе в Бразилии здесь, однако, нет никаких упоминаний.

в русском обществе начиная с 20-х гг., усиленные, вероятно, интересом к этому молодому конституционному государству со стороны будущих декабристов, пристально следивших за политической трансформацией стран Южной Америки. Но стихам Козлова на много лет предшествует перевод из Гонзаги, сделанный Пушкиным; это было еще более раннее и, вероятно, первое в русской поэзии проявление интереса к той же заатлантической стране, возможный отклик поэта на те же рассказы и споры, опиравшийся скорее всего на французские книги или журнальные статьи. Если, как мы предполагаем, стихотворение Гонзаги и его биография стали известны Пушкину из книжечки Монглава, то стихотворение «Там звезда зари взошла» не может относиться ранее чем к 1825 г. Исходя из другого нашего предположения, что судьба Гонзаги напомнила Пушкину участь декабристов и вызвала его перевод, мы должны будем отнести его к еще более позднему времени — к 1826 или 1827 г.

* *
*

Небольшое стихотворение Пушкина «Там звезда зари взошла», являющееся переводом одной из «лир» Томаша Антонио Гонзаги, привлекло к себе новое внимание исследователей в связи с интересом к творчеству этого знаменитого бразильского поэта, возникшим в советской печати. Небольшой очерк о переводе Пушкина из Гонзаги напечатал В. В. Владимиров «С португальского».¹ В 1964 г., в связи с 220-летием со дня рождения Гонзаги, появилась статья И. А. Тыняновой «Сердце мое необъятнее мира!»,² а вслед за тем в серии «Библиотека латиноамериканской поэзии» появилась книга: Т. А. Гонзага. Лирь; Чилийские письма / Пер. с порт. И. Тыняновой.³ Книге предпослано предисловие переводчицы («Звезда зари», с. 3—24), в котором снова довольно подробно говорится о стихотворении Пушкина «Там зари звезды взошла» (с. 17—24). И. А. Тынянова возражает здесь тем исследователям, которые предполагали, что Пушкин переводил «лиру 9» второй части сборника Гонзаги (или LXXI по критическому изданию) не с оригинала, а с французского перевода, и выдвигает новую догадку, что в руках Пушкина был подлинный португальский текст этого стихотворения. По мнению И. Тыняновой, в те годы, когда Пушкин написал «Там звезда зари взошла», «не только уже появилась известная французская книга переводов из Гонзаги Э. Монглава, но и вышел ряд изданий в оригинале, выпущенных не в далекой Бразилии, а в столице Португалии Лиссабоне, городе больших европейских связей. После провозглашения независимости Бразилии в 1822 г. лиссабонские издания следовали одно

¹ Неделя, 1961, № 9, с. 18—19; воспроизведен в книге того же автора: Путешествие в далекое и близкое. М., 1963, с. 36—41.

² Иностр. лит., 1964, № 8, с. 251—252.

³ Худож. лит. М., 1964. 171 с.

За другим: португальцы стремились „отнять“ знаменитого поэта у бывшей колонии,⁴ объявив его своим на том основании, что он родился в Порто. Может быть, кто-либо из близких Пушкину людей, интересовавшихся португальской словесностью, был знаком с каким-либо из этих изданий? К тому же трудно предположить, что перевод с французского совсем без привлечения оригинала был обозначен Пушкиным, так строго относившимся к малейшему оттенку значения слов, не как подражание португальскому или пьеса из Гонзаги, а именно с указанием языка, с которого стихотворение переведено: „с португальского“. С другой стороны, И. А. Тынянова, сличив перевод Пушкина и оригинал Гонзаги, пришла к заключению, что «при ряде чисто текстуальных отклонений стихотворение по духу своему, характеру стиля, лексической окраски, интонации представляет собою глубокое раскрытие произведения Гонзаги». «Лири Гонзаги — это пространное, написанное в идиллическом тоне аркадской школы воспоминание о былом счастье вблизи Марилии. Сократив ее, Пушкин не просто опустил шесть строф, а перенес отдельные их образы и сюжетные мотивы в переведенные строфы, не потеряв, таким образом, ничего из образной системы, содержания и духовного строя лиры Гонзаги». Наблюдения, сделанные И. А. Тыняновой над португальским оригиналом и пушкинским переводом «лиры» Гонзаги, интересны, но все же не окончательно решают вопрос о тексте стихотворения, бывшем в руках Пушкина. Отметим в связи с этим, что современные бразильские слависты по-прежнему придерживаются той точки зрения, что оригиналом для Пушкина послужил французский прозаический перевод этой «лиры», помещенный в издании: *Marilie, chants éle'giques de Gonzaga/Trad. du portugais par E. de Monglave et P. Chalas; éd. C.-L. Pancoucke. Paris, 1825.* Об этом появилась статья преподавателя философского факультета в университете г. Сан-Паулу (в Бразилии) Б. Шнайдермана под заглавием «Pushkin, tradutor de Gonzaga» в газете «O Estado de São Paulo», 1962, 16 июня.





ЭПИГРАФ ИЗ Э. БЁРКА В «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»

В авторских рукописях первой главы «Евгения Онегина», как известно, было несколько эпиграфов. Впоследствии все они были отброшены Пушкиным, кроме одного («Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil. . .»), заменившего все остальные и оставшегося перед текстом первой главы, вышедшей в Петербурге отдельным изданием около 20 февраля 1825 г.¹ Вопросы о том, почему эти эпиграфы подбирались поэтом, чередовались друг с другом, а затем постепенно исключались из текста его «романа в стихах», почти не привлекали к себе внимания исследователей. Об этом следует пожалеть, так как мы хорошо знаем, какую важную роль играли эпиграфы в творчестве Пушкина во все периоды его жизни и деятельности. Как род цитаты, заимствованной из чужого литературного произведения и долженствующей подготовить читателя к правильному восприятию или пониманию того текста, которому он предпослан, эпиграф стал для Пушкина одним из любимых приемов творческой комбинаторики: он применял его «как к целому произведению, так и к его частям < . . . > в лирике < . . . > в поэме < . . . > в драме < . . . > в статьях < . . . >, во всей художественной прозе, даже в личных письмах».² Говоря вообще, поэтика эпиграфа у Пушкина как тончайшего искусства словесного сопоставления, выбора и применения чужих слов для лучшего уразумения или особой рекомендации читателям собственного авторского текста, эпиграфа, порою сходного

¹ С и н я в с к и й Н., Ц я в л о в с к и й М. Пушкин в печати 1814—1837. М., 1938, с. 28 (№ 117—119); С м и р н о в - С о к о л ь с к и й И. Первая глава «Евгения Онегина» // Смирнов-Сокольский И. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 95—112.

² См.: Путеводитель по Пушкину. М., 1931, с. 389—390. (Прилож. к журн. «Красная нива»). В этой статье дается первая сводка данных об эпиграфах у Пушкина. Напомним определение эпиграфа, содержащееся в известном справочнике того времени: «**Э п и г р а ф**: Одно слово или изречение, в прозе или в стихах, взятое из какого-либо известного писателя или свое собственное, которое помещают авторы в начале своих сочинений и тем дают понятие о предмете оных» (Словарь древней и новой поэзии / Сост. Н. Остоповым. СПб., 1821, ч. 1, с. 398).

со своего рода введением в тональность в музыкальном произведении, с инструментальной прелюдией, предпосланной вокальному тексту, давно заслуживает специального систематического изучения во всех многообразных функциях, какие эпиграф выполняет в его творчестве.

В 20-е гг. Пушкин с особым вниманием и тщательностью относился к выбору эпиграфов к своим произведениям, заботливо взвешивал каждое чужое слово и соответствие его тем целям, ради которых он привлекал его к служению собственным созданиям. Можно напомнить здесь хотя бы историю эпиграфа к «Кавказскому пленнику», взятого из послания П. А. Вяземского к графу Ф. И. Толстому — Американцу — и в конце концов исключенного из текста поэмы на том основании, что он мог дать повод к превратному восприятию как героя поэмы, так и живого человека, к которому обращены были цитированные Пушкиным стихи Вяземского. Об этом Пушкин писал самому Вяземскому из Одессы (14 октября 1823 г.), спрашивая его, знает ли он этот эпиграф: «Понимаешь, почему не оставил его? Но за твои четыре стиха я бы отдал три четверти своей поэмы» (XIII, 70). Характерно, что в этом же письме Пушкин уверял своего корреспондента: «Бахчисарайский фонтан, между нами, дрянь, но эпиграф его прелесть». Очевидно, в ту пору (приблизительно к тому же времени относится выбор эпиграфов к первой главе «Евгения Онегина», о чем пойдет речь ниже) эпиграфы составляли для Пушкина важную веху в творческой истории каждого из его произведений, оказывая воздействие и на идейный их смысл, и на присвоенное им заглавие. Это явствует, в частности, из того, что шесть лет спустя, отвечая одному из критиков «Полтавы», Пушкин утверждал, что одной из причин, побудивших его остановиться именно на этом заглавии поэмы, а не назвать ее «Мазепой», был избранный к ней эпиграф. «Так и „Бахчисарайский фонтан“, — добавлял Пушкин в этой заметке, — в рукописи назван был „Харемом“, но меланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнил меня» (XI, 165).

Эпиграфы, подбирившиеся к «Евгению Онегину» с того времени, как закончена была первая глава, изучались исследователями мало и неравномерно, в особенности исключенные поэтом, а между тем даже хронология их находки и изъятия представляет очевидный и немаловажный интерес для творческой истории этого произведения. Сравнительно малое внимание обращала на себя первая автографическая белая рукопись «Евгения Онегина», со многими поправками поэта, о которой первые данные появились в печати еще в 1887 г. За три года перед тем эта рукопись была приобретена имп. Публичной библиотекой в Петербурге от сына В. А. Жуковского Петра Васильевича. Первое краткое описание ее появилось в «Отчете» Библиотеки за 1884 г.³

³ Отчет имп. Публ. б-ки за 1884 г. СПб., 1887, с. 130—131.

Легенія Онегина

Nothing is such an enemy to accuracy
of judgment as a coarse discrimination.
Burke.

одесса

МДСССХХІІІ.

Страница рукописи «Евгения Онегина» с эпиграфом из Бёрка.

На первом листе интересующей нас небольшой тетрадки (в малую 8°) написан следующий общий эпиграф романа:

Собрание пламенных замет
Богатой жизни юных лет
Баратынский.

Лист 2-й этой тетрадки наводит на мысль, что в момент его заполнения Пушкин думал уже о возможности отдельного издания первой главы «Евгения Онегина», к тому времени в рукописи уже законченной. На указанном листе этого белового автографа Пушкин изобразил предполагаемый титульный лист будущей книжки. Наверху страницы крупными буквами написано заглавие «Евгений Онегин»; ниже следует отделенный двумя чертами английский автограф: «Nothing is such an ennemy <sic!> to accuracy of judgement as a coarse discrimination. *Burke*». Внизу помечено: «Одесса. MDCCCXIII» (VI, 543). На обороте л. 2 выписаны другие возможные эпиграфы 1) «По жизни так скользит горячность молодая. П. Вяземский»; 2) «Pas entièrement exempt de vanité il avait encore. . .», т. е. тот французский эпиграф, который остался в издании первой главы 1825 г., но в несколько отличающейся от известного текста редакции.⁴

Эпиграф из Э. Бёрка воспроизводился в печати несколько раз в описаниях указанной рукописи, в которую он занесен впервые, но обычно с допущенной Пушкиным ошибкой в английском слове «ennemy» (вместо «enemy»), публикаторами особо не оговоренной; в русском переводе он гласит: «Ничто не является таким врагом (т. е. «Ничто так не препятствует») точности суждения, как недостаточное различие».⁵ Начальные строфы «Евгения Онегина» написаны были Пушкиным в конце мая 1823 г. («28 мая ночью»), т. е. еще в Кишиневе; в первых числах августа того же года поэт переселился окончательно в Одессу, где он продолжал создавать дальнейшие строфы своего романа; между 23 октября и 3 ноября 1823 г. Пушкин производил подсчеты стихов в семнадцати и в восемнадцати строфах «Онегина», быть может обдумывая уже возможное отдельное их издание.⁶ Отсюда заключают, что как приведенный выше проект титульного листа такого издания первой главы, так и вся указанная тетрадка писаны были Пушкиным «после 22 октября 1823 г.»⁷ В черновом письме к А. А. Бестужеву (от 8 февраля 1824 г.) Пушкин, говоря о различных печатающихся изданиях и имея в виду «Евгения Онегина», сообщал: «Об моей

⁴ Оригинал хранится ныне в ИРЛИ (шифр: ф. 244, оп. 1, № 930, л. 2).

⁵ См.: Модзалевский Л. Б. Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде. Л., 1929, с. 9; Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 г. М.; Л., 1964, с. 23, № 930.

⁶ Цявловский М. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М.; Л., 1951, т. 1, с. 384, 398, 412; см. также: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935, с. 298.

⁷ Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, с. 23.

поэме нечего и думать — если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге» (XIII, 88). Из этих слов явствует, что еще в то время поэт не исключал возможности опубликовать ее в другом месте, например в Одессе, где, как он думал, цензура могла отнестись к ней не столь строго, как в столицах.⁸ Такое издание, однако, тогда не состоялось.

Сохранилась еще одна перебеленная рукопись первой главы «Онегина», относящаяся к 1824 г., — по-видимому, та, которую Лев Сергеевич Пушкин отвез по поручению брата в Петербург для напечатания. Из этой рукописи исчезли все прежние эпиграфы, кроме одного на французском языке, «извлеченного из частного письма», с поправкой сравнительно с той его редакцией, которая находилась в предшествующей беловой рукописи 1823 г.; не воспроизводились эти эпиграфы и во всех последующих изданиях романа.

Издатели и комментаторы «Евгения Онегина» не обратили внимания на эти эпиграфы. Лишь С. М. Громбах в специальной статье, им посвященной, попытался разобраться в их путаной истории и хронологии, справедливо полагая, что смена эпиграфов «в значительной мере определяется развитием самого романа и отношением Пушкина к нему».⁹ С. М. Громбах проанализировал каждый из них в отдельности, чтобы выяснить, зачем и откуда выписывались эпиграфы поэтом, и определить, какую функцию они должны были выполнить в применении их к стихотворному тексту Пушкина.

Менее удалось С. М. Громбаху ответить на эти вопросы по отношению к эпиграфу из Бёрка. Отметим прежде всего, что источник этого эпиграфа остался ему неизвестен. «Афоризм этот, — пишет он в своей статье — у Бёрка не обнаружен. Но по духу и смыслу он напоминает некоторые его рассуждения в „A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of Sublime and Beautiful“ (The Works of Edmund Burke in 9 volumes. Boston, 1839, vol. I, p. 70—71)».¹⁰ На самом деле указания на то, в каком сочинении Бёрка находится эта фраза, были уже сделаны несколько раз, задолго до того, как была напечатана статья С. М. Громбаха. Зарубежные исследователи указывают на сочинение Э. Бёрка «Мысли и подробности о скудости» (Thoughts and Details on Scarcity. Originally presented to the Right Honorable William Pitt in the month of November, 1795). Это записка, поданная Бёрком

⁸ Еще 13 июня 1824 г. Пушкин писал брату из Одессы о надеждах, которые возбудило в нем назначение в Петербурге нового министра просвещения (А. С. Шишкова): «С переменной министерства ожидаю и перемены цензуры <...> Попытаюсь толкнуться ко вратам цензуры с первой главой или песней Онегина. Авось пролезем» (XIII, 97).

⁹ Г р о м б а х С. М. Об эпиграфе к «Евгению Онегину» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1969, т. 28, вып. 3, с. 211—219.

¹⁰ Там же, с. 217. Как «невскрытую цитату» из Бёрка определяет этот эпиграф также Справочный том академического Полн. собр. соч. Пушкина (Л., 1959, с. 109).

в 1795 г. тогдашнему премьер-министру Великобритании Вильяму Питту. Она представляет собою целый трактат о состоянии сельского хозяйства в критические для Англии годы борьбы с революционной Францией; записка неоднократно издавалась и входит во все полные собрания сочинений Э. Бёрка.¹¹

«От внимания пушкинистов ускользнуло, — писал Ю. Семенов в 1960 г. в сборнике, изданном Упсальским университетом, — что из этой записки был Пушкиным взят первоначальный эпиграф к „Евгению Онегину“, впоследствии замененный другим».¹² Несколько лет спустя (1964) В. Набоков, в комментарии к своему английскому переводу, уделивший несколько интересных страниц эпиграфам к пушкинскому роману, в том числе и опущенным (см. раздел «Dropped epigraphs» во втором томе комментария), коснулся здесь также и интересующего нас эпиграфа из Бёрка. Отметив, что в библиотеке Пушкина сохранился знаменитый трактат Бёрка «Размышления о революции во Франции» (1790) в анонимном французском переводе 1823 г.,¹³ В. Набоков предупредил, что в этой книге напрасно было бы искать слова, превращенные Пушкиным в эпиграф, и что источник этой цитаты следует искать в другом сочинении Бёрка. «Я нашел ее, — продолжал В. Набоков, — в записке Бёрка „Мысли и подробности о скудости“».¹⁴

Ю. Семенов в вышеуказанной статье отметил попутно, что записку Бёрка «Мысли и подробности о скудости» хорошо знал К. Маркс и что он цитировал ее в своем «Капитале», впрочем весьма отрицательно отзываясь о ее авторе (этом, по его словам, «известном софисте и сикофанте»)¹⁵ Нам важно подчеркнуть, что эта записка имеет весьма специальный характер и весьма далека от философских или эстетических трактатов Бёрка, в которых тщетно искали слова, взятые Пушкиным для эпиграфа. Бёрк размышляет в записке об ухудшающемся положении английских фермеров, говорит о «labouring poor» (неимущих работниках), утверждая, что «те, кто работает, действительно кормят и пенсионеров < . . . »

¹¹ В собраниях сочинений Э. Бёрка записка печаталась (с 1830 г.) среди его политических писем.

¹² Semionov J. Похвала праздности. Опыт историко-социологической интерпретации некоторых текстов Пушкина // *Studia Slavica Gunnaro Gunnarson sexagenario dedicata*. Uppsala, 1960 (*Acta Universitatis Upsalien-sis*), p. 105.

¹³ Burke E. *Réflexion sur la Révolution de France. . . Nouvelle édition corrigée et revue avec soin par J. A. A. **** Paris, 1823; см. также: М о д а л а в е с к и й Б. Л. Библиотека Пушкина // *Пушкин и его современники*. СПб., 1910, вып. 9—10, с. 180, № 690. Ранее оба указанных факта (наличие в библиотеке Пушкина «Размышлений» Бёрка в издании 1823 г. и эпиграфа из Бёрка в одесской рукописи «Евгения Онегина» того же 1823 г.) были сближены Л. П. Гроссманом (см.: *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*. М.; Л., 1941, вып. 6, с. 417, примеч. 1), впрочем, без всяких выводов.

¹⁴ *Eugen Oegin: A novel in verse by Alexander Pushkin / Trans. from Rus., with a comm., by Vl. Nabokov*. New York, 1964, vol. 2, p. 8.

¹⁵ Маркс К. *Капитал*. Критика политической экономии, т. 1 // *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 23, с. 334. Маркс приводит цитаты из «Thoughts and Details. . .» Бёрка (по отд. лонд. изд. 1800 г.) в главах VI, XVIII и XXIV своего труда.

называемых богатствами, и самих себя», что «из всех орудий фермерского производства труд есть такое, от которого фермер больше всего может ожидать возвращения капитала. Другие два, капитал в рабочем скоте и < . . . > телеги, плуги, лопаты и т. д., — ничего не значат без соединения с известным количеством первого» и т. д. Э. Бёрк рассказывает здесь также и о своем собственном практическом опыте в качестве фермера и делает отсюда довольно сомнительные обобщения. В частности, Бёрк говорит в своем сочинении следующее: «Если цена на хлеб не компенсирует цену труда < . . . > можно опасаться настоящего разорения сельского хозяйства. Ничто не враждебно так точности суждения, как недостаточное различие, отсутствие подобной классификации и распределения, какое допускает этот предмет» и т. д.¹⁶

Естественно возникает вопрос, как подчеркнутые в этой выдержке слова, вынутые из контекста сельскохозяйственных и экономических соображений, попали к Пушкину и превратились в избранный им эпиграф? Задаваясь этим вопросом в своем комментарии к «Евгению Онегину», В. Набоков писал, что он не может представить себе Пушкина в Одессе — не обладавшего достаточным знанием английского языка и бывшего столь же безразличным к сельскохозяйственным вредителям Англии, как и к саранче в Южной России, — читающим «Мысли» Бёрка, в которых между прочим идет речь о произрастании репы и гороха на принадлежавших ему полях и огородах. Поэтому комментатор предполагает, что Пушкин взял вышеуказанные слова не из сочинения Бёрка, а из какой-либо книги цитат, и воспользовался ими для своих целей.¹⁷ Такое предположение правдоподобно, но оно все же не разрешает все недоуменные вопросы, связанные с интересующим нас текстом эпиграфа и возникающие у исследователей Пушкина.

В самом деле: знание английского языка требовалось и для того, чтобы заметить и выбрать цитату, заинтересовавшую поэта в любой книге, в том числе и хрестоматийного характера, или журнале. Отметим также, что хотя эпиграф и приведен Пушкиным в английском тексте, но с характерной ошибкой в слове «епету» (у Пушкина — с удвоенным первой согласной), выдающей тяготение поэта к французскому языку. Произошла ли допущенная ошибка при списывании цитаты из печатного источника или во время записи при устном ее произнесении собеседником, мы решить не беремся. Однако уже в то время существовали книги выдержек из сочинений Бёрка хрестоматийного характера, появившиеся вскоре после его смерти, вроде двухтомного труда Уилсона «Красоты Бёрка»,¹⁸ с подборкой сентенций или удачных выражений, взятых из его памфлетов и ораторских речей, или избранных от-

¹⁶ Цит. по изд.: В и л к е E. Works. London, 1855, vol. 5, p. 90—91 (вся записка напечатана в этом томе — с. 83—109).

¹⁷ Eugen Onegin. . . /Trad. by V. Nabokov, vol. 2, p. 8.

¹⁸ W i l s o n C. H. The Beauties of the Late Rt. Hon. Edmund Burke. 1798, 2 vols.

рывков с пояснениями, каковы, например, более поздние «Selections and Extracts» из Бёрка (с прибавлением эссе другого английского писателя — У. Хэзлитта, писателя и критика, весьма интересовавшего Пушкина в более поздние годы).¹⁹ Это вполне допускало возможность извлечения интересующей нас цитаты не прямо со страницы «Thoughts and Details», а из любого, нам пока неизвестного, посредствующего источника.

Обратим внимание также на то, что все это происходило в одесский период жизни Пушкина, когда он много читал и даже начал собирать собственную библиотеку, жалуясь при этом на недостаток в Одессе русских книг.²⁰ Помимо того, он широко пользовался тогда частными библиотеками своих знакомых; важнейшей из них было богатейшее собрание Воронцовых, в котором объединилось несколько примечательных семейных библиотек. О том, что Пушкин пользовался не только книжными, но и рукописными фондами этой библиотеки, мы знаем из ряда свидетельств.²¹ Уже отмечено было в печати, что здесь находилась книга Бёрка «Reflections on the French Revolution» в лондонском издании 1791 г.;²² последнее представляется вполне естественным: отец М. С. Воронцова, Семен Романович, долголетний русский посол в Лондоне, был лично знаком с Бёрком, о чем сам Бёрк упоминает в своем известном письме к Екатерине II (от 1 ноября 1791 г.), в котором он высказывает свое восхищение действиями русской императрицы в защиту французского трона от революционной Франции.²³ Может быть, тщательный просмотр английских книг одесской библиотеки Воронцовых позволит в конце концов установить искомым источник цитаты из «Мыслей и подробностей» Э. Бёрка. Стоит, кстати, отметить, что именно в первой главе «Евгения Онегина», которая, по словам самого Пушкина, «заключает в себе описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года» (предисловие к изданию 1825 г.), довольно явственно отразились интересы Пушкина к вопросам политической экономии — мы находим здесь упоминание об Адаме Смите (строфа VII) и знаменитые строки, посвященные англо-русской торговле (строфа XXIII):

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный

¹⁹ Ряд подобных изданий перечислен в «The Cambridge Bibliography of English Literature» (1941, vol. 2, p. 632—634), а также в кн.: Н о w e P. P. The Life of W. Hazlitt. London, 1947.

²⁰ Пушкин писал П. А. Вяземскому 4 ноября 1823 г.: «Одесса город европейской — вот почему русских книг здесь не водится» (XIII, 74).

²¹ См.: Пушкин и библиотека Воронцова // Пушкин: Статьи и матер. Одесса, 1926, вып. 2, с. 92—98. В октябре 1823—феврале 1824 г. Пушкин в библиотеке Воронцова между прочим читал переписку А. Н. Радищева с А. Р. Воронцовым, замечания Екатерины II (в копии) к «Путешествию» Радищева, «Записки» Екатерины II; см.: Ц я в л о в с к и й М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1, с. 413.

²² Г р о с с м а н Л. Кто был «умный афей»? // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, т. 6, с. 417.

²³ В u r k e E. Works, vol. 5, p. 434.

В эту пору и в русской печати намечался интерес к политической экономии.²⁴ Интересующая нас цитата могла быть приведена в английском оригинале и в русской статье; имя Бёрка упоминалось у нас в журналах 1816 г.²⁵

Не забудем также, что этот источник мог быть в руках англичан — собеседников Пушкина в Одессе. Среди них особое место занимает врач Воронцовых, Уильям Гутчинсон — по аттестации Пушкина, «единственный умный афей», которого он встретил и у которого он брал «уроки чистого афеизма». Гутчинсон не был чужд и литературной деятельности: двумя изданиями он выпустил в Лондоне (в 1820 и 1821 гг.) рассуждение о детоубийстве, посвященное им Джеймсу Макинтошу, историку, публицисту и государственному деятелю — знаменитому, в частности, тем, что он был автором памфлета, переведенного на французский язык, «Апология французской революции», направленного против реакционных идей трактата Бёрка.²⁶ Гутчинсон был не единственным англичанином, с которым Пушкин мог беседовать о Бёрке в Одессе. В начале июля 1824 г. сюда приехал молодой граф М. Д. Бутурлин вместе со своим весьма образованным гувернером — Слоаном. М. Д. Бутурлин рассказывает в своих «Записках», что он быстро познакомился с Пушкиным, приходившимся ему «дальним родственником»: «Мы с первого дня знакомства стали звать друг друга „mon cousin“; однажды Пушкин при встрече со мной сказал: Мой Онегин (он только что начал его тогда писать) это ты, „mon cousin“».²⁷

Остается выяснить, с какой целью Пушкин остановился на словах Бёрка и выписал их в качестве эпиграфа на титульный лист задуманного им издания первой главы «Евгения Онегина», — после предшествующего лирического эпиграфа (на первом листе тетрадки), заимствованного из поэмы Е. Баратынского «Пиры».²⁸ Отвечая на этот вопрос, С. М. Громбах в указанной выше статье высказывал предположение, что Пушкин цитировал Бёрка для того, чтобы заставить читателя противопоставить автора его ге-

²⁴ К о в а л е в В. П. О движении экономической мысли в русской периодике конца XVIII—первой половины XIX в. // Вестн. ЛГУ, 1974, № 4 (Ист., яз., лит., вып. 3); Б о б о р ы к и н А. Д. Социально-экономические вопросы в журнале «Невский зритель» // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1957 (каф. полит. экон., т. 27), с. 123—182.

²⁵ См.: Краткое обозрение писем из Лондона // Рус. инвалид, 1816, № 171, с. 670 (заметка В. И. Козлова о Ричарде Парлисе, имевшем «жаркие прения с Бурком»).

²⁶ Г р о с с м а н Л. Кто был «умный афей?», с. 414—419; ср.: S t r u v e G. Marginalia Pushkiniana // Modern Language Notes, 1950, N 5, p. 300—305.

²⁷ Словарь одесских знакомых Пушкина // Пушкин: Статьи и матер. Одесса, 1927, вып. 3, с. 28.

²⁸ Б а р а т ы н с к и й Е. А. Полн. собр. стихотв. Л., 1957 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 226. Как известно, Пушкин хотел впоследствии эти стихи предпослать в качестве эпиграфа 4-й главе «Олегина».

рою. «Нужно было, — пишет исследователь, — всеми способами, в том числе и эпитафией, подчеркнуть не столько автобиографическую линию, сколько линию отграничения автора и его героя. . .». Недаром Пушкин, превращая Онегина в друга автора («С ним подружился я в то время. . .»), был «рад заметить разность» между собой и Онегиным и демонстративно подчеркивал:

Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

(VI, 28—29)

Готовя к печати первую главу «Онегина», Пушкин хотел приложить к ней рисунок, изображающий Онегина и его самого на фоне петербургского пейзажа (иллюстрация к строфе XLVIII), эскиз которого он набросал сам. Поэтому слова эпитафии «Ничто не враждебно так точности суждения, как недостаточное различие» — полемика с будущими критиками первой главы: «В данном случае — различие автора и его героя. Это явный комментарий к стихам LVI строфы:

Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет. . .»²⁹

Предположение, что эпитафия из Бёрка по расчетам Пушкина должен был служить своего рода сигналом или предупреждением для читателей первой главы «Евгения Онегина», как им следует воспринимать взаимоотношения между «образом автора» в романе и его главным героем, безусловно справедливо. Однако оно не ново в пушкиноведческой литературе. Ранее приблизительно то же самое утверждал В. Набоков в своем комментарии, ссылаясь, в частности, на ту же LVI строфу и напоминая, кстати, вероятно известные Пушкину, факты о том, как Байрон относился к отождествлению его с героями его поэм, к чему постоянно прибегали английские критики и читатели.³⁰ Характерно, однако, что умножившиеся в последнее время исследователи первой главы «Евгения Онегина», на разные лады толковавшие роль «образа автора» в этом произведении и обращения Пушкина к читателям, вовсе не учитывали исключенный в рукописи эпитафия, хотя он, как указано выше, был обнародован впервые еще в 1887 г.³¹ Это

²⁹ Г р о м б а ч С. М. Об эпитафии к «Евгению Онегину», с. 216—217.

³⁰ Eugen Oegin. . . / Trad. by V. Nabokov, vol. 2, p. 8.

³¹ См., например: С е м е н к о И. М. О роли образа автора в «Евгении Онегине» // Тр. Лен. библиотечного института им. Н. К. Крупской. Л., 1957, т. 2, с. 127—146; В и н о г р а д о в В. В. Стиль и композиция первой главы «Евгения Онегина» // Рус. яз. в школе, 1966, № 4, с. 3—21; П' i e l s c h e r К.

лишний раз свидетельствует, как недостаточно еще изучены эпитафии к «Евгению Онегину», да и к прочим произведениям Пушкина вообще.³²

A. S. Puškin's Verseepik: Autoren Ich und Erzähl-strukturen. München, 1966 (Slawische Beiträge, Bd 22), S. 24—26; Макаров А. Противоречий очень много. . . // Вопр. лит., 1968, № 9, с. 184; Степанов Л. А. Автор и читатель в романе «Евгений Онегин» // Пушкинские чтения на Верхневолжье. Калинин, 1974, 2, сб. 2, с. 43—59 (здесь подробно указана предшествующая литература вопроса).

³² Укажем попутно, что правильное истолкование эпитафии ко второй главе «Евгения Онегина» («O rus. Ног.; O Русь!») долгое время затруднено было из-за неясности, откуда он попал к Пушкину. Еще в 1824 г. в авторской рукописи этой главы латинская часть эпитафии сопровождается была ссылкой на Горация как на источник цитации, но этим объяснялось не все; комментаторы Пушкина быстро уточнили, что Пушкин взял усеченный стих из 6-й сатиры II книги Горация и что весь стих читается так: «O rus, quando ego te aspiciam?» (Sat. II, 6, 60), т. е. «O деревня, когда я увижу тебя?». Оставалось, однако, неизвестным, самому ли поэту принадлежит каламбурное сопоставление латинского вопроса-восклицания и русского, или оно уже делалось до него. Предполагая, что сближение сходно звучащих предложений — латинского и русского — принадлежит Пушкину, Е. П. Карнович положил каламбурный эпитафию в основу своего публицистического очерка («Один из вымыслов нашей истории»), где писал, что Пушкин «с идиллическим восклицанием Горация сопоставил свое шутовское восклицание, обозвав таким образом наше отечество просто-напросто „деревней“, „деревенщиною“, которую, впрочем, он на этот раз поэтически восхищался» (см.: ХХV (1859—1884): Сб., изд. Комитетом О-ва для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 537). Указанный стих Горация в краткой и полной форме неоднократно цитировался у писателей польских (см.: Cz a p i ń s k y L. Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich używanych przez pisarzy polskich. Warszawa, 1892, str. 361), русских (см.: Б а б к и н А. М., Ш е н д е ц о в В. В. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. М.; Л., 1966, кн. 2, с. 970) и французских. Эпитафия «O rus» с ошибочной ссылкой на Вергилия вместо Горация встретился мне в 10-й оде поэтического сборника В. Гюго «Odes et ballades». Несколько раз указывали на цитирование этого стиха в дневнике Стендаля, но уже в той каламбурной форме, какую мы встречаем у Пушкина. Стендаль писал в 1837 г., что когда в 1799 г. Суворов был в Швейцарии, аристократическая партия ожидала его в Гренобле, восклицая: «O Rus, quando te aspiciam»; тот же эпитафию Стендаль избрал для главы 31 своего романа «Красное и черное» (1831). См. ком. В. Набокова (Eugen Onegin. . . / Trad. by V. Nabokov, vol. 2, p. 217); ранее об этом писал В. Я. Брюсов в «Marginalia — Ruschkiniana» (Рус. архив, 1916, № 4, с. 398—399). Еще в 1903 г. И. А. Шляпкин в своей книге «Из неизданных бумаг Пушкина» (СПб., 1903, с. 5—6), цитируя строки из «Альбома Онегина» в 7-й главе: «. . . и эпитагмы площадные, из Vièvtian'ы занятые», указал, что под «Бьеврианой» имеется в виду книга маркиза де Бьевра (1747—1789) «Альманах каламбуров» (1771), впоследствии не раз выходявшая в свет под заглавием «Bièvtiana ou jeu de mots de M. de Vièvre» (см., например, 3-е изд. — Paris, an IX). Из этого издания И. Шляпкин приводит следующую цитату: «Когда в VII году от начала революции говорили о приходе русских в Париж, один из их друзей выразил свое желание с помощью стиха из Горация O Rus (O Russes), quando ego te aspiciam» (p. 204). «Это — вероятный источник эпитафии Евгения Онегина», — прибавляет И. А. Шляпкин. Добавим от себя, что «Альманах каламбуров» де Бьевра в свою очередь был источником вышеприведенной цитаты у Стендаля. Как это ни странно (чтобы не сказать печально), но этот бесспорный источник указывался в литературе о Пушкине несколько раз без всякой ссылки на предшествующие указания или попросту забывался; соплемясь здесь на книгу Л. П. Гроссмана «Этюды о Пушкине» (М., 1923, с. 53). В. На-

Ю. М. Лотман отметил, что «. . . строфы XLV—XLVIII [первой главы дают совершенно новый характер взаимоотношений героя и автора < . . . > Поскольку интеллектуально герой стал в ряд с автором, тон иронии, отделявший одного от другого, оказался снятым. Однако изменение оценки героя создало угрозу возвращения к характерному для романтической поэмы слиянию героя и автора, что было для Пушкина уже пройденным этапом. Пока герой был отгорожен от автора ироническим тоном повествования, подобной опасности не существовало. Характерно, что именно в конце первой главы, когда мир героя и мир повествователя сблизилась, Пушкину пришлось прибегнуть к знаменитому декларативному противопоставлению себя Онегину в строфе LVI. Быстрая эволюция воззрений Пушкина привела к тому, что в ходе работы над первой главой замысел сдвинулся. Характер героя в конце главы оказался весьма далеким от облика его в начале. Отношение автора к нему также коренным образом изменилось».³³ В этом и заключались, очевидно, те «противоречия» в тексте «Онегина», которые заметил и сам Пушкин. Устранить их было, однако, трудно, так как пришлось бы переделывать весь текст; устранить же эпиграф было легко, что Пушкин и сделал, догадавшись, что последний не может далее исполнять ту роль, которую он играл вначале, когда избирался поэтом: сохранять его в отдельном издании первой главы или в ее позднейших перепечатках не имело смысла. Тем самым устанавливается, что как выбор указанного эпиграфа, так и исключение его в творческой истории «Евгения Онегина» имели определенное хронологическое значение.

боков, следуя за С. П. Гроссманом, не нашел указанной цитаты в парижском издании «Беврианы» 1800 г., но И. А. Шляпкин, впервые обнаруживший ее в 3-м издании этой книги (IX года революции), где она находится на 204-й странице, для верности сообщил даже шифр, под которым «Бевриана» хранилась в имп. Публичной библиотеке в Петербурге (здесь находится она и поныне). Несмотря на то что Шляпкин опубликовал свое открытие в 1903 г., много лет спустя ряд видных исследователей Пушкина все еще продолжали настаивать на том, что эпиграф второй главы «Онегина» имеет своим источником одного лишь Горация. Об этом писал, например, Б. В. Томашевский в статье «Пушкин и Лафонтен» (Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3, с. 218), подкреплявший свое наблюдение ссылкой на то, что той же сатире Горация Пушкин подражал и ранее, в своем «Послании к Ф. Ф. Юдину» (1815), при описании сельского уединения в Захарове. Такой же точки зрения придерживался и Д. П. Якубович в своей последней (неоконченной) статье «Пушкин и античность» (Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941, вып. 6, с. 112).

³³ Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс: Вводные лекции в изучение текста. Тарту, 1975, с. 29.





НЕСКОЛЬКО АНГЛИЙСКИХ КНИГ ИЗ БИБЛИОТЕКИ А. С. ПУШКИНА

Библиотека Пушкина, как известно, дошла до нас в относительно полном виде и находится ныне в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), в Ленинграде. Еще в 1910 г. Б. Л. Модзалевский издал ее подробное библиографическое описание («Пушкин и его современники», вып. 9—10). Дополнительное исследование об этом драгоценном книжном собрании, выполненное очень тщательно с помощью новых и очень существенных данных, принадлежит Л. Б. Модзалевскому.¹ В основу своей работы Л. Б. Модзалевский положил ту дошедшую до нас рукописную опись библиотеки Пушкина, которая составлена была вскоре после смерти поэта для опеки, учрежденной над его детьми и имуществом в апреле 1837 г. После сличения этой описи с печатным каталогом «выяснилось, что из 1287 названий книг по описи — 187 названий неизвестны по печатному описанию».² Отсюда возникла задача — представить подробное и по возможности точное описание всех этих книг, которые безусловно находились в библиотеке Пушкина во время составления описи, а затем откололись от основной массы собрания, были утеряны или разошлись по рукам и до нас не дошли. Но так как рукописная опись 1837 г. составлена была наспех, небрежно, а один из сохранившихся ее списков, кроме того, изобилует неточностями и дополнительными ошибками, возникшими при его канцелярской переписке, выполнение этой задачи натолкнулось на значительные трудности. «Вследствие неясных указаний, — пишет Л. Б. Модзалевский, — много изданий удалось определить лишь приблизительно, а свыше двадцати названий по той же причине и ввиду отсутствия их в библиотеках определить не удалось совсем». «Для определения их, — замечает он далее, — нужно ждать случая или помощи от специалистов, общими усилиями которых только и возможно оконча-

¹ Библиотека Пушкина: Новые материалы: Исследование // Лит. насл. М., 1934, № 16—18, с. 985—1024.

² Там же, с. 987.

тельно установить неизвестные нам пока книги».³ Ответом на этот призыв и являются нижеследующие заметки.

Мое внимание привлек напечатанный Л. Б. Модзалевским на с. 1018 небольшой перечень (всего 12 названий) тех иностранских книг, «заглавия которых не удалось определить точно», — в частности, несколько отмеченных здесь книг, относящихся к английской литературе. Пять из них, по моему мнению, вполне поддаются более или менее точной расшифровке. Таковы №№ 175 (125), 178 (410), 180 (768), 182 (823) и 184 (840). Сообщаем о них библиографические сведения по порядку номеров описи, вслед за которыми в кавычках приводится нами соответствующая цитата из рукописной описи 1837 г., послужившая основанием для разыскания; цифра, стоящая после заглавия интересующих нас книг, несомненно означает количество их томов, имевшихся у Пушкина.

I. № 175 (125). «Child's own Drawing book by Davis — 1».

Имеется в виду книга: «Davies [G. W.] Child's own Drawing Book», 8°, London Carvalho, 1830, в одном томе, представляющая собою пособие к изучению рисования для детей. См.: «The English Catalogue of Books. . .» Books issued in the United Kingdom of Great Britain and Ireland 1801—1836, edited and compiled by Robert Alexander Peddie and Quintin Waddington, London, 1914, p. 154.

II. № 178 (410). «The Family Library — 1».

Под таким названием в Лондоне между 1829—1836 гг. выходила серия книг (сначала у Murray, потом у Tegg): ежемесячно появлялся небольшой томик в 18-ю долю листа, заключавший в себе какое-нибудь цельное сочинение, то беллетристического, то исторического или географического содержания. Всего вышло 80 томов. Установить, какой именно из них имела в виду опись библиотеки Пушкина, не представляется возможным; любопытно, однако, что среди них были сочинения, заведомо известные Пушкину или даже находившиеся в его библиотеке в других изданиях. Таковы, например, «History of the Plague» Д. Дефо, или сочинения В. Ирвинга (в серии «Family Library» были отдельными томками изданы: «Sketch Book», «Companion of Columbus», «Knickerbocker»). Для характеристики всего издания в целом назовем несколько заглавий отдельных томов, по порядку их выхода в свет: Brewster's «Natural Magie»; Blunt's «Reformation in England»; Bucke's «Ruines of Cities» (2 vols); Coleridge's «West Indies»; «Court and Camp of Napoleon»; Croker's «Legends of Ireland»; ряд биографий (Густава Адольфа, Магомета, Наполеона, Пельсона, Ньютона, Петра I, Ричарда I, Вашингтона), «Lives of Banditti and Robbers»,

³ Там же.

Scott's «Demonology» и ряд других. Подробное описание всего издания дано в книге «The London Catalogue of Books», published in Great Britain, 1816—1851, London, Th. Hodgson, 1851, p. 189.

III. № 180 (768). «Quellen des Shakespeare — 2».

Несомненно, что здесь имеется в виду известная книга: Simrock Karl. «Die Quellen des Shakespeare in Novellen, Märchen und Sagen», 1831, 3 Teile, из которых в библиотеке Пушкина в момент составления описи, по-видимому, находилось лишь две части. Карл-Иозеф Зимрок (1802—1876), поэт, переводчик и филолог-германист пользовался известностью как искусный популяризатор средневековой литературы, своими переводами и пересказами приблизивший к читателю большое количество забытых, затерянных, еще плохо изученных тогда памятников старинной поэзии. Указанная его книга занимает видное место в истории шекспироведения. Она представляет собою первое имевшее научное значение собрание предполагаемых источников драм Шекспира, данное им в пересказах (и частично переводах) и сопровождаемое замечаниями историко-литературного содержания (ему предшествовало лишь составленное со сходными целями, но совершенно некритическое собрание Шарлотты Ленокс, 1753—1754 гг.). Книга Зимрока сохраняла свое значение и после выхода в свет аналогичных работ J. P. Collier'a, W. C. Hazlitt'a и др. Сорок лет спустя автор выпустил в свет второе, дополненное издание своего труда (Bonn, 1870, 2 Bd). Уже в первом издании книги в ней сообщены были — тогда еще малоизвестные — итальянские новеллы, сказания из всевозможных средневековых латинских сочинений и сборников, имеющие близкое сюжетное сходство с произведениями Шекспира. Так, например, в главе о «Ромео и Джульетте» он излагал эту историю по Luigi da Porto и новелле Банделло, в главе о «Гамлете» приводил пересказ об Амлете по Саксону Грамматику; далее сопоставлены «Отелло» — с новеллой Джиральди Чинтио, «Венецианский купец» — с новеллами Джованни Фиорентино, Боккаччо и легендой из «Римских Деяний»; «Виндзорские кумушки» — с новеллами того же Джованни Фиорентино и Страпаролы и т. д.

Обычно считается, что Пушкин был знаком с Шекспиром (помимо текстов его произведений в подлинниках и французских переводах) по «Лекциям» А. Шлегеля и по работе Гизо (1824), напечатанной в качестве введения к французскому переводу сочинений Шекспира.⁴ Поэтому тот факт, что в его библиотеке находился классический труд Зимрока, не лишен интереса и значения; остается еще, однако, установить, читал ли он эту книгу и воспользовался ли представляемыми ею данными, поскольку известно, что он плохо знал немецкий язык.

⁴ См. замечания Г. О. Винокура в VII томе акад. изд. соч. Пушкина (Л., 1935, с. 489—491), а также: Богословский Н. В. Пушкин — критик. М.; Л., 1934, с. 528.

Здесь имеется в виду французский перевод знаменитой серии повестей английской писательницы Гарриет Мартино (1802—1876), вышедших в Лондоне в 1832—1834 гг. под общим заглавием «Illustrations of Political Economy». Л. Б. Модзалевский, помещая это указание описи в свой перечень книг, «заглавия которых не удалось определить точно», не обратил внимания на то, что оно отмечено также в печатной описи-каталоге под № 1142: «Contes de Miss Harriet Martineau sur l'économie politique, trad. de l'anglais, Bruxelles, 1834, 4 тома; т. 1 разрезан, остальные не разрезаны, заметок нет».⁵ Несмотря на то что рукописная опись 1837 г. упоминает 3 томика, а в действительности их сохранилось 4, не подлежит сомнению, что речь идет об одном и том же издании. Книги эти принадлежат к числу весьма любопытных памятников английской литературы и заслуживают особого внимания исследователей Пушкина.

Задача, которую поставила себе Г. Мартино, заключалась в том, чтобы написать целую серию повестей, в основу которых положены были важнейшие теоретические положения политической экономии или, как говорит их французский переводчик Морис, — «à développer l'un après l'autre, dans un ordre rationnel et pour ainsi dire nécessaire, les principes culminants de l'Economie Politique, c'est à dire de la production, de la distribution et de la consommation de la richesse». К каждой повести приложены особые тезисы в оправдание, подтверждение и доказательство которых она написана. В первом (разрезанном) томике «Contes», бывшем в руках Пушкина, напечатаны две повести: «Уединенное поселение» — («La colonie isolée», в английском подлиннике: «Life in the Wilds») и «Холм и Долина» («La colline et la vallée» — «The Hill and the Valley»). Первая представляет собою своеобразную робинзонаду и рассказывает судьбу английских поселенцев в Южной Африке; ограбленные бушменами и лишённые богатства и орудий труда, колонисты упорным трудом постепенно упрочивают свое благосостояние. В занимательном повествовании повесть эта стремится раскрыть понятия «труд» и «богатство» и вместе с тем доказать ряд положений, четко сформулированных в приложенных к ней тезисах, например: «Богатство состоит из таких предметов, которые полезны, т. е. необходимы и приятны людям», «богатство добывается применением труда к доставляемым природой материалам»; «производительный труд — сила благотворная»; «труд экономится разделением труда», и т. д. Вторая повесть построена на чрезвычайно злободневном для Англии начала 30-х гг. материале, описывает взаимоотношения собственников производственных предприятий и рабочих и в живом изложении повествует об одном литейном заводе, разрушенном восставшими рабочими,

⁵ Модзалевский Л. Б. Библиотека Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. 9—10, с. 284.

стремясь при этом обосновать следующие утверждения приложенных тезисов: «Капитал есть нечто, произведенное с целью использования его в дальнейшем производстве. Работа есть начало, а накопление — поддержка капитала», и т. д. Всех повестей 25; во французском переводе, вышедшем между 1833—1839 гг. в нескольких изданиях (Париж, Гаага, Брюссель), было 8 томов; в библиотеке Пушкина сохранилось 4. В первом томе помещено предисловие переводчика М. В. Maurice, который характеризует писательницу и весь ее замысел в целом, приводит отзывы об «Иллюстрациях» английской прессы, в частности о повести «Зачарованное озеро» («La mer enchantée»); в английском подлиннике: «The charmed Sea»), которая могла заинтересовать Пушкина своим сибирским сюжетом. «Зачарованное озеро» — это Байкал, на берегах которого живут польские изгнанники; повесть представляет собою иллюстрацию к проблеме возникновения денежной системы. В предисловии к французскому изданию помещено письмо Г. Мартино к переводчику автобиографического содержания. Неизвестно, познакомился ли Пушкин со следующими повестями этой серии (три последующих томика его библиотеки не разрезаны) — «Демерара», «Элла из Гарвелоха» и т. д., но любопытно, что исследователи творчества Г. Мартино свидетельствуют о популярности этих повестей не только во Франции, но и в России, где будто бы они вызвали даже громкую цензурную историю и подверглись особому запрещению Николая I; ⁶ в русской литературе этот вопрос вовсе не исследован.⁷ Об интересе Пушкина к «Иллюстрациям к политической экономии» Мартино не упоминают ни П. Щеголев, писавший о «Пушкине-экономисте»,⁸ ни Н. К. Козмин,⁹ который мог бы указать на «Иллюстрации», как на один из возможных источников сведений Пушкина об английском рабочем движении. Тем интереснее подчеркнуть, что «Разговор с англичанином», в котором Пушкин проявляет такую осведомленность в этом вопросе, относится к тому же 1834 г. (черновой набросок «Разговора» сделан 9 декабря 1834 г.), что и брюссельское издание «Contes», бывшее в библиотеке Пушкина с разрезанной повестью «Холм и Долина».

V. № 184 (840) «Les pèlerins du Rhin — 2».

Имеется в виду роман Э. Бульвера «Рейнские пилигримы» — The pilgrims of the Rhine, 1834, в том же году вышедший в двух французских переводах: 1) Les pèlerins du Rhin, par E. L. Bul-

⁶ См.: C a s a n i a n L. Le roman social en Angleterre. Paris, 1907, p. 98; см. также дюринскую диссертацию (E s c h e r E. Harriet Martineau sozialpolitische Novellen. Weida, 1925).

⁷ См. о Мартино в ст. А. Реньяра «Наука и литература в современной Англии» (Вестн. Европы, 1879, кн. 1, с. 309—315) и статью Е. Ф. Корнеевой «Гарриэтта Мартино» (Учен. зап. Казан. ун-та. Филол. науки, 1928, т. 2, с. 160—180).

⁸ Изв. ЦИК СССР, 1930, № 17.

⁹ Английский пролетариат в изображении Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, т. 4—5, с. 257—299.

wer, traduit par M. Defauconpret, Paris, C. Gosselin, 1834, 2 vols. in 8°; 2) Les Pèlerins au bords du Rhin, traduit par J. Cohen, Paris, H. Fournier, 2 vols. in 12°. Описание библиотеки Пушкина, конечно, имеет в виду первое из этих изданий, о чем говорит тождественность их заглавий. Пушкин, как известно, очень интересовался Бульвером;¹⁰ в библиотеке его сохранилась целая серия книг Бульвера во французских переводах 1834—1836 гг.;¹¹ среди них должен найти свое место и роман «Рейнские пилигримы». Любопытно, что в следующем, 1835 г. этот роман вышел в русском переводе с французского. В своей рецензии Белинский так характеризовал этот роман, в котором «искусно переплетены сцены, взятые из действительной жизни, с поэтическими преданиями старинных рейнских замков»: «Тревелиан, молодой человек с душой сильной и характером возвышенным, любит Гертруду Ван. Эта прелестная девушка страждет неизлечимую болезнь, чахоткою, и по совету докторов пускается в путешествие по Рейну в сопровождении отца и любовника. Тревелиан, имея пылкое воображение, зная наизусть почти все древненемецкие предания и хроники, рассказывает Гертруде отрывки из этих преданий, чтобы отклонить ее внимание от собственного ее положения. . .».¹² Впоследствии этот роман Бульвера был косвенно задет и высмеян в острых пародиях Теккерея: «The Legend of the Rhine» (1845) и «The Kicklebunys on the Rhine» (1850).

¹⁰ Ср. свидетельство А. П. Керн: Пушкин и его современники, вып. 5, с. 155.

¹¹ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина, с. 179—180, № 684—688.

¹² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. / Изд. Венгерова, т. 2, с. 167 и след.



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Академик М. П. Алексеев. Фотография.

Автопортрет Пушкина (1829). Пушкинский Дом.

Шуточный автопортрет Пушкина (1835—1836). Пушкинский Дом.

Автограф стихотворения «Я памятник себе воздвиг . . .». Пушкинский Дом.
Черновой автограф трех последних строф стихотворения «Я памятник себе воздвиг . . .». Пушкинский Дом.

Фрагмент черновика («Что козырь? — Черви. . .») из рабочей тетради Пушкина. Пушкинский Дом.

Титульный лист журнала «Всеобщая библиотека романов» (1776) из библиотеки Пушкина. Пушкинский Дом.

Страница журнала «Всеобщая библиотека романов» (1776) из библиотеки Пушкина. Пушкинский Дом.

Титульный лист французского издания повести Ф. М. Клингера «История о золотом петухе».

Страница рукописи «Евгения Онегина» с эпиграфом из Бёрка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОБЛЕМА «ПУШКИН И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» В ТРУДАХ М. П. АЛЕКСЕЕВА

Книга, которую держит в руках читатель, открывает ему одну, но чрезвычайно важную область в научном творчестве М. П. Алексеева.

Первую часть тома составляет монография «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг. . .“». Проблемы его изучения, вышедшая в свет в 1967 г. и сразу же признанная выдающимся достижением советского пушкиноведения. Книга эта была написана ученым в возрасте семидесяти лет. Он был полон творческих сил (к слову сказать, не покидавших его до самой кончины) и обогащен колоссальным исследовательским опытом и материалом, собранным за долгие годы, — и из-под пера его вышел труд ярко индивидуальный, отразивший и общее направление научных интересов последних десятилетий жизни Михаила Павловича, и методы его работы, и стиль, и даже некоторые черты его личности. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что только М. П. Алексеев мог написать эту книгу, и если бы на ней не значилось имя, искушенный читатель без труда определил бы автора. В таких случаях всегда возникает соблазн говорить об «итоговом труде», но монография «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг. . .“» не была итогом: она была этапом движения, закономерным завершением только одного цикла работ. Некоторые из этих последних читатель найдет во второй части настоящего тома — но следует помнить, что монография о «Памятнике» (так мы для краткости будем в дальнейшем называть пушкинское стихотворение — как известно, не озаглавленное) впитала в себя не только опыт собственно пушкиноведческих разысканий, на которые она опиралась непосредственно, но весь круг идей, концепций и приемов исследования, сформировавшихся в школе советского сравнительного литературоведения, признанным главой которой был академик М. П. Алексеев. И потому мы начнем наш по неизбежности краткий и суммарный очерк не с самой книги, а с ее предьстории, которая отчасти восстанавливается по второй части тома. Она ведет нас к середине 30-х гг.

В 1937 г., в юбилейном выпуске «Временника Пушкинской комиссии» среди общих статей, освещающих роль Пушкина в истории

русского литературного языка и в русском литературном процессе нового времени, были напечатаны рядом две статьи, посвященные проблемам сравнительно-исторического изучения пушкинского творчества — «Пушкин и западные литературы» В. М. Жирмунского и публикуемая в настоящем томе статья М. П. Алексеева «Пушкин на Западе». Обе эти работы, опиравшиеся на тщательно учтенный опыт сравнительного литературоведения, были вместе с тем и новым словом в этой обширной области филологии, но если тема «Пушкин и западные литературы» могла опереться хотя бы на эмпирически накопленный прежней наукой материал, то работа М. П. Алексеева, по существу, явилась первым опытом в постановке проблемы. У исследователя здесь были только библиографические предшественники: Г. Н. Геннади, В. И. Межов, П. Драганов, — и единичные исследователи (В. Шульц, В. А. Францев, Э. Оман, Ж. Жюссерандо, А. Марков), изучавшие восприятие Пушкина во Франции, Германии, славянских странах и чаще всего ставившие себе локальные задачи. Статья М. П. Алексеева имела примечание: «Из разысканий в области иностранной пушкинианы» и начиналась словами: «Вопрос об исторической роли Пушкина в мировой культуре нуждается в полном пересмотре».

Почти через двадцать лет ученый вернулся к этой теме в докладе «Пушкин и мировая литература», прочитанном на юбилейной пушкинской конференции 7—8 июня 1956 г. Были опубликованы только тезисы этого доклада, — но рукопись его сохранилась в архиве М. П. Алексеева. Мысль о роли Пушкина в общеевропейском литературном движении получила здесь дальнейшее развитие. «Последняя по времени из великих национальных литератур новой Европы, русская литература XIX века в лице Пушкина выступила как наследница всего культурного богатства, накопленного человечеством в прошлом. Отсюда — „универсализм“ поэзии Пушкина, его многосторонность, отмеченная еще Белинским, удивительная широта его культурного кругозора, включившего в поле художественного зрения античность и восток, средневековье и современный Запад и богатые сокровища народного творчества, не только русского, но и мирового». «Индивидуальное искусство Пушкина как великого русского национального поэта, — так заканчивал М. П. Алексеев свой доклад, — складывалось, однако, в творческом соревновании с литературами современного Запада. Включив в русскую литературу лучшее наследие зарубежных литератур, как классической, так и современной, Пушкин творчески переработал это наследие на основании живого опыта русской современности и русской истории и тем самым поднял русскую литературу на новую высоту.

Русская литература вместе с Пушкиным вошла в литературу мировую как зрелый плод всего предшествующего развития русской государственности и русской культуры».¹

¹ Алексеев М. П. Пушкин и мировая культура. Рукопись. (Личный архив М. П. Алексеева).

Еще через пять лет, в 1961 г., М. П. Алексеев выступил на дискуссии о взаимосвязях и взаимодействиях национальных литератур с темой «О мировом значении творчества Пушкина», а осенью 1965 г. на пленарном заседании Пушкинской комиссии прочел доклад «Современное зарубежное пушкиноведение», где подверг анализу те изменения, которые принесли с собой истекшие три десятилетия в области изучения темы «Пушкин на Западе». Изменения были значительны: к концу 40-х гг., по подсчетам В. И. Нейштадта, число переводов Пушкина на иностранные языки возросло до 2.5 тысяч. Волна интереса к русской культуре, особенно усилившаяся на Западе послевоенного времени, принесла с собой и десятки специальных исследовательских работ, в массе своей основанных на работах русских и советских филологов, но содержащих и оригинальные разыскания и выводы. Все это был единый процесс освоения русской культурной традиции иными культурными традициями — процесс, ближайшим и непосредственным образом входивший в компетенцию методологически нового сравнительного литературоведения. Не одностороннее «влияние» или «заимствование», а двустороннее взаимодействие отличных друг от друга культурных сфер, освоение и усвоение инациональных культурных ценностей, неизбежно сопряженное с переосмыслением, изменением культурного контекста, — именно так представлялась проблема М. П. Алексееву и всему поколению компаративистов новой формации, его старших и младших товарищей, сотрудинок и учеников. Изучение переводов Пушкина на иностранные языки — необходимый этап в осмыслении его значительного культурного воздействия на иностранного читателя (а в значительности этого воздействия М. П. Алексеев был убежден), но изучение это не даст нужного результата, если оно не будет сочетаться с изучением западной пушкинианы. «... Я не могу не пожалеть, — говорил ученый в упомянутом уже докладе, — что огромная и непрерывно растущая критическая и исследовательская литература о Пушкине остается за пределами нашего внимания, что мы чаще всего не знаем о существовании этой литературы, а между тем она нам жизненно необходима, мы должны в ней разобратся».² Иностранная пушкиниана представляла М. П. Алексееву, таким образом, и как часть пушкинской историографии, и как объект исследования; в этом последнем качестве она оказывалась материалом в обширной теме первостепенного значения: мировая культурная роль Пушкина и русской литературы в целом.

Статья «Пушкин на Западе» была одной из ранних и значительных попыток М. П. Алексеева развернуть эту тему. Как гласило примечание, она представляла собою «фрагменты из книги, подготовляемой к печати». По-видимому, какие-то главы книги предполагалось посвятить переводам Пушкина на иностранные

² Алексеев М. П. Современное зарубежное пушкиноведение: Стенограмма доклада на пленарном заседании Пушкинской комиссии 23 ноября 1965 г. (Личный архив М. П. Алексеева).

языки. Среди бумаг ученого сохранились фрагменты законченной статьи на эту тему, относящейся еще к началу 30-х гг.; в печати она не появилась, но была частично использована в более поздних трудах. Статья «Разноязычный „Онегин“», публикуемая в настоящем томе, ближайшим образом связана с этими разысканиями.

Работа над книгой затянулась, однако, на десятилетия. Отвечая на вопросы по своему докладу в 1965 г., ученый говорил, что сейчас не может и думать о такого рода обобщающем труде, который в будущем мог бы возникнуть как результат коллективных усилий. При всем том он продолжал собирать материалы. В его архиве остались три большие папки с выписками, библиографическими заметками, оттисками статей, которые систематически посылали ему зарубежные слависты.

Новый обширный замысел очевидно перерастал прежний, и сам М. П. Алексеев уже не был удовлетворен своей статьей 1937 г.; он не включил ее и в сборник своих работ «Пушкин. Сравнительно-исторические исследования» (1972). Тем не менее ей принадлежит важная роль в пушкинской историографии: в ней были изучены ранние упоминания о Пушкине в европейской критике и намечены основные вехи последующего критического осмысления. Здесь нет необходимости излагать статью, где совершенно ясно определен угол зрения и характер отбора материала; укажем лишь на темы, которые М. П. поднял впервые или к которым он впервые привлек исследовательское внимание; в дальнейшем они стали предметом специального изучения как в его работах, так и у его учеников и последователей. Так, уже в середине 30-х гг. М. П. Алексеев был знаком с обширным собранием писем Дж. Борро — известного переводчика и романиста, автора «Лавенгро» (этот роман вышел в 1967 г. в русском переводе И. А. Лихачева с предисловием М. П. Алексеева) — к Дж. Хасфельдту, за 1836—1841 гг. и готовил их публикацию. Копии этих писем, с подробным комментарием, сохранились в архиве М. П. Алексеева; уже в последние годы жизни он намеревался завершить работу над ними, а в 1949 г. опубликовал и совершенно забытое и не замеченное пушкинистами письмо Пушкина к Дж. Борро, появившееся единственный раз в английской монографии о писателе 1899 г. Некоторые из этих материалов были использованы и в книге М. П. Алексеева «Русско-английские литературные связи (XVIII в.—первая половина XIX в.)» (1982), где получила развитие и еще одна тема, заявленная в статье «Пушкин на Западе», — посредничество английских путешественников и «русских европейцев», в частности А. И. Тургенева, в знакомстве английского читателя с творчеством и биографией Пушкина. Следует заметить, что проблема личных, биографических контактов культурных деятелей разных стран особенно занимала М. П. Алексеева и он неутомимо разыскивал эпистолярные, дневниковые, мемуарные материалы о такого рода личных связях; так, уже в разбираемой статье он упомянул и о другом собрании неизданных писем иностранного знакомого Пушкина: это был врач-психиатр и переводчик русских поэтов на немецкий

язык Антон Дитрих, лечивший Батюшкова, — специальную статью о нем и его русских связях М. П. опубликовал в 1949 г.³ Среди этих посредников, дававших западноевропейским литераторам и изустную информацию о Пушкине, были очень значительные русские писатели, рассматривавшие пропаганду русской литературы как общественную и культурную миссию; среди них следует в первую очередь назвать И. С. Тургенева, которому посвящено немало места в статье 1937 г., — на этой его роли М. П. останавливался специально в большой работе «И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе» (1948).

Все эти проблемы, поднятые историком литературы и на литературном материале, находили выход в более широкие и общие сферы изучения. Речь шла о культурном взаимодействии в его многообразных проявлениях. М. П. Алексееву всегда был свойствен интерес к смежным с литературой областям общественного сознания, и выход в эти области иногда приводил к возникновению совершенно неожиданных тем. Так, в том же 1937 г., к которому относится статья «Пушкин на Западе», ученый выступил со статьей «Пушкин и Китай», впоследствии переработанной и дополненной (см. ее в настоящем томе). На первый взгляд, проблема выглядит искусственной: у Пушкина не было прямых связей с китайской культурой; естественной была бы тема «Китай и Пушкин» — о реценции Пушкина в Китае, разработанная специалистом-китаеведом. Но под пером М. П. Алексеева она обрела реальные очертания именно потому, что он вышел за рамки собственно литературы: обостренный интерес к китайской культуре (стилизованной и удалившейся во многом от подлинных образцов) был свойствен европейскому XVIII веку как к форме восточной экзотики; этот общекультурный процесс предвещал нарастание волны европейского ориентализма и проецировался в литературу. Это был подступ к более глубокому и непосредственному знакомству Европы с совершенно особым культурным миром — следы подобного же процесса ощущаются в творчестве и биографии Пушкина: от упоминания условного экзотически-литературного «учтливового китайца» в полудетских стихах 1813 г. до почти профессиональных контактов с выдающимся русским синологом Иакинфом Бичуриным в 30-е гг. — таковы вехи этого процесса, который не может быть понят только на литературном материале.

Подобные же, на первый взгляд неожиданные, проблемы сохранились и в статье «Пушкин на Западе». Так, в одном месте работы М. П. Алексеев упомянул о цитатах из Пушкина у Маркса и Энгельса; внимание основоположников научного коммунизма к сочинениям Пушкина было особенно показательным на фоне некоторого ослабления интереса к ним в Германии в конце века. Здесь

³ Алексеев М. П. Несколько новых данных о Пушкине и Батюшкове. — Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1949, т. 8, вып. 4, с. 369—372; Ср.: Anton Dietrichs Beziehungen zu Konstantin Batjuškov und Aleksandr Puškin // Alekseev M. P. Zur Geschichte russisch-europäischer Literaturtraditionen. Aufsätze aus vier Jahrzehnten. Berlin, 1974, S. 173—178.

тема была только обозначена, но через десять лет М. П. вернулся к ней вновь, уже на расширенном материале, и в 1951 г. на III всесоюзной Пушкинской конференции прочитал доклад, в ближайшие же годы легший в основу статьи «Словарные запяски Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“» (1953). Отправляясь от записей, имевших чисто учебное, прагматическое назначение, ученый последовательно шел к изучению и лингвистических интересов Энгельса, и семантических оттенков пушкинского словоупотребления, и вопроса об адекватности их передачи на немецкий язык, и, наконец, проблемы русского языка в мировом культурном обиходе, находившейся в центре его филологических интересов. Имя Пушкина возникало в широком культурном контексте; детальное обследование частной темы вливалось в общее русло проблемы восприятия Пушкина западной культурой.

Не перечисляя всех тем, так или иначе затронутых в статье «Пушкин на Западе», отметим еще лишь одну, которая интересовала М. П. Алексеева до конца жизни, тему «испаноязычного Пушкина». Систематическое изучение испано-русских литературных отношений М. П. начал еще в 30-е гг. и тщательно собирал немногочисленные, разрозненные и совершенно ускользавшие от исследователей факты знакомства испанцев с русской культурой. В начале 30-х гг. держалось устойчивое и не лишнее основание мнение, что русская литература до Достоевского, Тургенева и Толстого в Испании почти неизвестна. Уже в разбираемой нами статье М. П. внес коррективы в эту картину, сославшись на статьи и лекции о Пушкине Э. Кастеляра и Э. Пардо Басан; в дальнейшем он посвятил специальные разыскания испанским переводам из Пушкина («„Скупой рыцарь“ в Мексике», 1969), испанским и португальским источникам пушкинских стихов («Пушкин и бразильский поэт», 1947) и «испанским» темам его творчества («Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв.», 1964).

В статье «Пушкин на Западе», таким образом, была намечена целая программа исследований, которые в совокупности своей должны были показать воздействие Пушкина на мировую культуру. Совершенно естественно поэтому, что ученый отказался от первоначального замысла обобщающего труда, который требовал длительного времени и десятков, если не сотен исследовательских разысканий, очень часто в совершенно неизведанных областях. Многие из намеченного им получили развитие в трудах руководимого им сектора взаимосвязей русской и зарубежных литератур Пушкинского дома, — и в русле той же программы он предпринял свое исследование о стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг. . .», вышедшее отдельной книгой в 1967 г.

Доклад о зарубежном пушкиноведении 1965 г., о котором мы уже упоминали, был своего рода теоретическим обоснованием этой работы, выросшей именно из критико-библиографического

обзора советских и западных исследований о пушкинском стихотворении (история движения замысла кратко рассказана самим М. П. Алексеевым в предисловии к книге). Даже в окончательном своем виде эта работа несет на себе следы своего происхождения и первоначального назначения: ученый не считал необходимым ни облегчать изложения, ни жестко выстраивать композицию книги ценой утраты какой-то части информации; он предпринимал обширные экскурсы, иногда побочные по отношению к основной теме книги, чтобы прояснить тот или иной вопрос, недостаточно исследованный или, напротив, затемненный и запутанный обилием толкований. От этого книга выглядит несколько даже перегруженной материалом. Нет сомнения, однако, что именно таков был ее научный замысел.

М. П. Алексеев любил историографические работы, которые в его представлении были антиподом работ компилятивных. К книге своих статей по английской литературе он взял эпитафию из Чосера: «На старом поле каждый год Родится новая пшеница; Из старых книг, как срок придет, Познание новое родится». «Новое познание» обеспечивалось для него постоянной опорой на предшествующий научный опыт. Сохранение этого опыта, его осмысление и критическую оценку он считал одной из основных пушкиноведческих задач, и в возобновленном под его редакцией «Временнике Пушкинской комиссии» придавал особое значение периодическим обзорам быстро растущей пушкинианы. При этом собственные историографические работы М. П. Алексеева — и это очень ясно ощущается в книге о пушкинском стихотворении — никогда не были обзорами только трудов, это было исследование эволюции идей и концепций, их генезиса и взаимосвязей. Перед ним всегда вставала личность ученого, чьи работы он оценивал, он представлял себе ясно, с какой научной школой, методикой, общественной позицией он имеет дело. Читатели «Временника» знают написанные Михаилом Павловичем некрологи пушкиноведов — это не только дань памяти коллегам, с информацией об их научной деятельности, — это анализ их научного творчества, маленькие главы в не написанной еще истории советского пушкиноведения, с возникающими в ходе изложения собственными, оригинальными идеями и разработками заявленных предшественниками тем. Так произошло, например, в некрологе А. А. Ахматовой во «Временнике» на 1964 г., где М. П. Алексееву пришлось коснуться истории сюжета «Сказки о золотом петушке». Как известно, Ахматова установила, что источником пушкинской сказки явилась новелла Ирвинга «Легенда об арабском звездочете». Признавая справедливость этого вывода, М. П. Алексеев указал и на другие возможные источники сюжетных мотивов, в частности на сказку Ф. М. Клингера «История о золотом петухе» (1785), о чем еще в 1939 г. писал А. Мазон. Это была первая печатная заявка на большую специальную статью «Пушкин и повесть Ф. М. Клингера „История о золотом петухе“», которую читатель найдет в настоящем томе; над ней М. П. Алексеев работал уже в по-

следние месяцы жизни и завершил за несколько часов до своей кончины. Подобным же образом возникали и другие труды; можно сослаться хотя бы на «заметку» «К „Сцене из Фауста“» или на очень характерные редакционные примечания, которыми М. П. иногда снабжал статьи, печатавшиеся во «Временнике». Прекрасным образцом такого оригинального исследовательского этюда, вызванного к жизни чтением чужой работы, было, например, примечание к маленькой статье И. И. Грибушина об устном анекдоте, отразившемся в монологе Альбера в первой сцене «Скупого рыцаря» (Временник Пушкинской комиссии: 1973. Л., 1975, с. 84—85): автор статьи указал на наличие проблемы и высказал пожелание, чтобы был найден непосредственный источник строк о «псе», лающем «вокруг двора»; М. П. Алексеев в примечании назвал этот источник — послание Державина «К Скопихину» — и сделал попутно несколько тончайших наблюдений над особенностями его усвоения и интерпретации.

Все сказанное имеет непосредственное отношение к той методике работы, которая применена в книге «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг. . .“. Проблемы его изучения». Это единственный в нашем литературоведении опыт монографии о небольшом стихотворении. Двадцать строк пушкинского текста потребовали для своей интерпретации книги в двадцать печатных листов — и это отнюдь не было научным излишеством. «Памятник» был поставлен в многообразные контексты: прослеживалась история его восприятия и толкований начиная с первых современных отзывов; рассматривалась творческая история и место стихотворения в контексте позднего пушкинского творчества и его биографии последних лет; наконец, была подвергнута анализу образная система, поэтическая семантика и круг литературных — и шире — художественных ассоциаций, связывавший «Памятник» с русской и западноевропейской художественной традицией. Последняя тема принадлежит к числу наиболее трудных для исследования, хотя, быть может, и наиболее плодотворных: круг имплицированных в поэтическом тексте ассоциаций, конечно, может быть выявлен лишь с большей или меньшей степенью гипотетичности.

М. П. Алексеев начинает свою книгу с очерка истории изучения «Памятника». Пройдя через разные стадии — первоначального критического осмысления, субъективистских и импрессионистических толкований и т. п., пушкинский шедевр раскрылся читателю в своем подлинном значении лишь в период становления современного научного пушкиноведения, т. е. после столетней годовщины со дня смерти поэта. С 1937 г. начинают появляться и зарубежные работы о «Памятнике», из числа которых М. П. Алексеев выделяет как наиболее значительные статьи А. Грегуара, В. Ледницкого и Р.-Д. Кейля. Появление этих — и ряда других, также названных М. П. Алексеевым — работ знаменовало новый этап в истории освоения Пушкина западной литературной и литературоведческой мыслью и соответственно рост его воздействия на западную культуру. Этого мало: А. Грегуар еще в 1937 г. пред-

ложил свой перевод—толкование «Памятника». Это толкование и комментарии французского ученого и его последователей и оппонентов и оказывается для М. П. Алексеева отправной точкой для выделения нескольких моментов интерпретации текста. Возникает, в частности, вопрос о первой строке и о семантике образа «нерукотворный памятник»; далее — о соотношении «Памятника» с Горациевым «Eregi monumentum. . .» и о значении уподобления своей поэзии «Александрийскому столпу». Не будем излагать здесь выводы, к которым приходит ученый; читатель может познакомиться с ними по тексту его работы; обратим лишь внимание на то, о чем уже шла речь: исследуется одновременно и пушкинский текст, и его критическое и научное осмысление — если угодно, «воспринимающая литература». В самом ходе разбора, избегая декларативных утверждений, автор книги показывает, как пушкинский текст и его отечественные толкования становятся фактом интеллектуальной жизни Запада; в чем иностранные слависты прямо опираются на работы русских и советских ученых и что они добавляют к ним. Одновременно определяются и опорные точки дальнейшего исследования: комплекс архитектурных, литературных и идеологических мотивов пушкинского стихотворения, анализ которых и составляет содержание последующих глав книги.

То, что «Памятник» ориентирован на Горация и Державина, то, что он является апологией поэтического творчества, было очевидно уже первым читателям стихотворения, и исследованию подвергались конкретные формы этой связи и идейные акценты стихотворения. Подвергнув критическому анализу предшествующую традицию и внимательно учтя ее позитивный опыт, М. П. Алексеев обратил внимание на то, что никто из писавших о «Памятнике» не стремился исследовать детально ту биографическую и психологическую обстановку, в какой создавалось стихотворение. В настоящее время последние годы жизни Пушкина привлекают к себе усиленное внимание — напомним, однако, что книга М. П. Алексеева вышла в свет почти двадцать лет назад, а начало работы над темой относится еще к началу 60-х гг., когда даже хорошо известные ныне письма Карамзиных со сведениями о Пушкине 1836—1837 гг. были новинкой. Опираясь на эти новые материалы, привлекая широкий круг мемуарных, эпистолярных, документальных свидетельств, исследователь реконструирует картину, которая затем была подтверждена и конкретизирована другими исследованиями: цензурные и официальные препятствия к свободной творческой работе, охлаждение читательской аудитории, материальные и семейные неурядицы создали в 1836 г. то состояние духа, в котором Пушкина стали посещать мысли о близкой смерти. Именно в это время в его творческом сознании оживают и воспоминания, связанные с лицейскими, юношескими годами. В конце восьмой главки своей книги М. П. Алексеев подчеркнуто и суммарно формулирует мысль своего исследования, которая может показаться парадоксальной: первоначальную концепцию «Памятника» нужно искать в лицейском творчестве Пуш-

кина. «Идейно, стилистически и даже метрически „Памятник“ < . . . > представляет собою видоизменение или применение одного или нескольких лицейских воспоминаний, сплавившихся вместе и навеянных поэту его навязчивой мыслью о близкой смерти».

Этот вывод, как уже сказано, суммарен и намеренно заострен. Но он опирается на очень широкий круг самых разнообразных аргументов, приведенных в монографии. М. П. Алексеев показывает, например, что важнейшие поэтические мотивы «Памятника» уходят своими истоками в раннюю лирику Пушкина и, постепенно развиваясь и кристаллизуясь, собираются в стихотворении 1836 г. в некий единый комплекс. Он устанавливает ассоциативную связь архитектурных мотивов «Памятника» с архитектурными ансамблями Царского села; он обращает внимание на толкование Р.-Д. Кейлем «Памятника» как надгробия, что составляет содержание оды Горация; этот смысл поддерживался и традицией «кладбищенской поэзии», отлично известной Пушкину начиная с лицейских лет. «Кладбищенские» мотивы возрождаются в преобразованном виде в поздней пушкинской лирике («Когда за городом, задумчив, я брожу. . .»); в фрагменте «Prologue. . .» они объединяются с темой Царского села и лицейских воспоминаний. И здесь естественно в исследовании возникает фигура Дельвига.

Мысль о Дельвиге, умершем в январе 1831 г., не покидала Пушкина до конца жизни. М. П. Алексеев собрал не слишком многочисленные, но весьма выразительные свидетельства о том, что к воспоминаниям о Дельвиге Пушкин постоянно обращался в 1836 г., в год написания «Памятника», и внимательно проследил историю их творческих взаимоотношений в лицейские годы. Именно Дельвиг был в Лицее убежденным проводником традиции Горация и одновременно Державина; поэтическое обращение его к Пушкину («Кто, как лебедь цветущей Авзонии. . .», 1815) было облечено в форму «горацианской оды» и прямо отсылало к поэтическому образу Державина; другое послание, «На смерть Державина» (1816), прямо объявляло Пушкина наследником только что скончавшегося патриарха русской поэзии. Наконец, именно Дельвигу был свойствен особый интерес к произведениям изобразительных, в том числе пластических искусств, что прекрасно знал Пушкин, упомянувший об этом в стихотворении «Художнику» (1836). Образ Дельвига предстал Пушкину и как индивидуальный, интимный образ умершего друга, и как своего рода символическое воплощение лицейских лет. Все это составляет тот широкий и с трудом поддающийся вычленению круг биографических и литературных ассоциаций, следы которого М. П. Алексеев находил в «Памятнике»; с воспоминаниями о Дельвиге и представлением о его поэтическом творчестве, предполагал ученый, связаны и «горацианские», и «державинские», и «архитектурные» мотивы пушкинского стихотворения. Повторяем: до обнаружения прямых свидетельств о скрытой от нас истории пушкинского замысла гипотеза эта не может быть обоснована с математической точностью, однако уже и сейчас плодотворность ее вне сомнения, и в пользу ее можно

было бы привести дополнительные данные. Так, в период издания «Литературной газеты», в котором Пушкин принимал непосредственное участие, Дельвиг выступает в ней со специальной статьей о русских переводах Горация («Опыт перевода Горациевых од В. И. Орлова», — Лит. газета, 1830, № 26, 6 мая), где между прочим упомянут с похвалой как раз тот единственный перевод из Горация А. В. Волкова «К Мельпомене», который явился предметом специального исследовательского внимания М. П. Алексеева и который был, как предполагал ученый, известен лицеистам. Это лишь один пример, более или менее случайный; можно с уверенностью сказать, что по мере изучения творчества Дельвига и его литературных и художественных интересов, известных нам далеко не в полной мере, еще более актуализируется целый ряд наблюдений и выводов, содержащихся в книге о «Памятнике»: они будут необходимы, например, и для исследования спора Пушкина и Дельвига о Державине в Михайловском в 1825 г. (о нем мы ничего не знаем, кроме того, что он был), и для проникновения в глубинные пласты творческих взаимоотношений поэтов. Исследование М. П. Алексеева в этом смысле было подлинной постановкой «проблем изучения»: оно не только разрешало проблемы, но и открывало пути дальнейшей разработки.

Некоторые из них подверглись дальнейшему изучению в статьях М. П. Алексеева последних лет.

В монографии о «Памятнике» был дан опыт исторического исследования художественных мотивов. В последние годы Михаила Павловича особенно занимала специфика отражения в литературе мотивов пластических, архитектурных, живописных; в качестве исследовательской темы руководимого им сектора он выдвинул тему «Литература и изобразительные искусства» и сам прочел доклад о новелле В. Ф. Одоевского «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi», давшей ему благодарный материал для такого исследования. Завершить этот цикл работ он не успел — но все последние его статьи так или иначе связаны с изучением семантически нагруженных мотивов, как художественных, так и идеологических, рассмотренных на широком сравнительно-историческом материале.⁴ Мы уже упоминали в статье о Пушкине и Клингере; другие его статьи, частью уже вышедшие посмертно, касались темы Фауста у Пушкина. Есть основания думать, что их связывал какой-то обширный единый замысел. Ученый обследует пушкинские наброски о Фаусте, показывая, что генезис их многосложен и включает в числе других и фольклорные

⁴ См.: Русская литература и зарубежное искусство: Сб. исслед. и матер. / Отв. ред. акад. М. П. Алексеев и Р. Ю. Данилевский. Л., 1986. В сборнике помещена статья М. П. Алексеева «Взаимодействие литературы с другими видами искусства как предмет научного изучения» (текст доклада на сессии «Взаимодействие наук при изучении литературы» в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) 15 ноября 1976 г.) и статья Р. Ю. Данилевского «М. П. Алексеев о взаимосвязях искусств» (на с. 31—32 сообщены сведения и о докладе, посвященном новелле Одоевского о Пиранези).

источники. Он касается вопроса о значении для Пушкина народной книги о Фаусте, изданной в 1587 г. И. Шписом. Гипотеза о знакомстве Пушкина с этим редчайшим изданием в свое время была выдвинута, но не получила поддержки. М. П. Алексеев делает блестящую находку, обнаруживая французскую адаптацию этой книги в составе «Всеобщей библиотеки романов», имевшейся у Пушкина, чтобы тут же сделать негативный вывод: из этой адаптации Пушкин практически ничем не мог воспользоваться, если не считать нескольких мелких сведений в предисловии. И, наконец, в своих последних статьях он оказывается верен своему всегдашнему принципу двустороннего изучения литературных взаимосвязей: в статье «К „Сцене из Фауста“», опираясь на работы известного советского гетеведа Б. Я. Геймана и французского пушкиниста А. Менье, он намечает путь изучения обратной связи: не от Гете к Пушкину, а от Пушкина к Гете, интересовавшемуся русской исторической и культурной жизнью и, по-видимому, переработавшему во второй части «Фауста» рассказы о петербургском наводнении.

Мысль замечательного советского филолога продолжала работать до последних минут его жизни. Это было непрекращающееся научное творчество, открывавшее все новые темы и аспекты изучения, устанавливавшее не замеченные ранее связи между отдаленными, казалось бы, друг от друга литературными явлениями. Почти неправдоподобная широта диапазона исследования, энциклопедическая эрудиция, живой интерес к истории и к современности — вот те качества, которые сделали самого Михаила Павловича Алексеева культурной величиной мирового класса.

Он имел все права и основания посвятить значительную часть своей научной жизни исследованию мирового значения русской культуры.

Все эти качества ученого и человека в полной мере сказались в книге, предлагаемой ныне вниманию читателя.

В. Вацуро

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

Ниже приводится перечень изданий, где были впервые опубликованы собранные в настоящей книге работы М. П. Алексеева.

Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный. . .»: Проблемы его изучения. — Печатается по тексту отдельного изд-я (Л., 1967).

Пушкин на Западе. — Печатается по тексту, опубли. в кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, вып. 3, с. 104—151.

Пушкин и Китай. — Впервые опубли. в кн.: Пушкин и Сибирь. М.; Иркутск, 1937, с. 108—145; печатается по тексту (исправл. и дополн.), опубли. в кн.: Пушкин в странах зарубежного Востока: Сб. статей. М., 1979, с. 55—92.

Разноязычный «Евгений Онегин». — Печатается по тексту, опубли. под назв. «„Евгений Онегин“ на языках мира» в кн.: Мастерство перевода: 1964. М., 1965, с. 273—286.

Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме. — Печатается по тексту, опубли. в кн.: «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Л., 1936, с. 79—124.

Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброске Пушкина. — Печатается по тексту, опубли. в кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979, т. 9, с. 17—68.

К «Сцене из Фауста» Пушкина. — Печатается по тексту, опубли. в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1976. Л., 1979, с. ~~50—56~~. 80—97.

Пушкин и французская народная книга о Фаусте. — Печатается по тексту, опубли. в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1976. Л., 1979, с. ~~89—97~~—109.

Пушкин и повесть Ф. М. Клингера «История о золотом петухе». — Печатается по тексту, опубли. в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1979. Л., 1982, с. 59—95.

К статье Пушкина «Джон Теннер». — Печатается по тексту, опубли. в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1966. Л., 1969, с. 50—56.

Пушкин и бразильский поэт. — Печатается по текстам, опубли. в «Научн. бюл. ЛГУ», № 14—15, 1947, с. 54—61 («Пушкин и бразильский поэт») и в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1965. Л., 1968, 82—83 («С португальского. . .»).

Эпиграф из Э. Берка в «Евгении Онегине». — Печатается по тексту, опубли. в кн.: Временник Пушкинской комиссии: 1974. Л., 1977, с. 98—~~113~~. 109,

Несколько английских книг из библиотеки Пушкина. — Печатается по тексту, опубли. в «Научн. бюл. ЛГУ» (№ 6, 1946, с. 27—32).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абамелек А. Д. (Баратынская) 279, 297, 354
 Август Октавиан 74, 98, 238, 247
 Аверкиев Д. В. 301—302
 Аверкиева Ю. П. 543
 Адан Ж. (Ламбер) 309
 Аддисон Д. 97
 Адольф Г. 573
 Адрианов С. 391
 Азадовский М. К. 462, 464, 503, 512
 Айзеншток И. Я. 112
 Аксаков С. Т. 325, 404, 434
 Алеви Л. 394
 Александр Д. 396
 Александр Невский 82—83, 116
 Александр Македонский 62, 64, 84, 97
 Александров Н. 348, 470
 Александрова Н. 470
 Александр I 35, 44, 60, 62—68, 72—76, 83, 101, 166, 186—188, 212, 217, 477, 535, 557
 Александр III 153
 Алексеев В. М. 350
 Алексеев М. П. 276, 281, 287, 299, 312, 340, 427, 509, 531, 581—583, 591
 Алексеева Е. Г. 535
 Алексей Михайлович, царь 83
 Альбрехт Габсбургский, король 385
 Анакреон 169, 213, 444
 Андерсон В. М. 28
 Андреев Н. П. 461, 468
 Андроников И. Л. 20
 Андросов В. П. 407
 Анна, имп. 59
 Анненков П. В. 11, 33—35, 37, 38, 113, 119, 123, 173, 311, 348, 353, 409—412, 414—418, 421, 422, 473, 542, 549
 Анненский И. Ф. 238, 239, 257, 322, 344
 Ансло В. 274—275, 277
 Антоний, претор 182
 Антонолина 325
 Апулей 445
 Аракчеев А. А. 409
 Аржевитинов И. С. 22
 Аринштейн Л. М. 478
 Арнаутов М. 424, 489
 Ауэрбах Б. 311
 Афанасьев А. Н. 429, 456—460, 462, 463, 465, 466, 468
 Ахматова А. А. 502—504, 509—511, 587
 Ашукин Н. С. 6, 57, 116, 135, 143
 Ашукина М. Г. 6, 57, 116
 Бабини 325
 Бабкин А. М. 570
 Бабкин Д. С. 118
 Базанов В. Г. 70, 71, 204
 Байрон Д. Н. Г. 261, 273, 276, 285—287, 294, 297—299, 304, 309, 313, 329, 540, 569
 Баккаревич М. Н. 141
 Балашов Н. И. 367, 368
 Балк Полев П. Ф. 557
 Балухатый С. Д. 6
 Банделло М. 574
 Баратынский Е. А. 23, 24, 28, 126, 127, 128, 161, 182, 202, 540, 563, 568
 Барбо де Вильнев С. Г. 325
 Бареццо Барецци А. П., иезуит 369—370, 372, 377
 Барклай де Толли М. Б. 163—164
 Барроу Д. 342
 Бартнев П. И. 9, 14, 15, 42, 109, 110, 144, 157, 206, 224—226, 227, 280, 281, 282, 306, 403, 413—415
 Барсуков Н. П. 335
 Басманов П. Ф. 365, 370, 378, 396
 Баснин В. Н. 330
 Бастид Ж. Б. 491, 494
 Батгё Г. 247, 251
 Батюшков К. Н. 16, 67, 107, 108, 180, 182, 183, 190, 212, 239, 240, 281, 384, 435—437, 439—441, 443, 444, 447, 467, 585
 Батюшков Ф. Д. 375
 Беда Достопочтенный 507
 Безбородко И. А. 254
 Бейкер Д. 299
 Бейль П. 317

- Бекфорд В. 428
 Белинский В. Г. 5, 15, 16, 28, 29, 34, 39, 55—56, 105, 106, 115, 147, 211, 218, 236, 243, 246, 295, 471, 523, 577
 Белкин Д. П. 338, 343
 Белле Ж. дю 79, 95
 Бельмонт Л. 357
 Беляев М. Д. 132
 Бем А. Л. 106, 151
 Бендл В. 357
 Бенкендорф А. X. 14, 72, 112, 163, 276, 277, 339, 340, 344
 Бентам И. 535
 Бентли Р. 258
 Бенуа де Сен Мор Э. 270
 Бёрк Э. 560—577
 Берков П. Н. 88, 244
 Берман Я. З. 49
 Бернарден де Сен-Пьер Ж. А. 141
 Берци К. 356
 Бессараб М. 466
 Бестужев А. А. (Марлинский) 71, 201, 205, 206, 271, 273, 276, 451, 563
 Бестужев Н. А. 333, 339
 Бизачьоли М. 377
 Биксио 302
 Битобе Р. И. 247
 Бичер-Стоу Г. 547
 Бичурин Н. Я. /Иакинф/ 333—344, 349, 585
 Благой Д. Д. 29, 90, 91, 109, 419, 420, 424—425, 454, 489, 490, 497—499
 Блай Д. Д. 347
 Блинова Е. М. 337—339
 Блок А. А. 41
 Блок Г. П. 343
 Блоссвиль Э. 543, 544, 546, 548
 Блудов Д. Н. 406
 Блюмауэр 447, 451
 Боборыкин А. Д. 568
 Бобров Е. А. 207, 304
 Бобров С. С. 107, 436, 437
 Богаевская К. П. 10, 29, 119, 224
 Богданович И. Ф. 107
 Богословский Н. В. 545, 574
 Боден Д. 546—548
 Боденштедт Ф. 293, 298, 311, 353, 356, 390, 393, 398
 Бодлер Ш. 261
 Бодье Ш. 285
 Бодянский О. М. 288—289
 Бойко А. К. 504
 Бокабодатти 278
 Боккаччо Д. 574
 Боллаков 365
 Болдырев А. 329
 Бомарше П. О. 516
 Бомон Л. Г. де 325, 547, 548
 Бонди С. М. 189, 502
 Борг К. Ф. 270, 271
 Борис Годунов, царь 362—401
 Боричевский Е. И. 50, 56, 80
 Борнье А. 396
 Боровой Л. Я. 112
 Бороздин А. К. 44
 Борро Д. 277, 286, 287, 304, 311, 342, 584
 Борхардт Н. 487
 Боскюэ 317
 Боткин В. П. 28, 32
 Бочелла Ч. 283
 Бранг П. 220
 Брандейс А. 291
 Брандес Г. 304
 Браудо А. 373
 Брей-Штенбург О. фон 299
 Брэн Л. 521
 Бровман Г. А. 35
 Бродский Н. Л. 66, 115, 134
 Броневский Г. М. 157
 Бртань Р. 242
 Бругман 461
 Брусиллов Н. И. 97
 Брюсов В. Я. 63, 190, 237, 258—261, 263, 331, 570
 Будберг П. А. 79
 Бузескул В. П. 296
 Букегевден Ф. Ф. 535
 Булгаков А. Я. 404
 Булгаков К. Я. 66
 Булгаков Ф. Я. 225
 Булгаковы 557
 Булгарин Ф. В. 14, 59, 102, 104, 105, 114, 162, 191, 242, 243, 273, 278, 284, 288—290, 296, 339, 464, 465
 Булич С. К. 45
 Бульвер Э. Л. 576—577
 Бурнашев Б. 287
 Буслав Ф. И. 143, 508
 Бутервек Ф. 204
 Бутурлин Д. П. 347
 Бутурлин М. Д. 568
 Буфлер С. 180
 Буш В. 87, 94, 176, 177, 215, 237, 239, 244, 248, 249, 251, 257, 260, 263, 435
 Буше Ф. 529
 Бъевр М. де 572—573
 Бьянко Бьянки 377
 Бэзон П. 353
 Важик А. 357
 Вазов И. 313
 Ван-бо-хэу 337
 Ванденбург 243
 Ванлоо 529
 Ванслов В. 87, 237
 Варбек П. 373, 384—385

- Варнеке Б. В. 87, 368, 375
 Васильев П. 253
 Васильев С. — см. Сергиевский И. В.
 Васильчиков А. А. 75
 Вахлер 291
 Вацуро В. Э. 408, 581—592
 Вашингтон Д. 573
 Вашковселуш Тешейра К. М. де
 551, 553
 Ваянский Г. 242
 Веймар А. (псевд. Гёце А.) 388
 Вейнберг П. И. 39, 282, 375, 395
 Вельтман А. Ф. 462
 Венгеров С. А. 5, 48, 49, 74, 132,
 175, 184, 189, 233, 234, 331, 375,
 420, 466, 577
 Веневитинов А. В. 113
 Веневитинов Д. В. 143, 185, 186,
 267, 280, 284, 285, 299
 Веневитинов М. 310, 398
 Венелин Ю. И. 147, 335, 338
 Вергилий (Виргилий) 36, 139, 204,
 207, 252, 258, 442, 444—448, 504,
 506—508, 570
 Вердер К. 294
 Вердеревский В. 238
 Верекин М. И. 333
 Вересаев В. В. 50—52
 Верн Ж. 309
 Верховский Ю. Н. 198
 Веселовский А. А. 91, 247
 Веселовский А. Н. 375, 384, 461,
 463, 508, 537
 Виардо Л. 306, 352, 353
 Вигель Ф. Ф. 330, 331, 344
 Виельгорский М. Ю. 27
 Визе Б. 472
 Викторов А. Е. 225, 227
 Виланд Х. М. 106, 318, 476
 Вильгельми А. 390, 393
 Виноградов А. К. 286, 305
 Виноградов В. В. 6, 71, 183, 218,
 221, 236, 569
 Вивокур Г. О. 574
 Виньи А. де 547
 Вистенгоф П. 468
 Витали И. П. 132
 Витберг Ф. 162
 Вишневецкий 370
 Владимиров В. В. 558, 643
 Владиславлев В. А. 29, 143, 144
 Власова З. И. 456
 Вогюэ Э. М. де 308, 309
 Водозовов В. И. 14
 Военский К. А. 250
 Волегов В. А. 508
 Волков А. В. 177—178, 38, 591
 Волков Р. М. 503
 Волковская З. А. 143, 182, 283,
 334
 Вольтер Ф.-М. А. 219, 317, 318—
 321, 331, 332, 348, 349, 439, 440,
 446, 453, 475, 479, 521, 523,
 530, 537
 Вольф А. А. 299
 Вольцоген К. 384, 386
 Воронков А. И. 238
 Воронцов А. Р. 567
 Воронцов М. С. 89, 184
 Воронцов С. Р. 567
 Воронцова Е. К. 541
 Востоков А. Х. 87, 92, 177, 203,
 236—238, 244, 249—250
 Враз С. 313
 Врангель Ф. П. 330
 Вульф А. Н. 181
 Вульферт А. Е. 270, 282, 291
 Вяземский П. А. 14—16, 19, 24, 25,
 27, 28, 55, 56, 72, 112, 143, 160,
 174, 180, 184, 186, 270, 272, 274,
 278—283, 285, 290, 291, 296, 339,
 406, 409, 431, 437—439, 444, 467,
 537, 546, 557, 561, 563, 567
 Гагарин Г. Г. 66
 Гаевский В. П. 160, 162, 173, 174
 Галахов А. Д. 176, 246
 Галеви Ж. Ф. 302
 Галич А. И. 135, 136, 164, 179, 201
 Гальберг С. И. 132, 162
 Гамильтон А. 547
 Гаммер Ж. де 510
 Гарнак О. 392
 Гаррикс М. А. (псевд. Каллаш М. А.)
 143
 Гастфельд Д. 286, 287, 584
 Гастфрейнд Н. А. 149
 Гваренги — см. Кваренги
 Гведослав-Орсаг П. 241, 242
 Геббель Ф. 296, 375, 390—393, 398,
 400
 Гевара Л. 428, 438
 Гегель Г. В. Ф. 295
 Гедеке К. 293, 514
 Гейзелер 390
 Гейман Б. Я. 472—475, 478—480,
 485, 488, 592
 Гейне Г. 290, 291, 309
 Гейнзе В. 517, 518, 523
 Геккерн Л. Б., барон 299
 Гельвеций К. А. 318
 Ген В. 297
 Геннади Г. Н. 39, 123, 266, 279, 582
 Георге С. 310, 400
 Гербель Н. В. 413, 414
 Герберштейн С. 386
 Гердер И. Г. 185, 475
 Геродот 521
 Герхардт Д. 532—535
 Герцен А. И. 18, 298, 301
 Гершензон М. О. 49—52, 84, 85, 101,
 121, 346

- Герштейн Э. Г. 502
 Гессен С. Я. 271
 Гете В. 289
 Гете И. В. 60, 64, 114, 143, 150, 185, 191, 192, 278, 281, 282, 287, 288, 295, 297, 307, 313, 316, 318, 351, 382, 388, 397, 418, 419, 422, 423—426, 446, 453, 469—489, 498—500, 514, 519, 524, 537
 Гете О. 282
 Геттнер Г. 387
 Гёце А. см. Веймар А.
 Гжимала Ф. 240
 Гизо Ф. 279, 574
 Гиллельсон М. И. 22, 23, 408, 546
 Гинзбург Д. Г. 533
 Гишпиус В. В. 40, 41, 107, 468
 Гирс Н. К. 153
 Глебов Г. 323, 422, 423, 425, 519, 537
 Глинка С. Н. 96, 275
 Глинка Ф. Н. 65, 180
 Глинка-Маврин Б. В. 115
 Глушковский А. П. 326, 327
 Гнедич Н. И. 16, 67, 74, 239, 338, 436, 437, 446
 Гоголь Н. В. 14, 15, 19, 25, 32, 33, 105, 144, 210, 222, 307, 404, 468
 Годунов Федор 365, 390, 400, 401
 Годунова Ксения 390, 400, 401
 Голдсмит О. 317, 320
 Голенищев-Кутузов М. И. 69
 Голенищев-Кутузов П. В. 406
 Голенищев-Кутузов П. И. 536
 Голицын М. М. 298
 Голицын Н. Б. 278
 Голицына П. А. 279
 Голлербах Э. Ф. 236
 Голый Я. 241
 Голосовкер Я. Э. 264—265
 Гольдгана Л. 392
 Гольдин Н. 295
 Гомер (Омир) 135, 147, 204, 207, 338, 435
 Гомулицкий Ю. 31
 Гонзага Т. А. 328, 549—559
 Гонкур Э. 306, 307, 313
 Гончаров И. А. 35
 Гончарова Н. Н. — см. Пушкина—Ланская Н. Н.
 Гончаровы 148, 344
 Гора И. 357
 Гораций К. Ф. (Horaz, Horace) 7, 13, 25, 32, 34, 48, 53, 54, 56—58, 62, 76—79, 85, 86—88, 90—101, 108, 118, 119, 122, 123, 132, 133, 136—140, 147, 167, 169—171, 176—178, 180—183, 185, 190, 192, 203—207, 213—215, 218, 236—265, 570, 589
 Горнунг Б. В. 237, 264
 Горнфельд А. Г. 46, 47, 419, 420, 423
 Городецкий Б. П. 16, 271, 547
 Городчанников Г. Н. 206, 207
 Горчаков А. М. 168, 169, 172, 453
 Горчаков В. П. 124
 Горький А. М. 6
 Готшаль 388
 Готье Т. 302
 Гофман М. П. 6, 24, 193, 194, 197, 229, 230, 232, 331
 Гоффман фон Фаллерслебен 292—293
 Граббе 294
 Грановский Т. Н. 28, 294
 Гребенка Е. П. 102
 Гревенс А. Г. 239
 Греугар А. 54—57, 58, 60, 61, 63, 66, 76, 85, 101, 588
 Грей Т. 141, 142, 146, 150, 151, 153, 211
 Грейф М. 388
 Гренвилль А. 273, 478, 479
 Гретри А. 326
 Греч Н. И. 59, 102, 243, 271, 289
 Грибоедов А. С. 329, 345
 Грибушин И. И. 588
 Григорьев В. В. 304, 311
 Григорьева А. Д. 220
 Гримм Г. 390, 393
 Гримм Я. 281, 318, 319, 455
 Гриневич, псевд. — см. Якубович П. Ф.
 Громбах С. М. 323, 564, 568, 569
 Гроссман Л. П. 308, 309, 565, 567, 568, 570
 Грот К. Я. 154, 165, 176, 446
 Грот Я. К. 28, 142, 154, 165, 202, 242, 245, 246, 297, 298
 Грунев И. 313
 Гудзий Н. К. 451
 Гуковский Г. А. 94, 246
 Гутцков К. 291, 292, 296, 389
 Гутчинсон У. 568
 Гюго В. 305, 311, 313, 570
 Давыдов А. Л. 529
 Давыдов Г. И. 188
 Давыдов Д. В. 104, 164, 180, 406, 421, 444
 Даль В. И. 75, 448, 462—464, 465—468, 534
 Дальман П. 31—32
 Данзас К. К. 299
 Даниельсон Н. Ф. 299
 Данилевский Р. Ю. 591
 Данилов Кирша 456
 Данилов Н. М. 210
 Данте Алигьери 129—132, 351, 424—427, 440, 453
 Данченко В. Т. 455
 Д'Аржан 317
 Д'Аршиак О. 24

- Даубе Г. 388
 Дахнович А. С. 31
 Дашкевич Н. П. 375
 Дашкова Д. В. 515
 Дебюр 495
 Делавинь К. 72, 272, 339
 Делакруа Э. 302
 Делиль Ж. 95
 Де Линь, принц 319
 Дельвиг А. А. 59, 72, 145, 148, 153, 154, 156, 159—163, 167—169, 173—176, 180, 181, 183, 185—192, 201, 202, 204, 205, 207—208, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 237, 238, 247, 269, 270, 338, 339, 441, 446, 468, 532, 590, 591
 Дельвиг А. И. 149
 Дельвиг С. М. 166
 Дементьев Э. Г. 523
 Деметер Д. 313
 Демосфен 147
 Дени Ф. 555, 556
 Дератани Н. Ф. 86
 Державин Г. Р. 13, 25, 26, 29, 32, 34, 51—53, 56, 57, 58, 70, 76—79, 81, 82, 86—88, 90, 92, 94, 97—99, 104, 117—119, 138, 141, 142, 146, 147, 161, 167, 175, 183, 185, 190, 192, 201—210, 218, 236—239, 241, 245, 246, 248, 254, 263, 320, 321, 338, 588—591
 Державин К. Н. 504, 506—509
 Державина О. А. 457
 Десницкий В. А. 450
 Де Ту 385
 Дефо Д. 573
 Джеймс Э. 543, 544
 Джефферсон 553
 Джонсон Б. 366
 Джонсон С. 97
 Дибич И. 404
 Дидло Ш. 324—327
 Дидро Д. 318, 476, 516, 523, 535
 Дингельшедт 296
 Дитрих А. 281, 585
 Дмитриев А. С. 470
 Дмитриев И. И. 27, 82, 100, 107, 108, 127, 142, 146, 155, 182, 215, 216, 220, 238, 249, 438, 537
 Дмитриев М. А. 108, 143
 Дмитриев-Мамонов Ф. П. 446
 Дмитриева Р. П. 462
 Дмитрий Иванович, царевич 369, 370, 383, 394
 Дмитрий Самозванец — см. Лже-дмитрий
 Добровольский Л. М. 457
 Добролюбов Н. А. (псевд. Н. Лайбов) 34
 Долгорукий И. М. 142, 143
 Долгорукий Ю., кн 438
 Долинин А. С. 6
 Д'Онуа 511
 Доризо Н. К. 222—223
 Достоевский Ф. М. 144, 225, 302, 308, 312, 400, 586
 Доу Д. 497—498
 Драганов П. 266, 582
 Дружинин А. В. 113
 Дружинин Н. М. 71
 Дубельт Л. В. 14, 27
 Дубенская В. И. (Лагрене) 304
 Дубровский П. П. 320
 Дудышкин С. С. 39
 Дулий, рим. консул 187
 Дурылин С. Н. 70, 282, 477, 486, 487
 Дьяконов И. М. 409
 Дюгальд 328, 345, 348
 Дюгамель А. О. 405
 Дюмон Э. 535, 536
 Дюпре де Сен Мор 273
 Евгенийев-Максимов В. Е. 40
 Евлахов А. М. 50
 Егоров Б. Ф. 17
 Ежовский И. 250
 Екатерина II 22, 82, 116, 155, 186, 187, 292, 319, 321, 432, 433, 515, 516, 518, 525, 530, 535, 567
 Ельницкий К. В. 45
 Еольский А. 244
 Еремин М. 548
 Ермак Тимофеевич 83
 Ермолинский Н. Н. 375
 Ермолов А. П. 21
 Ефремов П. А. 224, 225—227, 331, 415
 Ершов П. 106
 Ёстерлей Х. 507
 Желанский А. 456, 503
 Жданов И. Н. 386, 458
 Живов М. С. 241
 Жильбер Н. И. 107
 Жирмунский В. М. 260, 418, 424—425, 487, 495, 499, 582
 Житомирская З. В. 471
 Жонсьер В. 396
 Жоффруа Сент-Илер Э. (?) 346
 Жуан VI, король
 Жуи Э 278
 Жуковский В. А. 10, 11, 13—16, 19, 22, 25—28, 31—34, 41, 43, 45, 54, 66, 71—72, 107, 127, 141—143, 146, 150, 152, 154, 161, 172—174, 184, 186, 188, 189, 201, 205, 208, 211, 218, 221, 223—225, 227, 238, 247, 277, 281, 282, 286, 296, 311, 334, 397, 438, 440, 444, 464, 467, 470, 473, 486, 487, 537, 557
 Жуковский П. В. 561

Жюльвекур П. де 301, 302
Жюльен С. 348, 349

Заборов П. Р. 440
Забонова Р. Б. 115
Загорский П. 519—520
Загоскин М. П. 58
Закревский А. А. 71
Западов А. В. 94, 98, 246, 430
Згура В. В. 319
Зеебах А. Л. 287
Зелинский Ф. Ф. 295
Зенгер Г. Э. 138
Зенгер Т. Г. — см. Цявловская Т. Г.
Зернин А. А. 395
Зернов А. П. 74
Зимрок К. И. 574
Золя Э. 307, 308
Зотов В. Р. 17—18, 74, 115, 158, 328
Зотов Р. М. 17
Зубов Н. Н. 188

Ибрахим бен Васых, шах 509
Иван IV Васильевич Грозный, царь
363, 368—369, 370, 373, 378,
380, 393, 394
Иваницкий Н. И. 113, 115
Иванчин-Писарев Н. И. 98, 146
Иезуитова Р. В. 424
Иенсен 360
Измайлов А. Е. 440
Измайлов В. В. 168, 169
Измайлов Н. В. 20, 92, 119, 120—
122, 221, 282
Иконников А. И. 319, 322
Илличевский А. Д. 168, 176, 202, 241
Инзов И. Н. 184
Инфолио (псевд.) 345—346
Иоанн, новг. архиеп. 453
Иоганн Швабский 385
Ирвинг В. 502—504, 509—511, 513,
528, 531, 532, 544, 545, 587
Ирмер Г. Ю. 296
Исаков Я. А. 123, 266
Истомина Е. И. 324

Каверин В. А. 319, 335
Каверин П. П. 26
Казанский Б. В. 68, 163, 275
Кайбель Ф. 388, 389
Кайе П. В., 495, 496, 497, 499
Калантырская И. С. 110
Калитина Н. М. 71
Каллаш В. В., 45, 183, 184, 266
Каллаш М. А. — см. Гаррис М. А.
Кальдерон де ла Барка П. 397
Камерон Ч. 321
Каноппи 325
Кант Э. 140
Каптемир А. Д. 208, 320, 489

Капнист В. В. 91, 95, 118, 177, 182,
236—238, 246—248
Каразин В. Н. 204
Карамзин Александр Н. 20, 108, 109,
111, 112, 120, 154
Карамзин Андрей Н. 20, 101, 108,
109, 110, 115, 154
Карамзин В. Н. 111
Карамзин Н. М. 25, 96—97, 107, 141,
143, 146, 147, 152, 155, 169, 173,
215, 218—221, 247, 386, 393,
451, 537
Карамзина Е. Н. 105
Карамзина С. Н. 101, 102, 105, 109,
115, 155, 533
Карамзины 20, 21, 26, 101, 108, 116,
154, 155, 216
Карл V 496
Карл XII 524
Карлейль Т. 296, 311, 313
Карнаухова И. В. 512
Карнович Е. П. 570
Кастеляр Э. 312, 313, 586
Катенин П. А. 204, 409, 555
Катков М. Н. 295
Катулл Гай Валерий 252, 255
Каченовский М. Т. 127, 128, 168,
169, 171—174
Кваренги Д. (Гваренги) 156, 322
Квинтилиан 87
Ксиль Р. Д. 57, 83—86, 88—91,
94, 95, 101, 121—123, 132, 136,
137, 148, 154, 244, 588, 590
Кениг Г. 287—291, 397
Кёне Ф. 318
Керн А. П. 160, 577
Кёрнер Т. 387
Кинцель 383
Киплинг Р. 311
Киреевский И. В. 59
Кирилл, митрополит киевский 116
Кирпичников А. И. 289
Кирпичникова К. 539
Кирсанов С. И. 241
Киселев П. Д. 72
Киселев С. Д. 21, 71
Кишкин Л. С. 242
Клейн И. 427
Клейст Г. фон 391
Клингер Ф. 425, 496, 502—541, 587,
591
Клопшток Ф. Г. 94
Клюзнус 496
Кнорринг 397
Княжнин Я. Б. 97, 436
Кобеко Д. Ф. 17, 157—158, 184,
516, 535
Ковалев В. П. 568
Ковалевская С. Г. 369, 375
Ковалевский О. М. 329
Ковальницкая И. М. 502

- Коджак А. 513
 Кожина Л. Н. (рожд. Всеволож-
 ская) 301 1/2
 Козлов В. И. 568
 Козлов И. И. 282
 Козьмин Н. К. 268, 543, 576
 Козьмин Б. П. 35
 Кока Г. М. 62, 162
 Кокс 381
 Кологривова П. Ю. 438
 Колосов С. П. 431
 Кольцов А. В. 116, 283, 311
 Комаров М. 435
 Комарович В. Л. 186
 Комберленд Р. 383
 Комлош А. 356
 Компаретти Д. 506
 Кондратьев К. П. 264
 Кондратьев 325
 Конрад Н. И. 489
 Константин, архим. 61
 Конфуций (Конфуциус) 317—320,
 330—333, 335
 Коплан Б. И. 248
 Копше Ф. 309
 Коптев А. А. 146, 147
 Корнеева Е. Ф. 576
 Коровин Г. М. 88
 Короленко В. Г. 47
 Корсини 328
 Корф Г. А. 472
 Корф М. А. 155, 242
 Корш Ф. Е. 259
 Косог А. 356
 Костелло Д. П. 77
 Костомаров Н. И. 395
 Костров Е. И. 322
 Котельницкий А. 447, 450, 451
 Котляревский И. П. 451
 Кохановский Я. 32, 77—79, 95
 Коцебу А. 380, 382
 Кочубей В. П. 204
 Кошанский Н. Ф. 135, 176, 186,
 187, 238
 Кошта К. М. да 552, 553
 Кошутяч Р. 235
 Кравцов Н. И. 184
 Краевский А. А. 27, 113, 115, 116
 Крамер И. 238
 Краснокутский В. С. 440
 Крачковский В. Н. 261—262
 Кребийон-сын К. П. Ж. 520, 521, 530
 Кремниц М. М. 461
 Крестова Л. В. 347—348, 470
 Кривцов Н. И. 442
 Кросс С. 60
 Крузенштерн И. Ф. 188
 Крылов И. А. 34, 206, 276, 281, 311,
 334
 Крянге Ион (Чуботару) 461, 462,
 463, 466
- Ку Э. 392
 Кудрэ 479
 Кузьминский К. С. 104
 Куканов А. М. 44
 Кулакова Л. И. 89
 Кулаковский П. А. 242
 Куликов Н. И. 112
 Кульман Н. К. 291
 Кун-Дзы 333
 Кун-Тсез 333
 Купер Ф. 544
 Курелла А. 480
 Курочкин В. С. 39
 Кутузов М. И. 67, 146
 Кюне Г. 388, 389
 Кюстин М. де, маркиз 300
 Кюхельбекер В. К. 80, 92, 107,
 135, 148, 154, 164, 165, 167, 191,
 192, 202—204, 206, 215—217, 269,
 270, 279, 333, 446, 537
- Лавали 557
 Лагарп И. Ф. 87, 516
 Ладыженский 339
 Лазарев М. П. 188
 Лайбов Н. — см. Добролюбов Н. А.
 Лакшин В. Я. 541
 Ламартин А. де 272, 278, 283, 301—
 302, 313
 Лангер В. П. 321
 Ланда С. С. 31
 Лангсдорф Г. И. 557
 Ланжерон А. Ф. 536
 Лао-Цзы 317
 Ларусс П. 378, 525, 541
 Лаубе Г. 389
 Лафонтен Ж. 439
 Лебедев Д. П. 227
 Лабрен П. Д. Экушар — см. Эку-
 шар-Лебрен
 Леве-Веймар Ф. А. 285, 291, 398
 Левин В. Д. 221
 Левина Ю. И. 538
 Левицкий А., иезуит 369
 Легра Ж. 484
 Ледницкий В. 60, 61, 63—68, 72,
 74—83, 85, 101, 239, 240, 588
 Леже Л. 313
 Леклерк Н. Г. 319, 332
 Лелевель И. 276, 284
 Лемонте П. Э. 276
 Ленин В. И. 259
 Ленокс Ш. 574
 Ленц Я. 518, 525
 Леонов А. И. 132
 Леонтьев А. 320, 333
 Леопарди Д. 540
 Лермонтов М. Ю. 66, 105, 166, 303,
 347, 393, 533
 Лернер Н. О. 27, 124, 126, 132, 148,
 184, 206, 301, 549, 554

- Лесаж А. 428, 438
 Лескин 461
 Лествицын В. И. 429
 Лжедмитрий (Дмитрий Самозванец)
 292, 349, 362—401
 Ливанов Ф. В. 429
 Линде Г. 271
 Липовцев С. П. 343
 Липперт Р. 293, 297, 397
 Липранди И. П. 93
 Лисянский Ю. 188
 Лихачев Н. П. 206
 Лициний 272
 Лобанов М. Е. 210
 Логановский А. В. 11
 Ломоносов М. В. 88, 89—91, 104,
 107, 136, 146, 178, 179, 182—183,
 208, 209, 213, 214, 220, 236, 237,
 244—245, 263, 436
 Лонгин Д. — см. Псевдо-Лонгин
 Лопе де Вега Ф. 367, 368—373, 376,
 377, 396, 397
 Лотман Ю. М. 93, 573
 Лотц Г. 296
 Лукьян Самосадский 430
 Лукьяненко А. М. 375, 397
 Лумис Н. 543
 Луначарский А. В. 51
 Лупанова И. П. 464, 465, 503, 512
 Львов Н. А. 142
 Львов Н. 388
 Львов Ф. П. 81, 82
 Львова Е. Н. 81
 Льюис М. Г. 547
 Лютер А. Ф. 375, 400
 Лютер М. 496
 Лютцереде К. Т. 287
 Люценко Е. П. 106, 442, 450, 451
 Ляцкий Е. А. 380
 Лященко А. И. 116

 Магницкий М. Л. 243, 537
 Магомед 573
 Мазон А. 307, 509—511, 513, 521,
 528, 531, 532, 539, 587
 Майков А. Н. 35—37, 39
 Майков В. В. 176
 Майков В. И. 107, 450—452
 Майков Л. Н. 174, 175, 211, 281,
 416, 464
 Майкова А. А. 233
 Майский Ф. Ф. 105
 Макаров А. 570
 Макаров П. И. 108
 Макартней 342
 Макинтош Д. 568
 Макогоненко Г. П. 469, 471, 472
 Максимилиан II, король 293
 Максимов А. Г. 168
 Максимович М. А. 36, 335
 Малейн А. И. 168, 258

 Малиновский Н. 334
 Малышев Н. 12
 Мальтиц Ф. 388
 Мальцев И. С. 498
 Манзей К. 184
 Мануйлов В. А. 163
 Манцони А. 282, 313
 Марграф Г. 293—294
 Мария Бургундская 373
 Мария Павловна 477
 Мария Федоровна (София Доротея),
 имп. 515, 516, 518
 Марк Аврелий 477
 Маркевич Н. А. 325
 Марков А. 267, 296, 299, 310, 398, 582
 Марков М. А. 73
 Маркс К. 299, 565, 585
 Марло К. 425
 Мармонтель Ж. Ф. 325
 Мармье К. 54, 301, 499, 500
 Мартино Г. 575, 576
 Мартынов В. В. 31
 Мартынов И. И. 146, 245
 Марфа, мать Дмитрия царевича 387,
 389, 393, 394
 Марциал Марк Валерий 139, 254,
 264
 Марьянов Б. 542, 545, 547
 Масанов И. Ф. 102
 Масонески 328
 Матюшкин Ф. Ф. 330
 Мевий 172
 Медведовский П. — см. Юркевич
 П. И.
 Медерский Л. А. 66
 Межов В. И. 224, 266, 279, 289, 291,
 298, 301—303, 311, 312, 320,
 398, 582
 Мейлах Б. С. 44, 89, 91, 132
 Мейербер Д. 302
 Мельгунов Н. А. 283, 287, 289, 290,
 294
 Мельников-Печерский П. И. 463, 464
 Мендельсон Н. М. 252
 Мендес-и-Пелайо 367
 Меншиков К. 21
 Меньё А. 352, 472, 481, 483—486,
 488, 592
 Мерзляков А. Ф. 99, 100
 Мерзляков Л. 103, 142, 238, 247
 Мериме А. 286, 300
 Мериме П. 301—306, 308—310, 352,
 353, 393, 395, 455, 510
 Мерк И. Г. 476, 477, 480
 Месёй Г. 356
 Метастазιο П. 349
 Метлеркамп И. А. 296
 Меценат Гай Цилий 238, 247
 Мещерский С. И. 108
 Мещерский Э. П. 279, 280, 282, 301,
 394

- Мизинов П. 44
 Миллер Г. Ф. 381
 Милонов М. В. 70, 107, 238
 Мильтон Д. 96, 426, 427
 Минаев Д. 241
 Мирабо О. Г. 318
 Мирский Д. С. 84
 Михаил Павлович, вел. кн. 157
 Михайлов В. М. 353, 354
 Михайловский Н. К. 47
 Михеева О. Н. 470
 Мицкевич А. 31, 60, 64, 124, 126, 127, 240, 241, 243, 261, 357
 Мичерлих Э. 243
 Мишулин А. В. 264
 Мишпек М. 368, 371, 376, 378, 387, 393, 396, 397
 Модестов Н. Н. 464
 Модзалевский Б. Л. 57, 65, 124, 151, 159, 162, 184, 185, 271, 275, 277, 284, 333, 342, 345, 406, 410, 442, 447, 452, 491, 500, 510, 543, 544, 546, 547, 563, 565, 572, 575, 577
 Модзалевский Л. Б. 83, 149, 163, 179, 208, 214, 233, 279, 291, 334, 336, 407, 441, 572, 573, 575
 Модриш Д. Н. 512
 Мозенталь С. 390, 393
 Моллер Н. Л. 334
 Монглав Е. Г. (псевд. Дюфрень М.) 556—559
 Монго Г. 303
 Монтескье Ш. Л. 98, 317, 320
 Монтодюзан 318
 Монферран О. 65—66, 82
 Мопассан Ги де 307, 308
 Мордвинов А. Н. 464
 Мордовченко Н. И. 29
 Морис М. Б. 575, 576
 Морозов А. А. 319
 Морозов Н. А. 17
 Морозов П. О. 42, 75, 226, 292, 331, 416—420, 422—425, 443, 490, 550
 Моргон Э. 273
 Морфилл В. 353
 Москера Х., иезуит 369—370
 Мочульский М. 539
 Мундт Т. 291
 Муравьев А. Н. 127, 222
 Муравьев М. Н. 108
 Мусина-Пушкина М. А. 182
 Муханов А. А. 109, 402, 403, 405, 407—409, 410, 467, 468
 Муханов В. А. 108—111, 405
 Муханов Н. А. 20, 26, 108—111, 403, 405—408
 Мын-Цзы 337
 Мюллер Л. 257
 Мюллер фон, канцлер 487
 Мюссе А. 151, 313
 Набоков В. В. 60, 565, 566, 569, 570, 571
 Нагучевский Д. И. 238
 Надеждин Н. И. 98, 99, 104, 127, 182, 243, 499
 Назарова Л. Н. 10, 30
 Наполеон I Бонапарт 16, 17, 35, 66, 67, 118, 166, 346, 385, 403, 555, 573
 Нахов И. М. 213, 244
 Нащокин П. В. 112, 132, 206, 281, 282, 403
 Неверов Я. М. 106, 289
 Неелов В. И. 321
 Незеленов А. И. 43, 44
 Нейман-Беккер Х. 191
 Нейштадт В. И. 583
 Неккем А. 507
 Нельсон Г. 573
 Некрасов Н. А. 35—41
 Некрасова Е. С. 404
 Немировский М. Я. 86
 Непомнящий В. 109
 Негушил М. 137, 138
 Неустроев А. Н. 238, 320, 428
 Нефедова А. И. 145
 Нечаев В. 320
 Никитенко А. В. 28, 112, 135
 Никитин Н. П. 66, 83
 Николаев Н. И. 369, 375
 Николаев Н. П. 432—435
 Николаи Л. Г. 518
 Николай Михайлович, вел. кн. 149
 Николай I 35, 67, 72, 73, 166, 225, 273, 274, 284, 348, 403, 476, 478
 Николитч Д. Н. 153
 Никольский Б. В. 237, 255—256, 263
 Никон 536
 Новиков Н. И. 220, 320
 Ногаевская Е. В. 132
 Нороз А. С. 62
 Ньютон И. 573
 Обнорский С. Г. 232
 Ободовский П. Г. 186
 Оболенский К. 369
 Обольянинов П. Х. 25
 Обри де Каррьер 379
 Обручев С. В. 166
 Овидий Назон 74, 75, 77, 81, 86, 93, 139, 147, 242, 252, 254, 264, 442
 Оглоблин Н. Н. 429
 Одоевский В. Ф. 28, 114, 115, 285, 289, 335, 410, 591
 Ознобишин Д. 329
 Олеарий 386
 Олег, кн. 83
 Оленин А. Н. 11
 Олин В. 468
 Олсуфьев А. В. 431
 Ольдекоп Е. И. 271

- Омир — см. Гомер
 Онегин А. Ф. 281
 Опекушин А. М. 10
 Орлов А. А. 105, 243
 Орлов В. И. 98, 237, 238, 248
 Орлов В. Н. 6, 37, 92, 177, 178, 203, 249, 250, 269
 Орлов Г. Г. 535
 Орлов М. Ф. 21, 440
 Орлов-Чесменский А. Г. 156, 186, 187
 Орловская Н. К. 525
 Орловский Б. И. 162
 Осборн Э. 311
 Осипов Н. П. 447—451, 454
 Осипова П. А. 181
 Остин Д. 309
 Остолопов Н. Ф. 57, 59, 87, 92, 142, 177, 182, 242, 250, 434, 560
 Островский А. Н. 375
 Острогорский В. П. 43
 Отто Ф. 271, 289
- Павел I, 319, 385, 515, 516, 518, 521, 524, 535, 536
 Павлищев Н. И. 282
 Павлова К. 354, 387
 Павловский Е. Н. 263
 Павловский И. 307
 Паевская А. В. 455
 Паисий Величковский, игумен 462
 Паллавичино 378
 Палладий 156
 Паллас П. С. 347
 Папи Ф. 356
 Пардо Басан Э. 312—313
 Парни Э. 442
 Пашков И. А. 224
 Педру дон, принц-регент (Педру I, браз. имп.) 555, 557
 Пекарский П. П. 456
 Петер М. 356
 Петин И. А. 205
 Петлин И. 333
 Петр I 22, 27, 70, 91, 146, 475—477, 480, 521, 573
 Петр III, 292
 Петрарка Ф. 131, 261, 553
 Петров А. А. 198
 Петров В. 220
 Петров Д. К. 504
 Петров П. 11, 12
 Петровский М. 518
 Петровский Ф. А. 139, 263
 Петроний Гай 523
 Петропавловский М. Э. 252
 Петрунина Н. Н. 343
 Пещуров А. Н. 168, 169
 Пикс М. 367
 Пиксанов Н. К. 6, 44, 75, 132, 151, 229
 Пименов Н. С. 11—13
- Пиндар 98, 182, 190, 204
 Пиндемонте И. 119, 120—122, 150—152
 Пинчук А. Л. 94, 245
 Пирлинг П. 362, 369
 Писарев А. 428—429
 Писарев Д. И. 15—16, 34—35, 47
 Писарев Н. И. 168
 Питт В. 564—565
 Плавский З. И. 368, 504
 Плавт 252
 Платон 147
 Плетнев П. А. 15, 19, 27, 115, 123, 150, 160, 161, 182, 221, 222, 247, 288, 297, 298, 407, 408
 Плещеев А. А. 227
 Плещеев С. И. 515
 Плиний Старший 140, 477
 Плюшар А. А. 65, 122, 123
 Пнин И. П. 98
 Погодин М. П. 27, 59, 60, 105, 113, 143, 335, 339, 407, 409, 421, 498
 Подъяворинская Л. 242
 Покровский М. М. 94, 133, 180
 Полевой К. А. 36—39
 Полевой Н. А. 37, 39, 104, 105, 145, 147, 208, 243, 283, 387, 468
 Поливанов Л. И. 212, 331
 Полонский Я. Б. 143, 310
 Полоцкий Симеон 78
 Полторацкий С. Д. 269
 Польмин д'Арженсон, маркиз 491, 494
 Помпей Вар 176
 Помяловский И. В. 253
 Поп А. 97
 Попов П. А. 409
 Попова Э. В. 106
 Попович К. Ф. 462
 Поповский Н. Н. 178, 179, 214, 238
 Порошин 71
 Порсенна Ларс 140
 Портье Л. 539—540
 Порфилов П. Ф. 237, 239, 256—258
 Поссевино А., иезуит 369—370, 372, 377
 Потанин Г. Н. 347
 Прадон Н. 190
 Прайор М. 97
 Прево М. 308
 Премар 349
 Преображенский П. 344
 Приятель И. 315
 Проперций 139, 252, 254, 264
 Псевдо-Лонгин 146, 245
 Пуавр П. 318
 Пугачев Е. И. 43, 164, 285, 291, 292, 342—344, 463—464, 467
 Пумлянский Л. В. 58, 69, 70, 476, 480
 Путья Е. В. 341
 Пушкин А. А. 225, 227, 414

- Пушкин В. Л. 92, 164, 179—180, 440
 Пушкин Л. С. 305, 564
 Пушкин С. Л. 284, 311
 Пушкина Н. Н. (Гончарова, Лан-
 ская) 341—345
 Пушкина Н. О. 150
 Пуштин И. И. 166, 197
 Пфлегер-Моравский Г. 313
 Радищев А. Н. 6, 13, 42, 44, 76,
 88—90, 93, 227, 234—235, 249,
 250, 320
 Раевский А. Н. 397, 541
 Раевский В. Ф. 71, 453
 Раевский Н. Н. 129, 131
 Разумовский А. К., граф 536
 Ранталер А. 398
 Расин Ж. Б. 190
 Раупах 292
 Рахманов В. В. 312
 Резанов В. И. 141, 142
 Рейкс Т. 276
 Рейман П. 469—470, 522
 Рейнбот П. Е. 132
 Рекамье Ж. 546
 Ремюз А. 333
 Рени Г. 529
 Ренодо Т. 316
 Ренсом А. 466
 Ренье А. де 308, 309
 Реньяр А. 576
 Репнин Н. В. кн. 141
 Репнина кн. 141
 Ретеком Ю. Я. 543
 Ржига В. Ф. 428
 Ризнич А. 80, 141
 Рильке Р. М. 310, 400
 Риммер, проф. 479
 Ринальди А. 319
 Ричард I 573
 Ричард III 385
 Ритчи М. 283
 Рогожин В. Н. 428
 Рожалин Н. М. 336, 487
 Рождественская Н. И. 458
 Рождественский Т. С. 429
 Розанов И. Н. 444
 Розанов М. Н. 129, 151, 518, 525
 Розен Е. Ф. 278, 397
 Розенберг 360
 Розов В. А. 280, 397, 470
 Рокьянджани А. 277
 Роксолл 477
 Рольстон У. 311
 Романо Р. Д. 529
 Романов Н. Я. 45
 Романовский В. 73
 Ронсар П. 78, 79, 95
 Россет А. О. (Смирнова) 108, 111
 Россей П. А. 429
 Ростопчина Е. П. 23, 24
 Росциус И. 373
 Рубан В. Г. 57, 320
 Рудченко И. 457, 459
 Румянцев С. П. 67
 Румянцев-Задунайский П. А. 404
 Рунеберг И. Л. 297, 298
 Рунич Д. П. 243
 Русинов А. Д. 512, 513
 Руссо Ж. Б. 88, 95
 Руссо Ж. Ж. 317, 479, 521, 524
 Рыбинский В. С. 176
 Рылеев К. Ф. 30, 107, 204, 205, 276,
 451
 Рыльский М. Ф. 241
 Рыскин Е. И. 10, 224, 226, 227, 542
 Рязановский Ф. А. 228
 Саади Ширазский 329
 Сабуров А. И. 184
 Сабуров Я. И. 155, 156, 183—187
 Саводник В. Ф. 110
 Савостьянов К. И. 124
 Садов А. И. 254
 Садовников Д. Н. 458
 Сайтов В. И. 131, 184, 278
 Саксон Грамматик 574
 Сакулин П. Н. 6, 44, 45, 47, 49,
 50, 52, 114, 132, 133, 290, 335
 Сальватор Роза 377
 Самойлович А. В. 255
 Сарнов В. В. 129
 Свербеева Е. А. 22
 Светлов Л. Б. 431, 432
 Свиньин П. П. 27
 Свирин Н. 329
 Свяцкий С. 78
 Севастьян, король 373
 Северин Д. П. 440
 Селиванов А. 40
 Семевский М. И. 299
 Семенко И. М. 569
 Семенов Н. Н. 354
 Семенов П. П. 269
 Семенов Ю. 565
 Семенов Тян-Шанский А. П. 237,
 256, 260, 262—264
 Сен-Жюльен 301
 Сенковский О. И. 106, 114, 329, 335
 Сен-При 129
 Сент-Бёв 301, 556
 Сёр 17
 Серафим, митр. 334
 Сергиевский И. В. 106, 250
 Серебренников В. Н. 506
 Сечкарев В. 121
 Сиверс А. А. 406
 Сиверс О. 388, 389
 Сигизмунд, король 369, 370, 371, 372
 Сидней Ф. 366
 Сильвестр А. 396
 Сиявский Н. А. 161, 281, 343, 560

- Сиповский В. В. 45, 427, 429, 494, 511
 Сиржур А. С. (Хлюстина) 280
 Сисмонди Ж. Ш. Л. 151, 397
 Сихем И. 499
 Скаррон П. 447
 Скачков П. Е. 320, 342
 Склабовский А. В. 30, 185
 Скотт В. 143, 278, 293
 Скриб Э. 302, 303
 Сладковский 436
 Слоан 568
 Слободкин Г. 470
 Словацкий Ю. 261
 Словцов П. А. 340
 Словимский А. Л. 49, 421, 504
 Словимский Ю. И. 323—327
 Смид Д. 495, 496
 Смирнский Б. 470
 Смирнов А. А. 504
 Смирнова А. О. (Россет) 285, 347—349, 470, 537
 Смирнов-Сокольский Н. П. 408, 560
 Смит А. 299, 567
 Смит Т. 364—365
 Смолян О. 514, 520, 524, 535, 536
 Собаньская К. А. 541
 Соболевский С. А. 240, 278, 282, 286, 304, 305, 550, 551, 555
 Советов С. С. 78
 Соколов П. 87
 Соколов Ю. М. 503
 Соколова В. К. 547
 Соколова Т. П. 284
 Соколовский В. В. 141
 Соловьев В. С. 45
 Соловьев С. М. 192
 Соловьев С. М. 395
 Соловьева О. С. 129, 563
 Соллогуб В. А. 297
 Соллогуб С. И. 247
 Соломирский В. Д. 340
 Солтык-Романский Ю. 242
 Сомов О. М. 30, 81, 335, 339
 Сопиков В. С. 428
 Соснецкий И. 13
 Соути Р. 555
 Соханская Н. С. (Кохановская) 41
 Спасский Г. 332
 Спафарий 333
 Сперанский М. М. 93
 Сполдинг Л. 353, 354
 Срезневский В. И. 233
 Срезневский И. Е. 30, 233, 249
 Сталев 360
 Сталь А. Л. Ж. де 405, 498
 Станкевич Н. В. 28, 106, 294, 295
 Стахович А. А. 10—12
 Стендаль 570
 Степанов Л. А. 570
 Степанов Н. Л. 6, 120, 121, 258
 Степанов Н. Н. 547
 Стефанович А. 539
 Столянский П. Н. 103, 104
 Стороженко Н. И. 375
 Стоюнин В. Я. 212, 234
 Страпарола 574
 Страхов Н. Н. 117, 118
 Строганов Г. А. 284
 Стромиллов С. 73
 Суворов А. В. 570
 Сумароков А. П. 96, 220, 319, 380, 383, 386, 436
 Сушкова 320
 Сюлли Прюдом А. 309, 310
 Талейран Ш. М. 546
 Тарасов Л. Д. 264
 Тарле Е. В. 300
 Тассо Т. 124, 131, 346
 Татарнова 21
 Тахо-Годи А. А. 34
 Тацит К. 523—524
 Твардовский А. Т. 467
 Теккерей У. 310, 577
 Теннер Д. 542—548
 Теннисон А. 311, 313
 Теодоли Дж. 377
 Терзич Б. 235
 Тибулли Альбий I 252, 447
 Тик Л. 281
 Тимковский Е. 332
 Титов В. П. 468
 Титова С. И. 328
 Тиханов П. Н. 286
 Тихомиров Н. С. 219, 427, 428
 Тозеллп 325
 Токвилль А. 546, 547, 548
 Толстая Е. В. 35
 Толстой А. К. 398, 401
 Толстой А. П. 402—410, 467, 468
 Толстой В. В. 322
 Толстой И. И. 94
 Толстой Л. Н. 308, 312, 586
 Толстой П. А. 403—404
 Толстой Ф. И. (Американец) 561
 Толстой Я. Н. 115, 269
 Толстой-Знаменский Д. Н. 208—209
 Толь Ф. Г. 71
 Томашевский Б. В. 66, 95, 118, 130, 149, 151, 159, 174, 233, 448, 490, 550, 573
 Томон Т. де 187
 Томсон Дж. 150
 Топоровский М. 30—32
 Тормасов А. П. 438
 Торрес Алмейда 551
 Траян 67
 Требушён М. Г. С. 510
 Тредиаковский В. К. 59, 432, 433, 436
 Трессан де 491

- Гроицкий Ю. Н. 252
 Гувим Ю. 30—31
 Тудоровский Г. 360
 Турганов Б. А. 241
 Тургенев Александр И. 21—26, 112, 117, 142, 143, 145, 182, 273—280, 282, 290, 291, 296, 302, 487, 537, 546, 584
 Тургенев Андрей И. 141, 142
 Тургенев И. С. 60, 64, 71, 72, 252, 294, 305—308, 310, 311, 353
 Тургенев Н. И. 21, 279, 440, 537
 Турку К. 462
 Турнайзен 519
 Тучков С. А. 92—94, 107, 236, 238, 250—252
 Тынянов Ю. Н. 80, 164, 203, 204, 243, 275, 433—434
 Тынянова И. А. 558—559
 Тютчев Ф. И. 186, 291
- Уваров С. С. 112, 115, 122
 Ушликин Д. — см. Смит Т.
 Уланд Л. 281
 Уоллес М. 309
 Урусов А. И. 46
 Уткин Н. 296
 Ушаков*Д. Н. 533
- Фальконе Э. М. 476, 477, 480
 Фарнгаген фон Энзе К. 287, 289, 293—296, 397
 Фасмер М. 533
 Февчук Л. П. 132
 Федор Иванович, царь 363, 369, 370
 Федоров А. Н. 368
 Федоров Б. М. 204
 Фейнберг И. Л. 51, 58, 234, 235
 Феокистов Е. М. 537
 Фет А. А. 237, 241, 252—253, 256, 263
 Фидлер Ф. Ф. 398
 Филдинг Г. 428
 Филимонов В. С. 124, 238
 Филиппеус 398
 Филиппович П. П. 127, 205
 Философов В. Д. 71
 Фиорентино Д. 574
 Фишер 347
 Флекс В. 374, 375, 390, 392, 398, 399
 Флетчер Д. 366
 Флобер Г. 307, 352
 Флоридов А. А. 27, 155, 182, 215
 Фогаццаро А. 309
 Фокков Н. Ф. 139, 237, 254
 Фолк-Гревиль 366
 Фомин А. Г. 104
 Фонвизин Д. И. 431, 437, 440, 441, 444
 Фон дер Ховен И. Р. 157
 Фонтанье*В. 275, 277
- Фосс И. Ф. 181, 247, 447
 Францев В. А. 241, 267, 313, 582
 Френ Х. Д., акад. 329
 Френкленд 275, 277
 Фридман Н. В. 239, 436, 441, 444
 Фридрих II 515
 Фридрих Евгений Вюртембергский 515
 Фридрихс 318
 Фрикен, доктор 414—415, 417, 419
 Фролов Е. Н. 294
 Фролов С. С. 92
 Фролова Н. Г. 294
 Фукс А. А. 206, 207
 Фукс К. Ф. 206
 Фурнье В. А. 285
 Фусс А. А. 176
- Хавтаси Г. Г. 473
 Хардт К. 390, 393
 Харткнох 520
 Хвостов Д. И. 206
 Хейзелер Г. фон 310, 400, 401
 Хемницер И. И.* 57, 438, 439
 Хен В. 297
 Херасков М. М. 146, 206, 219, 436
 Хитрово Е. М. 69
 Хлебников В. В. 466
 Хлюстин С. С. 280
 Хлюстина А. С., — см. Сиркур А. С.
 Хмельницкий С. И. 269
 Ходасевич В. М. 132, 133
 Холодковский*Н. А. 426, 483, 484
 Холодняк И. И. 138—140
 Хольтгузен И. 121
 Хольцева В. Г. 368
 Хомяков А. С. 110, 283, 284
 Хэзлитт У. 567, 574
- Цвилев В. А. 241
 Цзя-Цин, богдыхан 333
 Цельтер К. Ф. 478, 479
 Цигнеус 297
 Циммерман Г. 388
 Циперон М. Т. 139, 147, 213
 Ци-Шинь 343
 Цуркану В. 466
 Цявловская Т. Г. (Зенгер) 129, 132, 421, 538
 Цявловский М. А. 22, 27, 75, 122, *161, 167—169, 171, 173, 174, 225, 281, 282, 325, 341, 343, 408, 410, 414, 422, 551, 560, 567
- Чаадаев П. Я. 21—23, 26, 131, 278, 280, 346, 537, 542, 546
 Чаев Н. А. 225
 Чебышев А. А. 304, 372, 375, 383, 385, 386, 397
 Чеймбергс У. 324, 345
 Челяковский Ф. Л. 313

- Черейский Л. А. 148, 153, 154, 403, 404, 406, 464, 541
 Черных П. Я. 61, 69
 Чернышев В. И. 456
 Чернышевский Н. Г. 33, 34, 246, 252, 498, 499
 Черняев Н. И. 345
 Чехов А. П. 47
 Чечулин Н. Д. 183, 219
 Чижевский Н., иезуит 369
 Чилли А., иезуит 369, 377
 Чингизхан 317, 348, 349
 Чинтио Джиральди 574
 Чичерин Г. Н. 184
 Чобану В. 462
 Чугуевский А. И. 342
 Чулков М. Д. 427, 430, 431
 Чупятов А. В. 431
- Шааршмидт К. Э. 388, 389
 Шадури В. А. С. 172
 Шамбинаго С. К. 457
 Шамиссо А. фон 292—294
 Шарль Э. 307
 Шатерников Н. И. 264
 Шатобриан Ф. Р. де 544, 545
 Шатов Н. М. 434
 Шаховской А. А. 92
 Шаховской Д. И. 22
 Шашков С. 347
 Шевич М. X. 155
 Шевырев С. П. 252, 282, 283, 287, 289, 294, 339, 487
 Шейман Л. А. 343
 Шекспир В. 95, 96, 299, 361, 365, 366, 574
 Шелли П. Б. 294
 Шенгели Г. А. 258—259
 Шендецов В. В. 570
 Шень Ин 350
 Шенье А. 133, 272, 273, 309, 402, 416
 Шервинский С. В. 63
 Шестаков С. П. 252
 Шилков П. А. 429
 Шиллинг П. Л. фон 334, 335, 338—341, 344
 Шильдер Н. К. 67, 516
 Шиман Т. 297
 Шиллер Ф. 114, 150, 191, 318, 375, 380, 382, 384—389, 391, 392, 394—398, 400, 405
 Шиллер Ф. П. 299
 Шильдер Н. К. 67, 516
 Шимановская М. 282
 Шиповский С. 251
 Шихматов — Ширипский-Шихматов П. А. 436
 Шишков А. С. 116, 172, 564
 Шишманов И. Д. 313
 Шишмарев В. Ф. 504
 Шкловский В. Б. 234
- Шкультети И. 241
 Шлегель А. 574
 Шляпкин И. А. 296, 570—571
 Шмаус А. 121
 Шмидт И. М. 12
 Шмурло Е. 368, 375
 Шнайдерман Б. 559
 Шопен Й. Н. 301
 Шопен Й. М. 301, 303
 Шопенгауэр А. 399
 Шоу Д. Т. 544—546, 548
 Шоу Т. Б. 311
 Шпис И. 490, 496—500, 592
 Шпис Х. 438
 Шпринцин Н. Г. 557
 Шредер Ф. Л. 517
 Штар А. 292
 Штейнман Ф. А. 290, 291
 Штерн Л. 296
 Штротдман 291
 Шубинский С. Н. 17, 57
 Шувалов А. П. (?) 283
 Шульц В. К. 266, 279, 301, 303, 582
 Шур Л. А. 368
 Шэнь Ин 250
- Щеглов И. В. 344, 345
 Щеголев П. Е. 21, 273, 277, 279, 283—285, 287, 291, 299, 576
 Щербатов М. М. 386
- Эберман В. 329
 Эберман И. 378
 Эдуард IV 385
 Эйхгор Ф. Г. 21
 Эккерман И. П. 472, 475, 479
 Экушар-Лебрен П. Д. 94, 95
 Эме де Луа 556
 Эмми Ф. А. 428, 430
 Эмрих В. 483, 486
 Энгельгардт Е. А. 164, 330
 Энгельс Ф. 299, 585, 586
 Энпин 139
 Эрдман Ф. И. 206
 Эрнст П. 390, 398—400
 Эро К. 486
 Эспросседа Х. 313
 Эфрос А. М. 123—126, 129, 162
 Эшенбург И. И. 186, 238
- Ювенал Д. Ю. 76, 152, 233, 252
 Юзефович М. В. 221
 Юнг В. А. 357
 Юнг Я. 141, 151
 Юркевич П. И. (П. М.—ский, П. Медведовский) 102—104, 114
 Юрьев С. А. 404
 Юсупов Н. Б. 516
- Яворский Ю. А. 458
 Ягич И. 267, 313, 508

- Ядринцев Н. М. 347
 Языков Д. Д. 208
 Языков Н. М. 283, 537
 Якоби Ф. Г. 517
 Якобсон Р. 57, 58, 466, 539
 Якобссон Г. 63, 64
 Яковкин И. 321
 Яковлев М. Л. 161, 165
 Якопо де Ворагине 507
 Якубович Д. П. 6, 52, 61—62, 67, 68, 80, 85, 86, 132, 233, 234, 235, 236, 442, 573
 Якубович П. Ф. (псевд. Гриневич) 47
 Якушкин В. Е. 115, 227, 331, 415, 416, 420, 551
 Ямпольский И. Г. 39
 Яроцкий А. В. 338, 340
 Ясинский Я. И. 21
 Яхонтов А. Н. 157
 Яцевич А. А. 71, 276
 Яцимирский А. И. 429, 462
 Яшовский С. 30—31
 Яценко А. Л. 473
- Ancelot J. A. 275
 Anders H. R. 96
 Aubrey F. G. Bell 551
- Badier J. 556
 Balabine V. de 301
 Baldensperger F. 556
 Balke D. 318
 Bamberger K. 214—215
 Bauer W. 316, 318
 Benot I. 476
 Boxberger R. 375, 385
 Braga Th. 553
 Brang P. 228
 Bullogh E. 375, 380
 Buxtorff J. 540
- Carr de Vaux, baron 511
 Casamian L. 576
 Castelar E. 313
 Chalas P. 556
 Chambon F. 302
 Chauvin 510
 Clément F. 378
 Cohen J. 577
 Coleman A. C. 380
 Collier J. P. 574
 Cosmokratof T. 312
 Creizenach W. 366
 Crapinsky L. 570
 Cruz e Silva A. D. da 550, 552
- Dalton H. J. M. 535
 Davies G. W. 573
 Dawson R. 316
 Dédéyan Ch. 495
 Defauconpret M. 577
- Denis F. 556
 Dole W. H. 375
 Dufrænoy M. L. 525
 Duport de Tertre 385
 Durao J. R. 577
- Egilsrud J. S. 430
 Elster E. 398
 Endres F. 400
 Erler O. 375, 393
 Escher E. 576
 Etiemble R. 315
- Flat P. 303
 Fourmont E. 321
 Frank K. 214
 Friedmann W. 304, 392
 Fulda K. 293
- Gardiner F. 313
 Genthe F. W. 508
 Giraud J. 547
 Goad C. 97
 Goetze E. 514
 Gottschal R. 375, 378, 383
 Granville A. B. 274
 Griswold W. M. 311
 Grumach E. V. 487
 Gruppe O. F. 375, 383, 389
- Harkort F. 466
 Hart J. 293
 Haškovec P. M. 539
 Haumant E. 267
 Hazard P. 325, 556
 Héreau E. J. 268
 Hering 517, 519, 522, 529
 Herzen W. 375
 Hielscher K. 569
 Hopkins R. Thurston 311
 Hordorff A. 375
 Hosius G. 447
 Howe P. P. 567
 Howe S. E. 366
 Hubert-Saladin 280
- Jacobouon 491
 Jagič V. 298
 James E. 543
 Jensen A. 267, 298
 Jolavitch B. 154
 Jolavitch Ch. 154
 Jusserandot J. 267
- Kainz J. 388
 Kažoknieks M. 447
 Klein I. 398
 Kobayashi S. 316, 321
 Kober G. 388
- Legras J. 509
 Lenström K. J. 298

- Lin Ch. 315
 Lips E. 543
 Lo Gatto E. 121
 Lomenie 516
 Lupus A. 297

 Martin H. 491
 Mattheson J. 381
 Maver G. 121
 Meissner P. 214
 Meister 318
 Metis E. 291
 Micale O. 151
 Monglond A. 556
 Moreau P. 556
 Morfill W. R. 314
 Möler P.—L. 298

 Naciel J. A. 553
 Nakonieczny 357
 Neumann E. W. 386

 Osborne E. 267

 Pancoucke C. L. F. 556
 Paris G. 556
 Peddie R. A. 373
 Petersen J. 375
 Pierson G. 547
 Pike Conant M. 525
 Piot R. 303
 Poehl G. von 368—370
 Pollok K. 466
 Pollak S. 357
 Popek A. 375
 Portnoff G. 312
 Porto L. da 574
 Propper M. von 487

 Raab H. 487
 Rassman E. 290
 Raynal 318

 Reiss H. 316
 Rieger 514, 519, 520, 522, 530
 Roth K. L. 508
 Rudolf L. 375
 Ruscalla V. (Vegezzi) 556
 Ruth P. 513

 Schanz M. 447
 Schwieger P. 508
 Semenoff E. 308
 Sexas M. J. D. de (Marilia). 552,
 553—554, 556
 Silva Xavier 553
 Sienkiewicz G. 60, 64, 240
 Stefanescu M. 267
 Stein A. 375
 Stemplinger E. 79, 95, 96, 182
 Stender-Petersen A. 298
 Stern L. 296
 Struve G. 568

 Tanner J. 543
 Tardel H. 293
 Taunay 555
 Torracca A. 151
 Trahard 304
 Tschizewskij D. 237, 381, 544

 Vaudoir-Lainé O. 508

 Waddington Q.
 Walter F. 555
 Wienhuber G. 85
 Wilson C. H. 566
 Woezwak J. 375
 Wahl H. 487
 Wolff H. 381
 Wüstenfeld F. 509

 Ziegengeist G. 487
 Zippel A. 375

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА

- Адская поэма (Наброски к замыслу о Фаусте) 402—468, 473, 489
 Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной («Земли достигнув наконец...») 105
 Александру («Утихла брань племен...») 166
 Анджело 105, 112, 221, 295
 Андрей Шенье («Меж тем, как изумлennyй мир...») 133, 272, 273, 402, 416, 554—555
 Анчар («В пустыне чахлой и скупой...») 305, 306
 Арист! И ты в толпе слугителей Парнаса — см. К другу стихотворцу
- Барышня-крестьянка 400
 Батюшкову («В пещерах Геликона...») 212
 Бахчисарьский фонтан 271, 272, 278, 301, 561
 Беги, сокройся от очей — см. Вольность. Ода
 Безумных лет угасшее веселье — см. Элегия
 Благослови, поэт!.. В тени Парнасской сени — см. К Жуковскому
 Блажен кто про себя таит — см. Разговор книгопродавца с поэтом
 Блажен, кто с юных лет увидел пред собой — см. К Дельвигу
 Борис Годунов 44, 105, 110, 208, 277, 278, 288, 292, 295, 298, 306, 310, 349, 354, 362—401, 513
 Бородинская годовщина («Великий день Бородина...») 131
 Была пора: наш праздник молодой 164—167
- В альбом Илличевскому («Мой друг, неславный я поэт...») 211
 В альбом князю А. Д. Абамелек («Когда-то помню с умиленьем...») 279
 Великий день Бородина — см. Бородинская годовщина
 Вечерняя заря в пучине догорала — см. Наполеон на Эльбе
 В. Л. Пушкину («Скажи, парнасский мой отец...» и «Что восхитительней, живей...») — две редакции) 164, 179—180
 В начале жизни школу помню я 153
 Вновь я посетил 120
 Внем пунша и войны кипит всегдашний жар — см. К портрету Каверина
 Вольность. Ода. (К свободе, Ода к свободе) («Беги, сокройся от очей...») 76, 268, 269, 272—274, 277, 478
 Ворон к ворону летит 293, 297
 Воспоминания в Царском селе («Воспоминаньями смущенный...») 69
 Воспоминания в Царском селе («Навис покров угрюмый ночи...») 168, 174—175, 183, 185, 187, 200, 201
 Воспоминаньями смущенный — см. Воспоминания в Царском селе
 В пещерах Геликона — см. Батюшкову
 В пустыне чахлой и скупой — см. Анчар
 В раю, за грустным Ахероном — см. Тень Фонвизина
 Все в таинственном молчанье — см. Гроб Анакреона
 В стране, где Юлией венчаный — см. Из письма Гнедичу
 Второе послание к цензору («На скользком поприще Тимковского наследник!..») 44

В чужбине свято наблюдаю — см. Птичка
Вы нас уверили поэты — см. Люблю ваш сумрак неизвестный
Выстрел 301, 304

Гавриилиада 288, 305, 402, 403, 405, 415, 531
Глубокой ночи на полях — см. Наездники
Городок («Прости мне, милый друг...») 133, 180, 440
Граф Нулин 295
Гроб Анакреона («Все в таинственном молчании...») 169
Грустен и весел вхожу, ваятель... — см. Художнику
Гусар («Скребицей чистил он коня...») 304

Давыдову [А. Л.] («Нельзя, мой толстый Аристипп...») 444
Д. В. Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою...») 164
19 октября («Роняет лес багряный свой убор...») 160, 196—199, 330
Дельвиг («Дельвиг родился в Москве...») 162, 176
Дельвигу («Мы рождены, мой брат названный...») 153
Деревня («Приветствую тебя, пустынный уголок...») 75, 269, 272
Джон Теннер 542—548
Для берегов отчизны дальней 29
Дневник 65, 162
Дубровский 267, 303, 312, 409
Духовной жаждою томим — см. Пророк

Евгений Онегин 64, 69, 74, 80, 87, 133, 134—135, 144, 145, 153, 166, 182,
184, 196, 201, 275, 279, 295, 296, 299, 306, 311—313, 323—325, 327,
331—332, 349, 351—361, 402, 408, 409, 443, 445, 450, 538, 560—571
Египетские ночи 28, 58
Его стихов пленительная сладость — см. К портрету Жуковского

Завидую тебе, питомец моря смелый 329
Записки 200
Зачем твой дивный карандаш — см. To Dawe, Esq
Земли достигнув наконец — см. Акафист Екатерине Николаевне Карам-
зиной
Зима. Что делать нам в деревне? 301
Зимняя дорога («Сквозь волнистые туманы...») 294

И дале мы пошли — и страх обнял меня 130
Из Пиндемонти («Не дорого ценю я громкие права...») 119—122, 150—152
Из письма Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный...») 74
История Петра. Подготовительные тексты. 27, 131, 146
История села Горюхина (Летопись села Горюхина) 297
История Пугачева 164, 291, 292, 342—344

Кавказский пленник 151, 221, 268, 270, 271, 274, 277, 282, 561
Калмычке («Прощай, любезная калмычка...») 301
Каменный гость (Дон Жуан) 27, 144, 145, 306, 345
Капитанская дочка 43, 206, 287, 298, 306, 312
К Галичу («Пускай угрюмый рифмотор...») 164, 179
К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет...») 145—146, 167—168, 169—171,
195
К Дельвигу («Послушай, муз невинных...») 188—190
К другу стихотворцу («Арист! И ты в толпе служителей Парнаса...») 133,
168
К Жуковскому («Благослови, поэт...») 172—173, 201
Кинжал («Лемносский бог тебя сковал...») 275, 277, 402
К*** [Керн] («Я помню чудное мгновенье...») 221
Кладбище («Когда за городом задумчив я брожу...») 120—122, 149, 150—
151, 590

- Клеветникам России («О чем шумите вы, народные витии...») 131, 276, 278—279, 290, 291, 346, 407
- К Наталье («Так и мне узнать случилось...») 322
- К морю («Прощай, свободная стихия...») 296
- К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов...») 75
- Когда великое свершилось торжество — см. Мирская власть
- Когда за городом задумчив я брожу — см. Кладбище
- Когда-то помню с умиленьем — см. В альбом княж. А. Д. Абамелек
- К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость...») 26
- К портрету Каверина («В нем пунша и войны кипит всегдашний жар...») 26
- К портрету Чаадаева («Он вышней волею небес...») 26
- К Сабурову («Сабуров, ты оклеветал...») 184
- Кто знает край, где небо блещет 182
- Кто из богов мне возвратил (Из Горация) 176
- Лемносский бог тебя сковал — см. Кинжал
- Лицинию («Лициний, зришь ли ты...») 272
- Люблю ваш сумрак неизвестный 443—444
- Любовь одна — веселье жизни хладчой 171
- Маленькие трагедии (драматические сцены) 43, 295, 306
- Медный всадник (Медный конь) 27, 58, 70, 299, 354, 480
- Меж тем, как изумленный мир — см. Андрей Шенье
- Метель 350
- Мечтатель («По небу крадется луна...») 190
- Мирская власть («Когда великое свершилось торжество...») 119—121
- Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности 210
- Мои замечания об русском театре 323
- Мой друг, неславный я поэт — см. В альбом Илличевскому
- Монах («Хочу воспеть, как дух нечистый ада...») 453
- Моцарт и Сальери 296
- Мы рождены, мой брат названный — см. Дельвигу
- На Баболовский дворец («Прекрасная! Пускай восторгом насладится...») 155
- Наброски к замыслу о Фаусте — см. Адская почта
- Навис покров угрюмой ночи — см. Воспоминания в Царском селе
- На выздоровление Лукулла («Ты угасал, богач молодой...») 111—112, 113, 115
- Надпись к беседке («С благоговейною душой...») 322
- Напрасно я бегу к сионским высотам 421
- На скользком поприще Тимковского наследник — см. Второе послание к цензору
- На статую играющего в бабки («Юноша трижды шагнул...») 11
- На статую играющего в свайку («Юноша, полный красоты...») 11
- Наездники («Глубокой ночи на полях...») 164
- Наполеон на Эльбе («Вечерняя заря в пучине догорала...») 118, 218
- Не дай мне бог сойти с ума 28
- Не дорого ценю я громкие права — см. Из Пиндемонти
- Нельзя, мой толстый Аристипп — см. Давыдову [А. Л.]
- Объяснение («Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале...») 163
- Овидий, я живу близ тихих берегов — см. К Овидию
- Он высшей волею небес — см. К портрету Чаадаева
- О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова 276
- Осень. Орывок (из ранней редакции) («Стальные рыцари, угрюмые султаны...») 345
- От западных морей до самых врат восточных 152, 233
- Отцы пустынники и жены непорочны 119—121
- О чем шумите вы, народные витии — см. Клеветникам России
- Памятник — см. Я памятник себе воздвиг
- Папесса Иоанна 497

Перед гробницею святой 69
Песни западных славян 80, 113
Пиковая дама 302—304, 308—309
Пир во время чумы 306, 400
Питомец мод см. Послание к кн. Горчакову
Плещут волны Флегетона см. Прозерпина
Повести Белкина 102, 297, 301, 304, 312, 350, 400
Погасло дневное светило 106—107
Подражания древним 85, 122
Подражание итальянскому («Как с древа сорвался предатель ученик...») 119
Подражания Корану 329
Поедем, я готов 341, 346
Полководец («У русского царя в чертогах...») 163—164
Полтава 44, 102, 146, 276, 288, 295, 354, 406, 561
По небу крадется луна — см. Мечтатель
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света друг...») 172
Послание в Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать...») 573
Послушай, муз невинных — см. К Дельвигу
Пошли мне долгу жизнь — см. От западных морей до самых врат восточных
Поэт («Пока не требует поэта...») 43
Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной...») 85, 444
Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной...») 307
Прекрасная! Пускай восторгом насладится — см. На Баболовский дворец
Приветствую тебя, пустынный уголок — см. Деревня
Программа автобиографии («Семья моего отца...») 201—202
Прозерпина («Плещут волны Флегетона...») 442
Пророк («Духовной жаждою томим...») 31, 43, 283, 307, 409
Прости мне, милый друг — см. Городок
Прощай, любезная калмычка — см. Калмычке
Прощай, свободная стихия — см. К морю
Птичка («В чужбине свято наблюдаю...») 272, 273
Пускай поэт с кадилницей наемной — см. Сон
Пускай угрюмый рифмотвор — см. К Галичу
Путешествие в Арзрум 144, 145, 275
Путешествие из Москвы в Петербург 249, 323

Разговор с англичанином 576
Разговор книгопродавца с поэтом 46
Ревет ли зверь в лесу глухом — см. Эхо
Роняет лес багряный свой убор — см. 19 октября
Русалка 28, 261, 306, 511
Руслан и Людмила 107, 136, 174, 196, 202, 267, 268, 270, 274, 322

Сабуров, ты оклеветал — см. К Сабурову
С благовейною душой — см. Надпись на беседке
Скажи, парнасский мой отец — см. В. Л. Пушкину
Сказка о золотом петушке 502—541, 587
Сказка о медведихе («Как весенней теплою порою...») 538
Сказка о рыбаке и рыбке 463, 538
Сказка о царе Салтане 450
Сказки 105, 106
Сквозь волнистые туманы — см. Зимняя дорога
Скребицей чистил он коня — см. Гусар
Скупой рыцарь 43, 586, 588
Сон (Отрывок) («Пускай поэт с кадилницей наемной...») 172
С португальского («Там звезда зари взошла...») 549—559
Стальные рыцари, угрюмые султаны — см. Осень (Отрывок)
Станционный смотритель 350
Стихотворения, изд. 1826 г. 172, 272
Стихотворения, изд. 1835 г. 106

Сцена из Фауста 419, 444, 469—488, 490, 588
Сцены из рыцарских времен 27, 446

Так и мне узнать случилось — см. К Наталье
Талисман («Там, где море вечно плещет...») 278
Там, где море вечно плещет — см. Талисман
Тебе певцу, тебе герою — см. Д. В. Давыдову
Тень Фонвизина («В раю, за грустным Ахеровом...») 440—441, 444
Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов 105,
243

Ты угасал богач молодой — см. Па выздоровление Лукулла
Ты хочешь, милый друг, узнать — см. Послание Юдину

Уединенный домик на Васильевском острове 312
У русского царя в чертогах — см. Полководцу
У сы. Философская ода. («Глаза скосив на ус кудрявый...») 164, 220
Утихла брань племен — см. Александру

Хочу воспеть как дух нечистый ада — см. Монах
Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель...») 162, 164, 590

Царей потомок, Мепенат 122
Цыганы 272, 277, 289, 304, 307, 352

Чем чаще празднует лицей 161, 164, 217
Что восхитительней, живей — см. В. Л. Пушкину

Шашкову [А. А.] («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...») 172

Элегия («Безумных лет угасшее веселье...») 153
Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом...») 43

Южные поэмы 288, 295
Юноша, полный красы, напряженья — см. На статую играющего в свайку
Юноша трижды шагнул, наклонился — см. На статую играющего в бабки

Я памятник себе воздвиг... 5—236, 407, 581, 586, 588, 589, 590
Я помню чудное мгновенье — см. К*** [Керн]
Я посетил твою могилу — см. Prologue

Prologue («Я посетил твою могилу...») 147—149, 152—155, 159, 163, 167,
217, 590

Table Talk 129, 200
To Dawe Esqr («Зачем твой дивный карандаш...») 497—498

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»	5
Проблемы его изучения	5
Приложение I. Автографы «Памятника»	223
Приложение II. Русские переводы оды Горация	236
Пушкин и Запад	266
Пушкин и Китай	314
Разноязычный «Евгений Онегин»	351
Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме	362
Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброске Пушкина	402
К «Сцене из Фауста» Пушкина	469
Пушкин и французская народная книга о Фаусте	489
Пушкин и повесть Ф. М. Клингера «История о золотом петухе» . .	502
К статье Пушкина «Джон Теннер»	542
Пушкин и бразильский поэт	549
Эпиграф из Э. Берка в «Евгении Онегине»	560
Несколько английских книг из библиотек Пушкина	572
Список иллюстраций	578

П Р И Л О Ж Е Н И Е

В. Э. В а ц у р о. Проблема «Пушкин и мировая литература» в трудах М. П. Алексеева	581
Библиографические справки	593
Указатель имен	594
Указатель произведений Пушкина	610

INHALT

Puschkins Gedicht «Ein Denkmal baut ich mir, wie Hände keins erheben. . .»	5
Prombleme der Forschung.	5
Anhang I. Handschriftliche Fassungen	223
Anhang II. Die Horaz—Ode im Russischen	236
Puschkin im Westen	266
Puschkin und China	314
«Eugen Onegin» in anderen Sprachen	351
Boris Godunow und der Falsche Demetrius im westeuropäischen Drama	362
Ein unbemerktes Volksmotiv unter Puschkins Entwürfen	402
Zu Puschkins Faustszene	469
Puschkin und ein französisches Faustbuch	489
Puschkin und «Die Geschichte vom goldnen Hahn» F. M. Klingers . .	502
Zu Puschkins Artikel «John Tanner»	542
Puschkin und ein brasilischer Dichter	549
Das Burke-Epigraph in «Eugen Onegin»	560
Einige englischen Bücher aus der Privatbibliothek Puschkins	572
Verzeichnis der Abbildungen	578

BEILAGE

W. E. W a z u r o. M. P. Alekseev als Puschkin-Forscher . . .	581
Bibliographische Notiz	593
Personenregister	594
Register der Werke Puschkins	610